

Вячеслав
ОВСЯННИКОВ

**ПРОГУЛКИ
С
СОСНОРОЙ**

*ПОСВЯЩАЕТСЯ
МОЕЙ ЖЕНЕ ЛАРИСЕ*

Овсянников В. А.. Прогулки с Соснорой. Проза. СПб.,
Издательство «СУПЕР». 2019. – 616 стр.

Санкт-Петербург
2019

Редактор
В. И. Чернышев

ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ

© В. А. Овсянников. Прогулки с Сосновой. 2019.
© Издательство «СУПЕР». 2019



1992 год

Ленинград. 9 ноября 1992 года. Сегодня во втором часу я посетил его. Он живет в однокомнатной квартире на проспекте Ударников. Сидим за его рабочим столом у окна и разговариваем. Говорит он, о том, как писать:

Я, собственно, совсем перешел на дневниковость. Я же не могу сесть и что-то выдумывать из головы. Надо, чтобы что-то накопилось. Мне нужно ходить, смотреть. Я же наблюдатель. Кто мои герои – вот: стул, лампа, коврик, снег, карандаш. Все дело в особом угле зрения. Я так смотрю: что вещи у меня живые. Я ведь смотрю не на изолированную вещь. Что так увидишь! Я смотрю на ее окружение. Тогда она начинает сдвигаться со штампованного (никакого) представления о ней, оживать, открывать свою истинность. Большинство людей, по сути дела, вообще не смотрят и не видят. Терпеть не могу общие фразы типа: "стояло дерево". Какое дерево? Ольха, береза, дуб? Зачем оно тут? В чем его смысл? Мой метод, по сути дела, не писателя, а живописца. Эта способность зрения может быть только врожденная. Или она есть (океан, капля) или ее совсем нет, не дано. Если дано много и не развивать – пропадет зря. Если хоть капля, и развивать – можно достичь многого, очень многого. Вот, посмотри: какое сейчас небо над этим домом?

– Голубое.

– Розовое, – возражает он. – А над тем красным домом, справа – коричневое.

– Как же так? – говорю смущенно. – Я ничего этого не вижу.

– В том-то и дело, – замечает он. – Вот, скажем, художник рисует стул. Разве он копирует его, срисовывает все как есть, не дай бог что-нибудь упустить? Нет, конечно. Это был бы еще один стул. Только и всего. А зачем их плодить абсолютно одинаковые? Нет, художник смотрит, смотрит и находит в данном стуле нечто характерное, отличающее его от всех остальных. Раз – карандашом, еще раз! Два-три штриха, абсолютно точно дающие самую сущность этой особенности – и все! Картина! И тут уже становится ясно: здесь реальность, а здесь – искусство.

У меня в итоге работы остается десятая часть из всего написанного. Бывает, конец какой-то вещи оказывается началом чего-то. А начало, наоборот, концом. Или середина. А все остальное выбрасывается без всякой жалости, потому что – хлам. Ты вот еще на перепутье. У тебя и хорошие куски и хлам вместе. Потому что ты мало пишешь, тебе и жаль выбрасывать даже страницу. В рассказах, например, у тебя сначала идут

описания, потом только – действие. Надо писать исключительно действие. Ты еще не научился использовать метод коллажа.

Писатели абсолютно четко разделяются на два лагеря: одни живут в языке, пытаются сказать нечто свое, свои ощущения, изнутри, в языке выразить. Эти писатели заведомо непродуктивны, непопулярны и нечитаемы. Другие пишут, чтобы выговорить себя на популярные, актуальные темы, то, что в ходу, в моде, политическое, социальное, всегда волнующее массы и трогающее их интересы. Этим писателям нет дела до языка и своих внутренних ощущений. Они набалтывают до бесконечности те или иные социальные или психологические темы. Эти писатели всегда в моде, всегда известны и популярны, всегда читаемы и продаются за колоссальные гонорары. Это герои толпы. Они полны мощной энергии (не отнять у них этого, надо честно признаться). Неспроста они, почти все, нобелиаты и миллионеры. Наши Горький, Бунин, А.Н.Толстой, Шолохов и прочие. У них еще больше: Драйзеры, Хемингуэи, Томасы Манн и так далее.

Меня вот тоже не печатают. Я их отпугиваю как какой-нибудь монстр. Они не знают, что от меня ожидать. Полная безвестность – плохо, не печатают. Но и чрезмерно известное имя, вот как у меня, тоже, оказывается, ничего хорошего. Вот так-то.

Ты похож на Заболоцкого.

Я почти вне общения с людьми, не вижу их, не слышу. Ведь глухой и полуслепой. Не в переносном – в прямом смысле. Замкнутый круг. Но пишущий и всегда живет в замкнутом круге.

За окном у него полная луна, серебристо-янтарная, высоко, в чистом голубеющем небе – между краснокирпичными, прямоугольными башнями двух домов. Идеально очерченная. Он ее тоже замечает.

– Но ведь для нее еще рано, – говорит он. – Совсем светло. Нет, это на самом деле удивительно.

11 декабря 1992 года. Принес ему книги: Фрейд "Толкование сновидений" и Фромм "Душа человека". Он сидит на тахте:

– Фромм один из тех писателей, которые предлагают проекты переустройства мира. Зачем мне это? Эти писатели для меня – клопы. Вообще не существуют. Дело не в том, что тема социальная. И у Достоевского, и у Кафки, да у многих, главная тема – социальная. Но ведь у них ничто иное, как выражение ужаса перед тем, как устроен этот мир. То есть они писали антиутопии. А проекты переустройства никто из них никогда не предлагал. И в голову им не приходило. Они просто-напросто и не знали, как его, мир, можно переустроить. Но зато они прекрасно описали "знающих это": Достоевский "Бесы", Платонов "Котлован". Вот и у меня: "День Зверя", "Башня", да большинство мною написанного – что это как не ужас перед миром?

"Книга пустот", нет – это только о природе, о зверях, вся из картин. Годичный круг – от зимы до зимы.

Книга напишется, опубликуется – дело твое сделано. Дальше – неизвестность. Заметят, не заметят. Да и что толку. Рукопись Катулла, в единственном экземпляре, пролежала где-то в монастырской рухляди больше тысячи лет. Чудо! Тоже самое – "Дон Кихот" Сервантеса. Эту книгу забыли уже при жизни автора. А через триста лет ее обнаружил доктор богословия у торговца селедкой, тот заворачивал свой товар, то есть селедку в страницы "Дон Кихота". Опять – единственный экземпляр. Вот тебе и судьба великих книг. А сколько погибло. Да и все погибнет. Может быть, под нами лежит десять кругов погибших цивилизаций, которые повторяют друг друга один к одному. Ведь устройство человека не меняется, в любом месте, в любое время, в одних и тех же ситуациях он будет делать примерно то же самое, ну, небольшие вариации, которые не играют роли. Дойдет цивилизация до какой-то предельной точки, дальше – все, конец, стирается начисто, начиная сначала.

Так что, может, не книги, все-таки, главное, а состояние пишущего. Внутреннее его состояние. Он сам знает себе цену, свой рост, то, что он сделал, относительно себя же. Он живет своим трудом и своим внутренним состоянием, то есть, самодостаточен – чего еще желать в этом мире? Выше этого ничего тут нет. Но это о талантах. А еще вернее – о гениях. В общем-то, искусство существует только одно – искусство гениев. То есть все оказывается субъективно. Главное – быть самим собой и никого не слушать. Тебе, например, говорят, что твоя вещь не получилась, конец, скажем, у нее не сделан. Ты смотришь: нет, в твоей системе, в том, как ты задумал, конец есть. Значит, пошли вы все на... Говорите, что хотите. Есть, конечно, объективные вещи: жанр, структура, композиция и так далее. Но и это дается по-своему. Бывает, все зависит от твоего состояния в данный момент. Разные периоды творчества. Бывает, этот период – день-два, бывает – всю жизнь. Ну и что? Все это твое. Но, конечно, это жизнь немногих.

Твоя повесть "Страдания сержанта Быкова" – уродливо, условно, напряженно и динамично. Надо, чтобы было действие, и лучше всего – убийство. Они, убийства, всегда разные, одно на другое никогда не похожи. Динамика не обязательно в сюжете. Может быть во фразе. Или, если нет действия, то, скажем – особый, необычный (ненормальный) глаз на вещи. Замечаешь и отбираешь диковинное, странное, ненормальное. А у тебя этого глаза нет, у тебя-то как раз все нормально, все "как следует". Этот глаз – дар божий.

18 декабря 1992 года. Был на его авторском вечере в Доме актера. В зале человек сто. На сцене он чрезвычайно артистичен, гибкий, прямой, белые волосы до плеч:

– Здесь, собственно, на девяносто процентов мои друзья.

Читал свои стихи: "Двенадцать сов", "Пьяный ангел", "В кровавых лампах оплывших окон" и другие. После перерыва ответы на вопросы.

– Веничка Ерофеев мой друг, память юности, звезда нашего поколения. Айги – крупнейший филологический поэт. По духу мне близки многие из писателей, по методу письма – не знаю.

Вмешиваться в жизнь, да еще тем, что пишу – упаси меня боже!

Моя особость, мое место в литературе? Не знаю, никогда не хотел этого знать. Не задавался таким вопросом. Каждый человек занимает свое место в пространстве. Также и то, что он делает – имеет место. А какое – не мне определять. Для меня это неинтересно.

Что такое талант и гениальность? Вот не праздный вопрос. Ну талант меня не интересует. Талант – это для меня ничто. Талантливых предостаточно, то есть это нормально. Талантливый. Ну спасибо. Бездарный. Еще лучше. А вот гениальность – это другое дело. Только гениальность меня, собственно, и интересует. А гениальных-то, как назло, раз, два и обчелся. Гениальность – это когда летят. Это полет. Мне все равно – человек, птица, лягушка. Прыгнет вверх, летит, да еще визжит от удовольствия. Вот за это мне, скажем, и дорог Дельвиг – у него есть это, порывы полета. А Языков – ну, талантливый поэт. А не будь его вообще – я бы ничуть не жалел. Так и Толстой. Все у него есть – риторика, ум, язык, выразительность, описания и так далее. А вот главного-то и нет. Не летит – хоть ты лопни. А Достоевский – единственный, пожалуй, в мировой литературе, кто так ужасно писал. Что за кошмарный слог, какие выражения! Он вообще, кажется, писать не умел. А как летит – дух захватывает! Единственный пример, когда писатель сумел такое сказать вне слов, помимо слов, поверх всего языка. А Гоголь – гений, который совместил все – и слог, и гениальное живописание.

Мои дневники, это, собственно, черновики, то, что потом попадет в книги. Мне ведь и из дома выходить не надо, посмотрю, что у меня на столе – опишу. Пойду на кухню, загляну в кастрюльку – и это на бумагу. Так у меня книги теперь и пишутся.

Просто я человек, обладающий вот такой способностью – писать. И писать именно так, как я пишу. Больше ничего. Лопата предназначена, чтобы копать. Птица – чтобы лететь. Писатель – чтобы писать. Ну что же еще-то? Сосредоточенность, напряжение и созидание каких-то образов – вот все, в чем заключается моя работа. Много ли я пишу, мало – меня это тоже ничуть не беспокоит. Пушкин, например, написал, все-таки, больше меня. А жил на двадцать лет меньше. Это вам для сравнения. Так что плоды моего так называемого творчества весьма скромны. В смысле количества.

Русского языка уже нет. Наше поколение было последним, которое писало на русском языке. Сейчас язык советский, то есть газетный. Как можно путать эти два языка! Надо же называть вещи своими именами. Не назовете же вы пилу скрипкой.

Кто был моим учителем в литературе? Кто на меня влиял? Никто. Только книги. Неимоверное количество книг. Если бы вы знали, сколько я прочитал! Чего только не вместила эта бедная голова!

1994 год

7 февраля 1994 года. Он небритый, худой, красная шерстяная шапка набекрень. Болен, простудился, лежит в постели. Предложил табурет, посидеть рядом с ним.

– Ну рассказывай – какие новые книги?

Я принес ему книгу о дзэнбуддизме Дайсэцу Судзуки, и он говорит о ней:

– Это не сумели перевести. Может быть, это вообще нельзя перевести. Это нам недоступно. Пока. Я сам переводчик. Я-то знаю, как легко понятия подменить словами. В результате – все искажено. Попробуй докопаться до первоисточника. Так была переведена Библия с арамейского – на европейские языки. Подмена понятий словами. В итоге – понято по-разному, и несколько враждующих друг с другом вер – католическая, православная, протестантская, секты. Так и дзэн. Собственно, это и не нужно читать. Это сознание, о котором там говорится – это творческое сознание. Оно присуще всем истинным художникам. С ним рождаются. Это сознание означает свободу от всего, от любой логики. Это и есть творческое сознание. Только в дзэне оно создается искусственно, культивируется монахами (хотя и тут главное приращенность), а у художника (не обязательно он что-то создает, может быть, художник по натуре) это органично, само собой. Словами и ничем это не объяснить, не передать другому. Личная свобода – вот что главное. Личная, то есть – внутренняя. Внешне – все мы рабы, начиная с верховного властителя, кончая последним нищим. Но внутренне могут быть миги свободы и очень много. Любуешься полетом птицы – твоя свобода в это мгновение. Искупался, получил удовольствие – тоже самое.

И в писательстве – пишешь в самозабвении, радость тебе, твоя высшая свобода. Миг пишешь, час, день, месяц. Пиши, пока пишется, пока идет поток. Кончится – всё, оставь. Насиловать себя – бессмысленно. Потом смотри – что можно из этого сделать. Есть в этом нерв – значит нужно его проявить. Ничего нет – выбросить все, что написал, не сожалая. Было состояние свободы, когда писал, и прекрасно. Вот все, что я бы тебе мог посоветовать.

Твоя последняя рукопись с коротенькими рассказами мне понравилась. Но все это надо по-другому скомбинировать, нужен монтаж, коллаж, чтобы все это ожило, задышало. Нужна какая-то капля: капнуть – и задвигается. Так – тоже существует, но полуживое, с пульсом десять ударов в минуту. Коллаж, я тебе скажу, главный творческий принцип. Это делали все крупнейшие художники. Я в свое время пересмотрел черновики и футуристов и писателей XIX века. Возьми Пушкина, у него в черновиках черт знает что – поток. А он то оттуда, то отсюда, еще откуда-то выхватывал куски и комбинировал. Получалось стихотворение, не имеющее, зачастую, ничего общего с тем, что в черновике. А когда пишешь, кажется, все так и должно быть, в этом порядке и никак не иначе. Я бы мог произвести такую работу с твоей рукописью – выстроить тот нерв, который бы оживил написанное (для меня такая рукопись – подстрочник, материал для коллажа), но это было бы мое, а не твое. Попробуй сам, не меняя ни одного слова, ничего не выбрасывая, сделать другую комбинацию.

Да, свобода, это главное. Абсолютно свободных очень мало. У нас в русской литературе – Гоголь, далеко не весь. Куски – у Пушкина, у Достоевского. Только Лермонтов в "Герое нашего времени" – весь свободен. Абсолютно. Это удивительно. Кстати, дендизм схож с дзэн: то же сознание. Первая заповедь денди – ничего не объяснять. А я эту заповедь, увы, постоянно нарушаю. Они объяснялись жестами, как и в дзэне. У Лермонтова – ест вишни и выплевывает косточки под дулом пистолета – тоже дендизм. Ну, у Пушкина. Какая разница.

В жизни все мы закомплексованы. Я – тоже. А что ты думаешь. И больше многих. В быту я ужасный педант, буржуа. И страхи, и заботы дают, всякая чепуха. Но в творчестве у меня – никаких догм, никаких установок. В каждой книге я разный. Любая установка – ложная. Говорю – никаких установок. Единственное, что установить – это вера в себя. Больше ничего. Верь своим чувствам, ощущениям, что тебе лично нравится или не нравится. Нужно понять самого себя: что тебе хочется, к чему тебя клонит, где твои интересы. Вот что должно быть очень отчетливо, ясно и неколебимо. Не соблазняться ничем тебе чуждым. Это самостоятельность, личность. Все мы, конечно, подвержены влияниям. Но влияния должны перерабатываться в свое. Если же ты только и делаешь, что переходишь из одного очарования в другое, от одного созданного тобой культа к другому, ты живешь чужим умом, чужими интересами, по сути дела, ты не живешь, потому что несвободен. Тебя – нет. Быть собой – самое трудное. Ничего труднее нет.

В этой рукописи ты, по крайней мере, избежал каких-либо нравоучений. Я тебе говорю о принципе коллажа. И вообще, что бы я тебе ни говорил – это мое. А ты живи своим, что тебе нравится. Может

быть, тебе как раз нравится логическое. Сесть за стол и "работать": писать как Тургенев и Толстой – 1-я глава, 2-я глава и так далее. У каждого свои тайны, секреты творчества. Как он делает – это он, может быть, и сам себе не объяснит, не то, что другому. Это принципиально необъяснимо и недоступно никому, полное отсутствие логики. Маяковский, Эдгар По написали объяснения в насмешку, мистифицируя. Вот это, пожалуй, и есть главное в творчестве, в творческом сознании, то, что отличает истинного художника от чиновника в литературе. То же самое и дзэн. Но там – искусственно. Кстати, в дзэне сказано о творчестве: картина может быть сделана в высшей степени мастерски, алмазно-точной и совершенной, как говорится, без сучка и задоринки. И картина эта будет мертвой. И лучше оставить многое недоделанным и небрежным, несовершенным, лишь бы было сказано и тем самым полностью завершено главное, нерв произведения – чтобы картина была живой, дышала.

А физически – я тебе советую побольше движения. Лично меня только движение и спасает. Ни купаться, ни на лыжах мне теперь нельзя. У меня был первый разряд лыжника. Я теперь хожу. Быстрая ходьба, 30 километров. Возвращаюсь домой – пот потоком. Прекрасно. Жрать хочется ужасно. В Эстонии после такого марш-броска горький огурец с грядки – величайшее удовольствие! Вот тебе и вкус. У фрау Эльзы огурцы уродились горькие-прегорькие. А мне после такой бешеной ходьбы именно такие огурцы и казались верхом блаженства. Хочешь, будем ходить вместе.

11 марта 1994 года. Он в двойных очках: поверх обычных еще и синие, от солнца. Идем у домов, лужи, мешанина воды и снега.

– Попробуй смотреть и запоминать во время прогулок, а потом записывать. Не все, конечно, а то, что тебе интересно. Тренировка памяти. Очень полезно. Необходимое профессиональное упражнение для литератора. У меня это вообще главный принцип работы. Но у меня это происходит само собой, сорокалетний опыт. Это своего рода автоматическая память. И, конечно, склонность к этому. Так, собственно, и в любом деле. Пример: я в свое время занимался боксом. Видишь, – показывает на нос, – переломлен. И брови были разбиты. Первый пункт при обучении боксу: изучить психику противника. Побеждает не тот, кто сильнее, а тот, кто знает о своем противнике абсолютно всё, до автоматизма. Вот ты идешь и смотришь и на неодушевленные предметы и на одушевленные, видишь, скажем, этот трамвай, красное и белое, или женщину. Попробуй заметить: что ты о них думаешь. Не рассуждения, разумеется, а то, какие образы у тебя возникают при виде этих предметов, с чем они у тебя ассоциируются. То есть: попробуй определить: как у тебя

действует и играет воображение вокруг того или иного объекта. И развивай это воображение, это видение. Потому что один и тот же предмет видят по-разному, и ассоциации возникают разные. Это и есть художническое видение. Не копировать, а передать суть предмета двумя-тремя штрихами – молниями.

Скажем, Кандинский и Малевич в одном и том же предмете видели, каждый, свою какую-то форму, и эти формы резко отличались. А оба – крупнейшие живописцы. Это – главное. Смотреть, замечать и играть воображением вокруг того, что видишь, для своего удовольствия – и то, очень много. И то можно хорошо прожить. Но большинство, 99% ничего не видят, смотрят только для того, чтобы ориентироваться. Больше глаза им ни на что не нужны. Но если начать смотреть как художник, а только это и есть, действительно, смотрение, то это обязательно ведет к переустройству всей жизни. А как ты думаешь. У тебя разладятся все отношения с миром. Ведь тут идет отстранение всего лишнего, не относящегося к искусству. Сначала самого главного лишнего, затем и мелочи. Ступень за ступенью отстранения. Я, например, на этом пути до такого дошел, что и ступить некуда. Отстраняешь деньги, славу, политику, мораль, женщин, любовь и так далее. Оставляешь разве что пищу для пополнения энергии. А в конце концов и пищу отстраняешь. А тогда уж... вот именно... А что ж ты хочешь? Жизнь и так называемое искусство противопоставлены друг другу.

Художник – это тот, кто видит не так, как все, и делает не так, как все. А это никаким образом не может нравиться тем, кто видит и действует, как все. Художническое видение их раздражает и возмущает, они выглядят в нем, по их мнению, уродами, монстрами, поэтому они стараются уничтожить художников, прежде всего, физически, а не получается – так, создав атмосферу, невозможную для деятельности. Художники с сильной психикой как-то выдерживают, бывает, и до глубокой старости. А другие – кончают с собой. Вот и Вирджиния Вулф – поэтому. И Генрих фон Клейст. Да многие. Внешние причины могут быть разные, но они – только повод. А истинные побуждения внутренние – то, что стало невозможно ладить с миром, совместить художническое и жизнь. Не уживаются они. Так что, раз ты вступаешь на этот путь, ты должен хорошо знать, куда он ведет. Я всегда привожу в пример: каждый должен для себя выбрать – или жизнь, или искусство. Если выбирать жизнь, то выбирать рабство. Так это и понимай. Выбираешь искусство – значит, выбираешь свободу, то есть делаешь то, что тебе хочется (внутренне, разумеется, в воображении) и пишешь, как ты хочешь.

Видеть – это всё. В литературе, в русской, видел только один Гоголь. В живописи, конечно, больше, в русской живописи XX века. Ни Глазунов, ни Репин, ни Делакруа и многие другие – ничего не видели.

Нули. Также в литературе. Рассуждения своего вонючего "я". Ну и что? И у лягушки тоже самое "я", ничуть не меньше. Но при чем тут искусство? Тупость, тупость. Нет в них никакой игры, никаких вариантов. Реалисты. Омерзительнейший Тургенев. Ведь у них какой метод: появились, скажем, в жизни революционеры. Значит, надо нарисовать революционера. Садится за стол и катает дневник Базарова. Не свой дневник, нет. А входит в роль какого-то тупого маньяка, ничтожества, который просто не может быть объектом искусства, противопоставлен искусству. Это просто-напросто недостойно пера. Ну о чем тут писать и распространяться, о дураке, о тупице! Вот по этому же принципу нынешние реалисты пишут о перестройке. Что о ней писать? Она для внутренней жизни человека, для сути его имеет самое ничтожное значение. Я, например, о всей перестройке написал одну фразу: "С горы шли митинги, выворачивая ноги, как при полиомиелите". Всё. Больше мне сказать нечего. Какое дело художнику, да и вообще любому человеку, до мира или до времени, в котором он живет? Художник живет в своем личном мире и в своем личном времени, а внешний мир, внешнее время он только использует для себя, трансформирует и перерабатывает.

И потом, важно не утыкание во что-нибудь одно, в один прием, одну тему. Какая скука, какое убожество! Не менять женщин, жить с одной – безумие! Я многомерен, ищу новые пути, новые варианты, методы работы. О моих книгах можно сказать, что писали пятнадцать разных людей. А приемов – кошмарное количество. С этим еще в веках разбираться. Сейчас никому не по силам. Все критики – одномеры.

Ну этот круг последний, – говорит он. (Мы третий раз обходим по лужам и талому снегу квартал). – Ты понял хоть что-нибудь из моей столь сумбурной речи? Литература – одно, а жизнь – другое. Между ними непроходимая пропасть. Литература только использует жизнь, и только как декорации, но не как существенное. Два полюса литературы: Боккаччо – неслыханные, полные вымысла новости; и Чехов – скучные факты жизни.

22 ноября 1994 года. Он в рубашке в крупную клетку, какие он любит носить. Белые волосы. Говорит, показывая на верхнюю полку книжного стеллажа:

– Кант мне не нужен. Я его усвоил. У него категории и никаких отклонений. Вот Лейбниц мне интересней, у него – варианты. С Платоном никогда не расстанусь, и вообще с греками. Я оставляю то, что мной еще не усвоено. Есть вещи многозначные, многогранные, загадочные, непостижимые, сколько бы ни смотрел – остается неосвоенное. А есть вещи, которые усваиваются легко, быстро исчерпываются. Мной. Зачем

они мне? Любоваться? Играть в игрушки? Не надо. Никогда не расстанусь с Феофаном Греком, с Рублевым, с иконописью. Оставил бы и Малевича, если бы у меня был хороший альбом. Матисса оставлю – он в своем роде идеальный художник, не выше, не ниже. Чистая живопись. Хочется возвращаться, смотреть. Какая-то потребность духа, подзарядка. Вообще, это трудно определить – почему к одним вещам хочешь возвращаться, к другим – нет. Это индивидуально. Те вещи, к которым возвращаешься, чем-то еще могут тебя питать, не исчерпаны. Сезанн – революционер. Какой же он идеальный. Отнюдь.

Вот, начал новую повесть, уже листов двадцать. Это не для сравнения с тобой. Ведь я – машина для письма, заведенная с детства.

В сентябре написал повесть "Остров Целебес". А теперь делал коллаж. Самый занудный этап работы. Много каких-то кусков, и не знаешь, что куда и как скомбинировать. Так называемая сублимация.

Зверев – этаким красавец, постимпрессионист. Но – ничего нового, нет новых приемов, нового явления. Кулаков, Михнов, Грицюк – те другое дело. У них, действительно, много новых приемов. Они – новое явление в искусстве. Ведь содержание – нуль. Важна только форма. Грицюк первый сумел создать высшую живопись в технике акварели. За всю историю живописи. Он сделал это открытие. Глазунов – бездарность бездарностей. Кич. Дурной вкус. Сейчас мода на дурной вкус. И она продлится еще долго. Так и одеваются, такие покупают картины. Я имею в виду народ. Пестрота, красные пиджаки, грубая ткань. Дешево и сердито. Но есть и ателье для избранных, для аристократов. Строгие твидовые костюмы, те не по карману. Вот ведь совпадение! Глазунов – самый модный современный художник. Псевдохудожник. Пишет портреты вождей. Заказы так и сыплются. Нарасхват. И что самое ужасное: портреты поразительно похожи на оригиналы.

Символисты мне чужды, но они жили в мире высшей культуры, высшего интеллекта. Статьи Вячеслава Иванова блестящи.

3 декабря 1994 года. Идем на прогулку. Он продолжает начатый дома разговор:

– Имеют значение только те, что создали новое, то, что до них в литературе (в искусстве) не существовало, и тем самым повлияли на мировую литературу (искусство). Новая форма и новая духовность неразрывны, одно слито с другим. В конце концов, все сводится к новой уникальной психике – как новому духовному явлению в мире. Личность, обладающая этой уникальной психикой воплощает ее в небывалой художественной форме. Таково самовыражение этой личности. Скажем: Байрон. Совершенно новая психическая и духовная форма в мире, избрал новый тип героя и тип поэмы. "Чайльд Гарольд" и прочее.

Изобрел романы в стихах – чего в мире не было. Повлиял на всю мировую литературу, на психику, дух века. У нас в России это сделали только футуристы (поэзия) и живописцы русского авангарда: Малевич, Матюшин, Татлин, Филонов, Кандинский, Шагал. Те формы, которые изобрели в стихе Маяковский, Хлебников, Крученых, Пастернак, Цветаева – в мире не было. Аполлинер делал похожие открытия параллельно Хлебникову, но не тот масштаб. Поэмы Цветаевой – уникальны, такого еще не было. Все это – новый вид психики.

Достоевский – уникальный пример в мировой литературе: нет языка, нет новых форм, нет новой информации, а трясет от каждой страницы. Почему? Эпилептик. Из реальности он создавал безумные импровизации, сумасшедшие композиции. Так что реальность уже не узнать – преображена, перевернута с ног на голову, жутко искажена, гиперболизирована. Что такое Раскольниковы в действительности: обыкновенные тупые убийцы. Смешно искать в них какие-то муки совести или духовные искания. А что внес в этот персонаж, в историю убийства старухи (таких историй во все времена – тысячи) Достоевский? Сам он и является этой формой, эта его эпилептическая трясучка. И абсолютно неподражаемо. А как подражать этой ужасающей трясучке, этому безумию? Ступенькам Маяковского подражать можно, а этому – немыслимо.

Кафка – та же тематика (информация), что и у Достоевского. Но Достоевский неизмеримо шире, многообразней. Может быть, Кафка в языке, но это в переводе до нас не доходит.

Пушкин – только язык, больше ничего. Психика абсолютно средняя. Ничего нового, никаких изобретений мирового значения, на мир влияния нет. Таких поэтов в мировой литературе полно. Прекрасные поэты, прекрасный язык. Но и только. Державин, Фет, Блок. Все – до футуристов. Лермонтов – психика выше, а язык хуже, чем у Пушкина. Может быть: язык прекрасен, но нет открытия нового, и язык плох, но есть открытие.

Лесков – большой прекрасный писатель. Могучий язык, свой уклон, угол зрения. "Очарованный странник" – святой-убийца. Хорош святой, нечего сказать. "Левша" – подковал блоху, и она перестала прыгать! Тут весь абсурд русской жизни и русского характера: сделать бесполезное, выдавая это за героическое деяние, за подвиг.

Гоголь – по сути дела весь в живописи языка и типажах, в уникальной живописи – то, что абсолютно непереводаемо. Значит – для мировой литературы он все равно что не существует. Что переводят? "Нос", "Ревизор" – там, где яркая игра образов, странная фантастика, или типажи, то, что можно увидеть. И таких писателей, непереводаемых, много.

Вообще, когда посмотришь на литературу с такой высоты – опадают многие имена, очень многие, казавшиеся значительными.

В живописи важны тональность, нюансы. Это как язык.

Бунин ужасно пошлый, весь от начала до конца. Апофеоз пошлости. Такие писатели – во все века. "Дафнис и Хлоя" Лонга – такая же пошлость, ничем не лучше. Пушкин "Капитанская дочка", "Дубровский" – под Вальтера Скотта и Шиллера. Вот "История Пугачева" мощно, железный язык. Аввакум – это другое, он, все-таки – дневник.

Что такое реализм? Вот именно: копия с действительности. И такая копия, где черты отобраны или выделены особым эстетически-моральным принципом: чтобы этот образ действительности, это его изображение и отображение предназначались для человеческого удовольствия или усовершенствования, чтобы человек мог увидеть – что такое прекрасное, или что такое уродливое. То есть, реализм – это не просто копия с действительности, а копия идеализированная. Натурализм куда лучше – он хоть беспристрастен, и его принципом является показ реальности под увеличением чудовищного микроскопа. 99% людей пошлы, поэтому им нужен только реализм, то есть, только пошлость, ее они и читают во всех видах.

Нереализм – это фантазия художника, свобода воображения, сочинительство, изобретательство. Рабле – какой фейерверк фантазии! "Гулливер" Свифта! Когда Гулливер (мошка!) ползет по телу великанши и описание этого тела – вот жуть!

Оставляю только греческую философию и китайскую. На фоне чистой греческой философии занудное, многословное, тупое немецкое мышление выглядит не лучшим образом. Так что, от Канта я избавляюсь без всяких сожалений. Аристотель – компилятор, тоже не нужно.

Терпеть не могу восточную литературу за морализаторство. И за то же – Льва Толстого. Все они пишут – каким человек должен быть правильным. Ну, ну. Пусть пишут. Людям это очень нравится.

Индийская философия – ужас! Я не могу ее читать. Ничего там не понять. Для нас недоступно. Это все равно, что изучать теории стихосложения и, не сочиняя стихов, то есть без практики, пытаться понять – что такое стихи.

У Гоголя в "Мертвых душах" – какие сочные типажи!

"Помочиться" звучит более жутко, чем поссать. В статье, которую я посылаю в Париж, в журнал, я так и написал. Так сильнее. Я решил отказаться от мата.

19 декабря 1994 года. Сегодня он высказал свое суждение о моей новой книжке рассказов "Человекопад":

– Это совсем другое дело. Хорошие рассказы. Да, книжка абсолютно закончена. Никаких замечаний. В продолжение первой

твоей книги "Одна ночь". Кстати, это я тебе дал название. Но эта – другая. В другой стилистике. Сделана крепче. Юмор. Неожиданный для меня. Этаким реализм. Разве что нет масштабности – как в "Одной ночи". Что ж, подумаем, как тебе помочь опубликоваться. Опять позвоню Стукалину.

Индусы принимают ужасные наркотики, чтобы выйти в иные миры. Всё это через разрушение организма, страшные состояния. А зачем? Если хочешь иных миров, почему не попробовать самому создать их при здоровом уме и здоровых чувствах.

Почему я к одним возвращаюсь, перечитываю, а к другим совсем не хочется? (Ведь хороших писателей много). Всегда буду перечитывать Гоголя, Лермонтова "Герой нашего времени", Достоевского "Братья Карамазовы" и особенно "Преступление и наказание". Заглядывать в Державина. А Пушкина – не хочется. У Гоголя и Державина живопись в языке. А к живописи всегда хочется возвращаться. Многозначность, многоплановость, неисчерпаемость, загадочность эта, мерцание смыслов, образов, игра языка и так далее. У Достоевского "Преступление и наказание" – колоссальное обилие деталей, и как он ими вертит! Чудовищно! Только зачем – Сонечка Мармеладова? Это он в спекулятивных целях: сентиментальность – чтобы читатель пустил слезу, чтобы читал. Конец – разумеется, надо бы отбросить. В XIX веке еще не знали, что конец не нужен. Доведение до логической завершенности. Это искусственно, натяжка, любая логика прямого характера. Вещь только портится. Зачем – если в глубинном смысле всё сказано? Писать для дураков?

Пушкин изобрел русский язык, на котором писать. Но писать на этом языке бесконечно – абсурд. А так – у него ведь всё однолинейно, ясно, просто. Усваивается мгновенно, запоминается наизусть. Возвращаться не хочется. Неинтересно.

Кант – категории. Неинтересно, занудно. Платон – другое дело. Коран – сколько ни пытался читать – не могу. Занудство. Марсель Пруст – тоже. Может, на французском и звучит. На русском – многословие, скука.

Пишут: чистый разум – это высшее. Мыслить абстракциями. Чистый? Все равно что себя оскотить. Чист – поневоле. Но о чем таким разумом мыслить? Идеи? Однопланово. Схема. Познакомился – и на этом интерес кончен. .

1995 год

5 января 1995 года. Гуляли в зимнем лесу, мороз, разговор о разном. В лес он не берет слуховой аппарат. Я написал ему на листе карандашом: "Рабле – вроде футуристов". Он согласился:

– Разумеется. Все оригинальные писатели в мировой литературе – футуристы. Все, кто повлиял на мировую мысль. Гомер, Катулл, Рабле, Сервантес, Свифт, Уитмен и другие такие же. У всех у них что-то космогоническое. Провидцы, предсказатели. Откуда Свифт мог знать в XVIII веке, что у Марса два спутника? Очень много среди таких высших гениев – ирландцев. Рыжие. Залежи ртути. От этого и мозги. Ирландцы и шотландцы. Сосредоточенность – главный принцип и в художественном творчестве и в духовном искусстве. Восток – сила духа. Духовные силы, то есть – психические. Не столько врожденное, сколько школа, обычай, из рода в род, традиция, система упражнений. Художественное творчество требует колоссальной способности восприятия – ведь надо составлять сложнейшие комбинации, композиции из миллионов составляющих. Ошибешься в оттенке (живопись, стихи) – всё погребло. Произведение испорчено. Тут работа идет на уровне интуиции. У ученых, в науке – примитивные, простейшие комбинации, только память и эрудиция.

Перечитываю Гоголя с точки зрения идеологической, психологической. Никто его так не читал. Ну и бред получается, безумие. Все-таки, у него с головой было не в порядке. Этот парень, все-таки, был придурок. Но это несколько не умаляет его достоинств. Вот почитай это место из "Тараса Бульбы": запорожцы жгут монастырь. Картина пожара, повешенные монахи, как грозди слив, всё это пышноживописное описание самого чудовищного, как ни в чем не бывало, без отчета, и безумные перескоки на другое – птицы и так далее.

– Напечатаеть эту свою книгу, и что дальше? – спрашивает.

– Дальше пустота, – отвечаю.

– Нет. Почему же. Не пустота, – возражает он. – Книга напечатана. Это уже не пустота. Но и напечатано и написано у тебя страшно мало. Надо будет что-то предпринять, чтобы тебя приняли в Союз писателей. Но об этом пока рано. Может, тебя убьют за это время. Или я умру.

После продолжительной паузы:

– У животных психической силы больше, чем у людей. Читал Дафну дю Морье "Птицы"? Животные действуют на нас, на нашу психику, мозг. Мы на них – нет. Неизвестно еще, кто выше – мы или животные. Ведь наша цивилизация искусственная, а у них – природная.

Переводчик – тоже писатель. Он как бы вышивает по чужой канве. Любимов – бездарный переводчик. Сколько книг он перепортил!

Японцы оригинальны физиологичностью. Это у них от их климата. Акутагава Рюноске как раз наименее оригинален. У него ориентация на Запад. Кобо Абэ куда больше.

24 февраля 1995 года. Гуляли более четырех часов по длинной дороге. Снег утопан, идти легко. Он в тулупе, кожаная шапка с опущенными ушами:

– Я вообще не читаю ничего серьезного. Серьезное, значит – тупое. С детства не люблю Льва Толстого вот за эту самую серьезность, за его тупое морализаторство. Учит людей – как им жить! В наше время – Солженицын. Этот переплюнул. Этот не только учит, как жить, он учит – как управлять государством. Дальше ехать некуда. Вообще, вся русская литература – какая ужасная картина! Все русские писатели какие-то задавленные, трусливые, несвободные, принужденные, с комплексами. Страна рабов! Первобытнообщинный строй, до сих пор. В русской литературе – никакой игры, никакого остроумия, легкости и непринужденности свободного человека. Что? Гоголь? Когда я говорю о русской литературе, я никогда не имею в виду Гоголя. Он – не русская литература, он – вне русской литературы, он – величина совсем других уровней и масштабов, мировой писатель, каких единицы. Этаким эпический чудак. Все его персонажи стали нарицательные. Да, еще одна свободная книга – "Герой нашего времени" Лермонтова. Печорин – персонаж, которому в России подражали в жизни. Но книжка-то маленькая, больше у Лермонтова ничего, поэтому в мире он не звучит. Вся остальная русская литература – ущербная, вымученная, зажата, литература рабов. Ведь ты посмотри: ни одного увлекательного, авантюрного романа мирового значения. А в Европе сколько! Дюма, Стивенсон, Конан Дойль. В Лондоне памятник Шерлоку Холмсу!

Мирбо, Гюисманс – да, замечательные писатели, остроумные, тонкие и живые. Так называемая литература "второго ряда". А первый ряд – гении, значит – тупость.

Джойс? Он мне неинтересен. Видимо, он весь в языке, как и я, а это непередаваемо. Но у меня много разных ходов, приемов, поворотов, игры. У него – почти не замечается, метафора быта и мифа античности, филология, некоторая ирония – вот и всё.

Афанасьев – вот, кстати, прекрасный русский писатель. "Сказки". "Поэтические воззрения славян на природу".

Для меня было настоящее открытие – Дафна дю Морье. Тонкая психологическая игра с детективной темой. А рассказ "Птицы" вообще – гениальный.

Погода гнетет, и бетонные стены, теперь я зимой ничего не могу писать.

Умение писать, мастерство – это только первая ступенька писательства. Это само собой, об этом нечего и говорить. Не умеешь писать, значит, ты вообще не писатель, а что-то другое. Но уметь писать и знать – что тебе нужно сказать, и суметь сказать это... Вот тогда посмотрим.

14 марта 1995 года. Гуляли в лесу. солнечный день, на дорожках еще снег, по-мартовски свежо. Он рассказывал, как он открыл двух ранних "шагалов" в запаснике Псковского музея.

– Ведь я – оценщик живописи, таких, может быть, десяток во всей стране. Месяц жил в этом запаснике (подвале), тогда молодой, 23 года, много пил. Директор музея – женщина. Утром проснулся, разлепил глаза, вижу: картина у стены, фантастический кусок. Что за чертовщина! "Это же у тебя Шагал!" говорю ей. Написали письмо Шагалу в Париж. Он ответил: точно сказать не может, но не исключено, что это его ранние работы. Потом экспертиза удостоверила две его картины, висят в Псковском музее в зале.

С Татлиным был знаком. Мне было шестнадцать. Татлин тогда маразмиковал. Писал цветы, роскошнейшие букеты. Дай бог так писать. Блестящая живопись. Но так могли бы и другие. Одним словом, это прекрасно, но это не Татлин, не тот художник высшего уровня, великий, каким он был еще в 1920-м. Я не понимаю, почему они все тогда сломались, я имею в виду великих, все до одного, кто остался в этой стране. Сломались духовно, психически. Вот и Пастернак. В "Сестра моя – жизнь" он – величайший поэт. А потом – провал. Он пишет "Лейтенанта Шмидта" и считает это своей новой вершиной. Как это понять? Не понимаю. Вообще, меня всегда интересовало: что художники думают о себе.

Отчего перестают писать? Оттого, что заходят в тупик. Я имею в виду – высшие художники. Они затрачивают колоссальное количество энергии на свои произведения, потому что добиваются вершин, ищут открытий, создают изощреннейшее. А ведь силы у организма не безграничны, есть предел. Силы истощены, организм перестает работать, у него нет больше возможности чего-нибудь достигнуть. Это в крови, это вегетативная система. Так, например, сорвался Гоголь. Величайший писатель, мирового уровня, каких мало. Он писал всего десять лет. А потом жил еще десять, и писал, но это было уже все равно, что не писал, и он понимал это. Понял – перестал жить, потому что жил только этим.

Средние художники могут писать до глубокой старости, не истощаясь, потому что цели ставят перед собой средние и соответственно им и затрата энергии, спокойный режим, тишь и гладь. Ведь великие художники живут в стрессах и пишут в стрессах. Потому что эта жизнь вокруг них, которой живут все, эта действительность – что в ней интересного? Однообразная серая скука, и так всегда. Все эти ахи: ах, природа! ах, закат! Крестьяне каждый день видят эти закаты и не замечают. Надоели они им до смерти. А в стрессе, в переживании изнутри, во внутреннем взрыве ломаются грани, возникают странные, загадочные, великолепные или ужасные миры. Вообще, художники живут в себе, собой, для себя. Я говорю о творчестве и произведениях. Никакого дела нет ни до читателей, ни до денег, ни до славы. Только – достигнуть намеченных самому себе вершин, сделать то, что ты сам хочешь. Художник перепрыгивает с вершины на вершину и при этом может сорваться, может писать дерьмо. Но это его дерьмо, он стремится из него выбраться и достичь новой вершины.

Другой тупик – это когда у художника исчерпываются его формы. Вот я уже двадцать лет не пишу стихи, ни строчки. Я самый разнообразный из всех русских поэтов. Разнообразней Хлебникова. О Пушкине нечего и говорить, какое у него разнообразие? Но я исчерпал все мои, возможные для меня формы. Больше мне придумать нечего. Мои нервы, моя кровь не загораются работой, у них отпала потребность сочинять стихи. В прозе – дело другое. В прозе я вижу еще много неиспользованных ходов. Исчерпаются возможности в прозе, что ж – перестану писать. Да и сколько можно. Возраст-то какой. Шестьдесят лет. В таком возрасте уже нельзя писать. Писать, конечно, можно – херню, том за томом, до бесконечности. Но я себе просто запрещаю. Тут действует моя железная воля.

Вот уже сколько времени ни одной звезды в русской литературе, никого, пусто. Ты знаешь кого-нибудь? Вот и я – тоже. Три варианта. Первый: может быть, уже никого и не будет. Второй: будет завтра. Третий: будет, скажем, через семьдесят-восемьдесят лет. А что? После Пушкина никого не было лет восемьдесят. Но потом зато уж повалило кучей. Пушкин всех перечеркнул, ну, кроме Лермонтова. Все эти Языковы, Вяземские, Баратынские – разве они поэты? Они писали хорошие стихи, и только. В стихах у них всё было спокойно, никаких бурь. Пушкин весь – порыв, вихрь. Фет? Ну, сравнил! Да, Фет блестящий поэт, но рядом с Пушкиным он – мушка. Скажем так: поэтические и технические качества у него такие же, как у Пушкина, того же уровня, а силенок вот столько. Капля. Что он увидел? Что открыл? Природу? Чувства? Ну, музыкально. Пушкин увидел несравнимо больше. Он открыл летящий и сверкающий мир.

Художник делает открытия интуитивно (в отличие от ученых). В его фантазиях безотчетно возникают такие поразительные, опережающие время и накопленный запас знаний, идеи, которые потом используют в науке и практической жизни. Художник мыслит не логически, не путем накопления знаний, а интуитивно, безотчетным порывом. Леонардо да Винчи таким образом изобрел почти всю современную технику: подводную лодку, вертолет, танк, торпеду и так далее. Творчество – изобретательство. Да, в своей области. Придет кто-то другой, перемелет все мои формы, к которым я уже не в силах что-нибудь прибавить, не вижу, что прибавить, и изобретет свое, множество каких-то новых форм, потому что увидит то, что я не вижу, потому что новый гений, потому что – другой.

Стивенсон? Романы его чрезвычайно растянуты. Так, есть сильные кусочки. Но его "Остров сокровищ" – это вещь!

Скажем, такой пример: многие могут научиться водить автомобиль и ездить на нем по всем правилам, ездить великолепно, с безопасной скоростью, спокойно, ничем не рискуя. Но гонщиков – единицы. Они несутся, как безумцы, вне каких-либо правил. Знание машины и все прочее у них в крови, им уже не нужно, стало интуицией, они об этом и не вспоминают, машина и их тело, их воля – одно целое. Они поворачивают, как хотят, они гонят, куда им угодно. Так и художники, те, гении, тем они и отличаются от людей обыкновенных.

9 апреля 1995 года. Сидим за его столом у окна. Метель. Он в светлой рубашке, седой, нервный. Говорит:

– Ленинград – самое ужасное место в мире, самый отравленный город, самое чудовищное экологическое положение, это признано международными экспертами. Наихудшее состояние, и физически, и психически. Колоссальное количество дефективных. Да что там! Вся страна – самая дефективная в мире! Весь XX век дефективный. Разве это нормальное поведение людей? Нормально для человека доказать свое превосходство над другим в честном бою, с равным себе или с тем, кто сильнее. Наполеон нападал только на тех, кто был сильнее его, и побеждал. Нормально для людей, вообще, для этого мира и этой жизни – бороться. Все тут в состоянии борьбы. Но когда убивают исключительно из-за угла, нападают только на тех, кто слабее, уничтожают беззащитных, целые народы, как например, Гитлер и Сталин – это уже ни в какие рамки не лезет. Это непонятно, потому что ненормально, это нелепо, и можно объяснить только трусостью, тупостью и низостью, то есть, дефективностью. Это ничтожества, нули и в физическом, и в нравственном, и в умственном смысле. Поэтому вся история советской и современной эпохи, и больше – весь XX век мне абсолютно неинтересен,

как неинтересна любая тупость и низость. А теперь такая эпоха – когда тупость и низость стали тоталитарны, планетарны. Эпоха тупости и низости.

Вся эта страна, все ее жители живут в грезах, в мире блаженных иллюзий. Вот что меня поражает! Вся молодежь. Никто не смотрит реальности в глаза, не знает, что он может, а что ему нельзя, иначе – смерть.

Философы, конечно, выше художников. Философ – это ум, он прозревает миры, он спокоен. А художники – невротики, психические срывы. У меня, например, самый обыкновенный ум, мне не дано прозревать высшие сферы, абстрагировать. Я только показываю картинки. Платон – величайший ум, единственный в мире, никто пока еще даже близко к нему не стоит. Он проник во все области, все сферы, в пределах земного и за пределы земного, и на грани земного и космического. Он всё объяснил на века, и до сих пор только его открытиями и живут, только и разрабатывают и развивают его идеи. Железная психика, спокойный, невозмутимый, как сам космос. Полубог. Сын бога. Таков по рождению и по образу жизни. Так он и жил. Шекспиров было и может быть еще много, а таких, как он, пока не было, он единственный. Я? У меня нет подобных претензий. Я не настолько самонадеян. В самом лучшем случае племянник бога, самый дальний племянник. Я знаю свой потолок. Что мне доступно, а что нет. Это мышление мне недоступно, это для меня сложно и слишком умозрительно. Я не философ. Мне доступно только то, что наглядно. Каббала мне и совсем не по зубам. И чужда. Также вся индийская философия. Всё у них чудовищно, всё – безумие.

Что тебе сказать. Для себя я установил твердо: ни в коем случае не принимать условий их игры. Смотреть реальности в глаза, а не жить в мире блаженных иллюзий, как почти все тут. На себя я достаточно посмотрел за 50 лет поклонения. Неужели я так никогда и не вырвусь из этого состояния? Я могу работать в году только три летних месяца. А, брось ты!

То, что тебе интересно читать, то, значит, твоё. Ты только раскрываешь себя, узнаешь то, что в тебе уже заложено. А то, что тебе неинтересно – не твоё, чуждо тебе, нечего и читать.

Мой "День Зверя": и всё вымышленно, и современно. Разве ты найдешь в жизни такого монстра Скорлупко?

13 апреля 1995 года. Снимаю трубку, его глухой голос: "Слава, приветствую тебя. Думаю, у тебя появилось желание прогуляться, но ты почему-то это от меня скрываешь".

Идем в лесу. Солнце выглянуло. На дороге грязь. Но в чаще полно снега. Бурный ручей. Кое-где травка зеленеет. Он в резиновых сапогах, длинная синяя куртка, шерстяная шапка с козырьком:

– Равных древним в европейской литературе мало. В России в XX веке – Маяковский, Хлебников, Пастернак, Есенин. И то недолго. Все сломались. Все до одного. Древние были могучи духом и свободны, писали, как им хотелось, спокойно, были самими собой и больше ничего, их ничто не отвлекало от главного в мире, от космического. А в так называемые новые времена слишком многое писателя отвлекает: деньги, слава, положение, быт, комфорт. Цивилизация дала богатство быта. Это ужасно отвлекает. Машинная цивилизация – не машина для человека, а человек живет, чтобы обслуживать машины. Вся эта логика техники. А писатель, художник – это антилогика, это интуиция, проникающая в тайны космоса. Машины и всё это нагромождение техники и современного быта страшно мешают работе интуиции, затмевают ясность мозга.

Шекспир? Нет, и Шекспир не равен древним, слишком приглашен культурой, компромисс с условиями жизни. А как же! Вся современная культура навязывает свои условия, комплексы, от них не уйти и великим. Самыми свободными были греки. Огромную роль играет климат: плодородная почва, тепло, легкий хитон, сандалии, тело дышит, омовения, купание каждый день, фрукты, большой досуг. Гоголь, да, равен древним. Пушкин – нет. Только одно стихотворение – "Бесы", и больше ничего. Что такое, в конце концов, эта свобода писателя, эта гениальность, это высшее или назовем наиболее верным словом, гениальное – это нерв, пронзающий космос. Как стрела пронзает сердце. Но это был единственный полноценный человек в России, человек свободный, без комплексов. Ну да что ж удивительного: у него предки эфиопы. А Россия – это страна рабов и убийц, такой она была всегда, такой и будет – ничего не изменится.

Да и что такое поэт? Это и есть – божественность. Неважно: писатель, проза или, вообще, ни слова в жизни не написал, но пережил такое состояние. Божественность поэта познается через язык. Все остальные, миллиарды пишущих стихами, разумеется, никак не поэты, они всего-навсего научились писать стихи, но это не так уж и трудно.

Последняя поэма Маяковского "Во весь голос" – всплеск гениальности. У Есенина тоже под конец – "Москва кабацкая". Блок сломался в "Возмездии", а затем уж и совсем – в "Двенадцать". Эта страна всегда требовала не быть собой, требовала подчинения, требовала жить для страны, для народа, то есть – служить. Жить – служить, то есть не быть самим собой.

Так называемое вдохновение. Что это значит? Это значит – легкость. Пишется легко, полет, перо летит, только успевай записывать. И в этом состоянии нельзя останавливаться, нужно написать как можно больше. Этого не запрограммируешь, не запланируешь – прихода этого состояния. Неизвестно никому – когда оно посетит или не посетит

никогда. Приходит время, когда нельзя не писать – вот и всё. И пишешь, ни о чем не думая и ни о чем не заботясь, в меру своих способностей. И в этот момент работы в писательство, в его орбиту вовлекается всё, что угодно, что попадет. Конечно, как правило, оказывается две трети дерьма. Затем наступает момент, когда поток писательства, все-таки, иссякает, как и всё в этом мире. Тогда наступает следующая стадия работы, главная и для меня самая интересная и важная, возносящая меня на трон. Тут я чувствую себя богом. Я выкидываю всё дерьмо и оставляю только золото, я – Наполеон перед своей армией фраз; я делаю перестановки, монтаж, не только частей, глав, но и фраз и частей фраз, и слов. И вычеркиваю, вычеркиваю, вычеркиваю. Так я добиваюсь безукоризненности. Никогда не мог улучшать прибавлением, это выше моих сил. Только сокращением и перестановкой.

Главное: найденный нерв, а вокруг него уже нарастает мясо. Нерв – молния вдохновения. Это, может быть, найденный характер, событие, образ, сюжет, фраза, даже одно слово, и вокруг него, нерва, начинает всё крутиться и вырастать. Или он есть, или его нет. Это или дается или не дается, как потенция, энергия, талант. Всё, что написано не в таком состоянии – графомания. Всё, что написано для иных целей, с установками. "Воскресение" Толстого – жуткая графомания, самый яркий образчик. Почему писатели так часто алкоголики? Понятно: энергия, встряска организма. Кончается энергия, опять – доза алкоголя.

Флобер врал, когда писал, что он над одной фразой работал неделями. Не получается – отбросить ее, вот и все. Найдется тысяча других. Это обыкновенный писательский опыт. А биться над фразой – тупость. Подумаешь – величайший стилист.

В прозе это, собственно – термообработка найденного нерва, чтобы его усилить.

Черновики Пушкина, да любого поэта – чудовищно. Как будто топором фразы вырубал. Такой труд! Но это работа вокруг уже найденного нерва, чтобы не убить его, а чтобы он засверкал в полную силу.

У меня каждая книга – разная, то есть, в моей сфере – открытие. Я не могу себя повторять. Если я написал книгу – всё, она для меня единственна. Также писать, как она написана – для меня запрет. Мысли мои начинают крутиться в другую сторону, отталкиваясь от этой формы, избегая ее, мысли помнят, что это неуютно хозяину, и, в конце концов, наталкиваются на что-то иное, для меня. Открытие. Новая книга. А писать в одном, найденном стиле, который якобы соответствует натуре автора, всю свою жизнь, год за годом, как Толстой, Тургенев, Набоков и прочие – какая скука, какое занудство, какой ужас! Да мне лучше повеситься!

Главное, не колебаться, не сомневаться в своих силах. Никакой

суеты и нытья: вот не пишу и не пишу. Уверенность в своей потенции, в том, что можешь написать в любой момент, когда Это придет.

Я никогда ничего не придумывал, ничего не изобретаю и не изобретал. Я интерпретирую реальность, орнаменты на основе реальности.

Наша жизнь: о чем тут говорить. Грустно и нелепо.

28 апреля 1995 года. Идем в лес. Холодный ветер. Он в той же длинной синей куртке на ватине, шапка с опущенными наушниками:

– Любый одаренный писатель рано или поздно понимает, что у него нет и не может быть читателя, потому что он, писатель, неповторим, уникален, и адекватного ему человека нет нигде. У каждого свой мир, и никто этот мир постичь не может, не способен от природы, потому что иное, не твоё. Поэтому все таланты одиноки, живут обособленно, замкнуты, сами в себе. С возрастом всё более одиноки. Центростремительность. Несовпадение своей жизни с внешней, тупики – отчего и самоубийства художников. Срывы психики. Это одиночество только для тех, кто способен осмысливать свою жизнь, и осмысливать по-своему. Это исключительно свойство людей талантливых. А большинство тупы, они ничего не в состоянии осмыслить и живут бессознательной жизнью.

Пушкин – только язык. В прозе у него не было своей темы. Он не знал жизни, у него не было настоящего материала. У Лермонтова этот материал был: служба в действующей кавказской армии, да он этот материал знал с самого низу, с самой земли, самый настоящий. И вообще: главное – материал плюс талант. Есть материал, знаешь его, любишь – делай из него, что хочешь: реализм, фантастику, кубизм, что угодно. Нет материала – все будет неживое, надуманное, высосанное из пальца, пустой идеализм, а вернее – ничего, пустота.

Чем больше читаешь великих, тем больше видишь у них провалов. И у Гоголя. У него только две вещи чистые: первая книга и последняя – "Вечера" и "Мертвые души". "Петербургские повести" – дидактика, маленький человек и прочая демагогическая чепуха. "Тарас Бульба" – гениальные куски: описание сражений и как пытался вызволить из тюрьмы Остапа. А где у него про товарищество, о католиках, патриотизм – всё это и нелепо, и пустая демагогия. Ну так ведь писалось на стол Николаю. Удивительно: как там еще гениальные куски остались.

Опять же о материале. Бывали анекдотические случаи. Бабель, например, чувствовал в себе могучую литературную силу, а материала нет. И пошел за материалом в конницу Буденного. "Конармия", конечно, его лучшая книга. Одесскую блатную жизнь он тоже хорошо знал – и эти рассказы хороши. Вот две его темы.

А Пушкин был в тупике: язык могучий, а материала для него нет, то есть, своего, выстраданного, кровного, изнутри.

Так называемые гении – это пожиратели всего вокруг себя, великие пожиратели. Это особая природная потребность, активность ощущений: читать, слышать, видеть, осязать, всё интересное, что попадает в сферу притяжения, абсолютно всё. Гигантский насос. И преобразование всего этого материала в своих формах. Гигантские трансформаторы. Колоссальность знания. У художника – знания художественного, образного. Эта потребность пожирать всё яркое, всё интересное вокруг себя и трансформировать – непреднамеренна, органична. Такого уж выродка создала природа. Или – такого Человека. Иначе он просто жить не может. Ему надо постоянно что-то поглощать. Это гигантская топка. Пушкин съел весь XVIII и XIX век, всех своих современников и предшественников, и создал свою вселенную, в которой всё им поглощенное существует в усиленном и трансформированном виде. Уж лучше читать такого пожирателя-гиганта, чем всю мелочь, им поглощенную. Таких в истории – один на столетие. А Платон или Леонардо – один на всю человеческую историю. Непреднамеренность – это и есть талант. Я тоже многое поглотил, можно сказать, полмира. Но есть вещи, которые не съешь, они недоступны, потому что слишком своеобразны, неповторимы: "Облако в штанах" Маяковского, "Сестра моя – жизнь" Пастернака, или система Пушкина. Но Хлебников мной поглощен весь, с потрохами. А говорят: вдохновение. Вдохновение – только миг. А главное то, что постоянно: это всеобъемлющее знание вот такого пожирателя, новая и новая пища для его ума.

Есть иной путь: писатели меньшего масштаба, из явлений мира выделяют только свое, им присущее, их оригинальности, этим малым миром и существуют, мастера, они, как правило, маложивые. Их-то в первую очередь и проглатывают гении-пожиратели.

Читал маркиза де Сада. Какая скука. Это абсолютный идеализм. Он абсолютно ничего не знал, о чем писал, и, должно быть, был онанист и всё выдумывал, чтобы себя распалить. Всё у него открыто, топорно, однообразно, догматично, никаких поворотов, новых приемов, чистейшей воды соцреализм. Такое же незнание материала, невладение темой, такая же тупость и мертвость. Поток банальностей. Всё у него рационально, логично, а значит – тупо. Самый здравомыслящий в мире писатель, в роде Толстого. Он на меня никак не действует. Я, например, давно поставил для себя запрет: не писать никаких серьезных мыслей. Все рассуждения на так называемые серьезные темы заведомо банальны и повторены не одну сотню раз. Если попадется парадоксальная мысль – другое дело. Или – мышление образное, то, что и является профессией художника, да: мышление метафорическое, образное. А дидактика,

риторика, логика, здравомыслие и прочее – всё это надо себе запретить самым безжалостным образом.

Тебе скучен Беккет. Неудивительно. Он, как и Ионеско, писатель одного метода. Они открыли новый прием в литературе. Прием резкий, поражающий в первый момент. Но когда и вторая и третья книга тоже самое, и всю жизнь – ужасно приедается.

Футуристы, их пафос, внутренне напряжение, это-то и люблю в них, но они стали архаичны.

Нужно обязательно разнообразить приемы. Но это должно быть органично. А у меня сейчас тупик. Такие тупики у меня, бывало, длились по три-четыре года. А вдруг больше ничего не будет?

28 декабря 1995 года. Сегодня встречал его в Пулково. Он из Парижа. Тяжелый чемодан и сумка. Взяли машину. Когда подъехали к его дому на проспекте Ударников, сумерки превратились в мрак. Морозно. Он три месяца был в Марселе по приглашению тамошней академии. Выглядит бодро. Говорит мне:

– Написал книжку о Рембо и Хлебникове, вернее, статью. Много и с удовольствием работал. Рисовал! Более тысячи трехсот рисунков! Графика тушью. Вот открылась у меня еще одна клеточка. Что еще будет со мной – непредсказуемо. Может быть, откроется такая клеточка, что я буду – вор, или убийца. Чего только со мной не бывало в жизни. Богатый опыт. Думал ли я когда-нибудь, что стану глухой! Там мне устроили выставку моей графики и оценили. Возможно, выпустят книжку рисунков.

Поднялись на его пятый этаж. Квартира 198. Дверь взломана! Записка. Из охраны: вскрывали, сработала сигнализация.

– Сюрприз! С приездом! – говорит он, присвистнув. – Пойдем покурим.

Он курит в ванной, сидя на табурете:

– Хоть отдохнул от этой страны, этой помойки. Три месяца мог жить свободно, не думая о завтрашнем дне. Работал. Я могу работать только когда солнце, свет, тепло. Здесь, зимой, во мраке и холоде – невозможно. Есть совы и жаворонки. Я – жаворонок.

Достоевский диктовал свои произведения. "Игрок" – лучшее у него по стилю, продиктовал за десять дней. Сколько писателей, столько характеров. Все пишут по-разному: Хемингуэй – в кафе; Гоголь – в тарантасе; Лермонтов – под пулями, сидел на пенке и строчил; Стейнбек – утром, хлопнув стакан рома и куря трубку. Я, когда пишу – ни грамма алкоголя и в абсолютном одиночестве. Ты – тоже? Надо же – какое совпадение! Это не тема для разговора. Все – разные, ничего общего нет, и объяснять нечего. Достоевский лучшие свои произведения написал под диктовку, это – факт. Пушкин – не святой, отнюдь, а скорее

наоборот, писал доносы. На кого только не писал, в Третье отделение. Как это называть? Гоголь – девственник, думал, что женщины ему помешают писать. Пушкин, наоборот, хватал всех подряд, кого только мог. Уэлс – примерный обыватель, а какие милые фантазии сочинял. Стивенсон, больной вдребезги, парализованный, а как писал! Я говорю: правил нет. Сколько писателей, столько способов писать. А результат – одинаково гениален, или бездарен. Меня вообще не интересует: кто кем был. Вот книга, ее и суди. Биографии читать мне было интересно, вот и читал. Но это – как их хотят представить, а не каковы они были на самом деле. Надо самому доискиваться истин. А зачем?

Ничего готового у меня сейчас нет. Что я – машина? Летом написал китайскую повесть, VI век, так, ни для чего, для своего удовольствия. Там еще много доделывать.

Достань мне китайскую "Книгу перемен", там вся духовная жизнь древнего Китая. И тибетскую "Книгу мертвых". Плотина еле прочитал. Ни одной свежей мысли. Также не мог читать "Записки Юлия Цезаря". Лучше обменяй Плотина на Прокла, у него о практической магии.

1996 год

26 января 1996 года. Принес ему три книги: "Книга перемен", "Книга мертвых", Малевич "Статьи". Он сейчас работает над своей китайской повестью:

– Действие происходит в VI веке до нашей эры. Собственно: это метафора. Учитель и ученики. Я – учитель. Ученики – Лито. Сколько я вел последнее Лито? Да, двенадцать лет.

Мой духовный путь: другие с возрастом становятся консервативны, я, наоборот, освобождаюсь. Всё больше и больше. От всех догм, от любых установлений и прочей навязываемой чепухи. Движение вглубь, на поверхности же выглядит, как парадокс. Главное для человека – свободный мозг. Что такое пустота у китайцев? Основная их идея. Сохранять пустоту ума, это значит – сохранять свободу. Чистоту. Ни к чему себя не привязывать и не обязывать. Сегодня я написал так, в таком стиле, таком ключе. Завтра я напишу нечто иное, противоположное, опровергающее это. Оставить себе свободу – идти в разные стороны, куда захочется, ни от кого, ни от чего не завися. Чем человек противоречивее, сложнее, тем он свободней. Он непредсказуем. Чудаки, придурки, с точки зрения нормальных, тех, кто живет по установленным правилам. Живущие и мыслящие по правилам, по обычаям, законам, то есть, по тем или иным догмам – одномерки. Или, как их называл Лейбниц – плоскатики. Собственно, вся западная цивилизация такая. Моралисты. Запад никогда не был свободен.

На Западе главенствует идея стиля. Находят новый стиль или стильчик и держатся за него всю жизнь. Человек-стиль. Единственно, кто был похож на свободного человека, свободный ум – это Сократ и киники. Свифт свободен только в первых трех книгах (лилипуты, великаны, лапуты). Остальное – политика, мораль, Англия. А что такое Англия? Кусочек земли. До чего же всё это убого и ничтожно. И вообще: национализм, патриотизм, государство. Это же ничего, кроме гнусности. Какое мне до этого дело. Да, приходится в этом жить. Пока не трогают и не мешают мне быть самим собой, то есть, быть внутренне свободным – ладно, можно мириться. Больше ничего от государства не требуется. Есть какие-то условия для существования – и хорошо. Какая мне разница – русский я, еврей, или араб, христианин, или мусульманин. Чувствую. Я для них (и для себя) – никто, пустота, свобода. Мало ли что они напридумывают в своей одномерности.

Жизнь государства, так называемая общественная жизнь, скопление людей, племя, род, народ, соответствующие идеи – как всё это плоско, внешне, несвободно. Это и жизнь плоская, ползание по стене. Мораль, религия, обычаи, обряды, законы, правила, нормы, догмы – нравственные, политические, идеологические. Надо же – какая честь! Я – член великого русского племени! С какой стати оно великое? И почему это должно вызывать у меня восторг? Какая чепуха! Почему я должен быть увлекаем тем или иным мутным потоком или предаваться в плен каким-то убогим иллюзиям, миражам, мечтам, каким-то идеалам, утопиям? Это ли не верх тупости! Тупость – одномерность мышления, которому добровольно отдаются только те, кто не способен ни на что иное. И таких – подавляющее большинство. У них свои вожди, идеологи, учителя, пророки. Всё это по сути дела мертвецы при жизни. А живой человек всегда жутко противоречив, сложен, непредсказуем.

И Ленин был живой человек. Хулиган и бандит. Он же не мог не ругаться, обыкновенный язык ему не годился. Молотова он называл: железная жопа. И себя угробил и страну – столько людей! И Христос был живой человек. Сегодня он говорит перед народом одно, завтра – противоположное. Сам себя опровергает. Не знаешь – куда он повернет дальше. Странствует по стране, пьянствует. И, наконец, до того ему всё это осточертело, исчерпал всё, что мог, и осталось только – на крест. А стадо потом ставит им памятники, придавая им лица тупиц, святых и праведников. То есть – выхолащивая всё живое и делая их одномерными, приспособляя для своего плоского, мертвого, общестадного, племенного мышления.

Почему я и обратился к китайцам (древним). Они мне кажутся свободней всех. Даже и Конфуций – чужак и придурок. Несколько цитат из него, которые я вдруг обнаружил – это перлы.

А то, что сейчас пишут на Западе – даже и пародировать скучно. О наших и говорить нечего.

Парадоксальность мышления, означающая глубокую духовную свободу, свободу органическую, изначальную – что же еще! Гибкость, некосность, опрокидывание всего и вся, и себя в первую очередь, постоянное опровержение всех святынь – это и значит быть живым, двигаться не по плоскости, а – объемно, во многих измерениях. Во внешней жизни, в обиходе это и невозможно и не нужно. Вообще – неосуществимо. Всё, что касается жизни в стаде, жизнь сообщца – всегда плоско, одномерно. Редко, когда это не так. Другое дело – жизнь единоличная, жизнь внутри. Там есть возможность осуществить сложнейшее, многомерность, свободу. Это – дело одного, внутри себя, в уме, в воображении. Между жизнью внешней (в сообществе) и жизнью внутренней – непреодолимая граница, пропасть. Во внешней жизни и подчиняться и командовать – какая мерзость. Что за удовольствие они себе в этом находят? У меня это движение началось с "Дома дней". "Книга пустот" еще свободней. Эта будет совсем свободна. Такую книгу уже точно никогда не напечатают. Настолько она опрокидывает все морали и догмы.

Повесть "Целебес"? Но она пока не получилась. То есть, она написана, и всё там есть – стиль, сюжет, всё. И тем не менее она мертва. Не найден нерв, чтобы она стала живой. В таком виде – как бы искусственно сшитые куски. Надо, чтобы органически слилось, задышало, задвигалось, взвилось, полетело. Пусть пока полежит. Да, это разные уровни создания. Многие не поднимаются от этого уровня, и потому так много мертвых книг.

Кто был у нас свободен? Никто. Один Гоголь – до тридцати лет. После первого тома "Мертвых душ" и он сломался. И ему захотелось втиснуть себя в догму и закон.

Но сохранять в уме пустоту, быть свободным, быть самостоятельным, независимым от чего-либо – это чрезвычайно трудно. Живые, свободные люди есть, существовали и существуют. Но мало кто зафиксировал эту свободу в слове.

29 января 1996 года. Принес ему книги: "Астрологический словарь", "Чжуан-цзы", "Конфуций". Про "Чжуан-цзы" он сказал:

– Это ценная книга. Ее я себе оставлю. Видишь ли: это живо написано. Ну, французы – прирожденные писатели. Тонки, изощренные. В большинстве чистые, без социальности. Социальность вульгарна. У англичан – тема чудаков. Прочитай Метерлинка, не пьесы, а прозу – "Разум цветов", "Жизнь пчел". Блестящий писатель. Гюисманс, Мирбо, Мериме. Пушкин ему подражал – неудачно. Лермонтов – вполне успешно. Из новелл составил роман. Вышло вполне своеобразно.

Мериме в первозданной свежести дал жанр новеллы. Единственный в Европе после Бокаччо. Затем, в XIX-м, Гюисманс. Но это уже другое, тот изощренный. Сейчас в Европе, и вообще в мире – никого, пусто. Ты знаешь, что вчера умер Бродский? Во сне. Самая легкая смерть. На пятидесятом году. Вот так-то. Последний настоящий русский поэт. Абсолютно чистый. Вознесенский тоже – блестящий поэт. Но – продажный. И тем, и всем – кто что просит. А этот – никогда. Ну, тебе никак не дать сорок девять. Я в твоём возрасте – о, ещё как прыгал!

Проблема читателя передо мной не стоит. Мне всё равно, сколько людей меня прочитает, кто и где или – никто. Ведь по-настоящему читают книги – единицы. То есть – живут книгами. Чтение книг является их жизнью, что-то в них перестраивает. Большинство же, почти все, прочтут и тут же забудут и продолжают свою обычную, вне книг, жизнь. Читают они только для развлечения. Единицы же учитывать абсурдно. Кто-нибудь да прочтет, раз опубликовано. Какое мне дело. Я только пишу.

8 февраля 1996 года. Прогулка в лесу, яркое солнце, мороз, пушистый снег скрипит под ногами. Он говорит:

– Мало писателей, кого я мог бы перечитывать. С возрастом, чем больше читаю, тем меньше остается писателей, у которых есть что-то для меня интересное. В основном тексты однозначны, у них только один смысл. Вот великий сверхзнаменитый писатель Хемингуэй. Перечитывать невозможно. Также – Толстой. Также – многие и многие, подавляющее большинство. Эдгар По – совсем другое дело. К нему можно постоянно возвращаться. У него полно изгибов, ходов, поворотов. При каждом перечитывании он открывается под новым углом. Потому что он многозначен, неоднопланов, у него внутренняя игра с самим собой. И у Гоголя этого полно, и у Достоевского. Этим богаты некоторые детективы. То, что когда-то читал с трепетом, теперь открываю и не могу читать. Например: "Нинзя". У меня даже было что-то вроде нервного потрясения. Ну, думаю, эту-то книгу я буду перечитывать. Как бы не так. Открыл через год – какая херня. Как мне такое могло нравиться? Непостижимо. Также в свое время – Маркес "Сто лет одиночества". Сначала интересно, до половины – так-сяк. А потом – скука, однообразие, неизменный метод. Писатель ко времени и для времени. Таких много. Я уже избавился от всех поэтов – от Пастернака, Цветаевой и прочих. Зачем мне их держать? Я из них взял всё, что мне нужно. Все они здесь, в голове – если понадобится процитировать. А что-то позабуду – позвоню тебе. Хлебникова, да, оставил. У него много справочного материала. По той же причине – записные книжки и дневники Блока. У него много подробностей, деталей. Он очень точно вел записи.

Сталина народ любил за то, что он уничтожил самых главных бандитов из своего окружения. Открытые судебные процессы. Каменев, Зиновьев, десятки других. Только почему-то про себя каждый раз забывал.

Меня здесь не будут печатать и после смерти. Я для них неприемлем. Не пишу для народа, ни для какой-нибудь партии, ни для читателей, ни для кого. Я сложен для них, видите ли, недоступен. Они думают: вот его почему-то называют – великий писатель. Дай-ка посмотрим. Открывают книгу и ничего не понимают. А зачем вам и понимать. Занимайтесь своим делом, а я буду своим. Так что это естественно – что меня не печатают. Та же история была с Хлебниковым. Всех печатали, но ни его. Здесь всегда была низкая культура языка, нулевая. Филологическое обучение самое убогое.

Статьи Малевича – ужасная книга. Из нее можно без конца цитировать о коммунизме. Также как из "Сто сорок бесед с Молотовым". Это книги ужасов. Самые плохие книги, это книги обычные, нормальные, то есть – никакие.

Из тех книг, что ты мне принес, самая ценная, конечно – "Книга перемен". Она должна быть настольной. Только вот, как бы, вдаваясь в эти изучения, я не испортил живую повесть. И такое бывает.

Если бы не глухота, я бы так и жил один. Идеально. В этой стране полно извращенцев. Все представления смещены. Не соотносят, где живут. Недоразвитые, дебилы. Да ну, противно, что завел этот разговор. А никак не остановиться.

Дома он говорил о живописи:

– Пуссен – ложноклассическое. Он мне неинтересен. Рисунки у него – другое дело. Видишь, какие свободные. Вот здесь – какой смешной ангел. А в картинах все сковано, догма. Видишь – разница. В этом ангеле что уж смешного. Нет жизни.

В рисунках своих я еще не достиг истинного своеобразия. Но открылся. Тут нужен долгий, постоянный, напряженный труд. Надо, чтобы собралась такая книга графики, где каждый рисунок – высшего уровня, открытие.

Когда я за машинкой – кошка мне не мешает. Я позволяю ей гулять по столу. Но рисую – дело другое. Разложил шестьдесят листов, тушечница, перья. Она решила – это ей играть и стала всё скидывать на пол. Пришлось ее убрать из комнаты за дверь. И что ты думаешь – прекрасно всё поняла. На следующий день терпеливо сидела на кухне, пока я не закончил рисовать. Что, мол, поделаешь. Не стоит мешать – пусть занимается своей дурью. Умнейшая кошка.

Терпеть не могу поэтические натуры. Поэтическая натура – так пиши стихи.

20 февраля 1996 года. Прогулка в лесу. Ветер, мороз, солнце.

– Вот уже пять лет я тут живу как в абсолютно чужой для меня стране. Все мне тут чуждо, отвратительно и неприемлемо, и люди, и страна, и всё. К тому же – моя глухота. Были бы деньги, я бы создал свой микромир и ни до кого бы мне не было дела. Но в этой стране и с деньгами невозможно.

После Аполлинера во Франции ни одного поэта. Да и он по сути дела – эстетик, теоретик. Ну, одна поэма – "Зона". Верлибры. Есть два вида верлибров. Один – внутренний всплеск, где свой ритм внутри, высший пик твоей жизни. Второй – чистая конструкция. Но чтобы целая книга была такая, из высших всплесков – я не представляю, абсурд. Может, у кого-то и получится. Появится такой гений. Но пока такой книги не существует.

Западу недоступна наша психика, они ее не понимают и потому неправильно переводят русские книги. Такая же психика у Востока. То есть: у русских и на Востоке главное в литературе – образы, звукопись. А на Западе главное – логика, информация, сюжет.

Здесь психика заморожена. А чтобы появились гении в литературе и новые открытия, нужны изменения психики. Здесь регресс, культура на нуле, психика заторможена – гении и не появляются, их и не будет в ближайшем будущем.

Сезанн уже архаика. Да и Малевич – тоже. Все явления очень быстро становятся архаикой. Естественно – искусство движется вперед. Но не продвигается. Да, они не могут стоять на месте, они ищут новое. И, естественно, не находят. Потому что с этим можно только родиться.

Только два человека сделали что-то новое в русской литературе нашего времени. Бродский. Другой – я. Но я – невидимка. Меня не знают. А когда откроют (долго после смерти), то будет уже поздно. Явление не будет звучать. Будет погребено под горой подражаний, использовано тысячами мелких и крупных писателей, ничего не открывших. Та же история была с Хлебниковым.

Очень мало книг остаются живыми. Гомер, Шекспир – это надгении. Кстати, и "Слово о полку Игореве" у нас. Неисчерпаемость приемов, много смыслов, много граней. Эти звенят, как бронза. И Петроний, и Бокаччо. И Данте, первичный архитектор. У него геометрия ада. Его читать скучно, но полезно. Всё это монстры. У каждой нации много своих. У нас – и Пушкин, и Блок, и целый ряд. Потому что – многозначность слова, одно слово окрашивает другое, игра слов в их особом сочетании, в изощренности. А такие, как Толстой, устаревают сразу. Потому что однозначны. И "Дон Кихот" Сервантеса теперь читать невозможно. Сервантес тоже писал прямо, однозначно. Это для своего

времени. А сейчас только для детей. Тупость – толковать его, приписывать то, чего в нем нет. Рембо – для школьников. Эдгар По – музыкальность стиха, а рифмы плохие. Вообще в английском языке плохие рифмы. Древнегреческий – шесть тысяч размеров, мелика, они писали без рифм.

Интересно было бы проследить, как менялись в истории мировоззрения. На науку и прочее. Углы зрения. У нас ведь правит одно мировоззрение – однозначность. Художественная литература в этом смысле крайне убога. Куда больше сюжетов, ситуаций, скажем, в медицине, у Авиценны. Потому что – из жизни, не придумашь. Также – астрономия. Меня интересуют теперь только сведения. Это еще огромный мир. Мы очень мало знаем. А художественная литература для меня перестала существовать. Мне читать всё это теперь тошно. Я, как читатель, дошёл до предела. Всё исчерпал. А нового нет. Перечитывать – только Гоголя, Лермонтова, "Преступление и наказание" Достоевского, и то местами. А стихи вообще никакие не могу. Зачем? Они у меня в голове, то, что надо, знаю наизусть. Так что – мир книг для меня закрыт. Остались только сведения. Там многое можно использовать.

У меня мировоззрение восточное. Но я этого не знал, это внутри, с этим родился, так и жил, и живу. А сейчас, когда стал читать их книги и осознал – тошно. Не хочу об этом думать. Думать об этом – стать другим человеком. А надо жить интуитивно, быть прежде всего самим собой.

26 марта 1996 года. Сегодня пришел к нему утром в одиннадцать часов.

– Ну сколько ему дашь? – восклицает он, впустив меня в квартиру. – Разве он похож на пятидесятилетнего? Лет тридцать пять. Загорелый, постригся.

У него на столе альбом художника Бородина, акварели.

– Да, хороший художник, – отвечает он на мой вопрос. – Но не своеобразен, не нашел себя, нет открытия. Ему так и не вырваться из плена импрессионизма.

– Это трудно? – спрашиваю я.

– Трудно? – с усмешкой переспрашивает он. – Кому трудно, а кому – легко. Я, например, легко вырвался. А тебе – как? Трудно?

– Я, значит, не вырвался?

– Нет, – отвечает он с еще более язвительной усмешкой.

– Что же у меня?

– Общее.

– Значит, я не нашел себя, своё, не открылся?

– Нет. Но у тех еще хуже. У тебя – хороший, добротный реализм. Как у всех. А те погрязли во мне. Они хотят меня превысить в моей же

системе. Но это абсурд. Соревноваться со мной. Это нелепость, если не тупость. Творчество – единственное занятие, где не может быть никакого соперничества. Находи свою дорогу и делай, что хочешь. Зачем им именно моя дорога? Но свою найти они не могут. Увы, это действительно трудно. Вот они и болтаются на моей. При этом один из них, наиболее талантливый, выбрал самый экстремистский путь, сразу нацелился на высшее, на гениальность, не будучи никак и ничем подготовленный и не имея никаких оснований. Это истерия. Он сорвётся. Надорвётся от устремления, которое ему непосильно.

– А почему мне не найти своё, не открыться? – спрашиваю я опять.

– Не знаю. Может быть, оттого, что у тебя нет роковой страсти к литературе. Ты ее любишь, но этого мало, это не то. И потом – в твоих вещах нет подсознания. У тебя только рациональное, сознательное, только мозг.

Что тут можно посоветовать. Попробуй писать только то, что тебе нравится, что ты любишь. Я, например, никак не могу понять, в чем твои интересы. Внутренние, то, что для тебя – твоя жизнь, то, чем ты живешь. Рациональные интересы я у тебя вижу, и только. Но это от мозга. А что такое мозг у человека? Это враг творчества, гениальности, свободы, крыльев. Мозг или сознание, это жесткий механизм, требующий неукоснительно соблюдать установленные правила, догмы, схемы. Это жуткий чиновник, повелевающий соблюдать законы и уставы. Это однозначность во всем, банальность и тупость. Надо, чтобы открылось нечто вне его, вышло из-под его власти, обмануло его контроль. Назови это интуиция, подсознание, божественное безумие. Не знаю. Кто на это способен, кто нет. Это особый организм. И вообще это дело организма. Именно организма. Поэтому необъяснимо. Это вне мозга и помимо него. Никак от ума не зависит, будь ты хоть сверхум. Скорее, наоборот. И от культуры тоже. Это приходит внезапно и так же внезапно уходит. У некоторых открывается на секундочку, у других – до конца. У кого – рано и на короткий срок. Рембо. У других – на десятилетия. Уитмен – в тридцать пять лет. Валялся на пляже, писал плохие стихи под Байрона, ничего не читал, никакой культуры, сын докера. И вдруг – ему попалась книга. Индийские Веды. Потрясение. Колоссальный толчок. Что-то сотряслось в организме, вспыхнуло пламя. Эти Веды было то самое, что ему было нужно. И – извержение поэм. О чём? О том, что он перед собой видел, что знал – современная Америка, новый дух жизни, техника и прочее. А больше он ничего и не знал. Ему нужна была некая подходящая форма духа, он и нашёл, вдруг, в Ведах.

Откуда я знаю, на что ты способен. Я говорю: твои сокровенные интересы не видны. Они у тебя, действительно, сокровенны, так тщательно ты их скрываешь, глубоко и добросовестно в себе прячешь.

Посмотри у Маяковского – как всё открыто. Абсолютно ясно – что для него кровно важно, чем он живёт, в чём его страдания и в чём радости. Он стопроцентно откровенен сам с собой. Он не боится, он свободен. В этом всё дело. У многих же психика подавлена. В этой стране – почти поголовно. Подавлена и политически и сексуально. Одно – прямое следствие другого.

Фрейд – великий человек. Какой он ученый. Он – великий поэт, фантазёр. У него всё – интуиция. Он видел человека насквозь, вот и весь психоанализ. Это беспредельно. В рамки науки не втискивается. Недаром после него психоаналитики ничего не могут. Тоже Дарвин, Эйнштейн – великие фантазёры, поэты. Отнюдь не ученые.

Так вот. У тебя как раз психика необыкновенная и сильная. Ты можешь выдерживать колоссальные нагрузки. А как же! Писательство – тяжелейшая умственная и нервная работа. И такой объем чтения как у тебя! Психика у тебя недюжинная. Но ты никак не можешь понять, что сила тут ни при чём. Ты всё ищешь логику там, где она противопоказана. Ни сила, ни железная воля – ни при чём. У меня, например, никакой воли к жизни, я жить не хочу. У меня организм действует без меня, без моей воли и сознания. Пойми: это нечто, жизненный дух, тайна, это – крылатый двойник человека. Как утверждали древние греки. Он абсолютно свободен от всего, от всех запретов, он порхает вокруг, он – крылья. Он невидим, неслышим, неосязаем. Он не поддается никаким определениям и объяснениям, его приход невозможно прогнозировать. Это и есть – гений. Гениальность. Без этого невозможны стихи и танец. Техника, мастерство имеют предел. Это предела не имеет. Как это ещё можно назвать – интуиция, подсознание, грация, артистизм. Нижинский, кажется, называл – грация. Это – игра духа на свободе. Крылатость. Многие народные песни гениальны, а авторы неизвестны. Знаменитая дубинушка, или: "Что шумишь, качаясь, тонкая рябина". Это на стихи Сурикова.. Есенин – двадцать процентов гениален, по самым высшим меркам, восемьдесят – мусор. Гениальны его песни: "Клен ты мой опавший" и другие. "Черный человек", "Москва кабацкая".

Свобода, нет себе заслонов, преград, ограничений, запретов. А ты? Ты боишься себя, боишься этого панически. Ты себя бережешь. Лучше тебе этого не желать. Пока у тебя ни микрона не открылось. А если и откроется – то, может быть, для тебя это будет гибель, разрушение психики, сверхпотрясение. Это – броситься с десятого этажа. Зачем тебе это? Разобьешься. Живи спокойно, пиши. Ты – вполне состоявшийся писатель. Профессионализм – это уже само по себе великое достижение. Тем более – быть мастером. Бескрылый? Но летать дано немногим. Редкий дар. Тютчев попорхал всего три раза. "Слезы людские, о слезы людские". Фет – один раз. "Сияла ночь. Луной был полон сад". Мей –

"Хотел бы в единое слово". Пушкин – не так уж часто. Но Пушкин – великий организатор русского языка. Этим он и останется в истории.

Аввакум? Да, язык сильный. Я ценю. Но у него язык грубый, однозначный, без вариантов, такой и всё. Типа лозунгов. Я пошел. Я купил. Я взял книгу. Нет эстетических фигур, игры, переключек, перекидок. Всего эстетического, что должно быть в художественном языке, всей клавиатуры. Пушкин изобрел рояль, на котором и играют до сих пор. Аввакум – грубая, варварская, дикарская дудка.

Сколько раз я тебе советовал – смотреть. Но ты всё равно ничего не видишь. Не видишь реальности. Расхождение между твоим стилем и современной реальностью. Как у Белого в мемуарах.

Да, крылатость. Это высшее состояние. Наподобие оргазма. Но намного сильнее. Потом это постепенно забывается, восторг гаснет, затухает. Написанная книга перестает интересовать. До следующей. Пока не накатит новое, совершенно другое. Точно также, как с женщинами. Я большой любитель их менять. Был. Сейчас это меня слишком утомляет. У меня началось со "Слова о полку Игореве". Это был тот же толчок, что Уитмену – Веды. Это был подходящий повод. Потом, через четыре года – "Двенадцать сов". Потом – регулярно возвращались эти состояния. Я теперь научился интуитивно угадывать, когда они придут и когда уйдут, приближение и конец.

Я застал стариков футуристов. Они все подняли меня на щит. Их оценка, вот чем я жил десять-пятнадцать лет. Похвалы и хулы других меня не волновали. Самое лестное, когда мне сказал Асеев: "Вы излишне напрягаете мускулы в подвале, где никто этого не оценит". Самый лучший для меня комплимент. Потом мне не стали нужны и они. Пиши. И теперь дело только в том, как и что будет у тебя в голове поворачиваться. Интересен только твой "Быков". Он еще заражён моей энергией. Он с рожками. И видно, что ты его писал с любовью.

Когда я пишу в этом состоянии, я интуитивно понимаю – этого еще ни у кого не было. В таком состоянии пишется только моё и больше ничьё, только мне принадлежит и больше никому – поэтому не может быть похоже на кого-то. Я абсолютно уверен.

15 апреля 1996 года. Он пострижен наголо. Рассказывает о несчастном случае с кошкой:

– Упала из раскрытого окна. С пятого этажа. Сломала ребра и лапу. Везли к ветеринару, операцию сделали. Видишь, лежит под столом. Не будем ее беспокоить, пойдем на кухню.

Патриотизм – это психическая неполноценность. Хорошо человек живет, дорожит своим домом, работой – вот и весь патриотизм. А какой патриотизм у нищего? Идиотизм. У Достоевского? От страха после

каторги. У Гоголя? В Риме у Гоголя патриотизм появился от безденежья, деньги надо было у царя просить. Всё. Одеваемся и идем гулять.

По дороге в лес и в лесу он продолжает говорить:

– Я ведь сжег свою повесть "Остров Целебес". Почему? Мёртвая. Приехал из Марселя, посмотрел: мёртво. Вырезал несколько кусочков, остальное сжег. Зачем держать камень среди алмазов. Это же здесь, в мозгу лежать будет, давить, мешать. К чёрту. Черновики оставил. Может быть, как-то повернётся. Раньше я целыми томами сжигал. Графомания. Я бы не назвал – страсть. Самое точное слово – потребность. Я не могу не писать. Когда ничего нет, думаю, обдумываю. А дневник пишу постоянно. Из дневника потом возникают книги. Да, не повести, не романы – книги. Как их ещё назовёшь. Дневник могу писать и когда мешают, в шуме. Но потом приходит время, когда нельзя не писать. Тогда, за столом – только одиночество. Надо много времени, нужна свобода. Отшельничество. Самые сильные люди – отшельники. Они отказываются от государства. Слабых государство уничтожает. Противостоять ему могут только очень сильные. Чтобы мозг хорошо работал, нужна исключительная работа тела, физическая сила, выносливость, ловкость. У отшельников дао, недеяние. Попробуй-ка тронь их. Они тебе покажут – что такое недеяние!

Из дневников получилась еще повесть "Вид на дверь". О чём? Ни о чём. Входят, выходят женщины, кошка и прочее. Все мои книги – ни о чём.

У Пушкина лицейская лирика тоже – графоманство, подражания, ученичество. Технически безукоризненно. Но я такое у себя всё сжёг. "Ода Царскому Селу" – подражание Державину, мёртво. Пушкин начался с "Руслана и Людмилы". И всё дальнейшее у него, все стихи исключительно тонкие, уникальная, тончайшая музыка. В русской поэзии непревзойденная. Не говоря о масштабах. "Евгений Онегин" – много мусора и не мог организовать действие. Байрон мог. Но в "Евгении Онегине" дивные, тончайшие зарисовки быта и пейзажи, вот в чём достоинство этого романа. "Мальчик отморозил пальчик, а мать грозит ему в окно". Какой ясный и точный рисунок. Пушкин погиб в самом накали. Болдинская осень – высший всплеск. Его "Маленькие трагедии" – абсолютная сжатость и точное попадание в цель. Я читал Мольера – несравнимо, размазня. Но "Повести Белкина" меня не трогают. Так, средняя литература, хороший язык, и всё. У Марлинского куда живее и ярче. "Капитанская дочка" – совсем плохо, Вальтер Скотт, мелодрама. "Дубровский" – ужас. "Медный всадник" – имперство. Связался с царём, вот и надо было написать, оправдаться. Да, сильно, но поэма мёртвая, каменная. Пушкина в мире не переводят, непереволим, недоступен, непонятен, тончайшая музыка.

Да, "Остров Целебес". В черновиках много ярких кусков, которые не вошли в повесть. Почему? Ну, видишь ли: как бы много стрелок крутится и летит. А мне надо точное попадание в десятку, в данную, единственную цель. Остальные, хоть и хороши сами по себе, но летят не туда, значит, отвлекают, ослабляют.

Плохой стиль Достоевского? Он – гениальный импровизатор. Это не пренебрежение. Это напряжение. У него были такие взлеты, что не до стиля, а только выразить то, что у него здесь возникало. В голове его. Может быть, ему и важно было, что, вот – дерьмо, дерьмо, и вдруг – гениальное! Может быть, так и надо. И тогда дерьмо несущественно. А главное – то, всплески. Недаром меня от него трясло, и при первом чтении, и потом. Ни от кого не трясло, только от него. Видимо, у меня сразу было чутье к слову. А в высших его всплесках и стиль безукоризнен. Посмотри "Преступление и наказание", начало, описание каморки Раскольникова и как он идет на Сенную площадь. Самая чистая по стилю вещь у него – "Игрок". Абсолютно всё выписано и скомпоновано. А мне неинтересно. Вещь средняя, так себе.

Казаков? Владимир? Хороший писатель, но мне неинтересен. Также, как Некрасов, Аксёнов. Я держу у себя только Мамлеева и Ерофеева Веничку. Они оригинальны. Довлатов тоже стал чужд. Размазано и мораль. Единственное, что у него – записные книжки, "Соло на ундервуде". Там всё сказано, сжато, лаконично, в точку. Ничего больше не нужно. А он это размазал в повестях и рассказах. Ранний – совсем проходное.

Я уважаю три нации: ирландцы, поляки, евреи. Самые талантливые, активные, независимые и негибачаемые. Ирландцы пятьсот лет воюют и не сдаются. И сколько из них гениальных писателей! Свифт, Уайльд, Джойс, Метьюрин. У поляков – Конрад, Аполлинер. У евреев – не перечислить.

Собираются праздновать моё шестидесятилетие. Но это нелепо. Что я им? Мероприятие, галочку поставить. Я – невидимка. Обо мне ничего не знают. Вернее, знают, как о землекопе. Знают, что человек копает гигантский котлован, всю жизнь копает, видят, что лопата есть и одежда в земле. А сам котлован никто не видел. Смешно, абсурд! Трубят – великий писатель! И при этом не печатать, поставить вне жизни. Не хочу. Интервью не даю. Заметки обо мне – пусть пишут, если им надо.

У меня мгновенная реакция. Была. Дратся не любил. Только необходимость. В армии, оказалось, я – прирожденный стрелок. Пуля в пулю, из автомата, сто из ста. Фурор в дивизии. Назначили главным орудийным вычислителем. Каждую зиму – лесоповал, пилой, вручную, спали в землянках. Ужас. Чемпион по лыжным прыжкам с трамплина.

Вот сколько у меня было ещё талантов! И ещё рисунки теперь. Дед мой был полковник Преображенского полка. Он меня спас от туберкулёза костей. Нашел знахаря под Лугой. У деда там было огромное поместье под Лугой. После – сапожником стал. Вот так-то. Они никак не поймут, что это для меня не праздник. Мне шестьдесят, мне главное ещё поработать.

11 июня 1996 года. У него домик в садоводстве на станции Мшинская по Лужской железной дороге. Домик краснокирпичный, с шиферной крышей. Терраска, кухонка, две жилых комнаты: на первом и втором этаже. Вокруг дома сад, небольшой огород. Он живёт на втором этаже, там его спальня и рабочий кабинет. Стол перед окном, пишущая машинка. На второй этаж ведет деревянная лестница – в люк с откидной крышкой. Тут он всё лето. Голый по пояс, седая щетина на щеках, водит меня по участку, показывает свои владения. У нас с ним важное дело: заготовка дров. Привезли на тележке срубленную в лесу березу. Пилим двуручной пилой. Комары тучей.

Вечером пошли гулять, кружили по дорожкам в садоводстве. Темно, сырая трава, полоска зари гаснет. Бродили до двух часов ночи. Он говорил о своих рисунках тушью:

– Одно движение пера. Молния – раз! И всё готово. Никогда не знаю – что будет. Только величайшая сосредоточенность и реакция. Проскакивает через мозг и руку божественная искра, прямая связь с космосом, перо, поймав её, тут же, с абсолютной точностью производит на бумаге. Это высшие, гениальные состояния, иррациональные, мистические, свободные. Они, эти состояния – наивысшее счастье, какое возможно здесь, на земле. Ни любовь, ни дворцы, ни слава – ничто с ними не сравнится. Такой способностью одарены немногие. Реализация необязательно – в живопись, литературу, музыку. Бывает, и не осознают эти состояния, и не реализуют. У всех по-разному. Лермонтов в "Герое нашего времени" – простой стиль, вне метафор, всё ясно, прозрачно, и тем более непонятно, откуда, как – эта мистика. Кроме главы "Максим Максимыч" – это для царя, слюни. Недаром царь эту главу только и любил. У Гоголя, наоборот – миллион метафор, стиль иной, результат тот же. Высшая сосредоточенность на ирреальном, интуитивном, космическом, вне логических измерений. У Достоевского и то, и то. И гениальное, и самая дешёвая, самая низкопробная бульварщина. Видимо, ему хотелось нравиться. Единственный в мире такой писатель.

Да, Пушкин, и вообще тот век, не понимал этих состояний, не отмечал, поэтому они сами не знали, что творили. Поэтому "Бориса Годунова", низшее из того, что он написал, он называл своим высшим. Вполне можно было бы обойтись без многого, что он написал: без

"Медного всадника", "Бориса Годунова", капитанских дочек и прочее и прочее. Всё это только для объема. И Лермонтов – только "Герой нашего времени". Ещё несколько строф в стихах. Всё остальное вполне можно не знать без всякого для себя ущерба, и для литературы.

Есть и замечательные мастера, хоть и не были одарены этой способностью. Ну что ж, не всем дано. Лесков – как крутил! Набоков, Толстой, Тургенев – нуль. Эти, да, всё заранее обдумывают и строят умом, как говорится, при свете сознания, архитекторы, шахматисты. А вот у Гаршина это было, и даже у Апухтина. У Вени Ерофеева это есть, у Довлатова – в коротких записках. В XX веке эти состояния уже понимали. Маяковский, Пастернак, Есенин понимали вполне. Почему Маяковский и застрелился, Есенин повесился.

Глухота помогает освобождению. Гойя, например, оглох в сорок пять лет. Вот тогда-то он начал писать настоящую живопись. Освободился от помех, глаз весь пошёл в живопись, мир сдвинулся, и он увидел всё по-иному. Какие у него стали возникать фантастические морды. Так у многих. Бетховен – самое известное. Такой человек схватывает в явлении самую суть, всегда попадает в центр и всё лишнее отбрасывает. А неодарённый этой способностью всегда промахивается. Зная одну женщину, он знает их всех. И таким образом – любое явление. А человек обыкновенный, зная всех женщин, как он думает, на самом деле не знает ни одной. И так далее. Гениальное может быть простым, как песня, или – сложнейший стиль. Не имеет значения. Боюсь змей, людей, пауков, крыс.

Домой мы вернулись в полной темноте. Я спросил: заработал ли я топором и пилой хоть один его рисунок? Он усмехнулся:

– Рисунок я тебе и так подарю. Ты не рисунок зарабатываешь, а бессмертие. Тебе так и так придется писать мемуары, так вот послушай, как я во Львове жил. После войны это был город банд и контрабандистов. Подпольные ателье шили туфли для Парижа. Шикарнейшие туфли, закачаешься. Ты заметил, что во мне ни грана поэзии?

8 октября 1996 года. Сегодня пришел к нему в час дня. Он обеспокоен: приглашение из Белграда на международный съезд славистов, выступить с речью о русском языке.

– Одиннадцатого октября нужно быть там, – говорит он, – а у меня не оформлена виза. Осталось два дня. Срочно ехать в Москву. А вдруг сербское консульство не работает. Остановиться негде. Чушь, нелепость. Чиновники там, в Европе, не понимают, как я тут живу, в каком положении. Думают – у меня спецсамолет. Сел – и я в Сербии. Короче говоря – головоломка.

Выходим из дома. По дороге в лес он продолжает говорить:

– Месяц не вылезал из-за стола, обрабатывал китайскую повесть. VI век. Никаких намёков на современность. И какие намёки? Ничего же теперь не происходит. Грызутся за власть – вот и все события. Декорации убраны. Голая грязь. О современности писать нечего.

Дневник Гонкуров? Да, замечательно, ярко. Лучше их романов. То, что тогда нельзя было написать, кроме как в форме дневника. В этом жанре позволялось писать свободно. Дневник и задуман был, как чисто литературный.

Слависты мира занимаются в этой стране только мной. А больше и некем. Я, как ты называешь – язык. Правильнее – письмо. Сербский язык самый чистый из славянских. Русский – полно тюркского. Болгарский – туретчины. Польский – немцы. Теперь переводят мою "Башню". Доходит до смешного. Объявили меня мессией. То, что у меня игра, придурь героя – они принимают всерьез, тупицы. Ну, это, в конце концов, их дело. Пусть мечтают. Их фантазии обо мне. Но – страшно раздражает. Маленькие писатели обычно себя завышают, а большие занижают. Естественно. Завышение ужасно мешает работать. Держи ориентир вниз – и всё становится на место, можно жить.

Понял ли меня кто-нибудь? Я и сам-то себя не понимаю. Иногда кажется, что кое-кто около правды обо мне. Но это очень субъективно, это кажется мне или кому-то. Сложно? Разумеется. Тема повести? Всё та же: "Книга перемен". Ты мне очень помог китайскими книгами. "Книга перемен" для меня была открытием. Маленькая радость. Первый текст – сила, мощь. Дальше – разжижение истолкований, ерунда. Поставлю на полку. Сосуд сведений – как и вся греческая литература, которую я храню. Ты видел. Духовная подпитка – нет. А – сведения. Остальное китайское, кроме этой книги, мне не близко.

Объявляют, что они перевели всё. Для меня это означает – что не перевели ничего. Древних русских авторов они так и не перевели. Не издали. Последних русских философов – нет. Только Лосева. Голосовкера – ни строчки. Я по сути дела неопубликован. О чем говорить.

Да, старость. Физическое тело сдаёт, после шестидесяти быстро. У тебя ещё впереди, вспомнишь. Пятьдесят – расцвет. Это, нет, не сдаёт. Раньше – три раза в день. Теперь – один. Подумаешь. Голова тоже – тьфу, тьфу. Пока не слабеет. Видимо, будет позже. И обязательно будет. Ничего не поделать.

И о чём они мечтают? О славе? Я не талантов не держал около себя. Ты знаешь. Что такое талант? Способность к слову. Все они были талантливы. А результаты? Ничего не слышно, ноль.

Писал книгу. Значит, испытал подъём. Радость среди этой серятины. И это очень много. Редко кому такое дано. А слава, известность... Мало

ли кто чего желает. Я вот желал бы три бабы каждый день. А сил только на одну. Ерунда получается. Живи, как живёшь. Занимайся собой, а не смотри, что есть у других. Хорошая русская поговорка: на чужой каравай рот не разрезай.

Знаешь, из-за чего произошла русская революция? В российской империи было 20 миллионов православных, которым все привилегии и все пути. Остальные – 130 миллионов неправославных, бесправных, без штампа льгот. Не страна, а гетто. Мусульмане, евреи. Понял? Эта революция была мусульманско-еврейская. Естественно – такое не напечатывают. Ленин – как кесарь из моего "Ремонта моря" – только делал вид, что повелевает.

6 ноября 1996 года. Дожливый, мглистый день. Принёс ему книгу "Жизнь Кришнамурти".

– Кришнамурти – бог, – говорит он. – Равен Будде и Христу. О чём бог может говорить со школьниками? Да, кошка окотилась. Бери какого хочешь. Вот этого рыжего. Одеваюсь и идём.

По дороге купили копчёной колбасы, батон и бутылку кока-колы.

В лесу сыро, грязно, опавшие листья. Он рассказал о поездке в Белград:

– Там помнят, что они славяне. Единая славянская семья. Обычай, быт, жизнь, духовная общность – резко отличаются, скажем, от германцев. Русские не помнят. Они забыли, что они славяне. Утратили это понятие. Начал искоренять Иван Грозный. Петр Первый постарался больше всех. Народ интуитов думал превратить в прагматиков, как Европа. Не вышло. Ленин, Сталин, те просто начали уничтожать физически. В результате – русские утратили понятие своего славянства. Русский язык самый засоренный, самый грязный. Спроси в любой деревне, в городе – славянин ли он? На тебя вытаращат глаза. И вот – у сербов, оказывается, мой культ уже десять лет. Я – единственный в мире крупный писатель, кто пишет на чистом русском языке, то есть, славянском. Они меня там встречали, как бога. Выступал на площади в Белграде перед многотысячной толпой. Стихи. Я их пел. Ты же слышал, как я теперь пою. Это из-за глухоты у меня возникла такая манера. Как монстр. Сразу шокировал всю площадь. Буквально – бомбардировал. Раньше, до глухоты, я читал стихи таким речитативом. Это у меня было естественно, само собой, я специально не вырабатывал. Иногда аккомпанировал себе на эстонских или гуцульских гуслях. При игре на них надо сидеть, скрестив ноги. Природная склонность к артистическим выступлениям. К тому же тогда иначе и невозможно было, не публиковали. Вот мы и выступали – чтобы нас услышали.

Варяги? Нет, они не боролись с духом славянства. Они сливались и

сами становились славянами. Рюрик и прочие. Солдаты: их призвание – воевать. Энергия, постоянный позыв к войне. Запорожцы у Гоголя. Также и писатель – постоянный позыв к писательству. Плотник – к плотничанию. Какая разница. Я и говорю: призвание.

Идем по дорожке, колбасу с булкой едим. В лесу мрачно, сыро, наступают сумерки. Он продолжает говорить:

– Я и начал со "Слова о полку Игореве". И всё во мне соответствует. Отец – поляк. Пушкин – да. Чистый русский (славянский) язык. Он, Пушкин, освободил язык от церковно-славянского. Лермонтов – ещё более чист. Гоголь – абсолютно.

Это погода действует на меня угнетающе. Не могу работать. Тьма эта... – показал на небо. – Теперь пишу "Книгу простых чисел". Не художественную. Только арифметика. От единицы до девяти. Навела на мысль игра в покер. Собственно, у меня давно копились мысли на этот счёт. Кое-какие ассоциации, идеи. И вот, видишь, куда я вышел. Да, покер. Самая сложная и самая опасная игра. И способность мгновенных арифметических решений, и – колоссальная психическая сила. В покер играют только самые сильные. При больших ставках, разумеется. Был у меня такой случай во Львове. Тогда мне было лет восемнадцать, юнец. Ни денег, ни женщин. Откуда? Спорт, и всё. Отец тогда уже не был командующим, а связи остались. Высшие генералы. Вот и сели играть: генералы (фронтовики) – и я. И при первой же сдаче у меня на руках оказался трэнк! Такое бывает у игрока один раз в жизни. Начало игры. Банк я бы взял ничтожный. И тогда при таких картах я начал блефовать. Это было что-то! Сверхнапряжение. Лицо каменное. Длилась эта жуть часа два. Ставки выросли до невероятных сумм. Я уже не понимал, что делается. А сдаваться с такими картами – нельзя. Постепенно они не выдерживали и кидали карты. У всех – сильные. Остался один, начальник штаба. Когда и он, всё-таки, бросил, в истерике, в обмороке, полупомешательстве – у него оказался фляш. Но у меня-то – трэнк! Выиграл тысяч пятьсот. По тем временам! Чемодан денег, битком, не закрывался. Для них для всех это было крушение, полное банкротство. Штабист едва не пустил себе пулю в висок. Слёг в больницу. Расплачивался потом по частям долго-долго. Карточная честь. А как же! Нельзя не расплатиться. И нельзя – не взять.

Выходим из леса в полном мраке. За чёрными стволами – огоньки.

30 ноября 1996 года. Принёс ему книжку "Карты Таро". Он надел синюю американскую куртку, черную шапку с наушниками. Пошли в мебельный магазин. Промозгло, грязь, лужи. Долго выбирал тахту, вертел и шупал стулья, проверяя на крепость. Наконец, купил табуретку. Несём домой.

– Деньги на голову свалились, – говорит он. – Аванс за "Книгу пустот". Издает разбогатевший казах, поклонник моего творчества. "Книгу простых чисел" я написал уже 130 страниц. Хорошо, если останется 13. Древние не пользовались чётными числами, квадратом, кругом. Мёртвые числа и мёртвые фигуры – нет движения. Совершенство, значит – смерть. Пользовались только остроугольными треугольниками и нечётными числами до десяти – в них жизнь. Христос несовершенен – поэтому живой. Жизнь – это простое, способное быть отдельным, далеко отстоящим друг от друга, свободным. Сложное – это смерть, распад, деградация. Образование групп, систем, закабаление, иерархия, многоярусность, запутанное управление, политика, войны империй. Немцы – самый бюрократический народ, ничего человеческого. Об этом Кафка и писал.

Что такое Наполеон, как ты думаешь? Это первый и единственный за всю историю человек из низов, который сам сделал себя императором, сам, только своими силами поднялся на вершину власти. Этим-то он и потряс весь мир. Люди увидели, что царская власть, передаваемая из рода в род, богоданная – совершеннейшая чепуха.

Зачем мне об этом писать? Я интересуюсь только тем, что ничем никогда не подтверждается. Только уникальным, единственным в своём роде.

Перечитай Платона "Тимей". Как он строит космос. Огонь – из треугольников. Что ж, весьма изящно. А человека? Берёт кости. В космосе! Откуда они там взялись – ничего не объясняет. Берёт голову, жилы. Они откуда – тоже не объясняет. И привязывает каким-то образом голову к позвоночнику. Как тебе такое понравится? Фантазёр жуткий. Поэт из поэтов. Что хотел, то и делал. Построил космос – как ему заблагорассудилось. Собственно говоря – первый научно-фантастический роман, и самый сильный, яркий и непревзойденный. Гениальный. Конечно, он шокировал всю Грецию. Буквально потряс. Недаром они и называли его божественным. Ну а кто же он, как не бог? Делал, что хотел, сам строил миры. Со здравым умом у него было абсолютно покончено. Фантазёр непревзойдённый, поэт высший. Не зря же его запрещали во многих странах, столетиями и тысячелетиями. Ещё бы – опрокидывает все системы, всю логику, все построения. Ни крупицы рационального в нём нет.

24 декабря 1996 года. Принёс ему альбом Малевича. Подарок на Рождество. Он небрит, на голове бело-красная шапка петушком. Листает альбом:

– Иллюстрации дерьмо. Всё наоборот. Ты же видел Малевича на выставке. У него главное – цвет. Фигуры – ничто. – Показывает на изображение крестьянина, – тут густо написано. Не кистью, а шпателем. Московское издательство. Тогда понятно!

Я спокоен. Шестьдесят лет, вполне достаточно. Если Тот следит, всё будет в порядке. Если перестал – ничего уже не поможет. Фью. Страха смерти у меня нет. С детства я попадал в опасные положения и никогда не пытался уклониться. В разведку ходил к немцам – семилетним ребёнком. И всю войну с отцовской дивизией. Служба в армии, разгрузка снарядов. Взрывались каждый день. Можно было отказаться. Не отказывался. Зачем? Алкоголь – тоже самое. Самоуничтожение. А удовольствия никакого. Никогда. Какое там! Ничего, кроме ужасов. У меня есть только страх людей. В том смысле, что – гнетут. Мне никогда ничего не было интересно, кроме этого, – показывает на пишущую машинку с листом. – Ни женщины, ни путешествия, ни алкоголь. Женщины сами шли на меня сомкнутыми рядами. Только литература. Это для меня необходимость. Как воздух. И даётся мне это совершенно легко. Вот как Кришнамурти. Сверхчеловеческие способности, второе воплощение Христа. Он думал, что и все могут быть такие и делать также: чистая голова и прочие чудеса. Грандиозный чудак. Он забыл: то, что легко ему, другим – невысказано.

Вот смотри: рукопись в триста страниц. А осталось – тридцать. Десятая часть. "Книга простых чисел". Есть девять человеческих полов. Определение человека в идеальном, космическом смысле неизвестно. Кто, что, откуда? Простые числа. Они даны – кем-то, когда-то. И всё тут. Гадай как хочешь. Есть только их свойства. А что они такое сами по себе? И какое число было первым? Это не определение. Чисто интуитивно пытаюсь понять. Напрягаюсь сверх меры. Отпадают число за числом. Остаётся единственная – девятка. Из сложных чисел, из формул создали всё это чудовищное оружие, арсенал жуткого всеистребления. И всю эту отвратительно бюрократическую, крайне запуганную, витиеватую, иерархическую цивилизацию. Машину убийств и неслыханного гнёта. Слежка за каждым движением каждого человека. Чем сложнее формулы, тем чудовищнее порабощение. Уничтожение всего и вся. Из простых чисел можно создать только меч. Это нормально и необходимо.

Он смотрит в окно. Снег вьётся. Кошка на ковре играет с катушкой ниток.

– Ну, перечитал "Тимея"? – спрашивает он. – Разве там есть хоть что-то реальное? Всё выдумал, всё сотворил сам. Грандиознейший поэт! Космическая поэма! И никто его не превзошёл. В восемьдесят лет! До этого – так, диалоги, человеческое, блистательно, свободно, но и не больше. А тут он перешёл к космосу и стал крутить этим шариком, как ему вздумается. Гигант!

1997 год

8 января 1997 года. Прихожу к нему в час дня. Он перед Новым годом постригся наголо, это его старит.

– Я тебя замордовал книгами? – спрашивает он меня. – Если я напишу эту мою книгу, я отмечу в предисловии, что ты способствовал в написании великого произведения. Оно перевернёт все представления. Все понятия чисел искажены. Или сознательно, или нафантазировали. И на искажённых числах построили цивилизацию насилия и эксплуатации, цивилизацию уничтожения всего живого, цивилизацию наживы и гнёта, цивилизацию, убивающую всё гениальное, интуитивное. Интуиция – это ничто иное, как память истоков. Память высшего – того, что когда-то было дано из первых рук.

Пока я не нахожу этих истоков ни в одной книге. Только отблески истоков. Всё искажено. И у Платона. Как философ, он в моих глазах сильно уменьшился. Но как поэт, сильно возрос. Использовать его было бы нелепо. Реального в нём нет. Мне тоже придётся волей-неволей фантазировать, вернее – искать истоки в себе, через свою интуицию-память. Может быть, истина была у орфиков. У самого Орфея. Но ничего же не дошло. Пифагор, видимо, уже искажение. Вначале были написаны чистые поэмы о числах, то есть – истинные. Затем эти истины стали эксплуатировать, использовать для низких целей, для угнетения, для наживы и так далее. Истину исказили, и чем дальше во времени, тем больше. Техническая цивилизация окончательно уничтожит интуицию истоков – истину. То есть – уничтожит свободу ума. Уже повсюду компьютеры, контроль над каждым движением мысли. Это конец. Истина только в искусстве. Потому что только искусство свободно. Посмотри на эти картины на стенах вокруг тебя. Для чего они нарисованы? Ни для чего. Они абсолютно условны. Раскрашенный картон и ничего более. Хочешь смотри, хочешь – нет. Искусство не преследует никакой цели. Бесцельно и условно. Реализм – это не искусство. Это уже цель, некий заказ, установка, несвобода. Искусство, то есть – условность, бесцельность, то есть – свобода.

Так всегда было: чистые вещи, искусство, использовались подонками и проходимцами для своих грязных целей. Самое чистое эксплуатируют и используют для грязи. Что построили на чистейшем Достоевском? Что на Ницше, больном человеке и чистом поэте? Самое ужасное – фашизм. Кем написаны все священные книги? Поэтами. Все эти книги высоко художественные. Нехудожественные, плохо написанные отбрасывались. А как это использовали? Что сделали из Христа? Из Будды? На их чистых идеях кормятся миллионы толстопузых священников. Не говорю о войнах. Войны для того и устраивались – чтобы уничтожить возросшее количество гениальных и талантливых людей. В 1914 году выросло слишком много гениев – вот и войну!

Уничтожить их! И уничтожили. Для этого и революция у нас. Всех скосили, у кого мало-мальски были какие-то способности, неординарность.

Китайцы правы по крайней мере насчёт тройки. Видимо, это число в космосе главное, первое. Любая композиция начинается с трёх фигур. Хотя, те же китайцы делали и единичную композицию. Думает и думает, сосредотачивается, ходит около листа чистой бумаги месяц, два, год. Потом подсказывает и молниеносно наносит точку. Абсолютно точно. Картина готова. То есть, так ставит точку, что сочетание чистого белого листа и точки создаёт картину. Но это чрезвычайная редкость. На Западе это вообще ни разу не получилось. А как правило, картины строятся на трёх фигурах. Две или четыре глядятся жутко. Понаблюдай: два самолёта, два корабля, два человека в поле – ужас! Вот, посмотрим на картинах, – мы стали ходить по комнате от картины к картине, и он показывал трёхфигурность композиций. – На иконах – и говорить нечего.

Бесцельность искусства. Да, это ведь как повезёт. Приглянется кому-то твоё искусство или нет. И сможешь ли так – чтобы его оценили. Рафаэли далеко не все. Многие по характеру невезучи, неловки, неприспособлены, непригодны для жизни. Вернее, это как правило. Значит – нищета, непризнание, безвестность.

Эта книга о числах мне осточертела. Вся эта философия. Каждый вечер решаю ее бросить и каждое утро продолжаю. Такой характер: во что бы то ни стало довести до конца, что начал. У меня уже вот-вот мозг вывихнется. Или я эту книгу доконаю, или она – меня. Много идей, одна другую цепляет. Пока только наращивание информации. Ещё неизвестно, как я буду писать, не найдена форма. Какими-то высшими метафорами. Из чего сойдёт.

Достань книгу Джона Кейси. "Медиум". И Гиппократ. Ты способствуешь написанию самой дьявольской из книг. Нет, великих я много написал. Самой дьявольской, переворачивает все их представления. Время вертикально, как песочные часы. Они же представляют горизонтально. Всё равно, как если бы я тебя заставил лежать, в то время, как твоё нормальное состояние вертикальное. Ты бы умер через несколько месяцев. Древние и сочиняли, и мыслили, и писали – стоя. Восьмичасовые прогулки перипатетиков. Самая дьявольская книга, потому что против шерсти. У них всё дьявольское, что их не лижет. Ты понял свою задачу? Какие книги доставать?

1 февраля 1997 года. Подведя меня к столу, он говорит:

– Вот смотри: две математические книги, голландца и русского. Определения простых чисел противоположны. У голландца начинаются с тройки. Так и я считаю. У русского – с единицы и двойки. Но единица –

это вообще как бы и не число. Двойка – ни в коем случае не простое число. Ничто парное не может быть простым. Пока то, что я читаю, только подтверждает то, что я написал в Югославии по интуиции (по сути дела – здравый смысл), ничего не прочитав и ничего не зная.

Идём гулять. В лесу метель, снег летит густой-густой. Он говорит, повернув ко мне лицо:

– Проза Цветаевой – ничего такого. Чисто биографическая, мемуарная. Но она абсолютно точно давала определения людей. Об Андрее Белом, например: пленный дух. Что это такое? Это значит – ничего, пустота, нуль. Совершенно верно. Белый – конструктор. Всегда знал наперёд: что и как у него будет сделано. Тупость, косность, спекуляции. Ни грана интуиции. Подлость, коварство. Предал Блока, лучшего друга. Всегда болтался среди людей, никогда один не был. Но – влияние на русскую (да и мировую) литературу огромно. Без Белого не было бы и Маяковского, и всего футуризма. И Набокова не было бы, и многих, и многих. Но рассуждать подобным образом, всё равно, что размышлять: а что было бы, если бы не было земли? Брюсов ещё более крепкий и сильный конструктор. Но мне кажется, в нём что-то, всё-таки, было. Среди потока конструкций вдруг и сверкнёт какая-то искра. Проза его – ерунда. Только первые книги стихов. "Urbi et Orbi". Высший мастер. Из прозы – эссе о Риме. Толстой тоже – всего лишь конструктор книг. Ни интуиции, ни артистизма, ни жеста. Цветаева компенсировала творчеством то, чего у нее не доставало в жизни. Любкой намёк на роман превращала в драматические поэмы и эпopeи. О Маяковском солгала: лицо рабочего, руки каменщика. Наоборот! У Маяковского лицо римского или греческого аристократа. Как с медали. А вот у самой Цветаевой – не лицо, а валенок. Хоть об печку колоти. О Пастернаке – да. Написала верно. Оба гении, ровесники, много общего.

Мало у кого совпадало: жизнь и творчество. Маяковский в жизни безвольный, невротат, постоянные истерики, слёзы, плакался всем и каждому в жилетку. Абсолютно неприспособленный к жизни, ничего не умел. Плавать не умел – воды боялся. И учиться плавать – боялся. Подметать не умел. Ничего не умел – как малый ребёнок. Запрётся у себя на Лубянке и начинает сочинять сверхчеловеческие, космические поэмы, одни гиперболы, мощь голоса. Вся его энергия, его гениальность шла в слово. Возмещал себе то, чего не было в жизни. У Блока совпадало. Даже принимал себя. Никогда не лгал о себе ни одной строчкой. Пастернак – совпадало. Но много комплексов. Впрочем, как у всех. Дрались с Есениным в кровь, как мальчишки. Я – великий! Нет, я великий! Пушкин, Лермонтов – совпадало. Байрон – абсолютно. И в жизни – сверхчеловек, и в творчестве. Гоголь? Гоголю и не нужно было в жизни. Он весь был поглощён творчеством. Да, единственный в русской литературе – весёлый, свободный в игре фантазии. Нет, лёгкий – не то

слово. Тип воображения, доступный всем, и – мощная рука. Жутко сконцентрированные, мощные вещи, все его книги, всего-то десять лет писал.

В русской литературе абсолютно нет весёлых, занимательных книг. Лёгких, для удовольствия. В Европе – полно. Да, Дюма. Блестящие сказки. Все читают и будут читать, и простые, и гении. Блок и хуже читал – Купера. Совсем – низ. Нет, можно назвать гениальными эти книги. Может быть, не авторов. Но – книги. Что ж, что письмо плохое. Сказки гениальны, блестяще, легко, занимательно. Почему я читаю Дафну дю Морье. Чисто, красиво, занимательно. Прекрасно выписаны детали, сцены. Скажем, роман "Двойник". То, что мне не дано. Всегда мечтал написать чистым языком простую, весёлую, занимательную книгу. Не могу. Не так устроен. Да, Ильф и Петров. Но это на уровне фельетона. Ну и что ж. Лесков, "Очарованный странник" и ещё десяток рассказов.

Лермонтов – нет. Лермонтов – исключительно красивая и чистая проза. То же, очень близко, у Гаршина.

Я пишу не для удовольствия. Я бы и не писал, мне это и не нужно. Но я хочу жить самой полной жизнью, какая тут возможна. А где ещё, в чем я это найду? Сочинение книг для меня – состояние крайней сосредоточенности и напряженности. Я каждый день вхожу в это состояние сверхжизни, и так год. Больше не могу, не выдержать. В этом заключается моя свобода.

Чем крупнее личность, тем менее объективна. Всё окрашивает собой, делает вторым "я". Гении кто угодно, только не оценщики.

За последние годы попадалось несколько ярких книг. Но настоящее открытие для меня – только "Книга перемен". Новый поворот. Новый тип художественного мышления. Я давно подозревал, даже знал – что должно быть такое. И вот – открыл.

Гумилёв, Ходасевич – для школьников. Просто – слабо. А футуристы не изданы: Кручёных, Чурилин, Гуро, Божидар. Да почти никто. Что сильно – не издают. Эстетика всегда под запретом, политике – зелёная дорога.

Прочитал Малевича. Статьи его – ужас. Стиль – груда рассыпанных булыжников. Читать его – камни разгребать. Всегда та же история: зачем художникам ещё и книги писать? Нет – пишут. И всегда плохие. Нарисовал чёрный квадрат. Всё этим сказано. Нет, надо объяснить.

Алкоголизм – тоже призвание. Как и блядство. Ни у кого в литературе не было столько женщин, как у меня. Такого блядуна в литературе ещё не было. А разве я об этом рассказываю или пишу? Зачем? Это как воздух. И всё одинаково. Нет никакой необходимости и интереса. И сейчас лезут, когда ноги уже еле таскаю.

10 февраля 1997 года. Он у стола, покрытого свеженаписанными на листах бумаги рисунками.

– Смешал тушь, гуашь и акварель, – говорит он. – Моя адская смесь. – Показывает лист за листом и объясняет: – Эта техника требует мгновенного исполнения (краска сохнет на лету), как раз то, что мне и нужно. Чтобы некогда было думать, мозг не успевает задуматься. Только импульс, чистое, непосредственное, интуитивное движение. Молния пера. Если есть художественная интуиция, врождённая одарённость – будут получаться всякие интересные, живые штуки. Всё неудачное отбрасывается. Если же этого дара нет, сколько ни бейся – ничего не получится. Мазня, тупо, грубо, неинтересно, скудно, убого, мёртво. Никаким умением тут не возьмёшь. Многие, увидев, удивляются: как это у тебя получилось? Пробуют – безнадежно. Ничего у них не выходит. Потому что – нет у них ни одного гениального импульса. Свободного, артистического. Интуиция – это ещё и знание форм. Сколько художников, которые только строят свои картины, и не больше. Ни одной искры. Назовём – мастера. Техника может быть сложнейшая и красивейшая. Но они у этой техники в плену. Они тщательно выверяют все тонкости, каждый штрих. Точно знает заранее: что у них должно быть в итоге работы. И строят картину, как ещё один дом, ещё один дворец. Новые конструкции, вариации. Всё рационально, всё тщательно продумано. Ни одного свободного движения вне разума. Ни одного безумства, когда забываешь, что это живопись, что это кисть, лист, что ты – рисуешь. Никаких мыслей не существует. Всё – в руке, в молнии. У них этого никогда не бывает. Они пишут красиво и строго по законам, уставам и правилам – для украшения мещанских стен. Что такое мастер? Закон, устав, мещанин. Гений пишет, не задумываясь, быстро, иррационально, в любых жанрах, в любой и очень сложной технике.

Вот погляди: все картины вокруг тебя. Все написаны интуитивно и абсолютно чисто, точно. Ни одного грязного пятнышка, ни одной фальшивой точки. Пожалуйста – Кулаков. Мой портрет, маслом. Написал за каких-то полтора часа. Очень быстро. Стремительно. Кисть летала. И все свои картины он так писал. Да все здесь – и Грицюк, и Боря Шаповалов, и Эйно. Михнов – и тем более. А тех, мастеров, ни за что бы себе не повесил. Раздражает. Слащаво, скучно, ничего живого.

Он стал отбирать из сделанного за это утро удачные рисунки. Те, что не удались или удались лишь частично, отдавал мне.

– Заведи чистую папку и храни. Так ты постепенно соберёшь коллекцию моих рисунков. Когда-нибудь это будет иметь немалую цену, как и мои автографы.

Идем гулять. В лесу чудесно, яркое солнце, голубое небо, тихо падают хлопья снега. Он в синем нейлоновом пальто ниже колен, очки от солнца. Продолжает разговор:

– Художники живут в исключительном напряжении, по максимуму. Максималисты во всем. Постоянная и самая безжалостная борьба с самим собой. Преодоление – выше, выше. Гении себя сжигают. Неудивительно, что они так мало живут – при такой сверхнапряженности, требовательности, взыскательности. Много ли таких? Остальные живут более или менее спокойно. Таковы и результаты.

Так уж сложилась моя жизнь: вино, бабы, писанина. Только из этого и состояла.

Почему они под меня пишут? Хочется признания, похвалы. Вот и пишут – как их кумир. Под чьим они влиянием, кого любят, кем восхищаются, у кого в плену. Думают: самый верный путь достичь похвал. Для меня – всё наоборот. Противно. Самое худшее, что может быть. Свобода от меня – вот что надо. Быть самим собой. И свобода ещё большая: забыть – что это литература, что – пишешь, для чего и зачем. Нельзя не написать. Запись вырвалась, как крик, сама собой. Ты и подумать не успел – что это такое. Литература или не литература. Плохо или хорошо. Грамотно, неграмотно. Нужно, ненужно. И так далее. Потом – переделывать неудачное – безнадежно. Только ещё хуже будет. Единственный путь – выбрасывать. Больше ничего. Нет, ещё возможна работа монтажа. Но и монтаж – интуиция.

Вот, возьми Костя Крикунов, один из самых талантливых моих учеников. Да, этот его дневник, написанный в десятилетнем возрасте. Вне каких-либо влияний. Он даже не знал – как пишут, и как надо писать, какое впечатление на читателей произведёт написанное. И мысли об этом не существовало. Это как раз то, что и нужно. Мальчик десяти лет. Почему дети часто и гениальны. Свободны. Потом узнают – как надо правильно писать и о том, что это называется литература, и какой она должна быть – чтобы красиво было, сильно, гениально и так далее. И капут. Глухо. Ни искорки до конца дней. Тишь и гладь.

Я никогда сам не заводил так называемых отношений. Ни с мужчинами, ни с женщинами. Я и не знал, что это такое. Инициатива всегда была не моя. С мужчинами никогда никакой дружбы. Общение только с женщинами. Мужчины – только вокруг вина, ну, профессиональные интересы – с художниками. Не с писателями. С писателями – никогда. То есть, всегда – один. И Пушкин также, и Лермонтов, и Гоголь. И Байрон. И все.

Издаваться в этой стране мне противно. Даже денег не платят. И посмертно – не издадут. Ничего им тут живого не нужно.

Этот мой приём рисования скоро будет исчерпан. И эта смесь, и этот круг внутри. Приём рисования бритвой исчерпать трудно. Бритвы могут быть всевозможной толщины и тонины. Открыл этот приём Михнов.

Мы сегодня гуляли долго, часов пять. Лыжники проносились мимо нас по лыжне с краю дороги. Стемнело. Повернули домой.

16 февраля 1997 года. Идём по дорожке в лесу. Мороз, солнце, снег блестят.

– Любовные похождения ничуть не мешали моему писательству, – возражает он. – Наоборот: это придавало силы, энергии, обновляло, освежало. В этом жизнь, движение. Так сказать – постельная борьба.

Как я определяю писателей. Открываю книгу и вижу: письмо высшего ранга. Но мне чуждо, неинтересно, неприятно. Или, открываю другую книгу: написано так себе, но живо, мне близко и симпатично. Как определить – живое или нет? Никак. Если ты сам живой, так живое и почувствуешь. Это только чувствовать можно, определять – никак. Отличаешь же ты живой язык от мёртвого. Мёртвые живого не почувствуют и не поймут. Они и видят и делают только мёртвое. Что здесь читают поголовно? Макулатуру. Здесь нет культуры чтения, читателей. Что ты хочешь, здесь история литературы – каких-то 150 лет. А во Франции, например, как минимум – полтора тысячелетия. Там культура и читателя и писателя.

Несомненно – Дюма очень живой. Такое и столько нафантазировать. Живое – это движение.

И в западной живописи и в западной литературе я разочарован. Я теперь не могу смотреть ни на какую западную живопись. Всё это конструкции и гиперболы. Поток конструкций, Пикассо – одни конструкции, и ничего больше. Разочаровался и в Малевиче. Твердит об интуиции, а у самого никакой интуиции и не ночевало. Концентрат цвета. Но разве это живопись. У итальянских икон до Возрождения, последний Филиппо Липпи – это живопись. Какой насыщенный цвет, нюансы, микромир. Насыщенность цвета – совсем не то, что концентрированность. Всё западное искусство гиперболично, значит – бесчеловечно. До человека там никогда не было дела. Риторика, гиперболы, спекуляция умом.

С тех пор, как я оглох, я стал видеть микромир и теперь полностью перешёл на это видение. Тут другое – неисчерпаемость. Достаточно малейшего сдвига, изменения, нового оттенка и – открытие, новость. В макромире это невозможно. И видение микромира – это человечно. На Востоке, в Китае, Японии – такая культура видения, противоположная психически и духовно западной, тысячи лет. Да, и Кавабата. Даже в

переводе видно, как он тщательно выписывает каждую фразу. На Западе? Говорят – Марсель Пруст. Но в переводе на русский это не видно. Грубо. Может быть, у Малларме. Но у него – может быть, только выписывание деталей. А микромиром надо жить. Да, моя "Книга пустот" – полностью, в чистом качестве этого виденья. А начало было в "Доме дней". Единственно, куда бы я хотел поехать, так это в Японию. Посмотреть: остались у них хоть рожи косые или и там Америка.

28 февраля 1997 года. Идём гулять. Чудесный солнечный день, тепло, голубое небо. Я спросил его: понравился бы Вермеер японцам? Отрицательный жест пальцем:

– Нет, конечно. Вермеер геометричен. Как вся западная живопись. Такой тип сознания. На стене у него интересная такая светопись – вот у него и всё. Западная живопись, идя этим путём, завершилась кубизмом. Кубизм – тупик. Малевич – последний в этом тупике. Татлин – да, гений. Но это – открытые конструкции, откровенный конструктивизм, прикладное искусство. Поллок теперь используется для обоев. А он думал: у него чистое, свободное искусство. А оно, сразу было видно, прикладное, геометрическое. Да, есть интуиты. Но мне неинтересно. Это не профессиональный подход: нравится, не нравится; люблю, не люблю. Когда-то было для меня актуально, ново, было открытием. Перестало быть открытием – перестало быть интересным. Всё для меня давно известно, всё позади. Это как новая дорога: идёшь первый раз, смотришь, всё интересно. Идёшь второй раз – так-сяк. Третий – скука, ни на что не смотришь, ходьба механическая. Так и во всем. Это же естественно. Уже лет двадцать как я перестал читать художественную литературу. Читаю только информационную. Иногда приятно перечитать, через лет десять, Гоголя, Лермонтова. Вот ещё Сименона. Но не полицейское, а социальные романы. У него поразительные комбинации, почище Набокова. И это всё. Редко, редко, по чьей-то наводке или когда работа требует, делаю и открытие. Так было с Борхесом. А последнее – китайская "Книга перемен". Но перечитывать второй раз ни то, ни другое – не могу. Пробовал – скука смертная. Они полностью мной исчерпаны, опустошены, и теперь не представляют для меня никакого интереса – как скорлупа съеденного яйца. Тоже – живопись, тоже – женщины.

Одно время я рисовал ню. Без голов. Голова мешает – как гиря подвешена. Ну ее к чёрту. Никто не решался её отбросить совсем, хотя и понимали, что она не нужна. Все большие художники так или иначе старались ее устранить, завуалировать, погасить её действие. И голову, и лицо едва намечали, черты смазывали. А тело выписывали подробно. Ещё с Пуссена. Модильяни удлинял шеи, лица без глаз и так далее. А тело – живое, сексуальное, полнокровное.

Блок тоже: каждая новая женщина только один раз. Гоголь – единственная страсть (кроме писательства) – еда. У него и животик был, он его холил. Николай, царь, поражался: "Послал ему сорок тысяч, через три месяца опять просит. На что он тратит такие суммы? У меня сенаторы столько в год получают. А этот хохол за три месяца растратил. В рулетку играет? Дом строит? Копит? На женщин? Но насколько я знаю, женщинами он не интересуется". "Нет, Ваше Величество" отвечает Бенкендорф "Ни то, ни другое, ни третье". "Так что же?" "Прожирает, Ваше Величество". "Как! Такие суммы! Это невозможно!" "И тем не менее". И Бенкендорф разводит руками.

В январе я побывал во Львове, по приглашению. Собирали всех писателей, кто родился во Львове. Станислав Лем тоже там родился, но приехать отказался. Никаких чувств он ко Львову не сохранил. Я – тоже, но поехал повидать школьного друга (бывший военный архитектор) и племянниц. Вернее – чтобы они имели возможность меня повидать.

Я потерял интерес к жизни. Раньше каждый вторник в баню на Охту ходил. Сам резал рябиновые и еловые веники. Прелесть. Теперь нельзя, из-за глаз. На лето уезжал в Эстонию. И на Новый год, на весь декабрь. Тоже – лишили. Осень-зиму – в Доме творчества в Комарове. Лишили. Вот и сижу теперь здесь всю зиму, как в тюрьме. Это ужасно. Раньше весь год был в движении. В тюрьме прогулки – полчаса в день. А ты меня семь часов выгуливаешь. Ты очень добрый. Женщины тоже не интересуют. Как подумаешь: заводить новые отношения. Сколько хлопот, да ну. Только и осталось – рисование, писанина. Исчерпается это – тогда не знаю, что и делать.

13 марта 1997 года. Тускло, ветрено, летит в лицо сырость. Идём по дорожке. Снег рыхлый, подтаял. В ручье вода струится, черная, поверх желто-зелёного льда. Дорожка узкая, отступив вбок, проваливаюсь в глубокий снег. После долгой паузы он возобновляет разговор:

– Голова не нужна, мозг не нужен. Зачем он? Кто знает? Может быть, как передатчик куда-то. Мы ничего не знаем.

Пушкин – эллин, интуит, гений.

Вот уже пять лет я как в тюрьме. Жить чуть ли не весь год в городской квартире безвылазно! Это ужасно! Вот влип! Раньше я всё время был в движении. Думаю, думаю, перебираю варианты – куда бы уехать. Некуда. Тоска жуткая.

Быть трезвым в этой стране, в этом мире – невыносимо. Раньше у меня были вино, женщины. А главное – писательство. Я мог жить своим внутренним миром, и этого мира, внешнего, не замечать. Вернее, он полностью перерабатывался, включался во внутренний, преображался в

нём и становился мной. А когда не пишется (зимой я никогда не мог работать), и пить нельзя, и женщин нет, и уехать никуда невозможно! Это какой-то кошмар!

Да, я был денди. Отец мой – тоже. Артист цирка. Меня одевал лучший в Ленинграде портной. Дендизм – вызов. Красная тряпка всем. Байрон, Уайльд за это заплатились. Первый денди – Браммель.

Живость это и есть талант, это – смелость. Многие боятся жизни, боятся женщин, боятся мыслей, всего боятся. Живут – пустые. Своего мира нет, живут чужим, взятым у кого-то, или безотчётно, пустые. Жить своим миром – это уже героизм. Это у героев. Или дано, или не дано. Врождённое. Способность иметь массовый успех, также и славу – конечно, тоже врождённое. Только. Или есть эти черты, или нет. Они уже видны в книгах.

26 апреля 1997 года. Сегодня встречал его в Пулково. Он вернулся из Франции. Пробыл с женой месяц в Нормандии на берегу Ла-Манша в Сен Лазаре по приглашению Литературного центра славистов. Простужен, силпый голос:

– Весь месяц там рисовал, – говорит он.

Подарил мне книжку своих рисунков, изданную в Марселе. На рисовой бумаге. Называется "Окаменелости". Бесценный подарок. Буду хранить как сокровище.

В такси по дороге к нему на Ржевку он стал говорить о Маяковском:

– Маяковский повлиял на весь мир. Доступность. Единственный из русских. Двадцать первый век начнётся опять же с них, с футуристов. После них никого не было – такого ранга. Вознесенский, Айги, Бродский – замечательные в своём роде. Но – ранг не тот. Проза – тоже самое. Обрывается на Платонове – "Котлован" и "Джан". Андрей Белый – громадная мировая величина. Но он не вписывается в понятие прозы. Это не проза, всё-таки. Бабель пустой, он формален. Я в этом времени в одиночестве. Умер Гинзберг, семьдесят три года. Теперь мне не к кому ехать в Америку.

Если бы появилась новая волна гениев, она бы подняла и меня. А так я не понят и почти неизвестен. Шуму вокруг моего имени нет.

21 мая 1997 года. Сегодня он подарил мне три рисунка и надписал: "С победой!" Ему нужно ватное одеяло. Обошли магазины, ничего подходящего. Вернулись с пустыми руками. Он написал письмо к юбилею Малларме по просьбе одного из крупных парижских журналов. Говорил по этому поводу:

– Малларме очень сильно повлиял на русских. Анненский – мёртвый поэт. Нет жизни, нет нервов. Застывшая красота.

Лжеклассицизм. Только мастер. Тоже – Мандельштам. Древние греки говорили: одни равны богам, другие не равны. Не равны – мастера. Равны – гении. Гений – резко выраженная психическая личность, сила, влияющая на других людей, на весь мир. Мастера не влияют. Гении равны богам – влияют и покоряют. Да, Маяковский. В прозе – Гоголь. Лев не любит показываться, он сначала рычит, устрашает голосом, приводит в ужас. А потом идёт и спокойненько душит.

Резко оригинальные, громадная энергия, силы жизни их переполняют, душат. Всё вокруг кажется им мёртвым, весь мир для них – кладбище, им скучно, люди мелки, дела их ничтожны и мертвы. Им в мире невыносимо, не к чему себя приложить, они томятся и ищут смерти. Так искал смерти Лермонтов. Да многие. Их принцип – нападение. Агрессия. Они идут во весь рост, ничего не боясь. Идут под пули. Говорят во весь голос. Колоссальное напряжение всех сил. Они быстро сгорают. Лермонтов – только начало блестящего пути. Обладал многими дарованиями, разнообразными, чего не было у Пушкина. Богач, миллионер, все родственники в высшем свете, при дворе. Дядя – любовник принцессы Шарлотты.

Никто ничего нового не открывает. Всё уже было. Только каждый по-своему перерабатывает, ставит свои акценты, окрашивает своей личностью. Если она есть, разумеется. Я тоже ничего нового не открыл, в этом смысле. Но и сделал всё новое, переакцентировал, переработал.

Гении всегда завершены, каждым своим этапом, каждой своей строчкой. Пушкин в "Руслане и Людмиле", поэме, полной блеска и роскоши, уже закончен вполне. И так бы вошел в историю, как гений. Но – "Евгений Онегин" – новая ступень. И так далее, выше и выше. Тоже – Гоголь.

Влияние гения на мир. Влияние личности – вот и всё. А что там у кого за произведение, что за рифмы, ритмы. Может, они ничего не стоят и ничего не значат. Но всё же: громадный дар поэта плюс – сила влияния, психическая.

Лермонтов – такая сила и размах. Он бы многое ещё совершил.

Писатели в России в основном – дерьмо. А вот поэтов много великих. Гоголь по сути дела поэт. Просто он нашёл такую форму – вместо стиха. Тургенев, Бунин, Чехов – отвратительны. Слащавость, слюнтяйство, подражательство. Футуристы от них отшатывались, как от чумы. Блок ненавидел. Чехов – пошлость. Футуристы шли от Гоголя, искали всё русское. Куприн – беллетрист. Но его армейские анекдоты хороши. Об Ермолове. Толстой также слащав, но он крупный архитектор, ворочал большими массами. "Анна Каренина", это вульгарный вариант "Мадам Бовари".

Малларме – звуковое и музыкальное, интуиция звука. Теперь он

весь расхвачан до ниточки. Но все-таки начал эти штуки он первый. Да, может быть, первым Эдгар По.

У меня отвращение к семьям в любом виде. К семьям писателей – особенно. Этот тупица и плюгавец Толстой наплодил шестнадцать детей. И ещё умилялся.

Цветаева. Как она на всех нападала, на всё и вся! Открыто, прямо, бесстрашно. Как она бомбила! Бог для нее вообще не существовал, не брался в расчет, не упоминает, так, словно его и нет. Маяковский – тот с богом боролся! Для этой – ниже ее достоинства. А ведь это баба!

Он начал декламировать своим глухим голосом, певучим и величавым, "Поэму горы": "Виноградниками Везувия не сковать!.." и так далее, всю заключительную часть поэмы до последней строчки.

23 мая 1997 года. Стол его усыпан новыми рисунками – труд этого утра. Подарил мне ещё одну картинку. Высказался о моей книге "Дни с Л.":

– Книга хорошая. Даже живее предыдущей. Вполне приемлемая, и нужно публиковать. Особенно хороши рассказы в начале и конец. Своё-то у тебя есть, но... Свой стиль – редкость. Он у единиц. У Бабея, у Зошенко. Платонов, разумеется, сильнейший свой стиль. Очень яркий, резко выраженный стиль у Андрея Белого. Весь Набоков из него. Но читать ни того, ни другого я не могу. Блестящий русский язык и так далее. Что ж, за язык благодарю. А читать не хочется. Вот тебе пример – Куприн. Замечательный писатель, а стиля нет. У Пастернака в "Докторе Живаго" – тоже. У Пастернака и в стихах стиля нет, после двадцать второго года, начиная с "Лейтенанта Шмидта". Но что ты хочешь – у него целая гениальнейшая книга "Сестра моя – жизнь". Хватит на все века. Стиля нет ни у кого из нынешних писателей, у всей советской эпохи. У меня стиля много. Да – резко выраженный свой почерк, оригинальность.

Ты вот говоришь, что в сравнении с моей прозой, все, что ты читаешь, тебе кажется примитивным. На фоне того дерьма, которое сейчас пишут, иначе и быть не может. А в мировой литературе, и в русской – о, сколько выше меня! О чём ты говоришь. Да и к чему. Для меня даже, например, и не Гоголь, а Лермонтов выше всего. Какая чистота и какая красота! Мистика! И в то же время, как просто. Читать можно, не уставая, до бесконечности. Вот он для меня, видимо, недостижим. И непостижим.

Я, например, совершенно не рассказчик, у меня не получается диалог. Не дано. А ты говоришь... Само по себе письмо? Интеллект? Да ну. У Андрея Белого интеллект выше. Оставим эту тему. Киска, ты у нас выше всех, да? Потому что сидишь на табурете.

Для чего писанина? Чтобы напряжённо жить, в полную меру, сосредоточенно и сильно. В конечном счёте – для своего удовольствия: чтобы пережить высшее состояние, почувствовать полноту жизни. Испытать себя, силу таланта, на что способен. Иссякло это, прошло, кончилось общение с бумагой и – ничего нет. Вот и вся писательская функция. А эти тупицы и кретины пишут для славы и почёта, для денег и благ. Они омерзительны. Эти Солженицины и Толстые, и прочие им подобные.

31 мая 1997 года. Сегодня я пришел к нему в половине одиннадцатого часа. Он за утро успел сделать несколько великолепных рисунков. Листы с рисунками разложены на столе и на кресле.

– Да, сегодня на редкость удачно, – согласился он. – Позвони по этому телефону. Натурщица. Пусть придет. Для выставки нужно сделать несколько ню, то есть, несколько реалистических вещей – что ходко.

Показал рисунок, где внутри резко выделялась фигура, напоминающая рыбу:

– Это испорчено. Ненужная часть, мешает. То, что надо бы убрать. Но в этой технике не уберёшь. Испортил – выбрасывай весь рисунок. Эта фигура создаёт конструкцию – что и нравится. Но для меня это промах. Видишь: вокруг этой фигуры я был свободен, импровизация. А тут уже предвзятость, настойчивость ума.

В юности я четыре года с перерывами жил в Тибете, учился борьбе кунфу. Тибетцы-монахи отбили атаки отборных китайских отрядов. Получалось: один к ста. Потом китайцы пустили самые обыкновенные войска – сто тысяч. И тут – конец. Не потому что тибетцы были слабы перед численностью. А потому что высшая психика бессильна бороться с пустотой, со слизью и мразью, с массой, вообще не обладающей никакой психикой. То же самое и художники в любой стране, в борьбе с этой слизью-мразью. Безднадёжно. Заведомое поражение.

Это – дар реакции, абсолютная точность, импульсивность, позвоночный столб – и в творчестве. Для художника, для писателя – это первое необходимое условие, без чего художника просто напросто нет. Импульс и чрезвычайная сосредоточенность, реактивность. Ты понимаешь, о чём я говорю? А что же может быть без импульса? Импульс – первое, с чего начинается. Необязательно писатель. Это есть у многих, кто и не пишет. У сотен тысяч. Это бывает неявно выражено. Но у Пушкина, у Лермонтова, у Гоголя это было выражено ярко. Очень реактивны, импульсивны. Лермонтов сразу был такой, не мог ни минуты усидеть на месте, пассивно, без риска, без деятельности, без напряжения всех сил. И у Маяковского ярко выражено, у Цветаевой, у Пастернака, у

Хлебникова. Тот только на вид казался апатичным. И у Есенина, хоть это и не тот ранг. У всех гениев. У Мандельштама неявно, но никто его в гении и не ставит. Но – поэт с хорошей, средней по-европейски, культурой.

Знание (понимание) для самого себя – что взлёт, а что падение. Я теперь точно определяю, выработалось чутьё (внутреннее чувство, опыт, есть, с чем сравнить внутри себя). А некоторые не понимают. Пастернак не понимал. Думал, что пишет лучше и лучше. А писал хуже и хуже. Я, когда вижу, что взлёт не получится, нет волны, нет высшего напряжения, высшей сосредоточенности, короче – нет состояния, которое даёт взлёт – я и не пишу. Запрещаю себе писать. Переживаю. Зачем и пробовать, если заведомо будет дерьмо. Пушкин? Нет, Пушкин всегда понимал. Он и писал: со стихами кончено, пора переходить к суровой прозе. Но прозы у него не получилось. Не было языка. Не было и русской действительности, то есть, декораций. То есть – не было общей русской культуры, без которой и не может что-нибудь происходить и не будет никогда декораций для художника. Пушкин ничего не мог найти в русской действительности. Гоголь нашёл. Но что? По канве ничтожной действительности он начал жутко и беспредельно фантазировать. Уехал в Рим – развернулся ещё пуще. На расстоянии ещё большая свобода для воображения. Все его произведения – плоды его могучего, неистощимого дара фантазии. Только кретины могли видеть в нём что-то реалистическое и называть реалистом. Фантазёр, каких свет не видывал.

Лермонтов? Но Лермонтов открыл Кавказ, войну с чеченцами, на кинжалах, без огнестрельного оружия. Это уже декорации. Война всегда – декорации. Здесь, в этой стране культуры никогда не было и не будет. В девятнадцатом веке были хоть какие-то слои. Среда Пушкина – это Дельвиг и сам Пушкин. Вот и вся среда. Сейчас вообще нет никакой среды. Есть только единицы. Художник сам по себе и есть культура, он создаёт мир внешней культуры своим воображением. Но в таком вакууме всеобщего бескультурья это требует колоссальных усилий, которые по плечу только гению. Так у нас и получается – экстремально. Или гений, или дерьмо. Ничего среднего. А на Западе полно замечательной средней литературы.

На Западе культура, там много декораций (это одно и то же). А тут – болото. Но! Парадокс! Там всё открыто, всё доступно – знания, секс, передвижение, голос, политика и так далее. Тут всё было под запретом. В результате тут наше поколение оказалось внутренне свободно. Секс запрещён. В политику не суйся. И не надо. Вот твой стол, твоё маленькое дело, и занимайся. Никаких отвлечений, ничего побочного. Тут наше поколение дало гениев, поэтов, в мире – единственных, только здесь. Там

– никого, пусто. Тут возникло напряжение, сосредоточенность – в результате запретов. Там – расслабленность из-за доступности всего, из-за соблазнов.

Подарил мне ещё несколько рисунков. Шутит:

– Ты уже с папкой приходишь – собирать у меня урожай.

16 июня 1997 года. Он переехал на свою дачу на Мшинской. Сегодня я навестил его там. Он оброс, седая борода, щеки в щетине. Утром до двух часов работает за машинкой у себя наверху, в своём кабинете. К обеду спустился.

– Даосы – странные люди, – говорит он, сидя за столом, держа в руке ложку. – Ученики приносили плату учителю: связку сушёной воблы. А потом десятилетиями обрабатывали у них участки. – Улыбается: – ты ещё не принёс воблу. Когда принесёшь, я начну тебя учить па-настоящему. Я тебя ещё ничему не научил. А участок обрабатывать – у тебя тут великое преимущество: больше десяти лет я не протяну, да и ты не сможешь дольше работать, не выдержишь.

Вечером долго гуляли по дорожкам в садоводстве, до второго часа ночи. Луна светила. Он рассказывал:

– В войну я на Кубани жил. Кормил бабу и двух тёток. Семилетний пацан. Делал рогатки и продавал. Играл в битку на деньги. Ходил в горы, приносил дикий лук, черепах, ужей. Отец на ленинградском фронте командовал летучими отрядами лыжников. Смертники. Чины ему сыпались: от лейтенанта до полковника. А до войны отец работал в цирке, под куполом, гимнаст.

"Слово о полку Игореве" написано не в двенадцатом веке. Это палимпсест. Использована "Задонщина". "Слово" – гениальная поэма, как там всё горит и звенит!

Молодому художнику трудно сразу найти свой материал. Он использует чужое, уже имеющееся. Какое-то подспорье. Так Гоголь взял книжку Собачкина и на его материале проявил всю свою мощь. Такое сильное перо. Да, я говорю о "Вечерах", о первой его книге. Так Пушкин – "Руслан и Людмила". Так Шекспир. Так почти все. Сильная личность говорит своё, беря любой подходящий материал, и создаёт свой стиль.

Народные художники – тоже гении. У них природная интуиция. Но не полная, недостаточная, слабее, чем у художников-профессионалов. У высших художников интуиция заставляет научить всё в своём деле. У народных – не заставляет, значит – слабее. Не надо путать одних с другими.

Цвет мне неинтересен теперь. Только графика, чёрно-белое. Почему неинтересен? Потому что было слишком много цветного, прошло через глаза, отлюбились. Как отлюбились и книги и женщины. Скучно, слишком много опыта. И потом – чтобы выразить главное, надо

отбросить второстепенное, всё, что отвлекает, мешает. Цвет – размазня. Графика – мощь, голый нерв, только жёсткость. Убрать цвет у Феофана Грека – какая мощная графика, как вавилонская, с каменных памятников! Всё графично – люди, деревья, дорога, весь мир. Какое-нибудь особенное уродство или красота – неважно. Лишь бы резало, бросалось, поражало. Цвета же локальны, даже условны по сути дела, выдуманы. Они лишнее, расцветка, украшение.

Моя "Книга пустот" графична. Первая в таком роде в русской литературе. Два года рисования дали мне знание о себе. Многие дали узнать в себе. Рисование преградило мне путь к тому писанию, как я писал до "Книги пустот". Теперь я уже не смогу иначе.

Как рисовали китайцы. Скажем, портрет. Одним движением кисти, не отрываясь от бумаги – раз! Портрет готов. Абсолютно точно. Самое главное, особенное, характерное, нерв – схвачен и выражен мгновенно, на лету. Рукой ведёт абсолютная реакция, интуиция, внутреннее знание, решительность, уверенность, точность. Ни дрожи, ни колебаний. Удар льва. Молния.

Шарль де Костер, "Фламандские легенды". До него это обрывки, слухи в народе. Он создал, сочинил этот блеск. Тиль Уленшпигель – народный театр. А он создал из этого такой шедевр. Рабле, тоже самое – из героев народного театра создал книгу неувядающей силы. Его уже никто не сойдёт. Макферсон воскресил целый мир Оссиана. И так далее.

Блок "И перья страуса склонённые" – взял со шляпы в картине Сомова.

Талант, личность, гений решает всё. Говорят своё могучее слово, преображая самый, казалось бы, ничтожный, невзрачный материал. Видят в нём те могучие возможности, которые не видят другие, или не могут справиться. А эти так делают, что – сверкает! На то он и гений, чтобы вдохнуть могучий дух в любой материал, какой ему подвернётся или понадобится.

На следующий день похолодало, полил дождь. В непромокаемых плащах пилили с ним дрова двуручной пилой.

– Занудная работёнка, – сказал он. – Недаром и поговорка такая: занудный, как пила.

Ни Гуро, ни Поплавский мне неинтересны. Мне нечего у них взять.

Я наболтал тебе на пять томов.

Я завещал себя сжечь. Пойдём, покажу тебе место. Ещё бы успеть сжечь перед концом тридцать томов моих дневников. Всё использовано в книгах. Они не нужны. Черновики, собственно говоря. Рука туда-сюда болтается, чтобы не быть без дела, пишет. Я ни минуты не могу сидеть без дела, мне надо постоянно двигаться, чем-то заниматься.

Я борюсь только с демонами своей фантазии. Моя профессия – писать.

Приснилось, что меня расстреливают. Какие-то детские сны. Казалось бы, детство давно прошло.

Книга стихов на "Слове о полку Игореве" – открытие моих словесных способностей. Вторая книга, новый пик, "Двенадцать сов" – открытие мира. Использовал книгу Гордина. Он тоже, как ты, всё мне показывал.

6 сентября 1997 года. Ещё раз навестил его на Мшинской. Он всё такой же обросший, с бородой, в ватнике и шляпе.

– Чем не крестьянин, – говорит. – Крестьянин и есть. Только что о тебе вспоминали. Ты приехал точно, когда необходимо. У тебя есть интуиция.

Вечером гуляли. Тьма, холод, густые звёзды. Шли по дорожке, он держался за меня. В темноте он не может ходить один. Глаза. Две операции. Вышли на шоссе. Над нами Большая медведица.

– Она всегда стоит у нас над домом, – говорит он. – Почему – непонятно. Звёзды – это точки, созвездия – рисунки из точек. А из точек рисуй, что угодно, тысячи рисунков, любых зверей, каких пожелаешь. Это Венера? Врёшь! Венера – моя звезда. Сатурн – моя планета. А родился я под знаком Тельца. Двадцать восьмое апреля. В русской литературе под знаком Тельца нет ни одного крупного писателя. С ужасом думаю о переезде в город, жить всю осень и зиму в бетонных стенах. Осенне-зимний мрак меня угнетает, депрессия мрака. Работать не могу, пить не могу. За границу не уехать. Думал ли я, что к старости окажусь в таком жутком положении. Как хорошо жилось в Эстонии, в Отепя, на хуторе. Там два раза я испытал высшие состояния: когда возникал контакт между небом, мной и землёй. Там мне всегда работалось чрезвычайно плодотворно. Изменилось ли там что-нибудь? Навряд ли. Ну что там так уж могло измениться?

На следующий день за завтраком он, шутя, рассказывал своей жене Нине:

– Слава вчера ночью на прогулке измучил меня своими жалобами о его несчастной жизни. Буквально рыдал. Идет по дороге и кричит: "Как мне плохо! Как мне ужасно!" Я утешал его как мог. Но он был безутешен. Пойду наверх работать. Там до двух часов солнце. Только пока там солнце, я и могу работать. Сын солнца.

Вечером опять гуляли. Я спросил его об Уайльде, книгу которого недавно читал, интуит ли он?

– Нет, конечно, – ответил он резко. – У него же только повествования. Изошренность ума и прочее. Скажу больше: и Пушкин не интуит. Так, чуть-чуть. Лермонтов в стихах тоже – ничего. А в прозе – да. Видно, созрел к тому времени. Гоголь – да, но далеко не весь. Эдгар По – тоже, не весь. Это же вообще случается редко, даже у гениев бывает

разве что несколько раз за всю жизнь. В книгах. Это же – конструкции, фиксация, описания. А сами по себе, по природе, все эти перечисленные выше, конечно, были интуиты. Почему так рано и погибли. Что, например, нужно, чтобы написать сказку? Только воображение. И никакой интуиции для этого не надо. Китайцы интуицией занимались специально, там многовековая традиция. У кого это встречается в чистом виде? У алкоголиков – в самом чистом виде, какой только можно вообразить, в чистейшем. Например, Достоевский. Пушкин даже и пьяницей не был. Легенды. И зачем он так рвался за границу? Ты не знаешь? Один раз, в Одессе, даже чуть не сбежал. И лодка уже была приготовлена. В Турцию. И чтобы он там делал, без денег, без своих поместий? Кем бы он там был? Никем. Я его не понимаю. Он не соизмерял своих сил и возможностей. Я имею ввиду – как человек. Таких на Руси всегда называли дураками. Гоголь – тот соизмерял. И ещё как. Абсолютно точно. Лермонтову, например, дорога за границу была открыта. Но он туда что-то не стремился. Ему и тут было хорошо – резать шпагой. Воевал с ножом на Кавказе. Ему было не до загранич. И тут хватало, чем заняться. Он же на всех наводил ужас. Пушкин оставил сто тысяч карточного долга. Лермонтов, можно сказать, не играл. Так, по мелочи. А был мультимиллионер. А Мартынов-то его убил от ужаса перед таким головорезом.

Властители. У них же у всех мания величия. У царей тоже была мания величия. Вот Николая и скинула какая-то одна тысяча хорошо обученных и хорошо вооруженных наёмников немецких банков. Русская революция явилась прототипом всех последующих путчей двадцатого века. А что же это было, как не путч. Самый настоящий военный переворот. И не спасла громадная имперская армия. А ведь достаточно было двух-трёх подготовленных специально для такого случая батальонов. Для подавления мятежей. И эта тысяча бандитов была бы мгновенно растоптана. Но батальонов не было. Ни одного годного солдата. Я и говорю: мания величия. Как же! Мы – русские императоры, многовековая династия. Я историю вижу достаточно ясно. Все куда-то разъехались. Ленинград пуст. Я как в пустыне.

16 сентября 1997 года. Опять у него на Мшинской. От станции шёл под проливным дождём. Стучу, вхожу. Он смотрит на меня весело:

– Ты лёгок на помине. Только что о тебе вспоминали. Я тебя уже ругать начал, а ты – тут. Словно чувствовал. Сарай ты хорошо обшил. Освободился от контроля ума, вот и сделал так легко и хорошо. Был свободен и работал свободно. Освободился от тупости – вот от чего. Ум и тупость – синонимы. Талант – это и есть интуиция.

Кошка тоже освободилась: два котёнка. Спрятала их под кровать. Помидоры видел? Смотри – какие громадины? Моя гордость!

Надев непромокаемые плащи, пилили с ним дрова под дождём до сумерек. После ужина пошли гулять. Дождь прекратился. Шлепали резиновыми сапогами по лужам. Он держался за мой локоть. Ярко светил месяц.

– Никак я не мог полюбить Мандельштама, – сказал он. – Сколько ни пытался читать, не получается. Противно. Наконец, понял. Всё та же красота. То, чего я терпеть не могу ни в чём. Красота – это совсем другое. Это – напряжение. И Гессе, и Набоков – та же красота, приторность. Их любовь к карамелям. И сами они – сахар и карамель. Многие любят эти сласти литературы, но только не я. Да, и Уайльд такой же. Кроме "Баллады Редингской тюрьмы". Тут его стукнуло, и вся любовь к сладостям отлетела.

Лермонтова зовут реалистом. Чушь. Мало ли какой режим как назовёт. Коммунисты назвали так, чтобы приспособить к своей литературе. Все режимы приспособливают и находят термины. Идеология. Работа для целой армии профессоров. Всё это спекуляции. Запутывание и одурение мозгов, народа, всего мира. Ужасная чушь – эта их терминология. Разделения, жанры. Нет на самом-то деле никаких романов, повестей, рассказов, прозы или стихов. Только ритмика, которая обязательна во всём. Книга – это только кусок жизненной энергии. Лермонтову дела не было ни до каких инвектив. Ничего он не объявлял и не прорицал. Он жил и писал свободно, как ему виделась жизнь. Камикадзе, повсюду искал смерть и нашёл быстро. Есть такие люди.

Девяносто процентов великих – это конструкторы. Лев Толстой – ярчайший пример. Главное их достоинство – колоссальная воля, усидчивость, работоспособность. Вот они и высжиживают своё великое мастерство: конструировать великие книги. Выработывают свой стиль, эталон, и от него ни шагу. Иначе – гибель. Сравним с самолётами. Скажем, «Боинг». Ему дано лететь только по одной линии. Так он устроен. Он надёжен, прочен и вместителен. Он сам это знает, и это знают люди. Это-то им и надо, это-то они и любят и предпочитают всему. Вот и летят они в жизни на этих неповоротливых, но прочных и надёжных «Боингах» литературы, искусства, духа. Зачем им садиться на самолёты, которые выписывают непредсказуемые, безумные фигуры и смертельные петли? Голову сломать можно! А искусство это не конструирование. Искусство – это молния. Большая – во всё небо, или маленькая – змейка. Никогда не знаешь: где и в кого она ударит. Непредсказуема. Конструирование – это тупость, отсутствие воображения, фантазии. Ты пойми одно: талант – это дар воображения, способность фантазии. Гомер, Платон – великие фантазёры. Мировые. Гоголь и Эдгар По – не того ранга, но близко к ним. Они кажутся такими

же вершинами, как и те, потому что долго было пусто. Но эта способность не может быть приобретённой. Или она есть, или нет. Посредственные писатели любят писать, они упорны, у них добротный слог. Тем живут, тем счастливы. И хорошо, чего ж желать!

Твоя первая книга, о милиционерах, "Одна ночь", хорошая. Очень хорошая.

Реализм это и есть тупость – отсутствие воображения.

Библия – самая сильная книга мира. Это собрание поэм. Она же написана стихами.

Северянин, как поэт, слабее Мандельштама. Те же красоты.

Он прикурил сигарету. Седая борода, ватник, шляпа.

Вечером следующего дня опять гуляли. Он продолжил разговор:

– Борхес? Та же красавица. Толкование толкований. Арабские сказки. Догматизм христианского вероучения. Талмудизм, Каббала, лабиринты, хитросплетения и прочее. Эта догматика вдалбливалась в мозги Европы более двух тысячелетий. Играли в эту игрушку. Но игрушка стала привычкой. Этот рационализм, научность, системность. Мозг стал машиной и мыслит только машинно. Это самоуничтожение, крах духа. Но живой мир вокруг существует. Что с ним делать? Уничтожить. И уничтожают, очень успешно. Истребление всего живого на планете, повернуть реки вспять и прочее. Восток всегда это не принимал. Это и есть сверхтупость. Этим заражены все – от Евклида до Ньютона, до Эйнштейна. Геометризация и математизация. И Конан Дойль – каббалист. И при этом поток толкований всего и вся. Придавание любому простому смыслу многозначительности. Спекуляции, чушь, абсурд, хаос. Ужас какой-то, а не мир. Вот я сижу за своим столом, а вокруг меня плавают говно. Где бы ни был – так. В любом месте мира.

Всё равно как, если бы я стал писать: у вилки четыре зубца. В стакане нет молока. Уже четыре часа. Нож нехороший. Табак есть яд. И так далее. Запечатал в кумранский кувшин. Археологи его откапают, учёные начнут толковать мои строчки и придавать им какое-то божественное значение. "У вилки четыре зубца". О! Это, наверное, символ чего-то! Великое откровение! В "Книге перемен": "Листья тыквы горьки". Тоже самое. Толкования бесконечны. Фраза, кстати, превосходная: "Листья тыквы горьки". Надо же! "Книга перемен", скорее всего – древнекитайская поэма. Вернее, строки из неё.

Наверное, не выдержу мрака. Запью опять к Новому году, на католическое Рождество. Устал ужасно от всего. Переступлю ли я порог этого года? Опять буду штамповать свои картинки. К ручке и машинке не притронусь. Голова скрутилась совсем.

Образы? Сам автор и есть – его образы, в тысячах ликов. Или ни

одного. У меня в "Книге пустот" нет никаких образов, то есть, ликов. И автора в ней нет. Вернее, он блуждает, то там, то там.

Один сербский книгоиздатель сказал обо мне: "Вот парень, который просто ловит и запечатлевает мгновения. А эти, которых объявили великими в современной литературе, эти Борхесы, Эко, Маркесы с их поэмами законодателей – отвратительны". Видишь, есть понимающие люди.

Искусство – это вихри. А не талмудисты и каббалисты. Искусство не построишь и не вычислишь.

Разве я думаю, что я гений. Чушь. Я вижу, что написал очень сильную книгу. Вот и всё. Я знаю свои энергетические способности. Разумеется. После моей смерти они схватятся меня издавать и переводить, и поднимут невероятный шум вокруг моих книг.

Они всё используют: всё красивое и сильное. Любую ценность. И искусство – тоже. Увидят красивый цветок – срывают и в вазу. Красивую девушку – хватают и в постель. Юношу, если он сильный – хватает тренер и в спорт, сдирать с него деньги, побольше, себе в карман. Искусство тоже – корм армии профессоров, издателей и прочих, крутящихся вокруг него, ненасытных туч мух, оводов и слепней. Так устроен мир, таковы люди. Тут же мгновенно используется все, что представляет хоть какую-то ценность. Красивый металл – сюда его! Открытие в науке – качать из него барыш или изготовить бомбу, чтобы грозить или уничтожить опять для своей пользы. И так далее.

Ведь каждый человек живёт в мире один. Вот я один в мире, я сижу тут, а вокруг меня плавает говно. Где бы я ни сидел – тоже самое, деться некуда. Здесь уже надоело. Я всегда себя спрашивал: неужели я буду тут жить до самого конца? Ужасно! И переезжал в другое место. Вот и сейчас – эта Мшинская, в которой я замшел. Теперь я бы хотел поселиться в Пушкине. Но как?

6 октября 1997 года. Он в городе. Сегодня пришёл к нему в час дня, и мы с ним отправились в банк около Публичной библиотеки. Он получил 685 долларов из Франции – гонорар за "Башню". Обрато пошл по Фонтанке, заглянули в мебельный магазин на углу. Там он купил ореховый стул и нёс его сам на плече. Мне нести не доверил. Так добрались до метро "Владимирская". От "Ладожской" – на маршрутном такси. Так и внёс стул в квартиру. Поставил на середине комнаты и сел на него. Я спросил: в чём же выражается интуиция Лермонтова в "Герое нашего времени"? Он ответил с лёгкой иронией:

– В слове. То, что так абсолютно просто написано и так прекрасно. Как, каким образом сделано – необъяснимо и невоспроизводимо. Вся работа изнутри, всё скрыто, ничего не выпячивается, вонне ничего не

заметно (рука его не видна, как делал). Лермонтова вело его сверхъестественное чутьё, неподдающаяся объяснениям интуиция. Это уже мистика. Во всей его прочей прозе – ничего подобного. В стихах? Очень мало. Отдельные строчки. Из "Мцыри", например, только четыре строки: "Я мало жил, и жил в плену. Таких две жизни за одну, Но только полную тревог, Я променял бы, если б мог". Из "Демона": "В безвоздушной океане Без руля и без ветрил Тихо плавают в тумане Хоры стройные светил". Очень сильно. Да, и "Парус" и "Ангел" и все пятнадцать стихотворений последнего его года. Лермонтов – героический дух. Единственный героический дух в русской литературе. Истинный герой, на самом деле, в реальности. Пушкин – нет. Его учителя – Байрон, Пушкин. Но он быстро стал самим собой. Гоголь – нет, на него никак не влиял. Гоголь должен был быть ему чужд. Гоголь – другой. У Гоголя метод – духовно-живописный. Стихи у Лермонтова риторичны.

Блок герой? Блок боролся только сам с собой, со своими метелями. Блок – мистик. Но Лермонтов мистик по-другому. У Лермонтова борьбы с самим собой не было. У него борьба открытая, вовне. Сверхъестественная по напряжённости. Как тебе объяснить. Это необъяснимо, это надо чувствовать. Например – викинги. Это не пираты. Они воевали не из-за денег и грабежа. Они ставили на войну всё, всего себя. Это мобилизация всех сил, которая и приводит к взрыву сверхъестественной энергии. Я, например, могу писать только так. Или все так, или вообще не пишу. Всю жизнь мечтаю написать что-нибудь простое, чисто занимательное, типа "Декамерона" Бокаччо. Или Мериме. Только чтобы было чисто, красиво и увлекательно написано, без этого чудовищного напряжения. И не могу, не дано, не получается. Что делать – такой уродился. И читаю с удовольствием такие книги, если они живые, красиво написаны. Но я всегда знаю, что это не то, не высшее. Конечно, Лермонтов – значительнейшая фигура. Тема его: жизнь и смерть.

Вот тебе ещё пример с мистикой: видишь эту громадную тыкву. Так вот. Их было много на ветвях – маленьких плодов. Я решил сделать эксперимент: обрезал все плоды и все плети, оставил только один плод. То есть, пространство в два метра сжал до десяти сантиметров. И что же: прихожу утром и буквально был поражён. За ночь она, эта маленькая тыквинка выросла вот в такую громадину. Как ты это объяснишь? Мистика! Мобилизация всех сил, бросок в одну точку. Взрыв. Да, на Востоке всё построено на этом методе интуиции. И искусство, и борьба, и йога. Сосредоточение в одну точку, интуиция, возникающая в таких состояниях. Древняя традиция, древнее искусство.

Для чего нужны музеи настоящему парню художнику? Только как

отталкивание. Чтобы не желать так писать, чтобы это вызвало у него взрыв противодействия, отрицания. И таким образом он может попасть в какую-то древнюю эпоху. Как художники двадцатого века попали к наскальным рисункам. Получается так: рождается поколение гениев, в мозгу у них чрезвычайная сила, которая гонит их к поискам, чтобы что-то, что им брезжится, дало им толчок. В предшествующем искусстве для них ничего нет, всё неприемлемо. И вот один едет на Таити, другой – идёт в кабаки, третий – начинает наблюдать жизнь зверей: тигра, змеи и так далее. Они ищут жизнь. Сверхжизнь. И находят. Этой жизни было много в древнем искусстве. Перспектива – какая чушь! Они не знали никакой перспективы. И средневековое искусство не знало. Писали свободно. Что считали главным, то и ставили на первый план, в центр, самым большим по размерам. Если интересен шлем, так его и рисовали со всеми подробностями, а лицо едва прорисовывали.

Борьба с учителями. Это должно проходить уже в детстве, это стадия роста. Это краткий период. А потом – сразу зрелость, должен быть сам собой. А мои ученики всю свою жизнь борются со мной. Вернее, даже не со мной, а с моим призраком. Несчастье всех акцентированных натур. Пушкин всю жизнь боролся с Державиным. А кончил им же. "Медный всадник" – самый настоящий Державин.

В России, так, чтобы появилось целое поколение гениев – было только один раз: в начале двадцатого века. В девятнадцатом – одиночки.

22 октября 1997 года. Пошли гулять в лес. Снег сырой. Ручей засыпан листьями. Он стал говорить о своей первой жене:

– Она была чрезвычайно талантлива. Больше меня. Высшая степень внутренней свободы. Но ее беда – неверная духовная ориентация. Это беда многих. Девяносто процентов людей живут бездуховной жизнью, только для живота, для материальных благ и удовольствий, бездушные машины. Амбиции. Борются с теми, кто сильнее их, завидуют. А зачем? Живи сам, своей жизнью, а не завидуй тому, как другой живёт, и не смотри на него.

Пушкин боролся с Державиным? Нет, это совсем другое. Это борьба внутренняя, борьба с влиянием. Без нее и жизни бы не было. Новый гений не может действовать на пустом месте. Сам по себе он только энергия, сила. Ему нужно эту энергию, эту силу к чему-то приложить. Нужен высший образец в данной деятельности, сначала в короткий ученический срок, как объект подражания, потом – как объект борьбы – чтобы преодолеть, победить и пойти своей дорогой. У больших художников срок подражания совсем коротенький, период детского роста. Бывает и без борьбы, а меняется угол зрения. Эпохальные сдвиги восприятия. Аполлинер с Роденом не боролся, а только констатировал,

что такая скульптура им не годится, чужда им, не их искусство. Что такую скульптуру только гладить, как кошек или женщин.

У Пушкина почти нет интуиции? Я такого не говорил. Пушкин – создатель литературного русского языка. Как Данте – итальянского. Для этого нужна высшая интуиция. Но стихов с высшим состоянием у него почти нет. Только "Бесы". Это высшее состояние и есть интуиция. У Данте совсем нет. У Гоголя почти нет. У Гоголя чрезвычайно живая проза. Но это не одно и то же. Проза может быть живой, но это ещё не значит, что она – интуитивная проза. У Лермонтова "Герой нашего времени" – чисто интуитивная проза. Я уже тебе говорил: это не объяснишь. Определение одно: не видно, как сделано. Я вижу это произведение, как чистый кристалл. У Гаршина тоже – интуитивная проза. Но на него сильно давило учение Толстого о любви к человечеству. Это сильно портило. Он выходил из сумасшедшего дома и в просветлениях писал прекрасную прозу. Шизофрения, но странная. Многие кончают самоубийством оттого, что не могут больше жить. Многие от недостатка внимания, чтобы привлечь к себе хотя бы таким образом.

Да, интуиция – это невмешательство ума. Вернее, невмешательство логики и рассудка. А ума ни у кого нет.

Ведь у Лермонтова в "Герое нашего времени" нет напряжения. Но, повторяю: чистый кристалл.

"Повести Белкина" у Пушкина – самое живое у него в прозе. Но для кого это? Для детей среднего возраста, для юношей? Пустое или незначительное содержание, и вообще как-то по-детски.

Беда русской прозы, что она формальна, она только в языке, и всегда была такой. Занимательности в русской прозе нет. Отчего? Оттого, что тут нет читателя. Писатель вынужден писать сам для себя. А много ли найдёшь в себе занимательного? Такая страна. До Пушкина – блестящая проза Батюшкова. "Записки" Державина сильнее. Древняя русская проза очень сильная: летописи, Аввакум. Но это – древняя, язык другой. Аввакум – да, мощно, да, гениально. Но кто его может читать? Грязь, мат, проклятия. Ужас! А меня кто может читать? У Достоевского – куски. Там, где у него описания. Яркие, исключительно живые картинки. Редкое совпадение: когда и занимательно и гениально. Например: "Декамерон" Бокаччо. Да, и Гоголь. Но не совсем. Многие его не могут читать. Особенно женщины. Неудивительно. Они, женщины, у него из книги в книгу – всё страшнее и страшнее.

30 октября 1997 года. Сегодня, как мы договорились, я пришёл к нему утром в одиннадцать часов. Застал его за работой. Он рисует, стоя у стола. У него уже набралась толстая пачка листов. Он неудовлетворён:

– Есть сильные рисунки, но всё это уже было у меня, повторения, превращается в шаблон. Надо менять метод, менять инструменты, краски, бумагу. Этот период исчерпан. Надо другое. Так ведь у меня и с книгами. Я не могу ни рисовать, ни писать одним и тем же методом. Вот – штукавина для вскрытия устриц. Из Марселя. Там я попробовал ею работать, и вышел совершенно новый период графики. Но теперь и это исчерпано. Хочу теперь попробовать углем. Но нигде в мире не найти натурального угля. Не изготавливают. Только химический. Цветными красками не могу. Масляными – тем более. Запах ужасный, и техника, требующая длительной, сложной работы. Я не выдержал бы. Да и зачем? Месяц подготовки, месяц отшлифовки. Того же самого я достигаю за секунды – и рисунок и отшлифовка одновременно. Большие, законченные картины – маразм. Посмотри на эту, она у меня во всю стену, привёз из Армении, подарил известный художник. Вот эти веточки – всё! Остальная громадная часть картины – лишнее, дорисовка, то, что совершенно не нужно. Но так принято в западной традиции: создать картину. Традиция древней восточной живописи, китайской прежде всего, совсем другое. Там: чтобы не было ничего лишнего. Только главное, только необходимое.

Вот смотри: – он раскрыл книгу, – вот древний китайский художник десятого века. Это один из самых великих рисунков в мире. Маленький рисуночек. Так что же все эти гигантские галереи громадных картин в помпезных золотых рамах? Ничего, нуль. Видишь: отшельник – опирается на тигра. И всё. Вот ещё рисунок. Это двенадцатый век. Портрет поэта Ли Бо. Этого я ещё могу достичь – рисунок фигуры. Лицо – никогда. Почему? Фигура – свобода линии. В сочетании с лицом, которое сделано исключительно реалистически. Это мне недоступно. Что ж ты хочешь. Это же один из гениальнейших мировых художников. Там, в древнем Китае, была такая установка: изначальная свобода от любых цепей. От всего внешнего, всего лишнего. Только то, что главное, что изнутри, что диктует импульс духа. Да, на интуиции, при которой только и возможно точное попадание. Но этого невозможно приобрести, этому научиться. Такими рождаются: способность быть свободным, одарённость интуицией, чутьём – когда ты свободен, когда – нет, что у тебя живое, а что мёртвое. Даётся одновременно: свобода и интуиция, одно является следствием другого. Свободных очень мало. Тех, кто может быть самим собой. Способен быть самим собой. Цепи всевозможны: цепи нравиться – людям, бабам. Цепи моды, цепи идеологии. Цепи страха. Цепи тщеславия. Много. Пушкин не был свободен, когда писал своего "Бориса Годунова" или "Медный всадник". Мода времени, требовалось обязательно создать что-нибудь могучее, грандиозное. И что? Мертвечина. Эдакие бомбы! И что от них толку?

Повесил себе на шею, и они его согнули. Даже гении не часто могут отличить у себя живое от мёртвого. Что же говорить о прочих. Я беру высший потолок. Но иначе я и не могу. Только так и имеет смысл оценивать. Или по высшей мерке, или – ничего. Так я устроен. Такая оценочность иногда кажется абсурдной. Ведь в мире существует слишком много такого, что не относится к этому высшему уровню. То, что нравится людям, что они любят, чем живут. Отнюдь не гениальное. Всё это для людей и делается, для средней потребности. Видимо, это совершенно разные миры, между которыми пропасть. Одно для людей, другое – я не знаю, для кого. Для богов, что ли.

Бывает, одно только стихотворение. У Бродского, например, я нашёл одно. А думал, ничего у него не может быть. Это: "Я обнял эти плечи и взглянул..." Остальное у Бродского только конструкции. В наше время больше ни у кого. Айги? Не-е-т. И у Айги конструкции. Только сделаны такими изящными мазочками. Толстой – конструкции. Микеланджело – конструкции. Громадные, ужасные. Как вступил на этот путь, так и пошёл. Не сойти. Есть ли какой-то смысл в конструкциях? Это скелеты. Какой смысл в скелетах? Да, они могут давать намёки. Но и только. Надо, чтобы скелеты облеклись плотью, кровью, лимфой, задвигались, задышали. Чтобы стало живым.

И у Пушкина конструкции. Кроме "Бесов". Ещё кое-что, то там, то там. У Блока написано меньше, а живого больше. Другое поколение, сменились ориентиры, и это изменение угла зрения дало больше жизни. Но из этих ориентиров только Блок и вырвался. Больше ни один. Бальмонт? А ты как думаешь? Да, только в одном стихотворении. Но я тебе его и подсказал. Там только на слухе, на ритме, на этих повторах. Действует сильно. А почему – не раскладывается, необъяснимо. О чём я тебе и говорю столько времени. Судя по твоим вопросам, ты думаешь, что это можно объяснить. А это необъяснимо. Если сам не чувствуешь, никто чувствовать не научит. Высшие состояния. Возникают и происходят изнутри. Да ну. И это только слова. Что такое – состояние? Тоже – только слово. Нечто, некое внутреннее напряжение, божественная свобода. Громкие слова. Как ни называй. Бессмысленно и бесполезно. Никому и ни для кого. Мгновение – сверкнуло и нет его. Разве это можно имитировать? Скопировать? Вот, скажем, линию моего рисунка. Можно – долгой, кропотливой работой, микрон за микроном. Или просто сфотографировать. Но это будет мёртвое. Обязательно. Это ужасно. Как повторить живое движение руки, дрожь, внутренний импульс, то, чем горишь в безотчётный момент, когда и сам себя не понимаешь – что и как делается... Фиксируешь в уме: что высшее, что невысшее. Это возраст. Это плохо. Лучше бы не отдавать отчёта. Чтобы только чувство было: что сильно действует. А почему – не задумываться.

У Ахматовой ни одного стихотворения. У Цветаевой – резко очерчено, риторика, но доведённая её психозом гениальности, этой истеричностью какого-то безумия, сверхнапряжённостью этой – до мистики. У неё много звукописи. На одной только звукописи, когда она не грубая, если уметь её использовать – достигается мистика. Так ведь вся поэзия, с древности, на этом, из этого знания. Вернее, опять же – из интуиции. У неё, например: "А может, лучшая потеха Перстом Себастиана Баха Органного не тронуть эха, Распасться, не оставив праха На урну..." И конец стихотворения: "Прокрасться, не встревожив вод". Это её "прокрасться" рифмуется с её перстнями. У неё же руки были в перстнях. У Пастернака целая книга – "Сестра моя – жизнь". Ни у кого нет, чтоб целая книга была написана в этом высшем состоянии. У Маяковского поэма – "Облако в штанах". И написал мальчишкой. Двадцать лет. Откуда он мог всё это знать, прочитат? Значит, изнутри, интуитивно, значит – горело. Даже у Леонида Мартынова есть одно стихотворение. Единственное барокко в русской поэзии. "Колосья...". До середины сильно. Дальше – дрянь. Дыхания не хватило. Это у многих – не хватает силы. Да ну. Кто может всё время писать на таком уровне. Даже высшие гении не смогут. Сгорят в два-три года. Это же колоссальное напряжение. Гении – летающие. Буквальный перевод с греческого. Летающие, душа, вылетевшая из тела, из цепей, и порхающая на свободе. Свободная от всех и вся: пленов, планов, гнётов, гадов. Абсолютной свободы не существует. Мы же не ангелы. Мы живём тут, на земле.

5 ноября 1997 года. Идём по дорожке у ручья. На снегу жёлтые листья. Он показывает рукой:

– Деревья вдали мне кажутся гигантами, а подойду – обыкновенные. Странный эффект: всё наоборот. Так со всеми деревьями, кроме дуба. Дуб вдали мне кажется обыкновенным, а вблизи: у! до чего же громадина! Вот, например: первая моя поездка в Париж в 1965 году. Мне сильно повезло. Резкая смена обстановки. Другой мир, архитектура, резкая смена угла зрения. Тогда я впервые увидел живопись в оригиналах. Вернулся домой и стал писать совершенно по-другому. Резкая смена стиля. Вот что иногда значит всего лишь увидеть другой мир. Что меня больше всего поразило в живописи? Не то слово. Ничего меня не поразило. После войны и блокады меня уже ничего не может поразить. На фоне коммунизма вдруг – существование многих разных углов зрения. Вот и всё. Увидел один раз, и мне было достаточно. Больше уже не пересматривал. Перечитывание книг – дело другое. Каждый раз открывается иное, иначе. Слово и глаз – разные вещи.

Оттого, что столько лет перевоображаю всё на бумаге, живу, сосредоточась на этом, в жизни уже не могу нормально общаться и говорить о реальных житейских вещах в их обыкновенных значениях. На меня смотрят, как на полоумного. Теперь вспоминается странно. Эти мои поездки в Тибет в молодости. Борьба кунфу, буддийские монастыри в горах, очень бедные. Нефритовые статуэтки Будды. Испытание новичков: подвешивали на скалу на шесть дней без питья и пищи – над пропастью.

Роб-Грие? Да, видел, но не знакомился. "В лабиринте" – самая сильная у него вещь. Остальное – так себе. Скатерти в красную клеточку, два чудака и так далее. Этакий облегчённый Кафка. Ну, не Кафка. Там в то время больше были в моде Морис Ласко и Гуревич. Один поляк, другой – еврей. Вот с ними я был знаком. Оба жутко пили и быстро загнулись.

Хokusай не равен древним китайским художникам. Ты пойми: чем древнее, тем сильнее. Недаром китайцы всегда ориентировались на древние образцы. Чем глубже в древность – тем выше. Они не знали, что такое новаторство. У них и понятия такого не было. Но при изучении древнего искусства возникали новые варианты и пути. Это на Западе имитация, внешнее, поверхностное понимание авторитетов, то есть – подражание. Все революции в искусстве двадцатого века от древнего искусства – от открытия наскальных рисунков. Весь этот гигантский переворот в искусстве, весь двадцатый век – от этого.

Аполлинер – от средневекового искусства. Он изучал средневековые бестиарии. Их смысл в том, что – текст параллельно рисункам. Чем напряжённей рисунок, тем напряжённей текст. Аполлинер создал свой чрезвычайно напряжённый бестиарий, свою книгу. Он сам или кто-то назвал: верлибр. Такие стихи. Вот это и была произведённая им революция. По сути: из древности. Он так и объяснял и толковал. Не поняли, не приняли во внимание то средневековое содержание, тот дух, тот смысл – отчего и возникает напряжение. Взяли только внешнее, оболочку, и вся Европа стала писать свободным стихом. Шлёпают и шлёпают. Рифма настолько забыта, настолько стала им чужда, что они уже и не понимают, что это такое. Так можно писать сколько угодно. Едет казах в степи и поёт: вот облако, вот скала, вот собака, вот дерево, вот я еду. Точка. Стихотворение готово. Или я сочиню сейчас: вот человек прошёл, вот лес, вот грязь, вот дорога, вот я говорю. Точка. Я хоть ещё выбираю, как художник. А можно и не то нагородить. У нас маразм наоборот: продолжают шлёпать стихи в рифму, которая себя здесь давно изжила. Дошло до издевательств. Блок в этом своём "О доблести, о подвигах, о славе" рифмовал: ушла, пришла, ушла. Что ж, он не сознавал, что делает? Прекрасно сознавал. А

посмотри перевод Бальмонта "Баллада Редингской тюрьмы": у него там рифма дробится в предокончаниях. Это что-то новое. У Цветаевой простейшая рифма. Но в строке – исключительно напряжённая внутренняя рифмовка и звуковая нагрузка, до рифмы на окончании. Всё смещено влево. А в древнерусской поэзии вообще нет никакой рифмы. Она ей была не нужна. Тоже – во всей мировой древней поэзии. "Слово о полку Игореве", летописи – это стихи, поэмы, записанные сплошным текстом. Проза по сути дела. Это потом разбили на строки и строфы – по западному образцу.

Я давно всё это понял: на что надо ориентироваться. Уже в двадцать три года я обратился к древнерусскому языку, к летописям, к "Слову о полку Игореве". К чему ж и обращаться, как не к живому источнику языка, к его силе и чистоте, к началу, когда язык ещё мощен. Все великие поэты обращались к древности. И создавали современные поэмы на основе древнего духа и древнего языка. Этого никто не понимает. От меня же шарахаются. Для них я что-то чуждое и чудовищное. Конечно.

Шарль де Костер пошёл ещё дальше: стал писать на старофранцузском, да ещё фламандского диалекта. Он вообще никому недоступен. Тоже самое – Вийон. Я живу только языком. Так я устроен. Любовь, страсть, призвание – громкие слова. Если их отбросить – просто такая потребность, необходимость. Бывает хуже: у наркомана потребность в наркотиках. И знает, что погибнет через несколько лет. Но потребность выше знания.

Я живу этим языком, потому что я с этим языком родился. Родись я во Франции, жил бы французским и так далее. Здесь я живу русским языком. Более того – я живу языком древнерусским. Мой источник – летописи. Я не могу читать газеты, книгу открою – тошнота. Мне нечего читать. Наверное, есть ещё много древних летописей где-то, но они недоступны. Раньше я хоть интересовался русской историей. Вся история кончается восемнадцатым веком, на Татищеве. Карамзин – ужас. Читать невыносимо. Соловьев – тоже. Никогда я не буду об этом говорить. Зарёкся. Ничего не понимают, не слышат. Я отказался от всех выступлений, от всех интервью. Придёт другое время, другие люди, которые будут способны это понять, захотят. Придёт время – и всё опять откроется.

Мне совершенно всё равно, что будет с этой Россией, или с Францией, со всем миром. Всё, что происходит вокруг – безразлично. Не безразлично мне только одно – язык. Я им живу, я – его кровь, его внутреннее, его дух. Мой древний источник. Весь мой язык – по напряжению, по составу, по корням – из древности. Пушкин свёл этот могучий язык к обыкновенному, к разговорному. Что ж, надо на чём-то

говорить. Но это отнюдь не значит, что надо на нём писать. Тунгус Айги, искренне любящий русский язык, мне куда дороже, чем вся эта свора к языку безразличная и язык поганящая. Каждый день издаются на потребу самого низкого языкового вкуса тысячи книг жуткого чтива. Неудивительно, что я непонятен.

11 ноября 1997 года. У него недописанное письмо на столе. Идём гулять, несмотря на плохую погоду. В лесу темно, мокрый снег, слякоть.

– Болтаю, чтобы скоротать время, – говорит он. – Когда человек заблуждается насчёт других, это нормально. Но когда заблуждаются в себе – вот это ужасно. Считает себя деятелем, а сам лентяй. Поэтом, а сам бездарь. Певцом, а сам хрипит. Живописцем, а сам маляр. И так далее. Много. И вокруг этого крутится мир. Человеку, каждому, интересен только тот отрезок жизни, когда он начинает помнить и до обрыва сознания. Никто ж не знает, что там – за чертой. Может, что-нибудь сверхпрекрасное, а может – наоборот. Об этом бесполезно думать. Только этот отрезок сознания. И кто как его заполняет, тем, что интересно его организму, смотря, как кто устроен. Политику – та арена, поэту – стихи, пьянице – вино. Вот и всё. Так и надо жить. Понять себя: что тебе лично интересно. Все склонны себя преувеличивать. Надо смотреть здраво. Никакой правды в мире не существует, истории – тоже. История – миф. Факты? Только даты и ситуации. Каждый на одно и то же смотрит по-своему. Нет одинаковых взглядов на предмет. Все разные. Значит, существуют только впечатления. У живого человека они живые, у тупого – никакие, потому что он ничего не видит.

О литературе говорить надоело. Во как тошно. И бессмысленно. Всё равно ничего нельзя объяснить. Это критики объясняют, за это им деньги платят. О человеке давно всё известно. Что можно сказать нового? Нет, толкут воду в ступе. Долбят и долбят одно и тоже. И это называется – философия. Помню, в двенадцать лет первый раз открыл Шопенгауэра и удивился: что это за открытия такие великие. Это же везде, во всех книгах можно прочитать. Прописные истины. Вот так мудрец! Или же – Сартр. Грань между жизнью и смертью. Экзистенциализм этот существует уже в древнейших писаниях. Опять – что тут нового? Словоблудие. Да ну.

На Востоке, в древнем Китае – одна великая идея: понятие пустоты. Так называемый пустой ум. Освободить свой ум от всего содержания, которое внушил мир людей. Выбросить вон все эти идеологии, морали, религии. И тогда станешь самым собой. Это единственно правильный путь. Вот и вся философия. Жить тем, что приносит тебе удовольствие, делает тебя счастливым. Велика мудрость. Нет, не понимают. Всегда ищут чужое, зарятся на не своё.

Сейчас сильно устаю. Три года назад я ещё мог работать по вечерам. Теперь нет. После двух часов – каюк, ум не крутится. Три года назад я и бабы ни одной не пропускал. А шли потоком. А теперь и общения никакого. Сам видишь.

Возвращаемся домой в темноте. Он спотыкается, держится за мой локоть.

– Знаешь, как опохмеляются в Ташкенте? – спрашивает он вдруг. – Хадж называется. Что-то вроде кипящего студня, только в десять раз сильнее по консистенции.

28 ноября 1997 года. Сегодня он гулять не хочет, плохо себя чувствует. Сидим за его столом у окна. Он стал говорить о книге Митурича, которую я принёс ему прошлый раз.

– Митурич – отличный художник. Статьи Харджиева – только до тридцатых годов, как и у всех у них. Да и вообще ничего искусствоведческого не стоит читать. Любые объяснения искусства бессмысленны. Как объяснишь работу художника, живопись на картине, или слова в стихах, если и сам художник не может объяснить, что он делает или сделал. Это же тысячи цветов, тысячи мазков в неповторимом, единственном сочетании. И слова в стихе, и фразы в прозе. Они говорят сами за себя. Как можно сказать за них? Что? Художники и не говорят, они, как правило, молчат о своём деле. Если говорят, то это или мистификация, или пишут новую книгу об уже написанной книге, то есть – опять так называемое творчество, а не объяснения.

Да, знают нервы – то, что делаешь, и то – только пока работаешь. Кончил работу – всё, ничего уже не знаешь. Видимо, достаточно просто, потому что делается легко. Есть увлечение, воодушевление, садишься и пишешь, пока пишется. А если не идёт, то насиловать себя, просиживать задницу, потеть над листом – пустое и вредное занятие. Самое лучшее получается – когда импровизация. Или даже – только тогда что-то и получается.

Откуда берётся это воодушевление? В голове. Да хоть из задницы. Какая разница. А искусствоведы – болтовня, словоблудие, объясняют для своего заработка, кормятся этим. Как можно передать видение глаза – словом? Абсурд. Самое лучшее – импровизация, потому что – свободно.

Ничего я уже не могу сказать о своих книгах: ни о "Дне Зверя", ни о "Доме дней", ни о чём, что уже написано. И перечитывать себя не могу. Это как запор. Копилось, копилось что-то в тебе, мучило тебя, нестерпимо, жуткие страдания, просрался наконец – о, какое облегчение, какое блаженство! И кто же захочет рыться в собственном говне?

Да, в писаниях есть правильные ориентации, например: наблюдать детали, жизнь непосредственно – как она у тебя идёт, дневниковость. Но и это только один раз, как один из приёмов. Пережить его, пока есть увлечение этим наблюдением и записями своего глаза. Тогда всё само собой складывается и идёт в руки. На ловца и зверь бежит – это закон. Увлечение, любовь к чему-то, полная самоотдача, при наличии дара, разумеется. Прошло увлечение – бесполезно возвращаться к этому приёму. Он уже будет мёртвый, и наблюдение будет – только мёртвый каталог деталей, и книга будет мёртвой без этого воодушевления. А его насильно не вызовешь. Оно или есть, или нет. Одному даётся много, другому – никогда. Это талант и есть. Как его объяснишь.

Вся русская литература поголовно сюжетна. И стихи – вот в чём ужас. Романы, повести, рассказы пишутся по плану, создаются конструкции. Лермонтов очень силён в деталях. И у него, собственно говоря, нет сюжета. Мотался по горам в кибитке и смотрел. Вот что у него главное. Конечно – как смотреть. Сильный глаз. У японцев – Кавабата. Этот тоже чрезвычайно силён в деталях. Лесков "Левша", "Очарованный странник". Блестящие импровизации, написано на одном дыхании. А сколько у него томов скуки! Видно, что высиживал, вымучивал, моральные установки, идеи. Да, у него особый угол зрения. То, что бывает крайне редко. Монтень? У него очень много цитат, чуть ли не весь он на цитатах.

Всем живёшь один раз.

Посмотри, как живут в деревнях, хоть бы у меня на Мшинской. Да и по всему миру так. Эти крыши треугольником, лопаты, ломы, колодцы. Эти серпы. В каком веке там живут, как ты думаешь? Это же две тысячи лет до нашей эры, это древний Египет. Ничего не изменилось, ничего не меняется. Радио, телевизор – пустяки.

Да, только в искусстве движение. Но куда? Назад, в древность. Только взгляд назад и возможен, только там и можно найти пищу, опору, новое что-то, помощь – для нового толчка вперёд. А как же иначе. Что же ты можешь увидеть и найти в будущем? Ничего, там пустота. В настоящем? Настоящее бесформенно, хаос. Только детали, природа. Но и природа – древнее древнего.

Откуда пошёл весь этот мерзостный реализм? С помпейских фресок. Когда откопали этот мерзостный городишко, который боги абсолютно справедливо залили лавой и засыпали пеплом. Копии с жизни, как она есть – их фрески. Что это – как не реализм? Рабски копировать, вместо того, чтобы свободно видеть. Копии с реальности, я и говорю. Реальности нет? Всё наоборот. Как раз только реальность и есть. И это самое прекрасное, что существует в мире. Реальность зримая, горячая, осязаемая, звучащая. Только и надо – её видеть. Но её не видят девяносто

девять и девять десятых процентов людей, то есть, почти все. Рабы, они знают только свою тупую, ежедневную работу. Когда им видеть. Конечно, для них нет реальности, нет видимого мира. И это специально пропагандируется и внушается властями, это им выгодно, на этом строится вся их идеология и философия в кавычках: чтобы рабы работали и не отвлекались на видение, на богатство мира. Увидят – задумаются: а зачем им нужна эта каторга?

Да, умение видеть правильное всего назвать естественностью. Когда человек не лжив, прямо и открыто смотрит на природу, не обманывая ни свой глаз, ни другие чувства. Тогда побоку и коммерция, и карьера, и всё. Человек поглощён содержанием реальности, видимого мира. Естественность это и есть свобода, талант, способность к контакту с людьми, с животными, растениями, камнями, с чем угодно. А на ловца и зверь бежит. Я уже говорил. Только мало, кто этим обладает. Все крупные писатели были естественны. Естественен, значит, свободен, открыт. Без шор, без комплексов, без боязни, без оков. Да, конечно: правильная или неправильная нацеленность в писаниях от того – есть или нет естественности.

Все страдают. Это идея христианства – страдание. Вот и ходят все со страдальческими лицами. По телевизору выступают – тоже страдальцы с такими откормленными холёными мордами, глазки закатывают, слёзки льют, болеют за всё человечество. Бандит на бандите. Кто больше всего страдает за всё человечество – тот самый большой бандит и есть. Банкиры тоже страдают, рыдают буквально, хапая денежки, а им всё мало. Вот и плачут, бедняги. О, и Достоевский страдал! В жизни, как человек – это мерзость редкая. Страдал оттого, что проигрывал громадные кучи денег. А потом рыдал, страдая, что проиграл, и ударялся от страданий в пьянку, и пропивал ещё больше. И опять страдал, очухавшись, с похмелья. Так ему совестно было. В романах страдания вообще нестерпимы. Это самое мерзкое, что может быть в мире. И Толстой страдал – тот от своего величия. Он же параноик, мания преследования, что и переходит в манию величия. "Война и мир" – действительно великий его порыв. Такая громадина! Сразу известность, мировая слава, ну он и решил, что он равен богу. На этом и свихнулся. Я ничем не страдаю, ни физически, ни, тем более, нравственно. Никогда у меня этого не было. И от глухоты не страдаю, и тяжелейшие операции переносил легко и спокойно. Наоборот: я на физические страдания иду с радостью: они меня взбадривают.

Абсолютная естественность – это абсурд. Чтобы было искусство – нужен отбор естественности. Разговоры об этом бессмысленны. Кто это не понимает в себе, тому не объяснишь. И объяснений ищут только дураки, они и задают вопросы. Есть способность к искусству, или её нет.

Раскрываешь книгу, читаешь: сильно, свободно, звонко, искусно. Вот всё. Что объяснять. Кому дана эта способность, тому одновременно даётся и желание всё изучить в этой области. Одно связано с другим. Вот как кошка. Она от природы охотница, ее природное назначение, иначе она не выживет. И у неё инстинкт: только встанет на лапы, начинает обнюхивать всё вокруг, изучать мир до мельчайших деталей. Изучит, узнает, и хранит это знание всю жизнь, неважно, будет ли использовать или нет. Понадобится – использует, поймает мышку за милую душу. Это её призвание – ловить мышей. Так и поэт изучает стихосложение, технику своего дела. А как же. Это уменье.

Не могу не писать. Потребность. Бывает, специально себя останавливаю, не даю себе, гуляю, хожу на почту, на рынок. Два, три дня. Особенно, когда вот такой мрак. Но... только выглянет солнце – руки так и начинают сами шлёпать по машинке, что попало, что в голову взбредёт.

Он встал из-за стола. Кипятит воду в белом цилиндрическом электрочайнике. Снег, сумерки. Заварил. Налил в чашки.

Продолжил разговор:

– Футуристы – открытие новой технологии. Это нельзя не знать. Блок не перешёл на прозу. Не умел. У него только прекрасные кусочки в записных книжках. И Пастернак не умел. Его "Доктор Живаго" хаотичен. Почему не умели? Не умели и всё. Почему я не умею писать рассказы? Не дано. У меня получился только один рассказ: "История одной любви". Там я и лягушка. А дальше не пошло. Всё мёртвое вышло. Думал целую книгу рассказов написать. Не тут-то было. Всё сжёг.

Я теперь думаю, что зря я столько лет вёл Лито. Это мне психически повредило. Пустое время. Тексты? Никогда мне не были интересны. Чушь, да, забавляла. Но на то она и чушь.

Вот тебе пример: Дюрренматт. Писал всю жизнь скучные тома, классицизм. В шестьдесят стукнуло, инфаркт, чуть не сдох. Очухался, понял – всё чушь, что он писал, все идеи слетели. Стал свободен. И какие великолепные рассказы он написал под конец жизни. Особенно хорош этот: как богач вернулся из Америки в родную деревню, в горы. Да, "Лунное затмение".

Статьи Малевича – какой ужас. Он левее всех левых. Похлеще Маяковского. Добровольный коммунист, организация пролетарских музеев, пролетарское искусство и так далее. И это абсолютно серьёзно, в хитрости его не заподозришь – подпеть власти ради самосохранения. Ему уж сорок лет было. Да и зачем ему? У него уже и тогда была мировая известность. Революция была совершена вовремя. Всё было сделано правильно. Православие превратило всю страну в гетто. Я терпеть не могу этого скуластого с мордовской мордой. Но сделал он всё

правильно. И когда я вижу по телевизору, как летят вверх эти башенки, купола с крестами, то есть – взорванные – у меня сердце радостью заходит, я, можно сказать, ликую и на седьмом небе. Нет, всё тогда было правильно сделано.

То, что сюжеты "Ревизора" и "Мертвых душ" были подсказаны Гоголю Пушкиным – басни. Не верю. Эти пустяковые, собственно говоря, анекдоты ходили по всей России. Из любого дерьма можно сделать конфетку, и из любой конфетки – дерьмо.

У стрекозы, у пиявки, у камня рисунков в тысячу раз больше и они в тысячу раз интересней, чем у какого-нибудь древнего китайца. Там – бесчисленность и многообразие. Меня, например, до сих пор поражает полёт стрекозы. Как она стоит в воздухе и мгновенно переносится туда-сюда, почти на одном месте, и вся трепещет! Тысячи граней, зигзагов, отражений, колебаний! Где ты такое найдёшь? На каких рисунках, даже и древнекитайских? Вот на что надо смотреть. Я лично зачарован. Или – движение пиявки в пруду, эти зигзаги. Попробуй-ка воспроизведи. Какая пластика!

Китайцев я теперь тоже не понимаю: сидеть годы, чтобы написать одну линию на одной веточке.

Микромир – вот чем можно жить, никуда не уезжая. Не обязательно природа. Скажем, и в городе есть многое. Центр Ленинграда, там, где много декоративного. Всё тот же самый лабиринт мелочей. Я там часто гулял ночью когда-то и многое видел.

Ну, я тебя замучил. С часу дня болтаю. Уже половина восьмого.

10 декабря 1997 года. Сегодня, когда я пришёл к нему, привезли мебель из магазина. Грузчики внесли кресло. Он долго его шупал, сидел, пробуя, важный, с серебряно-белой гривой волос, восседал, как на троне. Вполне довольный, он оделся, и мы пошли гулять.

В лесу чудесно. Выпал чистый снежок. Блестят на солнце верхушки запорошенных елей. Он стал говорить, изливая своё раздражение и гнев:

– Эта страна самая дикая и самая ужасная на земле. Страна негодяев, как назвал Есенин. Где ты мог видеть книгу Эзры Паунда? Паунд здесь не издан. Да и ничего из того, что сильно, здесь не издано и никогда не будет издано. Поэтому и меня здесь не издают. Такая страна. Боятся. Чего? Проявленной в книге или картине свободы. Любого проявления свободы они боятся. Это же им нож в горло – любая свободная личность. А художник – личность резко свободная, самобытная, уникальная, яркая. Какой пример массам рабов! Художник по психике – антирабское, неподвластное никому и ничему, неподчинённое никакой власти, никаким доктринам, самовольное, само

по себе – закон и ценность. Художник здесь, в этой системе, основанной на безоговорочной, абсолютной, тотальной, рабской покорности и подчинении – невозможен, немыслим, враг номер один. Такого здесь уничтожают сразу. Система послушания, самый жёсткий деспотизм тупости и мертвечины. Ничего здесь не издано из явлений высшего порядка, то есть наиболее сильного, наиболее свободного. Если издано, то в обезвреженном виде. Из тигра делают зайца.

Есть внутренняя одарённость, прирождённая свобода. Внешним, техникой могут овладеть многие, это не слишком трудно. Внутренняя одарённость – не частое явление, человек смеет жить своей жизнью. Живой: всё в нём живое и отважное в утверждении своего живого, в проявлении себя. В любом веке, в любой, господствующей в данную эпоху, стилистике таких несколько и они резко выделяются. Даже в реализме. Уж на что мёртвый, тупой, подлый, неповоротливый метод. Не книги, а бронепоезда какие-то. Это порождение девятнадцатого века. По сути дела – антихудожественный и антиживой метод мышления, отношения к миру, восприятия. Метод мертвечины.

Чем свободней, тем сильнее, тем живее. Этих-то и уничтожают в первую голову. Если не физически, то замалчивают, не издают, обезвреживают бездарными переводами, обсахаривают, уничтожают книги. Так что, как видишь, я далеко не единственный. Таких гавриков в мире было много.

Петр Первый – могучая, свободная личность. Подобных ему в мире не было. О Петре не написано ни одной настоящей книги. Его "Всепянейший собор" не издан. Да, и Иван Грозный. Но он не знал русского языка. Он же грек, Палеолог по матери, от византийских императоров и Рюриковичей. Как и Пётр ненавидел свою страну лютой ненавистью, и страну и людей. Так чего же ждать. Вот и докатились. Что в то время было написано на русском языке? Книга Афанасия Никитина. Сказание о Ермаке. Чистый русский язык.

Толстой против Шекспира – это реалист против артиста. Не дано ему было это, то есть, артистизм, вот и раздражало это в других. Реалист, то есть – тупость, полное отсутствие юмора, отсутствие вариантов, игры. Артист и на себя смотрит с юмором и на своё занятие, и опрокидывает то, что только что утверждал, он может выступать в самых разных ролях, под самыми разными масками, сочиняет, фантазирует, создаёт самые дикие, немыслимые ситуации и характеры, он полон жизни, он постоянно в действии, он герой, сам бог, он крутит-вертит миром, чтобы развлечь себя и над собой ещё и посмеяться потом. Реалист же – антипод артисту, однолинеен, катится в одном направлении по одним рельсам, как бронепоезд. Негибкость, неповоротливость, олицетворение всяческой тупости. Шекспир – мой, я – из того же рода. Толстой – чужд. Хотя понимаю, что тоже – лев. Но это не тот лев, не искусство.

Почему мне чужды все мои ученики? Потому что все они пусты и мертвы, в них нет своего "я", а только ячество, тщеславие, амбиции.

Пушкина надо понимать и ценить, как создателя русского языка. Тут он гений. Но как поэт он ничтожен. Таких в мире много. У каждого народа есть свой создатель языка. И у удмуртов, и у мордвы, и у чукчей, и так далее. А действительно могучие фигуры в русской литературе, гении-поэты – кто? Только Гоголь и Лермонтов. Оба совершили в девятнадцатом веке революцию, каждый – противоположную друг другу. И потом это развернули в полную силу в двадцатом веке, не в прозе, только в стихах, несколько поэтов: Цветаева, Хлебников, Маяковский, Пастернак, Кручёных, Блок, Есенин. Андрей Белый – гиперболизированный Гоголь, мертвечина. Нет. Те, перечисленные – всё. И в языке, и в ориентации, в правильной позиции, в правильной постановке голоса, то есть, в постановке "я".

В этом вся суть: понять ценность своего живого "я" – как самое главное, самое ценное в мире, как единственная ценность, ради чего тут стоит чем-то заниматься и жить. Ценность своего живого, свободного "я" – вот что нужно в себе растить и культивировать, вот какое достоинство никогда и ни при каких обстоятельствах не предавать, не заглушать, не давить, а, наоборот, давать этому полную свободу, полную силу и быть в этом отважным и полностью открытым. На такое способны немногие, правильнее – одарены этим. Это жизнь в себе: один что-то фиксирует, другой записывает свой бред. Какое им дело до этой страны и до того, что в ней творится, и что вокруг делают множества множеств. Эти множества по сути дела ничем не живут. Они пусты, бездуховны. Даже пузом не живут. Если бы. Гурманство, скажем, тоже занятие, артистизм. Скука кругом и поголовная тупость. Рабы, у всех "я" задавлено. Никто не считает его ценностью, даже не видит его, даже не понимает – о чём речь. Ещё бы – такова установка любой власти, любого государства: отнять "я". Такова система воспитания, внушения, идеология, патриотизмы, хренизмы и так далее. Первый принцип: не будь самим собой, не живи своей жизнью, считай себя неценным, ничтожеством. Раз себя видят как неценность, значит, и в любом другом ценности "я" не видят и не понимают. Поэтому завидуют, ненавидят любое проявление свободного, живого "я". Мертвецы ненавидят живых, потому что живое их тормозит, режет глаза, нарушает их мёртвый сон, беспокоит, причиняет боль своей яркостью, одарённостью. Поэтому и книги не читают, книги, в которых блещет талант. Ценность "я" или неценность – вот тебе и вся так называемая философия.

Книгу об этом ещё никто не написал. И я писать не буду. Зачем? Древние китайцы разделяли всех людей по ценности на три категории: творцы, цари, и все остальные – множества ничтожеств. Сначала мне

было смешно такое подразделение, а теперь думаю: всё правильно. Не дураки же: они дали формулу. Исключения не учитываются, когда нужно дать общую картину. Понимаешь, о чём я говорю?

Стемнело. Вернулись домой. Он опять воссел на новоприобретённое кресло. Усмехаясь, показал магазинный чек:

– Вот, видишь, цена: один миллион двести тысяч рублей. А то ты напишешь в своих мемуарах, что стоило десять миллионов. А это будет вопиющая ложь.

Ты знаешь, что такое трехэтажная новгородская уха? Ничего ты не знаешь. Я ел с рыбаками на Ильмень-озере. И полкотелка не смог осилить: такая сытность.

Почитай переписку Львова – как будто написано в двадцатом веке. Сплошные тире, импульсивно, экспрессивно.

Потом он показал то, что нарисовал этим утром.

– Пробую в жанре портрета, – сказал он. – Видишь: какой-то японец, какой-то китаец. А это Пётр Первый! Чудище! Глаза, усы!

22 декабря 1997 года. Пришёл к нему в час дня. Он сказал, что очень доволен книгой Митурича с рисунками, которую я ему подарил. Гулять ему сегодня расхотелось. Он сел в кресло, закурил. Мне предложил сесть в другое.

– У художников взлёты могут быть в любом возрасте, и даже под самый конец жизни. Писатели – нет, после пятидесяти случаев не было. Пятьдесят – предел. Живопись и литература – абсолютно разные искусства, противоположные. Одно нерационально, глаз. Другое полностью рационально, слово, голос. Писатели рациональны на сто процентов. Пушкин – на девяносто девять и девять десятых процента. Кто наиболее нерационален? Тот, кто вообще ничего не пишет. Нерациональны мелодии. Скажем, у человека есть склонность к нерациональному, но кроме того он ещё и овладевает всеми формами, всей техникой, всем знанием. Одно без другого не бывает, даётся всегда в сочетании.

Талантливое, тем более гениальное произведение всегда уникально. Его не повторить. Иногда бывают неплохие разборы уже созданного, постфактум. Но это не урок автору. Отнюдь. Советы и уроки бессмысленны.

Графоманы мне понятны – страсть писательства, сотня написанных томов. Но публиковать невозможно. А те, кто мало пишут, мизерно, а думают, что они пишут, что – писатели. Непонятно. Эти амбиции непонятны. Просто слабые, нет призвания, а почему-то решили, что – есть. Не могут примириться со своей слабостью, а, значит, непризнанностью.

У тебя? Зачем переходить на личности. И не надо себе внушать. Ты не можешь этого знать. Дельвиг тоже считал, что он малозначительный поэт, второстепенный. А он – первостепенный. Теперь, возьми, наш Евтушенко. Шуму вокруг него, как будто он первый из первых. А я не знаю даже какой он – пятистепенный или ещё ниже.

Заумь-то как раз и абсолютно рациональна. Там всё рационально сделано. Извини, ты сказал чушь. Как это: нерациональное, построенное сознательно? Как раз наоборот. Сознательно построенное своё естественное. А рациональное – то, что построено из искусственных знаний. Нерационально всё, что естественно? Опять чушь. Скажем, родилась мелодия – нерациональное. Но ее фиксация – уже рациональна. Ты всё ищешь определений неопределимого. Бессмысленное занятие. Всё это не бывает в чистом виде, а только в смеси, у каждого по-своему. Утрилло, например, рисовал с открыток, а вкладывал своё божественное видение, интуицию, и всё преображал – линию, цвет. Такой метод. У других – другой. Для Пикассо, Модильяни метод Утрилло был бы дик. Гойя, Рембрандт самое лучшее писали под конец жизни. Отпало всё лишнее, кроме прямого видения. Всё, и бабы. Алкоголь – нет, всегда оставался, до конца. Рембрандт уже до того дошёл, что рисовал свои башмаки.

Японский трактат "О цветке стиля" – там всё точно сказано о так называемом творчестве.

Что? Творчество – цветение? Полная чушь. Какое там цветение! В том и прелесть этой книги, что там нет ни слова о творчестве. Там я прочитал прекрасный совет: не следи за талантливым актёром, что за ним следить, ты и так знаешь, что он талантлив. Но внимательно наблюдай за плохим актёром, чтобы самому никогда так не делать шаблонно, как он.

Что? Талант виден на фоне бездарного? Ерунда. Чем больше смотришь на бездарное, тем ниже опускаешься. Пример: объявили в советскую эпоху, что и в деревне есть таланты. Если ты талант, то обязательно поедешь в город – за знаниями в этом деле, и узнаешь, кому ты равен. А в деревне – какие же равные? И в городе накалённая атмосфера, во всех смыслах. Это необходимо. Китс был негоден для жизни в городе, а приехал, забился в угол и дрожал. Но приехал же!

Комментарий этого японца к "Книге перемен" – жуткая ерунда. Не знаю, что нашёл в нём Шуцкий, его восторги мне непонятны. Да что говорить. Он же русский, значит – рационалист. Ты вот хочешь узнать тайны жизни. Ты думаешь, я бог. А я не бог, и мне эти тайны не объявлены. Я только приближен к богам. Но не к богу.

1998 год

2 января 1998 года. Сегодня он в красной рубашке. На столе у него ёлочка. Он стал говорить о Митуриче:

– Вот простой парень. Всё правильно понимал. И написал всё абсолютно точно. Так что я лишний раз убедился, что не я один так думаю. И писать об этом бессмысленно. То есть, теоретизировать. Каждое слово уже написано – точь в точь. У Митурича каких-нибудь десять страничек, а всё сказано до конца, до предела. Звучит это у него наивно, но абсолютно правильно. Это жёсткость в максимуме. Отрицание до предела всего, что неценность в искусстве. Но тогда летит слишком многое. Все импрессионисты. Школы и красивые картинки. И Малевич летит – конструктивизм. И кубизм, и футуризм. Слишком много конструкций и литературщины. А разве может быть литература без литературщины? Остаётся совсем немного чистых, свободных, живых вещей. У каждого есть несколько. От Хлебникова тогда тоже остаётся немного. У него тоже уйма литературщины и прочего. Все его поэмы. У Митурича тоже – несколько рисунков. Как правило, остаётся только то, что написано мгновенно, одним росчерком. Но это безумие – такой путь. Он добивался идеала и без конца рвал свои рисунки, как Сезанн. Но идеального не бывает, идеальное невозможно. У любого так называемого шедевра есть свои погрешности, свои ошибки. Посмотри зорким глазом на безукоризненную с виду линию и обязательно увидишь какой-нибудь хотя бы микроскопический сбой, когда рука дрогнула. И стихотворения ни одного не найдёшь, чтобы был абсолютный шедевр. Хотя какая-нибудь одна буква, а грешит, не точна.

Да ну. Тогда вообще нельзя ничего ни рисовать, ни писать. Что бы ни написал, ни нарисовал будет хоть чем-нибудь, а неверно, не чисто, не абсолютно. Ну разве что точку поставить. Что идеальнее. А посмотри на нее в микроскоп – ужас, размазня, грязь. Так что же делать? Вешаться что ли? Нет, это безумие. Так нельзя. Об этом не надо думать. Художнику, то есть тому, кто сочиняет, работает воображением, не надо фиксировать для себя на бумаге подобные открытия. Художник импульсивен, живёт этими импульсами. Ему не надо задумываться. Тем более, фиксировать на бумаге свои мысли. Потом придётся их преодолевать в себе. А зачем это?

Выпив чая, пошли гулять. Идём, не торопясь, по лесной дороге. Морозец, чистый снег, лыжники проносятся мимо нас, как молнии, туда-сюда. Он продолжил речь о живописи:

– Сезанн? У Сезанна не было наставников. Он ни у кого не учился

непосредственно. Всё сам. Никаких учителей. Сам ходил в Лувр всю жизнь, срисовывал Веласкеса.

Нет, идея Митурича – безумие. Если так – все повторяют друг друга, и в искусстве не найдёшь ничего нового. Только, чем дальше в древность, тем сильнее. Скажем, сейчас нет в мире ничего сильнее живописи Вавилона. Но ведь и до Вавилона что-то было. Скажем, эта легендарная погибшая Атлантида. И до Атлантиды что-то было. Всё – повторения. Но в искусстве главное – новые акценты. Вот и всё. Все берёзы с виду одинаковы. Но это неправда. Ведь у каждой берёзы своя особая внутренняя жизнь, своя судьба, отличающая её от других. Так и люди, так и всё в мире.

Вот я тебе приведу пример. Я тебе уже рассказывал о Гримжике. Он в живописи был тогда высший эксперт. Выше не было. Все несли ему на суд свои картины. Так вот, мы с ним тогда часто гуляли. И в Крыму однажды были вместе, собирали камешки с рисунками, а они попадаются очень редко. Так вот, он мне признавался, что уже не может смотреть ни на одну картину, какой бы она ни была сильной и гениальной. Потому что он дошёл до ручки в своём сверхвидении и знании. Он видит, что абсолютно все повторяют друг друга и один исходит из другого. Тошно смотреть. Вот только камешки он ещё и может собирать, оттого что не отвязаться от привычки. Тогда я его не понимал, говорил, что есть всё-таки разные акценты. Но потом и сам дошёл до того же. Сначала не смог уже смотреть импрессионистов и всё, что дальше. Потом и кубизм. Потом всё Возрождение. Там у них только одно открытие и было – сфумато. Рассеивание света. Не обводить линиями, а этакое рассеивание. Да, это было сильно. Открыл это Леонардо. Только это от всего Возрождения и надо оставить.

Многие так: откроют что-нибудь и на этом всё. Одни честно молчат, другие спекулируют на своём открытии. Дали всю жизнь спекулировал на одном своём приёме. И Пикассо. Христос спекулировал на своём самоубийстве. Как баба. Чтобы о нём говорили после смерти. Не выдерживали своих же догм.

В этом японском трактате, да, "Предание о цветке стиля" – много полезных советов. Нет, не поэма. Поэмы-то всегда бесполезны, иначе это не поэмы. Такую книгу надо читать лет в двадцать. Тогда она на пользу. А когда уже сложился, она только навредит. Будешь думать, как ей следовать, а это-то и не нужно. В этой книге нет категорий. Там и так и так. А то, что я сегодня говорю всю дорогу и есть – категории. Митурич тоже сказал нечто окончательное, на века. Всё правильно сказал, но категорично.

Нижинский? Я жил на Карла Росси как раз там, где были его апартаменты. Гений танца. Такие полёты, пируэты. Высшая пластика

тела. Выше нет. Но и ему надо приземляться. Точка фиксации. Значит, уже не идеал. Нет, это не совершенство. Это совсем другое. Совершенство – это мастерство. Больше ничего. Мастерством можно овладеть. Оно определимо. Мастерство – только самая первая и необходимая ступень. Нет мастерства, и говорить тогда не о чем. Мастеров много, мастерством все владеют. А это – гений, полёт. Я тебе уже говорил: это как водишь машину. Конечно, необходимо уметь её водить. Многие умеют водить. Но есть гонщики. Для них умение владеть машиной – смешно. У них гонка. Они не замечают ни машины, ни себя. Она – их организм. Они же – только скорость, гонка. Машина всего лишь средство. Об этом говорить бесполезно. Или есть, или нет. Теоретизируют те, у кого этого нет. А это только практика, только само дело, действие.

Рисунки на камнях? Нет, они не лучше. Те же ошибки, что и у людей. Но они урок: что тоже самое организуется само собой, все стили.

Одарённые жизненной активностью (жизненно активные) тянутся друг к другу. Блок отмечал только двоих: Хлебникова и Маяковского.

Борьба с самим собой – тоже липа. От дури, когда свихнёшься. Вот как я в этот год писал свою философскую книгу, которую теперь надо в печку. Да, тогда мало что остаётся. Если отбирать только самое живое и свободное. Я съёл у себя две трети. А всегда тянуло – девять десятых. Оставил, потому что – слабость. Есть что-то живое – вот и оставлял. У Пушкина многое надо бы в печку. Всю прозу, кроме Петра Первого. Там у него, и в русской литературе, впервые появился чистый, строгий, сильный язык. Но мёртвый. В "Капитанской дочке" живой, но это ужасно, Вальтер Скотт. "Дубровский" ещё ужасней. "Пиковая дама" – калька с Мериме. "Медный всадник" – в печку. Мёртвая поэма. Он и назвал: повесть. Ну и писал бы повести. "Цыганы", "Бахчисарайский фонтан" – в печку. Цветные картинки. Блестящие стекляшки для дикарей. "Борис Годунов" – в первую очередь. Оставить только сцену у фонтана. Я бы от нечего делать стал бы издавать избранное русской литературы. Уж я бы издал, на свой взгляд. Тютчева – стихотворений семь-восемь. Фета – тридцать. Всех бы понемногу. Самое высшее. Было бы правильное представление. Гоголя, да. Всего. Показать его со всеми его ошибками.

Надо запомнить одно – никакой истины нет. Истину придумали, а потом мучаются. Нет никакой истины, есть люди.

Самое чистое – писать мгновенно, импульсами. Да, но не здесь. Здесь уже всё исчерпано. Так я написал "Башню". Это было для меня открытие. Я впервые увидел предметы: стол, стул, окно, раму, и так далее – в комнате, в доме. И никто не видел это, в литературе. Открытие. Но теперь это исчерпано. Надо что-то другое. Смотреть из окна – на Мшинской. Я тебе уже говорил: важны контакты, живые с живым – с

деревьями, растениями, животными, бабочками, стрекозами, жуками, осами, ежами. Не обязательно с людьми. Вот что нужно.

В шестидесятые годы воздух посвежел во всех странах, во всём мире. Появилось много талантливого, сильных книг, картин. Открылись умы. Видимо, дуновение из космоса. Что-то там. Им-то там сверху на людей наплевать. И не знают, что есть такие – люди. Но действие излучения пронизывает всё, и на землю идёт. А теперь это дуновение кончилось. Ничего нет вот уж тридцать лет. Пусто.

Не видеть в мире ничего нового – это восприятие старости. Чтобы успокоить, приготовить к смерти. Некоторые и в двадцать уже старики, и в девять. А молодость всегда ищет, она живая, для неё мир полон новизны.

Нет, Митурич, всё-таки, чужак. Его идеал непогрешимости – абсурд. А как же поиски, порывы, ошибки? У него это так, а у другого может быть иначе.

Михнов, да. Самый жёсткий, самый активный из всех них. И пошёл он дальше них.

Сфумато значительно скромнее приёмов импрессионизма. Благороднее. У тех кричаще, пестро.

Занятие переводами – мёртвое дело. Там нет никакого моего "я". Что-то вроде онанизма, без выхода на бабу. Когда уже ничего мужского не можешь по-настоящему.

15 января 1998 года. Погода для прогулки не очень благоприятная. Оттепель, лужи, лёд, скользко. Он стал говорить об одном из своих учеников:

– Ему не надо было со мной в жизни встречаться. Очень большой талант, глубоко образованный, знает два языка – английский и польский. Пришёл ко мне в шестнадцать лет. Уже тогда его стихи поразили. И сильно и красиво. Свой голос. Ему подобные, так называемые оригиналы обычно ни к кому не приходят, во всяком случае, не задерживаются, отстраняются, избегают. Этот задержался надолго. После поездки на юг привёз удивительный цикл стихов. Открытие себя. До этого тоже были прекрасные стихи, но герметичны. А тут – открытые, свободные, открытие своего "я". Одно стихотворение совсем великолепно. Оно бы годилось эпиграфом любому крупному поэту, даже – любому крупному человеку. Он посвятил это стихотворение мне. Мои высокие оценки и хвалы сильно его тогда окрылили. Так и шло какое-то время. Потом у него, видно, что-то в голове звякнуло. Он как-то тихо-тихо от меня отошёл и совсем исчез. Не подавал никакой вести. Решил наверное, что сам с усам. Самостоятельный. Правильно, конечно. Но, всё-таки, дружеские отношения можно было бы поддерживать.

А он пропал – и ни слуху. После моей катастрофы, когда мне требовалась помощь, и я действительно был в жалком состоянии, так ведь и не объявился. А не мог не знать, что со мной случилось. Весь город знал об этом. Впрочем, и никто из так называемых моих друзей не объявился. Пили вместе – друзья были. А тут – никого. Ну, ладно. Их дело. Узнал, чего стоят люди. Потом уже я сам позвал его к себе на пятидесятилетие. Он, конечно, обрадовался, прилетел. Видишь, гордость его заела. Он только утром ко мне мог. Погуляли вот также в лесу. Апрель, тепло было на редкость. Гуляли в рубашках. Дома он выпил, разнежился и решил остаться на вечер, когда все гости соберутся. Тут уж я сам разозлился и вежливо так прогнал его. Мол, знаешь, мы слишком долго не виделись, и нам теперь тяжело будет общаться. Естественно, он опять исчез. Навсегда. Но вот что получилось. Он стал писать полностью под меня. На сто процентов. Так что не отличишь. Скажем, неискушённый человек может и принять его за меня. Что это значит? Оказался психически неустойчив. Рефлексирующий. Подавила и сломала более сильная психическая сила. Бывает. Также было у Пастернака с Маяковским. Маяковский – необычайная психическая мощь, громадный талант, подавлял всех вокруг себя. Пастернак, чтобы освободиться и быть самим собой, бежал на Урал, на целый год. Там и написал свою гениальнейшую книгу. Вернулся – Маяковский первый её оценил, был в восторге, обратил на неё внимание лучших ценителей, сделал мировую славу этой книге. Блок не дожил. Но я уверен, что у него был бы тот же отклик.

Шкловский же бывший террорист, эсер. За километр почуял, что к нему идут из Чека арестовывать. Нутром чуял: вот свернули на его улицу, идут, входят в дом, поднимаются по лестнице. Успел приготовиться. Впустил и всех до одного расстрелял в несколько секунд. Загримировался и убежал за границу. Леф субсидировали страшные силы. Пастернак не хотел быть замешанным в такие дела. Пахло пулями.

Да, так вот: вместо того, чтобы сохранить и развивать своё, он, лучший из моих учеников, стал бороться со мной. Общие футуристические приёмы – ерунда. Общая школа. Куда денешься. Все мы из неё. Да ну – школа. Просто читаешь книги, которые тебе нравятся, и они откладываются, перемалываются. Своё всё равно осиливает, остаётся. Прокручивает там в себе это ЭВМ и выдаёт своё из усвоенных элементов прочитанного, пережитого. У всех так. Но хотя бы к тридцати годам надо же изучить и знать свой характер. Раньше – к двадцати пяти. Кто интуитивно, кто рационально.

Ты, вижу, устойчив, не рефлексируешь. Читаешь иррациональные книги, то есть, близкие к настоящему. Полностью иррационального не бывает. Только в той или иной степени. Многие пытаются всё понять умом, разложить по полочкам, рассуждать. А самое страшное – это

искать всему объяснения. Вот как раз то, что ты и делаешь. Тоже самое делали всю свою жизнь Толстой, Тургенев, Чехов. Чехов только под конец своей жизни в пьесах вырвался. До этого был расхлябанный, расслабленный. А тут сосредоточился, рефлексия не пропала, но отстранилась. Отвлёкся. Пить ещё больше стал. Но – туберкулёз. Это был всплеск перед занавесом. А проза его – скука, вялость, мораль.

Многих задавила служба, долгие годы однообразия. Неподвижность. Две трети людей лишены энергии. И что с ними делать? Ругать их? Бессмысленно. Они существуют, это факт. Оттого, что ты будешь их ругать, они не станут энергичней. Ничего не изменится. Это – как встать перед деревом и разносить его в пух и прах за то, что оно неподвижно, стоит и шагу не сделает ни туда, ни сюда.

Что может быть иррациональней чиновника? Сидит всю жизнь за столом, однообразная бюрократическая работа. О чём он думает? Это первый заметил Кафка. Гоголь? Гоголь – это высшая иррациональная система, это высокий строй.

Вагинов – древний эллинский писатель. Это система мелочей, поданных одинаково ярко – и дурное и хорошее. Тогда мир предстаёт в устрашающем виде. Пильняк рядом с ним – нуль. Бабель – мельче, не того значения. Классический европейский писатель.

В лесу стемнело. Вернулись домой. Сидели в креслах и разговаривали.

– Вавилонская живопись сохранилась в резьбе на камне, – сказал он. – Вот книга. Видишь: как они рисовали волосы на бороде – прямые. И форма уха – таких не бывает. Условное. Тоже самое – на иконах. А в картинах Возрождения исчезли последние остатки условности.

У моего деда под Лугой было громадное поместье, ему там принадлежало озеро Емчан. И в Луге особняк, трёхэтажный, деревянный, комнат двадцать.

Грядёт старость. Было бы мне сейчас опять пятьдесят. О, были бы дела! Ты же помнишь, какой я был до операции. Энергичный, сильный.

27 января 1998 года. Он мрачен, у него дурное настроение:

– Эта зима для меня очень тяжёлая, – признался он. – Без общения я не могу. Хотя бы какое-нибудь, дерьмовое. Впрочем, любое общение дерьмовое.

Он выпил кофе, это его немного взбодрило, и мы пошли гулять. Лес качается, мокрая метель, идём одни по дороге, с головы до ног залепленные снегом. Он заговорил о Гаршине:

– Гаршин был бы очень крупный писатель, но его испортили идеи Толстого. Противовоенные, человеколюбие и так далее. Всё у него этим пронизано. А стиль чище и тоньше даже, чем у Лермонтова. Куприн беллетрист, рассказчик. Маленький, но хороший. А Гаршин – прозаик. Да, лирик.

Парадокс с Платоновым. Этот его "Котлован". Он же всерьёз писал эту книгу – панегирик коммунизму. И кулаков на плоте отправил в океан всерьёз – чтоб их не было в прекрасном коммунизме, потому что – враги. А на нашем современном фоне звучало как самый жестокий гротеск и сатира. Вот как могут иногда крутиться книги.

Тоже с "Дон Кихотом" Сервантеса. Он же был жутко назидательный, безумно скучный. И написал целый том назидательных новелл. И "Дон Кихот" тоже напичкан назиданиями. Дон Кихот без конца учит Санчо Пансу, как надо правильно жить. А фабула книги удачная, своеобразная. Она и поворачивает повествование разными углами. Приключения рыцаря. В девятнадцатом веке книгу эту стали видеть как пророчество. В двадцатом ещё крутнулась: уже видят в ней какую-то мистику. И ещё долго будет крутиться. Почему? Потому, думаю, что авторы таких книг неординарны. Сервантес – яркий писатель с сильным слогом. И вообще: такие авторы, у которых такая сильная концентрация всего – яркие герои, яркий язык, стиль, действие и так далее, или сам автор – яркий герой, у таких книги всегда будут злободневны. Потому что они всегда свежи.

Платонов – такой примитивист с очень сильным слогом. Камю? Тупость, скука, однозначность. Бесконечные рассуждения, мудрствования, то есть, бесконечная болтовня. Вот чем занимался весь двадцатый век. И нет ни одного писателя. Кафка, может быть. Но я не могу его читать, мне он скучен. Этот его чиновничий мир. Пруст тоже скучен. Не могу. Джойс – филология. Японцы? Да, разве что японцы. Кавабата. Какое могучее перо! И через перевод чувствуется. Отточенный стиль. Да, и у Гаршина – отточенный. Борхес? Нет. Он перестал быть мне интересен. Я его раскусил. Это такая игра в знания, спекуляция на мистике, лжеинтеллект. Впрочем, любой интеллект – ложь. Надо не рассуждать, не болтать, а показывать. Я же вижу: он даёт вариант знания, как аксиому. Но мне-то ясно, что это совсем не так. Жульничество. Все они занимаются жульничеством и дураят голову. Надо признаться, удачно.

Толстого, например, как ни крути, он со временем только хуже. Никаких новых граней не открывается, а только всё однозначней. Потому что нет их, граней. Плоскость. И Тургенев, и Чехов. Читает их сейчас кто-нибудь? Сомневаюсь. Я уже ничего не могу читать. Какую книгу ни открою – тошно. Переел в своё время. Всё я переел в жизни, и жить теперь мне стало крайне тяжело, почти невыносимо. И рисунки не могу смотреть, и писать, и рисовать. Людей видеть не могу. Эти морды! У! Ужас! А вонь от них какая! У! Даже, если бы, скажем, меня признали первым писателем в мире, ну и что? Велика честь! Первый на помойке! Мне бы домик где-нибудь у моря в хорошей стране с тёплым климатом, я бы ещё мог пожить, гулял бы по берегу, смотрел рисунки на песке,

камни. Всё потеряло для меня значение. Пока ещё только одно не потеряло: так называемая природа. На Мшинской, например, я могу жить вполне сносно. Микромир мне интересен. Хожу в саду, смотрю: птицы, бабочки, жуки, пиявки в пруду. И писать ничего не надо, только смотреть. Можно и так жить. И от них же вони нет. Вернее, не чувствуется, потому что маленькие. Воспринимается только как цвет и движение.

Скоро я совсем превращусь в японца. Но это у меня моё, органическое. Это искусственно в себе не вызовешь. Просто – схожее отношение к миру. Совпало. Меня же всегда тянуло из города в лес. А что тут в городе можно увидеть? Ужас. Не знаю, как я выдержу здесь ещё годы. Если они будут – годы эти. Сдохну – вот и всё.

Из библиотеки я оставил бы только греков. А всё остальное выбросил бы без жалости.

Дюрренматт стал интересен после шестидесяти. Редкий случай. До этого он тоже писал скуку, идеи, рассуждения. А последние новеллы, за лет пять до смерти – превосходны. Живо, детально, ясно. "Грек ищет гречанку". И особенно та: как он приехал из Америки в горную швейцарскую деревушку и пере... там всех баб, а потом сдох от разрыва сердца. Это его мечты. Сильно, я тебе скажу.

12 февраля 1998 года. Он болен с понедельника. Лежит в постели. Узнал меня, обрадовался. Потом у него начался бред:

– Я в войну был летчик-истребитель, летал в паре с Кожедубом, Кожедуб мой дядя. Мне тяжело это вспоминать. Понимаешь. Это были настоящие парни. Сверхгерои. Разве я герой? Рядом с ними я ничтожество. Они меня только в хвост допускали. Я только сопровождал, защищал их с хвоста. Все они до одного погибли. Никого не осталось. Горе, горе! – восклицает он. Голова на подушке, длинные седые волосы растрепаны, рыдающий, надрывный голос. Привстал, опять упал. – Вот, видишь, какое положение, – сказал он мне. – Не выдержал. Ходил уже еле-еле, голова висела. Ничего, ничего. Древние народы нестигаемы и неистребимы. Мое убеждение. Моё? Не знаю.

11 марта 1998 года. На голове у него повязан красный платок, волосы сильно отросли, длинные, седые, свисают сзади на шею. Показал на стол:

– Пробую рисовать, но отвык, рука нетвердая, голова туманная. Едва не погиб на этот раз. Но – произошла разрядка, снято напряжение и жить можно.

Он оделся, и мы пошли гулять. День чудесный, солнечный, снег блестит. Весной пахнет.

– Первый раз за целый месяц я выбрался на воздух, – говорит он. –

Последние пять лет резкий слом, быстро прогрессирующая старость. А в пятьдесят семь у меня ещё женщины были десятками одновременно. Для поднятия тонуса жизни. Теперь отпало, нет интереса. Всю зиму снились кошмары о войне: ужасный грохот и горы трупов. К тому же сон, как обычно, удешевляет действительность. Пытаюсь писать об этом, чтобы избавиться от кошмара. В жизни и в книге – разные вещи. Пишешь то, что требует книга, то есть – сочиняешь, фантазируешь. А в жизни, конечно, что-то было. Какие-то автобиографические зацепки, разумеется, необходимы. Как у меня в "Доме дней" новелла о лампочках. Трое идиотов жгли костёр, кидали в него лампочки, чтобы взрывались, и хохотали. Забавлялись таким образом. А у меня что из этого получилось? Так и у тебя твои милиционеры. Разве они в действительности такие звери и примитивные уроды? Нет, конечно, не верю. Но этого потребовала книга. И Катя моя из "Дня Зверя". Я тогда жил на "Зодчего Росси". Как я её расфантазировал в книге!

Подумываю о Мшинской. Летом там прекрасно работается наверху, много света, окно на восход. А в Эстонии на хуторе. Как хорошо мне там работалось!

Жорж Санд. Это она утомила Шопена. О чём писала: о рабочих, в потоках сентиментальных слёз. Из неё весь Достоевский.

Музыку я не мог слушать, нервов не хватало. Я всегда был чрезвычайно подвижен, а тут надо сидеть и слушать. Только песни слушал. И сам любил петь. У всех народов песни печальные. Может быть, сейчас бы и мог слушать музыку с записи, но – глухота.

27 марта 1998 года. Гуляем в лесу, талый снег.

– Ты что-нибудь понимаешь в Айги? – спрашивает он. – А я вот не понимаю. Ну так и что же ты о нём думаешь? Отношения между словами, символизм? Вот именно. Согласен. То есть: филология и абстракции. Да, он примитив по сравнению со мной. Все символисты были далеки от жизни. Один Блок из них окунулся в жизнь. Стихам нужна конкретика, звукопись, ритм. Без этого нет стиха. Нужна жизнь, живые, конкретные ритмы и звукопись. Ничего этого у Айги нет. Абстракции. Так могут писать стихи все, кто угодно. Ребёнок, старуха, солдат. Так можно сочинять стихи на компьютере. Это всё с Запада. Там теперь все так пишут. Вначале, в шестидесятые годы это у Айги звучало ново. Единственный такой безумец в стране. Но писать и писать в одном и том же духе, скука. А его теперь раздувают в великого поэта.

Блок тоже примитивен. Что у него за рифмы? Ушла, пришла, подошла, отошла. Или ещё он любил рифмовать: кровь, любовь, вновь. Да, у Достоевского стиль журналистский. То есть – нулевой. Стиля нет. Он не прозаик, он беллетрист. Его даже называли: жёлтая пресса. Он –

гениальный импровизатор. Да, как видишь, в литературе бывает всякое. Вот и так бывает. Что толку, что Флобер гений стиля. А Достоевский в литературе оказался впереди него и впереди многих и многих. Потому что, как ты называешь – колоссальный нерв. Да, можно это и так назвать. Что у Флобера в итоге? Только "Мадам Бовари".

Ты вот помнишь, что прочитал. А я уже не могу вспомнить. Старость налицо.

Я всю жизнь держал собак. В Эстонии на хуторе ко мне приходили ёжики. Семья: папаша, мамаша и сынок. Мы подружились, я их подкармливал. Молоко из блюдечка хлебали за милую душу. Потом все трое в ряд, вся семейка, мал мала меньше, сидели на холме и созерцали закат. Мистики! В лесу ведь столько перемен каждый день. Можно было бы написать целую удивительную книгу. А в городе – какие перемены? Скука, однообразие, тут писать не о чем.

Перечитываю Кобе Абэ "Женщина в песках". Пустяки. Реализм японски. Подумаешь, ямы в песке рыть. Я был на торфяных заготовках во время солдатской службы. Вот где ужас! Жизнь фантастичней любой выдумки. Мне больше нравится его "Стена". Там отношения с женщиной. Интересно. У неё кости расширяются и исчезают. Тело превращается в такую протоплазму. Это его, Кобо Абэ, потеря интереса к жизни. У таких, как он, начинается с потери интереса к женщине. Он же был бабник и много пил. Отказался от всего, отдал всё состояние жене и дочери, ушёл в самый нищий квартал Токио, квартал красных фонарей, то есть самых нищих проституток, и там сгорел за два года.

17 апреля 1998 года. Принёс ему мою недавно изданную новую книгу "Дни с Л.". Ему не понравилось оформление книги:

– Митьков не люблю. Это не художники. Самореклама. Для денег.

На стене у него я увидел прикреплённый лист с удивительной акварелью. Яркая, фантастическая импровизация.

– Вот, попробовал так рисовать, – сказал он. – Назвал "Бычок в огне". Мне подарили краски, вот я и решил испытать себя в этом методе. Акварелью ещё труднее, чем тушью и гуашью. Сохнет мгновенно и работать надо мгновенно. Напряжение жуткое. Ну к чёрту. Такой работы больше двух недель не выдержать. Сдохнуть можно. И бессмысленно. Может получиться что-то, может и нет. В цвете у меня нет открытия и я тут не вижу для себя пути. Цветовые сочетания исчерпаемы, у цвета свои ограничения и жёсткие правила, иначе – хаос, мазня. А в чёрно-белом у меня, действительно, открытия. Я живу в этом. Так никто не сможет нарисовать. В такой манере. Это метод таких импровизаций. Были импровизации – одна, несколько картин. Но не на целую стену – как у меня.

Он оделся и мы пошли гулять. В лесу он продолжил разговор:

– В рисовании у меня призвания нет. Я не горю этим. Писательство – другое дело. Да, там тоже импровизации. Но там ещё и самый жёсткий коллаж этих импровизаций. Ведь вначале это только перемешанный хаотический набор каких-то кусочков. Нужно найти такое сочетание, чтобы казалось как сделанное естественно, словно органично вылилось, одним духом. Работа жуткая, но всегда было интересно. Это и есть психологический коллаж: чтобы казалось написанным одним махом. Коллаж теоретически обосновал Шкловский. Он открыватель этого явления. Оно из кино.

Я не могу писать ничего занимательного. Я – концентрат. Скоро брошу и писанину. Не о чем писать. Нет новых интересных декораций, обстановки, предметного мира. Без этого ничего не напишешь. Это не сочинишь, не выдумаешь. Нужна конкретика. Нет, не наблюдение, а живой контакт с предметами. Наблюдать можно сколько угодно, а будет мёртво, ничего не возникнет. Мало у кого. Даже у великих. Стихи Лермонтова – одна риторика, высокопарная трескотня, никакого живого контакта с предметным миром. Ну, в юности один прорыв – "Парус". И в конце – "Выхожу один я на дорогу". Стихи – это же импульс, реакция на что-то конкретное, из жизни.

Да, ты самостоятелен. Но ты скован. Не знаю, может быть, в тебе что-то есть, но как этому развернуться, чтобы писалось свободно. Может быть, оттого, что нет чрезмерности. Свободы без чрезмерности не получается. Это энергия, переливающаяся через край. Видишь, у тебя много минусов: ты не пьёшь, не блядуешь. Пушкин написал все свои высшие стихи в деревне, зимой. Там у него были высшие порывы. "Буря мглою небо кроет..." Сколько тонкости, изящества, музыки, красок. И там же написаны "Бесы" – высшее у него. Чрезмерность во всём? Да нет. Только несколько вещей. "Бесы" – вот его единственная чрезмерность. Тут в одном стихотворении он высказал абсолютно всё – и о себе, и о мире. В остальном же он был очень замкнут, всегда держался в рамках, и в жизни – тоже. Ну, в юности чуть-чуть побушевал – пьянки, дуэли, бабы.

Весь девятнадцатый век – потоки болтливых описаний, скучных, ненужных подробностей. Это и есть – реализм. Фотографирование. Забыли, как писали древние. Как написана Библия? Там описаний нет. Только действие. Лаконизм. "Он сел на осла и поехал". Всё. Достаточно. Осёл и так виден, зачем описывать, как он выглядел. Или – разве указан возраст Христа? Нет, ни в одном месте. А понятно – какой это был возраст. Ничего там не описывается, а всё понятно. Почитай евангелие, но только от Матфея и от Иоанна. Другие два не надо – написано бесталанно. Даже ювелирные описания Флобера, в большом количестве – смертельная скука.

Ты читал этого современного гения, эту новую звезду в русской литературе, о котором шумят теперь все газеты и журналы? Этого на М. Не могу вспомнить. Да, Мелехов. Ну, думаю, посмотрим. Может быть, не зря шумят. Открываю одну книгу, листаю – ничего скучнее не брал в руки. Открываю другую: та же история. Называется: "Жизнь с простатитом". Там герой только и делает, что ссыт по десять раз на каждой странице. Вот такой толстенный томище – целый поток мочи. Не понимаю я этих писателей и этих читателей. Мало ли у кого простатит или ещё что. Подумаешь, какое несчастье – с бабами не может. Ну, несчастье, если не старик. Но зачем об этом писать? Разве это тема для литературы?

Кто жил в порядке, кто в беспорядке. Это на свободу не влияет. Я, например, в жизни люблю самый строгий порядок, и всегда его соблюдал. Вот тебе пример: Гойя. Придворный художник, денди, очень собой гордился и своими картинами. Лощёный, и живопись такая же. А потом вдруг свихнулся. То есть, как оглох, так и свихнулся. Запил, ходил в рвань, картины начал писать самые свободные, какие только могут быть. Ювелирная отделка, живопись самая виртуозная, тончайшая, изощрённейшая. Вот когда проявился его дендизм в картинах, а не в лощёный период, как, казалось бы, должно было быть. И при этом самая лютая ненависть к людям. Что тоже – приятно.

Мунк беспорядочный, а Матисс любил во всём порядок. А кто крупнее? Таких художников, как Мунк – тысячи. Нет, тут нет правил. И так и так.

Да, у Кавабаты подробности. Но подробности эти чрезвычайно зримые, яркие. Диалоги, согласен, тривиальны. Но, может быть, виноват перевод. Зато у Диккенса диалоги самые блестящие. Видишь, что ни писатель, то – свои достоинства, особое дарование. Правил нет.

Диккенс, собственно, проститутка. Как и Достоевский, как и очень многие. Откровенно продавался, писал для читателей и только для них. Такова была дань времени. Но если отбросить его слюни, писатель-то получается блестящий, поразительный. Я никогда не пишу для читателя. Мне до него нет никакого дела. Пишу даже не для себя, а – для книги. Ей, книге, нужно, чтобы было написано это, и написано именно так, а не как-нибудь иначе. Опубликовать – долг перед книгой. А потом – не моё дело.

Да, сейчас не те академики. Вот прежние были! Найди книгу Наливкина: "Бури, вихри и землетрясения". И фамилия приятная. Это всё весёлые ребята, фантазёры. Да, и Чижевский, и Вернадский. Не то, что нынешние. Лихачёв этот. Учёный! В чём он учёный? В том, что стоял на страже у "Слова о полку Игореве" и никого к нему не подпускал, чтобы, не дай бог, не сказали то, что не положено. Сахар брал щипчиками.

Учёный! Значит, о себе такого высокого мнения. Сколько ему сейчас? Девяносто семь? Он и ещё столько же проживёт.

Мы вернулись домой в восьмом часу вечера. Он пригласил меня поужинать. На первое: щи с большим куском мяса, на второе: лапша. Его жена вкусно готовит. После ужина он повёл меня к себе в комнату, показал на толстую папку у него на столе:

– Видишь: листов семьсот. Полтора года работы. Работал для печки. Печкотрубная получилась книга. Хочешь, подарю авторство? Вот Толстой, скажем, этот ничего не сжигал. Дорожил каждой своей буквой. Для потомства, для величия. К чему он ни прикасался – всё делалось великим. Одних дневников – горы. До сих пор прочитать не могут. Он даже написал в дневнике: все люди умирают. Но почему же и не может случиться исключения, чтобы какой-нибудь один человек оказался бессмертен? О себе. Смерти боялся. Так он себя любил. Футуристы на этот счёт молодцы. У них было правило: не оставлять после себя черновиков. Никаких автобиографий, кроме как в книгах. Дневников никто из них не писал. Вот – книга, она говорит сама за себя. Что ещё надо?

Самое лучшее, если ничего "там" нет. Отключился и всё. На этом всё кончилось. А вдруг окажется, что будешь тысячу лет чувствовать, как тебя черви грызут? Или ещё какие-нибудь не менее восхитительные ощущения? Никто ж оттуда не возвращался. И куда возвращаться? Наследники сразу укокошат и отправят обратно – если богатый. А нищий – тоже, кому нужен лишний рот. Так что всё правильно устроено. Рано думать о смерти, а вот что-то стал задумываться иногда.

В жизни животных есть какой-то большой смысл. Я три года наблюдаю свою кошку. У ее морды сотни выражений, постоянно меняющихся. И во всех наших делах она считает своим долгом принимать участие. Играем в карты, она тут же, смотрит, смотрит, наблюдает за игрой, потом вдруг – раз лапой, все карты – на пол. Или – разложу на диване рисунки для просушки, она взберётся на стол и очень внимательно сверху их разглядывает. А когда кончу печатать на машинке и ляжем спать, она считает своей обязанностью выдрать из машинки ленту.

Я же тебе говорил: ничего я уже не могу читать и писать. Надоело. И письма писать – тоже, только по обязанности. И о литературе я меньше всего думаю. Литература вне поля моего сознания. И с тобой я о ней говорю в полутощотворном состоянии. Это ты меня вынуждаешь, каждый раз пристаёшь с ножом к горлу. Вот когда ты перестанешь думать о литературе, тогда и начнёшь освобождаться. Так что не вздумай мне ко дню рождения книгу дарить. Уже купил? Какую? Гиппократата? Ну, это совсем другое дело. А Авиценны не видел? Как увидишь, тоже купи.

27 апреля 1998 года. Принёс ему Гиппократ. Он доволен. Голова обрита наголо. Стол усеян листьями с рисунками. Говорит, пренебрежительно махнув рукой:

– Ничего не получается, ерунда. Надо попробовать писать грязными красками. Но и это не открытие. Писали уже. Самое противное то, что всё уже было, за что ни возьмись. Почему грязными? Потому что надоели яркие цвета. Мне вообще всё быстро надоедает. Я и баб не мог вытерпеть больше недели. Менял постоянно. Такой уж уродился. Постоянство мне противно. И писанина надоела. Я ведь и писал только тогда, когда являлось что-то другое, новое – тогда загорался. Нет, рисовать ещё не надоело. Но зима меня сильно ослабила. Голова мутная, не сосредоточиться, нет накала. Расслабленное состояние. А тут нужна чрезвычайная сосредоточенность и сила, горение. Ведь что в тебе есть, то и будет на бумаге. А что во мне есть после такой зимы?

У меня написано, если брать только актив, семьсот страниц в стихах и семьсот в прозе. А не актив нечего и брать. Скажем, мои исторические повести. Надо оставлять только то, что написано в высшем накале.

Ты знаешь, что нашли след, женский, древность – сто сорок пять тысяч лет? Нормальный след, судя по нему, женщина была ростом около ста шестидесяти сантиметров. Значит, и всё остальное было, как у современных, как сейчас. Никто не знает, сколько было цивилизаций и в какой древности. Сколько погибло. Сменится осевое вращение, или даже сдвинется ось и – конец. До нас же почти ничего не доходит. Кости гниют быстро, всё превращается в прах. Разговоры о вечности – чепуха. Нет никакой вечности. Вот – то, что интересно в настоящий момент, чем живёшь, эти рисунки, скажем – это только и есть. Больше ничего. Всё рано или поздно уничтожается полностью.

Пошли гулять. Дорога сырая. Ручей бежит, буро-чёрный.

– Ты прочитал Плотина? – спросил он. – Я не смог. Скучища. Неоплатоники – последние противники христианства. Они о нём ни разу не упомянули даже, как будто оно и не существовало. Ужас этой религии в том, что она всех поставила на колени, всех сделала рабами. На коленях – перед кем? Перед этими мордатými священниками, конечно. Не перед Тем, Тому – никакого дела до каких-то мошек. Он и не видит их. Да, догма. То есть, кол в мозг, кол воображению, уничтожить его. А у человека самое интересное – это воображение. Способность сочинять. Жизнь ведь у всех однообразная, в конечном счёте, серая. Ни одна религия не создавала такой абсолютной, жесточайшей, поработавшей догмы. То есть: только так и никак иначе. Вон, посмотри у греков – какие весёлые, человеческие боги. Их сочиняли и крутили их, как хотели. Самые человеческие в мире боги – у греков.

Да, футуристы у нас разогнули спины. А потом опять согнули. А ну их. И они перестали быть мне интересны. И методы их – тоже. Я не могу писать постоянно и не могу тогда, когда нет накала. Видимо, я не графоман. А Толстой никак не мог остановиться. А Набоков томов сто настрочил. Уж если начал писать о литературе или о том, как пишешь – всё, значит, себя исчерпал, ничего в тебе больше нет, конец. Переводы значат тоже самое. Даже если начинаешь просто болтать о литературе. Я никогда не болтал. Это ты меня насилуешь. Да, тогда и Пастернак графоман. Да ещё какой. А Маяковский – нет. Он даже издание своего собрания сочинений поручил Асееву и не занимался этим. Хлебников и тем более. Нет, методы Маяковского совсем не от Уитмена. Только урбанизм от него. А стержень – Библия. Он же сидел в тюрьме, а там ничего не давали читать, кроме Библии. Вот он и зазубрил наизусть. Библейские образы в урбанистических декорациях, вот и вышло диковатое сочетание. Хлебников – другое, он чистоязычный.

Думаю, природа гениальности – это память. У Платона об этом ясно. То есть: интуитивная память древнейших знаний, которые сохраняются в генах. Вот и вспыхивает то там, то там. Только у потомков древних народов. Евреи, кельты, персы, татары. Смешение кровей, но обязательное присутствие древней крови. Державин у нас – кровь древних татарских князей попала. Гении английской литературы – все ирландцы или шотландцы, то есть кельты. Индия – там много гениев-математиков, выше, чем в Европе. И – гениев божественных, вокруг которых видимая аура. Это, можно сказать, боги. Выше нет проявления гения здесь на земле. Да, Кришнамурти, и Ганди, и многие ещё. В древности – Будда. У американцев бог – доллар. Они перед долларом на коленях. Всё крутится вокруг этого. Ужасно. Ужасные люди и страна. Чем поразил Запад Достоевский, как ты думаешь? Помнишь сцену: Настасья Филипповна швыряет сто тысяч в огонь. Вот этим. Вот это их потрясло: как, их бога – в печку, в огонь! Во-первых, дать такую сумму какой-то проститутке, что само по себе немыслимо, а во-вторых: та их – в огонь! Ну и провозгласили: вот он какой русский народ, русская душа! А это не русский народ, а Достоевский. Тут тоже самое: бог – рубль. Ну, разве не в таких масштабах пока, как там. Но скоро всё будет также. Ужасно.

Всё можно из себя вытянуть, но не талант. Талант единственное, что сам из себя не вытянешь.

23 мая 1998 года. Он спал перед моим приходом. Выпил четыре чашки крепкого чая – чтобы оживиться.

– Собираемся на Мшинскую на той неделе, – сказал он. – Может быть, легче будет, там воздух, движение, деревянный дом. А тут я как мёртвый. Утром часа полтора работы, и то только когда солнце. И всё – выдохся! А если солнца нет – ничего не делается, дохлый весь день.

За зиму из тысячи рисунков вышло, то, что называется шедеврами – три листа. То, что не стыдно дать на любую выставку. Бесцельная работа. Зачем? Это нельзя назвать моим призванием. Я не живу этим полностью. Это для меня разве что треть моей жизни. Писанина – другое. Там – вся моя жизнь. Такой уж я выбрал трудный метод: нельзя ничего исправлять. Или всё получается сразу, или, если хоть одна пометка, дрогнула рука – отбрасывается. Хорошие куски почти в каждом листе, вырезаю, но это мне надоело, и это уже не то. Метод импровизации. Но так, как я, никто в мире не пишет и не писал. Сейчас весь мир пишет этим методом, то есть: интуитивным. Но это не совсем то. Они подправляют импровизации, все так делают. Но это всё равно, что ставить протезы. Никуда уже не годится. Я упрям, я иду максимально трудным путём.

Китайская живопись? Нет, там тоже не то. Просто есть рисунки, которые очень быстро сделаны. Это же высшие мастера, гении. Но это не абсолютная импровизация, а только часть. Всегда есть дорисовка. – Он раскрыл книгу с древнекитайской живописью и показал портрет Ли Бо: – Видишь, туловище нарисовано одним взмахом пера. А голова, лицо явно прорисованы. А эта картинка вся тщательно прорисована, не импровизация, что не умаляет её достоинств. Но это другое.

Японские стихи? В литературе? Нет, там совсем не так. Я тебе скажу вот что: все высшие вещи в искусстве получились и делались только как импровизации, из импровизаций. Но очень редко – сразу. Обычно же – это довольно длительная работа. То есть: возвращение по многу раз в то самое найденное счастливое состояние, в ту первичную импровизацию. И доработка. Найдёшь нерв, его и пытаешься раскрутить. Например, моя "Башня". Ведь впечатление, что написано легко, на одном дыхании. Стиль ясный, чистый. А ведь там сто восемьдесят листов, и писал я эту книгу не меньше года, отделял каждую фразу, извёл бумаги в семь раз больше оставленного объёма. Только один раз в жизни у меня было, когда я написал сразу. Из "Двенадцати сов": "Подари мне ещё десять лет". Утром, проснулся, и вся вещь уже в голове. Осталось только сесть и записать. Ни единого исправления.

У меня нет такой безумной потребности писать, строчить каждодневно, как Бальзак, без передышки, всю жизнь. Идиотизм, сумасшествие. Другие писали без этой пожизненной одержимости, спокойно, с долгими перерывами, и писали лучше.

Мопассан прославился "Милым другом", а потом писал для денег. Там другое, чем здесь. Там пишешь – и свобода, деньги, слава. Здесь пишешь, и – обязательно задушат. Как Пушкина или Лермонтова, как всех после этой русской революции. Такая страна.

Пикассо там, и Филонов здесь – художники равного уровня и значения. Тот в конце жизни – при мировой славе и гигантских деньгах. Этот, здесь – в полной безвестности сдох с голоду в Блокаду. Тоже – замученный Малевич, художник, равный Сезанну. Вот тебе разница: где жить, в какой стране, при каком режиме. Нет в мире более сделанных картин, чем у Филонова.

4 июня 1998 года. Посетил его на Мшинской. Помог в хозяйстве, скопал огород, поставил дверь в сарай. Он сказал мне:

– Ты так мало написал: три тоненьких книжечки. Всё дело в том, что ты слишком поздно начал. У тебя не было чтения на высшем уровне. Знакомство с образцами, без которых ничего не сделаешь. Их перерабатываешь, чтобы вышло своё. Теперь: куда ты пойдёшь дальше? Вот в чём дело. Что и как ты будешь писать теперь.

Я с прозой зашёл в тупик. Видно пора кончать с писаниной вовсе. А рисунки вдруг пошли. Нашёл новый метод. В писанине, и этом моём титаническом романе, который я хочу бросить в печь, а все что-то тяну, не найти решения. Вот в чём дело. Пусть полежит. Может, потом как-то использую.

Дом соседей обязательно сгорит, – он показал на дощатый домик на соседнем участке. – Там живёт столетняя старуха. Она тайком топит печь, пока её дочь и зять в отлучке. Те бывают по выходным и гоняют старуху кнутом на огород – поливать грядки, а сами ничего не делают. Вот если бы сгорел их дом, было бы хоть что-то тут красивое. Красивый пожар. Ради такого случая я бы и книгу свою в огонь бросил. В такой-то красивый кострище как не бросить. По крайней мере, достойно для сжигания. А в печку я не решаюсь. Скучно и тривиально. Повторы.

Пётр Первый – монстр, урод, сумасшедший. Его цель была – стать императором. И ради этого перевернул всю страну, из тринадцатого века сразу в восемнадцатый. Приказ – брить бороды, а лезвий нет. За небритьё – громадный штраф. Построил бесполезный гигантский флот, который потом весь сгнил. Дома своего у него не было. Жил у Меншикова и гулял на его счет, привозя к нему орду в человек триста, растрачивал безумные суммы, тем самым и вынуждал Меншикова добывать их, то есть, красть из казны, для его же, Петра, гульбы. А сам хотел Меншикова за растрату повесить. Кто же растратчик на самом деле? Он! Сумасшедший, самодур, идиот!

Спать легли во втором часу ночи. Утром он встал поздно. Плохо спал. Сидим за столом на кухне. Глотнув из чашки чёрного кофе, он глядит в окно, за которым сад, солнце, прекрасная погода:

– Сегодня – Фиораванти! – сказал он весело. – Красивое имя.

24 августа 1998 года. Опять посетил его на Мшинской. Под дождем пилим дрова.

– Напиши в своих мемуарах: он был мастер пилы! – говорит он, не прерывая работы. – Возьмусь с книгой, которую хотел сжечь. Из семьсот страниц отобрал сорок, но не знаю пока, что можно из этого сделать, нет решения, поэтому пока мертво. Может быть, когда-нибудь. Пусть полежит. А насчёт всей массы остального пришла идея: повернуть всё наоборот. Вот и возился, скрипя зубами, всё лето. Но лучше бы бросить. Графомания какая-то.

Видишь ли, нужна многозначность. Много граней. А у меня в этой книге пока две-три линии. И только. Ведь никакой разницы: за или против, утверждение чего-то или отрицание. И так и так – тупость, примитив, одна грань, один знак. Что мне от так называемого содержания. Это нуль. Содержание – вот, в газетах, пусть там содержание и ищут. И вся советская литература такова и была: одно сплошное содержание, одна гигантская газета. Информация. Разве поэт пишет, чтобы дать информацию о чём-то, известие? Что же: Гомер писал, чтобы дать информацию о Трое? Так думают только пошляки и бездарности. Гомер дал отношения между героями, описания битв, богов, драматургию. Ни для чего как только для этого сочинял. Может быть, он всё сочинил. А дураки ищут реальную Троию. Была ли она, не была – никакой разницы. Это смешно.

Я, например, в "Доме дней" превратил город Отепя в Эстонии в этаким святой город древних эстов и то, что там якобы был Цезарь и так далее. То есть, сочинил поэму. Поэт использует всё: ландшафты, ситуации, происшествия, преобразуя их до такой степени, что они делаются не только неузнаваемы, но в них уже и нет того реального, из чего они были сделаны. Получается, что ничего этого не было или было только отчасти схоже с тем, как написал поэт. Потому что поэт пишет по иной потребности, у него потребности и цели эстетические, ну, скажем, красота – как это принято обозначать. А тупицы ищут во всём правду, факты, истины истории, как это всё было на самом деле. Но никакой правды вообще не существует. Тем более – в истории. История – это собрание поэм. Вся она написана поэтами, нет в ней и тени истины, так на это и надо смотреть – как на поэтические произведения.

Библия? Но Библия – это сборник древних поэм. Вся она написана стихами. И это всё, одна эта книга – всё, что осталось от целой истории арамейского народа. Да и написана она в основном значительно позже, чем считают. Скорее всего в четвертом-пятом веке. Я долго жил этой книгой и только после смерти в Тарту и её откинул от себя на хрен. Книги пророков, если их поставить рядом, как картины, жутко однообразны – одни и те же проклятия и плачи. Но это же самая

аристократическая книга в мире: почти все книги Библии написаны царями или вельможами. Аристократическая идея Христа: что на кресте все равны – и бог и бандиты. Идея такого равенства: равенства в смерти – сверхаристократична. "Возлюби врага своего" – это же поэтические парадоксы, которые он швырял, как оратор, с горы в толпу, эта его нагорная проповедь. Но тупицы всё понимают только в лоб, только в одном смысле. Вся история Средних веков – это борьба с насекомыми: вшами, блохами, клопами, пауками, – и меньше всего между собой.

Высшая математика? Да, это тоже своего рода поэзия. Потому что она абсолютно замкнута, ни для чего её не использовать, она сама для себя, из любви к искусству, как говорится.

И вот, видишь ли, что такое вся история. Как она предстаёт. Просто-напросто находятся такие чудачки, которым нравится писать красиво и сочинять и которым нравятся красивые книги о красивом. И они переписывают эти книги на новый лад, на новом материале, используя красивые схемы, ситуации, героев прежних книг из древних времён. Где же тут правда?

Да, древние языки сильнее, сложнее, звучнее. Языки упрощаются, как и всё в жизни. Идёт упрощение по всему миру, во всём. То есть – опошление, отупение. Недаром Державин и его круг боролись насмерть с Жуковским, Пушкиным – против упрощения языка. Почитай Тынянова – "Архаисты и новаторы". Катастрофы в этом нет. Можно и на примитивном языке, каким является современный советский язык, написать очень сильные вещи. Но для народа – упрощение языка значит – и мышления. Кто пишет для народа – явные бездарности. Народу не нужно никаких поэм, никаких стихов и книг, никакой эстетики, они не будут читать это, им это не нужно. Они живут одной гранью, одной линией. Поэты живут многими гранями, искусством, и пишут только из любви к этому совершенно особому занятию, они замкнуты в своём деле и своей любви. При чём тут народ? Никогда они не думают ни о каком народе. Это идиотизм. Мышление газет.

Геродот, Фукидид. Они были очевидцами того, что писали. Но ведь у каждого свой глаз, свой угол зрения. Они были поэты, так и написали. Бездарный глаз и напишет бездарно. Да ну, что об этом говорить.

Язык Гомера – настоящий, звучный, гибкий древнегреческий язык. Язык Платона уже упрощённый. Также как наш современный относительно древнерусского. Кто сейчас может на нём читать у нас? Ну, сотня-две учёных. Всё. Я, так уж вышло, начал читать на древнерусском. Первые мои книги – летописи. По ним я научился читать, на этом вырос и воспитался. Это вошло в кровь. Ркох – насколько сильнее, звучнее, чем – сказал. Поэты поворачивают язык. Постоянно возвращаются к архаике и используют древние пласты, то есть: воскрешают и обновляют язык,

возвращают ему его богатства, его истинные ценности, его силу и звучание. Маяковский, например: у него архаизмов куда больше, чем у того же Пушкина. Новый виток.

Есть художники шизофренического типа. Когда нет никаких человеческих обоснований работать с таким фанатизмом, с такой безумной энергией, таким напряжением и отказом от всего, что есть в жизни. Филонов, который во всём себе отказывал и питался одной коркой хлеба и граммом сахара в день. Или Бальзак, прошедший за столом всю жизнь. Это не объяснишь: такие люди, или, как раз, не люди, нечто нечеловеческое.

На другой день мы пошли на рынок. По дороге он говорил:

– Надо купить навоз, пока не взвинтили цены. А что ты думаешь. Там, наверху в доме, работаю за машинкой, там – космические разработки, а тут – навоз. Так ведь всё – навоз, и ты, и я, и там – в небе. Только навоз.

Навоз на рынке мы не нашли. Весь продан. Зато он купил нож с серебряной ручкой в серебряных ножнах, китайский, изготовлен сто лет назад. Редкость, красивый нож. Стал говорить о редких книгах, об антикварных, истинно ценных вещах, о том, что у него знание и вкус в этом. По дороге обратно читал мне наизусть своё стихотворение, написанное в 1960 году, неопубликованное: "На смерть Пастернака".

– Мне было двадцать четыре, когда я это написал, – сказал он. – Вот видишь, всё мне было ясно об этой стране. Завуалировать, как ты видишь, не мой стиль. Мой стиль – писать прямо и жёстко, не прячась и не веляя. Но я не люблю лобовое. А это стихотворение слишком лобовое. Публиковать его я никогда не буду. Оно и не написано. Текста нет. Оно здесь, в голове, всё, до последней запятой.

Зачем мне общаться с теми, кто не любит и не читает книг. Мне – человеку книги. О делах – иное. Книга, которую я пишу, в целом мне ясна. Но это пока мёртвая схема. Теперь, чтобы написать, необходимо напряжение, то большое напряжение, которым только и пишутся настоящие книги. Нужно вдохнуть вольты, а где их взять. То, что у меня сейчас, это энергия пятого порядка. Так что же может написаться, сам понимаешь.

Всё, что происходит, мгновенно искажается в передаче других. Фактов не существует. Этот вот домик после моей смерти превратят в замок. Будут писать: "Он жил в громадном кирпичном замке и писал великие книги, не сходя на землю, даже прогуляться". Никто не поверит, что я жил в нищей лачуге и думал о навозе.

Вечером он сидел на кровати, опустив босые ноги на пол, и грустно шутил:

– Что, ноженьки, скоро вас сожгут, скоро, скоро, и пепел развеют над Мишинской. Вот видишь, – сказал он мне: – что стоят все эти так называемые ценности: книги, картины, подвиги. Всё только круговорот пепла.

16 сентября 1998 года. Неделя, как он в городе. Накануне позвонил мне и пригласил прийти. Узнав, что в Эрмитаже выставлена картина Гойи "Обнажённая маха", он сказал:

– Я здесь никогда не смотрю выставки. Всё пересмотрел там, в Европе. И вообще: всё это мной давно пережито и теперь неинтересно. Смотреть всё это я уже не могу. Также как не могу читать книги. Я же профессионал. Читал бы ты с пяти лет, как я, тоже самое было бы. Ничего, к шестидесяти и у тебя будет также.

Я спросил у него: действительно ли у Сезанна грязный цвет?

– Вот умный вопрос! – отвечал он. – Да, цвет у него грязный. Но это ведь у него сознательно. Дело не в цвете. Сезанн совершил революцию в методе писания картин. Он первый стал писать не гладкой поверхностной краской, как писали все, а фактурно, в глубину. У него главное – энергия. Воплотить, выплеснуть краской, её сгустками, комками мощь своей энергии. Главное у него – внушение, воздействие. Как и у средневековых икон. Собственно, он метод средневековой живописи вернул. Посмотри Феофана Грека, итальянскую икону. А Возрождение повернуло к светскости, к гладкописи, и этот метод действовал пятьсот лет. Ну, не всё в Возрождении. Боттичелли, Леонардо этой гладкописи не поддались. У них тоже главное энергия, хоть и написано той техникой. Метод Возрождения это метод глядения картин, или прочитывания содержания, а не воздействия. В двадцатом веке – взрыв. За Сезанном – ещё имён пятьдесят. Вариации его метода, его открытия. И в поэзии. И в музыке. В прозе нет. В науке нет. Потом – все. История мира, как и история искусства – это регресс, а не прогресс. Чем древнее, тем мощнее. Чем дальше от древних, тем слабее. Ещё Блок писал: "Первый – Гомер. Эсхил ниже Гомера. Гёте ниже Эсхила". Да, убывание энергии. Рассеивание. Чем больше население, тем слабее энергия, ведь она распределяется на большое число людей, а её генетические ресурсы одни и те же. Самые сильные в истоке. А где он – исток? Ведь и до Гомера же кто-то был. И был он сильнее Гомера, и так далее.

Он взглянул на меня с улыбочкой:

– Ты как библейский еврей: для тебя главное знания. Для чего ты читаешь книги? Для знания? Нет? Ты читаешь ради энергии? Вот-вот. Я так тоже читал. Заражает. Больше всего энергии в стихах. Да, согласен: знание тоже – энергия.

Цвет – рассеивание энергии. Да, конечно. Отвлечение от главного. В черно-белом большой конденсат. Но европейская живопись вся на цвете, привыкла к этому и этим жила. Цвет развлекает тех, кто к нему безразличен, и сокрушает тех, для кого он жизнь. У Востока, собственно, тоже, что Сезанн: тоже воздействие, энергия, но там это индивидуально, там линия, мгновенная работа, колоссальная техника традиции, ученичество с пяти лет и безумный труд. Иначе не добиться таких высот. На Востоке цвет никогда не был главным. Они не знали цвета. Он был им не нужен. То, что стал делать Сезанн, собственно, мистика. Мистическое воздействие. Воздействие, внушение и есть – метод мистики. Это метод Средних веков.

Звери. Они же поют. Не только птицы. И собаки, и кошки, и слоны, и киты. А дельфины как поют! Звери и рисуют. Обезьяны, слоны, змеи, даже лягушки, даже жуки. Да, у них и ум, и художественные способности, может быть, не ниже, чем у людей. Мы же почти ничего не знаем. Они и наш язык понимают, смысл того, что мы говорим.

Вот статья обо мне: пишут, что я единственный продолжатель футуризма. Ерунда. Поверхностное понимание. Никто ещё не сказал обо мне верно. Не видят. Вот я тебе сейчас скажу, в чём тут суть. Так получилось, что первые книги, какие я начал читать в детстве, это были древнерусские летописи. И так это в меня вошло и пошло. Именно этот язык стал моим. Я видел всё его сверканье и видел всё убожество языка современного рядом с тем. На советском языке я не мог ни мыслить, ни читать, ни писать. Переделывать себя, об этом и вопрос не стоял. Вот и всё. Просто. Отсюда и моя поэтика и метод мышления, и всё. Потом я открыл футуристов и увидел, что они оттуда же, от тех же корней. Потом открыл Гоголя, Державина. Те же истоки, те же корни. Этими текстами я и упивался, это и было моим единственным чтением. Вот моя поэтическая родословная. Так что я – до футуризма. У Пушкина была тенденция сглаживать язык. У Маяковского – ломать. У Державина, кстати, – тоже. Но формальные методы совпадают: звукопись и так далее – от древних корней. Вот меня и не читают, не по зубам. А читают Маринину – детектив самый дешёвый и газету. Не будешь же ты читать какие-то беззубые книги, когда есть Гоголь. Так и картины. Зачем тебе смотреть сладенькую гладкопись, когда есть Сезанн, Ван Гог, Гоген и ещё десятки. Это герои. Это был взрыв героев. Они жили как герои. И писание картин сделалось подвигом. Прошлый метод не отменяется, там много изысканного.

Если у меня и есть иностранные речения, канцеляризмы, они у меня всегда иронически повёрнуты, никогда всерьёз.

Да, получается, как и в рисунке, – древняя техника.

Вот кто от футуристов, так это Вознесенский. Прямая линия от Маяковского. Айги – линия Кручёных. Он его развил.

Я перечитал на Мшинской твою последнюю книгу. У тебя там явилась некая легкомысленная живость. Что меня приятно удивило. Ты используешь много моих приёмов, но они тебе не вредят. Первая твоя книга крепче, но нет этой живости.

Когда я приехал из Львова в Ленинград, я познакомился с Горбовским и меня тогда поразили две вещи: крайне изумило убожество языка и ошеломил талант – с какой злой страстью он писал стихи и достигал такой силы при таком бедном языке. У Бродского вообще не язык, а макароны. Но сильнейший поэт. Содержание-то у всех у них было что надо, антисоветское, сильное, но язык советский, газетный, убогий. У Вознесенского – так-сяк.

Пушкин крутил язык во все стороны. Лермонтов совсем свёл язык к популярному, доступному. В стихах это звучит ужасной риторикой, у него. В прозе – нет. У него что-то брезжило и это удачно воплотилось в таком языке. Ну, там многое. За этим ещё стоит Мериме. Но всё это не суть важно.

Нет, нельзя сказать, что музыка в стихе главное. Многое главное, когда как. Например, есть обнажённые приёмы, лежат на поверхности, структурное. Они вполне переводимы. У Лорки, скажем. И в переводе они звучат достаточно сильно. Но внутреннюю музыку, конечно, не перевести.

Тех, кого в Европе объявили лучшими рисовальщиками, даже я превзошёл уже на много порядков. А я-то ведь рисую куда душа крутится.

1 октября 1998 года. Сегодня прогулка не удалась. Дошли до леса – дождь хлынул. Вернулись домой. На столе у него рисунки, гуашь.

– Не получается, – сказал он. – Застывает от холода. В квартире холодища, не топят. Для китайцев европейская живопись казалась ремесленничеством. Европейскую живопись можно подделать, а китайскую нет. Европейская живопись на содержательности. Картины в Европе писались, чтобы продавать желающим их смотреть. В них нет внутренней жизни. Принцип европейской живописи – гармония. То есть – самоограничение, несвобода. И потом – европейское пристрастие к цвету, слишком много наляпано красок, мазня. Глаз европейской живописи искалечен. Тут уж ничего не поделаешь. Неисправимо. Принцип китайской живописи – естественность. У них тоже был свой канон, но в рамках канона каждый должен был проявить свою естественность. Всё это только слова, это не объяснить, надо смотреть сами дела, образцы. А так – пустой и бессмысленный разговор. Да: "выписывать волю" и "силу кисти". Так они говорили. Их кисть подделать невозможно. Как? Нажим, разная толщина линии. Для

китайцев природа была живая, они относились к ней эстетически. Они её берегли, как святыню, сакральное отношение. Европейцы относились к природе утилитарно, для использования, то, что можно было употребить для жизни, для нужды. Она для них была мёртвой. Вот они и сотворили весь этот ужас технической цивилизации, что человеку совершенно не нужно, что его только поработывает и уничтожает. Так какое же может быть у них искусство, какая живопись.

Естественность – сложный вопрос. Для кого что естественно. Идеально естественного человека в природе нет. Скажем, только мастер своим высшим искусством может достичь естественности. А слабые в искусстве манерны. Лучше бы вообще не знать, какой ты есть. Но если уж стал об этом думать, то лучше быть таким, какой ты есть, а не пытаться быть кем-то. Никому не удавалось сделать из себя не себя. Удавалось, но для меня, например, это сразу видно, что: сделанный, а не от природы такой, а не его природа. Надо играть роль самого себя. Вот и всё. Актёры? На актёров ведь только и смотрят, на их личность, а не на роли, которые они играют. За какие бы роли актёр с яркой личностью не брался, везде будет именно он. Так и говорят: характерный актёр. Так и во всём – личность, лицо.

Почему, например, я недоступен для массового чтения? Как ты думаешь? Потому что я неадекватен. У меня открыто агрессивный, вызывающий язык – против их языка, против течения всего их способа мышления. Конечно, я им не свой, чужой. Они сразу это чувствуют. Я – не их породы. Собаки чувствуют волка за километр. Как я ни старайся, ни пробую, мне свою природу не переделать. А им – свою. Возьми Горбовского – язык плебейский, примитивный, но сильный, сжатый, и тоже жутко агрессивный, им враждебный. Ничего он с собой не смог поделать, как ни пытался себя занизить.

Да, быть таким как есть. Но как? Есть люди, которых невозможно не заметить. Яркая внешность. Яркая психика. Я такой. Другие же безлики, незаметны в толпе, их путают с другими. Как есть, так и есть, надо себя знать и так и оставлять это.

Изучить живопись несложно. Но это будет враньё. Что изучить? Ведь книги о живописи пишут только те, кто живописи не понимает. Потому и пишут, что не понимают. Для денег, для научного чина. То есть, не понимают главное в живописи: где живое, а где мёртвое. Тоже и в литературе. Европейская литература содержательна на девяносто процентов, как и живопись. А что содержательность? Нуль. Жизни в этом нет.

Самый естественный человек – алкоголик. Что естественней, чем пить? Забыться, уйти от всей этой рациональности в мир прекрасных видений. Уйти от этой жизни. К гибели, конечно. Быстро

саморазрушение. Но и на кой чёрт тут задерживаться, в этой так называемой жизни... Мечты и звуки. Всё это, знаешь, мечты и звуки.

Почему греческие актёры надевали маски? Чтобы играть не на публику, а сохранять силу игры внутри. Играть внутрь, а не вовне. Скрыть лицо, то есть – внешнее, тем сильнее проявится внутреннее, суть. На этом и все мистерии: скрыть от непосвящённых, от профанации, от обесценивания, от шарлатанства, от публичности – скрыть сакральное. Оно должно было действовать, как загадочная, непостижимая сила. Поэтому и Библию запрещалось читать народу: чтобы не уронить в грязь, в пошлость – священное, божественное. А теперь что? поголовная грамотность, полная открытость, доступность, то есть – падение, продажность, профанация всего, опошление, низведение к нулю, к поверхности, к пыли.

В европейском искусстве слишком много для жизни. Потому и поглощено содержательностью. Китайское мирозерцание – только дух. Средневековая икона тоже – только дух.

16 октября 1998 года. Сегодня на прогулке разговор зашёл о древнегреческой живописи и музыке: что всё утрачено, остались только описания. Он сказал:

– Да. Это всё равно, что юная блядь будет описывать х... От древнегреческой музыки сохранились нотные записи, их расшифровали. Но мы не знаем, как исполняли музыку древние греки, их практику, их методы, их дух, что они вкладывали. Да, была попытка воспроизвести их музыку, которая провалилась: получился какой-то дикий хаос звуков.

Я знаком с Андреем Волконским, мы дружили. Он – композитор средневекового толка, от средневековой музыки. Композитор, музыкант – совсем другой тип художника. Более нервный, всегда в напряжении. Постоянно, без перерыва. Поэт год-два может быть тоже в жутком, колоссальном напряжении, но потом – спад, перерыв. У музыканта или композитора – нет, постоянно. Поэтому они много пьют – для разрядки. Поэтому в двадцатом веке многие погибли от наркотиков, от опиума. Живописцы – тоже другой тип. Также – в постоянном напряжении, но они ближе к поэтам. Совсем другие миры – литература, живопись, музыка. Ничего общего, никаких касаний. Музыка в слове – это совсем не то, это внутренняя особая форма слова, в слове. Вот этими другими типажам художников меня и поразили в своё время Кулаков и Волконский. Разное, всё разное, во внутреннем.

Чайковский – популярный, пошлый вариант Моцарта. Моцарт – блестящая, яркая музыка. Бетховен – средневековый музыкант. Да ну, эта тема не для разговора. В музыке я несведущ. Хотя у меня всегда был, с детства, идеальный музыкальный слух и я занимался в музыкальной школе. Но в этом я бездарен. Говорить о литературе – тоже опротивело

уже давно. Философия? О, философия – самое вонючее, что породило человечество. Вся философия поголовно рассудочна. Нерассудочной нет и быть не может. В этом и смысл философии: рассуждать. Лжемышление. Истинное, подлинное мышление – образное, мышление поэта. То есть, вымышленное мышление. Оно только и есть подлинное. Зачем было читать миллион книг. Дурак, о дурак! Дурацкая потребность, библиомания. Наверное, из-за отсутствия жизни – замена книгами, в детстве, юности. Всё есть в стихах. "Книга перемен" – мантика, чистые символы. Гадательная книга. Вот что меня поразило. Эллинское воспитание не дает повернуться к Востоку, переориентироваться.

Я заметил, что у него в книгах близко к восточному.

– Да, – согласился он, – может быть, древняя память крови. В так называемый мой эллинский период, когда я ещё не читал восточных книг, у меня были галлюцинации при белой горячке, на улице России: на стенах горели громадные иероглифы. Я списал и потом искал аналогии. Уходит куда-то в Тибет и дальше. Сны снились: развалины гигантских древних городов.

У меня всегда самосознание было сверху, а не снизу.

Ни Селина, ни его ученика Миллера я терпеть не могу. Потоки трескучей риторики.

Всё живое на земле настроено на луну, на её перемены, все чувства живого, и у человека – тоже. Вся жизнь – по луне. От солнца только энергия, без неё ничего бы и не было. Человек нарушил эту природную связь с луной своей рассудочностью и гибнет.

Есть сильные детективы. Читаю с удовольствием. Например, Стаут. "Если бы смерть спала". И ещё другой, не помню имя. Мастерский сюжет: самолёт с индусом. Этот индус объявляет пассажирам, что самолёт полетит туда, куда пожелает он. И самолёт летит, делая посадки в каких-то ледяных пустынях, где каждый раз остаётся один из пассажиров. Так доходит очередь до главного героя, до рассказчика... Забавно. Забавные вещи попадают иногда.

28 ноября 1998 года. Сегодня встречал его в Пулково. Самолёт из Ганновера. У него там была операция. Урология.

– Ещё одна боевая операция, – пошутил он. – Неделю пожил спокойно, а потом началась резня.

8 декабря 1998 года. В лес не пошли. Гуляем недалеко от дома. Снегу навалило, на тротуарах каша. Он не взял на улицу слуховой аппарат. Пишу ему на бумажке, что видел на Невском хороший альбом Матюшина.

– Матюшин – первый в мире абстракционист цвета, – сказал он. – Открыватель этого. Первый и высший. Ярко и сильно. Поллок и прочие

рядом с ним дети. У тех это прикладное, обои. У него – настоящие картины, искусство. Но всё это на холстах, со всеми вытекающими из холстов последствиями. Абсолютно свободен. Холст несколько не ограничивает свободу. У каждого материала своя свобода. Мастеру свободно в любом материале, он находит в материале его свободу и сам при этом свободен. У холста своя свобода. Новый материал – новая свобода. Бывают материалы очень трудные – клеёнки Пирсмани. Новые материалы – новые пути. Кулаков даже на наждаке пробовал рисовать. Ничего, справился.

Все они бредили космосом. Все эти их идеи – чепуха, это у них была такая придурь. К их же искусству, к тому, что у них практически, эти бредни теоретизирования никак не относятся. Малевич написал тома о своём методе, об интуиции, которая там и не ночевала. Всё враньё, бессознательное, сам он не понимал. О жратве у него всю дорогу. Ясно, в те годы, парень голодный. Всегда тут все дела, вся борьба вокруг жратвы. Ну, так что об этом писать. Сколько уж написано. Сам он о своём искусстве не написал ни слова правды. Просто искусство кончилось, вот от нечего делать и принялся обосновывать и объяснять.

То же – Филонов. Ну какое это аналитическое искусство? Где там анализ? Это безумные уровни мастерства – вот что это! Анализ тут ни при чём. Он всего лишь рисовал, безумная выписанность, каждая чёрточка, мазочек, миллионы этих мазочков. А тупицы видят на его картине петуха, полученного из этих мазочков, и вот толкуют и извращают: что он, Филонов, хотел этим сказать, какая тут философия. Причём здесь петух? Философию эту придумывают сами эти теоретики.

Что такое философия: логика, рассуждения, однозначность, не форма. Искусство же алогично. Любой талант прежде всего алогичен. Талант и есть алогичность, само собой разумеющееся. Если талант, то и алогичен. Если не алогичен, значит – не талант. Другое дело, что многие художники, даже великие, думают о себе, что они логичны, хотят осмыслить мир логически и создать логическую систему, картину мира (какая-нибудь идеология, мораль, скажем, христианские идеи, да мало ли что, какие-нибудь догмы, те или иные). Но на деле собственное искусство опровергает всю эту тупость, всё, что они о себе и о мире надумали, теоретизируя. В их искусстве этого ни намёка не оказывается. Потому что природа их другая, природа их художническая, алогическая, и переделать себя они никаким образом не могут при всём желании. Гоголь думал, что он реалист и пишет реалистический образ России. А получилась фантазмагория о России, самая жуткая, какая только возможна. Какой там реализм!

В том-то и дело, что художническое и философское – антиподы. Там – всё вне логики, тут – всё одна только логика. Так каким образом одно может сказать о другом? Абсолютный бред. Всё, всё иное – психика, устройство мозгов, физиология, восприятие, осмысление, жизнь, всё. Да. Об искусстве, о книгах, о картинах, о музыке ничего и нельзя сказать. И не надо. Только читай, смотри, слушай, если можешь это понимать в живом непосредственном контакте и жить этим. Но живут этим только единицы. А подавляющее большинство приходят в музеи или филармонический зал, или раскрывают новую книгу – из любопытства или полюбоваться, насладиться. Через час они уже обо всём этом забыли и всё это им до лампочки, они вернулись к своей повседневности. Они этим не живут и этим исчерпан весь их смысл. А художник живёт только этим, он полностью этим поглощён. Как могут одни понять других? В этом смысле художник обречён быть один, на абсолютное одиночество.

И то, что пишут о них эти академики-теоретики – чистой воды жульничество. Пишут ради денег или славы, паразитируют, кормятся на искусстве, создают себе социальное положение, получают чины и ордена. Их убого логичные толкования – спекуляция и профанация. Всё как раз наоборот. Всё у них поставлено с ног на голову. У нас в России только Опояз имел смысл. Шкловский, Эйхенбаум, Тынянов и прочие. Они занимались только чистыми формами, то есть: истинными ценностями в этом конкретном деле. Скажем, приёмами. И только. Ничего, что вне искусства как такового и автора как такового. Конкретика. Никакой философии, теорий, схем. Якобсон потом скурвился, он – первый структуралист, начал строить схемы и выводить их из всего. Но Опояз просуществовал года два-три, и всё на этом.

Вот, кстати, последняя книга Солженицына. Я его терпеть не могу, но эта его книга – совсем другое. О русских писателях начала века: о Замятине, Бабеле, Пильняке и прочих. Он даёт разбор каждого, кто что сделал ценного, какие у кого ценности, что внёс нового в литературу. Чистый, точный и абсолютно правильный разбор. В этом смысле такая книга о литературе идеальна. Если о ней и писать, то только так. Я-то в этих писателях давно уже не видел для себя ничего ценного. Но, прочитав эту книгу, понял, что, всё-таки, есть у них ценное и я был слишком суров к ним.

Да, есть философия другого рода. В образах, в мифах. Но это уже не философы, это поэты. Только они почему-то решили, что они философы, и так о себе и думали. Платон или вот, наш Фёдоров. Это же сплошь фантазии, далёкие от какой-либо действительности, какого-либо правдоподобия. Безумцы с их яркими фантазиями. Сбесившийся Фёдоров: эта его фантастическая, сумасшедшая идея всеобщего

воскрешения. О какой реальности речь. Земной шар разлетелся бы в прах под ужасающим грузом всех воскресших всех прошедших времён. О чём, спрашивается, он думал, их воскрешая? И так далее.

Даже, когда каноны, один и тот же мотив из столетия в столетие в китайской живописи повторяется художниками. Но и тут нет реализма. Где ты увидишь в реальности, чтобы относительно пейзажа были такие едва видимые человечки – как мошки? И каждый повтор мотива – новая, неуловимая интерпретация, преображение, другой дух. Что реальность: вот старуха идёт. Скучно, серо. Смысл искусства только в преображении. И по-настоящему осмыслить мир можно, только преображая.

А что, скажем, обо мне пишут? Какие бредни! Что они во мне понимают? Им надо меня к чему-то приписать. О "Дне Зверя" пишут: сравнивают с Набоковым. Надо же такое придти в голову! Я – весь сталь. Набоков – многоярусные торты из крема и шоколада. Что общего? Ни в стиле, ни в темах, ни в чём. Или – с Венечкой Ерофеевым. Якобы, его влияние. Смешно. Разве у меня там есть описания пьянства, разве герой – пьяница? У меня это символ, на котором построена книга, а отнюдь не реальность жизненной судьбы. У Венечки же действительно пьют и наслаждаются питьём. Это его личная судьба и жизнь. У меня – ничего подобного.

Или – приписывают меня к футуризму. Ничего не сходится, ни по одному пункту. Ну, разве по одному только: требование к себе – делать только высшего качества. Но это же общее, без этого нет ни одного большого художника. А остальное? У них упование на будущее. У меня наоборот: полное отрицание будущего. Впереди только хуже и хуже. И ничего там нет, кроме смерти. И личной, и всеобщей. Формально – тоже не сходится. У них каждая строчка – другой ритм. У меня – стих классический, только разорванный.

Да и все они были совершенно разные: Маяковский, Пастернак, Хлебников, Лившиц – скажи, что общего? Цветаева. Вот какой вид иногда принимает философия. Она-то и есть философ. Ведь её стихи – абсолютные математические формулы. В образах. Стальные. Вот – голая мысль. Формулы, где логичное алогично. Поэтому школы – чепуха, придуманное, принуждённое, фальшивое. На самом деле, есть подражатели и последователи. А настоящие художники всегда сами по себе, в одиночку, и если и начинают вместе, чтобы заявить о себе, как о новом, то потом их пути очень скоро расходятся.

Не почти, а все поголовно читают логически, ради смысла, а не ради поэтики. Так привыкли, так устроены.

Французские писатели – сколько в них живости, какие они пыльные, лёгкие, естественные, непринуждённые, сколько блеска! Англичане – другое. Мрачные, напряжённые. А русская литература? Вот где мрак, так уж мрак. Один мрак и безумие. Все великие русские писатели – маньяки,

одержимые. И я – маньяк. Не расслабиться. Как? Не написать лёгкой, светлой книги. Везде жуткая концентрация, сосредоточенность на мрачном. Критика, обличения – вот русская литература. Да, только Пушкин и Хлебников – те светлые, разносторонние, раскованные, непринуждённые. Ну, Гоголь – это целый мир, и у него всё – и смех, и слёзы, и драмы. А какие ещё светлые книги в русской литературе? "Фрегат Паллада" Гончарова. Вот и всё. Ну, есть ещё оперетты: Ильф и Петров, их Остап Бендер. И Булгаков "Мастер и Маргарита". Но это не высокая литература. Надо называть вещи своими именами. О них теперь кричат как о великих. Меня это раздражает. Оперетты – там им и место. Кто у нас в двадцатом веке. Только Платонов. Этот ужасный вымороченный писатель. Да, сильный, да, гений. Больше никого. Но у него нет цвета, нюансов, это графика, графические кошмары.

Да, Свифт. Очень концентрированная и в то же время свободная, непринуждённая книга. Этакая геометрия на плоскости. Там ведь у него всё очень геометрично и плоскостно. "Шагреневая кожа" Бальзака. Да – сильная книга. Она дала целый путь в литературе, новую тему, от неё родилось много значительных книг. "Портрет Дориана Грея" и многое ещё. Да ну, отстань. Что ты меня мучаешь этими великими вопросами!

У меня впечатление, что ты какой-то растерянный и скованный. Я думаю – моё дурное влияние. Ты написал жутко мало. Энергия? Не в том дело. Энергия – материал. В материале. Я же ничего не говорю: пишешь ты хорошо. Но нет прорывов в неизвестное. Понимаешь? Вот что мне хотелось бы. Но у кого они, прорывы? У единиц. Мне хотелось бы неизвестного для меня. Твоих дневников я не читал. Дневник пишут от отсутствия жизни, когда не живут, вот и – дневник. Да, и книги пишут от отсутствия жизни. И всё искусство – от нежизни. Да, так получается.

Я понимаю: тебе надо писать так, как тебе хочется, и то, что тебе хочется, что ты на самом деле любишь. А у тебя ничего этого не видно, или едва-едва кое-где мелькнёт. Ты это скрываешь. Боязнь? Или что? Не знаю. А ты знаешь, что тебе хочется писать и как хочется, что ты любишь? Сам не знаешь? Хорошо хоть честно признался. А писать при этом хочется. Вот, вот, знакомо. Ты страшно зажат, и твоё у тебя скрыто, зажато где-то в тебе глубоко и не может пробиться. Не знаю, чем помочь, что тут посоветовать. У тебя нет уверенности. Конечно. Вот я тебе сейчас расскажу. В шестнадцать лет я уже занимался лыжными прыжками с трамплина. Входило в тренировку: прыжки в воду с вышки. Вот это был для меня ужас, боялся жутко. С дрожащей жёрдочки прыгать в бездну – семь, десять метров! Ты совершенно один, без опоры. Потом мы поехали на Тису. Какие красивые места! Ты бы видел! И там

мы ватагой прыгали с берега в омуты. Никакого страха у меня не было. И сколько, ты думаешь, там была высота? Двадцать метров! Вот я сделал для себя открытие: дело в опоре – жёрдочка или широкий, прочный берег. Дело в соотношении. А с жёрдочек, с пятачков на утёсе кто может прыгать? Единицы, герои.

Я взял туда, на Тису, вот такой том бумаги – писать. Думал, буду писать книгу. Специально. И что я написал? Ничего. Зря себя мучал. По принуждению не вышло.

Вот что я тебе скажу: дар писательства душит жизнь. Да и любой дар. Вместо того, чтобы жить, занимаются искусством. Может, так жить сильнее? Откуда я знаю? Я же не жил жизнью непишущих. Может, так, может, не так. Писательство – моя физиологическая потребность, как есть или пить. Мои книги возникали, когда приходило время им возникнуть. Написана одна, ждал следующую. Ну, спонтанно. Я уже много раз тебе говорил об этом: тут единственное правило – пиши только когда хочется писать. Слабо хочется, пиши слабо. Сильно – сильно. Жжёт, несёт – значит, так пиши, в запале, не отрываясь. Не хочется – нельзя себя насиловать, писать нельзя. Всё равно будет мёртвое. Надо только знать – плохое идёт или хорошее. Я научился распознавать, как мне казалось, и то, видишь, опять сбился – с этим томищем моих великих рассуждений прошлым летом. Так что всё это сложно. И я сам себя не знаю, и что ещё можно от себя ожидать. Никогда не знал. Никто этого о себе не знает.

Все книги у меня написаны по-разному. Из дневников – ничтожно мало. "Дом дней", например: задавал себе каждый день урок – написать по новелле. "Башня" – на основе записей в дневнике, сюда переехал, новые виды, трущоба, стройки, новый материал. Всегда в таком случае играет роль новизна материала или новый угол зрения. Взглянуть иначе. Я тебе говорил: всё дело только в способностях, в таланте. Иному не надо никуда идти, он весь мир увидит у себя во дворе. А другой объедет все страны, тысячи приключений, а ничего не увидит. Потому что – слепой, тупой. Или есть глаза, или нет. Тут тысячи вариантов. У одних активность, талант; другие – вялы, слепы. Все без исключения боятся жизни. Только одни этот страх преодолевают активно, это герои. Другие, более менее, хотя бы держатся. Так – большинство. Это активное отношение к новизне зрения и новизне жизни, окружения, материала. В основном же все ужасно пассивны.

Пастернак вырвался в свет "Сестрой моей – жизнь". Эта книга вся – свет.

Возьми кинематограф. При Чаплине дальность съёмки была метров двадцать. Дальше резкость терялась. И кинематограф был гениален. Теперь дальность – километры, до бесконечности. Кинематограф стал бездарен. Опять возвращаются к двадцати метрам и меньше. Почему?

Потому что при узком диапазоне – концентрация человека и его действий. При широком – рассеяние. Тут прогресс техники привёл к регрессу искусства. Так и во всём, главное – концентрация.

Да, не жили. Но у некоторых из них какие яркие мечты о жизни! Ну, какая была жизнь у Гоголя? Только поесть любил. Единственная его положительная черта.

Импрессионисты – разгул красок, иллюминация. Ладно. Ты забываешь, что я могу болтать бесконечно.

21 декабря 1998 года. Гуляем в лесу по заснеженной дороге. Забывшись, я ускорил шаг. Ему не поспеть за мной. Он говорит сердито:

– В моём возрасте и ты будешь плестись. Хотя, может, и нет. У тебя же не было таких перенапряжений, как у меня. Ты не пил, не курил, не блядовал, не прыгал с трамплина, не написал пятьдесят книг, как я. Это организм особого склада требует перенапряжения. Это потребность организма. То есть – саморазрушение. Да. От избытка силы. Но – силы психической. Психическая сила и есть – дарование. Нет, сила жизни – это совсем другое. Чиновник обладает силой жизни, он хочет жить. А скинь его с его места, и он ломается. А психическая сила – это чрезвычайная выносливость во всех ситуациях жизни. Таких людей не сломать. Но это бессознательная сила организма. Ей нельзя диктовать, ею нельзя руководить. Те, кто пробуют это делать, тут же ломаются. Она выносит, когда о ней не думают, сама собой. Это талант, дарование. Я повторяю.

Это и не воля. Это немцы волю выдумали. Воля – тупость. Да, может и воля спасти. Когда говоришь себе: нет, я выдержу, я выдержу во что бы то ни стало. Но это не сила. Да что ты заладил: алогична, алогична. Я не понимаю твоего пристрастия к этой научной терминологии. Я эти термины не люблю использовать. Они совершенно не годятся для определения этих понятий. Всё просто: ни логично, ни алогично. Чушь это всё. А только: или дано от рождения, или не дано. Дан талант или он не дан. Дана эта психическая сила, - или не дана. Есть она, -или её нет. Если нет – так нечего и думать: почему её нет да отчего её нет. Или почему она есть. А весь мир только и занимается этими рассуждениями, сублидуем.

Я давно заметил, что девяносто пять процентов людей тратит жизнь, время, энергию на пустое. Все думают да страдают: почему у них того нет или другого нет. Скажем, отрезали х..., и вот он проводит всю оставшуюся жизнь в страданиях: что у всех есть х..., а у него нет, и что же ему теперь делать. Ну нет, так нет. Это же факт. От твоих страданий и мучительных дум он не вырастет. Живи без него, по-другому. То, что

есть, тем и живи. Ну, по крайней мере, повесься, если уж считаешь, что утратил самое своё дорогое, такую драгоценность.

Психическая сила не означает наличие и физической. Маяковский был слаб физически. Да, да, я тебе говорю. Он же ничего не умел делать, даже дрова колоть. Он же актёр. Вот он и разыгрывал великолепно роль гиганта. Такой образ себя он и внушил всем. Кто на самом деле сильный, тот о своей силе никогда не говорит. Блок не говорил. Вот он действительно был сильный. Выше Маяковского. Маяковский – метр восемьдесят два. Каменский – тот был могуч. Разниматель их вечных битв, этих гениев, возьмёт в одну руку двоих-троих, в другую столько же и бросит в разные комнаты. У кого была психическая сила, тот жил недолго. Потребность перенапряжения, то есть – саморазрушения. Алкоголизм поэтому, наркотики, обилие женщин и прочее. Я не знаю исключений из этого правила. Байрон, скажем. Он сгорел к тридцати шести годам. Мог бы жить да жить, богач, всё у него было.

Да ну. Зачем я говорю об этом. Всё это ясно. Какая книга для меня самая сильная? Такой вопрос для меня вообще не может стоять. Сильное равно, у кого бы оно ни было. Бывает, и одно стихотворение неизвестного автора – сильное. Оно встаёт в один ряд с томами сильных книг, известных гениев. Бывает и такое. Разве можно сказать, кто сильнее – Маяковский, Хлебников, Пастернак, Цветаева. Каждый в своём совершил всё самым высшим и наилучшим, и наисильнейшим образом. Они равны.

Библия самая сильная книга? Я так не считаю. Во-первых, она крайне ослаблена переводом. Во-вторых, её сила размазана по книгам, теряется. У всех произведения полны реминисценций. А как иначе. Невозможно. Все черпают из предыдущих, но больше всего – из древних, потому что там самое сильное. Этот оригинальный Маяковский: "Облако в штанах" – полно из Библии. Тютчев – цитатник Библии. И потом – это же очень разные книги. "Откровение Иоанна", скажем, резко выделяется. Она написана совсем в другое время, может, значительно раньше, может – позже. Я думаю – это палимпсест. Но зачем мне думать об этом. Эта книга, то есть Библия, уже с семидесятых годов не имеет на меня никакого влияния. Ничего там нет еврейского или религии еврейской, это всё написано с греческих образцов и совершенно языческая книга.

Леонардо да Винчи, если снять с него всю его инженерию и научные интересы, ставится в один ранг с другими живописцами его эпохи. Да, эпоха Возрождения – сколько ни было живописцев, все и сильные и разные. Говорят: школа эпохи Возрождения. Какие там школы? Каждый из них сам себе и был школа. Леонардо и Боттичелли, оба ученики Вероккио, ну что между ними общего? Их формальные

методы не сходятся ни по одному пункту. И так у всех из них. А в наше время совсем иная картина. Брака невозможно отличить от Пикассо. Они, видите ли, внедряли в мир кубизм. Да, классицизм ставил акцент на здоровье, психическую терапию, равновесие. Они жили долго. А вот уже у романтизма установка на саморазрушение. У древних? У них не было никаких установок. И так и так было, смотря по личности, по складу. У них – рок, хаос.

Маяковский чуть выпьет – истерики. Державин был и физически сильный. Шулер, алкоголик до тридцати шести лет. Потом бросил, когда стал жить во дворце. Думаешь, он бы туда попал, не будь жутким алкоголиком. У Екатерины же все приближённые были ужасные алкоголики, алкоголизмом и прославились – и Орлов, и Потёмкин. Да ну, надоело об этом. Вот башмаки хорошие привёз из Германии. Зимние, на меху. Говноступы. Теперь у меня вид настоящего пенсионера.

По дороге домой зашли в магазин, он купил эмалированный бак на 25 литров – яблоки мочить или капусту квасить. Долго разглядывал товар на прилавках. Ему понравилась синенькая тарелка для супа. Купил и её. Идём домой, я несу бак, он – тарелку, держась за мой локоть, чтоб не упасть. Мрак, гололёд, скользко, бесснежно. В темноте у него всегда голова кружится.

Дома он показал мне тоненькую книжечку, изданную в ленинградском университете: о досократиках.

– Вот, хоть одна интересная книга раз в год попадаетея. Сократ – это уже после тех. Те были сильнее. А до тех тоже кто-то был. Египет был. До Египта Вавилон. До Вавилона Шумер. А до Шумера тоже кто-то был. И так далее. А чем ближе к нашему времени – всё наоборот: всё хитрее, но не умнее. Всё тупее. У тех был ум ясный, у этих хитрый. Вот ещё книга: энциклопедический словарь по герметическим наукам, спиритизму, каббале. Ох, уж мне эта каббала. Несколько глав тут интересны, – мы сидим на диване, он листает словарь и показывает: – Вот – о рыбах, зверях, насекомых, камнях, растениях. Это особенно. Потому что много подробностей. Не то, что высокопарный трёп твоего Плотина. Для меня было открытием, что Парацельс – еврей и алкоголик. То, что еврей – ерунда. Подумаешь. Их миллионы. А вот алкоголик – всё же редкость. Гиббон, "История упадка и разрушения Римской империи". Помню, мне было очень интересно читать. Вот, что действительно интересно, так это то, что кто-то одних людей сохраняет для чего-то, а других нет. Кто-то там вверху? А почему не внизу? Люди привыкли смотреть вверх, а не себе под ноги. А вверху ведь ничего нет. Там пустота, хаос. А смотрели бы побольше себе под ноги, многое могли бы увидеть и сделать кое-какие для себя выводы.

30 декабря 1998 года. Сегодня, когда мы гуляли в лесу, он заговорил о своей библиотеке:

– Библиотека мне не нужна. Обилие книг меня раздражает. Раньше ведь у меня не было столько. Стоят для интерьера. Кладбище. Читать невозможно, потому что перечитано по десять раз. Но с каждой книгой что-то связано. Например, от Лихачёвского издания древнерусской литературы оставил бы только первых два тома с летописями.

Бездарное время и бездарное поколение. Эти молодые люди меня раздражают, не могу даже на них смотреть. Сволочная страна. Не издают многих замечательных поэтов. Петников, Петровский, Спасский, Оцуп, Божидар. Многие ритмы в моём "Слове о полку Игореве" я использовал не из Хлебникова. Они из Петровского: "Рогнеда", скажем. Дало мне толчок – так правильнее сказать. Пишут: на двадцати страницах моей "Башни" или "Дома дней" я дал весь футуризм, и эти двадцать страниц заменяют многотомные библиотеки исследований. Что я единственный, кто освоил футуризм. Правильно. Но неправильно тут одно. Главное. Мною освоено всё начало двадцатого века. Не только футуризм. И Блок, и Белый, и многое.

Я сегодня доволен собой: написал новую свою автобиографию для парижского журнала, где ни слова о моих книгах, о писательстве. Только о спорте. Как я спортом занимался. В двенадцать лет я был болен туберкулёзом костей и спас меня только спорт. Плавание и лыжи. По приказу отца. Я отца боялся. Как не бояться – такой вот громила, грудная клетка, высокий, плечи – во! глаза серо-голубые, навывате, как у шведа, волосы курчавые, чёрные с проседью. Цирковой акробат – что ж ты хочешь. Спорт это призвание, как и во всём. Природные данные, чтобы всё уже было устроено, предопределено. Продольные мышцы, грудная клетка и так далее. Я попал в семёрку лучших по прыжкам с трамплина. Но тренер сказал: выше ты не пойдёшь. Потому что у тебя нет стремления к победе, желания лидерства. И верно. В этом деле – не было. Единственный, кто меня по-настоящему понял, как поэта, мои стихи – это Лиля Брик. Да, гений понимания, и – гений жизни. Без второго не было бы и первого. Более жизнерадостного человека я не знал.

Нет, почему же. И в литературе ещё появится гений. Это непредсказуемо. Какой-нибудь могучий парень. Появились же в спорте. Вот этот Попов – пловец. Чемпион мира. Ох, сила! Я видел его по телевизору. Тело красивое, полубог, голова совершенно круглой формы, всё предназначено, рождено, призвано для плавания, для побед в воде, для подвигов. Это уже не тело, это – дух!

Кручёных? Нет, не сказал бы, что понял его. Мастерство – да. Но у Кручёных была своя очень жёсткая линия. Он от неё не отступал. Гуро вела прозрачную линию. Но она не сумела оживить, реализовать этот метод. Да, много было замечательных небольших поэтов, у каждого свой мотивчик. А кто сейчас знает их имена? Никто. Эта страна, где всегда правила власть бездарных, бездарная власть. А бездарные ненавидят талантливых. Это закон. Вот они и уничтожали всё талантливое. И продолжают уничтожать. Давно хочу написать книгу пьес. Не отдельные пьесы, а именно книгу. Прочитал я, наконец, Маканина. Это ужасно. Пошлость во всём. И то, как поставлены вопросы, и – какие вопросы. Это не московский быт, это – лживый быт. А настоящие бытовые книги – Николай Успенский, Мельников-Печерский, у одного – крестьянская жизнь, у другого – монастырская. Со временем такие книги приобретут цену, как этнография, они делаются экзотикой. Да, Битов по сравнению с этим Маканиным выглядит гением. У него и умение построить и развить фразу, и точность слова. Я много знал жизнерадостных людей, например: артисты МХАТа. Но они были далеки от стихов, не понимали их, они были неэстетичны.

У Жана Маре была такая атлетическая фигура, могучая грудная клетка. Но спортсмена из него не получилось бы. Потому что – артист, много лишних движений.

1999 год

15 января 1999 года.

– Вот, видишь, разбираю с утра мои папки, – сказал он, показывая на заваленный бумагами стол. – Много хлама накопилось, надо разгрести. У тебя хорошая память, так я тебе скажу: правильно, без искажений у меня издано только – "Книга пустот", "Верховный час", "37" и "Летучий голландец". И это всё. Остальное же так или иначе, в той или иной степени искачено. Ты сам понимаешь, для меня нет мелочей. Каждая запятая, каждая точка имеет художественный смысл. Я довожу до идеала, на мой взгляд. Иначе ведь я не отдаю в печать. И вот: после меня мои книги останутся в искаченном виде и так их будут читать. Конечно, это ужасно меня раздражает. Нерв мой в книгах остаётся, да. Но, всё-таки, противно. Такая уж страна. Люди, занимающиеся изданием книг, негодны для этого, они занимаются не своим делом. Тупые. Положение безвыходное. Они не могут не выправлять то, что считают неправильным в литературе.

Мы оделись и пошли гулять. На улице он сказал:

– Я пишу что-то вроде статьи о неспособности советских людей к плачу, к слезам. Прививалось такое сознание: что слёзы позорны, особенно для мужчины. Что надо себя всегда держать в броне. Но это же потеря чувствительности, это бесчувственность и ведёт это далеко. Ведёт к позволительности для себя бессердечия и жестокости. И потом – разрядка напряжения необходима организму. Почему не поплакать где-нибудь в одиночку. Тем более, когда горе. Зато потом, когда садишься писать, слёзы выплаканы, ты сосредоточен и твой стиль жёсткий. А заковывать себя в такую броню – это наносить себе большой вред, это большая утрата свободы. И это не сентиментальность. Это обычная чувствительность. А художник иным и быть не может. Он сверхчувствителен, у него всё на нервах и из нервов. И без плача ему не обойтись. Вся мировая литература плачет и рыдает: пророки в Библии, рыцари Круглого стола у короля Артура, Роланд и Карл Великий, Ахилл над телом Патрокла, Магомет и Франциск Ассизский. Маяковский плакал в истериках. У Пастернака повсюду слёзы и рыдания. Лермонтовский Печорин плакал у трупа загнанного коня. И только советские люди не плакали. Фашисты тоже, кстати. Америка – тоже. Считается позором. Да, я тоже – никогда, даже на похоронах матери. И ни мой отец (о нём подумать такое страшно), ни моя мать. Сентиментальность – другое. Она разжижает, расслабляет стиль. Это сиропы, слюни. Сентиментализм несентиментален. Всё наоборот. Это открытие чувствительности. Первый и не Стерн, а Гёте – "Страдания юного Вертера". Да, можно сказать и так, как ты говоришь: открытие тонких струн. Или так скажем: размножение психики.

Журнализм? Да, это хорошая школа в смысле знания жизни. Много людей, много историй, фактов, подробностей и прочее. Но такое внешнее, эмпирическое знакомство с жизнью, всё-таки, не то. Надо всё испытать на собственной шкуре. Я писал только то, что испытал сам. Но и тут есть своя сторона: то, что слишком уж хорошо знаешь, о том писать уже и не хочется. Сколько у меня было разного голода, война, женщин – море. Разве я написал на эти темы хоть маленькую книжонку. Нет. Хочется писать только, когда есть поле для воображения. Поэтому художник сам сужает то, что испытала его шкура. Наоборот: сужает, а не расширяет. Но журналистика, конечно, оттачивает перо в боях, в критиках. Вот возьми Хемингуэя. Ведь все свои новеллы он сделал из очерков. Я читал. Очерки его – точность и жёсткость, то, что и необходимо для журнального очерка. А он из них сделал новеллы, то есть, размазал. Напустил то, что хочется публике: моралей, несчастий, чтобы они наслаждались переживаниями, любовью, алкоголем,

политикой. Короче говоря, всем, что любит кушать публика. О романах его и говорить нечего. Лучше бы он никогда их не писал. "Праздник всегда с тобой" – прекрасная книга. И она для журнала писалась.

Да, как бы так пожить, чтобы не видеть всё это вокруг. Купаясь в гранатах, как ты выражаешься, – сказал он, озирая темнеющий в сумерках лес.

На обратном пути зашли на вещевой рынок. Он ходил от прилавка к прилавку, рылся, щупал. Купил зимнюю шапку из Новосибирска: чёрная, длинноворсовая, с огромными широкими ушами.

– Как ты уже заметил, я люблю покупать, – сказал он. – Куплю, а на следующий день горько раскаиваюсь: и на кой чёрт я это дерьмо купил.

Придя домой, мы ещё разговаривали.

– Философии чужда какая-либо поэтика, – сказал он. – Где поэтика, там философии нет. Всю философию можно сказать одним словом. Вот у Фалеса это: вода. Всё этим сказано. Если обо всём космосе и мирах, то, скажем: бытие. Поэты – другое. Другой тип мышления. Я вот занимаюсь игрой звуков или развиваю цепочку образов и – как она опять сомкнётся. Это общая беда, и философии тоже: когда начинают объяснять. Лейбниц – какая игра мысли! Говорят, скажем, о Заболоцком: поэт-философ. Какая чушь! Он очень талантливый поэт. А там, где у него философия – так это дерьмо надо просто-напросто у него выбрасывать. Он тут не за своё дело взялся. Философия там, где совсем мало слов и они абсолютно точны. Вода Фалеса. Действительно, наш мир состоит на девяносто процентов из воды. А Гегель – это болтовня вокруг да около. Или у Хлебникова: "Бобэоби пелись губы... Гзи-гзи-гзэо пелась цепь". Вот на этом загадочном образе и надо было закончить. Всё ясно, что – о лице. Так нет же, школьный учитель в нём посчитал необходимым дать объяснение, заключить тему, нарисовав лицо мелом на доске, а то тупицы не поймут: "Так на холсте каких-то соответствий вне протяжения жило Лицо". Спасибо.

Каждый спортсмен вырабатывает ту манеру, которую требует его организм и свойства его тела, достоинства и недостатки, присущие только ему и негодные для другого. То, что только для него оптимально и идеально, то, благодаря чему он может добиться наивысших для себя результатов. Это я не зря тебе говорю. Так ведь и во всех искусствах.

Мастерство – это только первая необходимая ступенька, виртуозное владение техникой. Мастерство можно и выработать, приобрести, и виртуозное. Вот как у Бальмонта. Да, но у него были прорывы.

Вот Джек Лондон сколько был на Клондайке? Месяц? А материала набрал на десять томов. Так и у многих: приобретение материала мимолётно. Горький переночевал несколько раз в ночлежке, а может быть, и один раз, и написал "На дне". А Мопассан всю жизнь просидел в

своём Морском министерстве, а разве написал о нём хоть строчку. Что писать о том, что осточертело и постоянно в глазах.

Я давно хотел тебя спросить, у тебя в книге есть фраза: "Купил томик Менаандра". У тебя это звучит неожиданно. Изящно. Как ты это написал?

В солнечный день кажется превосходным всё, что пишу. А посмотрю в пасмурный день – всё это кажется дерьмом. Озарение. И выбрасываешь, жжёшь. Я ведь писатель с методами, резко отличающимися от всех. Я ведь не цепляюсь за свои рукописи, за каждый написанный листок. Жгу без жалости.

Вот возьми любое стихотворение, книгу, картину, симфонию. Сколько бы ты не говорил о нём и что бы ни говорил, ты ничего к этому произведению не прибавишь и ничего от него не отнимешь. Оно – сам себе мир.

6 февраля 1999 года. Он в красной, как тюрбан, шерстяной шапке. Правая рука в перчатке.

– Болит, – объяснил он. – Капустный лист прикладывал. Помогает.

Пока я раздевался в прихожей, он ещё что-то дописывал на столе.

– Месяц, как у меня что-то идёт и я доволен сделанным, – сказал он. – Старое бросил. Потому что мёртвое. Да, реанимировать всё можно. Но, всё-таки, мёртвое лучше бросить, не возиться. Лучше подождать, когда придёт новое живое. Вот я и поймал нерв в новом. Поймал нервы. В покое у меня не получается. Другим покой нужен, а мне экстремальные условия. Вот, зубы стал лечить, на Крестовский остров через день к врачу катаюсь, – так, конечно, нервы, такая встряска. Что ты спрашиваешь, что я пишу? Ты же знаешь, что я не говорю об этом, пока делаю. Дали мне Довлатовскую премию. Обещали тысячу пятьсот долларов. А дали двести. Премия! Вручили диплом: "За развитие российской литературы". Как они не понимают, что это оскорбление. Повесил в туалете на стене. Все люди ужасное говно. И в родственных отношениях ещё хуже, чем с чужими. Деньги, деньги. Да, подлость. Много лет я жил, не зная людей. Потому что не смотрел на них, не обращал внимания. А как посмотрел – ну и мерзость! Подонки на подонке. И кто? Самые близкие. Пишет: "Он присутствует в русской литературе". Да только я один сейчас и присутствую, и качественно, и эмоционально. Все остальные скурвились. А сначала присутствовало немало: и Вознесенский, и Ахмадулина, и Юнна Мориц, и Горбовский, и Бродский, и даже на Кушнера надежды были.

Говорят, протезист, который мне будет зубные протезы ставить, молодой, талантливый. Да, возможно. Если талант, то почерк ведь сразу виден, очень рано. Так что молодой ли, старый ли – нет разницы.

Письма Дельвига, да, прекрасная проза, изящная, я бы сказал – изысканная. Галушко занималась письмами Дельвига, потом бросила. Писанина – это психотерапия. Отвлечься от мира, занять себя, быть в своём внутреннем мире, тогда – подъём, интерес, увлечение, духовное и душевное равновесие, здоровье. Потому и живут долго. Особенно учёные. А в писанине и гении и графоманы – одинаково себя этим спасают.

Он оделся потеплей, на голову надел новую новосибирскую шапку с опушенными ушами. Мороз: – 20. Пошли гулять. В лесу дорожка протоптана узенькая, вдвоём рядом не пройти, он впереди идёт, я у него за спиной. Он, оборачиваясь ко мне, стал говорить о досократиках:

– Да, они точнее всех последующих. Это и Сократ понимал. Это всё равно, что дробить целое знание на кусочки. Вот что такое – вся последующая философия. Раздоби тебя на миллион осколков – можно будет узнать твоё первоначальное тело, твоё целое? Так и тут. Всё разбито на миллионы вариантов. Вариации. Теория относительности Эйнштейна была уже у Анаксагора. У Эйнштейна другие заслуги: создание антигравитационного поля. Я в своё время читал журналы в спецхране и там нет, - нет и мелькало кое-что рассекреченное.

Да, я один за всех работаю, за весь век, а они только и знают, что дурацкие статейки обо мне писать. Я почти всю жизнь сам о себе заботился. Умею и пишу выбрать, и тряпки, и в любой житейской мелочи я не брезгую разбираться и этим заниматься. Так что, как ты видишь, я натура совсем не поэтическая. Да, артистическая. Только это получается театр для себя. В девяносто лет ты начнёшь писать мемуары, напишешь: "Мы говорили с ним исключительно о пище и тряпках".

27 февраля 1999 года. Сегодня он встретил меня хмурый, небрит, седая грива свисает на плечи.

– У Нины рак, – сказал он. – Вчера обнаружили. Это известие меня скрутило. Парадокс: женщин я терпеть не могу, а у меня их было – море. Только потребность, физиология, не в кулак же. А сделал и – под зад ногой. Но одна любовь была, да. И с Ниной разве я стал бы жить двадцать два года, если бы ничего не было. Больше я ни с кем жить не смогу.

Читаю этого Пелевина, о котором сейчас шумят. Получше Маканина – нет сравнения. Этот по крайней мере пишет профессионально. За одно это можно уважать. А старики ругают, что он плохо пишет. Враньё. Завидуют, потому что сами-то импотенты, ничего уже написать не могут. Вот дожили, теперь приходится хвалить за то, что грамотно написано. Язык у него литературный, не живой, и навряд ли он из него выберется. Но парень не без таланта. Да ну. Литература меня уже

не интересуется, всё мне в ней ясно и всё скучно. Было только одно открытие для меня в последние годы – это "Книга перемен". И всё. Философия и тем паче – опротивела и на хрен её совсем. Я читаю этого Пелевина только для того, чтобы узнать, правильно ли его ругают. Нет, неправильно. Но это ведь для меня всё равно, что определить сорт туалетной бумаги. Ничего другого. Зачем им язык. Им ведь нужны содержания.

Пошли гулять. В кафе он выпил две чашки крепкого чёрного кофе.

– Это как водка, – сказал он. – Бьёт в голову.

В лесу чудесно. День яркий, солнечный. Он, возбуждённый выпитым кофе, стал громко говорить:

– Болезнями бог правит, это он против меня воюет. Да нет, не против меня, а против всего рода человеческого. Да ну, никого там нет. Хотя, как это нет. А кто же тогда всё это так точно устроил? Ведь всё устроено чрезвычайно точно, каждая мелочь, и срок определён, одним столько, другим столько, одним – две руки, другим – четыре лапы и хвост, как у кенгуру.

Вот чего бы я ещё хотел, так это повоевать. Мог бы в артиллерии. Вспомнил бы бывшее. Лучше бы так умереть, чем с этими раками. Чтобы кто-то написал настоящее, живое – слишком много хотеть. Я теперь стал несдержан: руки чешутся съездить кому-нибудь в морду, хоть бы и в этом Пен-клубе.

Пушкин как человек был дерьмо. Знал, что жена – любовница царя, и за это предлагал Николаю оплачивать свои карточные долги. Вольфа свёл с Софьей, женой Дельвига, сводник. И так далее. Да, такие были нравы. Лермонтов вообще всех блядей ненавидел. У него был настоящий мужской характер. А Пушкин – бабник. Люди ведь так и считают писателей – ненормальными, помешанными: вместо того, чтобы жить, они сидят и пишут. Да, есть книги, полные жизни. Но это, когда писатель жил, когда у него опыт жизни, когда жизнь его постукала. Вот когда это да талант – тогда и получают настоящие книги. Так написаны самые сильные книги в литературе. Пушкин – комнатная собачка, жизни не знал. Но в нём чёрная кровь шумела. А вот Державин хлебнул жизни, кем он только не был. И Лесков. И Платонов. Хлебников исходил и юг и север. Конрад – от юнги до капитана. И так далее.

Но ведь кто как пишет. То, что для других новелла, для меня – две строчки.

Для меня загадка – древние народы: ирландцы, евреи, армяне, курды, цыгане – те, кого все века преследуют. Таланты – потому и преследуют. Художественный ген в них бродит. Поют, пляшут, рисуют, пишут. А в этой стране одна шваль осталась. Там не лучше. В Европе и Америке – одни чиновники. Почему ты не заведёшь собаку или кошку? Я

бы окружил себя всевозможной живностью, но только не змеями. Бр-р-р! Я частенько оставался ночевать у художника Михнова. Он жил на улице Рубинштейна. В том же доме, выше этажом, - жила Ольга Берггольц. Михнов спяну стал в окно из ружья стрелять. Разбудил Берггольц и она потом жаловалась: что ночью в доме была бандитская перестрелка и кого-то убили.

5 марта 1999 года. Пошли гулять. Опять солнечный день.

– Я готов умереть хоть завтра, – сказал он. – Шестьдесят три года. Вполне достаточно. Я хорошо пожил. Могу быть доволен. Написал много книг и на мой взгляд – сильных. Было много женщин и многие из них меня любили. Что мне ещё? Да, влюбляются в энергию. Живое притягивает живое. А мёртвое, вялое, бездарное, беззубое ненавидит всё живое, всё талантливое. Энергия пугает этих амёб, этих мертвецов. Обыватели, одним словом. Я и говорю: их раздражает всё, выходящее за их привычные рамки. Народ-то как раз всегда выламывался и ломал все границы. А эти чистенькие, порядочные! Народ нашёл для них меткое слово: "А, порядочные!" То есть: порядочная сволочь. Это весь громадный средний класс, подавляющая часть населения. А таланты, артисты всегда сходились с люмпенами, самый верх с самым низом. Вот и те, и другие и выламывались из всех рамок. Эти и называли их помешанными. Что ж ты хочешь, я сам слышал и от этих профессоров, они и Гоголя называли помешанным. А ты – про Гамсуна. Да, что ни говори, а Толстой первый описал наш высший свет таким, какой он есть, без прикрас. А то эта тема была неприкосновенна. Люди одарённые всегда живут на пике напряжения, на максимуме, всегда себя сжигают, самоуничтожение, потребность постоянного риска, ходить по острию ножа, не бояться смерти, и жизнь не ценят, никогда за неё не цепляются, свободны. А бездарные, мёртвые, лишённые энергии цепляются за всё, за каждую мелочь. Чрезмерность, максимальность – закон таланта. Дерзание. К героям героическое идёт само, они его не ищут, но всегда находят.

Вот была бы остроумная книга, если бы кто написал о том: как и что друг у друга заимствовали в литературе и вообще, в искусстве. Потому что всё в искусстве только заимствование. Всего-то пять-шесть сюжетов в мире, так называемые бродячие. Парочка: толстый и тонкий – и в "Дон Кихоте" и в "Тиле Уленшпигеле", и полно везде. Или: плавание неизвестно зачем и куда, череда приключений, как в "Одиссее". "Сказка о золотом петушке" Пушкина – перевод с португальского. Ну и что. Неузнаваемо. Стало русской сказкой. Потому что одухотворено личностью и переварено в новом языке. Пушкин весь из подражаний. Ну и что. Главное, что всё это стало его внутренним миром, преобразовано

его личностью и неотделимо от его личности, его гения. Главное – талант. А вот у бездарного все подражания и выпирают и сразу видны, как уши из-под шапки. Гёте это хорошо понял и говорил: зачем сочинять что-то новое, ничего нового всё равно сочинить невозможно. Взял сюжет Фауста, уже тысячу раз до него писанный, и стал писать по-своему, на что его таланта хватает. Так во всём. Историю Франции семнадцатого века изучают по романам Дюма. А ведь Дюма почти не читал. Скучные тома историков никто не читает. А вот Дюма читают, потому что – увлекательно и убедительно. А разве можно читать Тита Ливия? Тацита – тяжело. Только один Светоний. Но самый удивительный из них – Геродот. Один он и читается. Геродот дышит полной грудью.

Как ленив был Лермонтов: "Я б хотел забыться и заснуть". Прочитай статью Лорки: "Муза, лира и дуэнде". Что Гонгора – это всего лишь муза. А у Сервантеса "Дон Кихот" – весь дуэнде. Вот и Пушкин себя погубил, а мог бы стать великим поэтом. У него только одно дуэнде: "Бесы". Такое вж-ж-ж... Выюга...

Да, когда поэты начинают читать наставления – это конец. "Не позволяй душе лениться" Заболоцкого, "Не спи, не спи, художник" Пастернака. А сам-то как художник как раз уснул. "Быть знаменитым некрасиво" и так далее. Маразм. Конечно, откуда ты мог знать Заболоцкого. Я один для тебя – весь двадцатый век. Мир погиб бы, если бы состоял из одних таких помешанных, то есть – из одних талантов. И слава богу, что это не так.

13 марта 1999 года. Сегодня на прогулке он сказал:

– Проза Аполлинера, которую ты прошлый раз принёс, мне неинтересна. Ни одной инверсии. А пишут: революционер языка. Значит: такой перевод. Язык пионерских поэтов. Гладкопись. Вот также я читал стихи Лорки – скука, пресно, вяло, и вдруг – два стиха, живые, напряжённые! Что такое! Смотрю: Цветаева. Ну, понятно. Читаю сейчас статьи Лорки. Там у него много о цыганах. У меня явилась мысль, что всё талантливое в Европе от цыган. Да, и от евреев. А так называемая белая раса совсем пала в моих глазах. Прагматики.

– Может быть, всё талантливое от одного древнего народа? – заметил я, написав ему на бумажке.

– Безусловно так оно и есть, – согласился он. – От Вавилона. А до Вавилона был Шумер. А до Шумера был ещё какой-нибудь ...ер, и так далее. Мы же ничего не знаем. Да, все знания о мире – нуль. За новой теорией происхождения мира явится новейшая, и так далее. Бессмысленно. Мудрые и советовали ничего не знать об этом и не думать об этом, и не пытаться узнавать. Эти знания всегда призрачны, это остаётся тайной, не положено это знать и успокоиться. Видел Татищева

пять томов? Но мне русская история перестала быть интересна. Древнюю Русь, историю, живопись истории я полностью вытянул для своих "Всадников". Всё. Дальше неинтересно. А что там может быть интересного? Только один кусок – Смутное время. Всё, что связано с Лжедмитрием Первым. Доказано – Это не Отрепьев. А кто? Загадка. Вот интересно было бы мне почитать историю Индии или Китая, или хоть и Японии, не такой древней страны. Но мне не встречалось ни одной стоящей книги. Из Аполлинера мне только одно интересно: попадают ценные сведения. Например: то, что у Орфея струны на лире были из овечьих жил. Вот в этом роде. Я такие сведения, как правило, выписываю. И всё. Книга мне не нужна. Из царей – только Пётр, после Грозного. Пётр, конечно, могучая фигура. Как человек. Незаурядный. Гениальный, в смысле что – такая энергия. Да, дуэнде, что-то вроде демона. Точнее – смерть. Вызывает смерть на бой и борется с ней. Да, и у Пушкина это: "Есть упоение в бою..." Это не у Лермонтова? Так, значит, это у Пушкина? Взял у кого-нибудь. Не от себя. У тех же испанцев. Где ему было знать упоение в бою и мрачные бездны? На дуэлях, что ли?

Вся беда в том, что эта страна неинтересна. Недекоративная страна. Русские писатели всегда были в тупике: нечего описывать. Да, Достоевский нашёл декорации: когда его Раскольников спускается по лестнице и выходит на Сенную площадь. В глазах Раскольникова. Реалии эти фантастичны, эти извозчики, пьяницы и так далее. Или их разговор со Свидригайловым в трактире. И описание трактира, и обрывки разговоров. Всё это фантастично, экзотично. Да, пёстрый мир. Пестрота нищеты, низа. Но мне никогда такие декорации не были интересны, ни высший класс, ни низший, ни средний. А скорее, декорации относительно человека, когда он в чём-нибудь на пределе, или декорация города. На Западе жизнь городов чрезвычайно декоративна. Здесь всё нивелировано, убожество, полицейщина во всём. Да, и Вагинов нашёл свою декоративность. Но тогда и жизнь была декоративна, НЭП. Тогда ещё не уехали из страны царские полковники.

Академические издания делаются для дураков. Чтоб с полными комментариями. Чтоб и они почувствовали себя умными. Ведь умными хотят быть только дураки. Вот почитают комментарии и станут умными все как один.

Я в своё время часто ходил в Филармонию. У меня абсолютный музыкальный слух. Это значит такой слух: что человек слышит точно мелодию и может точно её воспроизвести. Но в зале я никогда не сидел, а шёл в буфет и там пил вино. Буфет в Филармонии был превосходный. А кто ходит в Филармонию, сидит в зале и наслаждается музыкой? Те, у кого нет слуха и им всё равно, что слушать. То есть глухие, те, что ничего не слышат. Так и во всём.

19 марта 1999 года. Сегодня мне открыла Нина. Он стучал на машинке.

– Можешь забрать своего Аполлинера, – сказал он. – Принцип новеллы там от Эдгара По. Только в конце книги интересно, там, где о поэтах: о Нервале, о Бальмонте. Я, например, не знал, что Нерваль повесился на шнурке от кальсон. Нерваль был наркоман. Вот я Мериме теперь просматриваю. У него много о цыганах. Стал думать о цыганах, и они теперь везде мне попадают. Две статьи в газетах, по телевизору. Притягивается ко мне, к моему интересу. На ловца и зверь бежит. Я сам ничего не ищу специально. Вот пишут: он всю жизнь провёл в поисках того-то и того-то, творческие поиски и тому подобную чепуху. Говорю тебе: само идёт, когда сильно талантливый человек на что-то нацелен. Мериме дал принцип новеллы. От него весь девятнадцатый век и дальше. У него элементы искусства двадцатого века. Эти его отступления, никак не связанные с сюжетом, туда-сюда, но, оказывается, связанные, и всё при этом кратко и чётко. Все от него. А от кого еще? Больше никого и не было в Европе, от кого можно было бы брать, то есть, сильного. Пушкин начал "Дубровским", этим лжеразбойником под Вальтера Скотта. Лживая установка влечёт и лживый язык, и лживый стиль. А когда он вернулся к Мериме, то написал "Пиковую даму", единственная его настоящая, сильная вещь в прозе. Лермонтов от Мериме – "Герой нашего времени". Всё: и принцип новеллы, и стиль, и люди. Только на другом языке, другая страна, и злая ирония Лермонтова, и герой. И Толстой от Мериме. Только Гоголь от другого. Да, много от Гофмана. Все книги пишутся от книг. Это само собой разумеется. Гофман от братьев Гримм. Братья Гримм – немецкие сказки и легенды. И так далее.

Перевод Гаршина "Коломбо"? Я не знал. У меня перевод Деборы Лившиц. Вот и сравни. А лучше займись-ка такой темой: напиши книгу о книгах. О русских. Хотя бы и сравнение разных переводов или историю написания книг. Ты усидчивый, у тебя получится. О себе у тебя пока плохо получается. Иногда надо отвлечься от себя и писать о постороннем. Психотерапия. От себя устаёшь. Я, например, поэтому и взялся за исторические повести. И "Николая" писал, тоненькая книжечка, а горы книг перевернул, в архивах рылся. А то все люди думают, что они неповторимы. Ох, ещё как повторимы! Людей всего-то несколько типов. Отклонения, вариации – пустяк. Ходят, штамповка, все как один, ты приглядишься. И моего типа людей великое множество, то есть: таких же рискующих, это же самоуничтожение, во всех областях, и спортсмены, и академики. Колмогоров, например, с которым я дружил. А Кулаков вообще мой двойник. Во всём схожи: нервы, психика. Только у Кулакова характер паскудный.

Видишь ли, это своего рода сублимация. Надо как-то изжить. Например, чтобы избавиться от любви к женщине, надо изжить её в других женщинах, на неё похожих, одну за другой, меняя, пока не изживёшь. Завести кошку, похожую на эту женщину по психике. Очень помогает. Так и изжить не отпускающую тебя книгу или писателя. Например, я не мог избавиться от стихотворения Пушкина "Я вас любил: любовь ещё, быть может". Вот, и слова простейшие, и форма высказывания, и ничего в них, пустое и обыкновенное, казалось бы, а в этом есть то самое дуэнде. У Лермонтова об этом: "Есть речи – значенье темно иль ничтожно..." И вот, когда я написал на это стихотворение Пушкина своё стихотворение, со своей судьбой, я его изжил и от него навсегда избавился. Оно стало для меня ничто. Читал ты статью Пикача обо мне? Так вот: там сравнивается моё стихотворение на это пушкинское и Бродского. У Бродского всего лишь хохма, а у меня изживание чужого нерва. Тоже, когда я написал по Уайльду свою "Балладу Редингской тюрьмы". Это, конечно, не перевод, а тоже – изживание. Нерв тот же, что и у Уайльда, только уже в современном, со своими отступлениями, своим языком, своей судьбой. Не сильнее, конечно, но и не слабее. Получилось своё, переводчик считал, что у меня сильнее, чем у Уайльда, и перевёл меня обратно на английский. Анекдот.

Да, переводы. Сравни Горнфельда и Любимова. Этот Любимов испортил нам всю французскую литературу. Безграмотность языка. Одни эти "был" и "были" чего стоят. И у Пастернака в "Докторе Живаго". Убрать эти "был" – останется половина книги и будет сильно и жёстко. Да, Гоголь был умён, всегда ставил Пушкина впереди себя, то есть – выше.

На улице сыро, промозгло. Он продолжил разговор:

– Психика однообразна, два-три типа, остальное – вариации. Так и книги. По сути дела, одно и то же, повторы из книги в книгу. Все друг с друга списывают. Но гениальная интуиция открывает своё. Я сделал много открытий в своих книгах. Всегда случайно, по ходу дела. Например, у женщин – война сперм. Я всегда читал книги по разным областям знаний, медицина, физика, астрономия, математика и так далее. Там куда больше интересного, чем в художественной литературе. Вся художественная литература, как бы один бесконечный палимпсест. Он, Бог, стирает на пергаменте один текст и пишет новый, потом этот стирает и пишет следующий, и так бесконечно. И моя "Баллада Редингской тюрьмы" ничто иное, как палимпсест. Взял нерв из старого образца и создано современное произведение.

То есть повторы и повторы. Просто-напросто у людей одарённых, тем более гениальных, свой излом психики, что и делает их писание оригинальным и окрашивает этой оригинальностью всё, что бы они ни

делали. В этом и весь смысл. Всё повторяется с древности, с глубин веков, чёрт знает с каких начал. Были могучие гении, нам неизвестные, ничего от них до нас не дошло, слишком большое расстояние отделяет, а дальше всё слабее и слабее, потому что те были первые или первее, а мы повторяем их, кто как, по мере своих сил, со своими вариациями, а иногда, может быть, совпадает жест в жест. Как актёры. Я тут недавно посмотрел фильм "Зоро", старый, голливудский, с гениальным актёром в главной роли. Какие там у него поединки! Рапира летает, неуловимые движения, виртуознейший, интуитивный клинок! А испанский повтор этого фильма куда слабее, и актёр в подмётки тому не годится, небо и земля.

Дойдя до конца улицы, которую пересекает шоссе, а за шоссе лес, мы спустились в подвальчик на углу. Выпили кофе. Он выпил две чашки. Потом гуляли в лесу. Он продолжал говорить:

– Что нужно людям? Кино. Что делает кино кино? Новая морда. Появится новая морда на экране, например, Жан Маре, и всех охватывает психоз – новая эпоха кинематографа. Новое лицо. Я имею в виду: психическое лицо, а не физическое. То есть: новый гений. Ведь кино живёт только зримостью, то есть – лицом актёра. Чаплин вообще вне всех измерений. Чаплин – божественное падение на землю. Так вот, я к тому, что у Пушкина в этом смысле лица нет. Лица он миру – не дал. Поэтому на Западе его никто и не видит. Не дал ни лица, ни героя. У него и физическое лицо невзрачное. Пушкин гениален тем, что создал язык. Грубый, неуклюжий русский язык, который был до него, он превратил в красивую салонную болтовню. Сделал его гибким, приятным, музыкальным, почти итальянского звучания. И этот-то язык и стал национальным. Это людям, народу. Но художникам это совсем не нужно, это слишком узко, что делать художнику с этим сахарным языком. Абсурд. Мне это сразу было не нужно. Да что. Лермонтов, его верный подражатель вначале, к двадцати шести годам тоже уже понял, что такой язык ему не годится. Конечно, до Пушкина всем далеко, и мне тоже. Пушкин – солнце, но одно только солнце осточертеет, нужна и гроза, и дождь, и снег. Пушкин – идеальный гений, самая чистая поэзия и самый чистый поэт. Но лица он не дал. Маяковский дал, его даже на монетах чеканили. Уитмен, Бодлер дали. И Рембо – более резкий пример. Уже одна его жизненная биография – новое лицо. Начать в пятнадцать лет так гениально, а в девятнадцать кончить. Этот мальчишка. Отправиться в Африку купцом зарабатывать миллион, вернуться и потерять ноги. И Лермонтов дал лицо. Он повлиял на многих западных писателей. Бродский не дал. И биографии у него нет. Да, у Гоголя тоже нет. Но у Гоголя биография в его книгах. Один "Тарас Бульба" чего стоит. Только первый имеет значение. Первооткрыватель новой психики, нового психического лица. Потом идут легионы подражателей.

Что знания? Все знания уже есть, не только в человеке, вот и в дереве. Причём, в дереве знания о мире чище, точные, ничего ненужного, а у человека сколько лишнего, болтовни, что только путает, сбивает, уводит. Что ты привязался к этому мозгу. Мозг, мозг, вот невидаль. Ни на что я не был нацелен. Ну, разве что на напряжение. Просто приходила потребность в следующей, в новой книге.

Вот что меня удивляет: и Битов, и Вознесенский, как они могут продолжать жить, когда они уже давно умерли как художники. Ходячие мертвецы. Это как-то несолидно. Они превратились в каких-то массовиков-затейников, в клоунов. Все обыкновенные люди, без таланта – понятно. Они не живут, а выживают. Живут, чтобы выживать. Но такие сильные таланты, с призванием – дело другое. Эти живут в напряжении таланта, за рамки, не на выживание, а на сжигание, на самоуничтожение, на скорейшую гибель. Я с большой радостью наблюдал, как Битов идёт к скорой гибели, то есть, по правильному пути. И вдруг – они исправляются и живут тихо и мирно, то есть, делаются трупами и пишут одну книгу мертвее другой. Неужели они это не видят? Значит, слабые оказались, бог дал им только на столько. Но, всё-таки, имея такое славное прошлое, продолжать жизнь на виду у всех – нехорошо, скажем мягко. Хотя бы уйти в тень, исчезни, чтобы тебя перестали замечать. Я говорю о людях такого типа психики.

Война однообразна. О ней нечего писать. Ксенофонт первый написал военный роман, и описал всё подробно, полно и точно. С него все и списывают. Ремарк – мило, с попойками, с хохмой. Думаю, Ксенофонта он и не читал. Экзюпери – воздух, лирическое напряжение.

У гениального актёра все движения, как бритва.

Прозу Шиллера у нас не издавали. А там у него чистая мистика, видения. У Гонкуров в дневниках, особенно итальянских, тоже. У Гофмана – игровая мистика. У греков в драмах, у византийцев. Библия – книга чисто художественная. Пророки повторяют друг друга слово в слово, те же стоны, те же кары, гнев, проклятия, обличения. Все пророки одинаковы. И всё это у них, пророков, эти проклятия и плачи, всерьёз, не оживляется ни искрой юмора. На что ум нацелен, те мысли и будут говорить, и в той же форме, в какой и до тебя говорили, и после тебя будут говорить.

Гениальность Бодлера в том, что он перевёл Эдгара По. А его сонеты, таких у всех полно, подумаешь. У французов культура слова, древняя. Сколько известных в мире русских писателей? Какой-нибудь десяток. А у французов – тысяча.

Гофман такую кучу книг написал за десять лет. Это его туберкулёз жёг и гнал.

Духовная философия – несопоставимые слова.

31 марта 1999 года.

– Вот, всё утро работал за машинкой, – сказал он мне, встав из-за стола. – Да, доволен. Сам не ожидал. Не мог очухаться после ночи, душно, спал плохо. Отпился чаем, и вот пошло. Как говорится в Библии: "Работай и днём, и вечером, не переставая, ибо ты не знаешь, когда получится твоя работа". Вся европейская литература из Библии. От неё всё. Бесконечные переработки, только хуже, чем оригинал. Единственное, может быть, у Данте получилось, но очень уж мрачно. Собираюсь лететь в Югославию, хочу помочь сербам. Не воевать, конечно, но имя моё звучит в мире. Именем своим помогу. Воевать мне – мечтать нечего. Хоть посмотреть, как другие воюют. Это как старый импотент в щёлочку подглядывает: как другие е...

Пошли в лес. Там ещё снег лежит; ручей разлился, жёлто-бурый поток мчится среди белеющих по берегам берёз. Он стал говорить о немцах:

– Неартистический народ, нет грации. Вот итальянцы, испанцы – артистичны. Арабы, цыгане, индусы. Вообще, южные народы. Да, грация тела. Да, есть артистичные книги. Вот и напиши. В русской литературе очень мало. Гоголь, Лермонтов, несколько коротких рассказов Лескова. Вот и всё. У Гаршина другое, у него, да, изящная словесность, язык изящен, но очень испорчен толстовскими идеями, этим артистизм и загублен. В советской литературе только Хармс. Да, и Вагинов. Только эти двое. Кто ещё? Олеша? Это, знаешь, для детей. "Он поёт по утрам в клозете". Артистично, для советской литературы с её мрачным, неуклюжим языком и темами, на этом фоне. Вагинов-то артистичен, но звонкости нет, читать его долго – начинаешь вязнуть в этих подробностях, мелочах, в этих Плюшкиных. Лучше уж гоголевского Плюшкина почитать. Это содержание, а не концентрат.

Мериме я прочитал, что покороче. Да, влияние этого модерниста далеко заходит, и в двадцатом веке. Даже у Хемингуэя в "Фиесте". Вся европейская и американская литература из французской. С влияниями сложно. Без влияний ничего и быть не может, нужен толчок, чтобы самому раскрыться, своё раскрыть. Пушкин в прозе буквоед. Строго следовал Вальтеру Скотту и Карамзину в "Капитанской дочке". Пишут: "Карамзин очистил русский язык". Ничего он не очистил, а унизил и ослабил, засахарил. Его "История государства российского" – это как ямщик рассуждал о князьях: все они хорошие и всё у них правильно. По-настоящему от Мериме Лермонтов – ну и что. Другой язык, материал, настоящая, чистая, живая русская книга. Вот у Гоголя от Мериме ничего. Да, у него много от Гофмана. Гоголь открыл у него тип фантазии, открыл для себя, как своё. А стиль совсем другой, в стилях они – антиподы. Всем нужен толчок извне. У других ищут подтверждение своего, и чтобы

самоутвердиться. Каждый большой художник захватывает и поглощает много других "я". Это большая психика. Можно потом и проанализировать: что от кого. Но зачем, если написана настоящая живая книга. Ведь всё переварено в себе, в своей психике, в своём.

Да, вначале много мечутся, пока не выйдут к своему. Один только Гоголь, как написал первое слово, решительно и твёрдо, со всей жёсткостью, так сразу и открыл свой мир, и так и шёл до конца. И это в двадцать один год. Пока не исчерпал своё. А потом не знал, что с собой делать. Повторение своего, своих же методов и принципов для таких невозможно. Только новое и новое, только перешагивание через себя, через своё уже открытое к новому открытию, только вперёд. Когда это кончается, исчерпывается и ничего уже, кроме самоповторений, то такие уничтожают и свои книги и себя. Казалось бы, видишь, что кончено, повторяется, так и не пиши, не рисуй. Просто живи. Но нет, просто жить они уже не могут, потому что вся их жизнь в этом: в писательстве или рисовании. Они ведь очень остро всё видят, восприятие с возрастом притупляется и новые открытия уже трудны или невозможны. Они это вовремя у себя замечают. Тогда конец. Духовный для них означает – и физический. Тупик. Безысходность. Такая психика.

Люди их не понимают. У людей психика другая. Между такими и людьми – пропасть. Понимают только такие же. И дальше: они понимают, что они абсолютные одиночки. Никто их не понимает, полная изоляция, только сам себя и прежде всего – в самом процессе работы. Кто же кроме тебя самого поймёт: что и как делается. Рембрандт от известности и богатства ушел в полную изоляцию, одиночество и нищету и открыл тогда для себя новое в живописи. Кончил тем, что стал рисовать свои старые башмаки. Роскошнейшие краски. Достойный итог. Потом Ван Гог повторил этот путь: тоже нарисовал свои башмаки. Матисс – кристальнейшей чистоты художник. Вот кто до конца открывал что-нибудь новое, какие-то хотя бы вариации. Прошёл этот путь до самого конца. Дряхлый, уже к пальцам привязывал кисточки и ножницы: вырезал из цветной бумаги. Тоже – открытие. До него не было. Да, в цвете это чистейший художник, самый чистый в мире.

Гоголь открыл Гофмана, а от Пушкина у него ничего, ни строчки. А у Пушкина к нему были только шуточки. Хороши шуточки. А получился хороший ему пинок. Потому что Гоголя перевели и читают во всём мире, а Пушкин там никому на хрен не нужен. Да, и у Эдгара По тот же тип фантазии, и по стилю есть параллели. Гоголь по стилю, по поэтике прямо от Державина. Проза Пушкина от Батюшкова по стилю, только у Батюшкова сильнее. У Пушкина же гармонии, он гармонист, и гуманист. У Гоголя ничего этого нет, у него сознание разорванное, какие уж гармонии, и доброго у него тоже что-то не видится. Да и всю жизнь

обходился без бабы. Так никто у него ни одной бабы и не нашёл. Мальчики тоже исключаются.

Мериме, может быть, от каких-то итальянских рассказов, но не от Бокаччо. Скорее уж от Боккаччо у Гоголя есть: эти его купающиеся девушки. Всё в литературе пронизано влияниями. Это нормально. Но не копирование. Если бы, скажем, сын стал копировать отца во всех его движениях. Это был бы ужас. Отец бы такого сына убил или прогнал бы от себя к чёртовой матери. Вот о таких и писал Платон: чтобы изгнать из государства. Видно, они его допекли, ему от них уже во как было! Боттичелли устраивал костры из своих картин.

Да, вот впервые читаю этого Генриха Шефа. Ещё один гений. Оставил два шкафа, набитых папками с рукописями. Читать неинтересно. Реалист, моралист. Интересно только филологически: как он крутит вокруг себя эти громадные фразы. Я знал всех так называемых "гениев", а об этом что-то не слышал. Да и не все называли себя гениями: Ефимов, Марамзин себя таковыми не считали.

Пушкин открыл Тютчева, напечатал у себя в журнале его двадцать стихотворений. Тютчев – подражатель Пушкина. Очень сильный талант, поэтому и сумел выкарабкаться из-под Пушкина хотя бы пятью стихотворениями. Эти стихотворения Пушкин не смог бы написать. Также и Фет.

Этого Генриха Шефа мне назвал Битов; при его, Битова, любви к мертвечине и всякой вторичности сразу было ясно. Вот и Заболоцкий – сильный талант, кто спорит, но очень вторичен.

15 апреля 1999 года. Встретил меня наголо остриженный. На столе раскрытый дневник.

– Прочитай отсюда до сюда, – показал пальцем.

Я прочитал: "Каждый пишет не про себя, а себя, поэтому в писанине видно: кто герой, а кто гнида".

Взяв с собой бутерброды и бутылку апельсинового сока, пошли гулять. То дождь, то солнце. В лесу грязь, клочки снега.

– Сербию бомбят, – сказал он. – Нашей стране тоже конец. Вот ты говоришь: древний мир у Геродота многообразен. Ерунда. Это Геродот так увидел и так видел, это мир самого Геродота, это он многообразен.

У Горбовского парадоксальное сочетание поведенческого дебилизма и большого таланта. Это меня всегда удивляло.

Есть русский язык и есть советский. На таком примитивном языке можно написать только однодневки, злободневное. Да, это точное попадание в то, что сейчас назрело, в современное. Но проходит год, два и такая литература тускнеет, теряет свой блеск, то, что казалось свежим виноградом, теперь – хлам. Такой язык – энергетика, а не конденсат.

Писатели, стремящиеся к конденсату, изначально пишут на русском языке. Вознесенский – половина на половину. Ахмадулина, Морриц. В прозе – ранний Битов, Рид Грачёв. Сейчас Битов пишет – и языком-то не назовёшь, какой-то московский сленг.

У Горбовского ни культуры, ни знаний. Он и школу-то наверное класса два кончил, ничего почти не читал, его любимый поэт – Вера Инбер, а – талант большой. Этаким стихийный талант. А Кушнер и культурен и образование, и обходителен, а таланта – синичка накапала.

История превращается в басни. Вот пишут: Роланд вышел на битву один против ста тысяч сарацин. Найдёт на меня настроение, я тебе начну сочинять про историю. Чтобы развлечься. Заполнить болтовнёй эти наши прогулки в лесу. Ты эту болтовню запишешь и издашь. Пройдут годы и про эти мои исторические импровизации будут говорить, что, должно быть, так всё и было, ведь это говорил человек, знающий толк в истории, великий писатель. Прозу Беккета можешь забрать. Всё это мной давным-давно пройдено. Каждый ест то, чего организм требует. Я читал летописи с четырнадцати лет. Советские книги – не мог. Вот что, достань мне книгу, не помню название, о футуризме, там много картинок, оформление их книг, Малевич, Гончарова, Розанова. Да, Горбовский – этаким проклятый поэт, злой. Его ещё вспомнят.

29 апреля 1999 года. Поздравил его с днём рождения. Он невесело усмехнулся:

– С чем поздравлять. С каждым днём всё ближе туда. Машинка моя починена. Тридцать лет мне служит.

Пошли гулять. Холодно, ветер.

– Я сейчас пытаюсь писать рассказы, этакую легкомысленную беллетристику, – сказал он. – То самое, что я с тобой говорю на прогулках. С тобой я репетирую своё. Но ничего у меня не выходит. Нет такого дара. В устном исполнении – мимика, интонация. А на письме всё пропадает. Такого рода литература у меня никогда не получалась, сколько ни пробовал.

Опять спустились в подвальчик выпить чаю. Но чая нет. А кофе? Только растворимое? Он долго рассматривал пакетики на витрине, выбирал. Наконец, заказал чашку кофе и солёный арахис. Сели за столик. Я спросил у него, написав на бумажке: разве в его прозе устная интонация утрачена?

– Нет, почему же, – ответил он. – В написанных уже рассказах устная интонация у меня не пропадает. Наоборот: она точно схвачена и письменно обработана, доведена до особенной живости. Да, рассказы, бывает, на несколько фраз, бывает – одна фраза. Ты правильно назвал: эта проза уникальна. И подражать ей невозможно. Обречено на провал.

Это только моё, мной найденное. А если ты хочешь живое, будь добр, найди своё. И все книги у меня разные. У меня всегда так было: мгновенно улавливал нерв и уже на этот нерв всё накручивалось.

Лимонов, Довлатов – всё их поколение подончское. Они и сами это не скрывали. Первая книга Лимонова симпатичная. "Я, Эдичка". Его свежее восприятие Америки, нового для него мира, и откровенное подончество и ребячество одновременно. У Довлатова тоже только одна книга: "Соло на ундервуде". Эти его ленинградские анекдоты. Для них предостаточно по одной книге. И потом, у Довлатова артистичность: и так, и так. Все остальные его книги – сплошь пошлость. У Лимонова эта его последняя книга – детектив, пошлейший, хуже Марининой. У той хоть есть цветистые детали и признания: вот – советская старуха, дура, слюни.

На Западе есть сильная детективная литература. С десятков писателей, у каждого хотя бы по одной сильной книге. Этот, у кого: "Если бы смерть спала". Детали, хорошо, картинно. У него перо, он писатель. Или когда пишет сумасшедший: видно, на чём у него психоз. Когда я его читал, меня, знаешь, сильно потряхивало. Это как у Достоевского. У того тоже – психозы. Никакой другой литературы, кроме детективной, на Западе сейчас и нет. Других тем нет. Потому что насилие, убийство, бандитизм сверху донизу – их главная действительность. О чём же им ещё писать. Пишут, что жизненно. Поэтому и фильмы такие. А в русской литературе хорошего детектива и не может быть. Потому что тут нет закона. Это страна вечного беззакония. Для создания детектива нужен прочный закон, чтобы ухищряться его обходить, чтобы было много ходов. А при тотальном беззаконии – какие ходы.

Плохо, что у тебя нет биографии. Необязательно описывать её, но её наличие строило бы прозу внутренне. У Гоголя не было биографии? Нет, я так не считаю. У Гоголя резко обозначенная и законченная внутренняя биография. Его комплексы: считал себя ниже всех в жизни, так вот в книгах он будет герой. Отсутствие, боязнь баб. Выставлял себя не тем, кем был на самом деле. Всегда скрыт, замкнут. Людей боялся, робок в обществе. И какой конец: врачи замучили насмерть. Как же нет биографии. У Лермонтова – полная противоположность, очень яркая внешняя биография. Никаких комплексов, богат, свободен, бесстрашен, баб полно, с шестнадцати лет, дуэли и так далее. Или, вот Наполеон. Когда человек с низов пробивается на верх – уже биография. Он первый и единственный снизу поднялся на самый верх. Вот это и не могли ему простить. Гений войны. Они уже устали, его маршалы, и Ней, и Мюрат. Им уже по пятьдесят было, они всего лишь люди, а у него призвание. К войне. А любое призвание божественно. Он и на своём острове от

бездействия сдох. Никто его не травил. Когда в голове так крутится и вдруг остановить – разорвёт. Давно мне хотелось написать о Наполеоне, да, видно, не удастся уже.

За зиму я написал такого же объёма том, как сожжённый. Мечтаю поработать на Мшинской летом. Там, наверху, на своей мансарде я буду один весь день. Что-то брезжит в этой рукописи, но главного нерва пока нет. Надеюсь, появится в процессе обработки.

Погуляв в лесу около часа, вернулись домой. Он жаловался на усталость. Дома с ним случился сердечный приступ. Лёг на кровать. Выпил корвалола, который я подал ему в чайной ложке.

– Ничего, отпустило, – сказал он. – Вот палиндром: тридцать шесть и шестьдесят три. Родился в тридцать шестом, сегодня мне шестьдесят три. Вот он и ударил. Великие люди, как правило: год рождения – девятка, а смерть – десятка. У Пушкина, например: 1799 и 1837. Нули – самое ужасное. Что такое нуль? Самая вымороченная цифра. Один нуль, миллион нулей. Какая разница. Вот что я терпеть не могу – нули. Я сильно сдал за последний год. Один останусь – верный конец. Некому лекарство дать, вызвать Скорую помощь.

18 мая 1999 года. Он сидит за машинкой, работает.

– Внутри всё болит, почки воспалились, – сказал он. – Но это не мешает мне писать свою книгу злобы. Называется "Кодекс: безнадежность". Вот уже сколько набралось, и тут, и тут, и там! – показал на кипы листов у него на столе. – Опять листов семьсот, как и в той, что сжёл. Но сожжённая перешла в эту. Книга, собственно, готова. Теперь обрабатываю. А возиться с этим лень. Работается еле-еле.

Ты говорил, что появилась книга "Поэзия русского футуризма". Футуризм – это эстетика двадцатого века. Всё настоящее в искусстве двадцатого века развилось из русского футуризма. На Западе это развитие было правильное. Ташизм, дадаизм и так далее. Много других явлений рядом. В России – обериуты и ряд прозаиков. Потом коммунизм всех сломал. И вся литература откатилась на триста лет назад. Как теперь пишут, даже и говорить нельзя. Надо молчать. Я молчу. Самый маленький из футуристов неизмеримо выше любого из этих прославленных: Гумилёва или Ходасевича. Это же для детей. Возьми Бабеля – тот же футурист. Сильно, ярко написано. Правда, я Бабеля не люблю, но это ничего не значит. Не люблю, потому что повтор Мопассана и О'Генри. Хорошо прочитать первый раз. А повторение, знаешь, не звучит. Переклад на русский язык. Но ярко, сильно, талантливо.

Впрочем, первый футурист – Андрей Белый. Все они из него, и без него бы их никого и не было. Вот у кого каждая строчка сильна, горит. Да, это было только одно поколение. А в девятнадцатом веке – один

Пушкин. Кто же Пушкин, ведь его стиль совершенно футуристический. Чистейший футурист. Ведь главная установка русского футуризма: самовитое слово, то есть, слово, лишённое эмоций. То есть, одна техника. А это значит потеря всех нюансов. Без эмоций нет и нюансов. У Пушкина разве что десять стихотворений наберётся нюансированных. Я не терплю ни ту, ни другую крайность. На одной только технике – читать нельзя. Одни только эмоции – ужас. В живописи дело другое. Тут мне понятно. Кубизм это реакция на сверхэмоциональность импрессионизма и постимпрессионизма. Надоел этот сахар, эти потоки патоки. Вот и стали писать сухую геометрию, кубы. В литературе это тупик. Вот такой был Кручёных. А Маяковский, дореволюционный, наоборот: весь кипенье, эмоции. За это-то Кручёных его и терпеть не мог. Да, при переводе не уловить, в чём нерв того поэта, в чём же его смак. Потому что не уловить нюансов языка и смысла. У поляков были крупные поэты в этом веке: Галчинский, Карпович.

На прогулке он говорил о войне в Югославии:

– Мне это интересно. Чем кончится. Тут Америка показала себя полностью: развязать войну не из-за чего. Да, мы воевали против немцев: закидали телами. И в этой стране всегда так, все войны. Да. Нужно потихоньку заниматься цифрами истории. Почему и ненавидят все они Наполеона, что он один побеждал стратегией, а не телами. Талантом. Русская революция – справедливое возмездие, всё правильно было, века унижений, чего же они ещё ждали. Да, тяжёлая страна. Подумать только – устать от трёх часов ходьбы, а когда-то бегал десять километров за полчаса.

Игорь Северянин единственный из поэтов дал картину того времени в стихах. Много подробностей и примет того времени и ритмов той жизни. Да, мещанство, рестораны. Но такова была и жизнь мещанская. Это Северянину было близко. Теперь эта его картина приобретает этнографическую ценность. Неизвестно, какой на него ещё будет глаз в дальнейшем. Всё меняется, приобретает патину времени. А у великих Маяковского, Хлебникова как раз очень мало примет времени, у них всё мировое.

У Петровского есть проза: "Слово о полку Туруханском". Как у Бабеля "Конармия". Не слабее-то, не слабее. Но слишком всё сделано. Не живое. А вот у Бабеля живое.

Подлинники умирают, а мистификации остаются. "Фауст" Гёте, "Гамлет" Шекспира. Это значит, темы не важны.

Не то слово. Не ненавижу. Ненависть обременительна. А правильно сказать – отчаянье.

В лесу нас застала гроза. Вымокли. Дома он показал мне свою старую семейную фотографию. "Мой клан", – сказал. Дед с усами, бабушка, мать, отец, высокий, сильный, красавец.

2 июня 1999 года. Он один в квартире. Зазвенел телефон. Из журнала "Звезда": что ему необходимо быть 4 июня в 11.00 в Таврическом дворце на всемирном конгрессе писателей в честь двухсотлетия Пушкина. Выслушав, я записал ему это на бумаге. Он взял у меня трубку, стал объяснять:

– Я не могу, я давно никуда не выезжаю и нигде не выступаю, я глухой, где Таврический дворец, не знаю, добраться один не сумею, после каждого выступления я болею, три дня лежу, не вставая.

Передал мне трубку. Я выслушал, что говорили в ответ из редакции журнала, опять написал ему на листе бумаги: "Говорят, что надо быть обязательно"! Наконец, договорились, что за ним пришлют машину.

– Ты можешь сварить суп? – спросил он. – Десять дней не ел горячее, питаюсь всухомятку, бутербродами. Даже разогреть себе сам не могу. Психоз. Вот видишь: ты свидетель моего величия. Да, велик. Прочитал тут книжку об ацтеках. Могучая цивилизация, больше европейской, три тысячи лет до Вавилона. Научные знания больше нынешних. Дошли только две книги. А была ведь громадная, великая литература, и где это всё? Смыто. Что осталось от Сафо, Алкея? Строчки. От греческой живописи, музыки? Ничего.

На подмосковной даче собрались старики из того поколения, и Роман Якобсон. Решали: кто из нас троих останется – Вознесенский, Бродский и я. Решили: Вознесенский останется только в поминальном списке, как имя. Бродский, сомнительно, что и в списке. А я останусь, пока будет русская литература. Но русская литература может исчезнуть очень скоро. Завоевание, скажем. Объявят государственным языком английский. А русский через полвека будет уже язык музейный, мёртвый, как латынь, для единиц специалистов. Так что такое слава? Никогда никто о славе и не думал, когда писал, рисовал. Для своего удовольствия, жизнь в этом. Вот и всё. Одержимость работой. Михнов до чего дошёл. Пьяный, полубезумный. Только работа. И деньги за работу. В какие музеи пойдут его картины – его не касается. Хоть на свалку. А вот денежки давай сюда. Так и я: деньги. А съезды, афиша, слава мне не нужны. Я никогда не любил себя показывать. Поэтому и в Сибирь ездил, а не в Москве выступал. А теперь и вовсе – затворник. Они не понимают, что такое – быть глухим. Думают, я придуриваю. Какое там! Сам видишь: каждая мелочь – проблема. Им я всем желаю, чтоб они оглохли, узнали б, что это такое.

Художники ведь разные бывают, совсем разные типы. Один затворник, а другой себя постоянно показывает, как Маяковский. А у кого качество выше, это ещё неизвестно. Вознесенский – самый культурный технологически поэт за последние пятьдесят лет. Вот,

Кулаков. Ему мало, что его картины в музеях мира. Ему славы надо, шума похвал и поклонения. Страдает, что нет корон и мантий, как у Пикассо. Видишь: противоположность Михнову. Разные, разные художники. Но в одном все одинаковы. Не зря люди называют их ненормальными. Маньяки. Может, я и сам загремлю в больницу. А, может, и вообще – каюк. А что. Почему нет. Ничего теперь неизвестно.

21 июня 1999 года. Сегодня, придя к нему, я увидел у него на столе машинку с наполовину напечатанным листом. На мой вопрос, работает ли он, ответил:

– Я всегда работаю. Этим, как ты знаешь, я отличаюсь, это моё свойство. Не снимай обувь. Сейчас пойдём гулять. Вот закончу книгу к Новому году и напьюсь. Пока пишу, и мысли не может быть. Исключено. Я, как матрос у руля. Разве матрос у руля может пить? Нет. Вот сойдёт на берег – тогда нарежется на всю катушку. Хорошо, как одеваться? Жарко? Не будет ли дождя? Слуховой аппарат я, всё-таки, оставлю дома.

Пошли в лес.

– Трава уже какая высокая! – сказал он. – Зелёное всё. Да, работа над книгой отвлекает меня от жизни, от мыслей об этой нищете и слякоти. От дум, как ты выражаешься. Ленинград – это же слякоть, и люди тут слякоть, пассивны, мелки. В Москве активней, крупнее. Писанина – это психотерапия. Забываешься. И у графоманов – тоже. Только – писанина их разрушает. Почему? Потому что, написав книгу, они ждут, что мир потрясётся от ее величия. Я никогда не ожидал, и мысли никогда не возникало. Муки творчества – какая чепуха! Эти муки только у графоманов. Творчество, наоборот, удовольствие. Самые прекрасные минуты, какие у меня были и, вообще, какие могут быть в этой жизни – это творчество. Так зачем же эти минуты гасить. Когда мне пишется, когда идёт работа, условия не влияют. Работа сжигает условия. Тут большое преимущество – глухота. Отличие графоманов: они завидуют чужим книгам. Это такая психика. Толстой завидовал. Пушкин – нет. Но в жизни он был дерьмо. Говорят: простодушный. Да нет, просто дурак. И я никогда не завидовал. Наоборот: каждая новая талантливая книга меня интересует и возбуждает.

Читал ты Жерара Нервала? Он больше знаменит своими крупными прозаическими произведениями. О гашише. Недавно у нас вышла. Всё было издано здесь до революции. А теперь переиздают кусочки. У Ницше не издали главное: его дневники. Без дневников не узнаешь биографию писателя. Внутреннюю. Цвейг? Да, только Цвейг у нас и есть. Цвейг – это же такой сладкоежка, романтик, у него всё в цветах, то есть – сентиментально.

Был я на этом всемирном конгрессе в Таврическом дворце. Да. Прочитал после Горбовского и ушёл. Противно. Оказывается, даже не был включён в основной список выступавших, а в дополнительный, как и Горбовский. Замалчивают и людей и книги с сильной, свободной психикой. Какими тиражами изданы мои книги! Это же почти самиздат. Я – первый русский писатель, который стал писать свободно, то есть то, что хочу. Не поэтика, а именно: то, что хочу. Тут всегда писали социальное. Это пресловутое социальное содержание, да и любое содержание, а не свои внутренние проблемы. Нет, там на Западе много свободных книг самого разного типа. И сексуальные проблемы. Своё, внутреннее. Мирбо, например. И такого типа там много. А китайская литература. Великая китайская литература! Неужели там только то, что пропускали советские идеологи. Вообще, прозы двадцатого века нет. По сравнению с девятнадцатым, восемнадцатым, семнадцатым – разве это проза? Прославленный Кафка – что у него? Схоластические рассуждения, да два чудака болтают, игра на этом. И только. Больше нет у него никакой игры. Проснувшись, оказывается превращённым в насекомое. Вот открытие! Таких сюжетов полно в древних литературах. И Пушкин несвободен, полно социального. Гоголь – дело другое. У него всё опрокинуто на декорации. И у Диккенса тоже – декорации главное, а не эта слюнявая любовь к бедным. Англичане его времени, наверное, так и думали: вот это парень – каких монстров строит! Ведь этот его "Оливер Твист" – сколько там монстров! Достоевский ведь прославился у них там на Западе этими "Бесами", жутким, отвратительным фельетоном.

Художники моего поколения, да, были свободны. Но это поколение уже ушло. Все же умерли. Да, и Зверев. Он же импрессионист. Но нашёл в этом своё. Да, красиво. Но Грицюк куда сильнее. Михнов ещё сильнее. У Зверева лиричнее, а, значит, – слабее. И вообще, смотря какую точку отсчёта брать. Если здесь, в советское время, регионально – да, как-то бултыхались, кувыркались по-своему, свободно. А если брать точкой отсчёта Филонова – то рядом с ним все они нули.

Я заметил по этому поводу, написав ему в блокноте: "При таких точках отсчёта уничтожается всё".

– Вот именно! – ответил он. – Это ты справедливо сказал. Вот поэтому мне так и противно смотреть вокруг – одни нули. Единицы все в прошлом. То, что сейчас, это уже и не нули, а какая-то минус бесконечность.

Мы углубились в лес, отмахивались от комаров сломанными ветками рябины. Его комары донимали меньше, чем меня.

– Я наверное выделяю ядовитые испарения, – пошутил он мрачно. – Да, о дневниках: дневники японок – тысячу лет назад написаны. А здесь ни одного дневника до сих пор. Одна Башкирцева. Ты за эти два года

повзрослел. Не болел ничем, никогда? И даже геморроя нет? В таком случае ты уникал. В этом городе геморрой у всех поголовно, стопроцентный. Это город-геморрой. Абстракционисты и подхалимы – вот писатели в этой стране. Большие писатели никогда таковыми не являются. "Мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы". Вот уж хрен им.

29 июня 1999 года. Навестил его на Мшинской, был там два дня.

– Работаю с девяти утра без перерыва, – сказал он, показав на машинку. – У меня тут были уже три сердечных приступа. Последний приступ вчера – лежал влѣжку, скрестив руки на груди. Вот как работают герои! Доиграюсь. Так что ещё неизвестно, кто раньше: Нина или я. Книгу гоню. Надо, чтобы к зиме была готова, а к Новому году вышла. Издадут в "Пушкинском фонде". Вот будет сюрприз к двухтысячному христианскому году. Так и быть, я тебе открою тайну: это книга стихов. С февраля начал писать. Стихи – после шестнадцатилетнего перерыва! Я уже и не думал, что когда-нибудь ещё вернусь к стихам. Никому ещё не говорил. Только Комарову, издателю. И тебе. Но ты должен держать язык за зубами. Это рак Нины наверное заставил меня сконцентрироваться. Книга из трёх частей. Первая часть: "Солдаты уходят". Вторая: "Цыгане уходят". Третья: "Женщины уходят". Ладно, я тебе прочитаю отрывки. Тебе первому!

Он стал читать из второй части: "Цыганский романс". Читал в своей напевной манере, с нажимом, с акцентацией, странным своим голосом глухого. Патетично, мощно.

– Да, я и сам чувствую, что хорошо, – сказал он, выслушав слова моего восхищения. – Я собой доволен. Как это будет звучать в зале! Представляешь! Только бы Комаров успел издать к Новому году. Впрочем, и без издания мне нужно написать эту книгу и я напишу. Ты много мне помог за эти три года. Зайди в букинистический магазин на Литейном, месяц назад там продавали "Романсеро" Лорки, издательство "Наука", тогда издавал Широков. Там должно быть много комментариев. Без этого у меня не идёт работа с цыганской частью, нужны подробности.

Вечером гуляли по дорожкам в садоводстве. Он говорил:

– Читаю книгу об Эдгаре По, взял из города. Слащавая, сентиментальная книга. Осуждает, что Эдгар По пьянствовал, что был безумен от пьянства. Чепуха. На то и алкоголь, чтобы сдвинуть эту реальность, уйти из неё хоть на время. Но после запоя, как только из него выходил, никакой он безумный не был, он был вполне нормальный. Наверное, у него была белая горячка, и кошмары мучили. Какие у него запои, у Эдгара По. Вот мои запои! Хотя... Наверное, такие же. Эти

белогорячечные кошмары его и сгубили. Тогда лечить ещё не умели. Жуткие видения, голоса. Ох, лучше не вспоминать. Раньше я спал на спине с поднятыми над грудью руками, согнутыми в локтях. Как собака. А при запое – вытянув руки вверх. Отчего? Наверное, от кошмаров. Какая у меня жизнь теперь. Бессмысленно тянуть. Как это я дотащился до шестидесяти трёх – вот что удивительно. Писать? Да ну. Бессмысленно. Больше, меньше – какая разница. Я всё сказал, что хотел. Что бы ни написал ещё, будет то же самое. Ну, немного в иной форме, вариации. Так моя жизнь и прошла между пьянством и женщинами. Ещё и писал? Ты, конечно, думаешь, это и есть главное. Ерунда. Главное – жить. А когда жизни нет, вот и занимаются пламенным творчеством. Да и всему, может быть, скоро конец, всему этому миру. В книге ацтеков, две тысячи лет до нашей эры предсказан конец мира: две тысячи двенадцатый год по нашему христианскому исчислению. Так что, ждать недолго.

Вернувшись с прогулки, мы ещё долго, до часу ночи, стояли на крыльце, в темноте, он курил, рассказывал о своём житье в Париже в первую поездку.

– Те три месяца, самое счастливое время в моей жизни, пожалуй, – сказал он. – Слава, молодость, тридцать три года. Знаком был со всей литературной и артистической элитой. Через Арагона. И с Пикассо, и с Шагалом. Нет, живопись Шагала не в моём вкусе, я ведь не люблю этот кисель в красках. Пикассо некоторых периодов ещё так-сяк.

7 сентября 1999 года. Ещё раз навестил его на даче. Подхожу к дому, дверь распахнута. Он сидит на табурете, ко мне спиной, в тельняшке, ест борщ. Когда я подошёл близко, он меня заметил:

– Хорошо, что приехал. Борща хочешь? Жара меня доняла. Работать не могу. У меня тут приступ за приступом. Я даже написал завешание. Но надо дописать книгу. Это мой долг перед собой. А не для чего-то там. Написать о людях, которые иначе будут забыты. Называется: "Эти берега". Да, именно. Тот ведь из купцов. О, как на него поднялась вся эмиграция! Нет, читать Набокова я не мог, эти слюни. Я, как ты должен был понять, совершенно без сантиментов, никогда никаких слюней ни по какому поводу у меня не было. Чего нет, того нет. Но когда человек рядом мучается, а ты ничего не можешь сделать, смотреть на это всё же тягостно.

Ночью гуляли по дорожкам. Звёзды.

– Вот, видишь: Большая медведица, а кругом тучи, – он провёл дугу указательным пальцем. – Эти мои стихи, через шестнадцать лет перерыва, уже совсем другие, чем те. Новая техника и много новых приёмов. Бессознательно. Осознал, когда уже написал половину книги.

Теперь не ставлю два слова по звуку рядом, а звук распределён на большом пространстве, тонко. А то – звукопись рядом стоящих слов уже стала мой штамп. Отказался. Много оригинальных ритмических оборотов. Ведь русского верлибра собственно и нет. Он возможен вот так: разнообразием ритмическим. Почему и выдохся Айги. Он только самородок. Русским стихом он не жил. А я жил. Только стихом и жил. А тот, кто живёт этим, у того на саму жизнь уже нет времени, уже не знает другой жизни. Пьянки – разве жизнь? Или бабы – жизнь? Менять одну за другой, однообразие смен. Я пролетел по своему времени как чёрная птица. А можно было бы другое. Есть ведь жизнь с людьми: семья, дети. Да, дети для меня всегда были какой-то ужас, что-то непостижимое, ужасающее.

Когда нерв пойман, это идёт и идёт, само. Статья обо мне моего ученика, в журнале: что, вот, наконец, издали мои книги и – никакого отклика. Заговор молчания. Наивный человек. Как будто кто-то сейчас может понять мои книги. Они недоступны их пониманию. Потому что – это русский язык, книги эти написаны русским языком. Где им понять язык. Тем я резко и отличаюсь от других, что никогда не шёл против своей воли, не насиловал её, а писал только как мне хочется и когда мне хочется.

Да, сейчас у меня, как в Сен Назаре, тогда тоже шло потоком: рисунки, книга прозы, опять рисунки. Вот и сейчас: книга стихов, теперь эта книга, без перерыва. Но я уже отравился чаем, сигаретами, несметное количество сигарет, потоки чая. Это безумие, сдают почки, печень, сердце. Как я ещё выдерживаю. Всё лето там, наверху, на своём посту, на башне, за столом, стучал на машинке – до четырёх, каждый день. Так что ты хочешь.

Я никогда не был вполне уверен в своих книгах, в смысле: что я сделал, что же это действительно такое. Будь те времена, был бы я от Барклая де Толли – светлейший князь. Да, написал книгу стихов. Порезвился. А вообще-то всё это ни к чему. Вся эта писанина. К вечеру у меня всегда мрачное настроение. Я уважаю книгу Радищева, его "Путешествие из Петербурга в Москву": за то, что так злобно написана и за архаичность языка. Он даже архаичней Державина. Такие поэты. Они для этого родились и состоялись в этой области, а читать их не будут.

Моя китайская повесть написана чистым языком. Да, ты меня правильно понимаешь: чистым, как сталь. Сегодня я отточил нож о камень в саду, за четыре секунды. Вот как надо ножи точить. Я тебя научу. Я тебя ещё ничему не научил. Всё мной написанное – такие отточенные ножи. В молодости до меня нельзя было прикасаться. Неприкасаемый. Тело само реагировало на неожиданное прикосновение, ударами защиты, бессознательно, молниеносно. Это врождённое и

навык, с войны. Когда кругом, всегда – опасность. Вот тело и готово защищаться в любую секунду, всегда настороже. Это наше военное поколение.

27 сентября 1999 года. Он снова в городе. Я пришёл к нему в час дня, и мы сразу пошли гулять.

– Две недели не выбирался из дома, – сказал он. – Попробовал рисовать, ничего не получилось. Беспокойство, тревоги. Чтобы рисовать, надо себя взвинтить, довести до крайнего состояния, чаем, кофе, колоссальная сосредоточенность и отрешённость, какие-либо помехи извне исключаются.

Все наши писатели в девятнадцатом веке были под влиянием Мериме. Да, но у Лермонтова психологизмы. У него герой, психика, Печорин. А у Мериме Печорина нет. Да, верно: он жёсткий, без психологии. У него новеллы, то есть мир новостей, действие. Богатая культура, знания в разных областях. Знал Испанию, вот и написал "Театр Клары Гасуль" и "Кармен". Открыл Испанию для Франции, да и для всего мира. Знал бы он тогда Китай, открыл бы и Китай также. А без культуры, без знаний получится в лучшем случае Горбовский. Высокий внутренний талант, а культуры не дано, крутит, крутит одного себя.

Нет, Павич мне неинтересен. Все они пытаются перехлестнуть Белого или Джойса. Никогда не перехлестнут. И зачем? Хотя вопрос "зачем" тут не стоит. Видишь, все берут отовсюду, прежде всего у тех, кто ярок, состоялся, велик. Тащат. Иначе и быть не может. Белого всего растащили. По косточкам. И Гертруду Стайн. Всегда так. Писатель, сделавший открытие, новую, яркую форму, то есть писатель со своим языком, обречён на то, что его растащат. Книги быстро устаревают. Конечно, бывает, за яркой гениальной формой ничего нет, пусто, как у Белого. Тем более. И Хлебникова растащили, ещё при жизни. Его формальные открытия, приёмы. Кроме того, что стоит за формой. То, внутреннее, растащить нельзя. Но то никто и не видит. Хлебникова не поняли. То есть, только внешне поняли. Хлебникову надо было вернуть язык к чистым древним корням, к источнику. Корни эти древние – в народе, в фольклоре. Это была его цель. Да и не цель, а просто он любил это, и вела его только любовь к этому. А кричат – футуризм. Ну, какой же футуризм! Если на то пошло, футуризм открыл и начал Фридрих Гогенштауфен ещё в двенадцатом веке. А испанский поэт девятнадцатого века Русефоль разработал теорию и дал образцы футуризма современной Европе. Он, а не Маринетти. Какие у нас футуристы? Маяковский только, и то взял одну лишь тему машин, а язык и нерв библейский, в древнерусском переводе. Опять же язык и его древние корни. Корневой язык. То есть, настоящий, сильный, яркий,

звонкий, во всём его богатстве. Как писателю без языка? Какой язык, так и пишет. То, что сейчас в ходу – это язык? Это грязь. Писатели так и разделяются: язык и без языка. Беллетристика: там цель – как можно больше нарасказать. Тут не до языка и стиля.

А вообще, всё это необязательно: язык, корни языка. Вон Дюма – какой там у него язык. Зачем негру язык и его корни. А вон какие исторические сказки написал, живые, полные блеска! Его всегда будут читать. А писателей с языком и не читают. Потому что зачастую – мёртвое мастерство. Вот что я скажу тебе, я ведь так выбираю: для меня главное – живое. А вершины мастерства подчас не имеют для меня никакой цены. Конечно, изучить новое необходимо. Но и всё. Изучил. Неинтересно. Пусто. А бывает, совсем простые стихи, язык бедный, слова обычные, а – мистика. Живое. Просятся в песню. Интуитивно найденное и так безыскусно прозвучавшее в них что-то. Нерв жизни. Так, например, Есенин. Высокий внутренний интуитивный талант. Культура внутренняя, интуитивная. А такой культуры – знаний, ему было дано мало. Но когда у него срабатывала поэтическая интуиция – то получались песни. И всегда найдётся тот, кто на них отзовётся как на песню. И в начале у него, в шестнадцать, семнадцать лет: эта его "Песнь о собаке". И в конце, после Америки: стихи и песни, и поэма "Пугачёв". Это в нем ценно, а совсем не то, что ему приписывают. "Анна Снегина" – пошлый газетный фельетон. Всего Белого, со всей его сложной гениальной сверхструктурой отдаю за одно маленькое стихотворение Есенина. Так и Блок, у него стихи – это древнерусская живопись.

Да, и Гертруда Стайн языковая. Её растащил Хемингуэй. Роберт Фрост, поэт, тогда он в Америке считался великим, вздумал читать мне свои стихи. Стихи у него простейшие, типа деревенских. Стихи ведь можно оценить, не зная языка, не понимая смысла слов, по звуку. Я английский не знал. Хорошо. Прочитал он. "Ну как?" спрашивает. Отвечаю честно: "Никак. Пусто. Слова, поставленные в обыкновенном порядке. Он удивился. "А почему, когда вы читаете свои стихи у нас в Америке, вы имеете такой успех, хотя в зале никто не понимает ни слова по-русски? Оттого, что у вас, русских, музыкальная система?" "Да нет у русских такой системы" отвечаю ему. "Это у меня музыкальная система. Но, видно, дело в чём-то другом". Вот такой случай. А бывает, по звуку не оценить. Особенно, если стихи простые, прозрачные. В них-то и есть иногда нечто мистическое, в этой прозрачности и простоте, а вне смысла слов это неуловимо.

У меня были все книги Чурилина. Весь его архив. Цветаева называла его гениальным? Да она всех называла гениальными. Да, конечно, гениальный, раз у него есть три стихотворения, которые никто не написал и никогда не напишет. Клюев полюбил кондовое и ничего у

него нет. Афанасий Никитин, да, это – язык! И он – футурист. То есть, все у кого сжатый, энергичный стиль – футуристы. Я хотел об этом написать. Но зачем? Для других – бессмысленно. Для себя – глупо. Ведь сам для себя знаешь, так зачем же это для себя ещё и писать?

Испанский язык и культуру создали цыгане, арабы и евреи.

Эта машинная, западная цивилизация не должна существовать. Её не должно быть. И Восток поднимется! Зачем ему эти машины, и работать за их конвейерами? Ему – петь, плясать, на ножичках биться!

Где то горение, кипение? Моё поколение прошло. Думал ли я, что буду жить так долго! Неприятное открытие. До пятидесяти я жил полной жизнью: писал, пил, множество женщин. Всё это, конечно, механика только. Но ведь эта механика у меня была всю жизнь. И вдруг – конец. Стоп. Если остановить голову, которая привыкла сильно крутиться – она разорвётся. Нет, старость – чёрт знает что. Одни эти болезни. Я с ужасом думаю, что дальше.

Остановясь, он окинул взглядом роняющий листья, блестящий на солнце лес:

– Ах, какая чудесная погода! А я сидел дома безвылазно неделю.

4 октября 1999 года. У него озабоченный вид, ходит туда-сюда по комнате.

– Я предчувствую, что в этом году что-то произойдёт, – сказал он хмуро. – Не к добру всё это. Дурные знаки. В двухтысячном году парад планет, покажет себя во всём блеске! Землетрясения, катастрофы. В Турции уже сорок тысяч погибло. А в Америке, на Тайване! Число жертв скрывают. Как бы меня в голову не ударило. Боюсь инсульта. Может и парализовать, вот как Голявкина. Большой писатель, не чета москвичам. Они все в подмётки ему не годятся. Проза чистейшая, а иначе я бы и не говорил о нём, как о большом писателе. Тут важно определить жанр. Он пишет такие современные притчи, гиперболические. А у притчи свой жёсткий закон. Последний большой писатель одессит. Ну, из Баку. Интересно, что регионы дают столько людей с мировой известностью. Из Одессы в двадцатом веке – целая плеяда. Ну, город с западными декорациями. Ведь Одессу строили французы, англичане. Но это ещё ничего не значит. И вообще в двадцатом веке в России южные регионы дали почти всех великих писателей и художников. Хлебников – Астрахань, Кручёных – Херсон, Маяковский – Грузия, Малевич – Украина. Это интересно. Что же: молния туда ударила?

И вот ещё что: поэты и писатели в начале века -из каких семей? Как правило – из профессорских. Блок – внук профессора. Белый – сын профессора математики. Хлебников – сын профессора орнитологии. А наше поколение? Все поголовно сыновья и дочери КГБ. Потому что это в

то время был единственный процветающий класс. Видимо, тут закон: художники – сыновья процветающего класса. Генетически. Оттуда, где больше энергии. Из низов никогда нигде ничто не выходило. В низах талантов нет. Ну, назови пример. Ты хочешь сказать: Кольцов. Он из богатой скотоводческой семьи. Его отец – богатый скотовладелец. Горький – дед купец-миллионер. Есенин – отец богатый фермер. Бернс тоже – отец богатый фермер. Сумел разбогатеть, значит – энергия. Нищета ничего не значит. Державин был нищий, а он – потомок мурзы. Бетховен? Но музыка – чисто интуитивное искусство. Для музыки достаточно импульсов. А слово – это совсем другое. На пути к слову в потомке нужно много удобрения, чтобы в роду была подкормка от поколения к поколению. Это ген. Вращивание гена. Нет, нет, таланты только в верхах. Я говорю о поэтах. Среди поэтов такого примера, чтоб не сверху, нет.

Да ну, что об этом говорить. Нормальным людям для нормальной жизни, то есть, вообще – для жизни, нужно всего-то – дом, еда и с соседями ладить. Достаточно для жизни. А поэты – это какие-то выродки. Недаром народ и называет их сумасшедшими. Да и вообще художники, всё искусство. А разве не выродки? Зачем стихи? Кому они нужны? Кто их читает, кроме самих поэтов? Если и читают, так для культурности, чтобы продекламировать в обществе. Писать стихи – бесполезное и бессмысленное занятие, ненужное для жизни. Без них мир спокойно бы обошёлся. Ничего бы в мире не произошло, никаких бедствий или огорчений. Ну, музыку, всё-таки могут слушать, и не понимая в ней ничего. И картинки в живописи смотреть. А в общем-то, по большому счёту, и музыка, и живопись также бесполезны и бессмысленны. Народ в лучшем случае использует их для украшения, ничего в них не понимая. Жило же наше русское крестьянство, сто восемьдесят миллионов, не зная о каком-то там Бетховене. И ничего. Только здоровее было. Ничего не потеряло от того, что не знало. И бесполезное и вредное занятие. Я и говорю – выродки. Непонятно – откуда это и зачем. Эта, именно такого типа, энергия. Их же всегда очень немного, единицы.

Вот что я недавно ещё для себя открыл: все современные русские писатели – как будто бы и хорошо написано у многих, а что-то не то. И вот вдруг понял, осенило: все они живут в своей стране! Это именно их страна, для них. Ужами извиваются, ловчат. А как иначе в этой стране? Для меня никогда никакой страны не существовало, ни этой, ни другой. Я жил вне стран. Так и все большие писатели. Достоевский? Что ты мне о нём говоришь! Этот был спекулянт в своей стране. Он продавался. Его книги печатала желтая пресса. Его здесь запрещали лет сорок, больше. Вот запретом и прославился на Западе. Говорю: они продавались. У них же и установка такая была: писать для читателя.

Эдгар По много мистифицировал. Он-то тоже слишком жил в своей стране, вот и написал столько дерьма. А вот когда он уходил в своё это, – указательным пальцем крутнул завиток у себя над теменем, – тогда он забывал о всех странах на свете и вообще, что есть какие-то там страны, тогда-то у него и получалось настоящее.

У Мамлеева тоже притчи. Но у него всё мертвецы да мертвецы и ничего другого нет. Однообразно. И как ему не надоеет. Эта его игра в мертвецов уже перешла границы. Хотя, включишь телевизор – и там одни мертвецы. Я уже и включать боюсь. Да, похороны Лихачёва. У него есть хорошая книга: о русских садах и парках. Замечательная книга и написана в древнем духе. А главная его книга "Поэтика древней Руси" – это всё неверно. О главном там вот столько: о летописях. Главное в древнерусской литературе – это могучий язык этих летописей. Не содержание, не события. Что события? Это ерунда. А вот язык! Летописный свод – несколько вот таких томищ!

Нет, почему же, у Пруста очень много подмечено тонких деталей. Очень точно. И писал он таким потоком, том за томом, столько томов, лет десять. Это, знаешь ли... У меня, хорошо, если три таких тома наберётся, весь актив, это за всю жизнь. Я так говорю, потому что хорошо знаю, чего стоит написать такие книги. А – рационален... Так ведь и все французские писатели слишком рациональны. Нет, я ни одной книги Пруста не смог дочитать до конца. Такие томищи читать это выше моих сил. Да, это выше моих бедных сил. А сейчас у меня и совсем сил нет.

Древние рисовали лучше. Малевич мог бы свои доски и в избе рисовать. Супрематизм – это же доски. А шарики, кубики, лекала -это ещё Египет рисовал. Лисицкий оттуда и взял. Древние и писали лучше и воевали лучше. Рим – короткий меч. По сути дела – кинжал. Храбр – бейся в ближнем бою, грудь в грудь. А теперь и противника не видят. Девочки нажимают кнопки. Не солдаты. Трусые. Эта цивилизация обречена. Писательство – мания. А что же ещё? Мания, конечно. Бесполезная и вредная. То ли дело – мания садоводства. Плоды ешь со своего сада.

12 октября 1999 года. Пошли гулять. День ветреный. Ему захотелось есть, спустились в подвальныйчик. Он взял свинину.

– Голодный как собака! – сказал он, разрезая мясо ножом. – Я же никогда не завтракаю. Чёрт! Жёсткая! Мне не по зубам жевать эту подошву. Идём отсюда! Да, Гогенштауфен, был такой германский император и его литературный кружок. Изобретали стихотворные формы. Это Гогенштауфен изобрёл сонет. Подумаешь, сонет. Я этих стихотворных форм мог бы изобрести сотни. Но зачем? Я ведь отнюдь не

формалист. Новое изобретается только по насущной необходимости, когда этого требует работа с живой темой, само собой, естественно. Сонет, как форма, русскому языку несвойствен. Ни одного живого русского сонета нет, ни у Пушкина, ни у кого. Я сам написал венок сонетов, но я преобразовал, у меня это особая поэма. Но знать все эти формы необходимо, их тысячи, они, может быть, никогда и не пригодятся на практике, но раз любишь это дело, то и захочешь их все знать. Можно и не знать, но это хуже. Весь советский период литературы и есть это пренебрежительное незнание огромного разнообразия уже существующих форм. Это невежество. И что получилось: долбили, как дятлы, один размер. Жуткая убогость и фельетонизм: все эти Твардовские, Симоновы, и поздний Заболоцкий, и поздний Пастернак. Уткнулись в одну тему, одну форму – это ли не убожество. Знать, не значит, специально изучать, то есть зубрёжка, усилие воли, цель, а не живой интерес. Как только ставится цель: досконально узнать всё о том и о том, а любви к этому нет – это заведомо гиблое дело. В памяти остаётся только то, что живо интересует, что полюбилось. Только это и усваивается. А стремиться – тупость. Стремятся только тупицы. До советского периода поэты и писатели обладали высокой культурой и знаниями. А советские – это же имитаторы. Платон писал в "Государстве": изгнать имитаторов. Не поэтов, а имитаторов, он о них говорил. Да что! Раскрой Мандельштама, его статья "Армия поэтов" – то же самое. Для чего писали в советское время? Для чинов, для денег. И вся советская литература – это фельетон. Нет напряжённости.

Возьми Солженицына, первая его книга "Один день Ивана Денисовича" – это его единственная живая, настоящая книга. Это гениальная книга. Потому что сделана она чисто художественно. Там всё завуалировано, а иначе как бы тогда напечатали. Вроде бы ничего страшного там не происходит, никого не пытаются, не расстреливают, всё вроде бы не так и плохо. Такой вывод. А напряжение в книге жуткое. И это контрастирует и говорит совсем о другом. А потом у него пошли толстые тома бездарной писанины. Почему? Потому что он весь выложился в одной книге. Весь сразу исчерпался. И больше писать ему было не о чем. А слава манит, власть, деньги. И он для всего этого и написал свои пустые и скучные томищи. Бывает и так. Всего одна книжечка. У многих писателей так.

У Алексея Толстого тоже есть настоящая, живая проза, первая его книжка, куда лучше Бунина – "Хромой барин". А потом сколько бездарного дерьма, роман на романе, эти его "Пётр Первый", "Хождение по мукам". У Помяловского "Очерки бурсы" – какая напряжённая книга! У Ершова – "Конёк-горбунок". Мальчишка, семнадцать лет, в Сибири написал. Яркая, живая сказочка. А потом всю жизнь – тома скучнейших

стихов. Приписывают теперь его "Конька-горбунка" Пушкину. Но это же смешно. Видно невооружённым глазом, что стиль другой, непушкинский, ни раннего, ни позднего Пушкина, никакого. Под влиянием – да. Но совсем другое.

В русской литературе живых книг очень мало. И Лесков весь – фельетон. Но две или три его коротеньких вещи – настоящие. "Левша", "Леди Макбет Мценского уезда", "Очарованный странник". Тоже фельетон, но всё точно, чисто, сильно, о том, что нужно. И ещё у него есть кусочки. Никаких идеологий. И у Надсона есть. Он первый ввёл в русскую поэзию Малларме. До Бальмонта. Бальмонт ещё и не родился. Эти звуковые штуки. Открытое звуковое, а не скрытое, как у Пушкина. А Пушкин – самый настоящий формалист, ведь все его открытия это открытия технические: приёмы, формы. Его заслуга: создал доступный всем, то есть, общедоступный русский литературный язык, то есть: сглаженный, сахарный, то есть: сразу язык уронил. Уже Хлебников, Маяковский и все футуристы не могли пользоваться этим обывательским, гладеньким, общемещанским убогим языком и потянулись к древнерусскому – сильному, яркому, живому. А этот язык – для обывателей, мёртвый. Собственно, первый его создал гениальный Жуковский, а Пушкин его общипал на глазах у всех и самого Жуковского. Пушкин его всего общипал, все лучшие его строчки, и Батюшкова также. Пушкин их пересилил, гений Пушкина. А Пушкину стали подражать незначительные, второстепенные, слабые поэты. Знаешь, когда гению подражают слабые поэты, какой-то он, значит, не совсем гениальный. Другое дело: гений берёт у гения. Пушкин – мёртвый поэт, никто его уже сейчас не читает, а в будущем и подавно.

Взять и Андрея Белого. Это гений формы. Сверхмастерство. Но неживой, ледяной, мертвее мёртвого. А гениальность! Им создано бесчисленное множество форм. Из него формально вышел весь двадцатый век, все абсолютно. Никто из больших писателей без него бы не осуществился. И все футуристы, и Хлебников, и Маяковский. Цветаева – тоже. Но Цветаева – чистый, живой гений. У неё нет ни одной фальшивой ноты, она абсолютно чиста. Её точка отсчёта – отъезд из России. Её "Вечерние альбомы" – чтобы было что вычеркнуть из себя. Она писала о Белом: "Пленный дух". Потому что Белый насквозь фальшив, во всех своих книгах и в жизни. А он и в жизни был гений. Настоящий гений во всём. Вот и такая гениальность. Фальшивил, кривлялся. Потому что только – гений формы. И его все общипывали, все растаскивали и растаскивают до сих пор, и ещё долго будут. Он, в формах, в этом смысле неисчерпаем. Но, всё-таки, его можно растащить, потому что это внешнее. А разве Пушкина так растащишь? Нет. У него есть нечто внутреннее, недоступное. А у Белого внутри – пусто.

Те поэты и писатели, и второстепенные, Бобров, Петровский, Петников, Спасский, Божидар – это культура формы, это всё же всегда хорошая почва, хорошо унавоженная, из которой может вырасти новое, почва, питающая будущее. А что современные писатели, самые лучшие? Это уже не то золото. Это золото, но низкого качества. Почему? Читаем, например, Битова, раннего, всё прекрасно, настоящее, и вдруг – сбив, один, другой, несколько. Фальшивые ноты, то есть: ложь перед самим собой, неверность себе. Всё! Крах книги! Не должно быть ни одного сбива. Ни одного! Книга нечиста. Тоже у Венички Ерофеева. Довёл героя до белого каления, а что с ним сделать в конце – не знал. И зарезал, не нашёл ничего другого. А большие писатели всегда знают, что надо сделать с героем. Гоголь знал.

Тоже и у Мамлеева, и у Довлатова. Довлатов же журналист. Журналисты все живые. Но живое это ещё не всё. Живых статей много, но они же ни о чём, пустые. Надо ведь ещё, чтобы было о чём. Чтобы всё сошлось: и живое, и о чём, и чисто сделано, и качество письма. Последние книги Довлатова, и здесь, и в Америке – это всё спекуляции. Это же видно. И эти его лагерные. Для читателя. Чтобы читать. А вот его маленькая книжка, одна, ленинградская – та настоящая. Там у него этот его маленький сдвинутый мир. И получается жутко и точно.

Да, и у Толстого есть кусочки в "Войне и мире". Но что это за страна, в которой из посредственного писателя делают культ. Он же посредственный писатель – Лев Толстой.

Живые книги. Сей-Сёнагон писала под подушку. Не предназначала для чтения и не знала, что с этим её дневником будет. Опубликовано после смерти. А родилась целая традиция дневников. И какие прекрасные дневники, много. Здесь, у русских писателей, я не знаю ни одного, ни из прежних, ни из современных. Всё неживое, не из-под подушки. Пушкин? Не было у него никакого дневника. Это он мистифицировал. Он много мистифицировал. Все поэты и писатели, большие, мистифицируют. Это совсем не обман. Люди, лишённые воображения, говорят: вот врут! Они не способны понять фантазию. Приятно же слушать, когда человек фантазирует. Не то, что, когда он тебе будет долбить свою занудную, тупую правду: бум, бум, гирей по голове. У меня об этом в "Башне" эпиграф из Ибн Сины (вот уж тот был мистификатор из мистификаторов): "Если тебе доведётся узнать, что некий... рассказывает о неведомом таинстве, то верь этому, ведь вера в это не отяготит тебя". У меня всё правда, но я так её декорирую, что она превращается в фантазию.

Как Довлатов мог писать в проходной комнате? Я только в полном одиночестве могу работать. Мне всегда было плевать: будет ли меня кто читать или нет, эти читатели, тем более: думать о каких-то потомках. Но

мне каждое утро надо выложиться. Вот и всё. Без этого нет жизни. И надо-то часа три. Вполне трёх часов хватит. За глаза.

Да, вот, скажем, Дефо. Как он написал эту книгу. Услышал или прочитал в газетах: моряк на необитаемом острове. И написал, но детально, скрупулёзно, описывая каждый день, каждую мелочь. Жуть! Читать, казалось бы, скука. Взрослому человеку. А дети читают взахлёб и всегда будут читать. Это их вечная книга. В чём дело? В этой книге сказано негибимый дух Дефо: что для такого, как он, и необитаемый остров – ерунда. Справится и там, и на необитаемом острове можно жить, и каждый день будет приносить что-то интересное и удивительное. Великая книга! Сказочка для детей, ещё одна сказочка. И что у нас получается: забываются в мире самые мастерские, первоклассно написанные книги, никто их не читает и они умирают, а остаются жить те, которые сделали какое-то открытие. Что-то общее всем. А не форма и приёмы, как у Белого. Таких книг – раз, два и обчёлся. У Дефо написано ещё много прекрасных книг, но все они без открытия и потому забыты. У Свифта его "Гулливер" – тоже самое. Хотя и тоже – фельетон. В этом фельетонном жанре. Тоже сказочка. Вечно живая. Главное получается – чистота, отсутствие фальшивых нот, отсутствие лжи перед собой и, если есть ложь, то сколько её, сколько этих фальшивых нот в тебе, какой процент.

У графа Хвостова, его нелепости – это же не специально, не сознательно, а такой характер. Все над ним смеялись, а Пушкин нет. Тот понимал. "Что-то у тебя есть" говорит. Вот вкус у человека! От Хвостова вышло в двадцатом веке целое новое направление: обериуты, сильные дурики. Дурость, нелепость – сознательно. И Чурилин.

А твоя книга стихов крепко сделана, как брюсовские книги, но стихи твои, извини, неживые. У тебя-то фальшивых нот быть не может. У тебя всё чисто. Потому что ты не переходишь за границу своих писаний. А Довлатов переходил, буйная натура, и фальшивил. И так бывает. Ложное состояние. Но лучше б ты перешёл границу себя и сфальшивил. Было бы хоть видно что-то. Ты боишься. Нет, не боишься, а закрепощён. Отчего? Вот уж я не знаю. Внутренняя свобода и тому подобные выражения, никто уже не знает, что это такое. Смысл потерял или утроен, учтвёржён. Ты слишком много думаешь и говоришь об этой свободе. Раз говоришь – значит, её и нет. У того, кто постоянно говорит о чем-то – у того этого и нет.

Можно сказать точно: в прозе у тебя есть немного живого в первой и третьей книге. Но в третьей – от имитации. Меня. Но это у тебя мимолётная имитация. Почему ты не можешь перейти границы своих писаний? А разве ты сам не знаешь? Те, о ком я говорил, все были раскрепощённые. Может быть, оттого, что ты слишком занят собой и

литературой. Не надо думать об этом. Попробуй отвлечься. Не читать книг. Ты ведь их наверное уже читаешь чисто автоматически. Не можешь же ты всё ещё получать удовольствие от чтения. В том-то и дело, что я не чувствую, что ты любишь. Многие любили, а писали мёртвое. Ложное состояние, да. Как из него выбраться. Рецептов нет. Это как топка паровоза: горит, сжигает дрова и ничего не знает о паровозе, ни куда он мчится, ни то, что это она его движет. Горит, и всё, и ей всё равно, что жечь – дрова, лес, хоть весь земной шар. Кто хоть раз испытал такое состояние, знает, как его уловить или даже добиться. Только бы оно явилось хоть раз. Но бывает, что себя обманывают: думают, это то состояние, а оно ложное. Всё это сложно. Я думаю, что всё же у тебя когда-нибудь фитилёк зажжётся. Ты всё ещё не нашёл себя, свою тему, может быть, жанр. Есть же тысяча жанров.

Наблюдать, но наблюдать не как надсмотрщик или шпион и все подряд записывать. Это гибель. А только то, на что интерес, живой отклик. Вот мне очень близки Бианки и Пришвин. Хотя я их и не люблю из-за их упрощённости. Особенно Пришвин. У него же нет людей. Коротенькие его рассказы. Большие его книги читать невозможно. А – коротенькие. Он выходит из дома и видит что-то и этому радуется. Чувствуешь, что в этом его жизнь, этим он живёт. А вот у тебя такого и не чувствуется, может быть, твоя ошибка, как и почти у всех, в том, что ты абстрагируешь литературу, как отдельное царство, исключаешь её из жизни, исключаешь и себя, и жену, и дерьмо. Ты не участник процесса, ты не в жизни, а в литературе. А это жизнь кругом, ты ведь в жизни. А ты строишь иерархию: эти писатели нравятся, эти нет, школы, ранги и так далее. Фетишизм. А в жизни все равны, авторитетов нет. Для меня, например, нет никаких авторитетов. Всех этих великих писателей я знаю, как облупленных. Что, правильно я говорю? В этом-то и ошибка твоя: в вычленении литературы из жизни, в абстрагировании её. А надо просто жить и не думать, что ты и зачем пишешь. Пишется, вот и всё.

Я и всегда писал только импровизации, а потом десять раз их обрабатывал. И в этой последней книге моих стихов: пойман нерв, а дальше – его усиление, обработка, огранка. Написать как можно больше, чтобы было потом из чего выбирать. Это мой метод. Вычёркивать – это я люблю и могу. А что-то добавлять или переделывать – никогда, ни строчки. Пришвин – тот же даос. Может быть, ты к семидесяти годам напишешь живую книгу. Начал же писать Аксаков в шестьдесят. Написал яркую, живописную, изобразительную прозу. А до этого писал какую-то чушь.

У Гоголя "Петербургские повести" – самая плохая книга. Кому нужны эти чиновники, эта сатира, их психика. Неинтересно, скучно. Как Салтыков-Щедрин. Хоть крестьяне, хоть кто. У меня в руках книга и я

смотрю: какая. Яркая, живая. Вот всё. А этот его "Нос" – самая худшая повесть в книге. А вот "Тарас Бульба" – тоже сказочка! Яркая сказочка. Самые живые фигуры там: еврей Янкель и татарка. А Андрий и Остап – ходульные. Да и Тарас. Держится всё на этом Янкеле и речах самого Гоголя. Всё вывозит его язык, яркий, пышный, живописный. Патетика и в ту и в ту сторону. И битвы. Это с Гомера. Только у Гомера герои выписаны детально, а тут русская мутота. Да, Гоголь, его язык, его речи, его заёбоны. Удивительный он, Гоголь. У него был стальной дух. Лирики у него не было. Андрия ухлопал, Остапу отрубил голову. Жид Янкель получился самый храбрый: дрожит, а ведёт Тараса в тюрьму сквозь все преграды. На каждом шагу смерть. И деньги ведь все потерял всё равно. Вёл этого тупицу Тараса, ну, не тупицу, идиота, как у Гойи. Гоголя так и надо читать: убирая прямые смыслы. И письма его надо читать сквозь его заёбоны. Это у него главное. Да, но как их, эти смыслы, убрать. У Гоголя сочные, живые картины. Он картинен. Как говорили китайцы: чтобы написать одну хорошую картину, надо прочитать девять тысяч книг и пройти десять тысяч ли.

Пока мы шли по длинной дороге в лесу, ведя этот не менее длинный разговор, солнце скрылось в тучах, забрызгал дождик. Он продолжал:

– Может быть, ты хочешь поймать птицу, которая в твоём лице не водится. Но ты и не гений формы, как Белый. Ты себя скорее занижаешь, чем завышаешь. Тоже плохо. Но хорошо, что я говорю тебе правду. Ты – вполне состоявшийся писатель, профессиональный, высокое качество письма и будешь писать хорошие книги. Ведь ты любишь это дело. Так что же тебе ещё? Тебе захотелось большего. Но произойдёт ли это? Произойдёт, когда ты перестанешь об этом думать, неожиданно для тебя. Ты разделяешь литературу и жизнь, проводишь между ними границу, а её нет и не должно быть. В этом твоя ошибка и почти всех, за исключением единиц.

Андрея Белого будут ещё долго использовать, как подтирку для задницы. Вот – гения, как подтирку. Я прочитал книгу Елены Гуро. Для меня – нуль. Она интересна только как человек. Это о ней написал Евреинов: "Театр для себя". Что такое талант? Талантом я называю надежды. До двадцати трёх лет я писал с большим воодушевлением и очень много, но чувствовал, что всё это не моё. И потом сжёг, во Львове, целый сундук. Да, до появления моего "Слова о полку Игореве". А явилось оно бессознательно, и я не понял вначале, что это моё подлинное открылось. А потом два года – опять пусто.

19 октября 1999 года. На прогулке он жаловался:

– В доме вечный кавардак. Надоело! Лучше бы я жил один. Мне работать надо. Трёх часов работы мне за глаза хватает. Больше и не

выдержат при таком методе. Такое напряжённое письмо. А работать не дают. Все не дают. Почему я и жил один столько лет.

Похороны Лихачёва: КГБ у гроба! Это называется: результат жизни. К чему он стремился – вот к этому? Симонов – тот был неоднозначный человек. Слава, свой у властей. А после войны его повернуло, шлея под хвост. Решил написать правду о войне. Он же на фронтах был, два или три ранения. Ездил по всей стране, записывал на магнитофон голоса солдат: что они о войне говорят, их правду. И речи маршалов – тоже. И хотел издать такую книгу. Чуть-чуть из этого, капельку, попало в "Живые и мёртвые". И тогда звезда Симонова закатилась. По завещанию – сожгли и прах развеяли где-то над Могилёвым, где он воевал. Вот у его гроба стояли герои, маршалы, а не ублюдки-чиновники. Симонов был человек колоссальной энергии, за что брался, то доводил до конца. Правду о войне до сих пор замалчивают. Опубликовано, что позволили, до неких пределов. А пределы эти – пшик, вот столечко!

Вот – Андрей Белый и вся та интеллигенция. Не трусы, чего им тогда было бояться. А – слабоумие. Профессорские сынки. Выросли и жили в богатстве. Что они знали о народе и реальной жизни? Ничего они не знали. А реальная жизнь, реальность – это жизнь бедных, тех, кому надо добывать себе кусок хлеба, тех, кто умирает с голода, в нищете. Это реальность. Ценен тот писатель, кто прошёл эту школу жизни, с низов. Или: богачи, аристократы сами шли знакомиться с народом и реальностью. Денди шли в портовые кабаки драться на ножах с пьяными матросами. Не с крестьянами же им было знакомиться – скучная, тусклая жизнь и такие же скучные люди. Разве это народ? А вот матросы – народ яркий. Это матросы революцию делают. Что писал этот денди Уайльд до тюрьмы и что после. Сласти, розы и драгоценные камни, или – "Баллада Редингской тюрьмы". Разница разительная. Пропась. Державин знал жизнь, он же из нищих. Пушкин узнал в Болдино, у крестьян. Там он и написал лучшие свои вещи. Лермонтов – под чеченскими пулями. Там, на Кавказе, он всё понял, там ему эта реальность открылась. Каждая минута между жизнью и смертью. И спокойно сидел и писал под пулями свою книгу. Абсолютно спокойно. Это и чувствуется в каждой фразе. И оттого такой мистический холодок от каждой его страницы, от всей этой книги. Потому что постоянно на грани смерти, и все сюжеты там со смертью, и все там гибнут, а тон такой спокойный, вне напряжения.

Бабеля Горький отправил в конармию. А не отправь туда Бабель и не узнай он реальную жизнь, и не было бы такой прекрасной, подлинной книги. Достоевский – на каторге. Сервантес – потеряв на войне руку, в нищете, в тюрьме. Узнал, что такое жизнь, там в тюрьме и написал свою настоящую книгу, где смеётся над всеми героями. А что он писал до этого? Пасторали и назидательные новеллы. Платонов – что бы он написал, не закрути его революция и гражданская война. Неизвестно.

Ничего бы путного. И так, кого ни возьми. Байрон сам шёл к реальности: его Греция, эти грязные карбонарии, которых он возглавил. Лорд – и к карбонариям. Цветаева – в эмиграции. Там она хлебнула жизни, нищеты, неурядиц. Это был для неё шок. А человек гениальной одарённости. Ведь так жили все. Что ж такого. Но для неё это было – драма. Она всё это гиперболизировала невероятно и стала писать свои поэмы проклятий. А кроме неё кто ещё в эмиграции? Никого. Не Набоков же, не Бунин. Они так и остались, не знающие жизни. А Набоков ведь великий писатель, культура, словесность, никто не отнимет.

Шмелёв? Ну о чём ты говоришь. Шмелёв из богатой московской купеческой семьи и писал свои красоты, воспоминания о той богатой, счастливой жизни. Тоже и Ремизов. Всё это красоты.

Марсель Пруст, Вирджиния Вулф – прекраснейшая, чудесная проза. Люди огромной потомственной культуры и колоссальной одарённости. А как же иначе, эта культура врождённая, всосанная с молоком. Но вот жизни они так и не хлебнули, и поэтому не хватает их книгам чего-то главного. Гениальными их не назовёшь. Я называю гениями тех, у кого всё пронизывает дух отрицания. Но не риторика, как у Байрона или у Лермонтова в стихах в подражание тому же Байрону. А отрицание на самом деле, подлинное, настоящее. То есть, когда весь этот мир не принимается, отрицается. Не этот – растительный и животный. Этот как раз прекрасен. А мир людей, то, как он устроен. Такой мир принять нельзя, с ним нельзя примириться. Примиряется и приспосабливается к нему только подонок, холуй, раб. С таким миром только бороться. А формы борьбы могут быть самые разные. Да, это получается борьба с ветряными мельницами. Все мы Дон Кихоты. Ну так что ж. Всё же это борьба.

Вот мне уже шестьдесят три, слава, мировая известность, а – молчание. Замалчивают, как будто я и не существую. Почему? Потому что понимают: я отрицаю этот мир людей полностью и остаюсь непримирим, нестигаем в этом отрицании, вне компромиссов и середины, в максимализме своего духа отрицания. Ну так и пусть остаётся один, раз он такой непримиримый. В нищете, без самой необходимой помощи.

Мы свернули и пошли у ручья. Дорожка засыпана почернелыми листьями. Сыро и холодно. Вдруг он остановился и посмотрел на меня пронизывающим, тяжёлым взглядом. Так он смотрел минуты две, три. Я выдержал его взгляд, хотя мне было и не по себе. Затем он сказал:

– Меня все боятся, у меня взгляд такой, я всегда гляжу прямо в глаза, упорно и долго. Привычка. Взгляд зверя. Никто не выдерживает. Люди ведь прямо в глаза не смотрят. Только Лиля Брик и Кулаков были такие же с взглядом зверя. С ними у меня было всё нормально. Вот со мной и не общаются из-за этого взгляда. Боятся. Ты привык.

В Париже я одевался весь в кожу, чтобы дождь с меня скатывался, и гулял, элегантный, ночью по набережной Сены, а от меня шарахались влюбленные парочки и самоубийцы, принимая меня за фашиста. Я ходил пить в портовый кабак, не зная, что это бандитский притон, там шумели пьяные матросы, ссорились и дрались на ножах, каждую ночь кого-нибудь убивали, а я сидел в одиночестве за стойкой и спокойно выпивал свою порцию виски. Там меня тоже принимали за фашиста и боялись связываться. Говорю: весь в коже – пальто и даже гетры на ногах кожаные. Вот эти гетры больше всего и приводили в ужас. В них-то и щеголяли фашистские молодчики, это была их форма. А я и ведать не ведал, я – от дождя, удобно.

Ты, что же, постоянно думаешь о том, как ты пишешь, о своём творчестве? Да, эти думы о своём творчестве тебя доведут до сумасшедшего дома. Что тут думать. Надо писать книгу, а не думать. Вот и всё. В этой стране садистов нельзя быть мазохистом. Мало, что тебя мучают, так ещё и самому себя мучать! Путь в сумасшедший дом и к самоубийству. Тот, кто много думает о себе, считает себя великим. А как же? Это и есть мания величия. Как будто он один пишущий на земле. Я могу подарить тебе прелестный сюжет: прогулки в лесу. Один совершеннейший мудак рассказывает свои впечатления, а другой абсолютный мудак всё это слушает. Вот ты и написал бы такую простую книгу, отвлёкся бы от художественных вымыслов. А отвлекаться от них обязательно надо. Да ведь такие вот простые книги и оказываются зачастую самыми настоящими.

26 октября 1999 года. Он стал одеваться для прогулки.

– Сильный идет дождь? – спросил меня. – С зонтом ходить я не умею. Зонты у меня все ломались, сколько ни пробовал. Но что же делать, попробую ещё раз, придётся мне учиться под зонтом ходить.

Вышли из дома – дождь во всю хлещет, лужи кругом. Раскрыв зонты, побрели к лесу.

– Недавно я побывал на Литейном в букинистическом магазине, – сказал он. – Да, книги есть роскошные, в великолепных переплётах. Видел книги Кручёных, но без иллюстраций. А вот с иллюстрациями Розановой, скажем, даже с одной её картинкой – огромные суммы. Кручёных открыл новый тип книги на основе русских рукописных книг, сам и делал их, привлекая для оформления лучших художников. Книги рукописные, как и те, народные, но пером написаны совсем другим: перо Малевича, Розановой, Гончаровой, Ларионова. Кручёных Маяковского ведь не любил, терпеть не мог. Да он и никого не любил. Примазался к Хлебникову. То, что никого не любил, это нормально. Так и должно быть. Кручёных – великий эстет, он книги делал высшего качества.

Я опять заглядывал в твою книжку стихов и обнаружил, что в ранних ты шпаришь под Пастернака. Это для меня странно. Потому что понять и полюбить Пастернака может только человек той же психической силы и той же тонкости. У тебя от Пастернака только конструкции, а напряжения его, живой психической силы нет. Да и откуда ей быть. Стихи твои мёртвые. И всё же странно. Да, может быть, так и есть, как ты говоришь: ты был влюблён в пастернаковское напряжение. А сам ты его лишён. Ну и что ж. У Фета, например, тоже нет напряжения, и он лишён этого, а какой тонкий поэт! Да многие лишены этого. И Толстой лишён. А много ли у Пушкина. Вот ведь что интересно: "Сестра моя – жизнь" – самая мистическая, самая крылатая, самая живая, самая звучная, самая живописная, самая музыкальная книга в русской литературе. А у других так себе, понемногу. А чтобы целая книга – ни у кого нет. А понимают и любят её единицы. Я ведь тоже не сразу понял. Хлебникова в шестнадцать лет, сразу во всём объёме. Ну, Маяковский ещё в школе. А Пастернак был непонятен. И только в двадцать семь лет мне открылся. Мы тогда любили гулять по Невскому, фланировать. Я обычно гулял вдвоём с Сергеем Давыдовым. Высокий кудрявый красавец. Радиожурналист. Вот он и стал по какому-то поводу декламировать: "Ты так играла эту роль..." И тогда-то мне вдруг и открылась вся эта великая книга – через звук. Но влияния этой книги в моих стихах нет. Так, цитаты, разбросанные там и там. Реминисценции. Потому что я уже сам был открыт. Поэтому всё, что ни попадало, переплавлялось в своё. А до того, как сам открыт не был, шла одна только графомания, то есть: уже совершенное мастерство, но стихи мёртвые, не своё.

Последнее время меня занимала мысль: всегда ли критика в России была так тупа, как в советское время. И пришёл к выводу, что – да, всегда, во все века. Ну, Писарев, понятно: демократ, вставал в позу демократа и обвинял Пушкина в аристократизме. То есть, вместо того, чтобы разбирать сам стих, разбирали – какой в нём заключён смысл, политический, моральный, всегда с точки зрения идеологии, какой-то позы. Аполлон Григорьев, казалось бы, поэт – нет, тоже самое. Анненский – та же картина, у того поза аристократическая, вот и вся разница. Я эту книгу Анненского, да, "Книгу отражений" выкинул из своей библиотеки вон. Держать у себя такой хлам. У французоз, например, критика всё же иная. Читал я Сент Бёва. У него это художественные произведения, эссе, и при этом некоторая доля понимания стихов имеется. Это видно. У нас только Шкловский – живая, гениальная критика. Его книги о русских писателях восемнадцатого века, о Комарове, замечательном писателе Об английском сентиментальном романе. Потом Шкловский стал писать о Маяковском, но это уже была

чистая ложь. Написано-то талантливо и также сильно. А то, что талантливо, уже не ложь. Но фактологически это всё ложь. Да Шкловский это и сам знал. Иначе написать было нельзя в то время. Писал Шкловский и о Толстом: что он, Толстой, изобретал конструкции. Конструктивист ещё до Андрея Белого. Да, но изобрести такие сложные конструкции, это, знаешь, тоже дар нужен. Попробуй-ка.

Теперь я ничего и читать не могу, отвращение уже к чтению. Потому что нового ничего нет. А перечитывать старое, это, знаешь, как корове пережёвывать пустую и сухую траву.

Никто в этой стране не понимает ни стихов, ни живописи. Да и в мире никто. Единицы. Для чего же они читают и ходят в галереи? Для престижа? Вот прочитал, посмотрел? Выходит, так.

Где взять деньги? Продать картины? Но сейчас за них мало дадут. Гроши. А это всё гениальные ведь художники. Кулаков, Грицюк. Через сто-двести лет их картины будут стоить миллионы, десятки миллионов, как теперь Модильяни. При жизни картины Модильяни валялись по всем кабакам Монмартра, никому ненужные, никем непонятые. Продавал их за бутылку вина и закуску. Я хочу написать об этих двух гавриках алкоголиках: Модильяни и Утрилло. Картины Кулакова и Грицюка тоже ведь никто не понял, кто ни приходил ко мне на квартиру. Только один понял – Боря Шаповалов. Его эти картины потрясли. Переродился и стал писать совсем другое. Но потом я его выгнал. Невозможно общаться. Как художник он хороший, а как человек – дрянь. Так часто бывает. Да и у художников другой склад мышления, чем у писателей. У писателей – слова, всё же умение общаться. А художники – без руля и без ветрил.

Картины Михнова тоже лежат ещё неоценённые. А этот выше тех на голову – Кулакова и Грицюка. Те – крупнейшие художники второй половины двадцатого века. А Михнов – крупнейший художник всего двадцатого века. У него есть такие ходы, каких нет ни у Малевича, ни у Пикассо. Он не выше их, но он им, конечно, равен. Он дал новую манеру. То, чего ни Кулаков, ни Грицюк не смогли. И те гениальные, но тот гениальней. Те не создали свой абсолют. А этот абсолютен. У тех не тот ранг. А этот зверь встал в полный рост, понимаешь. Он-то дышал полной грудью. У него все шедевры. Нешедэвров у него просто нет. Есть люди, чувствуют, что: великий человек, картины непохожие ни на какие другие. Великий – значит, ни на кого не похожий. Михнов – гигантского роста, рыжий, курчавый. Его отец был скрипач с мировой известностью. Он из высококультурной семьи. Гонор у него был – ого! Но у него-то гонор оправдан. Он считал: он один гений, а все остальные – мразь и гниль. Кто бы ни был. И с женщинами также. Переспит, а потом говорит ей, что она гниль. Он жил на Рубинштейна, а я на Стремлянной. Дома рядом. Мне было двадцать три, а Михнову тогда двадцать семь. Я часто

заходил к Михнову домой. Он жил один, а я в одной комнате с сестрой, стол и две тахты, вся обстановка. Потом Михнов пришёл ко мне однажды на улицу Росси. Не виделись мы лет десять. Михнов тогда уже страшно пил. Похудел, одни кости, нос вытянулся, еврейский, вот такой. Последние шесть лет Михнов только алкоголем и писал картины. Так и сгорел. В пятьдесят шесть лет.

Да, у нас там был кабачок на Литейном у соловьёвского гастронома, напротив моего дома на Стремянной, там мы и собирались: я, Михнов, Кулаков. Приезжал и Зверев из Москвы. Сосиски там были восхитительные! Да, из ленинградских моих знакомых больше не о ком говорить, кроме этой компании художников. Потому что это всё яркие личности. Яркие – потому что алкоголики. Алкоголики все – яркие, но очень уж похожие. Алкоголь на всех действует одинаково: доводит до озверения. Удивляюсь, как Михнов находил час-другой рисовать при его непрерывном, убийственном алкоголизме. Утром, скорее всего. А рисовал он быстро, молниеносно, какая бы ни была картина, хоть маленькая, хоть гигантских размеров. Гений – одно слово. Последний год жизни вместе с ним медсестра жила. Он нанял, чтобы за ним ухаживала. Была у него ещё и жена. Служанка, а не жена, как говорил сам Михнов. Забитая, безропотная. Последний раз я его видел тогда на Карла Росси.

Дождь пошёл пуще. В лесу дорога размокла. Мы повернули домой. Он сказал:

– Лермонтов пришёл на дуэль пьяный, весёлый, выстрелил в воздух. А Мартынов с шести шагов ему в сердце. Подумаешь, ну, подзуживал, так ведь над всеми, ему прощали, герой войны, ну, мудака немножко, пустяки ведь. Книгу свою писал под пулями. И к этому можно привыкнуть, себя приучить. Не помешали же пули написать ему такую гениальную книгу. А этот тупица его и убил.

3 ноября 1999 года.

– Сейчас оденусь и пойдём, – сказал он. – Вот видишь, сколько возни по мелочам, быстро не получается. То, что я забываю то одно, то другое не означает рассеянности. Это оттого, что я поглощён работой за машинкой, и мне некогда обращать внимание на вещи.

На улице ветер, тучи летят, приоткрывается синева. В подвальчике он выпил три чашки крепчайшего чая.

– Без чая я бы не мог ни шага сделать, – сказал он, когда мы вступили в лес. – Чай даёт силы и гулять и болтать. Лучше алкоголя действует! – Голос его звучал громко, на него оглянулись прохожие.

– "Один день Ивана Денисовича" – превосходный язык, – сказал он. – Школа двадцатых годов. Тогда ещё была писательская культура. От

Андрея Белого. Все они от него. От Андрея Белого много линий. Вот последующие поколения и разрабатывали. Да все от него: и Бабель, и Платонов, и помельче. Есть имитация, а есть влияние. Под могучим влиянием Белого. Но если человек творческий, высокого ранга, то это для него только благодатная почва, чтобы выработался свой стиль. Маломальски одарённый человек не может пройти мимо такой громадной фигуры. Это невозможно. Белого ведь не издавали шестьдесят лет. Специально, чтобы затушевать. Словно эти писатели с их качеством письма, языком и формами сами по себе, а не от него, словно это их самостоятельная заслуга. И теперь так получается, что читать Белого после них трудновато. Они его опростили, используя. У всех тех писателей есть хоть по одной сильной книге. У Фадеева – "Разгром". А что он потом стал писать? И у Катаева есть, и у Сейфуллиной. У всех. А вот следующее поколение советской литературы – это уже чистейшая имитация, резкое падение уровня. Кто кому имитировал. Очень многие Маяковскому. Роберт Рождественский – самый крупный из имитаторов Маяковского. Нет силы таланта на свой стиль.

Всё-таки, я не понимаю: как это получилось с Пастернаком. Необъяснимо. То, что он сломался: духовно, психически. "Сестра моя – жизнь" – лучшая в мире книга стихов. Откуда-то на него свалилась эта мистическая напряжённость, музыкальность. Единственная книга стихов такого ранга за всю историю России. До этого у него так себе, мелькало несколько стишков. Подумаешь: "Поверх барьеров", "Близнец в тучах". У Асеева сильнее было, железный стих. А Пастернак: поехал на Урал, там свободно вздохнул и открылся. Гений! Привез в Москву, показал. Маяковский сразу понял и восхитился. Пропагандировал везде. А он поэт противоположного типа. А после "Сестра моя – жизнь" – откат. "Лейтенант Шмидт" – это уже мёртвая конструкция. А дальше и совсем падение. То, что стал писать Пастернак, пишут тысячи. Да, конечно, не с ним одним это произошло. Но он гений, а они – нет. Наступило время полного сжатия, и они стали стих облегчать и облегчать, и облегчать. Но многие ведь не сломались. Хармс, к примеру. Он, может быть, и хотел по-другому, да не смог. Перешёл на детские стихи, но и там остался тем же Хармсом, с той же его хренотой, ничуть не слабее. Увидели, что – не изменился, продолжает своё лупить, вот и прикончили. Кирсанов разве сломался? Нет. До конца тот же, прекрасные стихи. Но Кирсанов не гений. А тот ведь – гений! В чём дело?

Я думаю, что такой уж он, Пастернак, значит, от рождения. Лёгко на компромисс с собой. Но ведь никто из гениев никогда не шёл на компромисс с собой! Такого не было в истории искусства! Это единственный случай! Платонов разве шёл на компромисс с собой? Нет. До конца был какой есть. Его и не печатали, так, изредка, в журналах. А книг его не издавали. Одну только: "Военные рассказы". Но и там его

сильный платоновский стиль, да ещё гоголевский героизм, тарасобульбовский. Внешние причины, тяжёлые условия жизни – ерунда.

Разве Вийона сломили тюрьмы и виселицы? Он и в тюрьме писал точно также сильно, в своём духе. И его "Большое завещание" и его "Малое завещание" отделаны точно также филигранно, как и всё, что он писал.

Алкей – у него какие условия жизни? Нищий офицер. Кормился мечом. Устроил революцию на Лесбосе. Умер от ран.

А Цветаева! Она была поставлена в тысячекратно более тяжёлые условия, чем Пастернак. Двое детей, вечная стирка. Не только не сломалась, а наоборот: тут-то она и взвилась!

Маяковский сломался? Ничего подобного. У Маяковского был свой точный путь. То, к чему он вышел – закономерно. Лубки. Литература факта. То, что у Родченко. Потом – и фельетоны в стихах. Тот же полноценный стих, только голый. И для спичечных коробков он писал стихи. Почему нет. Что за чистоплюйство. И я стал бы писать для спичечных коробков, если бы этого не было уже у Маяковского. А так – путь закрыт. Всё это открытия Маяковского, новые формы стиха. Это ещё оценят в своё время. Пока не понимают. Советские поэты тоже потом стали писать стихотворные фельетоны. Вот и Евтушенко старался. Но какие это фельетоны! Рядом с могучим Эверестом какая-то пыль. Маяковский ведь открыл новую форму искусства для всего мира: рекламу. Это он первый. Конечно, после его ранних библейских поэм всё это выглядит ужасно. Но ужасно это для слюней. Для меня это ужасно не выглядит, а как раз вполне нормально. А его "Во весь голос" – гениальная поэма. Знаешь, есть стиль оратора, и есть стиль синицы. Это гениальная ораторская поэма. С такой мощью! Действительно – во весь голос! Ни у кого никогда в мире такого не было. Это не то, что пастернаковское шамканье и полное падение стиха.

Вагинов тоже не изменил себе. Небольшой писатель, но со своим сильным "я", свой внутренний мир. Какой-никакой, но сам с собой.

Леонид Мартынов – десять лет на высылках, та же тюрьма. А вернулся всё тот же – светлый, свежий, много музыки своей. Прекрасный поэт. Но не гений – как Пастернак. Тот-то – гений! А сломался. Давно это меня тревожит. С юности. В юности ведь всё с прикидкой на себя. Как же так! Он, Пастернак, один такой в мире, за всю историю. Позорит свой цех гениев.

На стихах никто из них не разбогател. Другое дело, когда это врождённое. Гюго, Дюма – сказочники. Гюго – космический. Дюма, тот – мушкетёры. Таким стилия и не требуется. Хотя я уверен, по-французски написано вполне грамотно. Ну, Бальзак, это полудурок, так и не разбогател. Деньги у него проваливались в бездонную бочку.

Зощенко переводил. Превосходно перевёл финский роман "За спичками". Для писателя это не труд. А деньги – о! Это называется, его третировали, изоляция. А жить стал ещё и лучше. Рекламу на весь мир сделали ему этими преследованиями. Тогда-то мир его и узнал – какой отличный писатель. Гонимые, знаешь...

Кропоткин в своей "Этике" спокойно пишет, как при побеге с каторги он съел человека. Да, он, Кропоткин – этический писатель! Свободомыслящий. Относительно людей он был свободен. Анархист. Нет, я никогда бы не смог такое. Тут у меня свободы нет: такой свободы. Я не могу не учитывать людей. Не мог, никогда. С людьми я несвободен. Да и брезгливость моя. Я ведь относительно много брезглив. Например, к махинациям.

У Пришвина от Белого – ничего. Он плохой писатель. В смысле – как написано. Но я имел в виду метод, новую тематику в русской литературе: писать всякую ерунду, всё, что видишь. Вот это и открыл Пришвин. Много пустого, но, нет, нет да и попадутся меткие наблюдения. А Бианки пошёл ещё дальше: тот о людях вообще не писал, как будто их и нет. Только о зверях. Сходит в лес, посмотрит, запишет. Конечно, так можно написать – ого-го! Каждый день по странице и то в год триста шестьдесят три, целый том наберётся. А за жизнь?

Да, типа дневников. Но в русской литературе жанр дневника не разработан. Да, у японцев это тысячелетняя традиция. У них всё отточено. И концентрация, сжатость. Это их излюбленный литературный жанр. Русского дневника не может и быть. Потому что дневники тут писать опасно. Нельзя показать записи. Дневники – это полная свобода пишущего. А какая же тут свобода? Тоже – и автобиографии, воспоминания. Русских мемуаров, как жанра, нет. Я много раз пытался писать автобиографию и не мог. Я-то свободный человек, а всё же многие ещё живущие люди затрагиваются. Ведь если бы я настроился на это, то стал бы писать в полную силу. Иначе я не могу. Но с моим методом, что бы я сделал, во что бы превратились факты: я бы стал преувеличивать, фантазировать, так, что у всех бы волосы встали дыбом. Достаточно и тех книг, уже написанных мной, от которых все шарахаются. Биография – такой материал. Много натурализма. Вот что меня отвращает. Не моё амплуа. Я ведь всегда дозирую моменты натурализма, я же не реалист, перо-то другое, я бы нагромоздил. Только внешнее правдоподобие, а факт преобразается фантазией до противоположного смысла.

Тот материал моей жизни: война, солдатчина, завод – такую книгу писать, браться за такое? Зачем? Два года копать в жуткой, напряжённой грязи. Да ну! Скучно. Это ведь надо много выдумать, найти много деталей.

14 ноября 1999 года. Сегодня я пришёл к нему в новом пальто.

– Ты как мафиози, – сказал он весело. – Раздевайся, а я пока достучу на машинке фразу. Пришвина-то зря я ругал. Целые куски прекрасные. Что-то вроде Ремизова. Только попроще. Книга стихов моя вышла. С моими рисунками. Вот, видишь. Только текст рядом с рисунком их сильно бьёт.

Когда мы вошли в лес, он заговорил о Горбовском:

– Позвонил мне и напросился на приглашение. Это было моей большой ошибкой. Я знаком с Горбовским с восемнадцати лет, его стиль: пить на халяву. Встал из-за стола с таким вот пузом и первый его тост был: "За русский дух!". Горбовского могила исправит. Какой он алкоголик! Настоящий алкоголик пьёт без оглядки, насмерть. А этот трус, границу переходить боится, он просто пьяница. Настоящий алкоголик с пьяницей никогда пить не станет. Всё. Больше я Горбовского на порог не пушу. Это была последняя встреча. Мразь человек, но таланта его это не снимает. По-уголовному – сука. Ведь продался коммунистам, лизал им задницу. И чины имел. Двадцать лет носил это чугунное коммунистическое пальто и этот чугунный коммунистический костюм. Всё, хватит о Горбовском!

Минут пять мы шли молча, потом он заговорил опять:

– Да, талант, это, конечно, бесстрашие, только внутреннее, наедине с собой. А в жизни могут быть при этом трусы. Сколько примеров. Почитай биографии. Гораций – трус. Бросил щит и бежал с поля боя. За это его едва не казнили. А другие – храбрецы во всём. И так и так.

Я не мог говорить: что все французские писатели рациональны. Всякие есть, как и у других наций. Бальзак, Камю – рациональны. Нодье рационален от макушки до пят. А Нерваль – нет. И Мирбо отнюдь не рационален. Да много. О поэтах тем более нельзя сказать. Стихи же непередаваемы. Как звучит на том языке – неизвестно. Всегда худший переводит лучшего, и всё гибнет. А если и Пастернак переводит Шекспира – это не Шекспир, это хуже оригинала. Переводы Жуковского немецких поэтов и оригиналы – ничего близкого. Так и должно быть. Возьми, скажем, "Экклесиаст": "Всё суета сует". Вот великая истина! Спасибо! Но ведь древние превозносили же за что-то эту книгу. Она, поэма эта, звучала на их языке. А на нашем не звучит. И мы её не понимаем. В чём тут дело? Закрыто.

Риторика риторике рознь. Когда в риторике есть накал и художественность, тем более, ирония – это уже не риторика, то есть речи, это уже поэтика. И у Цицерона есть такие раскалённые речи. А вот, например, из коммунистического манифеста: "Призрак коммунизма бродит по Европе". Это уже поэзия! А Цветаева! Много ли у неё образов? Одни декларации. Но её могучая звукопись их поднимает на

библейскую высоту. Да и вся Библия из деклараций. Но как они звучат! Там ритм, это всё стихи, поэмы.

У каждого народа свой менталитет: то, чем восторгаются и от чего трепещут французы, непонятно немцам или испанцам. Одни равнодушны к тому, из-за чего плачут другие. Вот я пробовал переводить сербского поэта двенадцатого века Негошу, его поэму "Золотой венец". Там ритм, который переводится на русский язык что-то вроде: "Расцвела сирень у нас в садочке". Частушечный. А в оригинале звучит совсем иначе, звуки другие, вся звуковая система языка. Адекватного в русском не найти. Белград, например, у них звучит: Београд. Таким образом гениальный звук при переводе гибнет. А даже прагматический текст может звучать могуче – вот как в Библии.

Да, занимаются размышлениями. Все литературы – морализаторские, так или иначе. У всех литератур установка на мораль, обязательно под этим углом. Теперь этот морализм сильно себя скомпрометировал. Как же! Люди любят читать размышления великих писателей. Открывают для себя приятную новость: вот, оказывается, и они также думают, как величайший мудрец в мире! А попадётся им что-то художественное – это их ошеломяет, им непонятно. Ведь никто не понимает ни стихов, ни рисунков. И большинство поэтов и художников – тоже самое, не понимают! Да, да. Чему ты удивляешься. Да и как иначе. Это ведь вот как: создаются высокие произведения искусства. Но кто их видит? Слепые же все. Они, эти гении, невидимы. Проходит сто лет, больше. Пока не появится поколение зрячих. Да и то: поколение – громко звучит. Единицы. И опять поднимают тот же высокий уровень.

Сколько бы смыслов ты не вкладывал, они, люди, увидят только свой вот такой спичечный смысл. Потому что другого в их глаз не заложено, с чем родились, так и видят. Всё равно никто никогда не поймёт: как ты писал и что ты писал. Попытки объяснений себя бесполезны и бессмысленны. Поэтому никогда не надо ничего объяснять и объясняться. В шестнадцать лет я уже установил для себя на всю жизнь: взяв перо, оставь надежду. Будущее – только смерть. Отсюда и всеобщее – оставь надежду. Ничего не будет и ничего нет, кроме того, что ты думаешь сейчас. Живи этим мигом. Вот и всё. Просто. Нет, надеются, строят планы, живут миражами. Художники из моего окружения тоже жили по принципу "оставь надежду". Михнов прежде всего. Они хорошо знали жестокость жизни. Уповать тут не на что. И Библия на этом. Библия ведь не оставляет никакой надежды. Там всё жестоко. Нет надежды и у Будды. У него-то и вовсе никакой. В Библии бог сам себе противоречит постоянно. С ним людям было легко, говорили с богом по-домашнему. Иов – это же домашняя беседа с богом, как с равным. Упрекает, что несправедливо поступил, аргументы

неопровержимы, как тот не увильзает. Иов долбит и долбит своё. Бог думает: да ну его, зануду этого, осточертел, пусть получает всё своё обратно. Хрен с ним. Чем не домашняя перебранка. Бог – невидимка. Очень умно сделал создатель этой книги. А потом церковь стала рисовать этого бога на иконах. Что вышло, мы знаем.

От графомании не избавлены и большие писатели, иначе – отчего же столько томов. Я свои дневники все сожгу. Оставлю только, где есть рисунки. Потому что дневник – материал, и я сам не знаю, куда и к чему приведёт обработка. Так я пишу, моя особенность. Кроме того – чтобы не создавали мне потом по этим дневникам величие. Потому что, знаешь, великий и летучий не сочетаются. Как это ни назови: одарённость, божественность, гений, энергия. При чём тут величие? Великие это те, кто размышляет за всех на земле, объявляет одну на всех и на все века единственную истину. Этим величием набивают гробы и потом им молятся поколение за поколением. Катулл – летучий, а не великий. Летаёт, крылья, гений, летучий он! Разве у него есть какие-то философствования?

У Монтеня античные новеллы, Возрождение, очень интересно, живо. А размышлений – так себе, немного, можно и пропустить.

У латиноамериканцев много прекрасных писателей. У них много своих легенд. Да, Маркес мне нравится, а Кортасара я не люблю. Но кто ж его знает, как Кортасар звучит на их языке. Мы понять этого не можем, недоступно.

Мы остановились у железнодорожной насыпи. Поезд гудел вдали. Успеем ли перебраться через рельсы?

– Так и жизнь пройдёт, как Азорские острова – сказал он. – Я боюсь сумасшедших. Сейчас все чокнутые. Ты – единственный нормальный из пишущих. У Пришвина тот же принцип наблюдательности, что и у меня, то есть – мгновенное наблюдение. А не сидеть и тупо наблюдать за чем-нибудь. Глаз у него работал.

Когда мы вышли к городским домам и пошли по улице, которую пересекал трамвай, он показал на небо:

– Видишь: закат в чёрных и красных мечях. Мне надо много говорить, а то у меня разовьётся заикание, это связано с моей глухотой, – объяснил он, – вот я на тебе и тренируюсь в речах на наших прогулках. Утомительна, должен я тебе сказать, эта болтовня.

19 ноября 1999 года. Он надел кожаную шапку на меховой подкладке, с наушниками. У него уши бояться мороза, как он выразился, отморожены ещё в армии. Стал говорить о своей новой книге стихов:

– Разумеется, я отобрал эти стихи из множества, которое отбросил. Так ведь всегда и происходит. Никто не писал так, чтобы одни шедевры с

пера лились. У великих тоже говна предостаточно. Никто от этого не уберётся. Но отобрать актив – это я в силах и в своей воле. Что и делаю. Какое мне дело до того, что другие не отбирают. У себя-то я отбираю – вот и всё. Если бы они стали у себя отбирать, то оказалось бы, что выбирать и нечего. Пришлось бы всё выкидывать, всё в печи сжечь, что они написали, все свои бесчисленные тома. Как же! Им и в голову не придёт сжечь хоть одну свою страничку. Если бы я оставлял всё, что мной написано – ужас! Вся комната была бы забита бумагой от потолка до пола, ройся в ней, как крыса!

В лесу тихо, дорожка заснежена. Перейдя мостик, повернули налево и пошли у ручья.

– Что Хармс, что Зощенко – повторяют один и тот же свой трафарет, – сказал он. – У Хармса ещё и философствования на две трети. То, что я написал о Цезаре – зря. Зачем эти возвеличивания. Это получается: ходят насекомые и рассуждают о тиграх. Но у меня Цезарь – это метафора энергии. А так – хорош Цезарь: миллион пленных уничтожил и не моргнул. В Рим пленных не вели. Перенаселён. Города всегда на горах строили, потому и города, что – на горах. А этот придурок Пётр на болоте построил.

Книга Марко Поло, да, живо написано, талантливо. Списал с арабских сказок. Теперь уж точно доказано: никогда он в Китае не был. Всё сочинил, фантазии и чудеса, легенды, анекдоты. Буйная фантазия у человека. Писал в своей Венеции, никуда не выезжая. Талантливо написано, легко читается. Что ещё надо? А какова действительность – иди и смотри. Если не дурак, сам увидишь: скука, мрак, ужас. Лучше уж о дворцах и чудесах сочинять. Да и арабские сказки списаны с вавилонских. Откуда у арабов такое богатство, как в этих сказках рассказывается, все эти сокровища? Ясно – от Вавилона. Да вавилонское царство и описано: Багдад это же вавилонский город. А наш Афанасьев русские сказки откуда взял? Главную часть от братьев Гримм. Выбрал самые мрачные сказки, чтобы как раз подошли к русскому колориту, вписались в русскую жизнь. А весёлые сказки, скажем, "Бременские музыканты", уж никак бы нам негодились. А вообще весь русский сказочный эпос – перевод с каракалпакского.

Прочитал я недавно биографию Эдит Пиаф. Ужасная у неё жизнь была. Из низов. Мать проститутка. Отец – уличный акrobat. Вот и вся её интеллигентность. По сути дела – безграмотная. А голос! Иерихонская труба! Алкоголь, наркотики. Такое жуткое напряжение всё время, надо же было чем-то его снимать. К тому же у неё и рак ещё. И сорока не было ей. Такие долго не живут. В Америке зал ей кричал: "Держись, малютка!" И кидали ей на сцену доллары. А она стоит, дрожит, кулаки сжала. И поёт. Как поёт!

Та же жизнь и у актёров. Так что лучше бы людям подальше от этих искусств. Такие не видели света божьего, понимаешь! Жить им было некогда.

29 декабря 1999 года. У него на столе, украшенные игрушками, еловые ветви в вазе.

– У меня идёт поэма, – сказал он, складывая листы стопкой. – Начал в Германии, на прогулках. Делать-то было нечего, вот и закрутилось в голове. Назвал: "Сюита конца". На этот раз ни одной ноты на басах. Всё на минорной скрипичной стороне фортепьянной клавиатуры. Это у Маяковского – басы, орган, во весь голос. У Хлебникова больше скрипка. А у меня – посередине. Тоже – скрипка скорее. С Маяковским – ничего общего, кроме корней – библейских. По два сердечных приступа в день. Так что эта моя новая поэма – стихотворная агония. Это у Нижинского сказано, и в японском трактате о театре Но "Предание о цветке стиля": что приобретённая грация, полученная в обучении с возрастом может пропасть, а грация врождённая ничем не ограничена, беспредельна и пропадает только со смертью. Вот и у меня стихи вернулись в шестьдесят три года. А пятнадцать лет стихов не писал.

Пошли гулять. Опять спустились в наш подвальчик выпить чая. Сидя за столиком в ожидании, когда нам подадут, он сказал:

– Эту автобиографическую книгу я писать не буду. Да, "На этих берегах". Не могу. Такое надо писать легко, рассказывая. А у меня стиль тяжёлый, негодный для такого типа книги. Я не могу писать ненапряжённо. И потом – вспоминать это всё, копать. Я хотел, чтобы имена тех ребят остались, написать об особой психике этих людей. Героическая психика. Это же всё смертники, камикадзе. И они сами сделали свой выбор.

Я сообщил ему, что пишу книгу: "Дневник конца". Он удивился:

– Что же это ты можешь писать – из головы? Из моих рассказов? Нет, так не годится. Такая книга имела бы смысл, если бы она была фактологическая. То есть: записи фактов. Выписки из газет, разговоры, анекдоты, слухи, сплетни, состояние людей, себя. Такой был "Блокадный дневник" Панова. Первый муж писательницы Пановой, журналист. Сильная, честная, правдивая книга. Дневник этот так и не был опубликован. Может быть, хранится в сейфах КГБ.

Грядут чудовищные катаклизмы. Ураганы, бури. В Америке штат Аризона до сих пор пустует. А что сейчас в Европе делается, во Франции! Разрушены тысячи домов, трёхвековые гигантские деревья вырваны с корнем. То ли ещё будет.

Но у тебя эта тема не подтверждена твоей реальной жизнью. Другое дело – у меня. Моя жизнь – это же постоянно на грани смерти. В два месяца от рождения – операция на голове: отрезали вторую голову. В три года ползал на четвереньках: костный туберкулёз, ноги в гипсе. Потом – партизанский отряд дяди на Кубани. Потом – с отцом по фронтам. Служба в армии, испытание атомной бомбы на Новой земле. Пьянки насмерть, бесконечные операции, под ножами хирургов. И так – до настоящего дня. Смертник, камикадзе. И это врождённое, психика, передаваемая из поколения в поколение. У меня же в роду все военные по отцовской линии. То есть, те же смертники. А камикадзе из простого рода не бывает. Только из благородных, из дворян. Это опять же – психика. По материнской линии – раввины и гангстеры. В Бразилии целый клан. У меня ведь во всём мной написанном, начиная со "Слова о полку Игореве" и кончая последней книгой, эта тема конца сквозная, постоянная, проходит лейтмотивом, это главная моя тема. И во всех написанных мной книгах – психика войны, напряжённость, как в бою. Так что о самой войне мне писать решительно незачем.

Гуляли в лесу, снег пушистый, выпавший утром, лыжники.

– За десять дней, как вернулся из Германии – обвал звонков, – сказал он. – Предложения посыпались из издательств: выпустить мои книги, двух, трёхтомники. Даже из Оренбурга. С чего бы это всё? Я не понимаю. Может быть, диктатуре понадобились сильные личности – и в культуре и в искусстве? А я ведь в литературе и сам диктатор. Я всю свою жизнь диктую в книгах своё.

Я никогда ни о чём не мечтал. Что такое мечтать – я не знаю. Мечтания мне неприсущи, этим-то я и отличаюсь от прочих людей. Да эта страна и не располагает к мечтаниям. Разве ты, например, к мечтаниям расположен?

Самое музыкальное стихотворение Хлебникова – "Семеро". Я всегда считал, что оно по ритму уникально в русской поэтике. И вдруг, в Германии, в библиотеке моего приятеля, где я жил, в переводах шотландских баллад Алексея Константиновича Толстого – стихотворение с точно таким же ритмом! Вот тебе и новшество! Для меня это был шок! Хлебников перешпарил строчка в строчку. Конечно, у Хлебникова духовно в тысячу крат сильнее. Но и у Толстого сильно, футуристично за сто лет до футуристов. Не написать ли и мне третий вариант этого стихотворения. Только за подлинник взять не Хлебникова, разумеется. Там уже ничего не сделаешь. Вот видишь: как в литературе. Книга всегда возникает от другой книги. Во всяком случае, так у больших поэтов и писателей. А у малых из ничего берётся, в ничто и уходит. И говорить о них нечего.

Да, я-то думал, что я первый использовал этот приём:

перефантазировать чужое произведение. У меня это: "Слово о полку Игореве" и "Баллада Редингской тюрьмы". А, оказывается, Хлебников всё же первый. Да ну, первый! Это у всех. Это самый древний и распространённый приём. Пушкин весь состоит из чужих строк, только по-своему связанных. Этаким всеобъемлющий коллаж из всего им прочитанного и захваченного у других поэтов. А говорят: современная поэтика, постмодернизм. Какая чепуха! Только у Пушкина органично, а у наших Паршиковых – грубо, внешне.

Который час? Четвертый? О, пора домой. У меня в четыре назначена встреча с издателем. Да, не очень-то поторопишься, шаг шире не получится – башмаки такие фашистские. Вот и твои: "Восемь медных ос". Ведь ты украл у Брэдли. Да, в чём ты себя найдёшь. Вот вопрос.

Мы шли по улице, начинало темнеть, сырой снег, фары машин, ларьки, мандарины, ёлки несут.

Дома мы были ровно в четыре. Издатель ещё не приходил. Прощаясь, он пожал мне руку:

– Передавай поздравления с Новым годом своей Ларисе, домашним. А я ведь Новый год уже отпраздновал. У меня по своему календарю. – Он поглядел на себя в зеркало, которое висит у него в прихожей, – Да, теперь я стал похож на Ричарда Третьего: и лицо такое длинное, сплющенное и волосы эти седые крыльями до плеч.

2000 год

9 января 2000 года. Накануне вечером он позвонил мне по телефону: "Не пора ли тебе ко мне ехать, выводить меня на прогулку?" Когда я пришёл к нему, как обычно, в час дня, он сразу заговорил о чеченской войне.

– Чеченцы народ особый, – сказал он. – Они же все с радостью идут на смерть. Потому что такие люди. Им больше некуда деть энергию, им надо воевать всегда, они не могут жить мирно, в бездействии. У них нет выхода ни в книги, ни в спорт, ни во что-нибудь ещё. Как вот я, например, воюю с бумагой, и автомат мне ни к чему. У них же нет иного применения своих сил.

На улице слякоть, таянье. Пили чай в новом месте. На втором этаже, закусочная. Широкий прилавок, красивая девушка-продавщица, музыка, телевизор. За столиками пьют водку. А мы – чай. Глядя на меня через столик по своему обыкновению прямо в глаза, он сказал:

– Эта моя автобиографическая книга так и не складывается. Разрозненные эпизоды, анекдоты. Пусто как-то. Нет нужной интонации. Да и зачем писать об этом. В таком жанре у меня ничего не получается. Прямо, в лоб, фактологически, о людях и событиях. Всю жизнь пробую. Таких людей, о ком я хочу написать, в мире много. Всё уже тысячу раз написано о подобных и ещё покрупней и позначительней этих. Тут нет никакого открытия. Вот что главное. Всё это общеизвестно. Кто не дурак, прочтает об этих людях между строк в уже написанных мной книгах, в фоне моих книг.

Пошли в лес, мглисто, сырой снег, порывы ветра.

– Я за последние годы совсем опустилсЯ, – сказал он. – Запустил себя. Полный упадок. Бессмысленно жить. По сути дела – установка на смерть. Дело в том, что теперь я оказался в полной блокаде. У меня всю жизнь было бесконечное движение: из города в город, от женщины к женщине, книга за книгой, рюмка за рюмкой. Всё шло в колесо. А тут колесо – бум, остановилось. Так что же ты хочешь. Что делать человеку, который привык быть в постоянном движении? Жить ради книг? Это уж совсем дрянь. Смешно, знаешь. Тогда у меня всё ведь было в комплексе: и поездки, и женщины, и здоровье, и друзья, такие же, как я сам, бешеные, равные мне и по таланту и по дури. Теперь всё распалось по всем пунктам. Ни того, ни второго, ни третьего. Если бы рядом со мной был человек, равный мне по энергии и таланту, такой поэт. Хоть бы я знал, что такой есть где-то тут, это бы меня поддерживало и заряжало. Я в полном вакууме.

Да, Генрих Шеф, комплекс гения. Выбросился в окно.

Писатель крупнее Битова. Нет политики, значит, настоящий писатель. А вот Игорь Демиденко, мой друг, жил без комплекса гения. Прекрасный профессиональной художник, режиссёр. Тоже – самоубийство, тоже – из окна. Он был гений жизнелюбия, всю планету хотел обхватить. И этот – ни минуты покоя, как ртуть. Таких живых людей я больше не встречал. Приключение на приключении. Неудачная операция на позвоночнике. Человеку, который крутился, как вихрь, вдруг сидеть в неподвижности. Это уже не жизнь.

С девяносто второго года у меня всего-то две книги: та, китайская повесть, и эта – стихи. За восемь лет всего две вспышки. И то удивительно. Там пятьдесят страничек, и там – пятьдесят. Всего сто. Да, другие живут ради книг. Потому что – ни проблеска. Ни у Битова, ни у Вознесенского, ни у Горбовского. Нет, у Битова я всё же нашёл превосходный кусок на полторы странички. Я могу их, этих писателей, оценить, но всё это для меня далеко, не мой ранг. Видно, всё-таки, я не графоман. Я-то ведь свой шлак уничтожаю. Написал-то я за эти восемь

лет много, тысячи страниц, но это же чисто механически, привычка, я не могу не писать. Но всё это надо сжечь. Да, а раньше у меня книги шли через каждые восемь месяцев.

А есть и статика, которая сильнее движения. Эта статика – театр Гротовского. Или так: двое стоят, без оружия, без ничего, а тысячи в ужасе от них бегут. Всего лишь стоят. Так стоят! Нинзя. Я сам хотел к ним попасть. Но европейцам туда путь закрыт. Такой равен миллиону. Или миллиарду. Принцип: силы человека неисчерпаемы.

Никогда я не ставил цели – устроиться в жизни. Это в меня не заложено. Просто-напросто отсутствует в организме. Мог жениться на миллионершах. В таком кругу вращался. Но это не было моей целью. Мой путь – бежать дальше.

14 января 2000 года. Впустив меня в квартиру, он предупредил:

– Не раздевайся, через минуту я буду готов.

Я стоял у двери, в пальто, в шапке, ждал. Он ходил по квартире, то одно не мог найти, то другое. Так прошло едва ли не полчаса. Мне стало жарко. Наконец, он собрался и мы вышли.

– Я окончательно решил не писать эту автобиографическую книгу, – сказал он на улице. – Всё это были герои, люди мне равные по энергии. Об отце что я буду писать? У меня нет документов. Нужны факты. Когда-нибудь и без меня раскопают и всё это напишут.

Дошли до леса, гололедица, он держался за мой рукав, чтоб не упасть.

– Вот интересная тема: писатели на войне, – продолжал он. – В том смысле, что истинно талантливые писатели и на войне – выдающиеся воины, храбрецы, герои. Лермонтов, Батюшков, Денис Давыдов, Фёдор Глинка, Одоевский, Марлинский. Да много. В двадцатом веке – Блок, Гумилёв, Платонов. Футуристы избегали войны идеологически. Единственный из футуристов Бенедикт Лившиц не уклонился, прошёл всю войну до конца. А Лев Толстой был трус. Слабые писатели и на войне слабы. Эта энергия даётся в комплексе. И быстрота. А писания Толстого статичны. Я дарю тебе эту тему для твоих будущих научных работ. Сколько я уже подарил тебе таких тем! Вот что я делаю перед смертью – разбазариваю. Как Пушкин – Гоголю. Да ну, ничего Пушкин Гоголю не дарил. Это Гоголь придумал. "Мёртвые души" – анекдот, ходивший по всей России. Лев Толстой всех героев принижал. Занижал до своего уровня. Как он дал Наполеона в "Войне и мире"? Карикатура. Моська из слона сделала равную себе моську. А Наташа Ростова! Вначале такая живая! А под конец книги превратил её в какой-то кисель. Клуха, неряха, баба. А герой войны, командир летучих отрядов Денис Давыдов –

с каким восторгом он пишет о Наполеоне и старой гвардии, о храбрости французов! Для него Наполеон – великий полководец, гений войны. У Пушкина, Лермонтова отношение к Наполеону – точно такое же. А как давал войну Гоголь, какими героями показывал своих запорожцев! А "Военные рассказы" Платонова! Тот же гоголевский дух. О чём это говорит? Назовём их так: героические писатели. Каковы они сами, каков их героический дух, таковыми они делают и героев в своих книгах. А трусы делают трусов. Героические писатели жизнь героизируют. А реалисты дегероизируют жизнь. Реалисты – это люди, лишённые воображения. Реализм – это отсутствие таланта. Неталантливость, вот и всё. Тупость и реализм – синонимы. Нет, реализм реализму рознь. У древних это другое. Ксенофонт, "Анабасис" – первый в мире военный роман. Сухой, трезвый, детальный стиль. Там сила, мощь. Да, и Дефо. Этот даже гвозди у Робинзона Крузо пересчитывал. Талант – это энергия. Так скажем.

Вот ещё что: такие героические писатели никогда не придавали писательству первичное значение. Для них на первом месте всегда была жизнь. Они жили! Все они были чрезвычайно живые люди. Пушкин – женщины, вино, карты. Лермонтов – война. Гоголь – ну, этого сама жизнь замкнула в круг. Вытеснен из жизни. Ему ничего не оставалось, как взять своё в книгах, то, чего не было дано в жизни. Так у многих. В живописи – Рембрандт под старость. А вот Гойя до конца куролесил, глухой. У Бальзака была идея фикс, он думал: на книгах он разбогатеет, только для этого он и пишет. Деньги – главное. А сам громадные суммы спускал за месяц в безумных аферах. И – опять за бессонный стол и потоки кофе. Знал же он, что губит себя, что – смерть. Не мог не писать. А не пишется, так не пишется. Никакой трагедии. У меня всегда были перерывы: три месяца, год, два года.

– Ты давно был в букинистике на Литейном? – спросил он вдруг. – Ах, какую я там видел книгу осенью, перед поездкой в Германию на операцию! Семнадцатый век, рукописная, в бронзовом переплёте! Вот в такой бронзовой броне, на застёжках! Русские книги ценны только рукописные, они в единственном экземпляре и почерк уникальный.

Да, у Помяловского в "Очерках бурсы" чертовщина, как у Гоголя. Тоже герой, спился.

Мне всё равно, что будет после меня с моими книгами, я об этом меньше всего думаю. Да и что думать, это от меня уже не зависит.

21 января 2000 года. Вчера у него опять был сердечный приступ. Все-таки он решил идти гулять.

– Холодно на улице? – спросил он, надевая через голову свитер. – Минус пятнадцать? Не верю, это твои фантазии. Я в Сибири при

семидесяти мороза на лыжах катался с сопок. На лице шерстяная маска с прорезями для глаз.

В лесу много снега, мимо нас проносились лыжники. Мы брели потихоньку, грызя купленные по пути солёные фисташки и разговаривая.

– В советское время за мной тянулся шлейф легенд, – сказал он. – Ведь я крутился в высоких кругах, Арагон и прочее. Паустовский – писатель стопроцентно сентиментальный. А прозу строил хорошо, профессионально, вырисовывал. У Грина другое дело. У Грина есть "Крысолов" и ещё несколько гениальных рассказов. А все эти "Алые паруса", это, знаешь, оставим детям. Я детей терпеть не могу, как только вижу по телевизору, сразу переключаю программу. Мужчины вызывают у меня отвращение. Женщины – так, для постели. Ушла – и тут же забыл. Да хоть она через пять минут подорвись на mine – мне всё равно. Никак не забыть эту Новую землю, испытание атомной бомбы, вот где был взрыв! Загнали, как подопытных кроликов. Я всегда вхожу в мелочи, в этом я весь.

Карамзин лжив и слащав. "История государства Российского": каждое слово – ложь. Карамзин был любимый писатель Лихачёва. Этим всё сказано. Властям нужна такая вот правильная культура, стихи гладкие, правильные, крайностей нет ни в какую сторону, приличные, звезд с неба не хватают.

Мне теперь часто снится один и тот же кошмар: как нас, детей, в войну, в сорок пятом погнали в атаку, тридцать тысяч детей, от девяти до четырнадцати лет, а немецкая артиллерия била в нас прямой наводкой. Бежали, босые, оборванные, кто в чём, в пиджачках, в лохмотьях. Мало кто уцелел в той жуткой детской атаке. Мне или ничего не снится, или такие вот кошмары. Всю мою жизнь – такие сны. Других нет.

28 января 2000 года. Войдя вслед за ним в комнату, я увидел у него в машинке недопечатанный лист.

– Это письмо, – предупредил он мой вопрос. – В такую тьму не работается. А раньше и в дождь любил работать, бывало, и вечером. А то и не писал, и год, и два. Жил, пил, крутилось колесо жизни. Всегда был свободен от писанины, за перо не цеплялся. Отличительная моя черта. Мои книги, и стихи и проза – это конденсат. У меня воды не найдут. А как же! Ведь воду надо сливать. Мало кто сливает. Литература теперь – это фабрика воды. А настоящие писатели оставляют после себя томик, другой. Сколько у Гаршина? Да, томик. Опубликовать мои письма и дневники – тоже будет томов пятьдесят.

Пошли в лес. Гулять хорошо, морозец, снег под ногами поскрипывает.

– Горький же под конец ничего уже не писал, – сказал он. – Ну, "Клим Самгин". Разве это называется писать. Так можно писать километры. Никаких усилий. А для настоящей книги нужно колоссальное напряжение. Горький из русских писателей того времени – единственная мировая фигура. У него же была громадная слава, известность во всём мире.

Как назвать то состояние на войне. Зверское состояние. Но описывать я не могу. Описания не для меня. А деталей нет, собственно. Не хочу я об этом писать. Поневоле получится сентиментально. Убийцы. Их личность равняется ножу. Да, это заводит организм на сверхнапряжение и даже на срок – два часа или десять секунд, неважно. Чтобы сделать работу. То есть – бой. Организм в состоянии боя. Да, так я и пишу, и рисую. Это врождённая способность. Выработать невозможно. Цель – написать книгу. Тут бой с самим собой. Организм мобилизует все силы, входит в сверхсостояние, то есть – в боевое, победить. Победить самого себя. Что ж может быть выше такой цели?

Вся беда в том, что последние годы я живу не своей жизнью. Я привык к интенсивному движению, двигался всю жизнь. И спорт, и поездки, и широкое общение. А теперь – изоляция и неподвижность уже несколько лет. Куда-то ехать? Но я ничего не могу делать бессмысленно. Ходить в музеи? Всё я видел. Да и вообще – ходить в музеи не мой стиль. Я сознаю, что в смысле такой врождённой подвижности я далеко не уникален. Таких в мире миллионы. В литературе не так. Гоголь в жизни был не очень подвижен, а в книгах своих – как стремителен! Также и Маяковский. В жизни не очень-то. Даже плавать не умел. А в книгах – молния! Пушкин в жизни чрезвычайно подвижен, как и в книгах. Лермонтов – в жизни, пожалуй. А "Герой нашего времени" ведь – статика. Что ж там подвижного? Там внутреннее напряжение. Блок – ещё как подвижен! Ходил по сорок километров каждый день, от Пряжки до Сестрорецка. Да ещё в кабаки заходил отдохнуть, постепенно ослабевая. Ведь алкоголики от вина ослабевают. А в стихах – сконцентрирован. Но это нельзя назвать подвижностью. А Мопассан как подвижен в жизни, всё время на своих яхтах! В книгах же – статика. У меня самого "Башня" статична. Естественно – я же там лежу. "Книга пустот" почти вся – статика. А "Дом дней" – вся движение. Но вообще-то, конечно, это не критерий. Потому что у крупного писателя всегда есть внутренняя динамика. Так называемое духовное напряжение. Не люблю я это слово. Дойдём до деревни и повернём. У меня пятнадцать кровей. Дед раввин из Витебска, по материнской линии. Громада. Расстреляли. По отцовской линии – шведы, жили в Эстонии, черноволосые, с голубыми глазами. Отец мой был такой.

Да, изоляция. Со мной избегают общаться. Естественно: собаки с волком не контактируют. Боятся. Однообразная жизнь, все дни сливаются в одно. Встаю, ем кусочек хлеба с колбасой, пью чай, чтобы привести себя в то рабочее состояние, при котором можно писать. Вздвинуть себя. А было ведь время, когда приводить себя в состояние не требовалось, само собой работалось, и писалось легко. А теперь сижу, сижу за столом, только чтобы отсидеть положенный срок. Многолетняя привычка работы. И хоть бы одно слово. Бессмысленное сиденье. Ну, одно слово в конце концов упадёт в голову.

Моему отцу в войну тоже прислали девку из НКВД, как и Горькому присылали жён. Восемнадцатилетняя, красивая. Я её ненавидел. Мне было десять лет, мальчик. Да, но мальчик, прошедший войну, маленький воин. Отец нарядил меня в форму Войска Польского и подарил пистолет с перламутровой рукояткой. Что-то мне мачеха сказала оскорбительное. Я достал пистолет, загнал её на кухню, приказал стоять у стены, не шевелясь, и обстрелял её точно по контуру фигуры от головы до ног, нарисовал пулями на стене.

4 февраля 2000 года.

– Поэму я закончил, – сообщил он. – Так, подшлифовать в солнечный день. Отравляюсь чаем, весь день чашка за чашкой, чтобы привести себя в то повышенное состояние, обрести то напряжение, при котором только и можно написать что-то настоящее. Да, взвинтить себя хорошенько. Нужен допинг. Для этого у меня и был алкоголь. Без алкоголя я и не написал бы ни одной своей книги. Я даже и не представляю, как бы я написал их без алкоголя. Да, для этого и наркотики. Все художники чем-то себя взвинчивали. Бальзак – потоками кофе. Нерваль, Бодлер, Эдгар По – опиумом. Без допинга что можно написать – вялую беллетристику. Это и видно сразу – что сейчас пишут. И Гоголь пил дай бог. Почитай Вересаева. Платонов – ну, тот пил страшно. Гаршин? Этому зачем были наркотики. Сумасшествие давало ему такое высокое состояние, такое напряжение, что наркотики – пустяк. Ему-то и карты в руки.

Прокл? Да, этого я читаю с удовольствием. Не то, что Плотин, которого ты мне приносил. У того ничего, кроме абстракций. Говорят, человек тем и выше животных, что он обладает абстрактным мышлением. Вот нашли достоинство! Да и давно обнаружили, что у животных этого мышления ничуть не меньше, чем у человека. А то, что животные книг не пишут, так и люди не пишут. Пишет-то кучка. Звери же одиноко живут, одиночество располагает думать о себе, о своей жизни. Думают, конечно. А как же объяснить самоубийства слонов, китов? Кошки, собаки, чуя конец, идут умирать в такое место, где их никто не увидит.

Да, когда пишет слякоть, то она и всё делает слякотью, о чём бы ни писала – о героях, о гениях, о подвигах. Всё сильное становится слизью, яркое – тусклым. Это закон.

Ну, Рим от греков взял только формы. Греческий дух последний раз блеснул у неоплатоников. Вокруг открытых Платоном принципов. Это Христианство морализовало мир. Доктрины трезвости и целомудрия! Маразм! Да если бы соблюдали их доктрины, весь мир бы вымер. А Христос со своей компанией как раз бражничал без передыху, со свадьбы на свадьбу, гулял по всей Галилее и пускался во все тяжкие. И блядей предостаточно. И Магдалина и Марфа, мывшая ему ноги. Есть же апокрифы, написано. Нет, этот парень мне нравится. И эта его нагорная проповедь: это же каскад парадоксов! Бьют по правой щеке – подставь левую. Представляю, какой был хохот у всех евреев. Они же были в те времена самые негнбимые воины. Так и воспринимали его слова – как парадокс. Хохмы с похмелья. А потом церковь стала подавать – словно это всерьёз, мораль. Так всё поворачивается в истории. Да, но лучше ни о чём этом не думать, а заниматься своим делом, – он показал на машинку у него на столе.

Пошли гулять. В лесу мрачно, метель, деревья качаются, снег сечёт лицо. Брели, пригибая головы. Ему было не прикурить, закигалка гасла.

– Я работал в театрах более десяти лет, – сказал он. – В том числе и в БДТ. Писал и обрабатывал тексты для постановки. Там колесо крутилось. Да, в то время я часто катался из Ленинграда в Москву ночным поездом. Все артисты тогда мотались. Брал купе на двоих, зная по опыту, что один не буду. И точно: дверь открывается, входит, улыбаясь, какая-нибудь знакомая актриса...

Метель разыгралась, ни зги не видно. Нас залепило снегом с головы до ног. Как бы не потерять дорогу. Повернули назад.

11 февраля 2000 года. Ровно в час позвонил к нему в дверь. Впустив меня, он сказал:

– Чем ты мне нравишься: приходишь всегда точно.

На столе у него я увидел книгу Симоны де Бовуар.

– Нет, это я не читаю, – ответил он. – Сентиментально. Это Нина читает.

В лесу он стал рассказывать:

– Первая поездка в Париж была для меня большим событием. Париж перевернул мою поэтику. Изменил полностью. Тогда-то моя поэтика и приняла так называемое образное направление, что у меня и до сих пор. Не метафорическое, это совсем не то. Не надо путать метафору и образ. Скажем так: утончённо-духовное. Если пользоваться пошлым определением. Так что у этого города есть своя магия. В Европе этот

метод первый открыл Малларме. Этот музыкальный строй. Бодлер – нет. У Бодлера установка – зло. Самих себя загромождают и сковывают внутренними догмами. А на Востоке этот метод – древняя традиция. Особенно в Китае, в живописи. Китайская живопись вся на этом. Тут-то всё видно в полной силе в их картинах. Как ни называй: магия, мистика, дуэнде, как у Лорки. Пушкин, может быть, и был таким рождён, но его время ему не дало это раскрыть. Литературный метод его времени был другой. Поэтому только одно стихотворение. Музыки-то у него достаточно. Только не та это музыка. Это больше присуще стихам, чем прозе. Это то, о чём у Лермонтова: "Есть речи – значенье темно иль ничтожно". А в стихах самого Лермонтова ничего такого нет, несколько строчек, может быть. А "Герой нашего времени" весь на этом, пронизан этой мистикой. Гоголь – весь это. А разве увидели это в Гоголе? Что Белинский увидел? Информацию, народность. Самого главного не видят.

У Маяковского этого мало. В ранних стихах, в "Облаке в штанах". Вдруг ясные образы в гуще его метафор. Он метафорический библейский поэт. Гениальный поэт. Но этого мало. Это потоком с неба – у Пастернака и у Хлебникова. Мистика и музыка. От Малларме, конечно. У Пастернака – сложные музыкальные композиции. А у Хлебникова ведь очень простые приёмы. Но какая чистота! Почитать книги Хлебникова всё равно, что подышать чистым кислородом после того, как долгое время дышал тяжёлым, заражённым воздухом. Подышать самой жизнью, чистым космосом, кристальностью. Жизнь и есть духовное.

Да, это и в "Слове о полку Игореве". Это и в русских народных песнях. Как и в испанских, цыганских. Об этом и писал Лорка: оперная певица по требованию зала запела простую народную мелодию, но дуэнде! А не то, к чему её приучила опера и спрос фальшивой публики европейских зал. А такая публика всегда фальшива и вкус её фальшив. Да и у Гаршина. Но эти толстовские и демократические идеи всё уничтожают. Ужасно! У Льва Толстого этого ни на грош. Конструктивист. У Белого – ничего этого абсолютно. Величайший гений форм, но этого у него – ни малейшего намёка. Не родился таким, а родился конструктивистом. Как Толстой, как Татлин, как Малевич. Надсона тоже погубила демократичность. А он первый в русской поэзии ввёл музыкальный метод Малларме. И никто из так называемых критиков этого не разглядел.

Ужасен догматизм. На то ведь и стиль, чтобы его менять. Набоков великий писатель. Его стиль от Андрея Белого, изощрённый. Но этот стиль у него не менялся всю жизнь. Так и Флобер. Ужасно однообразен. Долбил и долбил одно и тоже. Как не надоест! А у Гоголя все книги разные. Каждая книга – новый стиль. Да, и у Маяковского догматизм. У

него догматизм формы. И тут виной время. Опять оно. Такая тогда сложилась литературная ситуация, такой формальный метод. А есть люди, на которых время не действует. Они вне времени. Гоголь. Он жил вне какого-либо времени. Жил в своих фантазиях. Что ему время, то или это? Он и в Рим бежал, потому что тут в России ему всё жутко мешало. Что бы он ни делал – ничего не означало на фоне его книг. Ну, брал деньги у Жуковского, выпрашивал суммы. И что? Сын божий ничем не может запятнаться. Он выше всех пятен, которые здесь. А Лев Толстой полностью продукт своего времени. То есть – кусок дерьма. А великий писатель. А как же! Видишь ли: существует так называемое разнообразие в литературе. Если бы в искусстве было только одно то, мистическое – повеситься от такой скуки! Толстой ведь аристократический писатель. Мериме – абсолютно аристократический.

У меня первая такая книга с дуэнде – "Двенадцать сов". А вот первая, "Слово о полку Игореве" – нет. Там другое, звуковое, древние летописи. Но этого нет. И в "Хронике Ладоги" нет. "Башня" – нет. А вот "Дом дней" и "Книга пустот" – это полностью. Образное. Потому они и такие звенящие, эти книги. Да, и китайская моя повесть – тоже.

Образы ведь сами по себе нуль. Тут всё делает интуиция. Кстати, женщины лучше мужчин чувствуют живопись, хотя ничего не знают о формах. Цвет чувствуют чище. И музыку они чувствуют сильнее. Да, они этим одарены больше. А вот исполнители, как правило, мужчины. Этому нет ни объяснений, ни определений. Всё равно как объяснить, что такое глухота. Всё равно не поймёшь, пока не оглохнешь сам. Так и это. Да, то, что ты зовёшь – магия. И разве объяснишь эту магию другому? Надо самому быть этой магией. Скажем, многие понимают, что Гоголь блестящий писатель, но это, магию эту чувствуют единицы.

Читатель и писатель – одна и та же врождённая гениальность, дар. Или есть, или нет. И ничего я на Лито не мог дать никому в смысле этого понимания. Дать главное, то есть – чувствование этого. А, значит, всё бессмысленно. Всем ведь нужны только трюки. Христос превратил воду в вино. Чудо! Вот ученики в него и поверили и за ним пошли. Как не пойти за таким! Так и я на Лито показывал трюки. У Маяковского трюк – то, что он стал первый в мире пролетарский поэт. Он всех переживёт своей славой. А у Пастернака этого трюка нет. У Цветаевой нет. Толпе они и неинтересны. Это как детектив или торты в морду, обязательные в комедийных фильмах начала века. Так и у Платона. Была бы у него разве такая слава божественного в мире, не напиши он в старости своих "Тимея" и "Крития", где дал волю самым бредовым фантазиям? Он несознательно, так ему взбренило. Но тоже получился трюк для толпы. Чтоб шли за ним. А то истинное, главное в нём, что он сделал, остаётся непонятым, скрытым. Поэтому в древности предпочитали оставаться анонимами. Потому что понимали: безнадежно, всё равно понимания не

дождёшься. Тогда не было мыслей оставить след. Какой там след! На земле прошло бесследно тысячи цивилизаций. Полная безнадежность. И как раз поэтому и спокойствие и свобода. Руки развязаны. Спокойно делай сам для себя то, для чего ты рождён, своё дело. На что способен. Развивай в себе то, что считаешь своим делом. Насколько сможешь. Вот и всё. Проще простого. Ведь и еврейский бог – аноним. А китайцы и без бога прекрасно обходились. Да, пустота. Восприятие этого – только состояние, личное, и никакому описанию и определению не поддаётся.

Стемнело. Лес расступился, за стволами мигают дальние огоньки с шоссе.

– Ко всему можно привыкнуть, – сказал он, – к любым декорациям. Только к одному я привыкнуть никогда, не смогу: к мирной скуке. Вчера был чудесный солнечный день, я воодушевился и немного поработал. А потом сидел часа два, просто так смотря в окно. Такое замечательное состояние! Отрешённость. Да, что-то вроде медитации, но не преднамеренное. Просто так на что-то смотреть. Столбняк такой. Раньше ничего подобного у меня не бывало. Всегда в движении был, всю жизнь. А теперь вот...

В больницах, где я лежал с запоями, у меня была всегда одна и та же галлюцинация, очень яркая: как будто я на палубе старинного корабля, парусника, люди в средневековых костюмах, и меня куда-то тащат две женщины. Так и вижу эту палубу громадного корабля.

18 февраля 2000 года. Мы сели за стол. В машинке у него вставлен лист с напечатанным стихотворением. Разговор о литературоведении. Я пренебрежительно высказался об этой науке.

– Да нет, – резко возразил он, – это книги о книгах. Это такие же большие писатели, целый ряд: Шкловский, Трубецкой, Жирмунский, Якобсон, Конрад, Бахтин. С десяток имён. Их объект – книги. У них свои фантазии по поводу книг и они в своих фантазиях вполне свободны. Бахтин фантазирует по поводу Рабле, скажем. Это же прекрасно, когда есть свобода в литературоведении. Разумеется, таких немного. А все остальные – миллионы спекулирующих и паразитирующих. Слякоть и мертвечина. Но так ведь и во всём. В конце концов, единственный критерий – сила таланта.

Мы оделись и пошли на прогулку. На улице разговор продолжился:

– У тебя есть одна дурная черта, – сказал он: – ты всё обобщаешь. Этого нельзя делать. Так ведь оказывается незамеченным многое из живого и талантливого. Это значит многообразие заменять однообразием, делать догму. Как искоренить такую черту? Наверное, уже поздно. А это ведь самое главное. Ну, может быть, я тебя не так понял. Вот, где ты ещё найдёшь такую пару гуляющих, как мы с тобой: чтобы один молчал, а второй три часа без перерыва произносил речи?

Русский перевод Библии – не с арамейского, а с греческого. То есть: нужды греков да ещё нужды русского православия. Перевод, подгоняющий под идеи и мораль православия. Ужасно расслабляет оригинал, делает его однозначным и выхолощенным. Ведь Библия написана на древнееврейском. Православие даёт надежду на завтра, на воздаяние на том свете. Это ужасно расслабляет человека. Библия же в оригинале чрезвычайно многозначна, красочна, там много эротического, откровенного, перевод же всё это сглаживает, смягчает или совсем опускает, выбрасывает. Главная же мысль Библии – безнадёжность. Никакой надежды у человека нет. Поэтому живи сегодня так, как будто это твой последний день. То есть: живи с той полнотой, с тем напряжением, на какое ты только способен, на высшем накале. И ни на какое завтра не надейся. Всё делай сегодня. Такой принцип делает человека чрезвычайно сильным, собранным, сосредоточенным, жёстким, жизнестойким. Поэтому евреи и выжили и дожили до наших дней, единственный из древних народов. Они не выносили своих раненых с поля битвы. Пусть сами уползают. А здоровые воины должны биться с врагом, а не возиться с ранеными. Да, Библия – одна из самых сильных и самых жестоких книг в мире. Безнадёжность – жестокий принцип. И ещё одна мысль в этой книге: что жизнь мужчины это постоянная схватка. Не важно с кем – с врагом, с самим собой. Все в мире воюют друг с другом. Война всех против всех. Так устроен мир. Схватка и готовность к схватке делает мужчину сильным духом. Не только у Гераклита, это вообще у древних.

Многозначность – вот что важно. Стих многозначен: и так поверни, и так, и ещё как-то. Звуковое, живописное, композиция. Даже логика своя есть. Мысль. Ведь только у поэтов и есть настоящие мысли. Конечно, в комплексе всего перечисленного многозначия. В девятнадцатом веке считали, что Пушкин пустой, что у него нет никаких мыслей. Как будто стихи – это то, что наполняют или не наполняют мыслями. В двадцатом веке, наоборот, открыли, что Пушкин полон мыслей, что он философский поэт, разумеется, коммунистического образца. Да, в переводе вся многозначность, как правило, теряется. Шицзин считается у китайцев святой книга. Почему? Потому что это сборник древних мотивов, сборник песен. Они стали основанием всей поэтической культуры Китая. Ведь сами по себе эти стихи – ничего такого. Обыкновенно. Как многое такого же рода. Но, когда поются на мотив, то мотив придаёт им многозначие. Мотив всегда выход в мистическое. Так, скажем, у Окуджавы. Вне исполнения стихи сами по себе – так, хорошие стихи и не больше. А в песне звучат совсем по-иному, звучат мистически, чрезвычайно многозначно. Так и все песни. У русских очень мало. Может быть, несколько народных песен. Все великие песни – цыганские и еврейские. Я

слышал испанские песни – потрясающе! А испанские и есть – цыганские и еврейские. Нет, это не значит, что певучие народы, а значит, что им дана музыка, дар музыки в них заложен. Они же не знают культуры, эти певцы дуэнде. Многозначность японского стиха – да. Китайского – несколько древних поэтов: Ду Фу, Ли Бо...

Возьми Горбовского: ему и не надо культуры. Он и не был для неё рождён, и не знал её. И чужих стихов не знал и не читал. Ему дано было интуитивно схватить и сделать то малое, что он сделал. Те его ранние стихи – интуитивные, энергичные. Дальше, естественно, очень скоро себя исчерпал, так как нет знаний, нет пути. Неизбежные повторы себя и ослабление, спад. Ему не дано было родиться с полной чашей, ему дано было родиться с рюмкой, но этой рюмкой он отзвенел вовсю, и пустой она не была.

Глухота меня изменила, всё моё восприятие мира изменилось. От глухоты открылась музыка, память звуков. Обострилось восприятие музыкальное. Ведь Бетховен лучшие свои вещи написал глухим. У меня музыкальны и последние стихи и книги прозы, начиная с "Дома дней". Эту музыкальную линию никто у меня так и не увидел и не понял. Только Пикач. Да, эта статья Пикача. Видно, что он любит это, но подводит логику. Впрочем, это грех всех литературоведов и критиков. А, так это ты и имел ввиду? Что же, значит, и Бахтин и Шкловский тоже подводили логику под музыку? Да, ты прав. Ну, конечно. Ведь и структурализм Якобсона отсюда. Да, разумеется. Может быть, у тебя и есть чувство музыки. Я не отрицаю. Ты вообще для меня полная загадка, – сказал он с улыбкой.

Мы шли по лесной тропинке, под ногами поскрипывал сырой снег. Закурив, он сказал:

– Видишь ли, это всё злополучная идея красоты. Структурализм, конструктивизм. Ведь что такое этот супрематизм Малевича – геометрические фигуры. Геометрия и сама по себе чрезвычайно красива. А если фигуры нарисованы рукой гениального художника – это уже во сто крат ценнее, это и потрясает. В своё время меня поражала свёрхтехника Филонова. Это уже что-то нечеловеческое. Второго такого по технике в мире нет. Техника недостижимая. Как это он мог составлять такой колоссальный калейдоскоп из миллиона мазков, наглядных, а не скрытых. И ни одной ошибки, ни одного сбива. Да нет, второй такой – Леонардо. Вот только они двое по этой свёрхтехнике. У Леонардо срабатывала интуиция: не доводить картину до конца, что-нибудь, хоть кусочек, оставлять недорисованным. Ведь у него все картины незакончены. А если бы вся картина, полностью, до микрона была бы нарисована в такой свёрхтехнике? Ужас! Это было бы какое-то свёрхматематическое совершенство.

Видишь ли, тут неприменимы определения. Назовём это: стремление к недостижимому и постижимому, когда есть люди с таким стремлением. Но в мире ведь нет ни одного идеального произведения. Нет, уровень техники у китайской живописи не тот. У них ведь не подробности, им это неприсуще. У них другое. У них это самое дуэнде. Посмотри, как сделан портрет Ли Бо – как жёстко, с какой жуткой энергией, одним духом, молния! У Леонардо тоже есть это дуэнде в рисунках, и посильнее есть. Этот его рисунок с кустом – какие-то безумные спирали. Видно, с какой яростью делал, тоже – молниеносно. Достичь этого состояния дуэнде – и сколько проживёшь в таком состоянии? Год? Большие художники часто его достигали. Бывало и у маленьких, на миг, на искорку. У Пушкина эта музыка, это дуэнде – одно только стихотворение. Там ведь слова ничего не значат, там звучание этих повторов: "мутно небо, ночь мутна..." Или, "Книга перемен" – там же нет логики, её смысл в музыкальности. Она на музыке. Понял ты это?

Монолог Гамлета, это его пресловутое "быть или не быть". Такой расслабленный перевод. В этой подаче Гамлет – толстый увалень, дурак, пошло философствующий. В оригинале же – самая жёсткая ирония, энергия, парадоксы, многозначность. Этот человек знал, что хотел. Ему надо было отомстить, убить убийцу своего отца. Он и шёл к этой цели, не останавливаясь, не задерживаясь и не колеблясь, неумолимо и беспощадно. Пьеса эта чрезвычайно многозначна. Но главная её мысль – человеческое достоинство, что нельзя безнаказанно унижать человека. Таков был кодекс древних народов. Современные его утратили, современный человек потерял своё достоинство и не защищает его. Религия христианства, её главный принцип и есть: отказ от собственного достоинства. Чего у самого Христа, то есть, такого отказа, не было. Да, Библия к человеку беспощадна, чтобы он был силен и надеялся только на себя.

Дойдя до деревни, повернули обратно. Наступили сумерки.

– Я вот что заметил, – сказал он: – внешняя моя жизнь шла вне моего сознания, сама по себе. Всё крутилось само собой. Я никогда не ставил цели устроиться в жизни. Рано стал известен, и колесо закрутилось. Всё делалось бессознательно, по внутренней потребности. И женщины. И книги так писались. Да, весь результат от жизни – остались книги. А где сама жизнь? Что-то вроде идиота. Идиот и есть. Не один я, конечно. В России было ещё два таких идиота: Блок и Хлебников. Да, весь в себе. И тот, и другой. Ничего для внешнего мира. Менделеева же так и писала о Блоке: "Он же идиот, в жизни он ни на что не способен". Практичная была, очень даже.

Когда мы вернулись домой, там его ждал гость, старый друг, вулканолог с Курил, Генрих. Знаменитый в своё время человек, это он запускал луноход на Луну.

25 февраля 2000 года. Гуляли, мороз, солнце.

– Этот год будет для меня тяжёлый, – сказал он. – Я – девятка. А этот год с тремя нулями – гибель для всех девяток. Правит Сириус, влияние этой звезды только вредоносное, она сама девятка и бьёт своих. Девять – высшее число в космосе. Единственно истинное магическое число. Много чисел названо магическими, но всё это выдуманно, фальшивка. Только девять непререкаемо. Девять – высшее число у всех древних народов. Китай, Вавилон, Египет, ацтеки. Девять означает высшую энергию. Энергию высшего типа. Это всё в комплексе: включает и интуицию. Девятки не могут брать энергию, а только отдавать. Вот их беда. Не могут брать по двум причинам: во-первых, энергия мира по типу ниже их собственной, во-вторых, у них нет устройства, чтобы принимать энергию. Все остальные и отдают и берут. Большинство. А девятки только отдают. Разумеется, их мало. Но они во всём – от бога до микроба. И среди микробов свои девятки, свой высший тип. Да, это высшие гении. Как среди людей, так и во всей природе. У девяток и отношение к миру совсем другое, чем у прочих. Они не принимают мир как дар. Наоборот: это они – дар миру. Они миру подарены. Пушкин был полная девятка. У Гоголя и Эдгара По девятка. У Моцарта. У Хлебникова. У всех гениев она есть, так или иначе. Я эту свою числовую теорию говорил одному крупному математику. Тот не возражал. Математики, высшие математики – те же поэты. И у них – фантазия, интуиция.

Все открытия – это воспоминания древнего знания, прорыв интуицией в память космического высшего знания. Тут всё в одном сходится: это и фантазия, это и интуиция, это и импульсивность. Девятки обладают феноменальной памятью. И они же часто теряют память. Гельдерлин, потеряв память, написал лучшие загадочные свои стихи. До сих пор не могут разгадать. Да, потеря памяти обострила в нём нечто.

Да, японцы – это как другая планета. Полная загадка. Один из братьев Стругацких, ориенталист, знал японский язык. Это личность! Сухой, сжатый. Страшный, острый ум: мгновенно на всё реагирует, мгновенно всё парирует. Он-то и написал те резкие куски в их книгах, внёс в их книги этот сильный дух. А другой Стругацкий – так, обыкновенно, его часть – эстрадные сцены. А тому – безразлично, он литературу и не ставил во что-то там. Я сам такой, я тоже не ставлю. И Пушкин не ставил. И потом – это же беллетристика. Это не проза. Беллетристика, то есть – литера, литература. То есть – содержательность, информативность, занятность, облегчённое повествование. Дюма – чистейший беллетрист. У него же и стиля нет. Большинство книг он, наверное, и не сам писал, а нанимал, чтобы писали за него. Он только давал схемы. Как мастерская художника или цех, где работают подмастерья. А иначе как бы он успел при его образе жизни столько томов накатать?

Древние беллетристики не знали, вообще не понимали, что это такое. И Ксенофонт, и "Дафнис и Хлоя" Лонга – это же и не романы. Это поэмы. Проза – это поэмы. Собственно, те же стихи. Фрески Помпеи – реализм. Реализм и есть – беллетристика. В живописи – это рассказы в картинках. В литературе – это занимательность. В прозе занимательность никак не может получиться. Проза принципиально незанимательна. Гоголь, что в нём занимательного? У него живопись фраз и увлекательность написанного для того, кто это любит и этим увлекается. А многие ли любят и читают Гоголя? Единицы. А девяносто девять и девять десятых процента любят и читают беллетристику, а не прозу. В России беллетристика появилась в девятнадцатом веке. Во Франции – в шестнадцатом. Французы вообще очень много пишут. Их традиция. Во Вьетнаме до сих пор пишут романы в стихах типа Андрея Белого, и ни о какой беллетристике не знают. У японцев её почти нет. Ранний Рюноске – чистая проза. Это он под конец скатился. А Кавабата – тот же Гоголь.

Дорога широкая, хорошо утоптанная, солнце слева. Большая черная собака залаяла на него у него за спиной. Он не слышал, продолжал говорить:

– Да, письма Дельвига – чистая проза. Фразы чисто сделаны. Сжато, изящно. Так они писали письма – как прозу. И письма Пушкина. И Батюшкова – и письма и проза. Проза Батюшкова – лучшая проза того времени. Но все они не знали – о чём писать. В России не было и нет декораций. В этой стране нет жизни, ничего не происходит, ничего оригинального. Даже архитектуры нет. Появился Петербург – появилась и тема. Сразу и книг сколько с петербургской тематикой было написано. А с Москвой и ничего, собственно. В Европе, во Франции – какие могучие декорации! Здесь, ну, Кавказ, война. А как написать об этом на русском? Марлинский – беллетрист. Пушкинская проза тоже – беллетристика. Только в "Пиковой даме" немножко, там за счёт темы. А имена все нерусские. Первая русская проза – Лермонтов. Гоголь – у того украинские корни. Украина дала ему декорации. Но и Гоголю надо было фантазировать, то есть создавать свои декорации. Чего стоят одни только эти его выдуманные дикие фамилии. Всем большим русским писателям надо было фантазировать, чтобы восполнить отсутствие декораций русской действительности. Да, и Платонов тоже. И у меня в "Дне Зверя" эти фантастические фамилии – чтобы создать этот странный колорит. Да, русская проза в этом смысле вся фантастична. Я заболтался. Ты провокатор: провоцируешь меня на эти болтливые речи. О чём ни заговори – вполне можно и не говорить.

Генрих, которого ты видел у меня прошлый раз, вулканолог, – о, это героический Генрих! О нём много писали в газетах в советское время. Это он послал луноход на луну. И его же обвинили в растрате: слишком много денег потратил. Разжаловали, сняли с академиков. Работал восемь

лет простым кочегаром на Сахалине. В перестройку всё ему вернули и восстановили в академиках. И он тоже устал от жизни. Он, всегда такой железный! Ошеломительное признание.

Да, весь мир – мусор. А чистое знание древних только у единиц сохраняется. Современное знание замусорено, загромождено свалкой пустой и фальшивой информации. Вот, солнце заходит, и меня уже начинает качать из стороны в сторону. Можно подумать, что пьяный. Это расстройство вестибулярного аппарата, потеря координации. А что ночью в темноте будет? Вот я и не могу один ходить в темноте, без поводыря.

3 марта 2000 года.

– Ты такой же придурок, как и я, – сказал он, впустив меня в квартиру: – приходишь точно минута в минуту. Гулять водишь. Да, водишь меня гулять. Я один уже не могу выходить на дальние прогулки.

Вышли на улицу. Он сказал:

– Если ты читаешь Кавабату, значит, ты и мою "Книгу пустот" должен понимать. В этой моей книге совершенно новый метод. В русской литературе ничего подобного до меня не было. Никаких конструкций, сюжеттики. А всё сливается в жёсткое целое. Да, органика. А в "Дне Зверя" конструкции есть. Там без них и нельзя бы.

На чём бы держалось? Там ведь сюжет есть. Но это конструкции противоположного типа, чем у Андрея Белого. Ведь такой книги как "День Зверя" в русской литературе тоже не было. Также открытие. А в том, что эта книга создана из разных стилей. Принципиально разностильна. Так и писалась: один кусок такой, другой – иначе. Свободно, само собой, не думая о единстве стиля и жёсткой линии. А целое, тем не менее, сложилось и всё встало на свои места абсолютно точно. Да, тогда у меня голова работала, как компьютер. Это была ещё та машина! Какая быстрота! Интуитивные решения. Да ну, не хватало ещё мне говорить о своём, о своих книгах.

Единый жёсткий стиль – это тупость. Считают, что иначе и не может быть в литературе. В живописи, в картине – да, не может быть иначе. Картину не нарисовать вне единого стиля. Книга – другое дело. А у Андрея Белого всю жизнь – только один стиль. Канон его стиля. И это делает всю его прозу мёртвой, эту его ритмизованную прозу. Также и Флобер: во что бы то ни стало добиться стиля, который он сам для себя возвёл в канон, с великими усилиями, преодолевая великие трудности. А потому и трудности, что этот стиль не годится для этой темы. Тут уже нужно совсем другое. Но и Флобер в одной своей книге освободился. "Госпожа Бовари" написана и живо и свободно. А сам Флобер, не понимая, эту-то книгу и проклинал. "Саламбо" – совсем закованный стиль. Красиво, конечно. Но это же из Гомера. Всё-таки, лучше самого Гомера почитать.

А возьми Гоголя, что ни книга – в новом стиле. "Петербургские повести" – стиль расслабленный, потому что надо рассказывать. А в украинских книгах он рисовал живые сцены, а не рассказывал. Да, и "Мёртвые души", конечно – живопись. Там много из Гомера. "Тарас Бульба" особенно. А где бы он ещё взял батальные сцены? Ведь он с войной был незнаком. Там ещё и христианство. Ведь Тарас на казни Остапа: "Батько, слышишь ли ты меня?" "Слышу, сынку!" Как молитва Христа в Гефсиманском саду. И потом – Тарас Бульба, распятый на кресте. Врёт так же живописно, как Гоголь, так же роскошно.

Радищев – такой чудак. Справедливости искал. Такие обречены на погибель. Ищут справедливости, которой в мире нет и быть не может. В этом мире все друг друга жрут. И бабочке и кролику выбор: или они сожрут, или их. Единственно, кого стараются не жрать – талантливых. Талантливых оберегают: это как бы их оправдание в мире, тех, кто жрёт. Хотя, есть, конечно, и бескорыстное восхищение. Ну, Сковорода, он же очень живой, он, бывает, такую чепуху лепит!

"Кармен" у Мериме как раз самая слабая новелла. И рыхлая и незакончена. Отчего она так прославилась? Наверное из-за цыганской темы. Так в мире чаще всего и бывает: становятся прославленными самые слабые вещи. А сильные остаются в тени. Много ли кто читает Рабле?

Я ведь ходил к Джуне. Нужен был совет. Она мне сказала: "Вы сам экстрасенс, и посильнее всех экстрасенсов". То есть: энергетик. Человек, только отдающий энергию. И никогда не берущий. Не может не отдавать. Даже себе на погибель. Таков он родился, с этим. Это его потребность – отдавать. А подавляющее большинство – только берут энергию. Везде, где только найдут. Хоть немного, хоть много, хоть что-нибудь. Да, инертны. Значит, потребность только поглощать, забирать энергию. Есть и такие энергетика, что захватывают человека целиком. Захватчики. Так Вагнер захватил Людвигу Баварского. Обокрал всё Баварское королевство. И Людвигу держал полностью в своей власти. Психически. И до самоубийства довёл. Впрочем, скорее всего это было убийство. Я хотел об этой истории написать и у меня есть много подробностей. Но зачем? Я не просветитель. Это не моя тема. Пусть другие пишут.

Вот как нас отбирали, чтобы послать в Тибет учиться борьбе кунфу: быстрота реакции, импульсивность, внимание к мелочам. У меня это врождённые способности. Да, таковы и мои стихи, и моя проза. Эта моя быстрота фантазии. И голос очень важен в этой борьбе, ещё важнее, чем тело. Ведь можно побеждать одним только голосом. Знать вибрации. У меня особый бас-баритон. Победная песнь дракона. Два главных принципа кунфу: отсутствие зла к противнику, никакой злобы. Тогда будет полный самоконтроль и ориентация. Только бой и победа. Вот вся цель. Это первое. Второе: люди не представляют никакой опасности. Да, быстрый, как Чаплин.

10 марта 2000 года. Сегодня в третьем часу навестил его в больнице Бехтерева. Солнечный день, жёлтые больничные корпуса, пятое отделение, восьмая палата. Он стоял в коридоре, на нём полосатый халат, красные шаровары, небрит, седая грива. Увидев меня, обрадовался:

– А, ты! Яблоки твои мне не нужны. Идём в палату. Я лягу.

Он лежал на койке, я сидел на стуле перед ним. Он вскакивал, опять ложился.

– Крутит меня, – сказал он. – И голова туманная. Здесь мой "Остров Целебес". Эта моя книга о великих мировых алкоголиках не состоялась. Материал весь уже был собран, из книг. Собственно, книга была готова. Сжёг. Почему? Видишь ли: есть так называемая этика. Так это принято называть. Да хотя бы это называлось х... Какая разница. Не в названии дело. Но эти люди для меня святы. Если посмеяться и назвать их мне равными... Александр Македонский, Христос, Магомет, Сократ. Касаться их для меня запрет. Все они были алкоголики. Но это святые. Потому что эта жизнь для них была невозможна – вот их алкоголизм. Святые не те, что чистенькие, без греха. Это мертвецы. Нет, святые со всей грязью, живые люди. Эта книга дала бы мне мировую славу, деньги. Но зачем?.. Не разговор. Вот, видишь, лежит перед тобой герой нашего времени.

Вот, почитай интервью обо мне в газете. Пишут: самая загадочная фигура в нашей современной литературе. Да, потому и загадочная, что не читали ни одной моей строчки. Не понимают мои книги. а что там не понимать? Написано ясно и просто. Проще простого. Чистым русским языком. Художественная индивидуальность. Кто ж поймёт? Мой мир, мой и язык. А всё же... Живопись – другое, она интернациональна. У многих есть чувство цвета, глаза развиты, любят краски. Особенно женщины. Да, сжёг и философскую книгу. Семьсот страниц. И больше того: и книгу писем сжег. А там за тысячу страниц было. Ответы на вопросы журналистов в разные европейские журналы. Да, это была бы книга отличных статей. Но – всё это уже когда-то где-то кем-то говорилось. Знаешь, ведь писать надо только то, чего ещё не было. Конечно, часто бывает, что темы и книги большими писателями переписываются заново. То есть – перефантазируются. Так "Гамлет" до Шекспира семь раз писался для сцены разными драматургами. А Шекспир видит: что они за ахинею лепят. Невозможно смотреть. И написал свою версию. Но не хватало ещё и статьи перефантазировать. Сжёг и ничуть не жалею. Всё это дело наживное. Буду жив, будет сила – появится новое, ещё лучше, ещё сильнее.

Да, Библией я жил много лет. Надоело. Религия. Да, ну. К тому же шестой перевод, шесть языков: с древнееврейского – на арамейский – на греческий – на новогреческий – на болгарский или церковнославянский – на русский. Сейчас бы в лесу гуляли. Погодка-то! Всё у меня так катастрофически сложилось. Последние дни еле держался. Ты же видел. Ничего я не помню.

14 марта 2000 года. Он вернулся из больницы. Сообщил мне:

– Всё-таки, я получил первую премию Аполлона Григорьева. Двадцать пять тысяч долларов. Во всех газетах звон об этом. Зря ликуешь. Половина уйдёт на налоги и пожертвования. Так уж я устроен: чем хуже жизнь, тем сильнее мне пишется, а когда является что-то хорошее – никакой радости. Я уже и работать не могу, сижу часами за машинкой и – ни строчки. Я теперь смотрю на свою жизнь не иначе как на пропащую. Вот она старость и разговоры эти старческие. Безумие – это полное расстройство мозга. Воображают себя женщиной, Наполеоном, змеей. Нет, писать в безумии невозможно. Гаршин писал только в перерывах. Многих излечивает инсулин. Это не настоящие сумасшедшие. Настоящие – постоянно в жутком напряжении и бредовые фантазии.

Мы вышли на улицу. Мокрая метель. Дойдя до угла, спустились в подвальчик. Пьём чай за столиком, друг напротив друга. Он стал говорить на интересующую меня тему:

– Нет, это не то, что способность. Это высшие состояния. Эти состояния я знал и у совсем простых людей, никакие не поэты, никто. Например, меня потрясло, как десантники выбрасывались на парашютах на бреющем полёте с высоты триста метров. Малейшее неверное движение, неточность и – смерть. Парашют едва успевает раскрыться. Это, знаешь ли!.. Я столько всякого повидал в жизни, что нет ничего такого, что ещё могло бы меня потрясать. Но это потрясло. Состояния эти очень редки, даже и у гениев не так уж часто. У поэтов – нет, не часто. У Пушкина – два-три стихотворения. "Я помню чудное мгновенье" – оно же всё звенит! Звенящее! А слова – пустяк, ничего не значат.

Нет, смысл-то не ерунда. А ерунда – прямой, поверхностный смысл слов. Но за этим смыслом ведь стоит второй, третий. Вот те и звенят. Да, так все и читают: поверхностный смысл слов. Девяносто девять и девять десятых процента. Беллетристику. А писать беллетристику вообще нельзя. Потому что там этих состояний быть не может. Моя книга "Властители и судьбы", конечно, беллетристика. Что же ещё. Да и вообще при записи это состояние пропадает. У непоэтов.

Нет, у меня это состояние при записи не теряется. Нет, и не ослабляется. Состояние идентично записи. Не напрямую, а могут быть самые разные варианты. У меня стихи, написанные в этом состоянии – процентов тридцать. Если это можно назвать писаниной. Деятельностью. Разве для славы, для потомков, для денег? Смешно. Для испытания самого себя. Для полного раскрытия себя, своих сил, сделать невозможное, как казалось бы. Часто это кончается смертью. Сверхнапряжения. Высшая реализация себя.

Почему же. Это состояние может быть и в статьях. Много вариантов. Это же словесность. Чтобы была словесность – нужно многообразие. И

так, и так. Чтобы это высшее было не в одном только виде стиха, скажем. Это же речь. А речь влияет на весь организм. Речь может весь организм изменить, перестроить. Высшего качества речь делает и организм соответственно таким. Так устроено в мире.

Статья Белинского о Гоголе – самая сильная статья в русской литературе. А ведь никакого понимания о гении Гоголя. Всё равно как громы парторга. Тем не менее, могучая статья. Или – моя статья о сивилизме. Мне нужно было для самого себя раскрыть смысл этого явления. В мире смысл этого раскрыт ещё не был. Вот я и написал. В живописи это состояние редко, очень редко. Ну, музыка-то сама по себе и есть это состояние. Недаром у древних музыка была первым из искусств, на первом месте. У Гёте этого почти нет. Вот Бетховен над ним и смеялся. Он же маленького роста – Гёте. У всех маленьких – гигантомания. Да, музыка и астрология сопряжены. Музыка и звёзды. Мою последнюю книгу стихов я так и назвал: "Флейты и прозаизмы". Там есть стихи с флейтовой музыкальной линией, а есть как бы стихи в прозе, верлибры. Там есть место: линии на ладони совмещены с луной. Именно линии.

Это состояние и у спортсменов. Спорт на этом стоит. Все рекорды. "Рекорды Гинеса" – это же самая гениальная книга мира в нашем веке! Да всех веков! Там почти все гении. А как же! Посвятить всю жизнь, чтобы сделать свой особый рекорд. Проявить сверхвозможности. Скажем, выпить двести бочек пива. Это какой могучий надо иметь дух! Я всегда говорил, что поэт, поэтический гений – это только малая доля, частичка в мире гениальных явлений. Жизнь громадна, проявления её многообразны, гениальные явления жизни во всём. Это жизнь и есть. Древние греки правильно дали определение гения: крылатый. И вот этот крылатый взлетает, а там и музыка и всё! Это состояние и есть – полёт, крылатость. Получается – миллионы гениев, во всём, и там, и там, и сами не подозревают, что вот сейчас они гениальны, сейчас у них – полёт, крылья.

Ну, Державин учитель, громокипящий кубок, орган. У него эти состояния тоже, но больше в живописи. У него это не тонко, не флейтово. Да, Нижинский. Видел я Нижинского в видеозаписи, на плёнке. Вот второе моё потрясение в жизни! Это не танец, это не прыжки. Это – бог летит! Даже эти его шажки перед прыжком – божественно! После этого Нуриева смотреть невозможно, всего лишь высшая техника. Это лишь великие мастера, а там – бог летит. Потрясение. Не было ему равных, и долго ещё не будет. Может быть, никогда. Один такой рождается за всю историю. Таков Рембрандт после Рембрандта, сам после себя, начиная с "Ночного дозора". Таков и Гойя после Гойи.

Мы побывали в трёх местах, везде он пил крепчайший чай, и теперь ему стало плохо с сердцем.

– Получил своё, – сказал он. – Но иначе и гулять бы не смог.

В лесу на дороге сырой снег. Навстречу нам лошадка дрова везёт.

– Посмотри! – сказал он, остановясь и показывая на идеально гладкий, отливающий изумрудом, изогнутый грациозно ствол, – какая красивая осина!

По поводу предыдущего разговора мне пришли на ум два стихотворения: Тютчева – "О небо, если бы хоть раз сей пламень развился по воле..." и Анненского – "О дай мне только миг, но в жизни, не во сне, чтоб мог я стать огнём или сгореть в огне". Он ответил на это с саркастической усмешкой:

– Да, потому и просили, что у них этого ничего не было. Ни строчки. Не были способны на это. Их-то строчки только смысловые. Зачем эти молитвы к небу? Надо огня, так бросались бы в Этно. А у Блока не было этих всхлипов. Он всегда был за экраном, у него всё за его музыкальным строем. Единственный его провал – поэма "Возмездие". Это можно было бы написать просто прозой. И что на него нашло?

Я в книге "Флейты и прозаизмы" полностью реформировал рифму. Не знаю, как это назвать. Я бы и в Америке не ужился, как мне никогда не ужиться здесь. Как уживётся орёл с пчёлами в одном небе? У меня душа прямая. Что говорить о мастерах. Я тоже – один из высших мастеров в мире, и кому я нужен? Гении у обыкновенных людей вызывают ужас или отвращение. Как было с Верленом? Грязный, пьяный, голодный погибал у себя на чердаке, на голой койке. Приходили почтить, выразить восхищение, а тут – нате! И это великий Верлен! Бежали, затыкая нос от смрада. Чистенькие. Тот же Уайльд. А потом и сам попал в переделку, в тюрьму и кандалы. Жизнь. Жизнь поворачивается и так и так. От гениев лучше подальше.

22 марта 2000 года. Придя к нему, как обычно, в час дня, застал его в чрезвычайно тревожном и напряжённом состоянии.

– У Нины значительное ухудшение, – сообщил он. – Может быть, поедет на лечение в Швейцарию. На меня всё это действует ужасно. Не сплю. Страх. Рассредоточенность. Работать невозможно. Отвести нервы в писанину, отвлечься. А с наступлением темноты – ужас! Тревога растёт, и не знаю, куда себя деть. Забьюсь в угол у телевизора и смотрю. Нет, не фильмы, а иногда показывают Китайскую борьбу. Это я смотрю с удовольствием: ритмично, изящно, быстро. Да, как бы мне не сорваться. То, что со мной происходит, может кончиться сумасшествием. Если называть моё здоровье Римской империей, то эта великая Римская империя теперь разгромлена наголову. Начался разгром в Тарту на том операционном столе.

Гуляя в лесу, сыро, темно, вьются мокрые хлопья. Он продолжал говорить:

– Распад, агония. Как это Гёльдерлин написал своё лучшее при распаде психики? И написал же Нижинский, будучи сумасшедшим, своё "Послание к человечеству". Лучше бы он это не писал. Боец не должен раскрываться. А он раскрылся. Речи, речи. Этот непрерывный поток речей. Это от глухоты. До сорока лет, до операций, я почти ничего не говорил. Молчал, только слушал. Была железная психика. Не знал, что такое усталость, просто-напросто не понимал – о чём речь. Мог работать за столом по шестнадцать часов, месяцы, с небольшим перерывом для сна. Так писал "День Зверя". Да, богом мой организм был задуман могучий. Задуман, но не осуществлён. Разрушен. Им же. И всегда я один. Как только появляется человек, меня любящий, Тот, сверху, его тут же убивает. Тот ревнив. Убивает всех вокруг меня, а меня тащит в дыру, дальше и дальше. Скоро уж дотащит. И кто ко мне всегда тянулся? Только самоубийцы и обреченные. То есть – подобные мне.

Всю жизнь отвращение к детям и семье. Даже если только вдвоём. Наверное, оттого, что у меня самого детство было ужасное, и семья – тоже. Теперь каждую ночь снятся кошмары на темы войны и армейской службы. И страх, страх! Все реальные события чудовищно преувеличены, как это бывает во сне. Это голова ищет страха во всём. Да, я всю жизнь прожил в ужасном напряжении. Каждая написанная мной книга – напряжение чрезвычайное. И вот результат. Развалина. Это с виду я не таков, лицо без морщин, такая порода. А внутри – полный развал. Асеев писал мне в письме: "Зачем Вы так чрезмерно напрягаете мускулы в подвале?" Я тогда не понимал. Теперь понял. Нужно расслабляться время от времени. Я не мог. Так устроен.

Чистая психика была у Платона. У Лаоцзы. А чаще – психопаты. Эмпедокл бросился в Этну. Психопатия. Да, у Гёльдерлина при этом его распаде психики – какая-то высшая свобода. И такие стихи. Но в мировой литературе это единственный такой случай. Книги, книги. Если бы какое-то удовлетворение. А то кончил книгу и – никакой радости. Наоборот – жуткая тоска. Наверное, так у всех мне подобных. Магия ведь всегда с наркотиками. В разных странах свои наркотики. В Китае делали порошок из пяти камней и пили. Неоплатоники все занимались магией. Но магия древних – это совсем другое. "Книга перемен" – это же мантика. А её толкуют как искусство. В корне неверно. Ну, вот, хоть немного успокоился к концу прогулки, и солнце вышло, светло!

31 марта 2000 года. Выпили чая, и пошли гулять. День яркий. Он надел очки от солнца. Стал говорить о живописи:

– В древнем Китае традиция: копировать старых мастеров. Так и в Европе. Сезанн регулярно приезжал в Париж (а путь от его дома немалый) копировать в Лувре Веласкеса. Веласкес совсем не то, что эти

пышно-красочные художники. У него живопись мягкая такая, прозрачная, мистическая. А импрессионисты – пышные эти полотна, этот кисель! Терпеть не могу! Сезанн – другое. Он же, собственно, скульптор. Да, яблоки. У него везде скульптурность. А кисель этот начался с Рафаэля. С Рафаэля этот красочный кисель и потёк по Европе. Эти потоки красоты. А фрески Помпеи – ещё раньше. Реализм – романтизм. Копирование природы. Да ну. Неинтересно мне теперь ничего в живописи. Ничего нет для меня нового. Не вижу. Что же ты хочешь. Я слишком напряжённо жил всем этим столько лет. При такой одержимости в моём возрасте естественно придти к истощенности интереса. Устал. Слишком напрягал мускулы в подвале, как выразился Асеев.

Готовлю к публикации письма Лили Брик – ко мне. В свои книги никогда не заглядываю. Скука. Закончил книгу – никакого упоения. Наоборот: тоска. Отбросить её подальше и не вспоминать. Скорей – новую писать, следующую. А теперь и новую не хочется. Обо мне пишут в газетной статье: "Он писал "День Зверя" с упоением и с самоуничтожением". Не понимают, что это несовместимо. Или одно, или другое. Никогда у меня не было упоения. Только – самоуничтожение. Упоение, это, знаешь, у Битова, у Кушнера. Вот уж Кушнер-то упоён своим творчеством, видно в каждой строчке. Нет, Михнов не дошёл до того, чтобы потерять интерес к живописи. Его одержимость колоссальна. Но он ведь рано умер. Не успел устать. Пятьдесят это ещё не возраст. Грицюк ещё раньше. Видно, сумасшествие. Других причин нет. Жил он вполне благополучно у себя в Новосибирске, обеспечен, с женой нормально, весь Новосибирск его любил. Добрейший человек. Он тысяча девятьсот двадцать шестого года. Что живопись. С тех пор как Колабушкин показал мне рисунки на камнях, обкатанных морем, я уж стал терять интерес. На тех камешках есть все стили европейской живописи.

7 апреля 2000 года. Он сидел за столом, правил рукопись. Закончив, положил в папку.

– Вот, со стихами конец. Это последние. Сомнительно, чтобы я ещё стал их писать. Да и сколько можно. Я же не Гёте, который со своим "Фаустом" тянул жизнь, как лямку, бессмысленную. Я никогда не знал праздников. Только на Новый год надевал чистую рубашку, убирал комнату, ходил в баню. Отбило двенадцать и – спать. Умно писал Сенека: "Пока можно терпеть, надо жить. Но когда терпеть уже невозможно, уйди". Мне ещё пока можно терпеть. Последние три года пошло резкое падение. Разрушение. Особенно резко последний год. На книгах это не отражается. Наоборот: книги только сильнее. Но требуют большого потребления яда, то есть: чая. Токсикомания.

Вышли гулять. Опять по пути к лесу заходили во все кафе и закусочные, опять он там пил крепчайший чай, чашку за чашкой. Наконец, добрались до леса.

– Да, у меня большие знания, – сказал он. – Но заниматься просвещением – не мой стиль. Никогда я не мог читать массовые лекции. Я же перечитал все книги по русской истории. Хотел написать свою книгу, да и споткнулся. Почему споткнулся? Стало неинтересно. История русская – неинтересная. Одно и то же: ломают людей. Всех – сверху донизу. С Олега до наших дней. Да, мой "Николай" – последний всплеск интереса к русской истории. Николай сжёг переписку своей матери. Страх перед словом. Этот вечный страх тупости перед тем, что талантливо, перед талантливым словом. Здесь меня десять лет замалчивали. Вот как со мной боролись, с моим словом! Что они понимают? Я давно понял, с тех пор, как оглох, что никто меня здесь не понимает. Круг сжался до одного понимающего: меня самого. Только я один – понимающий то, что мной написано. Так получается. Ну, только Пикач уловил одну мою линию: мистическую. Но у меня много линий. Может быть, появится поколение мне равных и поймёт. А, может, и не появится. Сейчас в мире бурно развивается технократия. Она убивает всё. Поняло же моё поколение и открыло Пастернака "Сестра моя – жизнь", Цветаеву, Хлебникова. А для своего времени они были закрыты, непонятны. Поколение отцов было слепо. Поняли сыновья.

Что люди ждут от чтения? Подтверждения собственных представлений. И какие у них представления? Только банальные. Вот и всё. И конец на этом. Тут и рушатся все искусства. Все, кто играет на социальных темах – проститутки. Все такие писатели. Политика. И Толстой, и Достоевский. Вольтер, Камю. Нет, с Гюго это спадает. Да, он много играл с политикой. Но книг таких он не писал. Он писал сказки. И пока будет человечество, его будут читать.

Лермонтов вообще загадочная фигура. Как это он писал под пулями? Непонятно. Могучие силы были в нём заложены. Да, смертник. Гюго ещё и прекрасный график. У Лермонтова только один рисунок: "Бой при Валерике". Нет, самая мистическая книга в русской литературе не "Герой нашего времени". Всё-таки, Лермонтов был под очень сильным влиянием Мериме. А у Мериме мистики ни на грош. Самый мистический – Блок. Начиная с 1907 года Блок и начался. Как расстался с символизмом и начались его пьянки. Его "Незнакомка": "По вечерам над ресторанами..." – так и дышит этим... Потом Пастернак – "Сестра моя – жизнь". До них только отдельные моменты, кое-что у Пушкина, у Фета. А эти целиком. Такие рождаются. С таким цельным организмом. А когда Блок напрямую написал об этом, как о теме: "Роза и крест" – ничего и не получилось. Этого-то и нет там.

У Хлебникова этого нет. У него другое. Он – языческий поэт. Может быть, он как поэт и больше Блока, но этого у него нет. Это же очень редкое состояние и оно только у великих. Да ну. Какой там экстаз! Это у Андрея Белого, знаешь, экстазы. А что толку. Этого у него ни строчки. Он в другом велик и останется. Но чего нет, того нет. Это состояние в Библии названо: томление духа. Поиск смерти. Но что говорить об этом. Слова, всего лишь. Можно говорить сколько угодно о жизни и смерти и писать чепуху. У китайцев и японцев теории полны об этом. А как на практике? Мы не знаем. Переводы – ничего похожего. Дребедень. Вот вышла книга: "Пятьсот японских танка". Переводы – нуль. Дают себя, а не оригинал. Таких танка можно написать пятьсот за вечер. А во вступительной статье оригиналам приписывают бог весть какие достоинства. В китайских рисунках, да, это есть. Это видно.

Видишь ли: редко бывает, чтобы полностью было написано в этом состоянии. В больших вещах это состояние невозможно. У Гомера этого нет. У китайцев двояко, двойственность: бывает – иероглиф летит, а стихотворение неподвижно. Ну вот, опять ты свернул меня на эти темы.

Дорога раскисла, мы с трудом пробирались через грязь. Он стал рассказывать:

– Показали мне верблюда в Ташкенте. Вот это зверь! Гигант! Грудь – вот такая! Копыто с ведро. Льва убьёт запросто, одним ударом. Львы от него и драпают, поджав хвост, как только увидят. Действительно, царь пустыни. Сильнее зверя, пожалуй, на земле и нет. Я не созерцатель, а два часа не мог оторваться, всё на этого верблюда-великана смотрел.

14 апреля 2000 года. Мы сидели у него за столом в ожидании издателя, который должен был прийти с минуты на минуту.

– Последние мои стихи и письма Лили Брик, – сказал он. – Да, странные это стихи. Таких у меня не было. Те – ничего странного, те-то вполне нормальные. Далась тебе эта мистика. Как ни называй. И до моей глухоты было это, что ты мистикой называешь, но по-настоящему началось с глухоты. После глухоты уже полностью и до сего дня – только так.

Вот тема: поляки в русской литературе. И во французской, и в английской. Своих везде не хватает. Да, получается, везде не свои. Отверженные. Других, отверженных национальностей. Писала же Цветаева: "В этом христианнейшем из миров поэты – жида". Есть люди, освобождённые от необходимости думать о добывании пищи. Это великое дело – быть свободным от такой заботы. Богатые люди. Но богатство не спасает их от тех же бед. Безумие, самоубийство в их среде ничуть не реже. Я был знаком с одним французским миллионером. У него

в молодом возрасте, к сорока годам началась паранойя, мания преследования. Боялся выйти из дома. Отказывался от пищи. За год сгорел. Сумасшедший дом, смерть.

Пришёл издатель. За полчаса он закончил с ним дело, и мы пошли гулять.

В лесу солнечно, светло, ручей бурлит буро-чёрной водой. Весна.

– Ах, хорошо! – сказал он, глядя вокруг.

Шли по берегу. У нас под ногами прыгали мокрые, блестящие лягушки. Порхала ярко-жёлтая бабочка-лимонница.

– Битов себя не бережёт, – сказал он, прервав молчание: – пьёт, курит крепкий табак. Нет, книги от этого не зависят: бережёт себя писатель или разрушает. То есть: качество книг. Одарённость – не беречь себя? Что ты говоришь! А Матисс! Он же себя всегда берёт. Любил пожить, удовольствия, гедонист. А какой большой художник! В работе он, конечно, себя не щадил. Но не очень-то. А Пикассо себя разрушал. Ещё как! Алкоголь, наркотики. Утрилло, Модильяни. Ты всё хочешь подвести под одну формулу. Это нельзя делать. Существует многообразие форм. Лермонтов себя не берёт и погубил. А Пушкин, кстати, берёт себя. Блок – гибель, прямая нацеленность. Утрилло писал с открыток. Мать запирала его в доме, чтоб он не напивался, выйдя на улицу. В этом алкоголизме он и писал свои высшие вещи, мистику, как ты называешь. А женился, жизнь стала у него спокойна, упорядочена, кончилось то безумие и картины стали уже не те. Это уже был только мастер, но не гений. Да, кончился полёт. У всех рано или поздно кончается. Могут быть опять всплески, возвращения этого. У кого как. У Рембрандта этот полёт начался только под конец. У Гойи – когда оглох. У Веласкеса ровно всю жизнь. У Цветаевой полёт начался там, в эмиграции. А до этого – так, вечерние альбомчики. А там – полёт, десять лет полёта! И кончился. Ещё до того, как вернулась в Россию. Психика в XVIII, XIX веке, тем более до, была другая. Это XX век – век гениев-саморазрушителей. Ускорился темп жизни, а уровень жизни сильно пал. Самая яркая веха – Сезанн.

В жизни у меня было два потрясения. Первое: смерть бабушки. Это в детстве. Внезапная смерть. Я тогда залез на дуб. Был там большой такой дуб. И не слезал три дня. Нет, не плакал. Я никогда не плакал. А – оцепенение. Удар, шок. Второе: самоубийство моей первой жены. Также для меня внезапно. Мне было тогда сорок лет. Вот это было сильнейшее потрясение. Потому что не ожидал. Моя жена, Марина, была самый жизнелюбивый человек в мире. И вот... После этого ничего и никогда меня уже не потрясало. Теперь – изоляция. Не нужен – вот и всё. Использовали, пока можно было использовать. Теперь взять у меня нечего. Да и вообще это участь всех стариков – брошенность и

одиночество. Старость – всё этим сказано. Кому нужны старики. Получается, что ты единственный мой спутник теперь в моей жизни. У тебя две странности: повышенный интерес к литературе, и – неспособность к жизни.

Нет, волна гигантов не прошла. Эта прошла, придёт другая. Тогда поднимут и меня и придёт понимание. Тогда и откроют. Как 20 век открыл Возрождение. Сейчас ничего нет, я же вижу – по книгам, по картинам. Это самодеятельность, а не поэтика. Поэтики в этом ни на каплю. Поколение прагматиков, к тому же прагматиков наглых. Я это время уже не понимаю. Произошло выпадение из времени. Естественно. Новые книги ещё могут быть у меня – но вне этого времени. Потом когда-нибудь поймут. Люди не могут читать гениев. Ещё бы – такие махины энергии! Зачем людям это гигантское напряжение? Они не выдерживают, эти громы их разрушают, естественно, что они от всего такого шарахаются. И правильно. Люди хотят жить своей маленькой, мирной жизнью. Эти сверхтоки для них разрушительны. А титаны делают своё, потому что не могут не делать, для этого они рождены. Таков их энергетический заряд и масштаб.

Джаз – это ужас! Это уже не музыка. А потом появился рок. Жуткие удары по нервам. Не понимаю такого. Нет, не за порогом слуха, а, правильное сказать – за порогом моей психики. Тоже самое можно сказать о непонимании людьми моих книг: за порогом их психики. Не только я, вообще такой уровень, такой ранг.

У меня много стихов высшего качества даже и не записаны. Существуют только в моей голове. Помню наизусть. Да, "На смерть Пастернака". Тогда меня за такие стихи прикончили бы. Да и сейчас не погладили б. Да и зачем высказывать в такой открытой форме, в лоб? Потом через три года я написал своих "Двенадцать сов" – это уже не открытая, а закрытая форма того же самого, то есть – настоящее.

Показывать в книгах, в картинах – пустое занятие. Я не толкователь. Каждый понимает сам то, что понимает. Видит то, что видит. Не видит – значит это ему и не надо и не дано видеть. Всё проще. Не идёт книга, не читается – отбрось. Не твоё. Точно также не идут в кого-то мои книги. Я это воспринимаю спокойно, естественно. Я, например, не могу второй раз перечитывать ни Борхеса, ни Кафку. И к чёрту! Умберто Эко, Кортасара – терпеть не могу. Надо читать только то, к чему живой интерес. Никакого насилия над собой. Отбрось всё, что не идёт, что тебе не нужно, и тебе сразу станет легче. Я, например, неспособен к пониманию абстракций. В дневниках Блока не обсуждается ни одной книги. А у Льва Толстого, наоборот: все обсуждается. Ужасно! Так что – живи, слушаясь только своих желаний. Вот идёт такой же, как я, глухой старик со слуховым аппаратом! – показал он мне взглядом. – Что, я громко говорю?

19 апреля 2000 года. Он острижен наголо. Это у него давно так заведено: весной наголо стричься. Сегодня жаркий день и он для прогулки оделся полегче.

– Великолепная статья о д'Аннунцио в "Иностранной литературе" сказал он, когда мы вышли на улицу. – В пятьдесят два года – на войну! И прославился на весь мир, как солдат. Вот это парень! Герой!

Да, мои книги не понимают. Читают книгу, а видят фигу. Как могут, скажем, понимать мои эзотерические темы? Я читал редкие недоступные книги из монастырей. Я эти книги изучал. Этими знаниями владеют только редкие специалисты. В нашей стране – Аверинцев, Топоров. Это над религиями и до всех религий. Египет, Вавилон, жрецы. Готовили высших воинов, но не для битвы. Посвящённые. Высшая сила этого высшего космического знания. Они-то и правили в Египте, меняя династии фараонов. В Европе – Орфей. Намного до Пифагора. Пифагор поехал в Египет, чтобы получить посвящение. Людям всегда это было недоступно. Да и зачем это людям? Им жить надо. Вот опять я читаю лекцию. Надоело! У всех людей есть аура. У кого чуть-чуть, у большинства; у немногих – круг. У кого-то и громадный. Такие способности. Это – врождённые посвящённые. Они видят эту ауру у других и отбирают себе подобных, с теми же способностями, с кем есть смысл заниматься. Ведь все посвящения в мистериях: там нет испытания знаний, а только испытание духа. Всё правильно. Текстов дошло очень мало. Они же специально не писали книг. Только для передачи необходимых сведений. Великие поэты – те же посвящённые. А как же! Прямая связь с космосом, со всеми космическими знаниями. Интуиты, эзотерики. Названий много, сущность одна. Гоголь был такой врождённый посвящённый. А ни Пушкин, ни Жуковский не поняли. Смеялись, А смешного-то в его книгах мало.

– Нет, древние в этом смысле ничуть не выше современных, – возразил он (мы уже шли в лесу у ручья, бурно-коричневая вода которого, блестя на солнце, бурно катилась в чаше). – Чем, скажем, Гомер выше Шекспира? – продолжал он. – Я не думаю, что выше. Древние сильно преувеличены. Такого ранга рождаются во все времена, такие посвящённые, с такими космическими знаниями. У Блаватской не то, индусы, время, уже близкое к нашему, профанация.

А это писание книг – разве не нелепость? Бессмысленно. Все великие писатели, понимая эту бессмысленность, сжигали свои книги. Гоголь постоянно. У него – круг. Первую книгу сжёг, и – последнюю. Эмпедокл – и книги свои и самого себя. На что Кафка, который не особенно-то звёзд с неба хватал (у него-то этого чуть-чуть), а и тот завещал почти всё своё сжечь. Нет, не нелепость, а то, что так они считали: что самая лучшая форма существования – вообще никак не существовать.

У китайцев под пустотой подразумевается всё, весь космос. Да кому же это доступно? Разве всё это объять? Вот и срывались в этих безумных попытках.

Люди ищут в книгах подтверждение тому, что им уже знакомо. Это они и называют мудростью. Тех, кто им даёт это подтверждение и называют умными. Всё это только шаблон и трафарет. Это – весь реализм. Всё известное, всё знакомое. Скука. Но есть те, кто живёт в мире своего воображения. И чем шире поле сравнений, в котором живёт его воображение, тем интересней. Только это и интересно. Всё это уже миллионы раз сказано и говорится в мире. Все подобные разговоры ужасно тривиальны. Но книги и всё творческое, произведения искусства – всегда интересно. Потому что уникально, неповторимо. Только это и интересно в мире. Тоже пропадёт когда-нибудь, как и пустые разговоры. Но ведь пишут оттого, что – потребность. Какая у людей духовность? Теперь к духовности причисляют и переживания. Так ведь переживания у всех. Разве что у дебилов их нет. Дошло до того, что теперь пишут о невозможности объективности в искусстве и что искусство поднимут дилетанты. Ну куда дальше ехать! Пишут о том, что им недоступно. Всё равно как я бы говорил, что подниму гирию в сорок килограмм, а сам и десяти не могу. Всё-таки, надо у себя сжигать. Обременяет. И кроме того, есть чувство собственного достоинства. Перед собой. В войну многие обыкновенные люди проявили незаурядное чувство достоинства, что в мирное время невозможно. В этом и смысл войны.

Цезарь был последним посвящённым из римских императоров. Я писал об этом в "Книге пустот", но меня так и не поняли.

Во всём мной написанном, начиная со "Слова о полку Игореве" и кончая последней книгой – психика войны, напряжение, как в бою. Через все мои книги – лейтмотив конца. Смертник. Камикадзе. Всё это реально обосновано жизнью: с рождения между жизнью и смертью. Все мои предки – военные, то есть – смертники.

27 апреля 2000 года.

– Наверное, ты хочешь узнать мое мнение о твоей рукописи? – спросил он с улыбкой, приглашая жестом сесть на стул. – Я прочитал. Судя по этой повести об отце, ты человек редкой жизнерадостности. Здесь у тебя появилось своё. Книга хорошая, можно печатать. Как говорят: здоровый реализм.

Пошли на почту. Там ему три бандероли.

– Книги! – сказал он. – Что ж ещё может быть таким тяжёлым. Бери, не стесняйся. Твоя работа. Тебе тащить.

Я взял бандероли и с ними мы пошли гулять в лес.

– Когда мне говорят правду, я верный товарищ, – сказал он, идя

рядом со мной. – Но когда начинают вилять, я уже не могу продолжать отношения. У одарённых людей гибкая психика, а в быту прямая: да или нет. Такой была и Лиля Брик. Тоже и в борьбе. Хитрость не поможет. Хитрость всегда ошибка. Вышли два равных бойца на поединок – сразу видят, что представляет противник. Тут важны точность и внимательность, не упустить ни одного малейшего движения, выражения лица. Побеждает тот, у кого больше умения и сильней психика. Что ты пишешь? – Взяв у меня блокнот, он прочитал приведённую мной цитату из трактата о Бусидо: "Будь стремительным и проходи через железную стену". – Это метафора, – возразил он. – В борьбе кунфу как раз наоборот: полная неподвижность. Побеждают при полной неподвижности. Это люди выдумывают формулы, шаблоны и штампы. А в жизни нет ни штампов, ни шаблонов, ни формул. Сегодня так, завтра иначе.

Поднялись на второй этаж в закусную. Чай в стаканах. За соседним столиком пьют водку. Громкая музыка, дверь открыта, дует.

– Взрослый писатель никогда не думает о литературе и не читает книг, – сказал он, отхлебнув чая. – У тебя забавный инфантилизм. Ты думаешь о литературе постоянно и непрерывно, без конца читаешь книги. Оттого, что до тридцати лет серьёзно ничего не читал. Ну, так, как ты читал, всё равно что не читать. Вот и получается, что тебе сейчас по сути дела двадцать лет. Я не в отрицательном смысле. Наоборот: это хорошо. Но лучше бы ты меня не мучал.

Гуляли в лесу у ручья. Лес зазеленел, берёзы в молодой листве.

– Нет, в первой книге у тебя нет темы и не было, – ответил он на мой вопрос. – Там на две трети декорации и на треть выдумка. Тема появляется, когда появляется своё. Это и есть тема. Вот у тебя в повести об отце появилось это своё. И тема своя. Достоверность. Верю: так и есть. Подлинность того, каков ты есть. У каждого писателя это своё открывается по-разному. Тебе, видно, подходит такая повествовательная манера. И тут у тебя нет ничьих влияний.

У Замятина – громадное мастерство. А проявился только в романе "Мы". Каков он есть на самом деле. А ведь язык в этой книге плохой, никуда не годный. Сошёл со своих рельс и вот, пожалуйста – нашёл себя. А с Андреем Белым так не вышло: сойти с рельс. Тоже – Дефо. Он же эстет, Дефо. Писал романы с высшим мастерством. Но только когда написал эту совершенно дурацкую книгу, этого своего "Пятницу" – тогда и открылся. Что на него нашло – написать такую книгу? Безумие. С рельс соскочил. А для кого она – только что разве для детей. А она-то и останется, её-то и читают. Все остальные его книги, такие высокоэстетские и мастерские, забыты. Ну и что в ней, спрашивается, чем действует? А вот... Нет, всё остальное у него тоже своё. Но тут ему удался лёгкий жанр.

Ну, Гоголь – дело другое. Он сразу был на своих рельсах и столько на этих рельсах проявил жизни, что сходиться с них ему было незачем. Видно, что у него всё написано одним махом. Ну, потом чуть-чуть подправка. Как в живописи: несколько оживляющих точек поставить – там, там.

Инфантилизм бывает и у крупных писателей, и в возрасте. Этот, брат Кирико, художника. Ему за пятьдесят, прочитал на днях его статью о Мопассане. Написано с таким пылом, накалом, экстремизмом! Лучше бы всё это вкладывать в свои книги, а не писать о книгах других писателей. Наивно, что он пишет о Мопассане. Что Мопассан писал обывательские книги и только под конец, когда обезумел, тогда явилось то самое, о чём мы с тобой столько говорили. Чепуха! Я-то о Мопассане всё понял ещё в шестнадцать лет. Пишет, что Мопассан бык. Ну так уже одно то, что бык всю жизнь – и то ненормально. Он же первый в мировой литературе стал писать эти сексуальные нелепости, открыл эту тему. Это же у него всю жизнь, это его естественное, изнутри. Это его безумие во всех его книгах только в скрытом виде, спрятанное, бессознательно, разумеется, и проявилось, как нелепости. А люди думают: творческие поиски. И этот так пишет. Какие там поиски! Он такой есть, от природы. Такой вот бык. Над такими книгами всегда веет тот дух безумия. А под конец, когда у него началось настоящее безумие, и он стал писать совсем безумные рассказы, это безумие, что было у него всю жизнь в скрытом виде, вышло у него наружу, стало явным. Но это только ослабило тот дух. Так всегда и бывает. И в "Милом друге" полно этого духа. Пишет: что герой там добивается социальной карьеры. Чепуха! Он же там только и делает, что перебирает женщин. Вот вся его цель и никакой другой. Такие женщины попадают, что тянут его по социальной лестнице. Он в этом не виноват, ему это не надо. Так я всегда и понимал эту книгу. Мопассан всю жизнь был ненормален. Полная противоположность Флоберу. Ничего общего ни в духе, ни в стиле. Тоже у Эдгара По: когда открытые ужасы – только ослабляет. Это его низвержение в бездну. Вот нашёл ужас! Ну что тут ужасного? Все такие рассказы, где в открытую, мне не нравятся.

Вся литература о писателях отвратительна. Паразитизм. Это же очень легко писать, и безнаказанно. Шпарь, что хочешь. Чтение такой литературы меня ужасно раздражает. Ну, о Д Аннунцио другое. Там же биография, а не о книгах. О личности. А личность яркая, сильная. Таких в России нет и не было. Тут все слякоть. А если и появляются сильные личности, то в этой стране, в этом болоте и они раскиселиваются. Почему все и бежали отсюда. Гоголь – в Италию, Лермонтов – на Кавказ. Я – в Эстонию. Отключиться от этой страны, этого окружения. Всё это чепуха. Зачем было писать все эти книги? Там, в земле, ничего не нужно. Как глупо живут люди, надеются на что-то. Ну, потребность писать я всегда глубоко понимал. Даже у самых захудалых писателей. Не может не писать. Такой уродился. Это понятно. Но надеяться на вечность...

4 мая 2000 года.

– Пойдём на почту, – сказал он, заклеив конверт. – Письмо опустить Петерсу, моему переводчику во Франции. Что-то произошло с людьми: психика изменилась. Напишу кому-нибудь из друзей письмо, без задней мысли, со своими шутками, как раньше, и – ни ответа, ни привета. Обиделись. Отношения порваны. Из-за чего? Что я такое написал? Шутки как шутки. Не понимают. Вот теперь и осторожничаю, переписываю письмо по три раза, чтобы не пропустить что-нибудь, что им покажется обидным. Чёрт знает что! Бессмысленные, нелепые усилия. Конечно, теперь у всех компьютеры, психика стала машинная, чисто сухая информация и ничего больше. То же и в разговорах. Перестали понимать живую речь. Ну что я такое сверхестественное говорю? А отношения рвутся. Убегают от меня в ужасе и не возвращаются. Ты – другое дело. Да и привык ко мне и к моим безумным речам.

Вышли на улицу. Черёмуха в цвету, вишня. На его остриженной наголо голове зелёная шапочка с козырьком, щеки серебрятся в щетине.

Опустив письмо на почте в почтовый ящик, направились в лес.

– Я правильно сделал, что не остался жить на Западе, – сказал он. – Во Франции или в Америке. Кем бы я там был, что бы делал? Профессором? Каждый день ходить на службу? Я бы там и не ужил, при моём характере, с таким моим резким индивидуализмом. Задавил бы всех. Не стали бы терпеть, выжили бы. Вот если бы миллион долларов свалился с неба, тогда бы ни мгновения не сомневался, уехал бы в какую-нибудь тёплую страну с хорошим климатом, к морю. Здесь климат убийственный, не для жизни. Англосаксы костлявые, негибкие. Тупицы. Негры их ненавидят. Негры – гибкие, интуиты. Да, и цыгане. Цыган так ведь и не сломили. Ничего не смогли с ними сделать. Психика цыган – это хищническая психика. Немцы – те же англосаксы, одно племя. Они же все прагматики. Всё интуитивное за порогом их психики. Не зря ж они мои книги и не переводят. Для них это что-то ненормальное, безумное. У них же орднунг. Мои писания никак в их орднунг не вписываются. Зато они перевели всего Кручёных. Это им вполне понятно. У Кручёных культ формы. Он довёл форму до максимума, выкинув всё человеческое. Оставил только чистую форму. Эта его заумь – всё ясно, рационально. А чуть ступи в То, и они в панике.

Ну, ирландцы – тот народ! У них же евреев полно. На их природное ирландское безумие наложилось ещё сумасшествие евреев и получилась ещё та смесь! С немцами ясно. А вот почему японцы мной не заинтересовались? Ни разу. Ни один японец ко мне не приходил. Вот это странно. Ведь мои книги полностью в японской линии, можно сказать, японские. Тот же тип интуитивности. Я даже хотел послать в Японию свою книгу. Что они скажут. У них же очень сильная славистика. Но это

не в моём характере – подобные послылки, поиски отзывов. У меня ведь и всегда так: кажется, ничего нет, а сяду за машинку, и закрутится. Накала нет. Я ведь все своё писал с накалом. Я всё думаю: мог бы я ещё привести себя в форму, ту, в которой пишутся мои книги? Ну, не в лучшую мою форму, а – в хорошую. Я думаю, ещё мог бы. Не совсем же ещё у меня упадок. Нет, конечно. Но для этого нужен какой-то просвет впереди, пространство свободы хотя бы на год. А пока – тупик. А мог бы я написать ещё одну книгу. Я чувствую.

19 мая 2000 года.

– Эрнст Неизвестный – хулиган, алкоголик, – сказал он, ища свой слуховой аппарат на полке книжного стеллажа. – Приставал ко мне со стихами. Мало ему его скульптур и мирового имени, а ещё и стихи ему приспичило. Потом философскую книгу написал. Совсем с ума сошёл. Да, скульптор он прекрасный, превосходный, профессионал высокого класса. Но таких немало.

Вышли на прогулку. Он в той же зелёной шапочке с козырьком, очки от солнца. У входа в лес цветущим шатром раскинула ветви роскошная черёмуха. За мостиком повернули налево и побрели у ручья.

– Библия – перевод с каких-то вавилонских книг, – стал он говорить, поглядывая сквозь очки на свежее-зелёную берёзовую чашу. – Только имена сменили. То же самое с русским эпосом – перевод с каракалпакского, заменили русскими именами. Вот – книга Кириши Данилова. До него ведь никакого русского эпоса не было. Нигде не упоминается. В летописях ни слова. Знание, то, эзотерическое, из древнего Вавилона перешло в Египет. А до Вавилона? И дальше, вглубь веков? Никто не знает. Конечно, то знание было высшее, чистое. Ведь и воздух, и вода, и земля тогда были ещё чистыми. Великая алтайская культура. Пишут: ещё двести лет назад у алтайцев было такое зрение, что они видели сверхновые звёзды и их изменения. Это какие же должны быть глаза, какое чистое зрение! А сейчас зрение у людей слабое и звёзды видят только в телескопы. Так и все остальные органы чувств.

Нострадамус всё предсказал по годам и всё в точности сбывается. Всё абсолютно. Это знание на точном счислении соотношений звёзд. Знание, переходя из рук в руки, из поколения в поколение, искажается. Чем дальше, тем больше. Сознание падает, и знание. Естественно. Вот тебе пример: советские поэты, Евтушенко, Рождественский, и помельче, все шпарили под Маяковского. А что в них от Маяковского? Ничего. Можно ли по ним получить представление о Маяковском, если бы все его произведения пропали? Никаким образом. Ну вот, так и во всём. Я к этому знанию отношусь только как к красивой литературе, как к поэмам. Так и к Библии. Иначе и нельзя. Любое знание можно опровергнуть.

Что осталось от великой древнегреческой поэзии? Имена, отрывочки. Нуль. Всё сгнуло. И что из того? Разве не появились новые великие поэты? Полно. И так и будут появляться, пока будут люди. А исчезает и исчезнет всё. Обязательно. И великое и ничтожное. Одинаково. Ничего не остаётся. Поэтому я всегда и говорю: живи и не думай о завтрашнем дне. Нравится писать, так пиши. Нет – иди стрелять из револьвера или лопатой землю копать. Что хочешь. Думать о том, что оставить грядущим поколениям? Какая чепуха – такие стремления! Без тебя разберутся, что оставить, что отбросить. И тогда вся философия – одно только красноречие. Всё опровергается. Но философы безвинны. Люди ведь их не читают. Философия – этакий междусобойчик. Сократ только и делал, что болтал. Он же, собственно, антифилософ, создал антифилософию. У него уничтожение понятий, он ввёл в понятия варианты, стал их варьировать, да, софизма у него много. Этим-то он и стал чрезвычайно популярен. Ведь популярным становится то, что удовлетворяет людей, что им своё, под их мерку, то есть – банальное.

Нет, формулы все создают. И у поэтов полно. То, что становится цитатами. Это скорее чудачество – у таких, у больших. Они же свои формулы, смысл их, меняют до наоборот в разных своих книгах. Это игра. Другое дело – у подражателей: они повторяют чужие формулы. Это меня всегда ужасно раздражает. У меня у самого полно своих формул. Можно составить том цитатника. Неизбежно. И потом: часто формулу путают с метафорой. Метафоры, кстати, всегда точны, как формулы. Ведь первое, что крадут, это – метафоры. Формулы заложены в сознание. Я уже писал об этом, об индийском математике. В пять лет он открыл сам все формулы. Ему достаточно было толчка – учебника для начального класса.

Да, философия – красноречие, всего лишь. А много ли красноречивых? Я всё думаю, почему люди такого типа, писатели, художники, кончали самоубийством? Привыкли жить в состоянии письма, и вдруг оно оборвалось. То есть: оборвалась их центральная нить жизни. И как тут быть? Это же их призвание! Жить иначе, по-иному невозможно. У меня в роду этого никогда не было, то есть самоубийств, но на смерть всегда шли охотно. И никогда я раньше об этом не думал. А вот два последних года стал задумываться. Ещё бы, когда столько примеров было у меня на глазах.

Древние верили. Платон верил в богов, в своего любимого Сократа, в свои безумные фантазии, он был полноценный человек и мог жить долго, до восьмидесяти одного года. А в XIX веке и в XX особенно люди перестали верить во что-либо, ни во что теперь не верят, не то, что в богов, а и в себя. И чуть что – ломаются.

При выборе "жизнь или смерть" всегда выбирать смерть. Откуда это? Самурайский трактат? Но это же применимо только для немногих, для единиц, для высших. Это надо быть экстремистом. У Лаоцзы тоже: "Кто ищет жизни, тот умрёт. Кто ищет смерти – будет жить". Перечитывать мне хочется совсем немногие книги. Только из-за их жизненности. Очень немного таких книг. Даже великие книги сильно действуют только при первом прочтении. Попробовал второй раз читать "Книгу перемен" и не смог. Бросил. Тоже – с Борхесом. Во всех его книгах один принцип. А у кого он не один? У Брейгеля был туберкулёз и он последние два года жил всюю, торопился, не щадя себя. За последние два этих года написаны лучшие его картины. Убил себя. Паралич воли – вот чего я боюсь. Внезапный паралич воли. Бальзак, скажем, покроется патиной времени и будет таким же легендарным и великим, как Гомер, как Платон. Так и будет.

25 мая 2000 года.

– Я того же ранга, что и те высшие поэты начала века: Маяковский, Хлебников, Пастернак, Цветаева, – сказал он, когда мы вступили на лесную дорогу. – Оцениваю я себя точно. Это ж видно по стиховой плоти. Потом разберутся. Ужасная неправда разлита повсюду, по всему миру. Подмена ценностей. Всё, чтоб унижить человека и заставить на себя работать. Хлебников писал Вячеславу Иванову: "Ученик – учителю". А тот ему: "Нет, ученик, не обманешь". Какой там ученик! Он же хорошо видел, что тот идёт дальше, значительно дальше. А Блок сразу дал высшую оценку Хлебникову и Маяковскому. А Блок был в зените своей славы. И при этом все символисты о Бунине отзывались с единодушным отвращением: пошлость и бульварщина. У Бунина только две строчки: "Затоплю камин, буду пить. Хорошо бы собаку купить". Ну, Достоевский. Достоевский не ориентир. Он – помойка, чего там только в его книгах не навалено. Какой ориентир может быть в помойке? Может быть, он и выше всех этих писателей, всех символистов. Но он – гениальная помойка. И Толстой и Достоевский – проституция. Такой открытой проституции и такого масштаба в русской литературе до них не было. Видно, без проституции нет и популярности.

Да, я рисую без участия ума и воли. Это моё открытие. Я и сам удивился этой способности в себе. Чистая и абсолютная импровизация. Я никогда не знаю, что будет. Я только начинаю вести рукой линии. Рука сама всё делает, вне ума и воли, видно, она всё сама знает. Это весь организм рисует. Напряжение ужасное. Теперь уж я так не смог бы. И какая-либо правка исключается. Только сразу, начисто. Это уникальное рисование. Больше так никто в мире не рисует и не рисовал. Я, во всяком случае, не слышал. Пробовали так самые высокие профессионалы, увидев

мои рисунки. Чёрта с два. Получалась одна мазня. У меня же всё точно, настоящие рисунки высшего уровня. Только шедевры. Ничего ниже я не оставлял. Меня бы записать в книгу рекордов Гинеса. Ничего не будет, не заметят, не поймут. И художники ведь остались равнодушны, никто не понял.

Да, вся известная нам живопись знает, что хочет. В этом и отличие. То есть: если и импровизация, то все же контролируемая умом, с обязательной подправкой. А это уже не то. Ну, когда высшая техника, тогда тоже делается уже как бы без контроля ума и воли, само собой. Но всё же там всегда знают, что хотят. А тут всегда неизвестно, что будет. В том-то и дело, что они тут ищут метод. А суть этого рисования как раз в том, что у него нет никакого метода. Монотипия. Типа гравюр. Но у меня-то вручную, вслепую, кончиками пальцев. Ни в стихах, ни в прозе так быть не может. Там всегда необходима правка, обработка, доработка. И в стихах и в прозе у меня тот же импровизационный импульс, но с обязательной доработкой. Иначе никак. Видно, эта способность дана только рисованию. У Пушкина при его лёгкости стихов – в черновиках какая исчерканность! Без правки – растянуто, сыро, вяло, как правило. Пример – романы Лескова. Наверное, такое моё теперешнее рисование – реакция на моё прежнее выписывание каждого микрона. Мёртвые рисунки. Да, и у Филонова с его сверхвыписанностью всё мёртвое. Но это у него недостижимая техника.

Не могу у себя прочесть и четырёх строк. Вот психика! Написал книгу, всё равно что высрался, наконец, – так что же, в своём говне ещё копать? Под стеклом, что ли, положить?

Жизнь прожита напрасно. Что книги? Всё это через какие отравы и травмы! Овчинка выделки не стоит. А зачем? Кому это нужно? Царство Толстых вечно, то есть, людей малоодарённых, но с сильной задницей, с точной хваткой, знающих то, что нужно. Я слабею и слабею. Как мы тут ещё два года назад бегали! А теперь еле плетусь. Скоро всё кончится, и слава богу. С кем ты тогда будешь гулять? Беда в том, что недооценивают силу одного человека. Какой-нибудь византиец подумал: что, вот, Гомер есть (имя), а поэм нет, не дошло. Взял да и написал сам и "Илиаду" и "Одиссею". Многие великие писатели могут оказаться совсем не те имена, другие, а те потом сочинили. В Европе одно время считали, что вообще вся древняя литература подделки и махнули рукой: пусть как есть. Об этом вскользь у Нодье в его "Читайте старые книги".

А слишком себя сжигал. Сжёг.

13 июня 2000 года. Навестил его на даче, на Мшинской. От станции шёл черев лес и попал в грозу. Он предложил мне переодеться в сухое и дал свою одежду. Вечером пошли гулять. Он в старой шляпе, в ватнике, оброс бородой. Полнолуние.

– Луна бьёт! – он поднял ладонь, как бы защищаясь от лунного блеска. – Ничего не идёт на перо, – сказал он, отвечая на мой вопрос, как ему тут работается. – Что такое правда? Вот и камень – правда, и лопух – правда. Главное, чтобы текст звучал. В этом и вся правда. Известность – это генеральский пост. Шаламов навывдумывал, романтизировал. Если давать всю голую правду, весь этот голый натурализм как есть, во всей его жути – стошнит. Моё пьянство на улице Росси, в "Дне Зверя" это описано и потом повторено в "Доме дней". Тут я ничего не выдумывал, всё правда. Тут, на Мшинской, у жителей много странностей, можно было бы написать, но странности эти, собственно, одного типа, однообразно. Вот почему я бросил и ту гирлянду алкоголиков, ту повесть. Да, о гениях-алкоголиках. Оказалось, у всех одно и то же. Сейчас пробую написать о своей бабке, чтобы не пропала память о ней. Единственный человек, который действительно меня любил. Во всяком случае, ей, бабке так казалось, что она меня любит. Всё, что сейчас пишут, и стихи и прозу, вызывает у меня только отвращение. Или незаверчено, или переверчено. В общем – верчение. Ничего мне уже не нравится в жизни. А нравилось ли что мне в жизни? Вот вопрос. Алкоголь – это ж анестезия. Анестезировал себя с утра – и жизнь уже не чувствуется. Нравится, не нравится. Никакая. И всю жизнь – моя писанина. И до сих пор. Все так называемые энергетики, то есть, люди, наделённые большой энергией и живущие кипучей деятельностью, никак не могут смириться, когда вдруг энергия иссякает и деятельная жизнь прекращается.

Ночью ему стало плохо с сердцем.

– Как молнией прошило сверху донизу, – сказал он шёпотом, лёжа в постели, показывая взглядом на полную луну в незавешенном окне. Я задёрнул занавеску, но лунный свет, казалось, продолжал сквозь неё проникать в комнату.

28 июля 2000 года. Мшинская.

– Только что о тебе подумал – и ты тут! – сказал он, увидев меня. – Моя интуиция. Нет, ни пишу, ни рисую. Руки дрожат, при такой слабости рисовать уже никак. Ты же видел мои рисунки: какой сильной, неколебимой рукой сделано. А теперь разве что стиль менять, чтобы весь стиль теперь такой был – дрожащий. В город не тороплюсь, тут хоть какое-то движение, только по лестнице вверх-вниз за день – раз пятьдесят. Участок обхожу, смотрю: что плохо лежит и что как растёт. Развлечение.

Днём он работал за машинкой. Я кое-что сделал по хозяйству. Вечером, как обычно, пошли гулять.

– Пытаюсь написать о войне, – сообщил он. – Не о самой войне, а о

её воздействию на психику человека. Вот уже десять лет, как мне снятся каждую ночь военные кошмары. Война взяла меня опять и бросила в свой ад. Кто не воевал, никогда не поймёт. Да ну! Скоро всем каюк. Антарктида, тает, поплыла. Останется горстка в горах, и всё с начала, по новому кругу. Найдутся из уцелевших интуиты – опять знания с азов. Начнут со звёзд, разумеется. Все цивилизации – с гор. А вершина нашей – давно позади и нам неизвестна. За Вавилоном, за Египтом. Мы на спуске – в пропасть. Теперь открыли генотип человечества. Оказывается, происхождение всех людей – северная Африка. А до этого считали – Индия. Восемнадцать типов женщин и двенадцать – мужчин. Всего – тридцать. Вот так. Все негроиды.

Порядочный, то есть – обыватель. Живой человек не может быть порядочным. Это, как говорится; отсутствие либидо. Нерон ненавидел всех порядочных и уничтожал их без жалости. Мое поколение было живое. Это – мёртвое. Не слабость духа, а – отсутствие духа. Но самое страшное из перемен в жизни за последние двадцать-тридцать лет то, что люди перестали петь. Я всегда пел по утрам...

Я не люблю натурализм, потому что натурализм сильно снижает потенциал письма. Всегда нужно что-то скрывать. Кобо Абэ – это не натурализм, я бы это назвал – физиологизм. Тут до сих пор бояться писать психологию и физиологию. Все мои статьи написаны по случаю, по заказу. А та книга, которую я сжёг, это я свихнулся: захотелось сказать обо всём, о всех знаниях. Это ведь у всех заложено: программа, круг знаний, одно и то же, кто бы ни взялся излагать. А потребность есть у всех: сказать обо всём, что в мире. Зачем? Мели, Емеля. Ведь всё можно сказать одной фразой.

Все мои друзья были в Москве. А Ленинград я всегда не любил. Обречённый город, город мёртвых. Тут у меня был только один друг Гитович. Когда Гитович умер, я приходил к нему на могилу с бутылкой вина, половину выливал на могилу, половину выпивал.

Бывает, писатели пишут, пишут всякую чепуху и вдруг напишут маленькую настоящую книгу. Советую тебе прочитать Дино Буцатти "Татарская пустыня". Я видел фильм по этой книге, не зная, что есть книга. Давно. И хотел по этому фильму кое-что написать. А вот: есть сама книга. И писать мне ничего не надо. Но перевод, конечно, облегчённый. Формальную сторону редко переводят, даже никогда, а улавливают нечто внутреннее, дух книги.

10 августа 2000 года. В три часа дня навестил его в больнице Бехтерева. Он спал, один в палате. За окном солнечный день, клёны. Вскоре он проснулся, узнал меня, стал рассказывать:

– От бессонницы выпил пять пузырьков карвалолола, тяжёлое

отравление, увезли на Скорой помощи. Расстройство мозга, я теперь и буквы пишу наоборот: первая маленькая, вторая в десять раз больше, сверху первой, третья – гигантская, закручивается над этими двумя. Вот теперь у меня, может быть, появится новый метод – и в рисовании и в писании. Так что, нет худа без добра. Это Айги в Стокгольме всё болтал, что полностью отказывается от метода прежнего стихосложения, и будет писать новым методом. Надоела мне его болтовня, никак до него не доходило, что глухой, не слышу. Мне тут засадили укол, не шприц, а бревно, да ну – с башню! Вкачали ведро чего-то. Ходить не могу. Заносит. Попытался выйти в коридор, едва не упал, кто-то подхватил.

Ты слышал о генерале Гремыхине? А "Татарскую пустыню" прочитал? Да, начало как в "Падении дома Ашеро́в" Эдгара По. Ну и что? Это же не подражание, а использование мотивов. Да вся литература на использовании чьих-то мотивов, на влияниях, без этого ничего бы и не могло быть. А дело в том, что там, в этой книге с самого начала появляется эта звенящая нота и идёт, идёт, растёт, сильнее, сильнее, звонче, катится, катится. И всё пронизывает мистический холод. Звучит помимо перевода и даже помимо сознания переводчика. Что тогда и войны, и "Дом Ашеро́в", мотивы, влияния? Остаётся только эта звенящая нота! – Он приподнялся с подушки, его лицо, обросшее серебряной щетиной, преобразилось, поднял вверх пальцы и вытянутыми в трубочку губами издал тихий свист: – О! Понимаешь ты, о чём я говорю? Эта звенящая нота у Лермонтова в "Герое нашего времени", в каждой новелле она звучит. А в стихах у него – ничего подобного, там – грубо, резко, ничего там нет.

Ну вот, опять ты свернул на литературу! Ты поставил литературу главным в своей жизни. Чему удивляться, если и многие из великих ставили её главным. Но у меня – ничего подобного. Для меня литература за границей меня, я за гранью литературы, литература для меня – заграничная. Я сам по себе, она вне меня. Какая-то способность, врождённая, вне моей воли. Хочу я, не хочу, сама проявляется. Но никакого особого значения я этому не придавал и мог ничего не писать годами. Спокойно. Ничего смертельного. А старики-футуристы, Асеев, Кручёных, Каменский называли меня великим, что ритмически я велик. Смешно! – Он стиснул мне руку, глаза засверкали:

– Вот пока есть величие, никогда эта звенящая нота не появится. Она начинает звучать, когда никакого величия нет, наоборот... В моих книгах этого звенящего много, во всех моих книгах. И в последней книге стихов: "Куда пошёл, и где окно". Я всё, что у меня не звучит, сжигаю и сжигал всю жизнь. Поэтому-то и являлось в конце концов звенящее. Но не дай бог мне давать тебе подобные советы. Иначе это ведь тогда надо сжечь девяносто девять процентов всей мировой литературы. Это только

мой метод. Может быть, и у тебя когда-нибудь зазвенит. Только нужна ли тебе эта звенящая нота, нужно ли тебе это всё? Била бы тебя жизнь, как меня, как бы сильно ты стал писать! Правда в том, что, чем сильнее бьёт жизнь, тем лучше пишут. Хотя и это не аксиома. Какая была жизнь у Шекспира? Самая обыкновенная. Ничто его не било, заболел, умер. Нет одной для всех формулы. Чепуха. Сервантес – другой пример. Писал дрянь, пьесы, назидательные новеллы, хуже ничего быть не может. А потерял руку, ногу, нищий, в тюрьме, написал "Дон Кихота" – великую книгу.

Опять ты заставил меня говорить о литературе! Ты неисправим. Лучше достал бы мне револьвер. У меня начнётся рак. Не начнётся только чудом. А чудес в этой жизни не бывает, как говорил Маяковский. Медсестра похожа на известный портрет Матисса. Очень! Точь-в-точь! Я хочу посоревноваться в реализме с Матиссом. С Матиссом! Фигура меня не интересует. Лицо. Лицо! До сих пор меня никогда не интересовали лица. Ничего, пройдёт и эта рана, как говорил Есенин. Ничего, ничего. Я знаю, что я умру внезапно. Думают: написать побольше объёмом – так будет мощно! У Пушкина всего-то три таких стихотворения звенящих. А его Медный Ёбник костями гремит.

6 сентября 2000 года. Сегодня мы возобновили наши прогулки.

– Все эти дни после больницы лежал, спал, – сказал он. – Зовут в Югославию. Мне присудили "Золотого Орфея". Уже и полку в туалете для "Орфея" приготовил. Летом написалась ещё поэма. Эта будет последняя, на этом и закончу свой поэтический путь. Напишу завешание: чтоб сожгли, а пепел хоть тут в лесу развеяли. Вот какие у меня разговоры, это тебе не Моцарт.

Да, эта книга Дино Буцатти "Татарская пустыня", там суть вот в чём: главное – стремление к героическому, к доблести, к подвигу. Всеми экстремистами, так назовём их, движет этот дух. Да, мечтающие о рыцарских подвигах. Таких дураков много во все века. Я из той же породы. Всем таким любо погибнуть от меча или пули, смерть в бою, а не на домашней кровати или больничной койке. Только ведь всё это чепуха – где и как. Главное, повторяю – стремление к такому экстремистскому состоянию всю жизнь, до конца, до последнего вдоха. А в бою ли, на койке – не важно. На койке, в захудалой харчевне, в одиночестве – как-то человечней. Главное в этой книге концовка. На фоне того, как красиво написана вся книга. Весь смысл в том, что он ждёт: когда же явится возможность подвига. А так ничего и не совершает. Такая экстремистская психика, самосознание одиночек. Смерть за царя, за родину, за веру, за фашизм, за коммунизм – какая разница. Ищут только повода, чтобы проявить доблесть. Такая порода. Они хотят отвоевать у жизни те

состояния, которые кажутся им прекрасными. Вот и всё. Идеалы рыцарства всех времён. Такие были, есть и всегда будут. Нет, без романтизма. Романтизм у меня ничего не вызывает, кроме отвращения. Но этот комплекс и у меня был – верность присяге. Может быть, поэтому я и не уехал жить на Запад. Да, всем им хочется умереть на поле боя, на глазах у целой армии, чтоб видели, чтоб трубы славы. А если никто не видит и никто не знает, если один на один со смертью, без свидетелей, и до последнего вдоха, сам для себя ты – герой и действуешь героически для своего самосознания? Так не всё ли равно? Так вот, без свидетелей, один – как-то благородней, чище.

Лермонтову надо было проявить большую внутреннюю силу, чтобы не навязать герою свой личный, вонючий героизм. Да нет, он на самом деле был герой, слава его гремела по Кавказу.

Все свои книги я писал для себя, и стихи, и прозу. А то, где информация – такие книги ведь для людей. Я такое писать не могу. Поэтому мои попытки писать о войне провалились. Всю героическую сторону своей жизни я тебе рассказал, теперь надо будет рассказать всё, что у меня было паскудного. Для полноты впечатления.

21 сентября 2000 года. Он надел для прогулки чёрную шапку с длинным козырьком. Солнце и ветер. Шли у ручья, засыпанного листьями, всматриваясь, ища в воде обрывки разорванного письма.

– Написала мне письмо, полное самого дикого бреда и оскорблений, – сказал он раздражённо. – Видишь, вокруг меня бушуют страсти. Она раз пять была в клинике. Я боюсь сумасшедших. Но я напрасно разорвал и выбросил, это компромат, найдут, могут использовать.

Да, новая книга стихов – новая, другая техника, относительно всех моих предыдущих, новое состояние духа. Я встретил в жизни столько замечательных людей и жил своим внутренним, в подъёме, писал своё. В юности очень важно признание. А у меня какое было признание! У людей самого высшего ранга, и здесь, и за границей.

Да, путь русского стиха. Пушкин – это чрезвычайная, недостижимая музыкальность стиха и слога. От природы. Он недосягаем. Но – очень мало воображения в смысле мышления образами. Почти нет. Ему это и не было нужно. Знаешь, когда зубы здоровые, о них не думают. И эту музыкальность стиха при отсутствии воображения Пушкин, как эталон дал русской поэзии и определил её путь. На столетие! А потом – и в советскую эпоху, и сейчас. Отсюда и народные всхлипы Некрасова. Но после Пушкина писать пушкинским стихом – кишка тонка, не та сила дарования. Получалась имитация, подражание, падение. И так до тех пор, пока не явились футуристы. Эти ввели в поэзию громадное воображение.

Хлебников – Пушкин двадцатого века. Тот же чистый и прозрачный стих. У него же почти нет экспериментов. Так, пустячки. Но – при могучем воображении! Никто это не видит. Считают, что Маяковский обокрал Хлебникова. Ничего подобного. У Маяковского всё своё. Он от Библии, от пророков. Надо полностью жить стихом. Ведь так всепоглощённо живут стихом только великие поэты. Вот мне пришлось всех их сломать, начиная с Пушкина, одного за другим. А я всех их любил. Ты же знаешь, что я в стихах, которые мне приносили, всегда искал и отмечал только хорошее, настоящее. Да, Фет писал после шестидесяти также, как в начале пути. Превосходные, тонкие стихи. Но у Фета только одно стихотворение этого периода, да и вообще из всей его поэзии, переходит за пределы всякого писательства. Да, это его знаменитое, где у него: "Рояль был весь раскрыт". Всё остальное – лишь первоклассное стихотворство. Эта русская тонкость, знаешь, очень груба, а русские завихрения, то есть, грубость, бывают очень тонки.

Притягивают меня к футуристам. А я как раз контрфутурист. С первых же шагов формула, диаметрально противоположная футуризму: полное неверие в будущее. Конечно, Маяковский верил во всё это: в коммунизм, в мировой переворот, в революцию космического масштаба. Только в России, наверное, были такие экстремисты, единственные в мире, много, и поэты, и художники. Такой был и Малевич, и Татлин, и Филонов. Даже Шагал. И Платонов, конечно. И простые коммунисты, эти ленинцы, которых перестреляли в первую очередь. Если уж на то пошло, Маяковский самый антисоветский поэт. Не сатира, а искреннее негодование: что предают революцию, что не делают её сразу, в космическом масштабе и на века.

Известность, слава. Никто ничего про себя не знает. Неизвестно: что останется, что канет. Сей-Сёнагон писала всю жизнь тайком свои записки, никто о них не знал, сдохла, и вдруг обнаружили – прекрасная проза! Или – Эккерман, секретарём при Гёте. Под нажимом. Ничего он не хотел это каждодневно записывать из дурацких гётевских разговоров. А вот после смерти Гёте, со злости, что тот испортил ему жизнь, взял и накатал за два месяца такую живую, ироничную книгу. Много таких ляпсусов в истории литературы. А Красовский, современник Грибоедова и Гоголя! Директор императорского драматического театра. Всю жизнь писал дневник, тоже втайне, давал там себе полную волю, кроя на все корки и театр, и все пьесы, которые там ставили, и Гоголя, и Грибоедова, всё, что на душе накопилось. И тут же: как он сегодня поссал и посрл. Каждое утро отмечал температуру воздуха. Записывал сны. А сны у него! За пятьдесят лет до Фрейда такие загибы! Хармсу до него далеко. А по технике письма – у! Гениальный писатель! Так смело не писали и в двадцатом веке. Вся его поэтика принадлежит двадцатому веку, а то и

опережает. Я цитирую сны Красовского в "Дне Зверя". Тоже – сдох. Сослуживцы открыли дневник и – в хохот. Разодрали на части себе на память. Осталась частичка, страниц сто, была напечатана, как казус, как нечто смехотворное, в "Русской старине". И с тех пор ни разу не издавалось. А это не казус, это гениальная проза.

Так что вот – пора и тебе начать вести дневник. Потому что дневник свободен, там можно дать себе полную свободу. А когда ставят цель писать дневник – это заведомый крах. Так было у Делакрыуа. Мёртвый дневник, только несколько живых кусочков, да и то получившихся случайно, независимо от намерений. У французов жанр дневника был также развит, как у японцев.

Как определишь заранее: что останется, что – нет. Есть явная сторона, что видна сразу: это техника стиха, то есть его подкованность, то есть наличие поэтики; или – отсутствие техники, то есть – беспомощность стиха, что тоже – явно. Среднего нет. Но ведь эта подкованность, эта поэтика тоже может быть и живой и мёртвой. Есть ещё имитаторы, у них техника бывает высокая, но стоит один раз взглянуть на оригинал, как они становятся ничто. У Петровского и Петникова, этих двух председателей Земного шара, светится что-то своё сквозь поэтику Хлебникова, которому они подражали. А вот стихи Филонова под Хлебникова – мёртвые, ничего не говорят. Из нынешних только у Елены Шварц есть поэтика, то есть культура стиха. Но стихи у неё мёртвые. Всё это поэты мертворождённые. Ни живой кровинки. Если бы при моей жизни появился хоть один гений, о плеяде и не говорю, это бы сильно меня стимулировало. Так нет же никого. И приходится самому себя стимулировать. Всё из себя. В себе закупорен. Вознесенский писал в юности: "Дай мне другой!" Не дал.

Последняя поэма, которую я сейчас обрабатываю, – там нет ничего космического, никаких вселенских замахов. Назову: "Нет". Потому что там у меня все вопросы кончаются на "нет".

29 сентября 2000 года. На его столе, на листах со стихами его поэмы лежала, мурлыча, кошка.

– Изучает, – сказал он. – Сама начнёт писать. Мопассан из рода маркизов, аристократ и по отцу и по матери, у него в роду были замки, а пишут: из простых. Даже опускают частицу де. Как одеваться? Да тебе-то всегда тепло, ты молодой.

На улице он продолжал говорить:

– Зачем разрушать города? Римляне разрушили до основания Карфаген. Петербург – итальянский город, его же весь построили итальянцы.

День тёплый, солнечный. Путь в лесу преградила железная дорога, по рельсам с грохотом катился бесконечный товарный состав, заглушая его речь. Когда, наконец, состав прошёл, и мы перебрались через рельсы на ту сторону насыпи и побрели по лесной дороге, он продолжил прерванную речь:

– Ни Красовский, ни Сей-Сёнагон не придавали значения своей писанине, не видели в ней ценности, или не сознавали. Писали для себя. А многие из великих просто не акцентировали на этом. Блок не акцентировал. Пушкин. Маяковский – гигантомания, у него "я" так грандиозно, что стирается, сливается с космосом. А Державин – тоже гигантомания, а нет на этом акцента. У русских – от Библии, от пророков.

В старости у всех появляется резонёрство, то есть, рассуждения и потребность объяснить. У меня это началось года четыре назад, в шестьдесят. Да, та книга, которую я сжёг. Вдруг понял, что свихнулся. Полторы тысячи страниц! Теперь мне постоянно приходится бороться с этими побуждениями резонёрства в себе. Раньше ничего подобного не было. В последней книге стихов я нашёл способ от этого избавиться: уничтожать высказывание тем, что говорится после. Самоуничтожение смысла. То есть: уничтожение всякого смысла. И эта старческая болтовня на прогулках – от резонёрства. Что же ещё? Многие так и рождаются резонёрами. Битов, например: на две трети. Но есть и прекрасные куски прозы. Вместо того чтобы рисовать и показывать, рассуждают. Многие просто от неспособности рисовать. Значит, и остаётся от них нуль. Что уж там: и гении уходят в нули. Но гении всё же дают толчки новым поколениям.

И ведь сам-то я: как серьёзно, с какой страстью писал целый год ту сожжённую книгу! Такой яростный философ! У всех это есть. Полно и у Пушкина резонёрства. Но у Пушкина острый ум, он всегда умел вовремя остановиться, и знал, как риторику превратить в противоположное. У Гоголя – "Избранные места из переписки с друзьями" – резонёрство чистой воды. Он ещё не был стар, а свихнулся тоже. Лермонтов в стихах – на девяносто процентов. Но в стихах другое дело. В стихах резонёрство снимается музыкой фраз. Поэтому у Лермонтова вдруг и блеснёт такое, что – о! Монтень – полно этого. А разве мало этого у Шекспира? Чего стоит это его "быть или не быть"! Но у Шекспира это наряду с безумными нелепостями и поэтому звучит совершенно иначе, опрокидывается. Но толпе всегда подносится в тупом, однозначном толковании. У Платона полно. Кроме "Тимея" и "Крития". Надо быть нацеленным только на рисование. Да, в этом смысле одно стихотворение стоит больше, чем вся философская литература.

Бывает – строка глухая. И бьёшься, бьёшься над ней! Чуть-чуть что-

то изменить, даже не слово, не слог, а – переставить, ритм другой, интонация, и – строка звучит. Как это объяснить? Кому? Нет, это не чувство, это скорее особое напряжение. А люди считают, что писать это вообще не труд, а какая-то забава, что любому можно, раз грамотный. А что у них тогда труд? Задницу младенцам подтирать? Вот они и считают таких безумцами. Эренбург сказал о Хлебникове: что он сумасшедший. Полно подобных высказываний о гениях и вообще о художниках и писателях. Ну, конечно, то, что непонятно для их здравомыслия, то есть тупости, что не укладывается в их узенькие обывательские рамочки, то и безумие. Но на самом-то деле, если уж говорить о мысли, то у этих с их точки зрения сумасшедших как раз самые чистые, кристальные мысли. Всё наоборот! Это редкие люди. Ими владеют ритмы космического порядка. Разумеется, они остаются непоняты. Так вот и приходим к выводу, что настоящие и высшие философы – это поэты. Вот, Цветаева. У неё всё философское содержание сжато в поэтических формулах коротких стихотворений. – Он стал декламировать стихотворение Цветаевой "Прокрасться": "А может, лучшая победа...". Прочитав всё стихотворение, он сказал:

– В своё время меня сильно поразило. И ведь ритм – обыкновенный четырёхстопный ямб, а как звучит! Оттого, что насыщен таким смыслом. Преображается. Тут весь дзэн-буддизм. А ведь она не знала ни о каком дзэн-буддизме. Да, но эта формула вся пронизана звукописью. Даже и не в этом дело. Всё решает синтаксис. Всё решает свой язык. Если он есть. А нет, так и ничего нет. Хоть формулы, хоть чёт в ступе. Цветаева по напряжению самый сильный русский поэт. Получается смешно: у Бродского столько высоких высказываний о Цветаевой, а в своих стихах благополучно её миновал. Тоже Вознесенский: не менее благополучно миновал Пастернака, при этом называя себя его учеником. Оттого, что не могли превзойти. Я-то никого не обошёл, всех брал на прицел, и великих, и малых. Я это стихотворение Цветаевой перефразировал: у неё активный отказ, от существования, у меня – активное утверждение существования. Такие люди не знают успокоения, колоссальная активность, поэтому наркотики, любая отравка, чтобы в этом повышенно активном состоянии быть, поэтому ранняя гибель. Люди же умеренные, живущие потихоньку, и живут долго. А эти – экстремисты. Они берутся за самое невозможное, самое трудное. Таких полно и из простых. Крестьянин на Мшинской один заседал и выкапывал гектар, пока не сорвался и сдох. Это такая потребность. Жизнь – это движение, а не рассуждение.

Это Нодье меня тогда попутал, его библиофильские статьи "Читайте старые книги", вот я и ударился в резонёрство. Дневник Красовского напечатали, как казус. Так ведь гений и есть казус, монстр, никогда не знают, что от него ожидать. Когда так долго живёшь, всё приедается, и

женщины, и книги. В моём "Кодексе безнадёжности" есть строка: "Тела давно минувших дней". Ну и зачем были в моей жизни эти полчища баб? Ничего светлого не вспоминается. Чистая физиология. Мне больше нравилось грибы собирать.

Миклухо-Маклай писал о дикарях: за пятьдесят лет они стали вполне цивилизованными людьми, ничем не отличаясь от какого-нибудь парижанина или лондонца. Тот же мозг. Так чего же стоят тысячи лет цивилизации, все эти хваленые знания? Нуль. Все знания – это древняя память. Ничего нового не открывается, а только переоткрывается, вспоминается интуитами, бессознательно. Так что никакого накопления знаний нет. А техника, наука – это знания? Для чего оно? Чтобы всё убить? Для уничтожения? Атомные бомбы бросать?

Многообразие форм. Да. Не была бы открыта наскальная живопись и иероглифы Египта, не было бы и всего искусства двадцатого века, оно бы не состоялось таким, ни живопись, ни музыка, ни архитектура, ни новая поэтика стиха и прозы. Продолжали бы, как миленькие, эксплуатировать греков, бесконечно интерпретировать и списывать их искусство, не превосходя их, а делая только всё слабее. А тут – бум, резкий поворот. Новые формы. Да не новые! А реанимация давно забытых, давно прожитых. Реанимация и интерпретация. Когда-нибудь также реанимируют двадцатый век, а всё предыдущее сотрётся начисто, как и не бывшее никогда. Ведь всё высшее уничтожается. Таков закон.

Да, в природе экстремизма нет, там все уживаются, для всех хватает места. Это только люди борются и всё уничтожают. Они лишние в этом мире, на этой земле. Может быть, и правда пришельцы. В одежде ходят! Никто же из животных не одевается. Люди не вписываются в этот мир, они тут чужие, лишние, нарушают баланс. У Цветаевой о гениях: лишние в мире. А тут – все люди. Миклухо-Маклая я читал в детстве, и врезалось, особенно рецепты ядов, у него приводятся редкостные яды, которые нигде больше не упоминаются. Да, многообразие форм. Формы не накапливаются, а возникают внезапно. Когда форм много, есть из чего выбрать тебе близкое, само выбирается. Известно же теперь, что всё решает не Форма, а интонация, акцент. А их множество.

Почему я оказался в полном одиночестве? У Борхеса, например, были ученики-друзья моложе его на двадцать лет. Этот Леос, всю жизнь около него. У Борхеса интонация жёсткая, а у Леоса мягче, легче. Единственная у меня светлая книга стихов это "37". В прозе "Летучий голландец". А остальное ужасно мрачно. Прекрасные картины детства у Аксакова, Набокова. А у меня какое детство? Война, ужас. Что там вспоминать? А до семи лет вообще ничего не помню. Первое светлое воспоминание: как катался на свинье на Кубани.

5 октября 2000 года.

– Пробую разбирать написанное за год, – сказал он мне, стоя у своего стола, заваленного бумагой. – Обо мне замолчат надолго. Никакой посмертной славы не будет и быть не может. Разве издали по-настоящему Хлебникова? Продолжают замалчивать, не издают его книги, не пишут ни статей о нем, ни монографий. А ведь у него огромная мировая слава. К тому же Хлебников невинен перед властью, и биография его – чистый алмаз.

У меня, начиная с "Башни" книги чисто интуитивные, каких тут ещё не бывало. Интуитивные книги у меня начались с поэм: "К морю", "Мартовские иды". Но в поэмах всё-таки есть и конструкция. А в "Башне" уже полностью чисто. Писал, оставляя воздух. И потом уже все книги такие. А до этого – нет, только элементы интуитивного. Ну так и что? Всею своё время. Да, в моём "Слове о полку Игореве" интуитивного много. Но только эти свободные куски и надо было оставить, на этом и остановиться, а я продолжал, выстроил, как требовал конструктивный план. Сейчас бы я так не стал, а тогда и в голове не было.

На мою книгу стихов "Куда пошёл, и где окно" было четыреста рецензий в журналах и газетах, и только в одной "Общей газете" журналистка, дочь писателя Бека, написала обо мне верно, зацепив главное, глубоко, то, что я сейчас говорил об интуиции, только другими словами. Интуиция – это необъяснимо. Утрилло до женитьбы – полёт, мистика. Женился – всё это оборвалось. Казалось бы, те же картины, такое же высшее мастерство, ещё двадцать лет, но того, что было, нет и в помине. Массы людей ходят, смотрят и не замечают никакой разницы в его картинах. Кто видит? Единицы, те, у кого есть такое восприятие. Да, некоторые приводили себя в это состояние искусственно, наркотиками: Эдгар По, Мопассан, Нерваль. Я – никогда. Мне это всегда было чуждо. Я даже не понимаю. У меня это только естественно, само собой. Бывает: гравюры на древних блюдах, одно летит, другое – механическая копия. Как это объяснишь? Кому? Бессмысленно.

Пошли гулять. В лесу разговор продолжился.

– В России так мало великих поэтов, что возвеличивают Тютчева, Фета, – сказал он. – У Тютчева стихотворений пять прекрасных. Но называть его великим, ну, знаешь? Фет – чудный поэт. Но у него девяносто процентов – только высокое стихотворство, не более того. Пушкину сильно помогла реклама, ни у кого из русских поэтов не было такой грандиозной рекламы. Ведь пятьдесят лет демократы говорили о нём, как о полном ничтожестве, как о каком-то комке грязи. Один Писарев чего стоит. Разве не реклама? И за полвека царения демократии русский язык был настолько испорчен, так низко пал, что дальше некуда. На то и демократы. Что за язык у Некрасова, какой он слабый, кисель и

фальшивка, подделка под народный. Ничего народного он не знал. Да и не было тогда никакого народного поэтического языка, пьяные песни. Естественно после такого падения опять открыли Пушкина, и тогда он показался богом. Даже "Цыгане". Жуковский удивлялся, да и не он один: зачем Пушкин написал такую слабую поэму с таким слащавым языком. А теперь и "Цыгане" выглядят как что-то прекрасное на фоне нашего бездарного, газетного языка.

Дойдя до рва, повернули обратно. Он вдруг остановился.

– Ах, какой чистый клён! – сказал он, показывая на тонкое деревце с золотыми ладонями листьев.

– Историю делают писатели, – заговорил он вновь, когда мы двинулись дальше. – Как они напишут, такой история и пойдёт в века, по книгам писателей и будут её изучать. По Гомеру, Ксенофону, Бальзаку. Так ведь и говорят: бальзаковские времена, пушкинские времена. Цари, императоры, полководцы – шваль. Как их писатель опишет, так и войдут в историю. Всегда побеждают писатели. А какая у них жизнь? Живут в жутком напряжении, неважно, богатые или нищие. Мопассан боялся ложиться спать: что утром не встанет, умрёт во сне. Я, наоборот, ложусь с радостью: наконец-то я могу успокоиться после всех волнений дня, вздохнуть с облегчением и уснуть. Проснусь или нет – вот уж это меня нисколько не заботит. Ни в одной стране так не уничтожают язык и писателей. Нет, всё-таки победят они, эти бандиты, оттого и полная безнадежность. Что же, бояться писателей? Значит, бояться.

Гитлер – чудовищной силы маньяк, шизофреник, нагнал психоз на всю Европу, и на Сталина. Вот и его победы! Гениальный писатель, гениальные книги – это тоже агрессия, но безвредная. Действует только на избранных, на тех, кто такие же. А много ли таких? У меня был случай: я месяц жил в Риге в прекрасной квартире, никогда я не жил в такой роскоши. Меня устроил приятель, договорясь с хозяйкой, которую я не разу и не видел, она на лето уехала в Юрмалу. Однажды я сажу за машинкой и вдруг чувствую за спиной со стороны двери какое-то страшное напряжение в воздухе, словно электричество сгустилось, навалился какой-то тяжёлый груз мне на голову, пригнул. Я обернулся, и тут же распахивается дверь и входит хозяйка. Красивая, лет сорок. Благодарит, что согласился у неё пожить, посторожить квартиру. Потом я узнал: она была шизофреничка, депрессивные состояния с агрессивной манией, и это действовало на окружающих, как электрический удар. Через год она выбросилась из окна с шестого этажа.

В том же доме жил Пикуль, мы с ним познакомились. Он не вылезал из-за машинки, у него был план: написать пятьдесят романов. Позволял себе только один час прогулки, как в тюрьме. Мы стали этот час гулять с ним вместе. Пикуль, кстати, был любимый писатель Брежнева.

Сейчас мне не о чем писать. Нужны новые впечатления, места, книги, противоположное тому, что есть, что приелось, стало трафаретом. Так у меня было в плавании на "Сириусе", впервые в море, яркие краски, всё в новинку, вдруг дождь и гигантская стая птиц опустилась на ванты – сильно! Тут же запись в тетрадь. И такие записи каждый день. Так и написался у меня "Летучий голландец". Точно также вышло первое лето на Мшинской: новый мир, удар воображения. А теперь давно уже нет ничего нового, всё известно, замкнутый круг, плен, изоляция. Как в камере. Засовы задвигались уже не раз, но потом обязательно вырывался. А теперь только привычка работать каждое утро, отсиживать за машинкой. Невозможно же ничего не делать. Писанина это, знаешь, сумасшествие.

12 октября 2000 года. Он сидел за машинкой, на голове белокрасная шерстяная шапка, дует от окна, поэтому он укрывает голову.

– Поэму я закончил, – сообщил он мне, – осталось сделать коллаж, выстроить композицию, и не могу уже неделю, сил нет. Нужна большая сосредоточенность. Из всего, что я пытался писать о войне, получилась инструкция для детей-убийц, подробнейшая инструкция, как детям убивать: чем, когда, средства, обстоятельства, ситуация. Как войти в блиндаж, как выйти. Как под танк бросаться. Пишется легко, ведь я все эти подробности знаю на живом опыте. Это совершенно новое, в мире такого ещё не было написано. Да, выход для темы, такая сублимация: психика бессознательно ищет, как ей избавиться от давящего груза. О человеческой психике так ничего толком и не знают. У Фрейда – все это фантазёрство. Психике надо изжить то или то, вот и находит лазейку. Например, у меня с чужими стихами: годами крутятся на языке, а использую каким-нибудь образом в своих вещах – и всё! избавился навсегда от этих навязчивых строк, от этого наваждения, как отрезало.

Хотят меня издать в Москве. Как всегда, перепортят мою орфографию и синтаксис. Меня и никогда не издавали должным образом, моя поэтика неприемлема, как тогда, так и сейчас. Ничего не изменилось. Со мной получается ещё хуже, чем с Хлебниковым. Тогда ещё были настоящие, понимающие люди. Тот же Степанов. Сейчас таких нет. Что одевать на прогулку? – спросил он. – Да, у тебя-то нет таких, как у меня, спазмов гениальности, вот твоя голова и не мёрзнет.

На улице холодно, ветер, тучи кругом. Мы опять поднялись в закусную по крутой, грязной лестнице. Опять крепкий чай, ему мало двух чашек, он взял три. За соседним столиком пьют пиво и водку. Какой-то сумасшедший разговаривал сам с собой. Он прямо посмотрел мне в глаза через стол своим твердым, тяжелым, немигающим взглядом:

– Да, когда я сдохну, ты можешь написать неплохую книгу о наших

прогулках в лесу. Не говори чепухи. Ты молодой, тебе ещё жить и жить. В России в начале двадцатого века был всплеск гениальности во всех областях: и в искусстве, и в науке, и в военном деле. Поэты, художники, учёные, полководцы. Целое поколение гениев! И всех – под корень! Вот чего жаль, вот что ужасно! Да, при футуризме высший всплеск русского языка. Именно: языка. У символистов язык туманный. А тут открытый, корни из древности, от первоисточника. Разве теперь язык? Маяковский хоть и писал фельетоны в стихах, но стих его не съезжал, всё такой же был жёсткий, мощный, форма такая же высокая. А у Пастернака поэтика упала, сразу, уже в этих лжеревOLUTIONных поэмах: "Лейтенант Шмидт" и прочее. Разве можно эти стихи отличить от Луговского? Много тогда было поэтов, общий уровень стиха был высок. И слабо одарённые поэты писали сильно: так ведь имитировали с гениальных образцов.

Мы шли по дорожке у ручья, в голом лесу, и он продолжал говорить:

– Печально то, что я духовно старости не чувствую и никак мне не смириться с физическим старением. Я не представляю, как жить без работы. Разве о моих последних книгах скажешь, что старческие? Они моложе молодых.

Эти люди рождаются с напряжением, работа для них, чтобы это напряжение снять: в работе они успокаиваются. Им необходимо постоянно загружать себя работой. Этим людям, так называемым гениям, нет успокоения. Наполеон искал успокоения в войнах, он бы никогда не успокоился, воевал бы и воевал. Тоже – Александр Македонский. Это великие. А сколько простых солдат также одержимых! Мир не для них, без войны они томятся, война – их призвание. У гениев в искусстве – это война с самим собой, всю жизнь беспощадная война с самим собой, самая жестокая, до последней капли крови, до последнего вдоха. В мире с самим собой они не могут жить ни минуты. И с женщинами у них так: только, чтобы успокоиться, и не нужны им никакие ласки, этого у них нет, получается чистая физиология и ничего больше.

У Цветаевой немного написано. Её стилистика требовала огромной работы и не могла дать больших объёмов. У меня тоже самое. Первоначальный черновик у меня после всех обработок сжимается в восемь-десять раз. Если бы я сохранял все черновики, то и квартиры бы не хватило. Так что, если брать только актив, у меня написано очень немного, не больше, чем у Гоголя. Но Гоголь писал всего десять лет, а я всю жизнь и до сих пор. Всё это, конечно, чепуха, никакого значения не имеет. У Ксенофонта один "Анабасис", всё остальное у него – хоть бы и не было. У Петрония – тоненькая книжечка. Пушкин стал исторической фигурой и поэтому у него всё ценно, в том числе и дерьмо. И потом – многое с годами приобретает этнографическую ценность: как жили, что ели, во что одевались. Многих писателей, и слабых, покрывает эта патина

времени, и они делаются нам интересны. Писатели-фиксаторы. Когда я заканчиваю очередную книгу, то весь мир становится мне не нужен. Ничего мне в мире не интересно, кроме писанины, и когда не пишу, то и сам делаюсь нуль. Разве это нормально? Никогда у меня не было жизнерадостности, как у других. Вот люди пьют пиво, мирно беседуют, получают удовольствие, у них свои большие и маленькие радости. Но мне-то всё это глубоко чуждо, мне это глубоко чуждо.

Все мои книги писались по-разному. "День Зверя" – импровизация, и небольшая обработка. "Книга пустот" – писалась несколько лет, поэтому разнообразно, но я составил удачный коллаж, и всё очень органично выстроилось. "Дом дней" – только этой книги черновики и храню, потому что две трети написанного не вошло в книгу, композиционно не лезло, ослабляло вещь. А так – книга вышла сжатая, динамичная. Посмотри мою книгу "Верховный час", там: "Первое стихотворение 1973 года", и строчка: "О, неужели всегда так будет..." Это я в первый день Нового года шёл по улице, смотрел, и вот – такое настроение. Это первая моя паника: что так всегда будет. И в тот же год разошёлся с женой, порвал с театром, с друзьями, все связи, все отношения. Разве не патология? Что-то нечеловеческое. Решительный поступок, нечего сказать. Одним ударом покончить с прошлым и начать новую жизнь. А какую? Жуткие запои. Попал в коммуналку на улице Росси. Теперь тут – уже двадцать лет, из них десять – полная изоляция. И вот вся жизнь. Нечеловеческая. Никого, ничего.

20 октября 2000 года.

– Я в своей последней книге стихов нашёл много ошибок, – сказал он, подведя меня к столу. Не проверил корректуру, дурак. Издатель не понимает мои стихи. Понимание с неба не свалится. Чего не понимаешь с юности, того уже никогда не поймёшь. Хотя сам-то я долго не мог понять Пастернака, казался сложен, не звучал. Однажды я гулял по Невскому ночью с одним поэтом и тот вдруг стал читать "Ты так играла эту роль". Читал великолепно. И тогда мне вдруг открылся весь музыкальный строй стиха. "Чё это?" спросил я. "Пастернака?" Я был буквально ошеломлён. Бросился домой, открыл эту книгу, "Сестра моя жизнь" – и вся она засверкала, зазвучала, полетела! – Он взмахнул обеими руками вверх: – Музыка! А ведь он от Северянина. Но в Северянине ничего этого нет. И близко. Тут такая насыщенность, такая сила, такие крылья! Вот как бывает: можно остаться в веках тоненькой книжкой. А Мандельштам я и до сих пор не понимаю. Стихи-то что понимать, вижу, что крупный поэт, высокий мастер, но то не открывается. Бенедикт Лившиц куда более сильный поэт, крупнее Мандельштам. Видно же, какой могучий, железный стих.

Вышли гулять. Солнце, безоблачное небо.

– Ночью пишу дневник в ванной, чтобы не мешать Нине спать. Пустое, дневник этот ванный. Что можно в ванне написать хорошего? И потом, дневник как метод для меня уже невозможен. Вот после Тарту дневник стал для меня открытием. Вынужденное открытие: после операции я не мог сидеть, только лежать. Вот лежал у окна и записывал всё, что за окном вижу: как дом строится, как чайка пролетела. Или: телевизионные программы, многое можно увидеть. Устроюсь перед экраном и строчу. Затем в Комарове: выходил каждое утро к морю и записывал, что увижу. Всегда находилось что-нибудь причудливое, оригинальное. Несколько строчек, сценка, а то и целый рассказик. Всё это и вошло в "Башню". В том и смысл: увидеть предмет и мгновенно его преобразить. Но теперь я этот метод отринул. Почему? Потому что метод этот исчерпал себя. И дело не в том, что везде одно и то же и весь мир собственно везде одинаков, в принципе, можно поехать в другие страны и найти много причудливого, но – ведь это будет всё тот же мой взгляд. А это вот уже тривиально. Важно только то, что первоначально ново. Первоначальная новизна – только она является открытием. Потом надо искать другое. У меня ведь было много методов.

В лесу голо, блестит, засыпанная листьями, дорожка. Он продолжил разговор:

– Браммель, этот сверхденди, не мог смотреть на плохо одетых людей, это его раздражало, вызывало отвращение, ранило его сердце. А я? Тоже самое и у меня, когда вижу плохую картину, читаю плохую книгу. В чём я по-настоящему разбираюсь: в тряпках, и мужских, и женских, в том числе и исподнее; в картинах; в старых, букинистических книгах, в оформлении и издании книг; в безделушках, эта страсть у меня от отца. Тот был великий знаток; наш дом во Львове был полон редчайших, драгоценнейших безделушек. Безделушки ведь ничто иное, как маленькие скульптуры. У меня давняя мечта, ну, не мечта, желание: самому полностью сделать и издать книгу, по высочайшему классу, со своими рисунками, в единственном экземпляре, для коллекционеров. Ну, о стихах говорить нечего, само собой, раз поэт, то как это – не разбираться, это – кровь.

Николай позвал Пушкина, будет его цензором и прочее, тот и растаял. Это ужасно, когда такой поэт спутается с властью. Лермонтов тоже ходил на придворные балы, любил танцевать, тоже уродливый, нос такой вздёрнутый, – он показал рукой, – маленький, чудовищно длинные руки, но в отличие от Пушкина никакого комплекса по поводу своего уродства, от этого он был свободен, а всю эту аристократию открыто презирал. Написал же: "А вы, надменные потомки..." Стихи плохие, но откровенные. Писателю от власти надо быть как можно дальше. Сам я,

когда пишу, ни о какой власти не думаю. Что бы я написал, если б думал? Я сам себе власть. Когда я пишу, я один в мире, никого и ничего не существует. Только моё "я". Писатели лезут к деньгам, чинам – падение психики. Пещерные рисунки? Много интуиции, это – да. Интуитивно нарисовано, что значит – свободно. Но грубо. Вот древняя китайская живопись: там и интуитивное и одновременно гигантская тренировка руки, тысячелетиями. А это ведь идёт через голову и так организует мозг, да и весь организм. Почему художники обычно и живут так долго: постоянная тренировка, много на воздухе. Я никогда ни с кем не говорил о своих книгах, ведь это значит компрометировать их, снижать их до уровня рюмки или кильки в пьяном разговоре, в трепотне. Также я никогда не спрашивал ничьего мнения о своих книгах.

За поворотом ручья блестит в лучах лес, солнце стало нам светить в лицо. Он продолжал говорить:

– Чему я удивляюсь, так это неукротимости своего письма до сих пор. У меня был краткий спад, два года, после "Слова о полку Игореве", а потом с 1963 года опять пошло также сильно, и всё сильнее, и до сих пор, не снижая этого высшего уровня. Вот человечности-то я больше всего и боюсь. Я давно подозревал, что в моих стихах будут читать человечность. А там многозначно, поэтому возможны разночтения. У меня же всегда снимается сарказмом, который бывает и в интонации, и в ритме. Как только у художника появляется что-то человеческое, он кончился, перестал быть художником. Ведь книги по своей сути – вещи нечеловеческие. Где человеческое, там – слюни, слёзы, растроганность, раскисленность – это уже не книги. Нет, книги всегда жестоки, античеловечны. У Цветаевой: "Тоска по родине! Давно разоблачённая морока!". – И так далее. Нагнетает и нагнетает отрицание, отказ, разоблачение, и вдруг – концовка: "Но если по дороге – куст встаёт, особенно – рябина...". Что это? Падение, слабость, уступка, человечность? С чего бы это? И все так и читают. Слюни, мол, пустила. А на самом деле – издевка, сарказм: ешьте, радуйтесь! будто бы сломилась. Ведь ужасно банальные, тривиальные строки, поэтому и звучат в полную саркастическую силу. Только так надо это понимать и читать, только так. Всё равно будут читать через свои слюни и перетолковывать по-своему. А существует только одно первоначальное авторское значение, все последующие прочтения и толкования – ложь.

Библия – самая жестокая из всех книг, а что из неё сделали, как пригладили, размягчили, очеловечили, развели слюнями. Так всегда и во всём. Стена плача в Иерусалиме. Думают, у неё плакать надо. Правоверные никогда там не плачут. В Библии у всех пророков написано: "И будет вам плач и скрежет зубовный". То есть, совсем другое значение плача: активность, собраться с духом, противостоять, сопротивляться. А

цыганский романс! Не зря же его называют жестоким. Надо понимать менталитет народа. Раз цыганский, значит, и жестокий. Я дружил с цыганским хором "Кармен". Как они пели "Пара гнедых" Апухтина! Совсем не так, как русские поют, вяло, жалобно, а, наоборот: сильно, ритмично, зло: "Грек из Одессы, еврей из Варшавы, юный корнет и седой генерал..." – он продекламировал два куплета. – И потом всем хором как грянут: "Вы, только вы и верны ей доныне, пара гнедых!" Это значит – все схлынули, вся эта шваль, мразь, эти корнеты и генералы, осталась только она, цыганка, звериная душа, без сантиментов, прожившая жизнь, как ей нравится: постель, деньги. И кони – тоже звери. Верные ей до конца. Только цыганка и кони. Утверждение, а не унылое хныканье. Или: "Бесы" Пушкина! Они же ему душу надрыдают "визгом жалобным и воем". Потому что он им сродни, они его собратья, эти духи. А что Достоевский, как он, тоже гений, понял "Бесов" Пушкина? Что всё это мразь, одна мразь кругом. Пасквиль, социология. А там – космос!

Вийон писал по заказу короля. Какие изысканно сложные стихи! Тогда старались друг друга формой задавить, а не холуйство, как здесь. Самые мои героические годы: с 1981 по 1986. Строчил на машинке беспрерывно, целые дни. И тогда я написал самые сильные свои книги прозы и книгу стихов "47". Разве не подвиг? После операции, с разрезанным брюхом! Я всегда писал, только когда мне было плохо, когда жизнь прижимала меня и хорошенько стучала. Писал, так сказать, в экзистенции, то есть: находясь на грани между жизнью и смертью. А в благополучные годы – расслабленность, ничего не пишется. Тогда – пьянство, женщины. Стихи свои я всегда писал на ходу, на обрывках. Надо схватить нерв. Не написал – нерв ушёл. Дома только обработать, это уже пустяки. У Ницше были ужасные головные боли всю жизнь, из-за чего, в конце концов, и сошёл с ума. Чисто немецкая черта: любовь мыслить.

25 октября 2000 года. Сегодня дождь, пошли гулять с зонтами.

– В понедельник полечу в Швейцарию, – сообщил он мне. – Будут делать операцию.

Зашли в закусную. Чай. За нашим столиком пьяница со стаканом водки. Коротко острижен, сивые брови нависли, чёрная кожаная куртка. Повернул к нам голову, пристально смотрел на него, наконец, спросил:

– Слушай, ты случайно не грузин?

– Я глухой, – ответил он и показал на уши.

Тот понимающе кивнул головой и, подвинув стакан, предложил выпить.

Он отказался:

– Не могу. Вот – чифирю, чтоб как-то заменить.

В лесу он стал говорить, возбуждённый выпитым чаем:

– Так называемой жажды жизни у меня никогда не было. Цветаева от всех поэтов была в восторге, то в одного влюблялась, то в другого, постоянная влюблённость. Поэт для неё был священен. Жила в своих мечтаниях, в своём экстремизме. Стал читать книгу Зайцева: "Биография Тургенева". Ну и мразь этот Зайцев! Слякоть неслыханная. Никогда раньше я его не читал. Бунин, всё-таки, художник, у него картины, запоминается, хотя весь он сладкий и пошлый. Ещё Блок о нём высказался. От Зайцева одна польза: я на свои элегии посмотрел по-другому, с этой точки зрения – слишком уныло, сорок пять страниц в одной интонации, получится тот же Зайцев. Надо разбить, сделать коллаж, а не могу, сил нет. Муза моя совсем затухла. У Ремизова сильная хватка, сразу чувствуется, но Ремизов стилизатор. А стилизаторов я не люблю. Что делать. Я и Вагинова из-за этого только раз прочитал и то еле-еле, не без насилия над собой.

Я долго был наивен в отношениях с людьми, верил в так называемую любовь, дружбу. И жизнь мне показала! Удар за ударом. И тогда я перешёл из одной крайности в другую: полное неверие. Середины у меня нет. В стихах, вообще в искусстве, человечность всегда – пошлость. Я в своих стихах бесчеловечен. Да, бесчеловечность оказывается высшим благородством: потому что без слюняйства. Есть же товарищеская взаимопомощь, на этом всё и держится. А тут холуи и хамы. Ни один из моих учеников не звонил мне вот уже лет десять. Что это? Мания величия? Давно известно: учитель и ученики – враги. Ну, я по этому поводу отвёл душу в своей китайской повести. Рильке я читал на немецком. Поэт напряжённый, поэтика высокая, первоклассная. Но Цветаевой такого рода поэт противопоставлен. Дон Кихот – да это же чудак! Такие типы самые бесчеловечные. Гоголь сжигал. Исчерпана тема, а он всё гнул. Взял направление на плюс – заведомый крах. Что ж ещё может выйти при плюсе? Лучший перевод "Слова о полку Игореве" академика Шторма. Лихачёвский – ужасный. Переводят: "В поле незнакомом". Какое снижение, уничтожение истинного смысла! "Незнаеме" – звучит мистически.

15 ноября 2000 года. Он вернулся из Швейцарии, я встречал его на Пулковском аэродроме. Сегодня мы продолжили наши прогулки. Взяв зонты, пошли в лес. Мглисто, слякоть, дорога раскисла, в лесу никого, мы одни.

– Читать нечего, – сказал он мрачно. – Только и чтения, что Зайцев. Мразь жуткая. Эти его биографии писателей. Лжёт направо и налево. Засахаривает, а это ложь и есть. О Тургеневе ладно, тот барин, белоручка. А Чехов, что этот дурак о нём мелет! Чехов был сильный человек, живой,

разный. Пил крепко, до самого конца. Больной туберкулёзом поехал на Сахалин. Сгорел. Умер в сорок один, кажется. Начало его писательства – неплохо, анекдоты. Они, анекдоты, всегда хороши, такой жанр. Потом его книга "Сумерки", повесть "Степь" и вся последующая проза – дрянь, конечно. Серое, посконное. Такое было время, установка такая: упадок, вот все и дули в эту дудку. Ничего яркого. Мало кому удаётся избежать влияния своего времени. А главное – толстовство. Вот все русские писатели и были в плену толстовства. Гаршин, несмотря на упадочничество, писал прекрасно, ярко, но толстовство его искалечило, то есть, эти толстовские идеи. "Война и мир" – великий роман, там ещё ничего этого нет. Чуть ли не все романы Мопассана, а их восемь, что ли – слюни, бытовое, на потребу публики, что тогда нравилось, тоже – установка времени. А вот в рассказах – безнравственность, вульгарность, это-то и оказалось у него настоящее. Так вот: Чехов в последние два года жизни всё-таки вырвался из этого плена, бросил серую, скучную прозу и стал писать свои пьесы. А это – всплеск! Тут он развернулся. Да, без пьес Чехова не было бы и театра абсурда.

Нет, были противопоставления толстовщине. Хотя бы и Островский. Сначала я относился к Островскому отрицательно: купечество, мораль, "Гроза" эта, баба в воду кидается топить. А когда я занялся аранжировкой пьес для театров, то Островский мне вдруг открылся и поразил. "Таланты и поклонники" – издевательская пьеса, движется, все персонажи карикатурны. Это и есть настоящая драматургия. Только у Островского много и воды, надо выжимать. А вот Сухово-Кобылин – у того выжимать нечего. Нельзя ни слова изменить. Тот парень другого разряда. Леонид Андреев, его актив, конечно: "Красный смех" и прочее. Только вот язык у Андреева бедный.

Русское православие – идея смирения, рабство. Ни капли мистики. У греков другое, там мистики много, исихазм. А католицизм активен, воинствен. Русская проза вообще вся унылая, малоэстетичная, немзыкальная. Да и поэзия. Вся русская эстетика – Державин, Пушкин. А сколько писателей у французов, у японцев, у китайцев! Ну, Гоголь в русской литературе – аномалия. Конечно, и Лермонтов, и Аввакум, и "Слово о полку Игореве", и футуристы. Но это же горстка.

В пушкинское время язык был чище, у футуристов – богаче. Такого богатого языка, как у Хлебникова, ни у кого нет. Такой взлёт в начале двадцатого века! А потом? Вот что жаль. Это теперь потребовался богатый язык, разнообразие, аристократизм, превосходно поставленное "я", музыкальность.

Помню, как смешно я рассуждал в детстве, подросток, лет девять. Тётка у меня была начитанная, знала наизусть много стихов, "Руслана и Людмилу" целиком, читала мне книги. Вот я и задумался: "Евгений Онегин" и "Руслан и Людмила" уже написаны. И "Война и мир" написано.

И "Фауст" Гёте уже написан. Всё уже написано, так что же нового можно ещё написать? Ничего. Не о чем. Так я и сейчас относительно самого себя: всё уже написал, писать не о чем. Стихи – проще, их можно шлёпать до бесконечности, лишь бы шло. А прозу как, если не о чем? Автобиографическое не получается, ни армия, ни завод не идут в запись. О чём там писать? Все дни были одинаковы, однообразие. Где-то тусоваться, искать событий? Специально ведь писатель ничего сочинить не может, нужен какой-то толчок реальности.

Кто без влияний, у меня самого их можно насчитать миллион. Подражатели, это да – плохо. Удачно ты мне тогда подкинул "Книгу перемен". Теперь исчерпана и тема Лито и тема Мшинской. Сколько раз начинал – не получалось. А тут явился стержень, на который всё и нанизалось. Да, древний Китай. Ведь всегда нужна условность, отстраненность. Метод дневника исчерпан в "Башне". Нельзя же повторяться. Да, метод ежедневных записей.

Беды и боли меня взбадривают и заставляют сконцентрироваться, действовать, пробуждается активность. Этот год чудовищный – нули, десятки. Интуиты, гении нулей и чётных чисел не терпят, а десятки для них смерть. Интуиты – девятка. У Пушкина в рождении девять, а в смерти – десять. Девятка – уникальное число. Это феникс: как ни оперируй с ней, она возвращается к себе. У Лермонтова в рождении пять и в смерти пять. Число простое, но всё же не высшее, не девятка. Но Лермонтов – гений в легенде, как гений вообще, а не именно в писательстве. Так что я не знаю, чем этот год для меня закончится. Всё это ерунда. Вот у Рида Грачёва жизнь трагическая: инвалид, без ноги, живёт совершенно один, сумасшедший. Кто-то к нему приходит один раз в неделю – убрать в комнате. Рид уже тридцать лет не пишет, ни строчки, но ничуть не страдает от этого. Он же написал очень мало, к тридцати трём годам – томик. Рид всегда сибаритствовал.

Мы возвращались в темноте, на улице зажглись фонари, дождь не прекращался. Он шёл молча. Потом заговорил, как бы пытаясь разрешить загадку:

– Тётка моя была странный человек: читала мне, ребёнку, тогда в Ташкенте наизусть Есенина "Баллада о двадцати шести". Помню, какое сильное впечатление производили на меня эти стихи, музыка стиха и образность, а не смысл. Смысла я и не понимал. А только в музыке суть стиха. "Их было двадцать шесть, двадцать шесть их было... Ночь, как дыню, катит луну. Море в берег струит волну... Там за морем гуляет туман. Видишь, встал из песка Шаумян...". И так далее. Что за Шаумян, я и понятия не имел. Не важно, что – гимн комиссарам. А всех ведь именно это восхищает у Есенина, эта смысловая сторона: вот парень, свободный, как хотел, так и крыл, то за, то против. Чепуха это всё. Не имеет никакого значения. Только музыка. Только музыку я тогда и слышал в этих стихах.

22 ноября 2000 года. Сегодня ему нужно было в одно учреждение, и он взял меня с собой, чтобы я помог объясняться.

– Чиновники меня ужасают, – сказал он.

После гуляли в лесу. Дорожка припорошена снегом. Он сказал, хмуро бредя у обочины:

– Да, о глухоте можно было бы написать целую книгу. Но это была бы омерзительная книга. И для чего? Руководство для глухих? Пусть каждый сам крутится. От глухоты развивается страх. У Бетховена была самая настоящая паранойя. Глухота бьёт по всем органам, я имею ввиду не врождённую глухоту, а приобретённую; разрушение и скорая смерть. Вся современная литература мне чужда. Таланты есть, и пишут первоклассно, но ни один из них не поднялся над литературой. А в моём поколении поднимались. Жизнь прожита впустую. Почему? Да потому, что главная цель моей жизни оказалась говном. Все мои книги – мрак и мрак. Ничего светлого. Война в каждой строчке. В тридцать семь лет впервые употребил в стихах слово “смерть”. Избегал. У всех есть такие запретные слова, которые боятся называть. Сколько сейчас великих писателей в мире, в своих национальных литературах? А тут – какая национальная литература? Где она? Мне же мало региона! Эту страну займут, будет колония, язык запретят, исчезнет. Русская литература вполне бы могла обойтись и без меня. Это ты меня утешаешь по привычке. Что ты меня сравниваешь с Хлебниковым! Хлебников весь светлый. Да, на этом фоне ничтожной современной литературы и я выгляжу как что-то там. На фоне Гоголя? Но Гоголь такой красочный! А у меня? Брось ты! У Лермонтова казалось бы трагические события, а в целом книга производит светлое впечатление. А у Рабле его “Гаргантюа и Пантагрюэль”! А “Дон Кихот”!

Я, возражая, написал ему в блокноте: что Блок весь мрачен, и Маяковский, и Цветаева, что из гениальных книг мрачных подавляющее большинство, что в мрачном больше активности и энергии. Он согласился:

– Да, конечно, демоническое, трагизм, и жизнь ужасна. Но все же...

29 ноября 2000 года

– Дневник мой интересен только графически, – сказал он, когда мы вышли из дома. – Мой почерк и рисунки. Никакой там нет хроники жизни, я ведь никогда не писал свои личные события, нет и описаний мест, где бывал. С литераторами не общался и очевидцем государственных дел тоже не был. Это у Блока – один только перечень знаменитых имен, и это его секретарство на допросах Временного правительства. Этим дневник Блока и ценен. У меня же дневник – собственно, заготовки моих книг.

Уж лучше переводить стихи прозой, чем калечить, уж ясно, что при переводе музыка вся утрачивается. Вот переводы греков у Вячеслава Иванова – сильно, бронзовый звон. Польская поэзия взлетела в середине двадцатого века. А Мицкевич с его эпосом – чепуха. Это ж не Гомер, не "Илиада", а какой-то там "Пан Тадеуш". Не те символы, не тот звон. Не боги, не герои. Перечитываю Мериме: "Хроника Карла Двенадцатого" и новеллы. Сильно, сжато, ничего не объясняет, только показывает. А Борхеса вот перечитывать не могу, а ведь у него ещё сильнее. Почему? Наверное, оттого, что слишком густо. Вот и меня не смогут читать – слишком уж густо и у меня.

Видимо, даже большим писателям удаётся написать только одну книгу, то есть ту, что остаётся, как говорится, в веках. Свифта я всегда перечитываю с удовольствием. Акутагаву Рюноске перечитал недавно. У всех, кто сошёл с ума, одинаковая проза: абсолютно прозрачная и у всех страх. Да, видимо, раскрепощаются и пишется прозрачно, просто. У Мопассана тоже самое. Романы – нет, все его романы – мимо, а вот рассказы, особенно последние, и чем ближе к концу, тем всё сильнее и страшней. Рид Грачёв мне читал свои повести, тоже уже сумасшедший, прочитает, а утром сжигал. Сильное впечатление! Только у него и осталось: рассказы о детстве, эта его книга "Ничей брат". Считают, что детские рассказы. Какая чушь! Разве эти так называемые читатели видят прекрасную прозу. Это надо быть равным. Нет, они видят только детские рассказы. Так и "Остров сокровищ" – ну какая же это детская книга? Один этот кок Сильвер чего стоит!

Когда я приехал в восемнадцать лет из Львова сюда, в Ленинград, я был Ленинградом очарован, любил гулять и днём, и по ночам. По Летнему саду, помню – какое было восхищение! А потом, после поездок в Италию (я ведь побывал во всех красивейших итальянских городах, и в Венеции, и в Милане, и в Риме, и во Флоренции) я уже на Ленинград и смотреть не мог. Полное разочарование. Этот город перестал для меня существовать. Всё тут копии с итальянских городов. Оригиналы несравненно прекрасней. Так ведь и во всём, и в книгах. Новелла, то есть – новость, по-итальянски. Поражает новизной, чем-то причудливым, и уходит, оставляет навсегда, перестав быть новостью.

Только глухота заставила меня посмотреть на мир и на людей, и я понял, что жить не нужно. Да, люди увиделись, когда я перестал их слышать. Ужас! Ведь слова сильно мутят воздух. Пушкин многозначен, поэтому нет мирового значения, хотя мастерство и мирового уровня. Всю жизнь носил узкие брюки, чтобы держать себя в форме, но теперь я в них, как закованный. Ты и без меня можешь купить мне широкие штаны. Я ношу пятидесятый размер, третий рост. У меня рост: метр семьдесят три сантиметра. Останусь один, и что я буду делать? Я же совсем беспомощен, как ты видишь.

6 декабря 2000 года.

Гулять я пока не могу, – сказал он. – Раздевайся, садись за стол. Читал в газете: делают уже генетические операции? Под предлогом: исправлять дурную наследственность. На самом деле: получить полную власть, превратить всех в дебилов, в управляемые машины. Сбудется мечта Троцкого. Тогда, – он ткнул себе в грудь пальцем, – меня надо первого исправлять! Такой дурной наследственности, как у меня, мало у кого найдешь: сумасшедшие и алкоголики. Два двоюродных брата: один дебил, другой – идиот. Этот, второй, идиот, до сих пор живёт в Котласе. Его считают святым по всему Северо-западу. Интуит, предрекает будущее, видит болезни, угрозу, даёт предсказания, может и лечить. Читать не умеет, говорить научился кое-как. Он ходить не мог, родился со сплетенными ногами, ползал на четвереньках, как зверёныш, таким я его помню в Махачкале, где мы жили с бабкой и двумя тётками. Он был ко мне очень привязан и прыгал за мной, куда бы я ни пошёл, охраняя меня от нападений.

Раздался телефонный звонок. Он попросил меня снять трубку. Оказывается, его переводчица из Югославии Вера Хорвад. Она хочет его поздравить: его книга стихов "К морю" получила первый приз.

13 декабря 2000 года. Сегодня на прогулке он стал говорить о книге Гертруды Стайн, которую я ему принёс прошлый раз.

– Этот её автобиографический роман, пожалуй, лучшая её книга. Но ничего это меня уже не интересует, всё это пройденный этап, вообще – литература. Сейчас я интересуюсь ритмикой. Но тут тупик. То, что я ищу, не найти. Бальмонт – самая разнообразная ритмика в русском стихе, но и у него ничего. А входить в другие языки уже поздно. Конечно, важен акцент, нюансы – в этом оригинальность, новизна. Новый акцент: известное звучит иначе. Но вот, когда начинаешь заниматься самой ритмикой, куда ни ткнешься – пусто. Все-таки, что-то новое в ритмах внесли в русский стих Пастернак, Цветаева, Маяковский. Да нет! Акцент только на ритм, тогда и смысл будет многозначен. А если ты ставишь акцент на смысле, то сразу выбрасывай. Кому-то разнообразие ритма необходимо, кому-то нет. У Блока, у Цветаевой – самое сильное именно в классическом ритме. Какая мощь вложена! И ритм этим преобразуется до неузнаваемости. Один вложит в известный ритм тысячу ватт, а другой – ничего, пустое версификаторство. Все ведь ведут смысловую линию. Аполлинер попытался совершить революцию: избавиться от смысла и уйти только в ритм и звук. Да и не он первый. Раньше него Уитмен, а Уитмен взял от Вед. Ничего не вышло. Только еще больше погрязли в смысле. Как видно, в литературе от смысла уйти невозможно. У

Хлебникова есть несколько прекрасных бессмысловых стихотворений. А дадаисты, например, до сих пор дурят. Как заладили, так и не остановиться. Балабонят, скажем, одно слово: дом, дом, дом, дом, дом. До полного одурения. Книг нет. От нечего делать прочитал Гёльдерлина "Гиперион" и эти его безумные стихи. Гёльдерлин в "Гиперионе" всего лишь сказал то, что никогда до него не говорилось. Но ничего там у него не живёт. У Брэдбери в рассказах очень много сентиментального, но есть у него, проскакивают в каждом рассказе, как бы тебе сказать, жуткие выдумки.

Ну, Голявкин – у него всё живое. "Куда пошёл, и где окно" – это ведь я взял название для своей книги из Голявкина. Или вот ещё у него такая фраза: "Сегодня 1567 человек столкнулись на Литейном мосту животами". Голявкин в своё время произвёл на меня сильное впечатление. Плотный, в прекрасном костюме, боксёр, арфист, поступил в Академию художеств. Голявкина не понимают. Всем же нравится только то, что ясно, гладко, логично. Самое ужасное – региональность. Бродский – девяносто процентов риторики. Вознесенский куда артистичней. Шицзин – перевод дилетантский, но это-то и хорошо. Потому что профессионал всё бы загладил, умертвил. А тут бессознательно переданы живые, истинные интонации и мелодии, видно, что мантика, гаданья, заклинания. Я это сразу угадал. В дилетантстве всегда что-нибудь есть, живые кусочки. Я всегда писал в контру всем, вообще – против всех. В этом я похож на Иисуса Христа: я всегда против тех, кто наверху (богачи, власть), всегда с теми, кого притесняют, с униженными и оскорблёнными.

20 декабря 2000 года.

Когда мы шли по улице, он сказал:

– Этот путь по городу до леса – неприятная часть прогулки: двадцать минут туда, двадцать обратно – сорок минут среди толпы и машин. Уснуть не могу до половины четвертого ночи. Режим сбит. Самое скверное, что не могу работать. Это главное. Может быть, в Новом году станет легче. Как жаль, что теперь нельзя жить в Эстонии, поехал бы сейчас на свой хутор. Гертруда Стайн злоязычная. Блестящая писательница. Постоянно дразнила Хемингуэя. Общеизвестно, что Хемингуэй взял её стиль, только упростил и сделал популярным. Она-то никогда не станет популярной, как и Хлебников, как Андрей Белый. Потому что она авангардист номер один в англоязычной литературе. Вирджиния Вулф совсем другое, у Вирджинии Вулф проза насыщенная, жёсткая.

Шли в лесу по нашей дорожке, шурша припорошенными снегом листьями. Ручей покрыт тонким льдом.

– Ты видишь, как тут пустынно, – сказал он, поведя рукой. – Ждать? Чего? "Нет в мире чудес и мечтать о них нечего" как говорил Маяковский. Люди есть люди. Они всегда такие. Я это говорю, как говорится, с печалью. Приходится жить среди таких людей. Вот и Бродский продался польскому Союзу солидарности, за что и получил Нобелевскую премию. Если уж и большие поэты продаются... Мир весь продажен, но всё же когда и поэты такого уровня...

27 декабря 2000 года.

– Самочувствие плохое, — ответил он на мой вопрос. — Этот издатель, ещё неизвестно — кто он. Издаёт только авторов с именем, книги продаёт, существует, наверное, не бедно. В Библии сказано: "Всяк человек есть ложь". Вот каждый и живёт в своей лжи и изгибается, как может.

Гуляли недолго, ему нездоровилось. Снег, солнце, голубое небо. Дорожка протоптана узенькая. После продолжительного молчания он сказал:

– Каждый пишет сам себя, но хоть бы без низостей, когда – о другом человеке. Ты же прочитал, что обо мне пишет эта Н.? Мстит, но мелко. Прожив жизнь, я вынес одно: подлость людей неисчерпаема. Слишком поздно это до меня дошло. Китс и наш Лермонтов поняли это очень рано, поэтому так рано и погибли. Слышал: захоронение у нас атомных отходов со всей Европы? Значит, этот народ только того и стоит, чтобы его вели на смерть. Купил водку к Рождеству, думал кого-нибудь пригласить, а оказалось и приглашать-то абсолютно некого. Когда мог работать, так работа уравнивала этот мрак, а теперь без работы совсем ужас. От нечего делать читаю последний роман Ремарка. Ремарк пишет, что работал над этой книгой, истерзанный раком. Я удивляюсь: зачем же Ремарк писал? Он же солдат! Это, конечно же, падение. Роман самый обыкновенный, ничего нового. Писать его не надо было.

Я написал ему: "Наверное, тоже, чтобы уравновесить себя".

– Наверное, – согласился он. – Вот поэтому и надо старикам помогать уйти. Укол и – готово. Ввели же недавно в Голландии этот закон.

2001 год

3 января 2001 года. Первая наша прогулка в Новом году. Ему нездоровится, плохо спал, но всё-таки он решил выйти, подышать воздухом. В лесу много гуляющих, лыжники, дети, собаки. Снег свежий, пушистый. Он стал говорить о живописи:

– Один раз и у меня мог бы вырваться такой высший рисунок, как, скажем портрет Ли Бо (не помню имени художника, ну, да я тебе показывал). А ведь я в этом деле, собственно, нуль. Но это же только рисунок. А у тех-то, Филонов, Леонардо, сложнейшая живопись! Есть богатейший музей русской авангардной живописи начала двадцатого века в Узбекистане. Ведь замечательных художников было несметное количество, теперь забытых, замалчиваемых. Вот, скажем, что ж они будут делать с Древиним? А ведь картина Древина в Лувре висит рядом с Пикассо. В том ташкентском музее я видел два плаката РОСТА Маяковского. Оригиналы. Меня поразило: нежнейшие краски. Я никак не ожидал увидеть такое. Ведь в оттисках выглядит грубым, черно-белое.

Художники-то хорошие есть, – продолжал он, – а вот в писанине ничего нового. Из молодых никого. Если бы появилось что-нибудь сильное, это могло бы и меня оживить, дать мне какой-то импульс. Беда в том, что язык быстро меняется, и писатели языка очень скоро оказываются за бортом. Язык страшно упростился и опошлится за последние семьдесят лет, и всё хуже и хуже. Скоро это будет какая-то вавилонская смесь, на которой будет говорить весь мир. Стихи вообще обречены. Смешно говорить о бессмертии, в смысле о книгах, всё исчезнет так или иначе, но тут оно уж слишком быстро кончается. Современные греки не могут читать Гомера в оригинале, читают в переводе на современный греческий. То есть: это уже не Гомер. Подлинники становятся недоступны. Многие ли у нас могут читать древнерусские и старославянские тексты? Сотни не наберётся на всю страну. Книги гибнут, бумага распадается в прах. Картины тоже. Краски тускнеют. Их постоянно подновляют. И как мы видим: девяносто процентов подмалёвок. Да и краски изготавливают все хуже и хуже. Химия. Утрачены рецепты лака. А только лак и сохраняет картину. Акварель портится очень скоро. Долго ли пролежат мои рисунки? В папках, может быть, и долго. Но не вечно же. Скульптуры будут разбиты вдребезги при первой же бомбёжке. Всё, всё погибнет. Вот в чём ужас! Разве что "Майн Кампф" Гитлера останется в веках. Потому что напечатан на великолепном пергаменте. Вот Гитлер и окажется единственный писатель, сохранившийся для потомков, по его книге и будут судить о всей мировой литературе. Осталась же от всей литературы Маяя всего лишь одна книга. От стихов что останется? Может быть, только

Евтушенко и останется. То есть: что попроще и доступней для чтения. Вот и получается, что всё бессмысленно. И правильно делают воры и убийцы, они-то умнее: живут настоящим. Пожить хоть на всю катушку, насколько тут возможно. А эти, с духовностью своей, – он махнул рукой вверх, – всё думают о каком-то высшем. А в итоге выходит – чепуха, прах. На это тратить жизнь? На эти химеры? Глупость. Все будет пылью. Так лучше уж жить.

Стемнело. Высоко в небе засверкал яркий серебряный полумесяц. Его стало шатать, я вёл его под руку. Когда мы подходили к его дому, он сказал:

– Поменять бы место жительства, то есть, декорации. На меня это влияет. Но как поменять? Гертруда Стайн – высший эстетик двадцатого века. Странный ты человек, что же ты и в Новый год ни рюмки не выпил? Меня ведёшь, люди думают: пьяного.

10 января 2001 года.

– Твоя пунктуальность похвальна, – сказал он, впуская меня, – ты приходишь ровно в час, с точностью до секунды. Как на улице? Ноль? Ну, конечно! Разве тебе можно верить. Ты всегда меня дезориентируешь.

Тусклый день. В лесу гулять скользко, я держал его под руку.

– Ты читал, что Гертруда Стайн пишет о Хемингуэе? – спросил он. – Всё точно. Вообще, у неё даны точные и исчерпывающие характеристики писателей. Кратко, точно и исчерпывающе. Ученик усвоил стиль учителя, но превзойти его не может и стиль учителя не понимает. Пишет не своё. Если бы он сумел написать о себе, это могла бы быть книга потрясающих признаний. Это она про Хемингуэя. Но второй раз читать Гертруду Стайн невозможно. Из-за стиля. Слишком резко выраженный свой стиль. По той же причине невозможно перечитывать и других великих: и Джойса, и Кафку, и Флобера, и Борхеса. А вот Гоголя я перечитываю всегда с удовольствием. Отчего? Да, верно: магия Гоголя вне стиля, – согласился он со мной, – да, но при этом и резко выраженный стиль, – добавил он. – В России Гоголь, конечно, единственный. А в мире – мы же не знаем. Переводы не доносят этой магии. И Гертруда Стайн на английском, конечно, звучит иначе. Ну, у Лермонтова одна книжка. Одна-то книга у многих вырывалась. Я говорю о больших писателях. Дефо сколько понаписал, а настоящая вырывалась – "Робинзон Крузо". У Свифта – "Гулливер". А тоже сколько посредственного понаписал, фельетончики, как все пишут, эта "Сказка о бочке" и прочее. А вот Гоголь – весь, все его книги.

Мне вот Набокова жаль: до чего же была скучна его жизнь, "Лолиту" он выдумал, это же его мечта, мечта всей жизни, а в реальности ничего абсолютно, обыкновенно, жена, в которую он вцепился, она в него, так и

жили. Большие писатели не могут не любить себе равных, да и любое яркое, настоящее произведение. А как же: это же их хлеб, это же они сами, они это поглощают, их пища, и становится ими. Только Толстой – исключение, тот всем завидовал. Написал "Войну и мир" и свихнулся, паранойя. Писал четыре года, перенапряжение. Почему большие писатели и гибнут рано. Обыкновенные, посредственные живут долго. Да, большие – это и есть перенапряжение. Потому что живут в двух параллельных мирах: в этом и в воображаемом. А когда, очнувшись от фантазий, опять попадают в этот, он их и бьёт в лоб. О Толстом написал книгу Томас Манн. Да. Томас Манн это такой немецкий дундук. Генрих живее. Цветаева кем только не увлекалась, да всеми! Эта Парнок, хороший версификатор и не более. Неживое, ни искры. Как и Елена Шварц, скажем: высшее мастерство, но всё мертворождённое. Эти люди такими и являются на свет: мертворождёнными.

Все писатели говорят всякую ерунду, по большей части всё тупое. Что наговорил Гёте? Эккерман написал всё точно, дал Гёте таким, какой он есть. И все высказывания Гёте, эти его премудрости, то есть, значит, тупости рисуют его во всей красе. А его "Поэзия и правда" – вот уж верх всяческой тупости! Толстой-то под конец жизни высказался сильно и точно: что всё им написанное – хлам. Что не надо писать характеры, этих Ростовых и Иванов Ильичей, что всё это выморочено, надуманно, фальшиво, потому что это не ты, не автор. Нужно писать только о себе. И не надо этих бесконечных описаний, отказаться от них совсем. Действительно, разве в Библии, и вообще у древних мы найдём описания? Как выглядел Христос и его ученики? Ничего, ни слова. Нигде не указан и возраст. Да, верно: у Кавабаты тоже. Ну, у японцев этого вообще нет. И вот, если из большинства современных книг или даже из литературы за два столетия выбросить все описания (а они абсолютно не нужны), то в итоге останется пшик, но то, что останется, будет точно сказанное, то, что необходимо сказать.

Кстати, я ещё раз прочитал твою книгу. Как-то надо тебе из этого вырваться. С каждой книгой у тебя всё мертвей, всё литературней. С техникой-то порядок, техника высокая. Но это только первое условие писательства, а требуется большее. Первая вещь в книге написана лучше остальных, но жизни нет, так, кое-где, кусочки. Не знаю, что и посоветовать. Не видно, что ты любишь, и что не любишь. Нет ничего нового, своего. Ты не такой, ты другой. Читать мне было скучно, неинтересно. Зачем писать такие книги, такого полно написано, и пишется, и пишется. Я понимаю: потребность писать. Заполнять жизнь – что ж, и в этом есть смысл, можно и так. Но скучно же. Тебе нужна какая-то встряска. Писать надо только когда есть необходимость писать, что обязательно надо написать, не написать нельзя.

Что мне хочется у тебя увидеть? Нет в твоей книге искры, нервов. Понимаешь? Вот ты столько смотришь вокруг себя, на жизнь, а живого в этом, яркого ничего не видишь, мозг твой не раскрывается и не раскрывается. Может быть, читка мешает, заслоняет всё, и ты не видишь ни жизни, ни себя. Да, нужно какое-то потрясение, какая-то новизна. Вот появилась у тебя собачка, у тебя же никогда не было такой собачки, разве не новость для тебя? Вот и напиши – получилась бы прелестная новелла. Или уже и к ней привык, притупилось и нет яркого, живого впечатления? Нужен живой импульс. Вот я семнадцать лет не писал стихов, отпала потребность, никакого желания, перешел на прозу, на другую фразеологию, письма писал – тысячами. Теперь и проза исчерпана, письма – тоже, даже какое-то отвращение к их писанию, два-три в год, и то официальных, по необходимости. Писать не о чем, повторения. Зато вдруг новый живой импульс к стихам. К этим двум моим последним книгам могут быть какие угодно претензии, но нельзя отрицать, что они живые, яркие, другие.

Специально наблюдать – гибель. Только мгновенное наблюдение. Вот ты говоришь, работал на кораблях несколько лет, а моря ты так и не увидел. А я четыре недели на "Сириусе", а увидел каждого человека, каждый предмет – потому что потрясающая новость, всё впервые, все яркое, все полно жизни. А у тебя что? Отец мелькнул, исчез. И всё так. Не знаю, как ты смотришь на жизнь. Наверное, всё у тебя привычное, обыкновенное видится. Так и жить скучно и книги писать. Получается, что смотришь и не видишь. Есть же очень много странных людей, чуть прифантазировать и может выйти ого-го! У Диккенса "Пиквикский клуб" – сборище чудаков и безумцев. Такая отстраненность, смотреть под таким углом зрения на вещи, чтобы увидеть в них странное. Как смотрел Гоголь на людей: то, что у них немножко, крупица чего-то странного, небольшая какая-то причудливость – он превращал в главное качество. Вот как его Манилов, скажем. В реальности такие, разумеется, не встречаются. Тут девяносто процентов гоголевской фантазии – но на основе достоверного наблюдения, действительно увиденного.

А у тебя похоже фантазии нет. Только в первой книге ты разгулялся со своим Малютой Скуратовым. Не знаю, не знаю, чем тут помочь. Все советы тут тщетны. Может, ты боишься себя? Это бывает чаще всего. Ну и что? И Кафка был пассивен и мало энергии, и людей боялся, баб, жил затворником, а на бумаге был свободен. На бумаге-то ты сам себе хозяин.

Возвращались, когда уже стемнело, шли по городской улице, он продолжал:

– Вокруг тебя столько странного, жизнь полна странностей, а ты не видишь. Как ты смотришь? Ты, наверное, смотришь так, что видишь одну

только плоскость, без вариантов, как все. Смотришь уныло и скучно. Но писать надо только тогда, когда находится что-то странное, особенное, причудливое, необычное. А иначе писать и нельзя и незачем. Что ж писать плоскость, обыкновенность? Это и есть скука, реализм. Ведь у каждого явления и предмета есть своя комическая или абсурдная сторона. Это не значит, что надо писать юморески. Но мир полон странностей, только надо уметь видеть. Я мог бы тебе всё это и не говорить, я тоже самое должен был бы сказать и Ляленкову, твоему предшественнику, с которым много лет гулял до тебя, и всему Союзу писателей. Двадцать лет я жду, когда ты раскроешься, когда у тебя появится оригинальное, своё, и так и ничего. Ничего, ничего, – повторил он.

– Читал ли ты Обольского? Модный сейчас писатель. Вот он специально сочиняет всякие странности. Все это надуманное и к тому же жутко плохой язык, который всё убивает. Видишь, и такой вариант. А вот у Довлатова, у Венички Ерофеева, у Мамлеева язык отличный, они писать умели хорошо, и у них все их выдумки живут. Хемингуэй как написал Фицджеральда: как чудака – играть любит, беспомощный, как ребёнок, весёлый. На самом деле, конечно, у Фицджеральда была разве только частичка этого, на пять процентов, а он напридумывал, но ведь на достоверной основе. Алкоголики действительно такие все и есть. Это я к примеру говорю. Не знаю, не знаю, что тебе посоветовать. Встряска нужна, выход из привычки. Обвяжись проводом в две тысячи вольт, чтоб как следует тебя потрянуло. Мозги перевернутся. Хотя, может, и к лучшему, что не переворачиваются. Всё это я тебе уже не раз говорил. Ну напиши какой ты мудак, какое ничтожество, как ты запрыгиваешь не в тот автобус да ещё и меня, глухого, за собой тащишь, везёшь не в ту сторону, спохватываешься через полчаса, выслушиваешь мой гнев, как побитая собака, опиши свои муки совести, своё отчаянье. Сколько у тебя таких случаев? Можно и так. Попробуй. Не обязательно же героев писать.

Николай Островский писал героев, а всё такая мертвечина. Алексей Толстой, наоборот: к чему бы ни притронулся, даже эти его романы по заказу – всё расцветает. Дело в том, чтобы открылось что-то новое, какой-то новый мир, чего еще не было. Вот я всю жизнь ходил в баню, но оставался слеп, не видел, а в Комарове вдруг мир бани открылся мне и – заиграл, засверкал, сколько странного, необычного, люди там, в основном-то пьяницы, не столько моются, сколько пьют. Ведь чуть ли не вся "Книга пустот" из бань. Или Отепя, ведь сколько лет я туда ездил, а мир этот открылся только в то лето, когда я писал "Дом дней" и когда был далеко от Эстонии и от Отепя – и вошло в главы "Дома дней". Понимаешь? Неизвестно, когда вспыхнет, когда будет эта вспышка новизны. Так Гоголь смог написать о России только за тысячи вёрст от

неё, убежав от неё в Италию, живя в Риме, там-то он и разгулялся на свободе, развеселился, смело, открыто, дух его там был свободен, а живя в России, он был жутко скован, она, эта страна, его пугала, ужасала, сжимала, не мог ни строчки написать и бежал от неё в ужасе. Его "Петербургские повести" – это уже жуткий упадок.

Новелла, то есть – новость, то, чего ещё не бывало. А у русских – рассказ. Как читаешь: "рассказ" – закрывай! Ничего там нет нового. Ты же проспал всю жизнь и пробуждался только тогда, когда являлся ко мне. Недаром же про меня говорят, что при мне развиваются даже когда я молчу, от одного моего вида.

17 января 2001 года. На столе у него биографическая книга о Георге Тракле.

– Трепотня! – махнул он рукой, поморщась. – Реалистическая чушь. Ничем не отличается от советских книг такого рода. Наверное, немцы эту биографическую серию издают для школьников. Что Тракль? Алкоголик, наркоман, жил со своей родной сестрой. Это же хорошо: не надо по проституткам таскаться. Но он-то и девок не упускал. У всех у них одинаково, у больших поэтов да и у писателей: в жизни – грязь, девки, а в стихах – о! высокое, идеальное! Алкоголь, наркотики, блядство. Ещё бы: при таком перенапряжении работы! Они живут в повышенном напряжении. Терпеть не могу пьяниц! Пить, так уж пить! Наркотики я никогда не употреблял, хватило и алкоголя, за глаза! Довёл себя до клинической смерти.

Вышли на улицу, резкий ветер, снег тает. В лесу мало гуляющих. Шли по лыжне, проваливаясь.

– Это ты приходишь в восторг от каждой новой книги, – сказал он язвительно. – А что восторгаться? Прочитал, выбросил. Написал – тоже. У меня эти восторги были до восемнадцати лет. Восторги – это же черта юности. За двадцать лет глухоты появилась эта боязнь людей, особенно чиновников. Не знаешь, что от них ждать. И такой быстрый у меня распад, мгновенный. Ты свидетель этих лет. У тебя же на глазах. Я стал психопатом, если уже не шизофрения.

В "Амфоре" издают мои два тома: на обложке одного тома – кленовый лист, на другом – капля. Фотографии с натуры. Они же любят природу, реализм. Пришвин тоже любил природу, но какой же он реалист? Смотрел-то Пришвин на реальность, но такой уж у него глаз, что всё опрокидывал, каждая увиденная им птичка преображалась. Кто действительно интересен, так это тот, кто пишет необычно, да ещё о пустяках, а не о солнечных вершинах. Не понимаю, как это они Пришвина печатали. Странная слепота. Да, у Пришвина очень много воды, необычное в таком объёме растворяется, согласен. Вот, вот, этого-

то я и боюсь: могут всплыть и мои ранние рукописи, я много раздавал. А тогда у меня потоки шли, написано было двадцать шесть поэм, представляешь, если всё это будет напечатано! Тоже буду растворён в этой воде! Вот ужас!

Я себя никогда не оценивал. Это нелепо. Единственное, что я могу у себя гарантировать – это технические новшества. А остальное... Меня другое тревожит: все молодые поэты и писатели теперь мне подражают и меня имитируют, взяли моё направление, мой стиль. Вот что жутко! Когда при жизни автора такое начинается – это ужасно раздражает. После смерти – не всё ли равно. Имитации бывают разные. Скажем: мода. В девятнадцатом веке все подражали Байрону, даже и большие, и великие, и Пушкин, и Лермонтов. Была мода на Байрона. Была эпоха Байрона! "Демон" Лермонтова – не подражание Байрону, а – подчеркнуть, что он, Лермонтов – демоническая личность. Стихов и нет без демонизма. Анненский – прекрасный, блестящий поэт, а демонизма нет в нём, поэтому и неизвестен массовому читателю. Сервантес – чем не демоническая личность? Без руки, без ноги, в тюрьме писать такую книгу! А это же постоянная боль в отрезанной руке и ноге! Это же нервы отрезаны! Боль всю жизнь. И вот является энергия противостояния, сам организм протестует. Дон Кихот и Санчо Панса – самые настоящие демонические личности. И Санчо Панса, конечно! Он же, несмотря на все дикие выходки и безумства своего господина, остаётся с ним до конца, верен ему и не предаёт его.

Айги чуваш. В России это уникальный опыт, он неповторим. Только он так и останется непонят и недоступен, тут ведь все привыкли к куплетам. Японский язык – иероглиф, слог. Каждый слог – множество понятий. И как этим можно сыграть! Совсем другая языковая система. Идеальный язык для поэта. И согласные. А русская поэзия с Жуковского – на гласных. Язык на гласных, наоборот – не для поэта, далеко не уедешь. Футуристы ввели согласные, многообразие.

Белая раса будет стёрта с лица земли, победят чёрные, у них активность. Золотой миллиард.

Когда мы пришли домой, он, подшучивая надо мной, стал говорить Нине, своей жене:

– Вчера я ему такое наговорил, что он расплакался, рыдал навзрыд на весь лес, да и сегодня всё слёзы лил. Никак не утешится. Ты хочешь сказать, – добавил он, глядя на меня блестящими, весёлыми глазами, – что для тебя праздник ко мне приходить, что ты летишь на крыльях – на меня посмотреть. Верю, верю. Миллионы рвутся взглянуть на меня хоть одним глазком и ни хрена. А ты каждую неделю лицезреешь мою персону и слушаешь мои великие речи. Ты, можно сказать, счастливейший из людей!

14 февраля 2001 года.

– Ты месяц симулировал, – сказал он мне, – и сегодня выбрал самый худший день для прогулки. Обещали мокрый снег, а потом и дождь. Я-то с зонтом пойду, а ты весь насквозь вымокнешь, так тебе и надо.

Он стал надевать недавно купленный, длинный, ниже колен, китайский пуховик.

– Мочить нельзя: так написано на ярлыке, – пробурчал он. – А как же дождь? Неужели в Китае дождя не бывает? Вот намокнет и укоротится выше пояса, будет куртка, как у тореадора! У меня в следующую среду выступление в "Бродячей собаке", мне разрешено пригласить пять человек. Я приглашу только тех, кто участвует в моей жизни, ты будешь все эти пять в одном лице. Мы вышли на улицу, мокрый снег метёт.

– Выбрал же ты денёк для прогулки! – стал он меня упрекать снова. – Вчера прочитал в журнале: поэт, сидевший в тюрьме, перевёл на воровской язык все знаменитые шедевры русской лирики. Вот это парень! Потрясающе! Жутко смешно. Развенчание всех этих великих стихотворений, этих возвышенно романтических шедевров. Лермонтовское "Выхожу один я на дорогу". И как живо написано, видно – воровской язык как его родной! Эти его переложения по всем русским тюрьмам сейчас ходят. Можно сказать: самый яркий современный поэт. Самое печальное, что всю жизнь пришлось прожить в этой ненормальной стране. Ни в одной стране мира так не уничтожали своих гениев. Я бы мог поселиться в Израиле или Германии, но ни евреев, ни немцев я терпеть не могу. Особенно немцев. Постоянно видеть эти морды!

В лесу мы гуляли недолго, метель, стало темнеть, мы несколько раз стряхивали с зонтов снег, рукава у нас промокли. Он пощупал рукав своего китайского пуховика:

– Уже укоротился, – пробормотал он хмуро, – ещё час такого гулянья и будет по локоть. Я проголодался, поворачиваем домой. В Техасе меня кормили мясом быка в ковбойском ресторане, у меня там были выступления по приглашению университета. У Голявкина рассказ есть: младенец по телефону делится с другим младенцем: как он притворяется, что не умеет ходить, чтобы его жалели и кормили побольше. А только родители уйдут – скачет и резвится на постели. Никто бы такие рассказы не написал. Чудак этот Голявкин, оригинальный ум, прямодушный, не понимал: как это можно обманывать. И это он не роль играл, а такой он и есть от природы. Погодина считал великим писателем. У него было много таких великих. И этот Д..., я его читал, хорошо, но нет изюминки, обыкновенно. А Голявкин же самодур, то есть, чудак. "Пытаюсь" говорит "хоть чуть-чуть достичь такого, как у Д..., нет, ничего не выходит. Вот это стиль! Куда там! И ты" говорит "великий, но только в стихах. В прозе ты

ничего не смыслишь, вот и поносишь Погодина. Вы, великие, все такие, вам на всё наплевать!" Он пил страшно. Инсульт, парализовало руку и ногу. У него нет мусора, как у Битова, этих сентенций, размышлений о жизни. У него притчи. Его много переводили в Японии, все его книги там переведены, на руках его там носили, когда он в Японию приехал. Теперь он совсем забыт, не печатают, не вспоминают.

21 февраля 2001 года. Сегодня был его вечер в "Бродячей собаке", начало в 19.30. Я шёл с Невского, мокрая метель, фонари, Михайловская улица, площадь Искусств. Вот он – артистический подвал "Бродячая собака", заснеженные ступени вниз, афиша: "Поэтический вечер Виктора Сосноры".

Я вошёл, сдал пальто в гардеробе, огляделся: грубо-кирпичные, багровые своды, столики, табуреты. Вскоре слушатели собрались. Зал был полон. Он появился на сцене, встал у микрофона, серебряная, львиная грива, в длинной рубашке навывпуск красно-белыми, продольными полосами. Объявил, что будет читать из предпоследней книги стихов "Флейты и прозаизмы". Раскрыв книгу и, подняв её над собой у лица (плохое освещение), он начал читать своим глухим, безголосым голосом, тихим и как бы загробным. Не читал, а пел в своей напевной манере, как псалмы. Интонация внезапно менялась: патетика, надрыв вдруг заканчивались язвительной иронией. Дрожал голос и книга в сухой, тонкой руке. Читал стихотворение за стихотворением, всё тише и тише, глуше, невнятным шёпотом, все страшней (мороз по коже) – и вдруг голос взвился, зазвенел на высшей ноте и оборвался.

Чтение закончилось. Из зала слали записки, он отвечал.

– Да, я любил выступать, – ответил он на вопрос. – Тогда вся страна писала стихи. Это было замечательное явление. В семидесятые годы мои выступления закончились. Так я сам решил. Исчерпались. Кто обо мне писал? Каких критиков я выделяю? Ну, критики же теперь пишут только в газетах, а газеты я не читаю. А из филологов – очень мало, кто кое-что понял в моих книгах. Вот – Арьев, здесь присутствующий. Пикач написал прекрасную статью, сделав коллаж цитат из моих книг и свои соображения по этому поводу. Да и не во мне дело, я тут играю последнюю роль, а то, что статья сама по себе прекрасная. Да, за границей я издаюсь. Теперь только в Сербии. Немного во Франции. В советское время меня издали в Польше. Но в Польше тогда в семидесятые годы была высшая в мире поэтика, крупнейшие мирового значения поэты. Тот же Карпович. На Западе престиж русских писателей пал; как пала в их глазах великая Россия, так и пала великая русская литература. Что неверно. Я мог бы назвать с десяток прекрасных русских писателей из современных, в том числе и молодых. Всё дело в том, что я не могу

читать свои произведения, после того, как их напишу. Писал, был полон тем, что писал. Поставил точку – всё. Интерес пропал. Кончено. Навсегда. Читать это я уже не могу.

Записки иссякли, вечер закончился. Перешли в другой зал, там, на голом столе – одна на всех бутылка шампанского. Я обошёл помещение, разглядывая убранство. На стенах монтаж из фотографий начала XX века, групповые фотографии и персонально, кто тут бывал: Маяковский, А.Белый, Кузмин, Мандельштам, Гумилёв, Ахматова, Ремизов, Пастернак.

Стали расходиться. У выхода он меня позвал:

– Не забудь: завтра у нас прогулка! Жду тебя в час дня, как всегда! – Он был возбуждён, раскраснелся, глаза блестели.

22 февраля 2001 года. Он был рассержен, вспоминал вчерашний вечер:

– Я такое понять не могу, – сказал он: – обещали заплатить тысячу рублей и не дали ни копейки. Ещё обещали столики накрыть, закуски, напитки. Все и пришли пожрать да выпить, не мои же стихи слушать, всё начальство в полном параде, из отдела культуры от мэрии. Все бросились в зал к выпивке, а там – одна на всех бутылочка шампанского! Это для них был шок, какие у них кислые морды были, ты видел? Я этого не понимаю! Жульничество, обман. Но обман-то какой-то детский, как в яслях. Смешно. Нет, больше я никуда выступать не пойду, куда б ни звали и что б ни сулили. Называется, вырвался из клетки? Да и что метать бисер перед свиньями, я кожей чувствовал: ничего не понимают, что я читаю. Ну, несколько человек были внимательны, увлечённо слушали, из молодёжи, те, кого я видел в первом ряду. Дальше я не видел. И эта девушка, что фотографировала. Красивая. Раньше, в своей молодости, я бы такую не пропустил. И освещение было ужасное, напрягал глаза, и вообще – очень неудобно.

Вышли. Резкий, морозный ветер и снег в лицо. В лесу оказалось потише, наша дорожка у ручья вся засыпана, брели, проваливаясь, он впереди, я – за ним. Он говорил, оборачиваясь:

– Фильмы смотрю, старые, американские, японские. О животных разонравилось: снимают, как грызут друг друга. Все звери друг друга грызут. Зачем мне смотреть это, этого и так кругом хватает, – он махнул рукой. – И вообще – натурализм я терпеть не могу. Дойдём до той поваленной через дорогу берёзы и – обратно. Сегодня гулять невозможно. У меня ноги заболели в коленях, это от холода. Только ещё не хватало ноги отморозить в коленных чашечках, будет ревматизм – тогда конец нашим прогулкам, буду лежать все дни, прикованный к кровати.

2 марта 2001 года.

– Всё вспоминаю это дикое выступление в "Бродячей собаке", – сказал он, одеваясь для прогулки. – Так ни копейки и не заплатили. А я напрягал глаза и надрывал горло. Нет, такого у меня никогда не было. Ну и время! Больше я на эту удочку не клюну.

На улице он продолжал:

– Мне многие подражают. Этот А... шпарит под меня один к одному. Использует мои методы? Он использует самое главное: мою синтаксическую структуру. Ну, пусть использует, это меня никак не касается. Потом всё встанет на свои места. Он оптимист, раз считает, что всего лишь использует мои методы в своих целях. Но он ведь себя таким образом усыпляет. Вот один писатель напечатал в своё время книгу – полное подражание моему "Летучему голландцу". Но у меня пятьдесят страниц, а у него – триста. Объявили его гением, великим открытием в русской литературе. Но я-то знаю, что это у меня всё украдено, моя стилистика, всё от меня! Ох, как далеко до леса ещё тащиться! Продувает, легко оделся. Скоро этому миру конец. Мне-то что: я-то уже буду летать пеплом в небе где-то там, – он показал рукой вверх, – и смеяться над всем этим.

Мания величия почти у всех, у девяноста процентов. Все, как один, гении. В... до сих пор гении. Да, я хвалил несколько его строчек. Но ведь у всех, кто пишет и нацелен на писанину, среди каши обязательно прорвётся случайно хоть одна строчка. Но ведь эта моя похвала была на уровне литературного кружка, а они решили, что – на мировом уровне, вот и возвели себя в гении. Говорят: время рассудит. Какое там время! Гомер и то – разве это тот древний Гомер? Греки утратили тот древний язык, это переводы переводов. Ещё хорошо, что у Гомера такой яркий, метафорический язык, грубое, собственно, письмо, информации много, сюжеты, герои, характеры. Тоже – Гесиод. Тоже – Библия. И Апулей – вся ценность его книги в том, что много информации, а слог может быть и прекрасный, да уже до нас не доходит. Да это и не важно уже. Вот опять мы о литературе! Нет, нет, не будем! – он замахал рукой. Некоторое время он шёл молча по узкой лесной тропинке среди сугробов снега, я следовал за ним. Не пройдя и десяти шагов, он обернулся:

– Да, а будь у Гомера тонкое письмо, и ничего бы и не дошло за три тысячи лет. Ну, японцы! Хокку, может быть, тонкое письмо, но в переводе на русский – полная чепуха, нуль. Ведь стихи сильны синтаксической организацией, даже фонетической в основном, многозначностью. А японская проза – что-то я в ней не вижу никакого тонкого письма. Кавабата? Ну, какое же у него тонкое письмо? Нет. У Кавабаты письмо насыщенное, гоголевское. – Минут пять он шёл молча, потом снова обернулся:

– У многих из великих писателей этой мании величия не было. А у меня – разве ты заметил? У меня нет. Просто я родился без неё. И у Борхеса нет. У Пушкина её не было. А у Лермонтова была. Естественно: молодой человек, герой. У Гёте была. У Кафки. А у Блока не было. У Толстого – конечно! У Гоголя – нет, не под конец. Нет, не под конец, – повторил он, задумавшись. – Да и какая разница. Одни с этим родились: с жаждой славы, другие – нет. У великих эта мания обоснована: они же действительно великие, тут всё сходится.

Ну, что – подражание? Это же естественно: когда появляется яркая фигура в литературе – попасть под её влияние. Писал же Достоевский: "Мы все вышли из гоголевской шинели". Ранний Достоевский ничтожен, под Гоголя, но Гоголь у него какой-то серый, сентиментальный, слюнявый, и при этом тяга к его стилистике. А после каторги вырвался в своё. Участились припадки, да спешная писанина к сроку, долги, всё продувал, пропивал, жёлтая литература, газетчина, истерики, с убийствами. Он же первый внёс в литературу эту истерику. Да, и эта спешка, гонка к сроку, тут уж не до Гоголя, он и забыл о всяком там Гоголе, не до того. "Игрока" написал за десять дней, по стилю – его лучшая книга. Всё гладко, эта его стенографистка отшлифовала. Под этой его книгой мог бы подписаться какой-нибудь там Томас Манн или любой из этих холодных и ползучих гадов. Достоевский интересен другим: этим вот его человеконенавистничеством, этой его трясучкой.

Дошли до поваленной через дорогу берёзы и повернули обратно. Теперь я шёл впереди и оборачивался к нему, слушая его речь.

– Лидия Корнеевна Чуковская очень точно однажды сказала, – произнёс он с усмешкой: – пришёл к ней со своими стихами Андрей Кржижановский, внук Шварца, драматурга. Стихи наподобие кривулинских, со склонностью к публицистике. Она ему и сказала: "Стихи хорошие и ненужные". Тоже самое можно сказать и о девяноста процентах всей литературы.

Стемнело. Мы возвращались между домами. После долгого молчания он тихо промолвил, так тихо, что я едва смог расслышать его слова:

– Я понимаю, как устроены мужчины и женщины и чего стоит писание книг и рисование картин, но внутренне... – он усмехнулся и отрицательно покачал рукой. – Не писать и не рисовать... Я же тебе и говорю, что понимаю, а вот... Женщины не понимают шуток, да и мужчины тоже, – продолжал он. – А не шутить я не могу, я шучу постоянно, когда грубо, когда, очень удачно. Такой человек. Без шутки эта жизнь для меня вообще была бы невозможна. Перестану шутить – что тогда? Конец. Люди очень глупы, как правило: или принижают себя, или, наоборот: нос вверх, амбиции. Никто не ведёт себя естественно, какой

он есть. Читаю этого Гори, лётчик, герой войны, друг де Голля. Полное разочарование: бытовщина, сентиментальщина, слякоть. Я-то думал, он вроде Экзюпери. Не Экзюпери.

10 марта 2001 года.

– Обещали метель, – сообщил он мне, открыв передо мной дверь и выпуская в квартиру. – Да уже идёт, у тебя шапка в снегу! Вчера я работал! – сказал он с радостью. – Подъём, какого давно уж у меня не было. Напечатал семь страниц! Сильно! И день был чудесный, солнечный! Это первый день такой за шесть месяцев. Поэму эту я доделаю. Там такой хаос оказался! Надо приводить в порядок, нужен коллаж.

Пока дошли до леса, метель усилилась, снег повалил густой-густой. Несмотря на метель, много гуляющих, лыжники. Наша дорожка у ручья засыпана, идти там невозможно.

– Что ж, по большой дороге поплетёмся, – сказал он. – Видишь ли, есть писатели, у которых кроме таланта ещё и звериное чутьё на время. Таких большинство, девяносто процентов. Будь у меня рак, я бы застрелился, как Ремарк. Все люди ненавидят друг друга, в семьях ненавидят, народы ненавидят друг друга, можно сказать, пылают ненавистью! Ну, есть сумасшедшие с точки зрения людей, их единицы, они делают свою миссию, они вне этого круга. А для людей любой, кто незауряден – сумасшедший. Недаром же у них разговоры о воздействии на гены. Начнут лечить от таланта. И будут все – здоровые, красномордые, грузчики, рабы, полудебилы, что им и нужно. Сталин был умный человек: разгромил у нас генетику, это единственное его хорошее дело. Кто прошёл войну, у того отвращение к семье. Всё это враньё, что пишут или показывают в кино, эта романтика возвращения домой, к семье, эти мечты о доме на фронте. Вернётся, а она блядовала всю войну, убьёт. А дети ему на кой чёрт!

– Я ведь и бальную школу окончил, – сказал он, помолчав. – Хорошо танцевал. А потом с шестнадцати лет началась писанина, в восемнадцать уже бросил спорт, и пошло, и пошло! Гертруду Стайн можешь забрать. Она из тех, кого не перечитывают. Улавливается её ядовитость; язык в оригинале, должно быть, мощный; а перевод всё сглаживает. Для языка надо читать только русских писателей, а в переводной прозе – формы. Переводы стихов ничего не дают. Музыку стиха не перевести, а это главное. Никакую форму не перевести, ни тонкую, ни толстую. Маяковского никак нельзя заподозрить в тонкой форме. Говорят, его хорошо переводят немцы. Язык древнерусских летописей, тот, неотцензурованный, как есть – вот это свободный язык, мощный! Это всё Пушкин, это он сделал язык сладким, салонным, и катится, катится русский язык всё ниже; ниже, всё примитивней, все выхолощенной, простонародней.

3 апреля 2001 года.

– Придётся надевать эти тяжёлые башмаки, – пробурчал он, обуваясь. – Все время чего-нибудь забываю, теряю, нервничаю по пустякам. Психопатом стал. Ты же помнишь, два года назад, напивался чая и кричал в лесу. Разве не психопат? Надень на меня шарф, мне рук не поднять. Ну, конечно, на себя ты шарф не так надеваешь! А на меня можешь, как попало! Поэму я добил. Долго возился. Потому что сразу не сумел обработать, когда была написана, летом, пролежала в столе полгода. А теперь остыл к ней, то состояние пропало, не помню уже многое, связи. Мучался, головоломка, ну, вот, всё-таки, составил. С плеч долой! Я всегда так писал: гонка, пока внутренне не почувствуешь, что надо кончать. И сразу обработка сделанного, по горячим следам. Сделал, поставил точку. Всё, больше никогда не возвращаюсь. Такая черта моего характера: всегда точно исполнял свой долг, чем бы ни занимался: и спорт, и в армии, и книги. Но в старости энергия не та, иссякает, усталость, бессилие и из-за этого многое становится безразлично, наплевать, махнёшь – ну его к чёрту! Понимаешь? Вот в чём ужас! Это противоречит моей натуре, такое вот авось, расхлябанность. Из-за этого и мученье: сознание мучает. При моей-то максималистской взыскательности всю жизнь! Да, некогда угнетаться, когда идёт работа. Хотя не так уж часто она идёт. Много ли я написал? Вон эти великие, эти классики сколько накатали – целые библиотеки! А у меня? Нет, и у них один конденсат, – возразил он на моё замечание. – И Эдгар По, и Гоголь. А ведь у меня общей энергетики больше, чем у них, хотя теперь уж я и не знаю. Все они мало жили, а написать успели вон сколько! А мне через три недели уже и шестьдесят пять. Их книги сразу издавались и шли к читателю. Представь себе, если бы все мои книги были сразу изданы, как только написаны, и попали б к читателю, да миллионными тиражами!

У меня была бы гигантская мировая слава, и дело давно было бы сделано. А сейчас меня не понимают, то время ушло. Надо, чтобы пришла новая волна талантов, новое талантливое поколение. А придет ли? У меня по сравнению с "Мёртвыми душами" Гоголя жидкое письмо. Это же большой том, при таком объёме – у него там такое закручено! Высшая математика! Небольшие-то вещи и у меня есть, а тут том в двести страниц! Что об этом. Лучше сменим тему.

22 апреля 2001 года. В прихожей у него стопки упакованных книг.

– Из издательства мой том прозы привезли на подпись, – объяснил он мне. – Триста экземпляров подписать! Как тебе это понравится! Эту мою книгу быстро разберут, хоть она и по дорогой цене продаётся. Тысяча экземпляров! Беда в том, что раскупят те, кто её читать не будет, спекулянты-букинисты. А читателю недоступно. Да и кто меня сейчас читает? Никто. Нет таких. – Отмахнулся на моё возражение, – да брось ты!

Дошли до леса. Тёплый, солнечный день, много гуляющих, семьями, везут детские коляски, тянет дымком, жарят шашлык. Он стал страстно говорить о политике:

– Тебе-то всё равно, ты не занимался историей, как я, а мне бы не хотелось возвращения того пресса. Страна рабов. В своих книгах я абсолютно свободен, а в жизни – тот же раб: зависимость, страхи. Маяковский и не выдержал. Такой абсолютно свободный зверь! Конечно, это ему было нестерпимо и ненавистно. Перечитай "Про это". Пишет прямо: "Презираю и ненавижу это всё". А "Клоп", а "Баня"? Так и пишет ненавистью. Маяковский был самый яркий антисоветчик. А что получилось? Увидели в этих пьесах всего лишь критику советского бюрократизма. Та же картина, что и с гоголевским "Ревизором". Николай Первый аплодировал, а за ним и вся страна. Карикатура на мелкое провинциальное чиновничество, невинная юмореска – вот и всё, что Николай увидел в великом "Ревизоре"! Гоголь в ужасе от этого и убежал в Италию. А Маяковскому бежать было некуда. Ничего не оставалось, как застрелиться. Пастернак – другой характер, сломался, слабый, семьянин, жить хотелось. Да, а в "Сестра моя – жизнь" – какой взлёт! Какой гений! Пишет свободно, как бог! Да, теперь у меня издана вся проза, то есть: весь актив. А то, что осталось из написанного и обработанного, не совсем дрянь, пусть лежит в папках, эти рукописи я уничтожать не буду. Время отберёт. Время ещё не отобрало – кто есть кто. Хемингуэй, наш Булгаков – однодневки, хотя очень талантливые писатели, у них звериное чутьё на то, что нужно времени, на конъюнктуру. У меня этого чутья нет. У Пушкина тоже не было. Над "Цыганами" и "Евгением Онегиным" его друзья-эстеты смеялись у него за спиной. А оказалось, что там у него много ценного в смысле этнографических картинок русского быта.

Мы сели на лавочку у дороги и съели по пирожку с картошкой, запили горячим киселём из термоса. К нам подошёл рыжий пёс.

– Что, пёсик, – сказал он, – где ж ты раньше был? У него ошейник, видишь? – обратил он моё внимание. – Не бездомный. Сейчас хозяин явится и будут неприятности.

Мы встали с лавки и пошли по дороге в обратную сторону.

– Не могу своего перечитывать, – сказал он. – Только один раз: перечитал "Летучий голландец". Издали тогда в Америке в 1979 году. Я жил на улице Росси, солнце светило, настроение. Перечитал с удовольствием, сам себе удивлялся: вот написал – легко, чисто, звонко! И всё сказано! Зачем было после этого ещё книги писать, скажем, "День Зверя"? Недавно заметил у себя эти львиные складки на переносице, когда брился, случайно, так я никогда не смотрю на себя в зеркало, а тут вдруг увидел. Ну так куда дальше? Через неделю шестьдесят пять. Во

время прогулки я ещё могу болтать о себе всякую чепуху, язык сам что-то мелет, бездумно. А в письме ведь себя описывать: всё видишь, сознание начеку, невозможно и слова написать, такая всё дурь. Не о болезнях же, об операциях? Кому это интересно? Вот уже два года никому писем не пишу.

10 мая 2001 года.

– Один целыми днями, в молчании, словом перемолвиться не с кем, – пожаловался он. – Нанял повариху, приходит два раза в неделю, готовит какую-то бурду, от которой у меня только живот пучит, а сытости нет. – Повёл меня на кухню, достав из холодильника кастрюлю с супом и открыв крышку, показал: – вот видишь, баранина, как камень, не разжевать.

От нечего делать взялся читать Патрика Зюскинда "Парфюмер". Ведь с первой страницы ясно: интересно или нет, и будешь ли читать книгу дальше. Эта – интересная, нашёл много наивностей. У меня каждый день повышенная температура: плюс тридцать семь. При повышенной температуре я вспоминаю чужие стихи. Свои – никогда, ни при какой температуре! Не могу работать, когда кто-то в квартире. Писатели все одиночки, для работы им нужно быть в одиночестве, если это настоящие писатели, а не затейники.

Читал статью Солженицына о необходимости цензуры? Разве не подонок? Ведь писатель, так и занимайся своим делом – пиши книги. Нет, лезут в политику! Я не думал, что я такой впечатлительный. Каждое слово меня раздражает, выводит из равновесия. Пишут о великих писателях: "Он работал несмотря ни на что". Враньё! Если только какой-нибудь каменный. Таких и нет. Михнов ненавидел Кулакова: считал, что тот его обокрал. Украл его метод: писать бритвами.

Михнов ходил с забинтованными руками, окровавленными от бритв. Шемякин специально приехал, удивился: как он добывается такого эффекта? Михнов был человек простодушный, выдал секрет: что это он так бритвами шурует. И все стали – бритвами. Только никто не выдержал. Кому хочется ручки резать, белоручки ведь. Под конец Михнов только пил да рисовал. Уже и женщины кончены были, и всё. Эх, напиться бы да забыться! Эдгар По был в лучшем положении: в одной комнате лежала умирающая от туберкулёза жена, в другой он – вдребезги пьяный и больной.

В русских революциях много странного. Троцкий любил футуристов, написал в Мексике плач по Маяковскому. Такой же экстремист по духу, как и они, футуристы. Но они не были убийцами, они – экстремисты в искусстве. Ночь длинных ножей в Мюнхене. Таких страниц в истории много. Рим, императоры, преторианцы. На Урале

откопали новую древнюю цивилизацию, равную Египту, сто десять городов. И ни одной бумажки! Ничего от так называемой литературы! А Пушкин памятник бессмертья себе воздвигал: "И славен буду я, доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит". Да пиитов-то ещё полно будет, ничего непомнящих. Поверх пластов. Так и лежат кольцами под землёй цивилизация на цивилизации.

25 мая 2001 года. Его телефонный звонок: "Когда ты посетишь меня в моём печальном одиночестве?". Поехал к нему. Холодный, бурный день, ветер, дождь. Он открыл мне дверь, лицо заросло седой щетиной, печальные темно-карие глаза, на голове шерстяная шапочка пегушком, штанина задрана, видна голая лодыжка.

– Эта приходящая ко мне старуха ужасно готовит, – стал он жаловаться. – Никак не могу её научить, показывал ей, как жарить картошку, как сварить цыплёнка, ничего не умеет сволочь такая, я бы её и выгнал к чёрту, но – что толку: ещё хуже будет! Так я хоть полуголоден, а буду голоден полностью! – Пошёл к стеллажу с книгами, вернулся, опять туда пошёл, кружил по комнате, продолжая говорить. – Что я ищу, зачем я пошёл? Вот теперь часто так: забываю, чего хотел, голова кружится, ослабел ужасно. Да, сигареты. Это сейчас единственные сигареты с двойным фильтром. Скоро пропадут и они. Так называемых россиян я ненавижу. Страна уродов. Подделки были всегда, но в таком масштабе, как сейчас – нигде, никогда! Дали бы мне хорошую профессорскую зарплату где-нибудь на Западе, в любой стране, я бы тут минуты не остался! Да просто, чтобы хватало на жизнь, синекуру какую-нибудь. Карл Брюллов тут жить не мог, задыхался в этом проклятом Петербурге. Не выдержал, помчался в Италию. На границе сбросил с себя всё, до нитки, остался голый, чтобы ничего русского на нём не было, носился по вагону и орал: "Скорей! Вон из этого воздуха!" А переехали границу, в первой же гостинице оделся во всё новое. Из этой страны все бежали, кто мог.

Кстати, почему бы тебе не написать статью? Попробуй! Можно и в статье себя проявить. Кто знает. Ведь литература очень многообразна. Сам я долго отбрыкивался, когда предложили написать статью о Катулле. Никогда не писал статей, и в голову не приходило, что возьмусь их писать. Я ведь не могу писать пустые слова. Поехал в Эстонию, в Отепя, и за лето там написал. Потом – "Речь о Лилит". Оказалось, и статьи могу.

Мне все шлют рукописи своих стихов, поэм и романов, со всех концов света! Куда мне их девать? Это же горы? Буду отдавать тебе, не распечатывая. Хочешь, собирай из них библиотеку, хочешь – выбрасывай на помойку. Как тебе заблагорассудится. А я так устроен, что не могу выбросить ничего кем-то написанного, как бы это ни было плохо.

Композиторы много моих стихов положили на музыку, вот, присылают кучи кассет с песнями. У Сологуба стихи мёртвые, зато проза живая, "Мелкий бес" и прочее. На фоне современной русской литературы, может быть, я и сильнее всех по тону, все неизмеримо ниже, в том числе и хваленый Бродский. А посмотреть на Гомера – разве я могу сравниться с такой могучей фигурой! А с Гоголем, который сам подражал Гомеру, особенно в своих "Мёртвых душах"? Лучшая и самая сильная его книга! И кроме того, я думаю, что я так и не написал ещё свою главную книгу. Всё, что я написал – мутота. Э, брось! Но до Гомера действительно существовала куда более сильная литература. Чем дальше вглубь, тем сильнее фигуры. Открыли Кальва. Кальв ярче Катулла. Сильнее, куда! Вот он, Кальв, и был настоящий великий поэт того времени, а не Катулл. Катулл прославился насмешками над императором и этой своей книжкой мелочей. Ну и что? Этот Кальв наверное подделка. А, может, и Катулл – подделка. Кто-то из современных сочинил это всё. Этих подделок в литературе полным полно. Переводят с латыни на этот ужасный итальянский! Нет, это безумие, конечно! Боги издеваются над теми, кто родился с дарованиями.

"Слово о полку Игореве" создано в восемнадцатом веке каким-то гениальным поэтом. Кирша Данилов – тоже в восемнадцатом веке, видится та же рука, из той же мастерской. Может быть, это Львов или кто-то другой. А датируют "Слово о полку Игореве" одиннадцатым веком и на "Слове" построена вся русская культура, построена на ложном основании с этой датировкой. Ты понимаешь? Вот кто преступники из преступников! Учёные! Это учёные создают ложное представление о мире, из-за чего гибнут массы людей! Из-за ложного представления о мире – борьба и войны. Они же, учёные, создают и бомбы. Все их изобретения – для убийства. Ещё двадцать лет назад установлено, что все до одного положения этого великого учёного Эйнштейна ложны. Вот так! Пишут, что не важно, кто и когда написал, главное – ценность произведения. Мода теперь такая: возвеличивать анонимность. И это ужасная ложь и вред. Эти идеи, например, провозглашают два больших западных философа – Барт и Батай. Только недавно их перевели на русский. Хорошо. Тогда ты первый сними своё имя и своё профессорское звание заодно уж, и издавай свои книги анонимно или поставь имя кого-нибудь другого. Отнюдь не всё равно, знаем мы или не знаем – когда и кем написано. Потому что это дезориентировка. Да, некоторые любят анонимность, гении даже. Сколько гениальных произведений пущено в свет анонимно! Сознательно! Да и просто хороших произведений много анонимных. Я очень уважаю таких людей. А были и мисты! Те издавали анонимно, потому что принцип: соблюдение тайны, лицо за завесой, таинство. Это уж вообще – высота!.. О чём тут говорить...

Я тут пропадаю. Как в тюрьме! Эта старуха стала меня обкрадывать: по тридцать, пятьдесят рублей в день. За месяц набирается! Я же совершенно беспомощен с этой моей глухотой. Куда-нибудь поехать – и думать нечего. Вчера в два ночи смотрел порнографический фильм. Плохо сделано: некрасиво, топорно, как лошади. На Западе я видел замечательные видеофильмы в этом роде. Эти сексуальные запреты только в христианстве. На востоке этих запретов нет.

6 июня 2001 года. Сегодня он встретил меня со странным выражением лица.

– Вот видишь, оказалось, не надо ни яда, ни пуль, – сказал он. – И сам собой сдохнешь запросто. Внезапно подскочила температура под сорок, потерял сознание и очнулся только через двое суток от крика кошки. Зубы побиты, видно, трясся в лихорадке и стучал зубами. Дома лекарств нет, один. Эта старуха, что мне готовит еду, вернее, морит голодом, пришла только на следующее утро. У меня какая-то непонятная болезнь. Старуха обкрадывает, готовить не умеет или не хочет, наверное, считает меня дураком, так что ли, а как ещё понимать? Всё, что она стряпает, бурда какая-то, я всё выбрасываю в помойное ведро, а покупаю себе булку и набиваю брюхо, надо же чем-то питаться, суп сварила – есть невозможно. Бросила вот такую горсть перца! Идём на кухню, сам попробуешь ложкой и удостоверишься, чтоб не думал, что я сочиняю, а то напишешь потом что-нибудь в своих мемуарах!

Я попробовал: действительно сильно переперчено, жжёт во рту.

Он опять вспомнил своё зимнее выступление в "Бродячей собаке":

– Никто там не понял моих поэм. Почему? Что в них такого трудного? Да, Хлебникова тоже не понимали и не понимают. Но мой язык и моя система очень далеки от Хлебникова. Что ты сравниваешь? У Хлебникова ведь простой язык. Это такой чистый кислород! Это непостижимо! А вот меня сразу поняли Вознесенский и Айги и поставили меня выше себя. У них этого мистического, так, чуть-чуть, а у меня целая система. Горбовский считает, что он новый Есенин, но, видно, он Есенина не понимает. У Есенина есть эти прорывы в мистическое, даже и в его похабных песнях, особенно в последних. К тому же никто не замечает есенинскую, удивительную подчас, виртуозность. У Горбовского этого мистического ни искорки, нигде. Но Горбовский действительно лучший поэт в Ленинграде, на том фоне, какой сейчас. Только не в этих его последних стихах с пьянкой, в них уже нет того напряжения, того накала, нерва. Стишки как стишки.

Пьер Сулаж? Да, знаю. Много есть замечательных художников. И ведь живопись совсем другое, чем литература: живопись ближе к интуитивному, а в литературе интуитивное редко. Это только в двадцатом

веке появилось в русской литературе, да, у тех, о ком ты говоришь, совсем короткий срок, и кончилось со смертью Цветаевой. У Платонова этого уже нет. Его "Котлован" могучая книга, но это всё же только структура, высшее мастерство. Да, верно: "Слово о полку Игореве" интуитивно полностью. Чуть-чуть в Кирше Данилове. У Гоголя все пронизано интуицией. Кроме этих его петербургских рассказов. Там ни капли. Видно, Гоголь просто не знал, что ему делать с этим материалом, эти темы, видно, были несвойственны его голове. Таких рассказов полно, скажем, у Гофмана. А в мире – пруд пруди! Но вот такой книги, как "Мертвые души", в мире второй не найдешь. Переводят, как сказку. А тот внутренний сгусток, то мистическое целое перевести невозможно. У Толстого это и не ночевало. Смешно говорить. Чуть-чуть у Пушкина, чуть-чуть у Тютчева, у Фета. Разве заподозрить это у Державина? Ничего там у него нет, кроме структуры и мастерства. Китайцы таких презрительно называли: мастер. Есть и литературоведы блестящие. Литература ведь очень многообразна. Пушкин, например, ходил по базарам частушки слушать. Да не частушки он там, конечно, искал, а красивых деревенских баб! Купит кусок ситца – любая рада. Что им за счастье – их грязный, потный, весь день в поле муж-пахарь? А тут барин, богат, чисто одет!

– Что же удивительного, что у меня столько болезней, – сказал он, налив чай в чашки и поставив одну передо мной. – Герои все больные. Естественно: от их активности. Активность влечет раны и травмы – и физические и психические.

Когда я впервые прочитал эту статью Лорки о дуэнде, то произвело на меня сильное впечатление. Те, кто любит дуэнде. Да, пение. Вот и классическая певица, с культурой оперного пения, может, как простая цыганка, петь и дуэнде. Это есть и у Глинки. Но у Глинки европейская культурность. А куда больше дуэнде у подзаборного Мусоргского. А "Пара гнедых" Апухтина, а Аполлон Григорьев! В музыке без этого вообще нельзя. Пение-то пение, а, всё-таки, не обойтись без опоры, без структуры. Это вот такое священное безумие. Да, и у китайцев близкое к дуэнде понятие, но только не у всех – у Лаоцзы, вообще у даосов. Там ведь у них ещё и конфуцианство. Да, дуэнде – для тех, кто любит дуэнде. Ориентированность на интуицию – это еще не всё, знаешь. И не важно ведь – какие слова, о чём, смысл ничтожный, никакой, бессмыслица. Это дуэнде было чуть-чуть у Высоцкого, когда он себя заводил этим своим хрипом. А тексты его, то, что он сочинял и напечатали потом – нуль полный, ничего там нет.

Чувства жалости к себе у меня никогда не было, несвойственно моей натуре – себя жалеть. Но вот в последнее время я стал за собой замечать, что бывают такие моменты. Но это, я думаю, от моего одиночества, от изоляции.

Писал же Лихачев, что в хранилищах лежат две тысячи никем не прочитанных древнерусских рукописей. И не прочитают. А сколько там, может быть, открытий! Шуцкий с его "Книгой перемен" случайно прорвался. Биография Шуцкого, собственно, неизвестна. Моя биография тоже будет неизвестна. Я много раз пробовал писать автобиографию, ничего не получается. Значит, это мне и не нужно.

Битов ничего не смыслит в живописи, кумир Битова – Бенуа. Вот нашёл великого художника! Да и Хлестаков: сам свои книги расхваливает. Если я не сдохну с голода, это будет чудо. Нет, старуху я всё-таки выгоню к чёртовой матери! Иди, иди! – сказал он, заметив, что я поднялся со стула. – Видишь, я могу болтать сутками об одном и том же. На месяц наговорился.

26 июня 2001 года. На лето он остригся наголо. Впервые за три месяца вышли на прогулку. У него озноб, пошатывает.

День теплый, зелёный лес шелестит при дуновении ветерка. У железнодорожной насыпи я придержал его за руку, услышав гудок локомотива. Он гудка не слышал. Локомотив промчался вихрем.

– Глухой орёл и его поводырь, – пошутил он.

Мы перебрались через рельсы и побрели по лесной дороге. Он слабо махнул рукой, показывая вокруг:

– На всё это приятно смотреть летом, на зеленые деревья, но ещё лучше, если бы их не было, ещё лучше, если бы ничего не было. Это фраза из моей последней поэмы, отдал-таки на днях издателю, издаст осенью. Да, в поэме этой я описываю райский сад, цветы, а дальше пишу: а лучше бы вместо цветов росли бутылки с вином, с вермутом, с виски, с коньяком, с бальзамом, с бенедиктином, еще лучше – была бы просто бочка с сивухой. Вот это сильный дух! И закрыть костяные двери. Видишь, получается, от лирики, от сентиментальных цветочков – к таким образам жути и конца: закрыть за собой дверь жизни.

На лугу загорали девушки. Он – в тёплой куртке, и черной суконной кепке с длинным козырьком, в тёмных очках от солнца, его знобило.

– Хочется пить, пересох язык, – сказал он. – В пустыне воду носят в специальных замшевых мешках на бедре, и вода ничуть не портится, не холодная, не тёплая, нормальной питьевой температуры, это американцы придумали. Не то, что наши идиотские фляжки. Все, идём обратно, а то мне и до дому не доплестись. О, ещё сколько ползти в обратный путь: и лес, и по городу ещё два квартала!

Только подошли к железной дороге – опять гудок поезда. На рельсах сидели, весело щебеча, юные девушки с рюкзаками, они словно не слышали, что на них летит поезд. Соскочили в последний момент. Мимо нас катился, грохоча, длинный товарный состав, дым застлал нас сизой завесой.

Выйдя из леса, купили бутылку минеральной воды. Брели по тротуару под тополями, он пил из горлышка, прихлёбывая.

– Зачем я писал, это понятно, – сказал он. – Это было как дышать. А вот зачем жил – непонятно, – грустно произнёс он, склонив голову к плечу, плетясь вдоль ограды.

Кое-как добрались до дома, и он лёг на кровать.

– Вот умру, труп сожги, а пепел развей по лесу, где мы с тобой гуляли, – оказал он мне. – Это моё завещание. Она не сможет, – он показал на жену, Нину (она неделю назад вернулась из больницы после операции), – не исполнит, побоится. Так я тебе завещаю. Пепла-то будет с совок. Что? Обманешь? Пепел соберёшь в урну и будешь себе на обед суп заправлять?

Как Рид Грачёв один живёт уже тридцать лет – не представляю! Старуха приходит раз в месяц – убрать квартиру. Рид так живёт с тридцати четырёх лет. Да, в тридцать четыре у него и началась шизофрения, да она и всегда была, как видно. Шизофрения – это энергия, так теперь установили. Эдгар По, Гаршин, Свифт, Хемингуэй. Да сколько их! Хемингуэй застрелился ружьём в рот. Последний его год – сплошные драки-пьянки. А Эдгар По! Такой ум, крутящийся, и так и сяк, эта игра ума, этот гений, и алкоголизм посильней, чем у меня! Я всё же мог остановиться, Эдгар По – не мог. И столько написал при этом, и такое! А потом пошёл и гашиш, и опиум, и покатылся с катушек.

Вместе с Гитлером погибло шестьсот индусов – на лестнице в бункер. Отклоняли пули ребрами ладоней. Это легко, я сам мог когда-то. Первое, что я проверил после той сокрушительной операции восемьдесят первого года – свою реакцию. Пропала! Бью – и мимо, не в ту точку! Вот о чём я больше всего жалел, а не о жизни, не о здоровье, не о так называемом творчестве. Гитлер был мистик, просил у японского императора хоть одного ниньдзя. Ниньдзя никакой цены нет. Видел я однажды на экране, видеофильм: о – быстрее молнии! Ужас!

Нет, нет, Рид так и не написал ни строчки, говорю тебе. Рид всегда был открытый, прямой, сразу читал свое свеженapisанное, он бы не мог прятать, скрывать. Рид маленький, ниже тебя ростом, я дарил ему свою одежду, он выглядел в ней, как Гаврош. Молись какому-нибудь богу, чтобы я дожил до осени. Есть же у тебя какой-нибудь бог, которому ты молишься? Кто он? Куст? Пишущая ручка? Только по православному не молись, по католически – дело другое. Католики, знаешь, как крестятся? Слева направо. А православные – справа налево. Надо – слева направо: как солнце идёт, как часовая стрелка, как сердце, как кровь, как деревья растут ветвями, как цветы цветут, как всё в мире движется. Есть врождённые левши. Вот я – врождённый левша, но переученный. Маяковский был – левша. Леонардо – левша. Я и страницу листаю, как

левша, и читаю, как левша: слева. Так и мозг крутится – слева: полушарие, работающее на качество, на художественное, на образное. Мне же одну голову, верхнюю, отрезали. Я подозреваю, что это-то и была божественная, золотая голова, голова высшей интуиции, чистое качество. Ладно, иди. Уже поздно.

1 июля 2001 года. День жаркий. Я пришел к нему в рубашке с коротким рукавом, в летних брюках.

– Неужели так тепло? – удивился он. – Ну, конечно, это тебе тепло, ты здоров, как бык. А меня постоянно знобит, что-то с лёгкими.

Вышли. Парит. Он стал говорить о Битове:

– Битов хороший писатель, но у него нет главного. Все его книги спокойные. Нет дуэнде. В начале двадцатого века это дуэнде в русском искусстве было очень сильно. А потом пропало, и здесь, и на Западе. Сейчас вообще никого. Я сейчас единственный в этой стране, а, может быть, и в мире, у кого это дуэнде в полной мере, этот экстремизм. У каждого века своя ориентировка. Конечно, это дуэнде всегда было, во все времена, но не было на это ориентации, не акцентировали это, только в двадцатом веке это поставили центром. Да, в начале двадцатого века экстремизм был во всём, то есть: саморазрушение. Такая волна, всё поколение было – экстремисты. Что ты думаешь, когда выходили в свет книги таких вот писателей-экстремистов, то есть писателей высших, народ их читал, понимал, принимал? Как бы ни так! Это невозможно! Это две разные породы: такие экстремисты и народ. Другая психика. Никогда не поймут. Но иногда совпадает, если у таких писателей есть элемент развлекательности, например, у Свифта в "Гулливере" или у Дефо в "Робинзоне" – жанр путешествия в чудесные, фантастические страны. Это-то в них и ищут и ничего больше не видят. А ведь у них это – притча! Марк Твен хороший писатель, но он весь развлекателен. А те, что пишут для того, чтобы их читали – продажные писатели, популяризаторы. Хемингуэй – это разжиженная Гертруда Стайн. Использовал её стиль, и каждая книга Хемингуэя так и кричит: покупайте меня! А Гертруда Стайн так ведь и осталась непонятой и неизвестной широким массам.

В лесу он продолжал говорить, не обращая внимания на толпы гуляющих по всей дороге.

– Талантливый, то есть – экстремисты. Талант и есть – экстремизм. Это само собой разумеется. Талант авторитарен, он диктатор, он не может не командовать и не подчинять. Это очевидно, что об этом писать или говорить. У кого нет "я", тот это никогда не поймёт. Например, после Рабле писать об обжорстве: разве можно написать так, как он? Будет только снижение. Агата Кристи – писатель высокого класса, жуткая формалистка, абсолютно геометрична, элитарна, типа Хлебникова, и к

известности никогда не стремилась. Но друзья занялись изданием её книг и популяризацией. И вот – мировая слава. Но разве она не осталась тем, что она есть? Гитлер – такой же экстремист. Чаплин восхищался Гитлером: какой великий артист, как прекрасно держится на трибуне, как говорит! Великие люди все очень болезненны.

Обо мне вчера была передача по радио. Слушал ты её? Это уже четвёртая передача обо мне в этом году. Предлагали записать на радио мой голос, на века! Я отказался. Знаю я эти века! Плёнка хранится четыре месяца, да и так достаточно записано, особенно за границей, в Париже. И пластинки. Обо мне написано уже тысяча книг тысячью авторов, большинство имён я и не слышал.

Язык падает, и будет падать все ниже. Что им до изысков? А каков язык, таково и мышление, писатель без языка – ничто. Те, что сейчас пишут – какие же это писатели, безъязыковые? Поэтому теперь и поэтов нет. Без языка нет поэта. В девятнадцатом веке хоть одна каста знала язык, теперь никто не знает. Может быть, я один. Я могу читать древнерусские тексты в оригинале, там язык и есть. Но это мне не нужно, всё это в меня вошло, как кровь, и живёт во мне. У Айги тоже оригинальный язык, в его русском есть что-то особое, чувашское что ли. Пушкин при всем его изяществе, нюансах и тысячах приёмов ужасно снизил язык. "Великий, могучий, прекрасный русский язык" – это Тургенев, который писал на полуфранцузском! – он усмехнулся. – А русский язык как раз очень беден интонационно и очень груб, как и немецкий. Слишком много этих "ша" и "ща", которые восхвалял Маяковский. У Хлебникова, между прочим, этих "ша" и "ща" нет. У Кручёных – совсем мало и не главное. Мандельштаму пришлось изучать русский язык, он у Мандельштама прекрасный, но мёртвый. У Пастернака иная ситуация: тот русский язык всосал с молоком матери. Третье поколение крещёных евреев. Отец, Леонид Пастернак, русофил. У Пастернака живое московское просторечие, язык богаче, чем у Маяковского. У того только Библия, которую он всю выучил наизусть в шестнадцать лет в тюрьме, других книг там не давали. Вот он и стал пророчить.

Что мы знаем о древнеримском языке? Дошли высшие образцы языка в текстах великих поэтов. Но как их читать вслух, чтобы читать живую речь? Мы же не знаем, как тогда говорили, где ударения, интонации. Тоже – на древнерусском. Скажем – плавающие ударения. Как богат и многомерен был тот язык, сколько изгибов! А теперь – всё плосче, все бездарней. Зачем им тот язык, им же нужны две-три функции языка и все. Скоро вообще перейдут на числа, на компьютеры, и на этом литература закончится. Она уже и так почти закончилась. Блок, педант, немец, сразу перешёл со старого языка на новый, советский, когда была

та реформа языка у большевиков, а писать на нём не смог. У него в "Двенадцати" язык улицы: "Шоколад Миньон жрала". Эх, как он, наверное, морщился, как его корёжило, когда он решился поставить это "жрала"! Это же не его словарь! Или: "С солдатъём пошла". "С солдатъём! Трудно было ему решиться на это – "с солдатъём"! Футуристы поставили себе цель: оторвать язык от народа. В тридцать семь лет я решил, что конец, и поэтому и написал тогда такую живую, жизнерадостную книгу.

7 июля 2001 года. Вышли гулять. Жара, парит. Блестят лужи на тротуаре, не высохшие после утреннего дождя. В лесу, в тени деревьев прохладней, ветерок поддувает, свернули на нашу дорожку у ручья и побрели потихоньку.

– В Америке таких, как я, называют: писатели для критиков, – начал он говорить. – То есть те, что слишком придают значение языку. Кто ещё придаёт такое значение языку, как я? Усталость металла у самолётов. У психики – тоже. Платон был чистый человек, вёл целомудренный образ жизни, питался чистой пищей. Что тут сравнивать. Обыграть можно всё, любую мелочь, так, чем писать свою биографию, лучше натешиться над этим абсурдом, что они в мире куролесят.

Недолго погуляв, пошли обратно. Брели по тротуару под тополями, потемнело, раздался удар грома, сверкнула молния резким зигзагом.

– Знаешь, какое было первоначальное название "Облака в штанах"? – спросил он. – Да, "Тринадцатый апостол". Лишний раз доказывает, что самое сильное берётся из древности. У Хлебникова источники ещё древнее, чем Библия.

Мы уже подходили к дому, когда брызнули первые капли.

– Разве это гроза! – он презрительно махнул рукой. – Вот я в Эстонии однажды попал в грозу! Вышел погулять по холмам, и – началось! Молнии, огромные, сухие, без дождя, били одна за другой, отвесно, у самых глаз. Даже ресницы опалили. Это был какой-то ливень молний. Божия гроза, да и только! А я шёл себе и шёл, вольный, с гордо поднятой головой, расправив плечи, дыша полной грудью, взбудораженный, наэлектризованный. Состояние неопишемое, как будто и сам – молния. Такое неповторимо.

Как бы в подтверждение его слов над нами переломилась огромная во всё небо молния, раздался страшный треск, хлынул дождь, но мы в следующий миг были уже под козырьком парадной, только чуть-чуть замочило спину.

Когда мы вошли в квартиру, за окном рушился сплошной стеной ливень.

– Я становлюсь очень похож на Люцифера, – пошутил он за ужином. – У меня целая аура из изумрудов! Изумрудный венец! Что? Видишь?

Однажды я сам у себя увидел ауру, опять же в Эстонии. Стоял на холме при закате солнца и, сам не знаю, зачем, бессознательно, интуитивно протянул руку и держал солнце на ладони, долго стоял, чувствуя, как наливается тяжесть, всё тяжелее, тяжелее, гнёт ладонь вниз, а я всё держу. Состояние мистическое. Потом узнал, что это традиционное упражнение йогов. Они ещё и играют солнечным шаром, перекидывая с ладони на ладонь. Но это уже фокусы. Потом ещё много раз поднимался на тот же холм в тот же час и пытался повторить. Ничего уже не получилось, сколько ни пробовал.

Ты сказал, мои рисунки излучают энергию. Может и так. Но дело не в том. А вот у меня такой метод, и в рисунках, и в стихах, и в прозе, а именно: что, начав писать, не знаешь, что получится. Недавно я прочитал, что этот метод называется: психография. Видел я этот метод и у других, но видно, как все они подправляют, дорабатывают, то есть: в сторону прояснения и завершения. В сторону объяснения, рационального понимания, собственно – содержания. У меня же доработка в обратную сторону: убираю всё банальное, то есть то, что проясняет, завершает, закругляет, что от ума и для ума, убираю это самое содержание. И тогда получаются очень интересные вещи. Даже если и получилось что-то логичное, я это уже сознательно снижаю и опровергаю иронией. Опрокидываю своё же, утверждённое строчкой выше с таким подлинным пафосом. Тезу опрокидываю антитезой, издеваясь над рассудком и так называемым здравомыслием, над привычкой ума к догматизму, иногда три раза в одном стихотворении. Теза-антитеза-теза. Отрицание отрицания. Так ни прозу, ни стихи никто здесь не писал и не пишет. И в мире. Во всяком случае, таких книг до нас не дошло.

Перевести такое, конечно, невозможно. Ведь тут, бывает, один звук меняет весь смысл. Да, именно интонация и меняет весь смысл на противоположный. В рифме, скажем. Как переведёшь иронию, заключённую в подмене одного звука другим? Например: "Нет, надо, чтобы дуб пылал" и так далее, в том же духе. Или, скажем, как я обыграл и перевернул пушкинское "Дар напрасный, дар случайный". Всем ведь нужно содержание, вот его только и ищут, для этого и вносят ясность. А я, наоборот: оставляю звуковое, ритмическое, композиционное, ставлю на первое место уровень звука, ритма, интонации, а содержание затмеваю, просто не придаю значения. И никто здесь не понимает, как и что я пишу. И в мире никто не понимает. Неужели критики теперь так тупы, что не могут меня понять? Ясно же – откуда я. Нет, выводят из футуристов, из авангарда.

А что они понимают в Хлебникове? Хлебников всех затмевает, вот и не печатают и замалчивают. Закрыли, чтоб и не видно было, как будто и не существует. У русских писателей нет и посмертной славы. Какая у

Хлебникова? Пушкина пятьдесят лет замалчивали. И кто? Демократы. Народ, значит. Пушкин же – аристократ. А они – народ. Пушкин для них неприемлем. Нет настоящей критики о современной литературе. Бахтин – полу-философия. Да и что Бахтин, проехали. Я переработал весь двадцатый век, всю литературу двадцатого века через себя. Только Айги не тронул. Не нужно мне, вот и не тронул. Этот пусть останется так, как есть. У Айги многого нет, ну и что же, какой есть, такой вот, отдельный, существует – и всё. Как и Кручёных – тоже многого нет. Но это – такой отдельный остров.

Уже в "Летучем голландце" бессознательно этот метод психографии, когда я и думать не думал ни о чём подобном. Был написан вот такой томище! Перечеркал чуть не девять десятых. Осталась – книжица. Зато – сила. Эпilog дописал только через два года – чтоб опять же прояснить и завершить. А получилось ещё туманней, ещё странней. Так и оставил. Вот и напиши обо мне статью.

Неправильная орфография и есть правильная, то есть: своя орфография. Иначе и быть не может. И орфография, и синтаксис, и пунктуация. Кто только ни пытался отредактировать, "исправить" в кавычках мои тексты! Издатель приносил корректуру, всю испещренную поправками: "Вот" говорит "Вы, наверное, так хотели?" "Да нет" отвечаю "хотел именно так, как написал". А потом я уже и ничего не говорил, а молча и не глядя перечёркивал все до одной его поправки и возвращал корректуру обратно. В конце концов, он понял и прекратил попытки исправлений.

Да. Как писать своё. Петников, Петровский – подражатели Хлебникова, разжиженный Хлебников, а вот, тем не менее – оригинальны, сквозь Хлебникова сквозит своё, и резко сквозит. У Петровского есть и проза. Но как писать повесть без сюжета? У меня в "Книге пустот" сюжет – это сама фраза. Каждая фраза и есть – сюжет, и фраза на фразу, слой на слой – так и движется, складывается. Все мои книги разные. Ведь и "Книга пустот" – дневник, как и "Башня", но написана иначе, длинными фразами, другое построение, и это мгновенное преобразование увиденного во взгляде, микромир этот. Ну что я буду тебе объяснять, сам разберись.

В двадцатом веке ориентировка на накат, у русских поэтов, и вообще в искусстве. И на Западе. У Пушкина этого очень мало. Тогда была другая ориентация – на изящество, и в России, и в Европе. Пушкин – скрипач. Как у него виртуозно, изящно: согласная за согласную, гласная за гласную. Это уже у Державина, но у Державина грубо, басово. Первым этот накат Блок начал. Рифмы простейшие: пришла-ушла. Рифмы ему были и не нужны. А внутри всё пылает! Эта внутренняя сила – вот что ему нужно было! Ну, духовная сила. Как ни назови. И эти "пришла-ушла" тут действуют магически. Именно так.

У Маяковского ведь рациональность, а этой силы изнутри очень много, мощь! Кручёных ещё больше рационален. А Цветаева – математичность формулы, радио полное. А какой накал! Это её: "Прокрасться": какая внутренняя мощь! И не подумаешь, что обыкновенный, классический, четырёхстопный ямб. Как эта энергия, этот дух преображает привычный размер, превращая во что-то незнакомое, неслыханное! Значит, для наиболее полного проявления этой силы понадобился именно ходовой размер, чтоб ничто не тормозило. Она, Цветаева, тогда целую книгу написала такой силы стихов. Метафоры Маяковского – позорище. До того банальны. Ещё Брюсов сказал: "Как легко писать метафорами". Но опять же: не это в Маяковском главное. А главное – эта внутренняя сила, этот огонь, этот накал! Маяковский и потом ничуть не снизил. Всё зависит от личности. Вот у Андрея Вознесенского, в поздний его период – полно метафор, и сильные, новые, неслыханные, но это только нагромождения, метафоры эти мертвы, нет в них этой силы, о которой я говорю.

Да, дело в личности: эта вот внутренняя сила и, конечно, при наличии всего ассортимента техники. У меня этот накал по-другому, в отличие от Цветаевой, скажем, антирациональный, а сила ничуть не меньше. В моём "Венке сонетов" этого накала почти нет, там – оригинальность структуры. С каждой новой книгой я хочу проявить эту силу по-новому, и всё мне мало. Школа русского формализма, Шкловский и прочие, не заметили эту главную форму, что дал двадцатый век, этот вот накал. Упустили. При разборе произведений они ориентировались только на приёмы и всегда упускали содержание. А без содержания ничего не поймёшь: теряется линия. Вот у Пикача получилась статья обо мне: выстроил одну линию и рассмотрел её. Как-то он её назвал по-своему, гедонизм, кажется. Не важно. Понял правильно. И написано хорошо. Но у меня ведь много линий.

И в моём "Слове о полку Игореве" есть куски слабые, без накала, из тех, что в конце. Основная часть написана на одном дыхании в 1959 году за несколько месяцев. То всё сильно. А в 1961 дописывал, чтоб завершить, закруглить книгу, и это уже слабо. Лучше было б оставить без этого завершения, но тогда я ещё не понимал. А первые стихи сильные, ритмичные.

Блок захотел общественности, признания, славы – вот и пишет "Возмездие", потом "Двенадцать". В коротких стихах, видите ли, не проявиться, нужны большие полотна. Почему? Разве это зависит от объёма? Катулл написал книгу безделок, коротенькие стихи, а каждый его стих – широкое полотно эпохи. Но когда писателя потянуло к общественности, он предаёт себя, и ему конец.

Возьми Гамсуна. Какой пыл в начале, какой накал! Ему было на всё

наплевать, писал, нарушая все нормы. Для него было главным дать проявиться этой своей внутренней силе, чтоб эта сила, этот дух, это своё выплеснулось наружу! Эти его первые романы: "Голод", "Пан", "Мистерии", "Виктория". И ведь небольшие по объёму. А потом что с ним случилось? Пошла мораль, крестьянство, эти норвежские колхозы.

Уитмен утверждал, что никогда не читал Веды, и знать не знает, и ведать не ведаёт. А что ж у него, если не Веды его современности, только на самой высокой волне жизнерадостности? У всех больших писателей их дело – это религия. Все большие писатели религиозны. В том смысле, что у них есть свой внутренний бог, но они сами не знают, как его назвать. Какой-то неведомый бог. И этот Бог диктует свою волю и гонит к столу. "За стол!" – как писала Цветаева. Приказ: "За стол!" Не отвлекаться ни на что другое, на жизнь, на быт. Только Он – этот Бог, только Ему – всё в тебе, ты весь!

Мне очень симпатично это военное поколение на Западе, те, кого Гертруда Стайн назвала: апокалипсическое поколение, а потом ещё точнее: потерянное поколение. Да, эти ребята, пройдя такую войну и вернувшись с бойни, увидели жизнь во всей её красе, то есть во всём её ужасе. На такую жизнь и такую действительность они могли только плюнуть. Плюнуть такой жизни в рожу. Они не выставляли уж никаких ценностей, никаких вообще. Генри Миллер, его "Тропик Рака" и "Тропик Козерога" – полное отрицание всех ценностей. Олдингтон, этот одинокий волк, писал: "Стрелять, стрелять, в чужих, в своих, в каждого, во всех". Или: "Посторонний" Камю. Маленькая повесть. А какая взрывчатая сила заключена в ней! И это у Камю единственная настоящая вещь. А потом та же история: захотелось признания, славы, потянуло к общественности, и пошла мораль, "Чума" и прочие холеры.

Он оборвал речь, лицо у него красное, жаром пышет. Лег на кровать. Я подал ему градусник, измерить температуру. Оказалась высокая: 39.

– Что-то у меня внутри неладно, развивается какая-то болезнь, – сказал он. – Тяжело, жар давит. – Он грустно усмехнулся: – Что тут сделаешь, джентльмены, как говорил Хемингуэй. Это была его любимая поговорка.

14 июля 2001 года.

– Воспаление лёгких, – сообщил он мне. – Лечусь, не выхожу из дома. Читаю Кортасара и о Кортасаре, и то, и то – скука. Прочитал тут, жена Довлатова написала книгу о Довлатове и других, о Бродском и обо мне. Что она может обо мне написать: виделись один раз, вот так встречи! А можно подумать, всю жизнь около меня провела. Приходила ко мне один единственный раз на улицу Росси пол помыть, по моей просьбе: сам не мог, запой. О том, как мыла, и настрочила целую книгу. Вот так и пишутся мемуары!

28 июля 2001 года. У него в квартире душно, он бледен, укутан в одежды.

– Гулять нельзя, – пожаловался он. – Принимаю антибиотики от воспаления лёгких. В окно гляжу на чудесную погоду. Боюсь открыть, чтоб не продуло. А в комнате дышать нечем. – Он посмотрел температуру воздуха, которую показывал термометр на стене: – Ого! Плюс двадцать восемь! Валяюсь весь день, фильмы смотрю.

Я не могу жить в этой стране! Потому что в этой стране, как ни в какой другой, неверный взгляд на всё. Лживый, перевёрнутый, всё наоборот. Если вообще тут есть какой-то взгляд! Собственно, это взгляд номенклатурный. И такова вся история этой страны с самого начала и по сей день. Можно проследить, начиная с летописей. Старославянский язык крепкий, болгарское и сербское православие совсем не то, что русское, там этого рабского духа нет. Христос кто по-твоему? Председатель колхоза или секретарь райкома, а церковь – его парт.ячейка.

Самая мерзкая книга по русской истории – это "История государства Российского" Карамзина. Книга рабская. А вот Татищев – с первой же страницы виден могучий и независимый дух. В восемнадцатом веке ещё были люди! Да, как ты говоришь: личности! Татищев и Державин очень похожи характерами: этикие русские самодуры, на немцев похожи. Немцы ещё те самодуры были! А теперь – тьфу! Видно, последним таким мощным самодуром у них был Гитлер. Теперь у них – каша какая-то, вялость, нивелировка. Как и везде. Таких людей теперь нет.

Я не написал ещё свою книгу ненависти. То, что у меня в книгах, это не ненависть. Тут всегда обманываются: резко активное отношение воспринимают как ненависть. У Цветаевой – разве у неё есть где-нибудь ненависть? Это протест, ярость, гнев. Резко активное отношение в каждой строчке! – Он замолчал, и что-то стал искать на столе, перекладывая бумаги. – Ножицы не могу найти, – сказал он. – Утром были тут на столе, до прихода этой стряпухи. Не иначе, как она стащила! Вороватая старуха. Прошлый раз у меня также очки от солнца исчезли.

15 августа 2001 года. Он уехал на дачу на Мшинской, я навестил его там. Меня встретила Нина, его жена. Оказывается, он вот уж неделю лежит в постели, опять высокая температура, до сорока градусов. Я поднялся к нему на второй этаж. Увидев меня, он сел на постели.

– Рецидив воспаления лёгких, – сообщил он мне. – 0 гулянии не может быть и речи. Хотя в окно гляжу. Пока солнце в одном окне – туда смотрю, к вечеру – в другом, и я на постели поворачиваюсь, тоже кручусь, как солнце.

К вечеру он спустился по лестнице, в чёрном туркменском халате, на голове высокая, красно-белая, шерстяная шапка. Температура у него спала до нормальной. За ужином стал рассказывать, что вчера видел удивительную стрекозу:

– За окном, вскользь, в сумерках: что-то гигантское, сине-зелёное, летело на слюдяных вёслах в сторону пруда. Видение бреда, наваждение, от высокой температуры, от жара – так я подумал. И, как всегда, у меня стал развиваться образ, стал расписывать, воображение разыгралось, описал у себя в тетради подробно, в деталях, фантастическую стрекозу, чудовище.

После ужина он позвал меня к себе наверх. Он лежал на кровати, я сидел у стола. Через минут пять он привстал и потянулся рукой завесить окно у себя в изголовьи.

– В этом уже мрак, а в том ещё есть отблески, – он показал на окно с противоположной стороны. – То пусть ещё посветит. В город не хочу, тут лежать приятней, а там, как в бетонном бункере. – Он встал с постели, пошёл завешивать второе окно, вспомнил, что его ещё рано завешивать, что в нём светло. – Что меня все к этому окну тянет! – возмутился он. Через несколько минут разговора, забывшись, машинально, опять встал, направился к тому не завешенному, гипнотическому окну, опять, спохватясь, вернулся. И так несколько раз. – Да что за чёрт! Какая-то магия! – воскликнул он, разозлённый. – Всё, хватит! И там мрак! Можно завесить со спокойной совестью.

Разговаривали до двух часов ночи. На столе горела лампа под колпаком.

– Житье моё, видишь, – сказал он. – Голова не крутится. Какая работа. На машинке теперь не могу, буквы путаются. Ручкой пишу, но очень медленно. Каждый день перед сном пишу час-два в дневник. Это моё занятие, постоянное, много лет, всю жизнь. Тем я и отличаюсь от всех пишущих, никто в мире из писателей так не пишет: пишу, что взбредёт в голову. Такое письмо несюжетно и несистемно по самой своей сути. Эта моя самозапись или, как они называют, психография, началась с глухоты. Потом через год, через пять смотришь и отбираешь из кучи дневников: то всё хлам, говно говном, то блеснёт строчка, две, целый абзац, а то и страница, а то и полностью сделанная новелла, глядишь, и есть полкниги. Найти ключ к этой ненормальности, нащупать нерв и – раскручивай книгу, она, по сути дела, готова. По системе, системно я и не могу писать, мозг не так устроен. Это не автоматическое письмо, вовсе не то. Путают, не понимая. Там, всё-таки, делается специально, задание, установка так писать.

То, что обо мне пишут – всё жуткая ложь. Превращают меня в слюни, когда я – сама жёсткость. Да что же и ждать от этих слюней, они заняты только тем, чтобы себя выставить, ничего во мне не понимают, кажется им чепухой то, что у меня свой язык, своя грамматика. Они привыкли к стандарту, к общей нормативной грамматике, по правилам: то следует за тем, а если это привычное следование нарушено, опрокинуто,

они ошарашены, это для них всё равно, что конец мира. Но у писателя с яркой индивидуальностью своя грамматика, свой, индивидуальный стиль. Язык у таких индивидуален, это правда своего индивидуального языка, язык сам пишет правду индивидуальности, если, конечно, она есть. А иначе тебя и не поймут те, кто тоже индивидуален, такие же. Надо быть верным себе. Стандартные мозги понимают только общепринятое. И что в мире стандарта и скудоумия делать такому индивидуалисту с его ярко особым языком и стилем, да ещё если он врожденный филологический гений? Куда такому деваться?

Одна переводчица-француженка мне говорила: "Чему Вы удивляетесь, что Вас не понимают. Вы – резкая индивидуальность, со своим особым языком, ни на что не похожим, Ваши ритмы и рифмы непередаваемы, а энергия индивидуальности в ритме и рифме. Когда Вы сами читаете свои стихи не знающим русского языка, эта энергия не то, что чувствуется, она потрясает. Отнимите ритм и рифму у Бодлера, и это будет уже не Бодлер". Привела в пример Мишо. К каким только направлениям его живопись не приписывали: и к кубистам, и к сюрреалистам. Нет, никак он не вписывался ни в одну общепринятую систему и понимание живописи. Ни на каком фоне он не смотрелся и не мог быть рассмотрен. Слишком резкая индивидуальность, казус, нелепость, как им кажется, язык ярко уникален. И они не знают, что с ним делать, как его объяснить, в какую нишу поставить. А он сам по себе, вот и всё объяснение. И ведь Мишо по энергетике слабей тех великих – и Пикассо, и Матисса, и Дали. Так что же эти истолкователи искусства могут истолковать?! Все их теории лживы! Практика художников показывает совсем другое, и я это ясно вижу. А практику, в конечном счёте, не объяснить, это же импульс. Как не объяснить и индивидуальность. Такой – вот и всё.

Он выкурил уже несколько сигарет, был очень возбуждён, блестела серебряная щетина на щеках, на голове торчал колпак.

– Разговор с француженкой-переводчицей был в семьдесят девятом году, – вспомнил он. – Тогда я много скандалил в Париже, стёкла бил в кабаках. Дягилев привез Нижинского в Париж, понимал: случись что с Нижинским (смерть, сумасшествие, а тогда у него уже замечалось) и это будет уже не балет, а очень красивое мещанство. А Нижинский – гений, божественное! Я видел плёнку, ветхая, с этими дырочками, как тогда были плёнки, а подновлять, реставрировать нельзя, нарушать хоть одну крупницу, систему атомов, это же гений! Какой полёт! Словно в невесомости, и не отталкивается ногами. Полёт божества! Такого я больше уж никогда не видел. Нижинский вскоре и сошел с ума. Да война началась.

Мои книги, изданные в советское время, все искалечены в той или иной степени. У меня в "Исповеди Дедала": "Искусством правят прашуры

и бесы". Так прицепились к бесам. Наше советское искусство не такое, им бесы править не могут. Пришлось исправлять. Да и мысль-то, собственно, банальная: что искусством правят демонические силы. Что тут за открытие? Это хорошо знали древние греки. Потом забылось. Данте первый в Европе опять вспомнил. В его поэме Каббала, его ад создан каббалистикой. Вот за что его преследовала инквизиция, и ему пришлось бежать из Флоренции. Католическая церковь ведь не признаёт Каббалу. Да, и Байрон, демонизм во всем, демоническая личность. У Лермонтова, недаром и громадная поэма "Демон". "Бесы" Пушкина и Достоевского. Этого демонизма очень много у Блока. Его "На железной дороге": "Под насыпью, во рву некошенном, лежит и смотрит, как живая, в цветном платке, на косы брошенном, красивая и молодая". Двусмысленность: то ли он всерьёз, трагически, то ли злорадство. Блок вообще странный.

Пушкин был забыт на сто лет. Явились эти пошляки демократы, Писарев и компания, и забросали Пушкина грязью: аристократишка и прочее в том же духе. Пока Достоевский не произнёс свою речь. Пошлая речь, но всё же возрождение Пушкина. Достоевский и сам был забыт, и в советское время запрещён. Как же, Ленин ведь его терпеть не мог. Любимый писатель Ленина – Лев Толстой. То есть мещанин. Что такое Лев Толстой – мастер, писатель, быт, мещанство, бездуховность. Теперь Толстого и Достоевского объединяют. Это же полные антиподы! На Западе и стали издавать Достоевского оттого, что здесь был запрещён. Для них это было открытие и потрясение, ничего подобного на Западе не было. Вот и мировая известность. А при жизни Достоевского его книги здесь считали бульварной литературой, жёлтой прессой. Достоевский меня поразили своими дневниками. Когда он путешествовал по Европе, где-то, кажется, в Дрезденской галерее, была устроена выставка картин Рафаэля, пишет, что толпы ломились на эту выставку, ну и он отстоял, в залах жуткая духота, толпы, и ради чего, живопись ужасающая, этот ваш хваленый Рафаэль с его Сикстинской мадонной – какой-то кисель, смотреть тошно. Очень поразила меня тогда эта запись Достоевского, понимал человек.

Действительно: Рафаэль сразу за Леонардо, а тот – вот уж демоническая живопись, какая злая живопись, жёсткость, эти его двусмысленные улыбочки! Если уж говорить о художниках – у нас Феофан Грек. Вот кто первый футурист! Какая мощь, как всё жёстко, как зло, эти взмахи кисти, молнии! Это ж грек! Рублёв рядом с Феофаном – кисель киселём, смотреть невозможно. Я помню, увидев феофановские фрески в Новгороде, подумал тогда: это ж, всё-таки, зримо, можно ж понять. Хрен! Нельзя! Это понять нельзя! У меня самого этот демонизм с первых шагов, я тогда и знать не знал ни о каком демонизме, бессознательно. У меня есть стихотворение "Волки", из ранних, пятьдесят шестого года.

Он стал декламировать, выпрямился, воодушевился, глаза засверкали, голос зазвенел. Кончив читать и заметив произведенное на меня, впечатление, он сказал:

– Вот видишь: мощь, героическая позиция. И это уже в двадцать лет. Всё это так, но я не люблю свои юные злые крики. Это декларативно, лобовое, узкий взгляд. Теперь я вижу это шире, масштаб другой, мир. Как бы тебе сказать: наивно звучат эти мои юные ноты протеста. Это я тогда всё пытался найти своё. А как найдёшь в замкнутости на себе? Мрачно, однообразно, узко. Нашёл себя на другом. Случайно, по сути дела. Ну, не случайно, конечно. На "Слове о полку Игореве". Тут и открылось своё – и ритмика, и язык. И книга-то не мрачная, весёлая, дух весёлый, сильный, играет. Вот где и засверкала впервые индивидуальность в полную силу, в стиле. Эта моя книга не испорчена редакторами. Самая доступная, "нормальная" из моих книг – "Песнь лунная". Она ж так и подобрана: из отходов, чтоб по зубам было так называемому читателю. Стихи хорошие, но не высшие. Эту книгу тоже покалечили. У меня: "Финляндия тоже больна". Прицепились: не пройдёт цензуру. У нас с Финляндией добрососедские отношения. Заменял: "Фантазия тоже больна". Много таких замен, вся книга ими пестрит.

Рисовать уже не могу: голова не та, нет нужного напряжения, силы. При такой слабости рисовать невозможно. Писать я ещё надеюсь. Но нужны новые книги, чтение новых книг. А ничего сильного давно уже не попадает. Нужны новые толчки. Для прозы обязательно. Раньше этих толчков было много. Первый: "Слово о полку Игореве", потом "Баллада Редингской тюрьмы" Уайльда, "Ворон" Эдгара По. Да полно! Последний толчок – "Книга перемен", которую ты мне вовремя подкинул. "Семеро" Хлебникова было самое любимое моё стихотворение. Этот дивный прерывистый ритм. Последняя моя поэма – "Солдаты уходят": вот за неё мне премию и дали. Решили: патриот, отозвался на события. Какая чепуха! Это же я о себе, о своём. Это я ухожу, и такие, как я. И Рим – это о себе, это я сам – Рим. Все, что я писал, я писал только о себе и о своём, о внутреннем. А эти понимают только внешнее, только так называемое общественное. Так они понимают в искусстве. Так, скажем, и на Рабле смотрят. Рабле от народных комиксов. И Шарль де Костер.

Всё, всё заглушается со временем. Сервантес был забыт сразу после смерти и на пятьсот лет. Пока его не возродил Борхес: фразы Сервантеса поставил в другом, новом контексте – и опять как засверкало, как мощно зазвучало! Весь мир ошеломлён, твердит фразы Сервантеса, и имя Сервантеса не сходит с уст. Надолго ли?

Закурив новую сигарету, он продолжал:

– У меня ещё том прозы наберётся, около десяти вещей, и сделанное и неоконченное. Написано-то сильно, с энергией, всё как надо. Не то, что

я сжёг, то было рыхло, нехудожественно, рассуждения. Но внутренне как-то не устраивает, не нравится. Скажем так: для меня это не важно. Это я никому не хочу показывать, и не буду печатать. Но пусть лежит. Да, там и "Остров Целебес" и "А потом".

Кстати, исправь в этом изданном томе моей прозы, там: "Что для меня вечно". Неправильно! Надо: "Что для меня важно". "Вечно" не моё слово. Не то, что высокопарное, а пошлое, затаскано.

Разболтался. Два ночи? Это от глухоты и старости. До глухоты никогда ничего о себе не говорил. Глупо о себе рассказывать. Вообще не любил говорить, а больше слушал. А вот Рид умел рассказывать о себе, очень живые и яркие рассказы. Рид у меня и завтракал, и обедал, и ужинал. Вот, может быть, и считал долгом платить рассказами.

Перевод моей "Книги пустот" попался Морису Дрюону. Морис Дрюон был ошеломлён: "Неужели Виктор Соснора написал такую херню? Красивый, денди, гений, как восхитительно он читал свои прекрасные стихи двадцать лет назад в Париже у Арагона! И вот до чего докатился!" А немцы вообще ни строчки меня не перевели. Недоступно для их мещанских мозгов. Они не могут найти в моих писаниях никакой системы. Путаница, белиберда, одно другое опрокидывает и отрицает. А Гёльдерлин! Ведь последние свои стихи Гёльдерлин написал уже безумный. Значит, в мозгу что-то было и вот проявилось в такой форме. Новый этап. Но немцы и тут нашли железную систему. Без системы для них мир рушится. Но в том-то и прелесть этих стихов, что в них нет никакой системы.

28 августа 2001 года. Посетил его на Мшинской. Вхожу в дом, а он спускается по лестнице, в крестьянской шляпе, седобородый. Глаза острые, веселые.

– Ну и нюх у тебя! – воскликнул он. – Учуял! Как раз на манты приехал. Да знаешь ты, что такое манты? Ты такое никогда не ел!

Вечером, одевшись потеплей, пошли гулять. Холодный, пронизывающий ветер.

– Я совершенно неприспособлен к жизни, – сказал он. – Сколько наделал глупостей. Мог бы сделать блестящую карьеру. Отец хотел устроить меня в дип.институт в Москве. Я отказался. Отец рассвирепел: "Так что же ты, дурак, хочешь? Пресмыкаться в грязи? Ну иди тогда на завод!" То, что я стихи тогда уже писал чемоданами – не причина. И повести, и романы, и драмы. Об этом отцу нельзя было и заикаться. Да я и сам понимал: графомания жуткая, подражательство, всё это безнадежно, пустое, и выбросится. Но вот тянет писать стихи, как алкоголизм. Серьёзного значения этой графоманской лавине своего писательства я тогда и сам не придавал. Подражательство, как у всех, как и все

начинают. Вундеркиндом я не был. Дядя мой, Пётр Соснора, тоже стихи писал, ничего не сохранилось. Командир партизанского отряда, погиб на Кубани, герой. Я мог бы и военную карьеру сделать самую блестящую, если бы не характер самоубийцы.

Мы гуляли недолго. Нас сопровождала луна, мелькая за деревьями, туманная, жёлтая.

На следующий день вышли гулять раньше, на закате солнца.

– Я люблю цветы репейника, сказал он. – Я всегда ставил их себе на стол. Что такое цыганские песни? Собственно, поп-арт. Вот, кстати, у кого дуэнде. Цыган в Испании полно, вся Каталония. А наши ещё почище! Как они поют, что это за песни и, что за музыка! Примитив, дикость, крики, одну ноту растягивают на страницу. Взять голосом, криком? Лорка же пишет: оперная певица из Парижа, знаменитость, выступает перед любителями дуэнде в каком-то кабаке. Поёт красиво, звонко. Слушатели молчат. Гробовое молчание. Что им оперные арии, им дуэнде давай? А певица самолюбива, с характером. Голос у неё есть, раз в опере поёт. Хватила стакан спирта, ну и выдала им хриплым, сожжённым голосом, без правил, как вырвалось, во всю глотку! Забыла и своё мастерство, и что она знаменитая оперная певица. Растрёпанная, ведьма ведьмой. Зал вскочил, орёт, как бешеный. То, что им надо! Своя в доску! Вот в чём тут дело. Это-то и есть. Понимаешь? Тоже самое и стихи читать перед залом, который твоего языка не знает. Так я читал в Америке: вся сила в голосе, голосом выложиться, внушить, а смысл неважен. Для своих так читать нельзя, только напугаешь, поэтому в России такой силы голоса при чтении у меня никогда не было. У Высоцкого иногда вырывалось это дуэнде. Ведь ни голоса, ни гитарист, так бряканье, ни поэт, ни актёр, ни то, ни сё. А вот как ударится в этом своём хрипе, в энергии этой, с яростью, как заведётся!.. На Западе поэтом считают, у кого виртуозная версификация, отточенность стиха. Конечно, отточенность обязательна. Но это только половина поэта. Все они там на Западе вот такие поэты-половинки. Ну, версификация высшего уровня, а дальше что?

Они хотят всех привести к одной номенклатуре, нивелировать всё и вся. А если и окажется кто-то ни на кого не похожий, герой – всё равно пригладят, размажут, сделают своим до тошноты, как сделали своим Пушкина. Какой он свой? Он ничей! Он первый ничей здесь. И сколько у него тоски, отчаянья! То, что пишут обо мне, превращает меня в какую-то размазню. Всё наоборот. Для чего? Чтобы принизить, унижить, а себя таким образом возвысить?

Книги надоедают. Надо бы библиотеку продать. Кроме эллинов, их оставить как источник информации. Отлюбил, отболел с каким-нибудь поэтом – прощай. А на кой чёрт их держать? Любоваться, что ли? Не в моём характере.

Какой бы ни был сильный подражатель, а сразу в моих глазах угасает, как только появляется оригинал. Так угас Хемингуэй, когда издали книги Гертруды Стайн. Хемингуэй всю жизнь носил маску мужественности. Раз маска мужественности, значит – жалкий трус. Тоже – Маяковский. Но тот срывался в отчаянье. Не выдержал первого же испытания жизни. Выставку в Париже запретили, видишь ли. Стали писать не своё: и Маяковский, и Пастернак. Все. Меня-то на бумаге не собьёшь. Я пишу только то, что хочу и как хочу, а не то, что кому-то хочется.

В Незвале я разочаровался тогда, в Чехии. Но у Мартынова есть прекрасный перевод одного стихотворения Незвала: такая реющая конструкция повторов.

Стемнело. Мы шли по безлюдной дорожке, с обеих сторон огороды, домики. После долгой паузы он сказал:

– Не могу теперь смотреть на всё это убожество, нищенство это. Ну и страна! Я всегда считал, что частушки это классика. Вырвалось на злобу дня, импульсивность, как припечатано.

У Генри Миллера в "Тропике Рака" половина книги рассуждения, как плохо жить на земле. Спасибо за открытие! И нюнит и нюнит всю книгу. Банальное, лобовое, хоть бы обыграл как-нибудь. Можно ведь взять и банальный сюжет и написать банальными словами, но так опрокинуть, что, ух, как заиграет! Маркиз де Сад был за революцию. Его "Философия в будуаре". И Лермонтов мечтал о революции. Станные люди. Тургенев мог бы стать хорошим пейзажным писателем, а ударился в революционность: три года писал дневник Базарова, как он на баррикадах в Париже боролся. Или Рахметов, я их всё время путаю. Бодлеру хотелось перевешать всех мещан на земле. Неплохо бы. Мне тоже хотелось. А потом пришло в голову, что – глупо же! Ну, перевешаешь, так ведь весь мир тут же рухнет. На мещанах жизнь только и держится: они деловые, крутятся, торгуют, юлят, хитрят, строят, копят, занимаются всей этой бытовой хернёй. Нет, без них жить было бы невозможно. Такой расцвет детектива в двадцатом веке оттого, что людям с фантазией не о чем писать. Действительность серая, быт одинаков, рожи у всех унылые. Теперь трещат об этом Жигунском. Лагерная тема. Что мне до темы. Плохо написано. Поэтики нет, ничего нет.

Мы пришли домой. Он сидел на диване, полулёжа, вытянув ноги, и смотрел мне в глаза пристальным, прямым взглядом.

– Маркес умер, Кобо Абэ, – сказал он. – Ох, засиделся я на этой помойке. Читал ли ты военные детективы Соболева и Шейнина? – спросил он меня. – Не читал. Я так и знал. А Льва Никулина? О бандах в двадцатые годы. Лев Никулин был следователем в Чека. Была у нас такая замечательная организация. Да, много было прекрасных русских

писателей. Русская литература в двадцатые годы была очень разнообразна.

Моя клиническая смерть в Тарту, у меня было такое видение: открылся невыразимо прекрасный свет, это было состояние полного блаженства, передать словами невозможно, и уже ничего не хотелось. И вдруг голос, не то, что оглушающий, но сильный и страшный, громовой голос: "Хочешь ли ты вернуться обратно?" Я, не задумываясь, решительно: "Нет!". Тогда всё померкло, весь этот божественно-прекрасный свет, и я рухнул вниз. Очнулся в кровати и, надо мной, обступив, толпа врачей, глядят на меня в ужасе. Вот, можно сказать, я был удостоен интервью с Тем, с Ним. Но, как видно, мой ответ ему не понравился, такое решительное отрицание, и Он вернул меня обратно сюда, на землю, в эту мерзость.

11 сентября 2001 года. Он вернулся в город. "Переходим на ленинградский режим" – сказал он мне по телефону. "Приезжай, погуляем. Или ты отказываешься от прогулок?" – пошутил он.

Увидев меня, он удивлённо заметил:

– Не слишком ли ты легко одет? Неужели так тепло? Я ответил, что температура воздуха +16.

– Брось ты вкручивать! – возразил он. – Почему я должен тебе верить. На сегодня обещали дождь.

Он надел свитер, тёплую куртку, шерстяной шарф, шапку с козырьком.

Вышли на улицу. Солнце, голубое небо. Люди легко одеты, с непокрытыми головами.

– Никакой жары не чувствую, – пробурчал он. – Ветер холодный. Я думаю написать книгу на украинском языке. Я же знал украинский в совершенстве, когда во Львове жил. Украинский язык куда сильнее русского. Вот, скажем, по-русски слово "решительный". Ну что это за звучание! Звучит как "нерешительный". А по-украински – "решучий"! Будешь на Невском, посмотри украинскую классику, старых писателей семнадцатого, восемнадцатого века, на украинском языке. Сомнительно только, что теперь их издадут.

В лесу у ручья он долго стоял, глядя с радостью на светлую берёзовую рощу.

– До чего же день чудесный! – произнёс он.

Мы пошли дальше по дорожке. Люди несли корзины, полные грибов. Нам тоже попадались чуть ли не под ногами, большей частью волнушки и сыроежки, но мы не стали собирать.

– Вчера я прочитал в газете, – сказал он, – что проводилась тайная инспекция мировых собраний живописи. Оказалось, что во многих музеях

сплошь подделки. Я давно это подозревал. Как будто могло быть иначе. Русский музей – да есть ли там хоть один оригинал? Всё подделки. У меня же глаз был идеальный, вижу: жутко грубо намалёвано, не то, что мастер, а и самый плохой художник не напишет так паскудно. В Эрмитаже, нет, не думаю. Тех, высших, таких, как Леонардо да Винчи или Джорджоне подделать немыслимо. Не найдётся в мире мастера такого уровня. Ведь подделыватель должен быть равен автору, до микрона чтоб было точь-в-точь, то есть такой же гений. Приборами определяют и возраст холста и краски. А чтоб на глаз – о! В мире такие – величайшая редкость. Я знал только одного, в Москве. Сейчас этот высший эксперт живёт в Англии. Собственно, ему там жить некогда, разъезжает по всему миру по вызовам на экспертизы. Он такой, может быть, единственный сейчас. Да, такой гений. До чего же день хорош! – он опять остановился, глядя на лес. – А неделю назад пластом лежал, полнолуние бьёт. Старик. А в молодости любил гулять по ночам, особенно в лунные ночи, наоборот – прилив сил, полный контакт с луной.

Я написал ему в блокноте: "Я любил. Эту Луну, птицу Гунь и зверя Мышь".

– Так ты прочитал книгу! – удивился он. – Издана плохо, как какая-то советская брошюрка для политзанятий, серпа и молота на обложке только не хватает. Да, "Двери закрываются". Это ж как всегда – о себе, это у меня, мои двери закрываются. А люди обязательно поймут своё: что это так в мире и с миром, это мир закрывается. И будут приятно поражены: вот пророк! Вот как он верно пишет! Всё правда, так оно и есть!

Достигнув рва, повернули обратно, солнечные лучи брызгали нам в лицо сквозь кроны берёз.

– Я издал за эти полтора года три книги. Вот бы ещё и четвертую! Нет, это не подъём, это нервное и духовное потрясение от известия, что у Нины рак и положение безнадежно. Из своего опыта общения с людьми я сделал для себя одно открытие: что все, с кем я порвал отношения или кто перестал со мной встречаться по каким-то причинам, уехал в другую страну и так далее (это касается пишущих) – переставали писать или начинали писать плохо, слабо, вообще резко сдавали и быстро скатывались на низкий уровень. Отключались от моей энергетики, лишались генератора. Да, как ты говоришь: выпали из моей ауры, – кивнул он, усмехнувшись. – А в молодости у меня и вообще была жуткая энергетика. Сейчас уже не то. В книгах-то, тыфу-тыфу, пока также сильно.

Какие у меня теперь планы? Я и никогда не мог ничего планировать, ни книги свои, ни жизнь. В советское время были первоклассные чтецы.

Я по радио услышал "Бесы" Пушкина. Вот это чтение! Мороз по коже! Тогда мне и открылось это стихотворение, и это уже на всю жизнь врезалось. Мандельштам до сих пор так и не понимаю. Логически-то понимаю: что очень большой мастер. Но что дальше? Мандельштам и логичен весь. А вот "Сестра моя – жизнь" Пастернака – абсолютно нелогическая книга, иррациональная. И "Бесы" Пушкина – никакой там нет логики. Там нагромождение чёрт-те чего, фантастика, ведьмы! Это какой-то прорыв в двадцатый век. Ведь "Бесы" Пушкина повлияли на всех больших русских поэтов. А на маленьких ничего не влияет, они благополучно обходятся. Они и вообще-то ничего не читают. У Суркова есть такие строчки: "Отойди, господин корнет! Не отдам тебе карабина!" Прекрасные строчки, ни на миллиграмм фальши, чистая поэтика. Набоков переводил самого себя с английского на русский – безумие, полный идиотизм!

Когда мы вернулись домой, Нина сообщила нам, что в Америке чудовищная катастрофа: разрушены две стотажных башни, там находилось сорок тысяч человек, летчики-смертники протаранили самолётами. Мы втроём сели перед экраном телевизора и стали смотреть "Известия".

– Весь мир ненавидит Америку, – сказал он. – Где их хвалёная американская неуязвимость? И это же Манхеттен! Манхеттен очень красив, строился в двадцатые годы с абсолютной точностью, материалы, расстояния между зданиями. Да, Манхеттен очень красив.

18 сентября 2001 года. Сегодня на прогулке он громко говорил, резко жестикулировал:

– У меня ненависть к мирной жизни! Да, а где ее взять, войну?

Единственное для меня спасение – воевать с самим собой. Ох, уж война! Но хотя бы чувствую, что воюю. У меня же нет страсти писать бесконечно, но это мне необходимо, такая потребность. Я не считаю, что я написал что-то великое. О великом теперь стараются не говорить, это слово утратило своё значение, теперь это позорное слово. Дело в том, что есть какое-то состояние, его можно сделать, оно есть в подсознании. Потом все погаснет и ни хрена! Либи́до угасает, то есть, жизненная сила. Я понимаю, что через пять лет, если доживу, я буду полная развалина. Вот мы сейчас еле тащимся, а завтра я весь день буду лежать в лежку. Потому что после каждой прогулки жутко устаю. Да, вот и мечусь в бездействии, как Наполеон на своём острове. Нужны дела, битвы. Такой родился, такая психика. Чепуха, что англичане отравили. Наполеон – гений войны, гений действия и вдруг – праздность, пустота и никакой перспективы впереди. Полная безнадежность. От этого и сдох, от бездействия, с тоски. Нет применения своему гению.

Американцы – мещане, пятьдесят лет живут, потом ещё пятьдесят в шлангах, в больнице, на лекарствах, так им жить хочется. Первые, террористы у нас в России, Фигнер – из княжеской семьи, Софья Перовская, там простых не было. Кого жаль, так это Александра Третьего. Добрейший, усищи, всегда весёлый, выпивоха, гуляка, бабник, реформы его. Сколько бы он ещё мог сделать! Россия была бы совсем другая. Но такой царь был не нужен. Разорвали бомбой. Эх, боевой был парень, отважный! Поехал на Балканскую войну. Толстый, пузатый, усищи эти, скакал на коне, как Тарас Бульба! Ну, Александр Второй, я их пугаю.

Дельвиг ещё в лицее начал ставить Пушкина впереди себя и всех. С его руки и пошло. Вот это друг! Такие случаи – большая редкость. Да и не вспомнить такое ни у кого. У китайцев это правило поведения: ставить другого впереди себя, то есть – выше себя. Но это не внутреннее, как у Дельвига. Я тоже следую этому правилу, у меня атрофировано чувство самосохранения и чувство себя показывать, тем более, за счет другого. Видишь ли, небольшие таланты, но кое-кто из них может себя пересилить и написать действительно сильную книгу. Такое бывало.

Сервантес в тюрьме написал лучшую в мире книгу. Без ноги, без руки, вместо руки – железный крюк, закованный в кандалы! Вот как писали! Аполлон Григорьев сидел в яме – тоже за долги. Оба Успенские, и Глеб, и Николай. Только там, в яме, братья и встречались.

Только мы вернулись домой с прогулки, ему телефонный звонок. Журналистка от какой-то газеты, хочет взять у него интервью. Он вежливо отказал.

– Для чего мне эти интервью. Они же все провокаторы, будут задавать политические вопросы. А о себе – что болтать. Всё сказано в моих книгах. Пусть мои книги читают.

25 сентября 2001 года. День холодный, ветер, тучи, лес качается. Разговор по поводу книги Юнга "Психология бессознательного". Он сказал:

– У одного героическое бессознательное, у другого трусливое, но, что касается психографии, они равны. Ну, предположим, у меня героическое и в роду моём – герои, особенно отец, камикадзе. Ну и что? Юнг забавен: такой наивный идеалист, типично по-немецки – однозначные определения. Всё значительно многообразней и сложнее. Обо мне тоже когда-нибудь скажут: был наивен. А что. У меня тоже ведь есть доля наивности, эта идеализация людей: что все должны быть правдивы, жду от них правдивости в жизни, когда все кругом беспардонно лгут, только и делают, что лгут самым наглым образом. Какую херню Юнг написал о сновидениях! Он считал, что Фрейд

ошибается. Вот Фрейд действительно героическая фигура. Он дал толчок, но – за которым ничего не последовало. Все его ученики рядом с ним – ничтожества, в том числе и этот Юнг. Так боялся Фрейда, что в Америку от него убежал! Моя наивность, требование правдивости – это природность, как у зверей. Да, похоже, ты прав. Но звери ведь жестоки. Да, верно "Посторонний" Камю – тоже такой правдивый. "Чума" – написано лучше, построение жёстче, совершенней. Но "Посторонний" – там юноша, этот юношеский, жестокий максимализм, бескомпромиссность. Это подлинно и сильно, это жизненно.

Арьев возносит меня в духовидцы, – продолжал он после короткой паузы. – Но писатель должен быть многообразен, у него, как у бога, должно быть много имён. У меня есть вещи и этнографические, конечно, я считаю их ниже тех, где накал. В таких больших поэмах с этнографией да с сюжетом накал и невозможен, чтобы – от и до. "Домик в Коломне" Пушкина – где там накал? Юмор, шалости. Марциаловская поэма. Арьев называет меня столпом нонконформизма. Я действительно нонконформист. Но это же в моей природе, а не то, что я специально так пишу. Такой я есть. Слово "бог" часто в моих стихах, написанных в советское время. Это бессознательно, своего рода фронда, что ли. Но это же у меня метафорически, как и всегда у меня. Конкретная реальность мне несвойственна, я всегда преображаю, не специально, а это, опять же, моя природа, таков мой глаз, мой организм. А людям именно конкретная реальность и нужна, только это им и нужно. Скажем, "Семья Тибо" Мартена дю Гара – двадцать томов, или "Ругон-Макарры" Золя – столько же. Да ну. Парадокс с моими военными воспоминаниями: наглухо было закупорено памятью сорок лет, никогда не вспоминалось, как будто ничего и не было, и только с девяносто третьего года, когда опять начались запои, вдруг всплыло в виде кошмаров. Даже и то, что было обыкновенной военной рутинной – тоже, как самый жуткий кошмар. Раньше я боялся сойти с ума, теперь нет, не боюсь ничуть. Если и буду дебилом, сам-то знать об этом не буду ведь! А люди – до людей никакого дела. Они и так считают меня идиотом. Идиот дословно с греческого – странный. Меня и тогда считали сумасшедшим, прежде всего за выступления. Я же читал, ненавидя зал лютой ненавистью, во весь голос глушил: то, что артисты называют "бомбардировать зал".

Лев Гумилёв – талантливо, живо, – продолжал он после нескольких минут молчания. – Может быть, он и великий писатель, но никак нельзя называть его великим историком. Это всё его буйные фантазии. Тот, кто привык всю жизнь к сильному движению, в старости быстро рушится. Привычка жить на высшем напряжении. Когда я писал книги, хорошо помню, чего мне это стоило. Выкладывался полностью. Взвинчиванье себя – чай, чай, кофе потоками. А вечером – в лёжку, без сил. Так – после

крушения в Тарту, после больниц и операций. Я был уже не тот. А до этого писалось без такого изнеможенья, тогда всё легко давалось, шутя. Эти от бога, высокое напряжение. И в спорте, Власов! С таким и не сядешь рядом – током бьёт! Я тоже был – сильнейший генератор. Арьев пишет в статье: "Он изолировался от всего общества, и пишет свои книги". Это не я изолировался, а от меня все отстранились. Хоть бы одна сволочь вспомнила! Мнительность, как только стемнеет, различные фобии появляются при вот таких микроскопических основаниях. У Блока: "Как растёт тревога к ночи!" У меня подобное написано в тридцать лет, и тогда были эти состояния. Обо мне можно сказать: полное отсутствие чувства самосохранения. Таких называют: группа риска номер один.

Да, кстати: видел я этого Красаускаса на ринге, отец плёнку принёс, фильм из Берлина, поединок Красаускаса и великого Ли. Этот – красавец, белокожий, молодой, Аполлон. Тот – старый, чёрный, как дьявол, седой уже, сутулится, буйвол. Смотрит на Красаускаса грустно так, печально. Оценить противника – одного взгляда мельком достаточно, для такого мастера, гения. Это же, как и в искусстве, сразу видно: какой тип, кто есть кто. Тут встретились лев и лягушка. Бездна. Один удар – чёрная молния (кинокамера и зафиксировать не успела). Красаускас уже летит вверх тормашками – плюх, лежит. Нокаут. Судья считает до десяти. А тут считай, не считай, хоть до тысячи. Может быть, и напишу ещё одну книгу. Но и не напишу – всё равно. Я стал безразличен ко всему этому как-то. Да и никогда я не был в этом фанатичен. Я теперь в каком-то оцепенении. Плевать на писанину, есть она, нет её. Мне вот теперь больше нравится просто гулять да смотреть на деревья. Вон какая берёзка, как она блестит, жёлтенькая! А на Мшинской сейчас клёны какие! Роскошь!

Мы стояли на дорожке и смотрели на осенний лес, сияющий в закатных лучах солнца.

– Только теперь я стал видеть и любить это, – сказал он. – Я ведь никогда не был созерцателем, не в моей природе. Раньше – взглянешь, и пошёл дальше. А чтобы стоять и смотреть – никогда. А теперь это единственное, что жаль оставлять, жаль, что этого больше не увижу, когда умру. А на людей смотреть противно! Б-р-р! Век их не видеть! Ах, как погодка разгулялась! Солнце, небо чистое! А выходили из дома – тучи. Кто мог подумать.

30 сентября 2001 года. Лес заметно оголился, дорожка засыпана листьями.

– Платонов спокойно писал в стол, зная, что никогда не напечатают. Напечатали же! – сказал он. – Да, они и Мопассана называли реалистом, и Бальзака, и Стендаля, всех, кто ругал буржуазный строй. Вот, вот –

критический реализм. У них и Босх – реалист. Чудовищные фигуры, значит – сатира на мировое зло! Я же тебе говорил: меня тоже будут реалистом называть. Да и сейчас уже как только не называют. Мне это абсолютно всё равно. Наплели: я и духовидец и богоборец. Я конечно, не атеист, я верю, что есть некая высшая сила или некое высшее существо, природа, бог, или иное слово. Как ни называй. Бог – наименее подходящее. Не моё слово. Бог я всегда употребляю только иронически. Но Это есть, иначе всё бессмысленно, и мир распадётся, ему не на чем держаться.

Пишут: отец и дядя у меня были жонглёрами в цирке и оттого и я жонглирую словами и образами, и поэтому у меня такая веселость. Во-первых: отец и дядя в цирке работали гимнастами на трапеции и под куполом. Жонглёрами они никогда не были. Во-вторых: я тоже никогда не жонглирую. Тем более, у меня нет никакой весёлости. Не в моей природе. И вообще, весёлость – пошлое слово. Всегда весёлые только дураки. Кто-то написал в воспоминаниях о Маяковском, что он хохотал. Лиля Брик написала опровержение: "Маяковский никогда не хохотал, но он часто смеялся. Это большая разница. Хохочут одни идиоты".

У меня особый юмор алкоголика: он не чёрный и не светлый, он, как бы тебе сказать, с привкусом черноты. Правильнее назвать – остроумие. Есть медицинское понятие: остроумие алкоголиков. Оно отличается тем, что оно неожиданное. Остроумие ведь разное бывает, от остроумия Вольтера, например, меня тошнит, потому что – пошлое. Критики видят в моих книгах то, чего у меня нет и быть не может, видят низость. Это доказывает, как они грубо мыслят. У меня в крови нет такого, чтобы я причислял себя к какой-нибудь нации. Но я привязан к этой стране, тут люди, которые были мне дороги, язык, наконец, единственный, который мне нужен, который мой внутренне. Язык – это и есть я. Себя ненавидеть возможно, но язык ненавидеть я не могу, он для меня всё. Я ненавижу ту жизнь, которой я сейчас живу. Ненавижу мерзкие книги, оттого, что омерзительно написаны. Но даже у самых бездарных попадают то строчка, то хоть что-нибудь, какая-то искорка проблеснёт. Это надо чувствовать, а чувствует тот, у кого есть чутьё к слову. Конечно, необходим культурный и языковой фундамент.

Шевцов писал сатиры на всех нас, на весь авангард тогдашний, всех в одну кучу. Ну что общего между мной и Евтушенко? Сатиры Шевцова – ни языка, ничего, вне эстетики, а – написаны зло, очень живые, и я их за это и ценю. А тот же Горбовский! Такой ненависти к человечеству я ни у кого не встречал в русской литературе. Так, как он разгулялся, больше никто. Пишет: "Мне бы бомбу в руку и – громить!" Это ж не в реальности ему бомбу, это в стихах. Но с каким злом, с какой силой! Оттого, что так зло, это и звучит так живо. Все его стихи чрезвычайно живые, потому что

злы. И тоже – вне всякой эстетики и всякой поэтики. И язык слаб, сер, и повторы, и всё в одном ритме шпарит. А вот Анненский, наоборот: чрезвычайная эстетичность, сильная эстетика, и все его достоинства я вижу, а неинтересен, бесстрастный, неживое.

У нас теперь нет ни одного, кто бы понимал стихи, все критики тупицы, ничего в их критиках нет, кроме идейной болтовни. Единственный и последний, кто в России из критиков понимал стихи – это Белинский, то есть, кто мог разобрать стихотворение, и абсолютно точно. Это ранний Белинский в первых статьях о Пушкине. А потом и его понесло в идеи, и стал круглым дураком. Есть разбор стихов и в письмах Пушкина, ему же присылали своё и Боратынский, и Вяземский, и другие. И разбирал тоже – абсолютно!

И у отца, и у матери было много чудаческого, – переменял он тему. – Мать терпеть не могла пьянство, но водку всю свою жизнь считала белым вином, что это белое вино. Можно было бы роман написать. О любом чудачке можно было бы написать роман, но я же не пишу романов.

6 октября 2001 года. В лесу темно, сыро. Не встретили ни одного человека.

– Меня соединяют с православием, – сказал он. – Но православие это смирение. А я – прямо противоположное: сама воинственность и протест. Теперь Тибет вспоминается, где я учился борьбе кунфу. Может быть, самое важное то, что научился видеть движение и потом развил в себе это. Вчера я посмотрел фильм с тем дивным китайцем. Да, Брюс Ли! Колоссально! Вот это настоящее кунфу! На Тибете это мистический орден, тайные приёмы, учение это тайное, разглашать — запрет. А этот парень – красавец во всех смыслах: и тело, и морда выточенная. А как же! Вырабатывается и морда. Глазищи, чёрные, ужасные! Чёлка, как у всех китайцев, такая! Там же одними глазами можно человека смести! Что ты! Это чистое искусство. Настоящее кунфу всегда – смерть. Каждый бой кончается смертью. Как Нижинский владел каждой клеткой своего тела, и вдохновенно, гений. Да, гений движения. В двадцатом веке таких появилось только два, на сцене: Нижинский и Брюс Ли. И это не актёры, нет, это игра тела, только, без слов. Балет и бой. Эти двое – равны. Не думаю, что у меня были сильные задатки к движению. Но вот отец приучил к спорту, плавание, лыжи. Отец был замечательный рассказчик, с фантазиями. Но в главном, как и я, никогда не лгал: в факте, но факт расцветчивал вовсю, хрен знает, до чего. Но это на пирах, при гостях. А так – уг-рю-мый! Всегда всё делал и говорил открыто, не мог – тайно, таиться, только – прямо, он же бык. Как и я – бык, абсолютно тот же характер. Отец родился двадцать шестого апреля, я – двадцать восьмого апреля. Два быка.

Врождённо, с пелёнок ненавижу горы. Море люблю, степи, лес. А горы терпеть не могу, ненавижу! Все, кто со мной близко и долго общался, кто меня любил и кого я любил – покончили с собой. Первый – Грищок. Тяга к самоубийству в генах, врождённо. Это, как бацилла сидит внутри от рождения и ждёт своего часа.

Стемнело, хлынул дождь, мы раскрыли зонты.

– Знаешь, – сказал он, глядя на лопающиеся пузыри на чёрной воде ручья, – империи рушатся оттого, что исчерпался генофонд. Римская империя рухнула именно тогда, когда экономически была в высшем своём могуществе, а вот сила народа исчерпалась, вырождение. Тоже было с Испанией, с Англией, царицей морей. Это наглядно видно и в русской истории. Деды были могучие, отцы тоже сумели свою силу показать, мое поколение ещё трепыхалось, а те, что теперь, дети и внуки – вырожденцы! Поколение, воспитанное на лжи и изворотливости, рабы и жулики. Ещё Иван Грозный начал: уничтожил бояр, самый сильный класс. Большевики уничтожили дворянство и крестьянство под корень. Сталин – лагеря, расстрелы. Потом война. Вот и погублена вся русская сила, весь генофонд русских убит. Деды и отцы были сильные и психически, и физически, и умственно. А эти – слякоть, дебилы. Да так и во всех странах, это вырождение касается всего мира. А правителям на людей наплевать. Сколько накоплено всякого оружия, и атомного, и биологического. Не дрогнут уничтожить весь мир, всех. Я не гуманист. Но всё же люди не виноваты. Гибнуть из-за какой-то сволочи. Я-то что, я своё дело сделал. Такого, как я, в русской литературе не было, не только в смысле качества, а то, что здесь ещё не было писателя с такой абсолютной непримиримостью во всём. Да, такого типа психики, как я, в русской литературе не было. Лермонтов ведь психически слабее меня, в стихах он постоянно завывает. А в прозе... блестящий художник, духовный. Но гуманист, в сравнении со мной. Гоголь сильный от начала до конца. Только "Петербургские повести" – провал. От хитрости, хитрый, вот и провал. Этот фельетон "Нос", таких полно у Гофмана. Но потом он опять восстал в "Мёртвых душах", там он абсолютно непримирим.

Теперь у меня смешались две фобии: боязнь толпы и боязнь одиночества, – сказал он, когда мы на обратном пути проходили мимо рынка. – Хемингуэй любил ходить босой. У меня царская слава: то есть, слава, от которой никакого прока.

12 октября 2001 года.

– Пишу ручкой на кухне, в полночь, когда Нина спать ляжет, – сообщил он. – Тут главное, что удовлетворён – поработал. Час-два, так называемый дневник. Поработал – успокоился, не зря день прошёл,

исполнил свой долг. Не могу без работы, так устроен, всё время надо быть чем-то занятым. Как я был подвижен! А теперь едва таскаюсь. Есть ещё непрочитанные книги: эти астральные и эзотерические, что ты приносил. Но это же древнейшее тайное знание, там система, она уходит вглубь, символы, чтобы понимать, надо начинать с азов. У нас только двое этим занимаются серьёзно и пишут умные книги: Аверинцев и Топоров.

Вчера приходили песенники-коллекционеры – записывать мой голос на магнитофон и видео. Петь заставляли, насильно, я не хотел, баба, ох, жуткая, орёт, насаждает и насаждает. Муж нормальный, застенчивый, тихонько сидел. А эта, армянка, волосы чёрные, жёсткие, шнобель такой! Замучила! И вообще, теперь меня чужие, незнакомые люди раздражают, да когда такие напористые, наглые. Песенников у нас пруд пруди.

Все советские писатели были профессионалы, но без живой искры. Что ж делать – бог живой искры не дал. А Горбовскому дал искру своеобразную, он же народный поэт, как Никитин, Кольцов, Суриков. И те – с искоркой. А у Сурикова – "Что шумишь, качаясь, тонкая рябина"! Да одной этой песни достаточно за глаза! Глубоко талантливые, настоящие – Новелла Матвеева, Булат Окуджава и Алик Мерзоян. Из них Новелла Матвеева самая талантливая, у неё почти нет слюней. У Окуджавы полно. То, что говорят: за душу хватает. Действительно: хватает. Раз схватит, второй, а потом – тошнотворно. Говорят о ком-нибудь: он пишет душевно! – он саркастически усмехнулся. – А профессионализм зависит от учителя. Все, кто был у меня в литкружке стали профессионалами, все до единого. А пришли дилетантами. Натаскивал и дрессировал, как собак.

На прогулке в лесу он рассказывал о своей жизни в Архангельске.

– Отца туда перевели заместителем командующего военным округом. Мы прожили там два года. Мне было одиннадцать лет. Архангельск – самый омерзительный город, какой я видел. И все там – зверьё. В школе надо было учиться, конечно. Я ходил в польской форме, в сапожках со шпорами. Там у меня был единственный друг, совершенно беспомощный парень, хрупкий, очень слабый, волосы совсем светлые, альбинос, лицо такое тонкое, благородное. Ах, какой чудесный парень! Учился легко, чрезвычайные способности, схватывал на лету. У него было какое-то психическое заболевание: когда очень волновался, начинал вдруг говорить полную чепуху, затмение находило, будто припадок, типа эпилепсии. И весь класс за это его травил, зверьё, травили безжалостно, загонят в угол, гогочут, толкают его, бьют, плюют в лицо. Он – в припадке, пена у рта, несет какой-то бред, воеет. А что он может сделать против такой оравы? Я потребовал, чтобы прекратили. Они продолжают, как не слышали. Тогда на меня накатило бешенство, кровь ударила в

затылок, схватил с парт ручки со стальными перьями, в каждой руке по пучку, сколько смог взять, как копья, и давай втыкать со всей силы, кому куда попаду, кому в спину, кому в плечо, кому в шею, в щеку. Вопят, мечутся, кровь хлещет. Побоище, избиение. Учителя тоже бегут. Сумасшедший, взбесился!.. И потом – каждый день один против всего класса. И так два года. Пока я там был, я защищал этого несчастного. Что с ним потом стало – не знаю. Мы уехали во Львов. Погиб, наверное. Такие долго не живут.

Он кончил рассказ, мы молча шли по улице с деревянными домишками, за ними начинался лес, уже вечерело, сгущалась мглистость. Мимо нас промчались три лошади, впереди – белая, с волочащимися по земле вожжам, вслед за ней две чёрные. Пока мы шли по этой улице к лесу, лошади с топотом два раза обежали круг между домов мимо нас. Когда мы свернули на дорожку у ручья, он опять стал говорить:

– Писать я только с шестнадцати лет начал и долго не осознавал, что это моё дело. И в мыслях не было. Не придавал этому серьёзного жизненного значения. Призвание и тому подобное. Не люблю я эти громкие слова. Даже, когда написал моё "Слово о полку Игореве", даже, когда и Асеев, и Кручёных, и Шкловский, и все старики-футуристы сказали, когда уже была их высочайшая оценка – всё ещё сомневался: моё ли это дело и надо ли дальше. Нет, понимал, конечно: раз такая оценка таких людей, значит, действительно написал ценное. А они удивлялись: откуда я такой взялся? Глубочайшая древнерусская школа, в наше-то время, когда полный упадок языка и утрата слова! Они думали, что я из их времени, седобородый старец, пропустили неизвестного гения, почему-то не печатался, и вдруг – является молодой человек, двадцать три года, элегантно одетый, принц, слесарь на заводе! Не могли поверить, всё это казалось им каким-то чудом, с неба свалился. Я тогда всколыхнул всех их, старых футуристов, кто тогда ещё был жив, это для них было настоящее возрождение, воскресение из мёртвых, я вдохнул в них вторую молодость. Это у меня в 1959 году вспыхнуло. А потом провал на четыре года, до 63-го. Ещё хуже писать стал, чем до "Слова", после взлёта – падение. Не мог найти выхода в современное, не знал, как о нём писать. Растерянность, полная беспомощность. Пока не вышел на "Двенадцать сов". Это новый взлёт! И такое, чему нет аналога в русской литературе. "Слово о полку Игореве" – всё же стыки с футуристами. А тут – абсолютно новое, своё. И потом после "Двенадцати сов" все мной написанные книги – только вершины, только взлёты, и точно также им нет аналогов. Да, и после "Двенадцати сов" я уже не сбивался, всегда точно знал: что у меня настоящее, а что говно. Уж никакая слава, ни парижская, никакая – меня не сбивала. Никогда не терял контроль над

собой, всегда трезво определял и знал с абсолютной точностью, что у меня идёт. А когда шла большая, настоящая вещь, шпарил на машинке, не вставая, по семнадцать часов. С 63-го много начал писать, организм требовал большой работы. Да, писать-то писал, и понимал, что пишу я так и такое, что – никогда это не напечатают. И назвал: "Моё никогда". Здесь ведь и эстетика была запрещена. Эстетика – в первую очередь. У поэта слово – это эстетическое дело. А у политиков слово – действие, так что у них в прямом смысле: их слово – это их дело.

Я ни на кого не хотел влиять. Подражатели меня раздражают. Ведь ценно только своеобразие, то, что сам, самостоятельность. Платон в своём "Государстве" предлагал изгнать всех поэтов-подражателей. Но он не предлагал изгнать настоящих поэтов, наоборот: хотел во главе государства поставить философов. Это смешно. Поэты и философы – одно, правители – противоположное. Одни фантазируют, другие правят. Это дураку ясно! Но вот Платон сдурел. Да если бы миром правили философы и поэты – мир бы давно рухнул. Поставь меня начальником какой-нибудь корпорации: во-первых, я не умею соображать прагматично, я фантазирую, во-вторых, все поэты и философы – экстремисты. Так что вся корпорация развалится.

После того, как получил премию, обо мне много пишут в газетах и журналах. И рукописи авторов опять хлынули лавиной, присылают со всех концов света, просят помочь, посодействовать, научить, поддержать хотя бы морально. Я никому не писал и не посылал своих рукописей, ни у кого не просил ни оценки, ни совета. У меня не было учителей. Я всё делал сам.

Пётр Первый мне нравится, то самое в нём нравится, за что его порицают: его самодурство, оргии. Эта его общая энергия, она была пугающая, то запои, то – корабли строить вместе с простыми плотниками, сам отличный плотник. Пётр психически был очень активен.

У Тютчева есть с десяток стихотворений на высшем накале и оригинальных, но это никак не означает величия. Величие означает много черт. Вот Пушкин – великий, у него этих черт множество. У Хлебникова. Тот вообще без политики. Мне бы ещё раскрыть тайну величия Боратынского, его тоже ведь объявили великим. Теперь и Гордина называют великим писателем, наверное, за то, что он призвал быть заодно с русским президентом. Мир всегда был так устроен. Эх, люди, люди. Отец Гордина был директором пушкинского музея-заповедника в Пушкинских горах. Гордин меня туда возил, жили в прекрасной крестьянской гостинице. Там я на лыжах по холмам ходил зимой, там я и понял Пушкина, он мне открылся. Да, мистические там места! Там он "Бесы" и написал. Там тоска, жуть! Оказался в заточении, молодой, на пять лет, много пил, но и написал много. Все свои тоскливые стихи там

он и написал – и это его самое лучшее. Да, тогда я и взялся перечитывать Пушкина, со школы не брал его в руки, и понял, что это совсем не ерунда. А сначала ведь думал: велика беда – сослали в деревню, радоваться должен. Нет, какое там! В таком месте, да зимой, с тоски волком завоешь!

Он замолчал и всю обратную дорогу не проронил ни слова. Только, когда мы уже подходили к дому, он повернул ко мне печальное лицо и сказал тихим голосом:

– Я теперь часто о Риде думаю: как он прожил в полном одиночестве тридцать четыре года? Инвалид, безногий! Надо же чем-то отвлечься. Что он делал? Ведь ни строчки ж не написал. Батюшков сумасшедший жил тридцать лет. Но он жил в семье какого-то столяра, за ним ухаживали (столяру этому платили). У Батюшкова быт был обеспечен. А этот – нищий, сумасшедший, один. Непонятно. Ужасно .

19 октября 2001 года. Сегодня я принёс ему печальное известие: что умер Голявкин.

– Как! Голявкин умер? – воскликнул он. – Вот это действительно та смерть, из-за чего горевать! Смерть-то естественна: ему же должно быть семьдесят три, но – какой был прекрасный человек! Таких я больше не встречал. Добрейшая душа, никому зла не сделал. Ах, вот это для меня удар! Жаль Голявкина. Столько смертей за последние два года, скоро из моих друзей никого не останется. И ведь я как раз вспоминал Голявкина весь этот месяц и тебе рассказывал о его чудачествах. Видишь, у меня интуиция. Уж если я о ком-то вспоминаю, то для этого человека не к добру. В Ленинграде друзей у меня только трое и было: Голявкин, Грачёв, Горбовский. Да, ещё Конецкий, но он старше.

Мы вышли. Ветер ураганными порывами. Поворотясь ко мне, он сказал:

– Те, моё поколение, были колоритны. Горбовский выступал в рваном бабском свитере, шевелюра такая – шар нечёсанный, очки, книжечку к носу подносит и орёт во всю глотку, с матом. А что теперь? Если они и способные, эти сорокалетние, то фигуры они нулевые. Как личности.

Пишу свою мутоту, дикую, бесцветную, – продолжал он, когда мы обогнули разрытый тротуар, где скрежетал ковшом бульдозер. – Я и сейчас не знаю: это ли моё призвание. Что они обо мне мелят! Ведь они так и не могут найти мне место в русской литературе, не знают, к чему приписать и куда поставить. Я-то своё место знаю! А, эти самооценки! Чего они стоят? Хлебникову вот определили: славянство, славянизм. Да, это было его темой. Но это же поверхностный взгляд, Хлебников в эти рамки никаким образом не укладывается. Если бы меня не поддерживала

тогда эта группа стариков, я, может быть, так и не знал бы – кто я. Фёдорова ко мне цепляют. Ну при чем тут он! Фёдоров – высший идеалист. Таких философов в мире нет, такие могут быть только у русских. Да, в своё время он для меня стоял рядом с Платоном. Но Платон, всё-таки, знаешь...

Толстого отлучили и предали анафеме. Толстой – тупая башка, но с огромной волей, энергией. Монстр, конечно. С большими заскоками. Толстой, конечно, клад для формалистов, у него же всё держится на формальных приёмах. Но неживое, мертвец, начисто лишен остроумия. Серьёзные писатели, включая Томаса Манна, – от слабоумия и серьёзные. С пьес Чехова – начало мирового абсурда. Отсюда и Ионеску и Беккет. А до пьес Чехов совсем не умел писать. Но русский абсурд был и до Чехова: Островский, Сухово-Кобылин, "Ревизор" Гоголя. Россия – единственное, богатое пространство для абсурда. У Толстого посреди потока пустой болтовни вдруг очень точные формулировки, например: писать надо только о себе, что сам видишь и знаешь, а не сочинять вымороченных Иванов Ильичей. Как будто можно знать другого человека. Да никогда! Настоящая литература – только о себе! Толстой пишет в дневнике: "Когда-нибудь вся литература станет только такой". Ну вот – стала, И. что? Всё ж зависит от того, кто пишет.

Шкловский написал о Толстом два таких томища. Шкловский – сын талмудиста, начётчик, он прочитал всю русскую литературу. Старые русские писатели очень сильны, XVIII, XVII век, Комаров, Чулков. В двадцатые годы этого века все оборвалось, те еще опирались на футуризм, все под влиянием Андрея Белого, тогда ещё шла энергия, и, прежде всего, – форма. "Разгром" Фадеева – единственная его книжка, вполне футуристическая. То поколение начала двадцатого века – у них же у всех была жуткая энергия. Их так и называли: апокалипсическое поколение. Футуристы принципиально уничтожали все варианты своих произведений, у этих певцов будущего будущее было пропитано безнадежностью. Ну что говорить. Каждый утыкается в свой регион, а ест помой.

Пока мы шли в лесу, над нами сгущались тучи. Потемнело. Шквал дождя со снегом обрушился на нас. Раскрыли зонты. Он продолжал:

– Эти песнопения о гениях, знаешь, всегда были мимо моих ушей. Покажи себя в деле, в живую, на что способен. Это как в бою: узнай, кто ты – герой или вошь. Меня поддерживали старики-футуристы, старые волки, психически для меня это было очень важно, поверил в себя, почувствовал себя героем, на что способен. И, как ты видишь, я тут уже сорок лет остаюсь бессменным чемпионом. Но и не поддержи меня тогда Асеев и компания, писать бы не бросил, потому что уже была психическая одержимость.

Терпеть не могу высокопарные слова! Эти сомнения, оценки себя, к чему все это? Я и себя не считаю гением, и внутренне, сам для себя. Это же жутко снижает, это же грязь – все эти думанья и самовозвеличиванья или наоборот, самоуничиженья. Пушкин не думал, что он гений. И Блок не думал. А Леонардо? Да ему и некогда было об этих пустяках думать, у него голова постоянно кипела и была занята работой, открытиями. Он даже и не заканчивал свои картины, бросал недоделанными, его ум влекло уже что-то другое, что-то новое. О бессмертной славе у него тоже забот не было. Уж если он не позаботился о сохранности высшего своего произведения, этой фрески "Тайная вечеря". А это, действительно, лучшая его работа. А Платон? Тоже самое.

Видно, у меня древний характер, – сказал он. – Ни грамма гуманизма. То есть, конечно, мне грустно, когда умирают близкие мне люди, мои друзья. Но то, что где-то там, в мире, на этих войнах, что сейчас ведутся – ничуть не страдаю. Мне нужно только спокойствие, а его-то и нет. Я давным-давно, с отрочества, уже знал точно, что этот мир погибнет, что всё тут обречено. И уж, конечно, книги в первую очередь. Это ж бумага, ничего нет более хрупкого. Поэтому никогда не придавал значения своей писанине, гениальная она или никакая. То, что я этим занимаюсь, это только внутреннее, личное моё дело, и ничего больше. Никого, кроме самого меня, это не касается. Перед лицом всеобщей гибели иначе и быть не может. Да и перед лицом только своей смерти – разве не то же самое? Поэтому я ничуть не печалюсь, если, скажем, завтра все мои рисунки сгорят.

Пушкинские рукописи красивые. Это другое дело. Они же написаны вороньим пером! Художественной ценности нет, это не графика, рисунки его на полях – пустяк. Но это авторские листы. Они как картины. Такими их делает это воронье перо и рука Пушкина, импульсивная, все эти поправки, перечёркиванья, кляксы, молниеносность. Их можно на стену повесить.

Когда мы вернулись домой, он показал мне довольно толстую книгу в твёрдой, глянцевой обложке:

– Вот, ещё один мой подражатель, издал и прислал мне с подписью. Калька с меня полная. Мёртвая, как конина. Ничего за этим не стоит. Взял один из моих приёмов: каждодневную запись. Не понимаю я этого плена зависимости.

За ужином он стал рассказывать, какие прекрасные попугаи продавались в Риге, когда он там жил:

– Огромные, разноцветные! А аквариумы, а рыбки! Загляденье! Но я не созерцатель, я не могу стоять часами и любоваться. Не в моей природе.

26 октября 2001 года.

– Теперь пишу по ночам в ванной, – сообщил он мне. – До четырёх часов ночи. Я хочу назвать: "Книга, написанная в ванной". Сегодня ко мне должен зайти один начинающий поэт, он откуда-то из-под Москвы, называет себя моим поклонником, два раза присылал книги своих стихов. Вот, напросился на аудиенцию. Вообще-то я избегаю подобных встреч, но – парень специально в Ленинград приехал, чтобы меня увидеть. Стихи у него профессиональные, не дилетант, и не более того.

Вышли, мгlisto, тротуар покрыт новым, чёрным, зернистым асфальтом, приятно идти.

– Поэтесса, Никитина, написала книгу акростихов, – сказал он. – И загнута там неплохо. У неё даже есть один новооткрытый приём, который мог бы войти в историю стихосложения. Там содержание не интересует, туда включают только формальные приёмы. А книги палиндромов какие есть! Один мне из Тамбова прислал, так я у себя храню, не выбросил. Есть очень забавные. В моих книгах палиндромы несущественны, мелочь, один из сотен приёмов. Литература очень многообразна. Французы в двадцатом веке открыли автоматическое письмо, и этот приём вошёл в историю литературы. Да, Бретон. Но Бретон ещё и блестящие статьи о живописи написал. Но в историю литературы он вошёл именно этим приёмом автоматического письма. Вот оно действительно бессвязно, хаотично. Да и не открыли! Этот приём уже давным-давно был, забытый, открыли заново.

В лесу голо, дорожка покрыта почернелыми листьями.

– Утром еле-еле встаю, – сказал он, понуро бредя и спотыкаясь о комья. – Едва шевелюсь. Звон в голове, колокола. С этими колоколами и книги написаны. В моих книгах ведь полно всякого звона. Отец долго мне снился после его смерти, как страшный кошмар. Видно, подсознательно я его боялся. Автоматическое письмо, да, бесструктурно, – начал он опять, отвечая на мой вопрос. – А в психографии, верно ты говоришь, связь вносится бессознательно. Да, бессознательно. Коллаж уж потом следует тому, что возникло, его роль – резче обнаружить и усилить. Преднамеренность у меня никогда не решала. Только спонтанно, то есть какой-то внутренний нерв решает, как ты выражаешься.

Вот ты пишешь: "Антилогические, живые связи глубоко в психике". Правильно. И это же сотни и тысячи ходов в голове! В моей голове! У меня же каждая фраза – сюжет, и из всех фраз-сюжетов нечто и складывается, связывается в какое-то целое со своим внутренним смыслом. Тут связи и между фразами, и между словами, и даже между буквами, все эти живые связи только мои, только мне присущие, спонтанно, в голове, в этом состоянии. И абсолютно точно! Это подкорковые процессы. Это влечёт и свои, уникальные приёмы. Но сам

по себе этот приём психографии, то есть такой спонтанной записи, внешне легко воспринимается и перенимается, видно, очень притягательный метод, раз столько подражателей. Но они перенимают только внешнее, абсолютно не понимая, что за этим стоит, не понимая живой сути приёма. Поэтому у них мертвые записи. Не понимают, что нужна своя живая голова, что решает личность. Нет личности – ничего не получится. А личность – это же всё, весь целиком, от макушки до пят, и живот, и кишки, физиология, вся ткань, каждая клеточка. Там, внутри тебя, уже в клетке, это и возникает, только твоё. Даже у Белого, у которого всё структурно и ясно, видна эта непреднамеренность. А Белый не отказался от приёма беллетристики и поэтому мог писать бесконечно том за томом. У меня приём беллетристики был отброшен изначально, не потому, что я так решил сознательно: вот, отброшу беллетристический приём и буду писать свободно, а потому что я так устроен, это моя натура, моя психика, моя органика, и происходит само собой, помимо воли и сознания.

В стихах об этом вообще никогда не думал, шло на волне. Я пишу только в состоянии высшего напряжения. То, где у меня снижено напряжение, а, значит, есть уже какая-то хоть чуть-чуть беллетристичность – автоматически отбрасывается. Это не я. А мне ведь очень часто хотелось написать что-нибудь увлекательное, авантурное в прозе, с приключениями, то есть – беллетристику. Но, видно, это абсолютно не моё, мне противопоказано, органически. Неприсуеще. Никогда не знал, что и как напишу. Когда придёт момент стиха или момент прозы – никто не может знать. Всегда это приходит спонтанно, непредсказуемо, каждая новая книга у меня так приходила, просто накатывало вдруг, вот и всё. И жди – когда придёт. Бывало и по несколько лет – пусто. Поэтому и не объяснить себе: как написал. Это я сейчас, под конец, пытаюсь анализировать. А когда пишешь – приёмы возникают в живой работе, безотчётно, мгновенно, там такой котёл кипит! Написана книга. Всё. Забыл. Ждешь следующую. А там всё по-другому, техника, приёмы – всё иное, потому что резко иное, иногда противоположное состояние письма, то есть – психического видения. Поэтому и не можешь ничего вспомнить о предыдущей книге, она отринута и забыта. Прожита. Пережита. Её все равно, что нет. Те мосты сожжены, а ты – вперёд, только вперёд!

Вот, скажем, Маяковского возьмём. Я ведь куда сложнее Маяковского, но случай тот же: его подражатели, Евтушенко, Роберт Рождественский, точно также переняли приём Маяковского чисто внешне, его фельетоны, а не поняли, что за этим ведь стоит личность Маяковского и то время. Неповторимо. Не поняли напряжения приёма, и получилась одна трескотня.

После написания "Башни" у меня был жуткий кризис: мне показалось, что я повторил, бессознательно, приёмы прежних своих книг, что нет ничего нового. Это было крушение! Помню: вечером, в Комарове, в Доме творчества, истерика, рыдал: вот всё и кончилось, исписался, и что я теперь буду делать? В общем, не спал всю ночь. А утром пошёл к морю. И вдруг, как гром – открылось совершенно другое! Как тебе объяснить. Миг совершенно нового состояния, ощущение мира, которого не бывало. Я впервые увидел море! Оно мне вдруг открылось! Море-то, море там, сто раз видел моря – куда этому! И тут же, без перерыва, началась другая книга: "Дом дней". Я старался удержать и расширить, продолжить миг этого нового состояния, нового видения, освоить и развить. Я уже так и смотрел, так и запоминал, так и записывал. Это новое видение и потребовало своих приёмов. Всё в этой книге не так, другое состояние, чем в предыдущих.

Прошлый раз ты спрашивал: продолжал бы я писать, сложись жизнь иначе? Конечно, продолжал бы. Видишь ли: у кого открылась психика, тяга писать, тому уже не бросить, никому, ни великому, ни малому, ни графоману. Это по гроб. Максимальное отношение к жизни меня сокрушает, а максимальное отношение к письму приводит к бесконечным психологическим кризисам.

Мы вернулись домой около восьми часов вечера. Через пять минут – звонок в дверь. Гость, тот самый поэт из-под Москвы, которому назначена встреча. Высокий, тёмные, прямые волосы до плеч, усы, борода, большой лоб. Ему 22 года, но выглядит он значительно старше своего возраста. Он переводчик, знает английский, немецкий. У него с собой микромагнитофон и фотоаппарат. Сели, я поодаль от них. Гость писал вопросы на листах бумаги, включённый магнитофон записывал то, что Соснора говорил, отвечая. Я записал эти ответы, что смог запомнить, вот они:

– Каждый поэт идёт от какой-то поэтики. Я иду от древнерусской поэтики и ещё от десятка русских поэтов.

За каждым великим поэтом остаётся выжженная степь.

У Пушкина нет ни одного стихотворения, которое не было бы навеяно стихами других больших поэтов. У малых, как вы понимаете, взять нечего.

Привяжется что-нибудь и крутится, крутится в голове. Как отвязаться? Нужно как-то перебить, сублимировать в своё. Тогда пропадает то, что тянуло. Свободен.

У меня расплодилось много мёртвых подражателей в прозе, кто внешне воспринимает стиль, не понимая ходов внутри и между смыслами.

У меня нет амбиций. Вы знаете кого-нибудь из больших поэтов, кто бы кричал на каждом углу – какой он исключительный? Таких нет. Пушкин один раз написал, что сегодня он гений – про "Бориса Годунова", своё худшее произведение. То же самое сказал о себе Блок по поводу поэмы "Возмездие" – тоже его худшее. Блоку был несвойствен повествовательный тон, он импульсивен.

За меня говорят мои книги. Пока я пишу – я царь и бог. А оценщики найдутся. Девяносто процентов пишется подсознательно.

Я открылся в двадцать три года. А до этого писал мертвечину. Ни о чём, не я. Лермонтов раскрылся в двадцать семь, и в стихах, и в прозе. Блок тоже – в двадцать семь где-то.

Моё поколение – это поколение высокоталантливых, не в стихах, а в энергии. От Пушкина до Блока – пустыня в сто лет. А потом повалило – плеяда поэтов мирового уровня.

Я не пифия и не предсказатель. Когда у русской литературы опять вырастут крылья, как вы выражаетесь. Сто лет, двести, пятьсот, никогда. Не знаю. Сейчас – пустота. Версификаторство. Майков, скажем, высочайший версификатор. Но про Майкова никак не скажешь, что это крылья.

Вундеркиндов очень мало – у нас Пушкин, там – Рембо.

Горбовский мне был интересен, как интересно все противоположное.

Разговор закончился. Гость попросил, чтобы Соснора подписал свои книги, которые гость принёс с собой. Затем по его просьбе я сфотографировал их вместе. Когда гость ушёл, Соснора сказал, усмехаясь;

– Вон сколько он накопил моих книг! Начитается – тоже попадёт ко мне в когти.

2 ноября 2001 года.

– Молодость прошла, люди канули в бездну, – сказал он печально, когда мы шли сегодня в мглистом лесу по дорожке. – У Блока рифмы: пришла-ушла – это же крайний примитивизм. Эти люди, символисты, глубочайше знали поэтику, они хотели мировую поэтику перевести в Россию. Но это удалось только мне, видя их ошибки. Блок их первый предал, то есть символистов и "Башню", с этими своими примитивистскими рифмами пришла-ушла. Вячеслав Иванов один понял: "Блок первый поставил вопрос о несущественности рифмы, и у него впереди большой путь. Вон у него какая насыщенность фразы! А у тебя" говорит Брюсову "по насыщенности куда слабее". "Да я к этому и не стремлюсь!" возражает Брюсов разгневанно "мне нужна только стальная чистота!". Это же у французов – чистое, стальное мастерство. Бальмонт тоже возмущался: "Как это рифма несущественна!" У него-то рифмы

были изысканнейшие. Все ведь ходили на "Башню" к Вячеславу Иванову, даже Маяковский. Они же себя называли: бого-дьяволы. Вячеслав Иванов – ярчайшая фигура, человек высшей учёности, знал все языки. Он же потом стал библиотекарем в Папской библиотеке в Риме. И морда у него была такая дьявольская. Поэтику можно и по книгам изучить, она началась с "Башни". Я бы там на "Башне" всех их задавил. Хотя, они это ещё не могли знать, многого они ещё не знали, они только нащупывали.

Алкоголику нельзя запрещать пить. Лучше пусть умрёт. Пугать его? Но ведь всё равно потеряет контроль. В этот миг, когда бог бьёт по голове. Жуткое напряжение, трясучка, сердце колотится, как бешеное. Каждый раз думает, до последнего момента, что удержится, и каждый раз не удерживается. Алкоголик считается психически больной. Но это ведь один раз в полгода – дикий запой, а в остальное время – нормален, работоспособен, психика под полным контролем. Но уж, когда приходит час! Напряжение жуткое, ничем не снять. Человек, который лежит весь на струнах. Я.

Дорогу развезло после дождей, грязь непролазная, кое-как пробирались по краю. Кто-то поджжёт сухую траву, пахло дымком. Ко мне пристала рыжая собака, учуяв пирожки в сумке, которую я нёс, насканивала на меня.

– Дай мне сумку, – сказал он. Взял у меня сумку, и собака от нас отстала. – Вот видишь, – заметил он, – чувствует: кто есть кто. У тебя характер мягкий, к тебе и лезет. А я – лицо свирепое, да с этой палкой, – он показал на ручку зонта.

9 ноября 2001 года.

– Эта книга Кручёных "Наш выход" – дрянь книга, – сказал он, надевая для прогулки свой длинный, ниже пояса, красный свитер. – Кручёных догматик. Меня в статьях ставят на пьедестал. Противно. Я же разнообразен. У Пушкина сколько шутивого, в альбом.

Вышли. Мрачно. Повалил мокрый снег.

– С Лихачёвым я не мог общаться, – сказал он, закуривая сигарету. – Человек не моего типа. Чопорный. Хочет быть простым, а за ним сквозит академия.

В лесу снег повалил густо-густо, сырой лавиной, дороги не видно, мутно, под ногами слякоть, кисель.

– У Горбовского в стихах много лжи, что я ненавижу, – продолжал он. – Концы всех его стихотворений с моралите, а это начисто убивает всё стихотворение. То есть – на публику. И везде у него – на публику. Но тогда он был настоящий монстр, пил открыто и шумно, коммунизм ненавидел открыто. Горбовский психопат, слабовольный, а в стихах себя

компенсирует, там он – сама энергия, мощь, ярость, сталь! Но стихи – это ж и есть компенсация того, чего нет в жизни, в психике. Да нет, не бессознательно, вполне сознательно.

Бродский всегда читал очень напряжённо, пот льётся. Это своё "Шествие", поэмишу, вот такой том!

В 1959 году похороны отца, весь Львов шёл. Осень, шли очень медленно. Я только после армии, длинное пальто нараспашку, рубаха расстёгнута, мне было жарко. А во Львове октябрь как здесь – прохладно.

Мы шли, залепленные мокрым снегом, навстречу высокая женщина, спросила: не видели мы двух старушек? Несколько раз переспросила: "Может, они сидят у дороги?" "Нет" ответил я "мы никого не видели". Стемнело. Он стал поскальзываться, держался за мой рукав.

– Я с детства чужой, – сказал он. – Где бы я ни жил, я буду чужой. А когда пришла слава, и совсем стал чужой. Слава изолирует, полно ж завистников.

Никогда я не мог понять, что такое мораль. Ещё в детстве у бабки допытывался. Жизнь сама по себе аморальна. Живость, живой человек – тем самым уже и аморален. Моральный, значит – мёртвый. Импотент. Люди аморальны, они так устроены. Это надо Того благодарить, что Он сделал людей такими! Бог их сделал аморальными! Политика, вот что, действительно, мерзость, что аморально. Тотальное насилие и убийство. Анархизм – это ненависть к любой власти. Но бороться с властью невозможно, это надо уподобиться ей, её методам. Анархизм – верх идеализма, он не стоит обсуждения.

Да, у Пушкина в Евгении Онегине", медведь тащит Татьяну – чисто фрейдистский сон. У Достоевского есть. А вообще в русской литературе снов мало. У меня – грубые, примитивные, кошмары. Чего ж там художественного? Опиум вызывает видения; видения – это ведь сюжеты, а сюжеты мне действительно не нужны. Наверное, наркотики употребляют те, у кого нет воображения. Жюль Верн никаких наркотиков не принимал, а вон сколько нафантазировал! У Мопассана, должно быть, воображения не было. А когда к нему двойник идёт и, стоя за плечом, диктует, что писать – так это он уже с ума сходил. Да и сюжет жутко банальный, уж сколько раз повторялся в литературе. Логические связи и алкоголь нарушает. Брюсов погиб от наркотиков, не помню, опиум, наверное. Вскнул что-нибудь не то про власть, ему и прекратили поставлять большевики. Умер за семь дней, в пятьдесят пять лет, а с виду был крепкий, цветущий. Ну, вот, он наркотики глотал, а логика у него что-то ни на гран не нарушилась, писал-то он самые логические из логических книг, логичней некуда.

Однажды отец отколол номер, – стал он рассказывать: – сразу после войны, в сорок шестом, в Варшаве, в ресторане весь вечер заказывал оркестру "На сопках Манчжурии". Оркестр сыграет в очередной раз, в сороковой уже, запаренный, измученный, дирижёр, поклонясь, спрашивает: "Какую пан полковник теперь хочет песню заказать?" Отец, усищи, взгляд зверский, ему повелительно: "На сопках Манчжурии!" И оркестр опять играет эти чёртовы "сопки". Так три часа пиликали, пока все посетители из ресторана не сбежали, и отец и его адъютант остались одни за столиком в пустом зале.

17 ноября 2001 года. Сегодня, когда мы вышли гулять, он сказал:

– Прочитал я эту статью о магнетизме, пишет тбилисский врач, женщина. Я это уже давно знал и всем много раз говорил: то, что магнетизм – это энергетика. То есть такой человек – энергетик, который только отдаёт энергию, самоотдача, а брать энергию не умеет, что приводит к болезням, до клиники. Стрессы, перенапряжения, нервные срывы.

Лес заснежен, много гуляющих, лыжники. Он продолжал говорить:

– Врач уролог, грубая баба. Наверное, ей не понравилось, что я распространялся, как меня надо лечить. Да ведь всех профессионалов раздражает, когда дилетанты говорят о их деле. Я тоже терпеть не могу, когда мне говорят о стихах – как их писать. Я же профессионал высшего уровня, помимо божьего дара. Когда я пишу – я пишу только интуитивно. Но потом я могу анализировать у себя всё. Каждую букву.

Не могу не писать, когда не пишу – действует угнетающе. Я же всю жизнь пишу, каждый день, скоро уже пятьдесят лет будет, как пишу. Стихи, повести, романы, дневники. Пусть х... Не важно. Потребность этой работы. Художник, энергетик, гибкий, быстрый. Вот Кулаков такой. Красавец, волосы прямые, чёрные, глазищи чёрные, татарин, мстительный. Грицюк – совершенно другой, это не Кулаков, он скромнейший был, тихий, скромный, без всяких закидонов. Это у художников редко. Да, но кончил он, как положено. Просто он весь в себе был, внутри себя. Он в Новосибирске жил, ему тогда уже сорок лет было, жена, латышка, тоже художница. И вот в сорок лет – полный переворот! Я магнетически на него подействовал, он начитался моих стихов, там ведь образно-живописная система. Я тогда как раз писал "Двенадцать сов", там ведь всё фантастика, якобы с реальными формами. Эти мои "Совы" очень многогранны, это уже становление меня. И после "Сов" я уже не писал проходных стихов. Так вот, через год приезжаю в Новосибирск: у него совершенно другие картины. Открылся настоящий, большой художник, то есть – появился Грицюк. А до этого он рисовал – картины как картины, вижу: талантливо, но реализм, как у всех,

несвободно. И Кулаков состоялся под моим влиянием, тоже – от стихов. Он же и называл меня своим учителем. Резко изменил манеру. Кулаков не мог быть другом. А художник гениальнейший. Но и Грицюк гениальнейший, а тот был друг прекрасный всегда. Готов был помочь в любой миг, деньги присылал. То есть был друг. "Вы же новатор" говорили ему. "Никакой я не новатор, я просто рисую" отвечал он.

Да, с художниками бывают поразительные перемены. Дьячков, московский художник, средненький, но хороший профессионал, и вот, в семьдесят пять лет, под конец жизни, вдруг свихнулся, то есть: освободился от всех комплексов и стал писать по-своему, удивительные, странные картины. "Вот" говорит "посмотри мои безделки".

Да, талант – это энергетик, переизбыток энергии, отсюда стрессы, перенапряжение, так устроены талантливые люди. В этой статье просто-напросто сформулировано с медицинской точки зрения. Там, например, сказано, что такие люди обладают способностью притягивать предметы. У меня такое часто бывало: к пальцам прилипала бумага, газеты, карандаши, в общем, всякие лёгкие и мелкие предметы. Первый эти особенности психики заметил Эдгар По, у него об этом много. Потом Бирс. Да, эту болезненность психики. Так бывает в каждом веке: появляются темы, ещё неизвестные ни авторам, ни читателям. Потом эти темы развивают. В следующем веке, скажем, появится писатель, который раскроет эту тему наисильнейшим образом, сильнее, чем тот, кто эту тему первый открыл. Например, Достоевский. Никто мощнее его не раскрутил эту психику, все эти болезненности и крайности. Потом темы глохнут, исчерпанные. А врач пишет по-учённому, он же не знает живых образов, не может знать, в себе, изнутри.

Я тебе уже говорил: можно знать поэтику на самом высшем уровне и писать абсолютно мёртвое. Но не знать поэтику – значит, человек будет дилетантом, то есть в искусстве ноль. Как можно что-то делать, не умея, не зная своего дела? А сейчас именно так у нас в литературе. Поэтику это поколение не знает и не хочет знать принципиально. Оно безграмотно. Так что же ждать?

Поэтому я и выпал из литературы: я всех оглушил. Ничего не поняли. Мне же нет аналогов. В стихах ещё можно найти какие-то аналогии, у футуристов, но не в акцентах. Но в прозе аналогов нет, по крайней мере, в русской прозе. Но смотри, сколько подражателей. Подражают, не понимая. То есть – мёртвые копии. Берут с поверхности, что-то одно, что им нравится. А у меня ведь в одной новелле может быть много стилей, то ритмика, то голый текст, многогранность. И потом, это ведь моя голова работала, это я нашёл. Это не значит, что я искал специально, я никогда не искал, я только находил, интуитивно. Как только начинает искать, значит – ему конец.

Вырождение во всём, идёт эта волна, пока. В музыке, например: что такое – появление джаза? Громкость. Как можно громче. Первый эту громкость ввёл Вагнер. Битлы в громкости и джаз перебили. Тоже самое произошло в живописи: импрессионисты стали писать ярко, а вслед за ними художники – всё ярче и ярче, до сумасшествия пестроты. И при этом сваливают в одну кучу Сезанна и постимпрессионистов. Что между ними общего? У Сезанна картины мощные, как камни. А у тех слакоть, яркость безумная. Также и литература. Всех крупнейших русских поэтов начала двадцатого века свели в одно явление – футуризм. А они все абсолютно разные. Что общего между Бенедиктом Лившицем и Маяковским? А Пастернак, а Хлебников? И у всех своя поэтика, своя технология, потому что совершенно разные психики. Они всех оглушили, и никто их не понял. Вот и всё. Теперь – возвращение к классикам. Футуристы не сильнее классиков. Гоголя никто не перебил. У Вийона сколько игры! А у александрийцев! Превзойти так и не смогли. Древних никто пока не пересилил.

Ни в одной стране так не уничтожали поэтов, как здесь: поголовно, целыми поколениями. Биологическая ненависть. На Западе всё же этой лютости нет, там по-мещански, просто не замечают или презирают: ну, придурки, сумасшедшие, что-то там пишут, издают, чёрт с ними. Даже Гитлер не уничтожал, позволил всем несогласным с его режимом уехать. Уж на что китайцы свирепы, свирепее их и нет народа, всю их историю – страшная резня, а и те своих поэтов не убивали, в худшем случае – в ссылку. А здесь, если не убивают, то заставляют служить власти. Пушкина царь призвал служить и всё равно убил.

Он замолчал. Повалил сырой снег, сумерки сгустились. Мы еле плелись в тёмном лесу, в снегопаде, по безлюдной дороге.

23 ноября 2001 года.

– Вокруг этого очень много болтовни и шарлатанства, – ответил он на мой вопрос о магии. – Я, например, сначала ориентировался только на слова. А потом понял, что не прав. Скажем, когда выступал Высоцкий. Тут ведь всё важно: и как стоит, и лицо, напряжение, этот его хрип, который он сознательно делает ещё хрипче, и удар голосом, страстью. Он весь отдавался, выкладывался полностью. Вот у него было такое русское, дикарское дуэнде. Не обязательно у цыган. Блок весь на цыганщине, а немец.

В лесу он стал рассказывать о своих друзьях:

– У меня была компания, человек двадцать, по всей стране разбросаны, все герои. Вместе мы никогда не собирались, но по два, по три, по пять, в Москве, Ленинграде, Новосибирске. Все разномастные: белые, рыжие, чёрные. Все выше меня. Только Кулаков моего роста и Зверев чуть повыше, но – широкогрудый, широкоплечий, махина. Все

красивые ужасно. Герои ведь не те, что сбивают самолёты, там – храбрость. Храбрых много. А герои те, кто не дорожит жизнью, идут на самоубийство, все по-разному: один, как Генрих, лезет в вулкан, дальше всех, куда лезть нельзя, чуть не в самую лаву, у других – другие игры со смертью. И все они прожили за пятьдесят, а натворили за свою жизнь чёрт знает что. Им срок определён, понимаешь. Человеком руководит космос, бог, как ни назовёшь. И ангелы покидают в разное время. Видят: человек кончен, и пошёл, и пошёл, и пошёл. У таких вся энергия идёт на самоубийство, неосознанно. Так и моя катастрофа в Тарту, наверное, ангелы летали по палате и уговаривали: "Ну, потерпи еще здесь как-нибудь. Твой срок не настал". Любой пустяк может привести к смерти – это ангел покидает. Отец Маяковского от царапины умер, а был здоровенный, весёлый, красивый, сорок лет.

Терпеть не могу, когда меня высоко ставят. Что мне это, когда я сам себя внутри ни во что не ставлю, потому что понимаю: и таких, как я, было полно. Ну, поэтика – высший потолок. Поэтика, энергетика – связано. А Гомера никогда не превзойти. Но и у Гомера – потолок. Есть тот потолок, который здесь никому не перепрыгнуть. И до Гомера были, нам неизвестные, и ещё сильнее. И где они? Все сметены. От них ни буквы, о них ни звука. И на таком фоне видишь себя какой-то шкваркой.

Я теперь стал смотреть по-другому. В душе я остался экстремист. Но обыкновенные люди живут же без этого. Если бы все были экстремистами – жизнь бы на земле давно погибла. Головой я понимаю. Да, понимаю.

Мы остановились на дорожке. Он радостно воскликнул, глядя вокруг:

– Ах, какая сегодня чудесная погода, мягонькая, снег беленький, как зайчик! Зайцы ведь есть абсолютно белые, беляки. Я видел в Эстонии: огромные, глазищи чёрные!

Восприятие стихов ведь только иррационально, – стал он говорить, когда мы продолжили путь. – Когда я пишу, работает нечто иррациональное. У меня долго не получались концовки стихотворений, потому что (тоже иррационально) хотелось уйти от концовок. Вся традиция, весь опыт русской литературы стоит на принципе – завершать, заканчивать, делать концовку произведению. Вот, против этого, внутри – протест. Потом научился делать концовку фиктивной, как бы и нет её. То есть, уходил от рациональности, преднамеренности закончить, закруглить, поставить точку – что убивает произведение. Иногда что-то не выходит сразу, какой-то звук не так стоит, и – переписывал по несколько раз, пока вдруг не найдётся и не встанет на своё место, и всё заиграет. Бывало, что получалось в итоге несколько вариантов. И я так и публиковал в разных изданиях, то один вариант, то другой.

"Слово о полку Игореве" абсолютно иррационально. Там же всё составлено из разных кусков. Как в кино. Монтаж. И концовки ведь тоже нет. Эта поэма нескончаема. Там тоже концовка звучит фиктивно, искусственно: слава князьям. И аминь. Поставить на всём этом крест.

Так не бывает, чтобы всё на внутреннем, полностью независимо от внешних влияний, как у слепого. Слепой от рождения не может стать писателем. Пожил зрячим, повидал достаточно, вот как Борхес – другое дело. Надо ведь видеть букву, иначе не услышать звучание. И глухонемой не может стать писателем.

Из низов не бывает больших поэтов. Таких случаев нет. Так называемые народные поэты, Кольцов, Никитин, Суриков, ориентировались на деревенское дуэнде, то есть на фольклор, частушки, причитания, а это в основном бабы. Но сглаживала, если не убивала их установка на культурность, на традиционный пушкинский стих. И при этом они не читали книг, у них не было страсти к книжному чтению, а без этого поэт далеко не уйдёт. К русской истории я обращаться уже не буду, к грекам – тоже. Наобращался. Я думаю о чём-то другом. Гинзберг в молодые годы тоже жил без гроша, в нищете, а был звезда всего мира. Американские киноактёры, они же лощёные, артисты, а снять лоск – две трети русских морд.

Пастернак убежал на Урал, отключился от этой мерзости, и там за одно лето написал "Сестра моя – жизнь". Это семнадцатый год, когда вокруг события. Книга гениальнейшая, вся интуитивная, и виртуознейшая. Виртуозней этой книги нет в мире. Там всё: и живопись, и музыка, и архитектоника. Все виды, все девять муз. Кто тут мог оценить такую книгу? Один Маяковский. Он и оценил. Цветаева в эмиграции прочитала, была потрясена, написала восторженную статью. Кроме этих двоих, никто ничего не понял. И книга была надолго благополучно забыта. У Пастернака и в первой книге "Близнец в тучах" есть три гениальных стихотворения. Но ему многие советовали не публиковать эту книгу. На том фоне, когда Северянин – такой звон! – и он бы выступил со своим мямляньем.

У меня ведь очень мало метафор, у меня образы. Образы многослойны. А метафора однозначна. В этой стране все мыслят метафорически, то есть здесь никто не говорит правду, а все сочиняют мифы. Я не считаю это враньём, потому что это не специально и не из каких-то корыстных целей, а, видимо, такая бессознательная потребность сочинять, выдумывать, наверное, оттого, что здесь нет никакой жизни, вот и фантазируют. Мифомания. Особенно в Москве. Там лучше и не спрашивать, как тебе пройти на нужную улицу, наболтают чёрт знает чего, и пошлют совершенно в противоположную сторону. Так что, если начнёт тебе долго объяснять, значит, сочиняет, врёт, всё ясно, как божий

день. Не слушай и сразу беги от него, только голову заморочит. Ну, а те, у кого отсутствует воображение, а их большинство, те без конца пересказывают друг другу пошлейшие анекдоты, потому что больше им развлечь себя совершенно нечем.

Я сразу стал писать импульсивно. И все только так и пишут. А ты разве не так? Это получается вот как: есть потребность писать, а не о чем. И я сразу стал писать мастерски, абсолютно профессионально, с первых же стихотворений, и звукопись, и всё. Никто меня не учил. Но я чувствовал, что это не моё, я – другой. И не было там никаких подражаний и ничьих влияний, а вот – не я это, не тот я.

Моё становление произошло в "Слове о полку Игореве". Случай, импульс. Ехал в автобусе, утром, на работу, на завод, давка дикая. Вдруг кто-то говорит: "Ярослав, выходим". Меня как ударило. И в голове закружилось: "Ярослава лада..." Ну и так далее. Машина заработала. За месяц написалась вся книга.

И ты, конечно, начинал писать импульсивно, а написал все свои стихи рационально, они у тебя сделанные. В прозе другое: первая твоя книга, милицейская, вся очень живая, и в других книгах есть куски. Но все свои вещи ты жёстко заканчиваешь, что опять же рационально. Если всё время думать о структуре, то есть о рациональном, как тебе писать, то и получится только структура, только рационально. Да дело и не в структуре, структура-то рациональна, но у кого во что она превращается, чем наполняется, чьей психикой, личностью, или ничем, наполняется живым, или нет.

Возьми китайскую живопись. Казалось бы, они далеки от всего рационального, а у них в гравюрах самая жёсткая структура, традиционность, даже шаблон. Казалось бы, но – и каждый раз всё другое, живое, каждая линия живёт. У Цветаевой, у Блока – форма стиха классическая, пушкинский стих, собственно говоря. А как всё живёт, всё цветёт, всё бьёт! А так называемый авангард, новаторы – как много там мертвечины! Неискушённый думает: авангард! Значит – мощно, ново! Да и имя мировое! И покупает картину, вешает на стену. А не видит, что она мёртвая. Ведь у любого автора, и у великого в том числе, есть картины и живые и мёртвые.

Вот тебе такой ещё пример: Ляленков и Насущенко, оба – писатели с неподвижным стилем, собрались по Руси ходить, народ увидеть. Они бы ничего не заметили и не увидели – что надо написать, а написали бы только банальное, то есть мертвое. Да, неподвижный ум, мёртвописание. Любой бойкий журналист увидел бы в тысячу раз больше, нашёл бы контакт с людьми, умеет говорить с ними, расшевелить, разжечь, и записал бы живые разговоры. А эти не умеют, неконтактны, не только с людьми, ни с кем, ни с чем, ни с растениями, ни с камнями. Заняты своими идеями и моральями, где уж тут до контактов!

Что общего между Гомером и Дюма? И тот, и другой страшно занимательны. Ведь Дюма не откажешь в высоком стилистическом мастерстве и в умении компоновать действия. Но у Гомера ещё и рокот моря: эти десятки тысяч железных гекзаметров. Такой звон!

У Бальмонта в переводе "Редингской тюрьмы" эти странные рифмы, не рифмы собственно, с придыханиями. Они уникальны. Ничего подобного в русской поэзии нет. И это его "Я на башню всходил". И ещё много кусков. Но беда его в том, что написал он слишком много. Не отсеял. Не видел, что надо отсеять. Этим надо слишком жить, чтобы видеть. Гуковский отсеял Державина, составил один том, и он пылает и сверкает! А ведь у Державина, ой, полно пустого! И сразу вижу, что написано и для чего. У Пушкина ни для чего. Он единственный в русской литературе, кто писал ни для чего. А Гнедич ещё дальше пошёл, он-то – для чего? С юных лет начал изучать древнегреческий, всю жизнь посвятил переводу "Илиады". О, какой мощный там язык, у Гнедича! Не то, что сахарная "Одиссея" Жуковского – перевод с перевода. Он же с немецкого переводил. У Дельвига все стихи живые. А посмотри его юношеское послание к Пушкину: "Как? житель гордых Альп, над бурями парящий" и так далее. В шестнадцать лет такое написал!

У Алексея Толстого одна настоящая книга: "Хромой барин". А возьми его роман-громаду "Петр Первый". Талант тот же, ничуть не понизился, но стиль пустой. Тоже произошло с Пастернаком: на фоне его гениальнейшей "Сестра моя – жизнь" все его дальнейшие вещи гибнут. Талант, мастерство – всё есть. А не то. Нельзя снижать себя. Пиши другое, но на том же высшем уровне.

Бывает, и пошлая строчка, а зацепится и не отвязаться. Значит, что-то живое в ней есть. Лермонтов это понимал, он же и написал: "Есть речи – значенье темно иль ничтожно, но им без волненья внимать невозможно..."

Категоричность и есть ложь. То есть – догма. Так называемая народная мудрость, поговорки, ничего нет тупее и лживей. В жизни как раз всё наоборот. Или "Афоризмы" Шопенгауэра, самая знаменитая его книга: банальности и прописные истины, то, что все давным-давно знают. Вот эту книгу любят! Прочитают афоризм: правильно! точно! Вот это мудрец!

Китайцы в девятнадцатом веке приехали в Европу посмотреть европейскую живопись, и она их ужаснула. Для них это – дикая яркость. А просто-напросто: разные концепции, принципы живописи. Говорю: очень многообразно, единой формулы для всего нет. Лев Толстой книги резко заканчивал, а Стендаль уходил от концовок.

Вот и получается: что бы ни сказал, любую мысль – она сказана до тебя и повторена миллионы раз. Ничего нового нет, всё уже было. Значит, остаётся одно: внутренний мир, и твоя переацентровка, твоя личность

неосознанно всё переакцентирует по-своему. Любой запавший в голову кусочек чужого (ты уже и не помнишь, откуда его взял) поворачивается по-твоему. В этом всё дело. Никто не может повторить другого, скопировать, ни поведение, ни книги. Это невозможно. Казалось бы, и все тоже самое, что и у других, но акцент свой. Чья-то строчка, скажем, попала мне на слух, и сразу мимикрируется, мгновенно; то, что у него мёртво, у меня живая ткань. Как тебе объяснить. Вот берёшь у него кусочек ткани – мёртвая. Берёшь у меня – ткань живая. Всё, что попадает ко мне, становится моей живой тканью. Пикач написал в своей статье обо мне и Бродском: как мы оба переосмыслили пушкинское "Я вас любил". У Бродского вяло, у меня – звонко, сильно, ёмко. Совсем другой акцент. В какую среду, в какую психику попадает – так и преобразается. А "Гений чистой красоты" – у Жуковского и у Пушкина! Сравни! У Жуковского – вялость, у Пушкина – огонь, сама жизнь! Или – из моей последней поэмы строка о волках, она из Георгия Иванова. А как преображена, и не узнаешь! А сколько раз у меня обыграна строка Пастернака: "Не тот это город и площадь не та", и явно, и в скрытом виде! У Георгия Иванова не было большого оригинального таланта, но он любил книги, много знал, любил чужое. И в переводах у него есть прекрасные ритмические кусочки.

Тут одно: любящий и знающий свой предмет, только он создаёт настоящее.

Такие люди: замечают каждую оригинальную мелочь, засядет в голове и потом крутится, крутится, год, десять лет. Надо избавиться, чтобы не мучила. И вдруг – раз: вышло в чём-то своём, непреднамеренно. Это особое строение организма у тех, кто посвящён писанине. А кто непосвящён – пишут и думают, что они писатели. Скажем, Томас Манн, бесконечно банальные разговоры на тысячу страниц, кроме нескольких странных моментов, ничего.

Два детектива Эдгара По: один – об обезьяне, второй – с расшифровкой, да, "Золотой жук". Оба рассказа, кроме того, что очень интересно, это большое остроумие и большая фантазия. Он и слова такого не знал – детектив. К нему потом прицепили и вывели жанр. Но у него-то это только его гений фантазии и остроумия.

Из самого банального сюжета можно сделать шедевр, если вдохнуть себя, но при этом нужно только одно, всего-то, чтобы ты был – талант.

Это мириады связей головы, ног, живота, психики, энергии, всего. Это всё крутится, и только так, только в этой голове. А у большинства – один вариант, по одной линии, и не крутится, а едва шевелится.

Малларме ставил в стихе на первое место интуицию, музыку. А после него – ум, ум, ум. И до чего они теперь докатились со своим умом? Тупик.

Кручёных – гениальнейший эстет. Как он понимал чужие стихи! Как никто! И в его исполнении это было дуэнде. А посмотришь потом на эти стихи – абсолютно рациональные, только в его устах они и звучали. И так бывает. Всё очень по-разному.

У Брюсова есть много живых стихов, особенно в его книге "Urbi et Orbi". И почему его называли мёртвым поэтом? Просто у него много написано, теряется в большом объёме.

У меня отвращение к рассуждениям, ещё с тех пор, как я наслушался двух резонёров: Битова и Кулакова. Оба штампованные, как на одном станке, без конца рассуждали об искусстве. Если бы даже я написал такую книгу, где попытался бы объяснить в искусстве, как я вижу, кто бы понял? Это надо иметь мои глаза. Безнадёжно. К тому же такую книгу надо писать по плану, а я планировать не умею. Я много чего не умею.

У Борхеса – поиски необычайных ситуаций. Но что меня действительно поразило, от чего я вытаращил глаза, это его новелла о фразе Сервантеса из "Дон Кихота": как одна фраза Сервантеса, четыре раза повторенная в разных контекстах, звучит совершенно по другому и приобретает иной смысл. Борхес, видимо, был филологический гений.

Вот тебе ещё пример: хирург Фёдоров. Самая простая фамилия. Идёт по улице, и не подумаешь: седой старик, сутулый, заросший, грязный, смотреть страшно. Перед операцией – хлоп стакан спирта, второй. И работал как сомнамбула, только интуитивно и абсолютно точно, руки сами знали, что делать. Никто не мог поверить: как? Таких пересадок сердца в мире больше не увидишь. Гений! Операция за операцией, несколько часов. Перерыв на пять минут. Идёт по двору госпиталя, страшный старик, останавливает: "Дай спирта, выдохся, надо подкрепиться". Похлопал по карману халата: "Там сердце для пересадки. Три минуты ещё может подождать. Нет, водку не надо. Только спирт". А окно операционной – вот так, руку протянуть. Это же нечеловек! Ужас!

У меня тоже абсолютная интуиция, а я ей не верю и поэтому у меня в жизни было столько промахов, а верил бы – их бы, наверное не было бы. Я ведь и в себя не верю, то ли я есть, то ли нет. Я перед тобой говорю или это не я, пустота.

Да, художники часто только под конец жизни открываются. До сорока пяти лет у Гойи – халтура. Гойя начался после сорока пяти. Оглух и увидел мир во всей красе. Тогда и появились эти жемчуга, эта его тончайшая, виртуознейшая жемчужность. Или – Пиросмани. Был купец, разорился, тоже за сорок, стал пить, спился. Купцы решили ему помочь, занять чем-то, один и придумал: "Нарисуй мне вывеску". "Такую же, как эту?" "Да, только поярче". Он и нарисовал, все ахнули. Смотрят, смотрят. Потрясающе! Ничего похожего на образец, у него монстры какие-то! И

пошла слава по всему Тифлису, потом – по всему миру. Тоже – история с Верленом: как Уайльд к нему пришёл, к кумиру, великому поэту, и думал увидеть божество, гения в ореоле, а увидел страшного, грязного, пьяного старика на койке, оборванного, в блевотине, который послал его на ... и швырнул в него рваный башмак. Тот, эстет, оскорблённый в лучших чувствах – пулей слетел с лестницы.

На вопросы искусства нет ответов. Но может быть тысяча вариантов. Вот и всё.

30 ноября 2001 года. Гуляли в лесу, мороз, голубое небо. Он стал говорить о том, что мне хотелось от него услышать:

– Догма, насилие над собой обязательно ведут к конструкции. Талантливый, значит, что-то интуитивное есть. Талант и есть – интуитивное, иначе это не талант. У меня врождённая способность смотреть и видеть, не только людей, всё. А большинство не смотрят, или, если и смотрят, то не видят.

Мы шли по большой дороге, солнце уже низко над лесом.

– Ну вот, уже садится! – сказал он. – Через час спрячется. Прогулка будет без солнца.

– Свободы от реальности нет, – продолжил он разговор. – От реальности никто не может быть свободен. Что ж ты – будешь – абстракции какие-то писать? Но есть свобода использования реальности. Есть писатели, которые подчинены реальности, рабски ей следуют, они-то и несвободны. Бездарный смотрит на берёзу и видит только березу. А талант смотрит и видит в берёзе какую-то форму, что-то своё, не специально, а так устроен его глаз. В жизни все несвободны, но есть внутренняя свобода. Вот мы с тобой идём по дороге, посмотри, как освещён лес закатным солнцем, ну и какой сейчас цвет у неба? Не знаешь. Не можешь сказать. Сейчас жёлтый цвет, а сядет солнце – будет красный. И свобода дифференцирована: у художников одна свобода, у поэта – другая, другой тип свободы, у музыкантов – иная, у них свободы больше. Специально нельзя освободиться. Свободны только те, кто свободен изначально, врождённо.

Структура – это конструкция. Но без структуры не может быть написана ни одна книга, нарисована ни одна картина, сочинена ни одна музыка, ни одно стихотворение. Как? Будет хаос. Значит, и структура делается интуитивно, внутренне. У Пушкина интуиция в изяществе, у Маяковского – в грубости. А пропала интуиция – и у него потоком пошли одни конструкции. Даже кубизм. И эти геометрические фигуры рука гения рисует интуитивно. А эпигоны те же фигуры непременно рисуют рационально. Даже чёрный квадрат Малевича. Ведь этот чёрный квадрат был у древних народов магический знак на стягах, у разных народов –

разное значение. И у ацтеков он был. Малевич знал это, он же был очень образован. Но древним, конечно, и в голову не могло прийти – рисовать чёрный квадрат на картине. Никаких картин у них и не было, они рисовали на скалах, то есть, на вечном. Они были умны.

"День Зверя" – интуитивно написанная книга, первая у меня книга прозы, которая вся не от головы. Толчком было самоубийство Марины. Потрясение. Эта книга – месь, но не итальянская, а древняя, библейская месь. А что интуитивней мести? Я не убийца, я не могу носить с ножом по улице. Я мщу книгой. Там ведь и эпитафия такой: "За то, что они пролили кровь святых и пророков, Ты дал им пить кровь: они достойны того". Из "Откровения святого Иоанна Богослова". "День Зверя" написал до катастрофы в Тарту. А после неё, когда оглох, полуослеп, и внешний мир был для меня утрачен, и я весь перевернулся, вся моя психика опрокинулась – я уже и полностью ушёл в интуитивное, внутрь. Опять же – не специально, а так жизнь повернула. Естественная перестройка организма. А что же – специально глохнуть, слепнуть, пережить клиническую смерть? Нет...

Древние знали множества: множество богов, миров, систем в организме человека. Гален, например, открыл все эти системы, в том числе и эндокринную. Древние все знали, но у них был запрет – узнавать то, что запретил знать бог. Знание было только у жрецов, у посвящённых. И поэты были – жрецы, маги. Библия, например, была долго недоступна народу, то есть непосвящённым. Запрещалось её издавать и даже читать кому-либо, кроме священников. У Феофраста есть тоненькая книжечка "Характеры", а в послесловии он пишет, что это он дал только основные типы характеров, а в жизни их множество. У древних знание всегда космично, это мир высшей поэзии, философии, интуиции. У Гомера – описания, но они зеркало предстоящего Гомеру, они все проникнуты этим, от богов! – он показал рукой вверх.

– Мозг не только в голове, мозг во всём теле, и в крови, и в лимфе, и в нервных клетках, в каждом капилляре. Организм мыслит всем телом. А в голове мозга может и вообще не быть. Что и обнаружили не так давно. Вскрыли череп у умерших американских чиновников, и оказалось, что в черепах пусто, пустые коробки. Мозга нет! Сенсация. Потрясение по всей Америке. Сразу же запретили эти эксперименты. Да, но ведь эти чиновники всю свою жизнь благополучно прожили без мозга в голове, и никто не заметил в их поведении ничего ненормального. Они успешно справлялись со своими обязанностями на службе и в семье, ни один начальник, ни одна жена на них не жаловались. Значит, мыслили они ничуть не хуже других. А когда вскрыли череп Ленина, то левого полушария вообще не нашли (у него же было разжижение мозга), а правое – сморщенный чёрный комочек с горошину. А показывают мозг

Ленина под стеклянным колпаком, гигантский, как у слона. Откуда его взяли? Ленин же был маленький, меньше тебя, и личико у него было такое малюсенькое, я видел посмертную маску, а, значит, и головка – соответственно. Подтасовка.

Да, магия – воздействие. А воздействие ничем не объяснишь. И не обязательно – магия книг, картин, мелодий. Есть просто магические люди, которые притягивают или отталкивают. Гитлер был магичен. И Сталин магичен. Гитлер сильней. Он и специально учился магии, держал у себя индусов. Магия в искусстве – вот и вся философия искусства.

Мне не врождено слово "нужно". Но возникает потребность писания книги. Зудит. Требуется писать. Сажусь за стол и никогда не знаю, что напишу. И это свобода. Пойми, это не объяснить. Возможности человека неограничены, если себя не беречь. Я видел на Тибете, как воины-монахи перелетали пропасть на алых плащах, раздвиг их, как паруса. Через ущелье метров пятьдесят, не меньше. Да, левитация. А некоторые могли и вертикально в воздухе подниматься на двести, на триста метров. Но раз можно подняться на триста, то почему не подняться и выше, на три тысячи метров?

Математика, высшая – та же поэзия. Она замкнута, сама в себе, самодостаточный мир. Христос довёл себя до креста. Я люблю этого парня, он нёс людям высшую философию, которая здесь неосуществима, и ненавижу церковников за то, что они из него сделали. Это философия всех древних религий, только Библия её заострила: установить на земле высшую справедливость. Это высший идеализм и сумасшествие. Но в этом-то и есть единственная истина.

При чтении многое притягивается, на ловца и зверь бежит. У Грина много пошлости, эти его "Алые паруса" и прочее. Но рассказы у него есть замечательные. "Крысолов" – гениальный рассказ. Грин в чём-то от Горького, тема босяков, но больше – влияние Стивенсона. Талантливый человек читает много книг и, значит, испытывает много влияний книг; любишь одну книгу, другую, тысячу, значит, много нюансов, которые сливаются потом в какой-то свой комок, получается что-то своё. А бездарность боится книг, боится читать. А что можно сделать без чтения? Ничего нельзя придумать, всё уже было кем-то когда-то придумано. Надо знать как можно больше, вот и всё. Я, например, как писатель, начал с интерпретаций. Я никто иной, как интерпретатор книг, и, работая в этом методе, я и знать не знал ни о каком постмодернизме и что это их метод. Без книги я – нуль.

Платонова я люблю, многие куски, и вообще. В нём много Гоголя, опять же не специально, конечно, а всплыло интуитивно, когда потребовалось. Скажем, его военные рассказы, эти подвиги: как матросы, обвеса гранатами, бросаются под танки. Или этот, не "Чевенгур", а

другой его роман. Да, "Котлован". Как он там кулаков посадил на плот и пустил в океан. Это уже и не Гоголь, это Гомер!

Вот тебе пример: Нижинский, как он поступал в балетное училище. Мальчишке семь лет, он же был маленького роста и всю жизнь такой оставался, для балета с таким ростом не годятся. Маленький, но очень гибкий. Двух слов связать не мог, так всю жизнь и не умел говорить, гимназию не смог закончить, считали тупоумным. А для чего ему были все эти знания? Он весь был в танце, для этого родился, этим только и жил и всегда был готов танцевать. Вот, экзамен по предмету, последний. Присутствовал князь Львов – меценат и владелец Петербургского театра балета. Вышел Нижинский, кроха, робкий, жмётся. При первом же аккорде: это был бог! Преобразился вмиг! Глаза засверкали. И полетел! Львов был потрясён. "Это маленькое чудо!" назвал он Нижинского. В семнадцать лет Нижинский уехал с Дягилевым в Париж. Для него одного писал музыку сам Стравинский.

Да, Дельвиг, ранний взлёт. А Ершов! Прорыв в восемнадцать лет, и потом всю жизнь – ничего. А Рембо! Три года – с пятнадцати до восемнадцати. В восемнадцать уже всё кончено, и до самой смерти ни строчки. Не оттого, что он взял да решил так: больше писать не буду. Как считают эти тупоголовые. А оттого, что исчерпался и писать ему было просто-напросто нечего. А Ершов на одном "Коньке-горбунке", на одном коротком взлёте весь исчерпался. А многие не могут ведь остановиться, и пишут, и пишут – мёртвое, конструкции, ни одного живого слова, том за томом мертвечины. Вот как Лев Толстой или Гёте.

Я тоже – никто. Только состояние, когда пишешь книгу. Только оно, это высшее состояние и есть – ценность. Написал – всё. Эта книга не нужна. Да хоть бы её и совсем не было!

Да, после Тарту – это у меня был взрыв, революция сознания. Но так ударила сама жизнь. И все книги после Тарту написаны на больших затратах сил, на жутком количестве чая. Иначе бы эти книги мне было бы не поднять. Все они – чайные. А теперь вот – всё. Выдохся. Мои статьи – там игра, юмор, только там нет моего главного. А вот в китайском повести это главное есть, и эти упражнения в статьях пригодились, и игра, и юмор, и при том, что есть то, моё, и всё там висит на волосинке. Потом – поэмы. Последняя – всё же не мой путь, там много конструкций. Бесперспективна. А вот две первых – да! Сильные. Моё.

У меня нет любви к жизни, желания жить, и это давало мне дополнительную энергию. Писал, потому что подчинялся своему призванию. Писал, значит, и жил. Поэтому и продолжал жить, что – писал.

Стемнело. Мы шли по дороге, я поддерживал его под локоть. Что-то ярко светило у нас за спиной, как прожектор. Луна! Огромная, фосфорно-

белая, над лесом! Полнолуние. Он не замечает, печальный, ни луны, ни то, что я на неё оглядываюсь.

– Такое чувство, что я стою на черте, – сказал он. – Во мне развивается какая-то серьёзная болезнь. С января прошлого года – усталость, безучастность. Было и раньше. Но теперь ощущение, что ангел меня покинул. Нежизненный тон. Дух жизни покинул, и никакие врачи не помогут. Ангелу стало скучно: видит, человек уже ни на что не способен. Вот это чувство, что дух жизни ушёл – это у меня впервые. Неработоспособен, устаю мгновенно. Вот уже год не могу написать двух строчек по важному делу, касается издания моей книги, и отослать письмо в Америку. Конверт лежит, лист бумаги, и не могу себя заставить. Как это назвать? Генрих жаловался, что устал жить. Но он другой человек, он-то абсолютно рациональный, железный, у него-то этого интуитивного ангела никогда не было, и это он никогда не понимал. Он и с усталостью может прожить ещё до ста лет. Просто я тогда удивился: такой железный характер, ни стона от него никогда не слышалось, и вдруг – эти жалобы.

Ужаснее всего одиночество. Глухота рождает одиночество, и начинается бесконечный самодialog, причём, это и не диалог, а монолог. Ведь все они посходили с ума: Гойя, Бетховен. Все, все! Не будем об этом.

У Гёльдерлина переводят: «Различны линии бегущей жизни». Это не образ, это банальность. Когда-то был образ. У Гёльдерлина что-нибудь изогнуто в смысле, как-нибудь не так, крючок, нюанс, что в оригинале и звучит небанально, а этот крючок и не передать.

Так ведь лучшие стихи – это только такие, где это смертное томление духа. Что не отменяет множества других блестящих стихов. Правильные назвать – самые сильные. Да, но в "Незнакомке" Блока каждая строка насыщена реалиями, в том числе и эти "пьяницы с глазами кроликов", и ещё этот иронический тон. А как всё проникнуто тем!... Не объяснишь. Тоже и в пушкинских «Бесах»: всё реально. Я так и представляю: вот он поехал, метель, заблудился, замёрз, вполне всё реально, а в голове закрутилось такое... Да, толчок. Так назовём. У Пушкина – такой толчок, у Блока – другого типа. У меня "Башня" – толчком был переезд сюда, и новый мир ударил в глаза, то, чего никогда не видел. А могло быть другое, и "Башня" написалась бы по-другому. Но у больших художников всегда на грани разрыва с реальностью. Что может быть общего между музыкой или звукописью и миром быта? Не два разных мира, а проще: мир и не мир.

В советской литературе запрещалось издавать книги стихов с ассонансами и звукописью, то есть – запрет на эстетику. Считалось: формализм. Не знали бы, что это Пушкин, и Пушкина бы не издали. У

него же тончайшие ассонансы и звукопись, неявные, внешне не очень заметны. Ничего, заметили бы и – запретили. Разве народу нужна звукопись? Разумеется – нет. Эстетика нужна? Нет. Это им скучно, непонятно. Им нужно содержательное, газета.

Бессмысленно рассуждать обо всём этом. Только практика, вот что решает. Древние так и говорили: "Я не ишу, я нахожу". Кто ищет специально, тот ничего не найдёт, кроме своего конца.

Почитай социальные романы Сименона. История: пара стариков, муж и жена, живут во Франции, в каком-то городишке. Ненавидят друг друга, не разговаривают, пишут друг другу записочки. Ужасно. Сколько таких жизненных историй. Интересно, запоминается. Вот, Сименон ездил по всей Европе и по странам Востока, много сумел увидеть живым глазом. Около тридцати таких романов, и никакой мистики, никакого тебе духа, беллетристика чистой воды. Простые истории, написаны простым языком. А это же настоящее! Там на Западе литература огромна и многообразна.

Это интуитивное чувствуется и в книгах чужого языка, если перевод не слишком плох, то это проникает, сквозит.

7 декабря 2001 года. Он болеет, третий день высокая температура, к вечеру поднимается до 39 градусов.

– Посиди, поболтаем, – сказал он, предложив мне стул. – А день чудесный, солнце. Как бы хорошо было гулять! Читаю статью о Шевченко в «Вопросах литературы», там и о Гоголе, о "Тарасе Бульбе". Якобы тенденциозность, против евреев и поляков. Это Гоголь заводился, это, собственно, и мой ритм. В этой повести акцент на другом: на мести. А наши критики перекладывают на своё подлое, бытовое мировоззрение. Как меня перекладывают на христианство, на православие, а ты же знаешь, что православие я ненавижу, ты знаешь, какая у меня вера.

Маска в древнегреческом театре и в японском театре. Но – чтобы создать условный образ лица, чтобы зритель не отвлекался на чертах лица и мелких подробностях, а внимание было сосредоточено на главном: на игре актёра. Так – только в театре. В литературе это невозможно. Как ты в литературе будешь без подробностей, без конкретики? Не будешь же ты писать абстракции. Даже чёрный квадрат Малевича – это же и не квадрат, там нет правильной фигуры, там конкретность линий, фактура, пульсация рисунка, холст, игра чёрного в неисчерпаемых оттенках. Тоже – когда я увидел Лисицкого и особенно Кандинского в американских музеях. Все эти линии и геометрические фигуры дышат, вибрируют, видна рисовавшая их рука, важен каждый изгибчик, там всё это в живых связях, движется, выявляет форму пространства, там сложные конкретные соотношения. А что вместо этого видим в репродукции? Одни палки.

Маска – от мистерий, мисты, то есть – закрытые покрывалом. Но у маски всё же есть прорези для глаз.

Древнерусские летописи так прекрасно написаны (через пятьсот лет после событий), что читаются, как сказки. Моего "Николая" так никто и не понял. Я специально устранил рассказ и не повествовал о событиях, а дал только сами события и только на цитатах, на действиях. Потому что я увидел: если я буду говорить от себя – пропадёт действие. Я думал написать серию книг о не совсем обычных царях. – Он взял со столика градусник и, встряхнув его, сунул себе под мышку. – Может быть, температура маленькая, а нервы как раз разгуляются, – сказал он. – В этой стране никто не хочет осваивать новые технологии, поэтому тут и моих книг не понимают. Пишут: духовидец. Но духовидчество – это мистика. Это не имеет определённых форм, это в интуиции. К религии это никак не касается, к формам конкретным. Женщины, например, чуть ни все духовидицы, у них интуиция. Но их интуицию уничтожает их злоба. Вот ведь как сошлось.

Две книги Стендаля, "Красное и чёрное" и, как её, "Пармская обитель" – очень многозначны, в том числе, и психически. Таких романов в русской литературе нет: чтобы многозначность сочеталась с интересным сюжетом. В «Красном и чёрном» главный герой, из бедной фермерской семьи, попадает в высшую церковную школу, потому что знал наизусть Библию. У евреев считается, что вся культура заключена в трёх главных священных книгах: Тора, Талмуд и Зогар. Вот эти три книги только и изучают, и кто их знает, считается интеллигенция. Ты же знаешь, что я ненавижу весь этот талмудизм и вообще всякие премудрости.

Я тебе говорил уже много раз: никто не может изобрести ничего нового, но можно, используя предыдущее, дать свой вариант. Все художники берут из предыдущих, и из древних и из современников. Больше из древних, почти всё – из греков и Библии, оттуда в основном и черпали. Ну, потом пошло бытописание. Я сам на две трети из греков и Библии.

Тамерлан захватил даже Англию, его громадная держава простиралась от Индии до Британских островов. Потомок Чингисхана, я об этом писал в «Книге пустот». Все военачальники в войске – уйгуры. Тамерлан хотел уничтожить узбеков, поголовно, весь народ. Видно, в истории остаются одни злодеи. Так люди устроены. Так устроены все мужчины: запрограммированы на войну, на убийство, на злодейство. Но не все могут – в жизни.

Да, сколько книг я перечитал, не счесть. Вот эта страсть к чтению, эта потребность читать, может быть, от материнского рода, от раввинов. Не от отцовского же рода – там одни только сабли, там вояки. Да, а я в своих книгах – сабля.

Я в школе был лучший алгебраист и геометрист. Но в стереометрии – никакого понимания, нуль. Мне не дано абстрактное мышление. Не получил золотую медаль, а только серебряную, потому что на экзамене по русскому языку в сочинении были грамматические ошибки. А сейчас у меня их и вовсе – полным полно. Что бы они мне сейчас поставили? Двойку? Да, как сходится с моим организмом – такая у меня и грамматика.

Я очень люблю читать книги по археологии, я их все перечитал. Вот я пацан понял: что жизнь на земле возникла мгновенно, вся сразу во всех её теперешних формах, в том числе и человек в его современном виде. Пятьдесят миллионов лет назад. Эта граница отодвигается по мере новых находок. Скоро объявят: сто миллионов лет назад и так далее. Считалось, что предок человека питекантроп, а теперь выяснили, что питекантроп – это самый обыкновенный шимпанзе.

На земле миллионы писателей и все они о себе что-то мнят. Поэтому я давно отказался от бессмысленных попыток классификации. Почему я и дал в своих книгах этот образ мистического золотого маятника, который качается и отбрасывает – кого оставить.

При повышенной температуре я помню все слова, которые стал забывать при нормальной температуре. У меня ведь многие слова вылетели из головы, которые я редко употреблял.

В незавешенном окне мрак, огни. Я поднялся со стула. Он проводил меня в прихожей, посмотрел на себя в зеркало:

– Ужасный вид. Вот уж теперь видно, что старик. Хотя я себя стариком не чувствую и не считаю. Ни голова, – показал на лоб, на который надвинута красная шерстяная шапка, – ни дух, ни это, – показал вниз, – не стариковские. Вот я тебе подарю карманные часы, на цепочке. Это старинные часы, я их долго носил, когда ещё был денди. Ходят, как новые. На наших прогулках будешь смотреть по ним время.

13 декабря 2001 года.

– Сколько мы с тобой не гуляли? Две недели? – спросил он. – Хуже нет – лежать. Ну, Акутагава, они обо всех так говорят, кого они считают сумасшедшим, что – какой же это писатель, раз психопат. Вот, например, мой немецкий переводчик, который перевёл мою «Башню», точно также отзывался о Гофмане: "Что это за писатель – пьяница, сумасшедший?" То ли дело Гёте! О! Какое величие!" А я ему на это: "Но у вас же один Гофман сейчас и делает всю вашу литературу. А Гёте ничего не делает, он лежит в гробу, в саркофаге". Нет, не понимает. Заладил своё: Гёте да Гёте. "Зачем же ты тогда взялся меня переводить?" спрашиваю. "У меня ведь там тоже завихрения". "Ну что вы!" говорит "у вас там такие важные вещи! Столько глубокого ума! Как у Гёте!". Вот и говори с ним.

Он оделся потеплей. Вышли. День мгlistый. В лесу безлюдно.

– Эх, и запил бы я на всю зиму, как медведь, – сказал он. – Да нельзя. Они ведь, медведи, мёдом пьянствуют. Магомет был эпилептик, у него могло быть много таких озарений. Игорь Богаченко, этот гениальный алгебраист, алгебра, знаешь, как стихи. Никто не понимал его формулы, только три человека в мире понимали, такие же высшие алгебраисты. Сколько было тогда славных парней! Всё время в напряжении, всё время крутился этот котёл.

Читаю Волошина, мемуарное. У него был жуткий надрыв. Тогда декаданс был, от Запада, любовь: все со всеми. Начитались и хотелось попробовать. Мода такая была в искусстве. Но в древнем Риме или во Франции это было легко, естественно, такие нравы. А тут кучка, и ломали друг друга. Все дружбы порушились. У Белого с Блоком. Они же себя называли братьями, самопосвящёнными. Тут Россия, люди очень однозначны. Россия страна экстремистская идеалистов. Книги дают многое, но характера изменить они не могут. Мужчины все безнравственны, женщины – на девяносто процентов, есть больные, а некоторые боятся, психически.

Рид Грачёв очень за собой следил: мылся, брился каждый день. Ёжик свой делал у парикмахера. Просил на это у меня трёшки. "На что тебе?" спрашиваю «на бутылку, что ли?». "Ты же знаешь, на что!" отвечает заносчиво так, в его манере. "Нужен ёжик. Мне в гости идти". Маленький, клыки такие. Обаятельным его никак не назовёшь. Но бабы к нему шли. Потому что он любил говорить на всякие высшие темы: о любви, о добре, о разных состояниях. То, что бабам жутко нравится. Только не о боге. О боге он, слава богу, никогда не говорил. В общем, баб он очаровывал.

Я не верю, что Вийон написал в тюрьме перед казнью эту свою "Балладу повешенного". Он бы не смог сосредоточиться, мысль рассеивается. Видно, это биографы выдумали, создали миф. У меня ведь тоже в «Двенадцати совах»: «За казнь мою завтра, не смерть – а казнь, – спасибо тебе, Сова». И этих казней и скорых смертей у меня в книгах до чёрта. Не только у меня, у многих. У Пушкина полно, ещё в Михайловском. Крупные поэты, с такой системой психики, да и не поэты, могут жить только на грани жизни и смерти – чтобы почувствовать в себе силы. Они не могут жить спокойно. Хоть до семидесяти лет, всё равно только так, только на грани жизни и смерти. Есть здоровье, нет его – тоже ничего не значит. Пушкин был абсолютно здоров, и смерти не боялся, тяжело раненый, в живот, и ещё нашёл силы, лёжа, прицелиться и выстрелить точно в сердце Дантеса. Но пуля попала в пуговицу. А пуговицы на гвардейских мундирах были – во бляхи! Не пробьёшь. У таких людей нет времени, время для них

отсутствует, им что тысяча лет назад, что десять тысяч лет вперёд – всё равно. Сегодняшнее время для них существует только как время внутреннее, как стихи. Для них нет ни возраста, ничего. А большинство людей живут только точно сегодняшним временем. А иначе и мир бы погиб. Все крупные поэты и писатели стремятся к перенапряжению, и организм не выдерживает.

Ни Сент-Бёв, ни Волошин ничего от себя не оставили. Они прекрасные писатели, но они не... Эмпедокл о себе больше оставил, и не столько его поэмы сумасшедшие, а поведенческое. Но он же сын царя, и в Этну бросился.

Наступили сумерки, в лесу мрачно; мы повернули назад.

– Ты заметил, что меня сегодня не шатает, – заявил он с гордостью и тут же поскользнулся и едва не упал. Я успел подхватить его под руку. – Только похвастался, а темнота и бах в голову! Дурак старый! – сказал он.

По пути к дому мы зашли на рынок. Он долго водил меня от прилавка к прилавку, смотрел цены, разглядывал, и то, и то, расспрашивал продавцов.

– Во мне сидит Афанасий Фет, хозяйственник, – пошутил он.

Когда мы купили всё, что нужно, и опять вышли на улицу, он сказал:

– Ты спрашивал: могу ли я проанализировать, что написал. Могу только на среднем теоретическом уровне, не больше. Мне это и незачем. Такие как Шкловский – дело другое, тот мог дать тончайший и полный разбор. А большинство талмудствуют. Они и Дудина истолкуют – закачаешься, наталмудят, дай бог! Доходит до смешного: разбирают стихи Шевченко, но не оригинал, не на украинском, а русский перевод. В переводе однозначность, а у Шевченко ведь и так и сяк, двусмысленно, то есть, как у любого одарённого поэта.

Характеристика бога на греческом полностью совпадает с характеристикой дьявола: такой же жестокий, беспощадный во всём.

Дома, когда мы разделись и перешли в комнату, он продолжил разговор:

– Приёмы живы и имеют смысл только, когда пишется книга. Но необходимо познакомиться с формами. Да, верно: и это тоже осваивается интуитивно. Или не осваивается. Об этом точно сказано у Державина на все случаи жизни: "Осёл останется ослом, хотя осыпь его звездами". А Толстой останется Толстым. Но Толстой отнюдь не дутая фигура. Среди читателей ведь мало живых и они не понимают живое. Вот Толстой им – самое то! Монументальный и даёт им контуры, в которых они узнают себя и приходят в восторг: точно! и я так чувствую, и у меня так! Скажем, идентифицируют себя с Наташей Ростовской или

Андреем Болконским. "Анна Каренина" – это он уже чокнулся. Списал с «Мадам Бовари» Флобера. Тот же сюжет, те же герои, только у Флобера в сто раз сильнее, и книжечка вот такая, быта там у Флобера почти нет. У Толстого ведь и юмора нигде не найдёшь. Так, наверное, про себя и думал: "я пишу только гениальное!" Такие писатели пишут всегда только для читателя.

Но опять же есть много вариаций. Стендаль – и доступен, то есть и для читателя, а и это есть! – он крутнул завиток поднятым кверху пальцем. – Да, много смесей. Бывает и так, что думают о себе, что они пишут для читателя, а на деле у них – наоборот, или думают, что они гении, а они мошки. Никто не говорит, что Бунин плохой писатель, но пошловатый и плохо видел. Да не пошловатый, а хорошенько пошлый. Эти его "Тёмные аллеи", заглядывание под юбку, тыфу! А его "Жизнь Арсеньева" я и совсем не мог читать. Вот где тоска!

Я пишу ни для кого, пишу, потому что пишется. А дальше – меня не касается: кто и как будет читать мои книги, и как будут их толковать, или не будут. А не пишется – бессмысленно себя насиловать. Да, а вот Гоголь никак не мог смириться, что перестало писаться. У него об этом есть в каком-то письме: что, вот, раньше писал в самых неподходящих местах и условиях – и в тарантасе, и в кафе, и где-нибудь на парапете, время, когда идеально писалось, а теперь в доме Аксаковых всё для него устроено и всё вокруг него крутится, только пиши, а вот тут-то и ни фразы не идёт год за годом. Ходил в этом своём бухарском халате, пытался писать положительные характеры, что ему совершенно несвойственно. Видно, у него книги писались, как у меня: тоже сначала записи типа дневниковых, потом отбирал. В Риме у них собралась тёплая компания: Гоголь, Иванов и Соболевский. Иванов всегда грязный, в красках, и эти его тихие, мертвецкие запои. Соболевский в Риме от туберкулёза лечился, почти ничего не ел: три бокала мадеры и несколько пресных галет в день. За четыре года вылечился. Лёгкий характер, да молодой. Вот мой дневник, видишь, сколько набралось за три месяца ночных бдений в ванной. Но после обработки останется строк пятьдесят, не больше.

Да, это Нодье меня тогда попутал, натолкнул на этот мой сожжённый том великих философских рассуждений: его «Читайте старые книги». Видишь ли, когда такой тип критического мышления, то ведь мысли и форма высказываний обязательно будут совпадать точка в точку и получится одна только банальщина. Так фразы Руссо совпали с фразами Вольтера. Вот, Чаадаев, томище, и всё там у него одно и то же, одна идея, критика русских: что отстали, что дикие, что варварская страна и так далее. Банально. Все или ругают свой народ или возносят, что – одно и то же.

Так что неизвестно, что останется. Не печалься. Скажем, через

десять тысяч лет найдут след от твоей ноги – и это будет мировая сенсация! Снимут слепок – хранить в музее, начнутся исследования: кому принадлежит след, и имя твоё отыщут. Вот, расшифровали тексты египетских писцов на каменных стеллах, обыкновенные писцы и имена их тут же, обыкновенные записи: о сборе урожая, о том, сколько собрано в этом году пшеницы. И теперь это – огромная культурная ценность, эти тексты цитируются в искусствоведческих книгах всего мира, эти имена указываются.

Кто-то, не помню, назвал мой голос загробным. Это от глухоты. А теперь, наверное, и почище, я же стал хуже слышать и с аппаратом.

21 декабря 2001 года. Он опять заболел, температура к ночи поднимается до 39 градусов. Он лежал в кровати, я сидел возле него, он не брился дней пять, вид у него неважный.

– У меня теперь интоксикация писаниной, – сказал он, вяло усмехаясь. – Даже письма в два слова не могу заставить себя написать. Видно, всё же графомания мне несвойственна. И раньше. Но раньше у меня был целеустремлённый дух – в себя. Вот пишут в «Вопросах литературы» о Чернышевском и Тургеневе: сколько великих проблем они поставили и решили. Белиберда! Враньё! Никогда я не знал, что и как напишу, просто-напросто не мог знать. Все эти предварительные размышления, да любые установки – гибель. Кто поймал себя на установке – бросай перо! А бывает, что и не ловишь себя на этом, и пишешь, а потом оказывается – следовал бессознательно установке. Нет, единственной моей установкой было – выразить своё состояние.

Это издание «Библиотека Борхеса», я там прочитал много хороших книг. Например, сборник рассказов Бредбери: очень жёсткие, точные рассказы. Но там, где он сентиментален, написано лучше, свободней. Видно, сентиментальное – его стихия. Что ж такого. В мире существует огромная сентиментальная литература. Тут один закон: нельзя себя ни в чём ограничивать, тем более, смотреть на чужое, на учителя. И это – установка, одна из худших. Все учителя навязывают своё мышление, свои методы. Не все. Даосы, например, наоборот: учитель требовал, чтобы ученик был самим собой, каков он есть, и не был похож на учителя, только это и ценилось. А разве не тоже самое я требовал? Чтобы мыслили по-своему, а не подражали моему мышлению. А что получилось? Только самых явных – шесть эпигонов. Всё оказалось без толку. Видно, любые советы и поучения бессмысленны, если сам, изнутри, не вырвешься. А это надо таким быть. Да, вот именно: нет достаточной силы самостоятельного. Чужие формы можно использовать, конечно. Так ведь всегда во все века в искусстве: чья-то форма – толчок, чтобы что-то сделать по-своему.

Толстой – догматик, формалист, а вполне самостоятельный писатель, в чём, в чём, а в несамостоятельности его никак не обвинишь. Гончаров – тоже абсолютно самостоятельный, у него вырвалась эта его прекрасная японская книга «Фрегат «Паллада». Никто из русских не избежал догматики, даже Гоголь написал книгу поучений. Эти его советы молодым писателям звучат как самая язвительная мистификация. Что он там советует: отложи написанное на год в ящик и так восемь раз – вот тогда ты всё уразумеешь в писательской работе и достигнешь вершин мастерства. Да если следовать такому совету, то и времени писать не останется! А сам при этом каждый год выпускал по толстенной книге, они у него как грибы выскакивали подряд десять лет. «Тарас Бульба» – самая его идеологизированная книга. Ему же там надо было думать: а что царь Николай скажет, ведь идёт война с Польшей; а что Жуковский – ведь от Жуковского деньги зависят. Жуковский был единственный умный поэт за всю историю России. Пушкин, наоборот: самый глупый. Ещё глупей меня. Его же и в лице называли: простодушный. Такие и не могут быть умными, они на импульсах. Но раз такой, что его понесло во дворец к Николаю, в камер-юнкеры, когда там как раз всё противоположное – самый изощрённый ум требуется и изворотливость. А для чего ещё ум, как не для того, чтобы приспособиться? Уж как его Жуковский отговаривал. Нет, полетел на верную гибель. Дурак и есть.

Блок умный? Много у него ума в дневниках! А статьи его! «Интеллигенция и революция» – такую пошлость мог бы написать только Ленин. Блока спасло то, что он получил в наследство состояние. А то бы давно спился и погиб. А так, всё-таки, ещё прожил много лет и стихов написал. У него есть высшие озарения, стихов тридцать. Да... И тут революция – и конец ему. К жизни он приспособиться не мог. Последняя его вспышка – эти насквозь пошлые «Двенадцать», эти частушки, он и написал их, кажется, за одну ночь, такое можно писать, знаешь, хоть бесконечно. Так что выкинь ты это из головы насчёт ума Блока.

О литературе сейчас нечего говорить, потому что нет ничего нового. Да и о чём тут писать? Посмотри кругом. Ты что-нибудь видишь? Какая тут реальность? Никакой. А прозе нужны описания, декорации. Стихи – иначе, в стихах другие силы: там внутреннее напряжение, концентрация. А живопись вполне может быть вообще без каких-либо контактов с этой реальностью. У русской живописи в начале двадцатого века, наоборот, был мировой всплеск, когда она для себя вдруг открыла, что может быть свободна от реальности и спокойно обойтись без «Грачи прилетели» Саврасова или шишкинских «Медведей в лесу», без всего этого передвижничества. Один Малевич чего стоит: тут и мистика и древность переплетены, этот его супрематизм.

Ну, поэты. Цветаева же не философ, она математик. И в сочетании с её гениальной одарённостью получались мощные формулы. А Хлебников – гениальный ребёнок. Но мне теперь ни один из них неинтересен, ни один поэт, гениальный, негениальный. Говорю – никто. Всё давно перемолото. А когда-то даже Майков имел для меня некое значение: ну как же – Эллада! А у греков философы – сколько чудиков! Анаксагор ходил, глядя только на небо, только небо его интересовало, и постоянно падал. Эмпедокл – в пурпурной мантии, сын царя. Как это его медные сандалии выбросило из Этны? Они же должны были расплавиться! Враньё! Гёте для меня нуль. Для меня ведь и Данте ничего не значит. Эти его круги от Каббалы. Но мы же Каббалу не знаем. Да и зачем?

Героев всегда стараются снизить до своего мешанского уровня, как, например, Дон Жуану приписывали мешанский конец жизни: что дожил до старости, обрюзг, одряхлел, стал благочестив, молился и так далее.

Раньше люди постоянно пели. Я в юности всё время пел, и в армии, при самых тяжёлых условиях, солдаты пели! И как пели! Я всё время пел арии из опер.

Единственный город, который повлиял на меня, так, что я стал писать по-другому – это Париж. В 1965 году, в первый мой приезд. Да, изменилось образное восприятие. В Париже и воздух мне тогда казался какой-то особый, какого нет ни в одном городе, сиреневый такой. Париж тогда ещё не был заново покрашен, ещё старый, здания тёмные, писсуары эти везде, огромный мясной рынок в центре, и поразили деревья с огромными круглыми листьями. Наверное, вид платана, но я нигде больше не видел, а конец октября, и эти огромные листья срывались с сучьев и летели в воздухе. Когда я приехал во второй раз в 1971-м – Париж уже был не тот, покрашенный, писсуары убрали, рынок тоже, быстро эти всюду, американизация.

За последние пятьдесят лет мир изменился больше, чем за пятьсот с эпохи Возрождения, из-за всей этой технологии, резко изменился и в жутко худшую сторону. Я машины терпеть не могу, они мне абсолютно не нужны.

27 декабря 2001 года. В лесу бело, пушистый снег, ели запорошены. Дорожка протоптана узкая.

– Операция назначена на четырнадцатое января, – сообщил он мне. – Дальше тянуть нельзя. Убьют – лучшего и не надо, очень удобный случай улететь и покинуть этот мир. Улечу, и все тут вздохнут с облегчением. Пушкина после смерти пятьдесят лет не печатали. Да, его гений давил их. Никуда уж я не поеду. Любая страна вызывает у меня отвращение. Да и куда ехать? Писатели сплошь бездарные и завистливые. Что я там буду

делать? Лев попадёт к мышам. Да ещё сидеть в этой бетонной клетке изо дня в день, мне, человеку, который всю жизнь бежал из дома, жил вне дома. Но самое ужасное, что от глухоты я стал видеть людей насквозь: кто есть кто. Вот где жуть! Ничего нет омерзительней. Это, знаешь, как у Пушкина: «Посадят на цепь дурака и сквозь решетку, как зверка, дразнить тебя придут». Вот что ужасно! Но ведь так и есть.

Я сразу не мог сходиться с писательской братией. Они чувствовали, что я среди них чужак и сами всегда сторонились. Единственно, кто был ко мне привязан – Рид Грачёв. Мы с ним четыре года жили в одном доме. Вот он любил общаться с писателями, они к нему со всего города съезжались, и он их учил уму-разуму. А как начались у него эти залёты в сумасшедший дом, так все друзья-литераторы исчезли, смыло до одного. У Рида громкая слава была, но очень короткая. Он раньше меня прославился, статьи печатали в литгазете, первый перевёл Экзюпери, он же блестяще знал французский. Но это был недолгий взлёт, в хрущёвскую оттепель. Потом Рид опять упал. Он просто совпал со временем на пару лет. Вокруг меня ведь тогда много людей крутилось, а после крушения в Тарту тоже, как и у Рида, все пропали. Решили: ему конец, не выкарабкаться. И два года я был абсолютно один. И всё же я, не оправдав их ожиданий, выкарабкался. И тут же все опять появились. Я простодушный, конечно. Вот таких дураков и учат. У меня же нет жажды жизни и никогда не было. Я самоубийца, я всю жизнь шёл на самоубийство. У меня была только жажда писать. Да, эта жажда писать, как тяга к самоубийству. Камикадзе. Потому что так писать – риск, опасность, так писать – это битва с самим собой насмерть. Враг себе. Да, сам себе – злейший враг. Поединок с собой.

В моей книге «Башня» есть эпизод: смерть императора Кузоева. Я нашёл это на Южном кладбище, там похоронен мой приятель Игорь Козоев, учитель танцев. Высокий-высокий, кудрявый. Ты должен его помнить, он несколько раз заходил ко мне. Так вот, там у входа на кладбище огромная статуя, женщина с младенцем, а на постаменте надпись: «Родина зовёт». Я даже глаза выпучил. Куда Родина зовёт? Ведь туда, на кладбище! Туда всех Родина и зовёт! И никому ведь и в голову не приходит. Один я заметил. Это какая же должна быть Родина?

Скоро стемнело. Мы шли одни в лесу. Он пошатывался, в длинном до пят пальто, в кожаной шапке, похожей на шлем, мрачные, неподвижные глаза.

– Знаешь, а мне понравилось это посмертное стихотворение Володина в газете, – вдруг сказал он, повернув ко мне лицо. – Оно ведь злое: "Забудете меня. Но и я вас всех забуду".

2002 год

3 января 2002 года. У него измученный вид, красные веки.

– Страшная бессонница, – пожаловался он. – Всю ночь не спал. Попробую, всё-таки, пойти гулять, сколько смогу.

Мы вышли и медленным шагом направились по улице в сторону леса.

– Кто был настоящий герой, так это мой отец, – сказал он. – Сумасшедший он был, наверное, не знаю, что за психика, броситься в смертники, и если бы за какие-то блага или вера в коммунизм, патриотизм, как у других, а то ничего ведь этого, просто так, по стремлению натуры. Самое главное в войне – это бесконечное говно. В прямом смысле: моча, кровь, вши и голод. И что об этом писать? Вот и не пишут. Пишут всякую ... Ой, как я ненавижу эту страну! Я же не имею к ней никакого отношения. Живу как на чужбине. И по биографии, и по всему. Понимаешь. Только язык.

По пути мы зашли в закусочную. Четыре грубых деревянных стола, лавки, красномордые пьяницы что-то едят. Он к ним низко наклонился, разглядывая содержимое тарелок. Пьяницы мрачно покосились.

– С уксусом это блюдо? – спросил он у них.

– Нет тут уксуса! – ответил злобно один из пьяниц. – Очень вкусная жратва, без всякого уксуса. А что, язва, что ли? У меня тоже язва! Подумаешь, плевать мне на язву! Что хоч, то и жру!

– Нет, всё-таки, уксусом пахнет. Как ты думаешь? – спросил он меня, когда мы отошли в сторону.

Выпив по чашке чая, пошли в лес. На дороге налетел ветер, морозный, резкий, с деревьев, взвиваясь, сыпался и несся на нас снег, затмевая завесой путь.

– Я был снят в роли молодого князя Чавчавадзе, – стал он рассказывать. – Меня ведь снимали во многих фильмах. Я в роли себя, то есть я сам. Тогда мода была вводить в фильмы знаменитых людей. Одна-две минуты съёмки. Я там очень хорош был – в коричневом бархате, кудри до плеч. Режиссеры в Париже тогда были сильные, фильмы делали высочайшего класса, абсолютные кадры. Эти режиссёры ещё пытались удерживать условность в кино. А потом от американцев пошла установка на естественность. Это уже смотреть невозможно, жуткая пошлость. Боевики их шаблонные, по одной схеме. В искусстве не может быть естественности. И всё. Кино покатилося. Как в коммунизме. Здесь ведь тоже была установка на естественность. А французская школа долго удерживала условность. У нас, да, один Параджанов. Но он тут никому не нужен. Говорил напрямую, публично, что думал. Так тут люди и

погибают. Смоктуновский там, на Западе, мог быть великим актёром. Он очень разнообразен: мог играть и придурков и героев. Он здесь единственный. Хороших актёров много, но такой один. А вот, видишь, низведён до ролей... Люди ужасные существа. Мир на глазах меняется. Уже этого мира мне не выдержать. Так тошно, что хоть вопи.

Среди поэтов психопатов и шизофреников очень много, три четверти. Это не от стихов, а врождённое. Самая паршивая среда – поэты и писатели. Что они мечтают? Патриоты! Никому их патриотизм тут не нужен. Ты ходишь в свой Союз писателей? Что они там делают? Обсуждают свои произведения? Я никогда не ходил, никогда не обсуждал. Это глупость. Написал книгу – бессмысленно о ней говорить, она состоялась. Ты же её из-за этого говорения не изменишь? Она уже написана. Всё равно, что родить ребёнка и принести обсуждать.

Наступили сумерки, мороз сделался сильнее, ветер срывал снег с елей. Мы повернули назад.

– Снижение психики этого молодого поколения, – сказал он. – Снижение способностей и есть снижение психики. Ты понимаешь? А что тут понимать. Здесь поэтов по сто лет не было. Писать-то писали много, а поэта ни одного. Понять-то не трудно, но это не мой мир.

Мы прошли заснеженный садик и остановились у двухэтажного здания с трубой, может быть, котельная.

– Володин перед смертью написал прекрасное стихотворение, – Он повернулся ко мне лицом, неясно видимым в полумраке. – У Володина много написано, но всё жуткое дилетантство. А вот только это одно. Я даже вырезал его из газеты. Да, Дино Буцатти, «Татарская пустыня», не выходит из головы. Фильм сделан жёстче. А тут, в книге, конец очень патетический: умирает в каком-то подвале и борется, видите ли, со смертью, как герой. От болезни умирает. Ну и с кем он борется? Смерть есть смерть, для всех одинакова. Чепуха, враньё. Конец напыщенный и литературный. Всё проще. Люди более или менее думающие (их миллионы) приходят к концу жизни к сознанию: что вся их жизнь прожита впустую. И всё равно, как умирать: на постели или на коне, героем или трусом. Между героем и трусом невелика разница. И никто не знает, что останется. Номенклатура переписывает историю по-своему, героев делая трусами, трусов героями. Самые великолепные книги, неудобные новой номенклатуре, переписываются бездарными писателями. И так всё уничтожается. Слава! На века!... Чепуха. Вавилонские сказки до нас не дошли, это – перевод арабов, "Тысяча и одна ночь" – развлечение для публики. А то, что это перевод с вавилонских сказок, знают только единицы. Вот и Володин написал своё стихотворение. Там у него: "Вы все забудете меня, вы все забудете меня, вы все забудете меня, но помнить вы должны о том; и я забуду вас, и я

забуду вас, и я забуду вас"! Так повторяется трижды. Звучит, как заклинание. Володин ведь был злой человек и пройдоха, писал сентиментальные пьесы и для кино: "Пять вечеров", "Фабричная девчонка", в общем, что требуется. Наверное, убили в больнице, не преднамеренно, а – неправильный укол. Ему же было восемьдесят.

В двадцатом веке дали сто нобелевских премий за книги. Шолохову за "Тихий Дон", премию дали в 1960 году, кажется, а книга написана в двадцатые годы. Единственная его книга, все остальные у него резко отличаются от этой. Да и это что за книга! Взрослым её читать нельзя. Для детей – казаки, шашки.

9 января 2002 года. У него на кровати раскрытая книга.

– Третий раз перечитываю "Разговоры с Молотовым", – сказал он, заметив мой взгляд. – Умный был человек. Вот какие книги надо читать! А ты всё Мопассана.

Вышли на прогулку. Солнце, голубое небо.

– Хочу опубликовать мои ранние стихи, то, что нигде не печаталось, – сообщил он. – Все подражательные и плохие стихи я сжёг ещё во Львове. После "Слова" я писал только зрелые стихи. Но я ещё не вышел на свой прямой путь, ещё было много шатаний, дух мой не укрепился. Вот – стихи этого периода. У Дюрренматта самое лучшее под конец жизни, написанное классически, без этих формальных загибов. Он же был главный формалист в Европе. Все эти формальные загибы очень похожи. А тут классическое, а, значит – непохоже. Для меня такое невозможно, то есть – прозрачность письма. И это моё неопубликованное – только чуть попрозрачней, чуть менее напряжённо.

Я написал ему в блокноте по этому поводу: "Дюрренматт освободился от необходимости быть формалистом".

Он покачал головой:

– Нет. Он освободился от необходимости жить!

Брели по лесной дорожке. Тихо кругом.

– Всё, что сейчас делается в литературе – не о чем говорить, – он махнул рукой. – Но я ведь и себя считаю говном. Вот Хлебников, да, действительно, в двадцатом веке огромное открытие. А ставить себя рядом с Шекспиром вообще смешно. А с Библией. Да ну. Один Иоанн чего стоит. "Откровение Иоанна"! До его накала мне далеко. В Библии нет описаний, только действие. А у Гомера, наоборот, полно самых детальных описаний. Но какие это описания! Какой там могучий дух! Библия же написана стихами: там и ритм, и звук, и всё, только без рифмы. Да, и моя проза подобна этому, тоже ритмизована, но сила не та, куда там. Даже философское, "Книга Эклесиаста", в начале "суета сует", банальности, но в конце книги какие вдруг вырвались мощные образы,

это: «Доколе не порвалась серебряная цепочка и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем». Я этот образ у себя использовал. Может быть, и эта "суета сует" в оригинале не так поверхностно звучит, а как-нибудь иначе, как-то через звук, другие смыслы подключены. Согласен: там всё через звук. Древние обладали могучим духом, который утрачен навсегда и для нас недостижим. Как, например, не поняли Маяковского современники его, тот же Кручёных. Пишет о последней гениальнейшей поэме Маяковского "Во весь голос" – что она слезлива, что Маяковский потерял себя и опустил до всхлипов. То есть, Кручёных был слеп, ничего не увидел, не понял. Если бы он один. Все. Помешали увидеть детали современности, заслонили главное. А Маяковский поэт апокрифический, за этим стоит тайный дух, он же в шестнадцать лет в тюрьме Библию только читал целый год (ничего, кроме Библии, там из книг не полагалось) и впитал её в себя на всю жизнь. Его "Во весь голос" – это высшее напряжение отчаянья. Такой силы отчаянья больше ни у кого в русской литературе нет. Разве что в моих книгах. Вот когда такое напряжение отчаянья, тогда и начинаешь говорить напрямую, вплоть до мата. А деталей современности и в Библии полно, только там они удалены тысячелетиями и выглядят мифически, да ещё внушено: что великая книга.

Сегодня в шесть утра приснился жуткий кошмар, такого ещё не бывало, потому что резко реально, словно наяву. Пожалуй, это и не сон, а самая настоящая галлюцинация. Будто бы я достал пистолет из-под подушки и пошёл на кухню, там – восемь человек в пиджаках. Объявляют мне: "Ты нас предал. Поручено тебя шлёпнуть". И я чувствую, что так и есть, что на самом деле предал, и вину свою чувствую, и это мучительно. Но я предупредил их и стал в них стрелять. Прикончил всех до одного. Картина страшная: сажу на табурете за столом, кругом кровь, лужи крови, и трупы эти лежат. Вернулся в комнату, лёг в постель и уснул. Мне присуще чувство вины, очень сильно, а чувство вины, когда оно чрезмерно, это ведь один из видов шизофрении. Я даже спрашивал академика Ушакова: может, я сумасшедший? Пушкина тоже считали сумасшедшим, Тютчев о нём писал: "Безумье жалкое живёт". А ведь Пушкин первый напечатал в своём «Современнике» двадцать лучших стихотворений Тютчева и назвал его гениальным поэтом, то есть – открыл Тютчева. Вот Тютчев таким образом и отблагодарил. Тютчев целиком рационален, но поэт же, мог бы догадаться, что такое Пушкин, что это не безумие, а другое, что это мистика.

Новая книга в голове крутится. Я ведь ни в одну из своих книг не мог заглядывать. Написал, отбросил подальше, всё, уже думаю о новой. Жду, когда придёт новое состояние и будет писаться по-другому. И не то, что по-другому писать, а поверить в себя другого.

Апокрифы можешь забрать. Перевод дрянь. Лишний раз убеждает в том, что нельзя древние книги давать переводить нашим журналистам. Они переводят смысловое, информативное – вот их установка. Так что ж ты хочешь. Только апокриф Иоанна: там он несколькими максимами доказывает, что Бога отца не существует. Но, действительно, если есть внутри нас что-то неземное, то это – дух, и понятием духовного всё исчерпывается, и тогда Бог не нужен. Такие – или дух даётся врождённо, или не даётся. Да, у китайцев об этом лучше всего сказано. А это письмо ессеев! Как они стараются всеми силами снизить Христа, снять с него божественность! Да, очеловечить, объяснить по-мещански.

Наступили сумерки, синева неба ясная. Золотистая заря сквозит вдали за чернотой чащи. Первая звёздочка зажглась. Мы одни на дороге.

16 января 2002 года.

– Этот Берроуз – великий писатель, – сказал он, когда мы вышли из дома. – Есть три известных писателя с этим именем: один негр, другой араб, этот – американец, Уильям Берроуз. С юности, с семнадцати лет – наркотики, дошёл до высших, тоже – призвание, бежал из Америки в Алжир, в Танжер, кажется, откуда Камю, там и жил много лет, на дне, там ему никто не мешал. Что ты! Это очень сильный дух вложен во все клетки, он и требует! Специально это в себе не создашь. И сам же себя из наркомании вытащил, что удавалось только единицам. Какой-то врач в Лондоне начал практиковать свой метод: или вылечишься, или смерть. Вот Берроуз и полетел в Лондон. Вылечился. Написал книгу, где описывает все эти состояния: галлюцинации и прочее. Ни одной женщины, и не гомик. Видно, не до этого было. Его призвание – наркотики, всё остальное отбрасывается. И дожил до восьмидесяти трёх лет.

Не буду писать о войне, это я рассказываю по пути, раскрашиваю картинки, и не раскрашиваю, а идеализирую, если раскрашивать, то всё это будет цвет говна. Написано же во всех древних книгах, и в Библии (Библия ведь воинственна, милитаристична), и в Ведах: что с войны никто не возвращается, ни с той, ни с другой стороны. Выигрывают только властители. Зачем мне писать о войне напрямую, этот воинственный дух во всех моих книгах, начиная со "Слова о полку Игореве", и у меня воинственней, агрессивней, чем в самом "Слове", там мягче. Да, это главная струна моего духа.

Почти вся моя биография – в "Доме дней". Но в эту книгу ведь вошла только треть от всего объёма написанного. Остальное лежит в папках в шкафу. Не ввёл в книгу, потому что там не мой уровень. Там на стадии описаний, толстенный том, вся моя биография. Видишь, в книгу вошло только то, что перевоплотилось. Описание – не мой метод. Но это

не значит, что то, что я не ввёл, плохо написано. И там сильно. Эта проза какому-нибудь писателю могла бы составить имя. Как, например, поздние стихи Пастернака, они ведь только относительно "Сестра моя – жизнь" – говно, то есть в системе самого Пастернака. А так – это же высочайшее мастерство! Что ты! Любой поэт с этими стихами мог бы составить себе блестящее имя. Но "Сестра моя – жизнь" – недостижимое. Это же чисто интуитивная книга! Там и музыка, и живопись, и бог знает, что ещё! чтобы понимать эту книгу и написать о ней, надо этой книгой жить. А кто может жить ею? Никто! Надо быть равным! Только Цветаева и написала об этой книге, равная.

Но вот о Маяковском она увлеклась метафорой: что в кепке он похож на рабочего. Верно, похож. Поэт пролетариата. И сам себя он постоянно называл: рабочий пера. Но это он уже фельетоны писал. А посмотри: у Маяковского ведь очень красивое аристократическое лицо. Он ведь во всех своих книгах пророк. Его последняя поэма «Во весь голос», вся – ирония и сарказм. А прочитывают поверхностно, как будто он там большевизм восхваляет. Какая чушь! Там не о большевизме речь, плевать ему было на этот большевизм. Он там себя поднимал! Как у меня Рим. Это же не о Риме я пишу, а о себе. Рим – это я сам. Так и Маяковский, у него же там напрямую: «Неважная честь, чтоб из этаких роз мои изваяния высились по скверам, где харкает туберкулёз, где блядь с хулиганом да сифилис». Хорош большевизм, как видишь, это ж современная ему жизнь. И потом, конец: "Явившись в Це Ка Ка идущих светлых лет, над бандой поэтических рвачей и выжиг я подыму, как большевистский партбилет, все сто томов моих партийных книжек". Тут же пик сарказма и отчаянья: не партбилет, не парткнижки – а это он сто томов своих книг поднимает! Своих!

Да, многие тогда оказались зачарованы революцией. Собственно, все высшие: и поэты, и философы, все люди духа. Это у них был абсолютно искренний, чистый порыв. Это работают веками отобранные гены, они и думают, и они всегда готовы к бунту. А бунт – самое справедливое дело на земле. Вот и кинулись они в революцию. Многие даже из Европы вернулись, и не смотреть, а самым непосредственным образом участвовать в революции. Шагал, например. Эренбург, и тот примчался. Да многие. А Маяковский – уж само собой, революционер с шестнадцати лет. А потом, к концу двадцатых годов, когда уж стало абсолютно ясно, кто у власти и что это такое, было уже поздно.

Видишь ли, из моего многолетнего опыта ведения литературных кружков я вынес: что, как правило, приходят уже сложившиеся, с вполне профессиональными, мастерскими стихами, но у них ни у кого не было того, что я однажды назвал, а теперь все критики повторяют – божьей дрожи художника. Организм ещё не созрел. Как, например, Пушкин: он

же сразу стал писать абсолютно профессионально. И эта его царскосельская ода Державину на выпускном экзамене в лице: знал, что будет Державин, и сочинил соответственно. Стихи пустые, но сделаны совершенно. Профессионализм, мастерство – это данность, без чего нет писателя и говорить вообще нечего. Но это – нуль. У одарённого и графомана напряжение одинаково. У графомана ещё и больше, потому что он чувствует себя ущемлённым: непризнан и прочее. Как он может создавать, что он бездарный? У него нет сомнений на свой счёт. Это у человека со способностями – сознание и сомнение. Есть способные писатели, настоящие профессионалы, вот как Ляленков, но что же делать, если бог не дал им одухотворённости. У них правда, они правдолюбцы!

Это болтовня от глухоты. Идти и молчать? С тоски сдохнешь. А до сорока пяти лет я говорил очень мало, я больше любил слушать. Тогда ведь многие очень интересно рассказывали. В этом домике лесник живёт, – он показал рукой на горящее в темноте окно. – Вон, вдалеке, видишь, чёрная лошадь прошла с брёвнами. Эта знаменитая "Исповедь" Руссо – ни буквы правды, всё сочинил. Почему сочинил? Да потому, что у него была самая обыкновенная, мещанская жизнь, писать не о чем, скука, вот и сочинил себе всякие там грехи и подвиги.

Ты этого Берроуза за три дня прочитаешь, книга маленькая, но быстро приедается, потому что Берроуз резкий стилист. Такой же резкий стиль у Зошенко. Однообразно. Не могу читать. "Одесские рассказы" Бабеля – тоже. А вот его пьеса «Закат» – другое дело. Платонов разнообразней, у него не один стиль – три-четыре.

23 января 2002 года. Говорили о книге Берроуза «Голый завтрак», которую я прочитал по его совету.

– Да, но ведь Берроуз к сорока годам излечился от наркомании, – заметил он. – Может быть, он и вообще бы не стал писателем, не пройди он через этот опыт. Наркомания дала ему такую могучую новую тему, какой ещё ни у кого не было. Книга написана мощно, но, конечно, перебор. А иначе и быть не могло, когда так сконденсировано. У меня тоже во всех моих книгах перебор.

Вышли из дома, мутный день, оттепель, скользко, дождь моросит. Он стал рассказывать:

– В детстве я играл в карты со взрослыми, с генералами, окружение отца. А ведь первое правило мастеров: никогда не играть с ребёнком. Беря карту, я, не глядя, уже знал её. В детстве ещё не испорчен недоверием к себе, интуиция ещё чиста. Настоящая игра в карты – там, где требуется сила психики. Вот, скажем, покер. Нет, что ты, теперь и думать нечего садиться играть, это доверие к себе и интуиция почти утрачены. Это в картах. А в книгах – да, вот в книгах ничего не утрачено,

эта интуиция неизменна и безошибочна с самого начала и до сих пор в той же, можно сказать, первозданной детской чистоте. В этом смысле, да, я вечный ребёнок, как выразился один критик, но он имел ввиду другое. Он не понимает меня на сто процентов. Пишет: "весёлость ребёнка, выдумка, затейник". Всё ложь. Весёлость мне неприсуща. Я человек такой породы, что не могу ничего выдумывать. Это беллетристы выдумывают, вот они-то и есть затейники. Путают понятия. Я не выдумываю, я мистифицирую. У меня же всё абсолютная правда, но я перевоплощаю факты так, что они преобразуются до неузнаваемости, так, что мне не верят. А это и есть искусство. Возьмём даже малоталантливых. Совсем без таланта брать нечего, они же не понимают: что и как пишут. Они всегда пишут о-чень серьёзно! А вот даже малоталантливые в своих книгах свободнее, чем в жизни, потому что хоть что-то да фантазируют. Ну, фантазировать теперь стало низкое слово. Назовём: перевоплощать факт. А это ведь переходит и на жизнь. И то, что я тебе на прогулках о себе рассказываю, и это – перевоплощённые факты. Но при повторе они перестают быть интересны. Интересно только в первый раз, первоначально.

Говорили же мне: «Вы человек психики крайне индивидуальной и причём крайне экстремальной, вы не уживётесь с мешанами». Вот я, в пределах книжных, в пределах человеческих, ну вот такой экстремист, а тут, в этой стране – все рабы, сверху донизу. Вот, Марлен Дитрих, скажем. Красота не главное, красоток миллион. Но – новый тип! Она оригинальна: подслеповата – и это играет, она и с юмором, и с ядом, и вместе с тем нежная. Ладынина ведь не красавица, но много юмора, много шарма, очень живая. Мы с ней подружились, она на двадцать лет меня старше. Сталин был человек кастовый, сакральный, он не мог смешивать касту уголовников с кастой интеллектуалов, они в лагерях содержались отдельно. Такие, как Че Гевара, Спартак, Гарибальди: это человек, располагающий самим собой, отважный, рискующий. Я ведь очень наивный человек. У моей матери были золотистые волосы, и я считал, что они у неё такие от природы. А в гробу увидел, что волосы у неё чёрные, чуть-чуть с проседью. Значит, крашенные были, красила в золотой цвет.

Я и тогда почти пел свои стихи, не так, как сейчас, пою полностью, а тогда у меня был странный такой речитатив, магнетический. Просто читать я ведь никогда не читал. У меня был медленный голос, а на сцене это не звучит, вот и выработался, интуитивно, такой речитатив. Да ещё эти эстонские гусли. Нужно низко сидеть, но и это было оригинально. Вообще я тогда в Париже производил сильное впечатление, зал всегда был полон, по сборам я был на втором месте после Эдит Пиаф.

Недавно была прекрасная передача по телевизору: об индийских храмах. Какое великолепие, шесть тысяч лет стоят! А наши постройки и ста лет не продержатся. Книги – всё равно что сигарету выкурить. В какой среде они сохраняются? В воде рыбы сожрут; в земле – сгниют в прах; в воздухе – тоже; в книгохранилищах – сгорят. Сгорела же Александрийская библиотека и наш БАН. Бесценные, уникальные рукописи. Всё погибнет и поэтому всё безнадежно. Разве что на камне писать, зубилом. Но сколько так выдолбишь? Страницу за десять лет каторжной работы? И где? В Андах, в Бразилии? У нас же и гор-то настоящих нет. Урал – не горы.

Люди смешны со своими амбициями. Слава, величие! У всех эта тяга к славе. Я никогда ни о славе, ни о величии не думал. Важен процесс, чем захвачен. И Шекспир не думал ни о каком величии, видно по текстам. Купил дом в сельской местности, чтобы спокойно пожить, и сдох. Люди утратили духовность. Чтение Библии привело к потере веры. Вера – это тайна, сокровенное, сакральное. А тут – прочитал, всё понятно, покров снят, тайна исчезла, и на этом кончается христианин. Прекращение веры ведёт к падению психики, а, значит, и всего. Когда во что-то веришь, ты сильный, а не веришь – ты ничто. Люди всё слабее и слабее оттого, что ни во что уже не верят. И в себя уже не верят. И деньги, деньги, деньги! Это конец! Норманны верили в Вотана, это был воинственный бог, считалось высшей честью и счастьем умереть с мечом в руке, и величайший позор – умереть без меча. Поэтому норманны и не боялись смерти. Да, и самурай. Это психика древних. И как с тех пор изменились люди! Вся литература девятнадцатого и тем более двадцатого века наполнена не то, что страхом, паническим ужасом перед смертью. То есть все стали трусами.

Отчего такая яркость живописи в двадцатом веке, этот импрессионизм, особенно его вторая волна? Объяснение одно: люди стали слепнуть. А что же ещё? Живопись Возрождения была многоцветная, но приглушённая, этой яркости не было. Китайцы удивлялись, увидев впервые европейскую живопись: отчего она такая яркая? Слепые тут все, что ли?

Хорошо бы устроить что-нибудь вроде академии перипатетиков, как у Платона: чтобы у меня были прогульщики на каждый день, я бы им читал лекции на любые темы, кого какие вопросы интересуют, в том числе и литература, а мне бы за это платили. Но, увы, ты один прогуливаешь меня раз в неделю и бесплатно слушаешь мои речи, вернее, я тебе плачу за работу своими речами, а ты ещё и недоволен. Беда в том, что я уже не могу ни одной человеческой рожи видеть. Я тебе рассказывал об американском миллионере, с которым я был знаком? У него развилось отвращение к людям и вообще к жизни: не мог видеть

людей, не мог есть. Жил на острове, не выходя из дома, заперся в комнате, год провёл в затворничестве, слуги приходили к нему в масках. Ну, маски! – он усмехнулся, – это пример моего перевоплощения фактов. В общем, когда этого беднягу привезли в больницу, было уже поздно, организм отторгал любую пищу. А ведь он не был старик, лет сорок. Я теперь часто о нём вспоминаю – с ужасом.

31 января 2002 года. Мы стояли в прихожей у двери, одетые для прогулки, в пальто, в шапках, он с жаром говорил; мрачные, карие глаза блестели:

– Они не были прагматики, они были мистики, и Гитлер, и Сталин! Иррациональны, не могли предугадать, ни тот, ни другой, что с ними случится. Последние мистики, игроки.

– В русской литературе очень мало юмора, – сказал он, когда мы, наконец, вышли за дверь. – У Ильфа и Петрова этот их «Остап Бендер» – хорошая, все-таки, книга. Правда, фельетонного типа. Да нет, всё-таки, это проза – там много условности, в диалогах.

На улице светло, солнце, мороз, снежок летит. Он продолжал говорить с воодушевлением:

– В моих книгах тоже ведь много элементов сатиры, начиная с "Летучего голландца". Даже в рассказе о лягушке, да, «История одной любви». Там ведь всё правда, действительно была лягушка, которую я кормил, на хуторе у фрау Эльзы. Читают – смеются, но постепенно смех пропадает, рожи мрачнеют, и в конце – потрясение! Никто не ожидает такого поворота. Нагнетается, нагнетается странность, причудливость и вдруг – такой ужасающий, чудовищный и непонятный конец. Да, и кожаный диван был реально и я даже хотел его купить. Вот, видишь, ещё пример, как у меня перевоплощаются факты. И ритмом, и иронией, и фантазией – реальное событие совершенно преображается. Выдумывать я не умею. Трёхногий человек, что ли? Вот так выдумка! Но этот метод быстро исчерпывается. У меня вообще всё быстро исчерпывается. Да, метод восприятия исчерпывается. Почему и все книги у меня разные, и каждая книга – новый стиль, хоть подписывай именами разных авторов. А то и в одной книге метод меняется: сразу несколько стилей. Кстати, тоже у Гоголя: ни одна его книга не повторяет другую, словно писал новый автор. Меня читать не будут. Кто сейчас читает Гоголя? Не из-за сложности восприятия, а мы видим, что они ищут и что читают. В лучшем случае Евтушенко и ему подобных.

Я тебе уже не раз говорил, в литературе очень много жанров: и мемуарный, и эпистолярный, и дневниковый. Японские дневники тысячу лет назад написаны, а до сих пор звучат, и их долго ещё будут читать. А вот романы Гюго – сомневаюсь. Вот кто действительно – забавник. Но

стихи его – дело другое. Прекрасные стихи. И рисунки пером. О, это блестящие рисунки! Высшего уровня! И при его жизни были оценены лучшими художниками того времени во Франции. Шалапин, и тот рисовал себя, размашисто так. И Нижинский себя рисовал. Но Нижинский художник никакой, рисовать он совсем не умел. Его автопортрет хранился в музее Хореографического училища. Я чуть было его не украл: сделал точную копию и подговорил одну балерину, с которой у меня тогда был роман, выкрасть оригинал. Это никакого труда не представляло, музей никак не охранялся, никто туда не ходил, и подмену бы не заметили. Но почему-то это дело не состоялось.

8 февраля 2002 года.

– Я стал похож на древнего грузинского царя, – сказал он, глядя на себя в зеркало. – Бороду ещё побольше отрастить, и буду вылитый грузинский царь. Самоубийство Маяковского – тут всё в порядке, достойно уважения. Да, в стихах он герой, само собой разумеется, иначе и быть не может. Это такого типа энергия, то есть – энергия таланта, она-то и диктует власть. Талант и означает героизм: что в своём деле ты герой. А в жизни, может быть, наоборот: трус из трусов. Талант и есть – власть. Талант властвует и над твоими стихами и над тобой, и над всей твоей жизнью. Бывают и совпадения: и в творчестве герой, и в жизни – не меньший герой. Ну, Лермонтов, вообще редкая фигура.

Вышли. Мутный день, оттепель, гололёд, поддерживаю его под локоть. У домика лесника едва не упали.

– Всё равно что по катку гулять, – заметил он сердито. – Видишь ли, я не могу жить в покое, вся моя жизнь в напряжении, психика напряжённая, а, значит, в чём-то да талантливая, не я один, у многих. Почему все маленькие такие крепкие? Пикассо был маленький, а глазищи – во! Во всю рожу, бешеные! В старости он перешёл на изготовление фарфоровой посуды, завалил чашками всю Францию. Дожил чуть не до ста лет. Пушкин тоже маленький был. И Лермонтов был малютка. Вот загадка природы!

Мать мне говорила: ты будешь зверь, как твой отец. В отце было что-то уничтожающее. Вежливый, деликатный, но от него ужасом веяло. Меня он ни разу не ударил, но я его жутко боялся. Кто его не боялся! Кулак – человека запросто мог убить. Все старики вспоминают своё детство. Да, Рид Грачёв написал о своём детстве. Он же круглый сирота, детдомовец. Эта его книга "Ничей брат" – прекрасная книга. И тон у него там взят великолепный: жёсткий, никакой жалости к себе. Настоящий мужской тон.

Самая большая потеря, невосполнимая – Лиля Брик. У неё же никогда не было детей. И тут я: юный, красивый, гений. Я был как сын

ей. Она же была женщина во всех смыслах, аристократка, все женские капризы и женские истерики, и плакала при мне, бывало. Ходили с ней на почту получать деньги от Арагона, она в этой своей норковой шубке, всё ещё красивая, а ей ведь уже семьдесят было.

Который час? Четыре? – спросил он. – Вот видишь, точно определил. Я никогда не носил часы, они мне были не нужны: всегда и так знал время, с точностью до минуты. Такая способность. Теперь бывают сбои, могу ошибиться на полчаса.

15 февраля 2002 года.

– Ещё раз перечитал Берроуза, – сказал он. – Потрясающая книга! Сколько энергии у этого парня! И прожил восемьдесят один год. Не то, что герой; не герой, а это врождённый смертник, камикадзе. Я ведь тоже врождённый смертник, разрушал себя всеми способами. Всегда тянуло к смертельному риску. Вчера смотрел фильм из старых американских, с Брюсом Ли, вперился в экран и не оторваться. Ведь кунфу – это только смерть. Все фильмы Брюса Ли – это собственно и не бои, а балеты. Как он там летает! Молния! Это как Нижинский, прыжок хрен знает куда! От Нижинского остались только кусочки плёнки. От всех великих только кусочки. Зато говно остаётся всё полностью. Брюс Ли – о! ты бы видел! Он безумно изящен: маленький китаец, никаких мышц. И это его выражение лица: знает, что непобедим в мире. Ли Чанг тоже – приятный. Но этот приятный, а тот – гений, и я бы сказал, зловещий. Никогда не смеётся. Буддизм это ведь готовность умереть, прекратить цепь рождений. У них нет страха смерти. Европейец никогда не будет буддистом. Там две с половиной тысячи лет мальчиков учили борьбе и смерти. Этот отбор в генах. О чём говорить. Брюс Ли – второго такого уже не будет. Он абсолютно свободен, каждое движение свободно, такая, знаешь, кошка, пантера. Я тоже был свободен в движениях; не только в книгах свободен, и в жизни тоже. Сейчас нет, почти всё утрачено. Да, Брюс Ли, это такой запоздалый авангард высшего класса. Как Пикассо, эта стремительность линий, энергия гения. Нынешние художники и понять-то уже не могут, что такое Пикассо. Сейчас художники все размагничены.

Ну, если брать критерием мои книги и мою психику, то надо только меня одного и оставить от всей современной русской литературы, потому что всё остальное окажется говном. Чтобы меня оценить, надо быть равным и по знаниям, а главное, по психике, по стремительности. Таких нет. Тогда и от всего так называемого золотого века русской поэзии надо оставить одного только Пушкина, а всех остальных выбросить, в том числе и Жуковского. Пушкин – это было явление молнии на фоне говна! Вот кто был абсолютно свободен во всём! В этом смысле он выше и

Гоголя и Лермонтова. У Пушкина всё летит горит, звенит! Только одно стихотворение у него вялое – этот его «Странник». Перевод. Потому что взял ритм оригинала, а не тот, что сам хотел. Пушкина не переводят до сих пор нигде. Не понимают. Нет равного, чтобы понять и адекватно перевести. Тут, знаешь, нужен двойник. Только «Евгения Онегина» перевели чуть ли не на все языки мира, потому что там этнография, сюжет. А вот стихотворения его перевести никак невозможно: потому что там нет никаких смыслов, там одна только музыка. Тем более никаких смыслов нет в "Сестра моя – жизнь" Пастернака, там только музыка и живопись. "В трюмо испаряется чашка какао". Ну, как это переведёшь? И это стихотворение ещё не из самых хлёстких. Сначала Пушкину пытались подражать, потом и подражания заглохли и иссякли. Потому что пошли уже смыслы, то есть фелъетоны, Некрасов. А Пушкин стал не нужен. Что они и у Пушкина ценят, как высшее у него: "Пророка" или "Анчар".

Меня противопоставляют Алексею Толстому, а я его как раз люблю. Кроме его пьес, это дерьмо. А стихи его очень музыкальны. Теперь он забыт. Естественно! У него опять же нет любимых ими смыслов. Алексей Толстой интуитивно уловил эзотерический ритм этих шотландских баллад, небывалый в русской поэзии. Сюжет оригинала отбросил, в трёх местах изменил ритм, и получилось абсолютно небывалое стихотворение. Это человек, который занимался ритмикой. Хлебников потом из ритма этой баллады сделал своё, это его «Семеро». У Жуковского тоже ведь много ритмически очень красивых баллад. Но тут другое. Символисты – эзотеризм. Хлебников ведь – тоже. Почему Хлебников и называл Вячеслава Иванова своим учителем.

Переводы греков у Вячеслава Иванова – это мощь. А оригинальные его стихи – нуль. Но это ведь неважно. Символисты дали одного гения, а футуризм – вон сколько! Теперь и Северянина значение поднимается всё выше. Его ритмика чрезвычайно разнообразна, и он первый ввёл неологизмы, у символистов их не было.

Пушкин весь из цитат, он отовсюду хватал, всё, что ему было нужно, то и хапал, где только мог. Да, вот именно: огонь всё пожирает и превращает в себя, в огонь. Это его пища. Но, всё-таки, огню нужны хотя бы искорки у других, чтобы хоть чем-то питаться, а то, что сейчас пишут – нет в этом ни одной искорки. Всё, что сейчас пишется, вне этого. Они пишут в системе версификаторства и смыслов и вне системы свободного полёта стрелы. Есть хорошие поэты, даже живые, и изящные и грубые, всякие, но все они только версификаторы. Скорее что-нибудь найдёшь у дилетанта, у которого вдруг что-то запелось. Почему я и не могу теперь писать. Не о чем. Неоткуда взять пищу. И на фоне такой серой действительности, которая всё серей, всё занудней. Я же написал: "Двери закрываются". Осталась щёлочка. Скоро совсем закроются.

Все всё знают, так нет же – фанфары и ложь. И Пушкин – никуда бы он в прозе не вышел. Так его Николай зажал. Николай не только свою страну, всю Европу тогда зажал в тиски. Его же и называли: жандарм Европы. Пушкин только в «Пиковой даме» прорвался, там у него появилась мистика.

Люди рушатся также, как и империи: в юности энергия, шуруют вовсю, а старость – дряхлеют, разваливаются. Всё происходит по одной схеме, но рационально объяснить невозможно. Всё это, знаешь, пустые попутные разговоры. Я только одного боюсь – мрака, когда совсем чёрный. Я во как нажился! Досыта! С меня хватит! Сколько было героев в истории, сколько великих королей и царей! А кого мы знаем: три-четыре имени: Чингисхан, Александр Македонский, Тамерлан, Наполеон. Их же тысячи было: и полководцев каких! Где они все? Смыто. И эти четыре имени рано или поздно будут смыты. Вот страшная мысль!

Наступил вечер, темно, мы шли по дороге, нагнувшись, держась друг за друга, борясь с ураганными порывами ветра.

22 февраля 2002 года.

– Вчера я целый день был один дома, – сказал он, вставляя в ухо слуховой аппарат. – Вот, один был, и день такой же прекрасный, как сегодня, и настроение, и бодрость, чего давно не бывало, в общем, состояние замечательное. Планы сразу какие-то стал строить. Смешно. Ну, думаю, сегодня-то я попишу. Сел, написал два слова и не могу больше. Отвращение к словам, к писанине. Такого у меня никогда не было.

Айги большой поэт, но в жизни он неинтересен, разговоры его скучны. Мы с ним встретились в Стокгольме. И потом: для меня даже и гений обесценивается, если он однозначен. Да, Айги – одна линия. Точнее и не линия, а синусоида – взлёты и падения. Как и у всех. Невозможно же писать только высшее. Не думаю, что Ницше был кумиром Пастернака. Для поэта такого уровня нет кумиров. Ну, в юности – дело другое. Ницше сильно повлиял на всё их поколение. Да на весь мир! Конечно, он мировой поэт. Эта его философская поэма "Так говорил Заратустра". У Ницше постановка духа, «я» – это у него главное. Но ведь у него был предшественник посильнее него – Уитмен. А на меня Ницше никак не подействовал и ничего не значил, ни в юности, ни потом. Ничего не значит и сейчас. Другое поколение. Слушай, слушай меня! Ты попал в лапы дьявола, а думаешь что-то там! Поэты ведь очень импульсивны в отличие от людей обыкновенных. Тот художник, швед, картины которого я видел в Стокгольме, ангелов рисовал, и все ангелы у него летят.

В лесу лыжники, мороз, солнце, голубое небо.

– Перевод этих апокрифов пустой, – возобновил он разговор, – Разве Иоанн мог так писать, в смысле стилистики? Он писал, как написано "Откровение Иоанна". Там нет внутреннего, нет духа. Дар понимать больше, чем дар писать. Вот Борхес, он же пишет: "Не знаю, какой я писатель, но я знаю, что читатель я хороший". Тоже самое я могу сказать и про себя. Никто не знает, какой он писатель. Формально, о, боже! Великих мастеров поэтики, кисти и чего угодно – миллион. Ну и что?

Клоуну требуется немалое остроумие, у него много игры. Трагик – красавец, играть нечего. Я вот мог бы клоуном быть. Однако я только в жизни клоунничал бесконечно. А в кино ничего не получилось. Я не мог смотреть на себя в зеркало, поэтому провалил бы любую роль. Да и скован, в кино я не чувствовал себя свободно. А в книгах абсолютно свободен, с первой книги и до последней, чем я резко и отличаюсь от всех. Писали же о моём "Слове о полку Игореве", когда вышла эта книга, и Асеев и Кирсанов: что, вот, наконец, после долгого перерыва опять появился в русской поэзии абсолютно свободный поэт, который пишет то и так, как он хочет, аристократ по происхождению и слесарь по профессии, это вернулась настоящая поэтика, рядом с которой и Вознесенский кажется разжиженным «поэзией». Да, но у Вознесенского есть одно стихотворение, которое я считаю высшим шедевром. Это можно назвать шедевром мировой поэзии. Да: «Я – Гойя». Там всё – от первого звука до последнего! Всё летит ввысь! Я даже читал это его стихотворение на своих выступлениях и не один раз. В этом стихотворении такая сила голоса!

Что-то я рано стал дряхлеть. Ну скажи: разве это дряхлость – шестьдесят шесть лет? Ведь нет же? Дюрренматт умер примерно в этом возрасте, но он за последние два года написал всё своё высшее. А всю жизнь писал мертвечину. Потому что сковал себя догмой. Этот модернизм, установка: что главное текст, а всё остальное неважно, ни время, ни личность. Чепуха! Ещё как важно! Как поставить. Только в пьесах он был свободен. Удивительно, как легко они все поддавались этим догмам.

Эта "Библиотека Борхеса" говорит о том, что Борхес заметил в литературе те книги, которые никто не заметил. У него же там нет никого из великих.

Стало сильней морозить, поднялся ветер, мы замёрзли и вернулись домой раньше обычного. Дома он, шутя, сказал Нине, жене:

– Смотри, какой он сине-фиолетовый вошёл! Так закоченел. Ради моей прогулки здоровьем своим жертвует. Надо его спасать. Налей ему горячего.

За ужином, прихлёбывая борщ, он говорил:

– Я видел посмертную маску Достоевского: абсолютно прямой нос. А на всех фотографиях и портретах Достоевский же курносый, как какой-нибудь русский мужик. Не понимаю, зачем они это? Значит, специально делали его курносым, чтобы русским выглядел? Так выходит? У него же ни капли русской крови – отец поляк, мать немка. Вот ведь что вытворяли. Удивительно.

1 марта 2002 года. На моё замечание, что у Гоголя в "Мертвых душах" персонажи – это целый ряд жутких монстров, он сказал:

– Но в этом ведь и состоит суть искусства. «Даная» Рембрандта – разве не монстр. Таких баб и не бывает в жизни. Вытянулась, громадная, горячая. А кто это понимает? Люди на девяносто девять процентов не понимают, они вне так называемых искусств. Смотрят картины, слушают музыку, читают книги, им что-то нравится, что-то не нравится, и при этом они абсолютно ничего не понимают. Больше того: кончают консерваторию, Академию художеств, Лит.институт и – тоже нуль. А чем лучше критики? Какую чепуху наплели обо мне! Ни бум-бум. Хотя бы мою поэтику разобрали: чем она отличается от других поэтик, размеры, звукоряд, оксюмороны, хероны. Так и этого не могут. В девятнадцатом веке такие же тупицы, славянофилы, Аксаков, Хомяков. Статьи Хомякова мне абсолютно чужды, но поэт он превосходный. Блок был под влиянием его поэтики. Славянофилы же подняли на щит Гоголя, и ничего в Гоголе не поняли, видели только как отрицательное: что – сильно, да, но нельзя же одно отрицательное писать, когда же у него будет положительное! И долбили, долбили Гоголя. Удивляюсь, как он легко поддался своей гениалогизации. Они же его вознесли на пьедестал и преклонялись, как перед пророком, учителем человечества. Не знаю, от этого ли он погиб. Трудно, знаешь, объяснить, кто от чего погибает. Я считаю: человека покидает его ангел. Гоголь же сам признаётся в каком-то письме: "Раньше мне легко писалось, где бы я ни был, в совсем неподходящих для писания условиях и местах – в тарантасе, в трактире, на улице. А теперь в моём распоряжении целый дворец и армия слуг, а не пишется ни слова".

Вышли. Тускло, промозгло.

– С изданием «Хроники Ладоги» я долго колебался, – сказал он. – Я и до сих пор не уверен, правильно ли сделал, что опубликовал эту поэму. Там ведь идёт колонна рассказов, реалистическое, мне несвойственно, конструкция. У меня ещё том стихов, из тех, что не сжёг, но и не издавал. И теперь издавать колеблюсь. У меня было три гигантских самосожжения. Но сжигал я по принципу: то, что не я. А в этом неизданном томе – всюду я. Да, как ты говоришь: везде свой голос. Но ведь и у Кушнера свой голос, и у Евтушенко, их ведь ни с кем не спутаешь. Если так посмотреть, то – это исчерпывающая ценность.

Можно сказать, что свой голос – это уже поэт. А разве у Петровского нет своего голоса? Ну, у него же нет прямого подражания Хлебникову. Это общее влияние. А кто без влияния? Пушкин – это ковёр палимпсестов. Моё «Слово о полку Игореве», на чём я открылся и с чего я начался, что это, как ни палимпсест? Это у Тани Галушко ко всему были только две мерки: или гений, или гнида. Но в действительности ведь таких мерок нигде не существует. Нет, вначале я написал куски по мотивам «Слова о полку Игореве»: "Сюурлий", "У Бояна бойкие струны" и другие. И так и надо было оставить. Потом написал цикл «Скоморохи» и ещё ряд стихов. А уж после, через год, полностью "Слово о полку Игореве". Да, закруглил. Видишь ли, я понял одно: нужен воздух. В русской литературе только одна книга получилась без воздуха, где одни шедевры – это "Сестра моя – жизнь" Пастернака. Но там воздух сверхмузыки и всего. Понимается это только интуитивно, то есть: что нужен воздух. Пушкин понимал. Сколько у него шуточного, в альбом, пьесы. Эта его «Русалка» – очень загадочная пьеса. "Медный всадник" – уже страшная поэма. А вот у Андрея Белого воздуха нигде нет – ни в стихах, ни в прозе. Да и проза его – те же стихи. У него сверхпоэтика. Шкловский так и назвал его: "Это не поэт, это –поэтика".

В лесу лыжники. Одна и та же старуха попадалась нам на глаза несколько раз, то шла впереди нас, то нам навстречу. Он опять стал говорить о Брюсе Ли и тибетской борьбе кунфу:

– Ну что ты! Он был рождён для этого, гений, каждая косточка работает! Как барс летает! Летит прямо, а удар пяткой. Любить людей – низость ума. Это только низкие умы любят людей. Ни один из больших писателей не любил людей, просто-напросто это было вне их ума. Люди ненавидят друг друга, за редким исключением. Древнегреческая литература, а она была довольно откровенна, писала только о преступлениях. Да, трагедии, Эсхил, Софокл, Еврипид. Кстати, знаешь, отыскался кандидат, кто мне будет готовить: астрологиня, закончила астрологический институт Глобы. И диплом есть. Только теперь без работы сидит, нет спроса. Фамилия у неё – Бадмаева. Это целый клан Бадмаевых, монгольская фамилия. Один из Бадмаевых был далай лама на Тибете. Она и какими-то тибетскими травками общала меня подлечить.

На обратном пути мы зашли в комиссионный магазин старой посуды. Он очень долго рассматривал вещи на витринах. Купил солонку, деревянная, с красивой резьбой.

– Скорее всего дореволюционная, – сказал он. – Индивидуальной работы. Теперь таких не делают. А недавно комод видел: ореховый, восемнадцатый век. Никто же не понимает, а я вижу. я в этом знаток. В лесу постоянно крутилась у нас под ногами какая-то старуха, ты не видел, куда она делась? – вдруг спросил он. – Наверное, кончилось тем, что я, не заметив, её обоссал, вот она и убежала в ужасе.

Дома он поставил солонку на стол и ещё раз её рассмотрел. Он остался очень доволен покупкой и за ужином разговорился:

– Пушкин же Россию не знал, тут он был неуч. Это Гоголь – изощрившийся, со своей линзой такой. А Пушкину сатира была несвойственна. Почему русская литература так бедна? Приходится перемалывать десяток одних и тех же имён. Письма Гоголя нельзя читать: сильно снижается его уровень. Николай Успенский ходил по ярмаркам и играл на балалайке, зарабатывая себе на выпивку. А ведь он университет закончил, как и все они: и брат его Глеб, и Аполлон Григорьев. Ну, Григорьев и вообще – тот ещё зверь! Такой барин. Всю жизнь в долговой яме просидел.

Зачем Сальери было отравлять Моцарта? Сальери – старик, придворный композитор. Чему завидовать? Нищему, больному? Хотя – чему только люди не завидуют. Завидуют, например, что кто-то без ноги. Сальери только недавно стали исполнять, сто лет был под запретом. Хороший композитор: нормальный, европейский уровень. Не гений, ну так что ж. И Шуман не гений. Да. Не будь ветряных мельниц – не был бы написан "Дон Кихот".

«Итальянский дневник» Гонкуров – лучшая их книга. Они же его в Париже написали, никогда не быв в Италии. И когда Гонкуры через два года отправились путешествовать по Италии, там их приняли, как героев, восхваляя за то, что никто в Европе не написал лучшей книги об Италии. На руках их носили. И сколько ещё таких забавных случаев в литературе.

Я интуитивно спас Власова: послал ему из Америки письмо с восторженными воспоминаниями и том стихов. У меня как раз книга стихов там вышла. А Власов вот уже десять лет как пропал для всех, нигде не появлялся, жил один в квартирке, опустился совсем, болел, зубы все выпали, похудел страшно, один череп. И вот моё письмо буквально вдохнуло в него надежды и энергию. И он закрутился, пошёл в политику, стал депутатом. А вот теперь что-то опять о нём не слышно, опять исчез. Ох, это не к добру, что я стал о нём вспоминать! А сколько стариков прекрасных я знал, я со многими был знаком. Калабушкин – знаменитый собиратель камней. Весь Восток объездил. В Третьяковке есть комнатка с его камнями.

7 марта 2002 года.

– Опять мне снился военный кошмар! – сообщил он. – Только не такой страшный, как раньше, когда бросался с гранатой под танки. Это Афганистан. Я бы хоть сейчас пошёл на войну, распотрошил бы их в пух и прах! Да, пока не забыл, для тебя приятная новость: твоя фамилия впервые попала в зарубежную печать. Это сербская газета, вот прочитай здесь, – он ткнул пальцем в развёрнутую газету. Статья о нём на всю

страницу, я стал читать, где он показал: "Соснора один раз в неделю гуляет по 20 км по периферии Петербурга со своим приятелем и учеником, поэтом Вячеславом Овсянниковым". – Вот видишь, – пошутил он, – теперь всему миру известно, что ты меня, как пса, на поводке выгуливаешь!

На столе у него я увидел книгу Урсулы ле Куин.

– Она сейчас считается лучший писатель-фантаст, – сказал он. – Только один роман отличный, живая вещь. «Планета изгнания». Остальное ерунда.

Вышли. Слякоть, падает мокрый снег.

– У меня одна омерзительная черта, – сказал он, держась за мой рукав: – у меня врождённая, очень сильная интуиция – на людей, на собак, на всё. Но беда в том, что я не верю своей интуиции. Только в своих книгах я раскрепощаюсь, там я растворяюсь в это и ...Как ни назови... Там и вопроса не встаёт: верю, не верю, там исключительно интуиция, там у меня всё железно. Видишь ли, ведь так называемое творчество... кроме мастеров... Посмотри малых голландцев в Эрмитаже: как у них абсолютно всё выделано, до микрона, и какое это мёртвое мастерство. Таким можно вполне доверять: скажем, написать портрет. Сделают всё точно и на высшем уровне. Нет, мастерство не шаблон, не так. Ты всё хочешь найти определение, а у меня нет определения этому. У мастеров тоже ведь творчество. Возьми Микеланджело – пример идеального мастера. И какая могучая сила в его мастерстве, и работал быстро, одержимо, то есть всё соответствует гению! Но и это мёртвое мастерство, ничего за этим не стоит. О мастерах и вообще обо всём этом я могу сказать только одно: у них нет духовной силы, они не божественны, они не сыны неба. Но и тут градации, а не то, что: те и те. Многие только мастеров и любят, то есть, мёртвое мастерство, а тех терпеть не могут, потому что у тех всё неправильно, с их точки зрения.

Видимо, только Восток, древний Восток. Дома я покажу тебе древнекитайскую цитату, где в нескольких фразах всё истинное миропонимание, и ничего больше не нужно. Это ещё до Лаоцзы. Лаоцзы – это время, когда уже нельзя было обойти государство. Мило, приятно, но миропонимание ниже. Да нет, не ниже, но очень много ненужного. Тоже – «Государство» Платона. Ну зачем ему понадобилось писать эту книжицу? Диалоги Сократа – дело другое. Сократ блистательный, понимаешь. Но он изощрённейший отрицатель во всём, так скажем. Массовый. И это – установка времени. Но в Сократа я камень не брошу никогда. Потому что это гениальная фигура.

Были три сакральных человека в мире: Исайя Берлин, Аллен Гинзберг, и я. Остался один я. Гинзберг в интервью говорил о Бродском после его смерти: "Бродский не был гениальный поэт. Но он мог бы им

быть. Он слишком много суетился. Да, это большой советский поэт. Возможно, он был гениален, как человек, потому что решился себя погубить, то, что в себе самое ценное. На это нужна большая духовная сила".

И стихи, и проза пишутся ни для кого, никому. А если взяться писать теоретическую работу – тоже для кого и зачем? Кому не дано это знание изначально, сколько ни пиши, всё равно не поймут. А кому такое знание дано, то оно внутри их, вне слов, и читать им об этом незачем. Да я бы и запутался в терминах, возьмись я писать что-нибудь теоретическое.

Моя психика, как тебе сказать, некоммуникабельная, и такая всегда была, но я много работал, женщины, пил, да ранняя слава – жизни хватало по горло. А теперь я понял, что попал в ловушку. Называют меня высокомерным. Но это неправда. В чём моё высокомерие, спрашивается? Но внутри себя, конечно, я всё меряю высокой мерой.

Стали присылать мне много анонимок. На двадцать третье февраля прислал какой-то мой ненавистник, пишет: «Ты предал Родину, убил жену и не завёл детей. Твоя проза – вычурная поза». И так далее в том же духе. При Хрущёве, когда объявили борьбу с формализмом, в 1963 году, ещё похуже было: тогда на меня ещё и доносы посыпались, и злобная ругань во всех газетах. Но по-лермонтовски это как раз о кей! Как там у него: "Он не искал себе хвалы, но – диких криков озлобленья!" Кажется, так. Не помню точно. Посмотри у себя дома.

Айги милый человек, но мы – разные миры. Общаться с ним я бы так и так не смог. С Бродским мы тоже не общались, здоровались при встречах на съездах поэтов, так сказать, были взаимно почтительны.

Да, Анненский – тоже пример такого мастера: сделано в высшей степени. Но у него есть десяток стихотворений, которые стоят вне этого мастерства. Вот они-то!... Тоже – у Фета.

Экзистенциализм – там центральная идея: состояние между жизнью и смертью. Но это означает напряжение, чего ни у одного из экзистенциалистов что-то не наблюдается. В том числе и у открывателя этой философии – у Сартра. Только у Камю есть напряжение и только в "Постороннем", там, да, этот дух, ток с неба. А его знаменитая "Чума" – мёртво. Что называют: философская, прагматическая вещь. У Айги ведь нет напряжения, ну, разве что в нескольких стихотворениях, так что, не знаю, в чём его экзистенциализм.

Три революции Алкея на Лесбосе! Алкей мне нравится. Великий поэт и великий авантюрист – такое редко.

Когда мы вернулись домой, он показал мне упомянутую древнекитайскую цитату из книги Урсулы ле Куин:

"Те, кому помогает небо, мы зовём сынами неба. Об этом не узнают учёные. Этого не добьёшься работой. Это непостижимо разумом. Не

пытаться понять то, что недоступно пониманию, высокое достижение. Те, кто не сознаёт этого, будут уничтожены на гончарном кругу неба". Чуанг цзы.

– Зря переписываешь, – сказал он, усмехаясь, – я всё равно раньше тебя использую. Самый великий человек двадцатого века – Эдвард Кейси, этот сверхясновидец. Он же был обыкновенный клерк, кажется. Даже и без образования. К нему весь мир ринулся за предсказаниями. Мог точно сказать, у кого что на полке стоит, хоть через океан, на другом краю света. Он и умер рано – от такого перенапряжения. Замордовали. Я не верю ни в каких пришельцев. Но есть сверхчувствительные люди, у которых связь с космосом, их – единицы и они разбросаны по всей земле, они одиноки и, естественно, что чувствуют себя здесь на земле чужаками. Есть климатики, которые зависят от климата. В Америке может появиться ещё много чудес, ведь это очень древняя страна, местность сохраняет психическую атмосферу древних цивилизаций, тот древний дух витает над ней, почему сейчас и обнаруживаются в разных местах Америки парапсихологические явления. А в Европе ничего такого не слышно. Европа по сравнению с Америкой или Азией очень молодой континент.

Когда сдохну, напиши в своих мемуарах, что он был истинный патриот, только и говорил о величии своей родины и каждое утро, встав с постели, начинал свой день с того, что пел национальный российский гимн. Так и напиши! – пригрозил он мне пальцем. – Не вздумай писать обо мне вопиющую неправду!

14 марта 2002 года. На его вопрос, что новенького, я сообщил, что в Доме книги продаётся древнекитайский трактат, 2 век до н.э., первоиздание на русском.

– Всё есть в «Законах Ману», а это четыре тысячи лет до нашей эры, – возразил он. – Всё, что после – слабее. Так что никаких древнекитайских книг мне больше не нужно, сыт я этим. Все древние религии – это врачевание. И Христос в Индии учился, видно по его фокусам и трюкам. Православие – инерция, католицизм – борьба и энергия. Владимир Соловьёв под видом православия проводил католические идеи, вот почему его философия такая страстная и динамичная. Это и есть остроумие. Ничего, раскусили, и был у нас запрещён восемьдесят лет. Библия лжекнига, потому что – тройной перевод. Все древние источники на языке оригинала многозначны, а переводы однозначны, но ими-то и оперирует религия, толкует и внушает.

Я себя всю жизнь вел и гнал – двигаться, вот и тебя таскаю на прогулки, а ты попискиваешь, – пошутил он, когда мы вышли за дверь.

Яркий день, солнце. Он надел тёмные очки. Мы побрели по улице в сторону леса.

– Завтра поеду к зубному врачу, – сказал он. – Видишь, зубы, как у демона. Так рисуют демонов – с такими зубами. Демон правит миром. Да, демон и есть – энергия. Демон – это душа. Такое значение этого слова было у древних греков. А ангелов православие придумало. Ангелы же бесполое. Бесполое и рабские.

В лесу ещё много снега, дорога подтаяла, мы шли медленно.

– Вон как старик летит на лыжах! – сказал он со вздохом. – Прошлый раз мы дошли до деревни. Нет, сегодня сил не хватит. До сосны, и повернём.

В книге, как и в стихах, как и в прозе, всё зависит от ритма и его вариаций. Не только от генетического внутреннего ритма, но и от знания предшественников. В этом смысле беллетристика – отрицательная литература, она антиритмична, она – стилистична. Андрея Белого погубил стиль. У него везде ритм, но ритм стилизованный. Как и у Ремизова. А это – величины! В книгах ведь все писатели ищут только себя. И чем больше писатель, тем меньше он себя там находит. Не потому, что он другой, он не другой, он – никакой. Это Лермонтов был другой.

Из всех потомков Пушкина только два всемирно известных. Одна потомка – жена люксембургского короля. Ну это, подумаешь, Люксембург. Другой – английский лётчик, герой Англии во второй мировой войне. Естественно, погиб в бою.

Не удивительно, что Брюс Ли выработал свою личную философию, именно, личную. Он дал новый вариант: первый в мире соединил бойца и артиста.

Рид Грачёв, детдомовец, блестяще знал французский и мог импровизировать на фортепьяно. Эрнст Неизвестный, тоже детдомовец, глубочайше образованный человек, всемирно известный художник и скульптор.

О самоубийстве я только на прогулках думаю. Лечь и ничего не есть, смерть от голода, как Гоголь. Дома я ни о чём не думаю, просто лежу и жду лета. Может быть, летом я сумею восстановить себя физически и смогу работать.

Вон летит бедный самолёт! – он взмахнул рукой в небо. Упадёт где-нибудь. В мире миллионы бедных писателей, пишут они, пишут, всё хуже и хуже. Литература катится.

22 марта 2002 года.

– Ты слышал вчера моё выступление по радио? – спросил он. – Двадцать первое марта теперь объявили всемирным днём поэзии. Вот празднуют. Нашли что праздновать! От России я выступал единственный. Три четверти моей речи составляли ругательства. Начал я речь с детей:

что, если ребёнок начал писать стихи, бери топор и руби ему голову. В общем, дал шороху!

Флоренский – такая греческая фигура. Иеромонах, полуармянин, полуеврей, хотел совершить революцию в церкви, приходил на проповедь с пулемётом и грозил с амвона, что всех перестреляет. Не знаю, почему его считают православным. Энциклопедист, учёный, филолог, физик, математик. У него блестящие математические статьи. Вот видишь: тут или полная слизь, и внизу, и вверху, или уж вырываются такие фигуры, каких вообще нет в мировой литературе. Видно, рождаются всем народом, такую мать!

На столе у него книга "Сказание о Ёсицунэ".

– Это перевод с японского Аркадия Стругацкого, – сказал он. – «Дом Тайра» переведён куда хуже: слишком культурно, сглажено А здесь у Стругацкого перевод грубый, живой. Аркадий Стругацкий ведь был прямой человек и говорил открыто, что думал, грубо и даже с матом. Это и в стиль его книг перешло.

День мутный. В лесу на дороге сырой снег и грязь.

– Я стал грустить о старых друзьях, – промолвил он тихо. – Все они передохли. Какие это были ребята! И пили дико, и одевались прекрасно. А я теперь хожу плохо одетый, от этого и опускаюсь, сутулюсь, небритый, потому что, думаешь, а зачем?... Давно хочу прочитать "Проклятые и убитые" Астафьева. О войне. Наверное, там что-то есть, раз замалчивают. Тут ведь не важен стиль, а важны темперамент и факт.

Отец был врождённый властитель такой, суров был, и с солдатами, и с офицерами. Красивый был. Но – красивый зверь. Глазищи стальные, кудри чёрные, чёрно-белые, уже в тридцать пять лет, могучий, взгляд этот. У отца была врождённая агрессивность. Спортсмены все агрессивны. Он же в войну командовал авангардом, вот его и не понимали: хрен его знает, что от него ожидать. Вот я в литературе тоже авангард и тоже не понимаю – что я такое.

Не дай мне бог сравнивать, но мне шестьдесят шесть, а Пушкин уже в тридцать пять был один. Отсиживал в архивах, лишь бы время убить – видно по его текстам. Он ведь очень импульсивный был, а тут сиди над... Николай же объявил его историком царствования и не отпускал из Петербурга, даже в его поместья, ни в Михайловское, ни в Болдино. А он туда рвался, там бы он мог свободно работать, писать своё.

Чтобы писать, нужно пространство времени, а его у меня сейчас нет. И потом – моя писанина зависит от новых книг и новых мест. Больше от новых мест. А я тут живу двадцать шесть лет. Всё исчерпано «Башней», ничего из этого места уже не выжать.

Мне давно уже всё кажется нереальным, потому что слишком уродливо всё вокруг. Нереально.

На обратном пути опять заглянули в комиссионный магазин старой посуды.

– Таких подстаканников я не видел, – показал он мне на витрину, – это не советского времени, это старинные подстаканники, со свободным рисунком. Я не могу срисовывать с натуры, ничего не получается, сколько ни пытался. Да, сразу начинаю перефантазировать.

У меня много разных фобий. Не терплю, когда врут, когда опаздывают. Вот такой урод. А что, не урод разве? Ни одного человека нельзя изменить, с ним можно только расстаться. Банально, но факт. Тем более – резкая, индивидуальная психика. А как же в бандах? Ведь и у бандитов такая психика. Терпят, терпят, скрипя зубами, ради дела, а потом всё равно, рано или поздно, друг друга перестреляют. Кстати: в Сербии напечатали мой антикабалистический трактат.

29 марта 2002 года.

– Да, жаль, что ты не слышал моё выступление на "Всемирном дне поэзии", – сказал он мне, одеваясь на прогулку. – Лучше бы они объявили всемирный день онанизма, это было бы актуальней и нужнее. Весь мир занимается онанизмом, и не только в юности, всю жизнь, до самого конца, оба пола, и те, и те. А что? Разве не так?

Астафьев реалист, то есть, неживописен, нет живописания. Стиля нет, как и у всех у них, у реалистов, стиль у них у всех одинаковый. В общем, пишет он очень плохо, но он честен. А в такой книге о войне только честность и нужно, художественность лишь помешает. Ведь эту его книгу раздолбали в пух и прах, была изъята из продажи. Значит, там что-то есть, какая-то правда о войне. Астафьев фронтовик, офицер небольшого чина, не то, что эти холуи-корреспонденты, не зря же и книга у него названа: «Проклятые и убитые». И что он сделал: собрал все свои ордена и медали и послал в Кремль. Бросил им в морду.

В лесу на дороге грязно, мы свернули на нашу тропинку у ручья, излюбленный наш маршрут, теперь тут можно гулять, снег осел, хрустящая корочка. Ручей уже освободился от льда, бежит, бурный, чёрный, лопочет. День чудесный, солнечный.

– Прочитал два твоих рассказа в журнале, – сказал он с весёлой искоркой в глазах. – Ты, наверное, хочешь узнать моё мнение? Техника у тебя высшего уровня и проза твоя живая, но нет этого, как тебе сказать... У тебя пока этюды. С другой стороны, ну и что же, Пришвин тоже этюды писал всю жизнь. Да... Но видишь ли... Я, как всегда, слишком многого хочу. Нет прорыва во что-то. Но советы тут безнадежны. У каждого это происходит по-своему, иначе. Чужой опыт неприменим. Вот тебе пример: посмотри внимательней мою последнюю книгу стихов «Двери закрываются», как она построена. Первая треть книги – абсолютно чёткая

структура, а потом – хаос. Потому что – надоело. Сначала вся книга была идеально выстроена. Но, когда я всё сделал, я вдруг почувствовал буквально отвращение к этой выстроенности. Ведь тогда бы все три книги стихов встали в одной линии с одинаково идеальной структурой, гладенькие. Скучно. И я в этой последней книге сломал всё тщательно составленное построение и перемешал стихи как попало. Кому надо – поймёт. Так у меня и в «Книге пустот» – вначале идёт что-то вроде повествования, хотя у меня, конечно, повествование относительно, знаешь, какое уж повествование, а потом всё, казалось бы вразброд, но книга, тем не менее, спаяна абсолютно.

Да, "Сестра моя – жизнь" – резко новая психика, как ты говоришь. У меня так в каждой книге – полное перерождение. Пастернак открыл новый мир. И живопись, и музыка, и как всё филигранно сделано! Чего совершенно нет у Маяковского, у того другое, тот пророк, оратор, врождённый. Как Цветаева – врождённая пифия. Пифии же тоже давали свои прорицания в виде абсолютных формул. Это-то и прекрасно, что все они, эти поэты, разные.

Гоголь ведь "Тараса Бульбу" написал, чтобы денежки у Николая вытянуть. Три тысячи рублей! Сейчас это как три миллиона долларов! Как видим, Гоголю были не чужды и такие штуки. Но это же не важно, раз получилась прекрасная повесть. Кто там самый живой персонал? Да, жид Янкель. Остальные статичны, в том числе и Тарас. Он только два раза проявил живой характер: вначале, когда вместо приветствия встретил сыновей кулаками, и в конце, когда он люльку свою ищет. Спасаться надо, а ему, видите ли, без люльки жить нельзя. На костёр его тащат, а он всё о своей люльке горюет.

Сейчас в Ленинграде остался один только писатель мирового значения – это Рид Грачёв. Вторым был Голявкин. Не издана его лучшая книга, написанная в юные годы, в Одессе, называется, как у Бальзака, «Человеческая комедия». Вроде пародии. Состоит из коротеньких рассказов. Эти, изданные, тоже прекрасные рассказы, но они самозаданные, в них нет свободы, как в той книге. Как всегда у Голявкина – остроумно и абсолютно точно. Например: «Дом с красной крышей переехал в другой дом с красной крышей: те же столы, стулья, занавески». И так далее. Как всякие такие притчи абсурдные – она вечна. Напечатали в журнале. Разразился жуткий скандал. Голявкин всегда говорил свободно, но скороговоркой такой. Более жизнерадостного человека я не встречал. Он не унывал ни при каких обстоятельствах. Очень бы мне хотелось написать о нём статью.

Лимонов талантлив, но он же реалист, то есть: нет перевоплощения, чем и является искусство. У него всё в лоб, газета, беллетристика.

Ты читал этого математика академика Фоменко? Он своим

математическим методом пересматривает всю историю, всю хронологию перечёркивает, доказывает лживость всех дат. Например, что Христос родился не раньше двенадцатого века. И так далее. Но у него русопятство. Его конёк: что весь мир произошёл от русских. И Индия была русской. Полная противоположность Льву Гумилёву. Тот, наоборот – яркий отрицатель русского. У Гумилёва – ценность фантазии, все его книги – это же поэмы! А Фоменко – странный он русопят, явные перегибы, очень уж многое не сходится. Кто поверит в его безумные метафоры!

Сохранился череп князя Андрея Боголюбского, по нему восстановили лицо, сейчас это легко делается, и оказалось – типичный монгол, скулы, раскосые глаза.

Умерла жена Шигашёва. Ты Шигашёва знаешь? Ну, неважно. Я тебе о нём рассказывал. Талантливый писатель. Пишет и принципиально ничего не печатает. Не представляю, как он будет жить один. Здесь все старики обречены на одиночество. Никому они не нужны. Сопьётся. Я теперь окружён смертями. У меня же было очень много знакомых, поэтов и смертей много. Только я вот что-то задержался.

Подожди. Вчера я вдруг вспомнил, что солдат в войну кормили даже и не пшеном, а пшеничным концентратом. Кирпичи такие в обёртке, кидали в котёл, как есть, не дробя, и варили, без масла. Считалось, что масло в концентрате этом уже есть, комбижир. Что это такое, я до сих пор не знаю, но ни одной жиринки в котле не блестело. И так кормили всю армию.

5 апреля 2002 года.

– Конецкий умер. Во сне, – сообщил он мне печально. – Почти все мои близкие друзья уже ушли. Голявкин был весёлый, Конецкий совсем другой, он напряжённый был всю жизнь и всегда шёл на опасные дела – и Арктика и Новая земля. Хоронили курсанты в морской форме, Макаровское училище, наверное. Конецкий же был капитан первого ранга. Признавался, что по-настоящему любимым его делом было не писательство, а рисование. У него есть два живых рисунка, видно, написанных по вдохновению. У нас была компания, Свет Остров – хороший художник, оформлял книги для Лениздата, рисунки профессиональные, но мёртвые, не от сердца. Одевался чрезвычайно элегантно, и я бы сказал, экстравагантно, сам сочинял себе фасон, и кроил и шил. Друзья восхищались, спрашивали: где взял? Из-за границы? Тот пробурчит: второго экземпляра нет, это единственный. И вот четыре года назад случайно встретились у метро. Гляжу: сутулый старик, небритый. в затасканном советском плаще, мятые брюки, грязные башмаки. «Свет, ты ли это!» говорю. Он даже заплакал. Обнялись. Вот как можно опуститься. Живёт один, пьёт мертвецки, конечно. Многие так сломались.

На столе у него я увидел книгу того самого академика Фоменко, о котором он говорил прошлый раз: "История и антиистория".

– Вот превосходная книга! – отозвался он. – Опрокидывает многовековые, насивенные представления. Это замечательно – сотрясти жирные задницы у всего мира! Фоменко же собрал вокруг себя целую банду молодых ребят по разным областям математики, и они шуруют, проводя его идеи. Старая профессура во всём мире хай подняла, ещё бы – стулья под ними заколебались, лишатся зарплат, тёпленьких местечек.

На улице не по-апрельски холодно, ураганный ветер, снег вьётся. Побрели против ветра, он продолжал разговор о математиках:

– Игорь Богаченко – гений алгебраистики. Такого ранга в мире было тогда только трое: Игорь, один японец, Накиоко, кажется, и американский еврей по фамилии Моцарт. Мы тогда также вот, как с тобой, гуляли, по всему городу, и он низвергал на меня свои сумасшедшие алгебраические речи. Маленький, с тебя ростом, щуплый, тощий, а башка большая. Ходил в одной и той же одежде: рубашка, пиджак старый, в дырах, башмаки чавкают. Кончил он печально. Через двадцать лет, когда уже всё у него было: слава, преуспевание, деньги, чины, громадная квартира, юная жена, дети, он смертельно заскучал, всё ему жутко опротивело. Предложили ему отправиться руководителем геологической экспедиции на Камчатку, там он и погиб. Убили. Тогда была эпидемия убийств в геологических экспедициях. Так убили и друга Михнова. Из-за чего, не знаю.

Норвид – великий польский поэт, он на язык остёр, письма его – прекрасная проза. Он первый в польской поэзии начал высшую музыкальность, что трудно представить в этом шипящем языке. То, что в русской поэзии начал делать Бальмонт, да и не он, а Надсон первый. Толчок от Малларме, он же блестяще знал французский. Но Надсона сгубили народные идеи. Вот как бывает: гениальный поэт, а голова слабая, поддался этой... То же самое получилось с Гаршиным. Но с выходом Блока и всех символистов, а из символистов вытекают напрямую футуристы... Маяковский ведь напрямую от Белого, эта конструктивность. И Андрей Платонов. Но они же не шли по шпалам, знаешь, у них хватало таланта быть свободными от прямого следования. И символисты не избежали гуманистических учений. Их попутал этот шарлатан Штейнер. Антропософия его – ловушка для молодых умов.

Я люблю Глеба Успенского, у него живо, этнография, и страна встаёт незнакомая. По Толстому ведь Россию не узнаешь. По Чехову – тоже, у него интеллигенция, а она во всём мире одинаковая. Глеб Успенский очень тонкий писатель.

Достоевский ведь самый экстремальный и самый индивидуалистический писатель в девятнадцатом веке. После него не развернёшься. Он ненавидит. Понимал, что ничего нельзя сделать, и –

ненавидел. Эту ненависть и выплёскивал в своих книгах. Его «Записки из Мёртвого дома» – это курорт, а не каторга. Почему-то мне из этой книги запомнилась баня, как они там моются в кандалах. Я не ненавижу, у меня по-другому. Пишут: что я делаюсь всё яростней и яростней. Тоже ведь вижу: сделать ничего нельзя. Вот и ярость. Но не понимают, что у меня это ярость отчаянья.

Мне нравятся монстры. У Петра была большая психика: эпилепсия, всё время голова дёргалась, и гомик и блядун жуткий, в голове у него был хаос психопатический. Монстр – это всегда безусловный гений, когда он, конечно, не в степени деградации. Это просто монстры. Но когда человек психически на грани сумасшествия – он свободен. Поэтому, несмотря на все его ужасы – это область свободы. Физически Пётр был не такой уж и сильный, но сумасшедшие, знаешь, вот такие дубы ломают, как соломинку. Он же всё время в жутком напряжении был и ему нужно было чем-то успокоиться – отсюда эти его оргии и страсть корабли строить. Плотник он был отличный, вот после пьянки утром и летел в гавань топором махать, дурь выгнать. Но это, всё-таки, не императорское дело, знаешь. У Петра была водобоязнь и коней он боялся, а его всегда изображают на коне. Теперь мне русская история неинтересна, да и никакая. Эти вещи стали мне не нужны. Я ведь многим увлекался, особенно в юности, и каждый раз понимал, что эти вещи я не знаю и никогда не буду по-настоящему знать и они мне не нужны, потому что – не моё. Вот – увлекался высшей математикой, а что осталось в голове – пусто, нуль.

Дурак учит дурака. А талант сам всё узнаёт, когда понадобится, и учителя к нему сами идут, и книги сами притягиваются, и всё. Талант раскрылся и потребовал себе много пищи, книжной. Я, знаешь, не был инициатором знакомств, никогда, ни с кем.

Я тебе скажу: алкоголь даёт свободу. Алкоголь – глоток свободы в этом чиновничьем, казарменнейшем и тюремном мире. Да, и творческое состояние, но оно требует жуткого напряжения. Борьба с самим собой, не обязательно, и тут много вариантов. Правильнее сказать так: это люди, которые резко чувствуют своё одиночество. Все люди одиноки, но эти чувствуют своё одиночество очень резко. Всё равно надо куда-то девать энергию, на что-то тратить. Когда книгу пишешь, тут энергия идёт прямо по назначению, тут не нужен ни друг, ни блядь, никто, это, знаешь, – он провёл рукой дугу по небу, – дело волновое. Волна накатывает. Да, всё зависит от силы таланта, а она – от психики. Видишь ли, тем и хороши прогулки с тобой, что забываюсь в разговоре. А остаюсь один – и опять начинаются самодialogи и самомонологи. Это ужасно. Недаром йоги разработали такие сложные упражнения, чтобы ум был без мыслей, пустой. Кончилось действие чая, и опять еле плетусь, а

мы в лесу только два часа, и идти сегодня легко, земля подморожена. Конечский старше меня на семь лет. Так ведь и Голявкин – на семь. Они оба двадцать девятого года рождения. Во сне силы организма ослабевают, удар по сердцу – и готов, полетел.

12 апреля 2002года. После приветствия он сразу стал говорить о моей последней книге прозы "Рак на блюде".

– Да, прочитал. Тираж-то сто экземпляров. Ну что мой отзыв... Эх, вдохнуть бы в тебя энергию! Но как! У тебя блестящая проза, но... если бы ещё искры, нерва!

Вышли на улицу. День чудесный, тепло, солнце, девушки идут по тротуару с голыми руками и шеями. Он стал говорить о Чехове:

– Чехов был человек гордый. Всем резал правду в глаза. А это, знаешь, что такое? К нему ведь многие ходили говорить о духовном, особенно бабы. Он же был красивый, высокий, интеллигент. Держался как! Я знаю, что такое туберкулёз! Человека страшно снижает. Но организм молодой. Организм начинает протестовать и выбирает пути энергии. Ведь у тебя не будет энергии, если ты с ней не родился, или нет болезни. Посмотри на калек безногих – какие они энергичные! Ещё бы – нога отрезана, нервы обнажены, всю жизнь болит. Все они дерзкие, бешеные, чуть что – в драку. Как подпрыгнет, как врежет в рожу своей тележкой! А полноценный, с двумя ногами, хоть и в десять раз сильнее, а – трус.

Рихтер – это мощь! Немец, всё-таки. А Гилельс, он, знаешь, лирический. В лирике тоже может быть мощь, вот как у Пастернака. Но этот... популярный. Подожди. Сегодня мы не будем заходить далеко в лес. Такой длинный путь теперь мне непосилен. Рихтер —это легенда мира!

У ручья идти трудно, грязь, корка льда. Делать нечего, повернули обратно.

– Вот что я тебе скажу, – начал он, – гений – для меня понятие недоступное. Я только знаю свою высокую профессиональность и то, что у меня всё живое. Но поскольку у меня всегда была установка не жить... У меня нет мании величия. Как ты заметил, меня раздражает моё влияние на других, вся эта орда подражателей. Каждый должен быть самим собой, какой он есть. На мне тысячи влияний, но так получилось, что я вышел такой, какой я есть, то есть – самим собой. Почему я сжёг свои стихи, написанные после "Слова о полку Игореве", работа трёх лет, если не четырёх? Эти стихи были высоко профессиональные. У таких мастерство даётся сразу, врождённо, как рука и нога. Я долго не решался, их хвалили все тогдашние большие поэты. Это меня только насторожило. В конце концов сжёг все до одного. Потому что в них есть зависимость. Сильная

зависимость. А они кому-нибудь могли бы составить громкое имя. И не удивительно, что я стал самым собой, когда я с детства над книгой. По-настоящему я был счастлив только над книгой, когда я читал или писал. Я мог бы и не писать, но глухота, один, что делать. Вот и появилось за эти годы шестнадцать книг прозы. А стихи вырвались от ужаса, что у Нины рак, когда поставили диагноз.

Рид Грачёв? Что ты! Рид страшно ранимый. Но когда он бросил писать и сжёг всё написанное, он немного успокоился. А когда началась шизофрения – совсем успокоился. Ему установили, что он общественно неопасен, и позволили жить дома. Это Рид-то общественно опасен, этот безобидный юродивый!

Лосев начал в тюрьме слепнуть, на Соловках. Все свои книги он там в уме написал, а потом, когда вышел на свободу, продиктовал жене. К тому времени он совсем ослеп. Так ведь и издали его, когда ему, как мне сейчас, шестьдесят шесть было.

Что ж удивительного, что я столько мелю на прогулках, с пятого на десятое: ведь неделю сижу, как в тюрьме, в гробовом молчании, наконец, вырвался, лес, воздух, и слушатель есть... Но... Э, не стоит, знаешь... Ты – свидетель моего падения и отчаянья.

Конецкий маленького роста, разве что чуть повыше тебя. Шибздик. Я так его и называл: "Шибздик Конецкий". Он огрызался: «А сам-то – нашёлся великан!» Со мной он был относительно мягок, а вообще – характер суровый, грубый, даже хамский. Прямо резал в глаза, что о ком думает. Ходил, вскинув голову, чеканя шаг по-гвардейски. Он даже Романову сумел нахамить на приёме писательской делегации в Смольном. Подошёл через весь большой кабинет, чеканя этот свой шаг, и грозно потребовал ответа у ошеломлённого Романова: "По какому праву редактора калечат книги известных писателей? Этот произвол надо прекратить!". Ну, Романов человек умнейший, сразу понял, кто перед ним. "Да, если это так на самом деле, это, конечно, возмутительно" согласился он. "А лично ваши книги были искалечены редактурой? Назовите конкретную книгу, место, имя редактора, и тогда мы сможем принять меры". Конецкий, ничего не говоря, развернулся, как на карауле, и также чеканя шаг, пошёл прочь. А что он мог сказать: его-то книги все были изданы в полной неприкосновенности. С таким свяжешься – пожалеешь. А Романову он понравился даже, тот долго удивлялся: "Почему же он ничего не ответил? Какой странный человек. Я искренне хотел ему помочь".

Раннее признание, нет, правильное – признание в нужное время, конечно, очень стимулирует. Как меня тогда поддерживали Асеев и Лиля Брик. Вот также Пушкина Державин на этом лицейском экзамене. Он же из всех его одного отметил. Дремал, клевал носом, а тут – встрепенулся,

старый орёл, обнимать бросился. Для юноши это, знаешь, какой стимул! До этого его в лицее Дельвиг превозносил. Вот чутьё у человека. Ведь тогда Дельвиг писал сильнее всех, сильнее Пушкина. Намного! Дельвиг развился очень рано и быстро. Весь свой основной костяк стихов он написал в возрасте с четырнадцати до шестнадцати лет. Стих у него железный, могучий, ни на кого не похожий. Вот, себя отстранял в тень, а возносил Пушкина. И Кюхельбеккер пел хвалы Пушкину, тоже талантливый поэт, с этой своей придурью. Настоящие друзья. Но что сравнивать. Другие люди, другое время.

22 апреля 2002 года.

– А ты похудел, – заметил он, глядя на меня внимательными, карими глазами. – Болезнь сделала твоё лицо благородней. Каким же благородным в таком случае должно быть моё лицо!

На улице он продолжил:

– Глухота утончила мой слух. У меня и в стихах и в прозе возникли очень тонкие связи между звуками, чего раньше не было. Да, но когда был полноценный слух, я ведь даже слышал полёт стаи ласточек – этот шелестящий свист крыльев, и ведь как многообразен этот шелест, сколько тонов, это же целый оркестр! Да вся музыка от птиц! Никого музыкальней птиц на земле нет. Как они поют, на все голоса! Птицы и психически на человека влияют. Поэты без птиц невозможны. Отец Хлебникова – профессор-орнитолог. Сам Хлебников много знал о птицах и статью написал. Он же в городах почти и не жил, а ходил из страны в страну, вдоль и поперёк, птиц наглядялся. Я давно заметил, что птицы сильно действуют на психику. Когда я писал "Дом дней" – тысячи чаек у моря! Очень возбуждало. У меня в книгах полно птиц. Древние ценили птиц, отсюда и их гаданья по птицам, магия. У Пушкина весь его михайловский период в ссылке, очень много птичьей тематики, и это лучшее из его стихов. А попал в город, стал писать стихи рациональные. Люди ничего не дают.

Кстати, астрономы обнародовали приятную новость: в 2080 году на Землю упадёт громадный метеорит. Тунгусский рядом с ним – камешек. Этот – несколько километров в диаметре, рухнет в море, поднимется волна в сто двадцать пять метров, всё уж точно высчитано. Такая волна снесёт всё на земле. И сколько там на дне лежит цивилизаций, а, значит, и сколько книг! И написано несравнимо сильнее, чем сейчас. Да, в этом смысле всё давным давно написано и писанина ровным счётом ничего не стоит.

Гёльдерлин своё самое лучшее написал в сумеречном состоянии, когда уже по сути дела был сумасшедший. Да, видимо, в нём освободилось это нечто. Я видел рисунки сумасшедших – бывают куски

гениальные, высшей силы. Но только куски, никогда – целой картины. Стихи сумасшедших – реже. Но и тут – вдруг такая строчка рванёт – ахнешь! .Высвечивается нечто грандиозное, что могло бы быть, но не совершается. Есть поразительные вещи. Что ты!

Этот мой метод и в рисовании, и в последней моей прозе: то есть, начиная писать, я не знаю, что получится, никогда не знаю. Все три книги так написаны: "День Зверя", "Дом дней", и особенно "Книга пустот". И при этом все они абсолютно разные. Так, как я пишу, то есть, такой метод мог бы стать школой. Не зря же подражают, значит, их притягивает, чувствуют, те, у кого есть загиб. Но они берут у меня только внешний приём, нет своего. Надо, чтобы явилось поколение гениев. Вот как футуристы: целая волна. Они же все от Гоголя идут. И Андрей Платонов – от Гоголя полностью. Но по силе гения Платонов, конечно, Гоголю равен. Это абсолютно независимый писатель, со своим стилем, языком, своим миром.

Все тираны – звери, от рождения. Я – тоже зверь от рождения. Я сознательно избегал командования над людьми, а когда всё-таки случалось, в армии, скажем, то устанавливал такую жестокую дисциплину, какую ни в одном войске мира не найдёшь. Начальство даже просило смягчить: что нельзя так, это всё же люди. Но я же не специально, а от высшей требовательности. Как от себя требовал, точно также и от других, для меня не было разницы.

Я стоял у могилы Тамерлана: маленькая могилка, гробик из чёрного мрамора. "Вот" говорю "этот парень достоин уважения!" Г., крупнейший в то время узбекский поэт, страшно возмутился: "Вы что, не знаете, что Тамерлан уничтожил почти всех узбеков?" "Знаю" говорю ему "ну и что из того? Батый и Чингисхан уничтожили почти всех русских, однако это не мешало им быть великими полководцами". Тут Г. раскричался: "У Вас, Виктор, нет ни грамма гуманизма! Вы – неинтеллигентный человек. Бесполезно с Вами разговаривать на эту тему. Но – Вы мой гость...". "Подождите" отвечаю ему "скоро Вас изберут народным депутатом, тогда посмотрим, каким Вы будете гуманистом, когда окажетесь у власти". Так и вышло: нашему гуманисту тоже пришлось шагать по телам, чтобы подняться на верх лестницы. Кто может жить в России? Тиран, предатель и трус. То есть: все категории, касающиеся власти.

Лежу целыми днями. Даже чай не пью. Зачем? Я же теперь ничего не пишу, два года – ни строчки. И читать нечего. Попробовал Лаоцзы, года три не открывал, раньше он меня всегда успокаивал. А теперь и он ни хрена не успокаивает, ничего у него нет успокоительного, ничего. Все они одинаковы, эти великие учителя человечества, у всех одна и та же блажь, утопия, которая здесь на земле абсурдна: установить всеобщую справедливость. То же – у Христа, у Будды. У всех эта фантазия. У Платона его "Государство". Даже у Эмпедокла. Эмпедокл – тот же

Христос, очень похожие фигуры: оба ходили, окружённые свитой учеников, оба царского рода и держались, как цари, и тот, и другой проповедовали сумасшедшее учение, и тот, и другой, видя, что всё безнадежно, молодые, во цвете лет, добровольно выбрали смерть, один – кинулся в кратер, другой – на крест. У одного Гомера нет никакой философии, ни грамма. У него живопись, герои, битвы. Как и у Гоголя – нигде, ни в одной книге философии не отыщешь. Ну, а когда он зафилософствовал, так тут ему и пришёл конец, в буквальном смысле, физический.

Брат Конецкого, старший, тоже писатель, Олег Базунов, покончил с собой. Выбросился из окна. От безнадежности. Сорок лет писал в стол. Были напечатаны какие-то рассказы в журналах. И всё. А это был настоящий профессиональный писатель. И талантливый. Писал слишком уж не так, как все. В советское время такое было абсолютно неприемлемо. Та же судьба – Генрих Шеф, и этот кончил точно также: из окна. Остались шкафы неопубликованного. А это крупнейший писатель, крупнее Битова, всю жизнь писал, а выхода нет, ничего не светит. Не выдержал. И что ты думаешь – так ни строчки и не издали!

27 апреля 2002 года. Я принёс ему в подарок книгу о Брюсе Ли. Он развернул наугад и стал читать в том месте, где Брюс Ли пишет: что он ощущает в себе присутствие колоссальной духовной силы, динамической мощи, которую ни с чем не сравнить. Прочитав абзац, он поморщился:

– Ну, это как раз банальность. Все так и говорят и пишут, и больше всего бездарные, те, у кого никакой творческой и духовной силы и не ночевало. Вот у него тут ещё: "Внутренний воин. Воин внутри себя". Да, у таких, у кого большая творческая сила, ничего ведь не делается впустую.

В лесу много гуляющих, костры жгут. Он в тёмных очках от солнца, седея грива торчит из-под шапки с козырьком.

– Ну и что, прочитал ты эту книгу с высказываниями Айги? – спросил он. – Айги пишет: что книга Кандинского «О духовном в искусстве» должна быть евангелием всех художников. Это он у меня украл, только у меня о Малевиче сказано: что Малевич – евангелие художников. Малевич – высший художник мира. Айги милейший человек и уникальный поэт, но в живописи он совершенно не разбирается. Вайсберг, Кулаков, Целков, Грицюк, не говоря уж о Михнове – это художники мирового значения. Это вполне независимые художники. А Зверев и ещё ряд имён – всё же импрессионизм. А что же ещё? Чистый такой импрессионизм. Но Зверев – художник божественный. Чего никак не скажешь о Кулакове, у того в последнее время шло много мёртвых конструкций. После Татлина и Пикассо, сильнейших конструктивистов, это не звучит. Те дали высшие и окончательные формулы. Закрыт путь.

Кулакова перевернули мои стихи: книга "Двенадцать сов". Тогда и открылся такой художник – Кулаков. А до этого он писал очень красивые цветы. Такой же переворот от "Двенадцати сов" произошёл и с Гриццоком. Этот до меня рисовал храмы. Ещё один, кого ударили мои "Совы" – французский художник А. Все трое – мировые имена. Да, им нужен был толчок, но они уже были готовы к этому перевороту. Да, революция восприятия. «Двенадцать сов», собственно – первая моя настоящая книга, на чём я раскрылся, моё подлинное, внутреннее. Тут появилось то самое высшее напряжение, чего раньше не было, даже и в "Слове о полку Игореве". Там звонко, радостно, но этого нет. Тут напряжённое, ритмическое, тут выход в те сферы... Говорю: моё внутреннее. И реальность декоративно соблюдается. Так ведь у меня везде соблюдается.

И Грицкок, и этот француз – это были очень хорошие люди, и очень одинокие, замкнутые. Сальвадор Дали ведь реалист, ничего фантастического нет в его формах, примитивные аллегории. Подумаешь, откровение: нарисовал текущие часы, или горящие кенгуру с выдвижными ящичками.

Панов, муж Пановой, журналист, я тебе, кажется, уже рассказывал, остался в блокадном Ленинграде, понял: здесь материал, который откроет ему его. Я читал его блокадный дневник, сохранился черновой вариант у Пановой – потрясающе! Погиб, расстреляли. В то время нельзя было такое показывать. Ничего, когда-нибудь и эта книга ещё всплывёт.

В Блокаду мне было семь лет. Весу во мне было столько, что мать на ладони легко могла меня поднять. Потом дядя увёз меня на Кубань. Через все фронты. Это бабка его послала – меня спасать. В Ленинград я вернулся уже только после того, как отслужил в армии. У матери комнатка, жил там полтора года, вот и вся моя жизнь с матерью. Библиомания моей матери – редкое явление. Кроме книг, у неё не было другой жизненной ценности. Вот такая гора тетрадей с переписанными стихами! Конечно, и наизусть знала множество, и цитировала, всегда очень к месту. А мои стихи не понимала и не любила. Как и всю русскую поэзию после Блока. На Блоке для неё русская поэзия кончалась. Потом уж, под конец её жизни, я понял, как много у меня черт от матери.

Может быть, Земля была маленьким ядрышком, а на это ядрышко век за веком нарастали слоями умершие растения, животные, люди. Целые города погружались в песок или в море. Ведь вес никуда не исчезает, он всё тот же. И вот Земля растёт пласт за пластом, разбухает, больше, больше, пока не сорвётся со своей ниточки, с оси. Только вот я не понимаю, куда деваются кости людей и животных? Такая уйма умерших за миллионы лет! Под этим безумным весом Земля давным-

давно должна была разлететься. Вот загадка. Никто об этом ещё не писал, я не встречал ни у кого. Надо бы мне написать. А, чепуха! Всё, что я говорю, ну, вот это: разбивает надежды людей в пух и прах. Все ведь мечтают о бессмертии, о славе, о жизни в веках. Эта надежда неистребима, она вселяет в них бодрость, ведёт их, стимулирует. А иначе – разве стали бы они жить? Им не смириться с мыслью, что пройдёт не так уж много времени, два-три тысячелетия – и всё сотрётся. И гении, и ничтожества, все, все – одинаково. Одна участь. Забудутся самые великие имена, которые сейчас так гремят. Это естественно. И горевать тут решительно не о чем.

8 мая 2002 года. Сегодня он говорил о кино.

– Я не могу смотреть русские фильмы, в них нет экспрессии. Сразу переключаю на американские. Да, в старых русских фильмах есть кое-что, кусочки. "Свинарка и пастух", "Весёлые ребята". Там два куска: один в начале, когда коровы в дом лезут, другой в конце – драка музыкантов в оркестре. Ну, немое кино без экспрессии и невозможно. Параджанов – нечего и говорить, это высшее. Да, образная экспрессия. Но его фильмы не показывали и не показывают, так промелькнуло два фильма по экранам. Замалчивают, боятся, что на его фоне все они выглядят убого, жалкими ничтожествами. Так ведь та же история и со мной: непечатание и замалчивание моих книг.

Интуитивно я знаю, что это не моё время и не может быть моим ни в каком смысле.

Шахматы я не люблю и не понимаю. Вот в шашки я сильно играл, в поддавки, голова у меня быстрая.

Барклай де Толли – великий полководец. Хладнокровный, точный, он мог бы быть мировой звездой. Но в русской слякоти это было невозможно. Полководцы Наполеона, все эти маршалы, Ней, Мюрат, они устали от бесконечных войн, они не гении, не стратеги, они только исполняли приказы.

Гуляли недолго. Лес зелёный. Он был невесел, говорил мало, отрывисто:

– Сократ вечно пьяный. Все его блестящие речи от вина. Такой уродился, алкоголик. Страшная энергия: надо было всё время себя успокаивать вином. «Фрегат «Паллада» Гончарова – да, единственная его книга, где нет слюней и нет этих вечных вонючих социальных вопросов. Я не то, что всю жизнь только и шёл на риск, я добивался внутренне риска, всегда – на риск. А тут впервые – отказался от поездки в Швейцарию на операцию, не решился рискнуть. И три дня подряд трясло, психоз, пока окончательно не отказался от поездки. Тогда сразу успокоился.

У меня не было учителей, меня никто не учил, я всё делал сам, и сам своего добивался. Да, но к девятнадцати годам я прочитал жуткое количество книг. Я самоучка. Американцы таких называют: автодиктатор, то есть – научившийся сам. У меня ни от кого толчков извне не было, всё сам и от чтения книг. Такая вот порода самоучек.

Что говорить. Я дикий человек. Да, дикий и древний человек.

3 июля 2002 года. Навестил его на Мшинской. Вечером гуляли по дорожкам среди садов. Разговор зашёл об эзотеризме.

– Эзотеризм вне церкви, – сказал он. – Платон – весь от эзотеризма. Даже у этого первого материалиста Аристотеля есть крохи в его метеорологии. Есть эзотеризм египетский, вавилонский, иудейский, греческий, римский, арабский, а Восток, а индусы. И все разные, и все друг с другом в борьбе. Они не потому не издавали книг, что это тайное знание, тайная наука, и что нельзя открывать непосвящённым, но потому, что люди этого просто напросто не понимали, а оттого и запрет – не открывать непосвящённым. Эзотерик ведь тот, кто знает, но молчит. Символисты наши – это же эзотеризм. Но их эзотеризм не тот, не подлинный, у них же сплетение с православием. Почему и у Блока провал с этой его поэмой «Двенадцать». Не оттого, что он там приветствует революцию. Приветствует он очень условно: эта Катька проститутка, матросы-бандиты. А то, что настоящий эзотерик никогда бы не взялся писать такую поэму. Видение Христа в конце. Нелепо. У Маяковского эзотеризма больше, хотя он и не был склонен к этому. Из них всех больше всего эзотеризма у Хлебникова. У Хлебникова же нет символов и понятий, он писал абсолютно простыми словами, детский поэт (а так его некоторые и называют), – а всё у него проникнуто мистическим смыслом. Как это? А вот поди пойми! Есть вещи необъяснимые. Или есть «это», или нет. Вот и всё. Хлебников – поэт абсолютно антибытийственный.

А у Пушкина «этого» очень мало. Один раз вырвалось в Михайловском, один всплеск – эти «Бесы». И ещё стихотворений пять – так... «Я помню чудное мгновенье» там же написано. И потом уже ничего, сплошь реализм, бытийственность. Потому что тогда не видели путей. Ну что этот его "Евгений Онегин" – этнография, бытовые картинки. Другой ценности нет. "Борис Годунов" – ещё пуще. Даже эта его "тройка, семёрка, туз", да, "Пиковая дама" не спасла. И это всего лишь бытийственное. Его "Повести Белкина" – ну что это такое, знаешь! Только одна новелла там, эта – французская. Пушкин и весь французский. Эта: отец с дочерью живут одни, а потом гусар дочь увозит. "Станционный смотритель", так что ли, называется? Вот там немножко есть. Уже одно то, что отец и дочь живут одни в домике, ни с кем не общаясь, собственно вне мира – уже эзотеризм, внебытийственное.

Потом, когда она узнаёт о смерти отца и плачет над его могилой, вспоминает, как они жили с отцом и их любовь друг к другу (она же после этого не возвращается к гусару, ради памяти отца), ну вот, это то самое.

У Лермонтова стихи по качеству хуже пушкинских, а вот у него в стихах "это" жужжит. И жужжало, пока не вырвалось в полную силу в "Герое нашего времени". Ведь тоже – написано абсолютно просто, как для детей, что в этой книге не понимать, а как там всё таинственно, как дышит этой мистикой! В чём тут дело? Необъяснимо. А возьми его прозу до «Героя нашего времени» – ничего подобного, полное дерьмо.

У Пастернака "Сестра моя – жизнь" – там всё сверкает, всё играет. Потому что освободился от всего, прежде всего от баб, убежал на Урал, писал, наверное, в каком-нибудь поместье. И это ведь летом 1917 года, когда уже всё рушилось в стране. Ну, потом, вернулся, и опять – мордой во всю эту грязь. Полёт кончился.

Может быть, есть люди, которые живут эзотерически и не зная, что они эзотерики. Особенно женщины. В большинстве люди живут только чтобы жить. Я так никогда не мог и не понимал это, я могу жить только в напряжении, иначе – нет смысла, скука. Да это ещё и хуже скуки. Почему и стремление к смерти, тяга к накалу. Почему люди, особенно чиновники, и живут так долго – рутина, кровь вялая, организм едва шевелится. Не удивительно, что они доживают до девяноста. Артисты долго живут – тоже рутина спектаклей. Писатели – так-сяк. Но поэты – что-то я не знаю случая. Сгорают очень быстро. Ещё бы, ведь поэт – это накал. Да, как ты видишь, я до того накалился, что у меня уже всё разваливается, бегаю по ночам с поносом по лестнице со своего верха на двор, заткнув задницу. Выбрось ты из головы этот эзотеризм и ты спокойно проживёшь ещё до ста лет. А я, хорошо, если год протяну.

4 июля 2002 года. Опять гуляли вечером по дорожкам садоводства. После дневной жары – приятная прохлада вечера, обдувал ветер.

– Я не люблю реальность, – сказал он, – она всегда была для меня только материалом. Я определял только сам для себя, только в том состоянии, когда я писал, в том накале, когда я твёрдо знаю, что это моё. Не моё, потому что – слабое. Теперь я по ночам пишу. Из жаворонка превратился в сову. Спать ложусь в пять утра. Рукой пишу, каллиграфически, как Ремизов. Машинку и не распечатывал, не греметь же на ней по ночам, да и не могу, глаза вразброд, пальцы по буквам пугаются. Пишу каким-то детским стилем, как ребёнок пишет, всё детально, подробно описываю, ясно, дотошно, сам себе объясняю, что показалось непонятно, возвращаясь к этому через три страницы. И вдруг в процессе письма, спонтанно, вырывается какое-нибудь завихрение, загиб, какой-то прорыв, как это и всегда бывает в работе. Вообще, книга

пишется другая, чем все мои предыдущие, как у меня и всегда. Этакая сильно отстранённая история моей жизни, с рождения, детские годы, такое, знаешь, воспитание героя, самовоспитание, вне влияния родителей. Тот, кто идёт за мной – оставь отца своего и мать свою.

Погоуляв часа два, мы вернулись, сели на скамейке перед домом. Ветерок обдувал, шелестели в темноте листья. Он продолжал:

– Гуманизм! Сейчас это слово употребляют только подонки. Какой там гуманизм, когда миллионами косят! Мало. Надо миллиардами! Миллиардов пять – к е... матери! Надо уничтожить весь Китай, то есть весь народ до единого человека, потому что китайцы выродились. Оставить только историю Китая и шесть-десять картинок древнекитайской живописи. И точно также – все страны, ну чуть-чуть кое-где оставить, где ещё есть что-то живое. Одного меня оставить да несколько баб на разживу. Меня объявить императором. Думают, я шучу, а это совсем не шуточки.

Мы вошли в дом, он стоял, освещённый лампой, глаза у него горели безумным блеском, мрачно-карие, дикие, он был очень возбуждён, лицо, заросшее серебристой щетиной, имело странное выражение, я его таким ещё никогда не видел. Тем более странно было видеть его таким в контрасте с дневной вялостью и апатией.

– Ну, иди, иди, я вижу, ты уже спать хочешь, – сказал он. – О, половина второго! Я ведь как Шахерезада, могу всю ночь болтать. С памятью у меня любопытно – события помню, а названия многие забыл, особенно – иностранные слова. Простые все пока помню: ложка, вилка, нож, стул, стол. А вот – сложные, иностранного происхождения... И вот, чтобы обозначить такое существительное, это понятие – кручу, кручу вокруг этими простыми словами, целую страницу, странный получается стиль, поневоле странный. Да, так всегда: мне-то кажется, когда пишу, всё ясно и всё интересно, а потом писатели, знающие толк, объявляют, что – дичь, чушь, ничего не понятно. Ну, наверное, привыкли к своему стилю письма, может, оттого. Мне, например, Флобер кажется скучным, не живым. А французы утверждают – самый музыкальный из писателей французской литературы, и ещё какой живой! Значит, перевод плохой, всё это убил перевод. Значит, это непереводаемо. Я тоже непереводаю. Эта премия, которую мне дали, как она называется? Да, «Амфора». Я же тебе сказал: забываю такие слова. Пятьсот долларов – курам на смех. В следующий раз они дадут мне премию Андрея Белого: рюмку водки, и ту – посмертно. Сколько жил Фет? Семьдесят? Ну, мне двух лет не дотянуть. Сейчас мне ведь шестьдесят восемь. Что? Шестьдесят шесть? Ну, вот, уже пошли завихрения, возраста своего уже не помню. Куда дальше. С каждым годом всё хуже и хуже, последние три года жуткий спад. И пишу, и гуляю, и вообще всё делаю, себя пересиливая, насилюя жутко. А зачем?..

21 августа 2002 года. Два дня у него на Мшинской, помог в хозяйстве: скосил траву, выкопал картошку.

Вечером, как обычно, пошли гулять. Он стал говорить о книге, которую пишет по ночам.

– Вчера лёг в шесть ночи, расписался. Одна польза – тренировка памяти. Уже страниц тысячу опять написал. Не перечитываю. Может, всё в печку. Пока пишу, не перечитываю. Потом придёт состояние беловика, писать набело, то есть, обрабатывать, и окажется, что ничего нет. Проза ведь живёт деталями, нет деталей – нет прозы. То есть, херни-то можно написать сколько угодно. Когда я писал «Дом дней» и "Книгу пустот", я так и делал: специально тренировал память. Утром шёл к морю, и по пути и гуляя у моря, специально нацеливал внимание на то и на то – чтобы запомнить. У моря ведь чрезвычайно много деталей, новостей, каждый день что-то у моря происходит, что-то новое оно выбрасывает на берег – то утопленника, то одеяло, то финский теплоход "Ленин". Ручку и бумагу я не брал, ничего не записывал, а приходил в комнату и всё виденное вспоминал на машинке. А здесь – какие детали? Однообразие. Поэтому, что сейчас пишу – сомнительно. Правда, открылся новый метод: теперь у меня даже и описания. Разумеется, иронические. В этом новом методе всё и дело. Я ведь как пишу: никогда не знаю, что буду писать. Начиная как дневник, что было за день, а потом вдруг и заскочит в голову какая-нибудь странная херovina неизвестно откуда. В среднем за ночь получается по страниц восемь. Но зачем я тебе это говорю, тебе это неинтересно. Потому что каждый пишет по-своему. Поэтому херня, когда писатели дают объяснения: как они писали. Или ещё хуже – начинают учить: как надо писать. Полная чепуха! Важно, что я запираюсь у себя наверху, ночь, я один, я чувствую, что я абсолютно свободен, и я пишу, пишу вволю! Ведь полтора года в городе я не писал ни строчки. Даже письма. С ужасом думаю о возвращении в эту городскую бетонную камеру.

Я вот думаю: почему я никогда не мечтал? – сказал он, глядя на меня своим немигающим взглядом. – Все ведь мечтают. А я – никогда, ни о чём. Даже не понимаю, что это такое, как это мечтают, о чём, зачем. Ты вот мечтал о чём-нибудь?

При белой горячке у меня бывали удивительно прекрасные и страшные видения. Однажды я даже фильм видел – на стене. Больше часа смотрел. Китайский фильм. Загадочный, прекрасный, бои, битвы, китайцы в древних доспехах, на конях. Отрубленная кисть руки, живая, бежит, извиваясь, летает, танцует. И много таких чудесных штук. Пересказать невозможно. Пересказ снижает. Да и разве можно что-нибудь описать словами? Тем более – чувства? Ну, скажу я, например: боль. И что? Всего лишь слово. Разве оно говорит что-нибудь о реальной боли, которую я испытываю? Безнадёжно.

Мы с ним шли в темноте по тропинке среди садов, сильно задувал холодный ветер. Луна вставала вдали над тёмными верхами деревьев, огромная, жёлтая, блистающая.

– Ну вот! – воскликнул он, – двадцатые числа, полнолуние! Совсем вылетело из головы. В полнолуние я не могу работать, так что сегодня ночного бдения над тетрадью не получится. – Несколько минут он шёл молча, потом произнёс печально: – Пора мне уходить со сцены. Пора, пора. Все русские писатели двадцатого века провалились на мировой арене. Даже Платонов. Он не социальный писатель, он другое, он – напор. Но при переводе это утрачивается, остаётся голая социальность. А таких социальных писателей там и своих полно. Да, Стендаля начали читать и понимать только в двадцатом веке, через сто лет. Но Европа – общая культура. Что им русские? Дикая страна.

Ты бывал в церкви, внутри? – вдруг спросил он. – Ну и как? Нравится тебе там? А мне не то, что неприятно, мне отвратительно в любой церкви, я там не могу находиться ни минуты, всё мне там мерзко. Наверное, я антихрист. Поднеси ко мне крест, и я убегу.

Мои мерки экстремистские, ими нельзя пользоваться. Больше всех ненавижу коммерсантов. А ведь на них мир держится.

«Бесы» – единственное у Пушкина. И как написал: среди пьянства и баб. Вырвалось у него. Это высшее во всей русской поэзии, такой силы отчаянья ни у кого нет. Всё там у него изнутри. Даже у Цветаевой такого нет, у неё грубее. У Пастернака "Сестра моя – жизнь" – да, высший взлёт! Сплошная медитация. И ни грамма реализма. А такого стихотворения нет. А убри у Пушкина "Бесы", и Пушкин развалится. Что от него остаётся – остроумный, весёлый, вот и всё. Для детей. У Пастернака стихи в «Сестра моя – жизнь» по качеству выше, чем у Пушкина. У Хлебникова выше, чем у Пушкина. Но ни у того, ни у другого такого стихотворения как "Бесы" нет. Пастернак – вот гений! Всё лето 1917 года писал свою книгу, не зная ни о каких революциях, о всех этих потрясениях в мире. Связь с силами космоса. А вернулся в Москву – страшный шок. Увидел: грязь, разгром, голод, насилие.

Набоков – такое барокко, завитушки. Зависть. Завидовал всем писателям. Выбрал неприкасаемым одного Пушкина, а из Пушкина – одно стихотворение «Бесы», и поставил над собой, над всеми, над миром!

Я о себе знаю только одно: качество мной написанного. Это я знаю. Больше ничего. Я живу бессознательно, в данную минуту, как цыган. Андрей Белый тоже знал своё качество, и что? Кто его читает? Самый узенький круг. А это высшее качество письма! Уже при его жизни понимали, что он гений. Филологический гений. Кому он интересен. Его почти и не переводят. Им ведь интересны сюжет, анекдоты, интрига. При всей своей утончённости Белый грубоват. Хлебников – совершеннейшая

истонченность. Да, я знаю только качество своего письма. Никакого самомнения, в остальном равен со всеми. А вернее – выродок. Вот почему я всегда отстранялся от так называемых творческих людей. Потому что они о себе очень высокого мнения, они – гении, а все остальные – говно. Для меня главное – выложиться. Больше ничего. Ну, вот, опять завёлся! Весь пыл уйдёт на болтовню, на работу не останется. Так ведь два месяца не говорил. Знаешь, какое любимое животное у Будды? Мышка. По буддийскому календарю я мышка. Замечательное животное: чистоплотное, моется постоянно, лапками мордочку трёт, и пища у неё чистая – ржаные зёрнышки. А дерево моё – орех. Да уж, крепкий! Ты сам видишь, какой я теперь крепкий!

21 сентября 2002 года. Он пятый день в городе. Встречая меня в дверях, сказал:

– Вчера у меня была приятная встреча с зубным врачом, которая длилась полтора часа. Мне сверлили, выдергивали, прижигали нервы. Эта встряска так меня взбодрила, что я подумал: не прогуляться ли нам с тобой. Выспался, что не часто бывает. Теперь мне снятся цветные сны, необычайные, фантастические, в ярком цвете. И, проснувшись, долго не могу понять, куда я попал, как из другого мира. Вижу комнату, предметы, и не могу вспомнить, что это, зачем, их предназначение. Не знаю, как тебе объяснить это чувство.

Снаружи холодно, он оделся потеплей. На улице начал говорить о своей рукописи:

– Закончил. Шестьсот страниц, в двух тетрадах. Только к концу лета выяснилось: что к чему. Главное для меня: найти нерв, стержень. И вот в одну из ночей нашёлся, и я вдруг увидел книгу. Вся рукопись выстроилась в целую пирамиду. А до этого момента был хаос, писал, потому что пишется, не зная, что это, зачем, к чему приведёт и что будет. Но ведь так у меня было со всеми моими книгами.

В лесу он заговорил о событии, которое вызвало его раздражение:

– Крикунов напечатал в журнале "Город" цитаты из моих разговоров с ним, но он по своему обыкновению прибавил к моим словам своих слюней. Это не мои слова, это ложь. Якобы Рида Грачёва я ставлю выше всех современных русских писателей. Никогда я этого не говорил. Рид Грачёв прекрасный писатель, но это не значит, что я ставлю его выше всех. Ты читал его рассказ "Кошка и мы"? На фоне его железных детских рассказов это сентиментальные слюни. Пишет, что я и стихи Рида Грачёва высоко оцениваю. И это ложь. Стихи Рида слабые, самодельные, как это всегда у пишущих стихи писателей. Рассказы о детстве – да. Его книга «Ничей брат». Этот тон, безжалостность к себе. Не в том смысле ничей брат, что: ах, какой я несчастный, одинокий,

сирота, а то, что – один и никого не надо. То же самое у прекрасного польского поэта Воячека, он назвал свою книгу: "Тот, которого не было". Он раньше Рида написал. Но и до него были предшественники этой темы. Да, это древняя струна. И даосы. В Библии? Эту книгу я теперь ненавижу. Кроме «Откровения Иоанна». Потому что она рабская. Христос ведёт себя куда достойней всех этих пророков. Так ведь он сын божий. Нет, знаешь, древнее мышление очень жёсткое, никаких сентиментов. Рид Грачёв – такой единственный ленинградский юродивый в литературе, вот чем он уникален и в чём его значение.

Я не знаю, что такое муки творчества, эти муки только у графоманов, я всегда пишу легко и быстро. Но потом – обязательная жёсткая правка. Эту рукопись тоже нужно будет править, в ванне, по ночам, переписать набело. Там много повторов, но, может быть, я их и оставлю, тоже – приём. Да, нужно пространство, контраст сильных и слабых мест. Как у Достоевского. Есть книги в книгах. Возьми "Братья Карамазовы", глава о старце Зосима – отдельная книга, скучища. Или "Дети" – тоже. И рядом, вдруг – такие куски, от которых трясёт. Слабые места уничтожаются эффектом целого. А общее впечатление от книги мощное. У Гоголя тоже не всё концентрат, есть снижения, то есть – пространство. "Петербургские повести" – сильное снижение, «Переписка с друзьями» – тоже. Да и "Тарас Бульба". Одни только шедевры писать невозможно, просто физически не выдержать такого накала, организм сам, помимо воли, сдаёт, работает на сниженном уровне.

Я, может быть, "Илиаду" Гнедича ставлю выше всего Пушкина, а то и Державина. Этот его язык, этот звон! Жуковский на таком фоне – слякоть. Хотя у него есть железные куски, этот перевод его: "В двенадцать часов по ночам..."

Видишь ли, и в революции и в войне есть своя человеческая сторона: загнанные рабы – на войне, в бою, освобождаются от ига, чувствуют себя человеком, героями, и действительно совершают подвиги, действительно герои. То есть они сами не знают в мирное время, на что они способны. Ведь почти все мещане и живут как мещане, только война, экстремальные условия, опасность заставляют их действовать героически, проявить отвагу, о которой они никогда не помышляли, не подозревали в себе и никогда бы, может быть, и не узнали. Многие знаменитые герои, прославленные имена, остались бы безвестными обывателями, если б не революция, в Мексике, Франции, России.

Айги не печатали по причине непонятности. Да и кто его понимает? Нужно быть тончайшим лингвистом, чтобы почувствовать очарование этого стиха.

После Софокла – падение трагедии, потому что стали играть без масок. Маска скрывала человеческое лицо, чтобы оно не мешало, не отвлекало от высшего. А сняли маску – и осталось только человеческое

лицо, человеческая морда, велика невидаль, только этой мордой теперь и заняты. Японский театр Но тоже – маски. То есть – условность. Настоящее искусство и есть – условность. Для чего и маска – чтоб создать условность, убрать одномерность лица, чтоб заговорили боги, неизъяснимое, странное, таинственное. А людям подавай «человека с открытым лицом», то есть, мещанина, обывателя, реализм. Стихи уже сами по себе условны. Ритм – условность. И каждый большой поэт – это маска, это что-то условное, это всегда больше его самого, как реального, автобиографического человека. Также – проза великих писателей, это всегда целая система условностей. А маленькие поэты, на то они и маленькие, что они только люди, они человечны, у них-то лица, открытые, и ничего, кроме этих милых лиц, за что читатели их и любят. Ни одно понятие поэта не совпадает с понятием людей. Да, у поэтов многомерность, множество значений, многоплановость. У людей – одномерно, одна линия, плоскатики, как называл Лейбниц. «Мёртвые души» Гоголя называют столпом реализма. Дичь! Как раз наоборот: в этой книге Гоголя всё условно, там у него не люди – это фантазмагорические чудовища! А вот в "Тарасе Бульбе" многозначность нечего искать. Книга превосходная, но написана по заказу. Скажем, автор пишет рассказ от первого лица, от "я", а там, на самом деле, всё сплошной вымысел – и это условность, маска. Или мистификация – тоже условность, вид маски.

Конечно, и то, что ты процитировал из Лаоцзы: "Сокрой и ещё раз сокрой: так узрешь врата всего чудесного". Сокрой, то есть – создай условность. Эзотеризм. Но ведь способность создавать условность тоже врождённая. То есть: способность создавать условный, обобщённый, но полнокровный, живой образ. А не дано это – так скрывай, не скрывай. Скрой, скажем, кусок колбасы, он всё равно останется колбасой и пахнуть будет именно колбасой, как его ни скрывай.

Дома, когда мы сели за стол, он сказал:

– Этот ледник, который с Казбека сорвался: все эти катастрофы неспроста, что-то там затевается в звёздах, готовится могучий удар! – он показал пальцем вверх. – Пятое солнце погаснет в 2012 году, как предсказали майя. И тогда выяснится: что жизнь космоса не зависит от планетарных систем. Многие звёзды одиночки и вполне обходятся без планет. Многое тогда выяснится. Учёные – жульё, вся их картина мира – ложь. Никто не знает – каков мир на самом деле. Кто смотрит? Брось. Никто здесь не смотрит. Все эти известия приносят мне ангелы. В Тарту, когда я умирал, они спросили: «Взять твои книги, чтобы они сохранились в веках и твоё имя было бессмертно?» "Нет, ни за что!" закричал я в ужасе. Ну, твои-то романы ждёт бессмертие, – сказал он мне с иронической улыбкой. – Ты полон надежд, вижу по твоим глазам. Да что там – ты твёрдо уверен.

28 сентября 2002 года. Сегодня на прогулке он много молчал. Я написал ему в блокноте, что в двух гениальных стихотворениях русской поэзии, в "Бесах" Пушкина и в бальмонтском "Я мечтою ловил уходящие тени" – спиралевидное движение вверх.

– Конечно, – ответил он. – Так ведь и Земля создана, как спираль. И космос – спираль. Да, и молния – спираль. И дао у китайцев рисуется: как спираль внутрь. У всех больших поэтов и писателей – спираль. Даже в конструктивизме встречаются конструкции в форме спирали. Скажем, у Андрея Белого. Только не в его стихах. Стихи его – бр-р-р. Ледяные, как в гробу! А вот в его прозе. Хотя, казалось бы, конструктивизму это противоположно. У меня везде спираль. И не специально. Да, как ты говоришь, при контакте с силами космоса и возникает спираль. То есть: контакт в виде спирали. А вот у Льва Толстого нигде спирали нет. Да, но и спирали ведь бывают разные, в зависимости от накала. Спираль из проволоки – только проволока. И совсем другое дело – спираль-молния. Но у плохих писателей вообще никакой спирали нет. Ни той, ни другой. Плоскость.

Библию написал какой-нибудь яростный антисемит. Нет второй такой книги в мире, где бы бог так ненавидел свой избранный народ и не уничтожал его всеми способами. В конце концов рассеял по всей земле. В изгнании целый народ! Народ-изгой. А вообще-то государство, народ, нация – самые мерзкие слова.

5 октября 2002 года.

– Всю неделю лежал, – сообщил он мне, одеваясь на прогулку. – Только вчера стало полегче. Сердечный приступ, желудок расстроился, задыхаюсь. Навалилось. Я никому не говорю о своих болячках, что о них болтать. Это называется – старость. А вот – никак не смириться. Это я тебе обо всём говорю открыто. Но ты – другое дело. Ты – мой биограф. Да, но у Ницше было хуже, чем у меня. Несравнимо. Всю жизнь – болезни, головные боли. А сколько написал! У Ницше голова кипела. «Так говорил Заратустра» – последний выхлоп мозга. После этого он не написал ни слова. Безумие, клиника. На ухо врачу шептал эту свою гениальную поэму. Да, срывы и срывы. Истерика Цветаевой. Но это пифия, это сивилла, это высшее, это всплеск, это стихи, это язык!

По пути мы зашли выпить чая. Он от чая опьянел.

– Как от алкоголя, – сказал он. – С утра ничего не ел.

В лесу светло. Дорожка у ручья, засыпанная жёлтыми листьями, блестит на солнце. Чай сильно его возбудил и речь его не умолкала всю прогулку.

– Нужен поворот к древнерусскому языку, – сказал он резким тоном.

– Но – безнадежно. Тот язык утрачен, дух языка. Будет мёртво. Я люблю

тех титанов: Державин, Ломоносов, Сумароков, Тредиаковский, Татищев. Тот постарше, он при Петре. Пушкин сосредоточился на просторечии и достиг истончённейшей изысканности. Но это уже не оркестр, не симфония. Это – скрипка, гениальная скрипка. И после Пушкина все пошли по этому пути. Один Маяковский пытался вырваться. Ещё Хлебников и Кручёных – с другой стороны. Пытались вернуть старый русский язык. То есть: вернуть язык грубый, но крайне выразительный. Нет, у меня баланс, вкрапления древнерусского, как это называют – звукоряд, что создаёт некое архаическое звучание. Но, в конечном счёте, дело же не в языке. Нет дара, поэтической силы – никакой язык не поможет. У Блока – что это за язык! Очень бедный. Но как у него насыщено, как крепко слова связаны! Тот Блок – начиная с "Незнакомки", с двадцати семи лет. А первый его том читать невозможно. Конечно, и там есть проблески. Стихи символические, слова тоже внутренне связаны. Но – кому это интересно? Простой читатель, непосвящённый, ничего не поймёт. А посвященные, те поймут, то есть: поймут понятия, символику, а больше там ничего нет. То есть: нет внутренней поэтической силы. И что? Всего лишь сектантский поэт. Только когда он вырвался из школы символизма, в нём открылся великий поэт. Не он один вырвался, Брюсов раньше него в "Urbi et Orbi". В этой книге много сильных, живых стихов. И новая тема! Это Верхарн всем им указал дорогу, а сам бросился под поезд. Сколько ему было? Пятьдесят? Помню, Верхарн произвёл на меня сильное впечатление. В юности от всех в восторге. Я даже от Суркова в восторге был. А что, Сурков как-никак написал «Бьется в тесной печурке огонь». Да, просто, проще не бывает, а там звучит мистическая струнка. Даже и без пенья. У Симонова тоже есть по крайней мере это его заклинанье: "Жди меня, и я вернусь". Чтение – моя профессия.

Школа важна, если вырвется в своё. Шельвах весь – моя школа. Но, деформируя моё, пробивается своё, оригинальное. А когда он повернул от меня в сторону Заболоцкого, оригинальность пропала. Это он со мной боролся. А надо не со мной бороться, а с самим собой.

Введенский – гениальный философ, то есть – философия литературы. Он повлиял на весь Запад, когда его перевели, от него все эти прославленные ныне Деррида, Батай, развили его идеи. А стихи Введенского – так себе, средне. А вот дневники Хармса на Запад никак не повлияли, у него богоборчество. Этим все занимались. Ницше дошёл до того, что открыто объявил себя богом. Зачем объявлять то, что очевидно: каждый себе – бог. Каждый считает себя богом, только боится об этом говорить.

Да, в психиатрии, то есть, вообще, в области психики ничего нельзя определить рационально, с помощью понятий, научному мышлению не поддаётся. Только на интуиции. А интуиция ничего не может сказать о

себе или объяснить. Вот я интуит. Очень сильная интуиция и мгновенная реакция. Бывало, падает лист за спиной, бесшумно, невесомый, не вижу, а – что-то пронзает, вне сознания. Молниеносный рывок руки – лист пойман. Или вот также часы поймал, падавшие со шкафа. Палили мне на голову.

12 октября 2002 года. Опять гуляли у ручья в солнечный день.

– Я очень много писал с шестнадцати лет, – сказал он. – Графомания чистой воды. Да, но я ведь понимал ясно, что это не моё, это не я, это всё от книг. Да, и психически не я, и сила не та, не моя, если определять грубо. В общем, ещё не созрел. И только с семидесятых годов начались мои космические вещи. Когда я писал "День Зверя", я работал по шестнадцать часов. Сначала шла херня, среди неё попадались хорошие куски, а куда их деть – не знаешь. А потом вдруг – пить! И всё выстроилось! Но это неизбежно, у каждого. Когда живёшь отшельником и пишешь, то постепенно сам становишься книгой, и уже она распоряжается. И раз – поворот! раз – поворот! Когда постоянно голова работает. Условно назовём головой. Так и эта моя летняя книга. Видишь ли, там не просто получается: нерв есть, но теперь его надо как-то вытянуть. Автобиографические куски я оставляю, только не десант. Это не мое амплуа. Потому что это не игра, отнюдь не игра, знаешь. Пока получилось слишком конкретно, и это приземляет. А нужно отстранить, сублимировать. Нужна условность. Как я всё точно сформулировал об искусстве ещё в семидесятом году! Это моё стихотворение «Исповедь Дедала». Недавно листал свою рукопись и наткнулся. Только ведь в советском издании, в той книге, недостаёт одной, центральной по смыслу строфы. Редактор вырезал:

Искусством правят прашуры и бесы,
Художник – только искорка из бездны,
Огни судьбы – агонии огни,
Остановись над пропастью печали,
Не оглянись, тебя предупреждали!
О прорицатель, о не оглянись.

Видишь: художник у меня всё-таки из космоса. И что же тут редактора не устроило? Наверное: что – как это искусством правят бесы? Антисоветчина! Искусством правит народ, партия! Да, это самая жёсткая и сконденсированная у меня формулировка искусства. Потом я не раз повторял эту мысль, варьируя, в других стихах и прозе. Собственно, мысль стара, древняя, у всех великих философов. Только в стихах она звучит жёстче, сильнее, потому что сформулирована ритмически. Да, много раз у меня повторялось: "Ничей и никакой", "Чужой везде", "Нет места в этом мире" и так далее. Но та же мысль красной строкой и у всех

больших русских поэтов. А у маленьких такая мысль и не возникает. Низкая психика. Как такая мысль может в их голове явиться: они же слиты с народом, они пишут для народа! Все, все об этом: Пушкин, футуристы. Но теперь мне никто из них неинтересен, ни с кем из них у меня нет ничего близкого. Я другой. Формально-то я у футуристов взял много. У всех взял. У Блока, у символистов – тоже. Но духовно я полная противоположность футуризму. Я как раз анти-Маяковский. У меня нигде нет утверждения себя, никогда я не называл себя гений. Вообще, слово гений у меня употребляется два-три раза. И всё. А другие не устают объявлять себя гением на каждой странице. Даже Айги где-то обмолвился, что он гений.

Цветаеву, когда её издали, я знал наизусть, её второй период. Но ведь любой книжник, да если не слабый, да ещё не слабо пишущий, влюбляется то в одного автора, то в другого, а потом они ему надоедают до смерти, естественно, как надоедает всё, они делаются ему скучны до тошноты, и он идёт дальше, у него свой путь.

Цветаева спасла Лорку, переведя три его стихотворения. Там чувствуешь настоящее напряжение и видишь Лорку, великого поэта. А, читая переводы других, видишь нуль, поэтом и не пахнет, не Лорка, а хлорка. Один хрен. Не считать же Лоркой темы его стихов или какое-то там чувство скорби.

Девятка – царица чисел и царица мышления, древнего. Чистое число – включает в себя все числа. И девятку нельзя использовать практически. Остальные числа: таблица умножения, для практики, как скатерть на стол, роскошный, чтоб не запачкать. У древних наука была сакральна. И сперматозоид – девятка, у человека, у всех животных. Древний гальванометр, лампа древнего мира, в египетских гробницах, горела много тысяч лет, по сути вечный двигатель. Чего только не раскапывают в слоях земли, удивительные находки, которые не разгадать: следы цивилизации, технически выше нашей. Болты, гайки из металла тверже, чем металлы земли. Оружие, огнестрельное, непонятного устройства. Откуда? Предсказано же у ацтеков, что в 2012 году погаснет пятое солнце. Значит, уже было четыре солнца, которые погасли. Периоды – миллионы лет. Эти знания, якобы им передали белокожие люди с длинными бородами, которых они считали сынами неба, боги. Подумаешь, погибнет человечество. Даже, если и всё живое на земле. Планете это – тьфу! Наплевать. Она будет летать, как ни в чём не бывало, и не заметит, что у неё с кожи мошек сдуло. У неё свои дела. Мало ли в космосе планет без всякой жизни. Ничего, крутятся. В первую очередь погибнут все знающие. Лучшие люди всегда первые погибают. Потом – шваль. Так ведь и на войне. Но какие-то кусочки знаний останутся: интуиция, древняя память, прежде всего у поэтов, ещё – у чистых математиков. Эти категории знающих равны.

В Переделкино никто друг с другом не общался. Как писателям общаться? Невозможно. Никак. Во-первых: ведь каждый писатель без исключения считает себя великим. Во-вторых: с годами, чем дольше пишешь, становится всё более чуждым то, что пишет другой. Профессия-то сугубо одинокая и тираническая.

19 октября 2002 года.

– Лучше уж читать такую книгу, – сказал он, показав мне довольно толстый том, – чисто стиховедческую, где разговор непосредственно о стихах, чем какие-то статьи со значением. Мне далеко не всегда удавалось сказать то, что я хотел сказать, а точнее: вообще никому из больших писателей не удаётся сказать то, что они хотели бы сказать. А вот маленькие писатели высказываются исчерпывающе, у них ведь только человеческое. И меня, и Вознесенского, и Айги не печатали оттого, что язык другой, не такой, как у них, им непонятный, а вовсе не из-за политики. Вознесенский и сейчас всю хулиганит словами. Роб-Грие говорил про своих учеников: их проза блестящая, но они всё ещё пишут слишком понятно. Роб-Грие – последний француз, отец «нового романа». Ну, символы... когда Блок отбросил свой символизм, с двадцати семи лет, тогда он начал писать свои пьяные железные стихи. Эрнст Неизвестный – сгусток энергии. С бронзой работал, а это, знаешь!.. Я с ним говорил только на "вы". Всего лишь на шесть лет меня старше, а вот – не мог переступить барьер. Напьётся: то орёт, то подойдёт, по плечу меня поглаживает, упраскивает со слезами на глазах: "Пожалуйста, говори мне «ты», я ведь простой человек, не из князей каких-нибудь". А что я ему отвечаю. Ну, пообещаю. А прихожу к нему в следующий раз и опять на «вы», язык на «ты» не поворачивается. Вот было воспитание!

До моего разгрома в Тарту, до моего Ватерлоо, я абсолютно ничего не боялся. А глухота принесла страхи. Белая горячка, что ты! Галлюцинации зрительные, слуховые. О, как страшно! Комната, полная моряков, поют "Крейсер Варяг". Все вижу, ярко, реально.

Ты читал книгу Дюма о кулинарии? Гениальная книга! Тут он проявился как большой писатель, как изобретатель жанра, как железный стилист, как лев. Великие сказочники, что он, что Гюго, дети по натуре. Гюго тяжелее, мрачный, громоздкий, много социального. Что у него? Квазимодо? А Дюма весёлый, социального – абсолютно ничего, короли, мушкетёры. Один "Граф Монте-Кристо" чего стоит. Как он мстит! Мстит страшно! Мстит, как истинный негр!

Просматривал свой "ванный" дневник, что я писал прошлой зимой. Много весёлости, это снижает. Весёлость означает глупость, ограниченность.

Каждый великий художник переворачивает основы понимания

искусства, в корне переворачивает эстетику. Что тут нового? Я большой стимулятор. Как только отрываются от общения со мной – перестают писать.

В лесу мрачно. Мы шли в сыром снегопаде, снег всё гуще, гуще.

– Какая теперь в Англии королевская династия? – вдруг спросил он меня. – Стюарты? Ты точно знаешь? И наследник есть? Я к тому, что, может, меня коронуют на английский престол. А почему бы нет. Первая буква в фамилии сходится.

26 октября 2002 года. Он постригся, чтоб сфотографироваться для паспорта. Брился новой бритвой и порезал губу.

– С порезанной губой нельзя фотографироваться, – сказал он удручённо. – Недели две будет заживать.

Лес блестит, озарённый солнцем. Снег усыпан жёлтыми листьями. Он стал говорить о своей рукописи:

– Страниц триста ушло на то, чтоб привыкнуть к рукописанию, а уж потом пошло сильно, свобода появилась. Но у рукописания, как и у машинки, свои достоинства и недостатки. При переходе от машинки к рукописанию стиль теряет в стремительности, а у меня привычка к стремительности. Но при медленности рукописания возникает много поворотов. Ведь рука прямо к мозгу, прямой нерв. Опасность в том, что, если я не обработаю эту рукопись, то к весне я могу потерять к ней всякий интерес. При моей переменчивости, я буду уже другой, другое восприятие, то, что я вижу сейчас, перестанет для меня быть важно. Так у меня уже не раз случилось.

Футуристов ненавидел весь литературный мир. Не понимают, что то поколение – большое число эстетически развитых людей. И у Достоевского много эстетики, есть сильнейшие куски. А молодое поколение он не понял, оклеветал, его роман "Бесы" – это политический памфлет на молодое поколение. Так идеологически понять Пушкина! А в пушкинских "Бесах" никакой идеологии нет, там – отчаянье, истерика, тысяча нюансов. "Пророк" его – да, идеология. Ну так это перевод псалма из Библии. А теперь кто у нас из критиков эстетически развит? Один Пикач. И тот ко мне не приходит. Почему? Две крупных личности, как два тигра, не могут дружить.

Каждый большой поэт сплошь состоит из вариаций. Пушкин весь – из вариаций чужого, но всегда остаётся самим собой. Освободиться от того, что полюбил, что привязалось: от строчки, стиха, книги, автора. Да, пересилить, обыграть, переиграть – на своё. Всё это сублимация, без сублимации все творческие люди погибли бы, нечего было бы писать. Я тебе уже рассказывал о моих глубокомысленных размышлениях в детстве, когда я задумался: все великие произведения написаны, так о чём же писать, совершенно не о чем.

Я теперь не могу ничего перечитывать. Даже Гоголя и Лермонтова. Вижу у них ошибки, и это меня раздражает. Глупо, конечно. Погрешности есть у всех. И у меня полно. Абсолютных шедевров не бывает. Стихотворение может быть. Но поэма – уже нет, тем более – книга прозы. Я иногда и специально вношу опечатки, чтоб снять пафос. Есть много способов снять пафос, у всех эти способы свои. Такая опечатка, как бы сказать, – изюминка. Вот Лермонтов в «Герое нашего времени» специально таких опечаток не ставил. Ещё совсем молодой, поэтому всё просматривал очень внимательно. Он хотел переплюнуть Мериме. Но Мериме очень жёсткий. А у этого, всё-таки, витает что-то небесное. Может, и у Мериме витает, мы не знаем, ведь тональность меняется при переводе.

Вот ты говоришь... Но ведь я давно уже ушёл далеко в свою сторону, и сразу далеко ушёл, с двадцати семи лет. «Слово о полку Игореве» – там ещё привязка, а "Двенадцать сов" – чисто своё. Резко своё, да. После того, как я написал "Слово о полку Игореве", я растерялся и три года был в полной растерянности, не знал, о чём писать. Вагинов сделал себе имя тоненькой книжечкой стихов. Это стихи, хорошие, но это то, что уходит, мертвечина. Если не убивают подражатели, то ещё что-то бьётся. Беда моих подражателей не в том, что они мне подражают, из этого-то, в конце концов, может быть, что-нибудь бы и вышло, а дело в том, что все они слабые. Да ну! Я весь ушёл в себя, в стихи, весь мир для меня – жалкая, трусливая обывательщина! Гоголь плохо знал языки и это хорошо, потому что он брал только формальные приёмы. У меня в этих моих записках есть глава: "О небезопасности детей". Это мир неизученный абсолютно, на это никогда не обращали внимание, все тысячелетия. Кроме Крестового похода детей. Дети, знаешь, очень жестоки. И чутьё у них! Интуицы!

2 ноября 2002 года.

– Опять понос, – сообщил он невесело, – пронесло, как из трубы. Но гулять надо. Книгу о Брюсе Ли, которую ты мне подсунул, я не смог читать. Плохо написано, не даёт настоящего Брюса Ли, он не такой, расслонявили. И высказывания его. Нет, почему же, прозу-то перевести можно, если переводчик сильный, то есть – передать дух.

День мгlistый, дорожка в лесу у ручья припорошена снегом, сквозь который торчат почернелые листья.

– Вот ты не читал записок Геринга, – сказал он. – Очень сильный писатель. Сам – громада! Во! А тонкий писатель, глаз абсолютно точный. И к Гитлеру относился с юмором. А Гитлер юмор не очень-то понимал. Сталин понимал и – расстреливал. Скорцени, фигура, знаешь! Герой мира! Перед таким зверем, как тебе сказать, собаки пасуют. О, это!.. Я его высоко ценю. Иван Грозный жил в стране, где только топор работает.

Понимаешь, когда человек такой страшной активности (а если образован – ещё хуже), видит всю эту слякоть и нищету, то приходит в отчаянье и кончает он безумием. Набоков – фигура двойственная. Таланта у него никто не отнимает. Но – неженка, с детства изнежен. Никому не помог за всю жизнь. Библию на русский язык перевёл дед Набокова. Прекрасный перевод.

Не только древняя музыка – связь и соответствие с космосом, а всё древнее искусство и жизнь древних. В этом смысле современное искусство, конечно, неправильно. И поэтика стиха неправильна. Гармония с космосом утрачена. А дальше будет ещё хуже. Мир катится к концу. Да, но если согласовываться с космосом и строго следовать древним образцам, импровизации будут невозможны. То, что я делаю – это ведь тоже всё – древнее, причём – древне-славянское. И в последних моих вещах. "Флейты и прозаизмы" – там же хор, церковный! Там я и голос везде выделил – чёрным шрифтом. А кто понял? Никто. Объяснять не хочу, сколько ни объясняй, всё равно ничего не поймут. И ведь на фоне современной русской поэзии я выгляжу жутко для них неправилен. Чудовищно неправилен!

Люди, начиная со Второй мировой войны, живут в жутком страхе, вот и заглушают страх всей этой громкой музыкой, дансинги и прочее. И наркотики – заглушить страх. Мир полон страха. Вагнер – вульгарщина, это он ввёл в музыку громкость и кошмарную какафонию, этот революционер. Ницше начал с поклонения Вагнеру, как величайшему из композиторов когда-либо бывших на земле, а кончил тем, что возненавидел лютой ненавистью и разнёс его в пух и прах.

Вчера рылся на полках – попался Пастернак. Каким-то чудом не выбросил, когда выбрасывал всех поэтов. Стал читать "Сестра моя – жизнь" – далёко, чуждо. Но это же неизбежно: всё это давно мной переварено и изжито, и ни на что теперь не нужно. А когда-то я эту книгу знал наизусть. Меня не интересует, как работают другие писатели. Во-первых, каждый большой писатель работает по-своему. А маленький просто-напросто не знает, как работать. Во-вторых, каждый большой писатель очень много выдумывает о том, как он работает. Всё это мифы, весьма далёкие от реальности. Все писатели, как бы они ни писали, не могут написать правду. Посмотри историю розенкрейцерства. Ведь это сказки, и сказки интересные. Целые народы веками жили под их влиянием. Тайное письмо, шифры, разгадать могут только высоко профессиональные математики.

"Книга перемен" – гадательная книга, к творчеству она не имеет никакого отношения, так что этот огромный комментарий, трактующий всё, как творчество – полная чепуха. Всё равно, что, глядя в эту лужу, толковать о ней, как о музыке. Книга эта – максимы и афоризмы, не имеющие толкований или имеющие много толкований.

9 ноября 2002 года. Он гладко выбрит, выпался. Гуляли. В лесу бело, мелкий снег сыпется.

– Это Толстой мог всю жизнь писать одно и тоже! – сказал он резко. – У него же восприятие не менялось. У Набокова тоже не менялось, иначе он не получил бы такой известности. И тот, и другой – восприятие посредственного мещанина. Но глубоко образованные, глубоко! Умеют строить сюжет, в общем – мастера. Только ведь за этим ни хрена не стоит. А возьми Гомера: "Илиада" и "Одиссея" – резко различаются. Тот же гекзаметр, а звучит совершенно в другой тональности. И такое количество стихов, грандиозные поэмы! Перевод "Одиссеи" Жуковского – это же частушки какие-то! Кто здесь знает русский язык? Девяносто девять и девять десятых процентов населения страны не знает русского языка! Девяносто процентов писателей не знает русского языка! Такое же положение во всём мире: народы не знают своего родного языка!

Мне прислал книжку своих стихов некий Беркович. Он меня удивил. Думаю, он моего возраста. У него много живых строк, запоминаются. Ведь только живое запоминается. Он дилетант. Ну так что же. И Вяземский дилетант, он сам называл себя дилетантом. Но Вяземский поэт. Видишь ли, у писанины миллион вариантов. Видимо, он, Вяземский, не считал это своим призванием, видимо, у него не было этого постоянного зуда графоманского. У него были другие интересы, широкие масштабы деятельности. Этот Беркович талантливый, талантливей Вяземского, но до профессионализма не дотягивает. Ну и что. Сколько их, дотягивающих, а мертвы, как гробовая крышка. У Берковича есть ода Аронзону, почему я и подумал, что – мой ровесник. Аронзон – хороший поэт, его в тридцать лет застрелили в тайге, в геологической экспедиции, он друг Михнова. Какое бытует в мире понятие о том, что такое поэт? Вот именно. Вопиющая ложь! Те, кого они называют поэтами, миллионы пишущих стихами, и сейчас, и всегда, и что – всё это поэты? Поэтов рождается пять-шесть в поколение на страну. Только!

Бальмонт – большой поэт, очень многообразен, а гениальное стихотворение – одно. Так и у Пушкина одно. Потому что тогда не было правильной установки: установки на внутреннее. Блок первый, у кого такая установка появилась, с "Незнакомки", с двадцати семи лет. Да, Бальмонт декларировал установку на внутреннее, а что получилось? Он вел слишком суетную жизнь: выступления, кругосветные путешествия, изучение множества языков. Да, но все, кто замыкается на себе, погибают очень быстро и мучаются жутко. Пушкин везде живой, у него почти нет неживых вещей. Нет, магнетизма у него мало. У Пастернака была ставка на этот его роман «Доктор Живаго» (о стихах своих он понимал, что – ничего, нуль), а получилось, как у Федина. У него там только одна фраза крамольная, из-за которой на него и набросились: «Когда началась война, все облегчённо вздохнули».

Прочитал книгу о Бабуре – великом Моголе. Дальний потомок Чингисхана и тимуридов.

16 ноября 2002 года. Принёс ему журнал "Нева", там статья о нём, где его называют: "романтический эзотерик".

– Что ж ты хочешь, – сказал он, криво усмехаясь. – Всё равно, что сказать: сладкая соль. – Снилось, – стал он рассказывать, – как будто меня всего избили. Не люди били, не существа какие-то, а кто-то или что-то. Били об землю. Весь избит, всё тело. Такой кошмар мне первый раз снился. Борису Дьячкову каждую ночь Иоанн Кронштадтский снился, требовал, чтобы он пошёл туда-то и сделал то-то. «Не могу я этого выполнить!» возражал Дьячков "Мне семьдесят два года, я больной, у меня ноги не ходят!".

В лесу сырой снег, мы тихо шли по дороге, он продолжил разговор:

– Пьесы Сухово-Кобылина, если их читать только как тексты – абсолютная проза, очень жёсткая. Поэтому успеха они иметь никак не могли. А у Чехова много мечтательности, абсурд соединён с сентиментами. Эта его пьеса "Вишневый сад" сейчас приобрела другой оттенок, особое значение, теперь она звучит, как реквием. Сам видишь: вишневый сад срублен под корень. У Ахматовой стихи вялые. Только её последняя поэма интересна, да, «Поэма без героя». Из неё Бродский весь и пошёл. И строфика и ритмика. У него, конечно, напор очень сильный, энергия сильная, но много и провалов. Гордин антиэстетичен, функционер, пишет трезвые истории. А что такое трезвые истории? Это ложь. Он слишком трезвый, он резонёр. Иногда одна строчка ценнее ста страниц. Но кто это понимает? У них же принцип реализма, то есть: значения, идеи. Вот они и выберут у меня одну... Они уже до того..., что и в живописи находят значение. С чего началась слава Пикассо? С одной картины, которую он в шутку надписал: "Герника". Тогда как раз было жуткое поражение республиканской Испании. Все в мире были заняты испанской войной. Вот и придали ему значение: о, борец за свободу! И покатила слава Пикассо. А надпиши он картину, скажем: "Ёлки-палки, лес густой" – ничего бы и не было. Ну у живописи-то какое может быть значение, скажи пожалуйста? Даже у Шишкина нашли значение. У него-то – лес и всё, лес, он и есть – лес. Нет, нашли у Шишкина народность. Лес, оказывается, русский. И трёх медведей кто-то приспособил. Шишкин – мастер. Нарисовать десять тысяч листьев на дереве – для этого, знаешь, надо быть мастером! Или эта картина Саврасова "Скворцы прилетели". Ну, грачи, один хрен. Тут нашли значение: что это революция, что это революционеры прилетели. И эта картина хорошо написана, и он мастер. Но какое это имеет отношение к живописи, к эстетике?

Мы возвращались домой в темноте по городской улице. Он устал, я его поддерживал под локоть.

– Еле ноги волоку, – произнёс он грустно. – Старость – это ловушка. Эх, лявушка, лявушка! Видишь ли, этот район какой-то дико странный: нигде нет канцелярских товаров. Прачечная в два раза цену повысила, и не стирает. Ни в одном кафе поесть нельзя: ни первого, ни второго. Только пиво да водка.

23 ноября 2002 года.

– Я жил правильно, – сказал он сегодня на прогулке, – то есть, по сути, я всегда был человек замкнутый. Видишь ли, те старики умерли, и говорить стало не с кем. Многообразие приводит к нигилизму. Не чтение стихов или прозы, а – книг о миропорядке. Карты Таро – картинки искажены. Прежде всего там не может быть такой гнусный стиль изображения, это же три тысячи лет назад. Вот простые карты, в которые играют, сейчас эти картинки – штамп, но там что-то видно, там древний образец сквозит. Я тебе уже говорил: нашли монголку, Бадмаеву, обеды мне готовить, пока я буду один.

Он стал прихрамывать, и мы повернули обратно. Нога у него разболелась, он еле тащился, ухватясь за мой локоть. Нога так болела, что он не мог на неё ступить. Мы шли с частыми передышками, 20 шагов – и отдых. Он тяжело дышал, выбился из сил. В лесу темнело, наступали сумерки. Погасало золотистое зарево над заснеженными соснами. На дороге мы одни.

– Вспомнил свою книгу "Солдатские сонеты", – сказал он. – Стихи 56 года. Книгу эту я целиком не издавал, это ещё не я, несамостоятельно. Там есть стихотворение... – И он стал читать срывающимся голосом, на ходу, клонясь на правый бок и держась за меня:

– Багровый снег, багровый снег,
багровый!

Иду, – по крови будто бы иду.

Иду по корке снежного покрова,

один иду,

встречая день на льду.

Но где же Полюс,

где же Полюс,

где же?

Всё те же льды,

обрюзгшие моржи.

И, веки смежив,

хочется в одежде

упасть,

лицом зарыться в снежный жир.

Железным будь, железным будь,

железным!
Пусть путь –
без губ любимой, без костра,
без трав полезных,
компасов любезных, –
ищи свой Полнос
и топчи свой страх.
Железным будь!
Сжав челюсти до боли,
скользи, ползи,
но – верь,
что –
будет Полнос!

А что это – свой Полнос? – сказал он, остановясь и криво усмехаясь.
– Полнос – это смерть. Ведь падают не на старте, падают на финише.

30 ноября 2002 года. Он один. Гулять не пошли, сидели за его столом у окна, он говорил:

– Все рвались к славе. Пушкин рвался, Некрасов – вовсю, Маяковский рвался. И потом, в девятнадцатом веке романтизм вообще был поставлен весь на славе. Наверное, я один такой выродок, я к славе никогда не рвался, моя слава – цепь случайностей.

Творчество, это, знаешь, европейское, рыночное, бездарное истолкование, у меня и язык-то не поворачивается употреблять это слово. У древних вообще такого понятия не было. Если уж на то пошло, то всё в мире – творчество, и убийство – творчество.

Я всю жизнь неумоимо сбиваю и мечту и надежду, во всех моих книгах, как ты видишь. Какие тут могут быть мечты и надежды? Разве что у детей до десяти лет. А у меня и тогда не было ни мечты, ни надежды, да просто не было на это времени. Жизнь сплошь – случайность и неожиданность.

Двадцатый век не дал ничего нового в форме. Роб-Грие? Но у него ведь те же два идиота, что и у Кафки, а до Кафки – у Сервантеса. Мои книги, да, формально новы – в русской литературе. В русской литературе такого точно не было. Но в мировой, знаешь... Чего там только нет! Я уверен, что там было абсолютно всё и уже много раз.

Вспомнил почему-то Введенского: что единственное реальное жизненное событие – это смерть. В сущности банально, у кого только это не сказано, с древности. Но у него получается небанально. Так бывает. У него как-то по-русски, страстно. Да, свой акцент.

Почему Пушкина на Западе не переводят? Да потому что для них в его стихах нет ничего нового. Пушкин же всё оттуда, от них взял. А здесь,

на русском, звучало свежо и гениально. И Тютчев от Запада. Да вся русская литература девятнадцатого века. Вот Западу и неинтересно читать в переводах с русского давно им известное и много раз пережёванное.

Кант своим категорическим императивом опрокинул все мозги западного мира. Когда он издал свою книгу, на него набросилась вся Европа. Требовали, чтобы он отказался от своих слов, грозили лишить профессорской должности в университете. Он испугался и издал добавления к книге, где объяснял, что он не то хотел сказать. Нет уж, что уж тут извиняться, всё что он хотел сказать, он сказал.

Читать нужно в юности, когда восприятие свежо и ярко. Прочтённое в молодые годы крепко закладывается в голову и остаётся на всю жизнь. Я в юности прочитал бездну книг. Ну, до сорока – так-сяк. После сорока чтение мало что даёт, восприятие упало, притуплено привычкой, потеря интереса. Только одна книга после сорока меня ударила – это китайская "Книга перемен". Резко новое для меня, совсем необычное. Да, чисто гадательное мышление. Я сразу увидел, что это же кости бросают: "Девятка сверху" или "Шестёрка внизу". И тут же фраза – образная формула.

Все эти критики – целая армия паразитирующих на литературе. А те, кто ставит литературу на дыбы, таких, знаешь, единицы. Это абсолютно независимые умы, для них говорить о книгах – только повод для собственного мышления, остроумия и фантазий, для своих закруток. Это особый дар. Например, этот француз Барт. У нас нет такого ранга. Шкловский, Тынянов – мельче, конечно.

Раздался звонок в дверь.

– Монголка! Обед готовить! – сказал он, вставая. – Пену с супа никогда не снимает. Что, в Монголии так суп варят? Или теперь везде так?

7 декабря 2002 года. Лицо у него осунулось, под глазами мешки, веки опухли. На голове жёлтая шапка.

– Плохо спал, – пожаловался он. – И монголка эта ужасно готовит. Есть невозможно. Голодаю третий день. Вот сам попробуй эту мерзость. – Принёс с кухни блюдо, что-то серое, студенистое, – Котлеты, называется! – сказал он с саркастической усмешкой.

Я попробовал кусочек, действительно, невкусно.

– Вот видишь! – воскликнул он, – я отнюдь не привередничаю. Все последние годы у меня война с бабами за приготовление съедобной пищи. А иначе – с голоду же сдохну! Ну, скажи, нужна мне эта война? Ни на что другое просто не остаётся времени. И врёт она, что она Бадмаева, от знаменитых Бадмаевых, будто бы Пётр Бадмаев, великий врач, крестник

Александра Второго, который лечил методами тибетской медицины, её предок. Бадмаевых в мире – пруд пруди. Ей, видите ли, любопытно: дома у гениального поэта! Прошлый раз спрашивает: "А что вы сейчас пишете?" Представляешь? Я указал ей пальцем на кухню и говорю: "Что бы я сейчас ни писал, ваше место там!" Где-то у меня хлыст был. Спёрли, конечно. У меня много спёрли. Без хлыста это быдло ничего ведь не понимает!

Мы сели на диван, он, немного успокоясь, продолжал говорить:

– Почему меня не печатали? Во-первых: у меня ни звука хвалы властям. Во-вторых: тон царский, эстетический. Стиль тоже для них абсолютно неприемлем. О чём тут говорить. Жизнь – одно, а так называемое искусство – совершенно другое, на разных берегах, разные миры, между ними – пропасть. Да, искусство берёт материал из жизни, но крутит его по-своему.

У Есенина ведь везде обнажённо, во всех стихах. Но мне нравится. У него яркая поэтика. Вот этот его "Чёрный человек" – это же фельетон. Ну, крик отчаянья. Вот Цветаева воет, так воет! У неё вообще жуткий вопль, истерика, безумие! Но у неё – в формах искусства. А тут – в формах человеческих, то есть – фельетон. Я понимаю: человеку плохо. Сочувствую. Но какое мне дело, мне, художнику, до форм человеческих, скажи пожалуйста? Вот поэма "Пугачёв" у Есенина – другое дело, там он отстранился от себя. Но при этом там всё равно – он, всё равно – о себе. А формы искусства могут быть очень разные. И мистификаторские. Скажем, дидактическая поэма, а никакой дидактики нет – так повёрнуто, риторическая поэма, а риторикой и не пахнет.

У Эдгара По? Написать честно книгу под названием "Моё обнажённое сердце"? Но это невозможно! Да и не нужно. Честно написать о себе нельзя, как честно ни пиши, будет ложь. И чем честнее пишешь, тем более ужасающая ложь получается. Почему и бессмысленны все биографии и автобиографии. Вот Руссо написал свою "Исповедь", он тоже считал, что пишет честно и искренне, а что вышло? Искусству не нужны эти честности и искренности. Да, для искусства остаётся только одно – способность воображения. У кого какая сила воображения, вот и всё.

У меня никогда не было страстной любви к жизни, знаешь. Меня только книги держали. Вот в них я весь и проявлялся, как мог. А сейчас и книги не держат. Книгой меньше, книгой больше – ничего не изменится.

Нужно войти в тот или иной ритм и писать беспрерывно. А сейчас это у меня никак не выходит. Зима меня всегда давила. А теперь и усталость. То ли дело в юности: приду с завода, посплю, и пишу "Слово о полку Игореве" – первое, что меня захватило. Но такое только в юности и возможно. А так – писателю нужен досуг. В первый же год, как я перестал работать на заводе, я написал семь книг и стихов и прозы.

Всё правильно. Лев Гумилёв – человек высокого таланта. Вывод из его книг: все этносы миллион раз перемешаны, все расы равны. Анекдотический случай: в Испании учёные решили исследовать тип испанских евреев, и обнаружилось, что это – хрупкий, светловолосый, белокожий, с голубыми глазами. В общем – белокурая бестия. Как у Ницше. Это, объявили, и есть тип истинного еврея.

Учителя! Ненавижу всех учителей! Особенно школьных! Зачем Толстой написал "Анну Каренину"? Вот что непонятно. У Флобера вдесять раз меньше тоже самое, и чище. Объяснить можно только графоманией.

Однажды я был в Хвалыни на Волге. Там Петров-Водкин родился. Ничего интересного я там так и не увидел, ни-че-го. Люди неинтересные, скучные. Единственное, что запомнил – гуси и утки. Тысячи гусей и уток! В гостинице на обед давали вот такой кусок утки! На ужин – тоже. И так каждый день. Через неделю я взмолился и стал просить хоть горохового супчика. Утка ведь жирная, осточертела! Это у меня такие разговоры, что впроголодь живу четвёртый день на одних пряниках и киселе...

Звонок в дверь. Он пошёл открывать. Монголка, в шубе, приземистая, с косичкой, в обеих руках тяжёлые сумки с продуктами. Он сопроводил её на кухню. Я слышал их разговор

– Очевидно, вы никогда в жизни не готовили и даже не знаете, что это такое? – спросил он язвительно.

– Да я повар в детском саде! Я вам готовить не буду и больше не приду! – возмущённо отвечала монголка визгливым голосом. В конце концов, у них дело уладилось. Он вернулся ко мне, усмехаясь:

– Я же тебе говорил: только хлыст понимает. Борись с червяками, а иначе задавят! Большим людям не до того, они выше, они своим заняты. А вот червяки-то облепят и душат

17 декабря 2002 года.

– Монголка-то сбежала! – объявил он. – С той субботы – ни слуху, ни духу. Ты свидетель, разве я сказал ей что-нибудь оскорбительное? Я только объяснил ей, и по-моему, вполне тактично, что, если она опять приготовит такую же несъедобную слизь, я буду вынужден с ней расстаться. Вот и всё. Что тут такого оскорбительного? Десять дней питаюсь только курицей, ничего другого не умею варить. Эта тварь исчезла, даже не предупредив. Разве не подлость? Знает же: больной, глухой, беспомощный. Что взять с поварахи детского сада! А ты не мог бы мне суп с мясом сварить? Я посмотрю, как ты делаешь, и потом уже сам буду.

Мы пошли на кухню. Там на столе лежала книжка моих стихов.

– Да, кстати, опять посмотрел твои стихи, – сказал он, подавая мне блестящую металлическую кастрюлю. – Сделано абсолютно. Но холодные. Нет, не мёртвые, но – холодноваты. Так и у Брюсова холодные. У Брюсова была установка на мастерство. Как у французов. У французов иногда так отделано, так филигранно отточено, что – сверкает! У Брюсова не сверкает. Но у него есть строфы! Вот такая:

В полумраке костёлов

Слышу слова.

Молитв невесёлых.

Мать? Сестра? вдова?

Проза Брюсова наивная. А вот у Сологуба стихи бездарные, я у него ни одной строчки не нашёл, зато проза его отличная, словно другой человек писал. На принципе резкого сопоставления образов. Хотя это от Гоголя идёт. Гоголь всех их затмил. У Гоголя – резкое сопоставление образов, да живопись, да музыкальность, да всё! Равного Гоголю в русской прозе так и не появилось. Ну, Платонов где-то близко. Нет, Брюсов в жизни холодным не был, вон у него сколько романов! Вот Блок в общении был холодный, высокомерный. А в стихах – буря страстей, цыганщина.

Качество письма во всём мире падает с каждым веком. У греков было сорок тысяч размеров. Сейчас везде пишут четырьмя, и на Западе, и у нас. Хотят запретить употребление иностранных слов в русском языке. Полная чепуха! Нет, я всё-таки напишу статью и опубликую в известном журнале. Я спрошу у них, а что они будут делать со словом "ребёнок"? Ведь это слово производное от татарского "е...". Все языки смеси разных языков. Вот, много ли ты слышал, чтобы я матерился? Я совсем не матерщинник. Но тут невольно...

24 декабря 2002 года. У него забинтован указательный палец на левой руке.

– Резал мясо для кошки, – объяснил он, – а нож отточил, как бритву. Чуть полпальца не отхватил. Давай посидим.

Сели на диван. Разговор зашёл о метафизике.

– А есть мистики, – сказал он. – Все великие поэты – мистики. Да. Соединение с космической силой, она к ним сходит с неба, их питает, они могут её в себе удерживать. Она их ведёт. У Цветаевой это её стихотворение: "Так Лермонтовым по Кавказу прокрасться, не встревожив скал..." Это вот – "прокрасться"! Мистика! Это она в эмиграции начала кидать бомбы. "Поэма горы", "Поэма конца". И Рильке мистик. Недавно прочёл новый перевод его "Дуэнских элегий". Вот в этом переводе угадывается его мистичность. Даже у Бёрнса угадывается. У Блейка – нет, слишком плохие переводы. Эдгар По – мистик. У Шекспира угадывается. И это ведь не зависит от религии. Религия – утверждение. Байрон –

богоборец, каинист, сатанист. Мировой! Открыто себя провозгласил, свой демонизм, и на практике такой и был. Но это мистик! Вот что все проглядели. Не только у поэтов. Наполеон – мистик. Гитлер, Сталин. А Ленин – нет. Ленин прагматик. Сталин всех загипнотизировал, всю страну, да, внушение громадной силы, той... Иван Грозный – какой мистик! О! Александр Македонский! Что его понесло чёрт-те куда, в Азию, в Индию, с горсткой воинов – против полчищ? Бежали от одного его вида. Победа за победой. Завоевания? Полмира? Он бы и весь мир взял. Конечно, его вела эта мистическая сила, энергия свыше. Она не даёт оглядываться и рассчитывать. Майя, инки – целые народы мистиков. Они ждали белых богов из-за океана, которые когда-то давным-давно дали им высшее знание, они жили этой легендой и ждали возвращения богов. И вот боги пришли! На конях, с пушками! Что им кони, пушки, панцири! С их мистической силой, с одними ножами перерезали бы всех за одну ночь. Но это же боги! Они не могли поднять руку на богов! А когда пелена спала – было поздно.

Как ты сам видишь: я чистый мистик. Это ведь и интуиция. Да, такой зрящий глаз и та сила, и глаз такой от той силы. Да: глаз, видящий за гранями, врождённо за связями, несвязанный. Я тебе уже рассказывал, как я держал в руке солнце. Это был мистический момент. Ещё несколько раз было тоже самое с лесом, да, слияние с лесом, и всё в лесу делалось для меня открытым, видимым, я всё в нём знал, до последней паутинки, все грибы ко мне шли полками. Здесь, может быть, только двое: я и Айги. А вот у Бродского мистики нет, у него только метафизика. Да, рациональность. Он большой поэт, у него большой напор и стих сильный, но он метафизик, не более того. О страшном пишет. Мистика ведь не в том, что пишут о страшном. Бывает, что и страшно, а мистики – ни на микрон. Да, и у него через своё внутреннее, через чувственное. Так ведь и у Цветаевой – через чувственное. Но это такое чувственное! Это же волчица воет!

У меня ведь теперь пора ненависти. Я и раньше всё это ненавидел, но всё-таки смягчённо, а теперь ненависть в полную силу. Цветаева разделяла мир на – поэты и все остальные. А я разделяю мир на – себя и все остальные. Потому что какие теперь поэты? Все пресмыкаются перед властью. Все. Даже Айги, его высказывание в газете.

Сегодня утром видел ещё один фильм Брюса Ли: "Выход дракона". Потрясающе! Вот абсолютный бой! Техника наивысшая. Мистика-то где! Это надо видеть понимающему. Молния! Удары абсолютно точные. Каждый – насмерть.

30 декабря 2002 года. Выглядит он неважно, лицо бледное, серый оттенок кожи, похудел. Ему холодно, знобит, он в пальто, в шапке, палец у него ещё не зажил. По его просьбе я сходил в магазин за продуктами. Потом мы стали варить суп из курицы и между делом вели разговор.

– Когда основа стиха музыкальная, то один фальшивый звук убивает всё, – сказал он. – Стихи, это такие нюансы, знаешь. Но абсолютно совершенных стихов не бывает, всегда можно что-нибудь найти, какую-то малюсенькую погрешность. У Пушкина почти все стихи – совершенство. У меня в "Дне Зверя" плохая глава о дельфинах, но она необходима, как связка. Как только я в своих книгах начинаю что-то рассказывать, всегда выходит плохо, и это снижение, а если начинаю объяснять – тут уже полное падение. Пушкин не знал, о чём писать и как писать. "Повести Белкина" – очень слабо, "Дубровский" этот его отвратный, "Капитанская дочка" под Вальтера Скотта. Кто сейчас их читает? И дети-то не читают. Так ведь русской прозы тогда ещё не было. Ну, была блестящая проза Марлинского, проза Батюшкова. И всё. Я ведь тоже сначала не знал, как писать прозу и что писать прозой. Не знал своё призвание в прозе. А когда узнал, то есть, пришло состояние – тогда всё открылось. У меня ведь и в прозе работа на уровне буквы.

"Охранная грамота" Пастернака – сильная проза. Это исповедь. Плачет о смерти Маяковского, гений плачет о гении, равный о равном, себя умаяя: что он рядом с Маяковским – говно. Искренний порыв. Предчувствие собственной смерти. Сын Пастернака в воспоминаниях пишет, что он, Пастернак, был тогда на грани самоубийства. Наверяд ли. Он слишком любил жизнь. Хотя, у поэтов такого уровня... Кто знает... Может быть... При всей моей безумной любви к стихам Пастернака я не могу не видеть то, что у него дерьмо. Этот его роман «Доктор Живаго», читал, читал, не могу, противно, начал уже пролистывать десятками страниц, думаю, ну когда же что-нибудь будет, не может не быть! Точно: есть прелестные кусочки. Но из-за этих кусочков двадцать лет писать такой огромный роман!

Есть люди, а есть такие вот ударенные, то есть – поэты, они только для этого и рождены – писать стихи, только с этим и рождены, и отдают этому всего себя или даже что-то большее, чем себя.

Сейчас читаю японца, Мураками, кажется. Он себя считает мистиком, а все критики называют его метафизиком. Но это огромная разница: мистик и метафизик, это совершенно разные понятия. Первый – То! – он поднял палец вверх. – Второй – все-таки, физика. У меня уже двадцать лет в мозгу две строчки вертятся, не вошедшие в "Верховный час", а они дают формулу всей вещи, всю суть. Может быть, поэтому и не вошедшие:

Мы встретимся потом: простим всю плоть.

Ты за неё – ты – самозванка смерть.

Меня покинул мой гений, то есть: мой ангел-хранитель. Понимаешь? У меня немного написано: четыре таких тома, как тот, изданный, чёрный. Тут всё мое. Дерьмо я съжг. Родится равный: поймёт и оценит. А, может, уже родился.

2003 год

6 января 2003 года. Солнце озаряет его комнату. Мороз минус 25 градусов, ему гулять нельзя. опять сидели на диване, он продолжил разговор о мистике:

– Мистик, мистика, то есть – то, что необъяснимо, – сказал он, – что нельзя измерить, нельзя объяснить. Или "это" есть, или – нет. Такими рождаются, то есть: с заскоками и завихрениями. И только такой может «это» увидеть у другого такого же. Конечно, таких рождается небольшой процент, иначе весь мир был бы безумен и рухнул. Большинство, девяносто девять процентов рождаются нормальные. В стихах можно объяснить, измерить только метры, то есть – технику, а дальше этого в стихах поэтов, то есть – таких, ничего объяснить нельзя. Возьми формулу нашего соцреализма: "Писать не то, что есть, а то, что должно быть" Теоретически, как формула, звучит правильно. Разве это не мистика? А практически получается – дубьё дубьём, нет ничего тупее. Я тоже мистик. Конечно. Ударился в стихи и больше ничего не вижу. И Пушкин – мистик. Вся его жизнь, вся его судьба – мистика. Потому что – ни грана здравого, рационального, всё у него – дикость, грандиозные заскоки и вихри. Одна его женитьба чего стоит, на бляди царя. Знал же. Что это, от большого ума? Объяснимо? Безумие.

Да, именно: никакую силу нельзя объяснить, тем более, эту, свыше. Вообще ничего нельзя объяснить и измерить, а только и делают, что объясняют и измеряют, то есть громоздят ложь на ложь. Всё стоит на лжи. Вся философия – ложь мерзейшая. Говорят о правде великого поэта, возводят в канон и молятся. Они формулируют правду поэта или сам поэт формулирует свою правду – но это ничто иное как ложь! Потому что этот великий поэт, скажем, Пушкин, всего лишь великий фантазёр. Придёт другой, скажем, Маяковский, у него своя правда, которая начисто отрицает правду Пушкина. Ну и как быть? У кого правда, у кого неправда? Пришёл другой великий фантазёр, вот и всё. Так нет, правдолюбцы, формулировщики ужами изворачиваются и подгоняют двух взаимоисключающих фантазёров–безумцев под какую-нибудь вымороченную лживую схему.

Я ведь тоже хотел написать правду, это Нодье меня попутал, его "Читайте старые книги". Помню, как приятно мне было читать эту книгу, и первый, и второй том. Да, захотелось продолжить, во всём масштабе, не то, что у него, у меня – и все религии, и философия, и искусство, и науки, в общем, все области. Полторы тысячи страниц. Ты подумай! Вот именно: захотелось разрушить всю эту пирамиду лжи. А когда написал, понял: какая тупость! Ничего этого не надо было писать. И – в печь!

Книга Нодье показала мне: до какой степени я могу быть туп. Вот вся её польза. Там у него всё правильно, то есть: неумолимая правда. Только что с ней делать? Мир стоит на лжи, потому что он таков всегда, таким всегда и будет. Поэтому единственно верный путь: оставить эту неумолимую правду в покое. Вообще о ней забыть. Не думать. Можно ведь изолироваться от мира, жить только в своём, в психическом своём. Книжки подсказывают, что – моё, и я отмечаю: да, верно, моё. Но это ведь значит – в тебе уже было, врождённно, и отзывается только на то, что твоё же, изначально, с чем родился. А убери Гутенберга и печатный станок, и что будет со всей этой правдой? Но волей-неволей в ней живёшь, в этой паутине, а лживость мира губит нервы. Понимаешь: нервы убиваются. Отчего и сердечные приступы. Удар. Голубые столбы пламени в глазах.

Спроси несколько человек о каком-нибудь факте, событии, которому они были очевидцами, скажем, убийство, как выглядел убийца. Все дадут совершенно разноречивые, противоположные показания.

Бывает, сами не знают, что они – мистики. Бомжи – мистики: тем, что выбрали себе такую жизнь, бездомную, вне людей. Солдат на войне: думает, что убивает врага за родину, а на самом деле, убивает и убивает, чтобы как можно больше убить, бессознательно, иррационально. И родина тут не при чём.

Да, это единственное гениальное стихотворение у Бродского: "Я обнял эти плечи и взглянул...". Если называть метафизикой холодное перечисление предметов, то это метафизика. Но это стихотворение – мистика.

13 января 2003 года. Понедельник. Наконец-то выбрались на прогулку. Метель.

– Бесы закрутились, – сказал он. – Музыкальность для меня – это ведь не мотив. Что мотив! Пошлые песенки. Да, музыкальность – это весь строй стиха. Весь внутренний строй стиха! Мей очень талантливый поэт, у него много музыкальности, но связался с этими пропойцами, Аполлон Григорьев и компания, и пропал. Это ведь на стихи Мей романс: "Хотел бы в единое слово я слить мою грусть и печаль..." – он запел грустно. – Этот романс любила петь моя мать.

Брели в лесу, метель в лицо. Он сказал печально:

– Ноги отвыкли, еле ползу. А как я летал! Я Гермес – гений бега! У меня об этом и в стихах не раз сказано. Нет, не поняли, считают, что это у меня – бог, божество. Ничего не поняли. Я – Сириус, это моя звезда, я под ней родился. Главная звезда в космосе, она всеми звёздами командует, выстраивает парад звёзд. Вот и в этом году – парад, прощальный.

В молодости я дружил с Понизовским, потом он от меня отошёл, когда началась моя слава. Он превосходный поэт, типа Кузмина, только

крепче. По пьянке попал под трамвай, отрезало обе ноги. Тем не менее жил ещё сорок лет, до шестидесяти шести дожил. Недавно умер. И женат был, безногий, сменил трёх жён, от каждой ребёнок. Он красивый был, кудри такие рыжие. У Понизовского я познакомился и с Анри Волохонским. Ну, с ним – дружбой это не назовёшь, с такими людьми дружба невозможна. Он математик, то есть – человек в себе. Что ему люди, он живёт в мире формул. Гениальный математик. Не знаю, где он сейчас и что с ним. Гении, то есть – сумасшедшие. Если бы мир состоял только из них, из этих безумцев с их завихрениями, то он бы в этих вихрях и минуты бы не продержался, тут же бы рухнул. Ты тоже ненормальный, раз со мной гуляешь, да ещё в бурю.

К Бродскому у меня отношение всё хуже. Как он там изгибался, чтобы получить Нобелевскую премию. Зачем-то в Лондон к Одну ездил. Тоже изогнуться. Тот уж восьмидесятилетний старик. И после этого стихи Бродского – как дрова рубил. Какая там музыка! Музыкой и не пахнет. Писали же в какой-то статье обо мне и Бродском, сравнивая: что значение Бродского зря так преувеличивается. Бродский – большое дерево, мощный дуб. А Соснора – это целый лес. Оркестр.

Начало темнеть. Метель стихла. Яркий месяц высоко сверкал над заснеженными елями. Весь обратный путь он следовал за нами, озаряя снег, бросая лунные блики на дороге. Мы шли одни в лесу. Он в своём пальто и кожаной шапке с опущенными ушами. Его стало пошатывать, действие мрака, и он ухватился за мой локоть.

– Давно не выходил в лес, – сказал он. – Хоть месяц увидел.

20 января 2003 года. Сегодня гулять было трудно, гололёд. Я держал его под руку, и он ещё опирался на свой зонт, как на трость, чтобы ему было легче ступать на левую ногу, которая у него на два сантиметра короче правой.

– Я был знаком только с одними придурками, – сказал он, – то есть с теми, у кого загибы и закидоны. А только такие люди и интересны. Будь я беллетрист, я мог бы о многих из них написать. Но я тогда не вёл дневников, о чём ничуть не жалею, потому что беллетристика не мой жанр. Это я понял. Поэтому я не могу быть популярным.

Карты – это страсть. Но у меня страсти к картам не было. Игра в карты связана с магией. Естественно: это же древняя игра цыган, это цыгане принесли карты в Европу из Индии или Египта. Я не мог тогда об этом знать, но, видимо, я внутри был от рождения намагничен. Поэтому, блейфуя в покере, моя психическая сила всегда побеждала противника. Это как психическая атака у белогвардейцев: идут, с иголки, застёгнуты по горло, форма блестит, золотые погоны. Впереди генерал. Ни единого выстрела, только штыки. Абсолютная невозмутимость, будто

они из железа. Как правило, шли в гору, взять высоту. Какой-нибудь батальон, не больше. А против них целая армия красноармейцев. Сближаются, пятьсот метров, триста, те не выдерживают, начинают визжать и бегут, вся армия. Так и в моих книгах. В «Дне Зверя» эта психическая атака у меня явная, прямая. В последующих книгах по-другому: скрытно, тоньше, но сила та же. Смогу ли я ещё такую психическую атаку дать в последней моей книге? Не знаю.

Блок эзотерик, у него стихи зашифрованные. Сейчас этого шифра никто не знает. Первый его том, "Стихи о прекрасной даме". Тогда была такая эпоха, Верхарн. Вячеслав Иванов – мощнейшая фигура. Символизм и есть – эзотеризм. Мисты, то есть – отключённые от мира. Они же были в масках, за завесой. Эмпедокл ходил в чадре, в прозрачной такой накидке. У того же Гёльдерлина мне важны совсем не те стихи, когда он был в здравом уме, в том числе и эта его трагедия в стихах об Эмпедокле, а как раз стихи его сумасшедшего периода, последние его стихи. Сумасшествие у таких условно, сейчас все эти безумцы реабилитированы, сумасшествия с них сняты. Учёными доказано, что это не то, что является сумасшествием у людей. Именно последние стихи Гёльдерлина дышат музыкой, чистым эфиром, свободны. В Германии его не понимают. Люди вообще не понимают, что стихи и людская бытийственность – разные миры. Нет, мерят стихи своими бытовыми понятиями. Когда у Блока пошли его пьянки и кабаки (а это и есть настоящая мистика), и кабацкие стихи его, тогда и явился Блок, великий поэт. Но у Блока и очень много слабых, расхлябанных стихов. О нём и Маяковский писал: что у Блока из десяти стихотворений девять плохих, но зато одно такое, какого никто из нас никогда не напишет. Все, кто ходил к Вячеславу Иванову – эзотерики. И Маяковский – тоже, начальный период. И Хлебников. Эзотерики любили только подобных себе и равных. Платон. Леонардо да Винчи.

В процессе работы, головы, писания – у меня идеальная память на то, что я делаю. Я помню каждое слово, каждую букву, каждую запятую – на какой странице стоит. А написал – как отрезало. Забываю всё. Потому что работа закончена. Изжито, прожито.

Потеря слуха дала мне только одно: что стихи мои стали тонко музыкальны, с множеством нюансов, тончайшая звуковая организация. До этого мои стихи в звуковом смысле кажутся грубыми. Ронсар тоже потерял слух, раньше меня, в молодом возрасте, и лучшие свои стихи он написал глухим. Бетховен высшие свои вещи сочинил глухим. Но кто сейчас способен эту музыкальность услышать в моих стихах?

Троцкий сделал русскую революцию с одной тысячей обученных рабочих. В Мексике его убил ледорубом подосланный шпион. Представляешь: ледорубом по голове ударить три раза! Троцкому было за пятьдесят, по-моему. Он только через месяц умер в больнице, боролся. Но это была борьба с тенью. Да, это люди гигантской энергии.

У Платонова в его "Военных рассказах" матросы бросаются под фашистские танки со связками гранат и с дикими речами, как запорожцы у Гоголя в «Тарасе Бульбе». Я разговаривал с дочерью Платонова. Она опровергла, что Платонов пил. Как она выразилась: у него не было нужды пить, единственное, что ему было нужно, так это только – писать.

27 января 2003 года. Помог ему сдать бельё в прачечную. Потом пошли гулять в лес. Лужи, гололёд. Он опирался на свой зонт-трость.

– Сейчас читаю "Молот ведьм", – сказал он, когда мы свернули на нашу дорожку у ручья. – Замечательная книга. Ангелы меня покинули, теперь надо искать контакт с дьяволом. Так что эта книга своевременная, пришёл её час. Хотя по всем характеристикам я сам подхожу под определение дьявола. Также как Байрон, Лермонтов, Достоевский. Они это и не скрывали. Наш патриарх всяя Руси Алексей помог мне издать роман "Башня" – мою самую сатанинскую книгу. Вот что значит сила внушения! Но получается наоборот: на людей воздействуют самые плохие и глупые книги типа Толстого и Томаса Манна, самые тупые, высиженные свинцовыми задницами. А лучшие книги на мир никак не влияют. Влияют только на понимающих. У Толстого только повесть «Казачи», единственная вещь, чисто написана. Как это у него вырвалось? А «Анна Каренина» – мещанский шаблон самого низкого пошиба. Вот дневники Толстого! Толстой не понял своё призвание, оно в его дневниках. Если бы сделать коллаж, могла бы получиться великолепная книга типа "Записок у изголовья" Сей Сёнагон. У Сей Сёнагон безумно красиво и откровенно. У Толстого другое, у него – дико аморально и абсолютная беспощадность к себе.

Я думаю, Пушкин был простодушный человек. Иначе как объяснить эту его позорную женитьбу на бляди царя и плебейское стремление к аристократическому кругу. А вот в своих стихах он был истинный аристократ.

Не так страшен лев, как львиный рык. Я об этом писал. Лев издаёт рык перед нападением, перед прыжком. Рык этот ужасен и парализует жертву. Это такая сила ультразвука, которая может и убить. Да, разрыв сердца. Тот же львиный рык издавал перед ударом и Брюс Ли, и тоже, я думаю, была неувловимая нотка ультразвука, хотя это и запрещено применять в подобном бою. А я дорычался. не могу закончить книгу. Сяду ночью на кухне поработать, а какая работа, когда сил нет! Да и чёрт с ней, с этой книгой! В ней есть чистые куски текста, хороший текстолог мог бы на их основе сделать коллаж, ничего от себя не внося и не искажая. Самое важное, что я мог сказать, я уже сказал в своих книгах. Да, будь сила, и дальше писал бы новое. У таких путь бесконечен. Дар неизбежный Не только Цветаева так говорила, у Нижинского об этом в его "Послании человечеству": что у гениального артиста грация бессмертна.

3 февраля 2003 года. Показал мне газету с его интервью, там портрет его отца: гетманские усы, военная польская шапка с козырьком. Там же и его портрет, 20 летнего. Гуляли в лесу. Мороз и ветер. Он продолжил разговор, начатый дома:

– Подсознательное стремление к смерти – при большой энергии, а только у таких так и бывает. Я родился двухголовый. Не отрезали бы у меня вторую голову, и сидел бы сейчас в кунсткамере с моими собратьями в спирту, и ничего бы этого не было. Вот магия рока! Как мой отец на лыжах бегал! Словно какой-то священный танец. Шаги по метра три! В математике, как в стихах: если большой талант – то ранняя слава. Игорь Богаченко в двадцать лет – мировая известность. У меня – в двадцать три. Техника у меня с первого же стихотворения была идеальная, врождённая. Но тогда у меня ещё не хватало большой любви к большим поэтам. Ещё не могло войти в сознание, в ту голову. А многим так и всю жизнь не входит в сознание. Графоманам.

Есть стихи: игра ради игры. В них нет духовной силы. Это пустота. Такой пустоты полно у Пушкина. "Домик в Коломне", "Граф Нулин" и ещё многое. Он открыл для себя жанр новеллы в стихах. В Европе этого было пруд пруди. У Пушкина ведь нет чувственности. У Бокаччо – чувственность и сконцентрированность, каждая фраза – новое событие. В моих книгах много чувственности. Чувственность это не чувствительность. Чувствительность у Есенина, то, что все поют. Когда я напивался, я тоже, расчувствовавшись, со слезой в голосе распевал Есенина.

Кручёных ругался матом только с Малевичем. Они ругались в пух и прах. Но Малевича он не понимал. То есть: понимал, что форма абсолютная. Но не видел, что это мистика формы, то есть – высшая чувственность космическая. И все квадраты Малевича – чёрный, красный и даже белый. Белый, всё-таки, ошибка. Вайсберг потом доказал, что обязательно надо подмешивать. У Филонова – не думаю. Он же фанатик, он всё с пролетариатом возился. Чтобы это видеть, нужен глаз. Да и не глаз, таким надо родиться. Да, весь строй организма, до кончиков нервов. Некоторые – бессознательные мистики, даже и не подозревают, что у них глаз мистический и что они живопись видят абсолютно точно. Вот Нина – всё понимает, её оценки безошибочны. У моих подражателей нет внутренней самобытности, нет живого духа, они мертвы. У Малевича или Хлебникова была школа, там другое дело. Все их ученики самобытны, подражателями их назвать никак нельзя. У Малевича – Экстер, пришла к нему семнадцатилетней девушкой и под его влиянием проявилась. У Хлебникова – Петников, Петровский. Даже у Цветаевой полно Хлебникова. До её знакомства со стихами Хлебникова у неё не было этой, где явной, где тайной могучей, сгущенной звукописи, этого

«прокрасться». В её «Вечерних альбомах» этим и не пахнет. Петников, Петровский – не гении, конечно. Но слово гений вообще – говно, его давно пора снять.

Надсона уважаю за то, что он первый ввёл в русский стих музыкальность, открытую Малларме. На рыдания его я не обращаю внимания. Он мог рыдать – ведь молодой умирал от туберкулёза. Потом Бальмонт довёл эту музыкальность до высших пределов и разнообразия.

Дали открыл сюрреализм в живописи: грубый, примитивный метод, собственно – антихудожественный. Но как направление – новое. И в этом направлении было много прекрасных настоящих художников, несмотря на метод, даже вопреки ему. Например, Магритт. Так часто в истории искусства: возникают новые направления и тут же закрываются, дальше не идут; другие, наоборот, развиваются и живут долго.

Ницше "Так говорил Заратустра" – подвиг, конечно. Только зачем – такое возвеличивание себя, сверхчеловек? Значит, чувствовал себя человечески неполноценным, захотелось доказать, снизился до объяснений с толпой. Мелко, недостойно. Настоящий сверхчеловек никогда не станет декларировать своё сверхчеловечество. Это рационально. Рациональные действия разрушают человека и ведут к безумию. Предвоенное поколение писателей в Европе. Рухнули их представления о человеке, этого они не выдержали, не могли жить дальше в таком мире и покончили с собой. Вирджиния Вулф, Цвейг. Изнеженные с детства, богачи, да ещё напичканы всякой мразью, то есть – гуманизм. Отправить бы Цвейга на передовую, повоевал бы месяц простым солдатом, весь гуманизм бы слетел, закалился б духом и, уверен, больше бы не думал о самоубийстве.

Новое открытие этого американского учёного, Хаббла, кажется. Ты слышал? С этой чудовищной сверхоптикой они там в звёздах ещё и не такой ужас увидят! Чем дальше, тем ужасней. Их представления о мире будут рушиться каждую минуту. Куда они лезут? Вот чего не надо делать! Они думают, что там – хаос. Но это не хаос, а наоборот – стройнейшая сверхсистема, непостижимая для их микроскопического ума. Там идёт руководство такими грандиозными процессами, таким их множеством, такие масштабы, такие махины крутятся, что Земля в тех делах – какая-то ничтожнейшая пылинка. Вот что они никак не поймут.

Книги мне надоели, у меня импотенция книг. Да всё надоело. Как жизнь играет человеком!

Мороз усилился, ветер задул резче. Мы повернули в обратный путь.

10 февраля 2003 года. Пошли с ним на почту. Снежная каша, лёд. В его ячейке три письма: из Швейцарии, из Франции, из Новосибирска.

– Приятная неожиданность! – сказал он. Вскрыв письмо из Швейцарии, он тут же за столом прочитал его.

В лесу, держась за мой локоть, он говорил:

– Люди живут в иллюзиях. Но ведь и поэты живут в иллюзиях. Я люблю людей храбрых, действующих в одиночку. Речь Державина против евреев, жутко яростная. А почему? Просто поэт великий, и – завёлся. Блок потерял музыку. Он и сам об этом пишет в дневнике: "Я потерял музыку". Его "Скифы" – риторика, "Двенадцать" – тоже. То есть: перестало петься. И Белый потерял музыку. Шлёпал свою ужасную эпопею, эти его три московских романа. Всё мёртво. То есть – голая форма. А Маяковский, при его принципе, не потерял до самого конца. Писал за, а получалось контра. Вот и я, наверное, потерял теперь музыку.

Взялся перечитывать Шкловского. Умный, но однобокий. А иногда такую фразу ввернёт, что понимай, как хочешь. Да, чего-чего, а музыкальности мышления у него искать не приходится. Он же футурист. Футуристы восстали против лирики, лирика им осточертела, она им вот где была, с Пушкина. Такая реакция, вполне естественная, на всю эту лирическую размазню. Отсюда их ниспровержения. Кручёных, так тот и Маяковского обвинял в лирическом слюнтяйстве. Фанатики принципа. Вначале это сильно. Но упорное следование одному принципу ведёт к разрушению художника.

Язык стремительно засоряется. Уже утверждён закон о реформе языка, запрещение мата и прочее. То есть – язык нивелируют. Почему я не могу говорить так, как я хочу! Да ни в одном государстве мира не говорят на государственном языке, а говорят на разговорном языке! Я только жду, когда они обнародуют эту реформу, я напишу статью, где разнесу их в пух и прах! Я докажу полное невежество этих академиков и их лицемерие. Их цель не язык, а нивелировка людей. Раньше люди говорили, называя вещи своими именами. Но власть этого не любит. Потому что надо обязательно солгать.

Самое правильное социальное учение – это анархизм. То есть: в основе индивидуализм, а не коллективизм. Князь Кропоткин – могучая личность. Он буквально ошеломил Европу своими анархистскими идеями. Вся Европа забурилась под флаг анархии. Всё молодое поколение. Его ставили даже выше Маркса. Герцен его боялся.

Высокие технологии ведут к одичанию. У автомата из железа стоит автомат из мяса, который его обслуживает. Не умеет читать, не умеет писать. Ему это не нужно. От него требуется только нажимать кнопки. Скоро говорить разучатся. Ты же видишь, какой уже за эти три года пошло-блатной стал язык.

В мире ничему нет доказательств. Например, уже сейчас нельзя доказать, что именно я, а не кто-то другой, написал мои книги. А через сто лет что докажешь? А через тысячу? Стили стираются. В мёртвом языке никакие стили уже не различишь. Скажем, в латыни. Почитай Плутарха. Как ужасно написано. Карамель для рабов.

Летом (если ещё дотяну до лета) надо будет привести себя в физический порядок, чтобы явились силы привести в порядок рукопись. Из-за того, что книга не сделана, у меня состояние чудовищной подавленности. Психика в хаосе. Вот видишь, до чего я дошёл: ною, ною всю дорогу и навожу на тебя уныние.

На обратном пути мы зашли на рынок. Он еле двигался, поднялся с моей помощью по скользким ступеням, в дверях у входа замешкался. Мрак. Толпа напирает, нетерпеливые окрики. Какой-то здоровяк в косматой шапке сказал: "Ну, давай, давай, пошевеливайся, умирающий лебедь!"

17 февраля 2003 года.

– Вот видишь, – сказал он, – я возбудился и сразу начал болтать уже только оттого, что ты пришёл – новый, свежий человек за всю неделю. У меня ведь, кроме тебя, никто не бывает, ни одного звонка. Лежу все дни, пока ты не придёшь и не выведешь меня на прогулку. Да, эта рукопись... – он показал на лежащую на столе папку. – Я понял, почему я не опубликовывал свои ранние стихи, интуитивно не опубликовывал: в них ещё не появилось то большое дыхание, которое потом ко мне пришло. В русской поэзии самое большое дыхание у Цветаевой, ни у кого из русских поэтов нет такого мощного дыхания. У неё оно появилось в тридцать два года, но потом оно у неё перешло на инвективы, собственно – на публицистику.

Язык надо изучать по стихам больших поэтов, заучивая стихи наизусть. Потому что у больших поэтов сильно поставлены слова. Во Львове я знал наизусть великое множество украинских и польских стихов.

Теоретически я мог бы написать ещё одну книгу, но это будет та же злоба, те же слова.

Пошли гулять в лес. Погода мягкая, снег поскрипывает, сырой, липкий.

Я быстро прочитал всю мировую философию, – сказал он, глядя на дорогу. Навстречу нам, тарахтя, катился трактор с брёвнами. – Я тогда читал очень быстро и всё молниеносно усваивал. И Маркс, и Ленин с большими скачками. А Сталин неинтересен, всё у него правильно. Безумно скучно. У Гегеля всё кипит, а иногда он такую ... несёт, что приятно читать. Гердер и вообще придурок. У немцев много философов придурков. Такими и должны быть философы. И Сведенборг, и Кант. Лейбниц, тот всё со своими монадами возился. Не знаю, почему его причисляют к философам. Я иногда с большим удовольствием читаю у него по страничке десять, чтобы немного развеселиться. Кьеркегора я оставил у себя только эту брошюрку «Страх и трепет». Тут он сильно

написал, действительно в страхе и трепете. Все эти Ясперсы и Хайдеггеры – занудство и тупость. Самый тупой из них Шопенгауэр. Также быстро, как философию, я прочитал всю мировую историю. Алексей Михайлович, да, тишайший. Но он не был личностью, не был активной фигурой.

Шкловский ведь очень ядовитый, беспощадный ко всем. Но он начётчик, долбил в одну точку, что он считал на этот период высшим, и ничего другого для него на свете не существовало. То – только футуризм и выше футуризма ничего нет, то – только конструктивизм и выше конструктивизма ничего нет, то – кино... Так вот, он у себя в книге приводит высказывание Тынянова о Мандельштаме: что Мандельштам – это мраморная муха. Исчерпывающе. Как клеймо припечатал. Вот и я сколько ни читал Мандельштама, вижу: стих сильный, поэтика сильная, а ничего не чувствую, ни одной строчки. Также и Анненский: прекрасный, тонкий, а не чувствую, не трогает. Такие вот очень высокие версификаторы, но не поэты. Дар стиха высочайший, а дара поэта не дано. У Гумилёва и стих слабый. Ахматова неплохая баба, но надломленная. Ей внушили, что она великая. У Анненского первая книга и называется «Тихие песни». Вот уж чего абсолютно нет в моей натуре. Говорят: поэты от бога. Но ведь бог, знаешь ли, никак не тихий, у него там такое творится!..

Лучшая книга Льва Толстого – переложение для детей русских сказок. Великолепно! Написано чисто. И откуда только он взял такой язык! У него же язык, как у бульдога! Потом он принудил себя написать «Анну Каренину», потом – «Воскресенье», ещё ужаснее, тут уж всех святых выноси. Такие усидчивые задницы. И, как правило, они очень много знают. Сейчас издают полное собрание сочинений Толстого в девяноста томах. Видно, включили и клочки, которыми он подтирался. Тоже самое – Томас Манн, у того тоже томов сто. Единственно, когда у него блеснула искры таланта, – это новелла «Смерть в Венеции». Написал старый, дряхлый, перед смертью. Видно, ударило: вот – всё, конец. И вырвался искренний крик.

У Чехова между языком его прозы и языком пьес – пропасть. Там – язык серой, шивовой реальности. А в пьесах – многопланово, язык мощный, с множеством нюансов, абсурдный. И не прямой абсурд, а, вот – мир предстаёт такой странный. Чехов и сам понимал. Он, кажется, и написал в письме уже перед самым концом: проза моя гроша не стоит, а пьесы останутся, их будут ставить на сцене, пока будет жив русский театр.

Небо прояснилось, выглянуло солнце, уже закатное, тихое, низко над лесом. Снег на дороге мягко осветился.

– Вот и просветление! – сказал он. – Приятная неожиданность под занавес!

25 февраля 2003 года.

– Я в каком-то оцепенении, – сказал он, вяло шевеля рукой. Бледный, небритый, белая, как лунь, грива, всклокочена. – Страх выхода на улицу. Не могу идти гулять, когда Нины нет дома. Если бы хоть солнце, – он взглянул на окно, – а то муть. Нет, не хочу. Бессмысленно. Даже шевелиться лень. Видно, скоро конец. Шестидесят семь – это большой возраст? А какой же по-твоему большой? Восемьдесят? Ну, конечно, в восемьдесят-то я и приободрюсь. Чем хороша старость: что сил всё меньше и меньше, зато ума – всё больше и больше! Прибавляется и прибавляется! – сказал он с едкой, саркастической усмешкой. – О, ум! Что такое ум? Ум – это подонческий инструмент, созданный для приспособления.

Пушкин бесился, что у Козлова настолько всё совершенно, что у него нечего взять. Спать нечего. Ходил и распевал: «Вечерний звон, вечерний звон». Козлов гениальный поэт. Куда сильнее Жуковского. Жуковский – светский, то есть – простонародный. Стал я читать его «Светлану»: «Раз в крещенский вечерок девушки гадали, за ворота башмачок, сняв с ноги, бросали». Что за ..., думаю.

Забыли изначальное назначение стиха, заменили описанием, мыслью, жизнью и так далее. У больших поэтов и мысль, если она звучит. Но назначение стиха в его форме. Я хотел бы об этом написать статью, да как-то не вышло. В Европе было много кружков поэтов, которые занимались исключительно изобретением новых форм стиха. Скажем, кружок Фридриха Гогенштауфена изобрёл сонет. Я не изобретал новых форм, но воскресил великое множество старых, что никто до меня в таком масштабе не делал. Да, оживил мёртвые формы, наполнил новым духом, дал новую жизнь. У меня стих простой, но язык такого уровня, что читать не могут. Стих идёт от языка, а не от жизни. От жизни идёт только говно. Говорил же Гёте: зачем искать новые сюжеты, когда есть уже готовые. Попусту силы тратить. Взял у Марло сюжет «Фауста» и сделал своё. Кто теперь знает Марло? Знают только гётевского «Фауста». Гёте иногда говорил очень умные вещи.

Формальные упражнения весьма ценны. Уж во всяком случае в них куда больше смысла, чем в описаниях. Стих пал. В девятнадцатом веке стихи даже так и стали называть: пьесы. Пьески! Ты понимаешь! Слава Евтушенко началась только оттого, что у него живо составлены фразы. При его газетном языке. На сером советском фоне даже это произвело фурор. Вознесенский – уже поэтика. Или, вот, простой пример: сравни книгу палиндромов В. и палиндромы, которые сочиняет Ф. У В. – жёсткая, сложная, трудная, интересная форма, даже с сарказмом, с солью. То есть – эстетика. У Ф. – вообще никакой формы. Форма и не ночевала. Это газета, составленная в виде палиндрома. Как ни читать: справа налево,

слева направо – один хрен. Скучная газета. В стихе слог условный. И в прозе слог условный. Писатели девятнадцатого века этого не понимали. В двадцатом веке понимали все. Символисты первые поняли, они знали древние языки и древние формы, они прочитали все книги.

Тынянов писал об этом же: о формальной стороне, но с философской точки, как о результатах: у этого сильно получилось, у того, – жижа. Тынянов – умнейший человек. А проза его ведь чисто экспериментальная.

Чтобы всё сошлось, и все формы, и духовное, одного поэта мало, нужна плеяда, вот как футуристы. Хотя, в Хлебникове и в одном всё сошлось. Но это случается очень редко. "Зангези" – язык птиц. А Маяковский ведь сразу перешёл на новояз. Между языком его "Флейты-позвоночник" и советскими фельетонами – пропасть. Тем не менее, всё та же сила, всё у него железно, форма не снижена. Всё звучит. Так ведь и "Во весь голос" – это полностью новояз. А это его высший всплеск, мощь!

Такая живопись, как у Державина в его "Жизнь званская" футуристам и не снилась. Такой живописи ни у кого нет в русской поэзии. А вообще – сейчас у нас идёт глубокое падение стиха. Сначала убили больших поэтов, теперь убивают язык. Да он давно убит за восемьдесят лет их власти.

4 марта 2003 года.

– Я всё в том же оцепенении, – сказал он. – Сходим в магазин за продуктами, вот и будет прогулка.

– Недавно я прочитал об одном исследовании, проведённом в Европе, которое меня обрадовало. Я давно подозревал это, но тут точно подсчитано: что семьдесят процентов жителей Европы не умеют читать и примерно столько же не умеет говорить. И это в культурной Европе! А что, в таком случае, в остальном мире? Все сто процентов? Эта проблема речи меня занимала и я даже хотел об этом написать. Но не стал, потому что – бесцельно. Зачем? Для кого? Стихи, проза – другое. Там пишешь – ни для чего, ни для кого. А тут необходима цель.

Да, в девятнадцатом веке культура речи была высочайшая, переписка, все писали друг другу письма. Было красноречие. У меня переписка была громадная, мне много писали, и я отвечал на каждое письмо. И иногда бывали и «озарения», как пишет обо мне Бузинов в своём хлестаковском интервью со мной. "Озарение" – не моё слово, я его не употребляю. Наверное, там у него и "вдохновение" есть? Только ещё "откровения" не хватало. Да, видишь... А теперь, за последние десять лет ни одного письма не могу написать. Не могу составить порядок стихов для книги. Мои ранние стихи хотят издать, и вот – рукопись на столе

лежит всю зиму. Вчера пробовал печатать на машинке – хрен! Буквы путаются. Что-то с головой. Видно, надо умирать, как говорил Есенин. Он это в двадцать лет уже говорил. Для чего такая жизнь? Наверное, я, всё-таки, с собой покончу. Э, брось ты! Кто из людей тонкой нервной организации после сорока лет не подвержен меланхолии, ипохондрии и всякой психопатии? У всех есть периоды сумасшествия, страхи, паранойя и прочие прелести.

– А день-то какой чудесный! – сказал он, глядя на окно. – Вот и пойти бы гулять в лес, голодая. Сейчас ещё сносно, а стемнеет – хоть вой.

11 марта 2003 года.

– Так вот, живя один, можно и с ума сойти, – сказал он со вздохом. – Когда есть работа – всё хорошо. Но если не работает уже год, как сейчас, запросто можно с ума сойти. Ты ведь единственный человек, с которым я разговариваю за целую неделю. Не с кухаркой же говорить, она у плиты шурует. Что на улице? Слякоть? Гололедица? Всё-таки надо выйти, купить мяса кошке и "Известия". Единственная газета, где есть хоть какая-то правда. Сжигали художников за то, что они "левые". Того, армянского, помнишь? И картины, и его самого сожгли в мастерской. Все большие художники – "левые", потому что не терпят над собой никаких законов, над своим искусством. Да, у Пушкина: свободные орлы.

Я давно хочу написать о птицах, о связи людей и птиц. Ни у кого из русских поэтов нет столько птиц, как в моих книгах. Давно замечено и такие факты опубликованы: что люди, долго находившиеся в обществе птиц, вдруг начинают говорить на каких-то неизвестных языках. Учёные подозревают, что это языки древних цивилизаций, ещё до египетской, до вавилонской, до шумерской. Это первое. Второе: что у людей, общающихся с птицами, вдруг проявляются художественные способности, которых не было: дар стиха или дар рисования. Да, у Дафны дю Морье есть рассказ "Птицы". Это вечная притча, гениальное пророчество, которое, может быть, скоро и сбудется. Птицы соберутся вместе от мала до велика, а их на земле ещё армады, от чирика до чайки, соколы, коршуны, альбатросы, об орлах не говорю, и заклюют всех людей, всю эту мразь. И атомной бомбы не надо. Человек наблюдал. Дафна дю Морье жила у моря и наблюдала за птицами. А у моря птиц несметно. Вот ей и пришлось в голову. Так ведь и у Аристофана есть комедия "Птицы", и у него птицы людей бьют. Звери начинают мстить людям. Не только акулы пожирают людей, теперь уже и дельфины вовсю жрут. И это дельфины, которых с древности считали дружественными человеку. В древней Греции все эти знаменитые истории о спасении людей дельфинами. А если крысы пойдут, их ведь полчища, больше, чем людей, и они сплочены, у них железная организация, ничто не заставит их

свернуть с пути. А муравьи, пчёлы, осы, змеи, медведи, волки, все! Представляешь! В Южной Америке есть и орхидеи-человекоубийцы. Гигантские орхидеи. Идёт человек мимо – она его хватает за шею и душит. Потом переваривает, как муху. Эх, ты профан! Ничего-то ты не знаешь. Вот что надо читать, а не письма сумасшедшего Батюшкова. Только в таких сведениях и можно найти образы, интересные для писателя. А что найдёшь в художественных книгах, или тут, на Ржевке? – он показал рукой на окно, за которым стояли серые коробки домов в мутном небе.

– Все свои книги я написал там, где есть птицы, – продолжал он. – В Комарове, на Мшинской, в Эстонии. Там их полно, всяких. А тут птиц нет. Ни одной птицы. Вот и не пишу. Что? Завести попугая? Да, у меня когда-то был попугай. Есть ведь такие попугаи, что верны хозяину больше, чем собаки. Вот гавайские попугаи. Маленькая такая зелёная птичка, а клюв – дай бог! Если он почувствует, что хозяин не любит свою жену, то заключёт её насмерть. Или – вор заберётся в дом, и, если клетка открыта, то этот попугайчик вора заключёт до смерти, голову пробьёт до мозга, глаза выклюет.

Вот посмотри, принесли мне новый иностранный паспорт, – он развернул красную книжицу. – Что мне от него толку. Никуда я уже не смогу поехать. Да и паспорт какой-то еврейский: справа налево написано, фотокарточка на последней странице, печать неразличимая. И не похож я тут на себя. Ну, скажи, разве я похож на эту рожу? Специально всё так сделали, чтобы таможенники не пропустили.

Ты знаешь, что существует еврейская энциклопедия? Ни у одного народа в мире нет своей энциклопедии, только – у евреев. Там много неожиданного. Исаак Ньютон – еврей, конечно. Евреи его ценят не за то, что он открыл закон притяжения с этим блядским яблоком, упавшим ему на башку, а за то, что он двадцать лет расшифровывал Библию.

Поэты, то есть, все те, кто писал настоящие стихи, а не слизь, писал поэзию – это яркий язык. Петников, Петровский – не гении. Но ведь яркие стихи! Язык – татарское слово. Как и ярлык.

Если художник развился полностью в своём направлении, то ему делаются чужды все другие современные ему художники, также полностью развившиеся. Да, потому что они ушли в другие, в свои направления.

Я никогда не мог врать. И женщинам всегда говорил прямо, что думаю, никогда не льстил и никаких там ухаживаний. Пушкин такой же был, тоже говорил женщинам правду, резал напрямик. Поэтому и нельзя было ему жениться, ни в коем случае, и друзья, зная его характер, отговаривали, понимали – чем кончится. Известно – чем кончилось.

18 марта 2003 года.

– Ну, что ты скажешь весёлого? – спросил он. – Не очень-то ты весел, как я погляжу. Это я тебя заразил своей мрачностью.

Галчинский – редкий поэт, очень музыкальный, с иронией, в отличие от Бальмонта, разнообразный, читать – одно удовольствие. А вернулся в ту советскую Польшу – и как подменили, стал писать как все.

Анненский – не мой поэт. Единственное у него живое стихотворение: "Когда б измена красу губила..." Это резко выбивается из всех его "тихих песен", совсем не тихое. А, ну значит, перевод с Горация. Какая разница.

Я никогда ни во что не играл, играть мне несвойственно. Покер – это другое, это не было для меня игрой.

Звери, в отличие от людей, не боятся смерти. Они спокойны. Пока можно лечиться, они лечатся, находя лекарства везде. Звери ведь знают все лекарства и все яды в природе. И травы, и минералы – всё ведь живое. А почуют смерть, и вылечиться нельзя, – они остаются спокойны. Слон уходит в пустынное место, где его никто не увидит, и умирает в одиночестве. Так поступают все звери. А люди страшно ограничены и трусливы.

Да, ангелы меня покинули. Я же видел: железные перья повсюду на полу валялись «Ну и хрен с вами!» говорю, и плюнул им вслед в окно.

25 марта 2003 года. Сегодня мы возобновили прогулки. Светлый весенний день, тротуар сухой, солнце сильно греет. Он в длинном зимнем пальто и кожаной шапке с опущенными ушами, шаркает подошвами.

– Витгенштейн сказал: что вся европейская культура – это пережёвывание Библии. Да, в смысле – темы и образы. Но пластика европейского искусства от древней Греции. Какой-то другой великий изрёк: что не важно, кто сказал первый, а важно, кто сказал лучше. Или есть такая известная формула: не важно, что и о чём говорится, но важно – как говорится. Да, кто-то напишет гениальную книгу, то есть, напишет Слово, а потом об этой книге пишут тысячи книг, то есть – вокруг этого Слова пишут миллионы слов, пишут и пишут, опутывая и опутывая паутиной... Мы не Европа. У Достоевского полно азиатчины.

Читаю книгу о том, что все открытия в философии сделаны поэтами. Они первые открывают, интуитивно, а философы потом формулируют. Я давно хотел об этом написать, а вот – уже написано какими-то итальянцами. Только никем ещё не написано, что и историю делают поэты.

Этого японца, да, Харуки Мураками, я прочитал три раза. Там есть один прекрасный кусок. Но, всё-таки, это писатель не моего амплуа.

Книги воспоминаний Надежды Мандельштам для литературы имеют большее значение, чем всё написанное Мандельштамом.

А в этом стихотворении Анненского – такой ритм! Барбина – разве римское имя? Я думал – греческое. Я этот ритм использовал у себя в стихотворении "В саду обнажённых женщин". Я ведь такие оригинальные вещи никогда не пропускаю.

В "Слове о полку Игореве" – язык. И мистика: то место, где войско идёт, и лисицы лают на червлёные щиты.

1 апреля 2003 года. Он гладко выбрит. Спросил меня, одевая пальто:

– Говоришь, мороз? И ветер? Рукавицы брать? Врёшь, как всегда. А солнце яркое. На почту сходим и хлеб купим.

Ничего в мире необъяснимо. Я даже свои книги не могу объяснить. А требуют объяснений. Не могу – потому что написанное мной каждый раз кажется мне недостаточным, не тем, что мне нужно сказать. Когда пишу, верю: всё так, выкладываюсь на всю катушку. А потом оказывается – не то, опять не то. Пишу новую книгу. И снова – та же история. Да, от иллюзии к иллюзии. Но ведь иллюзии разные бывают, у кого как. Вон у них иллюзия: считают, что они пишут правильное, только они. У них нет сознания своего ничтожества. Мало у кого есть такое сознание. У меня есть сознание моего ничтожества. Мир чрезвычайно многообразен, а они стремятся привести всё к однозначности. Я никогда не считал, что я и только я пишу правильно. Есть книги звучные, есть яркие. Но что такое правильная книга – я не понимаю. Да и как можно всерьёз говорить об объяснениях. Книга стоит на условности. Как и вообще всё искусство.

У почты он обнаружил, что взял разные рукавицы: обе на левую руку, одна чёрная, другая коричневая. На тротуаре кушетки с бараклом, замёрзшая торговка. Ему захотелось посмотреть, он долго рылся в горах курток. Вытащил, с блестящими металлическими пуговицами. Примерил к себе – короткая, до пояса не достаёт.

– Как тореадор! – пошутил он.

На почте ему письмо – большой конверт из Франции.

Мы шли от почты, солнце светило в спину. Он продолжал говорить:

– Вот ты твердишь – философия. Философия – это кратчайшая прямая между А и Б. Фалес сказал: "Всё есть вода". Но опять же – это ничего не объясняет. Ну, хорошо: всё – вода. А откуда вода взялась? И что такое вода? И так далее, за что ни возьмись. Ни на один вопрос нет ответа. И почему они европейскую философию начинают с Фалеса? А Орфей? Надо – с Орфея. Первый – он.

Видишь, свободны только большие художники, только в своём искусстве. Живописцы, музыканты, поэты. Такими они родились: с этой свободой внутри. А в жизни они также несвободны, также опутаны паутиной, как все.

Поэтами делаются только те, кто изучает стихи. В поэзии нет другого знания. Можно, изучая только одно стихотворение, стать поэтом.

Ему стало плохо. Мы остановились.

– Сердечный приступ, – проговорил он глухо, – а я, дурак, конечно, не взял лекарство.

К счастью, поблизости от нас был аптечный киоск. Мы купили нужное лекарство, но нечем было запить таблетки. Киоскерша протянула из окошка мензурку с водой. Высоко закинув голову, он проглотил несколько жёлтых таблеток и запил.

– Ничего, ничего, – сказал он, полузакрыв глаза. – Легче. Отпустило.

8 апреля 2003 года.

– Сколько времени мы с тобой не гуляли? – спросил он. – Вылазки на почту не считается. Чуть не два месяца. Ну, сегодня у нас будет поход! Ты готов?

– Читаю всё-таки от нечего делать этот итальянский учебник по философии античности. Всё переврано, все понятия поставлены с ног на голову. Мистику они трактуют материалистически. В простонародьи мистикой называют то, что совершенно непонятно, необъяснимо. А метафизика – то, что как бы и понятно, но необычно, не как у всех. Вот то, что говорят о Бродском. Но у Бродского ведь есть и то, и то. А что обо мне пишут? Я и духовидец, и пророк, и посланец. В Сербии меня называли Иоанном Крестителем. А что о Пушкине нагородили, когда он написал "Руслана и Людмилу", свою изысканнейшую музыкальную поэму, как Моцарт? Тема такая, там ему было, где развернуться. Фантазия тоже ведь – мистика, то есть – восприятие нереалистическое. Есть русская поговорка, которая по-своему даёт точное определение мистики, говорят: "Не от мира сего". То есть – дурачок. Люди, неприспособленные к жизни в этом мире, поэтому их восприятие нереалистическое, повседневная действительность у них преломляется особым образом, фантастически. А подавляющее большинство приспособлено к жизни в этом мире. Да, это их среда. А для тех, дурачков – не их среда. То есть, не их среда – бытие.

Почему все крупные писатели ненавидят свою страну? Да, все страны – мещанство. А своя – особенно. Когда им уже невозможно писать – это для них действительно конец. И кто как кончает. Они же не от мира сего, писательство для них – единственный смысл в жизни, да, единственная нить, которая их здесь держит.

И за ранними греческими философами стоит мистика. И восточные боевые искусства – мистика. Потому что – это вера. Я там, на Тибете, дошёл до того, что на плаще по скалам летал. Плащ алый, гигантский, как

парашют. И врагов этим плащом смахивать в пропасть. Распахнут, как крылья, прыжок, трёх-четырёх человек накрываешь краями – раз! Они мёртвые. Скидываешь трупы в пропасть. Плащ не закреплён на теле, чтобы самого себя не задушить, руками держишь. Много так вот китайцев со скал скинули. Тысячи. Это был бой! Сто тибетских монахов в этих плащах – против огромной китайской армии. От плащей на скалах красно. Красота!

У нас два придурка – Николай Фёдоров и Циолковский. Один босиком ходил в Публичной библиотеке, другой – глухой в Калуге. Ведь для чего Циолковский изобрёл свои космические ракеты? Для осуществления безумной фёдоровской идеи: как можно скорее переселить души воскресших отцов на другие планеты.. То есть – чисто духовная цель. А ракеты – только перевозочное средство. Почему Циолковского у нас и не издают. Ты видел где-нибудь его книги? Ну, вот, я и говорю...

Вышли. Ветер, холод, небо мутное. А дошли до леса – погода переменялась, ветер стих, потеплело, солнце выглянуло. Снежок чистый поскрипывает под ногами.

– Ах, какая погода чудная! – сказал он, останись. – Мягонькая! Так уж не раз бывало: выйдем из дома – мерзость мерзостью, а дойдём до леса – благодать. Это Тот сверху следит, – он показал пальцем в небо, – видит, что я на прогулку вышел, и меняет погоду.

15 апреля 2003 года. День тёплый. Мы с ним шли по дороге, не сворачивая, всюду тающий снег и грязь

– Мы с тобой, как старухи, тащимся, – сказал он, уцепясь за мой локоть. – Только ты и вытаскиваешь меня из дома один раз в неделю, а то бы лежал и лежал, и долежался б. Полное оцепенение. Не знаю, смогу ли я ещё писать. А как я писал! В моих книгах страшная энергия – контра! Против всех! Вот и бояться печатать. В моём организме заложена невозможность подчинения и ненужность подчинённых. Таким был и мой отец. Эх, бедный мой отец...

Да, я один воин в поле, как ты говоришь. Все остальные с компромиссами. У Вознесенского одно стихотворение бескомпромиссное, мирового значения, как и у Бродского – одно, да, это его: "Я – Гойя!". А у Бродского: "Я обнял эти плечи и взглянул...". У Айги словесность. У него нет демона. Он – филологический поэт. Мистик, но – филологический мистик. У него тончайшие связи слов, нюансы, рефлексy, отблески. Такого примера в русской поэзии не было. Он говорит, что он от Кручёных. Ничего подобного. Кручёных вполне понятен, до буквы. Его заумь от русских заговоров, от шаманства. Что у Кручёных филологического?

Отец был сталинист. До конца. И усы носил такие, как у Сталина. А сидел перед войной, два года пыток в камере. Молотов вытащил, а то замучили бы. После войны, в Польше отца назначили командующим Лузинским округом. Это приморский округ. Отец нашёл в Варшаве лучшего портного, и тот сшил мне парадный мундир, как у маршала Жолневского. Эх, какой мундир! Из красивейшего чёрно-серого сукна. Аксельбанты. Сапожки с серебряными шпорами! Я же мальчишка был. Десять лет. Но мальчишка, прошедший войну. Такой вот Калигула. Есть и фотография. Куда-то пропала. Искал, искал, не мог найти.

– Что ты всё на часы смотришь? – сказал он сердито. – Далеко зашли? Боишься, волки сожрут? Ничего, таким старушечьим шагом к полуночи дотащимся. Скоро, скоро часы деревянные прохрипят мой двенадцатый час... Я ведь был первый в стране, на чьи книги наложили арест. Нет, второй. Первый был философ-мистик Волков. Уже старик, в Париже жил. Что он им дался? Не понимаю.

22 апреля 2003 года. Мы с ним брели в лесу. Снова тёплый, солнечный день. Дорога подсохла. Ручей бурно бежит из-под моста. Кое-где пробилась зелёная травка. Лягушки прыгают у нас под ногами. Он одет по-весеннему, лёгкая куртка, ботинки, в очках от солнца. Глядя на лес, он сказал:

– Я никогда не наблюдал. Я не созерцатель. Но всё, что я видел, я точно подмечал, у меня же глаз снайпера.

2Где, Медея, твой дом? – повесть стилизованная. Я её не ценю. Но я вообще ничего не ценю. Она сделана в таком стиле: маньеризм такой со смесью канцеляризов. В "Летучем голландце" тоже необычный стиль, поэтому он звучит только на небольшом объёме. А этот мой подражатель Коваль набухал триста страниц – буква в букву с меня. И ходил по Москве в гениях. Вот возьми журнал «Новый мир» за семьдесят девятый год и сам почитай. Нет, это уже восьмидесятые годы, когда мой "День Будды" читали по Би-би-си на весь мир, тут со мной перестали разговаривать все мои друзья и знакомые. И ни одного телефонного звонка. Как вымерли.

Я никогда не обращал внимание на реалии этой советской современности, все эти колхозы, совхозы, секретари, председатели. У меня рука не поднималась написать, скажем: райком или красная звезда, партия и так далее. Эти слова выбивались из моего стиля. Также все, кто прошёл войну, никогда не употребляли эти слова.

У меня накопился большой архив. Отдам в Публичную библиотеку. И рукописи, и рисунки. Всё равно пропадут. До этого мои рисунки были странноватые, но абсолютно сделанные, математически точно, выписанные до микронов, как гравюры. Это был ложный метод, и я его

бросил. И до шестидесяти лет ничего не рисовал. А в шестьдесят начались эти совершенно необычные рисунки. Они ничего не значат, но они монстры. В этом методе я первооткрыватель. Только ведь никто не сможет меня повторить. Я сам не смогу рассказать: как я делаю. Это знает только моя рука. Нет, теперь и она ничего не знает. Линию не провести.

Никто так тонко не писал живопись, как Леонардо. Но живопись ему надоедала, и он начинал заниматься инженерией и многим другим. И во всём он был первооткрыватель. "Возрожденцы" – они же все были универсалы, всесторонне одарённые. Это тогда целое племя такое родилось во всей Европе.

Видишь ли: пишут всю жизнь посредственные картины, а потом – переворот. Начинают писать настоящие, высшие вещи. С художниками это нередкое явление, если высокие профессионалы. Да, освободились от чего-то, что сковывало. Бывает: глухота. Гойя, оглохнув, стал писать гениальную живопись, эти свои жемчуга. Лучшие стихи и поэмы Ронсара, те, что он написал глухой, под конец жизни. Сидел в своём замке затворником и писал, всё лучше и лучше, уже не слыша ни одного звука. Но, кажется, он недолго прожил. Тут, конечно, физиология. Сублимация организма. Энергия ищет выхода.

Крупнейшие художники говорили, что у меня абсолютно профессиональные рисунки, и меня тут же примут в Союз художников. Я ведь и стихи сразу стал писать совершенно профессиональные, просто начитавшись чужих стихов. И, конечно, под сильным влиянием всех. Я даже под Твардовского поэму накатал в армии. Боюсь, она у кого-нибудь сохранилась.

Хлебников сразу стал писать стихи высшие и ни на что не похожие.

Есть, которые берутся в славу, и есть – не берутся. Я ничего не делал для этого, но сложились магические обстоятельства. А Красовицкий, очень талантливый поэт моего поколения, мой ровесник, не взялся в славу. Так и неизвестен. И написано у него очень мало. Он ушёл в монастырь.

В телевизоре ничего, кроме лжи. Фильмы однообразны, нет изощрённости, то есть – нет художественности, а старых не показывают. Смотрел ты "Одиноким ковбой"? Фильм мистический. «Великолепную семёрку» раз двадцать смотрел. А "Знак Зорро"! О, фильм! Фехтовальщик – это снайпер, тут всё – глаза, филигранное искусство, на микронах движения.

Тем и отличается искусство всех стран и веков, что оно антибуржуазно, то есть – антимещанство.

Пушкин – самый аллитерационный поэт в русской поэзии. Его звуковые связи – тончайшие, музыкальные, и приёмы связей всегда неявные, скрытые. А много ли романсов на его стихи? Каких-то десять

романсов. Потому что музыкальность стиха и музыкальность песни – совершенно разные вещи. На мои стихи сочинено немало песен. Мерзоян, Валерий Воскобойников. И у того, и у другого издано по книге песен на мои стихи. Воскобойников живёт в Италии и очень известен, как пианист. Моя утончённейшая музыкальность стиха тоже возникла с глухоты. Да, глух, как Гойя. Но Гойя вообще был белая ворона в искусстве того времени, да и во всём своём веке. Белая ворона в царстве говна.

Теперь так заведено: молодые ниспровергают стариков. Так и Пушкина ниспровергали – Писарев и компания. Воробьи ниспровергают орлов. Не знаю, как воробьи, а вот – дрозд насмерть заклевал коршуна – это я видел в Эстонии. Дрозд в сравнении с коршуном – птичка, в пять раз меньше, а клюв, как шило. Налетал сверху и бил коршуна в темя, в одну и ту же точку, коршун не мог повернуться и достать дрозда. И уйти никак. А тот ударил так раз пять – и коршун готов. Свалился мёртвый. Я в первый раз видел такое – чтобы дрозд убил коршуна.

29 апреля 2003 года. Я поздравил его с днём рождения. Ему исполнилось 67 лет.

– Ты же знаешь, – ответил он, – я равнодушен к праздникам, тем более, к своему дню рождения, единственно, чем я отмечаю этот день: моюсь в ванне, бреюсь, надеваю чистую рубашку. Ритуал.

Гуляли. В лесу после дождя сыро, мокро. Шли по нашей дорожке у ручья.

– Филонов по технике – единственный художник в мире, – сказал он. – Ему нет равных. Но меня такая техника отпугивает. Да, ледяная. В литературе такая же свёрхтехника у Андрея Белого, и такая же ледяная. Для этих структуралистов, для Барта или Якобсона, техника – главное. Для них и Филонов, и Андрей Белый – художники, выше которых в мире нет. Но для меня не техника главное. Малевичу по технике до Филонова далеко. Но картины Малевича, и супрематические, и эти его чёрные квадраты – они же все светятся! Они чрезвычайно насыщены, они горячие! То, что и есть мистика в моём понимании. Мистика – когда я чувствую какое-то внутреннее свечение. Ну, некая сила, как ты говоришь. Этого нельзя объяснить, это можно только чувствовать. О мистике написаны миллионы слов и ни в одном из этих слов нет никакой мистики. Ни в одной из этих книг ты не найдёшь никакого понятия о мистике. Такие художники не пишут портреты. У меня тоже отвращение к портретам. Никогда не мог их писать. И так-то морды кругом, хочешь-не хочешь, а видишь, так ещё и вырисовывать их каждый миллиметр! Бр-р-р! У каждого ведь в лице и в руках полно говна. Зачем это рисовать? Куда изящней без голов. Я так и делал: отрубал головы, а то и руки, а если красивая женская ступня, то я её так вот закручивал и рисовал в виде цветка с пятью лепестками. Почти всё раздарено. Для чего хранить.

У Лермонтова единственный прорыв – этот его рисунок пером, бой с чеченцами у реки, как-то она называется. Да, Валерик. Бой при Валерике. Это удивительный рисунок. Абсолютно свободный, летящий, видно, что сделан несколькими взмахами пера. А все его картины маслом – скованные, мёртвые. Пустота. Самое лучшее, если бы он их все выбросил. А оставил бы только этот рисунок. Была бы такая непостижимая загадка. Примеров много. Делакура. Эти его знаменитые огромные полотна, махины чудовищной мазни, потоки красок. Полная мертвечина. И посмотри его рисунки: всё живо, всё летит, видишь гения. Или наш Иванов: гигантская картина с Христом – во всю Третьяковку! Ужас! И его предварительные этюды, маленькие такие акварельки. Иногда их выставляют. Какая красота, свобода, чудные краски!

В стихах – Пушкин. Как у него стихи светятся! Этот эфиоп – чудесная молния. Пушкин затмил всё. Я бы запретил издавать его лет на триста. В его тени ничего другого не видят.

Я не люблю словарь Даля. Зачем было собирать все эти варианты русских наречий и говоров? Для чего? Неужели я буду копошиться в этих кучах слов? И ни один нормальный человек не будет. Я и у Пастернака не люблю его московские словечки.

Мы остановились. Лёд в ручье растаял, вода свободно бежит в бурых берегах.

– Я считаю, что я прожил хорошую жизнь, – сказал он спокойно, словно подводя итог. – Потому что я занимался тем, чем я хотел заниматься, и не занимался тем, чем не хотел заниматься.

6 мая 2003 года. В лесу светло, дорожка у ручья просохла, мы шли тихо. Он стал говорить о моей рукописи:

– У тебя появилось новое, то, чего не было. Ускользающие образы. Мелодичность, и внутри образ, ускользает, но я его вижу. Такого у меня нет. Совершенно на меня непохоже. Этот принцип мне неприсущ. Подозревается твой внутренний мир. Реалистического материала у тебя тут, собственно, никакого нет. Ну и что. Не у всех же есть богатый реалистический опыт. Многие прекрасные писатели с мизерным реалистическим опытом. Возьми: Китс. Какой у него опыт? Туберкулёз? У него же только подделки под других. Но как написано! А Гомер? Перекладывал легенды. Да, но это он написал! Его рука! Только, видишь ли, у тебя эти рубленные фразы, мне кажется, перебор. Не сочетается с твоей внутренней музыкой. Фраза из одного или двух слов. Однообразие такого стиля, накладываясь, убивает мелодику.

Шкловский писал: читать Андрея Белого – всё равно, что идти по шпалам. Потому что у Андрея Белого вся проза однообразно ритмическая. Входишь в его ритм, и уже ведёт только ритмика, уже не до

смысла, не вникаешь, надо смотреть на землю, куда нога ступает, от шпалы до шпалы, а смысл отлетает. Понимаешь? Нечто подобное и у тебя получилось. Вот, к примеру, стихотворение Маяковского: "Хорошее отношение к лошадям". Начинается тоже с рубленых фраз: "Били копыта. Пели будто: – Гриб. Грабь. Гроб. Груб..." И так далее. А потом фразы начинают разворачиваться и под конец полный разворот: "Лошадь, не надо. Лошадь, слушайте – чего вы думаете, что вы их плоше? Деточка, все мы немножко лошади, каждый из нас по-своему лошадь". Видишь, он разнообразит. Тут нужен внутренний слух, чутьё. Но, в конце концов, я же не высший арбитр. Я часто ошибаюсь. А теперь...

Я даже не знаю: живу я или не живу. Утром еле встаю. Потому что бессонница жуткая. После обеда падаю замертво. Сплю. Потом опять начинаю понемногу шевелиться. На что я стал похож... Это опять же у Маяковского: "С хвостом годов я становлюсь подобием чудовищ ископаемо-хвостатых. Товарищ жизнь, давай быстрее протопаем по пятилетке дней остаток..." Он прекрасно сделал, что пустил себе пулю. В тридцать семь лет – прекрасный уход. Да, и Хлебников в тридцать семь. Хлебников всё равно бы не выжил. Неприспособлен. Я тоже неприспособлен. Не для бытия. И об этом есть у Маяковского: «Не для денег родившийся». Фильм его, сценарий. Что-то я сегодня всё время вспоминаю Маяковского. Каждый век кровавый. Герои-то погибают, энергия погибает, остаются массы, то есть: пройдохи и трусы.

Мы остановились у полотна железной дороги, ждали, когда пройдёт товарный поезд. Мимо нас катился, громохоча, бесконечный состав, цистерны, платформы с гравием, пыль, лязг. Он что-то мне говорил, но его слов не было слышно.

13 мая 2003 года. Он постригся наголо. Надел на голову высокую джинсовую шапку с полями, чтобы в затылок не дуло.

В лесу нас застал дождь, а мы не взяли зонты. Он стал меня ругать, что это я виноват: надо было послушать прогноз погоды. Дождь слабый, чуть брызгал, от молодой листвы берёз исходил запах. По сторонам тропинки лежали груды спиленных сосновых стволов, ярко-рыжие от дождя. Проходя между ними, он сказал:

– Прочитал книгу о Че Геваре. Тридцать лет со дня его смерти. Это был парень! Герой! Идеалист. Мечтал о мировой революции. Он, как Есенин писал: «Розу белую с чёрною жабой я хотел на земле повенчать». Вот, прочитал я эту книгу о Че Геваре, и мне стало очень грустно. Жить в этом мешанстве. Мир погряз в мешанстве. Эти две громады, Америка и Россия – самые мешанские страны. Мужчины рождаются, чтобы умереть в бою. Древний закон. А теперь мужчины рождаются, чтобы торговать тряпками.

Все науки – пошлость, потому что их знание всегда поверхностно. И как бы они ни копали, сокровенные тайны им не откроются.

Проза Апухтина прозрачная и странная. Вирджинию Вулф читать трудно: у неё напряжённо и нет юмора. Пруста вообще не могу читать. Это я насилывал себя, заставляя брести через его тома. Только "Содом и Гоморра" интересная книга. О Кафке и говорить нечего. Зачем мне его чиновничество? Тошнота. Видишь ли, великие писатели теряют значение, и оно передаётся писателям средним. Так во французской литературе – Бальзаки и Флоберы пали. Теперь звучат: Мирбо, Гюисманс.

Не знаю, почему писатели перестают писать. Не знаю. Просто от того, что исчерпываются. Борхес исчерпался, вот и стал издавать свою «Библиотеку Борхеса».

20 мая 2003 года. Брели в зелёном лесу. Дорога сырая, шёл дождь. Над нами опять тучи, но на этот раз не страшно, мы взяли зонты. Он в шапочке с козырьком, щёки серебрятся щетиной, неделю не брился.

– Глядя на меня двадцать четыре года, ты уже можешь написать летопись моей жизни, – сказал он. – Повесть временных лет. От героического периода до полного одряхления.

Пятьсот с чем-то лет со дня рождения Леонардо. У Леонардо великолепный стиль – в его дневниках. Переводчик Дживелегов, превосходный стилист, старая школа. Автопортрет Леонардо – глубокий старик. Глаза эти. Жуть! А ему ведь было всего шестьдесят семь. Как мне сейчас. Да, от такого кипения головы. Вот и я кипел. И теперь та же картина: едва тащусь.

Мои книги не издают, потому что меня до сих пор боятся. Леонардо тоже все боялись, и картин его боялись, поэтому и не покупали.

Я много раз пытался написать автобиографию и так ничего и не получилось. Я всегда брал вину на себя. Человек, который всегда берёт вину на себя – что он может о себе написать? Он чудовищно исказит все факты. И потом – я не терплю описаний. Не моё. Вот биография Николая Первого у меня получилась. Я считаю, это у меня превосходная книга. Из одних только цитат. Да, но это мой монтаж и мой стиль.

По сути дела, то что я пишу (моя проза) – это фантастический реализм. На Западе называют: мистификатор.

Эти три кита: Джойс, Пруст и Кафка, ведь выше их в двадцатом веке писателей на Западе нет. Борхес, всё-таки им не равен. Не дотягивает. Кавабата, конечно, в том же ряду. Но он – Восток. Он вроде Гоголя – тоже ткал цветущие фантастические ковры. У Гоголя и сатирическое, эта жилка в его натуре. Чего у Кавабаты совершенно нет. Другой народ, другая психика.

Напишешь книгу, ещё одну, ещё. Хоть сколько напиши книг. Какая

разница. Ведь никто не может оценить книгу. Я знаю только то, что я в своей книге выложилась полностью. Но и это не оценка. Графоман тоже считает, что он выкладывается полностью. Я перестал себе верить, своим оценкам. Та книга стихов, которую я сжёг, написанная до моего "Слова о полку Игореве" – изящнейшая, звонкая, чистая. Сжёг, потому что такую книгу мог бы написать и Фет. Нет удара новизны. Понимаешь. А вот "Слово о полку Игореве" – первая книга, где – я, всё моё, ни на что не похожее. Эту книгу мог написать только я.

Беда в том, что в советское время вымерли все эстеты. Поэты-то есть, хорошие. Маньеризм французский, кружок мадам Рекамье, он дал много больших поэтов. Все, кто болтался на башне Вячеслава Иванова, – это были люди высшего эстетического восприятия. Пушкин самый свободный поэт из всех русских поэтов, даже свободней Блока. Видишь ли: я всю жизнь рисковал, то есть: без риска я – это не я.

Он замолчал. Откуда-то пахнуло черёмухой. Огромное цветущее дерево у дороги.

– Это черёмуха расцвела? – воскликнул он, остановясь. – Роскошная! Я люблю сирень и жасмин. Что? "Ты прячешь губы в снег жасмина"? Фу, какая пошлость! Противно! Чьё это? Пастернак? Из "Сестра моя – жизнь"? Не может быть! Я эту строчку почему-то не замечал. Это он у Северянина нахватался. Он у Северянина взял очень многое. У Северянина пошлость – это система, и у него звучит. И вообще – у него изощрённый стих, ритмика, звонкость. Настоящий поэт.

Вчера я весь день лежал, сердечный приступ, что-то он зачастил. Знаешь, как в песне: "Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в бою. Вот и сейчас надо мною она кружится..." Агатов написал! А Сурков – он же ученик акмеистов, что тщательно скрывал и отрешивался. Смерть-то не страшна, а – сумасшествие! Как у Пушкина: "Не дай мне бог сойти с ума..." Никто же не читает это стихотворение, оно никогда не включалось в школьную программу, потому что боятся таких стихов.

Кстати, завтра ко мне придёт студентка-англичанка, – сказал он, когда мы переходили мостик через ручей. – Учится в университете. Англичанок у меня ещё не было. Голландка была: длинная, под потолок, лицо лошадиное. Такая кобыла! У неё, видите ли, дипломная работа по моей книге "Властители и судьбы" и она пришла спросить: о чём ей писать. "Вот и пишите об этой моей книге" отвечаю ей. Думаю, англичанка не лучше, они же там все – лошади. Хотя бы побреюсь перед её приходом, а штаны и рубашку менять не буду, в чём хожу дома, в том и приму. Да ну! И бриться не буду! Не велика птица!

Видишь, я с детства был страстным читателем, страстный книжник. С четырёх лет. Прочитал миллионы книг. А теперь эта страсть совершенно иссякла. Да, и книжником быть – это в генах, врождённое. У

Нодье: "Читайте старые книги", то, что всё новое – это хорошо забытое старое. Ничего нового нет, ни одной мысли, ни одного изобретения, всё когда-то уже было. Многознание приводит к печали, как сказано в Библии. То есть – к концу. От многознания миру придёт конец. Но вода ведь останется. И через сотню тысяч лет в ней опять зародится жизнь, выйдет на землю, и разовьётся новая цивилизация, полностью повторяя предыдущую. И, может быть, так было уже много раз. Структура космоса одна и та же. Может быть, в недоступной удалённости отсюда существуют миллионы точно таких же миров, живут такие же люди, также пишут стихи и читают книги, и таких же два придурка гуляют в чудесный майский день в лесу у ручья, болтая такую же дребедень, как сейчас мы с тобой.

30 июня 2003 года. Навестил его на Мшинской, был с ним два дня. Он оброс седой бородой.

– Да, я тут пишу по ночам, – ответил он на мой вопрос, – с полуночи до утра. Книга эта, если я и сделаю её, опубликована не будет. Она неприемлема для этой страны быдла. Там тема – смерть, всё только о смерти. Пишется легко, изнутри. Когда писание труд, лучше идти грабить. Читаю Ричарда Хьюза, прекрасный писатель. Книга называется «В опасности», о моряках, попавших в небывалый тайфун. Вот образец, как надо писать! Каждая фраза абсолютно сделана. Ну, почему только Пастернак понял Маяковского? А Хлебников? Такой же самоубийца. Маяковского и сейчас никто не понимает. Хлебников жил вне бытия. Он же самоубийца, как и Маяковский. А вот Пастернак хотел жить. Да, у Хьюза это интересная книга, интересная в том смысле, что – высшая литература. Но я теперь читаю только среднюю, высшей я сыт, и своим сыт.

Вечером недолго гуляли, не больше часа. Он рассказывал:

– У меня был друг чалдон, Борис Полойников, чудаков, талантливый, журналист, актёр. Писал рассказы на деревенскую тему, как Шукшин, но в отличие от Шукшина в его рассказах есть эстетическая нотка. Он со временем мог бы стать замечательным писателем.

Да, мой отец был талантливый человек. Сам организовал цирковую труппу, то ли в восемнадцать, то ли в двадцать лет. Ходил в цирк в Москве и смотрел, изучал – что и как. Усвоил. И придумал свои номера, и для себя, и для брата. Он же был спортсмен. Также он и на лыжах научился ходить, сам, никто его не учил. Только смотрел, изучая, как мастера ходят, и нашёл своё. И лыжник, и артист цирка, акробат – он был превосходный, высшего класса. Но отец несчастный человек. Судьба у него, можно сказать, не сложилась, как надо бы, по его данным. Вот видишь, столкновение кровей в моём роду: равнины и бароны.

15 августа 2003 года. Ещё раз побывал у него на Мшинской. На голове у него тёплая шапка, он застудил ухо, дёргается от боли.

– Ты знаешь, что помогает? – спросил он. – Камфорное масло? Волю себе в ухо, как отцу Гамлета, яду – и сожжёт мозг к чертям!

Вечером, как стемнело, пошли гулять.

– А книга моя повернула совершенно в другую сторону, в противоположную, – сказал он. – Получается, что книга совсем не о том. Я случайно, как и всегда, набрёл на новый стиль. Родословную выкинул – на бумаге звучит мелко. Уж если я нашёл (не нашёл, а нашлись) столько форм для столько книг, так неужели я теперь буду писать беллетристику! Это не моё. А вчера была прелестная ночь. Метеориты летели. Так и сыпались. Максимум метеоритных частиц – если не врут в газете. И звезда Свифта взмахнула ручкой. Её приход повторится через сто тридцать лет. А Джонатан Свифт неповторим, написал "Гулливера" в шестьдесят лет, жил с двумя сёстрами, положил книгу на крылечко издателю и исчез – тут же в идиотизм. Чудная судьба этого джентльмена. А я живу шестьдесят семь лет, но своего Гулливера не написал. Безрадостно. Видишь, астрономически всё время что-то происходит, с девяносто девятого года: то пожары, то наводнения. На моём веку такой лавины катастроф не было. Я говорю: что-то готовится. В 2012 году погибнет, как минимум, половина населения земли.

Всё приедается. Почему я и не писал годами, что – переел себя. А потом вдруг появлялось что-то новое.

У Конан Дойля его "Шерлок Холмс" – это настоящая, высокая литература. И это не детектив, как принято называть, это – игра ума.

Что там? Полная луна? – спросил он. – Ты видишь полную? А мне кажется косою. Раньше луну с этой дорожки всю было видно, а теперь ели выросли, заслоняют. Пройдём немного вперёд, – сказал он, держась за мой локоть, – вон там просвет между ветвей. Действительно – луна полная! Вот это плохо! В такие дни надо быть осторожным.

Понимаешь, когда я нашёл новый стиль, я успокоился. Теперь я не гоню лошадей. Да нет, это не я не гоню, это болезни не дают. Распад, распад. Молодость кончилась назад два года.

Посыпался мелкий дождь. Он не замечал.

– Тяжёлые существа люди, – сказал он после некоторого молчания. – Я тебе уже говорил: у Толстого самое лучшее – переложение русских сказок. Язык точный, чистый, пластичный. Конечно, это не Афанасьев. Толстой смягчил, сгладил. У Афанасьева "Русские сказки" – мрачные, жестокие, грубые. Но грубость у него эстетична, это приём, так надо. Совершенно разные писатели. Также сравни: Андерсен и Гауф. У Гауфа – какие мрачные, страшные сказки! Все сказки мира жестоки.

Раньше жизнь была непродолжительна, поэтому спешили выложиться полностью. Сейчас не торопятся, начинают писать в лет сорок.

Да, конечно, я человек антиобщественный, я – природный.

В какой-то революционной пьесе представляли Блока: грудь перекрещена пулемётными лентами, в шляпе, несёт в руках красное знамя. Нельзя выдумать ничего нелепее. Даже его врагам не пришло бы в голову. Блок невообразим в толпе. Он жил жутко одиноко, в последние годы вообще ни с кем не общался. Бродил по окраинам и пил. Блок – самый одинокий человек в русской поэзии. И Гоголь был одинок. И Лермонтов. Хлебников и вовсе – образец одинокого человека. Можно сказать – эталон одиночества.

9 сентября 2003 года. Ему пришлось вернуться в город раньше, чем он планировал. Воспалилась нога в паху. Ещё бы чуть-чуть и – гангрена. Но теперь зажило, и он может выйти на прогулку. День солнечный, но ветер. Ему холодно, знобит.

– Средневековые войны мне понятны, – сказал он. – Парни выросли. Страна хочет богатеть. И что им делать? Резать своих императоров? Скучно. А после войны, знаешь, как страшна мирная жизнь! Даже ребёнку. Каждый кажется олухом или идиотом, каждое движение раздражает. Ни опасности, ничего. На войне ведь психика резко меняется. Но я после войны сам устроил себе немирную жизнь: бега, поездки, алкоголь, писанина. Устроил войну в себе. А теперь? Глухота стала тюрьмой. И встаёт вопрос: что делать? Пить не могу, от баб воняет.

Бывает, книга сразу пишется, а бывает, пишешь, пишешь, и – ничего. Но раз уж стал писать, надо писать, может, что-то вдруг и появится. Никогда не знаешь, что может появиться. У меня, по крайней мере, так. То, что я говорю, относится только ко мне и никому другому не годится. Также, если кто-то другой говорит о себе, это относится только к нему и не годится никому другому. В стихах иначе. Там всё ясно. Стихи сразу появляются. Или не появляются. Стихи как музыка: зазвучало – всё! Нет – нет. А в прозе – объёмы, неизбежны конструкции.

Да, поэт – это не человек. Люди меня ужасают. Всё человеческое мне чуждо. И бабы были чужды. То, что их у меня были тысячи, ничего не значит. От них ужасный запах. Я и напивался, чтобы забыться и не чувствовать этот запах от всего, уйти от мира. Это банально. Я теперь говорю одни банальности. Так ведь, что не скажешь – всё банально. У нечеловеческого много градаций. Платон сравнивал Сократа с силеном. А психика кошки, тигра? Пойми их! Никогда! И у солдат на войне. Война ведь – мистика, появляется нечеловеческое, звериное, превращаются в зверьё. Психика-то ломается, как в тюрьмах.

Блок странный. Да, абсолютно иррационален. Его дневники мне открылись только десять лет назад. Я ведь вообще дневники ненавижу. Потому что в любом дневнике видна нарочитость. Но у Блока – иное, его дневник уникален. Это получается сильнейшая книга.

Найман, мой ненавистник (у меня много ненавистников), написал книгу о лорде Берлине. Магнитофонные записи речей Берлина, но в обработке получилась отличная книга. Так вот, там есть высказывание Берлина об Одене: "Да, Оден хороший поэт – этакий доморощенный метафизик". И это он говорит о самом известном из современных английских поэтов! Ничего удивительного: прожить целую жизнь, увидеть столько людей, прочитать столько книг, лорд, член правительства, что ему какой-то поэт, какой-то Оден. Этот лорд Берлин – центральный герой поэмы Ахматовой «Поэма без героя». Единственное настоящее у Ахматовой, и совершенно неожиданное при её вечном нытье. Да, в русской литературе это – великая поэма. Пишут: запутанная, непонятная. Ну, конечно! Чего в ней нет? Всё есть. И мистическая. Звонкая, чистая, абсолютно свободная!

Писать меня уже не тянет. И что же я буду делать? Чем себя занять? Читать не могу, всё перечитано. Никакого Гоголя – не могу. Великих русских поэтов – и подавно. Проза Пушкина вся – мерзость. Ничем не лучше Марлинского, единственно, что в отличие от того, нет манерности, но у Марлинского зато есть живописность. А в прозе Пушкина ни живописности, ничего у него нет. Да, только "Пиковая дама", это хорошая новелла. Картины тоже смотреть не могу. Пересмотрено. Кайф ведь получаешь только один раз – первый. Последний, кто произвёл на меня впечатление – Чекрыгин, выставка в Русском музее, рисунки углем. И это ведь огромные полотна!

Вот так называемые социологические писатели, этот Грасс. Отвратительно! Эти могут писать бесконечно, том за томом. Социология меняется и они откликаются на изменения, нанизывают на фиктивную идею лживые формы. А нужно смотреть правде в глаза. У Толстого – народ победитель. Не будь Наполеона – что стало бы с Францией? Завоевали бы и без битв, вся Европа шла.

Мозг, психика не переходят в состояние письма, и такие автоматические записи только выбрасываются. А иногда – переходят. Я много сжёг таких дневников, львовские – все. Графомания, особенно в юности, не знаешь, о чём писать, и шуруешь обо всём, что вокруг видишь. И вообще, кухню письма нельзя оставлять. Но некоторые дневники я храню из-за рисунков. Это отличные рисунки, потому что они рисовались бессознательно.

Не знаю, не знаю, что я буду делать. Но гулять всегда приятно. Какая прелесть – этот засыпанный листьями ручей! В нём хорошо кого-нибудь топить. Который час? Половина четвёртого? О, идём обратно. В четыре ко мне должна прийти гостья из Италии, профессорша, старая знакомая. Хочет мной полюбоваться после сорока лет разлуки. А я при моём педантизме и пунктуальности терпеть не могу опозданий, ни у себя, ни у других.

17 сентября 2003 года. Сегодня на прогулке он сказал:

– Астрологически я должен умереть в семьдесят два года. Пушкин себя подгонял под тридцать семь, ему гадалка нагадала. Он был невротик, юный ещё, мёрз, его постоянно знобило. Жаль, что в этом лесу нет никаких зверей, ни медведей, ни волков. Я страшно устал, падаю от усталости, ты меня почти на себе тащишь. Скоро, скоро я улечу в мир иной, и ты мне помашешь ручкой.

23 сентября 2003 года. Он простужен, и ему приходится сидеть дома.

– Такой чудесный день для прогулки пропадает! – сказал он, глядя в окно.

Распутин – магический человек. И умнейший. Целевой. А когда подобрался к царю, его магичность возросла тысячекратно. Да, целевой. Но цель бессмысленная, как и все в России.

Единственный человек, который заинтересовал меня в русской истории – это Телятевский. Отец Болотникова. О Болотникове я написал пьесу ещё во Львове, в 16 лет. Сжёг, как и все львовское. Я говорю о том: какие разнообразные интересы в юности. Болотников – побочный сын Телятевского, Так я думаю. Но это недоказуемо. И во всех исторических книгах продолжают талдычить: сын раба. Как сын раба мог быть писцом при германском императоре? Скажи мне, пожалуйста! Пришел к польскому королю и изложил свои планы – как завоевать Россию. Это в 26 лет! Король решил: дело выгорит. Деньги и пыл парня. Дал ему отряд.

Личность – это ненормальная психика. Гений – это очень напряженная психика, ненормальность. А иначе разве можно сделать такие дела? Толстого никто не называет гениальным, называют великим. А сумасшедшего Достоевского – гениальным. Он и гениальный, у него есть потрясающие куски. Писателей типа Толстого полно в мировой литературе, хоть бы и Томас Манн – чем не второй Толстой. А другого такого безумца Достоевского – пойдй поищи.

Пушкина можно назвать гениальным за эти куски, как, например, сон Татьяны в «Евгении Онегине», фрейдизм задолго до всякого Фрейда. Есть одно-два гениальных стихотворения, есть отдельные гениальные строчки. А без них, без этих прорывов – так, только блестящий, живой писатель.

Во всем мире у людей врожденно скучная психика. Вот они и любят читать одно только скучное. Горький перечитал все книги в мире. А что осталось от Горького? «Челкаш» и еще десяток рассказов такого типа, и одна гениальная пьеса – «На дне». Но я бы ее немного подрезал, там есть лишнее. А в пьесах Чехова ни слова лишнего, все на месте.

Вальтер Скотт. Терпеть его не могу. Его романы – это пирожки со сладкой начинкой для нищих. У нас в 19 веке ему все подражали, потому что в России совершенно не было развлекательной литературы. И в детстве не читал, ни его, ни Купера, индейцы и прочее. Зато я с увлечением читал о короле Артуре и рыцарях Круглого стола.

Древнерусские летописи я читал не из-за исторических событий, а из-за красоты языка. Одну я купил, соблазнился, еще в советское время, за 500 рублей. Рукописная. Какие там росчерки – как молнии! Собственно, это гениальная графика. Таких летописей на Западе нет.

Только здесь разделяют форму и содержание. Форма и есть – содержание. А то, что они называют содержанием: ах! ох! и как кому живется – для меня это нуть.

Во всех стихах Горбовского окончания одинаковые. У Вознесенского – тоже. Однообразно.

С Лилей Брик я познакомился, когда ей было 72 года. Через ее дом прошли тысячи людей, не только известных, но мало-мальски необыкновенных. Кто не прошел! Я был в ее жизни последним событием из поэтов и писателей. У нее была громадная переписка. Тысячи писем. Ко мне – 126. Рано или поздно все опубликуют. Она – историческое лицо. Я эту книгу читать не буду. Можешь забрать, – он отдал книгу, которую я принес ему: дневник и письма Лили Брик, изданные в Нижнем Новгороде. – Хотя, оставь. Я еще посмотрю.

30 сентября 2003 года. Мы шли по нашей дорожке у ручья.

– Вчера закончил книгу, – говорит он. – Три дневниковых тетради. Из первой – несколько страничек, из второй – около половины, третья – целиком. Начал писать просто дневник, чтобы только во что-то уйти. Витает какая-то общность, о которой я ничего не знаю. Потом проясняется. Книга, собственно, готова. Осталось сделать коллаж. И можно будет печатать на машинке. Получится листов двести. Но ведь я теперь не могу работать за машинкой, руки путаются.

Я и в Эстонии в сентябре гулял по такому лесу. Посмотри! Что там? Гриб? – он показывает на край канавы. Мы рассмотрели находку. Подосиновик. Две ножки под одной шляпкой.

7 октября 2003 года. Сегодня прескверная погода, дождь.

– Ты не боишься гулять под таким дождём? – спросил он. – Вижу, ты настроен решительно.

В лесу темно, дождь хлещет, не ослабевая. Мы одни в лесу гуляем по лужам, прикрываясь зонтами. Долго шли молча.

– Как на панихиде, – замечает он. – Вот ты сказал, что не нашёл ни одной строчки в книжке той поэтессы. Бродский об Айги тоже высказался: что у Айги нет ни одной строчки. Он не понял, что у Айги другая система. А в этой системе, в какой хотел видеть Бродский, у Айги, может быть, и действительно ни одной строчки нет. Так что, не спеши с оценками. Нельзя оценивать по принципу: нравится, не нравится. У Бродского повествовательный тип. Тип пустого мышления. Где мышление, там и пусто. Берлин, смеясь, назвал его метафизиком. Берлин роман Гончарова "Обломов" считал гениальным. Я самого Обломова, как персонаж, тоже считаю гениальным. У Михаила Кузмина два стихотворения в «Александрийских песнях»: "Четыре сестры у нас было, четыре сестры", и последнее, заключительное. Это у него высшее.

Все разные. Вот правильный подход в литературе. О ком я сейчас сказал, вне моего поля зрения. Но это ничего не значит. Они настоящие поэты, они существуют. Чтобы написать хоть одно гениальное стихотворение, надо быть гением. Всё остальное... Поэту не нужны оценки. Большому поэту. Он и без оценок – гений. А если этого гена нет – хоть хвали его, хоть хули, тоже ничего не изменится. А на истолкователей славы или умолчания полагаться нельзя. Там действуют деньги. При оценке каждый исходит только из своего «я» и иначе не может. Так устроен человек. А это "я", как правило, оказывается жутким говном. Мало, кто это понимает. Пушкин понимал, что такое «я» и чего оно стоит. Поэтому он и любил так много чужих стихов. Ведь он был высший этик и эстетик. Второго такого у нас не было. Разве что Пастернак. Да, Маяковский. На стихи у Маяковского чутьё было мощное, как мало у кого.

Если посмотреть объективно, то каждый великий писатель и каждый графоман одинаково в душе считают себя гениями. Кроме меня. Я не считаю себя гением. Но я знаю себе цену. Все эти высокие слова давно обесценились. Надо их упразднить. Гений – слово, получившее неверное значение. У древних греков оно означало двойника человека, его хранителя. У христиан тоже самое – ангел хранитель.

Почему не переводят Пушкина? Потому что все его стихи в какой-либо мере переводы с чего-нибудь. Но у Пушкина высшего класса русский язык. Я давно уже хочу написать о пушкинских "Бесах", но...

Смотря от чего вести отсчёт. Если от древних, то все последующие – говно. Включая Шекспира. Потому что – на публику. Ведь все его пьесы написаны на публику.

Ненавижу буржуа, и мелких и крупных. Обуржуазивание – это одичание.

Здесь никто не понимает стихи. И Бродский не понимал. И Айги не понимает. Видно по текстам. Понимает один только Вознесенский. Но он эстетик. Я знаю, кто понимает стихи. Вознесенского я сразу забил. Ещё бы! Пошла такая железная лавина! А сейчас я написал цикл стихов для Англии. Там у меня уже полный упадок. Пишу: "И руки устали, и ноги устали. Смерть, приди скорей". Трёхстишия, без рифм, с меняющимися ударениями. Звучит странно. Всё, что я написал – странно.

А японцы перевели Пушкина "Евгения Онегина". Этнографическая поэма, другой народ, другой менталитет. И вся Япония в восхищении. Я уверен, что и рыцарский роман ещё всплывёт. Он изящен, и приключения. И имел влияние на Блока. А Сирано де Бержерак, этот пьяница, забияка и дуэлянт, написал книгу пророчеств. И все они сбылись.

Лучшая книга Гёте – это книга Эккермана "Разговоры с Гёте".

Сейчас расцветает беллетристика и дизайн.

Я не люблю натурализм. Зачем им эстетика, они же реалисты.

У меня только о себе, о своём внутреннем. Что совать нос в чужие жизни, ты же о них ничего не знаешь. Занимайся собой, пиши своё. Я открыто ненавижу народ. Есть художник, он живёт один, сам в себе. что ему народ, эти банды рабов? Живому человеку, сильному и смелому, в рабах было невозможно ходить, по натуре, вот и шли в Запорожскую сечь.

Найман про меня написал, что у меня нет тайны. Ну, конечно! А у Ахматовой какие тайны? Только в последней её поэме – тайна, тут она прорвалась куда-то, под конец. Эта её "Поэма без героя" – звонкая. Она вся звенит. Но звонкая – не на аллитерациях (аллитерации сами по себе мистичны), а – на гласных, что очень редко у большого поэта.

Я теперь пишу таким стилем, что фразы повторяются или варьируются.

21 октября 2003 года. Идём с ним в лесу. Потемнело. Снег посыпался сухими крупинками. Он ответил мне в раздражении:

– Нет у меня никакой своей философии и быть не может. Я ненавижу всю философию, все идеи. Сейчас идея – народное искусство, и на Западе, как у нас. Народное искусство – прекрасное дело, если оно на фоне высокой культуры. Но теперь культуры нет нигде. В мире всё держится на последних двадцати стариках. Во всех областях, и в искусстве, и в науке. Древние прекрасно понимали, что знания нужно скрывать от масс. Пишут: власти от бога. Так ведь и ссаны от бога. А от кого же? Всем тут распоряжается природа, а не человек. А человек чем бы ни стал заниматься, только вредит. Культ денег, культ машин. Он сам себя губит. Вся философия медицины заключается в одной единственной идее: не повреди. Ни слова больше.

Поэтесса прислала мне свою книгу. В её стихах нет того, что обязательно должно быть в стихе, то есть: абсолютной версификации. Но что толку? Я признаю, что без версификации нет стиха. Но ведь нужно, чтобы совпало: и талант, и версификация.

У эвенов триста лет высочайшей культуры. Владели всем Китаем. А теперь остались только обломки скульптур.

Меня пригласили прочитать лекцию в университете. Я спросил: кто последний читал у вас лекцию. Отвечают: Горбовский, "Поэзия и жизнь". То есть: взаимоисключающее. Мне предложили прочитать: "Поэзия и эксперимент". Но в поэзии нет экспериментов. То, что они называют экспериментами: это жанры. Я отказался.

Им хорошо было умереть молодыми, тем гениям, всё сделав к тридцати семи. Да, у меня к тридцати семи ещё не было всё сделано. Не было моей прозы, и я ещё многое не сказал из того, что мне важно.

За одну свою жизнь я прожил, как минимум, десять жизней. Так что сейчас мне шестьсот семьдесят лет. Теперь каждую ночь, ложась спать, я думаю: хоть бы утром не проснуться. Во сне самая прекрасная смерть. И мне теперь всё равно, что будет с этой страной, со всей землёй, с литературой, с искусством. рано или поздно всё погибнет: и картины и книги. При современной технике уничтожения – всё. Книги сгорят мгновенно, как порох, на этой химической бумаге. Так что не беспокойся. Беспокоиться абсолютно не о чем.

28 октября 2003 года. Мглисто. Наша дорожка засыпана сырым снегом, не пройти, но он не захотел поворачивать назад:

– Я бык, астрологическая характеристика: абсолютно прямолинейный. Не могу лгать, влиять, – сказал он.

У древних не было установки на тонкости. Они знать не знали, что это такое. Они обо всём говорили прямо и называли вещи своими именами.

В моих стихах – библейские, греческие, римские темы, но переведённые на своё. Маяковский весь – на библейской теме. Никто не выражал её так прямо и грубо, поэтому она звучит у него с могучей силой.

В этой моей книге действие происходит на Мшинской. Но никаких героев там нет. Одно только болото и видения, которые сами напрашиваются. Эта книга другая, поэтому и продолжаю её писать, а то бы бросил. На этой книге тема Мшинской исчерпана полностью. Не знаю, что я буду писать дальше. Не о чем. Нужны новые декорации. Писатели часто не знают, о чём им писать. Да, тупики. Вот, скажем, романтики в девятнадцатом веке. Им тоже не о чем было писать, и они отправились в путешествия по экзотическим странам, записывали свои путевые впечатления. Так получились замечательные книги. Например: "Путешествие на Восток" Нерваля. Да все они были бродяги. Байрон, если бы его и не выгнали из Англии, сам бы умчался.

Сейчас читаю английскую книгу, написана в тридцатые годы, называется "Закон Паркинсона", о мировой бюрократии: вся её история, корни, становление и развитие. Ужасно! Лучше б ничего этого не знать. Ну её, не буду я её читать дальше, брошу. Всё равно что узнавать в подробностях о лесбиянстве.

Лучшее, что я читал в жизни – летописи. Это такая древнерусская вязь. Ни одно предложение не повторяет другое, каждое строится по новому правилу.

У Зощенко резко выраженный стиль. Он высший стилист. Я боюсь стилистов. Боюсь их читать. Невольно попадаешь под влияние их стиля.

Достоевский же писал абстрактные романы. «Братья Карамазовы». Столкновение идей. Ерунда. Не могу читать.

Нет неизвестного. Всё чуждо.

Библия, скажем. Я двадцать лет жил этой книгой, везде возил её с собой, куда бы ни поехал. А потом она мне осточертела до смерти. Знать её не хочу! Фокус человеческой жизни в том, что рано или поздно всё надоедает. Всё, всё, как бы оно ни было распрекрасно.

Как попала в Библию книга о Соломоне? Непонятно. Она там совершенно чужда, пустая, цветистая.

На дороге лёд, он поскользнулся и едва не упал, но я удержал его за руку.

– Ну вот, как бы я без поводыря! – воскликнул он. – Сто раз бы уже кувыркнулся и сломал шею.

4 ноября 2003 года. Он сказал:

– Набоков – большой писатель. И блестящий язык, и культура, и мастер, и всё. Но за этим – пусто. Энергии-то полно, но она пустая. Он же шахматист, изощрённейший. У него все ходы абсолютно рассчитаны. Он типично американский писатель. Почему его называют русским писателем, не понимаю.

Конечно, Набоков от Белого. Но Белый – филологический гений. Разве можно их сравнивать.

Я видел много городов. Бухара, Самарканд. Изысканность, простота. Ни фальши в архитектуре. И мечети скромные. Блёклые краски и только орнамент. Прекрасно. А Стамбул вызвал у меня омерзение. Застроен американщиной; так, кое-где остались арабские кусочки.

Терпеть не могу коллекционеров, особенно бессребреников.

Все люди презирают поэтов, но на Западе хоть не трогают. А здесь – убьют, а потом ставят памятники.

Да, Цветаева много взяла от футуристов. Взяла главное: другая логика, другой метод мышления. А не повернись у неё голова, и осталась бы салонной поэтессой, как Парнок.

Так что стихи идут не от жизни, а от стихов. И книги – от книг. Да, и поэты – от поэтов.

2 декабря 2003 года. Наши прогулки стали непродолжительны. Мы остановились отдохнуть у сосны.

– Я в себе ничего человеческого не чувствую, – сказал он. – Неприятие мира в себе. Таких много, почему и так много самоубийств.

Теперь правильное время для живописи – когда вся живопись надоела. Стали собирать прекрасные по форме камни или деревья. Меня теперь тошнит от всей живописи, как и от всей литературы. Я могу читать только или старые детективы, или научно-популярную литературу, не научную (раньше я и научную читал), а научно-популярные сказки, где врёт, как собака, а пишет серьёзно, как будто знаток. У Платона тоже – какая это философия? Он поэт, у него фантастические сказки, поэмы, романы. Сократ учитель, остроумный болтун, блистательный ум, который опровергает всё, что угодно.

У меня нет никакой психологии, в моих книгах она начисто отсутствует. Вся моя психология – я сам.

Ранние статьи Белинского – это настоящая критика. Тогда, в начале девятнадцатого века, ещё не ставили духовных проблем, ни здесь, ни на Западе, поэтому занимались только формой, то есть: разбор произведения – как оно сделано. И зачем эти духовные проблемы? Лучше бы их не было, и нечего о них болтать. Или духовная, внутренняя сила есть врождённо, или её нет. Бывает, она проявляется у поэта или писателя очень поздно. У Вознесенского, скажем, только "Я – Гойя", и ещё несколько стихотворений, а всё остальное у него – внешнее, формальное. Живопись тоже – ушла в забавы, как в восемнадцатом веке. Дорисовались.

16 декабря 2003 года.

– Я как закутанный мальчик, – сказал он, стоя у двери, готовый на прогулку, в наглухо застёгнутом по гордо, длинном пальто, в кожаной шапке с опущенными ушами. – У Голявкина есть рассказ с таким названием, – продолжал он. – У Битова, Аксёнова – прекрасная проза, высокая, европейская культура, но у них нет изгиба. А Голявкин гениальный писатель, у него есть свой изгиб. У него проза отточена, как стихи.

Мы вышли на улицу, и по дороге к лесу и в лесу он говорил:

– Когда я был в Сербии, я по просьбе моей переводчицы написал для их университета несколько отрывков: о древней системе чисел, о Каббале и других древних системах. Я разочаровал мою переводчицу, она ведь меня назвала Иоанном Крестителем. Какой уж я Иоанн Креститель!

Знают только внизу и вверху, низшие и высшие, или совсем простые люди, или поэты. И те, и те – интуиты. В философии никаких знаний нет, философия – это сплошь спекуляция. Если хочешь что-то знать – то найдёшь только там, в древности, чем глубже, тем лучше. Потому что идёт вульгаризация всего.

Музыка мира, знаки розенкрейцеров – на этом весь символизм. Но по-настоящему, внутренне эта музыка была у одного только Блока. У остальных ничего, нуль. У Брюсова прекрасные стихи, но они чисто прагматические с употреблением символистских выражений. У Блока не было абсолютного музыкального слуха, но у него был духовный слух музыкальный, внутри него.

Переводят ведь только содержание, а на самом деле, может быть, это вовсе и не содержание, а необходимая маскировка.

У Айги, ну скажем так, филологическая неожиданность. Он ведь русского-то не знал, а чувашский язык, как и венгерский, с которым он родствен, по своему строю музыкальней русского. Вот он эту музыкальность и внёс.

Дух во всём, и свои гении во всём – у камней, у атомов. Да, это древний взгляд. Из Индии. Всё из Индии.

2004 год

6 января 2004 года. Гуляли в лесу. Опять говорил о рисовании:

– Мой метод рисования – это ведь монотипия, но особая: оттиск делается не на станке, а вручную. Станок безличен, а тут живая рука. Молниеносно делаю рисунок тушью или гуашью, накладываю второй лист и интуитивно нажимаю пальцами в нужных местах, которые рука сама знает, знают импульсы её нервов, это доли секунды, ведь тушь сохнет мгновенно, разъединяю листы, и у меня два рисунка. Девяносто процентов выбрасывается, но в остальных десяти выходят такие шедевры, что ахнешь! Так рисовать могу только я. Кто ни пробовал рисовать моим методом, в том числе, высшие мастера – ничего не получается, одна мазня. Это не значит, что никто в принципе не способен так рисовать. Может быть, есть такой, но я не слышал, или когда-нибудь появится, но это будет другой, со своим почерком и своим, отличным от моего приёмом, манерой, другая личность. Но вот беда: пропала папка с лучшими моими рисунками. С осени не могу найти. Украсть никто не мог, исключено. Это я, уезжая на Мшинскую на лето, так хорошо её спрятал. Не раз уже у меня бывало: спрячу и забуду – куда спрятал. Потом случайно обнаруживается. А всё же жаль, если пропадёт. В музее Ахматовой устраивают мой концерт, с показом моих рисунков, взятых из интернета.

Поэт Крушанич, мой ровесник, его не издавали, жил в Царском селе. Вот, вышла теперь книжечка его стихов, замечательный поэт, тонкие стихи. Получил премию. Переехал в Москву, избрали в какой-то комитет по культуре, занимает большой пост. Всё это за год. Видишь, и так бывает. Да, но у кого действительно тонкие стихи, так это у Анненского, тоньше стихов в русской поэзии нет. Тонкость Ахматовой – миф. Хороша тонкость, если под её стихи пошла шпарить вся советская поэзия.

В переводе текст упрощают. Фразы теряют многозначность, но острые, и этой остроты достаточно.

Идти было трудно, дорога скользкая, прогулка его утомила, обратный путь он едва тащился.

– Помнишь, как у Есенина начинается "Пугачёв"? – спросил он, остановясь отдохнуть: – "Ох, как устал и как болит нога!"

13 января 2004 года. Он плохо себя чувствует, почти не спал, повышенная температура. Да и погода не благоприятствует нашей прогулке, метель. Я побыл с ним около часа.

– Параджанов – чистый художник, – сказал он. – Тарковский – моралист. Чаплин ведь тоже – и мораль и сентиментальность, но всё уничтожается в блеске его гениальной игры.

Император Август в юности – весёлый, красивый, в восемнадцать лет разгромил в пух и прах Антония, прославленного полководца. А в старости стал моралист, угрюмый, сгорбленный, как пингвин.

У художника на свои картины глаз не намётан, вот зачастую и продают, не зная действительной ценности. Я тоже не знаю о своих книгах – что они значат. Пока писал – горел. Кончил работу, поставил точку, опубликовал. Всё! Больше я никогда к ней не возвращаюсь. Не могу ни строчки прочесть в моей уже написанной и изданной книге. Отбрасываю от себя навсегда и знать о ней ничего не хочу и не могу.

Знаешь, какая была любимая поговорка Твардовского: "Молодые поэты – это цветы, но их надо сразу срезать".

Вот, попались мемуары Сергея Соловьёва. Стал читать: слякоть, бытовщина. Я ненавижу бытовую литературу. Дед его, Сергей Соловьёв – великий систематик, дядя, Владимир Соловьёв – крупнейший русский философ, а этот – дилетант, пошляк, нуль, крутился вокруг Белого и Блока.

"Улисс" Джойса – жутко хулиганский роман. Эту книгу так и не смогли перевести. Непереводимо.

"Угрюм-река" Шишкова – отличная книга. Это, конечно, не ярковыдающийся Платонов, сумасшедший, который сам не понимал, что он написал, но – добротный, честный писатель. Шишков ведь дворянин, и в белой гвардии, кажется, был, воевал. Не знаю, каким чудом он уцелел.

Раньше я работал, не вставая из-за стола, по шестнадцать часов – такой силы наваждение! И разве это неподвижность? Это же голова летает чёрт знает куда!

27 января 2004 года. Сегодня выбрались на прогулку. В лесу бело, снег сыпется. Небольшой мороз. Брели по дороге. Он по пути к лесу выпил чая в нашем обычном месте, и это его оживило.

– У меня так устроена вегетативная система, – сказал он, – что требует постоянного возбуждения.

От каждого большого писателя в конце концов остаётся только одна книга. От Сервантеса – "Дон Кихот". Для испанцев – это высшая книга, их гордость. В этой книге – весь национальный характер испанцев, дух народа, как говорится.

Перечитал на днях Северянина. И откуда в нём столько жизнерадостности? Ведь все поэты мрачные, у всех тоска, отчаянье. Да, и у меня сквозь всё написанное – струна тоски. Вот, вот: "О чём плачет филин".

Какой-то американец, фамилия Котис, должен был передать мне гонорар за мою прозу, изданную в американском журнале, пустяки, пятьдесят долларов, но всё же. Позвонил мне, договорились: в такой-то час придёт. Жду весь вечер, как дурак. не пришёл. Опять звонит, извиняется: дела задержали, и теперь деньги привезёт какая-то Настя,

когда у неё найдется время. Ты понимаешь? Уж если Настя и Котис (фамилия сама за себя говорит), то, разумеется, мне этих денег не видать. Тут у нас Насти денег не возят. Какая-нибудь его блядь, вот он моими деньгами ей и заплатил.

Две страны, где начисто отсутствует эстетический вкус – это Россия и Америка.

Ты поздно родился и не застал тех великих стариков. Сколько тогда было личностей! Я многих знал. Когда я гастролировал по Сибири, мне передали, что меня хотел бы повидать Василий Сталин, он много обо мне слышал. Но я отказался, у него был туберкулёз в тяжёлой форме, а мне туберкулёза достаточно. Василий Сталин жил в обычном городском доме на первом этаже, один, тяжело больной. А во дворе у него под окнами работяги весь вечер забивали «козла». Он просил их: "Ребята, играйте потише. Я больной, умирающий человек". Те кричали: "Молчи, сволочь! Сталинское отродье! Долго вы нас мучили! Теперь ты потерпи!" И начинали стучать по столу и орать ещё громче. Мстили. Но кому? Герою войны, лёгчику, безвинному человеку, весёлому пьянице. Через год он умер.

Я тоже скоро умру. Да, да. Я это чую. Часто вспоминаю Лилю Брик, а кого мне ещё вспоминать?

3 февраля 2004 года. Гуляли в лесу, скользко, тусклый день.

– Слышал: в Америке отменили теорию эволюции Дарвина? – спросил он. – Сняли с преподавания в учебных заведениях, школах и университетах. Давно было ясно, что эта теория – бред тяжело больного человека. Дарвин же писал свои великие труды, двадцать лет прикованный к постели. Вся Америка теперь взбунтовалась, гневные протесты против запрета дарвинизма. Ещё бы: жаль расстаться с привычным представлением, что они произошли от обезьян! Ньютона небесную механику так ведь и не отменили. Какая там к чёрту механика! Там всё кипит! Планеты пожирают друг друга. Там вечный бой!

У древних знания – это знание космоса, и соответствие психики космосу. Физиология полностью от психики, сама по себе она ничто – мёртвое тело, труп.

Да, герои. Организм подсознательно хочет смерти. Это люди высоко одарённые духовно.

Я ведь тоже эзотерик, в том смысле, что – знающий, и это знание тайное, оно от интуиции, и его никому невозможно передать. Поэтому все мои речи бессмысленны и бесполезны. И Сократ был эзотерик, и его блестящие речи тоже были в пустоту.

Что слава поэта? Это глухая слава. Поэтов же никто не понимает. Вот слава великих вождей всем ясна, она определяется количеством жертв: чем больше жертв, тем больше величия.

Мои подражатели, столкнувшись с моей системой, попадают под сильное её влияние, оказываются под её гипнозом, перенимают её и начинают писать в этой манере, но их хватает не надолго, не выдерживают напряжения моего метода и срываются. А я, вот видишь, тяну и тяну. Жизнь – тьфу, но надо закончить книгу. У меня долг, даже не перед собой, а – перед книгой.

Теперь вот мы с Ниной с большим энтузиазмом смотрим по телевизору чемпионат Европы по бильярду. Красивейшая игра! Что ты! Я ведь сам был очень неплохой бильярдист, во всяком случае писателей обыгрывал, как щенят, на деньги. Всех, кроме Дудина. Тот был – высшего класса.

9 февраля 2004 года. Гуляли. Солнечный, морозный день. Он говорил:

– Уже шесть тысяч моих рисунков гуляют в интернете по всему миру, от Финляндии до Австралии, пусть уж такая известность, все равно оригиналы пропадут.

Фотографы понимают графику, некоторые из них – высшие мастера.

Так я и не сумел написать свою биографию, я не могу писать благостно. И вообще: лучше, чтобы биография писателя была неизвестна, она вся в его книгах.

Я покупал в букинистике футуристические книги ради исключительности их оформления. Это высшая эстетика книги, там всё: и переплет, и рисунок, и шрифт, и текст. Все имеет высшую художественную ценность. Когда в доме есть такие книги, то это дает духовный импульс к жизни. Такие книги действуют даже, если их не видишь.

Меня замалчивают, делают вид, что меня нет, не существует. Они борются со мной таким способом. У Аксенова есть рассказ «Победа»: в поезде едет чемпион мира по шахматам, возвращается с чемпионата, усталый, обессиленный напряжением игры, обдумывает ошибочные ходы, которые допустил в одной из проигранных им партий. Сосед в купе, моряк, узнает его: «Вы тот самый!..» называет фамилию. «Чемпион мира! Мой кумир!» Просит сыграть с ним одну партию, только одну, он перворазрядник по шахматам, всю жизнь будет помнить, расскажет у себя на флоте, что играл с самим А! Пристал, нож к горлу. Чемпион сдался, черт с ним, все равно не отвяжется, сел играть, а сам все прокручивает в уме ту проигранную партию на чемпионате, рассеян, доску как не видит, фигуры ставит машинально. И проиграл. Моряк глазам своим не верит, ошеломлен, "Вам шах" говорит. Вскикивает, бежит по коридору, орёт: "Я выиграл! Я выиграл у самого А!" И весь вагон вместе с ним тоже орет: "Он выиграл у самого А, у чемпиона мира! Он победил! Какая блистательная победа!"

21 февраля 2004 года. Гуляли. По дороге он говорил:

– Этот мир – сумасшедшая кафкианская кутерьма, Я давно говорю, что у этого мира культура самая убогая. Высшая культура, интуитивная, была у древних миров, которые исчезли бесследно. Ведь великие русские поэты начала двадцатого века не очень-то поддерживали эту машинность, не в пример итальянским футуристам во главе с Маринетти. У Хлебникова наоборот: поворот к древности. У Маяковского тема машин – чуть-чуть, не главное. А крупнейшие русские художники и совсем отказались от тем современности и обратились к пещерам, к первобытному искусству, к этим царапинам на скалах, к абстракциям, к условности, египетской, вавилонской. У них сработала интуиция: что надо уходить от этого бреда. Мне и конструктивизм противен, эта знаменитая башня Татлина. Да, геометричность, совершенная, но и всё. Конструкции. Теперь они, как мы видим, везде наштампованы, по всему миру. Картины Татлина мне куда интересней. Но что живопись, рисунки? Один прыжок зайца – графика, которая выше любого гениального рисунка какого-нибудь китаецца. А котятка играют – такая графика, роскошная, живая!

Я бы уничтожил всю технику и вернул бы мир к каменному веку. В первую очередь выбросил бы этот блядский телескоп Хаббла. Показывают, как черная дыра заглатывает звезду, размером равную нашему солнцу. Наводят ужас на весь мир. Зачем? Они там еще и не то разглядят!

Толстого я не то, что не люблю, а не уважаю. Я не считаю его крупным писателем, ни его, ни Томаса Манна. Потому что это – проституция. Продажные, они продавались. Это только мастера, это антиинтуитивные писатели.

Я хотел написать об Елизавете, а заодно и об Ваньке Каине. Ей было совершенно наплевать на государство, она только пила и гуляла. Ее и называли: Елизавета веселая. Она даже в церкви во время службы умудрялась напиваться, и ее не раз выносили на руках. Надо писать такие книги, а не философскую размазню. Как же! У них ум, интеллект, ученость! Весь этот интеллектуализм – банальная ложь! Все теперь философствуют и учат жить, даже детективщики. Читать стало невозможно. Вот греки – народ был! Те мыслили, а не философствовали. Кардинальная разница. Греческое мировоззрение трагическое. Римское – оптимистическое.

На обратном пути он шел медленней, ноги устали. После продолжительной паузы заговорил опять:

– Бояться – слово не моего словаря. Я не боюсь, но, скажем так: я бы не хотел впасть в сумасшествие и жить полным идиотом. Это ужасно. Если я узнаю, что близится безумие, я покончу с собой. Я не хочу, чтобы меня постигла участь моей матери.

28 февраля 2004 года.

– Вот приготовил свои дневники, сдам в Публичную библиотеку, – он подвел меня к столу, на котором высилась гора тетрадей в твердых обложках. – Особенно ценен этот, он весь в рисунках, даже жаль отдавать. – Он стал листать и показывать рисунки, и на полях, и на странице, и на весь разворот. Поразительные, фантастические рисунки. Длинная лодка, и в ней две лежащие фигуры головами в разные стороны. Река – струны-линии, прочерченные абсолютно ровно, как по линейке, но они проведены рукой. – Видишь, какая твердая была у меня рука! – сказал он с гордостью.

Пошли гулять. Сырой снег.

– Прочитал дневники Юрии Олеши, – начал он говорить на улице. – Видно, как кривит душой. Такое было время: ничего нельзя было писать прямо. У Олеши две прекрасные книги: "Зависть" и "Три толстяка" – для писателя этого вполне достаточно. Написано футуристически жёстко. Это русский язык, а не советский. Эти два языка никак не стыкуются. Олеша не мог писать на советском языке, не мог физически, потому перестал писать. Пьесы его – халтура, это нельзя назвать писательством. Сейчас русского языка нет. А каков язык, таково и понимание. Язык и есть – понимание мира.

Олеша приводит строку Пушкина из "Пира во время чумы" и пишет как о чем-то высшем. Но это говорит о том, что в стихах он ничего не понимал, не было слуха на стих. У Пушкина: "Ненавижу волос шотландских этих желтизну". Тут звуковой сбой, что у Пушкина редко при его феноменальном чутье: "ж" в начале и "ж" в конце так близко стоящие убивают всю строку. Прозаики, как правило, не понимают стихи.

Да, тогда были писатели. У каждого из "Серапионовых братьев" написано хотя бы по одной талантливой книге, но потом они скатились. Кроме Зощенко, тот сразу стал писать отстраненно. У него все в порядке до конца. А Гладков написал свой роман "Цемент" в стиле Андрея Белого и принес ему показать. Тот, гений, пришел в ужас: "ты что, с ума сошел? О цементе и коммунистах писать в формах высшей эстетики! Да тебя сразу расстреляют!" Гладков послушался, сгладил, разбавил, и получилась неплохая, честная книга.

6 марта 2004 года. День солнечный, мороз.

– Знаешь, из-за чего был первый припадок безумия у Нижинского? – спросил он меня на прогулке. – В антракте исполняли "Крестьянский танец" из "Спящей красавицы" Чайковского – это очень нравилось публике. Нижинский просил директора театра, то есть, Дягилева, чтоб на этот раз не исполняли, он не выносит эту пошлую, мещанскую музыку, буквально умолял. И пошел к себе в уборную переодеваться. И вдруг там

прямо ему в уши по репродуктору на всю громкость – этот "Крестьянский танец"! Нижинский был поражен, никак не ожидал. Истерики. Упал, катался по полу, кусал себе пальцы, кричал. Потом стал громить все, что попадает под руку.

Пройдя шагов десять, он продолжал:

– Первый меня заметил Заболоцкий. Кто-то передал ему мою рукопись стихов "Солдатские сонеты". Я написал их в армии. Стихи слабые, это еще не я, это до моих древнерусских. Заболоцкий тогда пил только сухое вино. У него был роман с какой-то армянкой на двадцать лет его младше. Однажды утром звонит мне Слуцкий и заявляет: "А Вы, Виктор, оказывается, убийца". "Что Вы имеете ввиду?" спрашиваю его. "Этой ночью умер Заболоцкий" говорит он. "Печально. Но при чем тут я?" отвечаю. "А при том" говорит он, "что последний человек, который у него был, это – Вы, и Вы с ним пили". "Мы выпили немного сухого вина" возражаю я, «от такой дозы умереть трудно». "Да, но Вы на всех производите демоническое действие" заявляет он мне. Что тут на это скажешь. Вот ты очень похож на Заболоцкого, что, я и на тебя произвожу демоническое действие? Нет же?

На обратном пути он опять едва шел, разболелись ноги, я с трудом его удерживал.

– Вчера у меня опять была температура тридцать восемь, – сказал он. – Я боюсь обследоваться. Операцию я не выдержу, так я теперь ослаб. Зарежут. А я бы мог еще что-нибудь написать. Когда я сдохну, ты тоже можешь написать неплохую физиологическую книгу на тему моих болезней. Только не о стихах. Что стихи? Если б не ты, я бы все дни лежал лежмя, ничего не делая. Такая апатия. И читать тошно. Теперь жалею, что я слишком много знаю. Ты меня выводишь на прогулку, да еще и поговориться даешь досыта за всю неделю. Ты хороший товарищ. Помогаете в жизни. А кроме тебя, никто ведь не помогает. Один недостаток: что ты петь не умеешь. А то как бы мы спели дуэтом на этой дороге, в лесу! Раньше я знал много народных песен, не только русских, но и украинских, польских, испанских. А шотландские баллады – уж какие мрачные. А ирландские песни – самые тоскливые в мире. – И он стал петь своим глухим, но очень выразительным голосом грустную-грустную, длинную ирландскую песню, о свечах, девушках, ночных скачках, танцах и смерти. Слов я не запомнил.

13 марта 2004 года. Солнечный день.

– Читаю от скуки письма Фета, – сказал он в лесу на прогулке. – Пишет Толстому: "Эх, Лев Николаевич, если бы Вы посвятили себя не реализму, а искусству, цены бы Вам не было". Кстати, Толстой знал наизусть всего Тютчева. Делает ему честь. Но проза Фета занудна, и

письма, и воспоминания, и всё. Тот еще тип, уродливый, на лбу рог рос. Рассказ "Кактус" – фальшивка. Видел я, как цветут кактусы. Дрянновато цветут, тошнотворное зрелище, лучше б и не видеть.

В последних моих стихах нет метафор, там только образы. Эти стихи написаны чисто интуитивно, как и мои рисунки. Образы возникали музыкально и живописно. Образы многозначны, я сам не могу точно сказать, что значит тот или иной образ. И то, и другое, и третье. Например: «Над горой встала медь». Не обязательно, что это луна. Может, луна, а может – нет. Не знаю. Образ – имажио. На латыни это слово имеет около 50 значений. У меня строчка: "Имажио, призраков, насекомых. видений. клинописи и чисел".

Книга «Верховный час» написана за одно лето. "День Зверя" – тоже за лето на хуторе в Эстонии, а здесь, на Руси обрабатывал с сентября по декабрь. К Новому году закончил и записал.

Ты мог бы написать мою биографию, она ведь не написана. Я ни с кем не общаюсь столько времени, сколько с тобой.

Умру, и обо мне замолчат надолго. Уже сейчас – ни звука, как будто меня вообще не существует. Я пишу с присущей мне громкостью и грозностью. А они делают вид, что это их никак не касается, и адресовано не им, а так – слова на ветер. Пусть забавляется.

А ты знаешь, что Земля имеет форму груши? – спросил он вдруг. – Недавно определили. Ученые! Знания их! Даже формы Земли не знали!

20 марта 2004 года.

– Зонт брать? – спрашивает он.

– Не надо. Дождя не будет, – говорю я с твердой уверенностью. Мы выходим. День тусклый, талость, лужи. Идем по тротуару в сторону леса. Начинает капать.

– Ну вот, слушай твои советы! – говорит он сердито. – Через минуту это уже будет не дождь, а ливень, я буду мокрый насквозь, и моя куртка укоротится наполовину, ее нельзя мочить. Тебе-то хоть бы хны, твоему пальто ничего не сделается, как намокнет, так и высохнет. А мне – куртку выкидывай. Такую длинную теперь нигде не найдешь.

Он отвлекся и стал говорить о другом:

– У гениальных поэтов, с отрывом от земли, стихи непередаваемы. Ведь вкладывается весь организм, все нервы, да интуиция. Как это перевести! Безнадёжно! Переводят смысловое. А что смыслы? Пустой звон.

Пишут: талантливый человек не может быть подонком. Да полно! Все как раз наоборот: талант и есть – антипорядочность. Талант отвергает мораль. Это ведь гибкая психика.

Буковски от Хемингуэя, но книги у него другие, они острее, они

циничны. Это такая антиэстетика, которая имеет свой смысл. Все у него доступно, но фразы железные. Мат на две трети страницы. Пишет рассказы о своей жизни. А какая это жизнь! Открытый цинизм и абсурд. Признает только людей бедных, замученных, а всех остальных считает жутким говном. Так и у всех поэтов, и богатых, и нищих – это отношение. Уайльд, денди, весь в бархате, обсыпанный бриллиантами – попал в тюрьму, в кандалы и написал свою балладу об униженных и оскорбленных. Все они отрицатели.

У Гинзберга – тоже. Потом он стал писать блюзы, изысканные. Но ранние его стихи, битловские, сильнее, там жизнь бьет.

У Пушкина мне отвратительны эти два письма в «Евгении Онегине» – письмо Татьяны к Онегину, и письмо Онегина к Татьяне. Особенно – письмо Онегина. Пушкин – блядун, ни дня без бабы, а пишет такие сентименты. Но это была установка времени, никуда не денешься, запретная тема. Романтизм приподнял завесу. Под маской романтизма многое. Сублимация чувственности. А чувственность – приближение к мистике и интуиции. «Вертер» у Гете – жесткая книга. Там есть сцена незабываемая: как Шарлотта хлещет красавчика-офицера по щекам. Уж если баба тебя хлещет по морде, то ясно – она твоя. Так у нее сублимируется сексуальность. И Фрейда не надо.

Ранние стихи Ахмадулиной чудесные. У Кушнера, кстати – тоже. Первые две книжки. Голос его слаб, но есть это настоящее что-то.

У Маяковского в поэме "Владимир Ильич Ленин": "Если бы выставить в музее плачущего большевика, весь день бы в музее торчали ротозеи". Что это как не издевка! Но поэма плохая, там нет этого божественного отключения.

Лиля Брик издевалась над моей книгой "Летучий голландец", это ей не нравилось, как и мои стихи на греческие темы. Я ответил: «Лиля Юрьевна, я ведь никогда не спорю ни с теми, кто хулит мои произведения, ни с теми, кто их хвалит». Тогда она прекратила издеваться. Не любила она и мои исторические повести. "Вы слишком много знаете", говорила она. "Поэту не надо столько знать и тем более заниматься историческими исследованиями".

В лесу дождь припустил сильнее, мы гуляли недолго, и всю обратную дорогу он меня корил, что по моей вине он не взял зонта, нашел кого слушать, что куртка промокла насквозь, и теперь дураку ясно, что она укоротится по пояс, не зря же корейцы написали, что нельзя мочить, и ничего другого не останется, как только выбросить ее на помойку. "Всё! Закроем эту тему!" говорил он, размахивая рукой, и через минуту начинал опять. Дождь, словно в насмешку, полил еще сильнее, а потом и повалил мокрый снег, настоящая выюга. Мы пришли домой промокшие.

10 апреля 2004 года. Пошли гулять. День солнечный. В лесу на дороге грязь и последние полосы тающего снега.

– Пелевин – помои, а его приравнивают к этому японцу Мураками, – сказал он раздражительно. – Но Мураками – мистик. Он ведь очень тонкий, а пишет абсолютно просто. Пишет о якобы простых людях, но у каждого есть свой звон внутри.

Лучше бы я не перечитывал эту книгу Цвейга о Бальзаке, – продолжал он. – В юности она произвела на меня сильное впечатление, и я думал, она меня взбодрит в моем теперешнем анемичном состоянии, как-то встряхнет. Застрял уже на двадцатой странице. Патетика, многословие. Цвейг – влюбленный в литературу дилетант. Это книга для детей. Все подобные книги надо прочесть в юности и больше никогда к ним не возвращаться.

В шестнадцать лет во Львове я написал драму в стихах "Иван Болотников". Сжег, конечно. Потому что понимал, что слабо, графомания, что это – не я. В юности у всех так: что прочитал, под этот образец и пишешь. Другого великого прочитал – под него шпаришь. Вот и я своего "Болотникова" написал, подражая "Пугачеву" Есенина, один к одному. "Пугачев" Есенина – гениальная поэма. Есенин неогречен, как должно.

Вот ты говоришь, что я развил твой ум до критического предела, – заметил он с саркастической усмешкой, – но ведь я не человек ума, я – человек импульса.

Я очень самовнушаем. Но со стороны, извне никто ничего мне не внушит, не поколеблет ни на миллиметр. Как кретина не поколеблешь. Я крайний индивидуалист, и ничьи рассуждения на мой счет, ни хвалебные, ни хулебные, никакого действия на меня не производят.

А вот я повлиял на многих, не только в литературе, в живописи – тоже. Многие художники приносили мне показать свои картины с просьбой высказать мнение. Как и поэты приносили свои стихи. Поэтам я ничего не говорил, а отсылал в Лито. Художникам – говорил, и оценивал всегда абсолютно точно. Кулаков и Грицюк даже называли меня своим учителем. Но Михнов, конечно, в моих мнениях не нуждался и ничего не показывал для оценок.

Моего поколения действительно гениальных художника было два: Шварцман, он старше меня. Не пил ни грамма. Ум у него был абсолютно железный. Второй – Вайсберг. Третий, конечно, Михнов. С Вайсбергом и Михновым я дружил. Зверев – прекрасный художник-импрессионист, не слабее великих французских импрессионистов, но нового он ничего не внес. А вот у Кулакова были прорывы. Эта картинка Зверева у меня в комнате – она мне нравится, сделана она абсолютно, но это не путь. На этом не построишь системы. Целков – громадный, как Гаргантюа! Но

наивный. Он оригинальный художник. Громадные холсты, и хрен знает что там накручено! Все они, конечно, от авангарда. А от чего еще тут идти, ведь все советское искусство – пустыня. Я считаю, что русский авангард начала двадцатого века был сильнее французского. Супрематизм – вообще выдумка Малевича. На Западе ничего подобного не было. Удальцова – как Цветаева в поэзии. Древина расстреляли. Кончаловский, Малявин – настоящие, богом данные художники, но они не великие, они ничего своего не внесли. Тогда была тысяча замечательных русских художников-авангардистов, сейчас в полном забвении, о них нигде ни слова.

Да что! Вот дети как рисуют! Некоторые. Всё у них там летит! Посмотри детские рисунки Голявкина – какие летящие! Как он стремительно, свободно рисует! Взрослые его картины – закрепощенные, академизм.

Как большие художники, так и большие поэты никогда не ошибаются в своих произведениях. Но их оценки чужого очень субъективны, на них нельзя полагаться. Я могу дать точно только оценку качества, техники, есть абсолютная сделанность или нет. Остальное – не мое направление, за порогом моей психики, и верным судьей я быть не могу. Например – Айги. Я знаю, что его стихи меня не трогают, но это стихи высочайшей филологической системы.

О пяти поэтах у меня было высокое мнение: ранний Вознесенский, Ахмадулина, ранняя, Бродский, Кушнер, Горбовский – тоже ранние. Но все они к тридцати годам выдохлись. Да просто напросто исчерпались.

Теперь гроссмейстеры, чемпионы мира, играют с машинами, и машины выигрывают. Естественно: они за одну секунду проворачивают миллион комбинаций. Что шахматы! Машины сочиняют стихи – сделанные абсолютно, высшего качества, получше наших поэтов. Но все-таки машина никогда не сможет стать большим поэтом. У машины только интеллект, но нет ни оригинальности, ни артистизма. У некоторых машин начинает развиваться психика, перенятая от хозяина – или дружественная хозяину или враждебная, как любовь, или злоба. Это давно замечено, но объяснить это не могут.

– Видишь, где-то кулич купила, – он показал на женщину, которая заворачивала кулич в бумагу. – Все люди празднуют и умеют радоваться, а я никогда не чувствовал праздников и ни от чего ни испытывал радости. И все мои книги безрадостные. Почему это? Мое поколение кто-то так и назвал – безрадостное поколение.

17 апреля 2004 года. Теплый, солнечный день. Гуляли в лесу. Грязь на дороге. Жгут костры. Мы выбрали тропинку посуше, она в корнях и ямках, кое-где пятна снега. Шли медленно, он, держась за мой локоть, говорил:

– Тредиаковский задолго до всякого футуризма задавил всех футуристов. У него железная форма. Пушкин сгладил и напоядил язык. Он Моцарт, а не Бетховен. Гоголь все пишет о Пушкине, а ведь его учитель Державин, а не Пушкин. Что сравнивать великих. Каждая большая личность состоит из многих элементов.

Ты же знаешь, я никого не отрицаю. Я не отрицаю человека, если он хотя бы схватил письмо. Если уж отрицать, то отрицай самого себя. Вот правильная позиция. Сжигай свои книги. Модильяни сжег все свои ранние работы. А Сезанн! Он в клочки рвал свои картины – тысячами! Кое-что подобрали, теперь эти обрывки объявили шедеврами и они стоят безумные деньги. Что ж, у всех больших художников и писателей пишется много мусора, это естественно, работа, поиск, чтобы в итоге была создана, может быть, только одна гениальная картина, книга, одно или пять стихотворений, вот, как у Тютчева. Это и останется в веках. А мусор – одни уничтожают, другие – нет. Ничего не меняет. У Державина – восемь толстенных томищ, пьесы и черт-те что, дребедень. А остается один том, отобранный Гуковским, там всё от начала до конца – только шедевры. Я не отрицаю и Айвазовского. Хороший художник, по-своему. Во-первых: такого моря не бывает. Во-вторых: эстетика краски – у него ведь море всё светится! Я и Шишкина не отрицаю. Попробуй-ка нарисовать миллион листочков, выписав каждую жилочку, до микрона, как у него! Безумие! Рисовал лес и ничего, кроме леса. Реалист? Утрилло тоже называли реалистом. А какой он к черту реалист! Я же видел его картины. Что он делал? Рисовал с обыкновенных открыток обыкновенные улицы с домами на Монмартре, где пьянствовал. Но у него все дома сверкают, все летят, в них заложена мистическая сила! Если на то пошло, то он скорее уж кубист. Его дома – это же кубы, форма, абстракция.

Елена Шварц, Кушнер – я их признаю, но они мне совершенно не нужны. Ни на что они не нужны мне, хоть режь! Нового у них ничего нет, оригинального – нет, сильного – тоже ничего нет. Мандельштам неизмеримо больше, чем эти, а и он мне совершенно не нужен. Версификация высочайшая. Мертвый мастер. Но у него есть много очень красивых образов, в книгах «Камень» и «Армения». А при большевиках у него пошли советские стихи, то есть – херня. Но эти-то стихи всем и нравятся, за это его и вознесли. Да что! Ведь это его жена Надежда сделала из него великого поэта, написав о нем книгу и создав ему мировую рекламу, а то бы никто и знать не знал про такого поэта Мандельштама.

Ремизов – высочайший каллиграф. В этом его истинный дар. А сказы его мне никак не идут. Вообще стилизацию никакую не могу читать. поэтому и Флобера не могу, его "Саламбо". Красивые пейзажи, слоны, описания битв, но ведь – пустота. А признаю: очень большой писатель.

Так и Андрей Белый, признаю, великий писатель, но и он – пустота пустейшая, стилизация, ритмизованность, однообразие и, значит, скука. Правильно о нем написал Шкловский: "Читать Андрея Белого – все равно что идти по шпалам". Вот как можно все сказать одной фразой! В самую точку!

Цвейг – гениеман, как Цветаева – поэтоман. Для нее что ни поэт, то – и великий. Теперь у нас и Гумилев – великий поэт. Но у него нет ни строчки, ни звука, хоть с телескопом ищи, он вообще не поэт. У Ходасевича все же есть несколько очень тонких стихов, он кое-что в этом понимал.

24 апреля 2004 года. Солнечный день, холодный ветер. Гуляли в лесу у ручья. Дорога просохла, гулять хорошо. Прошлый раз я отдал ему на суд мою статью о нем, которую я назвал "Всадник". Сегодня он о ней высказался:

– Это не статья, это – ода. Она годится только к юбилею. Ты ждешь восторгов. Но я ведь безразличен и к хвале и к хуле, – сказал он с усмешкой.

– Ты оптимист, – продолжал он. – Конечно, оптимист! – остановил он мою попытку возразить. – Ты же никогда ничем не болел. Или, может быть, тебя мучает желание славы?

Я отрицательно покачал головой и заметил, что вот Петрарку, по его признанию, страсть к славе мучила всю жизнь.

– Отстань ты со своим Петраркой! – поморщился он. – Да, действительно, многие большие поэты и писатели любили славу и добивались ее. Вот – Бальзак: тоже жаждал и богатства и славы. Но ведь главное в нем – сила таланта. Я, наверное, один такой придурок, что никогда не думал о славе. А Пушкин думал? Прочитай его стихотворение "Желание славы". Там у него: «Ты знаешь, милая, желал ли славы я; Ты знаешь: удален от ветреного света, Скучая суетным прозванием поэта, Устав от долгих бурь, я вовсе не внимал Жужжанию дальному упреков и похвал. Могли ль меня молвы тревожить приговоры, Когда, склонив ко мне томительные взоры...» Ну и так далее. И потом, в конце: "Желаю славы я, чтоб именем моим Твой слух был поражен всечасно, чтоб ты мною Окружена была, чтоб громкою молвою Всё, всё вокруг тебя звучало обо мне..." Вот только для этого ему слава и понадобилась, а больше ни для чего, и даром не нужна.

У Пушкина были страшные приступы тоски, он, можно сказать, постоянно жил в тоске, пытаясь ее заглушить то писаниной, то блядством. Ничего себе – "веселое имя Пушкин"! Я никогда не искал так называемых радостей жизни. Всегда уходил от жизни – в алкоголь, в работу. Да, Пушкин. У меня звукопись, все-таки, грубовата. У него – тончайшая, моцартовская.

У Пастернака две книги – из одних шедевров: "Сестра моя – жизнь" и "Темы и вариации". А все, что он писал потом – это мастер стиха, но не гений. Я, в отличие от него, никогда не составлял своих книг из одних шедевров, а разбавлял средними стихами, в прозе кусками текста сниженными, создавал равновесие, баланс. Я придерживаюсь правила Витрувия и колеса Леонардо: в произведении должно быть поровну и такого и такого, и сильного, и слабого. Вот «Саламбо» Флобера – это шедевр в прозе, каждая фраза абсолютно сделана, а читать эту книгу скучно. Я, конечно, не сравниваю себя с Флобером. Флобер – устоявшийся авторитет. И с Гоголем не сравниваю. У Гоголя могучий охват. Что ты! "Мертвые души" – одно название чего стоит! И каждая буква в этой книге сверкает!

Вот ты пишешь у себя в статье, что меня поразили древнерусские летописи. Но ведь меня поразило в них не содержание, а вязь эта, рисунок букв – те же иероглифы. Еще у тебя там сказано, что я против тех, кто наверху, у кого власть. Но это не так, я их, власть, просто напросто не замечаю, она для меня не существует, когда я пишу книги, она вне моего мира. Вот Арьев обо мне пишет: что я «вечный ребенок». Какая чушь! Это даже оскорбительно. Что во мне ребяческого? Ведь я все тщательно планирую, все осознаю, а дети этого не делают. То, что такие, как я, не от мира сего? Ну, и напиши: он неприспособлен к жизни. Этим будет все сказано. А то – ребенок! А они, значит, – взрослые: потому что умеют юлить и изворачиваться, то есть – приспосабливаться? Видишь, какое это вызывает у меня раздражение, вспышки ярости. У моего деда, гвардейского полковника, тоже бывали вспышки ярости, как и у всего нашего рода. Гнев этот, знаешь... Вся моя агрессия бумажная, только на бумаге.

Обратный путь он едва шел, устал, отнимались ноги, голова кружилась, качался, как пьяный. Так у него обычно теряется координация во мраке, а теперь, при ярком дне – первый раз. Я крепко держал его под локоть, мы еле передвигались. Вместо часа добирались до дома часа три.

– Я верно тогда сказал, – заметил он: – "Ангелы меня покинули". Этой фразой я и начал свою новую книгу. Не знаю, допишу ли её. В январе еще обрабатывал, а потом не смог, не было сил. И теперь их, сил, нет. Нет и нет их. А без работы я жить и не могу и не хочу.

3 мая 2004 года. Теплый, солнечный день. Гуляли в лесу недолго из-за его плохого самочувствия. Он сказал:

– В Литературной газете напечатали мои стихи, девять отрывков, терцины, без рифм. Называется: "На мотивы Феогнида". Феогнид из Мегары, писал одни элегии. Удивительно, как это они напечатали. Там у меня строчка: "Это время – упадок".

10 мая 2004 года. Пошли гулять, попали под дождь. Он второй раз внимательно перечитал "Книгу прощания" Олеси.

– В этих его записках, – сказал он, – много тонких замечаний, и о писателях. Да, и Олеша не мог по плану писать. Только реалисты пишут по плану.

– Что ты все своего Батюшкова читаешь! – отмахнулся он. – Читай "Русскую старину". Там фактологическое, и слог отличный. У Пушкина в прозе слог слащавый, как у бабы.

Что Олеша! Он на том фоне писал не так, как все! И только.

У Дельвига темы греческие и слова, оторванные от русского языка.

Вчера мне позвонила Ирина Журавлева, очень талантливая писательница. Когда-то я сказал ей по поводу ее любви к людям: "Что ты в них нашла?". Вот теперь она хочет эти мои слова поставить на обложке своей новой книги и просила у меня позволения. Я позволил.

18 мая 2004 года. Гуляли недолго. Он опять неважно себя чувствует. В лесу мрачно, гроза собирается. Огромный шатер цветущей черемухи у дороги. Он вял, бледен, еле бредет, не глядя на молодой майский лес.

– От нечего читать взял Герцена "Былое и думы" – сказал он. – Лучше бы и не брал. Вяло, тускло, многословно, серый язык. Одним словом – говно. Единственное достоинство, что нет там никаких дум и в помине. Думами там и не пахнет.

21 мая 2004 года. В университете вечер поэзии, немецкая академия из Берлина, совместное выступление немецких и петербургских поэтов, по очереди. Первым выступал Битов. Он не мог сам передвигаться, его вели, поддерживая с двух сторон и усадили в кресло на сцене. Так вот, сидя, он в качестве предисловия стал говорить о безнадежности писательского дела в современном мире, что публикации книг бессмысленны не менее, чем интернет. Тексты никому не нужны, и все пропадет. Голос у него мощный, гремел, как труба. Потом он прочитал главу из своего "Улетающего Монахова". За ним выступал немец, поэт. Читал по-немецки. На экране давался перевод на русском. Затем объявили Бартова. Он взбежал к трибуне бодро. За ним выступал другой немец. После немца объявили: "Выступит прекрасный поэт Виктор Соснора, о славе которого незачем распространяться, он уже в пантеоне великих". Соснора сам, без посторонней помощи поднялся к трибуне. На нем был его артистический костюм в крупную клетку. Прочитал несколько стихотворений из книги "Флейты и прозаизмы". Не читал, а пел своим артистическим распевом, этот свой апокалипсис. "В ту ночь на ветре пел соловей с вершины Черной горы... И стало так, и такой покой, что и соловей не смог. – О спите, спите до Новой Зари!.. А люди были

мертвы". Его глухой голос рокотал, он сам был седой соловей, поющий свою прощальную песню. Он словно заклинал, магически воздействуя на зал глухим, как бы надтреснутым голосом, и это было злое заклинание. Иногда он отдалялся от микрофона, и слова делались невняты. Он еще не закончил читать, а студенты, устав сидеть, стали уходить целыми рядами. В перерыве я подошел его поздравить. Он был очень возбужден, глаза его сияли.

25 мая 2004 года. Отправились гулять. По пути зашли в парикмахерскую. Он постригся наголо. Теперь у него голова похожа на серебряный шар, без волос мерзнет, надел кожаную шапку-шлем, как зимой. Лес зеленый, блестит на солнце, мы около часу гуляли у ручья по тропинке. Разговор о вечере в университете.

– Я отвык от выступлений и было тяжело, – сказал он. – Студенты в зале скучали, их загнали на мероприятие. Когда я читал, они начали уходить пачками. Ты видел? Немцы – простые парни, все хотели со мной фотографироваться, у каждого свой фотоаппарат. Конечно, нынешние немецкие поэты – шваль. Но у них – немецкие романтики! Это была сильная плеяда, они только и мечтали свергнуть фигуру Гете – когда же он упадет. Гете их затмевал не чем-то там, а устойчивостью своей славы. У них в сравнении с Гете язык приобрел многосмысленность и музыкальность. У Гельдерлина много экспериментального. Да, но у Гете во второй части его «Фауста» бредней еще побольше, чем у них. У него планеты говорят, и табуретки говорят. Тут он их всех перекрыл.

– В природе все живое, у всех есть язык, чувство, мысль, все говорят, что-то свое лопочут. Деревья в лесу переговариваются друг с другом, цветы. Камни поют. Да, да, что ты думаешь! Поют! И пески поют. Вот мы сейчас с тобой идем по дорожке, а лес говорит свои речи, и они куда умней моих. Есть слышащие, их теперь очень мало. Древние слышали природу, ее голоса, поэтому у них столько прекрасных мифов. Природа и есть настоящий живой мир. Видно, только человек такой выродок на земле, убийца всего живого.

– У человека есть грубая оболочка, то, что анатомия. И есть тонкая субстанция, о которой ничего толком не знают, но она-то и есть всё, и на ней держится организм. Ее, эту тонкую субстанцию, называют самыми разными словами: дух, жизненная сила и прочее. Если называют разными словами, то можно всё отбросить. Пишут: нет определения искусства и быть не может. Да, они определить не могут, потому что бездарны. Но я-то могу определить: кто гений, а кто говно. Я-то вижу эту тонкую субстанцию, вижу – есть эта сила, или ни хрена там нет.

Все понятия ложны. Твердят: красота. Какая красота у позднего Гойи? А у Брейгеля? У них же на картинах одни уроды!

Сокуров, кинорежиссер, куда сильнее этого умершего в Италии, да, Тарковского. "Андрей Рублев" – посредственный фильм. У Балаяна – "Полеты во сне и наяву". Там такие длинные качели. В Японии он свой в доску, его там до небес возносят.

– Ты видел Битова? – спросил он меня, когда мы повернули обратно. – Вот теперь мне его жаль. Полная развалина. Он на год меня младше. Сидел в кресле, опустив голову на грудь. Морда скорючая, вся в мелких морщинах. Картина ужасная. Вот и он говорил о безнадежности, значит, и до него дошло. Футуризм – бесовский соблазн. Вера в будущее. Рай. Цветущий сад. Какой там рай, какое будущее!

Мы подходили к мостику через ручей. Потемнело, подул холодный ветер, громыхнул гром, забрызгал дождик. Мы раскрыли зонты.

– Конечно, все книги пропадут и русского языка не будет, – сказал он, скользнув глазами по мутной воде ручья. – Но это единственная твоя потребность – писать. Отдавайся ей, насколько можешь. Это – твоя жизнь. Всё остальное – это не жизнь.

29 июня 2004 года. Мшинская. Я вошел в дом, он спускается с лестницы. Увидев меня, вяло поприветствовал.

– Нет, я не спал, – сказал он. – Лицо у него похуделое, небрит, серебряная щетина.

Сходили за косой к соседу. Я косил траву на участке, более трёх часов, до десяти вечера. Он наблюдал за моей работой и указывал, где косить. Я написал ему на листке, что я прошел у него все академии.

– Не все, – усмехнулся он. – Ты еще не прошёл математическую, астрологическую, астрономическую, мистическую. Так что – коси, коси!

Пужинали. Он пригласил меня к себе наверх, долго говорил, возбуждённый.

– Вот у меня книжка, – показал на стол, – "Неизданные стихотворения" Мариенгофа. У него только метафоры, читать невозможно. Не напиши Мариенгоф эту книгу об Есенине, да, "Роман без вранья", чтобы он был? Денди из Пензы? Стишки да посредственные пьески. А книга об Есенине – вранья там предостаточно, не беспокойся! Но блестяще написанной книги и не бывает без вранья, то есть – без фантазии. Творчество – это сублимация, это – когда пишут не прямо, а – образами. Не метафорами (метафора тоже ведь – прямо), а именно – образами.

У большого поэта всё от книг, а не от жизни. В «Балладе Редингской тюрьмы» Уайльда я увидел своё, вот и написал вместо его баллады свою. Так у меня и с "Вороном" Эдгара По, так и со "Словом о полку Игореве" – начало моего пути, так и с пушкинским «Я вас любил», и многое, многое. У Пушкина чуть ли не всё так написано, то есть – переписано на своё, но

у таких больших поэтов всё равно как написано заново. А у маленьких это выходит плагиат, нет силы своего, вообще, нет силы. У Пушкина в «маленьких трагедиях»: "Нет правды на земле, но правды нет и выше!" Я не могу определить своё, то, что я написал. Но я любил и сейчас ещё люблю строчки, стихи, книги других – то, чем я жил.

Спорят: кто выше, как поэт: я или Бродский. Слушай, это же смешно! Как можно сравнивать несовместимое. Мы с ним во всём противоположны, ничего общего. Он с детства стремился на Запад, в Америку, а мне она даром не нужна.

Дуганов, очень талантливый поэт, в 30 лет перестал писать свои стихи, видит: свои стихи – так себе, а Хлебников по-настоящему ещё не издан. Лицо у него такое благородное, восточное, высокий лоб. Недавно умер, года два назад, мой ровесник. Вот его я очень уважаю.

Да, первая твоя книга мне действительно понравилась, такие выродки, вот я и написал тебе тогда предисловие, – сказал он, уловив мой взгляд. (Моя книжка "Одна ночь" лежала у него на столе). – Как ты знаешь, я пишу предисловия только в исключительных случаях, а сколько этих случаев всего было? Три-четыре. Осаждают орды. И письма, и телефон. Всем нужны мои оценки, отзывы, отклики, мнения, суждения, рецензии, а больше – рекомендации для поступления в Союз писателей или чтобы я содействовал публикации их гениальных творений. Всю зиму этот штурм, ты свидетель.

За мои дневники в Публичной библиотеке всё ещё не заплатили. Тянут. Если не заплатят за лето, осенью заберу обратно. В этих дневниках главная ценность – мои рисунки. Ничего, покупатель найдется, есть же библиофилы с деньгами. Из всех импрессионистов только один гений – Сезанн. Потому что он открыл горизонты. Ван Гог, скажем, гениальный, но он не гений.

Гениальность и безумие, конечно, взаимосвязаны, но для того, чтобы это открыть, не надо Ницше, об этом давно знали древние. Да, Платон – "священное безумие", и до него давным давно.

Обо мне говорили, что я настоящий человек. То есть – естественный, без предрассудков. И Асеев, и Лиля Брик, и Татлин, а с ним у меня ведь было недолгое знакомство. Я собственно не алкоголик, так мне врачи говорили, а пью оттого, что – нарушение нервной системы, ещё в детстве. От этого – потребность в алкоголизме. Это вегетативное.

Рассказал, как он в пору своих запоев однажды летом в Эстонии поехал из Отепя в Ригу навестить своего друга-летчика. В автобусе познакомился с молодым парнем, они двое только и ехали в автобусе, кроме них ни одного пассажира до самой Риги. Оказалось, торговец, перекупщик, продавал старинные золотые часы. Показал ему – полная коробка золотых часов старинной работы и все ходят. Этот торговец

долго уговаривал его купить хоть одну штуку. На остановке добыли бутылку коньяка, на следующей – ещё две. В конце концов он купил у этого торгаша целиком коробку, там было десять часов, отдав все взятые с собой деньги, изрядную по тем временам сумму, около тысячи рублей. В Ригу приехали поздно. Он хотел ещё выпить, но негде было достать. Торговец свёл его к каким-то ханыгам, а сам исчез. Эти ханыги достали ему вина, за каждые часы – по бутылке. А пили вместе. Когда часы кончились, он стал отдавать за вино свою одежду, он же тогда был денди, всё на нём было блеск! Постепенно снимал с себя: роскошную джинсовую куртку, алую рубашку, брюки, ботинки, носки. Наконец, остался в одних плавках. Из Парижа, с карманчиками, с ремешком, с серебряной пряжкой. Не колеблясь ни минуты отдал и их за стакан вина. Дальше ничего не помнит. Очнулся в сквере, в кустах, утро, светло, совершенно голый. Что делать? Стал осматриваться, узнал место, где находится, друг живёт недалеко, в этом квартале. Пошёл по улице, маша перед собой руками. Загар покрывал его тело, как рубашка. К тому же улицы были ещё малолюдны, и на него не обратил внимание ни один встречный. Так и добрался до дома своего друга. Тот открыл дверь и ахнул: "Виктор! Что случилось?" Он рассказал. Посмеялись. Но ханыг искать запретил. Сам виноват. Спасибо, что не убили.

Мы стояли у стола близко лицом друг к другу и за всё время, пока он говорил, ни разу не присели. Он разгорячился разговором, глаза у него ярко блестели, мрачные, карие. После непродолжительной паузы он сказал:

– Я уже не хочу писать. Сижу ночью, высиживаю до трёх часов свой урок, но ничего собственно не делается. Книга не движется, не хочу писать, не хочу. Вот взгляни, получился цикл стихов, называется «На мотивы Феогнида», терцинами, зимой в ванной написалось, – он подал листок. Я стал читать.

Опало и небо и время,
и рюмки цветов и вода вдоль дороги,
и сердце и руки устали.
И был мозг с изгибом и клетки пусты.
Не орфография –
кнут и ударенья
ритмики боя с собой. Голос ноты пустынь.

– Ну, тебе пора спать, а я всё-таки поработаю, – и он проводил меня до лестницы.

Я спустился в нижнюю комнату, лёг в постель. Никак не уснуть. Он ходил наверху, шаркая подошвами. Дождь плескал за стеной в саду. Так прошло часа три. Наконец, он спустился, тоже лёг, за занавесью. Он сразу же заснул и стал сильно храпеть. Теперь мне мешал спать его храп. Я взял

постель и поднялся наверх, где он работал, там его широкая кровать, на которой он раньше спал. Я успокоился и смог подремать до девяти утра. А дождь всё плескал и что-то стучало снаружи в стену, какая-то палка или сук. И утром дождь. Позавтракав в одиночестве, я надел непромокаемый плащ и докосил траву на участке. Он встал во втором часу дня. У него ночью сводило ноги судорогою. Отнесли косу. Я сходил в ларёк за продуктами. Сварил гречневую кашу. Пообедали. Я собрался уезжать. Он проводил меня до шоссе.

– Не хочется писать, – повторил он, прощаясь. – Не хочется.

12 сентября 2004 года. Мы возобновили наши прогулки. Он в городе с 10 августа, пришлось уехать из-за ушей. У него воспалились почки после мытья в ванной, как это и всегда у него бывает. Температура скачет, утром пониженная, к вечеру взлетает до 39-ти. Он на прогулку оделся, как зимой: кожаная шапка-шлем с мехом внутри, с опущенными наушниками, финская, толстая куртка типа ватника, шерстяной шарф.

– Как лесоруб, – пошутил он.

– А ты не слишком ли легко оделся? – спросил он меня на улице. – И на голове у тебя ничего нет. Разве тебе не холодно? Да, все люди легко одеты, но это ничего не значит, тут все или жульё, или придурки.

Мы потихоньку побрели в сторону леса. Он говорил о своих болезнях. О трагедии в Беслане.

– Зачем им было за осетин браться? – сказал он в недоумении, – ведь Чечня с Осетией никогда не враждовали. Теперь этот новый грузинский президент объявил, что, если в ближайшее время не будет проведена чёткая граница и определены права, где ваше, где наше, то грядёт война. У меня был такой случай: в Тбилиси меня познакомили с потомком княжеского рода. Мне понравилась старинная сабля у него на стене. Роскошнейшая, с богатейшей инкрустацией, дамаскская сталь. Он тут же снял саблю со стены и поднес мне в подарок. Я, конечно, отказался. На клинке царская надпись, дар за заслуги, это семейная реликвия, как я могу взять. "Вы великий поэт", говорит он. "Сабля вас достойна, берите. Отказаться – оскорбить хозяина". "Думайте, что хотите", ответил я ему, "какой бы я ни был поэт, но взять такое сокровище я не могу, это было бы кощунство". И сколько он не совал мне эту саблю, я так и не взял её. Вот тебе восточное гостеприимство и щедрость. Где ты такое найдёшь у русских? Кричат на весь мир: щедрая русская душа! Да, щедрая. Кружку воды не дадут. Жмот на жмоте.

Так с разговорами мы шли чуть ли не час.

– Ползём как черепахи, – сказал он. – Пока доползём до леса, и стемнеет, пора и назад поворачивать. Так у нас скоро до того дойдёт, что отойдём два шага от дома и – назад.

В лесу на нас едва не наехала всадница на вороном жеребце. Дёрнув за узду, она пустила коня вскачь по усыпанной гравием дороге.

– Тут теперь школа верховой езды, – объяснил он мне, глядя вслед удаляющейся амазонке. – Правое копыто плохо подковано, – заметил он.

Мы немного постояли на развилке, размышляя, куда пойти. Свернули к ручью, там грязь поменьше.

– Вот ты говоришь, Аполлоний Тианский, – продолжал он. – Да, магия. Это древнейшая практика. Теперь она утрачена. Эта магическая сила есть и у поэтов и писателей, хотя они и не знают ни о какой практической магии. У немногих. Но это, всё-таки, слова. Да, у меня много магического. А вот, Гинзберг, например, большой поэт, всемирная слава, но магического у него ни крупинки. В Америке, наконец, вышла моя книга избранного. Пишут: громадный успех. А ни гроша с этого магического успеха мне не прислали.

Магию знали и индейцы в Америке. Когда Кортес завоёвывал Мексику, испанцы шли в панцирях, вооруженные до зубов, на конях, с пушками, а на них со всех сторон на голой равнине неизвестно откуда летели стрелы. Горизонт чист.

Да, мы накануне гибели "Варяга". Что-то там в космосе готовится. Посмотрим, что нам покажет 2012 год, как предсказали ацтеки. Ты посмотришь, я не доживу до этой счастливой минуты. Я думаю, космос слеп. Ну и что? Эта магическая сила в космосе ведь останется, и без людей. Она всегда там была, есть и будет. Что ей люди? Говорю тебе – беспокоиться не о чем, так и так всё сгорит. Поэтому я бестрепетно жгу свои рукописи. Ты слышал, что тогда на вечере, весной, в университете говорил Битов? Да, что всё пропадёт, всё до последнего листочка, и нечего писать книги и их опубликовывать. Вот, и он понял, и до него дошло.

Что литература? Ведь одна магическая фраза может перечеркнуть и превратить в прах всю мировую литературу, набитую рассуждениями и описаниями. А музыка ведь и вовсе без слов.

Гёте говорил: зачем брать сюжеты из жизни, когда есть готовые сюжеты в литературе. Если силён, вложи в них своё и пересиль. Так он взял сюжет Фауста и вложил в него свою магическую силу. Перекрыл всех предыдущих. И неважно, кто первый дал идею, имя его в неизвестности. А в литературе теперь существует только гётевский Фауст. Там у него символы, а житейщину он ввёл оттого, что этого требовала идеология времени. Что выдумывать. Греки дали формулы всего.

И какие у нас издают книги? Вышла биография Пастернака, написал его сын, да, Евгений, от первой жены. То, что он пишет о смерти Пастернака – ложь. Издали книгу о Фадееве, он там объявлен спасителем писателей. Да, он спасал: он их сажал за решётку.

Только не читай Степанова, он маньяк, математик. Якобы доказал формулу Ферма. А я знаю, что она недоказуема. Я кое-что соображал в математике, недаром Колмогоров меня взял к себе, и несколько месяцев я был у него в Москве, занимался математической лингвистикой, пока не понял, что всё это чепуха. Я ему так прямо и сказал, что ваша математическая лингвистика – чушь собачья. Они ведь дошли до того, что у них машины сочиняли стихи. Машины могут быть поэтами! Да, машины сочиняют хорошие стихи, то есть – обыкновенные. Но машины никогда не могут стать поэтами. Вот именно: разные виды мышления, взаимоисключающие. Машина может и песни сочинять. Подумаешь, это же сочетание слов. Но разве это слова? В них ничего нет.

Этим летом я даже и не пытался работать над книгой прозы, но каким-то счастьем сумел закончить эту мою поэму "На мотивы Феогида". Теперь она абсолютно сделана. Обещали опубликовать два журнала, здесь и в Москве. Теперь у меня другой конец, не так, как было в первом варианте. Вот послушай: такие строчки, там терцинами:

И умер с оком конь. Всю ночь шёл дождь. Всю ночь шли нищие в шелках, под фонарем, без фонарей. И пели пифии в болоте. И от огня, и от коня, и от меня – Эллада, что тебе? Я смерть пою.

Мы недалеко ушли вдоль ручья, он устал, повернули обратно

– Ноги отнимаются, как у Конецкого, – сказал он. – Даже пальцы на ногах стали болеть, чего раньше никогда не было, это новость. Конецкий ведь последние годы не выходил из дома. Но ведь он дожил до 75-ти. Всё-таки, хорошо подышать, лес, воздух. Ко мне ведь никто не приходит, только ты раз в неделю появляешься. Зато рукописи присылают со всего мира, письма так и сыпятся, телефонные звонки лавиной. Все требуют, чтобы я их читал, отзывался и помогал, не в публикации так деньгами. Наглое сволочьё. Фолкнер, например, не распечатывая, бросал все письма в другую комнату, у него там до потолка набиралось за год. Но я не Фолкнер, у меня нет свободной комнаты. Да, дело к концу. Старость ужасна. Выхода нет. Самый лучший выход – свалиться бы тут на дороге. Шефнер мечтал: хоть бы кто пристрелил в затылок, чтоб не знать. А дожил до 93-х, совсем ослеп.

По дороге домой мы встретили на улице двух девушек. Одна из девушек попросила сигарету, у неё было разбито лицо, страшный синяк, нос распух. Она объяснила, что у неё только что на улице среди бела дня, при людях, вырвали сумочку и ударили.

– Ничего удивительного, – сказал он, когда я передал ему рассказ девушки, – сегодня же воскресенье, никто не работает, много народа гуляет, вот всякая сволочь и вышла на промысел. Какая-нибудь мелкота, крупные бандиты таким заниматься не будут. Недавно я постригся в парикмахерской, а наверху ресторан. Подъехало машин десять, вышли

вот такие громилы, все в черных костюмах, в галстуках. называли друг друга «браток», обнимались и целовались. Эти «братки» каждый месяц гуляют в ресторане, видно, тут место их сборища. У этих дела почище, не то, что сумочки вырывать. И всё же, я такое впервые слышу – чтобы вот так прямо на улице при народе, у всех на глазах.

21 сентября 2004 года. Я принес ему мою новую книжку прозы "Лопающиеся пузырьки".

– Название хорошее, – сказал он. – Тираж сто экземпляров. Ты как Крученных: он тоже все свои книжечки издавал по сто-двести экземпляров, сам их и печатал на стеклографе. Оденусь и пойдем. Тебе нагрузка – мешок с бельем в прачечную.

Несмотря на теплый день, он опять оделся как зимой. Его знобит.

В лесу мглисто, дорожка усыпана желтыми листьями. Мы гуляли недолго у ручья.

– На днях мне попалась книга с толкованием символа пещеры у Платона, – сказал он, – не помню имени автора, книга – страниц четыреста, вижу, что-то не то. Взял Платона, у него это на трех страницах и это гениальные страницы! Можно отбросить все остальное у Платона, и вообще всю философию, оставить только эти три страницы, тут у него все сказано. Это ведь символ всего мира, это все люди сидят, прикованные в пещере, и видят только тени действительно происходящего, и только немногие видят сам свет. Да, есть такие моменты, когда вдруг перед тобой раскрывается весь мир, и тебе сразу становится легко.

Сократ – только блеск речей, если он и знал то тайное, то он это хорошо скрывает. А, может, он ничего и не знал, а болтал роскошно, очаровывая учеников. Вокруг него всегда толпа крутилась. При всем пиетете Платона к Сократу, у него как бы вскользь говорится, что за блистательностью сократовского красноречия ничего нет. Высшее у Платона – его поздние, несократовские книги, тут он показал что знает всё, и египетское, и индусское, и черт знает что.

Да, я мог и не читать Платона, весь Платон уже был во мне, от рождения, там в нервах, в клетках. Это ведь основной тезис: раз что-то понимаешь, вот, скажем, прочитав Платона, значит, это в тебе было всегда, это понимание, с этим пониманием ты сразу и родился, это твое, это ты и есть, а не понимаешь, значит, этого в тебе и нет, и никаким образом и не будет. Вот еще пример: я стал писать эти мои стихи "На мотивы Феогида", не прочитав ни строчки самого Феогида. И вот, уже написав всю поэму, из любопытства заглянул в его книгу, и что же, сразу наткнулся на строку у него: «Моя возлюбленная мгла». Но у меня точно такая же строка! Откуда, спрашивается? Феогида я не читал. «Моя возлюбленная мгла» означает – смерть, смерть навсегда. Значит, все книги были уже во мне при моём рождении.

Мы повернули обратно.

– Ноги не идут, – сказал он грустно.

Я спросил его, прочитал ли он книгу Владимира Шмакова "Великие арканы Таро", которую я подарил ему, когда он работал над своим трактатом о числах.

– Прочитал четверть книги, – ответил он. – Дальше не пошло. Чтобы читать такую книгу, нужна большая специальная подготовленность, нужна ученость. А хватать наобум – неправильная система чтения.

Эти воспоминания о Пастернаке, написанные его сыном – ужасная книга, топорный язык, факты искажены, всё ложь. Такое впечатление, словно он враждебно настроен к своему отцу и сознательно показывает его в таком свете.

Ты, наверное, уже написал страниц тысячу. Да не ври, чего уж там. Любишь ты сочинять, томик у тебя, кому ты заливаешь? Одна только твоя рукопись о Лито страниц пятьсот. Но там у тебя одна патетика, нет оригинальной информации или интересных описаний, там у тебя один я и мои речи. А на Лито ведь было много разного, ты же помнишь, сколько там было экзотических личностей, какие чудачки. Можно было бы написать замечательную беллетристическую книгу. Сам я на это неспособен. Твоя статья обо мне тоже – патетика, ничего нового. Такое пишут на юбилей или на смерть, или уж не знаю, на что.

Этот японец Мураками, которого я читал прошлой зимой, тоже ведь мещанский писатель, – сказал он, раскрывая зонтик над своей головой, потому что заморосил дождь. – Но он мне тогда понравился, у него есть внутренняя музыка.

Этот современный поэтический перевод Библии я уже никогда не буду читать. Видишь ли, в оригинале, на арамейском языке – многозначность, а тут для перевода выбрали одно значение из многих, да ещё и самое слабое, мещанское, так что же это за книга – для кого? Для обывателей? И так вот они переводят и интерпретируют все книги.

Вышла книга о Газданове. пишут: «есть легенда, что он работал таксёром». Но он действительно работал таксёром.

4 октября 2004 года. Вышли на прогулку, бредем к лесу. На нем синее нейлоновое пальто до пят.

– Прележал две недели, – сказал он. – Кроме почек еще и воспаление троичного нерва. О почках я прочитал медицинскую книгу – ужас! Оказывается, страшная болезнь, от нее умерли многие известные писатели. Да, Монтень. Фолкнер умер от болезни почек. Или не Фолкнер, кто-то другой. Фолкнера конь сбросил и он разбился насмерть. Прочитал биографию Газданова. Не мой писатель. Но он писатель. Он остранин. Пишет как бы и реальность, но реальность эта какая-то странная,

неуловимо сдвинута, уже самой формой фразы. По сути дела ничего нельзя написать реально. Ну, напиши в реальную величину этот забор или этот дом (он показал на недостроенный бетонный дом в ячейках этажей), все равно ведь что-то исказишь, точь-в-точь не выйдет, тем более, если напишешь, скажем вдвое меньше или больше. Так какая же это реальность? Утрилло правильно делал, что рисовал с открыток. Да, у таких реальность всегда искривляется, хотя бы они этого или не хотят, помимо воли. Чем больше художник, тем больше искривляется. Так чего же все стремятся к этой реальности, для чего она им нужна? Я никогда не понимал эту реальность вокруг себя, я жил вне ее, сам в себе, в своем мире, там и есть моя реальность, а как только из своего мира падаешь в этот и видишь его во всех его прелестях – ужас! Шок! Отчего и идут в монастырь: лишь бы этот мир не видеть, не жить в этом материальном мире. Тем не менее все только об этом материальном мире и пишут, подавляющее большинство писателей, все реалисты и натуралисты. Один Золя чего стоит, всех превзошел, столп натурализма.

То же в живописи. Я, например, не понимаю, для чего до сих пор пишут портреты. Ведь теперь техника фотографии на таком уровне, что дает тончайшие нюансы, атомы изображения, на что неспособен ни один художник. Также не понимаю, зачем рисуют небо, да еще синее, да еще с облаками. Лучше уж рисовать эту серость, как сегодня. Вся эпоха Возрождения рисовала небо, у них без неба нет ни одной картины, если портрет, то уж обязательно на фоне неба. Кубисты первые перестали рисовать небо, оно им было уже во где! Насмотрелись, до тошноты.

Ты знал Владимира Тихомирова? Высокий такой, в очках. Фотограф, он делал книгу моих неизданных стихов. Действительно тихий и мирный парень. С компанией поехали к кому-то под Новгород, он пошел один гулять вечером и не вернулся. Объявили розыск, но так до сих пор и не нашли, ни живого, ни мёртвого. Полгода как пропал без вести. Не обязательно, что убили. Сейчас очень много самоубийств. Человек не предназначен жить в этом материальном мире, во всяком случае, много таких, подходит грань, когда в этом мерзком мире жить уже невозможно!

Идеально для писателя – жить уединенно, где-нибудь в сельской местности. Вот, Брэдли – жив и весел, а ему 90 лет.

Я уже не хочу писать. Мне известны все приёмы письма. А ты вот пишешь одним приемом. Ты формалист. Ты всё телеграммы пишешь. Телеграфный стиль. Ведь у тебя все твои книги написаны этим одним приемом. Про тебя будут говорить: гений терцин в прозе. Большинство твоих фраз из трёх слов. Да нет, я ничуть не против. Только мне скучно читать, когда всё написано одним и тем же манером. Что ж, и Пушкин без конца шпарил одним приемом, этот его четырехстопный ямб, как

наезженная лошадь. У Гнедича «Илиада» – один приём, то есть – гекзаметр. Тысячу страниц – гекзаметром! А у греков ведь был миллион приёмов письма стихом. И гекзаметр у них разнообразен, много видов, а не на одной пиле. Теперь и язык и приёмы письма страшно упростились. Скоро дойдут до электронного сленга, и конец писательству.

В старости нельзя писать. Почему? А потому что сам организм делает переоценку всей своей жизни и хочет умереть. Это безотчётно, в подкорке, и так само пишется, когда пишешь. Я слишком долго пишу, и перешел за черту, когда уже писать нельзя. Моя черта была 66 лет.

Он замолчал. Мы остановились у канавы, полной чёрной воды. Берег густо засыпан жёлтыми кленовыми листьями.

– Вот теперь действительно осень, – сказал он. – Прошлый раз, когда мы тут проходили, этих листьев на земле ещё не было.

15 ноября 2004 года. Он болен, оброс бородой, похудел.

– Такая борода и длинные седые волосы придают царственный вид, – пошутил он.

Пошли на почту за посылкой из Германии, 4 кг, ему не донести, вот и вызвал меня в помощь.

– Вчера полдня заполнял квитанцию для получения посылки, – сказал он. – Любой документ меня приводит в ужас.

Погода прескверная, ураганный ветер, шквал, дождь с сырым снегом. Почта, где выдают посылки, далеко от его дома, проспект Энергетиков, д.64. Доехали на маршрутном такси до шоссе Революции, там еще пешком четверть часа под дождем и снегом. Он две недели не выходил на улицу, очень ослаб, ноги отказываются идти. Наконец, нашли почту. Почтарша в окошке пыталась ему объяснить, что нужно написать на бланке: посылку получил, число и роспись.

– Я глухой, не слышу, – сказал он в ответ.

С моей помощью заполнили бланк.

– Вы уж нас извините, – сказал я почтарше, терпеливой и доброй женщине, – это великий писатель, и он глухой.

Домой вернулись через час. Он весь мокрый, от слабости, свитер, две рубашки, хоть выжимай. Все это надо было скорей снять. Я обер ему полотенцем спину и грудь, и он надел сухое. Распаковали посылку, оказалось – десять экземпляров журнала из Германии с переводом его поэмы "Флейты и прозаизмы".

– Они с ума сошли! – воскликнул он. – Зачем мне десять журналов, да на немецком языке! Продать их нельзя, дарить некому. – Он был очень сердит. – Хочешь, бери себе один, – протянул мне журнал.

– Ну вот, опять мокрый! – сказал он, глядя себе на грудь, – это оттого, что рубашка плотная.

Действительно, рубашка на нем опять была сырая, хотя жарко в комнате не было.

Я написал ему, что надо обязательно обследоваться.

– В больнице убьют, – возразил он упрямо, – поэтому я и не хочу делать обследования. Будь что будет. Сдохнуть, так лучше уж на своей кровати.

16 декабря 2004 года. Он оброс бородой еще больше, похож на дервиша или на нищего индуса. Пошли на почту, у него ноги едва передвигаются, слабость, он так ни разу и не выходил на улицу с тех пор, как я был у него в ноябре. Я передал ему печальную весть, что 2 ноября умер Рид Грачев. Он воскликнул взволнованно:

– Ну вот, а я вспоминал его все последние дни, а сегодня он мне снился. Что же, и к лучшему, отмучился, что у него была за жизнь: безумный, слепой, без ног. Да ведь и семьдесят лет, он на год меня старше. Ах, вот ведь, и Рид ушел! Это был единственный мой настоящий друг из писателей. Такой чистой души человека я в своей жизни не встречал. Еще Голявкин – но они противоположности по характеру, один жуткий меланхолик, другой – веселый, жизнерадостный, никогда не унывал. Теперь я совсем один остался, пора и мне уходить. Да что ты меня утешаешь! Пора, пора!..

Мы бредом по мрачной городской улице, гололед, лужи, я держу его под локоть, а он, опустив голову, все повторяет, грустный, себе в бороду:

– Ах, Рид, Рид. Надо бы о нем написать. Но зачем, он у меня написан в моих книгах, много раз, не прямо он, а как прототип моих героев. Перед своим полным безумием он порвал отношения со всеми своими друзьями и знакомыми, чтобы никто к нему не приходил, никто не звонил. Со всеми, даже со мной. А ведь он только за мой счет и кормился, он же совершенно беспомощный, жил в страшной нищете. Сжег все свои рукописи, нигде не известные, ненапечатанные, а это были гениальные вещи, рассказы, повести, один только я о них знаю, только мне одному он и читал. Вечером прочтет, а утром я прихожу к нему – у него на железном подносе куча пепла. Сжег, всё, до буквы. Потом, конечно его забили этими ужасными психоуколами. Как же! Ему же поставили диагноз: общественно опасен! Мозг был разрушен. Ему достаточно было маленькой кружки пива, чтобы опьянеть как от бутылки водки. Связался с ханыгами, они ему приносили, им-то что. Приходила к нему готовить обеды какая-то старуха-опекушка. Уж чем она его кормила... Он ведь тут недалеко от меня жил.

Мы шли молча. У почты он сказал:

– Рид Грачев прекрасный писатель, но это резонерская проза.

На почте он получил пенсию и заказное письмо из Америки от Пельцмана.

– Это тот самый, – объяснил он мне, – кто написал гнусную книжонку о Пушкине, "Парапушкинистика", так, кажется, чем и прославился. Книжонка разрекламирована. издана миллионным тиражом, переведена на 24 языка мира. Больше он ничего не написал. Еще стишки. Он был у меня старостой в Лито в клубе "Правда". Хочешь, возьми себе, в свой архив, я этому пройдохе отвечать не намерен. Он из тех людей, которые озабочены только одним: как бы где что у кого урвать. Просто так этот тип писать не будет, значит ему что-то от меня понадобилось. Он взял себе другую фамилию, теперь он Армалинский. Этот ублюдок не понимает, что шила в мешке не утаишь.

На обратном пути мы зашли в парикмахерскую и ему сбрили бороду. Он сразу помолодел на лет 10-ть. В комиссионном он купил три чайные мельхиоровые ложечки.

– Постоянно чайные ложечки пропадают, – пожаловался он. – Как это объяснить – не понимаю. Красть, вроде, некому. А началось с того, что лет пятнадцать назад исчез прекрасный набор чайных серебряных ложек. Старинные, я очень ими дорожил. Ну эти-то точно свистнули, тогда ко мне многие ходили, всякую шваль к себе в дом пускал. С тех пор и пошло. Сколько ни покупал, все куда-то исчезают. Что за чертовщина!

– Вот и погуляли, – сказал он, когда мы вернулись домой.

Нина после больницы, бледная, похудевшая. Тяжелая операция. Но у него по крайней мере спала тревога, которая его страшно мучила, пока он этот месяц жил без нее, один. Готовить ему приходила знакомый зубной врач из нашей писательской поликлиники. Бесплатно, от денег отказалась наотрез. Говорит, я вас почитаю, как великого поэта. Так он мне рассказал не без смущения.

Мы сидели на диване, он показал мне книжечку стихов, называется "Шрамы шарма", автор – Игорь Бэхарт.

– Талантливый парень, – заметил он, – удивил меня. Он, конечно, дилетант, версификация у него хромает, много наивного, но, читаешь, читаешь и вдруг – удар. Что ж, что дилетант. Почему бы не быть и такому явлению. На, можешь посмотреть, но только верни.

Я написал ему на листе бумаги, что ему передает привет Владимир Алексеев.

– А, Алексеев! – воскликнул он. – Вот еще одна чистая, рыцарская душа! Он понимает толк в литературе. Чудак – полностью отрицает Бродского и превозносит меня, как единственного великого поэта современности. Говорю честно: я не знаю, что я такое, и никогда не придавал себе значения. Я только писал, когда накатывала волна. Маньяком письма я тоже никогда не был, ударяет письмо – пишу. Нет – нет. Подумаешь. Я спокоен. Я вижу, что технически у меня сделано,

какие я ввел в литературу технические новшества. Но о прочем – не могу судить. Да, верно, помимо техники титаническая психика. Титанический нерв, как ты выражаешься. Но все-таки правильно сказать: психика. Да, может быть, так. Меня, например, трясло, когда я читал Достоевского. Среди потока пошлости и слезливой сентиментальности (у него же в книгах везде рыдания, ручьи слез текут, рассопливленных, реки, водопады), и вдруг – такие эпилепсические прозрения! Конечно, он великий писатель! Видишь, как бывает: сочетание самой пошлой бульварщины и гениальности. Ведь современники и считали его книги ничем иным, как бульварной литературой. Да так оно и есть. И – как он потом встал! Конечно, великий. Вот и ты, я думаю, распишешься рано или поздно, время у тебя еще есть и ты полон сил, и накатаешь своего "Омара на блюде" так, что от твоей писанины всех будет трясти как током. А пока у тебя только «Рак на блюде». Я уже говорил, что в этой твоей вещи что-то есть. Да, кстати: вытащи штопором пробку из бутылки, Нине врач предписал пить красное сухое вино для крови. Я так ослаб, что стал беспомощней младенца, штопором пробку не могу вытащить. Тянул, тянул – никак. Теперь меня любой школьник одним щелчком с ног свалит. А бывало, я один пятерых битогов ночью на улице Росси раскидывал нечего делать, как щепки. Дожил, дожил. Какая-то болезнь внутри развивается. Обследование на днях будет. Ладно, мне надо вздремнуть. Я сам тебе позвоню, когда в этом мраке просвет появится.

Мы расстались.

2005 год

17 января 2005 года. Он решился выйти на улицу.

– Бельё сдадим в прачечную, – сказал он. – Да и подышать. С тех пор, как ты был, я ни разу не выходил из дома.

На улице гололед, хмарь. Сдав бельё в прачечной, мы еще немного погуляли по его желанию, до леса и обратно. В лес не пошли. По пути он говорил; шум машин заглушал его голос.

– Я давно хочу написать трактат о местах дурного вкуса или длиннотах у великих. Но зачем? Конечно, об этом уж кто-нибудь написал. И это великих никоим образом не поколеблет и не унизит, а как раз наоборот.

Или, вот, я хотел написать о Надсоне. Прекрасный поэт, большого таланта, предтеча символистов. Только он себя подпортил тем, что поддался нытью Некрасова.

Меня очень тяготит и удручает то, что все молодые находятся под страшным моим влиянием и никак не могут из-под меня выкарабкаться. Подражатели – от недостатка психики. Отчего же еще? Не только духовное влияние. Самое-то худшее – берут мои формальные приемы и крутят их туда-сюда, как машины, но себя в этом ни у кого из них нет. Видишь, получается то, что называют – школа. Написал же я в "Доме дней": "Что я после себя оставлю? Школу? Это я-то, кровавый?"

Технику я не отношу к культуре, – сказал он, глядя на ревуший мимо нас автопоток. – Техника мне не нужна, хоть бы ее и вовсе не было. Техника мертва, машины мертвы, в них нет души. А вот у камня душа есть. Душа невидима, неосязаема, и такой всегда будет, никаким своим прибором они ее не уловят. Да, у техники нет артистизма, она неартистична. Как бы ни были изящны машинные формы, как бы ни были тонко сделаны, абсолютно выточены все детали и конфигурация – у автомобиля, у самолета, но у них нет этого внутреннего огня, этого жизненного художественного элемента, в них нет души. Они – мертвые. Это не мое и мне не нужно. По той же причине не мое и мне не нужно – и стихи, и книги, и искусство, если есть только техника, пусть самая высокая, недостижимая, но нет этого огня внутри. Например, Мандельштам, крупнейший поэт, я семь раз его перечитал, чтобы понять, почему же о нем так шумят, и не только у нас, а по всему миру, и называют его великим поэтом, но этот внутренний огонь, без которого для меня нет поэта, я, хоть убей, в Мандельштаме так и не обнаружил. У него очень красивые образы, но в них нет жизни. Мертвый мастер. Та же история с Анненским. Он мастер куда более тонкий, чем Мандельштам. У него не столько красота образов, сколько очень тонкие и красивые сочетания слов. Но поэт он такой же безжизненный, лишенный огня. Тоже Бродский, со всей его сверхкультурой и ювелирной техникой стиха. Высшая, сложнейшая поэтика, абсолютная форма, филигранная отделка – и что? Мертвечина? И его еще, словно в насмешку, называют метафизическим поэтом. Исключение – ранние его стихи, до эмиграции, написанные здесь. В этих стихах техника как раз хромает, но они живые, они жгут.

Да что! А Леонардо да Винчи! Мировой мастер, гений всех времен и народов, техника недостижимая, нечеловеческая. Но ведь и это мастерство мертвое, ведь он инженер. Нет, не все, конечно, но на 90%. Есть у него несколько картин и там такие куски, что – ужас! Скажем, эта его фреска «Тайная вечеря». Посмотри иллюстрацию. Ученики – мертвые фигуры, статика, а Христос, в центре – тощий, небритый, страшный, кастрат, глаза безумные, смотрит – мороз по коже! Ужас, ужас!..

Вот, видишь, – заключил он, – для меня существует только то в искусстве, когда сходится и высшая техника и этот внутренний огонь,

когда на высшем накале. А много ли такого у нас? Русская литература очень бедна и замкнута на себя. Русские писатели отличаются отсутствием фантазии.

– У меня палимпсесты, – продолжал он, отвечая на мое замечание. – Я беру у других самые сильные места, а прочее, что мне не нужно, отбрасываю. Хапаю отовсюду, что ни попадет. Уж будь уверен, ничего яркого не пропущу. Так я взял для своей поэмы все самое сильное из "Экклесиаста". "День гнева, порвалась цепочка", и прочее. Могучие образы. Эта книга самая сильная в Библии, ее написал какой-то гениальный поэт. А Иов твой – это спекулянт, торговец, торгуется с богом, зудит, зудит, пока не выклянчил у него все обратно, да еще втрое больше, чем было. Так я самое сильное взял у Оскара Уайльда, только первую часть его "Баллады" и сделал маленькую поэму, в сто раз сильнее, чем у него. Так я взял самое главное у Эдгара По в «Вороне»: первую сцену, как сидит с фолиантом, и ритм, преобразовав его из квадрата, как у Эдгара По, в треугольник острием вниз, то есть, вихрь; у меня ведь там рифма идет треугольником. А тема оплакивания любимой женщины – меня, знаешь, как-то не трогала.

– Теперь я ничего не пишу, – сказал он, когда мы подходили к дому, погуляв около двух часов. – Не вспыхивает. Старость, болезнь, бессилие. Сплю по 14 часов. Как медведь в спячке. Я спокоен. Теперь у меня не жизнь, а доживание. Видишь, космос к моему концу готовит грандиозный удар для Земли. Да, удар будет сокрушительный, судя по подготовке. Шарик уже трещит, а жмут ведь пока легонько. От одного щелчка – 200 тысяч погибших. В этом Таиланде. Сколько сейчас население на Земле? 6 миллиардов? Ну вот, все 6 миллиардов и погибнет в один час, сразу же после моего конца. И в первую очередь погибнут все рукописи и все книги. Не надейся, твои рукописи тоже погибнут. Ведь после мирового потопа не осталось ни одной книги, ни строчки. Это факт. А существовала же до Потопа литература. И это была великая культура и великая литература, не то, что наша вшивая и эти мерзкие машины. И где это всё? Смыло одной волной.

31 марта 2005 года. Вызвал меня на прогулку. Говорит: оба мы засиделись за зиму. Он наголо острижен, левая сторона лица опухла, под глазом синяк, во рту, спереди, в верхнем ряду нет двух зубов, дыра. Вырвали, оттого и синяк под глазом – сказал он.

Теплый солнечный день, а он в толстом, длинном до пят, пуховом пальто, в зимней шапке с опущенными ушами.

– Называют реалистом Салтыкова-Щедрина! – сказал он. – Смешно. Раз сатира – то это уже никакой не реализм. Или вот – Мельников-Печерский, "В лесах", "На горах" – у них реалист. И Лесков у них –

реалист. Ну какие они, к черту, реалисты! Фантазеры из фантазеров! Вон они сколько насочиняли небылиц. У Лескова к тому же и живопись, иногда не хуже, чем у Гоголя. "Левша", "Очарованный странник". Ведь там, где образ – это тоже уже не реализм. А Гоголь весь – живопись. Реализм, то есть – серые тряпки, портянки. Серятина. Абрамовы, Шукшины, Чеховы и им подобные.

Люди всегда ненавидели художников. Чем больше мастер, тем больше ненавидят. Это закон. Гениев ненавидят лютой ненавистью, что это как не ненависть – то, что они отрицают Шекспира, его гений, доказывают всеми правдами и неправдами, что это не он написал, что кто-то другой, Френсис Бэкон или черт в ступе, что он не мог написать, актер, необразован, в Венеции никогда не бывал, так как же он мог написать "Отелло"? Слушай, какая чушь! Пушкин тоже никогда не бывал в Венеции, а сколько у него стихов с образами Венеции! Что там, в этой Венеции, знать? Каналы, гондолы, дворцы, площадь Святого Марка! Всё ходовое. Посмотри у Шекспира в "Отелло" – ничего больше венецианского и нет, фон создан, декорации есть – вполне достаточно. Я был в Венеции, этот город мне совершенно не понравился: холод, вонь каналов, дворцы забиты досками.

Мы перебрались через рельсы и пошли по дороге в лесу. Гуляли недолго. Грязь. Повернули к дому.

– Я стал похож на римского императора. Как ты думаешь? – спросил он. – Поглядел утром в зеркало: римский император! Да, похож-то, похож, только на замученного императора, без империи и легионов. Видишь, какой сокрушительный распад за три года. Недаром я три года назад начал новую тетрадь словами: «Ангелы меня покинули». Как всегда, сработала интуиция. А потом я и в самом деле, своими глазами увидел, как ангелы ушли в окно. Два ангела. Их два стояло на страже.

Да. У меня организм очень оригинальный – начиная с двухголовости при рождении и кончая резней операций и клинической смертью. Кто б все это выдержал? А я, как видишь, еще живу. И сколько книг написал!

Кушнер про меня говорил: "Не понимаю, как это он глухой может писать стихи?" А теперь и сам глохнет. Иссох весь, пожелтел от зависти. Я у него как бельмо в глазу.

У Битова везде Пушкин, чуть ли не во всех его книгах. Это Гоголь первый стал Пушкина выставлять. Но встречи с Пушкиным у него ведь были очень короткими и недолго длились.

Литература, свободная от идеологии, всегда выше идеологической литературы. Сними идеологию – и текст сразу делается неизмеримо выше.

В советское время русский язык был уничтожен. Только мое поколение, литература авангарда, сделало попытку вернуть и возродить

русский язык, и многим, в том числе мне, это удалось. Кроме того, у меня много и украинской, и польской лексики, особенно в ранних стихах на древнерусскую тему. Например, у меня есть строчка: «Родына Рогнеды». «Родына» – по-украински – семья. В русском языке это слово стало означать – родина. И что же, если бы я вместо "Родына Рогнеды" написал бы: "Семья Рогнеды"? Такую дрянную строчку я физиологически не мог бы написать. Это был бы уже не я.

Да. Я ведь закончил эту мою поэму "На мотивы Феогнида". Теперь я ее назвал: "Я смерть пою". А книгу прозы мне, видно, не доработать. Так оставлю. Или сожгу. Завтра ложусь в клинику на обследование.

24 июня 2005 года. Сегодня он вызвал меня к себе. Он болен, неизлечимая болезнь почек, резкие скачки температуры: утром пониженная, озноб, вечером взлетает до 39. Бойтся ветра и сквозняка, малейшего дуновения. Уныл, небрит. Еще и зубы. Протез ставить. Посидели немного на диване. Я спросил, что же он делает днем.

– Читаю американские детективы, – ответил он – Видишь, докатился. Больше ничего не могу читать. Там есть и талантливые, сложная внутренняя интрига. И как бы этнография преступного мира, рэкет и прочее. То, что у нас закрытая тема. Вот, сдал еще часть своего архива в публичку. Меня там любят.

Я спросил, пишет ли он свою "последнюю" прозу. – А зачем? – ответил он. – Мне это теперь безразлично – писать, не писать. Что я могу сказать еще нового, себе или миру? И все равно никто не понимает. Ну, может быть, ты и понимаешь. Сдохну скоро. Только не в больнице бы, там еще замучают, прежде чем дадут сдохнуть.

30 августа 2005 года. Сегодня он, наконец, вызвал меня на прогулку. Он всё лето не выходил из дома. И вот, вышли на улицу, первый раз за пять месяцев. Погода не очень благоприятная для прогулки: ураганный ветер, тучи мчатся. Лес шумит, мрачно, давно мы тут не были. Разговор о болезнях. У него бессонница, ложится в 3-4 часа ночи, встает в час-два дня. На дачу и не надеется когда-нибудь теперь выбраться, так и будет в городе, в квартире. Но выходить изредка надо, а то ноги отнимутся.

– Я недавно попробовал присесть, – сказал он. – Четыре раза присел, а на пятый и не встать. – Вот видишь, какая интересная тема, – заметил он с усмешкой. Но лучше уж о болезнях говорить, чем о книгах.

Гуляли мы недолго, за железную дорогу, там прошли шагов двести и повернули обратно. Все-таки, по какому-то поводу разговор свернул на литературу.

– У каждого большого поэта есть десятка два-три как с цепи сорвавшихся стихов, а всё остальное чепуха, – сказал он. – Да, то, что ты

называешь, композиции, то есть – конструкции. В стихах не конструкции же главное. Главное в стихах – мистическое, звон. У Хлебникова много стихов, сделанных, как конструкции, но у него везде, и в таких стихах, есть это мистическое, этот звон. А вот, возьми, Сельвинский, великий конструктивист, ведь у него ничего, кроме конструкций, нет. Так теперь и у Айги, да, как ты говоришь, композиции из слов, то есть – конструкции. А вот в ранних его стихах всё звенит и пылает. Та же история с Вознесенским. Все они закончились к тридцати годам. И символизм – что же как не конструкции. Блок и порвал с символизмом и ударился в цыганский романс. Но у Блока это при его могучей культуре, и языковой, и всякой. А так, ну что цыганский романс. Вот у Аполлона Григорьева, эти его две гитары под окном и еще что-то, да, венгерка, ну, замечательные песни и не больше. Аполлон Григорьев плохой поэт. У всех полно этих конструкций, у меня тоже достаточно. "Хроника Ладоги" – ничего кроме конструкции. Так, кусочки есть, мистические, ну вот, там, где с волками. Обнаружил у себя несколько старых рукописей, с десятков повестей, нигде не опубликованы, сожгу к чертям. Почему? Да потому, что в них нет ничего моего внутреннего, так, капельку разве, всё внешнее, так зачем себя загромождать хламом. Мое право, я автор, я решаю: что оставить, что – в печь. А то говорят: автор сам не может знать о ценности своих рукописей и судить о достоинствах своих произведений. Еще как могу, и еще как сожгу!

На обратном пути зашли на рынок, купили картошки, моркови и белой фасоли. Он отвык от ходьбы, устал, начали болеть ноги, дошел до дому с трудом. Гуляли часа три.

6 сентября 2005 года. Опять гуляли, чудесная погода, в лесу хорошо, сухо, дорога ровная. Он радовался, глядя на лес.

– Удачный день для прогулки мы выбрали, – сказал он.

Я рассказал ему про телевизионную передачу об Андрее Платонове, которую вел Битов.

– Что Битов может понимать в Платонове? – возразил он. – Ни бельмеса он в Платонове не понимает. Битов реалист. Какой он писатель. Он только хорошо ставит слова, вот и всё. Битов мне дарил свои книги с такой надписью: "Генпоэту – от генпрозаика". Я зачеркнул "генпоэта". Он очень изумился: "Но почему? Ты же гениальный поэт! И я тебя таким считаю!" А сам за моей спиной говорил про меня, что у меня глухая слава, потому что я глухой. И что у меня теперь графомания. В литературном мире все ведь мгновенно передают. Писатели все завистники. Вот, при последней встрече, когда он ко мне приходил, я тебе, кажется, уже рассказывал, я ему и сказал напрямик: "У тебя же написано в десять раз больше, чем у меня. Так кто ж из нас графоман?"

Он ужасно покраснел, стал оправдываться, что он не так говорил, что мне не так передали. Да ясно. Ну как тебе это понравится? Еще тот подонок! С мировой славой. Славу эту ему Аксенов сделал, разрекламировав в Америке и издав его "Пушкинский дом", за что он потом Аксенова от всей души отблагодарил за глаза клеветническими речами. Лиля Брик его сразу раскусила. Она прекрасно разбиралась в людях. В отличие от меня. Я-то полный дурак и всю жизнь ошибался. Так вот, она мне и говорит (она всегда прямо говорила): «Виктор Александрович, этого Вы, пожалуйста, больше ко мне не приводите. Его в моем доме больше не будет». Лилия его насквозь видела. Да. Так вот. Генпрозаик. То есть – говнюк. Но у него есть хорошие коротенькие новеллки, на несколько страниц. Вот у него там и про Кулакова. Называет его – лысый художник. Пишет, что хотел его убить. ... Чушь. Никогда бы он никого не убил. Неспособен. Не тот человек.

Да ну! Раньше все-таки были другие люди. Вот Жуковский. Для Жуковского Пушкин был фетишем. Он и свой портрет подарил Пушкину с такой надписью: "Победителю ученику – от побежденного учителя". Также Дельвиг еще в лицее ставил Пушкина выше себя и выше всех и кричал: Пушкин – гений! Пушкин – будущая слава России! Когда Пушкин умер, Жуковский чуть ли не сразу уехал в Германию, женился там на дочери немецкого художника, своего друга, да, Рейтерн. Здесь, в России, ему без Пушкина делать уже было нечего. Жуковский и сам был хороший художник, отлично рисовал, особенно под конец жизни. Импрессионизм. Так ведь первый импрессионист был Гойя. Задолго до всякого импрессионизма. Да ну! И до Гойи были художники импрессионисты, и всегда они были, только они не знали, что они импрессионисты. То же самое – экспрессионизм. Без импрессии и экспрессии и не может быть никакого художника. Гойя оглох, как я, в 45 лет, от сифилиса. Отключился от лживых речей и ему открылся мир человеческого уродства. Через два года своей глухоты это был гениальный художник. На его картинах появились все эти его уродцы. Да при его сверхтонченной, этой жемчужной его живописи! И это совсем не то, что уроды Брейгеля. У того грубо, смотрятся как карикатуры. Нет, у Гойи именно мир как он есть на самом деле, зримый во всей своей гнусности, каким он открывается свободному глазу, когда завеса лжи спадает и мир этот ничем уже не приукрашен.

Да, обо мне тоже говорили знатоки, что я хороший, настоящий художник. Но я не придаю этому никакого значения. Я делал коллажи из полудрагоценных камней, из берилла, аметиста, сердолика. В Крыму их тогда было полно, как песка. Это меня Калабушкин научил. Калабушкин – громада такая! И глаза у него стали узкие, как у японца. Он же в Японии лучшую свою коллекцию камней собрал, 20 лет там прожил. Так вот – у

меня получались удивительные коллажи. В чем сила камня? В форме и цвете. Но ведь надо подобрать. Это древнее искусство. Было б что подбирать. Ведь бриллианты делают из алмазов. Но не из каждого алмаза можно сделать бриллиант. Сколько алмазов скучных, пресных, пустых, ни на что не годных, кроме как стекла резать. Так и люди: есть гении, и есть обыкновенность. Надо, чтобы в камне был нерв. Понимаешь?

Но я весь пошел в слово. Конечно, Как ты говоришь, я весь – звонкость. Но не специально. Это не приобретешь. Такой я родился. Это у меня от природы. Да, звон – это дух Божий. Об этом у всех древних, из глубокой древности. А теперь в слове утрачена магия, этот звон. Я и никогда не ощущал себя человеком современности. Да. Согласен. Я весь – протест. Но протест против всего человеческого мира, как он устроен. А не против природы, не против зверей, травы, моря, леса. И не против отдельных людей. У меня в жизни были прекрасные люди. Но теперь их почти никого не осталось. Я один в этой пустыне. Да, и в искусстве есть свои нинзя, свои высшие бойцы. И в литературе. Но очень мало. В Европе очень мало. Да и слово – не очень-то боевой материал. Даже и Шекспир. Что у него? Один только Гамлет. Сонеты? Непонятно – что это такое. Никогда не узнаем. Не знаем языка. Не языком же Маршака давать Шекспира. Маршак мистику перевел частушками.

Такие и всю жизнь одиноки. Чему ты удивляешься. Вот и я один. Люди боятся энергии. Но какая у меня теперь энергия – ты сам видишь! Еле тащусь.

Сегодня он устал больше, чем в прошлый раз. Домой мы вернулись уже в темноте. У него сильно болели ноги и поясница.

6 октября 2005 года. Он оброс бородой. Взглянул на себя в зеркало. – Распад, распад, – вздохнул он. – Распад ускорился.

Гуляли. День сумрачный, листья в лесу густо сыпятся, сырая дорога. Нам навстречу из леса белая с седой гривой лошадь тащит телегу дров. Рядом идет, разговаривая, ватага парней в камуфляжных и зеленых куртках, форма лесников, с топорами и пилами.

– Этот, впереди справа, с черными кудрями, похож на известного французского актера, – сказал он, остановясь на дороге. – Забыл фамилию этого актера, но очень известный, – прибавил он, глядя вслед удаляющейся артели с их лошадкой и телегой.

– Я тебе не рассказывал? – продолжал он. – Во Львове хотели снять фильм обо мне. Они считают меня своим национальным героем, гением. Я в главной роли. Начальные съемки в Крыму, в Алушке, где я родился, потом во Львове, потом здесь, потом в Париже. Размахнулись, денег на это ушла бы куча. Да я сразу не поверил в эту авантюру. Ну вот, что-то у них сорвалось, притихли, ни слуху, ни духу. Также и с Сербией. Звонили.

Хотят дать мне высшую литературную премию "Золотой ключ". Тысяча долларов. Но при условии, чтобы я у них сам был, и лично вручить. Хотят меня видеть и чествовать всенародно, устроить торжество. Но ты же видишь: куда я поеду такой! Сдохну по дороге.

Да, для них-то культурное мероприятие. Отдадут премию другому. Что культура? Культура у академиков. Вот они культурны и благополучно просиживают свои культурные задницы, громоздя тома мертвечины и лжи. В искусстве культура – это бездарность. Поэт – это врожденный талант и чтение книг. Вот всё. Врожденный талант очень рано и за короткий срок поглощает несметное количество книг. Я к тридцати годам всё перечитал, всю мировую литературу. Поэтому теперь я ничего не могу читать. Пресыщение. Я переел книг. Также я переел картин, переел разных наук, переел женщин, переел стран. Всё переел. Жить переел. Хотя у меня и никогда не было любви к жизни, жить я не любил. Я и себя переел. Свои нервы, свою психику. Да, и свой талант переел. Может быть, поэтому и не хочу теперь ничего писать. Коротенькое письмо на полстранички недавно послал во Францию. Месяц мучил, писал с отвращением, насиловал себя. Письмо, полное жалоб. Жалобного воя. Никогда в жизни я никому не жаловался.

О чем я говорил? Я все время отвлекаюсь. Да. Видишь ли. Если есть любовь к своему делу, или тщеславие, все равно, то сам организм учится, учится, и учится. Так в любой области. Вот Пирогов. Он единственный великий русский хирург. А на чем он научился? На несметном количестве раненых в Севастополе, на войне. Режь вволю, сколько угодно. Солдат ему тысячами везли, кровавыми возами, бесконечная очередь. Шуровал ножом день и ночь. Вот и наострился, набил руку. А в мирное время где бы он мог найти такую практику?

А ты говоришь – культура. Философия тоже – культура. То есть – болтовня. Все философы без конца повторяют одни и те же мысли, украденные у древних мудрецов, крутят их на разные лады и размазывают. И Платон твой. Что ты думаешь. Все эти его сократовские диалоги – это ж пустомельство. ничего своего. Сократ – только блестящее остроумие и красноречие. Гениальный опровергатель всего и вся. Своё у Платона появилось в 80 лет, под самый конец жизни, когда у него вырвались эти его дикие, неудержимые фантазии. Он же поэт, и начинал как поэт, вот к концу его все-таки и прорвало. Сократа похерил с его логикой и обратился к досократикам, жившим задолго до Сократа, то есть – к поэтам. Это же древние поэты.

Платон тоже был совершенно непрактический человек. Проще говоря, дурак. Что его понесло в Сицилию? Давать советы царю-тирану, устанавливать справедливость? Тот ему чуть башку не отрубил. И надо бы. Что это? От великого ума? Я тоже не очень-то умен. Никогда я не был

умным. Умом я, можно сказать, никогда не блистал, знаешь ли. Я не сравниваю себя с Платоном. Что ты! Но ведь я же дурак, и всю жизнь был дурак, судя по моим идиотическим поступкам. Какую блестящую карьеру я мог бы сделать! А предпочел работать грузчиком на заводе. О чем ничуть не жалею. Я всегда любил разные физические нагрузки. А теперь ты видишь – что я. Художники «Митьки» предлагали принять меня в академию дураков. Зря я отказался. Да, конечно, есть разные умы. Ум Платона – одно, ум торговца – другое. Ну, конечно, ум Платона – высший ум. Людям этот ум не нужен. Это знания эстетические, они для людей непригодны.

Так и всё, что я написал. Нелюдское это, нелюдское. Как у меня писалось? Идет состояние книги, и ты ему подчиняешься. Вот и эта моя последняя поэмка "На мотивы Феогнида" – это могла бы быть новая эпоха у меня, такого типа стихов я не писал. Если бы продолжало писаться дальше и написалась бы целая книга. Я ведь всегда писал книгами. А так, одна, сама по себе, она не звучит. Но я теперь в каком-то перманентном состоянии. Мне безразлично. Ничего хорошего, конечно, в этом нет.

– Где это ты так загорел? – спросил он, поглядев на мое лицо. – Под кварцевой лампой сидел? На Черном море? Считаю, рак кожи обеспечен. В Гаграх в ресторане меня из окна выбросили. Попал на грузинскую свадьбу, напился (приставали: пей да пей), ничего не помню. Очнулся на клумбах во дворе. Потом узнал: оказывается, я весь вечер танцевал с невестой. А по их обычаю с невестой танцевать нельзя никому, кроме жениха. Раз предупредили, другой, потом выбросили. Мне надо было добраться из Гагр в Геленджик. Я ехал на автобусе. В Геленджике меня приютила Ольга Берггольц, в Доме творчества, у нее там был огромный номер. Ольга Берггольц, можно сказать, подруга моей юности. 10 лет не виделись. Старуха стала, морщины, алкоголичка. Принес ей две бутылки коньяка. Тогда все коньяк пили. Она там была знаменитость, каждый вечер – вдребезги. А я песни пел. Тогда я редко напивался. Жаль, ты не слышал, как я пел! У меня был очень сильный, громкий голос. Кушнер пишет: как я своими стихами оглушал зал. Пишет, что у него потом всю ночь голова раскалывалась, и голос мой гремел у него в мозгу, как самый жуткий кошмар. Это от отца у меня такой голос. У него голосище был, ох, могучий. Страшный был голос. Ужас! И кожа у него была удивительно белая. Такой белой кожи я не видел ни у одного человека в мире. У меня до операции в Тарту кожа была такая же белая, как у отца. После той операции у меня кожа с рук полностью слезла, как перчатки. Также и с ног. Это уж другая кожа, тонкая. Видишь? Как у новорожденного.

Кстати, об отце. В Эрмитаже галерея героев 1812 года – кисти Доу. Там же и его автопортрет. Он хороший портретист. То есть – точный.

Фотограф. Так вот, меня удивило, что он чрезвычайно похож на моего отца. И на меня тоже. Сходи в Эрмитаж, посмотри, сам увидишь. Доу – ты думаешь, шотландская фамилия? Может быть. Не французская же? Прочитал ты Жюль Ромэна? Хороший писатель. Счастливый ты человек, для тебя открытие за открытием. Я все это еще в детстве прочитал. Ты заметил, как разнообразны французские писатели в сравнении с русскими, как они живописны? А у нас живопись только у одного Гоголя. Англичане чудаки, у них такое странное остроумие. Это удивительно, ведь климат у них занудный, мерзкий, туман. Немцы тупицы. Из них шпионы хорошие. Все русские разведчики, крупные, были немцы. И все до одного провалились. Зорге – немец. Берггольц тоже, кстати говоря, – немка.

– Я ведь тоже разведчик, – сказал он, посмотрев на меня своими мрачно-веселыми глазами. – Да. Послан сюда с Сириуса, с Альдебарана. Сириус, как ты знаешь, – моя звезда. Я родился под ее знаком. Да, много посланий я отослал о том, что тут делается. Но давно уж ничего не посылаю, как ты видишь, вот уж год – ни строчки. Да и что посылать. И так ясно, чем тут кончится. Только дело времени.

В лесу потемнело. Дождь моросит. Повернули обратно. Он брел очень медленно, держась за мой локоть, слегка прихрамывая.

– Поразительно! – заметил он, – нога пока, тьфу-тьфу, не болит. Правая, которая у меня короче на полтора сантиметра. Вчера мазью растирал, вот и не болит. Ничего, пройдем шагов сто, и обе заболят сразу, так что, как собака взвою!

13 октября 2005 года. Гуляли. Тепло. Лес золотой. Сухо.

– А знаешь, – заговорил он, – я хотел бы написать что-то вроде статьи о моем ужасающем и пагубном влиянии на молодое поколение в современной русской литературе. Это действительно болезненное явление и оно приняло катастрофические размеры. Тут и полный плагиат, и все оттенки подражаний и влияний. Пора мне сказать об этом в печати. Я понимаю, моим подражателям приятно ходить в гениях. Каждый ведь из них внутренне считает себя гением. Я, как ты знаешь, себя гением ничуть не считаю. Но все-таки надо назвать вещи своими именами. Только вот написать статью у меня уже нет сил, я думаю это сделать иначе, я решил пригласить на дом одного талантливого молодого журналиста и дать ему интервью на эту тему. В интервью прозвучит еще и сильней, и живее.

Мы перебрались через железнодорожное полотно и углубились в лес. Он продолжал.

– Я вот что тебе скажу: все ставят в центр технику. Каждое новое течение в искусстве приносит свою технику и свою тематику. Но это ведь

чепуха. И техника и тематика. В искусстве главное не это. А главное, вот как ты выразился, мистическое. То есть – прорыв в высшую сферу. Это и есть моя сфера, там, где я нахожусь, – он помахал грациозной и бледной кистью руки у себя над головой. – Поэтому-то мне всегда так и холодно. Техника сама по себе – ничто. В ней нет жизни. Техника – необходимость. Да, профессиональная культура, профессионализм. Культура и есть – техника. Вот как у Мандельштама: стихи страшно красивые, доведенные до абсолюта, до скульптурности. Стихи прекрасные и мертвые, как мрамор, как древнегреческая скульптура. Жизни в них нет. Техника не трамплин. Отталкиваешься от себя, изнутри. Надо, чтобы происходило одновременно: и техника и прорыв. Ну, и много ли такого в искусстве? Даже у больших художников? В русской поэзии, у гениальных поэтов – по пять-десять стихотворений, не больше. У Пушкина – пять, у Хлебникова – пять. Остальное у них – эта самая техника. У Пушкина вообще нет ни одного плохого стиха. Да, о чем Лермонтов написал: "Есть речи – значенье темно иль ничтожно, но им без волненья внимать невозможно..." Это он про себя, у него тоже стихотворений пять только вырвалось, да в поэмах кусочка два-три. У меня, пожалуй, самый большой объем мистических стихов. Но в таком состоянии долго находиться невозможно. Ну что ты! Всегда в таком состоянии разве только боги. Пифии и сивиллы.

И ведь вот что: это бывает и у малых поэтов, иногда, казалось бы, у самых слабых и обыкновенных. Вот тебе пример: Яснов. Детский поэт. Ничего особенного. А у него есть двенадцать стихотворений высшего разряда. Нечаянно обнаружил в журнале "Звезда" три года назад, было напечатано в одном номере с моими стихами. Или вот – Горбовский. У него есть несколько стихов, так изнутри закручено – что хочется завывать! И при самой простой технике. Проще пареной репы. Вот хоть бы это: "Дрожала рюмочка в руке..." Объяснить это нельзя. А все хотят объяснить. О мистике написано страшно много. Во всех религиях, философиях. Миллионы книг. И у всех толкуется по-разному. Черт разберет. Запутались в терминологии. Пустые слова. Слышали звон да не знают, где он. Есть вещи необъяснимые. Да, верно, это как абсолютный слух у музыканта. Он у немногих. Ну и как тот, у кого абсолютный слух отсутствует, поймет того, у кого он есть? Никак, никогда.

И вот еще что я тебе скажу: когда я потерял обычный слух, тогда-то у меня и открылся этот абсолютный музыкальный слух в стихах. Ведь все мои стихи эпохи глухоты звенят. Virtuозность-то у многих. Я природно виртуозен. Мне это легко дается. Мне многое легко давалось. Но что толку от виртуозности, если в ней нет жизни. Поэты, лишенные виртуозности – что ж, они мастера стиха, бывает, и большие мастера. И Дудин, и Шефнер были мастера стиха. Шефнер – прекраснейший человек.

Видишь ли, человеческое – это и есть божественное. То есть – человечность, сочувствие, сострадание...

Постой, вот эта поляна! – воскликнул он, остановясь на дороге и показывая рукой. – Сосны и просека. Мне всегда нравилось смотреть вдаль, в лес. Нет, это не то место, – произнес он разочарованно. – Наверное, где-то дальше, давно хочу найти его. Видно, мы теперь туда не доходим, прогулки у нас стали короткие. Как хорошо, что есть этот лес, у меня хватило ума не поменяться на центр. Там дышать нечем, воздуха нет, дворы гниют, мусорные цистерны. Достоевский ненавидел этот город. И Блок ненавидел. А Пушкин, что ли, любил? Все русские писатели и поэты его ненавидели лютой ненавистью. Построен на болоте, миазмы, самое большое в мире количество психически больных. Город сумасшедших. Тут ведь все до одного сумасшедшие. Ты посмотри повнимательней на лица на улицах. Я тоже вполне созрел для сумасшедшего дома.

Солнце зашло, в лесу стало холодно и сыро.

– Давай ускорим шаг, – предложил он. – Я хочу успеть посмотреть чемпионат по бильярду, в Англии. Год назад там появился 16-летний китаец, некрасивый, урод, руки как у обезьяны, обыграл всех их мастеров-асов, разгромил в пух и прах, после чего его быстренько дисквалифицировали. Там разные есть. Мастеров-то много, кто точно бьет. Но есть и артисты, то есть не только точно бьют, они играют, у них какой-нибудь трюк, особенный, вдруг черт знает что выкинет, у них грация, танец с кием, они побеждают так, как никто не ожидает, что-то ни на что не похожее. То, что называют – талант, у кого есть искра божья. А мастера скучны, у них заранее знаешь каждый следующий удар, каждое движение, все у них рассчитано. Это машины, а не игроки. И очень часто эти-то машины и выигрывают. Потому и выигрывают, что – машины. Но высокое мастерство – это, знаешь, всегда какие-нибудь вывихи. Чем больше мастер, тем больше у него разных импульсов, которые сбивают рутину, хочет он или не хочет. Но писателю, чтобы работать, необходимо одиночество. Такая уж это одинокая профессия. Профессия, требующая одиночества. Чтобы писать, надо, чтобы ни духу не было никого, чтобы был абсолютно один!

Домой мы возвратились уже в полной темноте. Он устал и его шатало.

– Многие художники работали по моим оценкам, – сказал он. – И Грицюк, и Кулаков, и целый ряд других. Вот они висят у меня на стенах. Вспоминаю всю свою жизнь и не нахожу в ней ничего интересного. Ни картины, ни женщины, ни страны, ни пьянство. Интересны мне были только книги.

20 октября 2005 года. Лес уже почти голый. Холодно. – Это что? Снег? – спросил он, показывая на крупинки, вьющиеся в воздухе.

– Прозу я уже писать не буду, – проговорил он, – а стихотворный толчок, может, еще и будет. Для того, чтобы писать, мне всегда была нужна смена места. Чтобы увидеть мир новыми глазами. Вот, скажем, так было, когда я переехал сюда. Совершенно другой мир. Я впервые в жизни увидел новостройку. Это был сильный толчок, и тогда я написал мою книгу «Башня». Эту книгу издал никто иной, как наш патриарх Алексий. Да, сатанинскую книгу. Все мои книги сатанинские. Любой, как ты выражаешься, большой поэт – сатанист. Потому что он вразрез всему, всем красотам, всему быту мира. Он весь – анти, во всем. Такой от природы. Вот как Цветаева. Она сатанист и демонист еще похлеще Лермонтова.

Красивости я не терплю в любом виде. Вот, я был во Флоренции, видел эту прославленную архитектуру, от которой все в восторге. Это слащавое барокко – такая гадость! Я тебе скажу: европейская красавица никогда к русским не привьется. Разные характеры. Русские – это же монголы. Так и язык у писателя. Язык делает характер человека. Такое же отношение у меня и ко всей европейской философии. Я очень рано понял, что философия – это самые мерзкие отбросы человечества. Все эти вонючие рассуждения, кроме натурфилософии. Да, там, где факты и образы.

Я и Пикассо не люблю из-за красавиц, – продолжал он. – Ну, когда он перешел на кубизм, украв его у Брака (ведь это Брак первый начал писать кубистские картины) – то это было нормально. А потом он опять вернулся к красавицам, еще гнусней. Я никогда не любил сладкое, никакие сласти. А уж в искусстве – фу! Ничего нет отвратительней. Пикассо гений, но мне-то что до этого. Пошел он на хрен. Не мой. А Рембрандт? Что это, как не те же помпейские фрески? Тот же реализм, те же красавицы.

Я ведь в магию верю, – проговорил он задумчиво, глядя в сизое, мглистое небо. – Но язык магии утрачен. То, что теперь пишут – ничего не соответствует, все знаки фальшивые. Вот, и в 20-м веке! Кейси. Колоссальное явление! Он ведь даже назвал все до сих пор неизвестные планеты в солнечной системе. Кажется, пятнадцать планет. Ученые до сих пор не открыли. Также назвал чрезвычайно много неизвестных исторических сведений. И – обыкновенный клерк. Кэмбридж не кончал. Больных излечил – море! От неизлечимых болезней. Умер рано. Ему и пятидесяти, по-моему, не было. Ты не помнишь? Замучили. На него же все напали, и ученые, и ЦРУ, и ФБР. Это святой. Сначала он вообще всех бесплатно лечил, ни гроша не брал. К нему валили толпами.

Он помолчал. Потом, словно потеряв ход мыслей, начал о другом:

– Кулаков мне теперь мстит, – сказал он. – Написал про меня в своей статье в американском журнале: «Я его очень, очень любил, и мы часто спали с ним в одной кровати». Гнусная ложь. Никаким образом я не мог бы спать в одной кровати с мужчиной. Не только потому, что у меня нет и тени гомосексуальности, а еще из-за моей непреодолимой физиологической брезгливости. Моя брезгливость часто ставила неодолимый барьер и разрушала отношения. И вообще я страшный чистоплюй. Этот блестящий Шкловский пишет о любви к чистоте и опрятности Маяковского. Мандельштам – техник и со своей точкой. Но он большой поэт. Все как полоумные без конца твердят это его дурацкое стихотворение: «Я вернулся в мой город, знакомый до слез». Или еще у него это «Шерри-бренди». Неплохое стихотворение, могло бы стать новым его периодом, но оно у него единственное. Постой! О чем я перед этим говорил? Видишь, какие я круги даю. Все время отвлекаясь.

Пишу теперь автобиографию, обыкновенным стилем, реалистическим. Моего стиля там нет. Никаких мистических видений. Пишу не из-за себя. Из-за себя не стал бы брать и перо в руки. А для памяти людей, которых любил и которые меня любили.

28 октября 2005 года. Гуляли. День солнечный, морозец, снег, лес блестит под голубым небом. Дошли до нашего столика, где пьем чай, взятый с собой в термосе.

– Я интересовался медициной, – сказал он. – Еще бы, я же болел с самого дня рождения. Да я интересовался всеми натуральными науками. Чем я только не интересовался!

Энергия у меня была громадная. Космическая! И где о на теперь?

В начале 20-х годов XX века в России было много прекрасных писателей. И Шагинян, и Сейфуллина. Особенно Сейфуллина. Блестящий писатель. Но у всех у них есть идеология, и это их сильно портит. У Сейфуллиной немного. Но все равно. Это как ложка дегтя в бочке меда. Идеологию нельзя вводить ни каплю. Любая идеология разрушает эстетику.

Умер Сергей Вольф. Ты знал его? Прекрасный поэт. И человек был прекрасный, тонкий. Аристократы почему-то рано умирают. Его отец был скрипач с мировым именем. Так что Вольф родился в богатстве. Но не в богатстве дело, а то что такие внутренне свободны, оттого, что выросли в семье с высоким положением. При этом Вольф, как и Михнов, одевался вовсе не аристократически. Никогда я не видел на нем костюма, ходил в каком-то свитерке. Тоже – громада, как Михнов. Две громадины таких! Выше этой березы! – он показал рукой на могучую, еще сохранившую на своих ветвях остатки пожухлых листьев, березу. – Да, может, такие рано

умирают оттого, что совершенно не приспособлены к жизни, – продолжал он. – Но поэт и не должен быть приспособлен к жизни. Вообще художник. Потому что он божественного происхождения. Он не может не писать. Также и Кольцов – разорился и погиб от пьянства и туберкулеза. Также и Бёрнс. Только писал и пил. И рано сдох. Когда пропил до последнего колышка все свои фермы.

3 ноября 2005 года. Гуляли. День тихий, мгlistый. В лесу сухо, идти хорошо.

– Удивительные бывают казусы, – сказал он. – Я от нечего делать прочитал у Гоголя эту его юношескую поэму "Танц Кюхельгартен", о которой мнение у меня, сам знаешь, было невысокое. Меня поразило. Это же гениальная поэма! Там уже вся его мистика, всё то, что потом в его книгах. Гоголь ведь мистик. Это дух от Бога. Да, сжег, потому что поверил, что ему сказали, что – плохо. Потому и сказали – плохо, что ни на что не похоже. Потом он тоже верил, что ему говорили.

Дар был человек чисто литературный. А я человек совсем не литературный. Потому что я за свою жизнь видел множество людей, наглядываясь с детства, и понял, что среди простых и совершенно безграмотных людей куда больше таланта, чем среди так называемых культурных и образованных.

Дягилев собрал коллекцию картин неизвестных крепостных художников и привез ее в Париж. Эта выставка в Париже произвела грандиозный фурор. Все картины мгновенно раскупили. По картине сразу видно: если был учитель – это дерьмо. А вот, если сам, своим умом дошел, при врожденном таланте – то бывает очень сильно. Это и есть настоящее.

Я понял, что среди простых больше умных людей, чем среди интеллигенции, потому что у интеллигенции ум цитатный, начитанный. А у тех ум человеческий, что и есть настоящий ум.

Да и какая теперь образованность! Вот символисты все были филологически глубоко образованы. И переводчики были. В 20-е годы была блестящая школа русских переводчиков. Кашкин и еще ряд.

Все без конца болтают о мировоззрении. Всё мировоззрение это – жизнь и смерть. Вот и всё мировоззрение. Ещё мировоззрение – в красках, линиях, мелодиях, поэмах. Но только у больших художников. А у малых нет ни хрена никакого мировоззрения. Так, проблески. Малыми я называю таких, как Ахмадулина. А это ведь прекрасный поэт, у нее есть превосходные стихи.

У Хичкока брали интервью, и вот, спросили: откуда вы взяли свой принцип. То есть, этот его фантастический монтаж. Он очень удивился: "Как откуда! От Шкловского!" У Хичкока в его фильмах ужасов – вот уж

где ни капли реализма. Жизнь полна ужасов. Весь мир переполнен ужасами. А Эдгар По – разве не ужасы?

Самое ценное, что я всю мою жизнь мог не служить. Я как представил себя профессором, то есть, попугаем, да еще каждый день на службу являться...

Меня, можно сказать, вело провидение. Всю жизнь. Мне очень повезло, что большая редкость для мужчины. Сначала Асеев, потом Лиля Брик. Они мне сделали известность и всю судьбу. При этом я палец о палец не ударил.

Стемнело. Мы повернули домой, как всегда шли очень медленно. После короткого молчания он сказал:

– Самое лучшее, о чем можно мечтать в этой стране, это умереть во сне, то есть, безболезненно. О чем же еще тут мечтать?

10 ноября 2005 года. Выглядит неважно, бледный, обросший. Ночью у него был сердечный приступ, уснул только в 6-м часу. Вчера температура поднялась до 39. Сегодня пониженная – 35. Все-таки пошли гулять в лес. День мглистый, темный. Шли очень медленно. Говорил он слабым голосом.

– Хлебников прозрачный поэт, – сказал он, – а его объявили непонятным, заумником, и такое представление о нем и остается. Внушают ложь. И так во всем. Все перевернуто. Обо мне пишут, что я специально затемняю смысл. Чего только не пишут.

Абсолюта нет. Даже у великих. Дай мне любую картину, которую называют шедевром, и я найду в ней слабые места, написанные только для связки. Нет абсолюта.

Умер Гаспаров, в Тарту. В этом же году умер Аверинцев, в Бельгии. Это великие эрудиты, высшего ранга. Гаспаров – стиховед, ученик Лотмана, много мной занимался. А Лотман меня терпеть не мог. Почему? Очевидно, потому что рыбак рыбака видит издалека. В данном случае наоборот: увидел во мне полную свою противоположность. Лотман структуралист, то есть – рационалист до мозга костей. А я – интуит, поэт магический.

У Лотмана только одна хорошая книга: подробный разбор "Евгения Онегина", по строфам. Этнографический разбор. Это замечательная книга. А сам он высокомерный и высочайшего о себе мнения. Отказался мне помочь, когда я умирал в Тарту после операции. Требовалось достать плазму. Чрезвычайно дорогая. Врачам нужен был звонок от человека, имеющего большой вес, с именем. Там таким был только Лотман. Мой друг к нему обратился. Он отказался наотрез. Да, по сути обрек меня на смерть.

Странные мне теперь снятся кошмары. Якобы я звоню матери. Она

мне отвечает: «Ну, раз ты мне сюда звонишь, значит, мы скоро встретимся. Или – мне звонки, а я не беру трубку, потому что знаю, что это от матери, то есть, оттуда. Странно, что под конец жизни вспоминаются родители. А ведь у меня ни с матерью не было никогда близких отношений, ни с отцом.

Да, меня чтили. Во Франции очень. Снобов ведь полно. Как же! Я – генеральский сынок и великий поэт.

Смены языка – это смерть. Смена стилей – нет. Это редкость, но бывает. Пушкин многостилен, он многогранен. У меня есть статьи с разбором стихов и Пушкина, и Державина, и Цветаевой. Разбор пушкинского стихотворения «Желание славы». Цветаевой – разбор "Поэмы конца". Поэты и художники – это очень импульсивные люди, понимаешь. Они слишком в себе.

Я много взял от больших поэтов и писателей, перефразируя и перефантазируя. У всех брал, всё брал. Только я никогда не брал синтаксические ходы, как это делают, крадя их у меня, мои подражатели. Раз берут, значит, не понимают, то есть, понимают только поверхностно, а вглубь – ни хрена. Перенимают внешний прием. У малых поэтов редко что можно взять. То, что можно у них взять, у них это всегда диссонанс.

Я убежден: меня тут не понимают ни один писатель, ни один литературовед, ни один критик. Может быть, там, на Западе, слависты чуть-чуть понимают. Там учат по принципу эстетики, а здесь учат по принципу идей. А что такое идеи? Любая идея – это тупость и ложь. Во всем мире идеи использует только жульё и сволочь. Такой у нас Толстой. Кроме идей, ничего у него нет. А писать вообще не умел. Что это за писатель! У Достоевского все же есть большие гениальные куски, там, где он отстранялся от своих блядских идей. Стилем-то он никогда не блистал. Достоевский состоит из трех Достоевских: первый – «Бедные люди», второй – «Преступление и наказание», третий – "Дневник писателя".

Хочу перевести Шевченко. Нет хороших переводов его на русский. Все равно голова у меня не работает. А как работала!

Моя звезда – Альдебаран. У этой звезды самые тонкие вибрации.

В лесу уже стемнело, и дорога была плохо видна. А мы шли чрезвычайно медленно, медленней обычного, по шажку, с остановками. Повернули назад.

– Видишь, как я еле ползу, – сказал он. – Это упадок психики и сил, то есть – энергии.

16 ноября 2005 года.

– Я стал похож на старого сатира, – сказал он, взглянув в зеркало. – Борода, всклокочен, нос красный. – Похож, похож. Еще как!

Вышли. День ясный, сухой. По дороге ему стало плохо с сердцем. Нашли скамейку. Он сидел, опустив голову.

– Вот, видишь, скоро тебе будет не с кем гулять, – грустно пошутил он. – Кажется, отлегло. Пойдем потихоньку. Лучше уж в лесу завалиться в канаву и сдохнуть, чем тут, среди домов.

Он встал, и мы медленно-медленно побрели к лесу. По дороге он стал говорить:

– О Риде Грачеве я повторно писать не буду. О нем я все написал в этой моей повести "День Будды". Там у меня Рид жесткий. А на самом деле он был человек очень мягкий, совершенно не агрессивный и очень ранимый. Роста маленького, шибздик, как ты, такой же тощий. Но ты крепкий, а он физически был совсем слабый, как ребенок. Кожа на лице плохая, испорченная. Зубы из-под верхней губы торчат. Отнюдь не красавец. Он ведь внук Витте. Отец и мать его были расстреляны, а его отдали в детдом. Впервые он меня увидел на моем выступлении перед университетской аудиторией. Я увидел его глаза. Огромные! Он смотрел на меня, как на бога. У него была душа двойника. То есть – двойника любой большой книги или стихотворения. Я тогда резко выделялся из всей советской литературы. Да я и сейчас также выделяюсь. Не понимают, но венки кладут, полугробовые. Рид писал статьи в "Литературную газету", и ему хорошо платили. Но это его благоденствие длилось только год. Потом он впал в полную нищету. Жена от него ушла, филологиня. Мы все ему по трешке собирали. Мы жили в одном доме. Днем он ютился у Ляленкова. С Ляленковым они тоже гуляли в этом лесу. Ляленков был человек добрый, тоже очень мягкий, и беспомощный в быту, как и Рид. Написал замечательную в своем роде книгу, биографическую, "Борис Карсавин". Фрида, цензор из Лениздата, приходила к Риду поговорить о высоком. А он высокое ненавидел, также как и я. Он голодный был, ему было не до высокого. Потом я напустил на него Арбут. Добрая баба. Рид не был блядун, ему просто нужно было, чтобы кто-то о нем в жизни заботился. Та на него нависла, а его голова была вся в мировых проблемах. У меня-то никаких мировых проблем нет, как ты знаешь. Так вот, у меня была привычка: не нравится то, что написал, а писал я непрерывно, потому что шло и шло, то я сжигал все мной написанное. Так вот, боюсь, Рид перенял у меня – сжигать свои рукописи. Так он сжег несколько своих прекрасных повестей. Он мне их читал. Одну я помню: человек вышел из больницы, ночью, бабы костры жгут, кладут рельсы, и попутно – разговоры. И ветерок подувает по коже. Сюжета там нет, это не перескажешь. Прихожу утром – он сжигает у рояля свою рукопись, и угол рояля сжег.

Я отучал его от рассуждений. У него много рассуждений. Этот его рассказ "Кошка и мы" – это же слизняк написал, это недостойно большого

писателя. И это ведь реализм. А в детдомовских его рассказах нет никакого реализма, они жестокие, в них всё. Его статьи об Экзюпери – тоже жесткие и прекрасные, но не без рассуждений. У него была шизофрения: его легко было завести, и он говорил, что попало. Но никакого сумасшествия у него не было, чтобы в сумасшедшем доме держать. Он и рисовал, у него есть три превосходных картона. Ему надо было успокоиться, но успокоиться он не мог.

Вот и Бродский был нежный, жутко ранимый. Люди очень одаренные живут в другом мире, у них голова повернута не в ту сторону, как у всех. Надо ж понимать. Разные есть люди. Вот Аджубей. С Аджубеем я был очень хорошо знаком. Это был такой господин! Красавец, высокий, молодой, белокурый.

Я эгоцентрист во всем. То есть – бык, прямой. И любые отступления от прямоты, хоть женщины хоть мужчины – и я сразу прекращал всякие отношения. Поэтому я и остался, можно сказать, почти совсем один. Давно!

Посмотрел свою первую книгу "Январский ливень". Это что-то страшное. Кроме исторических. Но это я еще не открытый, стихи как у всех. Нет, ритмически-то не как у всех. Но это еще не стихи, не темы. Там электричество, человечество. Там и подъемный кран был, да я его выкинул. Написано-то все профессионально. Но ведь я сразу стал писать абсолютно профессионально. Теперь все пишут интеллигентно и интеллектуально, это у них высшее достоинство. Интеллигент, интеллектуал для меня – это спекулянт, подонок. Все эти Сартры – продажные шкуры.

Мы шли обратно, уже стемнело, луна светила высоко над черными верхушками леса, яркая, полнолуние. Только мы вступили на мост через ручей, нас вихрем обогнала наездница на буланом жеребце. Та самая, что промчалась галопом мимо нас, когда мы входили в лес в начале прогулки.

– Знаешь, где была страна амазонок? – спросил он. – Да, где теперь Румыния. Это была могучая держава. Вся Европа и вся Азия трепетали. Ты говоришь, в Москве объявлен конкурс на лучшую русскую книгу? Первая премия три миллиона рублей? Лучше не напоминай мне о премиях. У нас премии дают не тому, кто действительно лучше всех написал, если бы даже они могли и вообще были способны определять, кто лучший, а тому, кому надо дать. В древней Греции поэты выступали на олимпийских играх и читали свои стихи на поэтических состязаниях. Победителю давали лавровый венок. Ничего другого не давали. Никаких премий, денег. Мир древних греков все-таки был устроен не так, как наш, подлый и лживый. Есть тонкая черта, если она рвется, то человек превращается в животное. Понимаешь? Этот мир обречен. Обречен, – повторил он глухо.

23 ноября 2005 года.

– Плохо сплю, – он поморщился. – И снятся яркие и сумасшедшие сны.

Вышли на прогулку. Оттепель, гололед, темный, сырой день. В лесу снег тает, дорога скользкая. Он держался за мой локоть, говорил отрывисто:

– Чайковский прекрасный композитор, но его музыка звонкая и пустая. На Нижинского эта музыка действовала ужасающе, нервы у него не выдерживали, уже надвигалось безумие. То, чего и я боюсь больше всего. Впаду в слабоумие, как мать. Я уже почти слабоумный. Нижинский плохо кончил. Но все великие плохо кончают. Что тело? Это не тело же само по себе танцует. Тело, как стихи. Это та самая плазма, которую никак не могут обнаружить, где она в человеке, в мозгу, в сердце, в позвоночнике, в крови, в моче, где? То, что называют – душа. Это она работает. А вот моя душа умирает. Я не хочу жить. Видимо, люди, вот такие, напряженно работающие всю жизнь, к семидесяти годам жутко устают жить. И что жизнь, что не жизнь.

Помпеев обо мне что-то там думает с высоким значением. Но Помпеева я люблю. Он и нежный, и алкаш, и ему в четырех науках доктора дали. Он был хороший товарищ, и в нем жил дух героизма. Однажды он при мне подрался с четырьмя секретарями райкома. Здоровенные мужики. Пришлось вмешаться. Ну, при моем владении приемов – один миг. Да я тебе уже рассказывал.

Я поражал всем, и манерами, и одеждой. Всем. Кудри до плеч.

Отец! Он не был великий чин. Он был знаменитым боевиком, как теперь говорится.

Прочитал историю Японии. Бесконечный, тысячелетний бой. Пока все друг друга не перебили. Вот эскадрилья "Нормандия-Неман". Много есть людей героических. Я восхищаюсь Шароном. Как он громит Палестину! Прочитав много книг исторических, и за и против, я стал кое-что понимать в войне. Я от этой войны не могу избавиться. А начну писать – не пишется. У меня нет фактических данных.

Вот современность, в которой, в сущности, нельзя жить, если ты не жулик. Вчера позвонили из дома Державина: "Мы хотим устроить ваш творческий вечер". Спрашиваю: "Сколько вы мне заплатите?" Отвечают: "А денег у нас нет". Я говорю: "Тогда до свидания. Я нищий, больной, и мне семьдесят лет". Ты понимаешь? Это просто хамство – не платить. Выступление – труд. И тяжелый труд. Надрывать голос. Я выступал только для денег. Будь у меня, скажем, миллион, я бы никогда не выступал. Это подлость – показывать себя и о себе кричать. Видишь, мелю, мелю всю прогулку. Бесконечный разговор о войне и деньгах.

А куда деться? Мне из этого города уже не выехать. Ты что думаешь, наш Петр Первый действительно окно в Европу прорубал? Флот гигантский строил. В общем, делал вид величия. Только для того, чтобы папа Римский ему императора дал. Вот для чего такой шум на весь мир.

Римма Казакова, поэтесса, мне признавалась, что она не читала моих стихов, потому что боится, что они на нее повлияют. Вот уж чего никогда не боялся, так то, что на меня что-то может повлиять. И в голову такое не приходило.

Вот, видишь, мне стало все равно. А три года назад мне не было все равно. Потому что я еще вовсю писал. И больше тебе скажу: если бы даже сожгли все мои книги – мне было бы все равно. А их обязательно сожгут. Сжигали же книги Аксенова, когда он уехал за границу. Сжигали же книги Маяковского, когда он застрелился. Потому что – как он посмел застрелиться, когда такое счастье жить в советской стране! Эта страна богом проклятая, с самого начала.

Я теперь читаю только научно-популярное. Художественное не могу читать, уже давно.

Атом не гипотеза, атом – это поэтизм. Ничего в науке не доказано, так они ничего и не знают. Они даже не знают, что такое человеческая кожа. Не знают – зачем человек рождается, почему умирает. Что такое эти процессы.

Рид Грачев тоже на заводе работал. Кажется, токарем. Да, у него была ужасная жизнь. Очень тонкая психика и эта вот жизнь. Он французский знал в совершенстве. Моя бабка француженка, гувернантка. Ей пришлось перейти в иудаизм, чтобы выйти замуж за раввина. Она стала зваться Гейбой.

Обо мне чуть-чуть угадал Люсичевский, брат известного палача. Он сказал: "Ты такой Иисусик".

День был пасмурный, очень темный, дорога скользкая, шли мы медленно. В лесу уж совсем сделалось темно, мы тут одни были на дороге. Надо было поворачивать назад.

30 ноября 2005 года. Гуляли. День серый, ветер, гололед.

– Второй год принимаю лекарство, от которого может быть слабоумие, – сказал он. – Ты еще не заметил во мне признаков слабоумия? А по-моему уже появились. При долгом употреблении этого лекарства смывается правое полушарие. Понимаешь, что мне грозит? Правое полушарие отвечает за импульсы у поэтов, у музыкантов, у живописцев, вообще у художников. А левое полушарие отвечает за разум, рассудок и всякую тупость. Разум – это и есть то, что Бог запретил. Это и есть то самое яблоко с дерева познания, которое Он запретил срывать. Нет, сорвали. И вот мы видим результаты разума, то есть – нашу великую техническую цивилизацию. Интеллект – бранное слово. Интеллектуал, то

есть – дурак. Это вся философия, с древности до наших дней. Я прочитал всего Авиценну. У него там нет разума ни на каплю. У него только практические рецепты: как делать лекарства, из чего, и как ими лечить. И все у него до мельчайших подробностей написано стихами. Он знал это без всякого разума, как знают знахари, то есть – практически. Один взгляд на больного – и точно определяет, что у него и как лечить. Он мог бы это и не записывать.

Мне вот писать нет сейчас никакой охоты. Ни малейшего желания. А зимой я не писал никогда. Никогда. Потому что – тьма. Начиналось с начала марта и кончалось началом ноября. Пять лет я рисовал и ничего не писал. Потому что это несовместимо. В Челябинске, может быть, выйдет книжечка с моими рисунками. Двадцать рисунков. Но теперь и рисовать у меня нет никакой охоты. Вот вышел бы только этот том моих стихов, и тогда бы я освободился от всего. А планов у меня никогда не было, их и теперь нет. И желания ни малейшего...

Летом у меня было абсолютное спокойствие. Один с кошкой. И ни строчки. Ни разу не сел за стол. Сидел у окна и смотрел на солнце.

Видно, мне уже никуда не выехать. Санатории, как и вообще коллективизм, я ненавижу. Спортивные передачи смотрю с большим удовольствием. Вот, гончики. Там нужны данные и тренироваться бесконечно. Так в мире много отважных ребят! И всегда будут. Попов, пловец. Я впервые тогда увидел, как он плыл. Гениально! Я сразу сказал, что этот парень будет звезда мировая.

Об Есенине фильм – мерзость. И что они там о Блюмкине налепили! Блюмкин – вундеркинд, гений. Это же сумасшедший гений из нищей еврейской семьи. Он страшно любил и Есенина, и Маяковского. Он сам поэт, безумец.

В "Доме дней" я пишу, что Маяковский снимался в фильме с Лялей Черной. В действительности не так. Он снимался с другой актрисой. Ляля Черная – это была красавица! Безумной красоты! Что ты! Похожа на Лилию Брик. Но у Лилии кожа была белоснежная, а эта смуглая. Цыганка, я думаю. За ней гонялись толпы, в нее были влюблены все мужчины того времени, из-за нее застрелились десятки, чуть не сотня. У моей матери была целая куча старых пластинок с записями Ляли Черной. Мать очень любила ее песни.

Я вот подумал, что все эти мои бесконечные похождения – это только, чтобы член успокоить. А любовью никаких мне не было нужно, знаешь. Никакой потребности в этой самой любви никогда не было. И работало ведь только одно яйцо. Я бы и теперь мог. Но теперь организм очень ослабел, и я вполне могу успокоить себя лекарствами.

В церковь я ни разу в жизни не заходил. Я, как и дьявол, боюсь любого храма. Раньше я ничего не боялся. А теперь боюсь лечь в постель, потому что не уснуть, бессонница. В буддийском монастыре я был один

раз. Ты знаешь, что у Будды было сорок два зуба и сросшиеся пальцы на руках и ногах? А таким толстым его потому изображают, что он от голода опух. Он же уморил себя голодом, потому что это священный способ, а никаким другим способом он себя умертвить не мог.

Лиля Брик писала обо мне в письме к своей подруге, жене Леже: "Он как будто ангел слетел. И всегда готовый убить. Глаза огромные, как у ангела или как у убийцы".

Революция. Это энергия поднялась, надежда появилась, и многие тогда действительно верили. Гайдар в пятнадцать лет командовал кавалерийским полком. Даже Шагал, и тот примчался из Парижа в свой Витебск, и там его сделали комиссаром.

Да, а теперь реставрация, как они говорят. Скоро они высосут из земли все ресурсы. Не беспокойся, эта планета еще долго будет носиться в космосе, пустая. выеденная как яйцо, а на ней, в тесных объятиях, вцепясь зубами друг в друга мертвой хваткой. американцы и коммунисты.

Так мы шли по голому льду, и он крепко держался за мой локоть, чтоб не поскользнуться и не упасть, и делалось все темней. Лес мрачно чернел. Мы не встретили ни одного человека за всю прогулку.

7 декабря 2005 года. Гуляли. Тусклый день. Гололед.

– Сегодня опять не спал всю ночь, – сказал он. – И за неделю три сердечных приступа. Вызывали "скорую".

Когда пишешь, нельзя ничего читать, потому что обязательно чем-нибудь отзовется в том, что пишешь. Это древнее правило.

Хорошо сказал Хлебников: "Когда умирают люди – поют песни". Интересно, а сам он пел песни, когда умирал? Сомнительно. Скорее, злобствовал. И было на что и на кого. Например, на Маяковского. Это ведь Маяковский про него сказал: что он поэт для поэтов. Но ведь каждый настоящий поэт – это поэт для поэтов, а не для людей.

Что люди? Я людей сразу вижу: кто есть кто. Я же экстрасенс.

Да. Но мотивы нетерпения ухода у всех поэтов, у крупных. Неприятие современности, любой.

У Пушкина двойственность в его "Памятнике": "И буду славен я, доколь в подлунном мире жив будет хоть один калмык". Причем тут калмык? Или это он прозрел через века, что его будет читать Ленин? Ленин ведь калмык. Но Ленин стихов не любил, он за всю жизнь не прочитал ни одного стиха. Вот Сталин любил стихи. Он и прочитал стихотворение Мандельштама про него. Стихотворение оказалось плохое, дрянь, за что он его и отправил в лагерь.

Может, тут и волки есть? – спросил он, поглядев на мрачный лес кругом. – Дебри, мрак, и мы одни. От тебя-то никакого толку. А я с волками на Ладого встречался. А однажды Гейченко, директор пушкинского заповедника, пригласил меня зимой. Меня и Ахмадулину.

Мы с Гейченко поссорились крепко, ему не понравилось, что я позволяю себе напиваться в таких святых местах. Он же благородный, у него благородное негодование. Я потребовал у него кинжал от волков, там ведь их тьма и вышел из дома. А ночь, метель, до гостиницы километров пять по холмам и оврагам. Слышу: там воют, там и там, со всех сторон. Плевать. Я там каждый куст знал. На лыжах сколько раз там носился с холма на холм. Да бутылку с собой взял. В одной руке бутылка, в другой кинжал, так, отхлебывая по глотку, спокойно дошел до гостиницы. Приятная прогулка вышла. Во всяком случае, веселее чем у нас с тобой.

Вчера прочитал в научно-популярном журнале, что весь мир скоро перейдет на цифровой язык. Все информационные системы: интернет, телевидение, телефон. И книги начнут цифрами писать. Ничего удивительного. В Орфеевы времена язык тоже был цифровой. Вместо букв и слов – цифры. Китайцы писали книги на шелке, сворачивали на бамбуковую палку и хранили свитки в футляре. Но и от их книг ничего до нас не дошло. Так что же надеяться, что наши говенные книги сохранятся. Говорю тебе, ничего не останется. Ничего. Ни строчки, ни от кого, ни от малых, ни от великих.

Издания, премии. Ты же видишь – кому. Не издают и тем более не дают премии, потому что ни на кого не похож. Но ведь так было всегда.

Он очень устал идти по гололеду, ноги разболелись и не слушались, едва брел, и мы с большим трудом дотащились до дома. Показал мне семейные фотографии, достав их из железной шкапулки, где у него хранятся также и письма. Маленькая фотография его дяди Петра, который погиб в войну на Кубани, расстреляли гестаповцы.

– Видишь, какой скуластый! – показал он. – Откуда эти восточные скулы? У меня таких нет, у отца тоже. Но дядя Петя был совсем не то, что отец. Он был поэт, очень динамичен, артистичен, психика куда тоньше. А отец не был артистическая натура. Он был такая зверюга военная. Да, дядя Петр на пять лет его младше. Отец 1908-го года рождения. Ни стиха дяди Петра не сохранилось. Ни одного.

13 декабря 2005 года. Гуляли. Ясный день, порывы ветра. Чуть подморозило. Говорили об упадке писательского дела.

– Писателю мало гена таланта, – сказал он. – Надо, чтобы еще был ген чтения. Я прочитал, начиная с детства, гигантское количество книг. Сначала просто читал. Потом, когда накопилось в голове, сам собой произошел отбор и стал разбираться. Появилось понимание. И скажу тебе, у меня довольно поздно, а откуда же узнаешь приемы, как ни из чтения книг! Нет, сразу это ни у кого не бывает. Тут вундеркиндов нет. Я же помню, как я глупо читал в детстве. Но Майн Рида я, во всяком случае, ничего не хотел читать, что все дети читают. Этим, да, я отличаюсь.

Из Львова я уехал, потому что передо мной встал вопрос сленга. Весь Львов перешел на сленг. А я вообще сленги ненавижу. Сленг – это блатной язык.

Разговорный язык – это не язык. И ораторы сначала пишут свои речи, а потом с ними выступают.

У поляков есть черта – гонор, как это называют. То есть – я могу сделать всё. Они всё и делали. Конрад изучил английский язык и писал на нем лучше всех англичан вместе взятых. Ни одного полонизма в его книгах.

Во Львове у меня было три друга: Сумин, Бур, Марченко. Сумин был похож на Жана Маре в юности. Красавец, атлет, высокий, широкоплечий, элегантный. Бур был человек, не знающий никакого страха. Его во Львове все боялись. Тоненький, вот как мальчик на шаре у Пикассо. Изысканный. Гигиена безумная. Зубы чистил, рот полоскал, костюм гладил каждый день. Марченко был артистическая натура. Да, во Львове была свобода. А здесь ее никогда не было. И отчего это в русском человеке сидит раб?

Ходасевича я не люблю. Мертвый поэт. Но поэт, высокая культура стиха. Это я ценю. Ему пришлось говорить на двух языках, а это накладывается на то, что пишешь. Язык – материя тонкая. У него есть прекрасные переводы. И вообще переводы на 80% лучше оригиналов. Язык – это всё. Тут вся национальность.

"Чук и Гек" Гайдара – прекрасная книга. Чистая, прозрачная. Дети едут в Сибирь к отцу, который будет вскоре расстрелян.

Я тебе открою тайну, – сказал он с загадочным видом, понизив голос: – в юности мне очень нравился Сурков. И больше того: я даже любил стихи этого парня, подражателя Маяковского, которого японцы в топке, как Лазо, сожгли. Вот провалы памяти, забыл его фамилию.

Мы брели. В темноте на дороге кто-то стоял с горящей сигаретой у рта. Поздоровался с нами: "Добрый вечер". Он не услышал, а я, повернувшись, ответил на приветствие. Яркая луна над лесом. Полнолуние.

– Эта немка, кинорежиссер у Гитлера, – продолжал он говорить, снимала документальные фильмы о Гитлере: эти шествия со знаменами, парады, сожжение книг. Гениальные кадры! Ее спросили: "А почему же вы раньше себя никак не проявили, а только при гитлеровском режиме?" "Потому что мне не встречалось такого грандиозного материала", – ответила она.

Видишь, как бывает. Материал-то у всех на виду, но она одна сумела этот материал организовать. Да, и это талант – дар организации. О, это великие фильмы! Что ты! Это блистательно! Я всегда смотрю с трепетом, когда показывают документальные отрывки. Да, и так бывает, и так бывает, – повторил он, глядя на озаренную луной дорогу.

2006 год

3 января 2006 года. Гуляли. Сырой снег. Он побрился. Без бороды лицо у него помолодело.

– У религиозных народов крепкая психика, – сказал он. – Падение психики людей во всем мире началось с техники, с порабощения механизмами. Против техники и были восстания битлов, все их движение.

Гоголь загадочная личность. О его жизни мало что известно. О Пушкине как о личности, тоже почти нет сведений. Он не менее загадочен. У него нет биографии. Не назовешь же ты биографией эту его Михайловскую ссылку. Известно, что он носил нижнее шерстяное белье. Его постоянно знобило. От нервов. Что-то вроде нервной лихорадки. Он был чрезвычайно нервный человек. Невротик. Это видно и по его стихам.

В последней книге Гоголя ведь нет сюжета, в его "Мертвых душах". Эта книга бессюжетна.

В моих книгах резкий эстетизм.

10 января 2006 года. Болеет. Весь день играли в карты, в дурака.

– В революцию обрушился язык, – сказал он. – Обрушились все эстетические ценности. Без знания церковно-славянского языка нельзя быть писателем, то есть – без знания истоков языка. Надо знать истоки. У меня модернизированный церковно-славянский язык. У Вознесенского блестящая книга. – "Треугольная груша".

Бунин очень талантливый писатель и абсолютно пошлый. То же Лев Толстой – пошлый писатель. И таких полно. Не назовешь же его бездарным. Но вот – пошлый.

Лучший роман Аксенова – «В поисках сюжета». Это блестяще.

Маяковский – тоже церковно-славянский, Библия. Хлебников – общеславянский, тоже – от корней.

Вот кто любил говорить о литературе – так это Асеев. Сутками мог болтать. Ему было с кем – Якобсон, Шкловский. Да, Шкловский, кажется, до 94 лет дожил. И до конца писал. Правда, уже один маразм. Но у таких ведь и маразм может вдруг как-то повернуться и сверкнуть чем-то неожиданным. Это были другие писатели, и психика, и культура. Он же террорист, эсер.

О моем рассказе "Моя ель", напечатанном в альманахе, он сказал, что ему понравилось. Вещь живая, как и мои милицейские рассказы. И неоднозначно. Можно смотреть и как на пародию. В общем, живо.

Видишь, в карты играть интересней, чем о литературе разглагольствовать. Только вот голова не работает. Теперь меня и ребенок обыгрывает.

17 января 2006 года. Не гуляем. У него отопление едва греет. А на улице мороз. Затыкал поролоном и заклеивал ему рамы. Играли в дурачка до 7 вечера. Нина в больнице, операция перенесена с четверга на понедельник. Сказал ему, что читал книгу с беседами и интервью Шнитке.

– Я всегда испытывал отвращение к интервью, – ответил он. – У меня их всего-то пять. Задают банальные вопросы. Спрашивают, как я отношусь к такому-то поэту или такому-то писателю. Да никак не отношусь. Какое мне до них дело. Пошли вы в задницу!

Император Коммод сам выступал гладиатором в Колизее. В Риме это считалось позором.

У Мережковского все книги хреновые. Это беллетристика. Не понимаю, почему его называют символистом. Какой он к черту символист. Он самый настоящий советский писатель.

Если издадут этот мой том стихов, с которым тянут и тянут, то я уже ни с кем общаться не буду. Да, если и не издадут – не буду. Да я и так ни с кем не общаюсь.

Ты меня спас, что пришел и заклеил рамы. Я бы пропал в холоде. Еще просьба: перестели мне постель, заправь одеяло в чистый пододеяльник. Это для меня непосильный труд, я страшно ослабел, у меня ничего не получается, провожусь весь день, а все равно не смогу заправить. Я уже и не помню, когда мылся. Тело чешется. Скоро весь во вшах буду. А помоюсь – заболēju, нельзя. Так хоть белье сменить.

Вчера приходила старуха готовить мне обед, и готовила восемь часов. Представляешь! А всего только суп сварила. Посадила меня на кухне и заставила болтать. Расспрашивала всякую всячину и свою жизнь рассказывала. Я ушел от нее совершенно выпотрошенный с опухшей головой. Нет, дудки! В следующий раз такой номер у нее не пройдет. Старуха не простая, много читает. И о Лиле Брик читала. У нее муж полковник, недавно сдох. Как бы и мне не сдохнуть за неделю, пока ты опять придешь. При таком безвылазном образе жизни – запросто окончурюсь.

Да, Древин не слабее Малевича и Филонова. Я видел его картины. Древина расстреляли, а его жене Удальцовой сломали ногу на пытках. Древин – совсем другое, у него ведь почти нет абстрактных картин. Я видел его картину с парашютистами.

Была передача о Кате Медведевой. Страшно постарела. Стала хорошо рисовать. Теперь она рисует, как венгерские цыгане.

Виктор Ерофеев. Да, гнусный тип. Это не Веничка. Кому же, как не ему рассуждать с экрана о русской культуре.

Теперь я стал забывать самые простые слова. Ну, ясно: кончится как с моей матерью – психтюрьмой. Как у Пушкина: "Посадят на цепь дурака и сквозь решетку как зверка дразнить тебя придут".

24 января 2006 года. Весь день играли в дурака. По поводу книги Гурджиева он сказал:

– Да, древневавилонское искусство – выше ничего в мире нет. И живопись, и священные танцы. И все это утрачено. Возможно, праязык состоял из тысячи звуков и их значений. Видишь ли, в древнем искусстве не было быта. Искусство, и музыку и всё – убивает быт, деньги. Современное искусство и убито бытом, все оно на деньгах и делается для денег. Массовый потребитель, массмедиа.

Художники журналистами всегда пренебрегали, потому что – продажны. А теперь вся литература превратилась в журналистику.

Вот, впервые на русском языке издали книги по эзотерике: Блаватскую, Гурджиева. Блаватскую я читал в детстве. Конечно, ничего не помню. В моей сожженной философской книге некто одиннадцать живут в центре земли, никакой там огненной плазмы нет, там пустота, а герой в лодке ждет, когда они поднимутся по своим делам. Видишь, в этой книге были замечательные куски. Но это не мое амплуа. Зачем? В стихах и прозе у меня выражено то же самое, вся эта эзотерика, только в неявном виде. Через звукообразы, ритмику, синтаксис и так далее. Через весь звучащий строй мной написанного и того, как написано. И я об этом не думаю, когда пишу, это само так получается, это все во мне уже есть. Образ из современности попадает в мой мозг и там трансформируется по какой-то своей линии.

Да, то, что я тебе уже не раз говорил: гений – это древняя память. Не только память древних форм. Конечно, это и память древнего восприятия. Ты же видишь: я такой и есть. Весь я и все мои книги – вне современности и ее тем, ее интересов, ее стиля, ее эстетики. Вот отчего и вся моя ужасная неприиспособленность к этой жизни. Я из древних и пора мне к ним возвращаться.

То, что ты прочитал у Гурджиева, знает каждый настоящий большой художник, и ему не надо выражать это словами, давать определения, в этом его суть, на этом он стоит. Разумеется. Как назвал Гурджиев: "Орфеист, то есть – правильно понимающий сущность". А что понимает современное искусство – мы видим. Ужасающая деградация, и восприятия, и всего. Что же ты хочешь, европейская цивилизация построена на латинице, у нас – на кириллице. То есть – на логическом алфавите. Такой тип мышления – такое и искусство. А Восток – иероглифы, образно-музыкальный алфавит, многозначность.

Хлебников тоже изучал все эти книги по эзотерике, у него тоже древнее мышление и древнее восприятие. Его учителем был Вячеслав Иванов. Хлебников единственный из поэтов не перешел на советский язык, до конца писал на русском. Но его вычисления, эти его "Доски судьбы" – это он сдурел, это ничто иное как профанация.

Что говорить об этом. О стихах и слышать не хочу. Вот песни! Больше всего я люблю песни военных лет. "Бьется в тесной печурке огонь", "Жди меня и я вернусь", "Эх, дороги, пыль да туман". Какие прекрасные песни.

И вот вся моя гигантская психическая энергия растрачена на книги. А теперь никакой тяги писать. Никакой. Да и сколько можно. Семьдесят.

7 февраля 2006 года. Сильный мороз, он мерзнет, на нем меховая куртка и шапка. Из дома так и не выходит. Играли в дурака. Он забывает карты, путается. Я написал ему, что вчера вечером смотрел очень интересную передачу о молниях. Что фотографии с рисунками молний поразительны.

– Еще бы не поразительны! – сказал он. – Вот и я так рисовал. Мгновенно. Доли секунды. Я сам и есть молния. Ты свидетель. Теперь не смог бы. Какое там! Теперь ты режешься в дурачка с погасшей молнией.

Вот ты говоришь – эзотерика. Пишут книги об этом, голову морочат. Эзотерика – это интуиция. А интуиция и есть ничто иное как – молния. Пых – и нет ее. Миг какой-то. Интуицию не объяснишь. Ничем, никак. Она вне ума. ну что тут объяснишь. Это только практика. Поэтому все книги на эту тему – пустая болтовня. Это всегда скрыто, под маской, покрывало мистов, мистика. И вся философия – болтовня дураков. И неоплатоники твои в том числе. Мудрецы! Мудрость, значит, – тупость, догма. Без конца повторяют друг друга, как попугаи, слово в слово.

И Сократ – только логик, одно только рациональное. Да, но это блестящий логик, самая блестящая в мире логика, поэтому один раз я все-таки это прочитал. А Платон посвятил апологии Сократа большую часть своей жизни, написал его речи в четырех громадных томах. Только под конец он отбросил всю эту логическую белиберду и у него вырвалась на свободу его космическая интуиция и его безудержная фантазия, последние три его книги: "Тимей", "Критий" и "Законы". вот это и есть настоящий Платон. За что его и называли божественным.

Да, мои книги – близко к тому. Практически это эзотерика. Потому что написано интуитивно, исключительно на интуиции. Так у меня написаны все мои главные книги. Я весь – интуиция. Пушкин? "Евгений Онегин"? Да ничего подобного! И близко не лежало! Абсолютно

рациональная книга, все там рационально, логично, все от ума, и написано специально, преднамеренно. Эта книга написана для людей, а не для бога. Да она и не светская, она – деревенская. Ну, деревенски-светская. Мои книги – полная противоположность этому, ничего в них для людей и от людей. У Пушкина только в коротких его стихах были всплески интуиции.

Нет ничего бессмысленней – рассуждать о том, что в принципе антирассудочно. У Малевича написано пять томов об интуиции. Он сильный писатель с сильным языком, с напором, но во всех этих пяти томах им написанного интуиции ни на грош, одна логика и лозунги, и никак это не соприкасается и не соотносится с его практикой художника.

Так называемых интуитов в мире вообще очень мало, единицы. Бывает и у простых людей, и никак не проявляется ни в словах, ни в их занятиях. И так, может быть, мирно проживет всю жизнь и никогда не узнает, что у него есть этот дар. Но в опасности, например, на войне интуиция проявляется часто, и таких не мало. Но не осознают и тут же забывают.

А лунатики? Что это как не интуиция. Да, связь с луной, ее влияние. А на меня влияет Сириус. Только он один. Сириус командует всеми звездами в космосе. Выстраивает их в ряд. Да, можно сказать, маршал звезд. Но ведь маршалы все бездарны. Только у Наполеона были гениальные маршалы. Потому что сам – высший гений войны. Вот уж кто был – чистая интуиция, кто был молния!

Антипод этому – машины. Вот, хоть бы телевизор. Для меня это примитив. Да, примитив – все, что сделано рационально, а не интуитивно. Примитив – потому что логика, конструкция, схема. Потому что можно объяснить и все тут объяснимо. Вся философия – примитив. И вся эта машинная техника и наша великая машинная цивилизация – ничто иное как самый убогий примитив. Что же еще? Все тут рационально, все построено, все высчитано. А интуицию не высчитаешь, удар молнии. Фьють – и нет ее!

20 февраля 2006 года. Прошлый раз я принес ему книгу Олега Воропаева, поэта из Ставрополя. – Да, прочитал, – ответил он на мой вопрос. – Есть живое, там, где пьянство. Такие, с завихрениями, всегда интересней, чем маститые.

Пошли на почту. Он получил пенсию. Потом гуляли в лесу. День морозный, его знобило, но он уж больше не мог сидеть дома. Будь, что будет.

– Хорошо бы тебя застрелили, а не мучаться, как мне, – высказал он пожеланье. – И за что эти мученья? Как будто я демон. Не демон, но

демоничен, как обо мне говорили. Мне сказал один: «Ты рожден господином. Говоришь ты красиво, мягко и даже дружелюбно, но звучит это как приказ».

Я считаю высшим русским поэтом Гнедича. Ему равен только Державин. Но ведь дальше перед Державиным стоит Тредиаковский. А тот еще выше. Ведь все реформы Маяковского – это реформы Тредиаковского. Все, что сделал в языке Маяковский, задолго до него уже сделал Тредиаковский. Маяковский взял у него буквально всё. Но это никто не видит. Тредиаковский очень скоро стал архаичен и недоступен для чтения.

На мой вопрос, вернет ли он рукопись с моей повестью, которую я ему дал прочитать, он добродушно пошутил:

– А нет ее! Я ее запродам в Америку под своим именем! Что? Это была бы высшая для тебя честь? Брось! Честь должна быть своя. У тебя своя честь. Ты, конечно, жаждешь услышать мое мнение? Смешной ты человек. Ну, понимаю, автор... Видишь ли, ты в этой своей повести взял такой гимно-патетический, мировой тон, с таким замахом, что ждешь удара молнии. А в итоге ничем не разрешается, вся система рушится. Ты понимаешь, о чем я говорю? Есть много превосходных кусков. Гротеск. Другая стилистика. Мог бы получиться бестселлер. Актуальная тема. Месть. Надо было, чтоб твой герой-бандит всех перестрелял, ограбил банк и с чемоданом денег смылся б за границу. А ты, я думаю, там внутренне дрогнул. Что ж. Гоголь четыре раза переделывал своего "Тараса Бульбу". Ты зрелый мастер, абсолютный профессионал, мы с тобой совершенно разные, у нас разные миры, и смотрим мы в разные стороны. В этой повести ты совершенно ни от кого независим. Чего тебе еще? Твои первые жестокие милицейские рассказы мне как нравились, так и нравятся. И этот твой последний рассказ, как он называется. "Маленькая капля"? Ну, "Моя ель". Все равно. Тоже хороший. Да и в других твоих книгах, если даже ты и используешь какие-то мои приемы, то остаешься самым собой. Но зачем ты показываешь мне свои рукописи? Ты же профессионал, совершенно состоявшийся писатель. Я никогда никому не показывал свои вещи, ни дерьмо, ни то, что считал сильным, и никогда ни у кого не спрашивал мнения. Раз ты написал что-то и считаешь это законченным, сделанным, зачем тебе чьи-то мнения? Пошли все на хрен! И я тут отнюдь не арбитр. Может быть, все, что я сказал, совсем не так, наверное, и я ошибаюсь. Ведь в своей оценке, хочу я этого, не хочу, а клоню на свое, а ты это ты, и я что-то в тебе не понимаю. Когда профессионал, то все оценки им написанного сомнительны.

Я, например, не могу читать «Мастера и Маргариту». Для меня это пошлость. А все визжат от восторга. У Булгакова только две вещи: из его

записок врача, рассказ "Морфий", и роман "Белая гвардия". Хороший язык, и книга на европейском уровне.

Оруэл, "Скотный двор" – пародия на коммунизм. Грубая сатира, свиньи пожирают друг друга и проч. Книга не моего чтения. Не мое.

Экзюпери написал блестящие рассказы летчика. Сжато, жестко. И в то же время писал зануднейшую философскую книгу – всякие великомудрые рассуждения, сентиментальность и морализаторство. Ужасная скука. И эту-то книгу он и считал своей главной, делом всей своей жизни. Как будто два разных человека. Противоположных. Я этого понять не могу, хоть убей. Нет, не два разных мозга. А это как раз говорит о том, что пишут не мозгом, а данностью, то есть тем, что ты есть.

Он замерз, и голос его охрип от говоренья на холодном воздухе. Не дойдя полотна железной дороги, повернули назад.

9 марта 2006 года. Он болеет, опять оброс бородой. О прогулках и думать нечего, подождем тепла.

– Утром у меня было на удивление хорошее состояние, – сказал он. – Вспомнил солдатские песни, которые любил петь в армии. Ну и запел для Нины, дурак. И тут же от такого напряжения в голове колокол, обессилел мгновенно, тошнота, и теперь, видишь, вялый и дохлый, как вобла. Допелся. Я очень ослабел. Каждый день принимаю одновременно двадцать лекарств, наверное, так нельзя. Бери карты, будем в дурака резаться. Игра меня отвлекает. Писать ничего не могу. Иногда вечером бывает порыв, раскрою тетрадь с той моей незаконченной прозой, где ангелы меня покинули, там, в тетради, еще много чистых листов, не пишу ни буквы, а начинаю рисовать на этих листах какие-то диковинные рисунки. Круженье бесов. Да. "Бесы" Пушкина – там у него ужас космический перед всем. Ну, у Гоголя этот ужас всюду, во всех его книгах. А у Пушкина только в "Бесах" вырвался. А так у него очень много тоски в его стихах. У Гоголя для меня на первом месте «Мертвые души». Там каждая фраза – это картина.

Видишь ли, я уникальный человек: мне ненавистны идеи, все до единой. По мне самое лучшее, если бы их вообще не было в мире, не только в искусстве, а и в жизни, в быту людей. А современный мир только идеями и живет, этот мир сплошь идеологичен. Ну, Платон, его идеи – совсем другое. У него идеи – это космические мифы. Каждая его идея – это картина в космосе.

Твоя повесть – незаурядная, на фоне того, что сейчас пишут. И все-таки настоящего ты еще ничего не написал. Да, но кто написал? Много ли таких? Вот Рабле написал настоящую книгу – списал с народных комиксов. Сервантес всю жизнь писал занудную, моральную слизь, и не

напиши он своего лихого Дон Кихота, такого писателя бы не существовало. Мир бы и знать не знал его имени. А писал в тюрьме, чтобы отвлечься и себя развеселить, и не придавал этой книге никакого серьезного значения. Значение он придавал своим "Назидательным новеллам", только на них он возлагал все свои надежды. Видишь, как поворачивается в литературе. Никто не может ничего знать про себя и предугадать судьбу своих книг. Никто ведь друг друга не понимает, а писатель писателя – тем паче. Это естественно. Все разные. А понимают одну только беллетристику, вот там всем все одинаково понятно, потому что и понимать нечего.

Гоголя никто не понимал при его жизни, и потом не поняли, и сейчас не понимают. Пушкина тоже. Его «Памятник» вяло написан, потому что он сам не верил ни одному слову в этом своем памятнике себе на века. Никто, никто. Пишут какую-то херню. Чему тут удивляться. Чтобы понимать другого, надо быть таким же, то есть, надо быть двойником. То, что в жизни случается крайне редко, а вернее, совсем не случается.

Тот, кто думает, что он великий, никогда не напишет настоящее. Это закон. Настоящее пишется тогда, когда забывают о всяком величии. А ведь почти все писатели в душе считают себя великими. Я таковым себя никогда не считал.

Да, умер Айги. Это известие меня ударило. Айги был чистой души человек. Большой поэт. Чудак: всю жизнь добивался Нобелевской премии. Вот – добился. Там получит.

Я сейчас тут единственный такой монстр и в стихах и в прозе. Но я так яростно растрчивал свою энергию, что исчерпал этот, как ты выражаешься, безмерный океан энергии до последней капли.

21 марта 2006 года.

– О прогулках забудь, – сказал он. – Теперь я и говорить остерегаюсь. От говорения у меня в голове начинает греметь. Вчера такой грохот в башке был, что я боялся, insult ударит. А что? В любую минуту может случиться. Голявкин двадцать лет парализованный провалялся и уж ни строчки не написал. Сейчас будут показывать билиард, чемпионат Китая. Садись, я люблю смотреть билиард, никакие другие спортивные игры мне сейчас неинтересны. Там один китаец непобедимый, чемпион, мальчишка, восемнадцать лет, быстрый, как дракон. Это ас! Асы бьют быстро и точно.

Айги тоже оказался страшный болтун о литературе, – продолжал он, отвлекшись. – Вот, мне принесли его книгу, толстенный том с его литературной болтовней. Я не понимаю, когда писатели пишут о других писателях. Для чего они это делают? Это какой-то комплекс. Это же

журналистика. Грош цена литератору, если он интересуется только литературой. Пушкин, например, и Адама Смита читал. О Маяковском Айги написал правильно. Маяковский – революционер во всем. Вначале – футуризм, ломка форм, на высшем качестве, такая революция формы. Потом – революция в государстве, человеческая. Потом – такое же революционное отрицание – его "Баня", "Клоп", последняя поэма «Во весь голос». Да, он накал не снижал до конца. Несгибаемый дух. А Цветаеву он назвал: "базарная баба". За ее контрреволюционность. Эта беззубая «Белая стая» Цветаевой, которая всем так нравится.

Вот, видишь, вопрос формы, что в итоге получается? У Блока все его высшие импульсы получились в простейшей форме. А в ранних его стихах, в первом томе, где форма изощренная, все пусто, пустые стихи. Да, развитие формы необходимо в искусстве, как подпочва. Большой поэт ее отбрасывает, чтобы сложность формы ему не мешала, этому его импульсу, не преднамеренно отбрасывает, а это у него интуитивно так выходит, само собой, внутренне. – Он отмахнулся рукой, лицо исказилось. – Ну вот, поговорил, и опять в голове загрохотало! Всё! Хватит! Буду молчать. Лягу в клинику на обследование, может, на две недели, а, может, и на два месяца. Или там и останусь уже до победного конца. Неизвестно. А ты знаешь, что в древнем Китае было тридцать тысяч великих поэтов? Тридцать тысяч! А в Европе что? Так о чем говорить!

22 апреля 2006 года. Гулять не пошли. Бойтся ветра, болен. Рассказал о больнице для стариков, где он был 20 дней.

– Там одни старухи. Ходят по коридору, крепкие, как бревна. На сто старух три старика. Да, обследовали. Нашли кучу болезней, и легкие, и почки, и сердце, и позвоночник, по всему телу. Пора умирать, это не жизнь. Будет мой вечер на 70-летие в библиотеке Маяковского. Но я не пойду. Это им надо. Мне не надо. Садись. Давай в дурака резаться; интересней, чем болтать о пустяках.

На днях ко мне приходил этот Сергей Соловьев, – сказал он, беря карты, которые я раздал. – Подарил свою новую книгу, там отзывы известных писателей о нем, там и отзыв Аксенова есть. У меня тоже просил. Я ответил, что никому не даю отзывов. Тогда он стал задавать вопросы: "Есть ли у вас какие-нибудь мысли о современной литературе?". Отвечаю: "Никаких мыслей о литературе у меня нет. Все, что хотел сказать – в моих книгах. А мысли – это у вас". Ты понимаешь? Сидел в углу, сгорбясь, как сыч. Какой-то грязный, длинный. Ярко выраженный еврей. Хочет еще в мае явиться. Не пушу. Пошел он на хрен. Прочитал книгу Айги, эту, здоровенную, с прозой. Тоже еще тот болтун. Себя комментирует. Я себя никогда не комментировал. Велеречивый. Что мой вечер? Они на мне деньги зарабатывают, на моей

известности. Вот, совсем старик стал, и кожа стариковская. – Закатав рукав, показал бледную, худую руку. – Видишь, какая тонкая, как из Освенцима. Играй, играй. Не надейся, что мой дух ослабел! Сегодня тебе не избежать разгрома! Лев еще покажет свои когти! – Закинув руки за затылок, он запел есенинскую песню: "Не жалею, не зову, не плачу, все пройдет, как с белых яблонь дым. Увяданья золотом охваченный, я не буду больше молодым".

1 мая 2006 года. Гуляли. Солнечный день.

– Никак не верится, что дожил до семидесяти, – произнес он хмуро, когда мы шли в лесу по дороге. – Почему так много людей? – продолжал он, заметив гуляющих. – Сегодня что, праздничный день? Первое мая? Это что за праздник? В честь чего? Чикаго? Американские рабочие? А мы тут при чем? Скамейки все заняты, а у меня ноги не идут.

Нашли в чаще поваленную бурей сосну и присели на ней отдохнуть.

– В больнице была библиотека, – сказал он, – два больших шкафа, там вся советская литература. Взял книгу Гранина об Австралии. Эта книга когда-то мне нравилась, единственное у Гранина, на фоне всего им написанного, всех этих его ужасных, вымученных романов. Перечитал, и оказалось – то же самое, та же серость и скука. Почему мне тогда нравилось? Наверно потому, что сам еще не умел писать прозу. Все, что я тогда написал в прозе, я уничтожил. Так что, видишь, время имеет значение.

Прочитал до конца эту книгу Айги с его статьями. Краснобайство. Такое не надо писать, недостойно большого поэта. Особенно он себя разоблачил в том месте, где рассказывает, как они с Пастернаком били друг друга по коленям. Если это и было на самом деле, то об этом ему надо было умолчать. Пастернак тоже хорош, впал в идиотизм, зачем он допустил к себе всю эту свору. Ведь под конец жизни вокруг него крутилась целая орда молодых поэтов. Он умер в 70, как мне сейчас. Ко мне тоже лезут несметно, как ты сам видишь, но я их героически отшвыриваю от себя. У Айги там и стихи есть, из ранних, хорошие, чистые стихи.

Вознесенский напечатал в московской газете поздравительное письмо ко мне. Он один откликнулся. Он уже совсем дряхлый, сторбился, скоро содохнет. А, может, я раньше содохну. Айги уже сдох. Мне это чествование совершенно ни к чему, я всегда был к почестям равнодушен. В 60-летие я в Германию сбежал от их чествований. Ты же помнишь. Прибавили бы пенсию – вот это они бы хорошо сделали. Да том стихов в "Амфоре" издали б наконец. Больше мне от них ничего не нужно. Вот гуляем, а в голове у меня такие колокола гремят! Если бы ты слышал! Услышал бы, оглох бы, как я.

10 мая 2006 года. Гуляли. Лес зеленый.

– У меня новости, – объявил он. – 25-го мая в университете мне будут вручать золотую медаль за заслуги перед русской литературой. Таковую же медаль дали Битову на 70-летие. Вручать будет жена президента. Соберется вся знать, то есть из властей. Пришлют машину и обратно домой отвезут. Предупредили, чтоб не вздумал увильнуть, они уже знают мою манеру. Обязательно должен быть. Но я еще не решил. Там придется два часа сидеть и слушать их хвалебные речи в мою честь, из которых я не услышу ни звука. Другая новость: выпустили мой второй том в "Амфоре"2, но в продажу еще не поступил. И ни копейки не платят. Вот слава!

Нашли свободную скамейку. Он закурил.

– А ты что ж? Весь мой том прозы прочитал? – спросил он. – От корки до корки? И все понял?

Я ответил, написав на листе бумаги, что это революция в русской и вообще прозе, в методе письма. И это его, и только его художественный инстинкт. Этот же инстинкт и в его рисунках, но весь он пошел в слово.

– Вот именно, – согласился он. – Поэтому и мой метод. А мои подражатели этого не понимают. По той же причине невозможно мою прозу перевести на другой язык. Но теперь мне и это все равно.

У меня в "Доме дней" ошибка с Каменским. Я пишу, что Каменский был без ног. Я перепутал: Каменский был с ногами и здоров как бык, переиздавал свои разбойничьи поэмы о Пугачеве и Разине. А без ног это Бобров был. И как это я их перепутал! А теперь меня всюду цитируют: что Каменский – без ног. В нескольких литературоведческих работах уже встретил. Так и пойдет, что Каменский без ног. Никто ж о нем ничего не знает, как и что у него было. О нем ведь только у меня написано. И это у меня отнюдь не одна такая ошибка.

На обратном пути зашли в парикмахерскую. У него волосы отросли до плеч. И щетину сбрить. От парикмахера он вышел омоложенный. Посмотрел на себя в зеркало в коридоре:

– Ну, теперь я юноша! Орел! А вошел стариком. Шрам вот только стал виден. Осколочное ранение в подбородок. Вот здесь, под левой скулой. Пощупай. Чувствуешь? Есть и пулевое ранение, в грудь, но легкое не задето. Легкое и без пуль пострадало от туберкулеза в детстве. Как это Асеев с туберкулезом до 70-ти дожил? Умереть во сне было бы идеально. Второй год не пишу ни строчки и наверное уже ни буквы не будет. Так зачем жить?

Дома из почтового ящика выгребли кучу поздравительных открыток. Он их все порвал и бросил в мусоропровод.

– А что с ними делать? Копить их, что ли? – сказал он насмешливо.

– Вот то, что наконец освободился от груза этих грязных, оловянных волосиц – это, да, великое дело! Голову год не могу помыть. Нина мне мыть отказывается. Отказывается и всё, не объясняя причин. Так что готовься. Придешь в следующий раз – головомоюку мне устроим.

19 мая 2006 года. У него на голове повязан цветной платок, отчего он похож на пирата. Лицо довольное. Повел рукой:

– Видишь, какая чистота в квартире! Впервые за двадцать лет! Наняли служанку. Молодая, двадцать четыре года. Высокая, красивая. И убирает, и готовит обед. Нина уже не может этого делать. Дождь, говоришь? Не ливень же! Возьмем зонты.

Гуляли в лесу под дождем по размокшей дороге. Густой запах молодой березовой листвы, цветущей черемухи. Он сказал:

– Кроме золотой медали, возможно дадут и государственную премию, если она еще существует. За литературные заслуги! А ты знаешь, почему я окончил школу во Львове с серебряной, а не с золотой медалью? За сочинение по литературе мне поставили четверку, потому что по их мнению у меня был неправильный синтаксис. Теперь они мне двойку бы поставили.

Хотел бы я знать, кто это подсказал президенту – обо мне. Я никого не вижу, кто бы это мог. Только не Битов. Эта мразь, мировой жулик. Он один на Олимпе и никого, кроме себя там не потерпит. Ведь этот прощелыга всех переплюнул, всех писателей у нас. И Солженицына. Все русские писатели враждебно относились друг к другу, все враждовали, все ревновали к чужой славе. Толстой был жутко ревнив. Как он высокомерно отзывался о Тургеневе, о Достоевском, о Чехове.

Что литература! При современной издательской технике через пятьдесят лет на земле будут уничтожены все книги. Не останется ни одной книги, ни одного писателя. Не говоря уже о том, что погибнет три четверти людей. Но люди и сейчас не читают книг. Книги для литературы, а не для людей. Так о чем заботиться, раз вся бумага погибнет. Не о чем. При такой психике можно писать все, что угодно, то есть совершенно свободно. Что я и делал.

В следующем поколении уже не будет ни одного писателя и художника. Потому что во всем мире мозги отравлены. Это неотвратимо и неизбежно.

На прогулке у меня меньше гремит в голове. Да, может быть, недостаток кислорода. Рукав у куртки промок, – заметил он озабоченно. – А у тебя хоть бы хны. Зонт твой, что ли, шире? Дождь слабее? Нет, не слабее, не слабее. Шпарит всю. Видишь, без пузырей, значит, затяжной. Как они называются? – спросил он, показав рукой на белые цветы в чаше. – Ветреницы? Я никогда не знал названий цветов. А что я знал?.. – он помолчал немного.

– Вот тебе свежий пример: я только недавно узнал, что Вальтер Скотт это псевдоним. Да, Скотт, в переводе – шотландец. И зачем англичане это раскопали? Себе ж во вред. Весь мир думал: Вальтер Скотт англичанин, гордость английской литературы. А он, оказывается, шотландец, чистокровный, и никакого отношения к англичанам не имеет.

После больницы и особенно после этих психозов с моим семидесятилетием я теперь успокоился и могу здраво рассуждать.

А зимой мы с тобой ни разу и не гуляли? Не помню. Что было два дня назад, не помню. Мне теперь, что вчера, что десять лет назад, что сорок. Я не верю цифрам.

3 июня 2006 года. Гуляли. Лес густо-зеленый, шумит по-летнему. Тепло, солнце печет, он расстегнул куртку. Сказал:

– Третий раз перечитываю эту книгу Айги, в надежде найти хоть что-нибудь живое и ничего не нахожу, кроме отвлеченностей. Его статьи расходятся с его практикой. Пишет о молчании, а сам только и делает, что без конца болтает. Пишет о снеге, а никакого снега нет. То, что он называет духовными идеями: поле, лес, тишина. Но всё это жевано-пережевано. Может, это и есть у него внутри, но в тексте ничего этого не видно. Перечисляет своих любимых поэтов, из которых я половины не знаю. Откуда он их откопал. В Стокгольме пристал ко мне со своей болтовней о литературе, как нож к горлу. В каком-то баре, куда он меня затащил, за стойкой, пива заказал, хлестал кружку за кружкой. Я, говорит, алкоголь не могу терпеть, ничего крепкого, а только пиво. И все мелет о своей писанине, вошел в раж, красный, орет. Маленький, с тебя ростом, только голова большая, головастый такой, и колченогий, ходил, как краб, загибая лапами. Я ему отвечаю, что я уже сыт по горло этими разговорами о литературе, что у меня в Ленинграде есть один такой же любитель о литературе поговорить, хлебом не корми, уморил меня на прогулках. Он спрашивает: "И что? Умный"? Здорово понимает?" "О, да!", – отвечаю ему. "Еще как здорово! Во всем мире второго такого нет. Никто не понимает литературу, так, как он. Вот вам бы с ним поговорить. А я глухой, со мной трудно общаться". Да, видишь. Вокруг Айги была прекрасная легенда, а теперь, когда издали эту его книгу, она погасла.

Так и со мной. Ждал, издадут этот мой том стихов. Издали – и полное безразличие. Даже отвращение. Даже смотреть противно, не то, что в него заглядывать. Хоть бы и не издавали. Может быть, есть стихотворений пять приличных из всего тома. Но главное, что мне теперь все равно. Брось ты! Что ты меня утешаешь! Пушкин многообразней меня по жанрам. Какие сравнения. И мрачно-трагическое у него есть, и легкое, и шуточное. Все у него есть.

Жить стало абсолютно неинтересно. Жить интересно, когда двигаешься, работаешь, когда приходит что-то новое.

Когда мне вручали медаль в университете, там были и студентки. Все, как одна, уродины. А раньше, когда я выступал в университетах – сколько было красоток! Да, вырождаются. Вот, мы уже их сотню на дороге встретили, видел ты хоть одну красивую? Толстые, кривоногие, чудовища какие-то, смотреть страшно. И что это они все голые? Неужели так жарко? Я никакой жары не чувствую. А ты?

Айги больше меня получил медалей. Почетный академик разных там академий. У нас теперь все по меньшей мере четырежды академики. Он еще и командор какого-то ордена.

Недавно видел Вознесенского по телевизору, в каком-то толстом пальто, лицо толстое, не узнать.

В пять лет я нарисовал целый альбом прекрасных цветов. Во Львове же цветов море, самых разнообразных. Львов весь в цветах. Мой альбом послали на конкурс детского рисунка, и он получил первое место.

17 июня 2006 года. Жаркий день. В лесу много гуляющих. Он в легкой куртке, в кепочке с козырьком, очки от солнца. Говорит:

– Самое хреновое, когда поэты начинают заниматься самоопределением. Практику нельзя определить. У Айги отвлеченности. Ну и что? Тьма поэтов пишет сейчас самую что ни на есть реальность – и всё это жуткое дерьмо. У Айги блестяще написано, это блестящие стихи. Так что же тебе еще? Музыкальности у него нет. Почти нет. У Малларме – музыкальность. Эта музыкальность перешла к Надсону, потом к Бальмонту. Если отставить его содержание. Оно ничего не значит. Тут важно напряжение, а не содержание. Когда столько поколений воспитывалось на содержании, то вот и получилась в результате мерзость, а не литература, всеобщая эстетическая безграмотность. Да, у Айги напряжения как раз нигде и нет. Разве я говорил, что не нашел у него ничего живого? Живое есть разное. Есть очень живые стихи, а нуль. Он жил изгоем, в безвестности, почти не печатался, здесь ни строчки, за границей – ничтожными тиражами, тоненькие книжечки. Во Франции его переводил тот же переводчик, что и меня. У него развились комплексы. Только в 88-м году о нем начали говорить, посыпались премии, ордена, вот у него голова и закружилась, и он стал писать эти свои статьи и давать интервью. У Айги много блефа – ну так и что же?

То, что он пишет о Всеволоде Некрасове – чепуха. На Западе такое существует уже давным давно. Это формальные упражнения. Ни богу свечка, ни черту кочерга. Такое само собой переходит в разряд филологии.

Здесь в 30-м году уничтожили поэзию полностью. Физически уничтожили поэтов. И теперь тут нет никого, кто бы хоть что-нибудь понимал. Тут нет литературоведения. Уничтожили эстетику, осталось одно их вонючее содержание. Учредили премию имени Аполлона Григорьева. Слабый, резонерский поэт. Так что же они, спрашивается, понимают? Григорьев демократ, такой же как Некрасов, как Писарев и вся их компания. Демократы сделали ужасное дело. Литература – занятие аристократическое. Хоть граф, хоть пастух. А они поставили целью литературы любовь и сочувствие к народу. Я сочувствую народу, я сам нищ, как народ. Но народ и близко нельзя подпускать к литературе и искусству. Народ – это тупость и невежество. Здесь никто не хочет понять, что поэтика – это громадная страна, в которой множество жителей. Что ждать от невежд. Вторгаются в ту область, в которой ничего не понимают.

Да, видно, поэт – это полностью от языка. Не думаю, что моя звучность оттого, что я знал в детстве украинский язык. Я знал и древнерусский и церковнославянский. Все это звучные языки. Но только не этот, наш русский. Видно я с этой звучностью такой уродился.

Когда мы повернули назад, он сказал веселым голосом:

– А я окреп за этот месяц. Вчера мылся. Ну, мытьем не назовешь. Под душем нельзя. Растирался горячим мокрым полотенцем. А Нина мне спину помыла. Так вижу: тело налилось, и грудь, и плечи, поправился. А то ведь зимой, особенно после больницы, ребра торчали, и руки были как ниточки. Я ужаснулся, увидев себя в зеркале. А теперь любо-дорого на себя поглядеть. Гляжу – не нагляжусь. Если бы я мог писать, то можно было бы вести такой вот физиологический дневник с записями самонаблюдений. Это было бы оригинально. Но я теперь совершенно не могу писать. Возьму ручку, рука трясется, как в лихорадке, буквы не вывести. Что ты.

23 июня 2006 года. У него в квартире страшная духота. Сходил ему за продуктами. Гулять не пошли, он много говорил:

– У Пушкина своя грамматика, своя орфография, пунктуация, синтаксис. Например, у него писалось: "белыя", а не «белое», как сейчас. Совершенно другое звучание, а значит, и всё. Или, он ставил "ер", что теперь не употребляют, то есть у него строка была графически другой, длинней. Или: он употреблял три разных "е", они тогда были в русском языке, а теперь их нет. Все это утрачено, и значит, это уже совсем не тот Пушкин, не тот, который печатался тогда, на том русском языке. Но языки все погибнут. А значит, и книги, и литература. Уже переходят на числа, на цифровое сообщение. Зачем им книги, их уже никто не читает. Тот же Пушкин писал: И буду славен я, пока в подлунном мире жив будет хоть один калмык. Калмыки-то живы, они даже у власти теперь, только им не до стихов, на Пушкина им плевать.

Читать лучше, чем писать. Я всегда больше любил читать, чем писать. Но чувствовал, что и сам что-то могу, садился за машинку и начинал шлепать, забывшись. Написано. Бросаешь эту херню от себя подальше. И желание только одно: никогда, ни слова больше во всю жизнь не писать. Так нет, опять накатит, опять забылся, опять сел за машинку. Так я и писал. А теперь мне наплевать. Теперь только читал бы, так читать-то совершенно нечего.

Образность только у меня и у Вознесенского. Больше тут ни у кого нет образности.

Переписка Ивана Грозного с Курбским забавная вещь. Курбский все-таки западная культура, поляк. А то, что пишет Грозный, это какая-то удмурто-мордовско-чухонская психика.

Вчера у меня был красивый парень, 24 года, из богатой семьи, очень талантливый, преподает в университете, в совершенстве знает японский язык. Представляешь? Естественно, принес мне показать свои стихи. Стихи – дрянь. Я посоветовал ему не писать стихов. "Надеюсь, у Вас еще нет этой мании писательства?" спрашиваю. А он мне: "А что, есть такая мания". "А что же такое, по Вашему, графомания?" говорю ему. "А, действительно" согласился он. По моей просьбе сварил мне пельмени и, знаешь, очень хорошо сварил. Умеет. Это исключительное явление среди молодых – чтобы умели готовить и вообще что-то делать в быту.

8 июля 2006 года. Гуляли. Жара за 30. Он говорил о Помпееве, своем друге молодости, с которым он гулял в прошлое воскресенье, с иронией по поводу его наивного патриотизма и общественной деятельности, в его-то 70 лет. Потом сказал:

– У Цветаевой есть одна толковая статья, где она совершенно точно определяет: что есть поэты с историей и поэты без истории. Поэты без истории не могут развиваться, а поэты с историей всегда развиваются. Это она о Пастернаке написала: что он поэт без истории. И действительно, у него только две книги: "Сестра моя – жизнь" и "Темы и вариации", и больше он не развивался. Фет тоже – поэт без истории. А Маяковский – поэт с историей.

Моя тетка знала чрезвычайно много стихов наизусть и читала мне в детстве, в 7 лет, всю русскую поэзию. Но Маяковского она терпеть не могла. Зато мой дядя Петр, сам поэт, Маяковского боготворил. А моя мать вообще не признавала всю позднюю русскую поэзию, все поэты после Блока для нее были ничто. Правда, Есенина она все же любила кое-что и часто цитировала, например, это:

Слушай, поганое сердце,
Сердце собачье мое.

Я на тебя, как на вора,
Спрятал в рукав лезвие.
Рано ли, поздно всажу я
В ребра холодную сталь.
Нет, не могу я стремиться
В вечную сгнившую даль.

Он декламировал громко, люди оглядывались. Мы проходили мимо пьяного, который лежал на траве, на самом солнцепеке, прикрыв голову грязной, рваной сумкой. Я указал ему на этого спящего.

– Ну и что? – ответил он. – Чисто русская поза. Как Аполлон Григорьев. До чего же они все были ничтожны, эти поэты, с их так называемой философией.

Придем домой – свалюсь. А ночью не буду спать. Поэтому так и привлекает вечный сон.

Видишь, еле двигаюсь. Это от жары. Да, вялый. Вялый, как вобла. Вот уже месяц не могу помыться, так обессилел.

Лучше бы я был лодочником на Чудском озере, чем все это. Там ведь тьма туристов. Я там и был лодочником целый месяц, летом, в июле. Мне нравилось, любил грести.

Выжигают глаз лазером. Что-то прояснилось, а то уже совсем слепой был. Только вот наркоз ужасный, дома укол стал отходить, боль адская в голове, не спал всю ночь. В понедельник опять ехать. Ничего трагического. Я привык. Это для тебя была бы, конечно, трагедия.

Умер мой друг, по заводу, Касаткин, я тебе не говорил? Он нас на своей машине на Мшинскую возил. Через два года после смерти жены. Круг сужается. Как у меня в пьесе: «Потихоньку все поумираем». Да, "Ремонт моря".

14 июля 2006 года. Гуляли. Не очень жарко, освежал ветер.

– Да, вот и Айги, – сказал он. – Его значение сильно преувеличено. Сколько я его ни читал, ничего, кроме слога, не нашел. Слог блестящий, но мне этого мало. Вообще-то это совсем не мало, но мне – мало. Словесность.

Ты говоришь, у него тоже об Есенине написано в этой его книге, что самое гениальное у Есенина "Пугачев"? Он еще прибавляет "Черный человек" и "Страну негодяев"? Ну, так это он, значит, с меня списал. С моей статьи. Только у меня нет "Страны негодяев", это обыкновенность, ничего в этой поэме нет, политический фельетон. А у меня еще названа "Москва кабацкая". С меня многие списывают, потому что сами ничего заметить не могут, а я тем и отличаюсь, я видящий. Да, как я в "Доме дней" о себе написал: "Я видящ".

Лучшее время моей жизни – армия и завод. Там я приобрел много жизненно нужных профессий. Там были настоящие люди, действительно способные, талантливые. Там я был среди равных. А Союз писателей считаю самым поганым местом в моей биографии. Там все неспособны,

все бездарны, не только как писатели, а ни у кого из них нет жизненно нужных умений. Человек должен быть многогранно развит. Да, я-то одарен многими способностями. Больше всего жалею о том, что не научился плотницкому делу. А я бы мог. Но что теперь говорить. Время потеряно. На что, спрашивается, потратил жизнь! Писать книги? Подумаешь, способность. Это способность не жизненно нужная. Я никогда этому не придавал значения. Даже когда меня Асеев до небес возвеличивал. Ну, есть способность писать. Есть и есть. Вижу, что хорошо пишу. И стал писать, книгу за книгой. И что тут такого особенного? Вот Гете, тот считал писание книг величайшей из человеческих способностей. У нас так же считал Толстой.

22 июля 2006 года. Он всю прогулку говорил о гомосексуализме.

– Получается, что вся высшая культура создана гомосексуалистами. Все высшие были гомики: Платон, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Оскар Уайльд. В искусстве чуть ли не все. В литературе – тоже. Недавно прочитал много для меня неизвестного. И Сомерсет Моэм, и Грэм Грин. Да в кого ни ткни. Даже Гете на подозрении: а что же он так лип к Шиллеру? Вот я уже два года не пишу ни строчки, ни в письмах, ни в дневнике, и ничуть от этого не горюю. Читаю только детективы и путеводители по разным странам. Оказывается, все авторы путеводителей – гомики и к тому же евреи. Неудивительно: сейчас в Европе два главных вопроса: гомосексуальный и еврейский.

29 июля 2006 года. Душный день. Дошли до мостика. Он говорил:

– Вчера смотрел старые фильмы. Те быстрые фильмы начала 20-го века. Это и есть настоящие фильмы. Когда стали копировать реальность и появился звук, то есть копирование голоса, кинематограф рухнул. Конец. Да, исчез свой, чисто кинематографический, условный язык. А в этом ведь всё. Самые лучшие советские фильмы не стоят одного движения ноги Брюса Ли. Ведь эти фильмы с борьбой тоже условность.

Так и в литературе. Как только начинают рассказывать – книге конец. Реализм, копирование, нет условности. А сейчас вся литература такая. Никакая. Антилитература.

Высшая живопись в мире – это рисунки на камнях, сделанные 20 миллионов лет назад. С них и начался весь авангард. Нет, не сила линии, а правильно сказать – образ линии. Вот, эта цивилизация погибнет (а она обязательно погибнет) и опять пойдет все сначала, опять начнут царапать на скалах.

Я вообще никогда ничем не интересовался специально, а само шло.

Мне бы надо было быть не поэтом, а вором или убийцей. Да, как Есенин писал:

Если не был бы я поэтом,
То наверно, был мошенник и вор.

Только он-то никогда бы не стал ни тем, ни тем, и никого бы он не смог убить. Он изнеженный. Из поэтов единственно кто был бандит и убийца – это Вийон. А, может, и он тоже все сочинил, он же при дворе ошивался, писал стишки по заказу короля. Вокруг каждого поэта, и вообще знаменитого человека, создается ореол легенд. Рембо представляют каким-то простаком-головорезом. Но у Рембо в переводе Эренбурга есть такие строчки:

Я в Париже живу как денди,
И душа моя, знаю, чиста.
Здесь мой х..., подобно легенде,
Переходит из уст в уста.

Так мог написать только аристократ.

Вот я тебе расскажу анекдот из моей жизни. В 60-е годы, при Хрущеве, был такой знаменитый вор Валька. Он из тюрьмы почти не выходил, а держал в своих руках все лагеря страны. О нем ходили легенды. Он еще был знаменит и как поэт, писал стихи в классическом стиле, сонеты-хренеты. О нем в Москве знали все писатели. Вот его на короткий срок выпустили на волю, я тогда как раз был в Москве, и он меня пригласил к себе домой, чтоб я посмотрел его стихи и дал оценку. А он был старше меня лет на 20-ть, седой, костюм-галстук, представительный, как чиновник. Ну, я пришел. Посмотрел его стихи. Ничего особенного, интеллигентские, культурные стихи, как все пишут. Так и сказал ему. Он не любил, чтобы его звали по имени-отчеству, а требовал, чтобы звали "Валька". Его воровская кличка. "Почему же вы, Валька, не пишете блатные песни?" спрашиваю его. "Лучше б вам писать по-блатному, ведь вы же вор". "Да разве блатные песни лучше?" удивился он. "Они же дубовые, корявые, а у меня стихи на настоящем, русском, культурном языке". "Тем не менее" говорю ему "блатные песни – естественное, органичное. Они неумело написаны, но в этой неумелости и есть их талантливость". "А в моих стихах, значит, нет талантливости?" спрашивает он. "Значит, нет" отвечаю ему честно. Но так я его и не убедил.

Да, есть яркие песни – одесские, дореволюционные, у налетчиков. А так – все блатные песни очень тоскливые. Но талантливые. Эти песни сочинены несомненно талантливыми людьми.

9 августа 2006 года. Пошли на прогулку после 10-тидневного перерыва. День жаркий, и в лесу не легче, он одел слишком теплую куртку. Бредя по дороге и покачиваясь, словно под бременем тяжелой ноши, он повторял:

– "Сильные листы пишет рука героя!" Да, из "Дома дней", у меня там много гениальных фраз.

Вчера были мои друзья из Франции. Внезапно нагрянули. Звонили

по телефону, но я же глухой. Чуть не увезли меня к себе в Гренобль, тащили за руки к двери, кричат, мы тебя вырвем из этой тюрьмы, ты тут пропадешь. Еле отбился. Какая разница, где пропадать. Чем их вонючая Франция лучше России. Все люди дефективные, недефективных нет ни одного. А мнят себя царями природы. Возвеличиваться нет никаких оснований. Тем более насчет писанины. Я тебе говорю: все книги на земле погибнут, и очень скоро.

Я специально никогда не наблюдал, а у меня глаз такой, что всё подмечает. Был такой, сейчас не знаю.

Увидев на доме вывеску "Распродажа одежды", он сказал:

– Давай зайдем. Всю жизнь был тряпичник, тряпичником и помру.

Эти ботинки, что на мне, я еще в Риге купил. Недавно рылся в чемоданах и нашел. Легкие, как пух. Как раз для лета. Я их не носил почему-то, дурак. Новенькие. Сейчас таких во всем мире не шьют. В Риге был тогда прекрасный дом для писателей. Там и Пикуль жил. Мы с ним гуляли по вечерам. Я тебе рассказывал. Пикуль – графомания. Я не мог читать его книги. Он бросил пить, а энергию девать некуда. Так ведь у графоманов у всех гигантская энергия. И Бальзак из них не первый, у него всего-то томов триста написано. Первый в мире графоман – один польский писатель, не помню имя, у него насчитали тысячу томов.

Эта строфа из Есенина, что ты мне цитируешь: "Взбрезжи, полночь, луны кувшин зачерпнуть молока берез". Кувшин – татарское слово. Береза – тоже татарское слово. Молоко – тоже. "Слово о полку Игореве" – много тюркских слов, но большая часть – болгарские слова. Русская литература вся ведь от Болгарии, а Болгарская – от греков.

Магомет запретил пить вино, а сам всю хлестал, за милую душу, он же был алкоголик. Он этот грех весь взял на себя. Что ты там пишешь? Можешь не писать. «Магомет перехитрил в Коране, запрещая крепкие напитки, потому поэт не перестанет пить вино, когда идет на пытку». Пошлые стишки. Ты что, этого песенника всего наизусть знаешь? Есенин – поэт для девушек.

Чингисхан, Тамерлан, гунны – это была энергия мира всего. Так энергия и переходит туда-сюда.

Средняя Азия произвела на меня большое впечатление. Древние города, Бухара, Самарканд. Мечети, только орнамент, очень скромный, бледно-сиреневый. Вот эта скромность мне и понравилась.

23 августа 2006 года. Хотя ему и нездоровилось, он решил попробовать выйти на прогулку, возможно это последний хороший день, а дальше прогноз: грозы, дожди. О Перельмане, петербургском математике, он уже знает: решил неразрешимое уравнение Пуанкаре, отказался от премии миллион долларов.

– Высшая математика ни к чему конкретно неприменима, – сказал он. – Это нельзя объяснить, как нельзя объяснить стихи больших поэтов.

В Польше был сильнейший театр. Не только Гротовский. Гротовский – мировая величина. Он учился в Москве в театральном институте вместе с Петей Фоменко. А Фоменко учился в одной школе с Тарковским, Вознесенским и Кулаковым. Спецшкола для сыновей высших. Фоменко получил акимовский театр сатиры, рядом с домом, где я жил на Зодчего Росси. Он приходил ко мне пить. Пил он страшно, но это ему ничуть не мешало в театре, энергия у него была громадная. Потом он получил театр в Москве. Что с ним теперь, не знаю. А отец Кулакова был министр сельского хозяйства, потом он покончил с собой. И этому хмырю он ни копейки не давал. Раз ты богема, то пошел на х...

Весь русский авангард двадцатого века уже был намечен в начале девятнадцатого. С кем ты сравнишь таких писателей, как Крестовский или даже Булгарин? Ни с кем. Сахаров весь не издан. Его лучшая книга – о древнерусской семье. Это мощно, как древнегреческая трагедия! И язык у него!

Я в шестнадцать лет написал три романа. Один в подражание Горькому, где изобразил так называемые темные стороны жизни. Этот я сразу сжег. Еще был школьный роман. Еще – из испанской жизни, назывался "Черная маска". Да, перо у меня кипело, как ты выражаешься. Но так ведь у всех, кто начинает писать. Во Львове я сжег три сундука своих рукописей – стихи, проза, пьесы. И потом продолжал в том же духе, сжигал всю жизнь. Теперь назрело еще одно самосожжение, тоже крупное. При этом у меня пропали три архива. Только к лучшему. Ничуть не сожалею. И без них осталось ужасно много. В Публичной библиотеке хранится четырнадцать томов моих дневников. Ничего там нет, все это графомания. Писал, когда нечего было делать, чтобы себя занять. что за день произошло. Там много формальных упражнений. Но теперь меня на эту графоманию не тянет. Есть еще у меня проза, которую можно было бы издать, да, из последнего, что не закончил. Но если она и пропадет, горевать не буду. Полное безразличие. Есть и другая моя проза, опубликованная в разное время в журналах, и здесь и на Западе. Кому понадобится – отыщут и соберут. А нет, так нет.

У Хлебникова, кстати, его формальные произведения мне совершенно неинтересны. И его математические изыскания. Это арифметические изыскания. Все с потолка, все не сходится. Упражнения студента. И эта его «Ночь в окопе», и совместное с Крученых, да, "Игра в аду". А вот, примерно пятая часть у него – очень сильно. Но так ведь и у всех. У Лермонтова проза до "Героя нашего времени" – жуткое говно. А у Пушкина вообще вся проза говно, кроме тонюсенькой "Пиковой дамы". Также все его сказки, кроме "Сказка о рыбаке и рыбке".

Он замолчал. Мы шли в лесу по тропинке у высохшего ручья. Обычно летом тут текла хоть струйка, а теперь дно всё иссохло и завалено сучьями.

– Да, ты знаешь, – вдруг заговорил он вновь, словно очнувшись от глубокой задумчивости: – музыканты, что устроили мой вечер к семидесятилетию в библиотеке Маяковского, украли у меня старую семейную фотографию, ту, где вся семья, и дед, и бабушка, и отец, и мать, и я у нее на коленях, я тебе показывал, а вернули копию, очень похожую на оригинал, как две капли, не отличишь. Вот они, люди.

24 сентября 2006 года. Теплый солнечный день. Гуляем в лесу, он говорит:

– Смелость и полная свобода психики. Они не понимают и никогда не смогут понять, что существуют люди, которые ни с кем не связаны и которых носят на руках. Но это провидение, это Лиля. Сейчас об этом пишу.

Всегда оставаться самим собой – вот мой девиз. Поэтому я и дожил до 70-ти и в полной мере сохранил свою силу. Только последние два года начал сдавать и не могу уже так сильно писать, как писал.

У меня страшный гром и звон в голове, такой, что даже не могу говорить, да, влияет на речь. Мне делали уколы всю неделю. Никакого толку. Гремит все также. Возможно, лягу в Бехтеревку, будут делать капельницу в голову.

От себя никто не свободен, а от других можно быть свободным. Но все бояться. Всем нужно общество, нужно общаться, особенно по профессии, что мне было всегда омерзительно.

Весь оставшийся архив сдал в ЦГАЛИ. И дневники, и все свои рисунки. У них не платят, но мне в виде исключения они заплатят. Ну, конечно, ты будешь сравнивать с Леонардо да Винчи! Мои рисунки будут также цениться! Да ну тебя! Мне абсолютно все равно. Леонардо да Винчи единственный такой за всю историю человечества. Второго такого не будет. Лучший перевод на русский его записных книжек – академика Дживелегова. Я с Дживелеговым разговаривал. Что, спрашиваю, у Леонардо и на итальянском такой великолепный стиль? О! говорит, на итальянском куда сильнее, я сделал, что мог.

В этой книге Битова "Пушкинский дом" нет зла. В моем "Дне зверя" зла много. У него не философствование, у него резонерство. Половина книги. Вот и у Айги такое же резонерство в его болтовне об искусстве. А действительно философствование – это у Цветаевой, эти ее могучие, железные формулы в стихах.

Хоть немного оживился, на воздухе легче, и грома такого в голове нет. Да, без прогулок нельзя, надо гулять.

2007 год

20 января 2007 года. Он всё это время болел. Бледный, голова повязана платком.

– Да. Страшный гром в голове, от малейшего напряжения, даже если поговорю пять минут.

Державин жил до семидесяти двух. Не так уж и мало. Всю зиму дулся в карты со своей женой у себя в новгородском поместье на Званке. Он же был знаменитый картежник. Там он сильно писал. Его "Жизнь Званская"! Это двадцатый век, авангард! В девятнадцатом так не писали. Никто. Даже Пушкин. Это живопись! Высочайшая! Потрясающе!

В Марселе мы много гуляли у моря. Неудивительно, что я там ударился рисовать. Никогда в жизни я не рисовал так много, как там. Да. Там рисунки у меня так и сыпались. Оттуда я привез их уйму.

Кстати. Я тебе еще не говорил? Помпеев у себя в академии хочет мне устроить Лито, но пока что-то не получается. А на мое имя многие бы пришли. Да и не знаю, как я буду вести лито, надо ведь будет там говорить, а от говорения у меня начинается в голове страшный гром. Так что ничего еще неизвестно. Вот и сейчас загремело, оттого, что болтаю. Все, все! Это ты меня провоцируешь! Провокатор!

– Вот еще одна статья обо мне, – возобновил он разговор через минуту. – Что они меня истолковывают? Что там истолковывать? Кто понимает, и без их статей поймет, а кто не понимает, истолкователи не помогут.

Выступают против демонизма. То, что у них начисто отсутствует.

Все большие художники демоничны.

Издан Аронзон. Да. Он уже приближался к себе. Но его убили в Сибири в геологической экспедиции.

4 марта 2007 года. Бредем под зонтами. Сырой снегопад. На дороге никого, кроме нас. Он говорит:

– Для меня полностью не существует реалистическая литература, весь реализм. И такие писатели, и такие читатели. Лев Толстой для меня никчемный писатель. Я писатель чисто мистический. Мистика в русской литературе кончилась на Блоке. А в наше время я один. Единственный мистик.

Моя "Книга пустот" – это монстр. Перечеркивает всю русскую литературу. Ее никто не понимает, ни здесь, ни там. Вот Вячеслав Иванов эту книгу понял бы. Еще Владимир Соловьев. А больше никто. Флоренский? Нет, Флоренский геометр. Мало ли кто писал о мистике. Формально, по методу что-то похожее – автоматическое письмо. Но там

это мертвый метод, а у меня живое. Там даже романы есть, написанные этим методом. Во Франции, в Англии. Бессюжетность, отсутствие героя, графика и прочее. Нет, Джойс – другое. У него нет графики. Джойс непереводим. Все это приблизительные сравнения, ни о чем не говорящие.

Да, жил я мистически. Ведь алкоголик – это мистик. Потому что он не живет в реальном мире, он вне этой реальности. А потому как я потоптанный читатель, то это и совместилося. Я, конечно, читатель больше, чем писатель. Так что мистика у меня, скорее от алкоголизма.

В армии я избил железным прутом семерых сержантов. За издевательства над рядовыми. Двоих убил, пятерых искалечил. В другой раз расстрелял из автомата офицерский дом. На посту, в карауле. Так что в этой советской действительности, занудной и вонючей, я ухитрился устроить себе очень веселую жизнь. Ничего мне не было. Замяли. Отец. Они поняли, что столь свободный человек не может быть в СССР просто солдатом.

Вот передача: задают очень трудные загадки. Я все разгадываю. Я же шифровальщик и расшифровщик. Никто не разгадал название моей книги: "Камни Негереп". Расшифровывается: Книга перемен.

Мне нравится этнография. А в русской литературе больше ничего и не найдешь, кроме этнографии. То есть: как жили; что ели, что пили.

От нечего делать прочитал Кольцова, и стихи, и письма. Оказалось, пустое. Пустой поэт. Ни одной строчки не нашел. Так, кое-что, там, где он подражает русским песням. Но русские песни сильнее. А ведь его все возносили, начиная с Пушкина. Народный поэт! Гоголя тоже хотели объявить народным. О народе пишет. Не вышло. Быстро замолкли. Это явился вполне законченный гений.

Я боком, ребром таким иду от авангарда. А Айги целиком от них. И он много о себе возмнил. Я о себе никогда ничего не мнил и ничем себя не считал. Я и сейчас не считаю.

Посмотри, скажем, с символистов. Бальмонт, Брюсов, Белый, Анненский, Блок. И сразу за ними – Мандельштам, Гумилев, футуристы – Маяковский, Хлебников, Цветаева, Пастернак. А Хлебников – ученик Вячеслава Иванова – это неоспоримо. Так что одни прямо вытекают из других, преемственность, идет одна линия. А у нас принято разрывать и противопоставлять. В русской литературе писателей всегда стравливали между собой и делали врагами. Не только при жизни. Но и посмертно представляют их, как враждующих. Так что вся картина русской литературы искажена.

Нельзя кого-то называть высшим, а кого-то низшим. Все может перевернуться: тот, кого называли высшим, окажется низшим, а тот, кто считался низшим, окажется высшим. Есть много замечательных поэтов

моего поколения и моложе, и здесь, и в Москве: Красовицкий, Куприянов, Всеволод Некрасов, Ожиганов, Седакова.

Слово дается одному. Каждому свое слово. Кому дается, тот не может быть подражателем. Использует чужие методы, приемы, формы. Это другое.

В Сербии продавали мою книгу "Башня". Я написал плакат: "Книга, которая никому непонятна". И сразу все бросились покупать.

Снег повалил гуще. У нас промокли рукава. Повернули домой. Навстречу амазонка на вороном жеребце. Конь встал около нас, черная конская морда потянулась к нему, раздув ноздри. Он не замечал.

– Доживу ли я до весны, – сказал он, стряхивая сырой снег с зонта. – Это как у Городницкого в песне: "Не доживу когда-нибудь я до весны, до корабля. Не пухом будет мне земля, а камнем ляжет мне на грудь". Это он написал, когда он еще ходил в геологические экспедиции, в шестидесятые годы. А теперь ему семьдесят один, он мой ровесник. Мне два месяца осталось до семьдесят одного. Не верится, как это я дожил до такого возраста. Ведь я жил с жутким напряжением всегда, саморазрушение. Видно, железный организм, природа такой дала, раз все это выдержал.

13 июня 2007 года. На прогулку он не пошел.

– Боюсь неправильно отключить сигнализацию. Приедет милиция, штраф за ложный вызов пятьсот рублей. Да и погода подозрительная, туманно, тучи, дождь будет. Посидим, поболтаем.

У всех писателей жажда славы. У меня полностью отсутствует. Да, я наверное такой единственный в русской литературе. У меня нет ревности к чужим успехам и гениальности.

У Платонова его рассказы о машинистах, да и прочее – это только тема, но у него – отстраненность от социума. Что и есть художник. Да, видит как художник: отстраненно от социума и от быта. Только в его больших вещах, этот, как его, где рабочие роют, да, "Котлован" – там напрямую, все у него в лоб высказано, о социальном, по-гоголевски. Там он и есть Гоголь. Даже в его военных рассказах эта отстраненность. Я видел два фильма по его военным рассказам, там, где матросы бросаются под танки.

Вот вчера попался том стихотворений Вознесенского. Полистал от скуки. С дарственной надписью. Тоже – мания величия. Сноб, много саморекламы в стихах. А это сильно снижает. Когда вне произведений – ничего страшного. Вот как у футуристов. Тут у него есть одно стихотворение, я с ним выступал, пел как романс, вот это: "Сказала: будь первым. Я стал гениален. Ну что тебе надо еще от меня?" Еще я пел как романсы два стихотворения Горбовского: "Но рюмка, дрожащая в

воздухе рюмка" и "Я бедный карлик из дупла". Тогда у меня была большая музыкальность и голос, звучало сильно. А теперь вою, как собака. Тебе бы тогда меня послушать.

Я никогда не страдал от отсутствия известности. Но был долгий период, когда меня совсем не печатали, ни строчки. Это угнетало. Потому что стихи – это ведь психика. А психике нужен выход. А когда выхода нет – то тяжело, знаешь. Не каждый выдержит.

Маяковский был остроумен. А у Хлебникова остроумия незаметно. Он всерьез принимал шутки и смертельно обижался. Оценивал он себя правильно, что: гений и прочее, но при этом у него был и большой комплекс насчет своего величия. Да, может быть, конечно, и от целомудрия и застенчивости.

Какой у Пикуля язык? Грязь. Народный. Он же для народа писал. А народ, это кто? Брежнев, он один и есть народ. На каком языке Брежнев говорил, это и был народный язык. Что говорить о таких писателях. Это же мелюзга в литературе. Это слизь и хлябь.

Обо мне что говорить. Я – редкость мира.

11 июля 2007 года. Гуляли, до железной дороги и обратно. Душно. Он раздражен:

– Что ты спрашиваешь о моей книге? Выйдет она, не выйдет – мне все равно. Меня литература не интересует, и никогда не интересовала. Литературой интересуются только психически больные люди. О критиках не говорю – те на этом зарабатывают. А Рембо? Его литература никогда не интересовала. Был порыв, оказался гениальным. А ему-то что до этого? Если человек нормальный. Ну, Рембо – мировой пример.

Как я заметил, все, кто стал настоящим писателем, как я, до того, как стать писателем, имели какую-нибудь другую профессию и были в ней мастерами высшего уровня. А это накладывается на психику и ее образует. А писатели, не имеющие другой профессии, как правило, остаются в литературе дилетантами. Исключения редки. Это говорит о том, что есть две разные психики: психика профессионала и психика дилетанта. Да, психика мастера и психика не мастера, то есть графомана. Большинство просто неспособно стать мастером и писать профессионально. Одни рождаются мастерами, другие – нет.

Я никогда не понимал дружбы писателей. Дружат три писателя, собираются вместе и рассуждают об искусстве, обсуждают свои книги и книги других. Что это как не психическая болезнь? Книги надо не обсуждать, а читать. Но у нас все как раз наоборот: книг ни одна сволочь из писателей не читает, а обсуждают все, и хором, и поодиночке. Я тридцать лет не ходил в Союз, с первого же дня вступления. Приходил только, когда меня приглашали.

Вот, Шишкин. Прислал мне свою книгу из Мюнхена, прося мнения. Я не стал отвечать. Ты же знаешь, я никому не отвечаю. Что я могу тебе сказать. Мертв, как и каждый мастер, когда он только мастер, потому что книги живые пишутся за мастерством.

Саша Соколов – подкрашенная риторика.

3 декабря 2007 года. Гуляли недалеко от дома. Кормили с моста уток. Снег, ветер. Разговор о Чехове:

– Какие у него положительные типы? Разве что мальчик Вася, пишущий письмо на деревню бабушке. У Чехова обыкновенные, разобыкновенные люди, то есть – хлюпики. Во всем, что он написал – одни хлюпики.

Называют меня гением. Слово "гений" теперь стало пошлостью. Взялись снимать обо мне фильм, все места, где я жил в Ленинграде, но я жил в двенадцати местах. Хотят, чтобы я в фильме говорил о себе, вчера, в воскресенье, долго мучили меня вопросами, записывали на пленку. Будут снимать мои рукописи и рисунки в Публичке и т.д. А денег – ни гроша. Это называется – гений.

Вот уже два года как ничем не занят, не работаю. И рисовать не могу. И читать не могу – звон в голове. Да и нечего ведь читать.

Эта жизнь – не мой ритм. Это, собственно, не жизнь. Да, мой ритм был – работа, всю жизнь. Да, как Наполеон на "Святой Елене" – выпал из своего рабочего ритма, падение организма, машина встала, не загружена работой, и – конец. Естественно. Как у всех таких.

14 декабря 2007 года. Немного погуляли в лесу. Легкий мороз, солнце. Он в том же мрачном состоянии духа и как бы продолжает недоговоренное прошлый раз:

– Ты пойми одно: в этой стране все делает легенда. Обо мне давно пошла легенда, что я гений, а теперь посыпалось лавиной. Каждый день называют гением, и вслух, и в печати. Меня это стало раздражать. Все-таки это мерзость. Да, превратили в кличку. Так и ты, и о тебе легенда. Сиди и не показывайся нигде, как я. Ко мне они сами идут. Оттого, что я нигде не показываюсь, я в их глазах только расту в цене, они думают, кто это ему позволил столько лет никуда не ходить, и, куда бы его ни приглашали, отказываться.

Михнов тут последний гений в живописи, я – в литературе.

У Михнова сын – тоже очень хороший художник. У меня детей нет, а, может быть, и есть, я не знаю, во всяком случае, не объявляются. Может, тоже шпарят. Или у тисков стоят. Насчет сыновей ничего не знаю, а вот учеников и учениц объявился миллион. Ни об одном из них никогда не слышал. Скоро со всего мира будут писать, что они мои

ученики. Ничего удивительного. Рильке ведь тоже назвался учеником Толстого, после того как побывал у него в Ясной Поляне. Стал писать стихи на русском языке.

– Не слишком ли я громко говорю? – спросил он, остановясь. – На меня давно уже оглядываются в этом лесу. Я ору матом, и все тут считают меня за какого-то блатного, за пахана, вышедшего на волю, и, завидев меня, шарахаются по сторонам. Следующий год будет годом мыши, это мой год, ведь я по буддийскому календарю – мышь.

24 декабря 2007 года. Сегодня гулять не пошли, он плохо себя чувствует.

– Вчера у меня была высокая температура, почечная, – известил он хмуро. – Сильный озноб, трясло, задыхался. Сидел в ванной и выл. Да, как волк. Волк и есть, зачем я буду отрицать правду.

За книгу спасибо. Тут что, и статья Кулакова о нем? Художников хороших много, в отличие от писателей, от этих ублюдков, пишущих всякую херню. Но мало кто из художников выходит за пределы этого хорошего. В импровизациях Кулаков интересней, но у Михнова богаче внутренний мир. Михнов рано умер, пятьдесят шесть лет, он на четыре года меня старше. Кулаков – на три. Михнов пил не оттого, что советское время. Он пил бы в любое время. Хорошо еще с ним была эта баба, не помню имя. Я бы тоже пил в любое время и сдох бы. И около меня никого не было, да я бы никого и не потерпел около себя. Да, все это печально.

Видишь, у меня всегда были резкие повороты в литературе. А ты спрашиваешь о своих рассказах. Зачем тебе мое мнение? Если бы даже встал из гроба Пушкин и сказал, что ты написал гениально – что бы от этого изменилось? Ничего. Если бы сказал, что ты написал говно – тоже абсолютно ничего бы не изменилось. Такая страна. Тут все писатели собираются в кучу и спрашивают мнения друг о друге. От неуверенности в себе. Здесь у всех писателей, всегда эта неуверенность в себе. Нигде в мире такого нет, только здесь. И эту соборность выдумали здесь, оттого что привыкли в кучу собираться.

Гоголь – не то, он просил мнений о своих "Мертвых душах" – идеологических и социологических, а не о том, как написано, о качестве. И вообще Гоголь был с большими закидонами.

Ты – самый способный писатель своего поколения. Известность? Твоя известность – это я. Ты у меня известен. Что тебе еще?

2008 год

21 января 2008 года. Гололед, сырой снег. Он стал говорить о записках Михнова.

– Это пьяные выкрики. О боге и прочее. Как напьются, так и тянет на высокое. Все, что у нас написано критиками о живописи, это, собственно, профанация. А художнику для чего распространяться о своем искусстве? Распространяется, значит, чувствует свою неполноценность. Это от неполноценности. Да, комплекс. Человек одаренный, знающий себе цену, болтать об искусстве не будет. У Ван Гога в письмах ни слова нет об его картинах. У Делакруа в его дневнике – тоже. Делакруа любил гулять и писал, что он увидел на прогулке. Он был наблюдательный человек. Пушкин попытался написать статью, "О ничтожестве литературы русской", написал две странички и бросил. Вот и все, что у него есть о литературе. Пушкин в этом смысле – образец, с которого надо брать пример.

У Есенина в звуке слабенько, а поэтому поэт он плохой, никудышный. Та же история с Лермонтовым, ничуть не лучше Есенина. А Некрасова и пародировать нечего, его стихи сами по себе пародия. У Пушкина язык сконцентрированный, весь звуковой. А в стихах никакого другого смысла и нет, кроме звукового.

Аксенов, инсульт. Что ж ты хочешь, жизнь в этой стране разрушительна. Я говорю о людях талантливых. Талант не может не разрушать сам себя. Здесь – особенно. А те, кто процветает, смотрят на такого с удивлением: зачем он себя губит? Ну и что? Он свое дело сделал. Это ведь его дело, а не чье-нибудь. Остальное – плевать. Есть общественники, есть отшельники. Такими рождаются, такая и судьба. Вот Байрон общественник был, его к людям тянуло, мировая арена была нужна. В девятнадцатом веке еще можно было прославиться книгой чисто художественной, сейчас мировую славу может дать только книга с политикой.

В молодости я дружил только со стариками, на лет двадцать, сорок старше меня, а они тянулись ко мне. Да, наверное, видели во мне своего. А среди сверстников у меня друзей не было, мне с ними было неинтересно. Я дружил с Дворецким, драматургом. У него замечательная судьба, он одесский еврей, был взломщиком сейфов в Одессе. Потом исправился. Мы познакомились в Комарове в Доме творчества, мне тогда было двадцать пять, ему за шестьдесят. Важный такой старик, очень крепкий. Вот он на прогулках и рассказывал мне свою героическую жизнь.

Когда мы подошли к его дому, уже стемнело. У нас за спиной раздался звук удара и крик. Мы обернулись. Женщину сбила машина. Около нее собрались люди. Лежит неподвижно, блестят носки черных сапог. Это происшествие его очень огорчило.

– Смелость меня покинула, – сказал он. – Вот и меня так может сбить. Запросто. Тут такой перекресток. Фарами ослепило. Мне нельзя одному выходить из дома. Да, тягостное впечатление. Эти сапоги.

29 января 2008 года. Яркий день, в лесу лыжники, снег блестит.

– Да, погода прелестная, – согласился он. – Но ты бы слышал, какой у меня шум в голове. Жаль, что не слышишь, а то бы оглох, как я. У меня там беспрестанное грохотанье, вой и визг. Не могу писать, не могу читать. Писать-то – и хрен с ним. Ничуть не скорблю. А вот без чтения плохо, но опять же только потому, что нечем себя занять. Начинаю читать: строчки путаются, слова сливаются в один ком и со страшной силой бьют в голову. Грохот жуткий, как будто грузовой поезд, полный камней, стучит. Что ты! Из-за этого я даже вывески на улице не могу читать. Увижу вывеску – тут же опускаю глаза. Ночью этот гром, вой и визг в голове усиливается. Теперь по ночам вспоминаются песни всякие, в ритм этого грохотанья в мозгу, которые я лет сорок, как забыл. Когда говорю – легче. Отвлекаюсь разговором.

Видишь ли, я всегда был точен и упорен... – Остановясь на дороге, он посмотрел на меня своим твердым взглядом. – Вот я тебе сейчас сказал: "Я всегда был точен и упорен", а в голове у меня гремит и гремит: "всегда был точен и упорен, всегда был точен и упорен, всегда был точен и упорен". Как молотом – бьет и бьет. Так после каждой фразы. Ну и как жить с таким громом в голове?

В эпоху символизма русские поэты впервые стали свободны, с них сняли цепи, издавай, что хочешь, поездки за границу. Вот и расцвет поэзии. А, скажем, Пушкин, в каких тисках жил. От этого и погиб такой молодой, что – зажали. Выхода не было. Камерюнкерство, в рабах у царя, дуэль, пуля.

Писатели все страшно завистливы. Пример, Тютчев: завидовал Пушкину, его славе. А ведь Пушкин первый опубликовал его стихи в своем журнале, в "Современнике", целых двадцать стихотворений, и написал статью, где назвал его гениальным поэтом. И как этот отблагодарил? Написал на смерть Пушкина: "Его, как первую любовь, России сердце не забудет". То есть, Пушкин – первая любовь, а вся остальная любовь, это, значит, – он, Тютчев. И потом – что это за утешение!

Мы прошли еще немного. На дороге лежали бродячие собаки. Ему захотелось их покормить, и он стал кидать им куски взятой из дома ватрушки. Собаки подходили, нюхали куски на снегу и отворачивались.

– Я бы завел собаку, да негде держать, – сказал он. – И на прогулку выводить надо каждый день, утром и вечером. Не горюй. Я горевал только, когда умерла бабушка. Мне было двенадцать лет. Залез на дуб и не слезал с него три дня. Я тебе уже рассказывал. А после этого ничьи смерти не могли меня так ударить.

Подходя к его дому, мы опять задержались у того места, где прошлый раз была сбита машиной женщина.

– Наверное, намертво, – заметил он. – Знаешь, у меня теперь чудовищно обострилось воображение.

11 февраля 2008 года. Пришел к нему, как всегда, в час дня. Он встретил меня с озабоченным видом:

– Правая щека вспухла. Заметно, да?

Показал альбом, который прислал ему в подарок один его знакомый художник:

– Грубятина. Как топором. Где Грицюку подражает, там еще что-то есть, но ужасно грубо. Таких художников миллион и все неумоимо машут кистью день и ночь, без передыху, по всему миру, брызгая красками во все стороны. Лучше б он чем-нибудь другим занялся, чем живописью. Например, задницу бы чесал, и то бы толку больше было. Вот, посмотри, как у Грицюка! – он показал на картины на стене. – Видишь, какая тонкая живопись?

Он оделся, и мы вышли на прогулку. По дороге он говорил:

– Все пишут стихи. Это психический сдвиг. Так они придают себе значение. Думают! Вот я какой, я стихи могу писать! Я поэт! Вчера вся страна поголовно праздновала смерть Пушкина, все радовались, общее ликование по этому поводу: что русская поэзия не умрет, она бессмертна.

Это примитивность. Дилетантство ведь тоже примитивность. Примитивен, потому что не может сделать, не умеет, не знает – как, поэтому упрощает.

Теперь я не могу ни читать, ни писать. А я был высший читатель и, какой-никакой, а – писатель. Это Тот мне мстит! – он показал пальцем вверх. – Что ж это, как не мщение! Но я ничуть не скорблю. Подумаешь: читать и писать! Наоборот: рад, что освободился от литературы. Наконец-то!

К шестьдесят четвертому году Ленинград был мне уже абсолютно не нужен. Стал противен. Вечером мы фланировали по Стремянной, человек пятьдесят. Занюханые поэты, Рейн, Найман и подросток Довлатов. Довлатов, пожалуй, из всей этой банды единственный вахлак. Все остальные очень прицельно стреляли, зная, что им нужно.

18 марта 2008 года. День мрачный, на дороге грязь, посыпался снег крупой. Он сердито заметил:

– Ну вот, стоит мне войти в лес и – или дождь, или сырой снег, и каждый раз на одном и том же месте. Теперь мой ватник промокнет.

Николай Первый был абсурдная голова. И не лишен остроумия: хвастался, что отменил смертную казнь, а по всей России крестьян засекали кнутами насмерть, а солдат забивали палками. Его же и прозвали – Николай Палкин. Всю жизнь ел только овсяную кашку, а был – громада. Спал в шинели. Никуда не уезжал из Петербурга и проповедовал патриотизм. Он был первый патриот в России. Это он провозгласил лозунг: самодержавие, православие и народность. Любил смотры и парады, и всякую муштру. Он и погиб из-за дури: простудился, с температурой под сорок поехал принимать парад. Убил всех русских поэтов своего времени. Ну разве не абсурдная голова? Что в нем нормального? Историки неправильно на него смотрят, не под тем углом. Я тоже только недавно стал так на него смотреть. Когда я писал эту свою книжонку "Николай", я так не смотрел. Если бы я смотрел под таким углом – получилась бы клоунада. А мне нужно было другое.

Петр Первый, наоборот, был эмигрант в своем отечестве. Он тут почти и не жил, все время за границей. Первую русскую типографию открыл в Амстердаме и там же издавал первую русскую газету. Русскую – в Амстердаме! В России видел только грязь, и жить в ней не мог. К этой стране у него не было других чувств, кроме отвращения.

Воронцов Пушкина просто не замечал, вот тот и бесился. Эта его эпиграмма: "Полумилорд-полукупец". А Воронцов был большая фигура. На нем держалась вся политика с Англией. И что ему было замечать Пушкина! Бегаёт какой-то лохматый шибздик и скалится. Роман с Воронцовой – какой там роман! Она ему только поглаживать себя позволяла, больше ничего. Вот он и написал свое "К морю" – "Прощай, свободная стихия" и т.д. Написал с тоски и отчаяния. А позволила бы ему, и не было бы этого "К морю".

В этой стране начисто отсутствует чувство юмора.

Белый клоун Бога – так называл себя Нижинский. Так он себя называл после того, как танцевал "Петрушку" Стравинского. Я встречался со Стравинским, когда он был в Москве, на исполнении "Весны священной". Я тогда был в зените славы, двадцать три года, ему рассказали, что я поэт темы древней Руси. Он захотел меня увидеть. Мне позвонил его импресарио.

Теперь там, на Западе, поднимают имя Бруно Шульца. Но на русском он не звучит.

Горький – самая черная фигура в русской литературе двадцатого века. Лживый, жестокий, циничный. И без конца плакал, по каждому поводу. Он заведовал всей партийной кассой при Ленине, через его руки шли огромные суммы.

Ты бы сейчас и ничего у него не смог читать, не только "Клима Самгина". Все у него размазня и жижа. Да, но у Горького есть две песни, которые стали народными: "Солнце всходит и заходит, а в тюрьме моей темно", и эта, из цыганско-молдавских. Да, "Легенда о Марко". Эта песня стала еврейской народной песней, ее пела моя мать со своими подругами, когда они собирались у нас в квартире.

1 апреля 2008 года. До леса. Тепло, солнечно. Нашли свободную скамейку.

– Читая, что мне пишут, – сказал он, – я стал замечать некоторые вещи. Например, что женщины во фразе глагол ставят в конце, а мужчины в начале. Я всегда ставлю в начале глагол, и в моих книгах, и в разговоре. Глагол бывает лишним. У меня есть тексты совсем без глаголов. Важны только те слова, на которые падает удар. Смысловой. Не глагол мешает. Глагол бывает ударным местом. А мешает неправильное акцентирование. Да, пишут лишние слова. Например: "Таз на голове нести". "Нести" – лишнее слово. Ясно, что таз на голове – что делаешь? Несешь. И так, лишними словами, пишут книги. Не то, что вязнешь, читая, а – устаешь. Прочитал страницу и устал. Так написана проза у Пушкина, эти его "Повести Белкина" и "Капитанская дочка". А вот у Лермонтова в "Герое нашего времени" все точно.

У Пушкина "Бесы" – "Визгом жалобным и воем, надрывая сердце мне". Удар на первое слово в строке и на последнее. "Надрывая" – ослабление, и дальше все слабее – переходит совсем на шепот. Да, как и надо, здесь. Потому что перед этим строка – "Мчатся бесы рой за роем в беспредельной вышине" – ударное первое слово "мчатся" и акцент на нем. Но это талмудство над стихами. Анализируешь от нечего делать. А на деле – никого ничему не научишь и ничего не напишешь, если сразу, от природы не заложено. Да, пишется на интуиции. Как ты говоришь – по чутью.

Все ведь мазилы. На миллион мазил один художник. И так во все времена.

Теперь мне во сне вспоминаются разные песни, которых я, кажется, и не знал. Да, может быть, потребность мозга в ритмах. Мозгу нужен выход в ритм, вот он и вспоминает песни.

Куприн не бытовой писатель, он писатель ситуативный, он только разные ситуации описывал. Эта его повесть "Яма", он ведь там грязь не смакует. Он татарин, а значит – целомудрен. Ведь и Чингисхан был целомудрен. Да, татарин да еще пьяница. Значит, целомудрен вдвойне.

15 апреля 2008 года

– Пойдем на почту, – предупредил он, как только я вошел, – получить пенсию. Будешь сопровождать в качестве охраны. А то ведь ограбят. Теперь стариков, таких, как я, глушат сразу за дверью почты и отбирают все деньги.

– Вчера по какому-то поводу о Даре вспомнил, – стал он говорить, когда мы вышли на улицу. – Дар был очень образованный человек и тонко понимал поэзию и прозу. Можно сказать, свертонко. Определял точно. Когда я к нему пришел, в его лито, мне было восемнадцать лет. Он прочитал мою рукопись стихов, привезенную из Львова, и оценил высоко. Техника у меня всегда была сильная, но темы у меня не было. Я не знал, о чем писать. Писал о чем попало, внешнее. Графоманские стихи. Но на фоне тех, кто ходил в его кружок, это было сильно. У тех ни темы не было, ни техники. Писать они не умели.

Учитель и ученики – чепуха. Никого ничему научить нельзя. Можно только дать толчок. У каждого своя внутренняя форма. Каждый и есть эта своя внутренняя форма. А ее не передашь другому, и другой ее не может перенять. Как? Списывать будет один к одному, что ли? Но ведь все равно спишет как-то по своему, через свое. Это разговор разных форм, у которых нет ничего общего. Научить нельзя, каждый учится сам.

Да, есть и такие, такая внутренняя форма, что все видит как уродство – и людей, и деревья, и цветы, и дома. Но дело не в том, что он так видит. Так видящих художников было много. И из самых крупных. В двадцатом веке таких, из крупнейших, было, по меньшей мере, четыре. А дело в выполнении. То есть – в силе таланта, в силе этой самой внутренней формы. У одних эта своя внутренняя форма могучая, мощная, у других – так себе, слабенькая, у третьих – вообще никакой формы и не ночевало, размазня и слякоть. Это все равно, как если бы ты только мечтал о девушках, которых ты видишь кругом: и с этой бы хотел, и с той бы не прочь. Вместо того, чтобы брать реально, и ту, и ту, и делать дело. От мечты до выполнения – пропасть. Да. Не дано. Нет дара. Не могут. И хоть режь его, хоть столбом по лбу бей.

– Ты читал "День Зверя?" – спросил он меня вдруг, когда мы вышли из почты с полученной пенсией. – И все понимаешь? А вот многие не понимают. Например, кто такой Зубикомлязгик. Но ведь это вся страна с жуткого похмелья с утра у пивного ларька о пивные кружки зубами лязгала, трясясь, как в лихорадке, все мужики. Я сам, в первую очередь, о сколько раз! Какой ужас! Зубикомлязгик это, можно сказать, символ эпохи. В конце книги он делается президентом.

11 мая 2008 года. Показал мне альбом своих рисунков, издадут в частной типографии, небольшим тиражом, сигнальный экземпляр.

– Видишь, все летят. Теперь мне так не нарисовать. Ни так и никак. Рука не работает, глаз – тоже. Последний рисунок был сделан пять лет назад. Писать тоже не могу. Да, прогрессирует. Вот уже год и читать не могу. Прочитаю строчку в книге и не могу понять ее смысла. Зимой я еще рисовал, мгновенно, в шутку, комические рисуночки на клочках

бумаги. Теперь и это не сделать. Да, видно, Тот меня остановил. Я ему на нервы стал действовать. Думает: хватит этому мудаку беситься. Надоел. А что – не мудака? Зачем столько пил, столько баб? Разве это от ума? На что тратил силы? Тот, конечно, от своей мелочности мне мстит, от бездарности. Бездарный. Потому что, такие дурики, вроде меня, шумят в себе, а Он не может, у Него только внешне: тут – водой затопить, там – стрелу бросить и все сжечь, а там – заставить солнце мигать. Да, а сила у меня была огромная, можно сказать, нечеловеческая. А теперь – как будто ничего никогда и не было. Сижу вот тут, в унылой тюрьме, и, как видно, тут и кончу. Да, все равно, что волна прошла. Это не волна, это, вернее будет сказать, – шторм прошел.

После тех великих поэтов и писателей – ведь ничего нет, ни один такой не появился. Мастеров всегда много, но гении – редкость мира. А только гении – живые. Естественно: ведь гений это движение.

Вот, Битов, его проза – концентрат, но вся его проза – мертвечина. Это только высшая степень мастерства, а живого ничего нет. Ни живой интонации, ничего. Также, как и у Толстого. Или, возьми Аксенова, тут обратная сторона медали: у него-то все живое, но это же всего лишь фельетоны. А концентрата у него нет. В советское время еще можно было эти фельетончики читать. Сейчас – тошнота. Надо, чтобы было и то, и то – и живое, и концентрат. Вот, как у Гоголя. Да, у нас только Гоголь такой. Он один. Разве Рабле еще такой был со своим Гаргантюа и Пантагрюэлем.

Видишь ли. Каждый живет столько, насколько он запрограммирован, ни больше, ни меньше. После клинической смерти в Тарту, сколько я еще написал книг! И я писал все интенсивней, все мощней, пока Тот не поставил предел. Сказал! "Хватит! Бросай перо, иди домой!"

В Стокгольме я дал Айги читать мою поэму "К морю". Перед отъездом он вернул и говорит, что ничего в ней не понял. Вот так! Сам непонятый – другого не понял!

Навряд ли мой альбом рисунков будет раскупаться. Но книги мои, надо сказать, эти два толстенных тома раскупились. Уже шестое издание. Цена выросла до шестисот рублей. Кто же их покупает, если я так непонятен? Мое имя? Из-за имени? О чем ты говоришь! Я думаю, тут дело не в имени, а в том, что вокруг меня создавалась легенда. Я стал легендой.

8 августа 2008 года. Навестил его после перерыва в три месяца. Он выглядит бодрым, встретил меня словами:

– Видишь, какая чистота, как светло стало в квартире! Все лето занимался уборкой. Обтер пыль везде, намыл полы. Ведь я в армии тысячи километров полов намыл, знаю это дело как никто. Так и напиши у себя в мемуарах: он и при уборке квартиры проявил свою

гениальность. Моя гениальность перемещается с одного на другое. За что ни возьмусь, все делаю с высшим духом. Вот, оказывается, в чем мое истинное призвание, а не книги писать, которые никто не понимает. Десять мешков мусора на свалку выбросил. Осталось еще одно дело: тряпки в шкафах перебрать. Вот ты мне и поможешь. Я же тряпичник. Горы накопилось. Годами лежит, десятками лет. И все новое, ни разу не надевал. В каждой стране, в которой был, покупал какие-нибудь тряпки: рубашки, костюмы, белье, трусы. Особенно трусы. Трусов я из каждой поездки целый чемодан вез. Здесь ведь хороших трусов в то время не было, одна мерзость.

Мы стали смотреть, что у него в шкафах и чемоданах. Он складывал в кучу на полу – что выбросить.

– Да, Пушкина постоянно трясло, поэтому и носил шерстяной жилет, – подтвердил он. – Эта трясучка от колоссального психического напряжения. Меня такое напряжение трясло до семидесяти лет. Жизнь на максимуме. В семьдесят все закончилось. Это напряжение отнято. Тот, верхний, отнял. Решил: хватит с него. Не могу ни писать, ни рисовать, ни читать. Даже читать! Строчки скачут и несутся куда-то. Такое напряжение у тех, кто полностью сосредоточен на своем деле.

У всех этих непризнанных, о ком ты говоришь, мания величия. Придают себе и тому, что пишут, слишком серьезное значение. Следствие этого – сумасшествие, психушка, самоубийства, выбрасывания из окон. Это слабая психика. У таких полуписателей психика слабая и ломается. А писатель – это сильная психика. Писатели с ума не сходят и не ломаются. У писателя психика крепкая, железная. Меня не печатали сорок лет. Ну и что? Разве это меня сломало или хоть как-то поколебало? Ничего подобного. Писал как писал. Пришло время – все напечатали. И это при том, что я никогда не перечитываю свое, то, что написал. Только писал новое и новое, вперед и вперед, не оглядываясь. Если бы все, что я написал, погибло, скажем, сгорело бы в пожаре – и в этом какая беда? Что это меняет? Ничего. Жаль для знатоков? Да брось ты! Где ты видишь знатоков? Их нет. Я за всю свою жизнь ни одного не встретил – кто бы мог меня понять и правильно оценить. Асеев ценил только в моем начале, стихи на древнерусскую тему. После них он ничего у меня не любил и отрицал. Лиля Брик понимала у меня процентов десять, а девяносто процентов ничего у меня не понимала, не любила и отрицала. Понимала меня только как явление. Ну так и что? Делал свое дело, жил этим – вот и все. Достаточно. Что тебе еще надо? Больше этого надо тем, у кого низкая психика. А тут у всех низкая. Посмотри: сколько писателей. Несметно. Даже и гениев – сотни. И что? Ты будешь придавать себе какое-то значение, и трястись над каждой своей строчкой? Смешно.

Раскрыв очередной чемодан битком набитый одеждой, он вынул широкую красную рубаху, лежащую сверху.

– Это та самая герцогская рубаха, которую я воспел в "Доме Дней"! – воскликнул он. – Дарю! Носи! Что? Отказываешься? Не хочешь играть чужую роль? Тебя я учил только одному – правильной драматургии. Ты играл неправильную роль. Я учил тебя играть правильно правильную роль.

Меня вот что удивляет, – сказал он немного погодя, – Батюшков в тридцать пять лет сошел с ума и еще столько же жил сумасшедшим в Вологде. Все те поэты называли себя учениками Батюшкова – и Пушкин, и Боратынский, и Языков, и Дельвиг. И ни один из них, ни разу к нему не приехал. Дельвиг порывался, но не получилось: в день отъезда напился вдребезги.

17 октября 2008 года. Придя к нему сегодня, я заметил, что угол комнаты у окна, где любит лежать кошка – пуст, и миска ее около этажерки с книгами убрана.

– Кошка сдохла, – ответил он грустным голосом. – На днях меня возили на машине в Комарово. Посетили писательское кладбище. Да, знаешь. Не хотелось бы мне там лежать. Полил коньяком могилу Гитовича. Тогда и все другие взревели со всего кладбища: "И мне! И мне!" Там ведь почти все пьяницы. Там и Голявкин лежит, у самой ограды, он умер в 2001, ему было 72 как мне сейчас.

Да, говорил ли я тебе: умер Олег Охупкин, поэт, с которым я пел песни. Специально вызывал его к себе, чтоб песни попеть. Он последние десять лет был в сумасшедшем доме. У сумасшедших вся психика направлена на себя, а не на мир.

На себя и на свои стихи. Они ведь еще и стихи пишут.

Я отказался принимать каких-либо поэтов. Что такое поэт? Поэт – это психопат, который зациклился только на самом себе. Чем хуже поэт, тем больше он на себе зациклился. Он думает, что он создан для того, чтобы приходить к старику читать свои стихи.

Ничего в них нет. Они себя не открыли. Это не объяснить, как происходит открытие себя. У меня началось в двадцать три года. До этого я писал абсолютно профессионально, но чувствовал, что все это не то. Пока случайно не попал на "Слово о полку Игореве". На древне-русской теме открылось мое. После – опять ничего. Не знал, о чем писать. Все темы были не мои. Советская действительность была мне крайне чужда, серая и абсолютно ненужная. Заводская тема открылась и тут же закрылась. Тупик. Никуда не вело. Грязь не превратишь в золото. Пока не явились "Двенадцать сов". После "Двенадцати сов" шло с нарастающим.

Тот, кто слишком много значения придает стилю, обязательно будет писать мертвое, у него получится мертвечина. Так у Битова, так у

Набокова. Он мне начисто не нужен. Так и у Толстого, все у него искусственно. А вот Достоевский плохо писал, какой уж там стиль, но у него была эпилепсия, он был нервен, поэтому у него и неряшливая фраза, а бьет, она нервная, животрепещущая. У него все живое. Главное, чтобы было живое.

Но это надо быть живым. Меня глухота сделала еще живее. Я оглох в сорок пять, психика резко изменилась. Оглохнув, стал писать по-другому, совсем другую прозу, это собственно не проза, а такие стихи. Мои книги периода глухоты, написанные прозой, это собственно такие поэмы.

Вчера я смотрел фильм с Брюсом Ли "Китайский связной". У нас с ним много общего. В слове я также виртуозен и быстр. То, что Брюс Ли делал в кунфу, я еще и посильней делал в слове, и как он всех побивал, так и я побил в стихах всех поэтов.

31 октября 2008 года. Открывает дверь, бледный, небритый.

– Скоро конец, – произносит он хмуро. – Всю неделю температура под сорок. Внутреннее воспаление всего. В следующий раз приедешь выносить труп на помойку.

Не возражай! Ты всем хорош, но плохо, что у тебя нет пороков. Одни добродетели. А писатель должен быть безнравственным и писать о порочности, и своей и других. Разумеется. Иначе и быть не может. Только это и интересно. Вся древнегреческая литература – тема порока, о тех или иных человеческих пороках и аномалиях. Положительность в литературе не работает. Такая литература заведомо провальна. Вся громада советской литературы с ее положительностью и темами положительных героев ушла под воду. Тысячи имен. Где они? Их нет. Потому что положительность – ложь. Ее в жизни нет, не существует. Все люди – негодяи. Так и пиши о негодях.

Никакой правды жизни нет и быть не может! У кого больше талант, кто сильнее сочинит – это и есть литература. Гоголь – какая у него правда жизни? Да, настоящая литература безнравственна!

Наверное, опять высокая температура. Это от повышенной температуры разговоры. А ты слушай меня, слушай. Скоро придет день, ты и захочешь меня послушать, а не услышишь.

15 ноября 2008 года. Ему можно выйти из дома. На прогулку он облачился в длинное кожаное американское пальто. Прележало у него в шкафу 15 лет, ни разу не надевал. Идем в аптеку, которую он предпочитает всем другим, там, по его мнению, меньше подделок. Идти квартал, пересечь две дороги. По пути он говорит, голос заглушается шумом машин. Разговор о Казани, о памятнике Державину, который там был снесен в советское время. Я напомнил ему мнение Пушкина о Державине, высказанное им в письме к Дельвигу. Он на это ответил:

– Пушкину до Державина далеко. Пушкин – такой салонный, офранцузенный мальчик. Легкие, гладкие стишки. Все сказочки писал. Мне он совершенно неинтересен и никогда интересен не был. Французское влияние – это был неправильный путь. Они там у себя все уже сделали, зачем повторять. Русский язык грубый, как и немецкий, для нежностей и изящностей, знаешь, не годен. Державин – другое дело. Державин первый в русской литературе ввел живопись. И он шел от русского языка. Гоголь полностью от Державина, вся его живопись. От Пушкина у Гоголя ничего. Потом, через сто лет, от Державина и Гоголя – футуристы. Платонов последний – кто от Гоголя. А за Пушкиным из больших писателей никто не пошел. У Пушкина последователей нет.

Гоголь уже в 20 лет был зрелый писатель. А Рембо так и в 16-ть. Сейчас такое невозможно. Я стал зрело писать в 23. Но со мной сравнивать нельзя. Со мной сравнивать, знаешь, все равно, что с Гоголем.

Мы шли очень медленно, ему трудно было передвигаться в тяжелом кожаном пальто. Он часто останавливался у разложенных на тротуаре товаров, подолгу разглядывая, что продают уличные торговки. Наконец, добрались до аптеки и купили нужные лекарства.

– Чуковский пройдоха, – заметил он по поводу воспоминаний о Блоке. – С кем он только ни дружил, со всеми, где пахло знаменитостью. Всегда держал нос по ветру, он же журналист. Приспособленец. Выжил при всех режимах. На Чуковского один известный английский писатель подал в суд, за то, что тот украл у него эту сказочку для детей "Доктор Айболит". Чуковский же хорошо знал английский язык. Его перевод Уитмена – отличный перевод, во всяком случае, лучшего перевода Уитмена на русском нет.

12 декабря 2008 года. Опять в аптеку. По дороге он говорил о своих встречах с Ахматовой и Бродским.

– С Ахматовой знакомиться мне не было нужды, – сказал он. – Как поэт она мне была неинтересна. Я с ней только один раз встретился. Нас познакомили в Комарове, в столовой. Еще та, старая, деревянная столовая, круглые столы. Я озирался, ища свободное место. Ахматова заметила это и пригласила за свой стол. Толстая, нос такой крючковатый, ужасный, как клюв. Стала мне рассказывать, что она только что из Италии, что слышала в Италии много обо мне хорошего. Я так и не понял, откуда у нее эти слухи.

С Бродским мы встретились у Лили Брик, это было, кажется, до его деревенской ссылки, а не после. На даче в Переделкино. У Лили Брик была половина дома, а на другой половине жил Всеволод Иванов, автор знаменитого "Бронепоезда". Пьеса по этой повести шла во всех советских театрах. Он на этом бронепоезде и пролетел по советской литературе. У него сын Вячеслав Иванов, тогда уже известный ученый, лингвист, потом он стал академик. Вячеслав Иванов очень любил

Бродского и превозносил его как поэта. Вот и пригласил его к себе читать стихи перед избранным обществом ценителей. Со своей половины дома пришли Лиля Брик и Роман Якобсон, который как раз приехал из Америки к Лиле в гости. Бродский читал сильно, но невнятно, с причитаниями. Закрыв лицо руками, завывал, почти истерика, пот градом. Вячеслав Иванов был в восторге от его чтения и спросил Лиллю: "Ну как? Правда ведь, прекрасно? Прекрасный поэт?" А Лиля ему ответила: "Да. Читает как раввин. Ничего непонятно". Иванов страшно обиделся. После чего Лиля попросила меня почитать свое. Сказала Бродскому: "Иосиф Александрович, принесите стул, теперь нам почитает свои стихи Виктор Александрович". Бродский принес мне стул. Он тогда не был таким надменным, каким стал после. Потом мы еще несколько раз случайно встречались в Ленинграде. Один раз в распивочной на Невском. Пьяницей он не был, он себя глушил крепчайшим кофе, каждый день десятки чашек. Он был кофеман, и ходил постоянно на взводе, в жутком возбуждении, комок нервов, весь трясся, руки дрожат, ходуном ходят. Из-за кофе и сдох, разрушил сердце. В пятьдесят лет он уже выглядел как дряхлый старик, все лицо в глубоких морщинах. Когда я последний раз был в Америке, он хотел организовать мне прием и выступление, но не получилось, и он не приехал. Мы ведь друзьями никогда не были.

26 декабря 2008 года. На столе у него еловые ветви в вазе. Идем прогуляться. Тот же путь в аптеку. Снег, ветер. Он рассказывает:

– С Асеевым у меня размолвка произошла так. Я был в Москве с Майей Борисовой. В ресторане к нам подошел поэт Смеляков и пригласил на свое пятидесятилетие. Он отмечал тут же в ресторане, в другом зале. Мы пошли. Я сильно нахлестался. Нам надо было на вокзал, на поезд. Я обещал Асееву перед поездом зайти к нему на час. Но я не мог себе позволить прийти к нему пьяный. Мне надо было позвонить ему с вокзала. Я не позвонил. Надо было хотя бы позвонить из Ленинграда и извиниться. Я и этого не сделал. Он прислал мне гневное ругательное письмо, где обрушил на меня громы. Нашел, мол, с кем пить водку: с какими-то ничтожными поэтишками и пьяницами. После этого я уже не мог продолжать с ним отношения. А в июле он умер. Старик, конечно, обиделся. Его можно понять. Три года вкладывал в меня всю душу и не хотел с кем бы то ни было делить. Лиля Брик говорила мне: "А Вы знаете, ваш шеф Вас очень ревнует".

Не доходя аптеки, мы опять остановились у старушек, продающих разную домашнюю снедь, его привлекла квашеная капуста. Он сказал мне:

– Напиши в своих мемуарах, какой я хозяйственный. Когда я сюда подхожу, старушки, увидев меня, кричат "Аллилуйя!".

СРЕДЫ



Виктор Соснора и его Лито в ДК им.А.Д.Цюрупы

В первом ряду слева направо – Александр Ильенен, Вячеслав Овсянников,

Виктор Соснора, Анджей Иконников–Галицкий.

В заднем ряду стоят – Лариса Барахтина, Андрей Мельников, Евгений Антипов,

имя неустановленно, имя неустановленно, Елена Кленова (Новикова),

имя неустановленно, Дмитрий Голынка. Лежат – на переднем плане, имя не установлено,

слева – Маргарита Кряжева, справа – Владислав Кузнецов.

Фотография 1988 года.

Ленинград. 11 сентября 1978 года. В среду в семь вечера я пришел на занятие Лито в Доме культуры имени Цюрупы, на Обводном канале. Руководитель Виктор Соснора. Он сидит за столом, ему лет сорок, черные, густые волосы до плеч, вороново крыло. Глаза внимательные, зоркие. На этот день он назначил обсуждение моих стихов. Я прочитал. После перекура – обсуждение. На меня обрушилась критика членов Лито, резкая, злоязычная. Соснора, наконец, прервал словопрения, поднял перст:

– Ну, кажется, вы все, кто только хотел, имели полную возможность наговориться. Теперь и я скажу несколько слов. Вы знаете, чем прославился Лермонтов в Петербурге? Стихами на смерть Пушкина? Нет, тут вы глубоко ошибаетесь. Кого тогда можно было удивить стихами? Да и стихи-то его были так, дрянь. Как у всех. Это он потом развернулся. А тут, ну молокосос, гусар, ничем не примечателен. Молчун. Устроится где-нибудь в уголке и что-то там втихаря делает. Подходят, смотрят: батюшки! А он кочергу в узел завязал и обратно разгибает. Вот и прославился. Не каждый же может кочергу, как галстук на бал, завязывать. Так и стихи. Они должны быть такими, какие никто, кроме тебя, написать не может. И я думаю, – Соснора обратился ко мне, – у вас есть это свойство. Немного, но есть. И это самое ценное и важное, что может услышать о своих стихах начинающий автор. Вы уж мне поверьте. Я старый волк. Я, как говорится, зубы на этом съел. Но мне кажется, – он посмотрел мне прямо в глаза своим твердым, пронизательным взглядом, – что форма стиха вас тяготит, вы в ней не чувствуете себя свободно. Вам в ней тесно. Я бы посоветовал попробовать себя в прозе. Или, по крайней мере, перейти на верлибр. Но, может быть, я и ошибаюсь.

Ухожу окрыленный. Соснора взял меня в свое Лито. Занятия по средам. Сказал, что мне не помешает кое-чему поучиться и послушать, что тут говорят.

23 октября 1978 года. Среда. Занятие Лито. Сегодня гость из Польши, теоретик лингвистической школы. Разговор о великой польской поэзии, о поэте Карповиче. Карпович – это польский Джойс. Математическая мистика. Цель такой поэзии – с математической точностью дать многозначность идеи, интерпретаций. Учесть, по возможности, все лингвистические значения слова и психические его интерпретации у читателей, а также всю бездну приращенных, переносных, контекстных значений-символов. И так далее. Поляк-лингвист, светловолосый, высокий, в костюме, с галстуком, ораторствовал часа два. Его ученая речь всех нас утомила. Соснора, резюмируя, сказал:

– В общем – жуть. Тайна за семьюдесятью семью печатями. Вещь в себе, постижима только десятком самых высоких математических интеллектов. Зачем? Для чего? Поэзия математики? Но, извините, у нас тут не математическая школа и мы не занимаемся теориями. У нас тут исключительно практика. Практика писания стихов.

30 октября 1978 года. Среда. Опять гость, теперь венгр, приятный молодой человек, преподаватель венгерской истории в ЛГУ, филолог и критик. Этот рассказал нам о мироотсутствии, тишине и человеческой цельности, об умолчании, о том, что наша жизнь – это смерть. Наша цельность и гармония, жизнь в лоне матери природы – это ничто иное, как – тишина, молчание, смерть. Возвращение к цельности у художников – самоубийство, прекращение писать, навсегда или на время, умолчание в стихах, отсутствие заглавий, начал, концовок, тема тишины. Мандельштам, Пастернак, Заболоцкий.

Соснора слушал эту не очень веселую речь совершенно бесстрастно.

– Благодарим вас за глубоко содержательную лекцию, – с поклоном головы сказал он венгру. – Тема актуальна. Могильные мотивы у нас процветают; можно сказать, махровым цветом цветут в нашем поэтическом творчестве. Вы навесили на всех нас похоронное настроение, которого тут и так достаточно. Я говорю – о стихах. На язык – они сама свирепость, зубастость, энергия так и брызжет, а в стихах – всё равно, что дохлые кошки, кладбище, мертвая тишина, хоть бы одна строчка живая для разнообразия шевельнулась.

8 ноября 1978 года. Среда. Обсуждали стихи молодого поэта Б. Соснора сказал ему:

– Ты разболтался. Сделаешь одну строчку, а на всем остальном стихотворении почитаешь, как на лаврах. Вот тебе пример из "Войны и мира": на две страницы описание Кутузова, его слепого глаза и изуродованной руки. Ужасное описание, а блестяще, и красиво, и точно. Или описание, совершенно жуткое, Наташи Ростовской: потное тело, рубашка и еще там что-то. Б-р-р... а ты вот, не в пример Толстому, постоянно сбиваешься на сентименты. Семьдесят процентов сентиментов. У Пушкина – ни одного. У Блока немного, виновата его школа. Дело вкуса, но мне это абсолютно чуждо. Не терплю «Бедную Лизу» и вообще всего Карамзина. Вот «Вертер» – совсем другое. Это же Гёте открыл сентиментализм, но не плаксивый и хилый, а как дерзкую, боевую игру и удар могучему тогда классицизму /де Лиль, золото и слоновая кость/. А тут, на тебе, Вертер – этакий здоровенный детина восемьдесят два кг, с толстенными ляжками и с миленьким цветочком в руке. Гёте – профессиональный живописец, и сам иллюстрировал свою книгу.

У нас нет понимания стиха. Вся наша истинная теория стиха /структурализм/, уехали на Запад, в революцию и после. Кто у нас имена? Луговской – эпигон Гумилева. Тихонов – истинный поэт. Тематически от Гумилева, формально – от Хлебникова. Поэты того времени, и русские и западные /Аполлинер/, все от Хлебникова, под сильным его влиянием. "Лакеи качали в бокалы коньяк...". Да слышите вы хоть что-нибудь в стихе? Ведь тут пять К и семь А и Я! Отлично знали стихотворное дело старые мастера: уже упомянутый Тихонов, Кирсанов, Тарковский. Неплохо знали: Симонов, Твардовский, Слуцкий. Посредственно – мое поколение. И совсем не знают – сейчас, так называемые "молодые".

Стихотворение написано – и смотришь на него трезво: что в нем говно, а что – алмазное зернышко. Вот зернышко и развивать. Подумать: как и куда. Веер вариантов. Кому какое дело, что надо тебе, человеку? Ты смотри: что надо стихотворению, вот этому самому. Если передержал текст, охладел, уже не пробиться к его пониманию, его смысл не почувствовать и, значит, ничего не сделать.

Но главная ваша беда: все вы боитесь жизни, и ваши стихи безжизненны, абстрактны. А нужно зарабатывать себе на хлеб любым удобным трудом, а не писательством. У каждого свой неповторимый опыт – об этом и писать. Наш великий и единственный абстракционист в поэзии – Баратынский. Не советую подражать его стихам, он один такой. А для чего вы пишете стихи? Или – для кого? Для людей? Художник не для людей пишет. Художник – вампир: всё у людей берет и ничего им не дает, а дает только художникам. Как видите, в искусстве происходит с точностью до наоборот, чем вы полагали до сей минуты. Вот, говорят: Гоголевская Россия. А Гоголь только написал себя, свои фантазмагорические видения России, а реальной России никакой не знал.

14 апреля 1979 года. Соснора пригласил меня к себе домой, поработать над моей рукописью. Он живет на улице Росси, комната в коммунальной квартире. В этот же доме хореографическое училище. Поднимаюсь на четвертый этаж, окно, колодец двора. На уровне окна сукастый клен, еще голый, ствол блестит на солнце, почки набухли. Соснора в светлой рубашке, в джинсах с ремешком, стройный, тонкий, как юноша, черные, волнистые волосы до плеч, предложил сразу сесть за стол и заняться моими стихами.

– Не будем терять время, – сказал он. – Я вижу, ты горишь нетерпением.

Сидим за столом друг подле друга, он берет лист, читает, отмечая карандашом или зачеркивая. Две строчки вызвали его иронию. Подперев ладонью голову в мрачном ореоле своих вороньих волос, язвительно с боку взглянул на меня, губы изогнуты в тонкой усмешке:

– Ты тут пишешь о мировой тоске, мучительной меланхолии... Это кто? Ты, что ли? Дурь жуткая. Брось ты это, все эти мировые скорби. Я тебе уже говорил: осмелся быть самим собой. Отличаешься же ты чем-то от других. Селезня, например, не путаешь с уткой. Какой у него галстучек повязан! Изумрудный бархат! Верх эстетства! Да видел ли ты когда-нибудь селезня? Или ты так занят собой, что тебе, бедолаге, и времени-то нет посмотреть вокруг себя? Слушай, а, может, ты слепой? – продолжал он надо мной насмехаться. – Ты меня-то сейчас видишь? А вот этот карандаш с искоркой на грифеле? Какой он замечательный, ни на один в мире карандаш не похожий.

Пересмотрев всю рукопись и отложив отдельно то, что считал удачным или над чем еще можно поработать, в заключение сказал:

– Ну, что ж, результат неплохой. Я доволен. Есть несколько первоклассных стихотворений, они чистые, ясные, графически точные. От «Столбцов» Заболоцкого. Ориентир верный. Должно быть, тебе это созвучно. Заболоцкий – великий русский поэт. Но теперь из этого нужно сделать книгу, довести всё до нужного уровня, что-то еще дописать, создать какой-то сюжет. Надо попробовать. У тебя может получиться хорошая книжка стихов. Что ты теряешь? А то пройдет настроение, ситуация, и книги уже не выйдет. Ты совершил для себя открытие, и это может быть книгой стихов одного приема. Прием известный, но все дело в том, как это выразится, в какой оригинальной форме. А я вижу, оригинальность у тебя есть: свой особый ультрапримитивизм. Может получиться замечательное новое явление. Попадают стихи совсем необычные, странные, иногда просто фантастические. Это у тебя от обериутов, может быть, не столько от Заболоцкого, а – Хармс, Введенский. Прием этот, или другими словами, метод в русской поэзии совсем неизбит. Метод этот – такое определенное мировоззрение. В годы НЭПа он был очень как раз, но и сейчас тоже может сыграть по-своему, в иной форме.

Воодушевленный его высказыванием о моих стихах, я собрался уходить. Соснора сказал, что ему тоже надо выйти. Он надел куртку и мы пошли. Он проводил меня до Невского и там мы расстались.

18 декабря 1979 года. Среда. Последнее в этом году занятие. Соснора в красной рубашке, сидит, откинувшись на спинку кресла. Мы перед ним полукругом на стульях. У нас новичок, высокий, красивый, каштановые кудри до плеч, архитектор. Читает свои стихи, уныло завывая, в надрыв. Голос мелодичный, нежный. Кончив читать, с гордым видом отвернулся, смотрит в сторону, как будто ему совершенно безразлично, что о нем будут говорить. Самовлюбленный, Нарцисс.

Соснора колко–иронично взглянул на него:

– Послушайте, вам никто не говорил, что вы плакса? – неожиданно спросил он.

Каштановокудрый красавец повернулся, лицо бледное, губы дрожат, вид оскорбленный.

– Да вы не обижайтесь, – продолжает Соснора, – это же вам на пользу. В том-то и беда, что никто вам еще не говорил правду: что вы, собственно, ничто иное, как плакса. А если бы вы это знали, вы бы постарались это недостойное мужчины качество поскорее в себе изжить. Ну, сами послушайте, что вы тут пишете, – Соснора взял лист со стихами и подчеркнуто уныло прочитал:

Ах, у дорической колонны

Стою, зачем, не знаю сам,

И дождь струится монотонный,

И слезы льются по щекам.

– А вот еще перл слезоточивости, – он взял другой лист:

Ты ушла сегодня ночью

И сказала: навсегда.

Наша повесть – многоточье,

Слез ревнивая вода.

Стали мы с тобой прощаться,

Я тебя не удержал.

Я готов был разрыдаться,

Как бетховенский хорал.

– Ну и так далее, в том же водяном духе, – заключил Соснора саркастически. – Уж насколько я крепок, из меня, можно сказать, кувалдой слезу не выбьешь, а и то, как прослушал ваши стихи, чувствую, превращаюсь в такую одно злую страшную слезищу. Ну, ладно, вы такой любитель поплакать, это, в конце концов, ваше дело. У каждого свой вкус. Но вы бы хоть нас пожалели. Вы же на нас обрушили, можно сказать, целый библейский потоп. Вы посмотрите, мы же тут все захлебываемся. Сейчас утонем все до одного. А ведь у нас вон сколько красивых девушек. Их-то хоть пожалейте.

Поэт сидит красный, совершенно уничтоженный. Жалко на него смотреть. Куда делась его спесь.

Соснора продолжает:

– Нет, я вам удивляюсь: высокий, статный, сильный. Плечи-то, вон – загляденье. Развернуть по-настоящему – так ведь орел. Только женщин с ума сводить. А посмотрите на себя: сидите, сутулитесь, и стихи еще такие пишете. До какой тоски вы сами себя довели. Вот что: я бы вам посоветовал каким-нибудь спортом заняться. Я так вот, например, был в свое время известный прыгун с трамплина, мастер лыжных прыжков.

Поэт пытается возразить, говорит, что он тоже мастер спорта по легкой атлетике.

– Ну, тем более, тем более, – воскликнул Соснора. – Тогда, убей меня бог, не понимаю, почему же вы такие безжизненные стихи пишете? Зачем вам представлять себя таким анемичным и хилым? Что вы, импотент, что ли? Не поверю. Крепкий, здоровый, молодой человек, во цвете лет. Только жизни радоваться. Короче говоря, всю эту тоску вы выдумали и сами на себя наклепали. Все это неправда. Эти слезливые настроения годятся только для стариков, а вашему возрасту это несвойственно. Это ложь. Поэтому я могу позволить себе предположение, что вы себя сознательно оклеветали и пытались нас, простосердечных, ввести в заблуждение. Но ничего у вас не вышло. Потому что я-то не так простодушен, каким я, может быть, вам показался, – Соснора иронически усмехнулся. – Нет, вы только вспомните, как там у Маяковского:

У меня в душе ни одного седого волоса,
и старческой нежности нет в ней!
Мир огромив мощью голоса,
иду – красивый,
двадцатидвухлетний.

– Вот! В самую точку. Так и должно быть у молодого человека, как вы. А если уж приспичит рыдать, так вспомните, как это Пастернак делал. Он же ревел, как бык! Жуть! В общем, я вам скажу: творчество – это жестокий отбор. То, что вам слишком нравится, это как раз и выбросить. А то, ох, как вы себя любите, как вы себе нравитесь! Напишите стихотворение и любуетесь. Час любуетесь, месяц, год. А стихотворение-то, как взглянуть трезвым взглядом, – дрянь. Дряни в мире очень много, но есть и прекрасные чувственные вещи, которые можно пощупать, отобразить, сделать. А больше всего дряни в себе.

– Ну, на сегодня хватит! – заключил свою речь Соснора. – Может, вы что-то хотите сказать? Ваше последнее слово? – обратился он к поэту.

Но тому, бедному, сказать нечего, он только шепчет что-то нечленораздельное, должно быть, благодарит за этот жестокий урок.

10 февраля 1980 года. Среда. Семь вечера. Занятие Лито. Соснора в черном, рубашка с закрытым воротом под подбородок, как скафандр.

Поэт Владислав Кузнецов прочитал свои новые стихи. Соснора особо отметил две его строчки:

Я изнутри смотрю в окно-экран,
Мне холодно. Мне завтра двадцать три.

Надо же! "Мне холодно. Мне завтра двадцать три"! Это же гениальная строчка! Верно сказано! Ох, как верно! – Соснора помолчал. – Вот еще у тебя тут:

Кому нужны глаза моей жены?

И я их рву на белые квадраты.

Мир гол, как Лир.

Желанье жить на свете белом.

– Хорошо, – сказал он в заключение. – Ты делаешь успехи. У меня тоже успехи есть. В следующую среду прочитаю вам свою поэму "К морю".

14 мая 1980 года. Нас собралось больше обычного, зимой многие болели. Шум, гам, не хватает стульев, несут из соседнего помещения. Соснора за столом, достал из своего желтого портфеля журнал учета занятий и что-то там отмечает. Наконец он объявил:

– Сегодня обсуждения стихов не будет. Хватит. Вон как славно мы потрудились за год: настроили горы! У меня другое предложение: не съездить ли нам в Эстонию? Нужна живая работа. А то вы совсем за зиму закисло, как маринованные мухоморы. Ну что у вас за жизнь? Толдычим друг другу без конца стихи, каждую неделю одно и то же. Скука смертная! Да от этого зарезанным поросенком завизжать можно! И что вы все такие скучные? Можно подумать, что вы семидесятилетние старики и старухи. А ведь, если посмотреть, средний возраст нашего тесно сплоченного литературного объединения, вместе со мной, не превышает восемнадцати лет. Вот тебе, Василий, сколько лет? – обратился он к гераклоподобному бородатому парню. – Судя по стихам, которые ты пишешь, ну, от силу четырнадцать. Да что я говорю – лет пять! Ты, можно сказать, еще из младенческого возраста не вышел. Нет, на самом деле, надо нам кровь разогнать. Мой друг, известный эстонский поэт, приглашает нас в Таллин. Будем выступать со своими стихами перед эстонским народом. Я ничуть не сомневаюсь, что вы там произведете настоящий фурор. Зал залется слезами. Только вот они по-русски не хрена не кумекают. А вы по-эстонски – ни бум-бум. Но для понимания поэзии это, в конце концов, и не обязательно. Даже наоборот: непонимание-то и лучше. Как Есенин выступал в Америке? Что он, английский знал? Да ни полслова. Вышел на сцену, в цилиндре, во фраке, и давай шпарить на самом кровном русском, рязанском, с жаргоном, с матом. Голос звенит! Гений, медиум! Воет безумным голосом, шаман, азиат, комок нервов, слезы текут по щекам ручьями. Да он весь зал в неистовство привел. Это американцев-то! Плакали, как дети. Потом благодарили: никогда они такого блаженства не испытывали. Да что Есенин. Вот перед вами самый живой пример, живей живого, – Соснора ткнул пальцем себе в грудь.

– Вы ведь, наверно, даже не осознаете, какое счастье вам выпало: лицеизреть меня, каждую неделю, с такой, прямо скажем, доступной дистанции! А ведь многие почитают за великий дар судьбы хоть глазком на меня взглянуть. Едут с другого конца земного шара, посмотрят, и уж потом живут всю жизнь в сиянии моих лучей где-нибудь там в своей Японии или Австралии. А вы, я вижу, ничуть не цените свое счастье.

Так вот, к чему я? Да. Так, значит, в юные годы я всю Европу и Азию исколесил, не сидел сиднем, как вы. Помню: в Москве, в Лужниках, стадион. Народу – тьма. Выступать мы должны втроем: Вознесенский, Евтушенко и я. Тогда я еще с ними водился. Ну, те, сами знаете, горлом брали. Вознесенский стал руками размахивать, кричит: "Я – Гойя! Я – Гойя!". Никто так и не понял, почему это он Гойя. Но рукоплескали шумно. Потом вышел Евтушенко. Встал. Лицо напряженное, мускулы, кулаки сжаты, рычит в микрофон: "Ты говорила шепотом – а что потом? А что потом?.." Весь стадион оглушил. Ну, думаю, я-то чем этих двоих переплону? Сел посреди стадиона, как Садко, положил перед собой гусли. С одной струной. А струна-то толщиной с корабельный канат! Сам мастерил. Ну уж я и заиграл! Ну уж я и запел! Вы бы только слышали! На стадионе происходило что-то невообразимое. Буря, ураган! Ликование и безумие! Вот ведь как искусство действует на массы. А вы не хотите в Таллин ехать, упираетесь. Я вас еще уговаривать должен.

После этой его блистательной речи мы все спустились в буфет, заказали сок и пирожные. Там за столиками обсудили предстоящее через два дня выступление нашего Лито здесь, в Доме Культуры. А потом уж решим о поездке в Эстонию. Проводили Соснору до Техноложки. У метро расстались.

17 мая 1980 года. Суббота. Наше выступление. В большом зале ДК, в 19 часов. Читали стихи со сцены. В зале народу не густо. Но хлопали бурно. Снаружи у входа в ДК была предварительно наклеена афиша, вот ее содержание:

Дом культуры им. А.Д.Цюрупы. Навстречу 2 Всесоюзному фестивалю самодеятельного творчества. Суббота, 17 мая 1980г. Поэт Виктор Соснора представляет молодых участников Литературного объединения ЛПО "Красный треугольник": Анвара Абдураимова, Романа Арона, Ларису Володимирову, Татьяну Вольскую, Ирину Губанову, Петра Долженкова, Валерия Дымшица, Андрея Иконникова, Татьяну Кауфман, Алексея Любегина, Вячеслава Овсянникова, Марию Ордынскую, Татьяну Савельеву, Аллу Смирнову, Сергея Степанова, Марию Трофимчик.

27 мая 1980 года. Еще одно выступление нашего Лито, теперь в Доме писателей на ул. Воинова. Читали перед немногочисленной аудиторией. В огромном зале всего человек двадцать, в ДК Цюрупы было в три раза больше. Соснора всех нас представил. Обо мне сказал: "Очень интересно работает в своей особой узкой области – в ультрапримитивизме. Вполне состоявшийся поэт. Давно пора печатать". Еще он выделил Алексея Любегина и Анвара Абдураимова.

7 января 1982 года. После долгого перерыва возобновились занятия Лито. Соснора вышел из больницы. Летом 1981 года в Эстонии с ним стряслась беда, перенес клиническую смерть. Тяжелейшая операция. Потерял слух. Полгода пролежал в больнице в Тарту. Потом лечение в Ленинграде. Его не узнать, так он изменился. Перед нами дряхлый семидесятилетний старик, седой как лунь, кожа да кости, глухой, безголосый, лицо в морщинах. Ужасная перемена. И все-таки это он, Соснора, его внимательные, цепкие глаза, его юмор. Пошутил:

– Это Тот молнию в меня пустил! – показал перстом вверх. – Чем-то я ему не угодил. Видите, как обуглился. Ничего. Унынию я не поддаюсь, меня не так-то легко сломить. Я стальной. Еще крепче стал. Всё заново чувствую и заново учусь жить. Жизнь после смерти – сверхъестественная роскошь!

Достав из кармана пачку сигарет, закурил, пустил дым в потолок, изящно изогнув руку с горячей сигаретой, посмотрел на нас пронизательным взглядом.

– Ну, что, много настрочили, пока я валялся в больнице? Каждый, наверное, по десять томов накатал и всем вам теперь не терпится прочесть мне свои гениальные сочинения. Кто первый? Я готов слушать ваши шедевры. Вот только услышу ли я хоть строчку, не знаю, – он показал на ухо, в котором белел пробкой слуховой аппарат.

Мы все смущенно молчали, никто не отозвался на его призыв.

– Ну, хорошо, – сказал Соснора, – раз вы не хотите читать свои стихи, то настаивать я не буду. Я вижу, вы так напуганы моим воскресением из мертвых, что у вас даже язык отнялся. Это настолько на вас непохоже, что можно назвать евангельским чудом. Ладно. Тогда мы сегодня просто так поболтаем. Задавайте вопросы, я буду отвечать.

Мы задавали вопросы, он отвечал:

– Хлебников – высший поэт. Поэт из поэтов. У других гениев /Пушкин, Блок/ есть выходы к человеческому /женщины, вино/, а у Хлебникова – нет. У него выше людского, божественное, за чертой людских страстей. После книг Хлебникова невозможно читать дрянь. Узнаешь чисто русское, славянское, и как же оно странно смотрится и слышится после привычки к нерусской поэтике и языку от Пушкина до Блока.

Ум в литературе – последнее дело. Оригинальность всегда насмехается над умом. Серьезный, умный, в конечном счете оказывается дурак. Пример: Лев Толстой.

Вот послушайте, как у Блока, – он продекламировал:

И перья страуса склоненные
В моем качаются мозгу,
И очи синие, бездонные,
Цветут на дальнем берегу.

Эта строфа – центр, главное в «Незнакомке». И еще: важна интонация стиха. Есть интонация фраз, строк, слов, слогов, даже фонем. У буквы Д, например, сколько звучаний, полутонов? Ну-ка, посчитайте! Тысяча! До футуристов – запрещенные Ш, Щ и прочие шипящие. Запрет в русской поэзии на Ц. Только у меня первого так равноправно Ц:

Он принц принципиальных пьяниц,
ему венец из ценных роз,
Куда плывешь, венецианец,
в гондолах собственных галош...

Пикассо и Анри Руссо равны. Но один широк, универсален, другой – узок. Скажем, два ювелира: один гранит все камни, другой – только алмазы.

Примитивизм хорош как стиль, но в нем нет надрыва, трагизма, эротики.

В искусстве нет места нежностям, Сам сентиментализм /»Вертер», «Бедная Лиза»/ жесток. Искусство жестоко. У Пушкина всё какое-то безумие, весь он безумен и зол. Этот безумный "Медный Всадник", "Бесы", "Анчар". Проблемы ставятся и решаются самым жестким, злым, беспощадным и безжалостным способом. Нет разнеженности, нет никаких слюней.

Да, Достоевский – вот у кого слюней предостаточно. Но у него есть и другое, то, что я говорил сейчас о Пушкине.

Пушкин – самый живой русский поэт, такой ртутный, блестящий, так и движется, и туда и сюда, так и хватает всё, что ново, что ярко, что интересно – чтобы у себя использовать, исчерпать и создать своё. Поглотил даже великого Жуковского!

Таков и Пикассо. У художника глаз хищный. Увидел чью-то картину, что-то в мире для себя новое, и использовал, пустил в работу, развернул в серию полотен, исчерпал этот мотив, эту тему. И той картины нет, поглощена этим гением, его жуткой гениальностью, исчезла. Да с Пикассо невозможно было общаться, это же чудовище! Глаза дикие, безумные, так и зыркают, так и засасывают всё, что ни попадется, как водовороты. Попробуй к такому приблизиться поговорить о погоде и прочих милых вещах. Глядишь – а тебя уже и нет, как не

бывало на свете. А он только еще больше раздулся и опять по сторонам зыркает. Вот тебе и бессмертие. Так что нужна большая сила, чтобы сохранить себя рядом с таким, нужно иметь нечто непоглощаемое.

Сам я – антиреалист. Я антиреалист во всем, но антиреалист, паразитирующий на реальности: беру из нее всё интересное, забавное, оригинальное, странное, и весь этот диковинный материал использую как декорации для своего, строю из этого свои свободные вещи, свои миры.

Я вам и говорю: братъ, братъ и братъ! Похищать отовсюду, откуда только можно, самое лучшее, высшее – из книг, из жизни, и внутри, и вне. Художник – это умный вор: берет из сейфа только главные драгоценности, а прочее оставляет. Чем сильнее талант, тем он оригинальней и парадоксальней. Это его естественное состояние.

Вот парадокс: остаются какие-то, неизвестные поначалу, народные мастера, примитив. У них есть своё. И исчезают писатели высшей культуры, культуристы. Ничего у них нет, одна только культура, ученые мантии и фальшивые короны. Поль Валери, Рильке.

24 февраля 1982 года. Творческий вечер нашего Лито. Снаружи Дома культуры гигантская афиша, на ней напечатано разноцветными и разноформатными буквами:

Навстречу 60-летию образования СССР

«... поэзия – это мысль человека, достигающая величайшей силы».
Л.Арагон

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Приглашаем вас в нашу литературную гостиную на творческий вечер литературного объединения Дома культуры им.А.Д.Цюрупы.
Среда 24 февраля 1982 года.

На вечере свои стихи представляют:

Владимир Алексахин, Лариса Барахтина, Сергей Васильев,
Дмитрий Закс, Андрей Иконников–Галицкий, Вадим Лурье,
Вячеслав Овсянников, Виктория Работнова, Алла Смирнова,
Сергей Степанов, Мария Трофимчик, Елена Фомина.

Руководитель литературного объединения – Виктор Соснора.
Фойе Малого зала. Начало в 19 часов.

Соснора в начале вечера выступил перед публикой, сказав вкратце о работе Лито и о каждом из нас. Потом мы поочередно читали свои стихи. Нам хлопали. Вечер прошел успешно.

15 марта 1982 года. Сегодня на занятии Лито Соснора читал свою поэму «К морю». На тему русской истории, об императорах. Закономерность смертей русских царей в марте, смертей насильственных. В марте убит Павел Первый, в марте – Александр Второй, взрывом бомбы. Сравнение с Юлием Цезарем: его убийство тоже в этом роковом месяце. Мартовские иды. Рим – Петербург. Поэма трудная для восприятия на слух, сложная образность, метафоричность, стихи по форме чрезвычайно изощренные. Консонансные рифмы: груз – гильз, льют – львят. Обратные: сон – нос. Читал он с нажимом, с диктатом, голос глухой, хриплый, незвучный. А какой был мощный, как звенел год назад! Тем, прежним, стальным голосом он мог оглушать многотысячный зал. И вот, теперь – эта безголосость.

После занятия мы все пошли на квартиру к одной из наших девушек Маргарите, она живет тут недалеко, на Дровяной улице. Пили сухое вино. Соснора – сок. Алкоголя ему нельзя. Шутил по этому поводу:

– Гении пьют, но они не пьяницы. Гении пьют как боги. Боги – алкоголики, высшая каста пьющих. Вот, скажем, Анатолий Зверев. О, да! Этот – колосс! Жил как бог. Спал в мусорных баках. Зимой вместо шубы надевал на себя двадцать рубашек, хрустел ими, заледенелыми, как айсберг. Попробуй-ка с ним поговорить! Никакого общения с ним не получалось. Вне контактов с людьми. Небожитель. Недавно умер в Москве, пятьдесят пять лет. От пьянства? Если бы так просто можно было объяснить у таких. Было четверо известных Зверевых, художников. Нигде не учился, да и смешно, школа отца, поколение иконописцев в крови.

Вот я вам скажу: у вас порочный круг – вы не можете увидеть в себе своё. Да, бывает, что лучше бы никогда и не видеть. Такое иногда увидишь, что хоть топись. Лучше уж смотреть на других. Уставился и смотри. Да еще очки одень, а лучше бинокль или уж сразу телескоп – и разглядывай в свое удовольствие. Только вот могут и не понять ваших эстетических побуждений, подумают, что ненормальный, чего доброго и по морде саданут. Ну что делать? Тогда хоть книги смотрите, тоже ведь много интересного. Только вот беда: и книги-то вас пугают, у всех у вас страх книг. Вы же боитесь читать: а вдруг там окажется лучше, чем ваши гениальные произведения? Зачем же вам рисковать. А вдруг придется в себе разочароваться? Нет уж, ну их, эти книги! Лучше уж я буду читать исключительно только то, что сам я напишу. Так вы наверное рассуждаете, и я не могу не заметить в ваших рассуждениях вполне неоспоримую логику. Вот единственный из вас, – Соснора показал на меня, читатель высшего класса, не вам чета. Знаток книги, настоящий литературный босс. Да что говорить, в книгах он – тигр! Теперь с ним страшно иметь дело. А что он был до встречи со мной? Он же книги терпеть не мог, можно сказать, лютой ненавистью ненавидел. Вот ведь как я ему ум перевернул!

11 мая 1982 года. Был у Сосноры дома. Он живет на новом месте, на Ржевке, в однокомнатной квартире. Говорил о писательстве:

– Надо быть в контакте с жизнью, тогда и возникают живые слова, образы, сюжеты. Потом посмотришь, что написал, и видишь: в массе породы – золотая жилочка. Добывая эту золотую жилочку и выращивай во что-то, разрабатывай. А остальное естественно отбрасывается прочь. А лучше сжечь, чтобы и помину не было. Мертвечина. Так и только так получаются живые стихи и живая проза.

18 февраля 1983 года. Соснора назначил мне встречу в час дня в Книжной Лавке писателя. Я пришел раньше и разглядывал на стенах картинки с птицами и зверями, выставка анималиста Чарушина. Обернулся – Соснора. Идет ко мне, в тулупе, вязаная шерстяная шапка с козырьком, небрит, седая щетина на щеках, глаза внимательные, зоркие, в облике что-то воронье, вещей ворон. Пожал мне руку. В Книжной Лавке он накупил книг – тяжелая пачка, обернута в коричневую бумагу и перевязанная шпагатом. Я взял у него этот груз и нес весь путь. По Невскому, на Литейный. Оттепель, снег тает, льет с крыш. Яркое голубое небо, как весной. У него в ушах белеют слуховые аппараты. О встречах на улице он заметил: "Какие нереальные рыла!". Зашли перекусить в столовую, простояли в очереди четверть часа. Потом – в Дом писателей. Оттуда – в писательскую поликлинику, на Петроградскую сторону, улица Ленина. Там он громким голосом долго разговаривал с главврачом о своей болезни. Весь этот путь мы проделали пешком, через Летний Сад, Марсово Поле. Он сказал, что хочет купить "Запорожец" последнего выпуска. Надо беречь ноги. У этой машины с клювом есть лицо. А все другие – штамповка. Так он выразился. От поликлиники опять пешком к метро Горьковская. До Финляндского вокзала. Там на автобус номер 28, на Ржевку, до проспекта Ударников. По дороге он рассказывал, как он каждую весну бывал в Париже, пил на Мон Парнасе.

Приехали. Новостройка, пустыри, грязь. Поднялись на лифте на пятый этаж. На этот раз я лучше рассмотрел его квартиру. Прихожая, коридорчик, туалет, ванная, кухня. Комната, где он спит. Широкая двупальная кровать у стены справа. Стены в картинах в авангардистской манере: Грицюк, Кулаков, Шаповалов. Стеллажи с книгами, разные оригинальные вещицы и безделушки. На окне полузадернутые бархатные портьеры золотисто-желудевого цвета. На столе у окна пишущая машинка с вставленным чистым листом бумаги. У стены слева под картинами – диван с мягкой красной обивкой. В туалете над унитазом наклеено печатное письмо, адресованное ему, от его бывшего ученика Михаила Армалинского, эмигрировавшего в Америку. В письме весьма злые обвинения – о непризнании ученика учителем. По поводу этого письма Соснора сказал:

– Еще тот подонок. Его настоящая фамилия – Пельцман. Михаил Израэлевич. Сам понимаешь. Чистой воды графоман с претензиями на величие. Написал мерзкую книжонку о Пушкине и поднял шум на весь мир. Графоманы везде, что у нас, что у них на Западе, девяносто девять и девять десятых процентов всех пишущих. И у меня в Лито – полно. Сколько ни выгоняю, опять набираются. И лезут, и лезут.

По его просьбе я сходил в магазин, купил хлеба, конфет, сушеных яблок. Наконец, сели рядом на диване, и он стал смотреть мои стихи. Черкал карандашом. Штук пятнадцать остались чистыми, без поправок. В заключение заметил:

– Ты сделал большой шаг вперед. Стихи первоклассные. Так пишет, на таком уровне только один поэт в Ленинграде, Алексей Шельвах, единственный мой удавшийся ученик. Еще группа в Москве, называют себя концептуалистами. Нужно тебе с Шельвахом познакомиться, чтобы не быть одному. Тем более, что вы одного возраста. В Лито ребята не для тебя – они иные. Попробуй напечатать что-нибудь из этих стихов, как детские, в журнале "Искорка".

Потом показал мне книгу Асеева, воспоминания, где много о нем, о Сосноре. Пошутил:

– У Асеева собственно получилась книга воспоминаний только обо мне одном. Ну что-то о Пастернаке, о Заболоцком. Заболоцкий много пил под конец жизни. Однажды не выпускал меня три дня. Но чистюля был удивительный, держал в доме строгий порядок. А костюм носил старомодный, мешком.

Я собрался уходить. Соснора подарил мне свою книжку стихов «Кристалл», с надписью: "Славе – сегодня 18.2.83г. с пожеланиями". Попросил достать ему дверной замок, такой же, как у него на двери, который испортился. Он сколько ни искал, нигде нет. Может, такие перестали изготавливать, и в магазины не поступают.

– Видишь – золотой замок! – показал он мне.

Я посмотрел: замок действительно был изящный, из бронзы, под золото.

– Если ты найдешь, то это будет чудо, – заметил он, – и я поверю в твои чудесные способности.

19 октября 1983 года. В Доме культуры ремонт, штукатурка и маляры. Временно будем в другом помещении, там, где театральный кружок. Тут их реквизит, декорации, сценические костюмы, головные уборы. Соснора, сняв с вешалки высокий, лоснящийся глянец, бутафорский цилиндр Евгения Онегина, в шутку водрузил себе на голову.

– Ну как, чем не денди? – обратился он к нам. – Сам Чаадаев от зависти бы лопнул. А уж это был эстет! Английский лорд рядом с ним выглядел бы просто как жалкий цыпленок. Он и спать-то ложился этаким бритый, лошенный, в смокинге и в галстук бабочкой под самый подбородок. В своем роде артист. А что вы думаете? Зря вы не интересуетесь театром. Я вот у вас тоже, можно сказать, театр для одного героя. Надо уметь играть. Постоянно. Почитайте Евреинова. Ах, да! Я и забыл, что вы ничего не читаете, кроме себя. А жаль. Вы могли бы узнать много полезного. Игра дает человеку живость и легкость. А вы? Посмотрели бы на себя хоть раз! Вот, тут зеркало есть. Вы же ходите, как будто вас паралич разбил: глаза бессмысленные, в одну точку, руки – словно к ним по гире привесили. А, может, вы изображаете мумий? Или водолазов на дне моря? А, может, вы представляете себя этакими древнегреческими статуями работы Фидия? Вот вы и ходите так величаво и важно. Повернетесь боком, поднимете руку в грациозном жесте и застываете в такой позе, как Аполлон или Венера, чтобы вами любовались. И тут уж от вас ни слова не добьешься, стоите, и ни в зуб ногой. Час так передо мной стоите, два, три. Всё рассчитываете эффект произвести. Только вот беда: вы упускаете из виду, что я-то на статуи не падаю, и никакие красоты скульптур меня взволновать не могут, как их ни поворачивай, хоть анфас, хоть в профиль, хоть задом или на голову их ставь. Не взволнуюсь – и хоть меня режь. Ничего во мне нет от Пигмалиона. Так что девушки напрасно надеются, что я их начну оживлять всех подряд, как Галатей. Напра-а-сны их упования. Но в общем-то вы на верном пути. Почему бы нам, скажем, не создать немой театр. Будем изъясняться пантомимой. Я так уж совсем готов к этому, я уже и так глух, как пень, осталось только онеметь.

Шутки шутками, а если уж вы занялись этими делами, вам не помешало бы знать, что вся история искусства прямо-таки изобилует всевозможной игрой, розыгрышами, мистификацией. Возьмите любого мало-мальски стоящего художника, не говоря уж о великих. Что он прежде всего, как не артист, актер для созданной им самим роли в его театре? За примерами не надо далеко ходить. Елена Гуро, например, воображала, что ее умерший в детстве сын жив и растет, становится отроком, юношей и так далее. Она ему шила костюмы, обращалась к нему, разговаривала, праздновала день рождения, записывала якобы сочиненные им стихи, вела его дневник. Думаете, безумие матери? О нет! Как раз наоборот. Создав игру, она тем самым и отвела от себя постоянную сосредоточенность горя и спасла себя от безумия. Она же была художник, артист. А вот обыкновенный человек, с неповоротливым, неподвижным умом, в ее ситуации мог бы и действительно с ума сойти при подобной силе переживаний.

Что говорить. Все играли те или иные роли. Байрон – классический пример: какую он создал роль, какого героя! И как ему потом подражали! Повлиял на столетия! Все мужчины поголовно, от пятнадцати и до ста лет, стриглись, брились и одевались, и бросали женщин, как Байрон. А «Вертер» Гёте? Ведь Гёте своей тоненькой книжкой произвел, можно сказать, целую эпидемию самоубийств по всей Европе. Ведь он своим «Вертером» косил молодых людей направо и налево, опустошил европейские страны больше, чем все наполеоновские войны вместе взятые. Женщины должны ненавидеть Гёте, как самого заклятого своего врага и антихриста. Но глупо было бы обвинять художника в созданном им герое. Часто смешивают жизнь и искусство, а это абсолютно разные вещи, я бы даже сказал, противоположные. Это антиподы. Надо понять одно: искусство насквозь условно. Что художнику действительность? Только материал, из которого он создает целый веер воображаемых миров. Многие же принимают это за чистую монету, за реальное. И какие бывали в истории литературы феерические мистификации! «Песни Оссиана» Макферсона. Или «Песни западных славян» Мериме. Даже Пушкин обманулся, клюнул на удочку. А Гоголь – «Избранные места из переписки с друзьями». Сколько шума и какие лавины грязи обрушили на его бедную голову! И никто ведь не догадался, и тени мысли не мелькнуло, что это написал художник, а, значит, артист, что это ничто иное, как колоссальная мистификация.

Доходило до анекдотов. У Асеева был секретарь, молодой человек. Вот ему стало не хватать на жизнь, приходит к Асееву и говорит: дайте-ка мне тысячку-другую, у вас, должно быть, много накоплено, что вам стоит поделиться. Асеев на него глаза выкатил, ничего не понимает: я же вам плачу жалованье; ну могу, конечно, прибавить, в пределах разумного, но с какой стати я должен делиться с вами моими сбережениями? А тот отвечает: ну как же, вы же сами в стихотворении написали: "Еще за деньги люди держатся, но скоро этого не будет". Выходит, одно сплошное надувательство. А я-то думал. В самых лучших чувствах меня обманули. Обиделся очень и так и ушел, бедолага, без денег. Вот к чему приводит смешение понятий искусства и жизни. Искусство – одно, жизнь – это совсем другое. Есть две знаменитые формулы: "Живу, как пишу" и "Пишу, как живу". Но так, как это делается сознательно, то в обоих случаях все равно сводится к мистификации и театру. А вы выбирайте, что вам больше по душе.

Клюев, например, ходил в лаптях и косоворотке. А в своей городской квартире устроил избу: выложил изнутри бревнами, печку поставил, с лежанкой, валялся да квас попивал. А погулять выйдет, что, вы думаете, у него за пазухой? Канта с собой носил. Любого академика за пояс заткнул бы. Разве это не театр? Это он русский образ создавал.

Ведь жизнь, сама-то по себе, я вам скажу, нестерпимо скучна. Вот я и предлагаю вам стать гениальными артистами, а вы меня все понять не хотите. Впрочем, я думаю, у нас с вами ничего не получилось бы, кроме театра абсурда.

Соснора снял с головы картонный цилиндр и поставил на стол. Посмотрел на часы у себя на руке:

– О! уже половина десятого! А мы-то хотели обсудить стихи. Но теперь уже поздно, перенесем на следующий раз. Как Евгений, ты ничего не имеешь против? – обратился он к поэту, стихи которого мы собирались сегодня обсудить. – Или, может, нож уже наточил на меня и прячешь в кармане?

Евгений замахал руками, выразительно изобразив гримасой, как в пантомиме: нет, нет! Какой нож! Никакого ножа!

– Ну вот! – воскликнул Соснора, – я вижу, что моя многословная речь не пропала даром. Я уже вижу мои театральные принципы в действии. Только после такого затяжного монолога у меня совсем пересохло в горле. Кто бы сходил в буфет за бутылкой лимонада? Впрочем, пойдем все вместе, там и закончим наш весьма содержательный вечер.

8 декабря 1983 года. Был у Сосноры. Он обещал посмотреть мои новые стихи. Сидели в креслах друг напротив друга. Он сказал:

– Видишь ли, есть такое понятие как звукоряд. Вот у тебя тут, например, первая строка стихотворения, точное попадание в звук: "Гудит могучая торговля". Первая строка – звуковое задание всего дальнейшего стихотворения. По ней строишь звучание всего. Это слитно, в комплексе: и звук, и образ, и смысл. Выбираешь: куда двинуть. Веер вариантов. Надо понять: что нужно данному, конкретному стиху – тогда довести до конца. Это горячее состояние работы. Если передержал текст, охладел к нему – уже будет не пробиться к его смыслу.

У поэта чувство звука – это все равно, как абсолютный слух у музыканта: или есть, или нет.

Показал мне выписку из американской энциклопедии, где о нем статья на английском языке.

Попросил сопровождать его на почту, из-за глухоты ему трудно объясняться с людьми. На почте отправил перевод на 50 рублей в Таллин. Попросил сходить с ним в женское общежитие. Долго шли вдоль трамвайного пути. Уже было совсем темно. Он рассказал о своей службе в армии, служил в артиллерии, наводчик, отличный стрелок. По его просьбе я поднялся на второй этаж общежития, нашел нужную комнату и передал его письмо девушке. Он ждал снаружи на дворе.

22 декабря 1983 года. Сегодня Соснора повел нас в гости к художнику Эйно. Это его друг. По происхождению финн, псевдоним – Сирота. Живет на Петроградской стороне, недалеко от метро Горьковская, в коммуналке. Каморка квадратного вида, конура. Стены сплошь в картинах, в три яруса, как иконостас. Два табурета и койка в углу – вся мебель. Даже стола нет. Эйно невысокого роста, худой, горбоносый, волосы соломенного цвета до плеч, тело держит как-то очень прямо, лицо багровое, словно обожжено огнем, такие лица у сталеваров. Учился у Гурвича. Гурвич – ученик Филонова. Грубовато-простой, уверенный, говорил о себе скупое, неохотно. Нацелен на большое искусство, на гениальность, а иначе нечего и браться за кисть. Современную русскую живопись считает значительно сильнее западной. Рисовать начал поздно, в 25 лет. Окончил Мухинское училище. Сейчас ему сорок. Зарабатывает на хлеб, малюя вывески, плакаты и киноафиши. Нормальная нищая жизнь непризнанного художника. Мы разглядывали картины. Мне понравилась одна: женщина крупным планом сидит на подоконнике, смотрит в ночь, там – город, окна, как лоскутки какого-то огромного многоцветного ковра, и в каждом лоскутке – фигурка, сценка, жизнь. Эйно не любитель говорить о живописи, на вопросы отвечал скупое и угрюмое. Выше всех из художников для него Филонов.

Не обошлось без выпивки. Две поллитровки водки на всех. Эйно едва пригубил: сейчас идет работа, нельзя. Соснора тоже не пил. Все разошлись, кто куда. Я проводил Соснору до Финляндского вокзала, к метро. Оттепель, слякоть, лужи. Соснора говорил с ожесточением:

– Этот состав Лито пора разогнать. Собрались одни шизофреники. Ты заметил, какие у них у всех глаза? Как из дома сумасшедших. У всех поголовно поврежденная психика. У всех у них мания величия, а что же это еще, как не поврежденная психика. Собственно говоря, бездарности и графоманы и есть – шизофреники, и их жутко много. Все, кто не знает дела или плохо знает, нет умения, не мастер и не способен когда-либо им стать – всё это чернь. И чернь – девяносто процентов всех людей.

21 января 1984 года. Среда. Занятие Лито в нашей студии на шестом этаже. После ремонта тут еще не все убрано, в углу стоят испачканные известкой "козлы". Пахнет масляной краской. Я подошел к Сосноре поздороваться. Он сильно возбужден, спросил:

– Читал ты "Котлован" Платонова? Потрясающе! Убийство на убийстве. Жуть, абсурд. Платонов, конечно, гений. Я и сам-то давно не читал такую книгу из русских, думал, уж и не придется, а вот...

Началось занятие. Новичок странного вида, голова обрита наголо, как у черкеса. У Сосноры голова тоже наголо остриженная, он это всегда делает к Новому году. Получилась картина не без гротеска, как раз в

ведь твое назначение, твоя судьба. Так себя и ве́ди, это ведь твое естественное поведение. Если человек обыкновенный – принимай как должное и эту участь, не унижая своего природного достоинства. Найди правильное отношение к себе и с собой. А с другими – как можно меньше отношений, ограничить до минимума, только крайняя необходимость, когда что-то надо делать сообща, вот, как у нас, например, работа со стихом. Но главная-то жизнь, ее глубинное назначение, как ты думаешь, где, в чем? Это ведь жизнь частная, жизнь личности, жизнь внутри. Сплошь общественная жизнь – это же убийство жизни! Это кошмар из кошмаров! Толпа, масса! Душат друг друга, грызут, звериные маски. Личности нет и в помине. На земле прошли миллиарды людей без следа. А единицы из них: Гомер, Шекспир! Какую они оставили по себе память, какие отпечатки! Это же титаны! Но разве они – люди? Это боги, они от духа!

Соснора закурил, рука с сигаретой у него дрожала. Он продолжал речь с той же одержимостью:

– И что получается: единственная объективная ценность в конце-то концов – только творческая энергия и ее плоды. Что ж, человеческая жизнь творца может быть и дерьмо, как любая человеческая жизнь. Прочти у Пушкина: "Пока не требует поэта" и так далее. Но творчество само-то по себе – дело духовное. Оно идеально и прекрасно.

О да! Я нисколько не сомневаюсь: есть высший Некто или Нечто. Так сказать, Жизнь с большой буквы. И этот Он или Оно, как тебе больше нравится, закрутил землю, этот шарик, и вокруг оси и вокруг солнца. Зачем? Ведь для чего-то, а? Как ты думаешь? Может быть, и забыл – для чего, вон у Него – какая машина миров! Крутится там где-то кусочек говна и хрен с ним. И если посмотреть на таком фоне: что все герои? Их, героев – типов пять, не больше. А мещане вообще – один тип. Всё тут повторяется. Оригинальность мизерна, мелькает в массах, у мещан она призрачна. А истинная оригинальность – это только гений. Вот видишь: в так называемом творчестве ты – как сам бог! Полная свобода. И что, в конце концов, для художника жизнь житейская, богатство, власть, роскошь, удовольствия? Все это человеческое. Он вне этого, он живет на другом уровне.

Теперь посмотри на призвание жизни еще с такой стороны: может быть, жизнь – это испытание существ, на что они способны, как они себя ведут в тех или иных условиях, в пытках и соблазнах, в мощи и ничтожестве? Сохраняют ли свое природное достоинство или нет? Взгляни на себя: как ты выдержишь испытание жизнью, отклоняешься от своего назначения, для чего ты создан, или следуешь ему неколебимо? Отдаешь ли ты себе в этом отчет? Ведь Кто-то же устроил жизнь для испытания тварей? Это ничто иное, как испытание

закона жизни, данного твари, как заповедь, каждому в отдельности, в частности, как конкретная судьба – и одному, и племени, и народу, и всему множеству. А именно: испытание твоего личного достоинства, как ты себя поведешь – достойно или нет? Кто ты – герой или гнида? Вот для чего жизнь, в чем ее призвание. Тебе дается жизнь, ты к ней призываешься, тебя призывают жить, чтобы тебя проверить.

Закурив новую сигарету, он продолжал:

– Вот еще о чем подумай: если и не грешить – тоже грех, то и грех – назначение, должен пройти через это, через свой ад, здесь, на земле. Но кому в какой мере – по способностям, по силе, по таланту. Великий грешник – это великая сила, чрезмерность силы. Или – великий святой. Они равны. Но что мы видим? Ты посмотри вокруг: это же ходячее кладбище! Что такое, например, чиновник? Безвольная машина, подстраиваемая на любую программу.

Как в природе? Самцы никогда не убивают друг друга из-за самки, так, лишь ритуал, спорт поединка. А люди убивают. Также и пища. Лев убивает необходимое для поддержания жизни. А люди? Какие они устроили в истории немыслимые кровавые боины! Из-за чего? Только чтобы убивать. Убийства ради убийств. Кровожадные маньяки.

Он замолчал. Час поздний. Заметив мое нетерпение, он сказал:

– Иди, иди. Больше я тебя не задерживаю.

20 февраля 1984 года. Среда, Лито. Соснора показал мне книгу Борхеса, впервые издано на русском языке.

– Этот тоже из наших, – сказал он. – Парень вне всякой конкуренции.

Началось занятие. Стихи читала девушка, хрупкая, застенчивая, голос дрожал и прерывался, слова произносила неясно. После перерыва обсуждение, опять многоречивое и злоязычное, самая настоящая травля. Каждого новичка здесь встречают лютой враждой. Громкий возглас Сосноры остановил это избиение младенца:

– Я вижу, чем дальше, тем вы от занятия к занятию все свирепее и свирепее. Теперь я скажу два слова. Есть в этих стихах несколько строчек с заковыриной, интересных. Вот, например: "Окурок гасишь ласково о раковину рококо". Или вот еще: "Фонарь был тускл, как поцелуй". И хватит. Достаточно. А ты нам еще добавляешь: "без страсти", и этой "страстью" убиваешь всю прекрасную строчку. Зачем? Это общая беда вас всех. Ведь та строчка интересна, загадочна, не плоска, с объемом. Думай, что хочешь. И определено нечто, и, в то же время – простор для воображения. А это твоё «без страсти» сразу делает строку плоской, пошлой, даже по звучанию. Также и тут: «Стреляет солнце лепестками». Всё! Чудесно! А ты мне объясняешь: «лучей».

Поверь, я человек с каким-никаким опытом и знаю, что такое лучи. Зачем они мне? Сочетание «лепестки лучей» мне просто неинтересно. А стоит отбросить эти проклятые лучи – и как сразу сверкает образ! Неужели ты не видишь? Впрочем, и отмеченные мною строчки – для тебя очень много. Значит, есть нечто настоящее. На них можно создать целую творческую систему, твою, сама нашла. А все остальное у тебя – кипа писанины в рифму, так все пишут. Вот и выбирай сама – как тебе быть дальше.

21 апреля 1984 года. Сегодня я опоздал на занятие, а мне, как старосте Лито, необходимо приходиться первому, раньше всех. С Соснорой встретились у дверей Дома культуры. Взяв на вахте ключ от нашей студии, поднялись на шестой этаж. Восьмой час. Все уже собрались и ждали на площадке перед дверью. Я открыл студию, и мы вошли. Соснора, сев за стол, пошутил:

– Что у нас по плану? Опять стихи? А я думал, вы что-нибудь новенькое придумаете. Ну, делать нечего, начнем.

Вышел новичок, худенький парнишка, в костюме с галстучком, читал стихи, заикаясь, певуче, растягивая слова. Закончив, ждал приговора, робко взирая на руководителя студии. Как всегда по заведенному обычаю сначала высказались все члены Лито. И как всегда единодушный хор отрицания и злых насмешек. В заключение речь Сосноры. Взяв из пачки прочитанных стихов листок, он потряс им в воздухе:

– Вот строчки, под которыми подписался бы любой классический поэт! Настоящая поэзия, хотя и бессознательная: "Монету листьев, шедшую по свету, в небытие смывает с площадей". Какой-нибудь непоэт, обыкновенный писатель обязательно сказал бы: "монеты листьев" или "монету листа". А этот: "монету листьев"! какой сильный художественный образ! Монета из тысячи тысяч каких-то листьев. А еще непоэт обязательно сказал бы про монету: катится. Ведь она круглая. Как же. Логично. А этот говорит: «шедшую»! Слово-то какое крепкое, торжественное, как Тютчев. Два Ш и Д. И монета идет, двумя ножками, что ли, гадай, как хочешь. Странно, удивительно. Вторая строчка так себе, ничего, только надо что-нибудь вместо "площадей". Тут Щ убивает Ш. Не должны они – вместе. Вот еще, можно сказать, прекрасная строчка: "В осень листья пропали, попадали". Ведь два отличных, вполне равных глагола на конце делают дело. Сначала пропали, потом попадали. Остальное же всё у тебя, парень, так заштамповано, что ужас. Вот, например: «Мудрее веков и седей серебра». Спасибо. Миллион раз слышал. От таких штук бежать за тысячи километров. От лирики, от любой, с большой и с маленькой буквы – тоже надо бежать без оглядки.

Как увидел у себя лирику – бросай в огонь. Вот Слава, – Соснора показал на меня пальцем, – тоже сначала уйму лирики писал. Потом увидел несостоятельность всех своих лирических устремлений и бросил это дело начисто, стал писать совершенно видионистские стихи, то есть: как он видит и ощущает мир. И получились очень чистые, настоящие стихи, целая книжка.

У Пушкина всего пять лирических стихотворений, те, что о любви. Все они гениальные. Остальное, так, шуточное, в альбом. А на этих пяти – весь Блок.

11 мая 1984 года. В Доме культуры – поэтический вечер нашего Лито. Афиша гласит:

Поэтический вечер литературно-творческого объединения ДК им.А.Д.Цюрупы. "Звенит напевная строфа". Свои стихи читают: Андрей Иконников-Галицкий, Лариса Барахтина, Вячеслав Овсянников, Сергей Васильев, Алексей Ковалев, Юлия Валиева, Валерий Новоскольников. Руководитель Лито, поэт – Виктор Соснора. Начало в 19 часов.

Соснора выступил с краткой речью, представил каждого из нас. Мы поочередно читали свои стихи. Зал полупустой, в основном друзья и родственники. Хлопали.

Когда вечер закончился, Соснора сказал мне при прощании, что уезжает на лето в Эстонию, писать новую книгу, вернется, позвонит мне. Надо подумать о публикации моей книжки стихов.

15 октября 1984 года. Возобновление занятий после летнего перерыва. Соснора бодрый, посвежел. Спросил весело:

– Что, много настроил за лето?

У нас опять новичок, обсуждаем его стихи. Соснора под конец сказал:

– В общем этим стихам нужна умная редакция. Я и покажу вам образец такой умной редакции. Скажи, – обратился он к новичку, – почему у тебя почти везде такие мрачно-трагические концовки? Плохо тебе, бедолаге, живется на родине? Или, может, приснилась атомная война? Или вот еще: почему тебе хочется кого-то учить? Мне это интересно, как психологический вопрос. Ведь все эти родины и атомные войны сейчас печатаются в каждой газете, и поэтому, когда я читаю эти умствования в твоих стихах, мне смешно. Но у тебя есть строчки, которые стоят сотен тысяч книг из тех, что сейчас издают. Все дело в том, как повернут твой мозг, твой глаз. Вот я прихожу в Академию Художеств и смотрю – какие картины пишут академики. А вот какие: чтобы картина была побольше, как можно больше, гигантских размеров, да набухать, нафугасить туда краски, да в несколько слоев, да чтобы

были башни, трубы, завод с дымом. Или: букеты сирени, да опять побольше, чтобы стог из сирени был. Это ведь все равно: что завод, что букет. Но кому это нужно? Никому. Зрителям не нужно – ничего интересного нет. Только, значит, тому, кто нарисовал, и тому, кто назначает цену. А цена-то – семь тысяч! Покупает государство. А как они рисуют лица? Овал, два глаза, двое бровей, рот, подбородок, бороду – метлой, чтобы побольше, волосища во весь холст, еще и костюм – каждую шерстинку выпишет, всё, чтобы побольше краски насобачить. Жуть! Реализм! Неинтересно. Как рисовали египтяне? Только профили, и где-нибудь слева – второй глаз. Условность! Всё дело в форме линии, в толщине. Эти ребята думали совсем о другом, мозг их был повернут в другую сторону, чем у наших академиков. А Мона Лиза? Разве дело в загадочности ее улыбки? Вот нашли психологию! А дело в том, посмотрите-ка на этот холст в лупу: картина у Леонардо вся написана мельчайшими дугами. Вот почему и улыбка чудовищная.

Да! Пусть будет картина хоть ужасна, но нова. Есть, все-таки, смысл, хотя бы медицинский. А если я не нахожу в картине ничего нового, ничего такого, что я нигде никогда не видел – никакого смысла в картине нет, никакого!

Так и в литературе, так и в стихах. Так и твои стихи. Вот в этих есть смысл, интересно. – Соснора прочитал отмеченные им строчки:

Дальше печально.

Стрела не достигла цели,

Гонимая ветром или иным коварством.

В радиусе вздрогнет рысь

и подвыпивший егерь.

Здесь спят, и сколь ни лунна ночь,

Помочь тебе никто не сможет.

И ты, склоненный над свечой.

Сей тусклый свет песок засыплет.

Лишь редко странная, чудная прольется нота.

Соснора берет другой лист:

– А вот потом, послушай, какую чушь ты несешь:

Вжаться в красный уголок

родной пещеры...

А вот еще стих у тебя:

"Мозг – расплавленная черепная коробка". Зачем – "черепная"? Оставим: "Мозг – расплавленная коробка". Видишь, насколько лучше. И вот в итоге получается какое стихотворенье:

Мозг – расплавленная коробка.

Прекрасней только смерть

под ударом хирурга с юга,

прекрасней только ты розой ног.

А жизнь как средство.

Прямо-таки гениальные стихи. А вот еще интересная строчка и по звучанию, и по смыслу: "Режет чаще стекло дождь".

Вы все считаете себя большими. Моя же задача показать вам, какие вы маленькие, как вам еще далеко до больших. Что нужно мышке, еще слепой, голой, один хвост? Найти зернышко и съесть. Вот как наестся зерна, наберется сил, созреет, обрастет шерсткой – тогда и может браться за свою мышиную работу. А пока она беспомощна, слепа и гола, ее сожрет любая крыса, не то, что какой-нибудь большой зверь, затопит дождь, зашвырнет ветер. Ей нужна пища. Моя же задача: только показать вам то, что у вас самих есть, и то, что вам случайно, в слепоте ваших поисков попадется. А уж когда вы созреете и научитесь сами определять и видеть, что к чему у вас – моя задача кончена.

27 января 1985 года. Повез сделанную книжку стихов показать Сосноре. Он одобрил, сказал, что поможет в публикации. Тут же сел за стол писать письмо к известному критику Македонову, который занимался обериутами и был лично знаком с Заболоцким. Вот текст этого письма:

"Дорогой Адриан Владимирович! Я помню Ваше письмо, где Вы очень высоко ценили Хармса, Введенского und andere. Вячеслав Александрович Овсянников – не обериут. Но судьба его и стихи – интереснейшее явление в современной русской городской поэзии, если хотите – народной по мышлению.

Мне кажется, он должен быть Вам интересен, а его стихи с учетом того, что он знает, что делает, кажутся мне оригинальными и самостоятельными, хотя безусловно имеют в виду школу примитива. Мне кажется, это случай сейчас редкий.

Если Вы обратите внимание на В.А.Овсянникова, буду Вам чрезвычайно благодарен.

С Новым Годом!

Ваш /подпись Сосноры – В.О./ . 27.1.85г."

Соснора отдал мне это письмо.

– Адреса и телефона Македонова я не знаю, – сказал он. – Где-то было написано, но затерялось. Сам найдешь, при твоей профессии это нетрудно. Позвонишь, скажешь, что от меня, и договоришься о встрече.

29 января 1985 года. Был у Македонова. Комнатенка в коммунальной квартире, стены заставлены стеллажами с книгами. Бросилось в глаза старое собрание сочинений Достоевского, затертые, коричневые корешки. Македонов – сухонький старичок в тюбетеечке,

горбится над столом, ему за восемьдесят, но выглядит энергично. Передал ему письмо Сосноры и рукопись моих стихов. Он при мне прочитал письмо, поблагодарил. Попросил передать привет Сосноре. Сказал, что стихи посмотрит, но сейчас у него много срочной работы, пусть я позвоню через недели две.

17 апреля 1985 года. Еще раз был у Македонова. Он болел все это время и не мог принять меня раньше. Книжку моих стихов он оценил высоко, сказал, что я интересный, самобытный поэт со своей интонацией, даровитый. Надо эту книжку напечатать. Может посодействовать Кушнер. И Македонов тут же при мне позвонил Кушнеру и попросил помочь. Кушнер назначил мне встречу, чтобы я пришел с рукописью стихов к нему домой.

18 апреля 1985 года. Был у Кушнера. Калужский переулок, у Суворовского проспекта, недалеко от Смольного собора. Дом желтый, с карнизами. Перед домом деревья, сквозь сучья яркое голубое небо весеннего дня. Кушнер невысокого роста, голубая рубашка, джинсы. Волосы черные, жесткие, с серебром, лоб большой, залысоват, очки. Голос с фальцетом, женский. На стене пейзажик. У окна – широкий стол с двумя тумбами, на нем книги, бумаги, подсвечник с огарками свеч в рожках, два бронзовых колокольчика, костяной ножик в виде змейки или ящерицы. Кушнер стал читать мою книжку стихов, я сидел напротив, смотрел в окно. Прочитав до конца, он высказал свое мнение. Высоко оценил все стихи, особенно милицейские. Сказал, что книга очень интересная, тонкое письмо, школа Заболоцкого, обериуты, Хлебников, что-то и китайское. Манера у вас жесткая, сухая, стихи как бы из кости выточены, совершенно противоположно тому, как я пишу. Меня можно назвать мастером влажной манеры. Но это и замечательно, что мы разные. А по мастерству равное. Если бы я был редактором, то сразу бы напечатал. Скажу о вас Левинскому в "Авроре". Кушнер был со мной чрезвычайно любезен, подал мне пальто в прихожей, а я от волнения никак не мог попасть руками в рукава.

22 апреля 1985 года. Побывал в редакции "Авроры", Литейный 9. С трудом открыл дребезжащую тугую дверь и протиснулся. Левинский, быстрый, маленький, круглоголовый, морщинисто-усталое лицо, говорил со мной запросто. Оказывается, он меня знает, видел на Лито у Сосноры. Обещал напечатать подборку моих стихов в следующем номере..

24 апреля 1985 года. Поехал к Сосноре, рассказал о моих успехах. Он пошутил:

– Ты, встреться со мной семь лет назад, можно сказать, только тогда и родился. А до меня все равно что и не жил, и в помине не было.

Говорил о психике древних:

– Древние выражались прямо, и ругани у них как таковой поэтому не было. Наш мат от татаро-монгол. Ребенок – ебенок. Ебать. Эти слова у них не были ругательными, а руганью стали у русских,

– Интересно, куда ты дальше пойдешь, – сказал он. – Пишешь ты теперь хорошо, без сучка и задоринки. Но вот еще что надо иметь в виду: в художественном произведении бывают необходимы и некоторые особенные изъяны, нелепости и несообразности, излишества, неправильности, в общем то же, что на живом теле человека – шрамы, родинки, бородавки, отсутствие пальца или, наоборот, шестипалость. А уберешь такой изъян или излишество – и всё интересное, особенное пропало. Так и ритм в стихе. Хорошо, когда в стихотворении ритм колеблющийся.

25 апреля 1985 года. Занятие Лито. Читал свои стихи новичок. Он из Армавира. Костя Крикунов. В Ленинграде недавно, учится в университете на факультете журналистики. Кудрявый, светлоглазый. Голос дрожащий, ломкий. Сдержан в движениях, на слова скуп. Сочетание хрупкости и четкости. Соснора его стихи похвалил:

– Стихи чистые, свежие. Технически по сути дела безукоризненны. Есть маленькие погрешности, но они легко устранимы. У вас есть самые важные качества, необходимые поэту: природное чувство слова и внимательность. Вы очень внимательно пишете, и поэтому почти нет сбоев.

24 августа 1985 года. Соснора попросил меня сопровождать его в поездке в Эстонию, на хутор, где он уже многие годы снимает комнату у хозяйки фрау Эльзы и проводит там летние месяцы. Надо возобновить договор с хозяйкой, я помогу объясниться. Едем ночным автобусом. Душно, не спится.

– Тебе, конечно, хочется поговорить о литературе, – произнес Соснора с усмешкой, проницательно заметив мое неутолимое желание его слушать.

– Есть мистика высшего искусства, – сказал он, – то, что собственно уже и нечеловеческое. Гаршин близок к этому, "Красный цветок", "Сигнал". Весь Гоголь. Лермонтов – "Герой нашего времени", Достоевский – местами. Бальмонт – "Я мечтою ловил уходящие тени, Уходящие тени погасавшего дня, Я на башню всходил, и дрожали ступени, И дрожали ступени под ногой у меня..." Ну и так далее. У–у–у! – вытянув губы трубочкой, он издал тихий свист. Взмахнув рукой,

изобразил спираль вверх, – это уже там, за всеми границами! "Бесы" Пушкина – тоже за пределами. Эдгар По, Акутагава Рюноске. А вот Толстой – ни строчки. Тот самый, разумеется, который – Лев. Потому что единственно ценное, как ни крути, ни верти – это музыка. А музыки-то у Толстого и нет. Гении – существа от бога, поэтому и к жизни относятся особенно, и уходить из нее не боятся. У людей ведь обычно перед смертью – панический страх, ужас. Эти же не боятся, значит – не люди.

Он задремал, откинувшись головой на спинку кресла. Я тоже закрыл глаза и попытался забыть.

В Тарту приехали рано, еще не было пяти утра. Темно и холодно. Пошли гулять по городу, через парк, мимо костела. Рассветало, солнце встает. Что-то вроде павильона, уже открылся. Выпили черного, горячего кофе в граненых стаканах. Бутерброды с ветчиной.

– Кофе тут превосходный, – заметил он. – В Ленинграде ты такого не найдешь, продают бурду.

До отправки было еще много времени. Ходили по магазинам, его прежде всего привлекала одежда и обувь. В книжном показал на витрину: том стихов Павла Васильева.

– В тридцатые годы с ним много носились, – сказал он. – Хочешь, купи. Мне не нужен.

Повел показать дом Барклая де Толли. Старое накренившееся здание, прикреплено, чтобы не упало, стальными трубами к соседнему. Потом повел к Тартувскому университету.

– Я тут жил, – стал он рассказывать, – читал в университете лекции о древнерусской поэзии. Ректор принес зарплату – серебряными рублями! Целый куль! Хотел у него взять, а руки трясутся с похмелья. Куль прорвался, рубли и покатались по всей площади. Такой серебряный трезвон! Весь Тарту заслушался!

Едем дальше, поля, холмы. Приехали в Отепя. Чистый, эстонский городок. Пешком на его хутор, по шоссе, мимо озера. Дома у эстонцев – особняки, гаражи, сады. По пути Соснора рассказывал:

– Здесь были поместья моей бабки, она из рода Барклая де Толли. Я тут бываю уже двадцать один год подряд. Приезжаю писать.

Пока шли, потемнело, напозла огромная черная туча. Хутор его – вот уже на пригорке. Над самыми нашими головами раздался резкий удар грома, как будто небо разодралось пополам, и тут же хлынул ливень. Мы едва успели заскочить на крыльцо под навес. Хозяйка фрау Эльза, старушка с морщинистым лицом, обрадовалась, залепетала по-эстонски.

Соснора привез ей в подарок слуховой аппарат, такой же, как у него самого. Кое-как объяснились, всё уладили. На ночлег фрау Эльза

устроила нас в комнате на втором этаже. Комната невелика, душно и мухи, от мух черно, стены и потолок сплошь ими покрыты.

– Вижу, ты яростный мухоненавистник, – иронически заметил Соснора. – Твои глаза горят воинственным пылом. Сейчас ты набросишься на них и начнешь лупить чем попало. Жаль, что ты не индус, а то бы ты знал, что нельзя лишать жизни ни одного живое существо.

Потушив свет, легли. Опять началась гроза, в незавешенном окне быстрый блеск молний. Ему не спалось, стал рассказывать о Лиле Брик:

– Она сразу поняла – кто я такой. Открыла меня миру – посланца небес! Видишь ли, есть определители гениев, они – посредники между небом и людьми, их – единицы на столетие. Своего рода лакмусовые бумажки для определения гениев. Вот и Лиля Брик. Да. Дважды ей повезло в жизни: на утренней заре и на вечерней. Первый был – Маяковский, второй – я.

Он замолчал. Потом мне показалось, что у него начался бред. Он стал бормотать каким-то шаманским, заклинательным голосом стихи Лермонтова "На смерть Пушкина", причудливо искажая слова: "Вы, жаркою тропой стоящие у трона..." При чем тут трон? Идиотское стихотворение. Написал, лопух. Но зато потом как развернулся!..

Проснулись. Светло. Утро – чудо. Соснора уже встал, одет. Найдя на столе чистый лист бумаги и карандаш, он одним молниеносным росчерком нарисовал какой-то диковинный силуэт. По поводу моего восхищения пояснил:

– У меня же точный глаз в живописи. Без меня не было бы ни Грицюка, ни Кулакова.

После завтрака, попрощавшись с фрау Эльзой, отправились на автобусную остановку. Шли с краю шоссе, он впереди, я за ним. Он коротко пострижен, серебряный ежик, белые брюки, красная куртка, светло-коричневая сумка на ремне через плечо, ботинки светло-коричневые.

Говорил о футуристах: Петников, Петровский, Божидар. Потом стал декламировать Пастернака, со вздохом повторял одну и ту же строку: "Не тот это город и полночь не та..."» Солнечный, яркий день. Автобуса мы ждали недолго. Вечером вернулись в Ленинград.

7 декабря 1985 года. Поехал к Сосноре. Он в черном туркменском халате быстро ходил по комнате, стремительный, летучий, полы распахнутого халата развевались, как крылья.

– Прочитал твои новые стихи, – сказал он. – Ты делаешь успехи. Это действительно художественные вещи. Особенно хорошо: "Пять пейзажей" и "Ночная буря". "Ночная буря" – очень сильное стихотворение. Шаг вперед и выход во что-то.

Видишь ли, надо верить в существование художественных вещей, что они реально существуют. Нужно внимательно смотреть вокруг себя, забыв о своей драгоценной персоне. И, глядишь – среди потока тусклой серятины вдруг блеснет что-то интересное, оригинальное, диковинка. Что-то яркое, артистическое. Тогда понимаешь, что это в мире есть. На то и художник, чтобы это в мире видеть, заметить. Это его находка, его глаза.

Вот по этим твоим стихам видно, что ты узнал вкус художественной работы, так сказать, ее тайны и трудности.

Ни Ницше, ни Мережковского не люблю.

Зимние месяцы для меня мучительны, темно, серятина, не работается. Брожу весь день по квартире, как в тюрьме. Посмотри, что творится в мире: убийства, и одиночные и массовые! Это от безумия и слабоумия, ненормальность психики, бездарность. Тупое убивает всё яркое, гениальное. Бездарность хочет быть чем-то, завидует талантливому, из зависти и убивает. Толпа ненавидит гениев, ярких одиночек. А гениям дано только одно – сгорать. Это раздражает и пугает толпу, поэтому – убивают.

Он ненадолго вышел из комнаты. У него на столе я заметил книгу: "Мельмот–Скиталец" Метьюрина, из серии "Литературные памятники", развернута на середине и заложена закладкой. Меня привлекла эта закладка: на широкой полосе картона – рисунок тушью, очевидно, сделанный им, Соснорой: изображен он сам, лицо, искаженное мучительной, трагической гримасой; туловище от пояса заостряется в виде писательского пера, с острия которого капает кровь. Капли крови – красной тушью, остальное – черной. Человек-перо.

22 января 1986 года. Среда. Занятие Лито. Читал стихи новичок, в пушистом махеровом свитере, похож на медвежонка. Обсуждали. Соснора в своей заключительной речи, подняв лист со стихами, воскликнул:

– Вот смотрите, как он закручивает!

В Неве стояли
прохладой яблока тела.

Не этим ли и тешили шаги в тиши.

Но только у тебя-то строка заканчивалась: "Прохладой яблока тела наяд". А мне-то наяд не надо. Не знаю, что такое наяды, и знать не хочу. А вот – тела!.. Или тут, смотри, что получается после моей небольшой редакции:

Слова стояли на листе
и были вовсе не из тех,
Кто.

Вот как надо писать! Понял? Тут и символическое, и мистическое, и черт знает что. А ты, вместо того, чтобы по-мужски вовремя остановиться, распространяешься дальше:

Слова стояли на листе
и были вовсе не из тех,
кто в этом мире что-то значит.

Ну, спасибо! Открытие совершил! А я-то и не знал, бедный. Вот еще отмечу, как удачное:

Твои слова восточней персиянки,
но я тебя не понимаю.
Стаканы вздорно хрустальные.
Пни залегли в пыли.
О встать, закричать бы,
чтобы не видеть казненных!

Так. Точка! А у тебя что было? Совершенно лишнее слово: «Казненных дип». Зачем? Одним словом убиваешь стихотворение. Надо смотреть: что нужно стиху, а не тебе или еще кому-то. Пишешь не для кого-то и не для себя. Пишешь, потому что молод, душа горит, хочешь выхода, высказывания, общения. А уж потом смотришь: что вышло и что нужно стиху. Критика такую редакцию стиха называет мастерством, а художники говорят: доделать картину.

Жизнь и искусство – разные вещи, противоположные. Писатель пишет не для выражения каких-то там своих чувств, не для каких-то переживаний и пережёвываний, а для того, чтобы создать слово, особое, новое, какого еще не бывало. Слово с большой буквы. Некоторые писатели из-за создания такого слова губили целую свою жизнь. Можно это назвать новой формой, но, по сути дела, это сам дух творчества, если говорить громко.

Вот – Блок. Высший в мире любовный лирик. Как мало у него о конкретных чувствах к конкретным женщинам, то есть, как мало житейского. И это его стихотворение: "Твое лицо в его простой оправе Своей рукой убрал я со стола". Твое – я, своей – я. Всё тут я и о себе. Своя воля и свои дела. А Пушкин – как мало удачного в любовной лирике. Все вершины у него в другом, в духовном, где женщин нет. "Бесы", например. Цветаева – самая страстная из поэтов. "Поэма горы" – что там у нее мужчина? Так, фигурка, презируемый и ничтожный. Заклинает: "любим, любим, любим!" Какое там "любим"! Перечеркивает одним взмахом. Не нужен. Она одна на своей горе.

И что мы у таких видим? У них искусство – это мерки богов, нелюдские. Нет снисхождения ни к чему в жизни. Сказала же Цветаева о себе где-то в письме: «Не снисхожу!» А Маяковский – «Облако в штанах». Вот это лирика! Как, казалось бы, грубо и жестоко для

житейской точки зрения всё, что они написали. А для искусства и духа это означает только норму. Нормально! Тут свои дела, совсем свои. Тут разговор на горе. Никого. Ты и Бог. А все, что сейчас идет в печати – тошнотворно. Одни только выражения своих ничтожных житейских чувствований. Пережёвывание вечной жвачки на этом лугу, где пасутся все без разбора, всё человеческое стадо; ни на миллиметр не поднимут своих жвачно-литературных морд над поверхностью. Дои их ведрами, бочками, цистернами. Лей потоками это питательное пойло жаждущему читателю. Что им делается? Вот кто никогда не исчерпается. Они будут всегда. Они пишут и пишут. Они буквально истекают пошлостью, то есть – каждой буквой.

26 января 1986 года. Воскресенье. Сегодня в Доме культуры творческий вечер нашего Лито. Вот текст афиши:

Дом культуры им.А.Д.Цюрупы Ленинградского ордена Ленина и ордена Красного Знамени производственного объединения "Красный треугольник". Наб.Обводного канала, дом 181.

Навстречу 27 съезду КПСС:

"Вехи памяти"

Творческая встреча с участниками Лито. Руководитель – поэт Виктор Соснора.

Свои стихи читают: Барахтина Лариса, Губанова Ира, Иконников Андрей, Ковалев Алексей, Овсянников Вячеслав, Флотский Алексей.

Аудитория 63. Начало в 19 часов. Приглашения можно получить в отделе художественной самодеятельности, кассе ДК и через общественных реализаторов.

29 января 1986 года. Среда. Лито. Невзрачный молодой человек с жидкими, длинными до плеч, грязно-серыми волосами читал свои стихи. Стихи слабые, сентиментальные. Соснора сказал:

– Все можно мужчине, только одно ему запрещено – слюни. Есть для мужчины граница, которую нельзя переходить и становиться бабой. Вот послушайте, что у Есенина. – Он стал декламировать своим глухим безголосым голосом:

Я одну мечту, скрывая, нежу,

Что я сердцем чист.

Но и я кого-нибудь зарежу

Под осенний свист.

– Вот видите, уже в восемнадцать лет позиция у человека: резать хочет! Мужчина! Это жизненная позиция. Точно такая же позиция должна быть и в литературе, в языке, в том, как пишешь. В русском языке есть множество языков, имеется в виду язык литературный. Или

ты выбираешь силу языка, там, где он алмаз, или выбираешь его слабость, слизь и хлябь. Конечно, кому что нравится, у каждого свой вкус. Но искусство жестоко, искусство – самая беспощадная вещь тут на земле, слабые в нем не выживают. Переход из мелкого, убогого языка в большой, из языка электротехника и комсомольца в язык Хлебникова, язык высокохудожественный, сверхязык – это всегда перестройка всего мышления, всего организма, тут прямая связь. Надо думать о языке, и в языке, и языком. Надо обдумывать язык. Как Хлебников. Лучше всего учиться у него. Но потом, дальше-то, все равно надо самому, и ничего тут не поделаешь.

– А вам я вот что скажу, – обратился Соснора к длинноволосому, хилому поэту, – я думаю, вам здесь не место, у нас, видите ли, другой профиль, противоположный тому, как вы пишете. Я вам советую пойти в "Голос юности" в Лито Давида Дара. Там вы найдете понимание.

9 сентября 1986 года. Позвонил Соснора, сказал, что он в городе, попросил приехать к нему в час дня. Точно в час позвонил ему в дверь. Он похвалил меня за пунктуальность. Я вернул ему его роман "Башня", который он мне дал на лето, чтобы я размножил рукопись, перепечатав на машинке. Что я и сделал. Спросил мое мнение о романе. Сказал:

– Сейчас я пишу новый роман, называется – "Дом дней". Потом хочу написать книгу о Николае Первом, чтобы изобразить психический тип, меня заинтересовавший, мне неизвестный. Мой "День Зверя" – ни за кого, против всех. Читателя этой книге нет, и это большое достижение! Написано нервами. Гениальность и есть – гром в нервах, разряд нервной силы, может быть, и не в голове, а в спинном мозгу. Да хоть в кишках. Какая разница. Возьми Шекспира, что у него так написано, на таком накале? "Гамлет", "Король Лир", "Макбет", "Генрих Четвертый", "Ричард Третий", "Виндзорские кумушки". А остальное – скука. Флобер – одна только книга: "Мадам Бовари". Ну еще "Искушение святого Антония", такая притча. Всё остальное у него – челюсти сведет от зевоты.

Тургенев, Чехов, Горький, Шукшин – всё это говно, комиксы, лубок для масс. Насколько Гаршин выше Тургенева! И слог насколько чище и оригинальнее, сколько интересных поворотов.

Любят рассуждать о гениальности. Но гений – это сверхэнергия. Гений пожирает всё и вся, и выдает свою формулу мира. Этим все гении похожи, а их за всю историю – не больше ста. А те, что послабее, много мучаются, путаются, но бывают иногда и резко оригинальны, какими-то дикими ходами в сторону.

Попросил починить патрон в люстре. Люстра высоко, а я небольшого роста, не достать. Соснора подложил на стул мне под ноги толстые тома-кирпичи с его стихами. Это его неизданное, самодельные

книги, напечатанные на машинке и переплетенные кустарным способом. Он их назвал: «Мое никогда». Я запротестовал против такого для себя пьедестала. Но он не терпит возражений. Пришлось попить эти тома, чтобы починить ему люстру.

Он был доволен. Подарил Эмерсона, новое издание.

13 октября 1986 года. Лито. Собралось человек двадцать. Читает чудаковатого вида поэт, лысеющий лоб, черная борода, громадные, мрачные очки, сам маленький, неказистый, а держится высокомерно, сидит нога на ногу, покачивая в такт читаемых стихов ботинком-танком с рубчатой подошвой. Читает монотонно, нараспев и так тихо, что расслышать ничего невозможно. На просьбу читать погромче – никакого внимания, продолжает бубнить. По профессии – художник-бутафор. 32 года. Так он представился. Наконец он закончил свое невнятное для всех священнодействие, монотонный звук прекратился, рот замкнулся, губы презрительно сжаты. Листы со стихами небрежно отодвинуты в сторону руководителя студии.

Соснора, свесив седую гриву, ворошит эти листы, откладывает тоненькую пачку с отмеченными стихами справа от себя, а всю остальную кипу отодвигает влево. Затем обратился к автору:

– Во-первых, должен вам заметить, что вы очень тихо читаете, почти на пороге слышимости. Мне-то все равно, мне хоть шепчи, хоть кричи во все горло – я и не дрогну. Я же глух, как пень. А вот ребята все-таки хотели бы знать, что вы им стараетесь высказать. Ну, хорошо, надеюсь, вы учтете наши пожелания. Теперь о стихах. Вот у вас такое:

Стена воды с небес на дерево упала,
переломился мягкий ствол.

Ведь на самом-то деле ствол твердый. А у него, видите, мягкий. Мистика. Звучит сильно. Вот еще:

Мужчины плавно настигают остановку.

Трамвай проходит через рошу, словно призрак.

Неплохо. Или вот:

И вздохов ружей красота
не достигает слуха птицы.

Сильно. Ведь у ружей эти дула – во! Дыры! Такой создается образ.

Глаза, как на башне часы,
отыскивают горизонталь.

И это сильный образ. Жуть, трагизм.

Ее лицо усиленным стеклом
внеплоскостно.

Тоже великолепно. – Соснора держит в руке тоненькую пачку отмеченных стихов. – а все остальное, – показал на отодвинутую кипу, –

чепуха, слякоть, размазня, сентименты. Это дилетантство, бормотание про себя, чтобы доставить самому себе удовольствие, все равно как прихорашиваться, любоваться собой в зеркале. Стихи в альбом. Но вот же строчки! – ткнул перстом в отобранную тоненькую пачку. – Это сила, это какая-то мистика, это, можно сказать, гениально. Вам надо просто внимательно посмотреть, разобраться: что нужно вашим стихам. А не то, что нужно вам. А вы пока пишете бесконтрольно, как попало. Ведь стихи – тот же ребенок. Воспитывать ребенка, значит, делать то, что нужно ребенку, его существу, развитию его свойств, способностей. Ведь это совершенно независимое собственное существо, что ему до вас. Воспитывать – это совсем не то, что нужно вам, а – что нужно для него. А не можешь воспитывать, значит, отдай в детдом.

Сколько я вам всем твержу. Чего вы только не напишете в своем так называемом вдохновении. Садитесь за стол и думаете: ну-ка я напишу что-нибудь гениальное, что-нибудь великое. За чем дело стало? Написал. Во! Это – да! Дух захватывает! Гений! Что там говорить. Завтра опять что-нибудь написал. О! Еще выше! И так далее, и так далее, что ни день, куда-то уж совсем в космос, к богам. Но ведь когда-нибудь надо же и посмотреть на все это простым трезвым взглядом. И вот утром, когда никого дома, выпив стакан воды на пустой желудок, смотришь – что же ты написал. Видишь – одна дурь. И вот среди дури одна единственная строчка. Конечно, все дело в том, как ее определить, эту самую строчку, как найти. Это уж чутье. Для этого я вас и натаскиваю, как щенков, сую носом – вот здесь, вот это! А вы – ни бельмеса. Сколько твержу: смотрите первую редакцию стихотворения Блока: "О доблестях, о подвигах, о славе". Из огромного стихотворения потом – три совершенно отдельных.

Вот у нас есть поэты одной строки, – Соснора показал на высокую девушку, Елену Новикову. – Из всех стихов, что она написала, у нее есть одна прекрасная строчка: "Меж зим"

! Какая строка! Позавидовал бы любой великий поэт. Вырастить такую строчку сосредоточением всех своих сил! Повесила бы себе на грудь и ходила бы. Все говорили бы: О! Вот это дама! Надо же: «Меж зим»!

27 декабря 1986 года. Соснора вызвал меня по телефону, и я поехал к нему на Ржевку. Встретил меня шуткой:

– Что-то ты быстро добрался. На крыльях летел?

Показал две книги: "История дендизма" и "История футуризма". О Честертоне: "эстетический детектив". О Стринберге: "Этого тебе надо прочитать обязательно, замечательный писатель". О картинах Кулакова и Гриццока у него на стенах: "Это живопись нервами. Надо нервами писать". Потом сказал:

– Почему бы тебе не попробовать себя в прозе. Стихи – дело стихийное. Проза – нет, прозе нужно много усидчивости и ума. Проза может быть очень многообразна, а стихи – нет. Стихи только или гениальны, или никакие. Стихи – дело сексуальное, кипит жизнь вовсю в яйцах. Формально стихи: это – как и где ставить слова. А это ведь ни больше, ни меньше – стать мастером. Это – на всю жизнь. Так и с тобой. Это я изменил всё направление твоей жизни. Встретил меня и сразу стал читать самую высшую литературу. А до меня читал букварь, или упивался чем-нибудь типа Тургенева, "Ася", "Вешние воды", "Первая любовь" и прочее. Что, в точку попал?

Серьезно тебе говорю: начини писать прозой. В прозе ты развернешься, а в стихах тебе тесно. Вот я уже восемь лет пишу одну только прозу, в стихах – ни строчки. Нужны интересные, неожиданные повороты – тем, образов, сюжета, нужна драматургия, а то будет скучно. Оттого и скучен Толстой в «Войне и мире» что – мало поворотов. Мозг Толстого неповоротлив.

10 марта 1987 года. Позвонил Соснора, попросил приехать. Я как всегда пришел точно к назначенному часу. Ему нравится моя воинская пунктуальность. Показал книгу, которую он привез из Америки: «Введение в Каббалу», Михаэль Лайтман. По поводу моего удивления сказал:

– Ты меня мало знаешь. Каббала – это высшая духовная наука. Прочитаешь и – власть над миром! Ты будешь царь! Верховный жрец! Кришна, Будда, Пифагор, Орфей, Моисей, Платон, Христос. И ты! Интересно, осилишь ли ты и это. Если осилишь, дальше некуда, это уже космический уровень. Самое поразительное в моей жизни – это ты. Никогда не думал, что можно так изменить все направление жизни человека. Но, видно, тяга у тебя была и, рано или поздно, все равно повернул бы. Я только ускорил этот переворот в тебе, одним толчком перевернул твой мозг. Я ведь мощнейший катализатор, я на многих повлиял.

Что, перешел на прозу? Правильно сделал. Все наши писатели неполноценны – боятся профессий, не знают их. А ты пиши милицейскую тему, то, что хорошо знаешь, свою профессию. Хотя эта тема и запретная, но, может быть, как-нибудь и откроется, глядишь, и напечатают. Главное – писать свободно, а не для редактора.

Высоцкий? Его сделали национальным героем, а он лишь кассетный певец. И артист он неталантливый.

Я увидел у него на столе стопку толстых папок.

– Это рукописи Тихона Чурилина, стихи и письма, – объяснил он.

– Вот послушай, как Чурилин начинает письмо своей жене, княжне: "Дорогая собака..." Видишь, этот парень из наших, настоящий. Но Чурилин очень неровный писатель, хлама у него тоже полно. У меня случайно оказалась часть его архива. Надо передать в Публичку.

17 марта 1987 года. Среда, занятие Лито. Читал новичок, стройный молодой человек, в костюме, белой рубашке и с галстучком. Стихи свои принес в черной изящной папке. Стихи интересные. Соснора выделил много хороших строк. – Вот послушайте, – сказал он и стал читать с листа:

За лесом прощально взметнулось
крыло непокорных волос.

Замечаете? – спросил он. – Музыка звука: семь О! вот еще строчки:

Шар солнца к западу косило.
Вбежав оранжевой лисою,
по веткам кисточкой мела,
оставив темную лишь хвою.
И запестрели деревья.

Или вот: целое стихотворение:

Дождь
лей капли, лей
на черные асфальты,
сверкай в застывшем небе
луч электрической тоской,
вонзай в дома
свои мечи, в парадных спрятав
свой тонкий ум,
свой нож грибной,
о дождь!
Я – дом.

Превосходное стихотворение, хоть в антологию. Или вот еще тут:

Рельс сталь открытая летит
на сотни километров утром.

Видите, какой отличный образ, какими чистыми словами сказано.

Я вам уже много раз говорил: художник – не какое-то там самовыражение. Это чушь. Художник – это особенность, небывалость, неожиданность, диковинность взгляда, и умение передать эту особенность своего взгляда, особенность себя. То, как это получается в языке, в слове и есть – поэтика. Поэтика Блока, поэтика Хлебникова. Язык только в книгах, у поэтов, а не на улице. На улице – триста слов. Русской прозы мало. А поэтов прекрасных много, больше ста. Русского языка уже нет. Чистый русский язык – это Хлебников. Я прочитал

Хлебникова в десять лет. Потрясение! А потом, так, возвращался иногда, заглядывал. У меня же феноменальная память: прочитанное остается в голове на всю жизнь. Особенно память на стихи: все, что прочитал, помню наизусть, и книги держать у себя мне совершенно не нужно. К тому же всё, однажды мной освоенное, мне уже неинтересно.

Лившиц – да, это большой поэт, и в стихах, и в прозе, крупнее Мандельштама. Шмелев? Шмелев – великий русский писатель. Бунин рядом с ним – развлекательная беллетристика.

25 марта 1987 года. К часу дня был у Сосноры. Разговор о пожаре в БАНе /Библиотека академии наук/.

– Огонь справедлив, – сказал он, – сжигает всё начисто. Ничего не остается. Значит Ему, – показал пальцем вверх – это не важно: то есть, результаты деятельности, а важен только творческий нерв, духовный порыв, гений, чтобы он жил, действовал. Остальное неважно.

Говорили о Кафке, его романе "Замок", он сказал:

– Кафку я читал в оригинале, на немецком. Русский перевод – дрянь, нет языка. А в оригинале язык блистателен. Все дело в нюансах. Там, в оригинале, у него тончайшие ходы языка, изгибы, ассоциации, юмор, изящно, ничего грубого, ни обличений, ни вызова, а просто такие странные люди, чудачки, индивидуальности со своим миром, поведением. Тема бюрократии тогда была в новинку. У Кафки – это же розовые сказки. А как потом это чудовище развернулось! И как об этом после него писали! Но сейчас и это уже пройденный этап, я и не смотрю, будто и не существует. А вот интересно – что дальше будет? Об этом мой роман «Башня». Тоже ведь антиутопия, не реализм. О нет! И не антикоммунизм, как у Олдеса Хаксли. Будет печататься в этом году.

Французы собственнo всю литературу, то есть, всю новую, и начали и сделали. Так уж у них, видно, мозг устроен. Они прирожденные писатели, да и поэты тоже. Ведь вся новая поэзия, в том числе и Хлебников – от Малларме, он первый это начал. Французы – тонкость ума, нюансы, обертона, изгибы, новые повороты, свобода, разомкнутость. Вот, можешь взять себе, – дал мне книгу "Французская новелла 20-го века". – Нет никакого смысла держать у себя переводы, даже и прозы, – сказал он. – Разве только, чтобы знать приемы.

Роб-Грие – антироман. Ведь опять же французы открыли. Тонкость, тонкость, я тебе говорю. Во всем нужна тонкость, гибкость, а не лобовое. Струна, а не лом. За что, кстати, терпеть не могу Салтыкова-Щедрина – сатира, обличение, грубо, плоско.

Главное – писать свое, что сам хочешь, свободно, индивидуально, со всеми своими странностями или о странностях других, о том что любишь или о том, что ненавидишь. Главное – это то, что делаешь своё.

Ко мне приходят тысячи рукописей, – он показал на груды бумаг в углу комнаты около кресла. – Куда их? Всю квартиру завалят. Вот, ты свидетель: рукопись какого-то Григорьева. Не читал, некогда. При тебе бросаю в корзину, в мусоропровод. А что делать?

2 апреля 1987 года. Поехал в Сосноре. Говорили о моей повести, которую я прошлый раз дал ему прочитать, чтобы услышать его суждение. Это моя первая попытка в прозе. Он сказал:

– Название "Минотавр" не годится, надо что-то попроще. И не надо разделять: вот явь, вот сон. Ясно, что условность, фантазия. Ведь не для дураков. Пиши сплошь, жестко, без объяснений и пояснений. У тебя получилась древнегреческая трагедия: не милиционеры, а Ахилл и Гектор. Думаю, милиции намного проще. А в литературном исполнении – большой класс. Три четверти советских писателей пишут хуже тебя. Всё сделано: и язык, и стиль, и композиция. Повесть вполне закончена. Все же я воспринимаю это как твою литературную пробу, первый опыт. Ты закультурился. И поздно начал. Слишком уж под Андрея Белого, целыми фразами. А Белый ведь, я тебе скажу, очень однообразен и потому скучен. Гениально одаренный графоман, так любил писать чистенько, набело и любоваться сам собой. Да, но многое и действительно того стоит. Но и сколько однако мутоты. В Америке мне подарили "Серебряный голубь". Читал в самолете, книга – скука. Там в самолете и оставил. А ведь очень большой писатель, достиг вершин, открыл для русской литературы новую систему: музыку прозы. Но во Франции таких было уже полно, Ромен Роллан, например. А так, если посмотреть: что оригинального, что живого? Он же очень много писал. Графомания, скука. Совершенно уничтожил себя лавинами фраз, захлебнулся в потоках многословия.

Да что говорить. Для меня полностью не существует проза Чехова, также – ни строчки Тургенева, ни слащавый Лев Толстой с его раскрасавцами князьями. Чем бездарней, тем популярней – вот закон.

Что мне тебе посоветовать. Сойди с вершин культуры, почитай противоположное, низы. Крестовского «Петербургские трущобы». Вот натурализм! Сотни персонажей и все оригинальны, все живые. А ситуации, а колорит! Что там французы. Эжен Сю в подметки ему не годится. Таков и Николай Успенский, только он расхлестан и деревенский, а Крестовский – город, и абсолютно точен. Нашей литературе не хватает настоящего дерьма. Я думаю, что теперь нужен Катулл, нужен Достоевский. Не сахарность, а открытая эстетика всего, как оно есть, живого. Это Достоевский будущего.

Нужны постоянные резкие перемены. Необходимо, чтобы у тебя было чутье истощенности. Вот я сразу чую свою истощенность. Как почую – всё! Зарезаю это в себе, начисто. Уже нужно совсем другое,

нужно искать выход. А где найдешь, не знаешь. Так я вдруг открыл Дельвига, этот особый эстетски–хамский тон. Для меня сейчас – ни Пушкин, ни Жуковский, а вот – Дельвиг. Этот эстетски–хамский тон и у Есенина. За этим тоном будущее. Есенин с гениальными пиками, взлетами, хотя много и дерьма. А что ему еще оставалось рядом с Блоком, Вячеславом Ивановым – такими героями?

Мне ведь и свое-то многое кажется дерьмом: исторические повести и «День Будды». Марсель Пруст – уже архаика. Блок, первый том – сахарный барашек; часть второго и третий том – настоящее, кабаки, девки. Прочитай Диогена Лаэртского. Написал всё житейское, всё низкое, как есть, может что-то заострил, преувеличил. Ну так что? О всех великих философах: хотел их унижить, а себя, тем самым, возвысить. А получилась целая панорама древнегреческой жизни. И совсем не пошлость. О нет! Он великим ничем не повредил. Ведь все равны: хоть высшее эстетство, хоть похабство и мат – лишь бы оригинально.

Соснора замолчал, закурил сигарету. Я спросил его, что же он ждет от меня как писателя, раз, по его мнению, в моей прозе еще нет того, что он хотел бы увидеть. Он ответил:

– Я жду от тебя открытия, оригинальности, литературного скачка. А ничего нет. Я не знаю вашей профессиональной жизни. А ты должен ее знать, ты там проработал уже девять лет. Говорю тебе – ты закультировался. Жизнь проще и надо ее писать проще.

9 ноября 1987 года. Был у Сосноры. Он написал для меня рекомендательное письмо в Союз писателей в комиссию работы с молодыми писателями председателю комиссии Гоппе. Писал в моем присутствии. Текст такой: «Работает в милиции, любит природу, школа Заболоцкого, примитивистский угол зрения в искусстве, Вячеславу Овсянникову давно надо печататься» и т.д.

Я отнес это письмо в Союз писателей, в руки старичку Гоппе. Тот, взяв письмо, сначала строго хмурился, потом, прочитав, разулыбался. Предложил посещать Лито при Союзе писателей, которым он сам руководит.

24 апреля 1988 года. В Доме культуры творческий вечер нашего Лито. По городу расклеены афиши, напечатано:

Дом культуры им.А.Д.Цюрупы. К международному дню солидарности молодежи. Воскресенье 24 апреля 1988 года. "Солидарность". Творческая встреча с участниками Лито. Руководитель – поэт Виктор Соснора. Свои стихи читают: Антипов Евгений, Барахтина Лариса, Голынкин Дмитрий, Кидаков Александр, Кленова Елена, Кряжева Маргарита, Мельников Андрей, Овсянников Вячеслав, Шигащев Дмитрий, Шевцова Светлана. Аудитория 49. Вход свободный. Начало в 19 часов.

Слушателей собралось немного, маленький зал был наполовину пуст. Вначале вечера, как обычно, выступил Соснора и каждого из нас кратко представил. Я читал стихи из моего последнего цикла "Ночной дозор".

4 мая 1988 года. Сегодня поехал на Невский в редакцию журнала "Нева" за ответом на мою повесть "Минотавр", которую я отнес туда месяц назад с рекомендательным письмом Сосноры к зав. отделом прозы Лурье. Соснора тогда сказал, что его рекомендация может сыграть обратную роль, ведь он у литературных властей не в почете, на нем клеймо неприемлемости. Повесть твою отклонят, как противоречащую узаконенной идеологии и эстетике. Но надо попробовать, чем черт не шутит, а вдруг и проскочишь. Так что я шел за ответом, мало надеясь на удачу. Так и получилось. Разговор с Лурье был невеселый. Говорил он смущенно, извинился, что вынужден отказать. Если мы опубликуем такую вещь, нас всех расстреляют вместе с автором. Редакцию снимут, вас отправят в Сибирь, в лагерь. Это уж точно. Этого вы хотите? А повесть сильная, яркая, это я могу вам сказать с глаза на глаз. Но мы были вынуждены написать отрицательную рецензию. Иначе нельзя. Мы обязаны. Передавайте привет и наши извинения Виктору Сосноре.

Из редакции "Невы" я вышел удрученный, хотя внутренне и был подготовлен к такому результату. Дома я прочитал рецензию, вот ее дословный текст:

Рецензия на рассказ В.Овсянникова "Минотавр".

Содержание рассказа «Минотавр» – жизнь милиции «изнутри»: сменяя одна другую, перед читателем возникают сцены, показывающие низость, крайне моральное падение "блудостителей порядка", герои, речь которых напитана грязью и цинизмом.

Хотя формально есть в рассказе центральный персонаж, капитан Быков, и все происходящее дается его глазами, но, тем не менее, рассказ "Минотавр" не о нем, а о милиции вообще.

Краткое содержание. Рассказ начинается дикой фантасмагорической картиной, и читателю непонятно, что, собственно, происходит, пока не выясняется, что все происходящее – это пьяный сон героя, капитана Быкова. В числе прочего Быкову видится некая Вера, жена сослуживца, в которую он влюблен, судя по всему, любовью просто похотливой – просто домогается ее /впрочем, все эти обстоятельства выясняются лишь впоследствии/.

Капитан Быков просыпается, идет на работу. Зачитывается оперативная сводка – данные о новых преступлениях по городу и приметы преступников. Выясняется, что убит милиционер Цветков – своим же товарищем, сослуживцем: ночью, дежуря вместе, не поделили они между собой приبلудную проститутку.

Далее на читателя, как из ушата, выливаются скабрёзные шуточки; милиционеры говорят, в основном, "о бабах" – цинично, откровенно, грязно, грязнее, наверно, чем во время оно говорили об этом в Содоме и Гоморре.

Вперемешку с этим показан быт милиции, служба: взяточничество, ряд беззаконий, никакого намека на товарищество и братство, которые мы привыкли видеть в кинодетektивах.

Отдельно следует обратить внимание на сцену, где описываются политзанятия в отделении милиции. Сцена исполнена в сатирическом ключе и сравнительно с остальными отрывками написана гораздо лучше и живее. Всякие фразы замполита о моральном облике советского милиционера резко контрастируют с тем, что происходит в действительности.

Периодически в действие «вкрапляются» пьяные сны Быкова.

Параллельно завязывается что-то вроде сюжета. Приятель Быкова, Бабура, названивает анонимно Вере и клеветает на ее мужа, возводя на того обвинения в изменах. Делается это затем, чтоб Вера разлюбила его и переспала с Быковым, который ее домогается. В конце концов быковский приятель подстраивает так, что Вера получает «доказательства» измен мужа. Но, тем не менее, Быкову Вера дает отпор. Муж Веры, милиционер, гибнет /похоже, его убивает Бабура/. В финальной сцене Бабура говорит Быкову: "Попользовался Верой – дай теперь товарищу". Завязывается драка, во время которой Быков застреливает Бабуру /непонятно, явь это или опять пьяный сон/.

Материал рассказа сам по себе интересен и нов, но, к сожалению, в плане художественном "не дотягивает".

Написан он, выражаясь на жаргоне литераторов, «телеграфным стилем». Думается, что это заведомо неверная тональность: материал такого рода следовало бы подавать в ключе самого простого реализма; напрашивается структура и архитекtonика "Печального детектива", например. Конечно, в литературе нет канонов, предписывающих, что писать надо непременно таким-то языком; стиль может быть и телеграфный и какой угодно, – но в любом случае должны возникать зримые картины, должно представать перед читателем не только внешнее, то есть события и диалоги, – но должно передаваться прежде всего внутреннее состояние героев. Без этого не может возникнуть эмоционального сопереживания у читателя; читатель будет просто механически следить за событиями. Что и происходит в данном случае: характеров нет, внутренней жизни персонажей нет.

Рассказ для публикации непригоден.

28 апреля 1988 г.
/И.Пак/

Поехал к Сосноре, рассказал всю историю моего посещения «Невы» и дал ему прочитать эту рецензию. Прочитав, он сказал:— Они еще и не то напишут. Что ж ты хочешь. Им же нужен реализм. У тебя повесть в русле новейшей поэтики, как сейчас на Западе пишут, и как писали у нас в двадцатые годы, пока всех не зарезали. Ты в их распрекрасный реализм с характерами и душевностями не вписываешься.

— Кстати, рецензия датирована 28 апреля. День моего рождения. Да еще какой-то И.Рак. Странные бывают совпадения.

2 февраля 1989 года. Сегодня вечером в семь часов в Центральном лектории на Литейном творческий вечер Геннадия Айги. Я поехал туда, сидел в первом ряду. Айги маленький, хрупкий, седой, лет 50, худое лицо с небольшой светлой бородкой, как у китайца. Я подумал, что вот так должен был выглядеть китайский поэт древних времен. Одет Айги в какой-то длинный, неказистый, бурый пиджак. Читал свои стихи глухим голосом, невнятно, плохая дикция. Такое впечатление, что плохо говорит по-русски. Но читал одухотворенно, взмахивая изящно рукой. После чтения стихов говорил о Малевиче, об авангардизме, о Хлебникове, о французской культуре и поэзии, отвечая на вопросы из зала. Я тоже послал записку: "Как вы относитесь к поэзии Виктора Сосноры?". Айги воодушевленно воскликнул:

— Да, это крупнейший русский поэт за всё последнее время, после тех, великих! Этакая русская иконопись, пластика слова, истинная русскость языка, трагизм. Незаслуженно замалчивается. Только сорок процентов напечатано и не в его редакции. Вот, да, живет где-то здесь...

17 марта 1989 года. Поехал к Сосноре. Разговор обо мне, он сказал:

— Ты достиг высшего уровня техники и в стихах, и в прозе. Теперь всё дело в том, что и как ты по-настоящему напишешь.

Я спросил: а что бы ему хотелось увидеть в этой теме? Он ответил:

— Никто никогда не писал быт милиции, а тем более советский. Скажем, общежития. Потом — что такое советский милиционер? Это же чудовище. Грабить пьяных, обчищать карманы, мелочиться из-за рублей и сбрасывать в канализационные люки. Это же факты. Это то, что у меня в книге "День Зверя". Какая психология у этих людей? Они думают: откуда у этого бродяги золотые кольца на пальцах? Ясно: жулик, вор, грабитель. И забирают себе. У них у всех уголовная психика. Такова вся система. Действительно: откуда золото, роскошь, если это запрещено лицемерием законов и морали. Это же бандиты. Не бояться сказать правду, как Гоголь, как Помяловский. Ты самый талантливый автор из милиции, тебе и карты в руки. Есть же у тебя настоящие прототипы, а ты

начинаешь выдумывать, и получаются не милиционеры, а профессора академии. Как литература это не путь. Делай то, что нужно им, а не тебе. Когда ты их поймешь, что им нужно, тогда и пойдет писаться. Тебе сорок два года. Аксаков начинал позже. Для прозы это нормально.

Я спросил его о Замятине. Он ответил:

– Да, издали. Был запрещен. Я-то к Замятину равнодушен, он ведь реалист. И вообще, мне кажется, он и не художник, он не умел рисовать вещи. Его офицерские рассказы я совсем не люблю. Единственная у него настоящая вещь – это роман "Мы", Тут, да, все, что надо, и его формулы, числа – тут на месте. Кстати, вышла недавно книга Мариенгофа об Есенине, "Роман без вранья", советую купить. Скандальный роман, больше не издадут, а книга будет повышаться в цене.

В конце марта еду в Стокгольм на международный съезд писателей. Проведешь за меня занятия Лито. Вернусь, позвоню.

27 октября 1989 года. Среда. Занятие Лито. Читал стихи поэт Андрей Мельников, высокий, светловолосый юноша. Соснора отметил у него удачные строки:

Корабля стальная тень.

На месте маршируют листья – левый, левый, левый.

Ветер свищет своего ветеринара.

Глазное яблоко, надкушенное Евой.

– А вы знаете, – обратился Соснора к автору, – что лизать глаз, глазное яблоко, это высшее наслаждение в сексопатологии? Например, у японцев. Так что вы случайно попали в самую точку. Как тут не откусить глаз. Смейтесь, смейтесь. Ну, да сейчас не о том. Секс, собственно, не моя тема. А поговорим вот о чем: почему вы все не умеете читать? Почему я один внимательно читаю? Есть два вида критики. Одна – наша советская критика. Ее принципы принимали единогласно Пастернак и прочие на съезде писателей в тридцатые годы. Эта критика требует создавать художественные образы, которых нет, не существует, не существовало и никогда не будет существовать, но которые должны давать людям высокий пример, образец для жизни, вести их к идеалам. Но это же смешно: как можно создать то, чего нет. Такая критика требует от автора то, чего нет, то, каким он, по мнению этого критика должен быть и удовлетворять его желания. Это же все равно, как если бы я стал приставать, вот, скажем, к этому молодому человеку – почему он не адмирал Нахимов, почему у него два глаза, а не один. Почему он сидит анфас, а не в профиль, как Нахимов. А ведь Нахимов потому и сидел в профиль, что одного глаза у него не было, пуля ему глаз выбила, или, может, ядро. Нет, критика, настоящая критика – не такая, она смотрит только на то, что есть. А есть такие-то и такие-то стихи. Вот мы

смотрим – что они есть? Смотрим, смотрим, а ничего высмотреть не можем.

В любовной теме почти у всех у вас, можно сказать, трагическая пустота. Да что там «почти»! У всех. Послушайте меня, иногда я говорю дельные вещи. У каждого писателя должна быть своя внутренняя тема. Какая она должна быть конкретно у вас или у кого-нибудь – не знаю, тут я зашел в тупик, в отношении вас, конечно, не себя. Есть тема внутренняя и тема внешняя. Внешняя – это общественная, это всякие там мировые революции. Вот у наших передовых поэтов, Евтушенко, Вознесенский, Рождественский и у всего Союза писателей сейчас одна тема – перестройка. Также как раньше были темы – всякие БАМЫ, МАМЫ, БУМЫ и т.д. Что-то произойдет в мире еще – вот им прямо в ручки новенькая тема. Но с внутренней темой дело обстоит сложнее, она у немногих. Например, "Бесы" Пушкина – его, можно сказать, главная, осовая, глубинная тема. А "Пророк" того же автора – это фельетон. Хотя, все-таки, Пушкин и тут Пушкин. У Айги, например, тоже есть своя тема, и он ее долбит и долбит. Но что я вам об этом говорю! Вы слушаете себе да усмехаетесь. Вы же все достигли полного совершенства, и вас можно печатать, где угодно. А вот меня не печатают, я-то, бедолага, совершенства не достиг, я все еще внутренне несовершенен.

Нет, правда, пора вам шевелиться. Вы – профессионалы, вам у меня делать нечего, больше я вам ничем помочь не могу. Действуйте, объявите себя неформальным объединением, требуйте публикации. Тем более, что некоторые из вас пишут как раз то, что сейчас надо, в духе времени. Вот ты что пишешь? – Соснора обратился к юному, но уже приобретшему успех поэту Д.Г. – Раз ты мнешься и не можешь ответить, стеснясь или чувствуя угрызения совести, я отвечу за тебя: ты пишешь ни что иное, как зарифмованную газету. Коммунисты, некоммунисты, борьба за мир, за демократию, за молодежное движение или против, и прочее и прочее. Мир трансформирует, то одна общественная мода, социальное движение, то другая. Но при чем тут стихи? Двадцать лет назад Евтушенки и Вознесенские писали про БАМЫ и МАМЫ, сегодня они пишут про перестройку. Но причем тут стихи? Это не тема для стихов, это всё человеческое. Это всё пошлость и сверхпошлость, вечная пошлость – потому что это всё человеческое, заштампованное. И так у всех. И это жизнь всех людей – пошлость. И только очень немногим поэтам удастся избежать штампа и найти нечто новое, неожиданное, живое. Потому что эти немногие не люди. Попробуй-ка написать что-нибудь нечеловеческое! Попробуй-ка хоть заняться собой, своими делами и проблемами, а не делами человечества да еще дурно понятиями. Я уж не говорю о духовном. Духовно у вас еще ничего нет. Вот я в десять лет, да какое там в десять, в семь лет читал "Майн Кампф"

Гитлера, и меня там удивили некоторые смешные места. Вот, скажем, какой перл: "Когда гордые персы смешались с презренными евреями, они стали влачить жалкое существование в качестве армян". Видите, какой неожиданный поворот. Да, у этого человека были литературные способности.

Задача поэта – мышление образами. А рассуждать оставьте философам, идеологам, социологам, коммунистам, неформальным объединениям и формальным. Они все сейчас много говорят о добре и зле. Что движет поэтом? Секс или страх. Слово ведь само по себе сексуально, поэтому дети так много говорят, болтают. Куда же им деть эту энергию? Поэтому-то и всякие речевые упражнения, детские считалки: "Клара украла у Карла кларнет" и так далее. Это полезно, энергия общительности. Понимаете вы это? Кроме того – надо понимать механизм стиха. Когда вы его досконально изучите, вы его можете вообще выбросить, если он вам не нужен. Но сначала надо же изучить.

24 января 1990 года. Среда. На этот раз занятие Лито было на новом месте: в библиотеке на Измайловском проспекте, дом 16, у Варшавского вокзала. Д.К. им.Цюрупы перестало существовать и мы лишились нашей студии. Соснора попросил, чтобы на этом занятии я прочитал свои новые стихи. Что я и сделал. Члены Лито отнеслись к моим стихам отрицательно. Единодушное непонимание, хула и брань. Соснора стал меня защищать, он сказал:

– Открываем в любом месте любую книгу крупнейшего советского классика Твардовского и сразу видим: везде рифмы – крест накрест, как на кладбище. И тра-та-та, тра-та-та, будто из пулемета строчит. Сколько можно написать таких стихов? Километры, тысячи томов! Сколько нужно затратить на такие стихи энергии? Нуль. Возьмите его великую поэму "За далью даль". А откроем еще одного крупнейшего советского классика, современного – Евтушенко. Какую энергию нужно тратить, чтобы писать такие стихи? Это вообще антиэнергия, энергия в минусе. Твардовский хоть что-то тратил, потому что он писал честно, что означает – занудно, и старался писать правильно. Этот же пишет и нечестно, и неправильно. А Вознесенский – поэма «Лонжюмо»? Какой в ней сюжет? Французы приходят учиться у Ленина. Да! Такой сюжет, конечно, требует больших поисков, большого труда! Что и говорить. А когда Белла Ахмадулина пишет в виде огромнейшей поэмы свою биографию? Что у нее дед – татарин-коммунист, умудрился где-то в Лондоне встречаться с Лениным, а бабка ее, оказывается, итальянка? Нам-то какое дело, кто у нее кто? А как вы думаете, сколько может наговорить средний человек, скажем, какой-нибудь бюрократ за свою жизнь, так меля языком, не думая, не затрудняя себя? Да наберется целая библиотека, томов сто. А ведь сколько так и печатают и печатали,

скажем, наших вождей – Хрущева, Брежнева и пр. Так что же говорить о легионе так называемых писателей?

– Но Слава, – Соснора показал на меня, – выбрал другой путь. Он выбрал труднейший путь, и я считаю, что этот путь абсолютно правильный. Тут нужно исключительное внимание. А внимание требует колоссальной затраты энергии. Тебя занесло в китайское. Один великий китайский художник, не помню имени, но очень великий, что до него нашим знаменитым абстракционистам, так он по месяцу сидел перед чистым холстом с кисточкой в руке и обдумывал – куда и как ему нанести удар. А потом – раз! Молниеносный штрих! И готово! Больше ничего. Картина! Так теперь и ты. Но – вот смотри: я разделяю твои стихи на две пачки; большая, две трети – хлам; меньшая – что-то есть для меня интересное, о чем буду говорить. Но и то, в большой пачке – это твой хлам, в твоей системе, в твоей книге. Ты – вполне состоявшийся поэт. Что говорить, если и у великих полно хлама. Дашь весь хлам Цветаевой какому-нибудь из миллиона бродящих сейчас по улице поэтов – это же будет гений! Так вот – замечательное, просто превосходное стихотворение "Осеннее". Тут и верное настроение, и прекрасный ритм, и смысл. – И Соснора прочитал вслух это мое стихотворение:

Осеннее

Пью вечернюю чашу неба.

Горчит.

Прячется в кустах красных
луч.

Пахнут тленом павшие листья
рощ.

За холмом стоит холод
туч.

Вечер полон воздуха.
Жизнь!

Стол сегодня лунных чаш
полн.

Пахнет яблоком широкий пир
звезд.

Тихие фигуры сходят на
холм.

Громко и выразительно прочитав все стихотворение, Соснора продолжил разбор:

– Посмотрите, какой отличный ритм и звукосочетание. Вот и в другом превосходном стихотворении "Луч уснул":

Луч уснул
в темном мире.
Тишина и тушь
Съели рисунок.

Чем покормлю
карандаш мой?
Черные часы
съели время.

Что ж тебе я дам,
лист мой белый?
В мире ничего,
кроме ночи.

– А вот еще очень неплохо, в примитивистском стиле:

Бык–бандит
воткнул мне нож в живот.
Лежу я мертв.
А на моем сукне
красивой розой кровь.

– Вот еще – пустячок, а приятно:

Это Темнеет.
У тусклой зимы соломенные усы выются.
Грустит вишенкой снегирек.

– Ведь Темнеет у него с большой буквы. Нигде еще не встречал. А вот: какая чистая молитва, самое лучшее стихотворение в этой книге:

Побудь еще со мной, воздух!
Мой великан, мой золотой, добрый.
Уходя с нашего Шара,
Побудь еще со мной, рощ шорох!

Побудьте еще со мной, звери!
Не уходи, овца, и волк вольный.
Не улетайте, песен сердца, птицы!
Не убегай, вода! Постой, рыба!

Закончив читать, Соснора сказал:

– Да, трудно, чтобы в одном стихотворении совпало всё: и ритм, и звук, и смысл, и духовное. Как у гениального Бальмонта: «Я на башню всходил». У кого есть такое стихотворение? И у Пушкина нет. Пушкину это и в голову не приходило, он был другим занят. Но и сколько у Бальмонта хлама. Но это его хлам, его движение.

Еще труднее – переступить границы. Это дается немногим.

Я вам всем повторяю: я никому не помогаю напечататься, сами ходите, пробивайте. Написать вступительную статью к книге, рецензию – это всегда пожалуйста. А ты, Слава, ленив, – обратился ко мне Соснора. – Ты, как йог, думаешь сидеть себе и отрешенным созерцанием влиять на светила. Но вот светила-то ничуть не чувствуют твоего гипнотического взгляда, крутятся себе, как крутились. Тут уж надо самому крутиться-вертеться.

21 марта 1990 года. Соснора вернулся из Америки, выступления, читал стихи в университетах. Сегодня занятие Лито опять в библиотеке у Варшавского вокзала. Обсуждаем новенького. Застенчивый молодой человек. Соснора о его стихах сказал:

– Вот две прекрасных строчки: "Рогата кожиха каштана С бледно-фланелевой подкладкой". "Рогата" – это всякий увидит. А вот "бледно-фланелевой подкладкой" – замечательно! Увидел же! Первый раз слышу. Честное слово. Ведь что называют искусством, даже советские учебники: искусство – это мышление образами. Так вот это у тебя тут и есть в самом ярком и точном виде: новый, свежий образ, действительно существующий, но открытый тобой, замеченный. Более того: это мышление образами, именно мышление, потому что тут метафора. Это и есть искусство, его первокристаллик. Да, но как бы гениально ни был одарен автор, он рано или поздно задумается – как ему быть дальше. Ему нужно создать в слове какую-то свою систему. Вот, скажем, два поэта: Мандельштам и Кушнер, конечно, совершенно разные, и хронологически и по масштабу, но оба схожи в том, что, как нашли один раз свою систему, так и держались за нее всю жизнь. Уже все у них выдохлось, ничего нет, а они как вцепились мертвой хваткой, так никакими силами уже не оторвать. Лучше вообще не писать, если не открываешь новое, не идешь дальше. А они писали. Кушнер и теперь шпарит с неиссякающим пылом. Но и как их упрекать – все-таки один-то раз открыли ведь свое, этого-то у них не отнимешь. Так и тебе, – Соснора обратился к новичку, – нужно теперь найти свою систему, чтобы определиться.

– Еще эти стихи, – продолжал Соснора, – хороши тем, что – рифмованные. Мелочь, а приятно. Ведь сейчас все принялись писать без рифм. Повально. Это сейчас модно. Многим просто напросто так легче писать. Да, но рифма все-таки имеет тот большой смысл, что в некоторых случаях она отделяет стих от прозы.

18 апреля 1990 года. Среда. Занятие Лито. Читала свои стихи кудрявая, черноглазая девушка Юлия Сулейманова. Соснора, обращаясь ко всем, спросил:

– Как вы думаете, зачем вы пишете стихи? Не знаете? Должен быть какой-нибудь импульс, нерв. Даже у самых больших писателей может не быть ни одного шедевра. Очень трудно, чтобы все было исключительно – от и до. Но – у них всегда есть нечто особенное, высшее, вокруг чего все остальное. Или есть это нечто, или ничего.

– Вот вы идете по городу, видите лица и лица. Замечаете вы их? Навряд ли. Разве попадется уж совсем какой-нибудь урод, или исключительная красота. А так – все на одно лицо. Всего-то у нас двадцать типов лиц; ну, варианты, одни с усами, другие без усов. Это же ужас, жуть, скука – смотреть этот поток лиц! Так и читать стихи. Читаю, читаю, стихи, всё стихи. Какая скука! И вдруг что-то странное, ненормальное: "Я желт, как каждый желт, который желт". А вот еще строчка: «прочь по красной стене». А вот: "Кипящий чан на дне". И достаточно. А ты еще добавляешь: "горячий, тяжелый". Это ужас! Как меня все эти нагромождения давят! Бедная моя голова! – Соснора сморщился, схватился за голову.

– У вас поголовно одна болезнь: вы любите всё объяснять, что к чему, как Некрасов. Все, кроме Славы, – показал на меня. – Остальные считают меня стопроцентным идиотом и всё мне объясняют. Да я и состою тут у вас за стопроцентного идиота, раз возжусь с вашими стихами, и пока, кажется, я неплохо играю эту роль.

– Вы ужасно любите объяснять и рассказывать. Я, например, отказался от рассказывания даже в прозе. Все-таки надо не рассказывать, а показывать.

– Вот еще строчка: «Нет тела, нет мне». Какая тарабарщина! Звука нет, не выговорить. Какая-то татарская скороговорка. Понимаете вы это?

Вся советская поэзия пишет двумя размерами: ямбом и хореем, и рифмует крест накрест. Поголовная игра в домино, «козла» забивают. Как будто ничего, кроме ямба и хорea не существует. Это слабоумие. Графоманы тоже – слабоумие. Но иногда такого недоумка можно расшевелить. Даже лягушку можно расшевелить – ткнуть в нее гальваническим током, смотришь, оживет лягушка, задергается, ум какой-то, значит, появился. Так и графоманы. Прочитает ли где, подскажет кто-то – и поумнеет, и начинает что-то делать верно. Но уже сам факт, что человек не нашел другого применения своим силам, как только взяться писать стихи – разве это не слабоумие? И вот он начинает шпарить рифмами крест накрест в это самое домино – километрами! Потом какой-нибудь учитель ему скажет, что лучше писать без рифм, сейчас в рифму не пишут. Тот посмотрит – и правда, без рифмы писать еще легче! Ух, сколько можно написать! И пошел строчить кипами, томами, кубометрами, весь в бумагу зарылся. Такой даже и животным никогда не станет, потому что человек становится животным тогда, когда

он осознает, что он – живет. А разве это жизнь? Разве есть что-нибудь живое в таких стихах и в таком недоумке? Но, повторяю, и лягушку можно расшевелить. Есенин, а я его считаю очень крупным поэтом, сказал: "Петь хоть как лягушка, но по-своейски". И у Аристофана есть комедия "Лягушки". Так что меня предвосхитили. Вот я и действую на вас, как гальванический ток, то есть, как дух жизни. Я вас оживляю. Что ж вы без меня? Вы же едва дышите!

Я дитя Невского проспекта, я вырос на Невском проспекте. Я там знал каждого человека. Где сейчас документальное кино – там был табачный магазин, лучший в Союзе. Роскошный! Табаки всех сортов, любых марок.

Мужчина созревает в двадцать шесть лет. Ну, крайний срок – двадцать семь. Посмотрите – Лермонтов. До двадцати шести всё ерунда, только отдельные всплески гениальности, прорывы, то там, то там. Но зато после двадцати шести – "Герой нашего времени"! И еще книга его последних стихов, там, где "Выхожу один я на дорогу".

Никто из вас еще не достиг литературной зрелости. Почти всем вам тут еще нет двадцати, все вы еще юноши и девушки. Из вас так и рвется поток слов, литературное кипенье, так и бурлит. Это всё сексуальная неудовлетворенность, энергия кипит и идет в слова. Сейчас это у вас пока – сплошная графомания. Вы слепцы и безумцы. Просто вы еще не созрели. Но со временем что-то, может быть, и получится.

17 декабря 1990 года. Поехал к Сосноре. Он открыл дверь, улыбаясь, крепко пожал руку:

– Входи, будь как в своей тарелке.

Сняв пальто и шапку в прихожей, я вошел в его комнату. Он жестом пригласил сесть на кушетку. Принес с кухни два стакана чая, один протянул мне. Заговорил о политике:

– Страну рвут на куски, близится полная катастрофа. Будет война, не то, что прежние, пустят ракету с атомом с космического корабля, одна минута – и России нет.

У него на столе я увидел том Нарбута.

– Да, Нарбут для меня открытие, – сказал он. – Неожиданное явление. Вот, гениев-то мы знаем наизусть, а это что ж? Надо переменить отношение к так называемым «малым» поэтам. Что ж что не гений, но у него можно найти много оригинального, новые ходы, кто-нибудь это потом разовьет в систему. А гении все изучены вдоль и поперек. Видишь ли, значительность, величие, сила и прочее – всё чепуха. А вот – оригинальность! Нарбут оригинален – и это главное.

– Что я сейчас делаю? Пишу «Книгу пустот» Это совершенно новый, еще не бывший в литературе тип книги. Я не суечусь, работаю, не

разгибая спины, за машинкой. А романы мои рано или поздно напечатают, и "День Зверя", и "Башню". Но если они напечатают эти книги, то тогда откроются все шлюзы запретов. Что им тогда еще не пропускать? После меня все будет казаться детским лепетом.

– Да, если бы ты напечатал эту свою первую повесть «Сержант Быков», ты бы сделал себе имя, – заметил он. – Тебе надо шевелиться, ходить по редакциям, а то пока только я один тебя знаю и оцениваю как должно.

Я возразил:

– Но зато какой один! Равного сейчас никого нет в литературе.

Он согласился:

– Да, то же самое говорят все ученые на Западе, так что это не единственно твое мнение.

Я обратил внимание на то, что у него повреждена большая картина, слева на стене, подарок армянского художника, когда Соснора был в Армении. Изображена армянская девочка на зеленом лугу под деревьями. Кто-то проткнул пальцем у девочки между ног.

– Это у меня гость недавно был, – объяснил Соснора. – Художник, ненавистник реализма и не менее яростный женоненавистник.

Соснора собрал книги на продажу, попросил меня снести на черный рынок.

– А что делать? – сказал он. – Не хватает на жизнь, гонорары не предвидятся. Приходится расставаться с библиотекой. Я уже несколько раз распродал всю библиотеку, до последний книги, а потом, когда заводились деньги, опять накаплилось.

7 февраля 1991 года. Утром поехал к Сосноре. Мороз, солнце, голубое небо. Увидев у меня на голове новую меховую шапку из нутрии, он сказал, что и ему надо купить, а то у него старая, обыкновенная овчина, расползается. Стоя посреди комнаты, не дав мне сесть, сразу начал разговор об обмене денег, о денежной реформе. Ему дали ссуду две тысячи рублей на строительство дома в садоводстве на станции Мшинская, под Лугой. Участок от Союза писателей. Теперь надо найти строителей. Рядом участок Галины Дюмонд, она читает его стихи на поэтических вечерах.

Высказался о моих новых стихах, которые в прошлый раз принес ему на просмотр:

– Ну что, ты стал писать совсем чисто, безукоризненно. Стихи у тебя теперь совсем эстетские. Но те, милицейские и вокруг них мне все-таки больше нравятся. Ну что говорить, ты абсолютно состоявшийся поэт, стихи чеканные. Вот это место у тебя совсем как Языков:

Озеро, звон
весел – твой путь,
олово волн
не повернуть.

Вот еще красивое место:

Съедает пилот
пять груш невесомых.

– Да, целая книга стихов. Постараюсь тебя где-нибудь рекомендовать. Костя Крикунов из Армавира прислал мне свою книжку, там у него: "Камень летел, озираясь". Какова находка! Но все же нельзя идти моим путем, мой метод уникален и только мне под силу, у меня в каждой фразе находка, я сознательно ищу. У меня каждая следующая книга идет вразрез с предыдущей, на ее уничтожение, совсем иное. У меня одно сравнение отрицает другое. Так ни у кого. Вот уже четыре года пишу «Книгу пустот». Восемь лет не писал стихов, всё уходит в прозу, там куда больше возможностей, и структурных, и ритмических, и образных, и всяких. Там – арена! В стихах я себя исчерпал. В прозе удовлетворяю всё, что у меня еще есть. Это метод разнообразия. Ведь все советские стихи, что сейчас печатают, невозможно читать, все на один вариант. А ведь вариантов в стихах – неисчислимо. Но большинство, и крупнейшие, гениальные поэты не менялись. Пушкин менялся, но всплесками, а потом опять по-прежнему. Державин – три книги, все разные. Пастернак, гений всех времен и народов, но – только одной книгой: "Сестра моя – жизнь". А дальше – всё, конец, хуже и хуже. Так мог писать кто угодно, а не Пастернак. Отдельные стихотворения, конечно, еще случались. Вот, Анненский мне совсем не близок, чужд, у него совсем нет этого в языке: таких чисто образных находок. Но у него абсолютно иная, не менее высокая, чем у меня, поэтика, она не на находках, она вся чем-то светится изнутри. Но это я говорю о своем методе. А вообще-то есть границы, где все равны. В смысле вершин. Можно написать только два стихотворения и стать в ряд гениев, на самый верх. Про меня на Западе давно говорят, что я за этой чертой.

За что я и Гёте так не люблю – что он за всю свою /такую долгую!/ жизнь совсем не менялся. Ну хоть бы чуточку. Как заладил одно, так и шпарил до самого конца. Я, можно сказать, антипод Гете. Я резко меняюсь от книги к книге. Ты же видишь: как будто разные авторы, а не один и тот же. После меня читать Вознесенского или Кушнера – все равно что сиропчик после спирта.

27 марта 1991 года. Среда, Лито. Читал свои стихи юный поэт Т., вундеркинд. Скандировал, бурно размахивая руками, закатив глаза и притопывая ногой. Буквально впал в неистовство. Когда этот тайфун декламации, наконец, иссяк, Соснора предложил высказаться всем желающим. В заключение он произнес:

– Хорошо. Теперь я скажу. У вас у всех один недостаток: нет конкретного, подробностей, вы совершенно не смотрите вокруг себя. Конечно, я понимаю: на такую мерзость и смотреть не хочется. Но ведь чаще всего красивые вещи находятся именно в дерьме. Я бы сказал и более того, если бы здесь не было столько девушек. Как вы думаете, кого любили древние греки? Своих матрон? Не-ет! Они любили... Правильно подсказываете. Мягко выражаясь – гетер. Почитайте Катулла. Вот меня, например, часто спрашивают: почему ты не уезжаешь туда, за кордон? А я неизменно отвечаю: где же я еще найду столько мерзости, как здесь. Там тоже бывает, но надо искать, а тут на каждом шагу. Но это жизнь. А в литературе, то, что вы называете мерзостью, это чаще всего то, чего в литературе еще не было, а, значит, то, чем литература жива, то есть – оригинальность. Вы наверное думаете: это дерьмо, гадость, на это я вообще не смотрю. А вот это – да! Высокое, красивое! На это я и буду всегда смотреть. Ну и смотрите, пуская слюни от умиления. Ведь что такое – красиво? Красиво – это оригинально. Что делает литературу? То, чего в ней еще никогда не бывало. А не бывало в ней только одного – уродства. Может быть, и такого, что – до омерзения. Ведь что такое оригинальность, как не уродство. Гений – это монстр. Возьмите Эдгара По, или нашего Маяковского "Облако в штанах". А Гоголь! Это сейчас к ним привыкли, приспособили к вкусам, а тогда, в свое время – это же были настоящие монстры. Вот – есть тысячи видов орхидей, и вдруг кто-нибудь, впервые за двести-триста лет вырастит ни на что не похожую, небывалую орхидею. Это же будет урод! Мутант! Гении и есть такие мутанты. Кузмин, например, был такой сахарный барашек, гладкий, правильный. А как связался с футуристами, с этой бандой – так форель и разбила лёд. И что он стал выламывать? А Цветаева до двадцать первого года? Эти ее «вечерние альбомы», тети Моти, дяди Саши, Ася, Вася. Тьфу! Сплошные слюни. А потом Пастернак и Маяковский как дали ей по тумаку в лоб! И что она стала писать? Родился гениальный русский поэт.

– А ты, Т., – обратился Соснора к нетерпеливо ожидающему оценки своего творчества неистовому витии, – катаешь под Бродского, только какого-то обезумевшего. Бродский – большой поэт. Но его стихи – это ведь такое бесконечное наворачивание слов, поток риторики. Когда он сам читает – это невозможно слушать без содрогания. Ведь это же не чтение, а истерика. Закроет лицо руками и орет, рыдает, полулысый, безумный. Ну и зал, конечно, не выдерживает, орет вместе с ним. Все это хорошо. Но потом, когда начинаешь читать текст, видишь – не то. Ведь он вертит слова, как в мясорубке, и слова из нее так и ползут и тянутся бесконечно, длинные, как черви. Я бы тебе не советовал следовать этой манере.

3 апреля 1991 года. Среда. Занятие Лито на новом месте: Пушкинская улица 10. Соснора за столом, бритоголовый. По обыкновению один раз в год стрижется наголо. Сегодня не стихи, а проза. Девушка лет двадцати прочитала свой рассказ. Высказывания по кругу – кто что думает. Завершающая речь Сосноры:

– Сколько времени ты писала этот рассказ? Год? Ну и ну! Писать пять страниц в год! Что ж – нормально. Я и то пишу по двадцать-тридцать страниц в год, больше никак не получается. Такую прозу очень трудно писать. И это при моей-то уникальной работоспособности. Ведь я автор пятидесяти книг. Да, но ты, я считаю, выбрала абсолютно правильный, точный путь. Это самый трудный тип прозы из всех существующих, выше и труднее просто нет. Этот путь мне очень близок, собственно я сам так пишу. Есть разные типы мышления. Есть чисто механическое, внешнее перемалывание форм. А есть внутреннее, глубокое переваривание, так сказать. У тебя как раз второй тип мышления. Это принцип связывания несвязуемого, сочетание несочетаемого. Это даже не метафора, а правильное назвать: связывание образов. Ведь я беру лист и смотрю только текст. Содержание меня почти никогда не интересует, ну, разве что самые редкие случаи – когда содержание начисто уничтожает текст. Но это только у гениев и то крайне редко, это уже бог знает что. В основном же у всех это просто текст. И на имя я тоже не смотрю, пусть там Гёте или Пушкин. Дерьмо есть дерьмо. Например, «Странник» Пушкина – это же фельетон, как у Евтушенко. Сколько ни читай, хоть с конца, хоть с середины, хоть сбоку – все равно дерьмо. А вот у тебя, вижу: абсолютно профессиональный, сделанный на самом высшем уровне текст. Значит, для тебя все открыто и ожидать от тебя можно все, что угодно. И неизвестно, куда ты повернешь. Может быть, будешь вот так писать по пять страниц в год и к сорока годам получится совершенно сногшибательная книжка.

Есть у тебя кое-где переигрыши, но и в этом я не убежден. Может быть, со временем все станет выглядеть не так. Я, например, уже восемь лет не написал ни одной стихотворной строчки. А когда был в Америке, там как раз напечатали том моих давних стихов и дали мне. Стал я читать – ничего не понимаю, думаю: что за дурь я тут наворотил. Все это я к тому, что со временем многое в восприятии меняется.

Вот, особенно хорошо у тебя это место: "Резать раскаленным лезвием – не страшно. И крови нет". Сильно сказано, и абсолютно верно. Откуда ты узнала? Или просто придумала и попала в самую точку?

Стали расходиться. Соснора меня остановил:

– В мае еду в Стамбул, – сообщил он. – Приглашают на съезд писателей. Из русских – меня одного, – поднял вверх палец, – можно подумать, что тут пустыня, и я единственный русский писатель, один,

как этот перст в пустыне. Да, но собственно так и есть. Вот и постригся наголо специально для этой поездки, – он показал на свою бритую голову, – чтобы чалму можно было накрутить, – сделал пальцем виток вокруг своей макушки. – Так что придется тебе провести за меня пару занятий. Ты как- никак мой заместитель.

18 мая 1991 года. Позвонил Соснора, он вернулся из Турции, попросил меня приехать. Открыл дверь, бодрый, веселый, поездка его оздоровила. Разговор о книгах; подводя меня к стеллажам, сказал:

– С Розановым я бы расстался без всякого сожаления. Нищие пускай уж постоит, в нем много смешного. Но это самый глупый из философов. Сверхчеловек! А сам замухрышка, чуть жив, – Соснора закатил глаза и уронил руки, изобразив последнюю степень дистрофии. – И всюду таскал с собой чемоданчик с лекарствами, ампулами, клизмой. Ему постоянно нужен был допинг. Да и все немцы такие высокопарные. Почитай «Разговоры с Гёте» Эккермана. Это мудрость для дураков. И что они все после Платона? Кант? Но Кант не немец, он же прибалт. А те – настоящие пруссаки. Да, и неоплатоники, Порфирий, Плотин, Прокл, Ямвлих. Они писали не внешнее, а изнутри, они толковали символику.

Я заметил по этому поводу, что у него самого тексты тоже символичны. Соснора иронически усмехнулся:

– Стараюсь. Такая проза – это высший вид организации текста, как ты говоришь, равный стиху. Только в такой прозе намного больше ходов, чем в стихах. Поэтому стихи мне теперь и неинтересны.

– Пить нельзя, вот беда, – сказал он. – Я недавно чуть не сдох. В больнице лежал с капельницей. Молния – ух! С головы до пят! – Он широким жестом разрезал воздух сверху вниз. – А надо мной – призрак Того!

– Две недели был в Стамбуле на съезде писателей. Там везде говно, как у нас. Вот, прочитай текст моего выступления, – протянул мне лист с напечатанным текстом:

«Являются ли писатели свидетелями своего времени? Да, конечно. Но свидетелей убирают... В наше время искусство это только немногие подновленные эстетики древних. Мы едим нашу кашу их ложкой».

12 июня 1991 года. Среда. Лито. Пушкинская 10. Вместо обсуждения стихов разговор. Соснора спросил:

– Вы никогда не задумывались: почему два гения за два года превратились в абсолютное дерьмо? Как это могло случиться? Пастернак, Маяковский. Каким образом они оказались на уровне Луговского или Дудина? А Заболоцкий с его стихами типа «Некрасивой девочки»? И ведь сами, никто же их не заставлял. Уму непостижимо. Какое дело нормальному человеку до этих вырожденцев наверху, до этих

бандитов, которые там размахивают топорами? Нормальный человек занят собой, своей жизнью. Ведь всё, что человек делает для другого, это он делает для себя. Это естественно. Это закон. И если это понять, то все становится на свои места. Лично я всегда писал только то, что хотел.

У нас нет детской литературы, ни одного детского романа, даже сказок. Ну кое-что у Пушкина, ну «Конек-горбунок» Ершова. Но это же чисто русские сказки, в мире они не звучат.

Вчера читал от скуки томик Хармса. Это совершенно не поэт, и близко не лежало. По крайней мере не ориентир. Только два замечательных стихотворения: посвященное Малевичу и еще это, как его там, это самое «Хню». Но проза у него – другое дело. Отличная проза. И пьеса «Елизавета Бам» – это, можно сказать, вполне на мировом уровне.

Ехал в Стамбул, думал: фески, мечети. Специально очки надел, вот такие, чтобы все видеть. Ну и увидел: ни одного турка. Второй Бруклин. Все в европейских костюмах, говорят по-английски. Ну и ну. Какая скука! Там все в восторге от нашей советской жизни. Но жизнь у нас действительно стала оживленной. Иду мимо магазина: очереди пересекаются в несколько входов-выходов, заворачиваясь, как фашистские знаки. Все что-то хватают: капусту, картошку, свеклу, брюкву. И действительно: надо хватать. Вот жизнь и стала оживленной. Хожу и вот так, смотрю на нашу реальность. Что же мне еще делать. И вижу: эта реальность фантастичней любой сказки. Нечто совершенно невообразимое.

22 июня 1991 года. Позвонила жена Сосноры Нина, попросила приехать, он болен и хочет меня видеть. Вошел к нему в комнату, при нем, кроме Нины, две девушки из Литы, Лариса Барахтина и Лена Новикова. Соснора лежит на кровати, они вдвоем за ним ухаживают, пытаются кормить куриным бульоном из ложки, приподняв ему голову. Увидев меня, Соснора отклонил ложку, вскочил с кровати:

– А, это мой друг Слава! – стал меня обнимать. – Видишь, у поэтов всемирный запой. – Небранный, обросший, ужасный, всё повторял: – Горе мне, горе! Это конец! Жить противно. Какой я гений? Вот Рид Грачев – он гений, единственный из всех нас. А я – говно. Бедный Рид! Бедный Рид! И живет рядом, в двух кварталах. Я тоже сойду с ума. Рид с 1967 года сумасшедший... Где мой револьвер?..

Соскочил с кровати, стал искать, отодвигал книги на полках:

– Где-то тут должен быть, вы, мерзавки, спрятали!

Взял книжку Дельвига:

– Вот поэт! Гений! А Пушкин – говно. – Держа книжку у себя над головой, всё твердил строку из стихотворения Дельвига: «К чаше! Герои Киприды вином запивают победы!» Ах, подлец, как написал!

Ходил по комнате, опять лег на кровать, вскочил в испуге:

– Звонят в дверь! Не пускайте! Это врачи! Сволочи! Всего искололи! – задрал рукав рубашки, с жалобным видом показал мне: – видишь, вся рука истерзана шприцами. Ах, горе мне, горе! Всё, что я написал – невообразимое говно. – Сев на кровати, сжал ладонями голову. Печально было на него смотреть.

День кончался, в комнате стало темно. Он закричал в ужасе:

– Не вижу! Ничего не вижу! Мои глаза!

Включили свет, он успокоился. Не хотел меня отпускать:

– Ну, посиди еще немного. – Показал пальцем вверх, – Бог – это пес! Как ты думаешь, можем мы быть от него независимы? Правильно! Это Он наверху сторожит!

Наконец, он уснул. Женщины остались при нем. Они так измучились, что валились с ног, им надо было отдохнуть. Я ушел. Было уже четыре часа ночи. Улица пустынна, светло, белые ночи, удалось остановить одинокое такси. Вернулся домой с тяжелым впечатлением.

1 июля 1991 года. Опять был у Сосноры. Он за машинкой, сказал:

– Работаю с рукописью, надо сдавать в редакцию. Хуже нет работы: готовить рукопись к печати. Неделя лежал в больнице, еще не выписали, отпустили домой на несколько дней, приготовить рукопись. Сделаю – лягу долечиваться. Я же хронический алкоголик, беспомощен, как птенец. Да, это пахнет катастрофой. Как говорится, смертельный номер.

17 июля 1991 года. Среда, Лито. Пушкинская 10. Стихи читает поэтесса с густыми черными бровями, мужеподобная, очень уверенная в себе.

После прочтения и высказываний членов Лито Соснора обратился к поэтессе:

– Вот, смотрите, у вас тут поэма на шести листах, а я беру и произвожу обыкновенную редакторскую работу, а, проще говоря, вычеркиваю все лишнее. И что же остается? А остается у нас не так уж и мало: целых четыре строчки! От такой-то поэмищи! Но зато это действительно то, что надо, и ничего лишнего. А ведь эту работу вы сами должны были сделать. Вон у вас – молодость, здоровье, румянец на щеках, энергией вся так и пышете! А заставляете меня, больного старика, за вас трудиться. И зачем вам, спрашивается, был нужен весь этот стихотворный груз, эта мертвечина слов? Почему вам недостаточно этих четырех строчек, живых и ярких? Вот смотрю я на вас на всех – все вы какие-то странные. Ведь это же все равно, что, скажем, идти по Невскому, а вам на голову тряпку положат, потом копну соломы, потом сунут гирию в руку. Много ли так погуляешь? Вот эта строчка –

чистейший перл: «Я тоскую у комода». Это прямо из обериутов. У дилетантов частенько бывают удивительные находки. Однажды Леонид Мартынов пригласил меня к себе на съезд молодых поэтов: там, говорит, ты наслушаешься перлов. И правда: один-то перл я там, по крайней мере, услышал. Одна молодая поэтесса написала поэму о Маяковском и были в этой поэме такие строчки:

Я ушла от Вас, Владим Владимыч,
Ощущая облако в штанах.

Весь зал так и повалился от хохота.

Поэтесса с густыми бровями обиженно возразила:

– Ведь я пишу для детей!

– А мне нет никакого дела, для кого вы пишете, – стальным тоном ответил ей Соснора, – Пишите хоть для крокодилов. Мне важно только то, что вы написали для стиха, то есть, только то, что нужно самому стиху. Остальное меня совершенно не касается. Вот я был недавно на экскурсии в одной больнице, так там на стене я увидел портрет красивой, пышущей здоровьем медсестры, глядящейся в зеркало, а под ним такие стишки:

Ты мне, зеркальце, скажи,
Да всю правду доложи:
Я ль на свете всех милее,
Всех румяней и трезвее?..

21 июля 1991 года. Поехал к Сосноре. Разговор перешел на высшие материи.

– Ведь люди собственно ничего не знают, сказал он. – По сути дела всё сводится к энергии. Всё в мире – энергия. Откуда она берется, куда уходит... Гений – это мощнейшая энергетическая машина, которая, начав работать, раскручивается до чудовищных оборотов и заглатывает и перемалывает всё и вся, и, в конечном счете пожирает весь мир. Разве это похоже на людей? Люди средни, нормальны, щиплют травку. Древние называли их, гениев – сыны неба. Я думаю, они действительно сюда приходят из космоса или их посылают. Это же не люди, они резко отличаются от людей по психике. Ты посмотри на их поведение, на то, что они делают, на так называемые произведения их искусства. Что они наворочали. Шекспир, скажем. Они же подключаются к высшей психике, не к земной, не к людской. Так что же ожидать? И потом, они абсолютно свободны от земли, от людей, от людских понятий, идей, знаний. Только в начале своем они всё это быстро перемалывают. Гении – это чудовищные сгустки энергии. Их деятельность необязательно выходит в реальные вещи, скажем, в искусство. Ведь самые-то величайшие гении

не написали ни строчки: Пифагор, Сократ, Будда, Христос. Вот ведь что. Книги могут и не существовать реально, скажем, сгорели или неизвестны миру по каким-то причинам, но все равно они всё так же мощно действуют на мир, скрытым образом. А как же! Ведь на них затрачена энергия. Ведь это и есть сама энергия. А энергия не исчезает, она действительно бессмертна. Реально книги имеют значение только для автора, пока он жив. А, может, он потом тут во всё вмешивается? Кто знает?

Люди же боятся энергии, боятся попасть под влияние гениев. Люди отталкивают от себя их книги, значит, и отталкивают от себя высшее и опускаются тем самым все ниже и ниже по лестнице тупости, а все равно живут в мире во власти идей гениев. И зачем люди настроили эти ужасные машины? Рев, чад, смрад. Быстро передвигаться? А зачем? Как хорошо было на лошадках! Если уж есть охота путешествовать и повидать страны. А что увидишь на самолете? И потом, те, не-люди, обладают, кроме прочих высших способностей /ясновидение и прочее/ и способностью переноситься в пространстве, вне времени. Так что эта громоздкая, ужасная машинная цивилизация – принадлежность только людей с их полной неспособностью на что-то лучшее, высшее, свободное, с их бескрылостью.

Вот возьми – Гитлер. Тоже – гений. Сколько энергии! Отнюдь не маньяк, это на него наболтали. Но, конечно, чудовищен, раз столько энергии, и умной энергии, не тупой, как у большинства вождей. Он же до конца не сдавался, это уж потом врачи колоть его стали, глушить энергию, он и скис. А Ленин? То же самое. Ничего не боялся, разъезжал в машине, выступал на заводах, и абсолютно без охраны, и это, когда уже коммунистов стреляли на каждом углу. Да вот хоть и гангстеры, тоже своего рода нелюдская психика: поставить себя вне закона и на этом стоять всю жизнь.

Я говорю: люди ничего не знают. Почему мы умираем? Почему у египетских мумий стража стояла, меняясь из столетия в столетие? Чего ждали? Значит, знали, что, скажем, через тысячелетия возможно воскресение? Увы, если бы люди не распеленали их раньше срока.

Соснора закурил. Помолчав, продолжил:

– Я теперь больше склоняюсь к Востоку, а конкретно – к японцам. Может, оттого, что у меня восточная кровь. У японцев действительно духовный путь, их не интересуют внешние формы, они могут всю жизнь писать один и тот же сюжет. Казалось бы, абсолютно идентично, а на самом деле совершенно другое духовное наполнение.

В двадцатом веке японцы приехали в Европу и что они там признали из всей живописи? Только двух: Леонардо и Рембрандта. Леонардо – понятно, ведь у него как все сделано, каждый мазок! А

Рембрандт – у него же формы не важны, а всё – свет, светотень. А про всю остальную европейскую живопись японцы сказали: ну, есть, конечно, у вас большие мастера, но все это пустое, в их картинах нет духа. У вас не художники, а ремесленники, они не рисуют дух, а только копируют внешнюю реальность, у них внешнее, а не внутреннее. Мертвые картины, мертвое мастерство.

К европейским писателям я теперь совсем остыл. Только Стендаль, две его книги: «Красное и черное» и «Пармская обитель». Абсолютно противоположно моей манере, но исключительно гармонично сделано. Так сделать крайне трудно. Эти две книги меня успокаивают. Ну, еще Мериме, этот уловил самую суть новеллы. На Западе искусство очень быстро меняется, как мода, то поп-арт, то кич, то есть, дурной вкус. То есть: чем хуже, тем лучше.

Оригинальность это, конечно, особенность психики, это от рождения, как говорится, дар Божий. Это Тот луч кинул. Это не приобретешь.

Терпеть не могу Карамзина, особенно его «Историю государства Российского». Эта его слащавость. Во что он превратил историю? Это же говно, облитое сахаром. История – жуть, сплошные убийства. А он всех ангелами сделал. Называли: русский Плутарх, Вальтер Скотт, великолепный стиль. Но это же говно из говна.

В заключение разговора Соснора заметил:

– А в общем-то зря ты занимаешься всей этой белибердой. Важна только практика, писать так называемыми образами, и больше ничего. Так что вся эта теоретическая мура совершенно ни к чему. Я ведь тоже сначала пытался рассуждать на темы литературы, но что-то у меня так и не получилось. Мои статьи и речи становятся короче и короче, три страницы, страница, полстраницы. Недавно послал статью о метрике стиха: всё, что я хотел сказать о всей метрике у меня заключилось в трех фразах. Скоро я так дойду до того, что всё, что я хочу сказать на все темы литературы, я буду выражать одной буквой.

25 апреля 1992 года. Поехал к Сосноре. Он хмурый, обросший седой щетиной.

– Лень бриться, лень мыться, лень креститься, – сказал он с грустной усмешкой. – Прочитал две твоих новых вещи: "Тема мужчин" и "Тема месяца". Надо же, совершенно для меня неожиданно! То, что у тебя талант – это-то для меня не может быть неожиданностью, это я тебе давно повторяю, и эти твои новые рассказы только еще одно тому подтверждение. А неожиданно – как ты вдруг повернул и стал писать совсем по-другому, по-своему. У тебя открылся вполне твой внутренний стиль. Ты понял главное: смысл писательства, и – что нужно фразе. А что

мне больше всего нравится – совершенно на меня не похоже. Другим нравится, когда на них походят, а меня, наоборот, раздражает, терпеть не могу. Каждый должен быть самим собой. Вот у тебя, например, уже от рождения был твой внутренний стиль, заложенный в тебе, как в Э.В.М. Ты начал работать, крутить программы, и этот стиль у тебя пошел наружу, на бумагу. У тебя тут всё, конечно, реальное, мне, как метод, это чуждо, но тем не менее, действительно нравится. Это абсолютно правильный, настоящий твой путь, и я не знаю, куда может тебя вывести. Куда угодно, к самым неожиданным поворотам. У тебя и сейчас их много. Редакторы журналов это, конечно, не увидят. Но я-то вижу. Тут всё на незаметных тонкостях, но они-то, может быть, и главное. Вот у тебя тут, – он показал в моей рукописи: – какое отличное начало для прозы «Что ж это опять?» или: «Ну, ну, предположим». Вот здесь замечательно: «Задерживая штору, она говорит». Или вот: «У твоей логики железное чувство локтя». Вот еще, совсем великолепно: «Зимний денек предлагает свое чистое утреннее молоко». Или: «Путешествую через восьмиметровую пустыню комнаты, от одного стекла к другому, к окну». И эта строка хороша: «Кошка мяукнула за дверью». Да что говорить, целые куски великолепные. И в целом тоже все хорошо, от начала до конца. Конечно, есть нейтральные места, но так и должно быть, то есть – должны быть просветы. Слишком концентрированную прозу могли писать только высшие гении, так, чтобы при этом проза была живой. Вот в чем трудность. Больше всего мне понравилась эта твоя морская вещь, да, «Последняя капля». О подводниках. В конце концов, главное, чтобы в каждой вещи был выдержан единый стиль. Вот, посмотри, – он показал рукой на картины, висящие у него на стенах, – квадраты рамок, а внутри – заполненные пустоты, красками, формами. Каждый раз по-другому. Внутри данного, конкретного квадрата – абсолютное живописное единство, закон стиля этой вещи. Можно и не заполнять пустоту, а дать три-четыре штриха – и это будет тоже стиль. Стиль пустых кусков.

– Но имя ты себе этими вещами все же не сделаешь, – продолжил Соснора. – Это не смогут заметить, это слишком тонко для публики. А вот милицейская повесть, да, эта, «Быков» твой, сделает тебе имя. Эта повесть у тебя резко обозначена, она груба, жестока, и прозвучит неожиданно для многих. Она произведет шок, а это и делает имя. Твой пример лишний раз доказывает, что ничему нельзя научиться. У каждого одаренного человека свой внутренний стиль, который он проявляет в себе и развивает, то есть: развивает свое мастерство, соответствующее этому внутреннему, заложенному в нем врожденно и присущему только ему. А дурака учи, не учи, ничего в нем нет, пустышка. В лучшем случае будет под кого-нибудь шпарить, слово в слово. Влияние – дело другое.

Просто есть близкие психические типы, которых тянет друг к другу. Или, наоборот, противоположные, которые отталкиваются. Самый правильный принцип: учись у своего врага. Короче говоря, есть психические влияния. Не обязательно живой человек, также – влияние гениальной книги: ведь, читая такую книгу, подключаешься к психической организации высшего типа. В общем, берешь, что тебе нужно для себя, отовсюду и перерабатываешь в свое внутреннее, в свой стиль. Естественно. У всех так. Вот и у тебя. А как же иначе. Ну, хорошо. Надо что-то делать. Составь книгу своей милицейской прозы, повести и рассказы, и я подумаю, как опубликовать.

Потом он стал говорить о себе, о своем мрачном состоянии духа:

– Не могу теперь читать ничего художественного, от всего тошнит. Беру Цветаеву – тошнит. Маяковского – тот же результат. Пастернака – не лучше. Хлебникова – воротит. От стихов, конечно. А в юности как восторгался! Проза у него вообще ужасна, хуже всего, что может быть, хуже, чем у Горького. Айги – сплошная высокопарность. Трезвым, холодным умом понимаю: все они гении, великие поэты, сделавшие свое дело. Но мне-то что до них. Я делаю свое. И чем больше и дольше я делаю свое, тем мне все более они чужды и невозможнее что-нибудь находить у них для себя. Исключение – только Гоголь. Его никогда не устану перечитывать. Как-то он нашел гениальную среднюю линию: все читают и всем нравится. Еще вот – Лермонтов. Но, думаю, когда-нибудь и они мне надоедят.

25 мая 1992 года. Привез Сосноре рукопись моей прозы, составленную в книгу.

– Мы вот как сделаем, – сказал он: – у меня есть друг в издательской фирме «Редактор» Евгений Стукалин. Напишу ему письмо.

Соснора тут же сел за стол и написал:

– Дорогой Женя!

Посылаю к тебе Вячеслава Александровича Овсянникова.

На мой взгляд – это интереснейший поэт и писатель. Его повесть «Страдания сержанта Быкова» – не плод фантазии. Сам автор работает в милиции, он капитан. Не смущайся – это человек необычный, он знает философию от Платона до наших дней и читал Всё. Я очень рекомендую тебе напечатать эту повесть, а деньги он заплатит. Я охотно напишу предисловие.

Я долго тебя искал, и оказалось, на радость, что ты в «Редакторе».

Будь здоров!

В.Соснора /подпись/

25 мая 1992 г.

Соснора протянул мне это письмо, чтобы я лично передал его Стукалину. Затем мы обсудили состав книги. Назвать: «Одна ночь». Повесть и рассказы». После небольшого раздумья он написал предисловие. Вот оно:

Тема и метафоры

Вячеслав Овсянников окончил знаменитое Макаровское училище, плавал по морям-океанам, теперь офицер милиции. Пока плавал – писал стихи, теперь пишет прозу.

Такое вступление, наверное, настроит читателя на романтический лад и от книги будут ждать невероятных приключений или сражений с преступниками, – героини милицеских будней. Ничего этого здесь нет. Автор – человек неординарный и не вписывается в литературную «милицескую форму» в традиционном представлении. Он – не бытовой беллетрист, а, скорее, мифолог и писатель склада Андрея Белого. Милиция для него лишь среда, его герои живут более по литературным законам, нежели реальным. Милицеская тема для Вячеслава Овсянникова – не удобное зеркало для «отображения действительности», а благоприятный материал для гротескного осмысления жизни. Хотя в интереснейших реальных деталях его прозы много правды, нельзя принимать весь этот страшный будничныи быт за полностью достоверные копии. Это – сгустки абсурда, гротеска, метафор, которыми оперирует автор.

Вячеслав Овсянников – новый голос в современной петербургской прозе. И этот голос своеобразен и чрезвычайно актуален.

В.Соснора /подпись/

16 июля 1992 года. Среда. Лито. На Невском, в Доме актера. Весь год кочуем с места на место. Это последнее, прощальное занятие. Вместо обсуждения стихов – вечер вопросов. Соснора в очках сидит за столом, перед ним пачка бумаги.

– Вот тут ваши вопросы напечатаны, на десяти листах, – говорит он. – То, что вас интересует. Начнем по порядку:

– Как я определяю: что хорошо, что плохо? Зависит ли вкус от культуры? – Соснора усмехнулся. – Вопрос вообще поставлен неправильно. В отношении искусства абсолютно нелепо говорить, что хорошо, что плохо. Эти оценки не к нему. С точки зрения самого искусства они абсурдны. Да, но именно так, по принципу хорошо-плохо оценивает искусство культура. Но ведь дело в том, что культура и искусство взаимно исключают друг друга. Это антиподы. Это враги. Искусство – это антикультура. Культура – это антиискусство. Ведь что

такое культура? Это когда всё по правилам, красиво, чисто, аккуратно, как заведено и не нарушает правил. Скажем, проснулся утром тихо-мирно, умылся, побрился, причесался, позавтракал. Потом взял кипу самой лошенной, глянцевої бумаги, сел за машинку /машинка сейчас – это очень культурно; а еще культурней компьютер, это уж совсем комфорт и полный порядок/ и объявил себе: четыре часа пишу роман. И пошел шлепать. Так, например, очень культурно работает теперь Горбовский, бывший уголовник и пьяница. Теперь он исключительно культурен. Попьет утром какао, потом садится за машинку и шпарит до двух дня прозу. Потом еще попьет какао и уж теперь начинает шпарить стихи. Так каждый день. За день у него так получается, без заминок – одна книжка стихов и одна глава прозы. Всё в полном порядке и со всеми удобствами. Но к искусству это никакого отношения не имеет. Вот, если проснулся утром и вместо того, чтобы тихо-мирно, как все, умываться там, причесываться, пить какао, стал бы ни с того, ни с сего – визжать. Это уже – попытка искусства. Ведь истинное, в высшем смысле, произведение искусства это ничто иное, как преступление против всего, что было до него. Это отрицание всей культуры, всей литературы, всего предыдущего искусства. Это монстр, чудовище. Такого еще не бывало, такое ни предугадать, ни вообразить невозможно. А культура – это то, что этих монстров приспособливает к повседневной жизни, вводит их в обиход, делает гипсовыми игрушками и ставит на полку. Теперь они никому не страшны. Вот, например, Оскар Уайльд или Байрон писали наоборот Горбовскому. Их эта культура душила, на горло наступала, они от аристократизма в кабаки шли.

Соснора читает следующий вопрос:

– В чем мой феномен? Не знаю. Никогда не задумывался об этом. Если же говорить о феноменах истинных, то есть высших явлений в искусстве, то, что и делает всё искусство, то это в первопричине ничто иное, как новый психический тип. Всё остальное: поэтика, технология, открытия, методы письма – всё только следствия. Вот посмотрите – Хлебников. Какой абсолютно новый психический тип по отношению к Пушкину. А Пушкин – к Державину. А какая психическая пропасть между Блоком и Белым! Я вам скажу: мировые гении, то, что самый потолок /а их немного/, это всегда абсолютно новые психические типы. Их и людьми-то никак нельзя назвать. Какое там! Ужас! Все люди как люди, а у этих три башки, глаз на брюхе или еще что-нибудь несообразное. Оторопь берет тех, у кого всё нормально, всё как надо. Разве таких много? Сафо, Пиндар. Из всех римлян один Катулл. Ну а кто ж еще? Нельзя же всерьез читать, скажем, Вергилия. Скука из скук. Также и все остальные. Ну, Овидий, чудак, и то единственно интересно, что – мифы, много мифологической информации. А больше ничего.

Гомер, Шекспир, Эдгар По, Байрон, Пушкин, Гоголь, Хлебников. У нас больше никого не знаю. Ну, Достоевский, ну, «Герой нашего времени» Лермонтова, только эта его книга. Вы почитайте Шекспира: это же ужас! Сплошные трупы. И для чего? Чтобы что-то там завязать и развязать в сюжете, что этому парню взбренило. Кому это нужно? Зачем? Что он там наворотил?! Да никому, кроме него самого. Нормальный человек смотрит и – волосы дыбом! Ничего не понимает. Бросит в сторону и уж до конца жизни к этой чудовищной книге не притрагивается. И правильно делает, с его точки зрения. Это же – античеловеческое. А возьмите нашего Достоевского «Бесы». Сто шестьдесят убийств. Кошмар! А Маяковский «Облако в штанах»! Это же абсолютный монстр. Всё там нелепо, ненормально, дико. И ритм, и рифма, и образы, и сюжет. Ну к чему, скажем, ему это: «На цепочке Наполеона поведу, как мопса»? Всё в этой поэме странно. А вот возьмем Набокова. Его «Лолита» несомненно тоже останется там, среди высших. Всё остальное у него – пустота, скука. А «Лолита» – это же настоящее преступление против уголовного кодекса. То, что Петрарка только наметил. Этот же отбросил сентименты и развернул, первый, эту тему девочки. Короче: высшие гениальные явления и сам гений – это то, что против всех и всего, вразрез всему. А ниже этого высшего яруса есть, конечно, и то, что назовем: мастера. Этих много. Эти владеют высшей технологией, какая только возможна. Но как психические типы они стары, вторичны, третичны. Вот, скажем, Вознесенский. Это несомненно высший мастер. Но его психический тип – это начало века, вторичный тип Маяковского. Придет гений, и всё это мастерство перечеркивается. Ничего не остается. Ну что мне все эти Ахматовы, Гумилевы, Мандельштамы? У Ахматовой только одна строчка: что как-то она там перчатку с правой руки надела на левую. Ну, ничего, мило. Правда, это из «Бедной Лизы» Карамзина. Или еще у нее: «Все мы бражники, все блудницы». Ну, неплохо для юного возраста. Только – какие они там были бражники, какие блудницы? Знаю я. Мандельштам только и пил, что чашку шоколада, это был верх его бражничества. Так и всё, что он написал – чашка шоколада. Ну, мило, конечно, и больше ничего. А Гумилев с его картонными рыцарями? И говорить не хочу.

Читает дальше:

– Гений и сумасшествие? Правда ли, что одно подразумевает другое? – Соснора машет рукой: – абсолютная чушь! Ну, бывают совпадения. Но в подавляющем большинстве гении, в этом смысле, вполне нормальны, здоровы. Да, вот здоровы они должны быть исключительно, чрезвычайно. Ведь они колоссальные трудяги, титаны работоспособности. Какое там сумасшествие! Они просто работают с утра до ночи, им и думать-то некогда на такую тему. Куда больше сумасшедших среди обычных людей. Ведь эти-то, только им скажи, что

они сумасшедшие, или сами догадуются, да для них это, прежде всего, повод симулировать и ничего не делать. И так-то ничего не делали, а тут и совсем – шабаш. Я – сумасшедший и могу валяться на койке и поплевывать в потолок. В общем, дурака валять. А это ведь может быть и массовым явлением. Вы посмотрите: как идут на демонстрации, Первого мая, Седьмого ноября, или что там еще. С какими идиотскими лицами. Раз этот идиотизм признан сверху и введен в жизнь, могу законно дурить и быть идиотом вместе со всеми, могу ничего не делать и кричать ура, как болван. В общем, лишь бы ничего не делать. А гении – это всегда беспримерные трудяги.

Читает дальше:

– Зависит ли гениальное явление в литературе от общелитературной ситуации? Ну, не знаю. И зависит, и не зависит. Это неясно. Это узнается потом. Ну, какая, скажем, общелитературная ситуация была при Гоголе? Никакой. Антилитература. Он, Гоголь, настолько высоко стоял над всякой ситуацией, что и говорить о ней не приходится. Он сам и был – ситуация для целой эпохи. А Достоевский? То же самое. Вот, скажем, теперь все называют великим Алоизиуса Бертрана, современника Бодлера. Писал в девятнадцатом веке маленькие новеллы верлибром, переводы с голландского да еще о голландских картинах. Уж куда дальше от жизни. Жил в нищете и ничего не мог напечатать. Стал об этом жаловаться Бодлеру. А тот был его друг. Бодлер страшно изумился. Как! Вам мало того, что я, Бодлер, называю вас великим писателем? И вам нужно еще что-то? И действительно: что еще нужно? А в живописи, скажем, вообще часто бывает, когда живопись абсолютно не зависела ни от какой жизненной ситуации. Жизнь сама по себе, живопись сама. Вот, Анатолия Зверева все теперь объявили великим, на Западе – его выставки. А разве он был в последние годы человек и что-то из жизни на него влияло? Да ничего. В общении со всеми он казался абсолютным дебилом. Каждую свою картину продавал за три рубля семь копеек – цена бутылки водки. Каждую картину! Кому он был нужен? И ничего в нем человеческого не было. А теперь – великий!

Читает дальше:

– Каждый великий писатель – это философ жизни? Да ничего подобного! Причем тут философия? Любая философия – это болтовня, это пустые рассуждения. Как только писатель начинает рассуждать – он пропал. Это не писатель. Писатель это то, что пишет его рука, это письмо образами. Это антирассуждение.

– Что должно быть главным у писателя? – Соснора усмехнулся: – здоровье! Чтобы всё у него было здорово – руки, шея, живот, спина, сердце, печенька, селезенка. Уж я не говорю о самом главном, что надо бы сказать в первую очередь, но тут много девушек.

– Является ли общечеловеческое врагом искусству? Ну, я ведь уже сказал, что повторять. И религия, например, враг искусству, она ведь тоже – общечеловеческое. Но если увидишь в религии что-нибудь свое – это уже искусство. Но тогда будешь враг номер один для этой религии. Как случилось с Толстым – его тут же отлучили от церкви и предали анафеме.

– Вот вопрос: «Как вы пишете?» Ну как я пишу. Начинаю книгу и пытаюсь закончить. Потом жду – когда придет следующая. Не приходит. Не надо. Я нисколько об этом не беспокоюсь. Вот уже восемь лет не написал ни одной стихотворной строчки. Проза перестает идти – пусть. Буду писать письма. Да мало ли что. Лишь бы руки были, занятие всегда найдется.

– Есть ли сейчас в нашей прозе интересные явления? Есть, конечно. Но они мало появляются в печати, их затопил океан общепризнанной литературы, вернее, антилитературы. Но, все-таки, десятка три имен есть, которые работают в разных пластах языка. Например, Рид Грачев в свое время повлиял на наше /мое/ поколение. Голявкин, Довлатов, Мамлеев. Он все с мертвецами и вампирами возится. Ну и Битов – дубль Набокова, но всё же...

– Вот вы все, наверное, прочитали Джойса в недавнем переводе, его этот «Улисс». Вот, чтобы такую книгу читать – надо академическое образование и знание английского языка. Ведь перевод – это почти утрата того, что в языке. Ну, скажем, такую книгу, как «Сто лет одиночества» Маркеса – что и переводить. Там почти всё – пустая болтовня. Это другое дело. Окуджава, этот слащавый песенник для народа, этот мещанин взялся переводить безумца Аполлинера. Так что же ждать?

– А! Что молоть одно и то же! К чему я вас всех призываю? Освоить высшую писательскую культуру. А потом ее забыть. Отбросить подальше. И начать писать что-нибудь другое, по-своему. Но это уже будет преступление против культуры в литературе. К этому преступлению я вас и призываю. Но – только к этому. Боже меня упаси – призывать к преступлению в жизни.

– Итак, это наше последнее занятие, – закончил Соснора свою речь. – На этом мы расстаемся. Вы свободны. Да будет вам известно: я распускаю студию.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ КНИГИ

С Виктором Соснорой я познакомился в 1978 году. Посещал его Лито в Доме культуры имени Цюрупы. К тому времени я уже знал и любил его стихи и считал его самым большим поэтом нашего времени. То, что говорил Соснора на занятиях Лито, и как говорил, произвело на меня сильнейшее впечатление. Его речи опрокидывали все устоявшиеся, книжные представления о поэзии, литературе, искусстве, рушили все шаблоны и трафареты. Авторитетов не существовало. Ценилась только оригинальность и гениальность. «Голая гениальность», как выразился Соснора в одной из своих статей. Он сам и есть – эта «голая гениальность». В речах Соснора не менее интересен и ярок, чем в своем творчестве. Я стал записывать эти речи, чтобы сохранить их, понимая, что, если не запишу, они пропадут, потом мне будет их не восстановить. Соснора заметил, с каким энтузиазмом я его слушаю. В 1981 году он перенес клиническую смерть, долго лежал в больнице в Тарту. Потерял слух. Ему нужно было восстанавливать здоровье, больше бывать на воздухе. Он предложил мне сопровождать его на прогулках. Недалеко от его дома – лес. Я приезжал к нему на Ржевку один раз в неделю, и мы шли гулять в этот лес, взяв с собой чай в термосе и бутерброды, потому что прогулки бывали длительные, по пять-шесть часов. Общались мы так: он говорил, я из-за его глухоты писал ему на бумаге. Эти беседы были чрезвычайно интересны, я старался запомнить слово в слово. Пользоваться магнитофоном Соснора запретил. Пришлось самому превратиться в магнитофон, выработать особую память на запоминание его речей. Расставшись с ним, по пути, в транспорте с лихорадочной поспешностью записывал. Дома продолжал, иногда полночь, боясь упустить что-то существенное. Просыпался среди ночи с мыслью, что забыл записать какое-то его высказывание, срывался к письменному столу, включал лампу. Утром перепечатывал набело на машинке. Так, неделя за неделей, росла рукопись. Соснора, узнав, что я записываю его разговоры, предложил мне быть его биографом и со временем сделать книгу. Назвать ее – "Прогулки в лесу". Каждый год я перерабатывал всю рукопись заново. Соснора не единожды интересовался: сколько уже набралось. "Наверное, я тебе уже томов десять наболтал?" – спрашивал он, шутя. К концу 2008 года действительно была уже большая рукопись, более 800 страниц машинописного текста. На мой взгляд вполне сделанная, завершенная книга. Тридцатилетний труд. Когда Соснора спросил в очередной раз, сколько у меня набралось, я ответил, что книга собственно готова, и я могу принести ему на просмотр всю рукопись.

Примечание

Соснора Виктор Александрович /р.28.4.1936/, поэт, прозаик.

Соснора Александр Иванович /1908 – 1959/, военачальник, отец В.А.Сосноры.

Соснора Ева Вульфовна /в девичестве Горовацкая/ 1914 – 1990/, педагог, мать В.А.Сосноры.

Соснора Петр Иванович /1913 – 1943/, командир партизанского отряда на Кубани, погиб в 1943 году, расстрелян гестаповцами, дядя В.А.Сосноры.

Соснора Иван Егорович /1880 – 1941/, офицер русской армии /полковник/, дед В.А.Сосноры с отцовской стороны.

Горовацкий Вульф, был раввином в Витебске, расстрелян при Советской власти, дед В.А.Сосноры с материнской стороны.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Абдураимов Анвар, поэт, посещал ЛИТО Виктора Сосноры. «Среды» – 1980.17.5; 27.5.

Абрамов Федор Александрович /1920 – 83/, писатель 2005.31.3.

Аввакум Петров /1620 – 81/, протопоп, писатель и публицист, глава церковного раскола 1994.3.12; 1996.26.3; 1997.22.10; 2000.15.11.

Август /63 до н.э. – 14 н.э./, римский император 2004.13.1.

Аверинцев Сергей Сергеевич /1937 – 2004/, филолог, литературовед, историк культуры 2000.19.4; 27.4; 2001.12.10; 2005.10.11.

Авиценна, Ибн Сина /987 – 1037/, арабский философ и врач 1996.20.2; 1998.18.4; 1999.12.10; 2005.30.11.

Аджубей Алексей Иванович /1924 – 93/, журналист, публицист, главный редактор газеты Комсомольская правда, Известия, член ЦК КПСС, зять Н.С.Хрущева 2005.16.11.

Айвазовский Иван Константинович /1817 – 1900/, живописец 2004.17.4.

Айги Геннадий Николаевич /1934 – 2006/, поэт 1992.18.12; 1997.26.4; 30.10; 5.11; 1998.27.3; 16.9; 1999.7.9; 2000.10.8; 2001.17.1; 6.6; 1.7; 7.7; 2002.22.2; 7.3; 27.4; 21.9; 12.10; 19.10; 24.12; 2003.15.4; 7.10; 16.12; 2004.10.4; 2005.30.8; 2006.9.3; 21.3; 3.6; 17.6; 24.9; 2008.11.5; Среды. 1989.2.2; 27.10; 1992.22.4; 25.4.

Аксаков Иван Сергеевич /1823 – 86/, славянофил–публицист, сын С.Т.Аксакова 2002.1.3.

Аксаков Сергей Тимофеевич /1791 – 1859/, писатель 1999.12.10; 2000.29.9; 2001.13.12; Среды. 1989.17.3.

Аксёнов Василий Павлович /1932 – 2009/, писатель 1996.15.4; 2003.16.12; 2004.9.2; 2005.6.9; 23.11; 2006.10.1; 22.4; 2008.21.1; 11.5.

Акутагава Рюноскэ /1892 – 1927/, японский писатель 1995.5.1; 2000.25.2; 29.11; 2001.13.12; Среды. 1985.24.8.

Александр Македонский /356 – 323 до н.э./, царь Македонии, полководец, завоеватель 2000.10.3; 12.10; 2002.8.2; 24.12.

Александр III Александрович (Романов /1845 – 94/, российский император 2001.18.9.

Александр II Николаевич (Романов /1818 – 81/, российский император 2001.18.9; 2002.7.12; Среда. 1982.15.3.

Аксахин Владимир, поэт, посещал ЛИТО В.А.Сосноры. Среда. 1982.24.2.

Алексеев Владимир Владимирович /1940/, писатель 2004.16.12.

Алексей Михайлович (Романов /1624 – 76/, русский царь 2003.17.2.

Алексей II /в миру Алексей Михайлович Ридигер 1929 – 2008/, патриарх русской православной церкви 2003.27.1; 2005.20.10.

Алкей /ок. 600 до н.э./, древнегреческий поэт 1999.2.6; 3.11; 2002.7.3.

Анаксагор /500 – 428 до н.э./, древнегреческий философ 1999.6.2; 2001.21.12.

Андерсен Ханс Кристиан /1805 – 75/, датский писатель 2003.15.8.

Андреев Леонид Николаевич /1871 – 1919/, писатель 2000.15.11.

Андрей Боголюбский /ок.1110 – 1174/, великий князь Суздальский, сын Юрия Долгорукова 2002.29.3.

Анненский Иннокентий Федорович /1855 – 1909/, поэт, переводчик 1997.21.5; 1999.26.10; 2000.14.3; 2001.17.1; 30.9; 2002.7.3; 2003.17.2; 2007.4.3; 2004.6.1; 2005.17.1; Среда. 1991.7.2.

Антипов Евгений Игоревич /1958/, поэт, художник, посещал ЛИТО В.А.Сосноры. Среда. 1988.24.4.

Антоний Марк /82 – 30 до н.э./, римский полководец 2004.13.1.

Аполлинер Гийом /1880 – 1918/, французский поэт 1994.3.12; 1996.20.2; 15.5; 1997.22.10; 5.11; 1999.13.3; 19.3; Среда. 1978.8.11; 1992.16.7.

Аполлоний Тианский /Зг. до н.э. – 97г. н.э./, неопифагорейский философ, чудотворец 2004.12.9.

Апулей Луций /ок.125 – ок.180/, римский писатель 2001.2.3.

Апухтин Алексей Николаевич /1840 – 93/, поэт 1996.11.6; 2000.20.10; 2001.6.6; 2003.13.5.

Арагон Луи /1897 – 1982/, французский поэт и писатель 1999.29.6; 2000.21.1; Среда. 1982.24.2.

Аристотель /384 – 322 до н.э./, древнегреческий философ и ученый 1994.3.12; 2002.3.7.

Аристофан /ок.445 – ок.385 до н.э./, древнегреческий комедиограф 2003.11.3; Среда. 1990.18.4.

Армалинский /наст. фам. Пельцман/ Михаил Израилевич /1947/, поэт, прозаик 2004.16.12; Среда. 1983.18.2.

Арон Роман, поэт, посещал ЛИТО В.А.Сосноры. Среда. 1980.17.5.

Аронзон Леонид Львович /1939 – 70/, поэт 2002.9.9; 2007.20.1.

Артур /5–6 вв./, король бриттов, герой кельтских народных сказаний 1999.15.1.

Арьев Андрей Юрьевич /1940/, литератор, критик, эссеист 2001.21.2; 25.9; 2004.24.4.

Асеев Николай Николаевич /1889 – 1963/, поэт 1996.26.3; 1998.27.4; 1999.3.11; 2000.22.3; 31.3; 10.8; 2001.12.10; 19.10; 2002.22.2; 12.4; 2004.29.6; 2005.3.11; 2006.10.1; 10.5; 2008.8.8; 26.12; Среды. 1983.18.2; 19.10.

Астафьев Виктор Петрович /1926 – 2001/, писатель 2002.22.3; 29.3.

Афанасьев Александр Николаевич /1826 – 71/, ученый, исследователь фольклора 1995.24.2; 1999.19.11; 2003.15.8.

Ахмадулина Белла Ахатовна /1937 – 2010/, поэт 1999.6.2; 15.4; 2004.20.3; 10.4; 2005.3.11; 7.12; Среды. 1990.24.1.

Ахматова Анна Андреевна /1889 – 1966/, поэт 1997.30.10; 2001.21.2; 2002.16.11; 2003.17.2; 18.3; 25.3; 9.9; 7.10; 2004.6.1; 2008.12.12; Среды. 1992.16.7.

Бабель Исаак Эммануилович /1894 – 1941/, писатель 1995.28.4; 1997.26.4; 23.5; 1998.15.1; 8.12; 1999.18.5; 19.10; 3.11; 2002.16.1.

Бабур Шир-Эддин-Магомет /1483 – 1530/, первый великий Могол в Индии, Потомок Тимура. 2002.9.11.

Бадмаев Петр Александрович /1851/?/ – 1920/, врач при Александре III и Николае II 2002.1.3; 7.12.

Бадмаева, повариха, приходила к В.А.Сосноре готовить обед 2002.23.11; 7.12.

Базунов Олег Викторович /1927 – 92/, писатель 2002.22.4.

Байрон Джордж Гордон /1788 – 1824/, английский поэт 1994.3.12; 1996.26.3; 15.4; 1997.7.2; 10.2; 13.3; 6.10; 1998.21.12; 1999.19.10; 2001.17.1; 15.8; 2002.24.12; 2003.27.1; 28.10; 2008.21.1; Среды. 1983.19.10; 1992.16.7.

Балаян Роман Гургенович /1941/, кинорежиссер 2004.25.5.

Бальзак Оноре де /1799 – 1850/, французский писатель 1998.23.5; 24.8; 8.12; 1999.3.11; 14.11; 2000.14.1; 4.2; 5.10; 2001.30.4; 2003.13.5; 2004.10.4; 24.4.

Бальмонт Константин Дмитриевич /1867 – 1942/, поэт 1997.30.10; 5.11; 1999.15.1; 19.3; 12.10; 2001.23.11; 2002.5.4; 9.11; 2003.3.2; 18.3; 2007.4.3; Среды. 1985.24.8; 1990.24.1.

Баратынский Евгений Абрамович /1800 – 44/, поэт 1995.14.3; 2001.30.9; 12.10; 2008.8.8; Среды. 1978.8.11.

Барахтина Лариса, поэт, посещала ЛИТО В.А.Сосноры. Среды. 1982.24.2; 1984.11.5; 1986.26.1; 1988.24.4; 1991.22.6.

Барклай де Толли Михаил Богданович /1761 – 1818/, полководец 1999.7.9; 2002.8.5; Среды. 1985.24.8.

Барт Ролан /1915 – 80/, французский литературовед, глава французской "новой критики" 2001.25.5; 2002.30.11; 2003.29.4.

Бартов /Шейнблат/ Аркадий Анатольевич /1940 – 2010/, писатель 2004.21.5.

Батай Жорж /1897 – 1962/, французский писатель, эссеист, философ 2001.25.5; 2002.5.10.

Батый /13 в./, татаро-монгольский завоеватель 2002.22.4.

Батюшков Константин Николаевич /1787 – 1855/, поэт 1997.22.10; 1999.31.3; 2000.14.1; 25.2; 2001.12.10; 2002.30.12; 2003.11.3; 2004.10.5.

- Бах Иоганн-Себастьян /1685 – 1750/, немецкий композитор 1997.30.10.
- Бахтин Михаил Михайлович /1895 – 1975/, литературовед, философ 2000.18.2; 2001.7.7.
- Башкирцева Мария Константиновна /1860 – 84/, художница, автор знамени- того дневника 1999.21.6.
- Бек Александр Альфредович /1903 – 72/, писатель 2000.5.10.
- Бек Татьяна Александровна /1949 – 2005/, поэт, критик, литературовед, дочь Писателя Бек Александра Альфредовича 2000.5.10.
- Беккет Сэмюэл /1906 – 89/, ирландский писатель, драматург 1995.28.4; 1999.15.4; 2001.19.10.
- Белинский Виссарион Григорьевич /1811 – 48/, критик 2000.14.3; 2001.30.9; 2003.2.12.
- Белый Андрей /Борис Николаевич Бугаев/, /1880 – 1934/, поэт, писатель 1996.26.3; 1997.7.2; 26.4; 23.5; 10.12; 1998.30.12; 1999.18.5; 27.9; 4.10; 12.10; 19.10; 26.10; 3.11; 2000.11.2; 25.2; 3.3; 7.4; 27.4; 20.12; 2001.21.2; 19.10; 13.12; 2002.1.3; 14.3; 5.4; 4.7; 21.8; 21.9; 28.9; 2003.10.2; 29.4; 6.5; 4.11; 2004.13.1; 28.2; 17.4; 16.11; 2007.4.3; Среда. 1987.2.4; 1992.25.5; 16.7.
- Бенкендорф Александр Христофорович /1783 – 1844/, шеф жандармов при Николае II 1997.28.2.
- Бенуа Александр Николаевич /1870 – 1960/, живописец, теоретик искусства 2001.6.6.
- Берггольц Ольга Федоровна /1910 – 75/, поэт 1999.27.2; 2005.6.10.
- Бержерак Сирано де /1619 – 55/, французский писатель 2003.7.10.
- Беркович Юрий, поэт 2002.9.11.
- Берлин Исайя /1909 – 97/, английский философ, общественный деятель 2002.7.3; 2003.9.9; 7.10.
- Бёрнс Роберт /1759 – 96/, шотландский поэт 1999.4.10; 2002.24.12; 2005.28.10.
- Берроуз Уильям /1914 – 97/, американский писатель 2002.16.1; 23.1; 15.2.
- Бертран Алоизиус /1807 – 41/, французский поэт. Среда. 1992.16.7.
- Бестужев /Марлинский/ Александр Александрович /1797 – 1837/, прозаик, критик, поэт, декабрист 1996.15.4; 2000.14.1; 25.2; 2002.30.12; 2003.9.9.
- Бетховен Людвиг ван /1770 – 1827/, немецкий композитор 1996.11.6; 1998.16.10; 1999.4.10; 2000.18.2; 14.3; 22.11; 2001.30.11; 2003.20.1; 2004.17.4.
- Бианки Виталий Валентинович /1894 – 1959/, писатель 1999.12.10; 3.11.
- Бирс Амброс /1842 – 1914 ?/, американский писатель 2001.17.11.
- Битов Андрей Георгиевич /1937/, писатель 1998.30.12; 1999.19.3; 31.3, 15.4; 12.10; 2000.9.1; 31.3; 14.4; 2001.17.1; 6.6; 1.7; 23.11; 2002.22.4; 2003.16.12; 2004.21.5; 25.5; 12.9; 2005.6.9; 2006.10.5; 19.5; 24.9; 2008.11.5; 17.10. Среда. 1992.16.7.
- Блаватская Елена Петровна /1831 – 91/, теософ, основатель теософского общества 2000.19.4; 2006.24.1.
- Блейк Уильям /1757 – 1827/, английский поэт и художник 2002.24.12.

Блок Александр Александрович /1880 – 1921/, поэт 1994.3.12; 1995.13.4; 1996.8.2; 20.2; 1997.7.2; 16.6; 6.10; 5.11; 28.11; 10.12; 1998.27.3; 16.9; 30.12; 1999.27.9; 4.10; 2000.14.1; 28.1; 18.2; 14.3; 7.4; 14.4; 25.5; 29.9; 25.10; 22.11; 29.11; 13.12; 2001.2.3; 1.7; 7.7; 15.8; 25.9; 19.10; 26.10; 2.11; 23.11; 30.11; 13.12; 21.12; 2002.1.3; 5.4; 27.4; 3.7; 5.10; 2003.20.1; 10.2; 20.5; 15.8; 9.9; 7.10; 16.12; 2004.13.1; 2005.30.8; 2006.21.3; 8.7; 2007.4.3. Среды. 1978.8.11; 1982.7.1; 1984.21.4; 1986.22.1; 1987.17.3; 2.4; 1992.16.7.

Блюмкин Яков Григорьевич /Гершевич Симха Янкель/ /1898 – 1929/, левый эсер, сотрудник ВЧК 2005.30.11.

Бобров Сергей Павлович /1889 – 1971/, поэт 1999.12.10; 2006.10.5.

Богаченко Игорь, математик 2001.13.12; 2002.5.4; 2003.3.2.

Бодлер Шарль /1821 – 67/, французский поэт 1999.19.3; 2000.4.2; 11.2; 2001.15.8; 28.8; Среды. 1992.16.7.

Божидар /Богдан Петрович Гордеев/ /1894 – 1914/, поэт и теоретик стиха 1997.7.2; 1998.30.12; 1999.12.10; Среды. 1985.24.8.

Боккаччо Джованни /1313 – 75/, итальянский писатель 1994.11.3; 1996.20.2; 1997.6.10; 22.10; 1999.31.3.

Болотников Иван Исаевич /казнен в 1608/, деятель Смутного времени 2003.23.9.

Борисова Майя Ивановна /1932 – 96/, поэт 2008.26.12.

Бородин Станислав Юрьевич /1950/, художник 1996.26.3.

Борхес Хорхе Луис /1899 – 1986/, аргентинский писатель 1997.28.2; 16.9; 1998.27.1; 2000.14.4; 19.5; 29.9; 29.11; 2001.10.1; 2.3; 15.8; 23.11; 21.12; 2002.22.2; 2003.13.5; 20.5; Среды. 1984.20.2.

Боттичелли Сандро /1466 – 1510/, итальянский живописец 1998.16.9; 21.12; 1999.31.3.

Брак Жорж /1882 – 1963/, французский живописец, один из основателей кубизма 1998.21.12; 2005.20.10.

Браммель Джордж Брайен /1778 – 1840/, известный лондонский денди 2000.20.10.

Брежнев Леонид Ильич /1906 – 82/, государственный деятель, генеральный секретарь ЦК КПСС 2000.5.10; 2007.13.6; Среды. 1990.24.1.

Брейгель Питер Старший /1510 – 70/, нидерландский живописец 2000.4.5; 2004.25.5; 2005.6.9.

Бретон Андре /1896 – 1966/, французский писатель, один из основателей сюрреализма 2001.26.10.

Брик Лиля Юрьевна /1891 – 1978/, актриса, литератор, близкий друг В.В.Маяковского 1998.30.12; 1999.19.10; 2000.31.3; 14.4; 27.4; 2001.30.9; 2002.8.2; 12.4; 2003.23.9; 2004.27.1; 20.3; 29.6; 2005.6.9; 3.11; 30.11; 2006.17.1; 2008.8.8; 12.12; Среды. 1985.24.8.

Бродский Иосиф Александрович /1940 – 96/, поэт 1996.29.1; 20.2; 1997.26.4; 30.10; 1998.16.9; 1999.6.2; 19.3; 2.6; 2000.29.9; 13.12; 20.12; 2003.6.1; 13.1; 8.4; 15.4; 7.10; 2004.10.4; 29.6; 16.12; 2005.17.1; 2008.12.12; Среды. 1991.27.3.

Брэдбери Рей Дуглас /1920 – 2012/, американский писатель-фантаст 1999.29.12; 2000.13.12; 2001.21.12; 2004.4.10.

Брюллов Карл Павлович /1799 – 1852/, живописец 2001.25.5.

Брюс Ли /1940 – 73/, мастер боевых искусств, киноактер 2001.6.10; 2002.15.2; 1.3; 14.3; 27.4; 2.11; 24.12; 2003.27.1; 2006.29.6; 2008.17.10.

Брюсов Валерий Яковлевич /1873 – 1924/, поэт 1997.7.2; 2001.7.7; 2.11; 9.11; 23.11; 2002.5.10; 17.12; 2003.16.12; 2007.4.3.

Будда /Сиддхартха Гаутама/ /566 до н.э./, основоположник буддизма 1996.6.11; 1997.8.1; 5.11; 1998.27.4; 1999.14.11; 2002.22.4; 21.8; 2005.30.11; Среды. 1987.10.3; 1991.21.7.

Буденный Семён Михайлович /1883 – 1973/, советский военный деятель 1995.28.4.

Бузинов Виктор Михайлович /1934/, журналист 2003.4.3.

Буковски Чарльз /1920 – 94/, американский писатель 2004.20.3.

Булгаков Михаил Афанасьевич /1891 – 1940/, писатель 1998.8.12; 2001.22.4; 2006.20.2.

Булгарин Фаддей Венедиктович /1789 – 1859/, журналист, писатель 2006.23.8.

Бунин Иван Алексеевич /1870 – 1953/, писатель, поэт 1992.9.11; 1997.21.5; 1999.12.10; 19.10; 2000.25.5; 25.10; 2001.13.12; 2006.10.1; Среды. 1987.17.3.

Бур, друг В.А.Сосноры во Львове 2005.13.12.

Буцатти Дино /1906 – 72/, итальянский писатель 2000.28.7; 6.9; 2002.3.1.

Бэкон Френсис /1561 – 1626/, английский философ 2005.31.3.

Бэхарт Игорь, поэт 2004.16.12.

Вагинов /Вагенгейм/ Константин Константинович /1899 – 1934/, поэт, писатель 1998.15.1; 1999.19.3; 31.3; 26.10; 2000.25.10; 2002.26.10.

Вагнер Рихард /1813 – 83/, немецкий композитор 2000.3.3; 2001.17.11; 2002.2.11.

Вайсберг, художник-авангардист 2002.27.4; 2003.3.2; 2004.10.4.

Валери Поль /1871 – 1945/, французский поэт, мыслитель, эссеист Среды. 1982.7.1.

Валиева Юлия, поэт, посещала ЛИТО В.А.Сосноры. Среды. 1984.11.5.

Валька, вор 2006.29.7.

Ван Гог Винсент /1853 – 90/, французский художник 1998.16.9; 1999.31.3; 2004.29.6; 2008.21.1.

Ванька-Каин /Иван Осипов Каин/ 1718 – ?/, знаменитый грабитель и сыщик 2004.21.2.

Васильев Павел Николаевич /1910 – 37/, поэт. Среды. 1985.24.8.

Васильев Сергей, поэт, посещал ЛИТО В.А.Сосноры. Среды. 1982.24.2; 1984.11.5.

Введенский Александр Иванович /1904 – 41/, поэт 2002.5.10; Среды. 1979.14.4; 1985.27.1.

Веласкес Диего /1599 – 1660/, испанский живописец 1998.2.1; 2000.31.3; 14.4.

- Вергилий Марон Публий /70 – 19 до н.э./, римский поэт. Среды. 1992.16.7.
- Вересаев Викентий Викентьевич /1867 – 1945/, писатель 2000.4.2.
- Верлен Поль /1844 – 96/, французский поэт 2000.14.3; 2001.23.11.
- Вермеер Дельфтский /1632 – 75/, голландский живописец 1997.28.2.
- Верн Жюль /1828 – 1905/, французский писатель 2001.9.9.
- Вернадский Владимир Иванович /1863 – 1945/, естествоиспытатель, мыслитель и общественный деятель 1998.17.4.
- Вероккио Андреа /1435 – 88/, итальянский живописец 1998.21.12.
- Верхарн Эмиль /1855 – 1916/, бельгийский поэт 2002.5.10; 2003.20.1.
- Вийон Франсуа /между 1431 и 1432 – после 1463/, французский поэт 1997.5.11; 1999.3.11; 2000.20.10; 2001.17.11; 13.12; 2006.29.7.
- Витгенштейн Людвиг /1889 – 1951/, австрийский философ и логик, предстатель аналитической философии 2003.25.3.
- Витрувий /1 в. до н.э./, римский зодчий 2004.24.4.
- Витте Сергей Юльевич /1849 – 1915/, русский государственный деятель 2005.16.11.
- Власов Юрий Петрович /1935/, тяжелоатлет, заслуженный мастер спорта, 2001.25.9; 2002.1.3.
- Вознесенский Андрей Андреевич /1933 – 2010/, поэт 1996.29.1; 1997.26.4; 1998.16.9; 1999.6.2; 19.3; 2.6; 2000.9.1; 21.9; 29.9; 13.12; 2001.6.6; 7.7; 2002.22.2; 19.10; 2003.25.2; 23.9; 7.10; 2.12; 2005.30.8; 2006.10.1; 3.6; 23.8; 2007.13.6; Среды. 1980.10.2; 1989.27.10; 1990.24.1; 1991.7.2; 1992.16.7.
- Волков Александр Павлович, писатель, поэт, философ-мистик и психолог 2003.15.4.
- Волконский Андрей Михайлович /1933 – 2008/, композитор 1998.16.10.
- Володимерова Лариса, поэт, посещала ЛИТО В.А.Сосноры. Среды 1980.17.5.
- Володин Александр Моисеевич /1919 – 2001/, драматург 2001.27.12; 2002.3.1.
- Волохонский Анри Гершевич /1936/, поэт, переводчик 2003.13.1.
- Волошин Максимилиан Александрович /1877 – 1932/, поэт 2001.13.12.
- Вольская Татьяна, поэт, посещала ЛИТО В.А.Сосноры. Среды. 1980.17.5.
- Вольтер Аруэ /1694 – 1778/, французский писатель, философ, историк 2000.7.4; 2001.30.9; 13.12.
- Вольф Сергей Евгеньевич /1935 – 2005/, поэт, прозаик, журналист 1999.27.2; 2005.28.10.
- Воронцов Михаил Семенович /1782 – 1856/, генерал-фельдмаршал, наместник Бессарабии, Кавказа 2008.18.3.
- Воропаев Олег Владимирович /1963/, поэт 2006.20.2.
- Воскобойников Валерий, пианист, перелagатель стихов на музыку 2003.22.4.
- Воячек Рафал Миколай /1945 – 71/, польский поэт 2002.21.9.
- Вульф Вирджиния /1882 – 1941/, английская писательница 1994.11.3; 1999.19.10; 2000.20.12; 2003.3.2; 13.5.

Высоцкий Владимир Семенович /1938 – 80/, поэт, автор-исполнитель песен, актер 2001.6.6; 28.8; 23.11; Среды. 1987.10.3.

Вяземский Петр Андреевич /1792 – 1878/, поэт, критик 1995.14.3; 2001.30.9; 2002.9.11.

Газданов Гайто /1903 – 71/, русский писатель 2004.21.9; 4.10.

Гайдар Аркадий Петрович /1904 – 41/, писатель 2005.30.11; 13.12.

Галушко Татьяна Кузьминична /1937 – 88/, поэт, прозаик 1999.6.2; 2002.1.3.

Галчинский Константы Ильдефонс /1905 – 53/, польский поэт 1999.18.5; 2003.18.3.

Гамсун Кнут /1859 – 1952/, норвежский писатель 1999.5.3.

Ганди Махатма /1869 – 1948/, политический и духовный лидер Индии 1998.27.4.

Гарибальди Джузеппе /1807 – 82/, итальянский политический деятель 2002.23.1.

Гаршин Всеволод Михайлович /1855 – 88/, писатель 1996.11.6; 1997.7.2; 22.10; 1998.27.1; 1999.19.3; 31.3; 2000.28.1; 4.2; 11.2; 14.3; 15.11; 2001.26.6; 2002.5.4; Среды. 1985.24.8; 1986.9.9.

Гаспаров Михаил Леонович /1935 – 2005/, филолог, литературовед 2005.10.11.

Гауф Вильгельм /1802 – 27/, немецкий писатель 2003.15.8.

Гегель Георг Вильгельм Фридрих /1770 – 1831/, немецкий философ 1999.15.1; 2003.17.2.

Гейба, бабка В.А.Сосноры с материнской стороны 2005.23.11.

Гейченко Семен Степанович /1903 – 93/, писатель, пушкинист, директор музея-заповедника А.С.Пушкина «Михайловское» 2005.7.12.

Гёльдерлин Иоганн Кристиан Фридрих /1770 – 1843/, немецкий поэт 2000.25.2; 22.3; 13.12; 2001.15.8; 30.11; 2002.22.4; 2003.20.1; 2004.25.5.

Гердер Иоганн Готфрид /1744 – 1803/, немецкий писатель, мыслитель 2003.17.2.

Геринг Герман Вильгельм /1883 – 1946/, политический, государственный и военный деятель нацистской Германии 2002.2.11.

Геродот /между 490 и 480 – ок.426 до н.э./, древнегреческий историк 1998.24.8; 1999.5.3; 15.4.

Герцен Александр Иванович /1812 – 70/, писатель, публицист 2003.10.2; 2004.18.5.

Гесиод /8–7 в.в. до н.э./, древнегреческий поэт 2001.2.3.

Гессе Герман /1877 – 1962/, швейцарский писатель 1997.16.9.

Гёте Иоганн Вольфганг /1749 – 1832/, немецкий поэт, мыслитель, естествоиспытатель 1998.16.9; 1999.15.1; 5.3; 18.5; 2000.14.3; 7.4; 21.9; 2001.10.1; 2.3; 30.11; 13.12; 21.12; 2003.25.2; 7.10; 2004.20.3; 25.5; 12.9; 2006.22.7; Среды. 1978.6.11; 1983.19.10; 1991.7.2; 3.4; 18.5.

Гиббон Луис Грэссик /1901 – 35/, шотландский писатель 1998.21.12.

Гилельс Эмиль Григорьевич /1916 – 85/, пианист 2000.12.4.

Гинзбург Ален /1926 – 97/, американский поэт 1997.26.4; 2002.7.3; 2004.20.3; 12.9.

Гиннес. «Книга рекордов» Гиннеса. Создатель книги – сэр Хью Бивер, управляющий пивоварной компанией «Гиннес–Бивер» 2000.14.3; 25.5.

Гиппократ /460 – 377 до н.э./, древнегреческий врач 1998.17.4; 27.4.

Гитлер Адольф /1889 – 1945/, лидер /фюрер/ Национал-социалистической партии Германии, глава германского фашистского государства 1995.9.4; 2000.5.10; 2001.3.1; 26.6; 17.11; 30.11; 2002.31.1; 2.11; 24.12; 2005.13.12; Среды 1989.27.10; 1991.21.7.

Гитович Александр Ильич /1909 – 66/, поэт, переводчик 2000.13.6; 2008.17.10.

Гладков Федор Васильевич /1883 – 1958/, писатель 2004.28.2

Глазунов Илья Сергеевич /1930/, живописец 1994.11.3; 22.11.

Глинка Михаил Иванович /1804 – 57/, композитор 2001.6.6.

Глинка Федор Николаевич /1786 – 1880/, поэт, писатель 2000.14.1.

Глоба Павел Павлович /1953/, астролог 2002.1.3.

Гнедич Николай Иванович /1784 – 1833/, поэт, переводчик 2001.23.11; 2002.21.9; 2004.4.10; 2006.20.2.

Гоген Поль /1848 – 1903/, французский художник 1998.16.9.

Гогенштауфен Фридрих /12 в./, император Священной Римской империи 1999.27.9; 12.10; 2003.25.2.

Гоголь Николай Васильевич /1809 – 52/, писатель 1992.18.12; 1994.7.2; 11.3; 3.12; 19.12; 1995.5.1; 24.2; 14.3; 13.4; 28.4; 28.12; 1996.26.1; 8.2; 20.2; 15.4; 11.6; 6.11; 1997.7.2; 10.2; 28.2; 21.5; 23.5; 31.5; 16.6; 6.9; 16.9; 6.10; 22.10; 28.11; 10.12; 1998.2.1; 15.1; 16.9; 8.12; 1999.5.3; 19.3; 31.3; 29.4; 21.6; 12.10; 2000.14.1; 28.1; 4.2; 11.2; 25.2; 3.3; 19.4; 27.4; 21.9; 29.9; 12.10; 25.10; 15.11; 22.11; 2001.10.1; 2.3; 3.4; 22.4; 25.5; 6.6; 6.10; 17.11; 30.11; 7.12; 13.12; 21.12; 2002.31.1; 15.2; 1.3; 14.3; 29.3; 22.4; 21.9; 17.12; 2003.20.1; 20.5; 15.8; 9.9; 2004.17.4; 24.4; 2005.31.3; 3.11; 2006.3.1; 7.2; 9.3; 2007.4.3; 13.6; 24.12; 2008.11.5; 31.10; 15.11; Среды. 1978.8.11; 1983.19.10; 1985.24.8; 1989.17.3; 1991.27.3; 1992.25.4; 16.7.

Гойя Франсиско Хосе де /1746 – 1828/, испанский художник 1996.11.6; 1997.22.12; 1998.17.4; 16.9; 1999.12.10; 2000.14.1; 14.3; 14.4; 2001.23.11; 30.11; 2002.22.2; 2003.15.4; 22.4; 2004.25.5; 2005.6.9.

Голль Шарль де /1890 – 1970/, французский политический деятель, президент Франции 2001.2.3.

Голосовкер Яков Эммануилович /1890 – 1967/, философ 1996.8.10.

Гольинко Дмитрий Юрьевич /1969/, поэт, посещал ЛИТО В.А.Сосноры. Среды. 1988.24.4.

Голявкин Виктор Владимирович /1929 – 2001/, писатель, художник 1999.4.10; 2000.13.12; 2001.14.2; 19.10; 2002.29.3; 5.4; 2003.16.12; 2004.10.4; 16.12; 2006.21.3; 2007.17.10; Среды. 1992.16.7.

Гомер /ок. 8 в. до н.э./, древнегреческий эпический поэт 1995.5.1; 1996.20.2; 1997.16.9; 1999.12.10; 2000.3.3; 7.4; 19.4; 19.5; 25.5; 5.10; 29.11; 2001.3.1; 2.3; 25.5; 23.11; 30.11; 2002.3.1; 9.1; 22.4; 9.11; 2003.6.5; Среды. 1984.21.1; 1992.16.7.

Гонгора Луис де /1561 – 1627/, испанский поэт 1999.5.3.

Гонкуры, братья. Гонкур Эдмон /1822 – 96/, Гонкур Жюль /1830 – 70/, французские писатели, соавторы 1996.8.10; 2002.1.3.

Гончаров Иван Александрович /1812 – 91/, писатель 1998.8.12; 2001.21.12; 2002.8.5; 2003.7.10.

Гончарова Наталия Сергеевна /1881 – 1962/, художник 1999.15.4; 26.10.

Гоппе Герман Борисович /1926/, поэт. Среды 1987.9.11.

Гораций Флакк Квинт /65 – 8 до н.э./, римский поэт 1999.14.11; 2003.18.3.

Горбовский Глеб Яковлевич /1931/, поэт 1998.16.9; 1.10; 1999.15.4; 21.6; 14.11; 2000.9.1; 18.2; 2001.6.6; 30.9; 12.19; 19.10; 26.10; 9.11; 2003.23.9; 21.10; 2004.10.4; 2005.13.10; 2007.13.6; Среды. 1992.16.7.

Гордин Яков Аркадьевич /1935/, историк, эссеист, публицист 1997.16.6; 2001.12.10; 2002.16.11.

Гори, французский военный летчик, герой Второй Мировой войны 2001.2.3.

Горнфельд Аркадий Георгиевич /1867 – 1941/, литературовед, критик, переводчик 1999.19.3.

Горовацкий Вульф, был раввином в Витебске, расстрелян, дед В.А.Сосноры с материнской стороны 2000.28.1.

Городницкий Александр Моисеевич /1933/, поэт 2007.4.3.

Горький /Пешков/ Алексей Максимович /1868 – 1936/, писатель 1992.9.11; 1999.6.2; 15.4; 21.6; 27.9; 4.10; 19.10; 14.11; 2000.28.1; 2001.30.11; 2003.23.9; 2008.18.3; Среды 1986.9.9; 1992.22.4; 25.4.

Гофман Эрнст Теодор Амадей /1776 – 1822/, немецкий писатель, композитор, художник 1999.19.3; 31.3; 2001.6.6; 7.7; 6.10; 13.12.

Гранин Даниил Александрович /1919/, писатель 2006.1.5.

Грасс Гюнтер /1927/, немецкий писатель 2003.9.9.

Грачёв Рид Иосифович /1935 – 2004/, писатель, переводчик 1999.15.4; 2000.15.11; 29.11; 2001.26.6; 15.8; 19.10; 13.12; 27.12; 2002.8.2; 14.3; 29.3; 12.4; 21.9; 2004.16.12; 2005.16.11; 23.11; Среды. 1991.22.6; 1992.16.7.

Гремыхин, генерал 1998.2.1; 2000.10.8.

Грибоедов Александр Сергеевич /1795 – 1829/, поэт, драматург, дипломат 2000.21.9.

Григорьев Аполлон Александрович /1822 – 64/, поэт, критик 1999.26.10; 2000.14.3; 2001.6.6; 18.9; 2002.1.3; 2003.13.1; 2005.30.8; 2006.17.6; 8.7.

Гримжик, эксперт по живописи 1998.2.1.

Гримм, братья. Вильгельм /1786 – 1859/, Якоб /1785 – 1863/, немецкие филологи 1999.19.3; 19.11.

Грин /Гриневский/ Александр Степанович /1880 – 1932/, писатель 2000.21.1; 2001.30.11.

Грин Грэм /1904 – 91/, английский писатель 2006.22.7.

Грицюк Николай Демьянович /1922 – 76/, художник 1994.22.11; 1997.10.2; 1999.21.6; 26.10; 2000.31.3; 2001.6.10; 17.11; 2002.27.4; 2004.10.4; 2005.13.10; Среды. 1982.11.5; 1983.18.2; 1985.24.8.

Гротовский Еж /1933 – 99/, польский театральный режиссер, теоретик театра 2000.9.1; 2006.23.8.

Губанова Ирина, поэт, посещала ЛИТО В.А.Сосноры. Среды. 1980.17.5; 1986.26.1.

Гуковский Григорий Александрович /1902 – 50/, литературовед, критик 2001.23.11; 2004.17.4.

Гумилев Лев Николаевич /1912 – 92/, историк-этнолог, востоковед 2001.25.9; 2002.29.3; 7.12

Гумилев Николай Степанович /1886 – 1921/, поэт 1997.7.2; 1999.18.5; 2000.14.1; 2001.21.2; 2003.17.2; 2004.17.4; Среды. 1978.8.11; 1992.16.7.

Гурвич Борис Исаакович /1905 – 85/, художник, ученик Филонова. Среды. 1983.22.12.

Гурджиев Георгий Иванович /1872 – 1949/, мистик–практик, писатель 2006.24.1.

Гуревич, французский писатель 1997.5.1.

Гуро Елена Генриховна /1877 – 1913/, поэт, писательница 1997.7.2; 16.6; 1998.30.12; 1999.12.10; Среды. 1983.19.10.

Гуттенберг Иоганн /ок.1420/, изобретатель книгопечатания 2003.6.1.

Гюго Виктор Мари /1802 – 85/, французский поэт, писатель 1999.3.11; 2000.7.4; 2002.31.1; 19.10.

Гюисманс Жорис Карл /1848 – 1907/, французский писатель 1995.24.2; 2003.13.5.

Давыдов Сергей Давыдович /1928 – 2001/, поэт 1999.26.10.

Дали Сальвадор /1904 – 89/, испанский художник 1998.2.1; 2001.15.8; 2002.27.4.

Даль Владимир Иванович /1801 – 72/, писатель, лексикограф, этнограф 2003.29.4.

Данилов Кирша /Кирилл/, составитель сборника народных русских былин и песен 2000.19.5; 2001.25.5; 6.6.

д'Аннунцио Габриеле /1863 – 1938/, итальянский писатель 2000.19.4; 27.4.

Данте Алигьери /1265 – 1321/, итальянский поэт 1996.20.2; 1997.22.10; 2001.15.8; 21.12.

Дантес Жорж /Геккерен/ /1812 – 95/, убийца А.С.Пушкина 2001.13.12.

Дар Давид Яковлевич /1910 – 80/, прозаик 2008.15.4; Среды. 1986.29.1.

Дарвин Чарльз /1809 – 82/, английский естествоиспытатель 1996.26.3; 2004.3.2.

Дафна дю Морье /1907 – 89/, английская писательница 1995.5.1; 1997.7.2; 2003.11.3.

Дворецкий Игнатий Моисеевич /1919 – 87/, очеркист, драматург 2008.21.1.

Де Костер Шарль /1627 – 79/, бельгийский писатель 1997.16.6; 5.11; 2001.15.8.

Делакруа Эжен /1798 – 1863/, французский живописец 1994.11.3; 2003.29.4; 2008.21.1.

Де Лиль Жак /1738 – 1813/, французский поэт. Среды. 1978.8.11.

Дельвиг Антон Антонович /1798 – 1831/, поэт 1992.18.12; 1997.31.5; 22.15; 1999.6.2; 27.2; 2001.18.9; 23.11; 30.11; 2002.12.4; 2005.6.9; 2008.8.8; 15.11; Среды. 1987.2.4; 1991.22.6.

Демиденко, друг В.А.Сосноры во Львове 2000.9.1.

Державин Гаврила Романович /1743 – 1816/, поэт 1994.3.12; 19.12; 1996.15.4; 1997.6.10; 22.10; 1998.27.4; 24.8; 16.9; 21.12; 1999.27.2; 31.3; 7.9; 4.10; 19.10; 2000.14.3; 15.11; 2001.6.6; 7.7; 28.7; 23.11; 13.12; 2002.16.1; 12.4; 21.9; 5.10; 2003.10.2; 25.2; 2004.17.4; 2005.23.11; 2006.20.2; 2008.15.11;

Среды. 1991.7.2; 1992.16.7.

Деррида Жак /1930 – 2004/, французский философ, представитель структурализма 2002.5.10.

Дефо Даниель /ок.1660 – 1731/, английский писатель, публицист 1999.12.10; 2000.14.1; 27.4; 2001.10.1; 1.7.

Дживелегов Алексей Карпович /1875 – 1952/, историк 2003.20.5; 2006.24.9.

Джойс Джеймс /1882 – 1941/, ирландский писатель 1995.24.2; 1996.15.4; 1998.27.1; 1999.27.9; 2001.10.1; 2003.20.5; 2004.13.1; 2007.4.3; Среды 1978.23.10; 1992.16.7.

Джорджоне /Джорджо Барбарелли/, /1478 – 1511/, итальянский живописец 2001.11.9.

Джуна /Евгения Ювашевна Давиташвили/, /1949/, целительница, астролог 2000.3.3.

Диккенс Чарльз /1812 – 70/, английский писатель 1998.17.4; 1999.21.6; 2001.10.1.

Диоген Лаэртский /ок. 250 н.э./, греческий писатель. Среды. 1987.2.4.

Дитрих Марлен /1901 – 92/, немецкая и американская актриса и певица 2002.23.1.

Довлатов Сергей Донатович /1941 – 90/, писатель 1996.15.4; 1999.29.4; 12.10; 2001.10.1; 14.5; 2008.11.2; Среды. 1992.16.7.

Дойль Артур Конан /1859 – 1930/, английский писатель 1995.24.2; 1997.16.9; 2003.15.8.

Долженков Петр, поэт, посещал ЛИТО В.А.Сосноры. Среды. 1980.17.5.

Достоевский Федор Михайлович /1821 – 81/, писатель 1992.11.12; 18.12; 1994.7.2; 3.12; 19.12; 1995.28.12; 1996.8.2; 20.2; 15.4; 11.6; 1997.8.1; 6.9; 22.10; 28.11; 1998.11.3; 27.3; 17.4; 27.4; 1999.13.3; 29.4; 21.6; 4.10; 19.10; 2000.7.4; 25.5; 20.10; 2001.2.3; 15.8; 17.11; 2002.22.2; 5.4; 21.9; 26.10; 2003.27.1; 25.3; 23.9; 2004.16.12; 2005.13.10; 10.11; 2006.19.5; 2008.17.10; Среды. 1982.7.1; 1987.2.4; 1992.16.7.

Доу Джордж /1781 – 1829/, английский живописец, жил в СПб. с 1819, создатель портретной галереи героев войны 1812г. в Эрмитаже 2005.6.10.

Драйзер Теодор /1871 – 1945/, американский писатель 1992.9.11.

Древин Александр Давидович /1889 – 1938/, живописец 2001.3.1; 2006.17.1.

Дрюон Морис /1918 – 2009/, французский писатель 2001.15.8.

Дуганов Рудольф Валентинович /1940 – 96/, поэт, литературовед 2004.29.6.

Дудин Михаил Александрович /1916 – 93/, поэт 2001.13.12; 2004.3.2; 2005.13.10; Среды. 1991.12.6.

Ду Фу /712 – 770/, китайский поэт 2000.18.2.

Дьячков Борис Федорович /1923/, художник 2001.17.11; 2002.16.11.

Дымшиц Валерий, поэт, посещал ЛИТО В.А.Сосноры. Среды. 1980.17.5.

Дюма Александр /1802 – 70/, французский писатель 1995.26.2; 1997.7.2; 16.2; 1999.5.3; 27.9; 3.11; 2001.23.11; 2002.19.10.

Дюмонд Галина Артемоновна /1937/, поэт, прозаик. Среды. 1991.7.2.

Дюрренматт Фридрих /1921 – 90/, швейцарский писатель 1997.28.11; 1998.27.1; 2002.3.1; 9.1; 22.2.

Дягилев Сергей Павлович /1872 – 1929/, театральный и художественный деятель 2001.15.8; 30.11; 2004.6.3; 2005.3.11.

Евклид /ок.365 – 300 до н.э./, древнегреческий математик 1997.16.9.

Евреинев Николай Николаевич /1879 – 1953/, режиссер, драматург, теоретик и историк театра 1999.12.10; Среды. 1983.19.10.

Еврипид /480 – 405 до н.э./, древнегреческий трагедийнограф 2002.1.3.

Евтушенко Евгений Александрович /1933/, поэт 1997.22.12; 1999.3.11; 2001.3.1; 30.9; 2002.1.3; 2003.25.2; Среды. 1980.14.5; 1989.27.10; 1990.24.1.

Елизавета Петровна /1709 – 61/, российская императрица, дочь Петра I. 2004.21.2.

Ермолов Алексей Петрович /1772 – 1861/, генерал, главнокомандующий на Кавказе 1997.21.5.

Ерофеев Венедикт Васильевич /1938 – 90/, писатель 1992.18.12; 1996.15.4; 11.6; 1998.8.12; 1999.12.10; 2001.10.1; 2006.17.1.

Ерофеев Виктор Владимирович /1947/, писатель 2006.17.1.

Ершов Петр Павлович /1815 – 69/, поэт 1999.12.10; 2001.30.11; Среды. 1991.12.6.

Есенин Сергей Александрович /1895 – 1925/, поэт 1995.13.4; 1996.26.3; 11.6; 1997.7.2; 31.5; 10.12; 1999.27.9; 2000.10.8; 15.11; 2001.6.6; 2002.7.12; 2003.3.2; 4.3; 13.5; 2004.6.1; 10.4; 29.6; 2006.8.7; 29.7; 9.8; 2008.21.1; Среды. 1980.14.5; 1987.2.4; 1989.17.3; 1990.18.4.

Ефимов Игорь Маркович /1937/, писатель, философ, историк, публицист 1999.3.3.

Жигунский, писатель – ? 2001.28.8.

Жирмундский Виктор Максимович /1891 – 1971/, филолог 2000.18.2.

Жолневский, польский маршал – ? 2003.15.4.

Жуковский Василий Андреевич /1783 – 1852/, поэт 1998.24.8; 1999.12.10; 14.11; 2000.11.2; 19.4; 5.10; 2001.17.1; 23.11; 21.12; 2002.15.2; 21.9; 9.11; 2003.25.2; 2005.6.9; Среды. 1982.7.1; 1987.2.4.

Журавлева Ирина, журналист 2004.10.5.

Заболоцкий Николай Алексеевич /1903 – 58/, поэт 1992.9.11; 1999.15.1; 5.3; 31.3; 12.10; 2002.5.10; 2004.6.3; Среды. 1978.30.10; 1979.14.4; 1985.17.4; 1987.9.11; 1991.12.6.

Зайцев Борис Константинович /1881 – 1972/, писатель 2000.25.10; 15.11.

Закс Дмитрий, поэт, посещал ЛИТО В.А.Сосноры. Среды. 1982.24.2.

Замятин Евгений Иванович /1884 – 1937/, писатель 1998.8.12; 2000.27.4; Среда. 1989.17.3.

Заратустра /между 10 в. и первой половиной 6 в./, пророк и реформатор древнеиранской религии 2002.22.2; 2003.3.2.

Зверев Анатолий /1931 – 86/, художник 1994.22.11; 1999.21.6; 26.10; 2001.23.11; 2002.27.4; 2004.10.4; Среда. 1982.15.3; 1992.16.7.

Зиновьев Григорий Евсеевич /Гершен Аронович/, /1883 – 1936/, советский партийный и государственный деятель 1996.8.2.

Золя Эмиль /1840 – 1902/, французский писатель 2001.25.9.

Зорге Рихард /1895 – 1944/, советский разведчик времен Второй мировой войны 2005.6.10.

Зошенко Михаил Михайлович /1894 – 1958/, писатель 1997.23.5; 1999.3.11; 19.11; 2002.16.1; 2003.28.10; 2004.28.2.

Зюскинд Патрик /1949/, немецкий писатель и киносценарист 2001.10.5.

Иван IV Васильевич /Грозный/, /1530 – 84/, русский царь 1996.6.11; 1997.10.12; 1999.13.3; 2001.6.10; 2002.2.11; 24.12; 2006.23.6.

Иванов Александр Андреевич /1806 – 58/, художник 2001.13.12; 2003.29.4.

Иванов Георгий Владимирович /1894 – 1958/ поэт 2001.23.11.

Иванов Всеволод Вячеславович /1895 – 1963/, писатель 2001.23.11.

Иванов Вячеслав Всеволодович /1929/, филолог, литературовед, переводчик 2008.12.12.

Иванов Вячеслав Иванович /1866 – 1949/, поэт, теоретик символизма, филолог, переводчик 1994.22.11; 2000.25.5; 29.11; 2001.2.11; 2002.8.2; 2003.20.1; 20.5; 2006.24.1; 2007.4.3; Среда. 1987.2.4.

Иконников-Галицкий Анджей Анджеевич /1961/, поэт, публицист, посещал ЛИТО В.А.Сосноры. Среда. 1980.17.5; 1982.24.2; 1984.11.5; 1986.26.1.

Ильф и Петров, Ильф Илья /Илья Арнольдович Файнзильберг/ /1897 – 1937/, Петров Евгений /Евгений Петрович Катаев/ /1902 – 42/, писатели, соавторы 1997.7.2; 1998.8.12; 2002.31.1.

Инбер Вера Михайловна /1890 – 1972/, поэт 1999.15.4.

Иоанн Креститель 2003.8.4; 16.12.

Иоанн Кронштадский /Иоанн Ильич Сергиев/ /1829 – 1908/, протоиерей, настоятель Андреевского собора в Кронштадте, молитвенник и чудотворец 2002.16.11.

Ионеско Эжен /1912 – 94/, французский драматург, представитель театра абсурда 1995.28.4; 2001.19.10.

Кавабата Ясунари /1899 – 1972/, японский писатель 1997.16.2; 28.11; 1998.27.1; 17.4; 2000.25.2; 3.3; 2001.10.1; 2.3; 2003.20.5.

Казаков Владимир Васильевич /1938 – 88/, писатель 1996.15.4.

Казакова Римма Федоровна /1932 – 2008/, поэт 2005.23.11.

Калабушкин Иван Николаевич /1915 – 89/, геолог 2000.31.3; 2002.1.3; 2005.6.9.

Калигула Гай Цезарь /12 – 41 н.э./, римский император 2003.15.4.

- Кальв /82 – 47 до н.э./, римский поэт и оратор 2001.25.5.
- Каменев Лев Борисович /1883 – 1936/, советский партийный и государственный деятель 1996.8.2.
- Каменский Василий Васильевич /1884 – 1961/, поэт 1998.21.12; 2000.10.8; 2006.10.5.
- Камю Альбер /1913 – 60/, французский писатель, философ 1998.27.1; 1999.14.11; 2000.7.4; 2001.7.7; 25.9; 2002.16.1; 7.3.
- Кандинский Василий Васильевич /1866 – 1944/, живописец 1994.11.3; 3.12.
- Кант Иммануил /1724 – 1804/, немецкий философ 1994.22.11; 3.12; 2002.30.11; 2003.17.2; Среда. 1991.18.5.
- Карамзин Николай Михайлович /1766 – 1826/, писатель, историк 1997.5.11; 1999.31.3; 2000.21.1; 2001.28.7; Среда. 1978.8.11; 1991.21.7; 1992.16.7.
- Карл Великий /742 – 814/, франкский король, с 800 г. император 1999.15.1.
- Карпович Тымотеуш /1921 – 2005/, польский поэт 1999.18.5; 2001.21.2; Среда. 1978.23.10.
- Касаткин, друг В.А.Сосноры 2006.8.7.
- Катаев Иван Иванович /1902 – 39/, писатель 1999.3.11.
- Катулл Гай Валерий /ок.87 – ок.54 до н.э./, римский поэт 1992.11.12; 1995.5.1; 1999.14.11; 2001.25.5; Среда. 1987.2.4; 1991.27.3; 1992.16.7.
- Кауфман Татьяна, поэт, посещала ЛИТО В.А.Сосноры. Среда. 1980.17.5.
- Кафка Франц /1883 – 1926/, австрийский писатель 1992.11.12; 1994.3.12; 1996.30.11; 1997.5.11; 1998.15.1; 27.1; 1999.21.6; 2000.14.4; 19.4; 2001.10.1; 2.3; 2002.30.11; 2003.13.5; 20.5; Среда. 1987.25.3.
- Кашкин Иван Александрович /1899 – 1923/, переводчик 2005.3.11.
- Кейси Эдгар /1877 – 1945/, ясновидящий, целитель и предсказатель 1997.8.1; 2002.7.3; 2005.20.10.
- Кидаков Александр, поэт, посещал ЛИТО В.А.Сосноры. Среда. 1988.27.4.
- Кирико Джорджо де /1888 – 1978/, итальянский живописец, один из зачинателей сюрреализма 2000.27.4.
- Кирсанов Семен Исаакович /1906 – 72/, поэт 1999.3.11; 2002.22.2; Среда. 1978.8.11.
- Китс Джон /1795 – 1821/, английский поэт 1997.22.12; 2000.27.12; 2003.6.5.
- Клейст Генрих фон /1777 – 1811/, немецкий писатель 1994.11.3.
- Клёнова /Новикова/ Елена, поэт, посещала ЛИТО В.А.Сосноры. Среда. 1986.13.10; 1988.24.4; 1991.22.6.
- Клюев Николай Алексеевич /1867 – 1937/, поэт 1999.27.9; Среда. 1983.19.10.
- Кобо Абэ /1924 – 93/, японский писатель 1995.5.1; 1998.27.3; 2000.28.7; 2001.28.2.
- Ковалев Алексей, поэт, посещал ЛИТО В.А.Сосноры. Среда. 1984.11.5; 1986.26.1.

- Коваль Юрий Иосифович /1938/, писатель 2003.22.4.
- Кожедуб Иван Никитович /1920 – 91/, военный летчик, герой Советского Союза 1998.12.2.
- Козлов Иван Иванович /1779 – 1840/, поэт 2003.25.2.
- Козев Игорь, учитель танцев, друг В.А.Сосноры 2001.27.12.
- Колмогоров Андрей Николаевич (1903-87), академик, математик 1999. 19.3; 2004. 12.9.
- Кольцов Алексей Васильевич /1809 – 42/, поэт 1999.4.10; 2001.12.10; 23.11; 2005.28.10; 2007.4.3.
- Комаров Геннадий Федорович /1944/, издатель 1999.29.6; 2001.19.10.
- Комаров Матвей /1730-е – 1812/, писатель 1999.26.10; 2001.19.10.
- Коммод /161 – 192/, римский император 2006.17.1.
- Конецкий Виктор Викторович /1929 – 2002/, писатель 2001.19.10; 2002.5.4; 12.4; 2004.12.9.
- Конрад Джозеф /1857 – 1924/, английский писатель 1996.15.4; 1999.27.2; 2005.13.12.
- Конрад Николай Иосифович /1889 – 1970/, востоковед 2000.18.2.
- Конфуций /551 – 479 до н.э./, китайский мудрец, основатель конфуцианства 1996.26.1; 29.1.
- Кончаловский Петр Петрович /1876 – 1956/, живописец 2004.10.4.
- Кортасар Хулио /1914 – 84/, аргентинский писатель 1999.14.11; 2000.14.4; 2001.14.7.
- Кортес Фернандо /1485 – 1547/, завоеватель Мексики 2004.12.9.
- Котис, посредник, передавший В.А.Сосноре гонорар за публикацию в США 2004.27.1.
- Красаускас Вадим Емельянович /1935/, боксер 2001.25.9.
- Красовицкий Станислав Яковлевич /1935/, поэт 2003.22.4; 2007.4.3.
- Красовский Александр Иванович /1776 – 1857/, цензор. /Его дневник печатался в журнале "Русская старина" 1872 г./ 2000.6.9; 29.9.
- Крестовский Всеволод Владимирович /1840 – 95/, писатель 2006.22.8; Среды. 1987.2.4.
- Кржижановский Андрей, внук драматурга Евгения Львовича Шварца 2001.2.3.
- Крикунов Константин Евгеньевич /1963 – 2010/, поэт, прозаик, журналист 1997.10.2. Среды. 1985.25.4; 1991.7.2.
- Кристи Агата /1891 – 1976/, английская писательница 2001.1.7.
- Кришна, индуское божество. Среды. 1987.10.3.
- Кришнамурти Джидду /1895 – 1986/, индийский мыслитель 1996.6.11; 24.12; 1998.27.4.
- Кропоткин Петр Алексеевич /1842 – 1921/, революционер, теоретик анархизма 1999.3.11; 2003.10.2.
- Крученых Алексей Елисеевич /1886 – 1968/, поэт, теоретик футуризма 1994.3.12; 1997.7.2; 10.12; 1998.16.9; 30.12; 1999.18.5; 4.10; 26.10; 2000.4.5; 10.8; 2001.1.7; 7.7; 12.10; 9.11; 23.11; 2002.3.1; 9.1; 5.10; 2003.3.2; 10.2; 15.4; 2004.21.9; 2006.23.8.

- Крушанич, поэт – ? 2004.6.1.
- Кряжева Маргарита, поэт, посещала ЛИТО В.А.Сосны. Среды. 1988.24.4.
- Ксенофонт /ок.430 – 355 или 354 до н.э./, древнегреческий писатель 1999.19.3; 2000.9.1; 25.2; 5.10; 12.10.
- Кузмин Михаил Алексеевич /1872 – 1936/, поэт, прозаик, драматург, композитор 2001.21.2; 2003.13.1; 7.10; Среды. 1991.27.3.
- Кузнецов Владислав, поэт, посещал ЛИТО В.А.Сосны. Среды. 1980.10.2.
- Кулаков Михаил Алексеевич /1933/, художник-авангардист 1994.22.11; 1997.10.2; 1998.8.12; 1999.19.3; 2.6; 19.10; 26.10; 2001.10.5; 17.11; 23.11; 2002.27.4; 2004.10.4; 2005.6.9; 13.10; 20.10; 2006.23.8; 2007.24.12; Среды. 1982.11.5; 1983.18.2; 1985.24.8.
- Купер Фенимор /1789 – 1851/, американский писатель 1997.7.2; 2003.23.9.
- Куприн Александр Иванович /1870 – 1938/, писатель 1997.21.5; 23.5; 1998.27.1; 2008.1.4.
- Куприянов Борис Леонидович /1949/, поэт 2007.4.3.
- Курбский Андрей Михайлович /1528 – 63/, князь, писатель и переводчик, государственный деятель 2006.23.6.
- Кутузов Михаил Илларионович /1745 – 1813/, фельдмаршал. Среды. 1978.8.11.
- Кушнер Александр Семенович /1936/, поэт 1999.6.2; 15.4; 2000.31.3; 2002.1.3; 2004.20.3; 10.4; 17.4; 2005.31.3; 6.10; Среды. 1985.15.4; 1990.21.3; 1991.7.2.
- Кьеркегор Сёрен /1813 – 55/, датский философ 2003.17.2.
- Кюхельбекер Вильгельм Карлович /1797 – 1846/, поэт, писатель, декабрист 2002.12.4.
- Ладынина Марина Алексеевна /1908 – 2003/, советская актриса театра и кино 2002.23.1.
- Лазо Сергей /1894 – 1920/, герой гражданской войны 2005.13.12.
- Лайтман Михаэль /1946/, основатель и руководитель Международной Академии Каббалы. Среды. 1987.10.3.
- Лао-цзы /6–5 в. до н.э./, древнекитайский философ, основоположник даосизма 2000.22.3; 19.5; 2002.7.3; 21.9.
- Ларионов Михаил Федорович /1881 – 1964/ 1999.26.10.
- Лариса /Моршина Лариса Константиновна /1946/, жена В.А.Овсянникова 1999.29.12.
- Ласко Морис, французский писатель – ? 1997.5.11.
- Левинский, работал в журнале «Аврора» в 1985. Среды. 1985.22.4.
- Лейбниц Готфрид Вильгельм /1646 – 1716/, немецкий философ 1994.22.11; 1996.26.1; 1999.15.1; 2002.21.9; 2003.17.2.
- Ле Куин Урсула, американская писательница-фантаст 2000.7.3.
- Лем Станислав /1921 – 2006/, польский писатель 1997.28.2.
- Ленин /Ульянов/ Владимир Ильич /1870 – 1924/, политический деятель, первый глава Советского государства 1996.26.1; 8.10; 6.11; 2001.15.8; 30.11; 2002.24.12; 2003.17.2; 2005.7.12; Среды. 1990.24.1; 1991.21.7.

Леонардо да Винчи /1452 – 1519/, итальянский художник, скульптор, архитектор, ученый, инженер 1995.14.3; 28.4; 1998.2.1; 16.9; 21.12; 2000.18.2; 2001.3.1; 26.6; 11.9; 19.10; 2003.20.1; 22.4; 20.5; 2004.24.4; 2005.17.1; 2006.22.7; 24.9; Среды. 1991.21.7.

Леос, аргентинский писатель, ученик Борхеса – ? 2000.29.9.

Лермонтов Михаил Юрьевич /1814 – 41/, поэт 1994.7.2; 3.12; 19.12; 1995.24.2; 14.3; 28.4; 28.12; 1996.29.1; 20.2; 11.6; 6.11; 1997.7.2; 10.2; 28.2; 21.5; 29.5; 31.5; 6.9; 16.9; 6.10; 22.10; 28.11; 10.12; 1998.27.1; 17.4; 23.5; 16.9; 1999.5.3; 13.3; 19.3; 31.3; 21.4; 27.9; 19.10; 26.10; 2000.14.1; 28.1; 11.2; 7.4; 14.4; 27.4; 10.8; 6.9; 29.9; 20.10; 15.11; 22.11; 27.12; 2001.10.1; 17.1; 2.3; 15.8; 28.8; 6.10; 2002.8.2; 15.2; 14.3; 3.7; 26.10; 24.12; 2003.27.1; 29.4; 15.8; 2005.20.10; 2006.23.8; 2008.1.4; Среды. 1978.11.9; 1985.24.8; 1990.18.4; 1992.25.4; 16.7.

Лесков /Николай Семенович /1831 – 95/, писатель 1994.3.12; 1996.11.6; 1997.7.2; 28.11; 1999.27.2; 12.10; 2000.25.5; 2005.31.3.

Лжедмитрий /Отрепьев/ Григорий /ум.1605/ 1999.13.3.

Ли, американский боксер 2001.25.9.

Ли Бо /701 – 762/, китайский поэт 1997.30.10; 1998.23.5; 2000.18.2; 2001.3.1.

Ливий Тит /59 до н.э. – 17 н.э./, римский историк 1999.5.3.

Лившиц Бенедикт Константинович /1886 – 1939/, поэт 1998.8.12; 2000.14.1; 2001.17.11; Среды. 1987.17.3.

Лившиц Дебора Григорьевна /1903 – 88/, переводчик 1999.19.3.

Лимонов /Совенко/ Эдуард Вениаминович /1943/, писатель, публицист, политический деятель 1999.29.4; 2002.29.3.

Липпи Фра Филиппо /ок.1406 – 69/, итальянский живописец 1997.16.2.

Лисицкий Лазарь Маркович (псевдоним Эль Лисицкий 1890-1941), архитектор, дизайнер, график 1999.4.10

Ли Чанг, мастер борьбы кунфу 2000.15.2.

Лихачев Дмитрий Сергеевич /1906 – 99/, литературовед и общественный деятель 1998.17.4; 1999.4.10; 19.10; 2000.21.1; 2001.6.6; 9.11.

Ломоносов Михаил Васильевич /1711 – 65/, ученый–естествоиспытатель, поэт 2002.5.10.

Лонг /2 – 3 вв. до н.э./, древнегреческий писатель 1994.3.12; 2000.25.2.

Лондон Джек /1876 – 1916/, американский писатель 1999.15.1.

Лорка Федерико Гарсия /1898 – 1936/, испанский поэт 1998.16.9; 1999.5.3; 13.3; 29.6; 2000.11.2; 2001.28.8; 2002.12.10.

Лосев Алексей Федорович /1893 – 1988/, философ, филолог 1996.8.10; 2002.12.4.

Лотман Юрий Михайлович /1922 – 93/, литературовед, семиотик 2005.10.11.

Луговской Владимир Александрович /1901 – 57/, поэт 2000.12.10; Среды. 1978.8.11; 1991.12.6.

Лузинский, польский военачальник во Вторую мировую войну – ? 2003.15.4.

- Лурье Вадим, поэт, посещал ЛИТО В.А.Сосноры. Среды. 1982.24.2.
- Лурье Самуил Аронович /1942/, писатель, критик, историк литературы, в 1966 – 2002 работал в отделе прозы журнала «Нева». Среды. 1988.4.5.
- Львов Николай Александрович /1751 – 1804/, поэт, драматург, архитектор, музыкант 1997.10.12; 2001.25.5.
- Львов, князь, меценат балета – ? 2001.30.11.
- Любегин Алексей Александрович /1954/, поэт. Среды. 1980. 17.5; 27.5.
- Любимов Николай Михайлович /1912 – 92/, переводчик 1995.5.1; 1999.19.3.
- Людвиг Баварский /1825 – 48/, король Баварии, покровитель Вагнера 2000.3.3.
- Люсичевский –? 2005.23.11
- Ляленков Владимир Дмитриевич /1930 – 96/, писатель 2001.10.1; 2002.16.1; 2005.16.11.
- Ляля Черная /Надежда Сергеевна Киселева /1909 – 82/, актриса 2005.30.11.
- Магомет, Мохаммед /571 – 632/, основатель ислама 1999.15.1; 2000.10.3; 2001.13.12; 2006.9.8.
- Магритт Рене /1898 – 1967/, бельгийский художник–сюрреалист 2003.3.2.
- Майков Аполлон Николаевич /1821 – 97/, поэт 2001.26.10; 21.12.
- Майн Рид Томас /1818 – 83/, английский писатель 2005.13.12.
- Маканин Владимир Семенович /1937/, писатель 1998.30.12; 1999.27.2.
- Македонов Адриан Владимирович /1909 – 94/, литературовед, критик. Среды. 1985.27.1; 15.4.
- Макферсон Джеймс /1736 – 96/, шотландский поэт 1997.16.6; Среды. 1983.19.10.
- Малевич Казимир Северинович /1878 – 1935/, художник 1994.11.3; 22.11; 3.12; 1996.26.1; 8.2; 20.2; 24.12; 1997.7.2; 16.2; 28.2; 11.11; 1998.2.1; 23.5; 8.12; 1999.15.4; 4.10; 26.10; 2000.11.2; 18.2; 21.9; 2001.30.11; 7.12; 21.12; 2002.27.4; 2003.3.2; 29.4; 2004.10.4; 2006.7.2; Среды. 1989.2.2; 1991.12.6.
- Малларме Стефан /1842 – 98/, французский поэт 1997.16.2; 21.5; 1999.12.10; 2000.11.2; 2001.23.11; 2002.5.4; 2003.3.2; 2006.17.6.
- Малюта Скуратов /Григорий Лукьянович Скуратов–Бельский/ /? – 1572/, сподвижник Ивана Грозного 2001.10.1.
- Малявин Филипп Андреевич /1869 – 1940/, живописец 2004.10.4.
- Мамлеев Юрий Витальевич /1931/, писатель 1996.15.4; 1999.4.10; 12.10; 2001.10.1; Среды. 1992.16.7.
- Мандельштам Надежда Яковлевна /1899 – 1980/, мемуарист, жена поэта О.Э.Мандельштама 2003.25.3; 2004.17.4.
- Мандельштам Осип Эмильевич /1891 – 1938/, поэт 1997.21.5; 31.5; 16.9; 1999.12.10; 2000.20.10; 2001.21.2; 1.7; 11.9; 2003.17.2; 25.3; 2004.17.4; 2005.17.1; 13.10; 20.10; 7.12; Среды. 1978.30.10; 1987.17.3; 1990.21.3; 1992.16.7.
- Манн Генрих /1871 – 1950/, немецкий писатель 2001.10.1.
- Манн Томас /1875 – 1955/, немецкий писатель 1992.9.11; 2001.10.1; 2.3; 19.10; 23.11; 2003.27.1; 17.2; 23.9; 2004.21.2.

- Марамзин Владимир Рафаилович /1934/, писатель 1999.31.3.
- Маре Жан /1913 – 98/, французский актер 1998.30.12; 1999.19.3; 2005.13.12.
- Мариенгоф Анатолий Борисович /1897 – 1962/, поэт, драматург 2004.29.6; Среды. 1989.17.3.
- Марина /Вельдина /Завьялова/ Марина Яковлевна/ 1938 – 78/, филолог, первая жена В.А.Сосноры. 2000.14.4; 2001.30.11.
- Маринетти Филиппо Томмазо /1876 – 1944/, итальянский писатель 1999.27.9; 2004.21.2.
- Маринина /Марина Анатольевна Алексеева /1957/, писательница детективного жанра 1998.16.9; 1999.29.4.
- Маркес Габриель Гарсия /1927/, колумбийский писатель 1996.8.2; 1997.16.9; 1999.14.11; 2001.28.8; Среды. 1992.16.7.
- Марко Поло /1254 – 1324/, путешественник 1999.19.11.
- Маркс Карл /1818 – 83/, философ, политический деятель 2003.10.2; 17.2.
- Марло Кристофер /1564 – 92/, английский драматург 2003.25.2.
- Мартен дю Гар /1881 – 1958/, французский писатель 2001.25.9.
- Мартынов Леонид Николаевич /1905 – 80/, поэт 1997.30.10; 1999.3.11; 2001.28.8; Среды. 1991.17.7.
- Мартынов Николай Соломонович /1615 – 75/, убил на дуэли М.Ю.Лермонтова 1997.6.9; 1999.26.10.
- Марченко, друг В.А.Сосноры во Львове 2005.13.12.
- Маршак Самуил Яковлевич /1887 – 1964/, поэт, переводчик 2005.6.9.
- Матвеева Новелла Николаевна /1934/, поэт 2001.12.10.
- Матисс Анри /1869 – 1954/, французский живописец 1994.22.11; 1998.17.4; 1999.31.3; 2000.14.4; 10.8; 2001.15.8.
- Матюшин Михаил Васильевич /1861 – 1934/, живописец, музыкант, теоретик искусства 1994.3.12; 1998.8.12.
- Маяковский Владимир Владимирович /1893 – 1930/, поэт 1994.7.2; 3.12; 1995.13.4; 28.4; 1996.26.3; 11.6; 1997.7.2; 26.4; 21.5; 31.5; 30.10; 11.11; 10.12; 1998.2.1; 15.1; 27.4; 24.8; 16.9; 8.12; 21.12; 1999.15.1; 19.3; 18.5; 2.6; 27.9; 4.10; 12.10; 3.11; 29.12; 2000.28.1; 11.2; 19.5; 25.5; 10.8; 21.9; 29.9; 22.11; 13.12; 20.12; 2001.3.1; 21.2; 10.3; 22.4; 10.5; 26.6; 1.7; 7.7; 28.8; 30.9; 26.10; 2.11; 17.11; 23.11; 2002.3.1; 9.1; 16.1; 8.2; 5.4; 3.7; 5.10; 30.11; 30.12; 2003.6.1; 20.1; 10.2; 25.2; 6.5; 30.6; 7.10; 2004.21.2; 20.3; 2005.20.10; 23.11; 30.11; 7.12; 13.12; 2006.10.1; 20.2; 21.3; 22.4; 8.7; 23.8; 2007.4.3; 13.6; Среды. 1979.18.12; 1985.24.8; 1986.22.1; 1991.17.7; 27.3; 12.6; 1992.22.4; 25.4; 16.7.
- Медведева Екатерина Ивановна /1937/, художник 2006.17.1.
- Мей Лев Александрович /1822 – 62/, поэт 1996.26.3; 2003.13.1.
- Мелехов Александр Мотельевич /1947/, писатель 1998.17.4.
- Мельников Андрей, поэт, посещал ЛИТО В.А.Сосноры. Среды. 1988.24.4; 1989.27.10.
- Мельников–Печерский Павел Иванович /1818 – 83/, писатель 1998.30.12; 2005.31.3.
- Менандр /ок.343 – ок.291 до н.э./, древнегреческий комедиограф 1999.15.1.

Менделеева. Блок Любовь Дмитриевна /1861 – 1939/, актриса, жена А.А.Блока 2000.18.2.

Меншиков Александр Данилович /1670 – 1729/, государственный деятель, фаворит Петра I и Екатерины I 1998.4.6.

Мережковский Дмитрий Сергеевич /1866 – 1941/, писатель 2006.17.1; Среда. 1985.7.12.

Мерзоян Алик, поэт 2001.12.10; 2003.22.4.

Мериме Проспер /1803 – 70/, французский писатель 1996.29.1; 1997.6.10; 1998.2.1; 16.9; 1999.19.3; 31.3; 27.9; 2000.11.2; 3.3; 7.4; 29.11; 2002.26.10; Среда. 1983.19.10; 1991.21.7.

Метерлинк Морис /1862 – 1949/, бельгийский писатель, драматург 1996.29.1; 15.4.

Метьюрин Чарльз Роберт /1780 – 1824/, английский писатель. Среда 1987.7.12.

Микельанджело Буанаротти /1475 – 1564/, итальянский скульптор, живописец, архитектор 1997.30.10; 2002.7.3; 2006.22.7.

Миклухо-Маклай Николай Николаевич /1847 – 88/, путешественник, этнолог 2000.29.9.

Миллер Генри /1891 – 1980/, американский писатель 1998.16.10; 2001.7.7; 28.8.

Мирбо Октав /1850 – 1917/, французский писатель 1995.24.2; 1996.29.1; 1999.21.6; 14.11; 2003.13.5.

Митурич Петр Васильевич /1883 – 1973/, живописец 1997.28.11; 22.12; 1998.2.1.

Михнов-Войтенко Евгений /1932 – 88/, художник 1994.22.11; 1997.10.2; 1998.2.1; 1999.27.2; 2.6; 21.6; 26.10; 14.11; 2000.31.3; 2001.10.5; 2002.5.4; 27.4; 9.11; 2004.10.4; 2005.28.10; 2007.14.12; 24.12; 2008.21.1.

Мицкевич Адам /1798 – 1855/, польский поэт 2000.29.11.

Мишо Анри /1899 – 1984/, французский поэт и художник 2001.15.8.

Модильяни Амедео /1884 – 1920/, французский художник 1997.28.2; 22.12; 1999.26.10; 2000.14.4; 2004.17.4.

Моисей /ок.1500 до н.э./, основатель еврейской религии. Среда. 1987.10.3.

Молотов /Скрябин/ Вячеслав Михайлович /1890 – 1986/, политический и государственный деятель 1996.26.1; 8.2; 2002.9.1; 2003.15.4.

Мольер /Жан Батист Поклен/ 1622 – 73/, французский комедиограф 1996.15.4.

Монтень Мишель де /1533 – 92/, французский философ и писатель 1997.11.11; 1999.14.11; 2000.29.9; 2004.4.10.

Мопассан Ги де /1850 – 93/, французский писатель 1998.23.5; 1999.18.5; 2000.28.1; 27.4; 29.9; 5.10; 15.10; 29.11; 2001.30.9; 9.11.

Мориц Юнона Петровна /1937/, поэт 1999.6.2; 15.4.

Моцарт Вольфганг Амадей /1755 – 91/, немецкий композитор 1998.16.10; 2000.25.2; 2002.1.3; 2003.8.4; 2004.17.4.

Мозм Сомерсет /1874 – 1965/, английский писатель 2006.22.7.

- Мунк Эдвард /1863 – 1944/, норвежский художник 1998.17.4.
- Мураками Харуки /1949/, японский писатель 2002.30.12; 2003.25.3; 2004.10.4; 21.9.
- Мусоргский Модест Петрович /1839 – 81/, композитор 2001.6.6.
- Мюрат Иоахим /1721 – 1815/, французский маршал 1999.29.4; 2002.8.5.
- Набоков Владимир Владимирович /1899 – 1977/, писатель 1995.13.4; 1996.11.6; 1997.7.2; 28.2; 23.5; 16.9; 1998.28.4; 8.12; 1999.19.10; 2000.11.2; 29.9; 2001.10.1; 2002.21.8; 2.11; 9.11; 2003.4.11; 2008.17.10; Среды. 1992.16.67.
- Надсон Семен Яковлевич /1862 – 87/, поэт 1999.12.10; 2000.11.2; 2002.5.4; 2003.3.2; 2005.17.1; 2006.17.6.
- Найман Анатолий Генрихович /1936/, поэт, прозаик, мемуарист 2003.9.9; 7.10; 2008.11.2.
- Наливкин Дмитрий Васильевич /1889 – 1962/, геолог, палеонтолог 1998.17.4.
- Наполеон I Бонапарт /1769 – 1821/, французский император 1995.9.4; 13.4; 1996.30.11; 1999.29.4; 18.5; 2000.14.1; 14.3; 12.10; 2001.18.9; 2002.8.2; 8.5; 24.12; 2003.9.9; 2006.7.2; 2007.3.12; Среды. 1992.16.7.
- Нарбут Владимир Иванович /1888 – 1944/, поэт. Среды. 1990.17.12.
- Нахимов Павел Степанович /1802 – 55/, русский адмирал. Среды. 1989.27.10.
- Негош Петр Петрович /1813 – 51/, черногорский поэт, правитель Черногории 1999.14.11.
- Незвал Витезслав /1900 – 58/, чешский поэт 2001.28.8.
- Ней Мишель /1769 – 1815/, маршал Франции 1999.29.4; 2002.8.5.
- Некрасов Всеволод Николаевич /1934 – 2009/, поэт 2006.17.6; 2007.4.3.
- Некрасов Николай Алексеевич /1821 – 77/, поэт 1996.15.4; 2000.21.9; 5.10; 2002.15.2; 13.11; 2005.17.1; 2006.17.6; Среды. 1990.18.4.
- Нерваль Жерар де /Жерар Лабрюни/ 1808 – 55/, французский поэт, писатель 1999.19.3; 21.6; 14.11; 2000.4.2; 5.10; 2003.28.10.
- Нерон /37 – 68/, римский император 2000.28.7.
- Нижинский Вацлав Фомич /1890 – 1950/, танцовщик и балетмейстер 1996.26.3; 1998.2.1; 1999.29.12; 2000.14.3; 22.3; 2001.15.8; 6.10; 30.11; 2002.31.1; 15.2; 2003.27.1; 2004.6.3; 2005.23.11; 2008.18.3.
- Никитин Афанасий /15 в./, тверской купец, путешественник 1997.10.12; 1999.27.9.
- Никитин Иван Савич /1824 – 61/, поэт 2001.12.10; 23.11.
- Никитина Тамара Александровна /1929 – 2001/, поэт 2001.26.10.
- Николай I Павлович (Романов /1796 – 1855/, российский император 1995.28.4; 1997.28.2; 1999.27.2; 2000.7.4; 20.10; 2001.3.4; 21.12; 2002.22.3; 2003.20.5; 2008.18.3; Среды. 1986.9.9.
- Николай II Александрович (Романов /1868 – 1918/, российский император 1997.6.9.
- Никулин Лев Вениаминович /1891 – 1967/, писатель 2001.28.8.

Нина /Алексеева Нина Евгеньевна/ 1955 – 2009/, жена В.А.Сосноры 1999.27.2; 29.6; 2000.22.3; 2001.17.1; 26.6; 15.8; 11.9; 12.10; 2002.22.2; 12.4; 2003.3.2; 25.2; 2004.3.2; 16.12; 2006.17.1; 11.2; 9.3; 22.3; 10.5; 19.5; 17.6; Среда. 1991.22.9.

Ницше Фридрих /1844 – 1900/, немецкий философ 1997.8.1; 1999.21.6; 2000.20.10; 2002.22.2; 5.10; 2.11; 7.12; 2003.3.2; 2004.29.6; Среда. 1985.7.12; 1991.18.5.

Новоскольников Валерий, поэт, посещал ЛИТО В.А.Сосноры. Среда. 1984.11.5.

Нодье Шарль /1780 – 1844/, французский писатель 2000.25.5; 29.9; 2001.13.12; 2003.6.1; 20.5.

Норвид Циприан Камиль /1821 – 63/, польский писатель 2000.5.4.

Нострадамус /1503 – 66/, французский врач, астролог, предсказатель 2000.19.5.

Нуриев Рудольф Хаметович /1938 – 93/, танцовщик, балетмейстер 2000.14.3.

Ньютон Исаак /1643 – 1727/, английский ученый 1997.16.9; 2003.11.3; 2004.3.2.

Обольский, писатель – ? 2001.10.1.

Овидий /Публий Овидий Назон/ 43 до н.э. – ок.18 н.э./, римский поэт Среда. 1992.16.7.

Овсянников Вячеслав Александрович /1947/, поэт, писатель 2002.7.3; Среда. 1980.17.5; 1982.24.2; 1984.11.5; 1985.27.1; 1986.26.1; 1987.9.11; 1988.24.4.

О.Генри /Уильям Сидни Портер/ 1862 – 1910/, американский писатель 1999.18.5.

Оден Уистен Хью /1907 – 73/, английский поэт 2003.13.1; 9.9.

Одоевский Александр Иванович /1802 – 39/, поэт, декабрист 2000.14.1.

Ожиганов Александр Федорович /1944/, поэт 2007.4.3.

Окуджава Булат Шалвович /1924 – 97/, поэт, бард 2001.12.10; Среда. 1992.16.7.

Олдингтон Ричард /1892 – 1962/, английский писатель 2001.7.7.

Олег Вещий /? – 912/, первый князь киевский 2000.7.4.

Олеша Юрий Карлович /1899 – 1960/, писатель 1999.31.3; 2004.28.2; 10.5.

Ордынская Мария, поэт, посещала ЛИТО В.А.Сосноры. Среда. 1980.17.5.

Орлов Григорий Григорьевич /1734 – 83/, фаворит Екатерины II 1998.21.12.

Оруэлл Джордж /1903 – 50/, английский писатель 2006.20.2.

Орфей /ок.10 в. до н.э./, мифический поэт и музыкант, создатель религиозного течения орфизма 1997.8.1; 1999.13.3; 2000.19.4; 2003.1.4; 2005.7.12; Среда. 1987.10.3.

Остров Свет, художник 2002.5.4.

Островский Александр Николаевич /1823 – 86/, драматург 2000.15.11; 2001.19.10.

- Островский Николай Алексеевич /1904 – 36/, писатель 2001.10.1.
 Охапкин Олег Алексеевич /1944 – 2008/, поэт 2008.17.10.
 Оцуп Николай Авдеевич /1894 – 1958/, поэт, литературовед 1998.30.12.
 Павел I Петрович /1764 – 1881/, российский император. Среды. 1982.15.3.
 Павич Милорад /1929/, сербский писатель 1999.27.9.
 Палеолог. Палеологи, династия византийских императоров 1997.10.12.
 Панов /первый муж Веры Пановой – Арсений Старосельский/ 1999.29.12; 2002.27.4.
 Панова Вера Федоровна /1905 – 73/, писатель 1999.29.12; 2002.27.4.
 Параджанов Сергей Иосифович /1924 – 90/, кинорежиссер 2002.3.1; 8.5; 2004.13.1.
 Парацельс / Филипп Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм/ /1493 – 1541/, врач, философ, теософ 1998.21.12.
 Парнок София Яковлевна /1885 – 1932/, поэт 2001.10.1; 2003.4.11.
 Парщиков Алексей Максимович /1954 – 2009/, поэт 1999.29.12.
 Пастернак Борис Леонидович /1890 – 1960/, поэт 1994.3.12; 1995.14.3; 13.4; 28.4; 1996.8.2; 11.6; 1997.7.2; 23.5; 31.5; 30.10; 28.11; 10.12; 1998.15.1; 27.4; 24.8; 8.12; 21.12; 1999.15.1; 19.3; 5.3; 12.10; 26.10; 3.11; 14.11; 2000.11.2; 7.4; 25.5; 29.9; 12.10; 13.12; 2001.21.2; 22.4; 28.8; 17.11; 23.11; 2002.16.1; 15.2; 22.2; 1.3; 29.3; 12.4; 3.7; 21.8; 9.11; 30.12; 2003.29.4; 20.5; 30.6; 7.10; 2004.24.4; 12.9; 21.9; 2006.22.4; 8.7; 2007.4.3; Среды; 1978.30.10; 1985.24.8; 1989.27.10; 1991.7.2; 27.3; 12.6; 1992.22.4; 25.4.
 Пастернак Леонид Осипович /1862 – 1945/, художник, отец Бориса Пастернака, 2001.1.7.
 Паунд Эзра /1885 – 1972/, американский поэт 1997.10.12.
 Паустовский Константин Георгиевич /1892 – 1968/, писатель 2000.21.1.
 Пелевин Виктор Олегович /1962/, писатель 1999.27.2.
 Перельман Григорий Яковлевич /1966/, российский математик, первым доказавший теорему Пуанкаре 2006.23.8.
 Перовская Софья Львовна /1853 – 81/, революционерка 2001.18.9.
 Петерс, переводчик В.А.Сосноры, живет во Франции 2000.4.5.
 Петников Григорий Николаевич /1894 – 1971/, поэт 1998.30.12; 1999.12.10; 2000.6.9; 2001.7.7; 2003.3.2; 11.3; Среды. 1985.24.8.
 Петр I Алексеевич /1672 – 1725/, российский император 1996.6.11; 1997.10.12; 1998.2.1; 4.6; 1999.13.3; 12.10; 19.11; 2001.12.10; 2002.5.4; 2005.23.11; 2008.18.3.
 Петрарка Франческо /1304 – 74/, итальянский поэт 2004.24.4; Среды. 1992.16.7.
 Петров-Водкин Кузьма Сергеевич /1878 – 1939/, художник 2002.7.12.
 Петровский Дмитрий Васильевич /1892 – 1955/, поэт, прозаик 1998.30.12; 1999.18.5; 12.10; 2000.6.9; 2001.7.7; 2002.1.3; 2003.3.2; 11.3; Среды. 1985.24.8.
 Петроний Арбитр /? – 66 г. н.э./, римский писатель 1996.20.2; 2000.12.10.
 Пиаф Эдит /1915 – 63/, французская эстрадная певица 1999.19.11; 2002.23.1.
 Пигмалион, в греческой мифологии царь Кипра, скульптор. Среды. 1983.19.10.

Пикассо Пабло /1881 – 1973/, французский художник 1997.16.2; 22.10; 1998.2.1; 23.5; 21.12; 1999.2.6; 29.6; 26.10; 2000.14.4; 2001.3.1; 25.8; 2002.8.2; 15.2; 27.4; 16.11; 2005.20.10; 13.12; Среды. 1982.7.1.

Пикач А., критик, статья «Видения внутри ветра или Диковинная архитектура Виктора Сосноры» ж. «Нева», 1992 № 10. 1999.19.3; 2000.18.2; 7.4; 2001.21.2; 7.7; 2002.26.10.

Пикуль Валентин Савич /1928 – 90/, писатель 2000.5.10; 2006.9.8; 2007.13.6.

Пильняк Борис Андреевич /1894 – 1938/, писатель 1998.15.1; 8.12.

Пиндар /ок.518 – 442 или 438 до н.э./, древнегреческий поэт. Среды. 1992.16.7.

Пирогов Николай Иванович /1810 – 81/, хирург 2005.6.10.

Пиросмани Нико /1882 – 1918/, грузинский художник 1998.8.12; 2001.23.11.

Писарев Дмитрий Иванович /1840 – 68/, критик, публицист 1999.26.10; 2000.5.10; 2003.22.4; 2006.17.6.

Пифагор /ок.580 – 500 до н.э./, древнегреческий философ, математик, основатель герметического учения пифагоризма 1997.8.1; 2000.19.4; Среды. 1987.10.3; 1991.21.7.

Платон /428–427 – 348–347 до н.э./, древнегреческий философ 1994.22.11; 19.12; 1995.9.4; 28.4; 1996.30.11; 1997.8.1; 16.9; 1998.27.4; 8.12; 1999.31.3; 12.10; 2000.11.2; 22.3; 19.5; 29.9; 2001.7.7; 12.10; 19.10;

2002.7.3; 3.7; 2003.20.1; 9.9; 29.6; 21.9; 2005.6.10; 2006.7.2; 22.7; Среды. 1987.10.3; 1991.18.5.

Платонов /Климентов/ Андрей Платонович /1899 – 1951/, писатель 1992.11.12; 1997.26.4; 23.5; 1998.27.1; 8.12; 1999.27.2; 19.10; 3.11; 2000.14.1; 4.2; 25.2; 2001.6.6; 30.9; 30.11; 2002.16.1; 5.4; 22.4; 21.8; 17.12; 2003.20.1; 2004.13.1; 2005.6.9; 2007.13.6; Среды. 1984.21.1.

Плотин /ок.204–205 – 269–270/, древнегреческий философ, основатель неоплатонизма 1995.28.12; 27.4; 21.12; 2000.4.2; 2.12; Среды. 991.18.5.

Плутарх /ок.46 – ок.127/, греческий историк и писатель 2003.10.2; Среды. 1991.21.7.

По Эдгар Алан /1809 – 49/, американский поэт, писатель 1994.7.2; 1996.8.2; 20.2; 1997.21.5; 6.9; 16.9; 1999.19.3; 31.3; 29.6; 4.10; 2000.4.2; 25.2; 27.4; 10.8; 5.10; 2001.3.4; 10.5; 26.6; 15.8; 17.11; 23.11; 2002.7.12; 24.12; 2004.29.6; 2005.17.1; 3.11; Среды. 1985.24.8; 1991.27.3; 1992.16.7.

Погодин Радий Петрович /1925 – 93/, писатель, драматург 2001.14.2.

Поллок Джексон /1912 – 36/, американский художник-абстракционист 1997.28.2; 1998.8.12.

Полойников Борис, журналист 2003.30.6.

Помпеев Юрий Александрович /1938/, писатель 2005.23.11; 2006.8.7.

Помяловский Николай Герасимович /1835 – 63/, писатель 1999.12.10; 2000.14.1; Среды. 1989.17.3.

Понизовский Алексей Михайлович /1954/, поэт 2003.13.1.

Поплавский Борис Юлианович /1903 – 35/, поэт 1997.16.6.

Попов Александр Владимирович /1971/, российский пловец,

четырёхкратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира 1998.30.12; 2005.30.11.

Порфирий /232 – 305/, философ, неоплатоник, ученик Плотина. Среды. 1991.18.5.

Потемкин Григорий Александрович /1739 – 91/, князь, государственный деятель, фаворит Екатерины II 1998.21.12.

Пришвин Михаил Михайлович /1873 – 1954/, писатель 1999.12.10; 3.11; 14.11; 2001.17.1; 2002.29.3.

Прокл /ок.410 – 485/, греческий философ, представитель неоплатонизма 1995.28.12; 2000.4.2; Среды. 1991.18.5.

Пруст Марсель /1871 – 1922/, французский писатель 1994.19.12; 1997.16.2; 1998.27.1; 1999.4.10; 19.10; 2003.20.5; Среды. 1987.2.4.

Пуанкаре Жюль Анри /1854 – 1912/, французский математик 2006.23.8.

Пугачев Емельян Иванович /ок.1744 – 75/, предводитель восстания 2002.7.12; 2006.10.5.

Пуссен Николя /1594 – 1665/, живописец 1996.8.2; 1997.28.2.

Пушкин Александр Сергеевич /1799 – 1837/, поэт 1992.18.12; 1994.7.2; 3.12; 19.12; 1995.14.3; 13.4; 28.4; 28.12; 1996.29.1; 20.2; 26.3; 15.4; 11.6; 6.11; 1997.7.2; 10.2; 13.3; 21.5; 31.5; 6.9; 6.10; 22.10; 30.10; 28.11; 10.12; 22.12; 1998.2.1; 17.4; 23.5; 24.8; 16.9; 8.12; 1999.27.2; 5.3; 13.3; 19.3; 31.3; 29.4; 18.5; 21.6; 12.10; 26.10; 29.12; 2000.14.1; 18.2; 25.2; 14.3; 7.4; 14.4; 19.4; 25.5; 10.8; 21.9; 29.9; 5.10; 12.10; 20.10; 15.11; 29.11; 2001.17.1; 2.3; 10.3; 22.4; 10.5; 6.6; 1.7; 7.7; 15.8; 28.8; 11.9; 18.9; 25.9; 30.9; 12.10; 19.10; 26.10; 9.11; 23.11; 30.11; 13.12; 21.12; 27.12; 2002.3.1; 9.1; 16.1; 8.2; 15.2; 1.3; 7.3; 22.3; 12.4; 22.4; 3.7; 21.8; 28.9; 5.10; 26.10; 30.11; 30.12; 2003.6.1; 27.1; 10.2; 25.2; 11.3; 8.4; 22.4; 29.4; 20.5; 9.9; 17.9; 23.9; 7.10; 2004.28.2; 20.3; 17.4; 24.4; 10.5; 29.6; 4.10; 16.12; 2005.31.3; 6.9; 7.12; 2006.3.1; 17.1; 7.2; 9.3; 23.6; 23.8; 2007.4.3; 24.12; 2008.21.1; 29.1; 11.2; 1.4; 8.8; 15.11; Среды. 1978.8.11; 1982.7.1; 1983.19.10; 1984.21.4; 1985.24.8; 1987.2.4; 1989.27.10; 1990.24.1; 1991.7.2; 3.4; 12.6; 22.6; 1992.16.7.

Рабле Франсуа /1494 – 1553/, французский писатель 1994.3.12; 1995.5.1; 2000.3.3; 22.11; 2001.1.7; 15.8; 2006.9.3; 2008.11.5.

Работнова Виктория, поэт, посещала ЛИТО В.А.Сосноры. Среды. 1982.24.2.

Радищев Александр Николаевич /1749 – 1802/, писатель, публицист 1999.7.9; 2000.3.3.

Разин Степан Тимофеевич /1630 – 71/, вождь народного восстания 2006.10.5.

Рак Иван Вадимович /1959/, писатель, редактор. Среды. 1988.4.

Распутин /Новых/ Григорий Ефимович /1864–65 – 1916/, авантюрист, фаворит Николая II 2003.23.9.

Рафаэль Санти /1483 – 1520/, итальянский живописец и архитектор 1997.8.1; 2000.31.3; 2001.15.8.

Рейн Евгений Борисович /1935/, поэт 2008.11.2.

Рейтерн Евграф Романович /1794 – 1865/, живописец 2005.6.9.

Рекамье мадам де Юлия Аделаида /1777 – 1849/ знаменитая хозяйка парижского литературного салона эпохи Наполеона Бонопарта 2003.20.5.

Ремарк Эрих Мария /1898 – 1970/, немецкий писатель 1999.19.3; 2000.27.12.

Рембо Артюр /1854 – 91/, французский поэт 1995.28.12; 1996.20.2; 26.3; 1999.19.3; 2001.26.10; 30.11; 2006.29.7; 2007.11.7; 2008.15.11.

Рембрандт Харменс ван Рейн /1606 – 99/, голландский живописец 1997.22.12; 1999.31.3; 2000.14.1; 14.3; 14.4; 2002.1.3; 2005.20.10; Среды. 1991.21.7.

Ремизов Алексей Михайлович /1877 – 1957/, писатель 1999.19.10; 14.11; 2000.25.10; 2001.21.2; 2002.14.3; 4.7; 2004.17.4.

Репин Илья Ефимович /1844 – 1930/, живописец 1994.11.3.

Рильке Райнер Мария /1875 – 1926/, австрийский поэт 2000.25.10; 2002.24.12; 2007.14.12; Среды. 1982.7.1.

Рихтер Святослав Теофилович /1915 – 97/, пианист 2002.12.4.

Ричард III /1452 – 85/, английский король 1999.29.12; Среды. 1986.9.9.

Роб-Грие Аллен /1922/, французский писатель, представитель «нового романа» 1997.5.11; 2002.19.10; 30.11; Среды. 1987.25.3.

Роден Огюст /1840 – 1917/, французский скульптор 1997.22.10.

Родченко Александр Михайлович /1891 – 1956/, живописец, график, дизайнер, фотограф 1999.3.11.

Рождественский Роберт Иванович /1932 – 94/, поэт 1999.3.11; Среды. 1989.27.10.

Розанов Василий Васильевич /1856 – 1919/, писатель, мыслитель. Среды. 1991.18.5.

Розанова Ольга Владимировна /1886 – 1918/, художник 1999.15.4; 26.10.

Роланд /I в. н.э./, маркграф Британский, герой французских эпических сказаний 1999.15.1; 15.4.

Роллан Ромен /1866 – 1944/, французский писатель; Среды. 1987.2.4.

Романов Григорий Васильевич /1923 – 2008/, первый секретарь ленинградского обкома КПСС 2002.12.4.

Ромэн Жюль /1885 – 1972/, французский писатель 2005.6.10.

Ронсар Пьер де /1524 – 65/, французский поэт 2003.20.1; 22.4.

Рублев Андрей /1360-70 – ок.1430/, иконописец 1994.22.11; 2001.15.8.

Русефоль, испанский поэт – ? 1999.27.9.

Руссо Анри /1844 – 1910/, французский художник. Среды. 1982.7.1.

Руссо Жан Жак /1712 – 78/, французский философ и писатель 2001.13.12; 2002.16.1; 7.12.

Рюрик /? – 879/, первый русский князь, основатель династии рюриковичей 1996.6.11.

Савельева Татьяна, поэт, посещала ЛИТО В.А.Сосноры. Среды. 1980.17.5.

Саврасов Алексей Кондратьевич /1830 – 97/, живописец 2001.21.12; 2002.16.11.

Сад маркиз де /1740 – 1814/, французский писатель 1995.28.4; 2001.28.8.

Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович /1826 – 89/, писатель 1999.12.10; 2005.31.3.

Сальери Антонио /1750 – 1825/, итальянский композитор 2002.1.3; 21.9.

Санд Жорж /Аврора Дюпен/ 1804 – 76/, французская писательница 1998.11.3.

Сартр Жан-Поль /1905 – 80/, французский философ, писатель, публицист 1997.11.11; 2002.7.3; 2005.16.11.

Сафо /7 – 6 вв. до н.э./, древнегреческая поэтесса 1999.2.6; Среды.1992.16.7.

Сахаров Иван Петрович /1807 – 63/, этнограф и археолог 2006.23.8.

Саша Соколов /Александр Всеволодович Соколов/ 1943/, писатель 2007.11.7.

Сведенборг Эммануэль /1688 – 1772/, шведский ученый и теософ–мистик 2003.17.2.

Светоний Гай Трансвилл /75 – 160/, римский историк 1999.5.3.

Свифт Джонатан /1667 – 1745/, английский писатель и политический деятель 1994.3.12; 1995.5.1; 1996.26.1; 15.4; 1998.8.12; 1999.12.10; 2000.22.11; 2001.10.1; 26.6; 1.7; 2003.15.8.

Северянин Игорь Васильевич /Лотарев/ 1877 – 1941/, поэт 1997.16.9; 1999.18.5; 2000.20.10; 2001.23.11; 2002.8.2; 2003.20.5; 2004.27.1.

Седакова Ольга Александровна /1949/, поэт 2007.4.3.

Сезанн Поль /1839 – 1906/, французский художник 1994.22.11; 1996.20.2; 1998.2.1; 23.5; 16.9; 2000.31.3; 14.4; 2001.17.11; 2004.17.4; 29.6.

Сей Сёнагон /9 в./, японская писательница 1999.12.10; 2000.21.9; 29.9; 2003.27.1.

Сейфуллина Лидия Николаевна /1889 – 1954/, писательница 1999.3.11; 2005.28.10.

Селин Луи Фердинанд /1894 – 1961/, французский писатель 1998.16.10.

Сельвинский Илья Львович /1899 – 1968/, поэт 2005.30.8.

Сенека Луций Аней /ок.4 г. до н.э. – 65 н.э./, римский писатель 2000.7.4.

Сент-Бёв Шарль Огюстен /1804 – 69/, французский критик, историк литературы 1999.26.10; 2001.13.12.

Сент-Экзюпери Антуан де /1900 – 44/, французский писатель, военный летчик 1999.19.3; 2001.2.3; 27.12; 2005.16.11; 2006.20.2.

Сервантес Сааведра Мигель де /1547 – 1616/, испанский писатель 1992.11.12; 1995.5.1; 1996.20.2; 1998.27.1; 1999.5.3; 19.10; 2000.10.8; 2001.17.1; 15.8; 18.9; 23.11; 2002.30.11; 2004.27.1; 2006.9.3.

Симеон Жорж /1903 – 89/, французский писатель 1997.28.2; 2001.30.11.

Симона де Бовуар /1908 – 86/, французская писательница, идеолог феминистского движения, жена Жан-Поль Сартра 2000.11.2.

Симонов Константин Михайлович /1915 – 79/, поэт, писатель 1999.12.10; 19.10; 2002.5.10; Среды. 1978.8.11.

Сковорода Григорий Савич /1722 – 94/, украинский философ, поэт, педагог 2000.3.3.

Скорцени Отто /1908 – 86/, немецкий диверсант, оберштурмбанфюрер СС 2002.2.11.

Скотт Вальтер /1771 – 1832/, шотландский писатель 1994.3.12; 1996.15.4; 1998.2.1; 1999.19.3; 31.3; 2002.30.12; 2003.23.9; 2006.19.5; Среды.1991.21.7.

Слущкий Борис Абрамович /1919 – 86/, поэт 2004.6.3; Среды. 1978.8.11.

- Смеляков Ярослав Васильевич /1913 – 72/, поэт 2008.26.12.
- Смирнова Алла, поэт, переводчик, посещала ЛИТО В.А.Сосноры. Среды. 1980.17.5; 1982.24.2.
- Смит Адам /1723 – 90/, английский экономист 2006.21.3.
- Смоктунский Иннокентий Михайлович /1925 – 94/, актер театра и кино 2002.3.1.
- Собачкин, писатель – ? 1997.16.6.
- Соболев Леонид Сергеевич /1898 – 1971/, писатель 2001.28.8.
- Соболевский Сергей Александрович /1803 – 70/, библиограф, друг Пушкина 2001.13.12.
- Сократ /470-469 – 399 до н.э./, древнегреческий философ 1996.26.1; 1999.6.2; 2000.10.3; 19.5; 2002.7.3; 8.5; 2003.9.9; 2.12; 2004.3.2; 21.9; 2005.6.10; 2006.7.2; Среды. 1991.21.7.
- Солженицын Александр Исаевич /1918 – 2008/, писатель, публицист, общественный деятель 1995.24.2; 1997.23.5; 1998.8.12; 1999.12.10; 2001.10.5; 2006.19.5.
- Соловьев Владимир Сергеевич /1853 – 1900/, философ, поэт 2002.14.3; 2004.13.1; 2007.4.3.
- Соловьев Сергей Михайлович /1820 – 79/, историк 2004.13.1.
- Соловьев Сергей Михайлович /1885 – 1942/, поэт 2004.13.1.
- Соловьев Сергей, писатель, художник, путешественник, издавал в Москве ж. «Ковчег» и «Речевые ландшафты», живет в Индии 2006.22.4.
- Сологуб /Тетерников/ Федор Кузмич /1863 – 1927/, поэт, писатель 2001.25.5; 2002.17.12.
- Сомов Константин Андреевич /1869 – 1939/, художник 1997.16.6.
- Соснора Александр Иванович /1908 – 59/, военачальник, командовал дивизией в польской армии, отец В.А.Сосноры 1996.6.11; 1997.13.3; 1998.30.12; 1999.29.12; 2000.28.1; 2001.28.8; 30.9; 12.10; 9.11; 2002.3.1; 8.2; 22.3; 2003.15.4; 30.6; 2005.10.11; 7.12.
- Соснора Ева Вульфовна /1914 – 1990/, педагог, мать В.А.Сосноры 2001.30.9; 2002.8.2; 27.4; 2005.10.11; 23.11; 30.11; 2006.8.7.
- Соснора Иван Егорович /1880 – 1941/, офицер русской армии, дед В.А.Сосноры с отцовской стороны 1996.15.4; 1998.15.1; 2000.28.1; 2002.23.1; 8.2; 27.4.
- Соснора Петр Иванович /1913 – 1943/, дядя В.А.Сосноры 1999.29.12; 2001.28.8; 2002.27.4; 2005.7.12; 2006.8.7.
- Софокл /ок.496 – 406 до н.э./, древнегреческий драматург 2002.1.3.
- Спартак /70-е годы до н.э./, фракиец, вождь восстания рабов в Риме 2002.23.1.
- Спасский Сергей Дмитриевич /1898 – 1956/, поэт, переводчик 1998.30.12; 1999.12.10.
- Стайн Гертруда /1874 – 1946/, американская писательница 1999.27.9; 2000.13.12; 20.12; 2001.3.1; 10.1; 10.3; 1.7; 7.7; 28.8.
- Сталин Василий Иосифович /Джугашвили/ 1921 – 62/, младший сын И.В.Сталина 2001.27.1
- Сталин /Джугашвили/ Иосиф Виссарионович /1879 – 1953/, политический

деятель, глава советского государства /СССР/ 1995.9.4; 1996.8.2; 6.11; 2000.5.10; 2001.6.10; 30.11; 2002.31.1; 24.12; 2003.17.2; 15.4; 2005.7.12.

Стаут Рекс /1886 – 1975/, американский писатель 1998.16.10.

Стейнбек Джон Эрнст /1902 – 68/, американский писатель 1995.28.12.

Стендаль /Анри Мари Бейль/ 1783 – 1842/, французский писатель 2001.30.9; 23.11; 7.12; 13.12; 2002.21.8; Среды. 1991.21.7.

Степанов Николай Леонидович /1902 – 72/, литературовед 2000.21.10.

Степанов Сергей Анатольевич /1952/, поэт, переводчик 2004.12.9; Среды; 1980.17.5; 1982.24.2.

Стерн Лоуренс /1713 – 68/, английский писатель 1999.15.1.

Стивенсон Роберт Луис /1850 – 94/, английский писатель 1995.24.2; 14.3; 28.12; 2001.30.11.

Стравинский Игорь Федорович /1862 – 1971/, композитор 2001.30.11; 2008.18.3.

Стриндберг Юхан Август /1849 – 1912/, шведский писатель. Среды. 1986.27.12.

Стругацкие братья. Аркадий Натанович /1925 – 91/, Борис Натанович /1933 – 2012/, писатели, соавторы 2000.25.2; 2002.22.3.

Стукалин Евгений, работал в 1992 г. в издательской фирме «Редактор», СПб, 1994.19.12; Среды.1992.21.5.

Стюарты, шотландский род, из которого произошел ряд шотландских и английских королей 2002.19.10.

Судзуки Дайсэцу Тайтаро /1870 – 1966/, японский философ, истолкователь дзэнбуддизма 1994.7.2.

Сулаж Пьер /1919/, французский художник 2001.6.6.

Сулейманова Юлия, поэт, посещала ЛИТО В.А.Сосныры. Среды. 1990.18.4.

Сумароков Александр Петрович /1717 – 77/, поэт 2002.5.10.

Сумин, друг В.А.Сосныры во Львове 2005.13.12.

Суриков Иван Захарович /1841 – 80/, поэт 1996.26.3; 2001.12.10; 23.11.

Сурков Алексей Александрович /1899 – 1983/, поэт 2001.11.9; 2002.5.10; 2003.20.5; 2005.13.12.

Сухово-Кобылин Александр Васильевич /1817 – 1903/, драматург 2000.15.11; 19.10; 2002.16.11.

Сю Эжен /1804 – 57/, французский писатель. Среды. 1987.2.4.

Тамерлан /Тимур/ 1336 – 1405/, среднеазиатский завоеватель, потомок Чингисхана 2001.7.12; 2002.8.2; 22.4; 2006.9.8.

Тарковский Андрей Арсеньевич /1932 – 86/, кинорежиссер 2004.13.1; 25.5; 2006.23.8.

Тарковский Арсений Александрович /1907 – 89/, поэт. Среды. 1978.8.11.

Татищев Василий Никитич /1686 – 1750/, историк 1997.5.11; 1999.13.3; 2001.28.7; 2002.5.10.

Татлин Владимир Евграфович /1885 – 1953/, живописец, художник-конструктор 1994.3.12; 1995.14.3; 1997.28.2; 2000.11.2; 6.9; 2002.27.4; 2004.21.2; 29.6.

Тацит Публий Корнелий /ок.55 – ок.120/, римский историк 1999.5.3.

Твардовский Александр Трифонович /1910 – 71/, поэт 1999.12.10; 2003.22.4; 2004.13.1; Среды. 1978.8.11; 1990.24.1.

Твен Марк /1835 – 1910/, американский писатель 2001.1.7.

Телятевский Андрей Андреевич /? – 1612/, боярин из рода князей Телятевских, воевода, государственный и военный деятель Смутного времени 2003.23.9.

Тихомиров Владимир, фотограф 2004.4.10.

Тихонов Николай Семенович /1896 – 1979/, поэт. Среды. 1978.8.11.

Толстой Алексей Константинович /1817 – 75/, поэт, писатель, драматург 1999.29.12; 2002.15.2.

Толстой Алексей Николаевич /1883 – 1945/, писатель 1992.9.11; 1999.12.10; 2001.10.1; 23.11.

Толстой Лев Николаевич /1828 – 1910/, писатель 1992.18.12; 1994.7.2; 3.12; 1995.24.2; 13.4; 28.4; 1996.8.2; 20.2; 11.6; 1997.7.2; 21.5; 23.5; 16.9; 30.10; 28.11; 10.12; 1998.15.1; 27.1; 15.4; 27.4; 1999.5.3; 19.3; 21.6; 12.10; 26.10; 2000.14.1; 11.2; 7.4; 14.4; 25.5; 2001.10.1; 2.3; 6.6; 15.8; 19.10; 23.11; 30.11; 13.12; 21.12; 2002.28.9; 9.11; 7.12; 2003.27.1; 17.2; 15.8; 9.9; 23.9; 2004.21.2; 13.3; 2005.10.11; 2006.10.1; 19.5; 2007.4.3; 14.12; 2008.11.5; 17.10; Среды. 1983.2.4.

Топоров Владимир Николаевич /1928/, филолог, языковед, фольклорист, литературовед 2000.19.4; 2001.12.10.

Тракль Георг /1887 – 1914/, австрийский поэт 2001.17.1.

Третьаковский Василий Кириллович /1703 – 66/, поэт, филолог, стиховед 2002.5.10; 2004.17.4; 2006.20.2.

Трофимчик Мария, поэт, посещала ЛИТО В.А.Сосноры. Среды. 1980.17.5; 1982.24.2.

Троцкий Лев Давыдович /Бронштейн/ 1879 – 1940/, советский государственный и политический деятель 2000.6.12; 2001.10.5; 2003.20.1.

Трубецкой Николай Сергеевич /1890 – 1938/, философ, филолог, литературовед 2000.18.2.

Тургенев Иван Сергеевич /1818 – 83/, писатель 1994.7.2; 11.3; 1995.13.4; 1996.11.6; 1997.21.5; 1998.15.1; 27.1; 2000.25.10; 15.11; 2001.1.7; 28.8; 21.12; 2006.19.5; Среды. 1986.9.9; 27.12; 1987.2.4.

Тынянов Юрий Николаевич /1894 – 1943/, литературовед, писатель 1998.24.8; 8.12; 2002.30.11; 2003.17.2; 25.2.

Тютчев Федор Иванович /1803 – 73/, поэт 1996.26.3; 1998.2.1; 21.12; 1999.31.3; 2000.14.3; 5.10; 2001.6.6; 12.10; 2002.3.1; 9.1; 30.11; 2004.13.3; 17.4; 2008.29.1; Среды. 1984.21.4.

Уайльд Оскар /1854 – 1900/, английский писатель 1996.15.4; 1997.13.3; 16.9; 1998.8.12; 1999.19.3; 19.10; 2000.14.3; 2001.15.8; 23.11; 2004.20.3; 29.6; 2005.17.1; 2006.22.7; Среды. 1992.16.7.

Удальцова Надежда Андреевна /1886 – 1961/, художник 2004.10.4; 2006.17.1.

Уитмен Уолт /1819 – 92/, американский поэт 1995.5.1; 1996.26.3; 1998.27.4; 1999.19.3; 2000.13.12; 2001.7.7; 2002.22.2; 2008.15.11.

Успенский Глеб Иванович /1843 – 1902/, писатель 2001.18.9; 2002.1.3; 5.4.

Успенский Николай Васильевич /1837 – 89/, писатель 1998.30.12; 2001.18.9; 2002.1.3; Среда. 1987.2.4.

Утрилло Морис /1883 – 1955/, французский художник 1997.22.12; 1999.26.10; 2000.14.4; 5.10; 2004.17.4.

Ушаков Дмитрий Николаевич /1873 – 1942/, филолог, редактор и соавтор "Толкового словаря русского языка" 2002.3.1; 9.1.

Уэллс Герберт Джордж /1866 – 1946/, английский писатель 1995.28.12.

Фадеев Александр Александрович /1901 – 56/, писатель 1999.3.11; 2001.19.10; 2004.12.9.

Фалес /624 – 548 до н.э./, древнегреческий мудрец, философ 1999.15.1; 2003.1.4.

Федин Константин Александрович /1892 – 1977/, писатель 2002.9.11.

Федоров Николай Федорович /1828 – 1903/, философ 1998.8.12; 2001.19.10; 2003.8.4.

Федоров, кардиолог, хирург 2001.23.11.

Феогнид из Мегары /ок.546 – кон.6 в. до н.э./, древнегреческий поэт 2004.3.5; 21.9; 2005.31.3; 6.10.

Феофан Грек /ок.1335 – ок.1410/, иконописец 1994.22.11; 1997.16.6; 1998.16.9; 2001.15.8.

Феофраст /ок.372 – ок.287 до н.э./, древнегреческий философ 2001.30.11.

Ферма Пьер де /1601 – 65/, французский математик 2004.12.9.

Фет Афанасий Афанасьевич /1820 – 92/, поэт 1994.3.12; 1995.14.3; 1996.26.3; 1999.31.3; 7.4; 21.9; 5.10; 26.10; 2001.6.6; 13.12; 2002.7.3; 4.7; 2003.20.5; 2004.13.3.

Фигнер Вера Николаевна /1852 – 1942/, революционерка 2001.18.9.

Фидий /нач.5 в. – ок.432–431 до н.э./, древнегреческий скульптор. Среда. 1983.19.10.

Филонов Павел Николаевич /1883 – 1941/, живописец 1994.3.12; 1998.23.5; 24.8; 8.12; 1999.21.6; 2000.18.2; 25.5; 21.9; 2001.3.1; 2003.3.2; 29.4; Среда. 1983.22.12.

Фиораванти Аристотель /XV в./, итальянский зодчий 1998.4.6.

Фицджеральд Фрэнсис Скотт /1896 – 1940/, американский писатель 2001.10.1.

Флобер Гюстав /1821 – 80/, французский писатель 1995.13.4; 1998.27.3; 17.4; 2000.11.2; 3.3; 27.4; 2001.10.1; 13.12; 2002.4.7; 2003.13.5; 2004.17.4; 24.4; Среда. 1986.9.9.

Флоренский Павел Александрович /1882 – 1937/?//, ученый, философ, богослов. 2002.22.3; 2007.4.3.

Флотский Алексей, поэт, посещал ЛИТО В.А.Сосноры. Среда. 1986.26.1.

Фолкнер Уильям /1897 – 1962/, американский писатель 2004.12.9; 4.10.

Фоменко Анатолий Тимофеевич /1945/, математик, создатель «новой хронологии» 2002.29.3; 5.4.

Фоменко Петр Наумович /1932 – 2012/, режиссер театра и кино 2006.9.8.

Фомина Елена, поэт, посещала ЛИТО В.А.Сосноры. Среда. 1982.24.2.

Франциск Ассизский /1182 – 1226/, святой, учредитель францисканского ордена 1999.15.1.

Фрау Эльза, хозяйка хутора в Эстонии, у которой В.А.Соснора многие годы жил в летнее время 1992.7.2; 2002.31.1; Среда. 1985.24.8.

Фрейд Зигмунд /1856 – 1939/, австрийский врач-психиатр и психолог, создатель психоанализа 1992.11.12; 2000.21.9; 12.10; 2001.25.9; 2003.23.9; 2004.20.3.

Фрида, цензор в Лениздате 2005.16.11.

Фромм Эрих /1900 – 79/, немецкий и американский психолог и социолог 1992.11.12.

Фрост Роберт /1874 – 1963/, американский поэт 1999.27.9.

Фукидид /ок.470 – 404 до н.э./, древнегреческий историк 1998.24.8.

Хаббл Эдвин Пауэлл /1889 – 1959/, американский астроном 2003.3.2; 2004.21.2.

Хайдеггер Мартин /1889 – 1976/, немецкий философ 2003.17.2.

Хаксли Олдос /1894 – 1963/, английский писатель. Среда. 1987.23.3.

Харджиев Николай Иванович /1903 – 96/, литературовед, искусствовед 1997.28.11.

Хармс Даниил Иванович /Ювачев/ 1905 – 42/, поэт, писатель 1999.31.3; 3.11; 19.11; 2000.21.9; 2002.5.10; Среда. 1979.14.4; 1985.27.1; 1991.12.6.

Хвостов Дмитрий Иванович /1757 – 1835/, стихотворец, сенатор 1999.12.10.

Хемингуэй Эрнест Миллер /1899 – 1961/, американский писатель 1992.9.11; 1995.28.12; 1996.8.2; 1999.15.1; 31.3; 27.9; 2000.20.12; 2001.10.1; 22.4; 26.6; 1.7; 28.8; 6.10; 2004.20.3.

Хичкок сэр Альфред Джозеф /1899 – 1980/, английский и американский кинорежиссер 2005.3.11.

Хлебников Велимир /Виктор Владимирович/ 1885 – 1922/, поэт 1994.3.12; 1995.14.3; 13.4; 28.4; 28.12; 1996.8.2; 22.2; 1997.31.5; 10.12; 1998.2.1; 8.12; 21.12; 30.12; 1999.15.1; 27.2; 18.5; 27.9; 4.10; 12.10; 26.10; 29.12; 2000.11.2; 18.2; 25.2; 7.4; 25.5; 21.9; 29.9; 5.10; 12.10; 5.11; 22.11; 13.12; 20.12; 2001.6.6; 1.7; 7.7; 15.8; 12.10; 19.10; 17.11; 21.12; 2002.9.1; 8.2; 1.3; 22.4; 6.5; 30.6; 15.8; 2004.21.2; 29.6; 2005.30.8; 13.10; 10.11; 7.12; 2006.24.1; 23.8; 2007.4.3; 13.6; Среда. 1978.8.11; 1982.7.1; 1985.17.4; 1986.29.1; 1987.17.3; 1989.2.2; 1992.25.4; 16.7.

Ходасевич Владислав Фелицианович /1886 – 1939/, поэт 1997.7.2; 1999.18.5; 2004.17.4; 2005.13.12.

Хокусай Кацусика /1760 – 1849 или 1870/, японский живописец 1997.5.11.

Хомяков Алексей Степанович /1804 – 1860/, поэт, философ 2002.1.3.

Хорвард Вера /1954/, сербская переводчица 2000.6.12.

Христос Иисус, основатель христианского вероучения 1996.26.1; 6.11; 30.11; 1997.8.1; 1998.2.1; 17.4; 24.8; 2000.4.2; 11.2; 18.2; 3.3; 10.3; 13.12; 2001.28.7; 2002.9.1; 14.3; 29.3; 22.4; 3.7; 2005.17.1; Среда. 1991.21.7.

Хрущев Никита Сергеевич /1894 – 1971/, первый секретарь ЦК КПСС 2002.7.3; 2006.29.7; Среда. 1990.24.1.

Хьюз Ричард /1905 – 76/, английский писатель 2003.30.6.

Цвейг Стефан /1881 – 1942/, австрийский писатель 1999.21.6; 2003.3.2; 2004.10.4; 17.4.

Цветаева Марина Ивановна /1892 – 1941/, поэт, 1994.3.12; 1996.8.2; 1997.7.2; 21.5; 31.5; 30.10; 5.11; 10.12; 1998.8.12; 21.12; 1999.27.9; 12.10; 19.10; 3.11; 14.11; 2000.11.2; 7.4; 14.4; 25.5; 29.9; 12.10; 20.10; 25.10; 22.11; 2001.10.1; 6.6; 7.7; 14.7; 23.11; 21.12; 2002.16.1; 29.3; 21.8; 12.10; 7.12; 24.12; 2003.27.1; 3.2; 17.2; 10.4; 17.4; 4.11; 2005.20.10; 2006.21.3; 8.7; 24.9; 2007.4.3; Среды. 1986.22.1; 1990.24.1; 1991.27.3; 1992.22.4; 25.4.

Цезарь Гай Юлий /102/100 – 44 до н.э./, римский диктатор и полководец 1995.28.12; 1998.24.8; 1999.19.11; 2000.19.4.

Целков Олег Николаевич /1934/, художник 2002.27.4; 2004.10.4.

Циолковский Константин Эдуардович /1857 – 1935/, ученый, изобретатель, основоположник космонавтики 2003.8.4.

Цицерон Марк Тулий /106 – 43 до н.э./, римский политический деятель, писатель, оратор 1999.14.11.

Чаадаев Петр Яковлевич /1794 – 1856/, философ 2001.13.12; Среды. 1983.19.10.

Чавчавадзе Александр Григорьевич /1784 – 1846/, князь, грузинский поэт, военный деятель 2002.3.1.

Чайковский Петр Ильич /1840 – 93/, композитор 1998.16.11; 2004.6.3; 2005.23.11.

Чаплин Чарлз Спенсер /1889 – 1977/, американский актер, кинорежиссер 1998.8.12; 1999.19.3; 2001.1.7; 2004.13.1.

Чарушин Евгений Иванович /1901 – 65/, художник, писатель. Среды. 1983.18.2.

Че Гевара Эрнесто /1928 – 67/, латиноамериканский революционер 2002.23.1; 2003.13.5.

Чекрыгин Василий Николаевич /1897 – 1922/, художник 2003.9.9.

Чернышевский Николай Гаврилович /1828 – 89/, писатель, общественный деятель 2001.21.12.

Честертон Гильберт /1874 – 1936/, английский писатель. Среды. 1986.27.12.

Чехов Антон Павлович /1860 – 1904/, писатель, драматург 1994.11.3; 1997.21.5; 1998.15.1; 27.1; 2000.15.11; 2001.19.10; 2002.12.4; 16.11; 2003.17.2; 23.9; 2005.31.3; 2006.19.5; 2007.3.12; Среды. 1986.9.9; 1987.2.4.

Чжуан-цзы /ок.369 – 286 до н.э./, китайский философ, один из основоположников даосизма 1996.29.1.

Чижевский Александр Леонидович /1897 – 1964/, ученый, один из основателей космического естествознания, биофизик 1998.17.4.

Чингисхан /1155 – 1227/, монгольский завоеватель 2001.7.12; 2002.15.2; 22.4; 9.11; 2006.9.8.

Чуанг цзе 2000.7.3.

Чуковский Корней Иванович /Николай Васильевич Корнейчуков/ 1882 – 1969/, писатель, критик, переводчик 2008.15.11.

Чуковская Лидия Корнеевна /1907 – 96/, писатель, публицист 2001.2.3.

Чулков Михаил /1743 – 93/, писатель, издатель, историк 2001.19.10.

Чурилин Тихон Васильевич /1885 – 1946/, поэт 1997.7.2; 1999.27.9; 12.10; Среды. 1987.10.3.

Шагал Марк Захарович /1887 – 1985/, художник 1994.3.12; 1995.14.3; 1999.29.6; 2000.21.9; 2002.16.1; 2005.30.11.

- Шагинян Мариетта Сергеевна /1888 – 1982/, писатель 2005.28.10.
- Шаламов Варлам Тихонович /1907 – 82/, писатель, поэт 2000.13.6.
- Шаляпин Федор Иванович /1873 – 1938/, певец 2002.31.1.
- Шаповалов Борис Евгеньевич /1952/, художник 1997.10.2; 1999.26.10; Среды.1982.11.5; 1983.18.2.
- Шарон Ариэль /1928/, военный и политический деятель, премьер-министр Израиля 2005.23.11.
- Шаумян Степан Георгиевич /1878 – 1918/, один из 26 бакинских комиссаров, расстрелянных англичанами в 1918 г. 2000.15.11.
- Шварц Евгений Львович /1896 – 1958/, писатель, драматург 2001.2.3.
- Шварц Елена Андреевна /1948 – 2010/, поэт 2000.21.9; 2001.10.1; 2004.17.4.
- Шварцман Михаил Матвеевич /1926 – 97/, художник-авангардист 2004.10.4.
- Шевцов С., советский пародист 2001.30.9.
- Шевцова Светлана, поэт, посещала ЛИТО В.А.Сосноры. Среды. 1998.24.4.
- Шевченко Тарас Григорьевич /1814 – 61/, украинский поэт 2001.7.12; 13.12; 2005.10.11.
- Шейнин Лев Романович /1906 – 67/, писатель 2001.28.8.
- Шекспир Уильям /1564 – 1616/, английский драматург, поэт 1995.9.4; 13.4; 1996.20.2; 1997.16.6; 10.12; 1999.18.5; 14.11; 2000.10.3; 19.4; 10.8; 29.9; 2002.3.1; 9.1; 23.1; 24.12; 2003.7.10; 2005.31.3; 6.9; Среды. 1984.21.1; 1986.9.9; 1991.21.7; 1992.16.7.
- Шельвах Алексей Максимович /1948/, поэт, писатель 2002.5.10; Среды. 1983.18.2.
- Шемякин Михаил Михайлович /1943/, художник, скульптор 2001.10.5.
- Шеф Генрих Владимирович /1937 – 91/, писатель 1999.31.3; 2000.9.1; 22.4.
- Шефнер Вадим Сергеевич /1915 – 2002/, поэт 2004.12.9; 2005.13.10.
- Шигашов Дмитрий Юрьевич, поэт, врач-психиатр, сын Ю.Н.Шигашова, посещал ЛИТО В.А.Сосноры. Среды. 1988.24.4.
- Шигашов Юрий Николаевич /1941 – 2002/, писатель 2002.29.3.
- Шиллер Иоганн Кристоф Фридрих /1759 – 1805/, немецкий поэт 1994.3.12; 1999.19.3; 2006.22.7.
- Широков Олег Сергеевич /1927 – 97/, лингвист 1999.29.6.
- Шишкин Иван Иванович /1832 – 98/, живописец 2002.16.11; 2004.17.4.
- Шишкин Михаил Павлович /1961/, писатель 2007.11.7.
- Шишков Вячеслав Яковлевич /1873 – 1945/, писатель 2004.13.1.
- Шкловский Виктор Борисович /1893 – 1984/, писатель, литературовед 1998.15.1; 17.4; 8.12; 1999.26.10; 2000.18.2; 2001.7.7; 12.10; 13.12; 2002.1.3; 30.11; 2003.10.2; 17.2; 6.5; 2004.17.4; 2005.20.10; 3.11; 2006.10.1.
- Шмаков Владимир Алексеевич /? – 1929/, философ-окультист, представитель философского эзотеризма 2004.21.9.
- Шмелев Иван Сергеевич /1873 – 1950/, писатель 1999.19.10; Среды. 1987.17.3.
- Шнитке Альфред Гариевич /1934 – 98/, композитор 2006.17.1.

Шолохов Михаил Александрович /1905 – 84/, писатель 1992.9.11; 2002.3.1.

Шопен Фредерик /1810 – 49/, польский композитор 1998.11.3.

Шопенгауэр Артур /1788 – 1860/, немецкий философ 1997.11.11; 2001.23.11; 2003.17.2.

Штейнберг Генрих Семенович /1935/, вулканолог 2000.18.2; 25.2.

Штейнер Рудольф /1861 – 1925/, немецкий философ, основатель антропософии 2002.5.4.

Шторм Георгий Петрович /1898 – 1978/, писатель, историк, литературовед, переводчик 2000.25.10.

Шукшин Василий Макарович /1929 – 74/, писатель, кинорежиссер, актер 2003.30.6; 2005.31.3.

Шульц Бруно /1892 – 1942/, польский писатель и художник 2008.18.3.

Шуман Роберт /1810 – 56/, немецкий композитор 2002.1.3.

Шуцкий Юлиан Константинович /1897 – 1938/, востоковед 1997.22.12; 2001.6.6.

Эйно, художник 1997.10.2; Среды. 1983.22.12.

Эйнштейн Альберт /1879 – 1955/, физик-теоретик, создатель теории относительности 1996.26.3; 1997.16.9; 1999.6.2; 2001.25.5.

Эйхенбаум Борис Михайлович /1886 – 1959/, литературовед 1998.8.12.

Эккерман Иоганн Петер /1792 – 1854/, немецкий литератор, секретарь и друг И.В.Гете, автор книги «Разговоры с Гете» 2000.21.9; 2001.10.1; 2003.7.10; Среды. 1991.18.5.

Эко Умберто /1932/, итальянский писатель 1997.16.9; 2000.14.4.

Экстер Александра Александровна /1882 – 1949/, художник 2003.3.2.

Эмерсон Ралф Уолдо /1803 – 82/, американский философ и писатель. Среды. 1986.9.9.

Эмпедокл /490 – 430 до н.э./, древнегреческий философ 2000.19.4; 2001.13.12; 21.12; 2002.22.4; 2003.20.1.

Эренбург Илья Григорьевич /1891 – 1967/, писатель 2000.29.9; 2002.16.1; 2006.21.7.

Эрнст Неизвестный /Эрнст Иосифович/ скульптор 2000.19.5; 2002.14.3; 19.10.

Эсхил /ок.525 – 456 до н.э./, древнегреческий трагедиограф 1998.16.9; 2002.1.3.

Юнг Карл Густав /1875 – 1961/, психолог и психиатр 2001.25.9.

Языков Николай Михайлович /1803 – 46/, поэт 1992.18.12; 1995.14.3; 2008.8.8.

Якобсон Роман Осипович /1896 – 1982/, языковед, литературовед 1998.8.12; 1999.2.6; 2000.18.2; 2003.29.4; 2006.10.1; 2008.12.12.

Ямвлих /не позже 280, вероятно в 245 – ок.330/, античный философ-неоплатоник. Среды. 1991.18.5.

Яснов Михаил Давидович /1946/, поэт, переводчик, писатель 2005.13.10.

Ясперс Карл /1883 – 1969/, немецкий философ и психиатр 2003.17.2.

Перечень иллюстраций

3. Стр. 5 – фотопортрет В. Сосноры (из собрания В. А. Овсянникова).
6. Стр. 565 – фотопортрет участников сред (из собрания В. А. Овсянникова).

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОТУАКИ С СОСНОРОЙ

1992 год	7
1994 год	11
1995 год	20
1996 год	31
1997 год	50
1998 год	89
1999 год	124
2000 год	176
2001 год	239
2002 год	321
2003 год	382
2004 год	419
2005 год	447
2006 год	473
2007 год	495
2008 год	501

СРЕДЫ

1978 - 1980 годы	514
1982 - 1984 годы	522
1988 - 1989 годы	553
1990 - 1991 годы	559

История создания книги	582

Примечание	583

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ	583

Вячеслав Александрович Овсянников

ПРОГУЛКИ С СОСНОРОЙ
Проза

Редактор
В. И. Чернышев

ПЕРВОЕ ИЗДАНИЕ
Подписано в печать 30 декабря 2009
Формат 60х90 1/16 38, 5 п. л., 616

ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ
Подписано в печать 17 апреля 2019
Формат 60х90 1/16 38, 75 п. л., 620

PRINT ON DEMAND

Санкт-Петербург
20019